Федеральное архивное агентство

Российский государственный архив
литературы и искусства

И. С. Шмелев
и
О. А. Бредиус-Субботина

Роман в письмах

В 2 томах



Москва
РОССПЭН
2005

Федеральное архивное агентство

Российский государственный архив литературы и искусства

И. С. Шмелев

Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений

Том 3 (дополнительный)

Часть 1

Москва
РОССПЭН
2005

ББК 84 (2Рос-Рус) 6
Ш 72

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект № 04-04-16061

Составление
О. В. Лексина, Л. В. Хачатурян
Текстологическая подготовка документов
А. А. Голубковой, О. В. Лексиной, Л. В. Хачатурян

Примечания
А. А. Голубковой, О. В. Лексиной,
С. А. Мартьяновой, Л. В. Хачатурян

Ш 72 **И. С. Шмелев. Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений.** Т. 3 (дополнительный). Ч. 1/Предисловие, подготовка текста и комментарий: А. А. Голубковой, О. В. Лексиной, С. А. Мартьяновой, Л. В. Хачатурян. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. — 792 с.

В книгу включены письма 1939–1943 гг., не вошедшие в двухтомник («Роман в письмах»). Лирические страницы сочетаются с воспоминаниями, размышлениями о судьбе России, православии, планами и фрагментами произведений.

ISBN 5-8243-0424-6
ISBN 5-8243-0738-5

«Труднейшее из искусств...»

О творчестве Ивана Сергеевича Шмелева написаны монографии, сборники статей, составлены библиографии[1]. Это немало, если понимать под творчеством не процесс создания, а только его результат — окончательный вариант произведения, оптимальный текст. Но если представить себе работу писателя как непрерывное движение, начинающееся задолго до появления первого варианта текста и не останавливающееся даже после его публикации, то об этом мы не знаем почти ничего. Почти ничего, потому что дневниковые записи, редакции, черновые варианты и большая часть литературной переписки не изданы (собственно — и не известны) и представляют собой темную подводную часть айсберга, «сверкающей вершине» которого посвящено столько литературоведческих работ. С этой точки зрения переписка с О. А. Бредиус-Субботиной, вольно или невольно, переносит вопрос о творчестве Шмелева в несколько иную плоскость: письма представляют жизнь писателя как создание текста, фиксируя замысел (упоминание о нем еще «случайно»), его развитие и изломы, переплетение с «обстоятельствами жизни», и наконец, передают нам черновые редакции — ступеньки, по которым автор шел к своим книгам.

Немалую роль сыграла здесь и личность его корреспондентки. В течение переписки, длившейся двенадцать лет, их отношения прошли несколько стадий: писателя и читательницы, писателя и его любимой, писателя и ученика, и, в завершение, — писателя и критика. В зависимости от того, к «какой» Ольге Субботиной обращался Шмелев, он наполнял письма лирикой и шуточными четверостишьями, детальным разбором классики и своих произведений, творческими планами, полемикой, иногда очень и очень резкой.

Первое произведение, отправленное И. С. Шмелевым О. А. Бредиус-Субботиной, — очерк «Свете тихий», было, ско-

[1] Шаховской Д. А. И. С. Шмелев: Библиография. Paris, 1980; Сорокина О. Н. Библиография // Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 2000. С. 353—404.

рее, завуалированным признанием. Тогда, летом—осенью 1941 г., Шмелев видит в ней героиню своих книг, будущих и, как ни парадоксально, уже написанных. Героиню «Путей небесных».

В июне 1936 г., после смерти жены, И. С. Шмелев прекращает работу над второй книгой «Путей» и безуспешно пытается найти «новую» героиню — центральный образ, к которому сходятся все сюжетные линии произведения. Осенью 1941 г. он возвращается к работе. Шмелев отправляет О. А. Бредиус-Субботиной планы романа, фрагменты глав, зарисовки. «Я написал тебя, тебя не зная, написал женщину-дитя, просветленную небесным светом, сквозящую этим светом, — и — все же, повинную греху, страстям... и — нетленную. Да, я счастлив, что предвосхитил тебя... нашел намек на тебя... и — нашел настоящую Тебя <...> Да, Дари осложнилась. Во мне. Она теперь живет во мне живою, полною несказанной прелести!»[1]

В декабре 1941 г. — январе 1942 г. Шмелев создает для О. А. Бредиус-Субботиной очерк «История одной души», полностью завершенное произведение, не вошедшее ни в один из сборников писателя. Параллельно она посылает ему автобиографическую «Повесть жизни». Первая часть — описание детства — представляет ее как начинающую писательницу, чей художественный мир созвучен самому Шмелеву. С этого момента он начинает раскрывать О. А. Бредиус-Субботиной секреты писательского мастерства. «Творчество словом — труднейшее из искусств. Большие поэты начинали рифмой... и, зрея, чувствовали, что мало свободы, переходили к ритму... прозой! Да, свободы больше, но... слово — тончайший из предателей. С ним — осмотрительно! В свободе можно разнуздаться. Не всегда “слово-ритм” удавалось Пушкину. Гоголю — удалось, почти. Лермонтову тоже, лучший образец его — “Тамань”», это еще Чехов отмечал[1]. Шмелеву стало удаваться во второй половине творчества. Он познал тайну, многие ее оттенки...»[2] В 1942—1943 гг. Шмелев перепечатывает для нее, одновременно объясняя и исправляя, рассказ «Куликово поле» и главы романа «Лето Господне». Незначительная, на первый взгляд, правка возвращает Шмелева к более серьезной работе над этими произведениями.

В январе 1943 г. писатель завершает главу «Именины» и переписывает первую часть, правя и дополняя ее. В это же вре-

---

1 *... это еще Чехов отмечал.* — в письме Я. П. Полонскому от 18 января 1888 г. А. П. Чехов отмечает, что «Тамань» доказывает «тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой» (Чехов А. П. Письма. Т. 2: 1887 — сент. 1888. М., 1975. С. 177). Из письма И. С. Шмелева к О. А. Бредиус-Субботиной от 22 января 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 12. Л. 20—21).

2 РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 41. Л. 38—41. Письмо, машинопись.

мя (ноябрь 1942 — январь 1943) он работает над главой «Михайлов день». Несмотря на почти одновременную правку и той, и другой главы, значимость исправлений в «Михайловом дне» и в «Именинах» далеко не равноценна. Если в «Именинах» мы встречаемся в основном с немногочисленной стилистической правкой, то переработку «Михайлова дня» с полным правом можно назвать новой редакцией.

* * *

В январе 1935 г. в «Возрождении» появился очерк «День ангела» (первоначальное название главы «Михайлов день» — *О. Л., Л. Х.*)[1], который открыл собой цикл рассказов, впоследствии составивших вторую часть романа «Лето Господне». Рассказ писался «через силу» — несмотря на болезнь и недомогание, тяжелое материальное положение вынуждало писателя много работать. 19 января 1935 г. Шмелев писал об этом И. А. Ильину: «Как вы нашли “День ангела”, писанный мною уже с головной болью, перед болезнью, почти в болезни. Мучился очень, что не сведу концов, что не выйдет у меня рассказа. Т. е. — все знал, а сил уж не было... поставить посл<еднюю> точку. А надо было по обещанию посылать к празд<ничным> №№. Наконец как-то сомкнул»[2]. Помимо физического недомогания, не позволившего писателю в полной мере проработать текст рассказа для первой публикации, сама идея «Лета Господня» как цикла очерков о православных праздниках, «“очерков” — русского благочестия»[3] — подразумевала определенный стиль повествования. В редакции 1935 г. он выглядит как воспоминание, «оглядка» пожилого человека на свое детство.

Перерыв между работой над второй и третьей частью романа был длительным — последний раз Шмелев возвращался к тексту в декабре 1939 г., когда была написана глава «Рождество». В июне 1942 г. Шмелев сообщает Ольге Бредиус-Субботиной о своем желании продолжать роман. Чтобы настроиться на работу, почувствовать «живой пульс» произведения, он перечитывал уже написанные главы. Его внимание привлек «Михайлов день»: «Ах, как я дал “зима стала” — в очерке “Лета Господня” — “Михайлов день”! (Именины Горкина!) Нигде так не давал зиму! Читала? Хочешь — перепишу для тебя?»[4]

---

[1] Смена жанра была характерной чертой переработки И. С. Шмелевым своих произведений. «Михайлов день», написанный как очерк (И. С. Шмелев называет его также рассказом), позднее стал главой романа «Лето Господне».

[2] Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. М., 2000. Т. 2. С. 12, 13.

[3] Там же. С. 12.

[4] См. с. 526 в данном издании.

Переписывая главу для Ольги Бредиус-Субботиной, И. С. Шмелев перерабатывает ее, создавая, по сути, новую редакцию. Основной акцент правки направлен на смену рассказчика в произведении. Теперь это уже не пожилой человек, вспоминающий свое детство, а маленький мальчик, с которым все происходит «здесь и сейчас»: и праздники, и радости, и скорби. Временное пространство главы перемещается из прошедшего в настоящее. Писатель снимает фрагмент, превращающий рассказ мальчика в воспоминания старика: «Где вы, спутники детских лет? Сколько любви я видел и в нашем старом, милом, простом дворе с покривившимися сараями! сколько корявых рук нежно меня ласкали, вытирали слезинки жестким, мозолистым пальцем... Ангелы охраняли вас, неотрывно ходили за вами, с вами... Пропали Ангелы?»[1] Подобную правку мы встретим и в главе «Именины». Здесь вычеркнуто: «Это был наш последний парадный ужин. Но тогда и не думалось: папашеньке и сорока лет не было тогда»[2].

С этой правкой связана стилизация повествования под речь ребенка (речь, в которой большинство слов воспроизводится маленьким Ваней со слуха), где много заимствований из народного языка, ведь основной его собеседник — плотник Горкин. Так, правильные названия — иорданский, иерусалимский, Гефсиманский, — заменены на «разговорный» вариант: ерданский, ерусалимский, Ефсиманский.

Перепечатывая очерк, Шмелев значительно увеличивает его. Он сообщает об этом О. А. Бредиус-Субботиной 22 января 1943 г.: «Этот рассказ расширен, — в думах и сердце с тобой, — может быть на 20—25%». В редакции 1942 г. появляются пространные описания: фруктового сада, катка в зоологическом саду, лужи во дворе дома и т. д.[3] Однако объем рассказа увеличивается не за счет добавления развернутых описаний, а использованием новых эпитетов, придающих большую выразительность уже найденным образам. В целом редакция 1942 г. по глубине и яркости языка близка к окончательному варианту «Михайлова дня» (издание 1948 г.).

---

[1] См. с. 712 в данном издании.

[2] РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 24. Л. 22 об.

[3] Интересны кулинарные описания, добавленные им в сцену встречи Горкина с Василием Косым. В это же время (конец 1942 г.) И. С. Шмелевым написан рассказ «Рождество в Москве», весь представляющий собой описания еды в раблезианском стиле. Такие кулинарные «излияния» были вызваны постоянным недоеданием в условиях оккупированного Парижа зимой 1942—1943 г., доводившим писателя до «голодных галлюцинаций». При подготовке романа к публикации (1947) описание из главы «Михайлов день» снято Шмелевым.

Предложение И. С. Шмелева переписать «Михайлов день» совпало с сообщением О. А. Бредиус-Субботиной о выздоровлении. «Необъяснимая» болезнь, то уходившая, то возвращавшаяся, становится постоянной темой их писем. Болезнь была настолько странной, что ни один из докторов не смог дать исчерпывающего заключения и предложить действенный метод лечения. «Избавление» от недуга пришлось на день, близкий к дню архангела Михаила, и Шмелев, увидевший в этом мистический смысл, посвятил главу О. А. Бредиус-Субботиной. «Олюнке пошлю мой “ангельский” дар, — ангелу моему далекому! <...> Это тебе мой братский поцелуй, на выздоровление»[1]. Именно тогда он окончательно изменил первоначальное название — «День ангела» на «Михайлов день».

С августа 1943 г. писатель втягивается в работу над последней частью «Лета Господня». Автор планировал закончить роман смертью отца. Оставалась ненаписанной третья, трагическая часть произведения — описание болезни отца и его смерти.

Роман разрастался на глазах. Первоначально, к уже написанным 15 главам второй части, Шмелев планировал добавить еще 3—4 — «болезнь, кончина отца, похороны, поминки». Однако уже в середине августа 1943 г., после того как была написана первая глава, ему стало ясно, что до конца романа еще далеко: «Вижу, что помимо пугливого хотенья-воли моих приходится давать болезнь отца очень медленно разворачивающейся, как это и было... — опасения, надежды, опасения, улучшение, ухудшение... — и все нужно — ибо во всем этом проявляются души окружающих»[2]. Почти вся третья часть романа была написана И. С. Шмелевым на одном дыхании: с 19 по 22 августа — глава «Святая радость», к 25 августа — «Живая вода», к 5 сентября — «Москва».

3 сентября 1943 г. Париж подвергся налету англо-американских самолетов. Бомба задела и дом, в котором снимал квартиру Шмелев. Сам писатель почти не пострадал, но у него на глазах был разрушен соседний дом, и погибла молодая женщина с ребенком нескольких дней от роду. Бессмысленная гибель произвела сильное впечатление на Шмелева. Постоянно размышляя о случившемся, он приходит к переосмыслению целей «Лета Господня». В романе появляется мысль о необходимости Божьего предопределения, каким бы жестоким оно ни казалось людям. Программной в реализации этой мысли становится глава «Серебряный сундучок», первая написанная по-

---

[1] Из письма И. С. Шмелева от 30 ноября 1942 г. (с. 551 в данном издании).

[2] Из письма И. С. Шмелева от 22 августа 1943 г.

сле бомбардировки (с 11 по 13 сентября). И. С. Шмелев вводит в нее случай, рассказанный старым богомольцем о «милосердии ко праведной кончине»[1].

К октябрю 1943 г. осталось написать наиболее сложные главы — о смерти и похоронах отца. Главу «Кончина» Шмелев писал долго: начатая в первых числах октября, она была завершена только к концу ноября. Свою роль сыграло и решение включить в роман главу о соборовании отца, которую Шмелев писал одновременно с «Кончиной». Переживания мешают автору воспринимать роман только как художественное произведение. В конце декабря 1943 г. он писал О. А. Бредиус-Субботиной: «Кажется, на последней главе "Кончина" и закончу "Лето Господне". Не буду писать "Похороны", — тяжело, не могу!»[2] Однако, в январе 1944 г. он пересиливает себя и пишет главу, заканчивая ей роман.

Первоначально писатель планировал назвать все произведение «Лето Господне. Праздники», что вызвало критику И. А. Ильина: «Обе части "Лета Господня"[3] написаны *различными актами* и поэтому предоставляют из себя два отдельные произведения, требующие различных заглавий. Первая часть есть *художественное созерцание религиозного бытия России, скрытого за повседневным бытием*. Вторая часть есть *излияние сыновнего сердца, взволнованного и потрясенного любовью к отцу в его жизни* и в *его смерти*»[4]. Под воздействием мнения философа планы Шмелева изменились. В ответе на критику И. С. Шмелев упоминает: «Добавлю к подзаголовку "Праздники" — подзаголовок "Будни"»[5]. В начале 1947 г., при подготовке романа к публикации, писатель делит его на три части: «Праздники», «Радости», «Скорби».

Критику Ильина вызвал и художественный аспект романа. В конце 1946 г. он писал Шмелеву: «Вторая часть — *чувствует* сама и потому несколько *перегружает* читателя и эмоционально "*деспотирует*" над ним. <...> Восхищающее не должно подаваться с нарочитою настойчивостью. <...> Когда Горкин или Ванятка *говорят* «папашенька», это художественно верно. Но

---

1 Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. М. 2000. Т. 4. С. 345, 346. Показательно, что свою историю старик рассказывает в ответ на вопрос маленького Вани: «что, выздоровеет папашенька?».

2 Из письма И. С. Шмелева от 31 декабря 1943 г.

3 И. А. Ильин подразумевает под второй частью две заключительные части романа: вторую («Радости») и третью («Скорби»), деление на которые произошло позже.

4 Из письма И. А. Ильина от 27 ноября 1946 г. (Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 506).

5 Там же. С. 512.

когда это идет от авторского лица, то это художественно чрезмерно»[1]. Критика Ильина произвела на Шмелева сильное впечатление, и текст романа был подвергнут доработке. В результате правки он становится более сдержанным, маленький Ваня «взрослеет». В большинстве случаев детское «папашенька» заменено на более строгое «отец», значительно сокращены или удалены размышления Вани о том, что окружающие не могут понять величину и непоправимость происходящего, которое для него есть нарушение всеобъемлющей любви Божией.

Ко времени отдельного издания романа (1948) текст неоднократно дорабатывался автором: в 1946 году, для пересылки последних глав И. А. Ильину, в 1947 — при подготовке текста к изданию. Но, единожды сложившись, замысел романа не изменялся. Последний штрих — мысль 1943 г. о Божественном предопределении, — завершает картину: отдельные фрагменты идеально сложились в единое целое. Как будто чувствуя, что лучше того, что уже создано, ему не написать, Шмелев в 1946—1947 гг. вносит лишь небольшую стилистическую правку, не затрагивающую структуру романа. После издания 1948 г. автор больше не возвращается к работе над ним. Теперь его мысли занимает «Куликово поле».

* * *

«Куликово поле», пожалуй, одно из самых спорных произведений И. С. Шмелева. До сих пор существуют различные точки зрения относительно его жанровой принадлежности[2]. Не менее сложно складывалась и его творческая история: трудно указать какое-либо другое произведение И. С. Шмелева (за исключением романа «Пути небесные»), редакции которого столь существенно отличаются друг от друга.

Впервые как самостоятельное издание оно было опубликовано в 1958 г., уже после смерти И. С. Шмелева[3]. Публика-

---

1 Там же. С. 506.

2 Так, следуя авторскому подзаголовку («Рассказ следователя»), В. Т. Захарова определяет это произведение как рассказ (Захарова В. Т. Православная Истина в художественном осмыслении И. С. Шмелева (рассказ «Куликово поле») // Венок Шмелеву. М., 2001. С. 196—204); О. Н. Сорокина подчеркивает эволюцию произведения —«...рассказ, выросший в повесть» (Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество И. С. Шмелева. М., 2000. С. 239). А. М. Любомудров использует оба определения. См.: Любомудров А. М. И. С. Шмелев и воцерковление культуры // Венок Шмелеву. С. 194; Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья. СПб., 2003. С. 140.

3 Куликово поле. Рассказ следователя. Старый Валаам. Париж: YMCA-Press, 1958.

ция была подготовлена Ю. А. Кутыриной. Точнее, она воспроизвела редакцию февраля—марта 1947 г. Богатейший архив И. С. Шмелева в то время не был разобран. Тем более далек от реальности был вопрос об истории текста и сопоставлении различных редакций. С самого начала «самостоятельного бытия» произведения оно было представлено только одной из редакций, при этом — не окончательной.

Первая редакция «Куликова поля» (тогда еще — рассказа) была завершена автором в феврале 1939 г. и опубликована в газете «Возрождение»[1]. В январе—феврале 1942 г., по просьбе О. А. Бредиус-Субботиной, И. С. Шмелев переслал ей рассказ в пяти письмах[2]. Перепечатывая текст, Шмелев создал не точную копию (для писателя его склада это было невозможно), а еще один вариант произведения. Находящаяся в РГАЛИ рукопись — это авторский список, в котором рассказ еще раз выверен и выправлен стилистически: изменена разбивка на абзацы, сделан другой выбор слов-синонимов. Сам Шмелев неоднократно называл сделанную правку редакцией, хотя это и не совсем точно: «...Это последняя редакция, самая окончательная, для тебя и печати». «Пусть эта последняя ред<акция> "Куликова Поля" (я опять местами правил и пополнял) будет истинной, помни!»[3].

Перепечатка рассказа послужила импульсом его будущей серьезной переработки. Уже в начале 1942 г. Шмелев занят не столько правкой, сколько размышлениями о поэтике произведения. «Рассказ постепенно становится углубленней. <...> Моя главная цель — показать, что для духа нет ограничений во времени и пространстве: все есть и всегда будет, — нет границы между здесь и — там»[4]. В это же время возникает замысел опубликовать рассказ отдельным изданием. «И первой моей заботой, как только наступит возможность издания... — "Куликово Поле"! Я подберу к нему — ч т о подобает, что достойно — рядом. А лучше — издать только это одно, издать молитвенно, очень чистым томиком, малого формата, как издают стихи... — ибо этот "святой рассказ" — стоит особняком во

---

1 Возрождение. 1939. 27 января — 3 марта. № 4168, 4171, 4173.

2 И. С. Шмелев. Письма к О. А. Бредиус-Субботиной от 10, 17 января и 4, 7, 8 февраля 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 11. Л. 34—35; Ед. хр. 12. Л. 1—2; Ед. хр. 13. Л. 39—40, 44—45, 49—50).

3 И. С. Шмелев. Письма к О. А. Бредиус-Субботиной от 17 января и 28 февраля 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 12. Л. 1—2; Ед. хр. 15. Л. 17). Несколько позже И. С. Шмелев обосновывает две прописные буквы названия: «Это — урочище» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 17. Л. 21—22).

4 И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина: Роман в письмах. Т. 1. М., 2003. С. 440—441.

всем моем, как и во всей русской литературе»[1]. Однако осуществить издание невозможно (идет Вторая мировая война), и переработку «Куликова поля» заслоняют другие произведения — «Лето Господне» и «Пути небесные».

К своему замыслу И. С. Шмелев возвратился нескоро. 18 февраля 1947 г. он коротко сообщил О. А. Бредиус-Субботиной о переработке произведения. Именно тогда была создана опубликованная редакция февраля—марта 1947 г. На следующий день он отправляет вторую редакцию «Куликова поля» ей и И. А. Ильину «...в новом списке, очень развернутом, в 1,5 раза»[2]. Чем же отличалась эта редакция от первой, 1939 года?

«"Куликово Поле" — раздвинулось» — очень точно охарактеризует новую редакцию автор. В первую очередь, укрупнены образы героев и персонажей, появляются биографические подробности (это — отличительная черта второй и последующих редакций), добавлены характерные детали. Более того, нарушая почти житийный, «сказовый» лад «Куликова поля», начинает звучать многоголосие окружающего мира, ранее бывшего только фоном для речей и явлений четырех главных героев. Постепенно из рассказа о явлении святого формируется совсем другое произведение. Во вторую редакцию активно введены цитаты из работ И. А. Ильина «О сопротивлении злу силой» и «Основы художества». Именно эти фрагменты Ольга Бредиус-Субботина назовет «публицистикой», и в опубликованном варианте И. С. Шмелев частично от них откажется, а в окончательной редакции полностью исключит, заменив ссылками на «Три разговора» Вл. Соловьева и «Бесы» Ф. М. Достоевского. «Публицистические» нотки звучат и далее. Если в первой редакции подчеркнуто только совпадение двух дат — обретения креста на Куликовом поле и явления преподобного в Сергиевом Посаде, то в февральской редакции 1947 г. впервые появляется второй план — совпадение в 1925 г. Дмитриевской Родительской субботы и субботы 7 ноября, годовщины Октябрьских событий[3]. «Особенно поражало нас в нами воссозданном, "суббота 7 ноября", сомкнувшаяся со "святой субботой", ею закрытая»[4]. Более того, этот «второй план» делается все более

---

[1] И. С. Шмелев. Письмо к О. А. Бредиус-Субботиной от 23 февраля 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 14. Л. 48—49).

[2] И. С. Шмелев. Письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 19 февраля 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 48. Л. 7).

[3] И. С. Шмелев относит события «Куликова поля» к 1925 г. В первой редакции подчеркивалось только совпадение даты встречи Сухова и Старца (вечер Димитриевской субботы) и появления Старца в Сергиевом Посаде.

[4] РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 31.

и более весомым, и в финале повести становится основным: «И стало понятно, почему притекали в эту тихую вотчину, под эти розовые стены, чего искали»[1].

Тем не менее, сказовые и житийные формы не исчезают окончательно из дальнейших редакций «Куликова поля». Пытаясь использовать все грани излюбленного художественного приема, И. С. Шмелев меняет речь преподобного Сергия, вводя церковно-славянские и устаревшие обороты. В первой редакции преподобный говорит привычным бытовым языком («...Крест нашел... Как же ты думаешь...»), во второй редакции его слова звучат иначе: «Крест Христов обрел, радуйся. Чесо же смущаешися, чадо?»[2]. «Сказ» о Куликовом поле подчеркнет и разбивка второй редакции на 12 глав, для которой И. С. Шмелев нарушает первоначальное деление.

Тем не менее, сам И. С. Шмелев считал работу незавершенной. В мае 1947 г. он создает новую, по-видимому, окончательную редакцию «Куликова поля».

Продолжая переработку повести, И. С. Шмелев следует пути, намеченному еще во второй редакции. Появляются новые подробности и сюжетные линии, персонажи и герои, явление святого становится частью более развернутого повествования. С другой стороны, по мере доработки повести язык преподобного будет приближаться к церковно-славянскому, и автор станет вновь и вновь перебирать фразы, чтобы сказать «проще, сильней и глубже».

В эту редакцию И. С. Шмелев вводит диалог Следователя с Олей Средневой, в котором даны два совершенно разных описания одного и того же креста. Первое — только что найденного Василием Суховым на Куликовом поле, второе — принесенного преподобным в Сергиев Посад. «Сухов мне говорил, что Крест был темный... Светилась только царапина!» — «Нет, как раз наоборот: где посечено — окись, черно-зеленое, а ве<сь> Крест совершенно ясный, как новенький»[3]. И далее: «Крест

---

[1] РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 44.

[2] В более ранних редакциях описание креста дано в диалоге Следователя с самим Средневым.

[3] И. С. Шмелев. «Куликово Поле. Рассказ следователя». Рукопись. Л. 20—21. (Российский Фонд Культуры. Фонд И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053).

Два описания креста («негатив» и «позитив») намечены автором уже в ранней редакции (см. Приложение). Эту же тему автор несколько усиливает в опубликованной редакции. Ср.: «Смотрит Сухов на крест, видать, старинный, зеленью-чернотой скипелось, светлой царапиной мерцает...» и «Где посечено — зелень, а все остальное ясное» (Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 2001. С. 137, 152). Но здесь они еще не противопоставлены в одном

был как живой!.. В Нем, будто, светилось<...> Не чувствовалось "материи", металла, меди»[1].

«Обновление креста» окончательно утверждает «Куликово поле» как многоплановое произведение. В нем сочетаются детективная фабула, сказ о явлении святого, «документальное свидетельство» об обращении «невера». И на этом, тщательно подобранном автором фоне, звучит новая и главная тема повести — евангельская тема Распятия и Воскресения России. То, что занимало мысли И. С. Шмелева во время Второй мировой войны, то, в чем он видел основное, «скрытое» движение истории.

Эта тема заставляет автора отказаться от «сказания в двенадцати главах», идеально соответствовавшего архаичной речи преподобного[2]. В окончательном варианте повести 15 глав. «Куликово поле» включает в себя все новые подробности следствия. «Хотя... зачем так уж необходимо было гостю пролезать через цепляющийся малинник, когда можно было пройти через калитку?.. оберегать от воров, когда ворам открыта дорога! <...> Я чувствовал мистическое нечто, близость тайны, — священной тайны! — чувствовал, что меня коснулось, что я... — именно, вовлечен»[3]. В повести появляются три новых персонажа. Собственно, они не присутствуют в тексте, возникая непосредственно в восприятии читателя: Следователь по Особо Важным Делам (разнящийся со следователем рассказа), преступник и угадывающийся за ним Судья. «Вы — следователь. И должны ясно видеть, кто преступник. Народ вне дела».

* * *

Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной вводит произведения Шмелева в контекст важнейших событий жизни писателя. В их творческую историю активно вмешиваются и перипетии личных отношений, и события «внешние». Век Шмелева пришелся на «историческое время», всю жизнь писатель находился между уничтожающими друг друга силами. Даже далекие от публицистики произведения Шмелева несут на себе «шрамы истории» — следы мучительных раздумий авто-

---

диалоге, более того — разделены почти 20 страницами текста. Авторские списки II редакции были посланы И. А. Ильину и О. А. Бредиус-Субботиной, и никто из них не отметил в своем отзыве этой концептуально важной для понимания повести сюжетной линии. Вероятно, это стало одной из причин последующей переработки повести.

[1] Там же. Л. 33.

[2] В третьей редакции повести (май 1947 г.) речь преп. Сергия выделена из текста произведения и полностью дана разрядкой.

[3] Там же. Л. 36, 39.

ра о правых и неправых, жертвах, вине и смерти. Более того, жесткость времени «выталкивает» его в творчество: пик писательства зрелого Шмелева приходится на 1942—1944 гг. Именно в то время, когда голод и холод оккупированного Парижа должны были сжать жизнь писателя до узко-бытовых рамок, им создаются «Лето Господне», две редакции «Путей небесных», новая версия «Куликова поля», рассказы.

Середина 1940-х годов — время переосмысления Шмелевым своих произведений, создания «последнего» текста, последней правки. Третья, трагическая часть «Лета Господня», принесшая в идиллию очерков-воспоминаний тему смерти, создала лучший из романов Ивана Шмелева. С этой темой неразрывно связана другая тема творческого пути Шмелева — вечного возрождения жизни, объединившая «Куликово поле» и «Пути небесные». Ей посвящен более поздний период творчества писателя, 1947—1950 гг.

О. В. Лексина, Л. В. Хачатурян

От составителей

В настоящий том включены письма И. С. Шмелева и О. А. Бредиус-Субботиной, не вошедшие в основное издание, и неизвестные редакции его произведений 1942 — 1948 гг.

При передаче текста писем составители следовали принципам, указанным в предисловии к основному изданию. Поскольку дополнительный том предназначен для специалистов, в комментарий не включены имена и события, являющиеся общеизвестными. При упоминании художественных произведений указывается только дата создания.

Комментарий к письмам расположен в конце текста, для избежания путаницы использована сквозная нумерация сносок ([1], [2], [3]...). Чтобы не разрывать текст писем, справочная информация (адреса, архивный шифр, исполнение документа) перенесена в конец издания и расположена непосредственно перед примечаниями к данному письму. Текстуальные примечания расположены внизу страницы ([i], [ii], [iii]...), кроме того, в тексте сохранены авторские сноски (*).

При публикации текстов произведений сохранены все интонационные знаки (разрядка, разбивка слов на слоги, дефисы, отточия) и ритмическая пунктуация (строчная буква после восклицательного знака, авторские новообразования (?!.., !... и пр.)), авторское употребление строчных и прописных букв. Это связано с тем, что ритм и интонация играют особую роль в системе художественной выразительности И. С. Шмелева. Авторская правка (в т. ч. пунктуационная) отражена в текстуальных примечаниях. Для передачи зачеркнутого текста используются следующие обозначения:

Вместо: ... — было: ... — при замене слов в тексте. Например: *Вместо:* баре — *было:* дворяне.

Далее было: ... — если вычеркнутый текст не заменен новым. Например: *Далее было*: щами с кашей (в первоначальном варианте «...стол салистый и пахнет щами с кашей...» зачеркнута указанная в примечании фраза).

Сохранены фрагменты, воспроизведенные писателем для связки одного отрывка с другим при пересылке текста в разных конвертах.

Творческая группа, работавшая над подготовкой издания, благодарит всех, оказавших помощь при подготовке «Романа в письмах» и поддержавших дальнейшую работу над третьим (дополнительным) томом. Выражаем отдельную благодарность за помощь в подготовке третьего тома Григорию Максимовичу Бонгард-Левину, Владимиру Николаевичу Захарову, Сергею Дмитриевичу Шелову, Георгию Федоровичу Добровольскому, сотрудникам Библиотеки-фонда «Русское зарубежье» Олегу Анатольевичу Коростелеву и Олегу Тимофеевичу Ермишину, Директору Дирекции Президентских программ Российского Фонда Культуры Елене Николаевне Чавчавадзе и сотрудникам Фонда, директору Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Сергею Дмитриевичу Черкалину, заведующему экспозиционным отделом Сергею Николаевичу Овсянникову, библиографам и сотрудникам отдела русского зарубежья Государственной публичной исторической библиотеки и всем исследователям творчества И. С. Шмелева, поддержка которых содействовала изданию этой книги.

Письма



1

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23.IX.39

Un cadeau modeste pour votre fête (de patron) prochaine.
Je pense souvent avec de grands soucis à vous.
Votre Olga Alexandrovna Bredius[i]

2

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.X.39

Дорогой Иван Сергеевич!

В ответ на Ваше душевное письмо сегодня, я посылаю Вам большое письмо[1]. И в ответ, и частью самостоятельно. И именно потому, что оно большое, боюсь не пропало бы. Потому, хотя бы этой открыткой, хочу Вас от всего сердца поблагодарить за Ваше участие. Вы меня очень тронули. Я в письме уже Вам сообщила, что на этих днях получила разрешение моим родным. Это было равносильно чуду, т. к. никому не делали исключений. Голландия, когда-то очень гостеприимная, теперь принуждена обстоятельствами быть очень строгой. Я очень много пережила за это время. Как часто я думала о Вас, о Горкине, о Вере сильной, простой, детской. Если бы я могла говорить с Вами лично, то многое могла бы сказать о том, чему в этот месяц я научилась. Очень надеюсь, что письмо все же дойдет, — было бы досадно, если бы оно пропало. Но если оно Вам чем-либо не понравится, то простите. М. б. нехорошо так много говорить о своей семье и о себе. Как удивительно сердечно, тонко и душевно Вы утешаете меня в Вашем письме! Да, мы Русские знаем, что такое к у л ь т у р а! И да сохранит Господь Бог всех, зажигающих и несущих этот светоч культуры! Напишите мне, как живете Вы?! Если можете — пишите! И хоть Вы мне и не позволи-

---

[i] Скромный подарок к наступающему празднику (Вашим именинам). Я часто думаю о Вас с большим беспокойством. Ваша Ольга Александровна Бредиус *(фр.)*.

ли Вас так называть, но я все же скажу: Вы — учитель наш, Вы тот, кто освещает путь к Богу! Вам нельзя умолкать. Подумайте, если бы все потонуло в этом материальном, гремящем пустой бочкой[2], мире? Что бы тогда было с нами? Нет, Бог да осенит Вас тишиной и оградит от злобы мира! Пойте Прекрасному! Пойте о Прекрасном! Будьте здоровы! Как и где Ваш племянник? Да сохранит его Господь для Вас. Я понимаю, как тяжело Вам писать, но все-таки пойте! Мой душевный привет Вам!

Ваша Ольга Бредиус

3

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.I.40

Дорогой Иван Сергеевич! По моей вине так надолго задержались весточки от Вас, т. к. я сама не писала до русского Рождества. Теперь мне так грустно и тревожно абсолютно ничего не знать о том, что с Вами. Как провели Вы Праздник Рождества Христова? Праздники всегда обычно тяжелое время у нас, изгнанников. Остро чувствуется утрата праздника. Боже, Боже, бедная Россия! Бедные русские воины[3], безвинно посланные на убой, рабы сатанинского владычества. Нет, я не могу спокойно слышать об этих десятках тысяч братьев, в своем большинстве таких же как и все мы, истребляемых и пулями, и голодом, и холодом. А о русской душе трактуется на перекрестках как попало и что попало, русская честь заплевывается, мажется для «красного словца» в бойком фельетоне и т. п. На днях я горько страдала от бессилия что-либо сделать против прочитанной мной клеветы на всю Россию, — *не* на U.S.S.R.[i], а на Россию, на Петра I, на русскую доблесть. Хочется в соучастии еще одной русской семьи устроить хоть для детей русских нечто вроде собеседований о Родине, чтобы хоть им дать правильное освещение фактов, а то они уже тоже верят, что Россия при царях была еще более дикая, чем теперь. Дети русские тут обезличены духовно. Как хотела бы я вдохнуть им чары Ваших книг! Каждый из нас обязан следить за молодыми силами, помогать им остаться русскими. Но не знаю, как пойдет жизнь, ибо тревожно. Даю Вам на всякий случай адрес, по которому меня Вы в случае чего можете найти, даже если бы нам пришлось уехать, об чем Вы конечно узнаете: p./a. Familia Bredius, Aerdenhaut (N. H.), «Rockaertsduijn». Hollande. К маме меня не пустили ни за что[4]. М. б. поедет муж, т. к. по делу ему мож-

---

[i] СССР *(фр.)*.

но. Они все еще мучительно колеблются в решении! Я же боюсь оказывать на них давление, хотя душой очень хочу быть вместе. Как отдых от всего тяжелого — Ваши книги. Всякий раз все новая волна симпатии (даже любви, я бы сказала) к Вашему чУдному батюшке. Если бы теперь побольше таких людей! А как редко такое счастье иметь таких родителей, как наши! И, в сущности, как должны мы ценить этот дар, как бедны были бы мы на всю жизнь, не имевши таких отцов! У нас снег сегодня напоминает Россию, даже санки с колокольцами катятся мимо окон. Но я не могу выходить, т. к. уже 10 дней больна кашлем. Мужа вызвала, а он свалился и сам. Ну теперь лучше. Главное это не грипп, а простуда. С душевным приветом

Ваша Ольга Бредиус

[На полях:] Черкните, если можно!

О моих очень беспокоюсь.

4

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.IV.40

Я чувствовала, что получу от Вас сегодня весточку[5], дорогой Иван Сергеевич! Какое Вам за нее большое спасибо! Я с воскресенья начала вставать, — вернее, доктор заставил для пробы. В понедельник ко мне приезжал батюшка из Гааги[6] и приобщил меня Св. Тайн. Ничего еще неизвестно что со мной, — доктор «не хочет делать мне иллюзий» и не исключает возможности повторения, т. к. причина неизвестна. Если Бог поможет, то хотим для диагноза привлечь очень хорошего специалиста, и для этого я хочу лечь в клинику и сделать рентгеновский снимок. По анализу до сих пор оказалось, что никаких указаний на заболевание почек нет абсолютно. Можно бы предполагать какое-то механические повреждение, но странно, что не было боли совершенно. Т. к. я сама около десяти лет работала в клинике медицинской ассистенткой и, благодаря тесному сотрудничеству с очень хорошим врачом[7] (русский!!), я много всего видела и знаю. Часто я даже ему на пробу высказывала свои диагнозы, и очень часто правильно, и самые необычайные заболевания мы обсуждали вместе и т. п. Всю аналитику я знаю как свои 5 пальцев, а потому и страдаю самыми ужасными предположениями, а также очень неудовлетворена лечением и отношением врача к такому серьезному делу. Очень жалею, что не удосужилась завести для себя маленькой лаборатории, что давно хотела сделать. Но я так устала от моей очень тяжелой работы в клинике и от людского горя, что хотела хоть немного отдохнуть без болезней и все-

го, что их напоминает. Работать приходилось от 8 ч. утра до 11 ч. вечера без перерыва, работать не автоматом, а со всем сердцем и душой. Всякое новое открытие я должна была провести на опытах, а кроме того еще вести курсы для врачей и учениц-лаборанток. Я столько видела смерти и горя, что у меня не оставалось веры в здоровую жизнь. Но достаточно об этом... Милый, родной, любимый Иван Сергеевич, я Вас очень за все благодарю. «Родное» у меня есть, — не высылайте. Я о Вас очень часто думаю, а милую Дариньку люблю всем сердцем. «Пути Небесные» мы перечитываем все. Как много хочется Вам сказать! Все мы шлем Вам привет! Ваша Ольга Бредиус

[На полях:] Когда-нибудь (?) я напишу Вам о том, как я живу и думы о детках. Странно, что Вы это угадали затронуть.

Я очень слаба, не могу ходить.

5

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.V.40[i]

Дорогой Иван Сергеевич!

Сию секунду получила Вашу открыточку[8] и... в тревоге и горе пишу Вам, прося помолиться обе мне, ибо я опять больна, — через 1 1/2 часа везут в Амстердам в больницу. На Пасхе во вторник у меня снова случилось кровоизлияние, и доктора настаивали на немедленной операции (м. б. вынут всю почку), так меня запугали, что я вся уничтожилась. В среду меня приобщал батюшка наш и утешил, а муж мой был у большой знаменитости по почкам, который хочет еще снова исследовать и такого страха не внушает, как другие 2 доктора. Мой первый врач — хирург и, не зная точно что у меня, хочет делать операцию, т. к. считает рискованным оставлять дальше, а домашний врач только его слова повторяет.

Теперь буду ждать, что скажет «знаменитость». Я очень измучилась. Помолитесь! Хирург-то ведь тоже считается тут хорошим врачом, и поневоле считаешься и с его словами. Он думает, что это опухоль у меня, которую он сперва принял за воспаление. Боюсь очень! Помолитесь!

Пасху мы встретили чудно. Причащались тоже в Великую Субботу.

Думала о Вас.

Будьте здоровы. Ваша Ольга Бредиус

---

[i] Описка О. А. Бредиус-Субботиной: 3.IV.1940. Авторская дата исправлена И. С. Шмелевым, его помета: 3 мая, мая!

6

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.VII.40[i]

Неуверенный, что найдет Вас мое письмо, все же пишу Вам, душа не терпит — узнать, как Ваше здоровье, милый друг Ольга Александровна. Последняя Ваша открытка была помечена 3.V: написали, что опять больны и через 1 1/2 часа Вас везут в клинику на операцию, в Амстердам. Ответьте, милая. Хочу верить, что Вы живы, оправились, душа моя говорит, — да. Дай, Господи! Я тогда буду счастлив, хоть и никогда не видел Вас, моего друга-читателя. Ваши письма раскрыли мне Вашу светлую душу. Я получил Ваши цветы на Пасху. Живите, с верой глядите на мир! Храни Вас Бог. Я живу покойно, но не пишу, а созерцаю величайшие сдвиги в мире. Помните тютчевское: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...». А я..? Полное одиночество. Но мой Ивик жив, далеко, в Пиренеях. Целую Вашу руку. Ваш Ив. Шмелев

7

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[март—апрель 1941 г.][ii]

Каждую минутку думая о Вас и всей душой будучи с Вами, шлю Вам мой сердечный привет, дорогой и неоценимый Иван Сергеевич!

Как-то Вы себя чувствуете! Как идет Ваша работа? Как здоровье?

Без конца задаю себе эти вопросы и стараюсь угадать ответ.

С какой радостью я повидала бы Вас! На душе так много всего, что не выразить письмом. Время летит, все как-то быстро, беспокойно, — нельзя сосредоточиться. У меня очень часто бывает как-то мутно, тоскливо на душе; — жизнь сложна (разумею я, конечно, не внешние трудности, не общественные события и т. д., а внутреннее состояние), а я так несовершенна и так очевидно еще мало самостоятельна, что во многом не могу разобраться.

---

[i] На открытке пометы О. А. Бредиус-Субботиной и почтовой службы: Получила в 1941 г. (ноябрь?); Возвращено отправителю, временно не разрешено (*Retour a l'Envoyeur non admis provisoirment*, *фр.*).

[ii] Датировано И. С. Шмелевым. Помета: Голландия, с оказией (из Берлина).

Мне так не хватает водительства Вашего. Хочется хоть раз выслушать Ваш суд над собой и взять его в основу пути. И сколько раз я собиралась написать Вам подробнее, но убедилась, что это невозможно. И язык-то человеческий беден, а уж об его письменном изложении и говорить не приходится.

И все какая-то суета, не дающая душе отдыха. Теперь у нас масса дел по сельскому хозяйству, но к сожалению все они неприятного, административного, так сказать, характера: борьба с жульничеством работника, который, видимо, задался целью мужа выпустить в трубу. Ну, Бог помогает. Все эти недели мы прямо как в угаре из-за этих дел. А идет пост[i] и так бы хотелось тишины... Я непрерывно думаю о Вас и мысленно говорю с Вами, очень, очень желая увидеть Вас... Очень возможно, что мы переселимся в большой барский дом в имении[9] (рядом с нашим хутором снимем его возможно). Сегодня мы там были — чудесно хорошо. Я все-таки мечтаю Вас вытащить на отдых к нам. Возможно это? Подумайте! Там тишина, как на острове, птицы поют, кругом парк, а подальше яблони.

Мне так хочется Вам что-нибудь приятное доставить!

Милый Иван Сергеевич, я посылаю Вам очень маленькую «посылочку»[ii] — хотелось бы все это устроить иначе; — м. б. что-нибудь Вы сами придумаете, чем бы отметили себе Пасху, на память обо мне хоть цветочек себе поставьте. Я верю, что Вы не рассердитесь на это. Фотографию хотела свою послать, но ничего, кроме любительской из последнего времени не нашла.

Самый мой душевный Вам привет! Будьте здоровы и Богом хранимы! Ваша Ольга Б.

8

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Черновик]
[24—25.VIII.1941]

Когда красиво небо или слышно птички пенье, иль просто кузнечики стрекочут ночью и звезды светят, — я думаю о Вас... Перед отъездом из «W.»; как-то, было так чудесно... был свет закатный, розовый и золотой, был им весь парк наполнен. Я вышла в сад и замерла от очарования. Весь запад неба румянился нежнейшим светом, от пурпура до розоватости перламутра, переходя в оттенки чайной розы. Напротив, на востоке все было чисто, чисто и голубело нежно и прозрачно. И был

---

[i] *Подчеркнуто И. С. Шмелевым.*
[ii] Помета И. С. Шмелева: (прислано [через] X. 15 reichsmark).

контраст тот так необычаен и обаятелен, до целомудренного трепета...

А вдалеке уж, где-то на горизонте туман спускался тонкой сеткой, скрывая резкость очертаний и уводя куда-то дали. А парк дышал под перламутром неба, и зелень казалась майски-яркой. И тишина... Казалось будто сон все это, виденье, и неживые на лугу коровы...

Иван Сергеевич Ольга Ольга Ольга Оля Ольга

9

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.IX.41

Вдруг неотрывно потянуло перекинуться с Вами словечком, мой дорогой, далекий друг! У меня масса дела, неинтересного, все с пыльными вещами возня и т. п., — писать большое письмо потому все еще не соберусь. Для него я хочу покоя... Но вот сейчас прямо не могла молчать, бросила все и... думаю о Вас... Как Вы живете? Вы такой скромный, — чуть начнете что-нибудь о себе, как сейчас и оговоритесь, и извинитесь за это. А я ведь только и жду когда Вы о себе что-нибудь скажете! Ах, как прямо физически больно сознание расстояния... Ну неужели же я не могу Вас увидеть!? Я не могу этого себе представить... Мне кажется иногда, что я бы не пережила от радости этой встречи. Вы для меня действительно — Пророк. Ну, не бранитесь! — Какое небо сегодня голубое, как тихо, как ласкает солнце! — Паутинки уже летают и ласково щекочут глаза и щеки. А по утрам туман и так прохладно... Петух сейчас пропел, и дети кричат, идя из школы. Такие радостные звуки. И солнце так ласкает, — как поцелуй перед разлукой... И это уже... осень. Рябины уж розовеют. Мой милый Вы, чудесный, далекий, родной и близкий, — чем мне обрадовать Вас? Что я могла бы для Вас сделать?! Мне так хочется все время хоть что-нибудь для Вас придумать, — хорошее, радостное, светлое... Вы мне так много дали жизни, и вот Вы (а не я Вам) дали мне новую жизнь. Я преклоняюсь перед Вами. Вы какой-то необычайный!

Ваши письма и «Неупиваемая чаша» у меня в ночном столике, и я их всегда читаю. Помню еще давно, когда я прочла «Неупиваемую чашу», мне как-то вдруг стало тепло, почувствовалось Святое. Я удивилась помню, что в наше время пишут еще т а к о е. Но «Пути Небесные» непревзойденны, ни Вами и никем! «Пути» — это действительно все, для чего стоит совершить свой путь в нашем жестоком мире!

Вам, автору их, целую руку, писавшую их! Благоговейно, преклоняясь... Привет душевный от О. Б. С.

[На полях:] Газету получила[10]. Но, милый, я ее имею. Т. е. не прямо я.

Получила письмо от M-me Земмеринг[11]. Ваша знакомая?

Пришлете Ваш портрет?

10

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.IX.41
1 ч. дня

Светлая моя, сегодня посылаю Вам заказное письмо (8 стр.), там «Свете тихий»[12], — как Вы хотели. Пусть эта картинка будет для Вас толчком — писать. Перестаньте трусить! Роман пишите, хоть о себе, — н а й д е т е. Вы всегда во мне. Помните это! Я уже не могу помыслить, что моя жизнь может быть в н е Вас. Если не увидите меня — живым, увидите портрет, — последний. Но я все же надеюсь, иначе — для чего же все шло т а к, как шло?! из письма Вы в с е поймете. М. б. оно покажется Вам — бредом, но ныне и бред — для меня счастье. Верю, хочу верить, — не посягну ни на единую слезинку Вашу, ни на единый вздох Ваш! Как я жду писем! Такого — никогда еще в жизни не было со мной! В чем такая с и л а Ваша? В огромном с е р д ц е, в безмерном богатстве души Вашей. Вы отдадите его творчеству. На Ваши письма (от 27.VII и 24—26.VIII[13]) — отвечу. На днях м. б. вольюсь в «Пути Небесные». Но сердце так и з г о л о д а л о с ь..! Да что же это, или я милостыни прошу? Ни-когда! Ваш Ив. Шмелев

Если это День ангела Вашего папы — молюсь с Вами!

Да благословит он Вас!

11

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.IX.41

Милая, только что получил (10 ч. утра) Ваше письмо, 31.VIII[14]. Пойте, светлая моя, ласточка... пойте! Я счастлив Вашей светлой радостью. Это ч у д о, что сейчас получил Ваше письмо. Что было бы, если бы <u>не</u> получил! Я чуть было не отправил уже готовое, горькое для меня — и для Вас! — письмо: я навоображал безысходность, что Вы не знаете, как отмахнуться от «похвал», я смутил Ваш покой... — и на прощание посылал «Свете тихий» (про-чте-те!!! — нашел!) — ту всенощ-

ную в м е с т е, чего хотели Вы. Теперь я в с е знаю. Милая, пойте. Знайте: Вы — бесспорны! Узнаете — и будете т в о р и т ь. Не бойтесь жизни. Вы — сами Жизнь! Пишите, что хотите, — о себе, с в о е, большое. Как Вы богаты!! Вам не нужны этюды. В с е скажу, и Вы — познаете себя. Вы вся — артист!! О, как я счастлив, я знаю, я Вам дорог. Верю. А к а к Вы мне дороги, Свет мой немеркнущий! будьте смелы! В с е пишу Вам. Как я страдал! Но Вы воссияете. Ваш Ив. Шмелев

Все Ваши письма получил.

12

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13 сент. 41 г. 12—2 ч. ночи

Дорогой Иван Сергеевич, милый мой, каким ударом сегодня Ваша открытка мне явилась (от 27.VIII[15])! Я положительно не знаю, что думать, что делать, утратила слова и дар речи.

Будто после исполнения чудесной симфонии кто-то оборвал струны...

И вот, совсем просто... неужели Вы серьезно думаете и верите, что Ваше м о л ч а н и е даст мне покой? Что же, неужели Вы вправду верите, что я вот так возьму да и забуду Вас, перестану думать о Вас, не будете писать и... я буду весела и беззаботна... Да? Вы, верно, сами смеетесь, читая это?

Иван Сергеевич, все мои письма Вам шли из души и сердца, где не было места ни экзальтации, ни какой-либо другой раздутой неправде. Не зная Вас, я неудержимо почувствовала острое желание писать Вам... Вы отбранили меня и за Учителя, и за Пророка. Но что же мне делать, что это так. Понимаете, без истерии, а глубоко верно. Не зная даже Вас, я рвалась уже сердцем к Вам, а потом все время тревожилась за Вас, проникнутая постоянным желанием хоть что-нибудь для Вас сделать. Повторю еще: я никогда, никому не писала, никакой знаменитости.

Не отношу себя к тем дамам, которые «бегают» за художниками, музыкантами, писателями.

Ведь знаете же Вы отлично, что сердцем я Вам писала. И разве легче лишить себя возможности хоть изредка слушать Вас? Отойти к тому же первоначальному исходу, к 9.VI.39; ну и что же? Тогда я тоже не могла молчать! —

У меня для Вас в сердце такое чудесное, святое, светлое чувство, что не ему лишить меня покоя. Я не хочу и не могу анатомически дробить мое чувство к Вам скальпелем. Скажу только, что Вы дали мне столько Света, Веры, вытолкнули меня на солнце и дали юношеские грезы. Да, Вы, говорящий о годах! —

Я понимаю, что Вы меня быть может не совсем всерьез берете и думаете, что я уж слишком молода. Помилуйте — 37 лет! Но я не убеждаю. Ах, но к чему же я все время о себе. Что я? Мучительно думать, что я покой у Вас нарушила. И м. б. мне писать к Вам не надо? Не знаю, что думать и как выразить. Ваше недавнее: «живу от письма до письма (конечно Вашего)»[16]. — Я писала, но м. б. не надо было т а к писать?!

Ах, я чувствовала раньше, что Вас у т р а ч у.

Помните? Я Вам писала.

Послушайте, если Вы говорите: «не лучше ли будет для Вашего спокойствия — перестать мне писать Вам?» Если для моего, то нет, не лучше... Нет, нет. Я жду Ваших писем каждое утро. И вот теперь, когда Вы научаете меня начинать верить в себя?! — Теперь перестать?? Но, нет, для меня ничего не надо. Ж е р т в не хочу. Мне Ваш покой всего дороже. Нужно Вам молчать, — ...ужасно, горько, больно мне, — но разве смею я просить? —

И все же я прошу: — пишите... м и л ы й... Я не настаиваю, но просьбу эту скрыть не могу. Но как хотите. Понимайте, для Вас как хотите, как лучше Вам.

Вы сетуете на нецельность сердца моего Вам. Я понимаю. Но все же это как-то и не так. Я перед Вами преклоняюсь слишком, Вы для меня единственный в веках. Вы же сами должны знать, что Вас второго нет. Разве я виновата, что я все сердце свое и душу в Вас нашла? Все то, о чем десятки лет молилась. Я не грешу ни перед кем, и я покойна. Т. е. что значит покой? Какой покой нам нужен? И нужен ли покой?

Что я бледнею и т. д.? Я мучилась тогда от ожиданий Ваших писем!! Но разве с радости и счастья нельзя худеть? И разве не умирают даже от радости? Но впрочем, я не могу все ясно высказать. Говорить словами было б легче.

Ах, да, но не во мне ведь [дело]! Я понимаю, Вам больно. Ужасно это! Но разве так уж больно, что лучше разойтись и в письмах? Скажите!

А помните: «я в ужас прихожу от мысли, что мог бы Вас не встретить, хотя бы в письмах» (не точно м. б., но смысл такой). Я ничего не знаю больше. — Скажите мне, что лучше! Я все для Вашего спокойствия приму, как бы больно мне это ни было. Мне больно Ваше: «мне только полезно “броженье”, для “Путей Небесных”»... Но все же я никакого упрека не сделаю. Но, помните, я Вам писала, что если заняты Вы будете, то хоть 2 слова пишите, что Вы здоровы. Я чувствовала, что Вы болели. Берегитесь: осень и весна опасны для ulcus[i].

Я не верю, что Вы не хотите писем.

---

[i] Язва *(лат.)*.

А Ваше: Анастасия — Ольга?

Что же все это? «Чудесная игра»... или уж нет ее? Знаете, я с каждым письмом Вашим переворачивала новую горящую страницу какой-то дивной, Божественной комедии. —

И Ваши просьбы писать Вам чаще? —

Вы ждали, значит, писем... А теперь? А я не смею ждать от Вас? Вам трудно, родной?

Я плачу, я не могу больше ничего понять. Удерживаю слезы платком, чтоб не оставить «дешевых» пятен.

Я все просила встречи для нас у Вас и у судьбы, но... зачеркните все о ней в моем письме последнем. Вы не хотите, рана — больно. Не надо ее...

Писать я ничего не буду.

Продолжаю утром. Всю ночь горела и не спала. Задремала к утру и ехала... в Париж.

Да, я писать не буду. Писала бы я только для Вас. И даже — уже писала. Я рассказала Вам мою большую драму, 10 лет ровно тому назад. И потому о ней, что это было то же, что и с Вами, хоть и другая была причина. Я узнаЮ ее, мою судьбу, мою, особую, всегда одну и ту же.

Я не пошлю Вам это повествование. Сегодня утром я трезвее. Не надо. И было бы больно не получить на нее от Вас ответа.

Иван Сергеевич, я все вдруг понимаю. Ничего не понимаю (приписка после). Ум понимает, но не сердце!

У меня к Вам просьба: не вкладывайте меня и моего в «Пути Небесные». Это было бы жаль для романа. Он для меня божественен. Себя же я не ценю. Одешевился бы мною (для меня) роман... Если Вам бы хотелось излить Ваше, прекрасное, то пишите в думах о неизвестной, сжигая и расточая в ветер, если бы неизвестная стала мною. Меня никому не надо. Я не хочу лжи о себе, не надо мне чужих, пусть очень красивых, перьев!

Цветок Ваш передо мной всегда. Люблю его. Это махровая бегония — цветок, культивированный особенно в Голландии. Здесь он особенный, красивый. Бывают прямо сказочные экземпляры. Я рада, что он растущий. Розы «говорят» больше, — но они уже давно опали бы. Этот цветок сказал и говорит мне больше розы. А теперь все так мне непонятно. Простите мне мазню. Я вытравила чернила, т. к. написала вздор, сгоряча, как обиженный ребенок. И вот ниже за это просьба о прощении. Эта вставка сделана после, — мне стыдно стало моей горечи (я не смею Вам так писать). И потому некоторая неувязка в последовательности текста дальше.

Я замолчу тогда... Простите, простите меня! Умоляю, ради всего Святого! Простите мне мою жесткость. Я не могу больше! Я все хочу понять Вас и не могу. Перечитываю Ваши письма все, ища ответа...

Как, неужели Вы не будете мне писать??

Но о «Путях Небесных» все серьезно... Не надо меня. «Глаза» я Вам пришлю[17] после вашего портрета. Вы в долгу же у меня. Почему не хотите?

Я Вас не понимаю, милый.

9 июня «Рожденье»? Рожденье в муку? Кто же этого тогда хотел. Не может этого быть.

Вы претворите «броженье» в творчество. Вообразите образ неизвестный, а О. Б. зачеркните. Пусть я послужу для этого в искусстве. Больше мне ничего не надо. Писать я ничего не буду без Вашего солнца. И «золотое» мое письмо[18] проклясть мне? Я слишком волнуюсь, чтобы писать на все ответ. Скажу лишь, что Ваш «Человек из ресторана» был Ваш не первый. И потом мужчине — другое дело. «Мой профессор» говорил мне еще совсем недавно, что лишь к 60-ти годам почувствовал в себе на высшей точке силу творчества. Какой он тоже вечно-юный, сколько в нем шарма! Он вас любит и ценит. Я ведь его дочка (посажёная), и зовет меня он просто «Олечка».

Ах, нет, не надо муки. Помните, как ясно и чудесно все было в наших письмах. Откуда мука. Мы только в письмах, — зачем же мука?? Я не поеду, я не увижу Вас, но Ваш портрет пришлите! Сердцем Вас обнимаю.

Ваша О. Б.

[На полях:] Перечитала письмо и... все не то! Все, все не то. Но Вы поймете. Пишите! Это — все!

Письмом я не довольна, но шлю. Молюсь каждый день о Вас, родной мой.

Напишите мне хоть еще один разочек и портрет! Скажите, кто издает «Неупиваемую чашу»? Кто переводит Вас в Голландии?

Странное письмо от г-жи Земмеринг я получила. Она знакома Вам давно?

Первое письмо с «драмой» моей[19] было лучше, но я теперь боюсь его, как и «золотого»!

[Приписка:] Вот еще пара слов о Вашем здоровье: берегитесь ради Бога! Осенью особенно диета, тепло и спокойствие. Нервность то же, что нарушение диеты, даже хуже. Нельзя резкость движений допускать, много ходить и главное — не волноваться. Диета — молоко и масло. Можно это? Как бы я рада была иметь Вас здесь — у нас свое, отличное молоко. Кашки, пюре всякие. Но Вы, конечно, давно все это знаете. Я работала в специальной клинике для желудка. Знаете Вы, между прочим, что язва желудка и двенадцатиперстной кишки — типичная болезнь молодых? Молодые страдают ею обычно, а к старости она проходит. Сколько я этого видала. Вы слишком кипи-

те! Вот и результаты. Мы много опытов делали. Всякое волнение, эмоции и т. д. отражаются на ulcus. Помню как один пациент (мой большой приятель) лежал с зондом в duodenum'e[1], все шло как по маслу. Но меня просил доктор взять у него немного сока (желчи). Когда пришла я, и мы шутливо, мило перекинулись словечком, — то вдруг, — все насмарку — желчь перестала идти, а все заполнилось желудочным соком. И бедному пришлось лежать еще 2 часа лишних. Шеф смеялся и ходил за соком сам. Радость пациента от встречи заставила желудок усиленно работать. Понимаете, от того и аппетит и т. п. Одним словом павловские открытия рефлекса.

Не волнуйтесь! — Обо мне не беспокойтесь. Я здорова. Мучаюсь только от неизвестности о Вас. Поступайте как это Вам лучше. Я по-прежнему живу мыслью о Вас. В моих письмах Вы достаточно найдете о моем к Вам чувстве. Разве Вы не знаете? А теперь — бодро и весело творите. «Пути Небесные» ждут Вас!

[На полях:] Я снова нашла себя. Я спокойна. Пишите смело!

Как с отоплением у Вас будет??

13

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14 сент. 41
11 ч. вечера

Иван Сергеевич, дорогой мой, родной!

Сегодня написала Вам сумбурное письмо отчаяния. Пишу эту открытку только для того, чтобы, если письмо задержится в почте дольше, чтобы Вы знали, как больно мне, как тяжело после Вашей открытки...

Сейчас 11 ч. — я думаю особенно о Вас.

Хочу понять и Ваши мысли, и хочу, чтобы Вы поняли меня — я не могу остаться без Ваших писем. Для моего «покоя» молчание Ваше — ничего не может сделать; — напротив: я исстрадаюсь от неизвестности о Вас. Но у меня явилась мысль, что Вы просто почему-то другому не хотите писать мне больше. Неужели правда? И я утратила Вас??

Тяжело Вам? Вам трудно получать мои писанья? Мне замолчать? Да? Ну, честно?!

Писала также в письме, что о поездке я не буду больше думать — это больно Вам. Вы зачеркните все, что было у меня о встрече...

Берегитесь осенью, — ulcus опасен осенью и весной.

---

[1] Двенадцатиперстная кишка *(лат.)*.

Как с топливом? Все это меня заботит. Пришлите портрет Ваш. Отчего же не хотите. Неужели хотите меня мучить?! Утратить Вас ужасно, теперь, когда Вы у меня ко мне же зародили веру. Но все так должно, как Вам лучше. Для себя я ничего желать не смею.

Вот это краткое содержание письма. Надеюсь, что получите скоро.

Ваше шло 3 недели!

Будьте хранимы Богом!

Ваша О. Б.

[На полях:] В письме писала еще, что Вы так юны сердцем, и мне Вы дали грезы юности!

Прочтите мои Вам письма и увидите мое к Вам сердце!

9.VI.39 я тоже ведь молчать не стала. Не могла. Кому же надо было тогда «Анастасия — Ольга»? Ответьте скоро! И если даже это будет в последний раз, — ответьте тотчас же. Но я не верю, что Вы серьезно думаете так. Как же Вы тогда меня не знаете. Я не могу быть спокойна, не зная ничего о Вас. Я изболею душой. Пишите! Не мучьте меня! Зачем? Не надо муки...

Всю ночь сегодня не спала, а к утру... ехала в Париж.

14

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.IX.41
5 ч. 30

Милая, ласточка Вы поднебесная, — не знаю, какое слово может выразить Вас, — я ослеплен Вами, — солнечная Вы вся. Сами себя не знаете! Только что — письмо Ваше, — 10.IX[20]. Сидел, щипал виноград, — о Вас, конечно, думал. Теперь я ни о чем не думаю: «Пути» — и Вы — в «Путях». Звонок — и — в неурочный час! — письмо. Увидал за дверью — удлиненное... — меня пронзило сладкой дрожью, чуть не крикнул. Я не читаю — пью Ваши письма. Да что же Вы, чуткая такая к миру, почему так к себе не чутки?! Вглядитесь же в драгоценности свои! Тоже, какое у Вас Чувство! Да ведь с таким богатством Вы в искусстве — что сможете!!! Я счастлив — вижу, наконец-то побороли страхи, — будете писать! Пишите «из себя» — это основа, — а там, Ваша творческая сила нарастит на это «из себя» — что нужно. Никаких заданий выдуманных. В процессе работы узрите предмет... — и он тогда уж сам потребует красок и форм. Вам, свет мой, — когда увидимся, — я расскажу все, все, как мной что писалось, — Вам, только, открою то, чего никто никогда не узнает. Самое глав-

ное из своего возьму, самое показательное: 4—5 вещей. Теорий искусства не люблю. Это — жеваная бумага. Я Вас введу в самое сердце — творческого кипения. С Вашим огнем, с Вашим Сердцем... с Вашей сверхчеловеческой чуткостью, с Вашей страстной и нежно-робкой, осторожной душой — Вы дадите необычайное. Я — вижу. Я Вас шаг за шагом проведу по ступеням, как восходил в своем.

И Вы почувствуете, прав ли я, говоря, — что Вы овладеете собой и всем, что в Вас влагала Жизнь и — страдания, опыт сердца.

Сколько хотел бы знать о Вас! Все, все дорого мне в Вас. Я не тронул перышков... — они подшиты Вами[21] — пусть так и спят в бумажной колыбельке, положенные Вами. Я смотрю на них, — на них [ведь] смотрю с нежностью, — они для меня уже живые, Вами тронуты, мне отданы — и святы для меня. Это не сантиментальность — не ложная чувствительность — это — чувство. Милая, как счастлив я! Милая, еще как счастлив, что спел Вам «Свете тихий», — Вы уже получили? Так я никогда, ни-кому не пел, дивлюсь, как мог найти в душе такую свежесть! Вы прочтете — это одно, о, если бы я прочел Вам!.. Но жалею — не оставил копии. Вы сохраните. Да, если свидимся, я словами скажу Вам бо-льше, краше, нежней... Во мне бьется сила, творящая. Я сегодня думал — тянуло! — писать вечером «Пути». Но Ваше письмо меня вскружило, — я не буду сейчас... я не могу... — зато после вдвое сумею, втрое. Ваши «Пути», Вы влились в них, мы теперь нераздельны в них. Оля ушла... — она с теми «Путями» слита... — а с новыми — не порывая связи, — Вы, Вы вольетесь в мою Дари... возросшую... Ну, я не знаю... все так трепетно во мне. Я через Вас душу-сердце Родного покажу, в Вас почувствуют Ее, Россию.

Милая, найденная сердцем, жданная сто-лько..! — Это же чудо... ну, найти жемчужину, оброненную в Океане..! — а я нашел, мне Она помогла найти, я знаю! — Святою Волей найденная, я счастлив, счастлив, что живу Вами! ведь только Вами! В 11 ч. вечера я смотрю на Вас, — какое дивное лицо! Это оно — я его всегда чувствовал, угадывал, намекалось тонко-тонко, когда хотел выписать — хоть тень наметить прекрасного, что в сердце, в чувствах, в глазах, в лице... — чистой женщины русской! Это — как A. M. D. — для Рыцаря... «Жил на свете рыцарь бедный...»[22] Ваше письмо..! Я целую его, строки... Милая... милая... ми-лая!

Ваш Ив. Шмелев

Пишите! Сегодня я ухожу в «Пути».

Предыдущее письмо не жесткое, а — восторг и мольба!

Добавление

По существу Вашего письма не пишу: оно неописуемо для меня. Я потрясен Вашим чувством Родины. Будьте покойны, все будет так, как и не ждете, — я сердцем знаю. Вы Ее — любите, Ее... — Она вернется, но сейчас там — Ее души нет, она еще не вошла в истерзанное бесами тело — 24 года терзали!! — О, Бог даст, мы с Вами Ее увидим... Сейчас выжигается болезнь, сейчас плевелы сгорают[23]. Да, и жертва приносится, искупительная за окаянство! Об этом можно говорить — писать трудно.

[На полях:] Я счастлив — что Вы поверили мне, в себя поверили. Вы будете писать! Ну, летите.

Вчитайтесь в «Свете тихий». Он — наш, да?

Благодарю за... «зимние цветы»... ...в теплице?

15

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.IX.41
6 ч. вечера
Почта

Девочка моя бесценная,

О, простите, нежней не могу найти слова, я весь взят Вами, — не слышу себя. Не могу жить без Вас. Сегодня ночью проснулся в 5 ч. — вскрикнул и обнял воздух. Все наполнено Вами, Тобой, милая. Что мне делать?! Я послал Вам семь [всяких] писем, лекарства, — скажите, какие духи Ваши, какая пудра, туалетная вода, ружь[1], карандаш?.. — все, все. Я жду Вас. — Хочу писать — и не могу, Вы все закрыли [мне]. Только с Вами могу.

Ваш Ив. Шмелев

[На полях:] Боже, какая Вы безумица!

Я так счастлив! Болей нет. Дышу, дышу.

Любуюсь на девочку под деревом[24].

16

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23.IX.41

Дорогой, далекий, — шлю Вам привет и жду, жду Вашего письма!.. ...Его все нет еще. Обещанного, ответного. Писала Вам в Рождество Богородицы, но не послала, оробела, уж очень

---

[1] Румяна *(от фр. rouge)*.

вышло и много[i]... как-то очень просто. Вы ведь гений, — нельзя же забывать. Я уж и то боюсь, что часто забываюсь и гляжу на Вас уж слишком «в глаза», а не снизу вверх, как смотрят на таких как Вы. Вы не сердитесь? Я даже позволила себе забыться до... упреков Вам, до обиды. Простили? Я на Вас-писателя смотрю всегда и только «снизу вверх», а вот иногда забудешься... и так чудесно быть с Вами просто. Сию секунду принесли мне Ваш expres[25]. Еще не вскрыла. Читаю...

Прочла и... как итог — прежде всего зачеркнула то, что 5 мин. тому назад еще м о г л а написать... Господи, как удивительно! Чудесно! И дальше... Вы ждете? Ответа? На Ваше? Не на письмо, конечно, а на все, главное... ..?

Ответ прочтите в сердце! В моих муках, радостях и взлетах. В моей болезненной думе, нет не думе, а каком-то пребывании в Вас. Я не могу сказать, что думаю о Вас ежесекундно, — нет, я вся живу Вами. Постоянно. Мучительно чувствую разлуку. М. б. она необходима?..

Я люблю Вас... Какое знакомое и миллионы раз сказанное слово. И потому быть может оно все снова и снова живет и не стареет, как обмоленная икона в храме.

Я досадую на себя, что нет у меня ни слов, ни умения сказать и выразить Вам то, что мной владеет... Как это горько. Я живу Вами так ярко, что Ваша фраза: «воображение Ваше может разгореться и многому повредить» — звучит мне почти что: «учитесь властвовать собою!». Да? Неужели? Я перечитывала Ваши все письма и ужаснулась Вашему такому[ii] трепетному отговариванию меня приехать. Все Ваши доводы считаться «с требованиями жизни» и в этом роде. Мне было горько. Объясните почему тогда так писали. От писем я кидалась к «Путям Небесным» и опять к письмам... Это все сегодня было...

Вы понимаете чего я в них искала? Бессознательно, конечно. Искала только Вашего exprеs'а.

Мне было больно, что я Вам «только для искусства», что для «броженья», что... Вы же сами так говорили.

Ах, я смеюсь от счастья навстречу солнцу. Как чудны дни, как нежно небо, как милы пташки, все, все... в... Вас!

Скажите, не «только» для искусства?

Признаться Вам еще в одном?

Я уже «где-то» знала, без слов, без имени, что все так выйдет и смутно ждала*. Мне так понятно у Дари это «знанье». Вот

---

[i] От этого места зачеркнуто до слов «Читаю...».

[ii] В оригинале: какому.

* Не подумайте, что так вот оформленно ждала, — нет, как-то духом ждала. Это не объяснить.

и сейчас я знаю еще одно. Я знаю то, чем Вы больше всего томитесь. Нет, не скажу пока что. Это очень свято и чисто! — Безумный стих мой Вам сказал бы. Там бледной тенью скользнуло это, как дух мимозы!... Но не пошлю. Нет, нет!

Вы как-то обещали мне рассказать о начальной искре «Путей Небесных». Расскажете?

Мне хочется писать Вам очень много. О музыке. Я писала много о музыке в Рождество Богородицы. Но сейчас я не могу. Я с трудом пером владею. Поймали птичку. Она, конечно, чуть-чуть трепещет, бьется. Ах нет, нет, все, все не то! Сил нет, слов нет, вся полна Вами. Давно, до этого письма, задолго.

В изорванных письмах Вам стояло: «Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой»[26]. Не помню, послала ли?!

Я раньше Вас осознала то, что бессмысленно не увидеться с Вами. Я уже тогда ощущала этот ужас далёка.

Я, всегда рассудочная, — больше не рассуждаю. Я вспоминаю когда-то мне самой сказанные слова, что нельзя думать и рассуждать в счастье.

Знаете ли Вы, что меня звали мужчины (в Германии) — много пришлось слышать — «Sie sind in einem Begriff gut zu verhüten — Fischauge»[i]. Один врач меня пытал даже (для психологического опыта, конечно), хоть во сне не бываю ли я иная. Думал, видимо, что имеет дело с ненормально-развитой психикой. Поил шампанским, под всяким благовидным случаем, приглашал даже и родителей моих (одна бы не пошла с ним), в танцах разжигал и т. д. и удивлялся...

В клинике я много видала. Держала себя сверх-строго. Из тех никто не знал, как я любить умела. Но и тогда.., любя, сколько перенесла я горя. И сколько раз помог мне р а з у м.

«И разумом всечасно смирять...»[27] и т. д.

Я слыла за «русалку», бесчувственную, за «infantil»[ii] и т. п. Иные просто решали: «es ist ein russischen Тур»[iii]. При мне смолкали иногда. Однажды я оскорбилась на замолчавших, т. к. в числе их была моя помощница — девушка, — следовательно, замолчали не из-за «мужского» в разговорах.

Я прямо это им сказала. Тогда они мне объяснили, что говорили очень откровенно из их практики (он был гинеколог) и стеснялись при мне, т. к. «Sie sind so furchtbar keusch...»[iv].

Довольно... Я сдержанна была. Чрезмерно иногда рассудочна.

Теперь же, — я не понимаю.

---

[i] «В одном отношении Вы хорошо защищены — рыбий глаз» *(нем.)*.

[ii] Здесь: «заторможена» *(нем.)*.

[iii] «Это русский тип» *(нем.)*

[iv] *«Вы же так необычайно целомудренны»* *(нем.)*.

Вы не осудите, что я... принадлежа не Вам, пишу так? Мне больно упомянуть об этом, — смертельно больно. Но это надо.

Я в совести ищу ответа. У И. А. о совестном акте[28] много. Я не нахожу укора.

Пока что не скажу Вам больше. Ничего.

Скажу, что Вы — такой, какого я всю жизнь искала. Искала несознанно, в молитвах, в сердце. Не ветреность это, не влюбленность, не «Анна Каренина» (не люблю эту вещь, не люблю Толстого!), не «со скуки» или от «неудовлетворенности в семейной жизни». — Нет! Но потому, что Вы — единственный. Пред Вами преклоняюсь!

Как я хочу, чтоб Вы забыли все это: «годы», «зимы цветы» и т. п.

Скажите правду, — неужели Вы давно не угадали, что во мне к Вам?

Объясните, отчего можно полюбить не видя, просто в письмах?

Я безумно, счастливо-несчастна! Я стала вдруг такой бездумной, утратила себя и все это (Ваше!!!!) «надо считаться с условиями жизни». Хочу Вас видеть! Б е з у м н о хочу!

Это не слово «институтки» — «ужасно», «безумно». А в этом смысле одобрил бы такой подбор слова даже и И. А. (не любящий «страшных слов»)... Милый, прекрасный... любимый давно и нежно, нежно. Навсегда любимый...

За что мне такое счастье? Я только всегда боялась, что Вы именно себе «намечтали», — а *я* не заслужила. Оттого все и писала так.

Пишите мне все, все. Не смущайтесь.

Как мучает, что Вы больны опять. Родной мой, я только сегодня хотела спросить Вас, курите Вы или нет, и хотела просить беречься. А Вы уж и ответили... Берегитесь! Умоляю. Я, увы, сплю плохо. И чувствую себя неважно. Пройдет. Уеду скоро. Не к Вам, а в лес. К Вам не выходит. Но в сердце знаю, что увижу, приеду. Я собиралась к одним знакомым в Meudon'e[29] — было бы легче для визы, — но так стесненно. Мое бы время я только с Вами делить хотела! Ну, посмотрим. Будет так, — как нужно. Бог укажет...

[На полях:] Мне показалось вдруг, что Вы хотели бы услышать от меня словами сказанное, прямо... И я хочу того же. Хочу сказать, что л ю б л ю Вас. Милый, чудный, мой! Обнимаю Вас долго, долго. Здоровы будьте! Благословляю! Ваша О.

Болею за бабушку[30]. Не согласна по-прежнему в оценке хирурга. Я его знаю. Он такой же мерзавец. Вы коснулись этого — я не хотела писать. Все, все я знаю, ничто мне не ново. И потому — еще ужасней.

Пишите же! Пишите скорее...
Посылаю духи мои вот здесь[i], чтобы почувствовал меня.
Радость моя, солнышко мое!
Что, что смогу я сказать еще?! —

17

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.IX.41

С Ангелом! Мой светлый друг, дорогой мой, именинник мой чудесный!

Как удивительно: — во славу Иоанна Богослова!

Несу Вам столько ласки, любви и нежности, — молитвы за Вас и с Вами вместе!..

Будьте бодры и радостны, и прежде всего здоровы!

Умоляю — берегитесь! Я очень о Вас волнуюсь. Как я хотела бы, чтоб было все у Вас ясно, радостно, успешно!..

На этот день и дальше... на много, много времени, до окончанья труда желаю, чтобы «Пути Небесные» легко и радостно творились. И как молю я Бога, чтобы открыл он Вам (и мне!) Пути!

Послушайте: — как просто, как хорошо и ясно: все в Божьей воле!

Никогда не надо муки! Он все знает и всех хранит! Мне хочется к Дню ангела сказать Вам, что постараюсь, что хочу принять и потрудиться над Божьим Даром. Я верю, что Вы этот дар открыли воистину. Для Вас — начну! — Я грешными устами петь Господу еще очень недостойна. Я пропою Вам, т. к. полна я Вами. И эта песня святая будет! Из сердца, из любви, и потому — достойна!

Но я не знаю, как приняться. Как надо мне покоя! Как я взволнована, как трудно связно думать! Я жду Ваших писем из «пути» — их нет еще. Я жду в них найти ответы.

Как я счастлива всем тем, что Вы мне рассказать-открыть хотите! Я не могу словами выразить.

Из такого же страха «утратить дорогое», как это у Вас было, — из этих же самых фантазий, — я и надумала все, что было в письмах.

Никогда я не хотела вызвать на лишние подтверждения «похвал», — я просто не могла поверить, что Вы, *не видя* меня, могли так мной увлечься.

Боязнь Вашего разочарования остерегала меня самою увлечься и поверить. Ведь мы же не видались!

---

[i] Письмо надушено.

Поверьте, что если б все я от Вас после встречи услыхала, — то безоговорочно счастливая *все* приняла бы с полуслова! П о н я т н о?

Но больше я не хочу об этом! —

Как я хотела бы послушать с Вами наших, любимых: — Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова... Хоть раз бы услыхать еще «Евгения Онегина», «Снегурочку», «Садко», «Князя Игоря»... «Бориса Годунова»[31]... Здесь нет ведь оперы... В России я много в опере бывала. Обожала...

Из чужих люблю Шопена, Шуберта (все «Ш»!), Моцарта.

Рояль люблю я очень, больше скрипки, хоть та и певуча. Рояль — чудесно!! Какой блистательный Шопен!

Бетховена я слушаю серьезно, как детка-пай, и ручки на колешках, в смиренном слухе... А вот Шопену, Моцарту и Шуберту я б улыбнулась сердцем, кивнула бы глазами, бросила бы розы...

Не потому ли что в сердце... Шуберт, «Экспромт 4»[32]... и Волга... Шопена «Вальс-бриллиант»[33] и... та же... Волга..? *Я очень люблю* музыку! Ах, наши! Наши бессмертные, чудесные! И наш Шаляпин! Вы любите его? Нельзя же не любить — он наша гордость! Я не согласна в этом с моим названным папашей, который многое Шаляпину в вину вменяет[34]... За гений все ему, (Ш[аляпину]), прощаю! — Вы вспомнили о девочке Серова. Да, она чудесна! И еще больше я люблю его девочку за белой скатертью с яблоками[35]. Чудесная...

Вы знаете, в душе, где-то глубоко-глубоко у меня искусство не делится на разновидность... Так я духовно вижу, сливаю как бы во-едино искусство Репина, Мусоргского и Достоевского... А Левитан чудесный и Антон Павлович Чехов... Похожи? Правда? А Вагнер с его великим, грузным, но тяжелым гением почему-то рядом с Врубелем. Как давит Вагнер своим величием нас всех букашек! Конечно, гений, — но вот такое чувство. А Врубель?

Серова в некотором роде я ставлю рядом с Алексеем Толстым. Как все они близки... Как дороги, как вечны! У Достоевского читаю теперь «Дневник писателя», и снова и снова восторгаюсь... Как верно он сказал о чувствовании счастья у нас, у русских... Какой великий он! И какой н а ш! Толстого Л. Н. — вижу теперь совсем другими глазами. И... не люблю. Я исключаю некоторое из «Войны и мира», — есть там непреложно-вечное, божественно, но в целом - - - нет, в целом я Толстого больше не люблю. Мне никогда не нравилась его «Анна Каренина». Особенно в наше жуткое время непонятна эта «трагедия» во главе угла. И почему она — героиня? М. б. я профан, — но ничего не сделать. Прежде я очень любила Толстого.

Тургенев — милый, нежный, какой-то тонкий,.. как Чайковский... Теперь я многое его иначе чувствую, но все же остается то обаяние... Он долго был моим заветным... Теперь... иначе... конечно...

Давно иначе... Что сказал о Вас И. А.! Как это верно!! И как же он Вас ценит. За это его люблю. И. А. — чудесный. Мне так часто его не хватает. Какое то было счастливое время[36]: возьмешь телефон и... вот... он! Теперь же, — редко, редко скупые письма. Он мне был вправду за отца. И сколько мне помог советом, поддержкой. Сколько вынул (и как же нежно и бережливо!) яда из моего сердца! И все, все знает... как никто...

Ну, не сердитесь. «Как никто» — ровно ничего не значит. И. А. был многому свидетель — писать или говорить я ему бы ни за что не стала. Он удивительный психолог. А я тогда болела духом... Вы — несравнимы же! И Вам... мне так все хочется поведать, все... все... Трудно в письмах.

Ни у кого нет такого сердца, Сердца чудесного, как у Вас, любимый! Я перед этим С е р д ц е м склоняюсь. Неохватное, чудесное, святое! Сердце! Ваше Сердце!

И неужели мы не увидимся?! Все в Божьей воле, но неужели? Я где-то в сердце читаю, что «да, увидимся!». От Вас узнать должна я слишком много, для жизни, для этой и для той! Я Вам сказать должна так много, чего не могут вместить ни письма, никакие [песни]...

И я верю... Должны увидеться!

Ах, как ласков день, как светит солнце! И петушок на шпиле[i] храма (рядом) головкой повернулся на восток... Будет хорошая погода!

Обо мне Вы не волнуйтесь — я здорова. Худею, не сплю, — но то от счастья!..

Я не люблю лекарства, пожалейте меня. Зачем?

И на болезнь мою смотрю иначе. То было нужно, да, да, очень нужно! И если надо будет еще — — зачем таблетки? Как в «Ich schaue ins Leben» — о бессоннице[37]... Помните? Все опишу, как было. Как удивительно все было, какое ч у д о было. Да знаете ли Вы, что за болезнь ту я благодарила Бога. И батюшка был свидетель. Все расскажу Вам в следующем письме. К а а к много бы сказала! Нет, это не было последствием гриппа. Разве я не писала? 3 раза я подвергалась этой ужасной пытке обсервации[ii]. Хочу надеяться, что Вам не приходилось и не придется испытать на себе все это. Cystoskopie[iii] — ужасно. Не столько боли, а вооб-

---

[i] В оригинале: шпице.

[ii] Осмотра (*от нем.* *Observation*).

[iii] Цистоскопия *(греч.)*.

ще все вместе взятое. Больше часа лежания на пытке. Вводится аппарат с лампочкой прямо в почки, наблюдают, наполняют, фотографируют и т. д. Плакала я от всего этого как девочка, зная, отлично зная окружающую обстановку. Болеть мне очень тяжело всегда, — слишком знакомо все, до... интонаций взгляда ассистентов. О, как я всех их, всюду одинаковых, — знаю!

3 раза так пытали, и под конец через 1/2 года оказалось, что все пропало. Был (думают так) камень. Отпустили как бы здоровой, без оговорок. Но с условием, в случае кровоизлияния, — немедленно в клинику для cystoscop'а. Видимо, не исключают повторенья. Я спросила о возможностях осложнений при каких-либо неблагоприятных условиях. Сказали, что шансов не больше, чем нормально. Но верхом ездить я не решаюсь. Т. е. я очень бы хотела, но мне домашние мои отсоветывают. Не любят почки тряски. Я думала, что они что-нибудь больше знают, — но нет, кажется что нет. И правда, вот уже больше года как я совсем здорова. Никаких диет и никаких лекарств. Я знаю, что это было, и спокойна! Не беспокойтесь и Вы. Мне это было нужно! Завтра я собираюсь в церковь. Буду у Креста Животворящего молиться за Вас, за нас. И буду думать о чудесном отце* Вашем, любившем «Кресту Твоему...».

Чудесный, милый, родной, далекий, сердечно-близкий, мой! В День ангела я Вас целую нежно и обнимаю сердцем. Ваша Оля

[На полях:] Была в другом фотографическом ателье — не знаю, что получится. Все они ломают лица. До свидания!

Недовольна письмом — ничего не выражает. Люблю безмерно!.. ...Счастье мое!

Когда Ваше рожденье? Мне очень это надо знать!

Получили ли мой expres? 23-го?

Скорей пишите! Жду очень. Ответьте и на прежние письма.

Посылаю цветы из сада — все их сама садила. Розы не распустились — все в бутонах. Молюсь о нас. Благословляю Вас и долго, нежно смотрю в глаза...

18

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.X.41

Милый мой, солнышко!

Только что написала письмо[38] (с вложенной фотографией, и «стих»), и вот пишу еще. Кажется, я поставила 5 окт., — ошиб-

* Так мало из книг Ваших видно мать Вашу. Почему? Были сестры? Есть?

лась. Я сейчас увидела, что уже 6-ое и... потому еще пишу, — т. к. 6-го окт. 36 г. Вы читали в Берлине... Помните? Тогда я видеть Вас могла и слышать... Послушайте, мне стыдно за письмо мое — оно немного безумное... Правда? Я больше не буду так... Я жду каждый день Ваших писем, — пишите ради Бога, — *в этом мне жизнь*! Мне писать труднее, — я буквально краду минуты. Вы же так спокойно можете это делать! Ах, я забыла успокоить Вас, — я совсем не так серьезно разбилась на велосипеде... Нет, сердце не от этого... Ничего не повредила, — кроме синего локтя (до сих пор есть след — пигментирован) и обоих колен — ничего. Потеряла сережки, но и то обе нашла потом. Тотчас же села снова и поехала дальше. Видите — ничего! И вообще я стараюсь взять себя в руки. Как будто бы стало лучше. Но я безумно похудела... Даже не представите! В доме все еще возня — рабочие. Мечтаю о покое. Моя комната выходит очень мило — буду там мечтать и... думать о Вас... Боюсь, что будет холодно только. Она наверху — нет печки. А Вы со мной хитрите! Нехорошо! Я знаю ведь, как вы все там живете. При всем желании нельзя многого достать. Только потому я и хотела послать. К сожалению, не разрешили. У меня отказались принять письмо экспрессом, хотя от Вас идут. Муж подруги все еще здесь. Ужасно! Я мечтала, что к Богослову будет у Вас! Буду о Вас в тот день думать. Бегу на почту! Ваша сердцем Оля

Не забудьте ответить мне: что приблизительно я Вам писала в письме 13 сент.? Кто M-me Земмеринг?

19

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.X.41

Светлая моя, я весь в Тебе. Вчера я весь день был как на огне, не мог дождаться, когда один останусь с Тобой. Оля, Ты мне вручена Господом, сохрани себя для нас, троих! Ты — поняла? Простила мне безумное письмо 7-го?[39] «Возрождение» не может посылать книг, но Ты их получишь. «Старый Валаам» Тебе вышлют из Словакии. Я все силы отдам — сделаю. Я жду Тебя. Во мне боль, и я пью ее, Тебя лаская. Во имя Твое я напишу «Пути» для Тебя. Оля — пиши мне «ты». Ближе меня у тебя лишь твои родные. А у меня нет ближе Тебя. Я Тебя полюбил давно. Я Тебя ждал — давно. Оля, я стал сильней, моложе. Все дивятся. Пришли «глаза». Я читаю «Фекондите дан ля марьяж»[i] — Dr. Вандевельде, ансьян директёр de

[i] Буквально: «Плодовитость в браке» (*от фр. fecondite dans la marriage*).

1я клиник дэ Гарлем[1], — очень раздражает сексуально, но дает много, для плюс и минус. Прочти, должно быть есть на немецком. Я хочу от Тебя ребенка, и я верую, Ты мне дашь его. В такой сильной любви — да, да. Я счастлив и покоен, что теперь у меня есть — кому все мое отдать, весь труд жизни. Ради Бога, храни себя, принимай фосфор, укрепи нервы, принимай селюкрин, — антигриппал. Я за Тебя боюсь. В следующем письме напишу о наших праздниках. Оля, какую я написал главку — сон Дари! [От Твоего о] «белых туфельках». Я плакал. Мы их вместе выберем, для нашего.

Твой вечный Иван

[На полях:] Олёль моя! люблю все крепче.

Что могу послать Тебе, моя кинка? (кинарочка). Портрет теперь у Марины. Ты — увидишь.

Я буду писать каждые три дня. М. б., лучше на другой адрес, скажи?

Не буду писать exprеs. Они тебя волнуют.

Доктор сказал, что я могу иметь десять ребенков «с таким огнем!» Оля, я весь русский. «Вы весь — электрический разряд, как молния».

Какие духи? скажи?

11 ч. вечера. Я говорю с Тобой. Оля, теперь я Тебе молюсь. Оля, Ты вся [чудесна].

20

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.X.41 9 ч. вечера
утро 17-го, 10 ч.

Друг мой, Оля, сердце мое родное, дивная моя... благодарю! Был во тьме, ты засияла, осветила, согрела сердце, и я живу. Эти дни... Не надо, — жить надо светлым, счастьем. 6.X.36 г., читал в Берлине! и тебя не видел, мое живое н е б о! солнышко мое, родная!! Нет, я тебя увижу, Оля... Господь так делает, я верю. Я тебя но-вую увидел, еще чудесней. О, как богата жизнью, как необычайна, какая дивная твоя душа! Чудесная какая «стройка»!! Не изломы тут, не «гололед», не кривизна характера, не «игра» порой, как ты называешь, открываясь... — это огромное в тебе богатство, твоя душа, непонятая несложными людьми, так сложно одаренная душа... Так ясно, Оля... ты же чудесное произведение Искусства, Божьего Ис-

---

[1] Бывший директор госпиталя в Гаарлеме *(от фр. directeur anciene de la clinic de Haarlem)*.

кусства! Благоговеть и поклоняться — надо было, глядеть, как на Икону Нерукотворную... понять так чутко, не касаясь, не оскорбляя взглядом, а о н и... ломились, как на торгу, глумились! Мученица ты, скорбная моя, вся чистая... так я тобой болею, — пусть прошлым, ты мне дорога и в прошлом, ты — в е ч н а я, в тебе чудесные законы Духа, вечные законы, — д а р ы Господни ч е л о в е к у — женщине! Их я знаю, видел, искал воображением, слеплял, — творилась Анастасия, Дари... — признаёшь своих-то? В них многое не выражено, даны намеки, только. Дари — полнее, еще не в с я, ее душа еще не расцвела, только еще в бутоне... — и вот, мне послано — у в и д е т ь, в с ю. Все слезы твои собрал, всю муку, все твое терпенье, все испытания, какие знаю, прозреваю... — ты мне с в я т ы н я, Оля, Богом дарованная: «благоговей, п о й м и!» Я благоговею, хочу понять. Противоречия? Нет противоречий, все планомерно, объяснимо, д а н о. Это — твоя защита, от «захватки», твоя борьба за чистое, искание созвучного душе, тоска и трепет, ожидание и грусть, страх грязи, береженье с в е - т а, вера, что поймут же, наконец... — не правда, разве? Гордо сознавай в себе, что победила т ы... нет, не захватали, не сломили... надломили только, утомили. Неверно разве? Благодарю, родная, товарищ мой, дружка моя чудесная. За доверие твое благодарю, не осквернится твоя душа ничем неосторожным, недостойным, от меня, — я чту святое, жизнь не разменяла, — ломала, утомила, — не убила Духа. Я тобой любуюсь, я так счастлив! Как к Дари, к тебе стремятся, тебя желают, тебя хотят... — чувствуют в тебе... но ч т о?! — не постигают. Н е дано понять, — «загадка», «интересна», «русалка», «гололедь»... !! — «холодный глаз»... — все переберут, кому что свойственно, — не узрят н е б а: не т о г о порядка, строя. Ты знала это... (10 1/2 ночи, стучать нельзя, беру перо. Скоро 11 ч., срок наш, урочный, наше с ч а с т ь е, пока) — и отошла. Не знаю больше. Ты остановилась на... нейтрале, — на «перекрестке»? Дальше... — этого, пока, никто не знает. Тут область Веры и — Надежды. Любовь — пришла. Стыдиться? Не знать — чье это? Тьмы? Света?.. Ну, а сердце — как бьется? ч е м? У меня — о, каким же Светом! Понимаю, в с е. Как сложно. Господь укажет, ты права... и — знаешь. Моя чудеска! Ты признала свою сестру — Дари. Ты ее полюбила, сильно. Много в ней своего открыла. Но всю еще не знаешь. Ты недаром так зачарована «Путями». А я..? Почему их выбрал?! И — когда! И оборвал — на страшной грани. За 10 дней до кончины первой Оли — дописывал «последнюю» главу — 33-ью, — «И с - х о д». Ку-да? Во ч т о?! — Не знал я. Для меня, тогда, — в боль, в страшное. Казалось, — в смерть. Незримо, ты была — тогда,

6.X — 5 лет тому. «Пути» — лежали. Ждали? Да. Теперь мы знаем. Но, знаешь... — ты уже была в них, тебя, — так прикровенно! — искало мое сердце. Ждало? Дождалось? — Да, ты видишь. Выдумал ли я?! Ты чувствуешь. Так ясно стало, теперь-то. Видишь? Кому же это было надо? Такое, все. Тьме? — это — Свет-то мой?! Мои «Пути... Небесные»?! От них тьма тает. Кто возразил бы?! Ну, чувствуешь, какое намечается решение... план будущих «Путей... земных — небесных». Чудесно? Мне самому чудесно! А вот пришло, чудесно. Или — это все я выдумал? Ты светло улыбаешься, моя чудеска. Ну, позволь... я тебя поцелую, чисто, нежно,.. 11 ч. 1 мин. — чуть не пропустил! — Оля, смотрю на тебя, слышу, зову... Оля! Это ты позвала... я пропустил бы, записался... Не могу писать, смотрю, целую... нежно, сильно, Оля! Как тепло на сердце, как я тобой живу... любуюсь... вижу! Необычайная, такая — вся близкая, вся — в сердце... Это ты позвала, услышал я... так легко мне... после этих дней... 7—8—9.X — их я не видел, я так страдал! Три дня... канун Сережиного ангела, день его ангела — канун моего ангела, — день моего ангела... я не был в церкви — был впотьмах, от горя, не поняв письма, как оглушенный. Вот тут... да, тут, в твоем страхе, мне передавшемся, в твоем смятенье... «не посылайте, ради Бога!» — «я не приеду...» — тут вмешалась иная сила, затемнила во мне рассудок, увела от Бога — в помраченье. Я благодарю «контроль», — воистину, это Божья Милость! — что мне вернули два моих «exprеs» — 7-го и 8-го. — Они были безумные (от 7-го — как свыше 4 страниц, от 8-го — как неразборчивое). Сколько боли, зла, — сделали ли бы они твоему сердцу, безвинному. Да, Оля, это была Милость Божия, она спасала. Господи, благодарю! Ты знаешь, вечная моя... перед всем этим, за неделю, или за 5 дней я видел во сне мою покойную, первую мою... она явилась в траурном платье... — я знал, это — к тяжелому, — это бывало не раз. И вот — такой непереносной боли, до боли в сердце, как от ножа, я не знал давно: такое было — с 22.VI.36 г. — день ее кончины, до... долго-долго. До... «встречи»? Да. Последним криком этой боли, новой вспышкой — был день — в самом начале июня 1939 г. — боль крикнула. Ответ — ты знаешь. Кто же это — тьма?! Тьме мой «конец» был нужен, а не... Оля! не святой труд, а его гибель. Ты видишь. Ну, позволь... я поцелую тебя, товарищ верный, крепкий, — подруга, дружка, моя жена... земная — там ли, — этого не знаю. Нет, верить хочу, что будешь, дашь мне силу — все завершить, тобой. Ми-лая, как ты нежно сказала мне! как сильно, как открыла сердце! Как я принял — все, все! Как я люблю тебя, как верю твоему чувству! Какое оно

сильное, святое, — как близка ты! Тут нет греха, тут — правда, Оля. Сама правда. Не в твоей власти это, — это пришло. Открылось, как небо открывается, ночное, — в молнии, — яркий день, день Света. И я неволен, и — ты. Мы не искали греха. Мы оба его боимся. Это все — выше нашей воли. Так я говорю перед своей совестью, перед твоею, — я много думаю, много допытываюсь у сердца. Что я могу? Вижу — это выше сил. Господь все видит, Оля, моя, кроткая, робкая, — ты ищешь правды. Всмотрись, где, в чем же — правда? Ты ищешь в себе худшего, все время. Почему? Я тебе все сказал, кто ты, по-моему, — я же не мальчик, есть же во мне хоть малая способность разбираться в чувствах, в добре и зле? Я тебя — знаю. Понял все в тебе. По совести. И, все зная, говорю: чудесная! правая во всем, одаренная от Бога щедро, до предела! Талантлива — огромно. Всем овладеешь. Все преодолеешь. Такой не знаю, не знал. Тобою, сквозь тебя пойдут мои «Пути Небесные», — или — замрут. Это не в моей воле. Но я буду писать их, даю слово! Вот только разберусь немного, в срочном. Переписка вся запущена. О главном — все в следующем письме. У меня есть намеки, как мне надо. Я попытаюсь тебя увидеть. Надо продумать, навести справки. Не знаю, велика ли русская колония. Я думал — попытаться в центрах — литературные вечера. Списаться надо. Поговорю здесь, в Комитете, с бароном профессором Таубе[40]. Жаль, нет Николая Васильевича ван Вейка[41]. Затерял адрес одной писательницы голландской — Bauer (Бауэр)[42] — сколько было писем от нее, она прислала мне чудный букет — ко дню Троицы, в 34 году, когда я лежал в Американском госпитале, в Нейи (с 24 по 29 мая). Помню, 27 июня[i] был Троицын день. Милая она, выучилась русскому языку (очень хорошо писала письма!) у русского священника в la Haag[ii]. Как я тебя люблю! Сейчас, схватил портрет, так целова-ал..! Ты для мня — Святая, Оля! Вечная. Все равно — какая, хоть бы ты была самая некрасивая, (ты — прелестна!), все равно мне — ты — вся — Сердце! Душа! Я знаю, что в человеке — драгоценность. Надо поискать в письмах. Какой хаос! Мой архив — это что-то непередаваемое. После смерти Оли — я, в отчаянии, хотел все кончить. Роздал мебель, книги — больше 1000 томов раскидал по организациям, школам — друзьям — картинки были — отдал, мой портрет, красками, московский, очень хорошего художника,.. м. б. помнишь — «Перед обыском» — в Румянцевском музее — студент жжет письма? — Да, Калиниченко, был я у него дня 3, зимой,

---

[i] Здесь описка: в 1934 г. праздник Троицы был 27 мая.
[ii] Гаага *(фр.)*.

в имении, Рязанской губернии, — угорел, помню, в его ателье, — он — я нетерпелив на портреты, — в 1/4 часа намазал акварелью, пастелью, чернилами — Оле очень нравился, я ей подарил его... и при разделке (конец!) подарил одному ценителю. И — письма рвал, жег, много важного... думаю — ко-му все это — т е п е р ь-то?! Рукописи рвал, проклинал все. Только ее вещи не мог тронуть. Ее рубашечка, в которой умерла... держал ее все годы под подушкой. Только недавно (летом, в начале июня) — убрала старушка моя, которая приходит убирать — 2 раза в неделю квартиру, новгородская, очень Олю полюбила, по портретам. И тебя вытирает так тщательно, — а я пою из Пушкина, весело когда. И Сережечку очень — так жалеет — все так — «ах, какой красавчик... А супруга — ну, как ангел!..» Она и убрала в комод. Там — все. Все ее тонкие рубашечки, цветные... она любила быть ночной-нарядной. Любила полоскаться, — воду! Так вот: все в хаосе. Пи-сем — тысячи — что уцелело. Надо разыскать. Не люблю. До следующего письма о главном. И о чудесном — о твоем «стихе». Ты — глупышка, трусиха, робочка. Ты — во всем — прекрасна. Я тебе не критик. Я взял в сердце. Чу-десно. Благодарю, родная! Это — счастье. П о ё т твоя душа! Я беру — в с е, — мысль — чувство, (не в форме дело, а в с у т и). П о ё т! Слышу. Это — чудеснейший лиризм. Это — ты — мне. Целую руки, целую глаза твои, чудеска, целую сердце. Как ты близка мне, дорогая! Как нежна душа! Ты ничего еще не понимаешь, что из тебя выйдет! А уже е с т ь, [давно]. Такое ты напи-шешь... вспомни мое слово! Храбрей, трусиха. Все возьмешь. Руки буду целовать, перо — у, птичка золотая. Весь твой, весь, навек. Твой Ив. Шмелев. До завтра. Боюсь 5-й страницы. А все твое пришло, и открытка от 2.X[43] (о, милая, она не страшная!), и от 6.X и — закрытое от 4-го. На все отвечу. Целую. Крещу. Молюсь.

[На полях:] У, живой талант! «Стих» — прекрасен! Какой — напор!! Сила чувств! Это — все!

Умоляю лечиться: почему такое похудание?! Общий анализ, рыбий жир, селюкрин, фосфаты. Оля, завтра я напишу все.

Девочка чистая моя, ты — чудесна! «Стих» — дивно! Я тебе это докажу, в следующем письме и отвечу на все. Все силы употреблю — приехать. Пишу сегодня еще.

Как и Евангелие, Пушкина читай — в с е г д а. И — Тютчева.

Не могу оторваться от тебя, а надо посылать, утро 17-го.

В какой раз перечитал сейчас «Стих». Чу-до! Огромное! Если бы я прочитал публично — зал дрожал бы! Глупая, не трусь.

21

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17 окт. 41 г.

Дорогой мой, милый...

Пишу вдогонку моему вчерашнему письму[44]... Не примите его (вчерашнее) за упреки. Мне это было бы очень больно. Я там «журила» Вас. И только потому, что всем и всячески хотела убедить Вас бросить мутные мысли, успокоиться... Это, и только это может дать нам обоим силы. Мое письмо не удалось, в нем (по стилю, по выразительности) много есть как бы противоречий, на взгляд. Но если Вы постараетесь увидеть мое сердце, то — поймете...

Я — вся рана... мука. Я так страдаю. Я физически больна. Сегодня как будто лучше — м. б. потому что солнце? Я как бы «упрекала» — но это не так, я — мучилась. Мне горько, что ты меня упрекаешь. Ставишь все так, будто меня у п р а ш и в а т ь надо... Неужели ты моего сердца все еще не увидел? Не знаешь ч т о и к т о ты мне? И вот при этом всем — у меня полная безысходность. А ты не понимаешь... Я все для тебя терплю. Я твердо сказала: «если Богу угодно — пусть все будет по Его воле». Иначе я не знаю ничего. Я же не ухожу от тебя. Я и сама этого не могу. Я живу только ожиданием твоих писем.

Пиши же! Будем молиться! Мне горько было, что ты не захотел к Иоанну Богослову. Это — не хорошо. И потому еще журила. Ты не смеешь себя тратить на ненужные мученья! Не смеешь! Ты и силы твои нужны более важному и ценному!.. И главное: — нет причины к твоим таким мукам... Я страдаю от разлуки, но при всем моем желании даже, мне визу не дают — женщин не пускают! Наш батюшка ездил к вам, — м. б. вам тоже можно? Мы должны быть бодры и достойны Господнего водительства. Это мне так ясно. Я же тебе предлагаю только спокойно выждать, не форсировать... Будь бодр, не давай волю нервам! Нельзя! Целую и благословляю!

Будь здоров!

Твоя Оля

[На полях:] Я написала вчера, что «начинаю жалеть, что написала 9.VI.39» — это конечно только как выражение муки моей, за твои страдания, что я их тебе [причиняю] своим существованием.

Будь же другом — пойми! Не к о р и!

У меня не принимают на почте экспресс, — посылаю сама. Все-таки скорее!

22

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.X.41 1 ч. 20 мин. дня

Чтобы не забыть, Оля-милочка, — получила ли мой «экспресс» от 30.IX, от руки? Два — 7—8.X вернулись, а 9.X должна получить[45]. Меня заботит, не пропадают ли на почте или — дома? — мои письма. Подумай, дорогушка, все ли мои в сохранности. Я писал еще 10-го — открытку, 11-го — закрытое. Затем — 15, 17 — утром и еще вечером[46]. Меня тревожит твоя болезнь.

Как случилась встреча с Б[редиусом] и — замужество? когда? Пишешь — «он мне верен, но...» Нет любви? Отсюда... что же?! Разум и сердце потребуют сделать вывод. Рано или поздно... — лучше, чтобы не поздно. Что тебя смущает — скажи. Мой «вопрос» — 25.IX[47] — поставлен прямо, чисто, продуманно. В чем смущенье? Ты религиозная, — может ли в твоих условиях иметь силу такой союз, где обе стороны не отвечают духу таинства? Твое чистое сердце тебе скажет верно. Отсюда — вывод. Тревога за маму, за брата? Это не может тебя связывать. Мама всегда будет с тобой, и брат. Я иду с открытой душой... Помни: близится день Св. России[48]. Не бойся за близких. Ты «проснулась», усыпленная царевна, увидала, можно ли так дальше. Ты говоришь о грехе. Да в чем же?! Ты — чиста, я — все ты знаешь, как я чутко берегся смутить твой душевный мир, ничего не зная, — отсюда мои попытки, — с какою болью! — забыть тебя, любимую... — теперь ты знаешь, к чему привело это. Где же — твой грех? Ты все свято выполняешь, страдая. Церковь наша не благословляет «против совести», не признает «рабства духа». Отсюда — развод. Спроси себя в своей чистоте: «что же делать»? Ответ ясен. Но... поверь, что для тебя — новая жизнь, наша общая судьба. Отвечает сердцу? Все теперь знаешь. Я проверил, мое решенье неизменно. Тебе — трудней. Но — в твоей воле твоя жизнь. Понимаю, надо видеться и обо всем говорить. Я буду добиваться этого. Не знаю, разрешат ли русскому писателю приехать, чтобы читать для соотечественников. Надежды очень мало, но я не опускаю рук. Мне необходимо говорить и с переводчиками на голландский язык. «Солнце мертвых», вышло на 6 языках[49], должно быть на голландском, теперь особенно, когда завершается борьба с большевизмом. Довольно бесы ставили преград в Европе моей книге. Германия ее хорошо знает, вышло до 28 г. — 12 изданий[50]. Теперь — не знаю, сколько. Выйдет в Италии, Испании, — после большевистских «запруд». Будет и в северных

странах. Мне нужно лично говорить с издателями. Вот мотив поездки. Пишу письма, увижусь с деловыми людьми. Полагаю, что ты меня где-то встретишь. Поездка к Сереже — отпадает, — и глухое время, и нет причины быть там. Но если ты потребуешь, я буду всюду, если — буду. То, что Б[редиус] знает, — это облегчает разрешенье: меньше неожиданности. Но если и при этих условиях оставлять «гнилые узы» — жизнь твоя станет нестерпимой. Надо и тебе, и Б[редиусу] сделать выводы. Бог тебя спас от рабства с «деспотом», м. б. от гибели, — Бог дает «пути» и ныне, — не видишь разве? Я тебя не вынуждаю, но с открытым сердцем должен сказать: моя работа литературная может быть полной — с тобой, только. Без тебя — я вернусь к 22 июня, дню кончины Оли. С этим, моим, не считайся, как с главным: главное — это твое счастье, чистое, по-Божьи. Так и поступай. Третьего выхода — нет. Ни ты, ни я — в обмане жить не можем. Б[редиус] — не «кавказец», он должен бы все учитывать, он — достаточно культурен. Если есть «но...» — тем легче. Ясно: нет сродства, ни душевного, ни, кажется, и... «для уз». Кстати, в его облике есть что-то от «колоний», или — от... еврейства? Оговорюсь, это лишь «впечатление». Но главное — ты только теперь узнала, что такое «Жизнь». Ведь тебя, светлая моя, загнали, затравили, заторкали, к пропасти толкали, пытали самое чистое твое... — и ты метнулась. Не говори о «скверном характере», — неправда это. Это была твоя «защита». Повторяю — ты все-женщина, у тебя все ее свойства, в исключительном богатстве. И — главное — богатство сердца, его движений, его... «игры». Но, главнее, — ты — подлинный художник, ты всю жизнь — инстинктом — ожидала, когда «проснется». Вот проснулось... Все твое письмо, большое, от 6.X — совершенно изумительно. Я его много раз читал — и думал: какая си-ла сердца! какое душевное сокровище! О, благодарю, за радость. Это — не похвала моя. Ну, стоит чего-нибудь мой литературно-духовный опыт?! Это — игра чудесных самоцветов, живых, — и как ты ее дала! Это же — преодоление труднейшего! О грани твоего сердца, души твоей, — бился луч света, замкнутый «законом отраженья», — и как играл! О самоцветах, о бриллиантах знаешь... — это тайна Божия, чудо-чудес! Камни — как живое: мечтают, ласкаются, смеются, гаснут, кричат, взрываются, горят, пылают, колют, льнут нежно, томно замирают, обмирают в страсти, нежат, грустят, томятся... думают. Игра их — мысли, чувства. — И все от света. Вот твоя душа, — превыше всех бриллиантов, всех самоцветов. Это душа художника, бо-льшого! Верь мне. Она теперь взыграла, и не заснет. Но... можно убить ее. Господи, не попусти сего! — вот моя молитва. И если нужно, для жизни твоей проснувшейся души,

чтобы я устранился, — пусть, я покорен: ты живи, прекрасная моя... но — живи, а не склоняйся перед тьмой, которой так хотелось бы убить свет твой!

Друг мой, товарищ мой, ровня ты моя... как счастлив я тобою, что узнал твой свет; из пустоты блеснул он мне в страшный день отчаяния моего, — ты помнишь, Оля. И ты себя пугаешь — а если не от Бога?! Ты хочешь еще знаков! Не искушай Судьбу: даны все Знаки. Ты их знаешь. Ты тогда же увидала Небо! ты мне писала, ты рыдала... во тьме? — когда писала? Ты от радостного света плакала, рождавшегося света. Были испытанья, да... и что же вышло? Свет не погас, а разгорался, разгорелся. От — тьмы? От тьмы свет гаснет, умирает.

Все изумительно — в твоем письме. «Стих» — твоя победа. Ты так открылась, так показала ду-шу... боль, метанье — «игра»-то! — благоговение перед божественным в тебе, страх его утратить... — твоя борьба с насилием! — радость — до страсти! — перед тебе открывшимся, радость впервые познанного чувства, расцветшего так изумительно чудесно, чисто... — «к жизни разбудили... все силы души и сердца, ума, воображения, все чувства во мне проснулись...» Оля, Оля... — и это — грех?! «Страдаю... и как счастлива всем этим!» Мы греху не отдавались, ты знаешь. Виноваты в... пробуждении?! Кто может укорить тебя? в чем?! Совесть пусть ответит. Душа сказала все. Кто может требовать еще — мучений?! Бог? Нет, тьма, порожденье мучений. Только.

Не томись, голубка, что мои «Пути Небесные» не завершаются. Они — должны родиться. Они творятся, в глубине, дозреют... — и родятся сразу. Так у меня обычно: видно, не коснулся до слуха чуткого «божественный глагол». Без него — не могут. Я не насилую души. Ты понимаешь — в таком хаосе, что я переживаю, — нельзя. Но они идут, я знаю. В них уже явился Дима... — так надо. Дари растет... — сколько через тебя растет! Ты вошла в мое... что бы не случилось — так и останешься, непоправимо это, и слава Богу. Будь благословенна, свет мой! моя любовь — не мука! Она мне светит. Господи, благодарю Тебя, за этот Свет!

Сегодня проснулся в 5-м часу, и — о тебе, только о тебе! Что я испытывал? Вот то самое, как ты, когда «будто шла на свидание», переодевалась, одна... Снова засыпал, в мыслях о тебе... Чем я силен? Тобой. Ты отворяешь все мои «подвалы»... у тебя ключи. Кто их дал тебе? Не знаю, — жизнь, Бог, — сердце твое нашло их, само, в исканиях, загнанное сердце, замученное сердце... запуганное тьмой... Бог осветил его... я верю, верую, всем сердцем. Чтобы нас губить?! Оля, думать так — ко-

щунство. Бог направляет, одаряет... Отнимет? Его воля. Но искать новых знаков, томиться, дотерпеться до... лжи..? воли своей свободной не проявить..? не помогать «путям»? ждать... чего? чу-да? безвольным чуда не дается... ну-дится оно, как Царство Божье[51], — усилием, молитвой, творчеством, нашим, волевым, горящим сердцем, устремлением к цели, — да, все проверяя совестью и сердцем чистым. Не укоряй себя, ни в чем. Ты — чистая. Я... — нет, я не погрешаю, видит Бог: иду прямым путем, — ты это знаешь, изо в с е г о. Я понимаю всю сложность, для тебя... но — надо же сдвинуть с гнилой дороги, с мертвой точки, — остановившуюся жизнь, — ку-да она вела тебя? Ни-куда, ты знаешь. Так, жизнь впустую, безо в с е г о, топтанье, истомляющее дух, лишающее душу воли. Не считайся ни с чем моим: ни с чувством к тебе, ни с моей работой, ни с «людьми», кому м. б. нужно мое творчество... — только со своим считайся... ты знаешь и мои плюсы, и мои минусы... — я намного старше, все учти, — но, главное, иди от своей жизни, от р о ж д е н и я в ж и з н ь, о т н о в о г о, тебе открывшегося вдруг, — не вдруг, конечно, это длится тре-тий год! — от с ч а с т ь я, — не корыстного, не «ощущений», а ч у в с т в а, — иди от того бесцелья, в котором замирает жизнь твоя... — исходи из всего, что знаешь, — и тебе станет ясно, что же надо. Ну, если примиряешься с судьбою, какая у тебя, продолжай, как было. Я... что же остается мне? — все приму. Ну, м. б. д р у г о е встретишь, лучше окрылишься: я буду все же рад, что ч т о-то и от моего тут было, для счастья твоего... только бы ты ж и л а, моя чудеска, дивная, вся нежность, вся — все-женщина, неисчислимое богатство сердца! О, как я тебя целую, Оля! всю, недоступную. Целую твою ручку, твою душку, т а к о е в сердце мне пропетое. Благодарю за «поцелуй». Ты — бо-льшая!

На все отвечу, после. Вот, пока, о Земмеринг. Знаю ее лет 8. Виделся в мою поездку в Ригу, после кончины Оли. Ей теперь под 50. Моя «Неупиваемая чаша» овладела ею, давно. Кажд[одневно], года ее читает, лет 12. Урожденная Башкирова, — миллионеры. Замужем за немецким колонистом[52], тоже миллионер, из Самары? Теперь они в Берлине. У ней дочь, Милочка, — лет 25, прелестная. Студентка, юрист. Мать «не от мира сего», душой — ребенок, очень религиозная. И. А. ее называл «истеричкой» и даже — «ханжой»[53]. Не очень верно. Это — чистейшая душа. Меня она боготворит. Сопровождали меня в поездках по Эстонии[54] — жили там на даче. Мой успех в лимитрофах[55] еще больше усилил благоговение. Был с ними у границы, смотрел на Псков. Лазили по стенам, развалинам, в Изборске. Вернувшись в Париж, получил письмо: Милочка хотела ехать ко мне, «служить мне», в моей пустоте после Оли. Мать ее бла-

гословила. Я отклонил. Они присутствовали на всех моих выступлениях, — свыше 12, — я был счастлив их любовью. Да и все, — тысячи читателей моих, — все трогательно показали любовь, жалели. Я был в кошмаре, но... выдержал, был потрясен, как меня знают, любят. Осыпали меня дарами, — почти все роздал, оставил — священное, — часть на могилке Оли. В Берлин тогда приехал — выпитый, весь. Ты видела меня, какой я был. Но — читал, держался. Пишут мне. Милочка хотела бы приехать, поговорить, на кого себя готовить, для России. В Берлине многие влюблены в нее, но она ходит в темненьком, как монашка, — «но...» — пишет мать — «действие обратное». Все настаивают — замуж выходить, М[илочка] не хочет, пока, учиться хочет. Хотела на славянский факультет, у проф. Арсеньева[56], в Кенигсберге, но тот служит переводчиком, у немцев. Юридический факультет не в чести теперь. Умная, строгая, «не нынешнего века», говорит мать. Редкие глаза, чуть в сеточке, в туманце, — потому и льнут. Милая, тут, должно быть ревность к «Чаше». Писала мне мать — «поймет ли Вашу «Чашу» г-жа Бредиус?» Она боится... для меня? Но если Вы ее, Раису Гавриловну Земмеринг... учувствуете — полюбите. Если бы она была не замужем, — лучшей — ты не в счет, Оля, ты это знаешь, — если бы не узнал я тебя, лучшей заботы обо мне, о моем — не встретил бы. От «Куликова поля», от «Старого Валаама», от «Вербного воскресенья» — от «Богомолья»... — в невыразимом восхищении. «Куликово поле» — «высота, до которой могли подыматься только святые...» — писала она — и Милочка, — на ее душе пусть это будет: «ни-когда до такого не мог бы подняться Достоевский». «Это — мировое». Чем «странное» было ее письмо? Она старалась, много было хлопот — достать Вам «Чашу». И сейчас все хлопочет, добывает «Солнце мертвых». Милочка позволила себе маленькую «дерзость» — денег мне послать. Я их ей верну, — духи пошлю, еще... — *она любит*, — *это мать мне написала*, *она не знает*, — «Эман» — Коти — «Магнит». Пусть, кого-нибудь лучшего притянет. Отказала в руке какому-то «изящному молодому поэту». Она не приедет в Париж — я отклоню решительно, мне сейчас очень тяжело. Мать так тревожна совестью, что не считает себя достойной вернуться в Россию, «которую оставила в страдании». Дочь — горячая националистка, до... жертвы? Евреев терпеть не может. Я... — почти, я слишком знаю, пронзен в сердце. Как бы я тебе прочел «Куликово поле»! Ночами писал — и дрожало все во мне, в слезах. Дерзнул Святого дать. Евреи из «Последних новостей»[57] бесились, как я осмелился говорить так. О, ты поняла бы, мы смешали бы наши слезы... о, милая... как я тебя люблю, страдание мое и счастье,

тебя я недостоин. Оля, я не буду жить, если ты заболеешь, это твердо говорю, пересиль себя, лечись, — что же так похудела?! Прости, на многое не ответил, я плохо сплю... без тебя нет жизни, тоска, тоска... Прости, я буду *сильным... ничего*, осилю. Только бы б ы л а ты! ты!! Мариночка поможет, я ее просил, покажет тебе мой портрет, большой. Книги издательство послало 17-го две: «Историю любовную» и «Свет Разума», пока. Я после надпишу, нельзя с надписью. Всю целую, обнимаю, весь в тебе, с тобой. Устал я, Олёк... плохая погода, — снег! В С Е у меня есть до излишества. Твой Ив. Шмелев

Оля, не забывай, пиши... Твой, до конца. Ив. Шмелев

23

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Суббота—воскресенье
19.X.41

Мой дорогой, бесценный... любимый мой!

Пишу тебе из постели, — чувствую себя неважно, решила м. б. лучше полежать. У меня все дрожь как будто, то горячей волной, то холодной, по сосудам... И сердце захлебывается и заливается горячей кровью. И... больно... иногда. Все вздохнуть хочется, глубоко-глубоко, а... *больно*. Это и раньше бывало, еще в клинике. Тогда я пила calcium-preparat[i]. Нервное. Надо покой. Я легла, но покоя нет. Я так беспокоюсь о тебе. Я боюсь. Я боюсь, что ты страдать будешь, не так поймешь мое письмо от 16-го[58] и будешь бранить меня. Миленький, дорогой мой... пожалей меня! Пощади, побереги. Поверь, что люблю тебя, и страдаю т о л ь к о за тебя... потому, что ты страдаешь. Я т о письмо писала вся в ознобе, больная, — прости, если жестко. Но я не жесткая к тебе. Я — вся ласка для тебя! Ах, как хочу я быть сейчас с тобой, прижаться к тебе щекой, погладить тебя нежно-нежно!.. Умоляю тебя.... пойми, пойми меня!..

Мы можем любить друг друга — я за это не мучаюсь, *не* «убегаю», не «испугалась». Твое все меня нисколько не «смущает». Как ты можешь т а к говорить?! Но у меня все очень сложно пока, сейчас. Надо хоть сколько-нибудь выждать. Муж мой очень слабый, я не говорила тебе, но он был очень болен. У него была сильная Neurose[ii]. И. А. это знает. Если сейчас что-либо начать — это значит м. б. большое горе...

Особенно, т. к. он к другому не захочет отпустить.

---

[i] Препарат кальция *(фр.)*.
[ii] Невроз *(нем.)*.

Пойми, что для меня эта мука ужасная.

Помоги мне! Отчего это лучший друг-мужчина превращается в противника как бы в сражении тотчас, как узнает, что любим? Останься же мне близким, чтобы я тебя не боялась. Чтобы с тобой советовалась, все тебе говорила. Я боюсь твоих реакций, — ты меня не понимаешь! Отнесись ко мне чуть-чуть как «со-стороны».

Я продолжаю письмо утром.

Вся ночь была в кошмарах. Были странные сны. М. б. что-нибудь значат? И муж плакал во сне, — видел, что его отец умер, после ссоры с ним. Разбудил меня и рассказал в слезах. Я вся разбита. Я пишу даже с трудом. Ты мне ничего не пишешь. Отчего? Неужели тактика? Неужели ты мучаешь меня сознательно. Если я не знаю, что ты успокоился, понял меня, то я не поправлюсь. Я не люблю страшных слов, но я знаю, что я не поправлюсь, если ты меня будешь мучить. Пиши же мне! Не оставляй Олю в мучении! Давай писать хорошо, тепло, светло, веря, что увидимся, что Бог все покажет. Понимаешь, мы сами ничего не можем. Даже визу не получить. Я всю ночь сегодня задыхалась. И сны все такие же были...

Один был легкий... Я в церкви, но ни икон, ни свеч. Свечу я с мамой заказали, большую, дьяконскую[59]. Стоял огромный стол, дубовый, а на нем в серебряных сосудах: ладан зернышками, рис и хлеб. Мы все вокруг этого стола. Батюшка светлый весь. А я в длинных малиновых штанах и белой рубашке с широкими рукавами и в платке, красном. А на ногах белые чувяки. Кто-то говорит, что надо надеть белое платье и так в нем и остаться до воскресенья. Это будто бы в Великий Четверг происходит. А говорит о платье один, умерший теперь, инвалид из Tegel'я, — бывал он периодически сумасшедшим... Я остаюсь, как была, только платок сменяю далматинской шапочкой. И вот стоим... Вдруг влетает маленький белый-белый голубок. Садится на стол и клюет... ладан... Я думаю... символ Духа Святого! Как хорошо! Но тут летит еще один и садится на рис. Я думаю — жаль... почему же 2? И вот 3-й! Летит ко мне! Садится на левую ладонь мою, а в правой руке у меня горит свеча. Я рада, очень рада... и думаю... — 3! Это символ Святой Троицы! Кормлю голубка хлебом, и он остается у меня спокойно и клюет хлеб!

И все...

И вот еще: я должна идти исповедаться. Все в том же странном наряде. Похожа на мальчика-турчонка.

Подхожу к Царским Вратам, закрытым. Жду батюшку, хочется построже. И думаю о грехах... И вот, когда хочу склониться на колени для молитвы... вижу, что на полу стоит огромная

ч а ш а, в золотой оправе красное стекло... Пустая. Даже стенки сухи!

Проснулась.

И еще...

Я получаю твою книгу: 2-ая часть «Путей Небесных».

Я безумно рада. Сердце билось до боли. Беру... как она мала. Тоненькая книжка... Я открываю крышку и вижу, что смотрю с конца. Последняя белая страничка, на которой обычно стоит: «права сохраняются за автором»... написано: «Эта книга последняя, написанная при жизни супруги автора». Я думаю: это же не может быть. О. А. скончалась в 36 году, когда же издавали? Ищу начала книжки и вижу, что вся она полна портретов. Портретов гоголевских типов. И вся о Гоголе. Я в ужасе, что тут ошибка, — переплетено вместе с Гоголем. Волнуюсь. Ищу, ищу тебя, твое имя, разгадку. Я чуть не плачу... И вот... наконец... портретов нет больше. Я жду, что твой портрет увижу. Еще одна белая страничка и...

я проснулась.

Я очень страдаю за «Пути». Пиши их! Ты должен! Ах, если бы ты мне хоть чуточку приоткрыл эту завесу! Я тебя как-то просила. Правда *очень робко*. Смущалась быть навязчивой. *Ты не ответил*. Я не прошу, если не хочешь. Но ты же рассказывал О. А.?

Конечно, я не претендую на такое же доверие. Но мне так бы очень, очень хотелось... *Я уже давно этого жду*!.. Если тебе не хочется, то обойди молчанием![1]

Вся ночь была так мучительна. Сегодня, после шторма, все утихло, и даже солнце. Я встала. Я принимаю твои лекарства. Но трудно унять себя... Пиши! Это — моя жизнь. Послушай, Иван Сергеевич, я не говорю никогда, преувеличивая словами. Все, все так, как я пишу.

Пойми же это! Ты ведь так много меня умнее, такой у тебя жизненный опыт, — помоги мне, успокой!

Самое мое тяжелое — это то, что именно я не вижу выхода. При душевном состоянии мужа (его Neurose) очень трудно с ним что-нибудь решить, и так сразу...

Не говоря о том, что мне вообще тяжело это.

Не то, что я его уж так жалею, что не решаюсь, а потому, что я знаю, *что* может быть...

У него в детстве было одно поистине ужасное происшествие, после чего он не хотел жить. Потом он замкнулся, стал чудаком. Женщины были для него или Мадонны, или девки... средины не было.

---

[1] Впоследствии эти 2 абзаца обведены О. А. Бредиус-Субботиной. Выделенные курсивом фразы подчеркнуты красным цветом.

Во мне нашел он эту середину... Т. е. я его помирила с небом и преисподней. Это играло большую роль в нашем браке. Мы встретились в церкви. Я говорила с его доктором-психологом. Женитьба была его спасением. И доктор добавлял: «даже если вы и разойдетесь, — то все-таки это лучше, т. к. он втолкнулся в среду людей». Он много изменился. Но все же: — у меня жизни нет...

Теперь ты знаешь все. Знаешь, почему мне трудно уйти сразу. Не потому что не хочу, а потому, что не знаю что и как лучше!.. Я говорю, что может все очень просто разрешится, если будет такое подходящее положение, и наоборот, может все кончиться трагедией... Нельзя за его реакцию положиться. Я не хочу сказать, что он ненормальный — нет. Это способнейший, умнейший человек, но его детская драма сделала его подозрительным, недоверчивым, замкнутым, больным. Меня его один школьный товарищ предупреждал. И поездка в Париж могла бы быть для меня роковой. Но я все-таки не оставляю надежды. И чем я спокойней буду, чем меньше подозрений у него о тебе, тем это легче. Я ему теперь сказала, что мне необходимо было бы увидеть тебя для переговоров о твоей литературной работе... Ничего, довольно спокойно... Но пойми, какие силы мне нужны... Потом, нам обязательно надо увидеться... Непременно. Постарайся ты у себя чего-нибудь добиться. Нашего батюшку выписывали его родители. Как-то устроили. М. б. связи? Не знаю. Самое мое главное мучение — это твое мучение. Умоляю: не терзай себя! Пиши «Пути». Бог *все* укажет! Я так верю! Если не суждено увидеться пока, то надо терпеть и петь Богу! Дай же и мне начать! В таком состоянии я не могу! Я тебе много писала об искусстве, о разном, а ты не ответил?.. Почему? Я спрашивала о твоей семье, о твоей матери? Вчера мне было легче, — я думала, что у тебя Ивик. Он ведь бывает по субботам. Тебе не было так одиноко... А ты думаешь я не одинока?! О, как я одинока! Всегда, всю жизнь! И как я тоже люблю тепло и ласку! Папочка меня звал «ласкунчик». Господи, пошли силы! За бабушку я извожусь совсем[60]. Пойми, что надо надеяться только на себя, на свое, — *все* чужие — только чужие! Неужели ты не веришь в свое?? Гордись своим! Это оно так чудесно! Это — подлинное, воспетое тобою! Вся скверна уже не поднимется больше все равно! Ее не будет! Ответь мне скорее.

[На полях:] Обнимаю тебя, вся в слезах, как девочка (я еще совсем девочка!), ищу твоей защиты в горе! Целую тебя, солнышко. Оля

Пиши! Я не могу! Твой цветок дал новые цветы! Пиши мне! Я беспокоюсь о твоем здоровье. Пиши — в этом моя радость! Мое здоровье.

Не обижайся, будто я не хочу твоих «даров», — теперь ты понял почему? Конечно, это мне только радость, и какое лишение отказ от них!?

24

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.X.41
12 ч. дня

Дорогая Оля, получил открытку от 9, отправленную 12-го[61]. Зачем т а к — бесприветно? Наказание? за ч т о?! Не заслужил я. Expres 25.IX ты получила, знаю. А expres — 30.IX? — писан рукой. Пропал? Значит — у тебя пропал. Он должен был получиться 4—5—6 окт., самое позднее! Неужели до того дошло, что в о р у ю т письма?! твои!! — Вот какое рабство! Проверь на почте — expres-recommendies[i]. Затем: expres-recommandies от 7 и 8.X мне вернули, как превышающее 4 страницы (1) и «неразборчиво» — (2). От 9-го expres-recommandie должна получить 13—15, самое позднее. Затем я перестал слать заказом и expres: 10 — открытое письмо. 11-го закрытое, 15 — тоже, два письма от 17.X и последнее — 18.X, закрытое. 17-го издательство послало две книги. Ты видишь, как я весь в мыслях-чувствах — с тобой! А сейчас — такая неприветная открытка! Если бы я был в горячке жажды, и мне любящая рука поднесла к губам стакан воды и... — отняла! За что?! И это — в День ангела! И это — не в мгновенье потемненья, а... — за 3 дня раздумья (отправлено — 12-го!). Никто ко мне не заходил. Я ищу возможности поехать — но надо много хлопотать, узнать, как и от кого зависит. Пишу, жду. Я сегодня напишу полный ответ на твои вопросы. Милая, как я тебя люблю, целую! Господь с тобой.

Твой Ив. Шмелев

Пиши, не мучай.

25

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.X.41
6 ч. 30 мин. вечера

Оля! Дорогушка!

Ольгушечка, Олёк, Олёчек, Олёль моя! Я так всегда хотел, чтобы кто-то подарил мне стило... Не знаю, почему... таил так

---

[i] Срочное заказное письмо *(фр.)*.

это, ж д а л..! И — ты — о т в е т и л а! Ты, только ты! Больше — ни от кого! не надо! — не жду. Теперь я п о л о н! Ты — придешь. Я знаю. Ты — со мной. Твой Ив. Шмелев

Твое перо — н а п и ш е т «Пути». Знаю. Вместе с тобой напишет.

26

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.X.41 1 ч. 20 мин. дня

Полное солнце, барометр — продолжается хорошая погода. Ах, какое солнце, «солнышко» мое, — твое словечко-ласка, как я не избалован ею! (нет, неправда!) — я рад всему от тебя, даже дерг-дерг, моя дергушка, упрямка, нежка! Как одинок... Нет, теперь у меня ты, почти... Я сегодня почти не спал... вставал ночью, любовался на новую х о з я й к у...[62] почти хозяйку.... Не улетишь? Я просыпался часто, — ах, солнце у меня. И ночью не заходишь, незакатка! Свети, свети... мне о-чень холодно, не согревает сердца, пусто так, моя царица, Царица! Так называл тебя... — не правда разве? И вот, пришла ко мне Царица. Да. Я провидел ее приход, чудесный, животворящий. Да, все больше уловляю сходства... как это чу-дно! Так напоминаешь, бегло, неуследимо-верные черты Ее. Да, мученицы Александры. Два раза я спрашивал, н е говоря, кто это... — «о д н а из многих моих читательниц» — спрашивал — «кого напоминает..?» И... — слово мое тебе! — говорили: «Императрицу..? Да, есть что-то... да, Императрица!» Ну, Царица... не прав я был, так именуя, отыскивая для тебя — т в о е? Конечно, прав: ты — царственная красота и прелесть. Прелесть — красота. Я открываю ценности, нетленное, в тебе, в одной тебе! Гимна не пою, ты выше гимнов, ты — н а д ними, — для меня, любимка. О, какая, затемняющая все... о, какая, данная мне в горе, в горьком горе... в безысходном. А знаешь, как бы пошли тебе сережки!.. знаешь, такие длинные, «болтушки»! Как у Ней, ты помнишь? Есть изумруды... г д е -то... ждут тебя. На розовые ушки... повесишь изумрудные «болтушки»... — дают игру и жизнь, — такое оживление дают лицу, глазам... в глазах чуть искры, от таких сережек... радостное такое, детскую открытость, вольность... играют в щечках, оттеняют шейку, эту нежность, — я так люблю висюльки эти, их игру ребячью, плеск их искр.

Да, плохая ночь и — вся с тобою. Неотступно. Тревожно-радостное — здесь, со мной! Было трудно. Очень... напряженно было... понимаешь? Переполнен, — к тебе, к тебе! Я звал тебя,

моя царевна, так ждал... вдруг — чудо!? Оля, Оля... И в чувствах, те-мное... томящее... ты понимаешь... з о в. Безответный. Я горел всю ночь... значит, пришло т а к о е. Тяжела такая безответность, как в колодце. А томленье жжет, повелевает, это ожиданье, бесплодное... ну, как утрата. Что же, как Дари... зажечь свечу церковную и жечь под грудью?[63] Не поможет. Не услышу, в таком о г н е. Дивлюсь. А... годы? Их нет, я юный, будто... сильный... я х о ч у! Значит, пришло, т а к о е. Давно не приходило, уходило — в другой пожар — в творенья ликов, л ю д я м. Им д а в а л всю силу, творящую живое, для них «зачатие» — в пространство, в ветер. О, если бы... живая сила, твоя, твое желание, жгучее, в томлении, в крике-зове, встретилось с моим..! Бог благостию освятил бы н а ш е... дитя мое, заветное твое — желанное... зажглось бы солнце, новое, двойное! Оля, Оля... жди... верь. Но долго ждать нельзя. Могут сохраняться цветы под снегом, но... цвести не могут. Для меня. Но — как мы чувствуем друг-друга, как мы з н а е м сокровенное друг-друга! Как н а ш л и друг-друга! Потерять? Жизнь можно потерять, но — не друг-друга. Я счастлив в малом — и огромном. Для кого-то мало, а для меня — иначе не умею принимать — огромно, — Дар твой. Стило... «картинка», явленье в грезе. Ты. Я счастлив, почти. И... мало, мало... — уже мало. И потому такая ночь — вся — зов. Долго так нельзя, я знаю. И... вот как хочу в «Пути»... — так я оголодал, своим, привычным, — эликсиром жизни для меня. Не хочет спать воображенье, хочет — ж и т ь. Пусть призрачно все это — так вот ж и т ь... но не могу н е жить. Оля, оба мы от жизни получили великую награду, оба. Вот она, награда эта — страдание. Это великий мастер, Гранильщик славный, — Гранильщик сердца. Без мастера такого — и живое — камень, без игры, ну... мертвый камень. Гранильщик тонко, хитро нас огрАнил, миллион фасеток выгранил, все, все, что только можно сделать с сердцем, с духом, с душой бессмертной. В каждую фасетку, гранку... вбросил искру, Гранильщик славный, Гений. Вбросил и — зажег. Мы оба носим эти искры света, огня чудотворящего, игры бессмертной. Наши самоцветы ведут игру лучами, в искрах, радугой сверканий. Не награда? Ей нет цены. Дорогой Ценой мы куплены — для жизни, для прославленья высшего начала в нас, во всем. Надо вернуть Гранильщику хоть часть Им данного, жить этим, Оля. Ну, дай мне руку, крепко, навсегда, — не опечаль Дарителя, — Он смотрит на свое творенье. О, ми-лая... пой Господу, как только может сердце, золотое сердце, сердце Оли. Вот моя рука, пойдем. Не надо смотреть вперед, — в творческом не надо — ни вперед, ни в прошлое, — их нет, есть — н ы н е, только. Понимаешь, что хочу сказать? Творческой в о л и надо, во

всем. Дорога нам дана, вехи давно поставлены. Я — в воле, не склонюсь, не отступлю, никак. Могут меня толкать с дороги, — я вех не потеряю, к ним вернусь. А ты? видишь? Видишь, — не теряй дороги.

Знаешь, вчера узнал я... как все странно. Был друг-доктор. На днях они с Ириной[64] — переезжают, будут совсем близко, по соседству. Был очень удручен — раскалывается его семья. Жена — Марго[65] — останется с... любовью. Ирина с мужем и он — наконец, новую жизнь начнут. Утешал его... — любит еще свою Марго, чу-дак... Я ему сказал — новую найдите. Он приятный, нежный, — доктор бедных, русский-православный... ну, Гааз, помнишь? Женщины его не избегали, он избегал. 58 лет, приятный, неглупый, только «шалый». Христианин упрямый. В Ирине есть от него, немного. Не раскрылась, обошел ее Гранильщик? Женщина, как самоцветный камень, всегда нуждается в гранении. Мужчина, только, может ее раскрыть, умело, тонко... — ну, понятно, мало таких гранильщиков... не с прописной. Их, вернее, почти и нет. Ведь «сильною постелью» — не раскроешь, — оголить... ну, можно. Раскрыть «другое», как у Марго. Инструмент простой, приятный, ну... животный, игра дешевая, грошевая. Нужна она, когда другое, главное при ней. Тогда — десерт, не без приятности. Даже и — питанье для большой игры. Я... очень ценю это. М. б. — в мигах — высоко ценю, до обмиранья, до страданья. Отсюда — песни. Так вот, почему-то я не удержался... говорили об Ирине. «Что ей может дать такой?» Доктор согласился. «Она старается его по-днять... наполнить содержанием». Откуда? И вот тут я не сдержался. Она мне нравилась давно, я тебе писал. На вопрос доктора — видел ли я что-нибудь в его Ирине, я сказал: «Мог бы найти. В каждой девушке, не вовсе глупой, милой... есть для мужчины нечто... и в Ирине — есть». Он принял радостно мои слова. «Да, вы бы могли найти...» Я ответил — «поздно, и уже давно поздно». Он: «Вы ей послали из Швейцарии когда-то, года три... конфеты... и лепешечки "миньон". Как она сияла! Она для Вас тогда все в подвале перерыла, чтобы найти что-то вам нужное... заметки или книгу». И — обнял меня, порывисто, и слезы увидал в его глазах. Это мое «поздно» невольно как-то вырвалось. Он понял. И я... понял. Верно, поздно. Да и разница-то уж очень... — ей 27—28. Ну, попробует, раскроет мужа, до... пустоты. Да, грустно. Не раскроет, а снизится еще она... — с холмика до кочки. Горы не для нее, в таких условиях. И уже кончились ее «пейзажи» окрестностей Парижа. Без «огня» — нельзя, даже пейзажика, не будет петь. Об «огне» хотелось бы — в «Путях»... Ах, Оля... жду... дождусь? Вот, жду сейчас племянницу жены

покойной...[66] писал тебе. Надеюсь найти нить в хлопотах — поехать. Всюду буду искать... я это интуитивно всегда.

Твой лик тревожит. Все мне кажется, что ты уже пришла. Опомнюсь — больно. Видишь, как пишу тебе, все, все. Каждый день с тобой. И — сколько не послано, истреблено, в моем хаосе. Открыл письмо... — но почему же не послал? Смущало что-то... Разорвал. Прошлое, тебе не надо. Но никогда не хватит силы послать «две строчки». И подписаться «И.». Так редки письма и так до-лги. Я вижу твое сердце и... — подавляю раздраженье, если оно родится. Два слова, — в таком далёке... — боль. Значит — другая боль, которая сильнее первой? Я понимаю, не корю. Так это мало, эта боль «двух слов»... когда болит другое, огромное. Оля, я много написал тебе. Свети же мне, хоть слабо, но свети... И — не смущайся... дай кусочек сердца. Как ты чудесно — «хочу, хочу к тебе...» И все забылось, и я счастлив. Тобой. И сила растет, в упорстве, в достижении, «найти». Скажи о своей жертве — в любви, 10 л. тому. Мне надо знать, все. Я так счастлив, что ты со мной, в стекле. Хрусталь мой! Как тебя целую! Ты не дышишь, вот как. Неужели и нынче — метаться буду?! Что же мне тогда? Бром, бром. Он подавляет зов. Невыносимо напряженное... часа-ми! Не укатали горки сивку. Всю целую, всю, до... сердца. Твой Ив. Шмелев. Пиши!!!

[На полях:] Но как страшно: я чуть тебя не выбросил, с оберткой!

Все еще нет «pneu»[i]. Должно быть уехал, или — не хочет видеть?

Видел женщину, которой — «все равно», смерть... лишь бы было, по ней. Как-нибудь расскажу, как меня катала и чуть не... ... ... инженерша, в Праге[67]. Странный случай, «холодный кипяток».

Ничего другого не пишу твоим Стило, только — твое или свое.

27

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.X.41 8—40 мин. вечера День был чудесный, свежий.

Какое счастье, моя голубка, сердцем на тебя молиться! Вот ты, так близко, каждый миг смотрю, как хороша ты, как дивно хороша! Оля, Олёк мой, что со мной — не знаю... я не знал,

---

[i] Сообщение по пневматической почте *(фр.)*.

что можно так... любить..? Нет, это сильней, светлей, это неохватно, это — вне ощущений, неопределимо, что это! М. б. это близко к тому чувству-сверхчувственному, как «райское», как объясняет ап. Павел, — «восхищен бысть в рай и слыша неизреченные глаголы...»[68] — то, что не в силах человек высказать. Или — под-чувство — это?! Ведь тут не только дух, не только чувства все... тут — все во мне захвачено, все сплелось, — я тебя хочу всем, что во мне, мое... — ты слитной стала, будто ношу тебя, и нет тебя — ни-где, вся ты во мне, моя Царица! Ты знаешь, твой портрет — волшебный, берущий, — он поет. Вот, на виду он, — кто приходит — смотрит... — ка-ак похоже... это... не домашний ли, не «для себя» ли снято..? Путаются все, а я молчу... Что же, можно пустить легенду, — что домашний, Ее, чудом, случаем достался, мне. Так ты... на Царицу-Александру, Свято-Мученицу нашу... так похожа! Бывают миги... Ольга! ты необычайна!! В письмах погляди, найди... сколько писал — «необычайна», «неповторимая», — ну, не сгадал я?! Ты совсем другая, чем на других... — сверх-необычайная! И ты, такая... еще будешь колебаться, вопрошать, — от Бога ли? Ты — предназначена быть собой, не — ферме принадлежать, а — быть, жить, творить... любить по сердцу. Бром помог мне: я сегодня был покойней. Я просыпался, на тебя молился... — ты близко, ты... будешь. Вдумайся, какой же знак был явлен тебе, давно-давно, 28 мес. тому. Открыла книжку, мою — «Въезд в Париж»! Никакую другую, а эту. «Париж». Шире надо, это лишь «образ», символ: «в» ... т. е. — «из». Бери буквально — «В Париж». Вот, именно, сюда. Или все «просто так»? Сама же знаешь, что совсем не «просто», а «сверх-знаменательно» и мудро. Исхода нет ни для тебя, — так верую, — ни для меня: — иного, чем наше — вместе. Наша Жизнь, сколько даст сроку Господня Воля. Это, «для меня» — уже не «верую», а — знаю. Мне — нет исхода, другого. Без тебя — все кончено. Увеличу твой лик, — пусть светит мое Солнце, — счастье. Ну, к порядку. — Двое суток — «пней» не принесли. Сегодня я взял книжки и портрет — на случай, — другой, такой же, ты увидишь у Марины, для тебя. В отеле «Бристоль» узнал: мой «пней» ждет. Мосье Толен... — что ли? — третьи сутки, как отбыл. Куда — не знают. Вернется? — Не сказал. Я взял мой «пней», оставил две строки, в объяснение, на случай, дал «шасэру»[i] на чай, оставил адрес и просил немедленно мне сообщить, если Т[олен] вернется. Мог же уехать по делам, мало ли... Ведь «европейцы» из минуток гульдены куют... у Т[оле-

---

[i] «Посыльный» *(от фр. chasseur)*.

на] могли быть «комиссии» от разных. Не мы, ведь это. Я, когда в России ездил, бывало... оставишь номер за собой, чтобы вещей не таскать, и — кружишься с неделю, — плевать там, что платить за номера.

Одно. Другое: снова был разговор о «покупке прав литературных»[69]. Снова мое «нет». Наши — твои-мои — права не будут проданы. Ты — моя, я — твой, и все мое — твое, и все твое — мое. Дам им две-три книги — «на известное количество экземпляров», с прогрессией процентов «автору», и хорошей! — возьму 50 процентов аванса — из расчета, пока, не больше 10 тыс. тиража каждой книги, — там будут сотни тысяч экземпляров, тиражных! — знаю... — и получу пока тыс. 80—100, франков, исходя из германской марки. Это решится на днях, полагаю. Во вторник будет еще беседа, прибудет «директор», из Кенигсберга. Просят краткую биографию и «резюме содержания книжек». Удачно — из Кенигсберга. Там как раз Университет выпустил томом «диссертацию» молодого немецкого доцента[70] на степень доктора европейской литературы — «Шмелев, его жизнь и творчество», — 161 стр., 1937 г. Жаль, не узнала Оля. Детка, приятно тебе, что о некоем русском писателе — ученый германский труд? Мне — так себе. Правда, это, кажется, впервые — о живом, русском авторе. Да, не было еще. Даже и о «лауреате»[71]. Впрочем, это не впервые. Я, кажется, писал тебе, что о нашей «Чаше» в старинном шведском Университете, в Лунде, ряд лет читается курс из 6—8 лекций? Ты, моя птичка, видишь, как твой «выбор-вкус» в русском современном творчестве словесном подкрепляется «универсально». Я поправлю: их «выбор» скрепляется твоим. Позволь, я поцелую тебя, в небесные твои глаза, «полет твой вдохновенный» — поцелую. Можно, да? Это пусть мне в награду, перед тобой еще незаслуженную. Ну, поверь... в долг хоть! Можно..? Вот .... и знак, математический... ∞ — конечно, знаешь? Бес-коне-чность. Сегодня напевал — в уме — из Пушкина — «Кобылица молодая, честь кавказского тавра...» — писал еще тебе, ты получила? не пропало... в Голландии? По дороге не пропадает, там, где «германское», — там ни-когда не пропадает, там все четко. — «Что ты мчишься, удалая? И тебе пришла пора. Не косись пугливым оком, Ноги в воздух не мечи...» — «Из Анакреона». Не «мечешь»? И хорошо. А то что же это... ты паинька, такая, — сама Царица, и вдруг... ноги — так! Дальше приводить не стану, а то еще не возьмешь в настоящем смысле, а в буквальном... и опять «дерг-дерг», буду осторожней, тем более, что ты еще о-чень «молодая», еще «косишься»... О, моя чудеска, кроткая моя... (в скобках, «в сторону»: «да, зна-ю, какая кро-ткая..!») Еще опять на-

пишешь, по-другому: «почему Вы так много написали? почему Вы так часто пишите?»

Новое открываю в себе! Сегодня с нежностью — невнятной — загляделся на молодую женщину, «сильно в таком положении»... Такое благоговейное почувствовал в себе, через себя — к ней. Стало так внятно, почему перед такими в древнем Риме ликторы[72] очищали дорогу в толпе. Ныне... как многое утратило «глубинного, святого»! А на днях любовался трехлеткой-девочкой (2-летней!), в метро. Что она вытворяла глазками, приметив, что соседи любуются! вот артистка-то будет! чудо-девчонка! И потом начала «умывать» мамочкино лицо..! — следя, любуются ли ею.

24.X
12 ч. дня

Машинка сдала, надо отдать мастеру. И ей сообщилась боль моя! Милая, вот Твое перо как пригодилось! Милая Оля, я позволил себе (ты не упрекнешь?) написать Квартировым[73], — м. б. я приеду. «Был бы рад, если бы удалось повидать в приезд — бывают же "случайности"! — и О. А. Случилось же немало со мной "странных совпадений"!». Написал, что много мне говорил о своей «любимице» И. А. Я надеюсь, что Н. Я. Квартирова как-то пойдет навстречу моему желанию — увидеть хоть раз «одну из самых чутких моих читательниц». М. б. они, просто, напишут тебе — «а не навестите ли нас в Берлине?» Такой путь легче мне осуществить. Я не теряю надежды и на возможность «голландского путешествия». Но, м. б., приглашение Квартировых, — не Париж, а Берлин, — для тебя осуществимей. Милая, бесценная моя, я очень страдаю. Я не могу тебя не увидеть! Это для меня ныне исход — в жизнь или — в ничто (земное). Я говорю обдуманное, уже решенное. Сегодня я не спал, — 2—3 часа — в полусне, только. Видел тебя! Впервые: будто мы разбирали какое-то письмо. Забыл. А мысль работает бешено. Знаешь, теперь понятно мне — «любить безумно».

Целую тебя, голубка, твои глаза, радостные, — тебя всю — «в полете». Какие твои духи — ландыш? О, как же я страдаю, — и сладко, и — неизъяснимо. От тебя нет и нет вестей. Я тревожусь. Я пишу каждый день. Вот, и вся моя работа. Горько мне: как призрачно я счастлив! Господи, как мне за тебя больно! Пусть мне, только мне, будет боль, — не тебе, родная! Все за тебя приму. Но хоть немного счастья, маленького счастья! Прошу, пиши мне. Это мне — дыханье, солнце — в мертвенных днях моих. Руки твои целую, ножки твои, Царевна! Оля! Твой Ив. Шмелев

[На полях:] Здорова ли ты?

Пощади, освети же меня — пиши каждый день, хоть слово.

Помни, мама всегда будет с тобой, все, все будет. Я тебя устрою в отеле, как пожелаешь, до — благословения.

Как же ты в холодной комнате?! Прикажи поставить электрический радиатор!

28

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.X.41 8 1/2 ч. вечера

Завтра — воскресенье, почта закрыта. Пойдет в понедельник 27-го.

Дорогая моя Оля, бедная моя девочка, — я все понимаю, как тяжело тебе. Что же надо? 1-ое Тебе — вернуть хоть относительный покой душевный. Ты замотана. Необходим отдых, перемена жизни. Надо хоть на 1—2 мес. — хотя бы в санаторий. Но сперва надо, чтобы определил доктор, почему о з н о б, почему удушье ночью. Возможно, что это невроз, крайняя степень неврастении. В твоем положении она вполне объяснима. Как с легкими? Это похудение твое... — чем вызвано? Отчасти — состоянием в непрерывном нервном возбуждении: тоской, полной неудовлетворенностью, «запутанностью жизни». Сама знаешь. Это заколдованный круг: дальнейшее пребывание в такой обстановке усилит неврастению, а это увеличит «сознание безвыходности». Итак: всестороннее медицинское исследование (и общий анализ). В зависимости от диагноза — или лечение серьезное (и не дома!), или — санаторий. Дома ты будешь таять. В этом тебе не могут отказать. Если же нет возможности, извести тотчас же: я, думается, сумею через Красный Крест выслать тебе деньги. Напиши — сколько. Умоляю тебя! Заклинаю тебя — исполни, — от этого и все мое, — весь я — зависит, если ты для себя не хочешь. Олёк мой, не откажи мне в этом, ты — жизнь моя. — Ясно, г-н Bredius, не отдает себе отчета, в каком ты состоянии. Он не хотел ехать с тобой на отдых! С ним, на ферме, ты н е избавишься от недуга. М. б. все хуже, и упустишь возможность вернуть силы. Я весь — твой, я весь — забота о тебе, весь — ласка, чуткость, все приму, ни словом не потревожу тебя: лечись, окрепни, ласточка... — так недавно пела! Я все вытерплю, и это будет мне в радость, если ты будешь лечиться.

Что же смотрит мама? Без твоего согласия я не решаюсь писать ей. Как ее зовут? Она — Овчинникова, да? Могу ли ей писать? С тобой одному мне не справиться, ты очень «своенравно» скачешь. Мало для твоего здоровья — мне успокоиться:

надо тебе переменить всю обстановку жизни, пусть — на время. Ты в этом понимаешь не меньше моего, — бо-льше. Конечно, г-н Bredius не отдает отчета, как тебе необходим покой: он будит тебя ночью, чтобы рассказать, как он мучился во сне. Это, конечно, не жестокость, а его болезнь. Но согласись: нельзя же, чтобы, из-за участливости к его болезни, заболели все? Ты слишком жертвенна. Жертвенность — подвиг, но подвиг, как героическое усилие, может быть достойным лишь во-имя высшей цели, чем ты сама. Этого в данном случае — нет. Ты не имеешь права жертвовать собой. Ты уже принесла жертву. Тебя допустили, замученную жизнью, собой пожертвовать. Не постигаю, чего же смотрел мудрый И. А.?! Странно: тебе говорил об «опасности» школьный товарищ г-на Bredius'a. И ты не вняла. Или — это после жертвоприношения? Или — ты так полюбила? Тогда — понятно еще. М. б. даже и отговаривали тебя, а ты кому-то «в досаду» — сделала? Себе самой? «Бывает это, бывает...» — твои слова. Надо исправить эту «ошибку жизни».

Пойми, что жизнь (какая!) с таким полубольным, с труднобольным (в потенциальности) — отрава для тебя. Это — длящееся самоубийство. Жизнь, ее Правда, — Господь! — открыла тебе отдушину, — я считаю, что это был день твоего Рождения, — 9.VI.36 г. — для Рождения в новое. Я тут не себя ставлю, как освободителя от тьмы, — я лишь вообще говорю, — ты сразу получила облегчение. (Предполагаю, что таких «дней тьмы» было очень много и раньше!). Выход указывался: «есть жизнь в свете! следуй!» Так и смотри, а не допускай кощунственно мысли: «начинаю жалеть, что написала письмо писателю 9.VI.36 г.!». Это письмо было началом моего света, «счастья»... — и — твоего! Оно невесомо, это «счастье», но оно выход из тьмы. Если согласиться с твоим — «может кончиться трагично», придется принять положение: все здоровое должно отступить перед нездоровым, хотя бы из... опасения. Это же абсурд. Итак — первое — тебе надо отдохнуть, справиться с собой: для этого — надо переменить обстановку. Могут ли тебе отказать в этом?! Смотри, тут, с моей стороны, ничего себялюбивого нет. Беспристрастно это, разумно, только.

Второе: не тревожься за меня. Тебе лучше — и мне лучше. Я буду жить верой в твое здоровье, в выздоровление, и — в твою свободу. Тогда, — если окрепнешь, — я все наверстаю. Уедешь на отдых — я запишу «Пути» свои, живя тобой. Даю тебе слово. Никогда я не прибегаю к «тактике» (будто не стал писать тебе) в отношении тебя: ты видишь, сколько пишу, только этим и живу. Ни-когда и ни-как я тебя не мучил. Можно ли мучить — ребенка? тебя, моя Оля, тебя, моя чистая?! тебя, моя девочка святая?!

Третье: надо повлиять на родных, что ли, г-на Bredius'a, если они могут воздействовать, чтобы он сознал, что тебе необходимо поправиться. Пусть тут поможет мама.

Четвертое: мое мнение: надо уехать совсем, в Париж, в Берлин, — только кончить эту нездоровую, полубезумную жизнь. За тебя — закон, за тебя — само естество. Это не брак, а «самоубийство». Я теперь уверен, что отсутствует самая цель брака: нельзя давать жизнь дефективным, нельзя давать жизни — новую линию полубезумных, это — преступление и против Бога, и против ближнего. Я слишком много знаю ужасного в этом смысле, — в университете писал работу о малолетних преступниках, о главных причинах этого общественного бедствия. Мир обременен — и с каждым годом обременяется такими плодами. Все — за тебя, за — спасение тебя от худшей из неволь. Итак: пока, не касаясь главного, вот это — отдых твой.

Мама знает ли о наших взаимных — и каких же чистых! — чувствах? Как она смотрит на это. Можешь и не отвечать — я не упрекну, не смею.

Не разбирайся в снах: они здесь — порождение больных нервов, любой системы. Меня беспокоят твои «ознобы». Как твое сердце? Я перенес тяжкий вид сердечного невроза, следствие революции и моей поездки (почти месяц) в Иркутск, за... освобожденными политическими каторжанами, как корреспондент «Русских ведомостей»[74]. Я пытался речами перед тысячными толпами в России и Сибири — вводить в здоровое русло раскачавшуюся народно-солдатскую стихию. Меня качали, плакали со мной, обнимали и целовали (я о Божьем смело говорил, и о грязи в революции), а... через 2—3 дня те же толпы жгли поместья и разбивали водочные склады, и — убивали. От переутомления (это сказалось через год, в апреле 18-го) я болел 2 мес. — с неделю был без сознания. В канун Петрова дня, едва оправясь, уехал (с Олей) в Крым. Сережа уже перешел границу большевизии — на юг, в Добровольческую армию. Много было тревог, страдания. Узнай про состояние сердца, легких, — и что с почками? М. б. тут не почки? Оля, «ласкунчик», — дай слово, что немедленно начнешь лечение, отдых. После будем говорить о дальнем.

Не понимаю, что за твоими словами (не страусово ли это прятанье?): «все может очень просто разрешиться, если будет такое подходящее положение... — иначе может кончиться трагедией».

Если трудно — не отвечай.

Цель твоей поездки в Париж вот какая: «получить от писателя существенные указания, ознакомиться с самым важным в искусстве художественного слова — для твоей работы литера-

турной». Это первое, чему бы я стал тебя учить — не учить даже, а — просто — примерами, разбором мест в моих работах — дал бы тебе очень быстро понять, как писать, как не надо писать, как надо жить в творческом. Это завлекательно и важно. С твоим душевным богатством, пылким воображением, — ты в год сделала бы то, на что иные не способны и во всю жизнь. Это ты увидишь, если свидимся. Мне некому передать это, — писать об этом — бесполезно. «Теория эстетики» — никого писать не научила. Законов «композиции» для художественного слова — нет. Музыка необходима, но... особая, своя.

Ты очень метко и вкусно писала о композиторах и художниках. Вполне с тобой. Люблю тех же. Только не совсем мне ясна параллель: Серов и А. К. Толстой. Не люблю о сем писать, говорить — очень. У нас с тобой на это не хватило бы и лет.

У меня три сестры[75], живы ли? Одна, Катя, зубной доктор, в Москве, хорошая. Это она мне миндалики за рубашку сыпала, мокрые, когда я болел («История любовная», Тоник, но там много изменено). Другая — кончила консерваторию — пианисткой-виртуозкой. Где-то в Воронеже, вдовой, при монастыре, но не монахиня, ходила за странниками и убогими, — это Маня. Третья, старшая самая, многочисленная семья, — не знаю судьбы ее, — девушкой была с огромным воображением, немного «Таня». Брат, старше меня[76], (родился в 74 году) умер от сердца, 57 лет, кажется, лет 10 тому, в 32 или 31 году, точно не помню. Катюша моложе меня на 6 лет, ей теперь, значит, уже 58. Чудесная душа!

Мать[77] была (скончалась на 89 году, в [разгроме] жизни, в углу, у дочери Кати, но в своем доме). Была с большим характером, строгая, очень горячая. Я много претерпел за свою резвость. Любил ли я ее? Маленьким — боялся, в юности — отстаивал себя, свое (Оля). Потом — почти любил, все забыв. Но сердце не играло к ней. Вот почему, — а я не могу лгать, в искусстве, идти против сердца, вот почему ее как бы и нет. А если и есть где — сильно преломлена. Я никогда не пишу «с натуры», а «из себя». Оставляю лишь главное, сущность. Я тебе все расскажу.

Оля, свет мой, девуленька, люблю, люблю все в тебе! Сейчас буду ласкать глазами тебя, новую, — о, какую дивную! — прекрасней не знал, не знаю, нет прекрасней, Ты — мне награда от всей России, за все... и за боль мою. Да, Оля тебя нашла... другую Олю. О, как я счастлив!.. за одно видение... твое, — ангело-женщины, светлый ангелок... Солнце мое, Жизнь! Целую глаза твои. Ах, Оля-Оля... Господи, сохрани! Твой весь, всегда Ив. Шмелев

[На полях:] Благодарю за новую Тебя — нет слова.

Прошу: позволь, я пошлю деньги, на лечение, через Красный Крест германский. Сколько надо? Не знаю условий в Голландии.

Я страдаю, что мог написать 10-го![78] Это — тьма моя. Смилосердись! Твое творчество (в России) *святое* для меня! Это не я писал то письмо.

Оля, будь покойна, сильна! Я — взял себя в руки, я в е р ю! Господь с нами.

Оля, знай: я весь твой, ни-какие ни Ирина, ни Милочка... — не существуют для меня.

11 ч. Как я говорю с тобой!

Знай: я хлопочу, ищу разрешения на поездку в Голландию, мне надо и по литературным делам.

29

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26. X. 41 Воскресенье
2 ч. 30 мин. дня

Да, да, детка, будем ласковы, чутки, добры друг к другу! нежны, светлы сердцем, ласкунчик! Свет мой. Все, все, что надо, чтобы ты была здорова, покойна, сильна, тверда, просветлённа духом, моя птичка усталая, пугливая... — в с е я сделаю, во-имя твое, родная, мое счастье! За меня не тревожься, я тобою силен, как никогда. Я буду во-имя твое работать над «Путями Небесными», — они твои. Оля мне завещала — закончить их тобою, твоею силой. Ты мне дашь ее. Думай о себе, о н о в ы х путях, н а ш и х. Но для этого надо — ж и т ь. Надо преодолеть и болезнь, если она есть, и оздоровить нервы. Надо лечение, отдых. Все трудное, запутанное, — забудем, пока. Будем лишь помнить, что — все же — само для человека не творится. Все творится, в пределах, Волею Господа сужденных нам, нашей волей, хотением нашим, всеустремлением. Это двойной закон: Божий и — человеческий. Итак — ты должна на время переменить обстановку. Отдыхать в санатории, лечиться.

Изволь дать мне адрес твоего брата. Я буду посылать — для тебя — что надо, чем могу тебя лелеять. М. б. тебе нужны лекарства, книги, — все, что ты хотела бы иметь, на что я в силах. Сделай это, прошу тебя. Могу ли написать маме, просить ее — волей тебе помочь, — ты ослабла? Следишь ли за t°? М. б. тебе необходимо показаться берлинским докторам, — лучше их нет. Нельзя так легкомысленно не считаться с тем, что с тобой творится. Для меня сделай, только тогда я буду в силах быть таким, каким ты хочешь меня видеть. Умоляю — сделай, для меня.

Оля, как сжалось сердце, и как в нем нежностью отозвалось, таким жаленьем... — когда прочел я эти слова: «обнимаю тебя, вся в слезах, как девочка (я еще совсем девочка!), ищу твоей защиты в горе!» С тобой моя защита, знай, Ольга моя, вечная моя! Все сделаю. И буду молить Господа, положу всю волю, чтобы к тебе приехать, личным внушением усилить твои силы, волю, — спасти тебя — и от тебя самой, больнушка, и от сети, тебя связавшей, — Бог вразумил бы на святое дело. Спасти тебя — самое святое дело. Верь мне, детка, — самое ценное для меня, чтобы ты — для себя, для всего твоего, — была свободна. Ты, как сбывающаяся радость-счастье, ты, как женщина, как мне необходимая твоею женской силой, — это уже на втором плане. Если ты решишь, что должна быть для меня лишь духовной дружкой, — я покорюсь, я не коснусь тебя. Но я знаю, как полной любви ты ждешь, — и я! — и она будет, должна быть полной. Не постыжусь тебя, перед тобой, — я буду твой, весь твой, как друг, как муж твой, верный, сильный, чуткий. Бог даст мне силу — быть твоим — во всем. Я хранил — и храню себя, для тебя. Для... продолжения тебя, любимая! Я верю. Пусть — чудо, — но оно должно быть. Я верю. Верь и ты. И — будь покойной, будь здоровой. Больные не могут преодолевать невзгоды. Для них самое легкое препятствие становится непреодолимым. Надо в себя поверить, в Божью помощь, но в помощь — воле, а не бездеятельному «ожиданию».

Какое чУдное твое перо-стило! Как ты меня обрадовала, как нашла, чуткая, чего хотел я... годы! Я покупал и — скоро бросал, ломал, — ждал, — получу от сердца, — от кого-то... — верил! И ты — нашла, услышала, и — подарила! Ах, милая, небесная моя, моя Царевна! Всегда со мной, во мне. Моя машинка, Remington portable[i], служившая так долго, — сколько написал на ней! — решила отдохнуть немного, — «есть у тебя “заветное”, от милой сердцу», — шепнула она мне, — заснула. Пустяк — исправить, только припаять рычажок какой-то, это сделается, а пока я пишу тобой, с тобой, пером, которое было в твоей руке, которое держит в себе взгляд твой, мой. Целую твои чудесные глаза, — о, счастье, о, моя Царица! новая моя! Как я тобой любуюсь, как — прекрасна! Господи, благодарю Тебя, за Дар Твой, за Нее... — не лиши меня последнего дыхания, — Ею дышу, ею живу теперь, — для прославления всего, Тобою сотворенного, о, Свет Разума! не допусти меня уйти во мрак! Дай мне Ее, светлую мою, дай, Господи, — я оберегу, я облелею этот лучший Дар Твой!

---

[i] Портативная пишущая машинка *(фр.)*.

Оля, как я вчера молился, за тебя..! — вскриком сердца, всем живым во мне! Бог послал мне сон, спокойный. Оля, как я счастлив, именем Твоим, радовать других, — облегчить хоть малым жизнь их суровую. Отдавать, что могу, делиться — чем могу, и все — во-имя, Твое, моя бесценная, так мало оцененная другими! Но, детка, я знаю: моя оценка — все покрывает, дополняет, возносит достойнейшую — достойно! Это должно быть. И — бу-дет, силою Господа, и — нашей.

Ольгушечка моя чудесная, подари мне сон твой, с голубками, как ты чудно мне его дала, — вложила в сердце! Это будет сон моей, твоей Дари![79] — в «Путях Небесных» (сон на воскресенье 19.X). И о «чаше» сон, о книге... — все — из твоих «подвалов духа». Они тревожны. Это — веками нажитое, от твоих, церковных, данное тебе. Оно — прорваться хочет, жить свободно, в лучших формах (потуги творчества!). Не старайся увидеть знамения в них. Но голубок, на твоей ручке, — это — благо, чистое! И оно будет тобою вскормлено, твоим душевным хлебом. Так я разумею. Эти три — одно. Тебе — дается. Ладан — твоя душа, к Богу парящая, и рис — твое телесное, освященное чистым светом, и хлеб в твоей руке — сама ты, вся. Ты — даешь его — во имя Чистейшего. Ты — жизнь, ты — хлеб живой. Голубь — для нас, русских, — Духа Божественного — образ. Ты освящена. Храни же это освящение, делись им. Мне его дашь, святая, крупицу хоть... — я приму, с благоговением. Целую.

О матери, из недошедшего письма, от 7.X. «Умная была, и строгая. От горя и забот. Осталась с 5 детьми, в долгах, огромных, и — с огромным доходом, в будущем. В 36 л. — вдова. Терзала меня — не от злобы — за каждую провинность, за гримасы, — я был нервный. Помню, в День ангела, за то, что разорвал новый костюмчик, посадили меня на целый день в темную комнатку, на хлеб и воду. Как я плакал! в День ангела! Я звал его, моего Ангела, — мне был — 9-й год? Он не пришел. Я плакал... я молился Богородице... "пришли же мне ангелочка! Я один, я голоден, я рваный... он не пришел еще... он у других? придет поздней?" Я ждал и ночью. Она прислала... он пришел во сне, принес пирог с изюмом, погладил по головке, сказал — «ты умница, вот тебе пирог». Я плачу, Оля... так мне больно... Ты меня заперла в чулан теперь, в День ангела, он будет темный, этот день... темней того... и не придет мой Ангел (это неправильно я понял письмо, оглушенный)[i]. Твоя роза разбилась вся.... я ее положил на сердце... она со мной». Это — из письма. Последние строки — это моя ошибка, — ты мне —

---

[i] Слова в скобках дописаны позже, между строк.

только свети — счастье. Обнимаю — всю. Моя ты, о, желанная! О «памятной Пасхе», что со мной сделали... — после, не могу: В том письме было. Тоже — жестокость. Так выковывалась во мне основная черта моего будущего творчества — понимание боли человека, горя, страдания и — со-страдания. Это все не жестким меня делало, а мягким, душу мою. Конечно, это связано с моей физико-душевной организацией, это — Свет от Бога. Целую, моя желанная, девочка моя!

Весь и навсегда твой. Как сильно обнимаю тебя. Твой Ив. Шмелев

[На полях:] Сейчас был Ивик, открылся. Придет с невестой[80]. Она поступила в Сорбонну, на курсы английского и русского языков.

Если ты простила мне письмо от 10.X (это мое безумие!), — напиши о «драме», после которой написала [письмо от] 2.X — я не предполагал болезнь.

30

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26—27.X.41 11 ч. 40 мин. — 1 ч. 30 мин. ночи

«Петухи давно пропели — И к заутрене звонят»[81]

Страдалица моя, больнушка, милый «буль-буль» мой! Знаешь, что такое «буль-буль»? Соловей — по-татарски. Красиво? Целую руку твою, написавшую мне про боль. Целую открывшееся мне сердце, — сколько же в нем давящего! Сейчас был у меня друг-доктор. Я рассказал ему об одной больной, о симптомах ее физических страданий, о «тяжелых условиях» (морально!), в которых она живет. Вот об этих болях сердца, об «ознобе», как проходит по сосудам то холодом, то жаром. Доктор — очень опытный! — определяет: все признаки сердечного невроза и общего нервного (а м. б. и не только нервного) переутомления. Отсутствие аппетита, плохой сон, (доктор спросил: «бывают ли “волшебные” сны?»). Да. — «Всего вероятнее невроз сердца в соединении с общим неврозом, как следствие чрезмерного “переусилия”, — физического и нравственного». Лечение. Его ответ: «Необходимо клиническое обследование, т. е. — тщательное, с анализами». (Слово в слово, как я тебе сам писал). Мог бы быть врачом? Да я и так немножко врач, — много читал (люблю медицинское!), — для своих работ (у меня все медицински проверено в книгах, то-мы штудировал — и по психиатрии, и по гинекологии (Дари и проч.), и по навязчивым идеям («Человек из ресторана», «Это было»), и по маньячеству («Лик скрытый») — много-много (для «уда-

ра», в «Росстанях»). И даже лошадиные болезни («Мери») — про «оглум» (для «Кривой»[82])). «Если нет «болезни» определенной, органической, — врачи должны установить, — все равно: излечение в домашних условиях немыслимо. Необходим санаторный режим. Не менее 2—3 мес.». Вот его решающий вывод. Это, повторяю, чудесный врач. Капризный Бунин — мни-тельный..! — только ему доверяет[83]. Святой врач. Военно-медицинская академия. Профессора — все светила. Чуткий сердцем, блестящий диагност. Большинство Великих Князей — его пациенты и друзья. Был бы лейб-медиком. Друг (молодой) и ученик покойного проф. Сиротинина[84], моего же друга, — лейб-медика. Можно ему верить! Он и мою болезнь установил (duodenum). И спас меня от «кризиса» (бромом!). А я уже уходил. И поднял в июле 37 года[85] — когда совсем уходил (по его определению: «1/2 ч. опоздания — конец»). Только санаторное содержание, — лучшее — заметил он, («с нашими бы душами-сестрами!») — его слова. Дома — будет хуже и может повести к полному функциональному расстройству. «Скольких лет дама?» — Я сказал. — «Тем более», — «очень нежный — для женщины — возраст» — «расцвет душевной жизни, наполнение». Я без него это знал. Это духовный подъем Дари! Оленька моя, дитя мое чистое, помни! Это подтверждение моего совета. Я так и не успокоюсь, пока не решишься на такое лечение. Подумай: 1) перемена обстановки 2) полный отдых, — не санаторная скука, а душевное питание: ты каждый день будешь получать мои письма, будешь покойно сама писать, читать, будешь думать не только о нашем и вашем, а о — твоем, помимо меня, конечно, — уложится все просящееся к жизни в тебе, придет воля (и дрожь) к творческому. И ясней будет твоя душа, и не в тревожном помрачении будет жить рассудок. Тем временем я достану визу к тебе. Да, я надеюсь, очень. Мы увидимся и все обсудим. Даю руку! Будь только спокойна. Ты всю жизнь твою, трудовую, ухаживала за другими больными: Господь изволит, чтобы теперь за тобой ходили. Нужно: чтобы врачи ваши признали необходимым твое лечение, — санаторное! Не тот доктор, который, очевидно, толкнул тебя на жертву, — только не тот! — а твой, кого сама выберешь. Ознакомь маму, что я только что сказал тебе. Пусть и она воздействует на эгоистов (ночью, разбудить, больную! чтобы рассказать о своем!) — Ведь ведомо же, что ты не спишь! Оля, Ольга, Олёк, Оленька, Олёчек, Ольга, Ольгушечка, Ольгушонок, Олёль, Олюша, Олюнька, Ольгушка-глупушка, капризка, упрямка, «дерг-дерг», мнитка, леснушка, зорька, рыбка-вьюнка, веселушка (будешь!), Олёнок-робёнок, трепетка, — (ну, погоди, я тебя в сти-

хах пропою!), светличка, светик, гретик, буль-булька! Я мог бы 10 стр.! исписать — так рвется сердце — обласкать тебя, огладить мою своенравную, мою «молодую», мчитку, удалую, мечущую в воздух ... ... пугливку-робку... а, милая, потребуй от меня любую жертву — для тебя, для н а с! — во-имя «счастья»! Все принесу, лишь бы тебя увидеть с в е т л о й, счастливой. Ты д о л ж н а быть счастливой. Я заметил: птицы (во сне) — к светлому! И твое виденное «Воскресение» — будет Твоим, воистину. Господи, благослови ее! Ми-лая... все, все мне поверяй, — заставлю себя быть достойным принять, в сердце сложить. Это облегчит тебя, как «разрешение» выдуманных Фрейдом «комплексов». Я жестоковыйный критик его, — все шатко, все трескуче, все — жидовски-полово-сферно, — скверно! М. б. у жидов такие комплексы в крови, — вплоть до частого кровосмесительства (из животной любви к «потомству»: обычно: мать берет в постель к себе сыночка — дать ему урок, а кстати и оберечь — от девок и... сэкономить. Тьфу!) Нет, я напишу «Восточный мотив»[86]. Сердце израню (себе) — а напишу. Это — назначено мне, и т о л ь к о м н е! Другим — не одолеть. Я знаю. Как-то Бунин хотел дать «трагическое» — дал «Безумный художник»[87], — сумасшедший от... войны! — жалкие потуги, и в них прекрасно дано — уездная гостиница (сколь повторное у него!). М. б. тебя пошлют в германский санаторий? Если бы..! Помни: это — н е о б х о д и м о. Умоляю, на коленях перед тобой. Свет! не помрачись! не помрачи и меня! Я верую, я верю. Мы соединим жизнь, нашу. Это д а н о в Плане! Это д о л ж н о — с т а т ь. Верь, верь крепко, молись. Я всегда за тебя молюсь! Каждый миг молюсь, — и тает сердце, сладко, с л е з н о. О, как чиста наша любовь, Олёчек, как и с т и н н а! как — с п р а в е д л и в а. Столько мы страдали — оба. Ты — больше, непрестанней. Я видел счастье, огромное, чистое, почти от детства. Да, я видел и го-ря! Сколько счастья я про-гля-дел! Но... это же моя работа его закрывала... замещая иным — «счастьем», условным, призрачным, л и к а м и. Обман? Нет. Только, окончив, — узнавал: груша-то... из папье-маше! А пахла, заливала соком, таяла так легко... душисто... Странный обман — самообман, — сон сладкий. Хуже: я-то о б м и р а л, а Оля... блекла. Это — н е повторится, с н а м и. Этого «запоя» — не допущу, в себе. Ты — ты свободна, ты — с а м а, ты — как лучше для тебя, только — для тебя! Все — для тебя, моя Царица. Ж и в и! Светись, мой Свете тихий! Помни, Олелёнок мой, моя умнушка! Все сделай, как я молю, я сделаю все, все, как ты изволишь, чтобы быть тебе покойней. О, как же я жду тебя, когда ты в с я свободна будешь, как преклонюсь перед твоей-моей Душой, как загляну в свобод-

ные глаза... как положу твою усталую головку на грудь свою, как прикоснусь к любимым бровкам, разглажу их дыханием, как сердце приложу у сердца, — вместе бейтесь, вместе, в однозвучье! Как... твой покойный сон лелеять буду..! Оля..! Вспомнил, знаменитое, гениальное, Тютчева — сколько движения — и какой покой! Если бы я тебе прочел..! Доктор приходит в неистовство. Сегодня была одна художница[88] (знаю, она метила в меня! но... я неуловим, как цель, меня открыть нельзя, ключ утерян... это только в Божией Власти, это лишь одной (для сверходарения меня, меня — за что-то!) назначено. М. б. — жертвенно? Господи, тогда не надо! Счастья, только счастья — Ей — Господи!) Увидала на столе Тютчева. Она мне когда-то икону написала. — Преп. Серафима. Попросила прочесть «хоть несколько строчек». Она меня слыхала где-то, как я читаю стихи Пушкина. Я прочитал тебя — мою Лебёдочку — читая, тебя видел — в таком блеске! Она была вся в замирании. Приходила со стариком-отцом, бывшим членом Государственного Совета[89]. — И тот — только сегодня открыл Тютчева. Ну, слушай, детка, детуля, девочка моя (о, как нежна ты, как мое сердце сжалось от твоих [слез]!). Слушай: «Вчера, в мечтах обвороженных, — С последним месяца лучом — На веждах томно—озаренных, — Ты поздним позабылась сном. — Утихло вкруг тебя молчанье, — И тень нахмурилась темней, — И груди ровное дыханье — Струилось в воздухе слышней. — Но сквозь воздушный завес окон — Недолго лился мрак ночной, — И твой, взвеваясь, сонный (!) локон — Играл с незримою мечтой. — Вот тихоструйно, тиховейно, — Как ветерком занесено, — Дымно-легко, мглисто—лилейно — Вдруг что-то порхнуло в окно. — Вот невидимкой пробежало — По темно-брезжущим (!) коврам; — Вот, ухватясь за одеяло, — Взбираться стало по краям; — Вот, словно змейка извиваясь, — Оно на ложе взобралось, — Вот, словно лента развеваясь, — Меж пологАми развилось. — Вдруг животрепетным сияньем — Коснувшись персей молодых, — Румяным громким восклицаньем (!!) — Раскрыло шелк ресниц твоих»[i] (!!!). Вот — гениальное! Должно быть — ей, Денисовой:[90] даты нет. Но... что бы я написал, зажженный огнем, Твоим! — Целую, крещу, молюсь на тебя, за тебя, Оля. Дай же мне твои губки — вот, целую. Твой Ив. Шмелев

«Пути» мои — пишутся, «в уме». Путаешься в них — Ты, всегда.

---

[i] В стихотворении сохранена пунктуация И. С. Шмелева.

31

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.X.41

Оля, милая... какая боль — письмо твое, 22.X![91] Твоя и моя. Я ответил вчера[92], смутный. Прости за exprès, но я не мог иначе, почта так неспешна. Чем оправдаюсь? Оглушенный твоим, 2.X, не зная, в какой тяготе ты, — ты уже после написала все, — я был потрясен твоим — «нельзя и думать о Париже», и — «не посылайте, ради Бога!» Это был удар. Потом я понял, теперь мне очень больно за тебя. Чем искуплю? Не смею смотреть на тебя, моя святая, мученица! Видит Бог, как я люблю тебя. Более страшного обвинения не мог бы составить против меня самый искусный обвинитель. Мне больно, очень, но я счастлив, как ты даровита! — это я знал, э т о лишь утверждение. Да, ты — огромная, г о т о в а я. Твоя богатая натура, обожженная предельным страданием, жизнью горькой-жесткой, так несправедливой к тебе, — готова к чудесно-творческому. Это и боль, и радость. Ты ничего не сжигала: Ты — родилась, я с изумлением, благоговейно на тебя смотрю. Я писал, ослепленный острым горем, мнимым, да... будто снова я во тьме, в которой жил до встречи с твоим сердцем. Я его слышу, бедное... Оля, прости меня. Я не так виновен. Я в ужасе, — как мог я тебе, такой... дать столько боли! Так любить и — так терзать!.. кого?! Выслушай — увидишь: не я это, это тьма во мне. И я страдаю. Ты сказала так, — мне стало страшно за себя, какой я... неужели это я?! Только ты могла, — с такой предельной силой, с такой разящей правдой! Но... я же не такой. Я не помню всего письма, но ты даешь его. Выслушай же, я хочу разобраться сам в себе. Вижу твое сердце, как оно истекает болью. Я сам хочу кричать от боли. Я многое превратно истолковал. В мгновенной безнадежности, что я потерял! Хоть за это — прости меня! Пойми: я только что называл тебя моей, просил — будь моей, от Бога мне дарованной?! ... И в ответ — страшное твое: «нечего и думать... не посылайте, ради Бога!» Отчаяние меня так оглушило... — и вот, безумие, — мое письмо. Я же не знал, что произошло! Это не мое сердце говорило, — это темное во мне к р и ч а л о, утраченное счастье, боль. Все извратилось, вдруг, — все покрылось тьмой. Остановилось сердце. Мучить т а к, т е б я..! кто всего дороже в целой жизни! Оля!.. так терзать себя, чтобы еще больше боли..? Только тобой живу. И ты могла подумать, что это «игра чувствами»! Это у меня-то! так незаслуженно одаренного тобой! Такое — противно всему во мне, ж и в о м у, чем дышал всю жизнь, что людям изливал!

Нет, это не так. Я жалел людей, всю жизнь я со-страдал — и... не пожалел тебя, самое во мне святое! Нет, это не так. Это все — в помрачении, в отчаянии. За тебя жизнь отдам. Что еще отдать?! Милая, чистая, дитя мое, так обойденная судьбой, израненная, вся... я плачу над твоей головкой, светлой, озаренной Божьей благодатью. Если бы ты узнала, как я страдаю! Вдумайся, — и ты увидишь — и простишь.

Циник-адвокат[93]. Как я мог его оценку моей книги, Дари... — ставить выше твоего очарования? Нет, ни-когда. Смотри: не выше! — до твоего, в оценке, никто не мог бы вырасти! — ни-кто. Я не высоту, не правду оценил: а силу моего образа Дари. А не оценку циником. Даже он, для кого все женщины — «котлеты» только, жратва, — как я в иронии определил его, всю, сущность, — даже он проникся! захвачен, остановился — как перед откровением, перед Небом, — увидал впервые... — это после всего-то, что давала наша великая литература, и — мировая! Да, я был очень удовлетворен. Тут, в этом... — тебя..? — не мог коснуться, сопоставлять. Я благоговею, Оля, перед тобой. Нет, это циничное — о «котлетах» — не перед тобой я говорил, — это ему я говорил, его определял. А тебя потому, что я все хотел открывать тебе, как моей подруге, моей дружке, моей товарке, самой близкой, — все мое должна бы знать ты, перед тобой быть ясным. Я не погрешил перед тобой. Как ты приняла «Пути» — это для меня было всему во мне — наградой с Неба, всему в моем искусстве. Так — ни-кто! Жизнь Дари, ее души и сердца — Твое. Я с изумлением, в восторге, понял, что ты жила во мне, когда не знал тебя, — когда писал «Пути» — уже искал тебя, инстинктом. Я уже нашел тебя — в Дари, тогда, в марте 35 г., за год до кончины Оли, — искал тебя! Так ясно, вот теперь. Так всегда: для меня писать-искать. Я искал света, чтобы самому найти его, себе дать радость и — другим, вести их. Вот смысл всего в моей работе. И потому — я никогда не списываю, а — ищу, творю, томлюсь. Ищет моя душа по жизни — светлого, я о нем тоскую, — и творю его. М. б. потому в моем больше светлых, а не дурных. Ищу — в тоске по светлым. Разве не так? Потому я и людей жалею, со-страдаю им. Такое свойство. Как же я мог — тебя — обидеть?! Любимую, из всего на свете, мою жизнь?! Не так это, это совсем обратное всей моей «правде», это — опрокинуто мгновением, в потемнении — Я мог сказать: «это последнее письмо?» Осудить себя на казнь?! И тебя, свет мой, — и — себя?! Я — мог? Нет, не могу. Каждое твое слово — счастье! Боль громоздить на боль? Не мог. Это — не сердце: это — мрак кричал во мне. Ну, покарай меня, я все от тебя приму, только не отходи! пиши, хоть одно слово. Им

я буду жить. Ты — светлая, ты пожалеешь, не отвернешься. Я мог — не высказать, а вскрикнуть, от острой боли, но это — миг темный, это невольно, — это могло быть. Я сам себя казнил. Помилуй, почувствуй мою боль — прости, пожалей меня, последней жалостью, от твоего сердца, безмерного, знающего, что такое — боль. Ну, недостоин я тебя, я это знаю. Так больно сделал — и кому?! Помилуй злого. Я был, злой, темный, оглушенный. Это не я писал, а — разбитый, истомленный. Все во мне опрокинулось, все наоборот, как сны бывают. Эти муки — когда человек делает все наоборот истинному в нем, — это ты знаешь: это дано так предельно-ясно Достоевским. По себе, он знал. Такое, м. б. и во мне бывает, как у многих, но это не мое, не все во мне. Это — как Достоевский говорит: — «понесся», «надрыв души». Прости. Моя *правда* — любовь к тебе, вся. Сколько вынести сердце может. Эта любовь к тебе — самая чистая моя *правда*, непорочная, восторженная, невероятная. Я знаю: я недостоин такой правды, такой любви. Но она есть, — что же могу я тут? Только сознавать, как недостоин нести в себе такую *правду* — любовь твою, к тебе. Я еще не встречал такой, как ты, — я лишь мечтал, искал, старался вообразить, и — создавал, как мог. И вот, жизнь мне тебя явила — как в награду? за мои искания? за мою *веру*, что *должна* такая *быть и* в жизни, не только в воображении? Да, случилось чудо: жизнь, Господь... — мне показали, мне явили — *тебя*! Явили *чудо*. И это *чудо*... я мог терзать? обидеть? Это тебя-то, мое святое... мог? Я?! Нет, это не так. Оля, клянусь тебе, всем моим единственным, моим мальчиком несчастным — не так, неправда. Этого не могло быть. Мне больно, слезы все закрыли. Не так, Оля, не правда. Тебя, дарованное Светом... мучить?! Ты поверишь, не можешь не поверить — и простишь темное во мне, крик боли и отчаянья.

Ирина... Бог с ней. Сравнивать ее — с Тобой! Смешно. Она так несложна, так обыденна, так — простое. Дилетантка, — в ней ни искры святого дара. Так, способная, — вся в житейском. Суди по ее выбору — выбрала пустышку. Но, в моей опустошенности, до тебя, — даже и она казалась чем-то. Я никогда, ни взглядом, ни словом ничего не выдавал ей. Не было ничего. Личико, очень уж детское, — да, чистое оно, что-то очень наивное — и все. Но ведь это же смешно, ей только было, до брака, 25 л. — 26. На 38 л. разницы! Правда, Менделеев к 70 г. женился на 18 л.[94], бывало, как исключение. Но со мной, при моих исканиях — не могло быть такого, и не с ней же. Должно было случиться *чудо*, должна была явиться, — и так сложно! — *даром*, одарением... — я недостоин, знаю. Только *ты, такая*, могла быть *чудом*. Мне страшно, я — недостоин. М. б. это —

испытание, последняя казнь мне, из казней казнь... — будет отнято? М. б. я только этого достоин? Что же... — пусть, конец страданию, отплата... но за что же?! Или я так преступен? Не мне судить. При жизни Оли — она нам нравилась обоим. Сиротливым, будто возможная такая, несбывшаяся — дочь-девочка? Зачем я ее тут-то упомянул? Сперва — потому что 10-го, после моего темного Ангела — принесла она мне цветы — и не застала? Странно так: 11 мес. я не видел ее. Видишь, *что* она мне. И рассказывая о себе, я и об этом рассказал. Тогда я чувствовал, что после твоего письма — я снова в темноте, тобой оставлен. Вспомнилось больное, как мы потеряли ребенка, так и не родившегося к жизни. Почему — «горящей изнутри»? Мой восторг? Нет. Это лишь привычное писателю определение, из опыта, — м. б. совсем неверное. Бледность лица — «внутреннее горенье»? По себе сужу. Должно быть я б[ываю] ч[асто] бледнолик. Чем сильней волнение, тем я бледней. Свежесть твоего лица — поверишь? — это же такая радость! жизнь живая, твоя. Это редкая прелесть в женщине! Это же я у Дари хотел увидеть! — У тебя, — увижу ли? Ты приняла мои слова — обидой? Мой восторг, — я его еще не умел, не успел высказать, я его в себе таил, как незаслуженное, как одарение — и ты вменила мне — во что же?! У меня и в мысли не было, — почему ты это об Ирине приняла, как восхищение? Я *твое горенье* могу ли с чем сравнивать?! Ведь ты — вся ты — святой огонь, палящий... — и не сжигающий. Твой огонь, душевный, пыланье сердца, — *твое*, Оля! — это — Свет, это Неопалимое-Святое... и это... прости мне — страстное-чудесное... — я знаю, я предполагать могу, мечтать, таить — и в тайне любоваться, только. Оля, неизреченная, огненное сердце..! Мое сердце Бальмонт называл — «горящим». Написал о моем творчестве статью — «Горящее сердце»[95]. Вот, у тебя — *такое*. Такие — редки. Их — почти нет. Не знаю. Не знал, до встречи. Чистота и свежесть твоего лица — твоя природа. Я ее чувствовал в Дари. Оля покойная не знала никакой косметики. У нее лицо было свежее, потом — от горя — стало блекнуть. Я забывал ее. Ей это было горько. Только раз, шутя... видя, как я забываю ее, весь в своем, в писании, купила она краску... — ей было это и больно, и... как бы шутка в ее боли. Мне было очень больно, за *все*. Так жалко всего — утраченного. Так ее мне было жалко. Ты вспомни, у Лескова, в «Соборянах» его чудесных, — (не совершенных в целом — не надо было «смешное» вводить! — но гениальных по некоторым страницам) — «голубицу чистую» Туберозова, как она *звала* его... бумажкой на ниточке... тянула к себе[96], — он забывал ее... — о, какая скромность, ясность, святость! Лучшего нет во всей литературе, такого сокровенного,

такой чудесной ласковости, женской-детской тайны! Оля оплакивала уходящее... не для себя все это, — для меня. Видела она, как одиноко мне, только все — в воображении. Но в ней еще не угасла — женщина, любимая... М. б. она томилась, что я, в воображении, в кипении, — ухожу — в другое? к другой? ищу — другим? Не знаю. Она не говорила, никогда. Но она знала, что я — могу увлечься. Она мне верила. Я — правда, не изменял ей, ни-когда! Но было мне больно, что «срывался»... — лишь в любовный флирт, — изменял в половину, никогда весь. Т. е. я не прелюбодействовал. Не переступал, физически. Мучил, да... невольно, но ее образ меня держал. Этим оскорблялись, бросали мне безумные обвинения — в обмане, — я не переступил. Не было захвата, значит. Да, «вожделел» — и это уже измена, но не отдавал себя, не осквернил ее. Но для нее и «мысли» — были страшной болью.

Оля, поверь мне. Твои работы в живописи, твоя тоска по ней, — светом стали мне. Святым. Такое счастье! так тебя влило в сердце! Моя дружка, мой товарищ! Я не ошибся. Я тебя себе открыл, не тебе. Ты уже знала, только ты так скромна, укромна. Письма твои открыли мне тебя, твой дар, неоценимый. Твое душевное богатство — редкое. Ты — само искусство. Эта радость так мне светит, Оля!

Таким, в такой тебе, — я не могу шутить. Ты — мое сердце, моя душа, ты — повторяешь мне меня, — я вижу. Оля, умоляю, не убавляй себя, не погасай, — не подавляй — обидой, мнимой. Гори, свети, — радостная, от Господа, данная на радость Жизни. Оля, я склоняюсь, я целую землю у твоих ног, — вот как ты священна для меня! Как нерукотворенна! — я светом твоим живу, я — ослепляюсь духовной красотой твоей, — такой не знаю. Я — смотрю на тебя, новую, — и — что с моим сердцем! И с пущей болью — сознаю, как я недостоин! Я вскрикиваю, когда взгляну-увижу — Оля! ты... такая! Свет льется от тебя. Оля! Останься незапятнанной, — ничто из слов моих не могло, не может тебя коснуться, — ты неприкосновенна, как самое священное, нетленна. Ты — все закрыла красотой души и лика, все взяла у меня... — и сохранила, сохранишь, я верю... — и отдашь. Прости мне мою, — если и вину, то внешнюю, обманную... — то, вне моего сердца, вне моей правды, — о тебе, — вне моего сознания. Ну, накажи меня, — только не больно, не очень больно. Будь я проклят, если тебя терзал. Я плачу над твоим сердечком, бедным, все отдавшим, — для других. Господи, дай мне силы, согреть, жизнью светлой наполнить сердце чудной! Оля, ну, погляди в мое — все ты поймешь. Простишь. Я не так виноват, не так, — я живу только тобой, я — смерть при-

му, все отдам — за тебя. Как же я мог о твоем чудесном, о неосуществленном, п о к а, — сожженном, так любовно мне открытом тобой, — так думать, покрыть его какими-то чужими потугами в искусстве — чужой мне вовсе..! М. б. тут было чуть от боли во мне? Нет, нет... я просто был с тобой откровенен, ты же меня корила, что я не все тебе говорю, что я не открываюсь... — я просто сказал — да, «пейзажи парижских окрестностей — муть в дожде» — И[рина] давала недурно. Но это не мой восторг. И — клянусь — в мысли не приходило твоего касаться. Твое — Святое, не походя могу о нем! Нет, не говори так: оно не з а д а в л е н о, — оно — ты сама не знаешь, — выросло в тебе. Если будем когда-нибудь вместе, ты все откроешь, найдешь себя. Школа? Все будет. Ты гореть будешь, и святое, чем ты полна, изольется в ж и в о е, в твои создания! Только с глазу на глаз сказал бы тебе, к т о ты, и к а к я в е р ю в тебя! Глазами сказал бы, от тебя, от света твоего п і я, сказал бы... ч у в с т в о м, нежной-нежной страстью. И ты ответила бы мне... — восторгом. Знаю, верю. Нежно снимаю слезы с твоих ресниц. Боль выпиваю — всю! — из сердца твоего — в себя вливаю боль твою. Пусть живет, светясь, твое неизреченное, чудесное! Вспомни: раньше, чем ты мне сказала о томлении искусством, я тебе сказал о твоем даре, о твоей душе т в о р я щ е й. Несравненная! Чудовищное мое письмо — не мое, это больное извращение, это — не от воли, это — провал. Вычеркни из сердца. Я все тебе сказал. Я правдой защищал себя. Ты сверх-умна, необычайно чутка, ты большой художник, но... тут ты все взяла в неверном преломлении. Я не мог так, я так не погрешил. Я в ином — оправдан заблуждением, страстностью ослеплен, я многого не знал. В ином — заслуживаю жалости. Прости. Я не понял о «слезах». — Ты здесь — на недосягаемой высоте, ты тут — верх великодушия. Я могу лишь молиться. Глупая религиозность доктора — никакой связи с Тобой, о Божией Воле. Клянусь! И не подумал. Нет, я никогда не считал тебя «примитивной». Я не слепой! Я тебя считаю чудом. Сколько я спрашивал: «Кто — ты?» Ты — непостижима. Ты — крик восторга, для меня. Ты — сверх-женщина. Ты идеал, какого и не постигают, еще не ищут. Я — искал его. Нашел — живую! Я не понял глубины твоего «на Волю Божию»! Прости же! Не мне тебя учить, — ты д а н а Господом, готовая. Я теперь все понял, я целую твои ножки, мне стыдно глядеть. Прости. Напиши все, если простила, что было... и о Б[редиусе] — трагедия — и о всей жизни, два-три письма. Буду с болью ждать. Целую. О, прости, Оля. Твой Ив. Шмелев

[На полях:] Весь в твоей воле. — Я очень спутан: если не на все дал объяснения, скажи, что еще? Отвечу.

Я все сделаю, чтобы свидеться. Да! Я — почти уверен.

Я не дерзал поверить, что ты в с е отдаешь мне. Я знаю, как я недостоин. Молюсь на тебя.

32

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.X.41

Пишу, Оля моя, еще, в дополнение (я уже все написал и отослал тебе), к объяснениям, которые ты затребовала, по поводу моего письма от 10 или 11.X.

Я не мог же, — ни прямо, ни криво, — иметь в виду тебя, когда совершенно п р о с т о, без всякой скрытой мысли, а лишь описывая Ирину, — Бог с ней, совсем! — сказал о «горящей изнутри», при ее бледности лица. Ты мне, светлая моя Оля, и это вменила: я тебя... будто бы — «не пощадил», узнав все из того же письма, от 2.X, о том, что «свежи еще у меня краски» (на лице), что я «воспел» бледность Ирины! Зачем же это, вовсе незаслуженное? Ты же мне о себе писала в открытке от 2 окт. (да!), которую я получил, — так у меня помечено на этой открытке, — 16.X! Письмо за №, я же так дорожу твоими письмами! Не веришь? Если свидимся — увидишь. Там же ты писала, что Б[редиус] многое знает[i]. Только. Об объяснениях с Б[редиусом] ты ни словом меня не известила. Очень жалею, что так поздно узнал, да и — что я узнал? Могу теперь только чувствовать, как тебе было тяжело. Оля, умоляю: если тебе будет еще тяжелей, обратись за защитой к власти, к германской власти: благородные солдаты оградят тебя. Ты видишь — мы разделены — условиями жизни, я рвусь приехать, но это сразу не делается ныне, я мыкаюсь, в бессилии. Если твоя жизнь будет под угрозой от человека, который, быть может, неответственен за свои действия, во власти neurose, — ты же имеешь хоть право защищаться?! Ты сколько же лет жила жертвенно! Я надеюсь получить разрешение, я ищу его. Ты собой владеешь, ты имеешь огромный о п ы т от жизни, в такой тяжкой обстановке. Господи, только бы мне помог Ты, Сокровище благих! Оля, если обстоятельства т а к вдруг обострятся, что тебе надо будет уйти от возможных ужасов, от человека, который может в любой момент утратить душевное равновесие и сознание ответственности за действия, извести немедленно, срочно: ты н е одна на свете, ты знаешь. Немедленно, насколько позволят условия сношений, я приму все меры, переведу тебе сред-

[i] Подчеркнуто О. А. Бредиус-Субботиной.

ства, упрошу людей власти — помочь мне в деле ограждения тебя. Я в большой тревоге, в тоске великой. Господи, сохрани. Ты чудесно владеешь немецким языком — тебя поймут люди, у которых много сердца. Я видел, знал, сколько здесь, во Франции, немецкие войска спасли от гибели — бывших врагов своих, в первые месяцы французского разгрома. Тебе, угнетенной жизнью, женщине, русской... — я верю, — дадут защиту. Дай знать представителю русской эмиграции в Голландии, ты знаешь его адрес? Он окажет свое участие, содействие. Я понимаю: долго вынести такой жизни — сил у тебя не хватит, ты ослабла, ты — больна. Я связан условиями жизни, непреложными правилами, выполнение которых требует времени. Я ничем не возмущу твоего горького «покоя», не подам никакого повода, чтобы вызвать тяжкое для тебя. Господи, спаси.

К письму твоему — еще. Ты пишешь: «И “стих” мой не увидел?» Ах, Оля... Я все чудесное твое так знаю, так храню в сердце. Как же я «не понял» сердца твоего биенья?! Но «стих» твой (это, конечно, ярчайшее выражение всего в тебе, сердца, души, нежности, ласки, заботы, великой святой любви, сверхчеловеческой...) я знаю. Давно все понял. Но позволь, — (это, конечно, лишь формальное, пояснение!) — позволь сказать: твой «стих», чудесный, я узнал 16.X, он в письме, с почтовым штемпелем Schalkwijk'a от 7 окт. Я не мог иметь его в виду в моем письме от 10—11.X. Хоть в этом-то не вини меня! Я уж не такой бесчувственный?

Ты пишешь: «Не важно, что ты зовешь меня Святой... и т. д. Важно, как со мной ты поступаешь...» Ну, я виновен... в помрачении... но — что же это... — «не важно», что я пытаюсь, посильно, для себя, определить, кто — ты? какая...? — для меня. И — называю. Это все живая правда. Это — истинное чувство. Мне — важно. Это-то, позволишь? Это — светлое, чистое — от сердца, его язык. Оно не в силах быть глухим, в молчании. Я в нем не властен. Если не велишь, — не буду, задавлю в себе. Нет, ты позволишь, ты же — любишь. А любовь, чистая, твоя любовь — так не может. Ты, умом, — можешь приказывать, но сердце не послушает его. И будет вечно право. Говоришь, напоминая, как я называл тебя, — Святая, Прекрасная... «и все другое»... Не важно? Это твой рассудок, ныне боль — так говорит — «и все другое», будто отметает. А сердце... — плачет сердце, знаю. Как у меня. Оно, как заведенные часы, стучит свое, — пусть дождь, ночь, солнце, крики в доме, все, что в жизни творится... ... — оно ведет свой счет, свое у него время, свой шепот... — пока живое, пока не лопнула пружина. «И все другое...» Разве тебе не нужно? Ну, на миг поверю. Но мне... — это же родится моим серд-

цем, это — Ты, такая, — для меня. Это — моя святая правда. Чистая она, ничем не подмененная. На «грешность» твою — я тебя толкнул? Что же, я принимаю, мне не стыдно, за мое чувство. И тебе не стыдно. Зачем же так упоминать? Оля, дорогая, чистая моя... — для меня все Наше — Божья Воля. Нет, не стыжусь, а радуюсь, Свету в тебе — во мне — рожденному, — радуюсь и благодарю Его. И ты, я знаю, — благодаришь, ты веришь в Его свет: он послан, чтобы рассеять тьму, твою, мою. «И тьма не объя его»[97]. Так писал мой Ангел — Иоанн. Ты говоришь: «И как легко у тебя с “ошибкой” получилось! Ну, прямо, “Полукровка” Вертинского!». К сожалению, — теперь, правда, к сожалению, — не знаю, не читал никогда Вертинского[98]. Знаю, что он был не без дарования, распевая где-то для снобов, модных, охотников до пряной жизни. Пел каких-то «лиловых» негров[99]. Эту гниль я не любил, жил другим, свежим. Как и ты. Напомни, приведи эту «Полукровку». Я предпочел бы твое, или — из Пушкина... Но тут, раз меня сравниваешь с «Полукровкой»... скажи мне, чтобы и я вместе с тобой — горько усмехнулся и — признал себя виновным и за еще — неосторожность в слове — за «ошибку». В чем моя «ошибка»? — Только в неудачном, «безвольном» слове — в мгновенном помрачении моем, от раскаленного, меня ожегшего воображения — им, через него я вдруг увидел себя гибнущим, во тьме тонущим. Ты меня спасла, а тут — раскал воображения, страх, что теряю все — вырвал у меня «ошибку». Прости. Неправда это, что мои «Пути Небесные» убиты мною... Оля, они не могут быть убиты: есть они. Часть — в книге, ее знают, ею бредят. Другая — в моем сердце, а теперь — хоть крупки! — в твоем: я о них вчера писал тебе. Если сердце останется немного жить — роман закончится. Нет, «Пути» должны явиться. Я их несу во-имя Твое, Оля. Я их напишу — для тебя, Прекрасная, — я силен их закончить — тобой, только. Без тебя — не родятся, не могут. Ты дала мне силу, волю. Ты их — оживишь, ты — поведешь, ты — их закончишь, мной. Тебя не будет — ничего не будет, для меня, во мне, и — из меня: меня не будет.

Ты пишешь: «Я уничтожила 2—3 письма о драме с Б[редиусом]., об унижении...» Кто мог тебя унизить?! Тебя?! Ты — унижалась?! Ты?!! Столько жертвуя, го-ды... — ты могла унизиться? Не верю. Если тебя унизили... что же — будешь продолжать, терпеть? Во-имя чего же? Что спасая? Ты давно спасла, спасала... — Оля, лошадям дают покой... всю душу измотала жизнь, твою... И — еще — уни-же-ние?! Не постигаю. Прошу — открой мне, все напиши. Не хочешь — воля твоя, молчу.

О, нет, за «тетей» эмигрантских я тебя не принимал. Зачем это-то еще? Ты знаешь, за кого я признаю тебя, — для сего и имени не нахожу тебе, — кто ты?! И сердце шепчет — сила, гений, — Дар тебе, недостойному! Да, правда. Я не скрываю. Дар. Зачем же так? Нет, я его вижу, осязаю, живое твое сердце. Я его слышу, чуткое его стучанье, мне — биение... и — мое ему. Сказать мне больше нечего.

О «котлетах» — к черту! — Эта пошлость — для пошлого, я уже писал. И, говоря об этом, пошлом, — о «чистой» тени мысли не было. Чистая всегда ограждена. Своею чистотой — во мне. «Теперь уже поздно»? — написала ты мое безумство. Говорю — «безумство» — верь, это правда. Ну, я ничего не помню, я был в кошмаре. Я не понимаю, как, когда я посылал? Не помню, я был во тьме. Не обвиняй. Не помню. Ну... прости! Но — не повинен, не было сознанья. Теперь — ничего не понимаю.

Про «слезы», что это на бумаге влага от розы... — помню: утратил чуткость, не понял, до чего ты бережна ко мне! Это — мой провал. Прости. Теперь молю, тут я не до-понял. Все — от одного, от потемнения. Я дней не видел. А ночью — ничего не видел, мученье, только.

«Глупо-религиозный» доктор... О тебе и мысли не было, клянусь.

Но так я никогда не кончу. Все равно, ну, не жалей, не прощай мне. Ну, не могу больше. Я все тебе сказал. Раньше, сегодня, и сейчас. Голова устала, 2 ч. ночи. Я устал... я — ну, не могу я больше, больно мне.

Но вот что. Пусть больно, очень больно мне, пусть я преступник, камень, злой, тупой, пошляк... игральщик сердцем. Хорошо. Пусть. И — я счастлив, страшно счастлив! Благодарю, Оля, свет мой, чудесная! За все благодарю! Это твое письмо — необычайное. Никто такого не мог бы написать. Это — да, я теперь отрешился от «себя», я теперь лишь ценитель. Я в восхищении. Так, писать, — ! — так тонко, так глубоко, так потрясающе, так тихо, так покойно крикнуть..! — только ты могла. Ты — гений. Это для меня — бесспорно. Вот какая ты! Такого — ни один Великий не мог бы дать в романе! Заставить героиню — написать. Я целую эти больные, — эту боль мою! — эти живые, трепетные строки. Благодарю! Ты одарила, меня, себя. Это же — верх искусства, искусства-сердца! Только твое, только ум твой, твой гений — да, и мне ничто не запретит так говорить! это я могу доказать!! — твоя душа — могли такое... величайшее, что я когда-либо читал. Это — предел. Как же ты, Оля, мо-жешь так говорить о Даре Божием?! — о Талантах? «Их просто нет». Вот — явь! Свет мой, целую, — позволь, Оля. Твой всегда. Ив. Шмелев

33

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[30.X.1941]

ИвОчек, Ивчик мой, И-ву-ленька, душенька родная!..

Ну, что ты делаешь с собой? А со мной? Тебе не жаль? Я уж тебе писала, как мне. И почему. И что не надо, нет надобности меня «уговаривать». Разве ты все еще не понял? Не понял, что и без «уговоров» я вся твоя, в одном полете — к тебе. И вот т а - к у ю... держит... не только кто, а и что... Как больно... Все твое понимаю. Т. к. сама страдаю так же! И... т о г д а же. Да! Ужасно это было 21—22-го! Видишь, как я тебе открыто. А 22-го, после зова тебя, любви ужасной — твое письмо от 10-го, ужасное письмо. Оно хуже, во 100 раз моей открытки. Эти «2 строчки» ты не понял. О, как не понял! Почему ты все видишь хуже? Послушай, я тебя боюсь... Твоего «пожара»... Правда. И еще того,.. что ты... такой... всеобщий. Ты т е п е р ь только — мой. А дальше? Я боюсь Парижа, друзей твоих. Не смейся, а пойми!

А после твоего письма, 10-го, я так была убита... Ты стал такой... «мужской»... такой... будто я вошла нечаянно в мужскую компанию. И... как смутилась. И все другое было так... больно. Зачем ты это сделал? У меня в жизни было много муки, но нечто вот такое, что мне мелькнуло сходством в письме том, — было пределом муки. И я боюсь!.. Я тогда ушла... Ты пишешь об инженерше и о «жизни или смерти», — я эту постановку испила тогда до ужаса. Только роли были наоборот. Это был — у ж а с. Я им-то и надломлена. Но нет, это не он, не 10 лет назад... Я тогда была 19 лет только, и несла это до 22-х! А ты знаешь, что ты — ревнивец... да, да. И я боюсь тебе все открывать! Все из о п ы т а же вынесла! Вас, мужчин, надо очень остерегаться! (Вышло как-то на манер горничной «Вас — мужчин»). Но это — истина... Скажу только, что, нет — не обладал... Ни кавказец, — и никто... Ну, до... 1937 г., конечно. Успокойся! Иначе было бы все проще, к у д а проще! Скажи, обязательно, скажи — в чем мои изломы? Мне для себя это надо знать. Только я с тобой — пряма. Я тебя никогда не «разжигаю». М. б. невольно?! Ах, вот о деле: я сержусь на тебя за М[арину] Кв[артирову]! Зачем, и что ты рассказал? Пойдет сплетня? Я вчера ей как раз открытку послала — просила портрет выслать. Она неисполнительна. Тогда держала письмо твое 3 мес.!

А о Земмеринг... знаешь почему я спросила «кто» она? Она меня, не зная, не видя, незаслуженно... лягать хотела. Не веришь? Да, да! Не забывай: тебя любят! И любовь к тебе — не значит и любовь ко мне. Особенно женщин! Милушка мой, тебе

многие... не простят меня! Считайся с этим. Примеров много. Я не ошиблась во впечатлении от письма З[еммеринг]. Дала, не говоря ничего, его прочесть Сереже. С. — умный, без тени «изломов», трезвый... «Кто эта стерва?» «Чего это она тебя лягает, — ты с ней, что ли, в переписке?» Понимаешь? Та тебя ценит, тебя любит (пусть только читательски), а меня?..

Не пиши ей ни звука! Молю! Берлин — для меня базар. Меня там слишком знают. Опошлят наше! И подумай: ты там... к тебе все льнут, идут, ты взят... Н[аталья] Як[овлевна] — счастлива тобой... ты гость... Ну, и... ради приятности... конечно допустят О. А. ... Ты же там разорван будешь людьми. А я? По уголкам у Н[атальи] Я[ковлевны] с тобой шептаться? Нет! Это мне — тяжело! И... главное... самое главное... меня не пустят! Уже не пустили. И туда! Разрешение на визу ты получишь только через германские власти, Wehrmacht[i]. Женщину не пустят. Не могут ничего сделать «местные власти», например Голландия, Бауэр и т. д. Только — германские... Я думаю, тебе легче. Ты мог бы сказать, что нам необходимо по твоим литературным делам, по делу увидеться. Ведь это даже отчасти — правда. Все наши «дельцы» ездят по своим делам «geschaft'ам»[ii]. Почему же писатель не может? Я думаю, что они даже поймут. Связи — все. Наш батюшка ездил.

Сейчас ко мне воробушек в окошко стукнулся. Ты это? *Не* не хочу, а... не могу. Против воли не могу получить для себя поездку. Никому обо мне ничего не рассказывай. Ты — слишком велик и на виду, — а люди злы. Изгадят так, что и не заметишь. Я не о Квартировых. Но ты знаешь, как подобное сенсационно? Посылаю тебе одновременно еще письмо с маленькой фото — японка[100], и еще одно[101] — собственно только «gutachten»[iii], «Anamnese»[iv] (не сделала ошибки? Уже забыла эти слова!) об Арнольде. Думаю, что это тебе знать важно.

Здоровье мое все истрепано. И как все кончится — не знаю... Ты меня немножечко пойми! Хорошо было бы уехать и отдохнуть, ну, хоть... в Швейцарию! И ты бы! Ах, ах... забыла! «История любовная» и «Свет Разума» — уже здесь! Я Тоничку теперь совсем еще иначе увидала. Ты — ты теперь такой! Боже, ты весь! Ах, Тонька, Тонька!.. Нет, у тебя там не «много любвей», — а одна, единая, Единая, невоплощенная... Как, искал! И как нашел счастливо!

Послушай, знаешь чего мне еще страшно?

---

[i] Вермахт, вооруженные силы фашистской Германии (*нем.*).
[ii] «Торговые операции» *(от нем. Geschäft)*.
[iii] «Свидетельство» *(нем.)*.
[iv] Медицинское свидетельство *(фр.)*.

Ты слишком был Ею, О. А., — счастлив...

Во втором... ты... это не дается, так 2 раза быть счастливым. *Это жизнь не дает.* Ты Ею все еще *живешь.* Во всем, сам того не видя... Я в ее свете — убожеством покажусь тебе. И так понятно. Ты знаешь... нам, читателям, Ей надо поклониться... Она дала тебе столько простора для твоего искусства — и через это... нам... Я — не могла бы так. Я это знаю. Я бы ужасно ревновала. М. б. до смерти... А ты думаешь, тебе простят меня вот такие как инженерша из Праги? Их много! Ванюрочка, я много думала... Знаешь, мы должны увидеться, чтобы обо всем поговорить. Все очень важно. Не для проверки любви. Хотя и это нужно. А... вообще. После встречи надо и решить. Иначе я боюсь... М. б. глупо, но так чувствую. Ты знаешь, можешь догадываться о некоторых моих взглядах. Их тоже надо разобрать. Я привыкла быть самой собой, а не женой при муже. Т. е. — у меня свое всегда. Мое мнение и взгляд на жизнь и вещи. Меня совсем не интересует то, о чем ты пишешь («материальные удобства»), — это все так придаточно, неважно! Мне важней другое. Не значит, что ради этого я бы могла тебя утратить. Но просто — это тоже важно, как одно из моих проявлений. А все остальное — ерунда. Я ничего не говорю. Мы все решим после встречи! Мама — верно ушла бы к Сереже. Не знаю. Он живет пока в пансионе. Адрес: S.S. Pension Master, Apeldoornoscheweg 5, Arnhem. Он хорошо устроен — почти директор дела. У него автомобиль и масса самостоятельности. Пока... Никогда неизвестно что будет. Его ценят и любят. Однажды меня вез к нему шеф его на своей машине. И всю дорогу — хвалы братцу. А ему — обо мне! Умора! «Ich denke, dass Ihr Schwager zu viel in Ihrer Schwester bekommen hat...» — «Wie so?» — «Sie ist enorm geschickt, ... klug, wie ein Mann, mit unseren Damen konnte ich niemals so sprechen.., ja, ja, ein Mann, ein kluger Mann!»[i]. Мы долго потешались, какой я «Mann»[ii]. Он часто у вас бывает. Я его просила тоже. Он был точен. Спрашивала, не возьмет ли меня с собой к тебе, ну, хоть, как секретаршей... Хохочет. Говорит — нельзя. Одно время я на это очень рассчитывала. Но нет, действительно не может. У Сережи недавно была автомобильная катастрофа... чудом спасся. Машина перевернулась 2 раза, а у Сергуньки даже папироса в руке осталась. Он — молодец. Не потерялся, сам себя и спас!

---

[i] «Я думаю, что Вашему свояку очень повезло с Вашей сестрой». — «То есть?» — «Она необычайно искусна, ...умна, как мужчина, я никогда не смог бы разговаривать так с нашими дамами... Да, да, мужчина, умный мужчина!» (*нем.*).

[ii] «Мужчина» (*нем.*).

Неужели тебе так мой портрет понравился? Никому, даже «дубине»[102], не нравится. Я уже в воскресенье знала, что он у тебя не был (!). Звонила ему. Мама сказала: «ты там пре-о-мер-зитель-на». Сережка только из-за руля покосился: «Чтоо, ты эту гримасу послала? ну-у, нет, какой же спех? Я бы тебя лучше снял». — «Что же разве так не похоже?» — «Слушай, гримаса тоже — "похоже", — тоже твое лицо — , но... гримаса». Толен хотел лично тебе сказать, что «M-me NN в жизни лучше». Сходство с... А[лександрой] Ф[едоровной] многие находят и в жизни. Особенно когда в косынке Красного Креста... У меня сережки такие были. Потеряла...

Ах, слушай, как мне стыдно: я тебе по ошибке посылала неправильно франкированные письма... Правда — ошибка... Прости! Что-то еще сказать хотела... Да, здоровье плохо. У-с т а л а! А ты? Ты тоже не очень важно? Что же мне с тобой делать? Приедь! Только не к М[арине] К[вартировой] — мне туда не дадут визу. Я уже справлялась. Ах, ты меня не знаешь. Я вовсе не такая уж «заквашенная». Я знаю, совестью знаю,.. что грех, и что нет! Об этом не надо больше! Ты знаешь, к а к я к тебе! Знаешь?

Я так же точно, как ты ко мне! — Поверил теперь? «Сложности» мои — огромны. Но верю, что Бог укажет и поможет. Не злись, что я «пассивна». Нет! Но *не* форсируй! Это нам же может все испортить. Спроси твоего... друга... этого «получасового»... С к а ж и — что мои изломы?! Не тереби меня, не дразни тоже! Не дразни Ириной! Зачем это? Обнимаю тебя, безумно, целую крепко и очень долго... Дай же хоть портрет! Отругай Маринку! Противная девчонка, сама верно любуется! Ты пишешь «письма мучают» — не писать т а к? Но... не мо-гу... и н а ч е. Люблю... Милый, родной, хороший. Люблю до крика, отчаянно... а ты... живешь все-таки... не мной. Но я не сетую. Я понимаю.

Твой Олюнчик. Папа звал так. Всегда присыпаю твой «Эмерад»... я дышу им!

[На полях:] Болезнь моя была действительно почки.

Послушай: у меня есть книжка — дурь, так, альманах с гороскопами. И стоит, что рожденные под «близнецами» гармонируют с «весами» и «водолеями»[i]. Ты — «весы», а я — «близнецы». Арнольд — «лев» — нейтрально. И тот, за 10 лет... «водолей». Странно?! И еще там так верно об искусстве — оба... люди искусства: и «весы», и «близнецы».

Письмо от 30-го сент. «День Веры, Надежды, Любви, день Софии» я конечно получила!

---

[i] В оригинале: «водолазом». В дальнейшем это исправление не оговаривается.

Ничего для моей «свободы» не посылай! Обидишь! Использовать все равно не смогу. «Откуда?»

Ты чувствуешь, как я тебя люблю, ласкаю, целую... Приедь, увидь... узнай все... Не могу!..

34

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.X.41

Ванюрчик, милушка, любимушка! Сейчас, сию секунду твои: сперва exprеs от 25-го[103], и вот сейчас — от 18-го! С маленькой любительской [фотографией][104] в Карпатской Руси! Какой ты милый! Как я тебя целую! А кто этот «дядя»?[105] Ужасно добродушный. Почему он, а не я??? Как ты меня тронул... Господи, как тяжело ужасно. Я тебе отправила сегодня 3 письма[106] — exprеs. Писала их и вчера, и сегодня (т. е. ночью). Твои письма... много... дождь писем... я получила. Подумай... от 24-го[107] уже пришло! А это — 18-го так долго... И в нем замечание цензора: «другой раз короче. Цензура». И все-таки, какой милый цензор! Благодарю Вас... неизвестный цензор, что Вы прислали!! Если бы Вы знали, какие письма держат Ваши руки..! Сколько в них радости и счастья!.. —

Меня смущает, что я тебе вчера писала так о З[еммеринг], — я не знала, что она близка тебе. Но меня-то она все же обидела... Ты ей ничего не пиши обо мне. Ну, ради меня! Не говори о нашем никому и ничего. Я повторяю: ты слишком виден, — нам испортят. Я боюсь. И знай, что часто, очень часто так бывало, что исполнялось то, чего боялась. До ужаса точно! Мой далекий... тот, бывший... Георгий — знал это... и маме говорил: «а Оля все равно... все знает!» Они с мамой скрывали его тайну от меня вместе. Он должен был меня покинуть... Ах, к чему это?! Я так полна тобой! Я вся, вся тобой полна! Как ты чудно пишешь! Гений мой, я так захвачена «Путями»! Это будет дивно! Послушай мой певунчик, — я так все вижу сердцем:

— «Тоничка» искал... невоплощенно, мечтами, грезами, слезами еще полу-ребенка... Последнее Явление я не беру. Это — чудесность. Это увенчание. Но не содержание «Истории любовной» как таковой... Затем «Чаша»... Илья — увидел... обрел... Ее во плоти... живую, сущую полюбил... недосягаемо... Неуловимо... Мечту... хоть сущую, но мечту...

И вот... «Пути» — дали Ее, Ее — Дари! Ее всю живую. Найденную... Исканную всю Жизнь!.. Только здесь, этими чудесными «Путями», — Ты вел и Ее, явленную тебе-Тоничке, в «синих глазах»... Как чудесно завершилось. Вся Жизнь... Твое искание

святого... Какой ты — чудесный! Я так «восхИщена» тобой сегодняшним. Меня понявшим! Как я страдала! Какое тебе спасибо за exprеs сегодня! Я думала: неужели и тогда, когда срочно, нужно, — он не пошлет exprеs!? И ты почуял это! Ты знал, что меня успокоит! Я жду твоего ответа на мое 23-го![108] Не «объяснений», — нет, я их почти что уж не жду... Я жду узнать, как ты его принял? Не слишком ли больно. Ванюрчик, не надо себя мучить. Давай жалеть друг друга! Это оттого, что все так грустно. Далеко... без разряда. Вот куда-то молния и ударяет. Так и объясняю. Дружок мой... «нет, я тебе не враг!» Спасибо! Я стала такой пугливой. Часто шарахаюсь в сторону, если ставень окна пошевелится ветром. Боюсь писать тебе. Боюсь и твоих упреков. Не запугивай меня! Будь как прежде! Как я тебе открыто тогда писала... Тоничка мой милый, как бы хотела я тебе рассказать о моей жизни. Там каждый шаг — роман. Сколько вынесла. Чего только и не было! Ты на И. А. не сетуй. Он страстно меня отговаривал. Предлагал свое «отсекающее» письмо. Я перепишу тебе в следующем письме его письмо ко мне. Ты увидишь. Но на мои доводы и после знакомства с А. — сдался, предупредив однако, что трудно мне будет. И. А. — удивительный. Мы много пережили вместе. Помню (уже я замужем была, — гостила у мамы)... было ему очень тяжело... душа скорбела. Пришел к нам. Я могла кое-что для него устроить. Потом — не вышло... У нас были гости у брата. Мы с ним пройтись пошли. Сидели в садике на нашей улице. Холодно было... март-апрель, кажется, а холодно вечером-ночью. Звезды были. Он был так тревожен, так загнан жизнью. И помню руки мои взял, чтобы поблагодарить за... участие что ли? Не знаю. «Олечка, такие холодные, худенькие ручки?!» Сколько ласки... как папа... Я стала говорить, что счастье хоть что-нибудь ему сделать, что я могу так мало... «Огромно, много, — уже то, что Вы вот эти дни здесь... Огромно это...» Ты видишь... он хорошо к нам относился. Он не мог сознательно, или халатно, ошибку сделать. Так уж вышло. Он меня бы на растерзание не отдал. Предупреждал. И очень отговаривал. Даже рассказал о русских женщинах где-то в Европе... целый поселок их... ушедших от «чужих» своих половин...

Ты прав о % психопатов... Их масса. А знаешь отчего? Inzest[i]. Женятся на своих, чтобы деньги из семьи не уходили!.. Ты прав и в том, что «психоз свободен»... Я это испытала... Это ужасно. Было так страшно. И вот тогда... в рожденье мое... в 39-м... тоже. Я не знала, чем кончится... И в эту Троицу, но не со мной, а с его сестрой. Они у нас гостили. И поругались. Оба — хоро-

---

[i] Инцест (*нем.*).

ши. Я онемела вся тогда... Уйти хотела... Службу искала. Я тебе об этом не писала. Понятно почему. Но теперь ты сам подсказываешь. Сережка его тогда чудесно оборвал, — орал на него во всю глотку... Потом сам плакал. Жаль ему стало. Мирились потом. У мамы отчаянные головные боли поднялись. А Верру[109] — безумно испугалась. Ар в жизни — теленок... но разъяренный — он ужасен... Я это знаю и обхожу это умело. Когда выходила за него, то его такого не подозревала. И. А. конечно тоже не знал. Друзей у него никого нет. Никто у нас не бывает. Ты думаешь, что я не думаю обо всем?? Приезжай сюда! Мне не дают визу в Берлин. Я уже справлялась. Я сама об этой возможности думала... В Arnhem'е я нашла бы тебе в пансионе комнату... Это миленький городок. Часто бывают туристы, — потому налажен для этого. Я бы поехала туда тоже «на отдых». Я уже это себе выговорила. Мне сам он предлагал. Я поселилась бы где-нибудь, ну, хоть в Сережином же доме. И была бы с тобой все время... Сказала бы, что ты мне родственник, приезжий, хочу и должна видеться. Поверили бы? Оба русские... Я не могу без тебя. Мы должны увидеться! Я писала о «разности взглядов». Не думай ради Бога, что это таак... т а а к тяжеловесно во мне... Нет, но я хочу знать, как это у тебя. И чтобы ты меня в е р н о понял. Из твоих намеков я вижу, что ты меня неверно представляешь... И вообще: «я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя...»[110] и т. д.

Ах, да! Почему никогда больше ничего о Тютчеве? Ты 30 сент. писал, что «завтра о Т[ютчеве] и на все отвечу». И не было. Потому, отчасти, я и 2 строчки послала. Целую неделю н и ч е г о! Я утром твое читаю и уж грущу, что вечером не будет... А иногда бывает!.. Все твои последние у меня под подушкой... Я ловлю твои духи!.. Я тоже т а а к страдаю. М. б. уж и не очень больна?? Я сильно похудела. В талии, поверх шерстяного платья и всего прочего, чуть-чуть 60 см в объеме. Конечно натурально, без искусственных утеснений. Все валится с плеч. Худею с часами. К сожалению, не могу принимать твои сонные — на другой день мне бывает плохо — кружится голова, будто пьяная. Часов до 4—5 дня.

У меня нет ничего, что может определить анализ. Доктор сказал, что «истощение нервное — покой нужен». А где его взять?

Ты думаешь, что «не буду тебя торопить» — (спасибо тебе, друг мой за это!) — поможет? Даст покой? Я же сама себя тороплю. Я рвусь к тебе. Стучусь лбом в стенку, не вижу выхода... И я всего боюсь... Я и тебя, твоей обстановки, твоей всеобщности, всепринадлежности — боюсь... Я не хочу, не смею, не могу вставать у тебя между тобой и всеми людьми, тебя чтущими...

Я боюсь, что так будет... Fr. S.?[i] Ты в письме от 18-го окт. говоришь: «это ревность к "Чаше"». Нет — это ревность к тебе. И это у многих будет. Из чего, как не из ревности, обливают кислотой? А тоже ведь любят! Ты ей прощаешь «ляганье» — некрасивое, чисто женское. Я думала по этому ляганью, что она старая дева. Сережа тоже. Ты ее извиняешь. Не *мне* же указать тебе на то, что этого нельзя. И не захочу я этого. Не захочу вбить кол. Конечно, ты не знал еще о ее письме ко мне, но ее вопрос к тебе? Разве смела бы я так тебя спросить, ну, о ком хочешь? Раз ты этому человеку почему-то «Чашу» даришь, с этим автографом, — то что это за опека? Разве у тебя-то чутья не хватило бы? Она со мной говорила как с девчонкой, как твоя собственница, позволившая и мне крупицами пользоваться. У этой сорвалось, а другие будут еще почище.

Я не прошу твоей «защиты». Плохо, когда об этом нужно говорить. Надо, чтобы таких ситуаций просто не могло возникнуть... З[еммеринг] значит почувствовала, что меня ущипнуть можно. Не пойми, моя радость, это за упреки. Это просто удел великих людей... О. А. была другое дело. Ты с ней вошел. А меня приводишь! О, я хорошо знаю людей. В Берлине было бы для меня мученье. Я, думаю, ты поймешь...

Мне тяжело до предела... Я не могу иначе... До смерти тяжело. Я не кощунствую, не вызываю... но лучше и не жить!.. Я боюсь смерти, и это меня держит. А что, что у меня есть?? Письмо это я кончаю утром 31-го. Вчера я еще светилась. Пела даже... Чудные русские народные песни, знаешь? «Ой, Иван ли ты Иван»? и «Ах, ты Сема, Симеон...», «Матушка, что во поле пыльно?» и романсы... «Хризантемы» и «Как хороши те очи...» и «Серебрясь переливами звездных лучей...» и любимое... «Сияла ночь, луной был полон сад... сидели мы... с тобой в гостиной без огней...»[111] Это пела Кузьминская — Наташа Ростова... в тоске и безнадежности, в любви к Сергею Толстому[112], т. е. нет — это на нее сложили романс![113] После ее слез. «Тебя любить, обнять, и плакать над тобой...»[114] Неужели и «дама с собачкой» даже недостижимо? Неужели не увижу! Спроси племянницу О. А., м. б. у нее есть знакомства, которые просто поймут и устроят. А Марина все тебя еще держит, сама любуется. Как мне все, все горько. Иван, я мучаюсь, что ты мне изменишь... Возьмешь кого-нибудь? Пусть на 1/2 часа.

[На полях:] Может это быть? Я тебе верна. Как это ни сложно! Понял? Целую тебя и люблю... безумно. Оля

Вот мои слезы!

---

[i] Г-жа С[убботина] (*нем.*).

Духи![1]

Ежеминутно думы о твоем здоровье. На коленях молю — берегись!

Будет у тебя «Милочка»? Приедет? Обязательно мать ее пошлет! Пойми!

И. А. могу написать только *я*, так как я знаю, как ему можно писать... именно в этом вопросе.

35

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.XI.41 11ч. 40 мин. вечера

Оля, вот пятый день нет от тебя письма. Мне трудно. Я не знаю, как твое здоровье. Твое письмо 22.X обжигает душу. Кляну свое безумие, которое написало письмо от 10.X, — тут не было моего сердца, светлого во мне, моей правды. Тут была лишь злая ложь, которая на миг все во мне задавила, овладев разбитостью воли светлой, души, тебе предавшейся, тебя бережно таящей, только тобой — живой. Что еще мне тебе сказать? Я уже все пытался — не в оправдание, а в прощение! — сказать. Разве вот еще: я ведь только 16.X получил твое письмо, в котором ты открыла и отдала мне все, все... Это письмо — все, это — предел жертвенности твоей, это святое, это до того безмерно, до того освящено величайшей болью, и — такой любовью, какой я и не представлял в мыслях, в сердце, — какой я не знаю ни в жизни, ни в гениальнейших творениях высочайшего, чистейшего искусства, где всегда — правда, благо — и красота. Я не знаю такой красоты души — как у тебя, моя небесная, — не земная! — Оля. Это не слова, это только выражено словами, нельзя иначе, — это в моем сердце живет, стало жить от тебя, с тобой! Ты меня одарила таким душевным богатством, какого я и не помышлял встретить нигде, ни у кого. Оно было в мыслях у меня, в сердце моем, лишь как идеал, — такой идеал недостижимый, что его нельзя, нет дерзания когда-либо выразить, как сущее. Ты его олицетворяешь, утверждаешь собой и — отдаешь мне, недостойному и тени его, мечты о нем. Одно мне светит в моем сознании моего мгновенного упадка перед тобой, в твоих глазах: я его предчувствовал, я его уже угадывал — этот идеал — тебя, — когда — и уже давно, — вспомни! — когда писал тебе о душевной красоте твоей, о душевном твоем, огромном богатстве! Я открывал в тебе это богатство.

---

[1] Письмо надушено.

Хоть за это признай мою горькую, больную вину перед тобой — смягченной. Гений, посланный мне на распутьи моей жизни, — горькой, Оля, жизни! — гений в твоем нетленном, нерукотворном образе, — во всей тебе! — не может быть неумолимым: он все поймет, все, что от моей тьмы, от моей боли, от моей злой неправды, от моей любви, перекипевшей, от ужаса, что я тебя утрачу, от запутанности жизни, от неполного понимания всей неимоверно сложной, несказанно богатой твоей сущности. Ты необычайная, Оля... — ты — еще не бывавшая в жизни, ты — первая.

Вот почему — и уже давно — называл я тебя — все-женщина, ангело-женщина, ангЕлика. Моя Дари, так захватившая собой многих-многих, — а м. б., и всех, кто читал о ней, лишь намек слабый на то, что рождалось — но еще не определилось, — во мне, в бездумных поисках-мечтаниях. Что — нарастало смутно. И вот ты явилась... явлена мне... чьей волей?! Да, я знаю: ты — явлена. Именно, ты. И как же знаменательно и — для меня — явно — промыслительно! Явлена — когда я уже покинул помыслы о «Путях Небесных». Я уже готовился кончать всю свою работу и — жизнь свою. Второе... — только в предчувствовании ... — не было воли продолжать. И вот — ты, явленная. Вот это — вся правда, Оля. А я... — боготворя тебя, сознавая, кто ты для меня, и — почему, чьей Волей... поняв болью, что уже без тебя не могу, не буду, бессилен и писать, — и... — да, теперь уж знаю! — жить... я был безволием моим и чем-то во мне темным, враждебным всей моей истинной сущности, брошен в безумие, в бешенную зло-волю, чтобы — о, невольно, слепо, беспамятно-безумно! — в твоем-то, таком безмерно-драгоценном, таком священном для меня сердце, в редчайшем, должно быть — единственном из всех земных сердец, — сложить свои — призрачные для меня, но злые в сути — осколки! сделать боль любимой истинно, свято, нежно, бережно, трепетно, до боли святой любимой! Не отвергай мои сердцем рождаемые имена тебе, определения-попытки тебя! Все — правда, все — моя сладкая боль тобой, Оля моя, чистая моя, так истомленная, так умАленная злою жизнью. Прости, забудь. Не во всем повинен, сердце тебе скажет. Прости, Оля.

Я вот эти дни — болен, болен. Душой болен. Себя не вижу. Все — из рук валится. Все у меня — именно, валится, бьется, — растерялось все во мне, я костенею. Только мысль бешено точит, путается во мне, — и я без тебя, без твоей светлой силы — пропадаю. Это не «прием», не «тактика», не «словечки», когда я говорю тебе, что теперь не могу писать. Нет, мои «Пути Небесные», — свято-греховные, не убиты, — ложь! — и никакой «ошибки» — не было моей, — это ложный «крик», из меня, —

но я *сейчас*, пока *наша* жизнь не определится, не могу отдать себя *всего* этой труднейшей из всех моих работ. Теперь я вижу ясно, что эта работа не-обычная. Она — почему-то — стала последней при жизни моей покойной Оли, особенно ей дорогой, — как она, за какой-нибудь месяц, дни, — до своей кончины, — так нежно просила... — «ну, милый... пиши скорей... я так хочу знать, что *будет* дальше...» Я за неделю до ее кончины закончил последнюю, 33-ю главу, — «Исход». Я рассказывал ей — очень смутно — дальнейшее. Потом... — три года я не мог вернуться. Читатели меня просили много. Не мог. Ждал? чего?.. — не знаю. Не мог. Потом... ты все знаешь. Моя Дари осложнилась — *тобой*. Ты *вошла* — смотри мое сердце, это вся правда! — в мои «Пути», и они стали — да, стали! — *твоими*, нашими. Без тебя — их *не будет*. Это другое, чем у Данте. Беатриче его — его Муза. Не стала его, в нем... Ты — *вся* — в «Путях», в моем сердце, *душе*, во всем мне, моем, — сроднена с ними — со мной. Это выше моей воли. Я не могу без тебя, не смею. Ты будешь раскрывать мне мою Дари. Бессознательно. Она *тобою* — во мне — будет наполняться, оживать — жить в романе, в сердцах у всех, кто о ней узнает. Этого я не мог придумать. Это *само* явилось во мне, мне, для меня, для — жизни!

Не смею я так думать, — это не гордыня ли? Но что же я могу с собой поделать, когда это *так*! Оля, милая моя, ласковочка моя, мой свет, меня ведущий... Оля! Прости. Я не так уж виновен. Я овладею темным во мне. Ты не прочтешь ни одного горького слова, не услышишь... — только благоговение, только жизнь тобой, только озарение тобою, только прославление тебя, только вера в твое огромное, непостижимое дарование, — от Господа! — мне непостижимое, — я такого счастья, радости, любви, *силы* в себе от тебя, — не мог ни вообразить, ни предчувствовать, ни втайне возмечтать об этом. Это ослепляющим, сердце-душу опаляющим благодатным *Светом* явилось. Оля, не смею и ножки твоей коснуться дыханием, благоговейным касанием губ коснуться, — так я взираю на тебя, несбыточную, безмерную для всех чувств моих. Оля, — то, что послал тебе, — этот набросок, — «Девушка с цветами», — это тебе — земной — я... но Ты для меня еще другая, высшая... — Этой я не мог бы ни слова дать в творческом порыве, — так это все мое недостойно истинной тебя. Оля, ласточка, — земная моя Оля! — я люблю тебя, как никого, никогда не любил, — а я ведь только раз и любил в жизни! — *такой* любви я не знал... такой переполняющей, наполняющей, *творящей*, возносящей, умножающей все силы духа моего... — и — грозящей. М. б. темному во мне — грозящей? Не знаю. Олёль моя, девочка святая, дитя мое, Оля, — у меня нет имен для тебя. Не мучай меня, напи-

ши мне, я без твоей ласки опустошаюсь, никну, теряюсь, — не живу, а жду, жду, жду... — и не знаю, чего я жду. Я уже ничего не жду, — все пусто, в пустоте. Оля, не томи, у меня уже и сил не стало. Я не могу. Прости. Я не могу больше.

Родная, милая Оля! Как я люблю тебя! Любовь моя — боль! Пусть еще больше будет боли! И. Ш.

1 ч. ночи на 2-ое XI

36

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.XI.41 11 ч. 10 мин.

Оля моя, я в такой смуте — тоске, что все спуталось, до отчаяния. Я не безвольный, я очень силен волей, и я доказал это жизнью: я нашел себя, и отдал себя тому, что было мне даровано, — для этого нужна воля. На письме не выскажешь. Безвольный, не дал бы того, что я дал. И — в каких условиях! Да, Оля была моим оруженосцем, моей опорой. Да святится память ее! Я верую, что ныне ты мне дана — завершить и... жить, одновременно, и, живя, — победно закончить все. Когда я писал тебе — «веди меня», — это разумел. В делах жизни — я воли не теряю. Силен. А вот теперь, когда ты меня лишила себя, обусловив моим объяснением, когда письма плетутся, и я не имею права уже ускорять expres'ом, я отдан в пытку. 6 окт. писала ты: «Как я Вам верю, как не хочу Вас мучить. Разве я могла бы Вас мучить? Даже невольно? Нет, никогда». А теперь... ?! Ведь мое письмо от 11—10.X — это прорыв темного во мне, оттого, что ты так «глухо» писала 2 окт. После ты сама сознала, что «м. б. я, действительно, слишком мало открыла о себе». Да, потому. Я уже молил тебя простить мне это письмо, невольное оно... ты нагромоздила обвинений в том, чего я не мог знать даже, т. к. эти «мелочи» я узнал после 11.X (цвет твоего лица, свежий, твой чудесный стих-гимн, и еще что-то...) (все спуталось!) перетолковала наизнанку «оценку читателя», оскорбилась «цинизмом», — не моим, — а, мне трудно. Единственно, в чем, я провинился, — в огненности своей, в страстности, то, что я назову — за-любовь или под-любовь... что самое малое в моей любви — святой силе. Да, и злое во мне крикнуло, а я оставался — сердцем — весь в любви к тебе, небывалой, первой — такой — любви. Мне даже страшно так говорить... но она все поймет. Это любовь — последняя, какая-то сверх-любовь. Ну, я все ответил на письмо 22-го. Да, вот что. Возможно, что «Пути Небесные» так и не завершатся. На случай этот я тебе — отдельно — набросаю (попытаюсь, выйдет ли, такой еще хаос в очерта-

ниях романа!) ход «явлений» — для II и III части. Ты их, м. б., сама закончишь. Ты — в силе. Я тебе все главное — сердце романа — передам. С тобой — я его написал бы скоро. Он сам вылился бы — как дыхание, — с тобой. Без тебя — он будет — (если только будет!) — плестись, мучительно, — и — искривится, знаю. Но все же... я оставлю тебе ход его, без красок, без дыхания. Ты вольешь его, облечешь, дашь расцветку. Ты — можешь. Сама увидишь. Ты — единственная, ты — естественное дополнение — меня, как я — тебя. Теперь это для меня — истина. Ты незаурядна. Мало: ты — необычайна. Ты — гений? Да... этого состава. Это не — от сердца я, а от — мысли, строгой.

Постараюсь восполнить ответы на последние твои письма. Нет, я не обращаюсь в противника, когда узнаю, что — «любим». Хотя бы потому, что ничего не знаю. Одни — намеки, полунамеки. Ты еще не успела рассказать мне о себе. Я должен, как палеонтолог — по кости — определить вид, слой. «Останься близким, чтобы я тебя не боялась». Это ты сама себя боишься, сама таишь... я ближе быть... уже не в силах: ты вся — во мне.

Неужели тебе милей, если я буду на все — отвечать — люблю, и — никак не проявлять себя? Как же ты все тогда можешь узнать во мне? Хорошо, я буду сдержанней, — прохладней, буду омертвлять свою «отдачу»? Знай, Оля, я буду стараться быть особенно чутким, никак тебя не потревожить. Ты мне — неоценима, только бы ты была здорова и спокойней. — Твое письмо от 4—6.X — о, какой свет, какая любовь, какая... бездонность любви — любимой! — я могу назвать его — «опаляющим» — святою молнией из существа дивного твоего, — такого — знаю! — никто еще не получал — и не получит, — ни в жизни, ни в величайших поэмах Великих. Ты могла, только, — ты... ибо ты — над всеми женами! Ты уже вне их, ты — ...я не могу сказать кто ты. Это можно лишь дать, в образе. Я пишу это, не в «мятежности», я — спокойно, из своего тихого «подвала» — беру. Чтобы сказать тебе. Вот в этом-то, в таком, от Тебя, — и есть зерно образа (все во мне растущего) — будущей моей Дари — в «Путях Небесных». Ты его закончишь, (если не я), хотя это о-чень — для тебя-то! — трудно... — ты из себя его не сможешь вычерпать. Это — непосильно — никому, кроме того, в ком это родилось. Будь хоть 100 Данте, Гете, Пушкиных — всех. Не потому, что я дерзаю равнять себя, — вовсе нет, конечно, а потому, что никакая женщина не может родить ребенка [другой] женщины, например, под знаком «Дари»: только одна Дари. Как твоего ребенка можешь родить лишь ты. Ну, так и я... моего «ребенка». Пишу — и хочу верить, что мы вместе будем болеть и трепетать — в «Путях Небесных». Пре-

чистая, помоги нам! Именем Твоим душу живить хочу! Во-имя Света Твоего! Пусть и от греха в романе будет мно-го, но от греха-страдания. Все человеческое — во грехе. Но — очищается томленьем духа. Оля моя, чистая моя... ты меня осенишь твоею чистотою... Молюсь на тебя!

Оля, не томи себя судьбою нашей дорогой. Бесплодны эти томления. Я меряю своим мерилом — чувства. Я спокоен, как никогда, — за это. Все давно предрешено. И я так всегда и жил этим. Это мне давало силу сказать о нашем. Я все сказал. Ты знаешь и узнаешь, если вдумчиво возьмешь мое. Я его не постыжусь принести (если Бог волит) родной земле. Она поймет. Там все: и боль, и упования. И — вера. Родная, дай свою головку, я ее положу у сердца, буду как мать над девочкой своей, больной. Милая, я тебя люблю свято — и бурно, да, порой, — но больше — о, как свято! как нежно-бережно. О, моя ласка, — ты мне жизнь вернула... — чтобы до-жить, чтобы до-любить в тебе — все.

Как нежно ты сказала о мальчике из «Богомолья». Так согрела, — и ножки уже не болят.

Я знаю, ты вся — истинная, родная. Нет, ты не отбилась от родного! Ты ближе, чище в этом, чем я. Это был крик... страдания. Неверный. Я — о, как корю себя за этот «взрыв»! Ты — мученица. Сердце твое — ка-ко-е сердце! (Оля, я завтра начну раскрывать тебе Дари, сумбурно, но ты... поймешь. Дам ряд картин, лиц, мигов — и дам план «Путей» — в намеках — ты сама раскроешь. Это может занять 2—3 письма. О, как мало, — что во мне-э...!! Бездонность.

И эту-то «бездонность» надо влить в мерную форму! Ты знаешь, я иногда одну страницу давал в 10—15 вариантах! Иногда лилось — как поток с горы. У меня план большей частью сам разворачивался в процессе писания, — как сон, очень, иногда, последовательный, со своей, особой, «сонной», логикой. Не ручаюсь, что теперь — для тебя — план — будет верный. Он мог бы измениться до... невероятного. Так, например, было с «Неупиваемой», где действие начиналось... с конькобежного состязания на Севере, даже не в подлинной России..! Вот поди ты! Самому смешно.

— Я не совсем понимаю твоего: «Я ничего (обещалась Богу!) не хочу форсировать. Я все вручила Ему и жду. Я спокойно жду».

Оля, — ты — вся любовь! Ах, это твое письмо 16 окт.! — «Я все тебе отдам в моем сердце, все... т. к. другим все равно не интересно (практически не интересно) и не сочту грехом, все равно все у меня над спудом. Нет, это не грех». Неужели — только поэтому?! Не буду развивать эту мысль. Могу опять под-

нять в себе — в с е. Ты и без того поняла. «Все равно, никто на это не посягает». Так. Потому?.. Ну, конечно, главное тут — вопрос о «грехе». Это. Так. Но... Нет, я не стану. Усмиряюсь. Я тебя страшусь. Я так наказан. Я до-терплю. Но у меня уже э т и силы, дотерпливать, — на исходе. Господь с тобой. Только бы ты была здорова. Я мучаюсь, я страшусь, я в метаньи, — что с тобой!? Оля, тебе н у ж е н отдых.

О Сережечке... о, да, я верю, я б е р у это в сердце, я — не смею глаз на тебя поднять, до чего э т о с в я т о для меня, и — знаю — для Тебя, Святая. Это не слова, это — сердце — не может всего излить тебе. Так и прими.

Я, не считаю, тебя, достаточно ч и с т о й?! Пре-чистой я тебя вижу! Благодарю, (как это слабо!) — за твою волю, чтобы я в с е тебе говорил, «как совсем твоей, все м о ж н о». О, как я понимаю. Но если бы я в с е сказал... вот сейчас... о том, что во мне к тебе... как я... ...как хочу быть с тобой, любить, держать на руках, глядеть на тебя, шептать тебе, дышать тобой, обезуметь от тебя... Оля... — от слов об этом — бумага обратится в пепел, — и не передать словом э т о. Это — в силе чувств, в предельной силе, — это в неупиваемой любви к тебе, доселе мне неизвестной... не бывшей... ныне лишь бьющейся во мне..! как странно!

Оля, меня не надо вести, я сам и д у, всегда. Ты мне (не о тебе, — прекрасной, в с е й земной, — говорю здесь,) необходима духовно, для творчества. Ты — я в и л а с ь. Неужели — показалась только? — и — уйдешь?

Я, мог бы быть, спокойней, без тебя?! не надо было письма 9.VI.36 г.? — ?! И ты могла так написать, мне?! Да, понимаю, ты жалела... меня! Нет, Оля. Я дрожу, от ужаса, если бы этого не случилось! Неужели в этих словах твоих есть хоть чуть сожаления... — для тебя, что у тебя такое сложное, боль такая, от э т о г о? Не верю. Тогда ты была бы — не ты. Быть не может. А за меня... — да ты столько мне дала, ...нет, не могу. Ужас, ужас. Господи, помоги, чтобы не было такого смертоносного! Господи, дай же милости Твоей нам, несчастным!

Вот, уже 8 дней нет писем от тебя. Письмо последнее, от 22-го — expres, полученный 27-го — я не могу считать письмом любимой моей Оли. Долго еще мученье? Я уже болен. Я и болями опять болен, острыми, от горя. Я перемогаюсь. Их целило счастье.

Завтра пойду к доктору — опять, Laristine опять, — я тогда оборвал лечение. А все говорят, какой вы — д р у г о й! Вы — помолодели непонятно, вы — как юноша стали! Я отмахиваюсь, — зна-ют, что во мне творится? — ничего не знают! Да, я ж и л, я и теперь ж и в у... внутри. Вчера были у меня — мой Ивик с невестой. Она робела — и перестала, узнала с т р о г о г о дядю

Ваню. Я их т-а-а-кой — лаской! Чудесная она, мало похожа на француженку — прямо, наша. Умная, с бойкостью, волей, — только маловата чуть росточком, будет рожать исправно, — бедра-чресла, крестьянская кровь, сильная. Ив — сильный. Очень был ласков, светел. Сказал им — Ив удивился: «как ты по-французски замечательно!» — Я с ним не говорю по-французски, да и, вообще, не говорю, стараюсь не говорить, но тут как-то вылилось. Сказал целую речь о русской душе, о языке и — православии. Она только ширила глаза. Будет в Ecole de langues orientale[115] — на русском факультете. Живет у матери Ива. Ив, конечно, уже не бывает по субботам у меня. Отпочковался. Не нужен он теперь, ты всегда со мной, ты — только, вся.

Вот, ты говоришь все — «займись трудом», «пиши "Пути"»... Милая, работа, захватывающая, всегда была для меня счастьем. Как я могу отказаться от «счастья»? Но вот что. Когда я пишу — я отдаюсь весь. А теперь, когда я весь — в тебе, да еще ты не вся во мне, ты — делима, хоть и «под спудом», а — делима (не по твоей воле, или безволию, а по вне-воли, поневоле...) — как я могу уйти, весь?

Квартировым я писал: «О. А. — бесспорный талант, огромный. Ей необходимо — искусство. Я хотел бы передать ей "технику", "приемы", чего она не получит от теорий искусства. Если бы можно было ей приехать в Берлин, я бы приехал, попытался. М. б. Вы этому посодействуете». И — только. Виноват, что не спросил тебя? Ну, все же будь снисходительна ко мне, — прости. Я тебя начинаю бояться — твоей немилости. Я целую тебя, в изнеможении. О-ля..!

Господи, сохрани ее! Смилостивись, соблюди нетленной. Дай ей силы! Выведи нас на путь истины! Благослови на путь во-Имя Твое! Он нужен ей и мне, — для прославления Тебя, Господи! Дай нам самого маленького счастья, — оно для нас огромное!

Олёк мой, девочка моя... как дорога ты мне! Я так измучен, так исстрадался. И она-ты, Оля, — я знаю, ты больна в страданиях, безысходность твоя безмерна. Я все понимаю. Один отказ уже получен, не отказ, а — вижу, что тут не найду разрешения. Но я пытаюсь дальше, ищу — м. б. найду. Жду. Оля, тебе надо в санаторий. Я чувствую. Если дадут разрешение, то, должно быть, на самый краткий срок, и на определенный город — поехать. Как мы можем увидеться?! Ведь тебе — не дозволят — условия жизни подопечной — свободно собой распорядиться. Тогда к чему мои усилия? Ждать Воли Божией... Твой стиль — я его знаю, знаю, весь впитал в сердце. Оля моя! Бедная моя голубка... Головку твою целую, благословляю. О, ми-лая...

Твой всегда Ив. Шмелев

[На полях:] Напишу тебе о романе — и умолкну. Я тебя засыпал письмами, ты живешь хоть — ими, а я — ?!

Мне трудно твое молчание. Я не заслужил его. Но я любуюсь тобой, твоей «защитой», тебя, от моих «обид»!

Завтра, 4.XI/22.X — Казанская[116]. Я пойду помолиться: ты устыдила мои «ножки» — мальчика из «Богомолья».

Порой мне кажется — «оставлен» тобой.

Как ты, в холодной комнате?! Больным нервами — необходимо тепло.

37

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.XI.41
7 ч. вечера

Милый мой, родной... Шмелечек! (Не рассердился?)

Трепетно так хочется писать тебе! Ужасно мне все время неспокойно на душе. Твои письма я получила и тронута твоей заботой о здоровье. Но... спешу молить тебя — не посылай мне денег! Ради Бога! Ты меня очень огорчил бы этим и дал бы мне заботу по отправке обратно! У меня все есть! Ради Бога, не присылай денег! Я заплачу от этого! И... совсем, совсем без цели, т. к., если бы мне для санатория надо было, то без сомнения муж меня устроит, а всякое такое «постороннее» вызвало бы неприятные объяснения. «Откуда?» Все равно, значит, я бы воспользоваться не смогла. А зачем же тогда? Я дала тебе Сережин адрес для exprеs. Он мне перешлет. Мы видимся только в пятницу и в «Wochenend»[i]. И вот теперь о здоровье: не волнуйся, — ничего органического! Температура — нормальна, даже ниже нормальной, Blutstatus[ii] — нормально, Blutsenkung[iii] — нормально, и, если что и есть, то все нервное. Я уже однажды такое имела. Невроз сердца? Да.

Санаторий не поможет! Поверь мне! Я же себя хорошо знаю. Это не для моего характера — изведусь больше еще. Понимаешь, в чем мои страдания? Не в окружении!.. Ты так объясняешь, но это не верно. Нет, но в неразрешенности проблем[iv]. В том, что от себя не уйдешь! И в этом смысле — санаторий лишь испортил бы. Я дома, хоть за делом и, не обращая на себя внимания Арнольда (это тоже важно!), — нахожу хоть самое необходимое равно-

[i] «Выходные» *(от нем. Wochenende).*
[ii] Верхнее давление *(нем.).*
[iii] Нижнее давление *(нем.).*
[iv] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

весие. Если же я уйду, то тем самым обращу на себя внимание, заботы, участие, расспросы. Понимаешь? Я же не могу просто скрыться... Последнее время он очень нежен, внимателен.

— Сию секунду твои письма 28-го и 31-го...[117] со страхом за мою судьбу, за потерю Арнольдом равновесия. Просьбы прибегнуть к защите власти (!!!!). Я в ужасе! Иван, что с тобой? Умоляю, никому, ничего не говорить, никуда не обращаться! Я — совсем sicher![i] Ничто мне никогда не угрожало, не угрожает! Я представителя колонии лично, хорошо знаю. Но... Это же скандал для меня, если ты хоть что-нибудь дашь знать; я боюсь, что ты это сделаешь! Арнольда *очень* любят все мои знакомые. Меня же заклюют! Он никогда ничего такого не проявлял из того, что ты пишешь. И если я писала (но ты еще не получил то), что «это было ужасно», — то имела в виду его горячность в словах. Не больше! Умоляю, не рисуй себе картин, не мучай себя и меня! Я не могу писать почти.

Спешу это отправить. А завтра доконч у!

Только самое главное: не присылай денег, — это все испортить могло бы — (Спроси твоего друга, если мне не веришь).

И... не думай так о здешних условиях! Боже, мне страшно, что ты думаешь! Не говори никому, ничего!

Я еще не дочитала твоих писем. Я вся дрожу. Спасибо за «Ромашки».

Целую тебя и очень прошу успокоиться.

Я очень волнуюсь. Мне — не нужна защита. Арнольд — теленок. Все его таким и знают. Его сестра ругалась с ним. Он позволил себе, как хозяин, кричать на гостью. Меня это возмутило. И как они оба отличались*. Но *больше* — ничего! *Я* же умею владеть его равновесием. Будь покоен! Господи, что, что это такое, что ты так мучаешь себя?

Обнимаю тебя и еще целую.

[На полях:] Если любишь меня, то поверь мне, не мучай себя представлениями таких картин. Обещай никому, ничего не писать, не говорить! Ты убьешь меня! Будь же милый!

Маме писать, конечно, можно. Она — Александра Александровна Овчинникова. Я только очень скрытна со своими. Не очень много открывай меня! Не пиши «Absender'a»![ii] Прошу.

Всю ночь не спала. Из-за тебя! Не мучь!

Письмо уходит утром.

Я боюсь тебя! Пойми это! Не сердись!

Я опять вся в дрожи. А было уже лучше.

---

[i] Здесь: в безопасности *(нем.)*.

* Муж сестры — русский, ее винили так же как Арнольда, не меньше!

[ii] «Отправитель» *(нем.)*.

38

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.XI.41
12 ч. ночи

Милый выдумщик! Только что запечатала письмо, писанное прямо в лихорадочном трепете. Хотела отнести на почту, но в тот момент, как я вошла в прихожую, — меня задержали — пришли. Сейчас поздно. Уйду завтра. Отдам шоферу автобуса — увезет в город. В нашей «щели уездной» — все знают. Знают, что это я пишу в Париж. Вчера я была на почте, и начальник спрашивает: «что, это M-me Bredius?» — «Ну, скажите ей, что ее exprès в Париж идут все равно простыми — запрещены exprès». Я поразилась, что знают. Это значит, сличили, откуда мне приходят. Ну, Господь с ними. Хорошо, что мне это замечание сделали, а не попросили передать мужа. Могли бы. Я все равно пишу exprès! Ты спрашивал, можешь ли писать маме; — конечно, можешь. Только, если можно, — не цитируй моих писем! Я очень со своими скрытна! Мама знает, что мы любим. Мама — Александра Александровна Овчинникова. Но о санатории и говорить не стоит — не надо! Напишу еще подробней! Оставь думу, что я должна «простить». — Я все тебе, и наперед, прощаю. Или: о прощении у меня не может быть в отношении тебя и речи.

Вопрос стоял иначе. Не письмо, а то, что за письмом. И именно вот это «помрачение» — меня пугает. О «прощении» никогда не говори, — оно не имеет места в дебатах[i], — оно — очевидно. Оно не требуется. Любовь не требует «прощения». Но... это «помрачение»...

Я боюсь его, Иван. Я не писала тебе, — жаль мне это, — о том, как я сломалась, — вот через такое «помрачение»... Не знаю, такое ли? Верю, что не такое. Хочу в тебе этого сходства не видеть! Что ты мне о бритве написал?![118] Я не могу... так. Не надо! Я... столько такого переживала... и боюсь всего, что на то похоже! Тогда мне 19 было — не вынесла. Хоть чуточку покоя! Ласки и тишины! Зачем мука?! Целую. Оля

[На полях:] «Полукровка» — чудно. Пришлю. Я ее хорошо имитирую.

Ах, какие «глаза» бы я тебе послала! Пересниму! Мой портрет у мужа.

Если любишь, — пришли автограф на «Историю любовную» и «Свет Разума».

---

[i] Спорах *(от нем. Debatte)*.

39

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.XI.41
12 ч. 30 мин. дня

Как осветили меня, зорька-Оля! Письма от 30.X сейчас! А я утром думал: если сегодня получу, — будет! Только — о тебе! Всякую минуту! Оля, клянусь: ты, только ты, для меня, храню себя, — ни помысла! — ты, святая ты, только. Все — для меня — стекляшки. Бриллиант — Олёк мой — все стекло режет. Дивная какая — блеск священный! Новая — всегда. Кто — ты?! Знаю — кто. Напишу, — играешь в сердце! О, милый цензор, за него молюсь, за душу чуткую. Простил длинноты! Раиса Земмеринг не знает, кто ты для меня. Я же не знаю содержания ее письма! Изволь мне дать. Больше не будут, з н а ю. Все будут тебя любить! Ведь мне Земмеринг даже не дерзнула посвящение прочесть, — прочла бы — не написала бы так. Она чтит меня, не любит. Вот, увидишь. Я все сделаю, чтобы быть в Arnhem'e. Ты права: не в Берлин Марине напишу. Олёль, все напишу, на все отвечу. Успокойся, поправься, не худей! Принимай, ради Бога, хоть селюкрин! Уви-дишь! Я пошлю еще — через 2 дня par exprеs на Сережечку твоего. Как я люблю все твое! Ни словечком не потревожу! Оберегу, драгоценная моя, веснянка! (это песня весенняя, народная). Как всю целую, пью, вдыхаю, нежу. На карточке милый человек, городской голова Ужгорода — С о в а! Написал книгу об Ужгороде[119] — подарил мне. Добряк. Там все меня ласкали. Мой плакат носили — 3 метра, среди портретов Пушкина, Тургенева, — классиков — в День культуры[120].

Целую. Твой. Только Ив. Шмелев

Я тобой светел! Счастливый я! Моя — ты!

Прости, Олёль, за exprеs: я дорожу твоим покоем, надо скорей тебе!

40

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.XI.41

4 ч. 30 дня

«Будем же беречь друг-друга!» Я положил на сердце твое слово, Оля. И храню его, — ты видишь. Знаю, как одиноко, как пусто в твоей жизни. Я счастлив хотя бы словом светить тебе в твоих потемках. Моя жизнь ... — какая это жизнь, ты зна-

ешь. Я в тревоге за твое здоровье, жду строчки — нет. Тебя храню, думаю о тебе, пишу тебе... Много написал, — все порвал, осилил «бунт» в себе, после твоего «рассказа»[121]... Тяжело он дался мне. Как кричало сердце!.. Не мог послать, — больно стало бы тебе. Вспомнил в с е, тот ноябрь 37 г. ... — мое метание, чуяние конца... Почему не наступил?! Эти даты... — Да, помню... Оля во сне явилась (под 20 ноября), С в е т л а я... — дивная какая! Я упал перед ней — будто в партере — совсем пустом она сидела, в бриллиантах, как Царица, и за оградой из золоченых столбиков! Я упал, глядел снизу в ее лицо. Оно было покойно, светло. Она положила руку на мою голову... Я склонился. Я зажал боль в сердце, я вспомнил, какой о д и н я...

С этого дня я уже выздоравливал. Но метания длились...

В эти дни ты получишь мои письма. Я — не получу твоих...

Придут книги, извести, получен ли «Старый Валаам», «Няня из Москвы», «Мери»... «Солнце мертвых» — я тебе послал мой, единственный, экземпляр. Мог сделать это, (книги этой уже лет 12 нет на рынке!), потому что Земмеринг нашла для меня: одна моя рижская верная читательница свой отдала, мне. Видишь, как ко мне чутки. Я знаю: многие в с е отдадут, чтобы хоть чем-нибудь меня утешить. Земмеринг з н а л а, для кого я прошу, — и сделала. И всегда делала. О «лягании» — как ты пишешь, я не знаю: ты же мне ни словечка! Что же я напишу ей?! — когда не знаю. Ее дочь не приедет ко мне. Даже не ответила мне на мой совет — не приезжать. Мать пишет — ответит попозже. Возможно, бедняжка обиделась: она много для меня сделала, я-то знаю. Твой вывод совсем неверен: н и к о г д а мать ее не имела т а к и х целей! Слишком они обе — меня чтут. От них я видел только нежность. Как они обе были счастливы, когда узнали, что я теперь живу в приходе «Знамения»! (церковь на Boileau!) — моя. Это символ = «Чаши». Я буду скоро читать публично для этого прихода. Это — «Анастасиевская» епархия (митрополита Анастасия). Я — в ней. Я для них — «Илия»[122] — мученик. И — только (т. е., конечно, «первый в мире писатель»). Это они з н а ю т. Они очень культурные. Все это пишу тебе, чтобы показать, к а к они относятся ко мне — и ко всем, к о г о я люблю. Девочка позволила даже себе «смелость» послать мне... деньги! Я мягко пожурил ее. Ей стало больно.

Нет, она не приедет. Ко мне никто не приедет.

Эти дни я буду в острой боли...

Пишу с трудом: рецидив в болезни глаза, как было т о г д а, в Алуште, когда мы оба, с Олей, были убиты... ждали — скорей бы конец жизни! Вот, теперь... боли, кровь в глазу. Бывает порой, от ветра, воспаленность — пускаю «адренол, новокаин,

резорцин». Свет — болезненно. Обречен дни (сколько?) сидеть в сумраке. Пройдет!

Ночи — беспокойны, все жду чего-то. Удара, нового? — в сердце?! Не знаю. Ну, пройдет. Помни: я много послал тебе (за эти недели — 33 письма! Опять — 33!!). А ты — 10. Из них — сколько — обвинений, укоров, — 2 строк!! Но я помню твое: «давай беречь друг-друга»! Я — буду беречь тебя.

Целую губки. Твой Тоник

Молюсь о тебе, всегда.

Благодарю за «Девочку с цветами».

[На полях:] Боль в глазу может мне помешать писать. Один — и газеты не могу читать, и на тебя смотреть мне больно!

Письма от тебя не жду: у тебя слишком моих много.

41

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.XI.41

Не знаю, почему я так о тебе тревожусь, родной мой?!

Здоров ли ты? Все поджидаю твоих писем. Ты писал 6-го[123], что «сейчас» напишешь в ответ на мое от 29-го. Но пришла твоя открытка от 10-го, а обещанных писем все нет.

17.XI.41

Письмо должна была прервать; — ждала сегодня от тебя весточки, но нет ничего.

Я очень волнуюсь о твоем здоровье! Напиши тотчас же, как ты себя чувствуешь! Язву осенью надо беречь сугубо. Держи по возможности диету! Что это был за озноб? Напиши все! Неужели ты меня нарочно заставляешь ждать?! Не верю.

Цветочек, кажется, все-таки не погиб.

Листочки некоторые опали, но не все. Я поливаю его особым раствором. М. б. поправится. Я часто бегаю на него посмотреть. В моей комнате жить из-за холода невозможно. Печку там технически нельзя поставить, а электричества не хватает! Ну, ничего.

Как у тебя? Тепло? У нас в остальном доме очень тепло. Три печки. Иногда прямо жарко. Дровами топим. Селюкрин мне, кажется, помог, в том смысле, что аппетит стал лучше. Питаюсь я очень хорошо. Сплю плохо. Но ничего.

Послушай, от Марины все еще ни звука! Я возмущаюсь. Ты ей писал? Не надейся на нее больше! М. б. на этой неделе будет у вас Сережин шеф. Брат его попросит послать тебе его (шефа) адрес, чтобы ты мог его увидеть. Тогда Марину можно и не «ут-

руждать» письмами. Миленький, я только очень тебя прошу не давать ему никаких подарков для меня. Ничего из того, о чем ты хотел просить mr. Th[olen], если бы его увидел. Этот шеф вращается в очень широких кругах и знает родню Арнольда. Для него ты мне — только *очень* почитаемый мной писатель, но ни чуточки больше. Понимаешь, для меня этого нельзя. Я все время думаю о тебе. Беспокоюсь о твоем здоровье! Опиши все! Что это был за озноб? Я скверно пишу, видимо оттого, что волнуюсь. И тороплюсь на почту.

Нашла недавно старую записную книжку 1935—1936 гг. С записью моих... снов.

Смеешься? Мама не постигнет, чего это я такую «ерунду» записывала. Но там... целая жизнь. Записано тоже не плохо. Коротко, штрихами, но ярко. Настроений масса. Я тогда жила только этими снами. Помню, как ждала ночи. Мне открывалась иная жизнь. Странно? Со мной бывало много странного. Как-нибудь напишу, если интересно тебе. К сожалению, только частичка этих снов осталась, — большинство записей я сожгла перед отъездом из Берлина в Голландию... Я много вижу снов! А ты? Я ни-ко-гда не сплю без снов. Это мучительно. Хоть бы раз отдохнуть вполне! Ну, довольно!

[На полях:] Будь здоров и храним Боженькой!

В какую церковь ты ходишь? Целую и благословляю. Оля

Напиши же мне (!!!!), в чем мои «и з л о м ы»? Я хочу знать!

Посылаю еще 2 фото домика в Bunnik'е. Уголок гостиной и общий вид[124]. Цветы все уже в саду, потому на окне так скупо. Обычно оно было все в цветах.

42

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.XI.41[i]

Милый Иван!

Вчера я увидела только боль твою в письме от 15-го XI, — сегодня же, вчитываясь, вижу еще и другое. И мне больно. Т. е., нет, — хуже. Было уже столько раз больно, что скоро я просто, кажется, отупею, притуплюсь к чувству боли. Я поняла твои такие прозрачные намеки: — я, так мало тебе давшая и дающая, я не смею разговаривать о тех, чтущих, готовых дать все! Я это поняла, что вышла из своей роли, «превысила» свои «права». Pardon, — больше не повторю!

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: «жестокое», упреки за г. Земмеринг, «излом».

Я проклинаю тот день, когда вытянула на Божий свет эту несчастную тему о Земмеринг, — Господь с ней и ее чудесной дочкой! Мне совершенно безразлично ее отношение к тебе, твое к ней, — чем больше у тебя людей тебя чтущих, — тем мне спокойней за тебя, тем приятней.

Но мне очень было важно, к а к ты относишься к ее поведению в отношении меня. Это мне было не безразлично. Не из-за эгоизма. Это очень серьезно. Это характерно. То, что она меня пыталась оскорбить, для меня факт непреложный. Веришь ли ты этому или нет — твое дело. Заступничества твоего мне никогда не надо. Я сама умею. Потому я не понимаю отчего ты объясняешь мне отчего ты ей не пишешь. Я именно не хочу, чтобы ты писал.

Вся она, со всей ее культурностью, любовью к тебе (даже!), со всеми ее качествами — просто никому и не нужна!

Я ее письма тебе не посылала и не пошлю, т. к. 1) не хочу, чтобы ты этот вопрос дальше разбирал, писал ей и т. п. 2) считаю оскорблением для меня с твоей стороны желание твое иметь как бы подтверждение моего впечатления. Ты, если не хочешь, не увидишь и из сотни писем. Если не веришь мне, то и не надо! По-моему, для тебя (не для меня) достаточны уже ее «сомнения» в моем понимании «Чаши». Ты же сам себе противоречишь.

Но, впрочем, я кончаю. Вся эта история m-me З. выеденного яйца не стоит. Я свои «сани» нашла и «не в свои» н е с я д у! Еще одно:

Не оскорбляйся за невинную Милочку: я никогда не придавала такого значения моим словам о ее приезде. Хорошо же ты меня видишь! Нет, не так уж мелочна! Я ненавижу несправедливость. И не позволю *себе* н и к о г д а быть несправедливой к другим. Требую и к себе того же! Ты — несправедлив ко мне!

Если тебе записка Толена не понравилась, то что бы ты сказать был должен о Земмеринг? Если бы... ...ты был объективен.

О, нет, я не хочу ее забыть. Люби, чти, превозноси кого и как хочешь. Но **ты не смеешь** мне не верить, пачкать меня подозрениями несправедливого отношения к этим двум... дамам. Как ты это можешь!?

Я на З[еммеринг] самою не обращаю ни малейшего внимания. Я месяцы тебе о ней даже не писала. Я была уверена, что ты бы душой почуял сразу ее обиду мне... Но оказалось иначе. Ты меня же за них оскорбляешь. Ты, ты, меня оскорбил! Я не могу писать дальше. Но знай, что ты меня обидел **как никто** доселе!!

Будь здоров и счастлив!

[На полях:] Я свои «бунты» долго сдерживала!

Как будто я виновата во всем. За что казнишь?

Ты оскорбляешься за... Милочку... ты, который мне так... ...немило... писал об Арнольде! Он же тебе н и ч е г о не сделал!

43

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.XI.41

Милый Иван! Сегодня послала тебе письмо... Злое. Я не хочу зла. Прости за м. б. слишком большую «страстность». Я хочу этим кончить тему о З[еммерингах]. Не хочу и не могу больше. Я, конечно, маленький человек, и не стою твоего мизинца, но я все же человек. И я имею право на достоинство этого человека! M-me З[еммеринг], как культурный человек, не смела (именно) л я г а т ь меня. Пойми, что мне н и е е отношение важно, а твое ко всему этому. Ты позволяешь, ты не возмущен.

Ты сам меня бьешь! Я сегодня больна. Мне плохо, кружится голова. Не спала всю ночь. Ты злишься на меня, за что?? 4 дня нет писем. Я иногда 10 дней от тебя ждала. Такое злопамятство у тебя о 2-х строчках! Ты их совсем не понял! Я тебе 7-го или 8-го послала[125] с шофером в город для ускорения. М. б., потерял он?! Я иногда не могу идти на почту, потому остается письмо до утра. От нас почта 30 минут туда и 30 обратно. Я в дождь и холод не пошла. А вечером я тоже не могу.

М. б. потому вышла задержка. Эти дни я много читала (твоего), — писала реже.

Такая уж вина? Я плохо себя чувствовала. Мне трудно было писать. Я же не виновата, что живу в «щели уездной». Ты и ей меня уж уколоть успел. Я не люблю несправедливость!.. Я тоже в соборной Церкви[126]... была. Мой отчим ее и спас в Берлине, — развал был ужасный. Но там столько было безобразий после, что мы ушли. Я — нигде. Я Евлогия[127] не чту. Молюсь просто — Богу. Ну, Христос с тобой! Будь здрав!

Благословляет тебя Оля

[На полях:] Я не хочу, чтоб ты З[еммерингам] писал, но чтобы понял.

Иду все же на почту, хоть и вечер, и ветер с дождем. Не буду себя беречь.

44

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23.XI.41

С праздником! Милый Иван!

Сегодня воскресенье, — я была в церкви, католической, правда, но все же приятно. Чудесное утро... солнце. Слушала орган и смотрела на... Девочку-Матерь, всю в солнце... белокурая, в легкой голубой тунике, в тяжелой золотой короне. Она была все время в свете. Чудесная. Удивительно проста, невычурна, красива, не похожа на обычные Ее изображения в деревенских храмах.

А то еще есть у них здесь н а ш а икона Страстной Божьей Матери, — та, что украли во время крестовых походов у православных католики. Копия с нее.

Я забегаю иногда в капеллу к ней, поставить свечку, взглянуть в н а ш Лик, византийского письма. Всегда свечи, цветы, двери открыты. И на душе теплей и тише. Я пишу тебе коротко и четко, чтобы не утруждать больной твой глаз.

Был ли доктор-специалист? Что нашел? Лучше ли? Берегись ветра и пыли. Могу себе хорошо представить, как тяжело тебе в сумерках, без света. Я буквально страдаю от темноты... тоска поднимается... думаю похожа на ту, от которой начинают выть собаки.

Потерпи же несколько дней. Я не знаю, продолжаешь ли ты на меня дуться... думаю, что да, — писем нет от тебя. Знаешь, на все твои обвинения мне, я скажу тебе только одно... и навсегда:

«Бог правду видит». А ты?..

Как хочешь! Не видишь? Не хочешь видеть! Я не хочу никаких «трещин» — не углубляю! Буду писать тебе, несмотря ни на что, часто, по возможности каждый день. Чтобы все, что устранимо, — устранить из «причин» твоего раздражения на меня... Ты знаешь, как мне дорог твой покой...

Сегодня я с такой остротой почувствовала радость от православия!! Невыразимо! Ну, Бог да хранит тебя! Будь здоров и бодр. Оля

[На полях:] Exprès я не могу посылать отсюда, — запрещено. Сама читала. Я посылала все же из Утрехта, бросая просто в ящик, — м. б., это имеет значение для контроля?!

11 ч. вечера

Раскрыла, уже запечатанный, конверт.

Ванечка, родной мой, любимый, душенька моя, все сердце у меня за тебя истомилось, душа изныла. Не могу я боль-

ше... Ты так мучаешь себя. Не надо. Поверить все не можешь мне, в искренность мою? Что же мне делать? Я не пишу много, я берегу твой глазок. Но мыслями я тебе говорю так много... Я все время с тобой!

24.XI.41

Письмо осталось еще до утра. Не смогла идти на почту.

Ночью я видела страшный сон.

И... дивный. Тебя видела. Не буду о нем писать подробно, — берегу твой глаз. Запишу его, пошлю после, когда тебе будет можно.

Коротко: видела я «Степное чудо»![128]

А ты? Ты бил меня! Ужасно было больно. Проснулась с болью в том месте. И вот и днем все больно. Что это? Хочу спросить тебя я только, Ваня: написал ли бы ты теперь *так же* твое «Степное чудо»? Тот ли ты, что и тогда?

И «Свечку» бы написал? Или... (страшно подумать)... нет?

Я в ночи поклонилась твоему «Степному чуду» и... всему, тогдашнему. Ответь мне коротко (не мучай глазик): «написал бы», «не написал бы». Я... Ваня... смертельно мучаюсь душой и сердцем.

Не знаю, что-то будет...

Зачем казнишь меня? Пиши. Не надо уставать, а только хоть одно словечко, хоть «2 строчки»! А я так ждала твоих ответов на мои 3 expres. Ты не хочешь ответить? Или после?

[На полях:] Целую тебя нежно и отчего-то плачу. Оля

Писем от тебя нет.

45

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24/25.XI.41

Милый мой глазочек,

Как ты себя чувствуешь? Мне очень все время тоскливо. Ты не пишешь, — не знаю «наказываешь» меня (но за что же?) или глаз не позволяет. Не знаю, получил ли ты наконец мои письма. Можешь ли сам читать мои? Я буду писать так, чтобы тебе их кто-нибудь мог и посторонний прочитать. Потому не удивляйся, что на «Вы» и т. д.

Я не хочу, чтобы ты утруждал себя чтением, и хоть один лишний день дальше бы из-за этого страдал. Я страшно о тебе тоскую.

Почему ты мне не веришь?

Если бы верил, то не страдал бы теми мыслями, которые ты себе выдумываешь. Так, как тебя, я никого не любила. И... даже 10 л. тому. Нет. И тогда не любила так, хоть и думала, что сильнее — нельзя.

Целую тебя, люблю и молюсь. Твоя Оля

46

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.XI.41 12 ч. ночи / 26.XI

Дорогой Иван Сергеевич![129]

Очень удручена Вашей болезнью глаза. Как Вы себя чувствуете? От Вас давно нет писем. Будьте же так добры, попросите того, кто вам прочтет это мое письмо, черкнуть мне хоть 2 слова, о Вашем здоровье.

Представляю себе, как томительно Вам... Часто мысленно с Вами. Если Вам это доставит хоть какое-то развлечение, — то буду писать Вам очень часто. Придется уж злоупотребить любезностью того, кто их прочтет.

Я с радостью бы навестила Вас, почитала Вам, отвлекла бы Вас от грустных мыслей.

Ужасно, что вам вреден свет, чтение и т. п. Чем же и день-то наполнить?! Ну, верю, что скоро пройдет! Не падайте духом!

Перечитываю Ваше последнее письмо... и все открываю новое и новое. Я не поняла всего сначала. О сестре Сережи[130] Вы не совсем верно думаете. Она все дни, и «ноябрьские», — в думах о своем далеком. Она очень страдает все это время. Я это хорошо знаю.

Я читаю и перечитываю ваши книги. «Солнце мертвых» принимаю совсем особенно. «Про одну старуху», «Степное чудо» я несколько раз уже и раньше читала. Обожаю эти книги. А «Няня из Москвы» какая прелесть, а «Свет Разума»? Я бываю прямо «восхИщена», когда читаю Ваше. Теперь Вы вероятно из-за болезни не будете долго писать «Пути Небесные». Как это жаль! Молюсь, чтобы Вы скорее выздоровели! Черкните же мне, что с Вами! И можете ли читать мои письма сами? В последнем Вашем письме Вы сообщили, что газету не можете читать сами. Как мне больно за Вас! Я все время провожу в том, что пытаюсь утешить Сережину сестру, но плохо это удается. Она совсем издергалась. В субботу собираюсь поехать в Утрехт. Будут готовы «глаза». От М[арины] К[вартировой] мне все еще нет ни строчки. Я просила ее еще 28-го окт., и все не отвечает. От одной моей маленькой приятельницы (моя бывшая воспитанница[131]) я знаю, что за это время запретили посылать фото из Берлина. Неуже-

ли это верно?! Была бы тогда непростительна такая неисполнительность со стороны М[арины]. Вы ей писали?

Дорогой Иван Сергеевич, ради Бога, лечитесь, исполняйте все, что скажет доктор, берегитесь! И... обязательно черкните, или попросите кого-нибудь написать мне о ходе Вашей болезни.

Сообщите, когда сможете сами читать мои письма. Я напишу тогда больше и кое-какие «рассказы». Я ничего писать не могу, хотя в душе очень много разных тем. За последние дни опять пошла серия мигреней, давно было прошедших. В Берлине я часто ими мучилась. И вот теперь опять, хотя еще терпимо, могу переносить на ногах.

Погода почти весенняя эти 2 дня. Сейчас пошел дождь, теплый, как в апреле. Ну, всего Вам доброго! Будьте здоровы! Господь да хранит Вас! С самым душевным приветом, искренне Ваша О. С.

47

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.XI.41
1 ч. дня

Светлая моя церкОвка, только что из центра Paris. Достал для тебя Тютчева — получишь. И — еще что-то. Это — не хмурься! — для твоей «душки». Только бы дошли. На мой случайный вкус — «Apres l'ondie» — «после ливня». Ты знаешь — я люблю ливни и давал не раз: в «Истории любовной», в «Богомолье», в «На пеньках». И все — по-разному. Так вот, это после моего «ливня»... писем. Но он не прекратился: сердце все занято тобой, — надо же ему умыться! Сразу всего нельзя послать, т. к. у меня есть еще «L'heure bleue» и «Muguet» — ландыш. Любимой тобой марки. Не смей гневаться глу-пенькая моя, голубочка. Мне это маленькая радость. Вышлю в другой посылке. И это, в сущности, — «твоя от твоих», мне давно ничего не стоит. Еще попробую — и тоже на Сережу, — маленькую баночку чудесного меду, с полей Sent-Genevieve des Paris, с русской пасеки, чистейший! и какой же душистый — ну, прямо, ты! Я тебя пью с вечерним чаем. Ро-зы! Твои щечки, бледненькие. И еще — селюкрин. Непременно ешь, с перерывом после каждой коробки в 5—6 дней. Увидишь, как окрепнешь. Для твоей работы! Спал чудесно. И, засыпая, так нежно, до истаивания сердца, — все о тебе, все о тебе! Твой глупый Ваня

[На полях:] Я — в «норме» — и никаких болей!

Очень есть хочу, — пирую — курицу прислали.

48

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.XI.41
3 ч. дня

Видишь, Олёчек, я хочу тебе переслать по возможности все «тона» Guerlain'a, чтобы ты могла выбрать для себя лучшее, — ты, капризка. Есть у них: coque d'or, sous le vent. Vega. Vol de nuit. Jasmin. Shalimar. Djedi. L'heure bleu (есть уже у меня), Zin. Mitsouko. Jicxy. Pois de senteur (должно быть хорош, я очень — люблю душистый горошек) Cour de Russie (вот чертовщина!), да м. б. это о «[1 сл. нрзб.] коже русской» — Lavande! Violette. Muguet (есть уже) и Apres l'ondie — посылаю сегодня, да еще не знаю — пойдет ли. Мне недавно Cheff de bureau de Post[1] говорил — можно. Мед (посылаю) такой же ароматичный, сладкий, как чьи-то губки. Погода мутная, но мне светло, я, оказывается, барометр хороший. Тютчева — [редкость] добыл тебе, едва нашел, — да еще в переплете. Пошлет магазин на днях. Я помечу крестиками стихи, связанные с любовью к Денисовой. Но трудно все установить, есть безвестные. Целую глазки. Твой И. Ш.

[На полях:] Ласточка, пиши!

Я себя знаю: сейчас я могу писать — дрожу, и — любить.

Очень хочу писать роман. О, как люблю! Все ярче. Готов..!

49

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

26.XI.41

Ванечка, родной мой, солнышко ясное, — я так страдаю. Болен ты? Сердишься? Писем от тебя нет. Я изнемогаю, — именно изнемогаю. Могла бы написать: «умираю», но... я все еще «живу»... т. е. «дышу и двигаюсь». Да, «живу»! Пишу открытку, чтобы ты сразу мог увидеть, что сможешь (м. б.?) сам прочесть.

Остальные письма *не* утрудят тебя, — их можешь дать прочесть! Как это ужасно — не мочь тебе и писать, когда же ты сам сможешь читать???? Ванечка, ты сердился на меня (за что?). Прости, прости меня за в с е, чего и не знаю. Я тебя никогда не хочу обидеть! Я же не могу этого! Как я тебя целую, крещу, люблю. Молиться не могу. Я вся — тревога. Вчера в 11 ч. ты тосковал? Я — ужасно!

Твоя Оля

---

[1] Заведующий почтой *(фр.)*.

50

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.XI.41
2 ч. дня

Ольгунка, будь покойна, я совсем здоров. Не — [хотел][i] писать о глазе, — как проскочило?! Все прошло. Напишу подробней. Получил письма 20.XI и от 21.XI[132] — о твоей муке-свадьбе. Ножки твои целую, — поверь, я не могу мучить тебя! Так любить — и мучить! Получила ли письмо, где говорю, что ты — «от Церкви»? О — твоем роде, о тебе, созданной веками? И еще — о «Восточном мотиве», — просил тебя пробовать писать? И еще — о I-й главе «Путей Небесных», — рассказывал тебе содержание. Все напиши, я не знаю, какие письма получила. Да, 15-го ты тревожилась о моем здоровье. Ясновидица! Ты будешь радостна от exprès 26-го XI[133]. 25-го и 26-го я был — весь в тебе, в неизъяснимой нежности! Я совсем здоров. О болезни глаза (еще в Москве) — напишу, как мучился. А все эти дни — 4—5 дней, — просто от легкого ушиба о дверь в темноте. Без доктора (глазного) обошелся, не застал его, и — прошло. Моему д-ру Серову писать не надо. Он знает, что я в е с ь — т в о й. Но он — нем, могила! На мои «недуги» — только улыбается. Я перед ним — не мог таиться: так н а д о. Не воображай ужасов. Письмо все скажет, — все мои планы. Скажи, м. б., ты «Жасмин» Geurlain — хочешь? Пока прыскайся «ливнем», послан. И ешь мед, сладкий, как твои губенки. Ах, Оль моя!.. Сегодня еще пишу. Целую. Алеша Квартиров м. б. устроит тебе портрет.

Твой весь Ваня. Люблю, пусть [безнадежно]. Послал на Сережу, вчера. Посылку и письмо.

51

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.XI.41

Дорогой Ивана Сергеевич!

От Вас нет ни строчки. Я очень тревожусь и боюсь, что это Ваша болезнь мешает Вам писать...

Столько всяких дум об этом! Как, верно, Вы страдаете. Ужасно, что ни читать, ни писать Вам нельзя.

Умоляю Вас, ради Бога, попросите какую-нибудь добрую душу, кто прочтет Вам мои письма, — черкнуть и мне пару

---

[i] Открытка повреждена.

строк, хоть только о том, как Вы себя чувствуете. Был ли доктор? Что определил? До-лго (?) ли это будет? И что Вам можно, и что нельзя? Свет переносите? Или все еще потемки? Иван Сергеевич, Вы же хорошо можете себе представить, как это меня волнует... Дайте же кому-нибудь известить меня! Я не знаю никого, к кому бы могла обратиться... Только случайно знаю имя Вашего друга-доктора... Гааз?[134] У меня есть одна приятельница в Париже, милая. Я попрошу ее узнать мне адрес доктора и напишу ему. Или м. б. проф. Карташева? Он помнит, наверное, еще хорошо моего дядю[135], своего сослуживца в Синоде и друга. Если я еще несколько дней ничего от Вас не услышу, то буду искать этих людей. Боюсь только, что эта дама не уехала ли уже из Парижа, — она вчера как раз писала об этом.

Письмо это дайте тотчас сжечь, т. к. у меня кажется грипп начинается. 2—3 дня t°. И горло болит немного. Сожгите обязательно, т. к. это могло бы передаться.

Погода у нас самая для этого скверная, — со вчера. Туман... У нас верно инеем бы лег и все разукрасил, а тут... слякоть, сырость... гниль. Я читаю и перечитываю (каждую главу, сразу по-нескольку раз) Ваше «Солнце мертвых». Это изумительное повествование. Это еще небывалое.

Я очень душевно страдаю, читая, идя всюду за Вами... Мне многое открывается, все еще открывается. Я в первый раз видела только одну сторону этой книги. Как ужасно, что Вы читать не можете... Я стооолько Вам написала. Всего! Ну, поправляйтесь же скорей, голубчик! Исполняйте уж все, что предпишут — скорей пройдет! Сколько бы я дала за возможность быть у Вас. Хоть немножко бы развлечь Вас. Смочь бы предупредить Ваши желания, — почитать Вам... Увы, — мечты... Ужасно, если и все предыдущие письма мои Вы уже не могли читать... Не прочли их? Лежат так?

Это мне очень грустно. Вы понимаете??

Я жду с нетерпением, с большим нетерпением весточки о Вас.

Дайте мне адрес того, кто бы мог мне написать о Вас! Будьте же такой милый!

С молитвой о Вас и сердечной думой всегда с Вами,

Ваша О. С.

52

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.XI.41

Милая моя Олюшечка, ты напрасно укоряешь меня, что я не хочу оградить тебя от обидных замечаний, подобных сделан-

ному Земмеринг. Я ей писал, что О. А. «лучше, чем кто-либо на свете» понимает Анастасию в «Чаше», что она (З[еммеринг]) совершенно опрометчиво так высказалась, — ибо в О. А. слишком много от моей героини, что она, в дальнейшем развитии типа, вся Дари, и только через нее я смогу дать чистую Дари! Она ответила мне — извиняясь («я не знала, кто для Вас О. А., как Вы ее чтите. Поверьте, она отныне мне очень дорога»). Вот, Оля, правда. Я не скрыл от тебя, что она впервые мне сказала. Она не читала автографа, это, должно быть Милочка читала. Моя ошибка — что через нее послал, считал — надежней. Нет, ты ограждена, я это сделал. Сообщи выдержку (лягание) из ее письма — мне дай, и я напишу ей еще раз. Это все мне было очень больно. Ты мало меня знаешь. Меня знали, и потому никто, никогда не посмел даже обидным взглядом коснуться Оли. «Он взорвется!». Зачем мне даешь примером И. А.?! Я сам себе мерило.

[На полях:] Пришли обидное из письма Земмеринг.

Какая ты хорошка — в лаборатории[136]. Сытенькая была...

Целую. Послал тебе сегодня [фото] Сережечки[137].

53

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28.XI.41 г.

Дорогой Иван Сергеевич!

Нет от Вас ни строчки. Я не могу выразить, в какой я за Вас тревоге. Вы не хотите мне дать знать, — подать весточку?! Ведь Вы можете же попросить кого-нибудь черкнуть мне, хоть «2 строчки». Кто-то читает Вам мои письма?

Но если Вы в самом деле не хотите просто писать, — то я не буду Вам надоедать. Завтра я пишу моей приятельнице в Париж.

О себе, — что же я Вам скажу о себе? Нечего мне сказать. При Вашем воображении и с помощью моих всех писем — Вы сможете живо себе представить мое «житие».

Уничтожьте открытку из-за моего гриппа, а то еще заразитесь.

Сегодня узнала, что бывший наш сосед опять у вас. У Вас есть его адрес? Они часто и без предупреждения ездят. Всякую просьбу исполняют очень мило. От М[арины] — ничего! Не постигаю! Вообще все будто забыли.

Будьте здоровы! Господь хранит Вас. Ваша О. С.

Ужасно, что не можете сами читать!!

54

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.XI.41

Милый Иван Сергеевич!

От Вас все ни строчки...

Если бы я хоть знала, что с глазом! Мама мне рассказывает, что у отчима 2 месяца болел глаз. Ни читать, ни писать, ни выходить. Это был простудный ирит.

Что у Вас? Я ничего не могу писать о себе. Ни о чем думать. Я все жду и жду. Я много Вам написала, — пошлю, послала бы, если бы Вы могли читать... Иван Сергеевич, позвольте же написать мне хоть пару строк, тому, кто это читает. Или Вы не хотите, чтобы мне написали?!

Грипп мой будто лучше. Я на ногах его переношу.

Всего Вам доброго от сердца!

Ваша О. С.

55

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.XI.41 г.
10 ч. вечера

Дорогой, милый Иван Сергеевич!

Как больно мне от неизвестности о Вас — трудно передать. Если бы Вы это могли себе представить, то верю дали бы давно о себе знать. Неужели так сильна, так серьезна болезнь глаза? Меня это приводит в отчаяние! Но тогда, — кто-нибудь Вам читает? Мои письма тоже кто-нибудь читает Вам? И неужели тот, кто читает мою мольбу откликнуться, — не сказал Вам: «напишемте, И. С.?». И Вы сказали: «нет, не надо!» Неужели? Но почему же?

Если бы знали Вы, как мне грустно, как горько, что Вы прочесть не можете все то, что за эти дни я Вам писала. Я все сожгла сегодня...

К чему же? Бездарность все. Как много песен в душе, и как нету им исхода!

Ужасно мне представить себе, что Вы больны, без света, без книги, без пера...

Напишите же, когда Вам будет лучше.

Поверьте мне, что всей душой я болею с Вами всей тоской Вашей... я так Вас понимаю. Сегодня я, несмотря на мою простуду (?), была в Утрехте — был там готов мой снимок; — переснимок с большого портрета[138].

Не передалось все художественное исполнение гениального фотографа, — испортили много. Но все же он не плох. Тот художник-фотограф был эстет, понимал мелочи. Я, помню, была в довольно красивом платье. Он велел его снять, закутаться в черный бархат, а на плечи и руки накинуть черный газ. На портрете большом видно, чувствуется «дыхание» этого газа. Этот газ ощутим. Сквозь него видны чуть-чуть (так художественно «чуть-чуть») плечи и левая рука. — На переснимке это все «пропало». Портрет очень большой, — м. б. это и извиняет. Но все же там и глаза, и выражение мое. И потому я так хочу, всем сердцем хочу, — молю судьбу, чтоб донесла до Вас это фото! М. б. чудо, — м. б. можно послать фото... Лицо ведь так мало! О, если бы дошла и донесла привет мой Вам, больному! Сегодня я еще один «привет» послала... М. б. получите его к Вашему храмовому празднику «Знамения». Как я была бы рада! Поставьте тогда это фото на стол, и мой «привет» живой тоже и... будто мы с Вами вместе чаю после обедни в Праздник попили.

Ах, если бы пришло это фото к тому дню! Я думаю, что это было бы Вам приятно. М. б. отогнало бы, рассеяло бы думы. О, будь чудо, для больного!!!!

Простите, что пишу так глупо. Мне стыдно, что, кроме Вас и еще кто-то прочтет все это.

Но это все от безмерной тревоги о Вас, от желания хоть чем-нибудь смягчить Ваши страдания, — от неизвестности полнейшей, от... знаете все, все можете себе представить. Перечитываю без конца Ваши книги, нахожу все новое. Будто говорю с Вами. А ночами... снится все снова и... опять по-новому еще... Помните, я жду весточки!

Молюсь о Вас! Будьте же скорей здоровы!

Жду извещения от знакомой из Парижа с адресом Ваших знакомых.

Бог да хранит Вас. Ваша О.С.

У Вас п р а в ы й глаз болит? Да? Я бы удивилась, если бы не угадала. Почему? Я знаю!

56

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.XI.41

Милый Иван Сергеевич!

Нет от Вас весточки!.. Больны Вы?

Все еще не можете читать моих писем?

Кто у Вас бывает, навещает Вас? Неужели никого нет, кто

бы черкнул мне о Вас хоть немножко. О, если бы хоть «две строчки»!..

Или Вы не верите, что я так тревожусь?

Я жду письма моей знакомой из Парижа, тогда я напишу Вашим друзьям с просьбой мне ответить. Не будете сердиться? Я не могу так долго ничего не знать о Вашем здоровье.

Сегодня у меня были гости: жена и сын слуги моего свекра. Его кучера, служившего ему 34 года! На наш взгляд — это член семьи, верный, как лучший друг (такой он и есть), а... на западноевропейский (не только голландский) — это «Knecht»[i]. По-голландски — то же значение, что и на немецком языке! Отвратительное отношение «барина», «господина». Дети не так относятся, но им запрещается отцом до сих пор (!) подолгу разговаривать со слугой. И даже мне! Конечно, я не обращаю ни малейшего внимания. И принимаю его и семью его, как гостей. Так вот сегодня были, чтобы кое-что исполнить по поручению. Сам-то «слуга» болен. У него (после операции, 4 года тому, благополучно прошедшей, и полной его поправки) случилось кровоизлияние из язвы желудка т. е. вернее duodenum'a[ii]. Ужасно убило беднягу. Я его весной и в сентябре видала, — весной гостил в Wickenburgh'e, рассказывал об операции, радовался, что теперь здоров, что все может, помолодел и т. д. ...

Я его точно расспросила, к а к а я была операция. Неправильно делали, — можно было ожидать (после такой) рецидива. Я это на стольких случаях знала! И вот! Случилось. Он убит прямо. Страшно живой, подвижный, самородок из народа. Весельчак, увлекающийся. Мы с мамой ему рады всегда. Жизнь вносит. Ему 62—63 года. Влюбляется постоянно, ну и вот... слишком жив, слишком нервен. Тронул меня... цветы прислал, мои любимые... фрезия. Знаете, такой чудесный запах. Я вначале не могла привыкнуть. Помню, когда мы делали здесь визиты, то у одной «тетушки» весь салон был ими полон. Мне стало дурно, — я в автомобиле лишилась чувств. А когда их немного — чудесно! Я посылаю Вам веточку. Ужасно мне жаль больного беднягу! У отчима эти кровоизлияния были одно за другим... как это мучительно!

Берегитесь, дорогой Иван Сергеевич! Я так много думаю о Вас. Сегодня целый день.

Вы тоже слишком непокойны. Вы не щадите сил своих, своего покоя. Вы... сгораете!

Поберегитесь! Этот больной, он так жив, так юн, так весел,

---

[i] «Слуга, холоп» *(нем.)*.

[ii] Двенадцатиперстная кишка *(лат.)*.

так непокоен, что понятна его болезнь. Ему дашь 45, а не его годы.

Женщины и до сих пор неравнодушны.

Массу о нем знаю рассказов. Талантлив. Дети — все вышли «в люди»: кто учитель, кто чиновник, дочь замужем за директором школы Берлитца. Премилые внучатки. Отрадное явление. Народ!

Напишите же, милый, как Ваше здоровье? Я надумываю страхов. Я боюсь, что у Вас duodeni? Опять? Да? Ради Бога режим держите! Не курите много! Это очень вредно! Отдых нужен. Лежите хоть 1/2 часа, днем. Когда же сможете читать мои письма сами? Вы должны получить много моих писем. Сердечно Ваша О. С.

[На полях:] Получили глаза? Я вчера послала (пойдут с сегодняшней почтой). Надпись пришлю особо.

Не пишу много, чтобы не затруднить того, кто читает Вам. Написано же у меня для Вас много.

57

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

I.XII

Ласточка, напиши, не содрали пошлину за духи? Мне было бы досадно это. Ждут «L'heure bleue» и «Muguet». Скажи, хочешь «Jasmin»? Что?.. Все достану, дай хоть такое счастье. Дошлю лекарство, непременно ешь, окрепнешь. Пошлю редких бисквитов, конфет, — грызи, карамеличка моя сла-а-денькая, упря-мая, зано-счивая. Ах, если бы карамельку из твоих губок..! — как когда-то в пансионе меня баловала Аничка Дьячкова, — а я — хи-трый, прихватывал ее язычок, сла-дкий! И она раз — укусила меня за ухо, до крови, — и лизнула. А я прокусил ей пальчик. Ну, как собачата. И в этом было что-то тревожное. Мне было 7 лет! — и я все знал. И — остался чистым. Но... желал! Уже!! — не сознавая, как. Жасминка моя, златоглазая... хоть во сне дай себя. Знаешь, сейчас я понял «Египетские ночи». И — готов, приди[139]. Изживу все сердце — в один миг, отдамся весь. Никогда так не было еще! Что со мной? Ольга, Ольгушка... как жадно люблю, как безмерно си-льно. Ох, до дрожи во всем теле. Безумец я. Твой Ива

Скажи, как любишь.

Всю тебя выпил бы! А-а...

58

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

1/2.XII.41
ночь

Я в отчаянии, дорогой Иван Сергеевич!

Что с Вами? Если бы знали, как мучает меня неизвестность! Почему Вы ни одним словом не дадите о себе знать?

Я не нахожу слов, не нахожу мыслей, чтобы выразить Вам всю мою тревогу, все то, что меня наполняет. Вы же знаете!?

Я не могу больше писать этих писем «ins Blaue hinein»![i] Я не знаю даже, читаете ли Вы их, — вернее даете ли кому-либо читать. Всего вернее они лежат где-нибудь... М. б. в корзине для бумаг?

Ах, нет, я не обижаюсь, конечно!

Я просто измучилась.

Я так несчастлива: подумайте — я опять больна. Мою простуду я не смогла обмануть — хотела на ногах ее перенести, но, увы, сегодня жар и так все, буквально все болит, что нет сил. Я до вечера терпела, но думаю, что завтра останусь в постели.

Попрошу тогда маму отнести на почту. Утром еще припишу как себя чувствую. Я в отчаянии от своего здоровья. Никогда так не хирела. Сыро тут очень. И в доме сыро. Во время войны он был залит водой.

Сегодня я осталась на ночь в столовой, т. к. [там] тепло и сухо. Я уж давно знала, что заболею, т. к. сны такие видала.

Я часто Христа вижу. Ах, а в прошлом году я видела Божию Матерь... Но как! Я опишу Вам. Когда поправлюсь.

Это был удивительный сон! Я его не записала, но помню ясно! Жаль, я не вела и дневника последние годы... Буду.

Я все, все напишу Вам, о чем Вы спрашивали! Ах, если бы увидеть Вас! «Еще хоть раз увидеть Вас!»[140] и т. д. Знаете этот романс? — Ах, скоро «Христос рождается»[141] будут петь! Как трепетно-радостно это «адвентное»[ii], первое, — полунамек на грядущий Праздник! Я так люблю это! Помолиться бы с Вами! Я не могу вдруг молиться. Это со мной бывает. И я страшусь этого: обычно выводит меня из этого «оцепенения» что-нибудь очень тяжелое. И тогда я — вся к Богу! У меня тревожные сны. Сегодня я видела землетрясение, — все качалось. Проснулась — кружится голова... Простите, что занимаю пустым Вас!

---

[i] «В неизвестность», здесь: «для слепого» *(нем.)*.

[ii] «Предрождественское» *(от нем. Advent)*.

Будьте здоровы, дорогой Иван Сергеевич!

С Праздником «Знамения»[142] Вас!!!!

Всегда мысленно с Вами, Ваша О. С.

[На полях:] 2.XII.41 Сегодня мне лучше. Сама еду в город, — необходимо познакомиться с одними людьми, — м. б. мне очень полезными.

Ничего нет от Вас!

Чудная погода!

Не волнуйтесь обо мне. Я — «сухое дерево», — поправлюсь!

Как время летит — Рождество скоро! У меня месяцы, — как дни!

59

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.XII.41

Бесценный, сокровище мое, любимый, самый дорогой и близкий! Нет слов для тебя, нет выражения! Я вся измучилась, устала, доведена до предела пытки!.. Все эти дни... 12! Ужасных дней! я все ждала весточки от тебя... не было! Сегодня твое письмо и... духи, и мед, и селюкрин! Что ты делаешь! Я в отчаянии. Ну, не балуй меня! Но это все — т. е. мое ворчание — не так уж важно. Важно твое письмо! Да, но сперва я все-таки обниму тебя и поцелую... зачем такое баловство?!! Духи — упоительны!.. В них свежесть полей, лугов, цветов... знаешь, такие белые, зонтиковые, вроде ягелей? Они похоже пахнут, именно после ливня... Упоительны... Не посылай, ради Бога, больше ничего... Это так меня смущает!..

Я имела в виду духи... не то «герлинаде», не то «герлинада», что-то в этом роде. Они были у меня в Берлине. Но эти твои — лучше! Твои! Свежее. И не то, что Коти. У Коти всегда какой-то «сухой» запах. Будто пылью. Не правда ли? У Guerlain же — сочный, свежий.

У меня был один знакомый (инженер), торговал потом парфюмерией. У него я могла «знакомиться» с разными духами. Там я откопала Guerlain. Этот знакомый моих родителей (не моя любовь).

Ах, Ванечка, теперь письмо... я не знаю, что я тебе скажу. Я вся полна им... О визе?.. Кукла? Нет куклы... Не будет? Не бывает кукол и сказок в XX веке у таких, как я... Я все понимаю, Ваня. Все! Но где-то в сердце, давно точит: «отчего-то ты и не хочешь встречи». Понимаешь, умом не хочешь!

Я знаю, что сердцем ты хотел бы. И тогда... в мае, помнишь: «надо быть разумными» и т. д. Ты так отталкивался от этой

встречи тогда. А теперь? Но я не требую. Что (?) я могу? И как я смею?

«Подумай — и ответь». Пишешь ты... Что подумать? Как подумать? Я сердцем думала — и тогда просила... приехать. Т. е. встречи. Знала, что сама не смогу к тебе... просила тебя тогда быть здесь... Вот это: «помимо визы» — остается, оставалось бы, значит, и для меня в Париже? К чему же прятки? И если бы я достала визу и ехала бы к тебе, — ты все же думал бы об этом «но», «помимо визы»? Да, но ты прав, в многом прав... Ты прав, — это я сбилась с толку... Рассудок потеряла... Только сердце слушаю. А оно о тебе кричит, к тебе рвется. И еще: что же я одна придумаю, решу? Как мне без тебя все осилить? Казалось мне, что видеться нам необходимо. Но, так же, как и ты, я для любимого зажму все муки в себе... Все так, как хочешь ты. Тяжело тебе приехать — я *не* смею ничего решить. На «всякий случай» пишу тебе, что С. — инженер и работает в фирме «Schumacher»*, но я думаю, что это не важно для визы. Если же надо, то напишу подробней, что он делает и почему действительно не может отлучиться. Никак не может! Светик, мой, я тебя ни к чему не вынуждаю.

Ваня, как у меня в душе смутно-странно. У тебя будто провал какой-то был? Где я, где мы были эти 12 дней? У тебя свершалось что-то. Меня у тебя эти дни не было?? Что значили эти 12 дней? Ты не писал, — ты мучился или мучил? Ты болел? Я безумно тебя люблю. Ваня, ужасно люблю! За все, за эти мучительства даже. Прости мне мое «движение», «жертвенность». Это — тоже только сердце, без ума... От отчаяния, от безысходности,.. от желания хоть что-то взять у жизни!.. Поймешь ли?

Я преклоняюсь перед тобой!.. Я давно тебе сказать хотела, чтобы ты не удивлялся, что мало я пишу тебе восторгов о тебе-писателе. Они — все те же! Но, ты-писатель — ушел куда-то... Ты — другой теперь у меня... Когда ты-писатель встаешь передо мной, то я — благоговею, ценю, падаю ниц, тогда... ты — Иван Сергеевич... Тогда я не могу иначе, не могу — «Ты»! Понимаешь? А другого... я люблю бессмертно, страшно, всем существом моим! Как ужасно, что все у меня нет твоего портрета!.. Ну, хоть маленькую, паспортную пришли! Милый, родной... В твоем письме так много, так все важно, а я так оглупела вдруг... Я ничего не могу. Мое сердечко, ты говоришь о «проповеди» твоей... как это свято, как велико, как чудесно!.. Но, Ваня, если этого ты добьешься так, как хочешь *ты*! Только тогда это — свято!

И тогда, если ты соберешься, — мы должны увидеться. Да, должны. Нет, не для моего беззвучно рыдающего, одинокого

---

* о фирме лучше не упоминай, я объясню потом почему.

сердца, и не для, отравленных разлукой, мгновений безумства счастья, — нет, не для личного. Но для всего святого... И я должна тебя, Пророка, того, которому молилась, того, кого люблю теперь превыше жизни, увидеть и перекрестить. И много, много сказать... Как много, Ваня!..

Ваня, я никогда не испытала счастья... Поверишь ли? Кроме... одного дня! Я помню, это было под Троицу однажды. Какое же невинное «счастье». Я помню, подошла к маме и сказала: «мама, я знаю, что такое счастье, — стоит жить!» На другой же день оно разбилось. Вся жизнь — разбитое корыто... надежд, мечты и счастья... Ты... ты хоть был счастлив. Я — его не знаю. К чему пишу все это? Не знаю. Как мне больно. Ваня, я писала тебе злое письмо (кажется 22-го), — прости его!

Я не знала, что ты сам читать уж можешь, писала в расчете на «читателя» и потому не попросила раньше прощения. Ты думаешь, что я «ломаюсь», «играю», «для пряности» и т. п. Но все это не верно. Если бы я сейчас умереть должна была, то я клялась бы, что это не так. Я и вся жизнь моя — сплошная безрадостная безысходность. Любовь к тебе. Разлука. Твоя горечь. Невозможность уверить тебя. Бессилье. И любовь, любовь. Ваня, ведь я еще молода сравнительно. Могла бы полной жизнью жить... А как я живу? Тебе я даже и не напишу. Написала одному «старцу», — прося совета... не о тебе, — только о себе. Никому о тебе, кроме мамы и С. Не знаю, что скажет... Я не живу. Я только двигаюсь и дышу. И все же — я не могу ничего изменить, как бы хотела сейчас. Если бы ты здесь был, — мы обо всем бы поговорили. Я должна ждать... Я знаю: все откроется. Так у меня всегда. Я знаю: нельзя роптать. Я не ропщу. Мне только больно, что ты... не веришь. Думаю, что не веришь. Иначе... почему письма, которые не решился послать? Но ты решись. Бей! Я все от тебя принимаю. Какой ужасный я видала сон с тобой. Каким кнутом меня хлестал ты! Ужас! М. б. сердился ты тогда? Я часто угадываю это. Когда я нервна, — я все знаю! Бывает, что я в темноте вижу предметы так же ясно, как днем. Я и видения имела, например: в ночь перед объявлением войны. Ужасно было. Ах, да, слушай.., Arnhem для меня чужой город. Меня никто не знает там. В пансионе, где С., не знают нашего «рода», хотя муж бывал там. Я могла бы там быть, а ты в доме рядом. Ничего бы не «бросалось в глаза». Я все до мелочей продумала. Я бы приехала для «перемены климата» от сырости. Это для Master'а. Или что другое. Я бы устроила так, что мы с тобой в твоем пансионе встречались и вместе бы обедали там. Им сказала бы, что живу в Arnhem'е, что ты мой родственник, — что по делам здесь, но, к сожалению, в нашей квартире почему-нибудь (ремонт или еще что) не можешь остановиться.

Или что у тебя виза только для Arnhem, а я живу в другом месте. Это еще лучше. Можно все устроить. Я уютно бы тебя устроила. Не присылай мне меду. У меня его масса! Тоже чистый! Из «Wickenburgh». У меня все, все есть. Ты увидишь! Своих цыплят я застерилизовала в банки. Были петушки по 4 фунта! Мы питаемся отлично. Жалею, что от нас не позволено посылать к вам. Я тоже хотела тебе послать меду(!). Иногда приглашаю к себе на обед специально, чтобы угостить. Я готовлю совершенно довоенный обед. Правда!

Целую, люблю, крещу. Оля

[На полях:] Слезы мои найдешь ли?

Да как же нам не увидеться? Как же все решить??

Все, что писала тебе — пошлю. Духи на волосах[i].

Завтра еду в Гаагу, — попытаюсь узнать еще о визе.

Я записалась на аукцион библиотеки профессора ван Вейка. М. б. найду тебя. Все переплету.

60

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.XII.41
8 ч. 30 вечера

Прелестная Олёль, — всегда, даже — в несправедливости, во гневе, в укоризнах. Ну, слушай, как я принял твой «залп» укоров, такой нежданный, так изумивший... Да... знаешь, что я сделал, когда прочел, — и перечитал, тут же, — твое письмо, от 22.XI, запоздавшее (!), — я же раньше получил твои от 25, 27 и exprès — открытку от 28 (для чтения кем-то), — ? Залюбовался на тебя в портретах, обнял всем сердцем... так нежно взглядом молился на тебя! — и если не целовал через стекло, то потому лишь, что взглядом, воображением сделал больше! Ну, слушай. — Я вернулся из центрального Парижа (все хлопочу по делу о разрешении поездки, сперва в Берлин, оттуда — другие хлопоты, как я тебе писал). Вернулся в добром расположении — и надежды не сникли, а напротив, а — главное, ближайшее, что хоть чуть тобой, — в связи с тобой, — порадует, — взял у фотографа заказанные рамки для тебя. (Сейчас выну из старых, тоже очень приятных, серебристых, но эти гладенькие-узенькие окаемочки — матово-серебряные! — чудесны!! — и помещу тебя, горя-чка! жгучая девулька! бранилка, неправка, неуёмка, — и всегда — чудная чудеска! Нет и не будет такой другой на свете!) — Вхожу в квартиру. Новгород-

---

[i] К письму приложен локон волос О. А. Бредиус-Субботиной.

ка, моя «Орина Родионовна» (я тебе писал сегодня[143] — слава Богу, заявилась!) — я ей доверяю и квартиру оставляю на нее, когда мне спешно надо, а она еще не кончила уборку, — уже ушла, захлопнув дверь. Горит камин. (Топить начнут только к 15 дек., какую-то «решетку» ищут по Парижу, для котлов (мазутное отопление переделывали на угольное!). Тепло. Чисто, слава Богу. Кухня — из ада превратилась ну, хоть в... чистилище! Приятно скипятил чай, пошел в кабинет. Ты греешься на камине, на стене, на T. S. F.[i] Как всегда, окинул и .... (угадай-ка!) глазами. На столе — письмо! Не ждал. Штемпель — обманул! — 29.XI! Значит, следующее, после 28-го. Не взрезал! Я потомить себя люблю... тобой. Да, думаю, опять «нейтрально», для прочтения мне, страждущему глазами, — с «Иваном Сергеевичем» — «голодное» для меня, постное! пью чай, смотрю на тебя, на письмо... — взрезал, — всегда в волнении, — и бросилось в глаза подчеркнутое тобой «ты не смеешь» — тремя чертами! — чуть не написал — чертями! — !! Окаменел, — не понял, — оглушился, пронзился... — и завял. Письмо от... 22-го..! после «позднейших»! И... горько стало. Все ведь сказал тебе (письмо от 28.XI, кажется), — ну, зачем выискиваешь во мне, чего и в мысль не приходило, не то что — на сердце! Все — не так. Ну, что же мне делать?! Вырвать из груди сердце, крикнуть последним вздохом — на, чи-та-ай! — и умереть? Это — темное, больное — в тебе. Освети его, исцели его. Господи! Мне было так горько читать, (нет, к сердцу не допустил!), — и... слышал слезы в сердце, такой нежности к тебе, такой любви огромной, такой... Оля, Ольга, жизнь... — я знаю все слова, но тут я запинаюсь... не найду достойного, точного, чтобы ты видела до осязания, как велико то чувство во мне к тебе, для охвата которого слово «любовь» — мало! Это выше, охватней... в нем любовь, да, вся... но есть еще, что человеческий язык бессилен определить точно. Не могу, не хочу, не стану, не смею отвечать на твои укоры... — отвечать — ? Это — оскорбить, коснуться недостойно тебя, отемнить все твое во мне. Не могу, — так это будет недостойно тебя, моя Молитва! Слезы накипают... Оля, это от наболевших нервов, от всего, от всех болей в тебе, — да, и от болей, неосторожно причиненных мной! Могу сказать одно — оно не оскорбит тебя: прости. Открыто, светло. Поверь: никого нет у меня в душе, где ты, ты, только. Все, о чем так с болью пишешь, м. б. уже в надвинувшейся лихорадке, полубольная... — так это для меня — чуждо, — это же не мне, это не обо мне... это — все — вне меня. Если все, что пишу, тебя не успокоит, скажи: что я должен, по твоему мне-

---

[i] Радио *(от фр. telegraphie sans fil)*.

нию и чувствам, — сделать? Я уже писал тебе, что сделал. Вразрез как бы сказанному — «не смею отвечать на твои укоры» — скажу только. Если я просил тебя привести мне оскорбившие тебя слова г-жи Земмеринг — то, конечно, не потому что... — о, за-чем?! — тебе не верю (!?), а чтобы ей, ей, черт ее возьми!! — ей бросить ее подлинные слова! Я ей уже писал: «О. А. все постигает, это огромнейшая духовно-душевная сила, и моя "Чаша" ею понята, м. б. глубже, чем мной самим!» И это правда: я не понимаю многого в моем, — я его ношу в подсознательном чаще, чем — в сознании (это я только Тебе пишу, тебе только, единственной, кого ни с кем не ставлю ни рядом, ни... ну, нигде, ни-как не ставлю... ты непоставима! (новая глагольная форма и, кажется — дикая для уха!) — несопоставима! — ты — что же ты хочешь, чтобы я крикнул... — Бог ты мне, для меня?! Да... — для меня ты — предел всего во мне!

Видишь, какие искры..? Чего же ты еще хочешь?! Для меня ты вне зацепок и проч. Не принижай себя. Я твоего письма этого больше не прочту, я его сожгу..? (и — бо-льно, ибо это твое же!) Нет, не сожгу, — оно не только мое, оно — за мной, — оно жить будет. Помни это, Оля. Невольно, нами, творится... нет, не «роман в письмах» — не только захватывающий роман в письмах: творится Жизнь, еще небывшая, всплывают, м. б., иные чувства, еще не проявлявшиеся, — в такой любви, — в таких условиях, неповторимых, необычных, — исключительных. М. б. пишется нами что-то «без названия». Что мы сами-то знаем?! И в это — м. б. неповторимое горнило (ибо творится сложное, какой-то новой сплав, ценнейший,) (чудесное!) чудесных, обновленных или м. б. совершенно новых (по оттенкам!) чувств и «углубленностей в чувства», — серхчувствований... нельзя допускать разменное, ходовое-ходкое, у всех случающееся, — у нас лишь — от страстности натур! — нельзя в такую плавку бросать ничтожность. Пожалей себя, родная, певунья нежная... — ласкунчик милый, Олелёк... не надо. Господи... я прихожу в отчаяние, Ольга-Ольгулька... и хочу поцелуями закрыть эти выкинутые слова... в конце письма: они бросились сейчас в глаза! подчеркнутые четырьмя чертами: «Но знай, что ты меня обидел как никто доселе!!» — Сама себе не веришь. И когда выкрикнула — не верила! Я в божественное для меня не могу бросить обиды! Тебе, причинить, сознательно, обиду..! — Оля,.. нет, я больше не могу об этом. Я не могу теряться, мельчать... не могу. Прошу: кончи это. Зачем ты ранишь мое чувство, мое все к тебе?! шатаешь, путаешь? за-чем?! Зачем себя умаляешь? низишься?! Не довольно разве, что я, порой, в безумстве, бывал не прав? Для чего же нагромождать-то на наше, такое — пусть только для

меня! — чудесное, такое чистое — при всей яркости страстей моих, — мои и твои неправдочки?! Мы же греховные существа, со — всеми слабостями, — еще — во мне-то! — неперегоревшими, увы! — но мы же можем — и должны! — стать во весь рост наш — рост сердца, дара, чуткости, провидения, глубочайшего, трепетнейшего проникновения друг в друга, — ведь так трудно, таким томлением, мы нашли друг-друга... (о себе скажу, твердо: я нашел тебя... незаменимую, небывшую никогда, — такую! — м. б. только в дали нашел? —) — сознать, что мы восходим... Не склоняться, не отемнять света в нас, помогать друг-другу преодолевать мелкое в нас, очищать сердце, чтобы любви было свободней, легче дышать всеполно! Я знаю, как я жду, молю — полноты любви, не короткой, не «сухой», не отвлеченной, а... всей, — земно-небесной, от всей тебя! Любви плодоносящей. Но, Оля... я знаю, как и ты, что такая, полная, благословленная, человеческая любовь — редкая! — осуществляется лишь при чудесном свете Любви пре-чистой, неприкосновенной, недоступной — для «мелочей». Ну, прильни же сердцем... ну, согрей же... ну — погляди же на меня — вся светлая, ручьистые глаза... в них только свет пусть, — ни соринки, ни «цапинки»! У меня легко на сердце... — к тебе, к тебе. Я знаю, — это — набежало пылью, твою лазурь замглило! Осветись, прильни... и — приголубь меня, родная... Твой Ваня

(Твое письмо я пометил — «жестокое» — «излом».)

[На полях:] Уверен, что ты уже забыла, что написала «ужасного»!

Никто мне адреса Сережиного шефа не давал, а то бы я съездил к нему. И послал тебе привет.

Милая Ольгушечка, ты, как будто сознательно ищешь, чем бы выбить из меня еще искры?

Вижу, как ты сама себя мучаешь, а я к тебе — так чуток, — нежен, всегда только — о тебе!

61

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.XII.41
4 ч. дня
23.XI — Св. благоверного кн. Александра Невского.

Дружок мой бесценный, Оля, Олёк, Ольгуша!

Да, все написал бы, все повторил бы, м. б. только сильней, — от безмерной к тебе любви! Как ты можешь думать?! Только я считаюсь с действительностью — и принимаю ее, — в Госпо-

да веря, уповая на Правду Его! Утишь сердечко, девочка моя — сумасбродка! Как смеешь ты: «не хочу себя беречь!» — Вот, заболела! Какая нежная боль о тебе, святая деточка Оля, как тобой болею, как истекает сердце! Если бы около тебя..! — глаз не сомкнул бы, дыхание твое слушал, молился, смотрел на свою бесценную... Богом мне посланную — на светлую радость, на скорбь светлую... Господи, ты видишь, какой в нас Свет... Твой Свет! Господи, дай нам хоть совсем немного счастья! Оля, лечись, отнесись серьезно. Оля, люблю, как никогда, ни-кого!

Твой И. Ш.

Успокой сердечко, весь мир закрыла!

62

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.XI/6.XII.41
5 ч. дня

Ольгушечка, пишу — для тебя — тебе; в письмах, — «историю одной девичьей — женской души»[144] — из своего опыта, чтобы знала ты, какой я был — и есть. В самом остром — для мужчины, при всей своей пылкости, в воображении — и жизни. Будто я сберегал себя, — ожидая, — чтобы «продлилась жизнь моя»[145], — и жар остался!

Много — из страсти — взяло творчество. А кто это знает? Ты знаешь. Оля м. б. знала — видела. И принимала, так часто оставляемая! «Ты меня совсем забыл, Ванёк!» — Теперь я не «забыл» бы... Тебя. О-о... не могу сказать. Буду посылать историю. Твой весь И. Ш.

Посылка на Сережу (сласти — Тебе!). Пудреница Ее — Тебе на память. Прими реликвию. Это от моей любви к Тебе!

63

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.XII.41

Ванечка, солнышко мое родимое, светик, ангел мой бесценный, сокровище души моей!

Сегодня письма мне, маме, и еще Сережа пишет заказной exprès на маму, пересылая твое письмо с вопросом, что такое со мной, т. к. ты его спрашиваешь о моем здоровье. Светик мой, я уже совсем, совсем здорова. Я же тебе писала, что на ногах переношу. Я уже 2-го (кажется) XII была с визитом в Утрехте, — я вообще не лежала. Не думаю, что это был грипп. Ты

знаешь, когда я вся в таком волнении о тебе, — легко принять, при малейшей простуде, это вечное «дрожание» за болезнь. А *я тогда изводилась о тебе и дни, и ночи.*

Нашим: маме и С. я ни словом о t° и недомогании не говорила, ну, видали м. б. насморк, т. к. мама и так меня «точит» за похудения и все «грозится» тебе писать и «жаловаться». А что я могу? Я принимаю селюкрин. Ванюрочка, ты не воображай страхов о почках. Это же не последствия гриппа были, — камень.

Не волнуйся обо мне — береги себя. Если бы ты знал, как я страдаю всякий раз, слыша твою «Симеонову» молитву! Пойми, пойми: ты одна у меня радость души моей!

Ты — мое все утешение и счастье! Зачем же ты все говоришь это «отпущаеши»? Рвешь сердце мое, терзаешь душу?

Ванечка, я не могу даже подумать об этом. Я не пережила бы!! Береги себя! Какой ужас, что я тебя беречь не могу из моей дали! Быть около тебя, все, все тебе сделать для твоего покоя! Милый мой Ивушка, я все больше тебя люблю! Брось, не ревнуй никогда к моему прошедшему! Да еще к такой пустельге, как все эти «врачи» и им подобные! Я любила всегда мой идеал, отвлеченность, чего искала, и... не находила, ни у кого... до тебя! В тебе все: все, — мое светлое, животворящее солнце! Все в тебе и только в тебе! Когда писала я тебе письма, давно, я тщательно следила за собой, чтобы не сказать лишнего. У меня не найдешь нигде передержки, нигде «позы». Я к тебе — вся Правда! Я любила в жизни только тебя неведомого! Правда это! То, 10 лет назад,.. не ревнуй и здесь... Чудесная это была душа, с какой-то нездешней, западноевропейской сутью. Эта находка потрясла меня, захватила. Ничего грязного или похожего на грязь не было. При прощании (каждый знал, что навсегда) он не поцеловал мне рук даже, я — не пыталась взглядом даже смутить его. Я, умирая в душе, — смеялась, и пела ему его любимое что-то. Я берегла его. Мы расстались оттого, что он слишком был нужен своим сородичам, слишком видное лицо у себя, чтобы от них «уйти» — а я,.. я не могла с ним идти. Их отношения с управляющим бабушки моей[146] были очень натянуты, они его не признавали, — а потом... надо было с ним работать... Я же, верная бабушкина сторонница, не могла впутаться... он мог бы выйти из-под этой «их» опеки, но... я просила его не делать этой жертвы. Не о п и с а т ь этого. Надо говорить. Было все так сложно. В нем я любила частичку того, что у тебя нашла во всей полноте своей! Как бледен он теперь. Как — нет его! Нет, совсем нет! Воспоминания, мои искания, любовь моя к святому идеалу, — это останется... Но его — нет! Никогда, никогда не мучай себя ревностью... Это только умалило бы значение всего того чудесного, что только для тебя! Умалило бы не в смысле действительности этого умаления,

но делало бы такое впечатление, будто ты сам низводишь то, чего низвести нельзя! Я всякий раз — разочаровывалась.

Однажды... даже до болезни. 3 дня лежала, как с «вынутой душой». Я ужасно все ярко переживаю. Я так чистоту искала! Ванечка, мне больно, что я о Г. Кеннане тебе написала, сравнив его внешним сходством с твоим мальчиком! Я не хотела бы, чтобы ты это ложно понял. Не принял бы, что это имеет какое-то для меня значение! Это — бьющее в глаза, — сходство, просто поразило меня. Но по существу, в душе моей глядя на Сережу, я *не* вспоминаю даже «того»... Перед духовной святостью Сережи я вся склоняюсь! Перед Тобой! Ванечка, о «Солнце мертвых» — ...удивительно... как «укрыта» боль твоя. Личная твоя! Это только в «3-х орешках» сказал, что... «3... каждому поровну»[147], а теперь..?

Ванечка, как рыдала я, читая это!

Золотко мое, я не ревную тебя в прошлом! Ни к кому. Теперь, теперь — не перенесла бы! Но где же 2 письма с «частичкой твоей жизни»?

Я их не получила. Ужели пропали? Когда послал?

Ваня, изображение О. А., святой твоей, я принимаю как высокий дар твой! М и л а я! Ванечка, все, все трое — вы так неизмеримо высоки, прекрасны! Ванечка, я, гадкая, я ведь не стою твоей любви! Дух мой (так няня наша нас ласкала), дух мой, голубочек! Ванечка, я не ставлю тебе примером И. А.! Я злая тогда была, я — каюсь — нарочно, чтобы уколоть тебя! Но это же не моя суть. Я И. А. ценю, люблю как философа русского, но... разве я ставлю его Тебе(!) примером! Прости меня! Видишь гадкое проявление характера? Хотела больно сделать! О Земмеринг — не надо. Господь с ней! Если она хороша к тебе, то не порти неприятными замечаниями обо мне. Вся то я этого не стою. Ванечка, никто меня так не любил, как — ты! Никого я — как тебя. Никогда!!!! Ванечка, сокровище мое, жизнь моя, душа моя в лучшем ее прорыве!

Я плачу, я не могу без тебя, в безвыходности моей! Ванюшечка, мы не увидимся? Пишешь ты маме... Ты не веришь? Ты не надеешься на встречу... или... не хочешь. Т. е. не решаешься. Боишься муки!?? Ванечка, ты не думай никогда, что я тебя упрекаю, — нет, нет, милый... Я все понимаю. Но не могу себе вообразить, что мы никогда не увидимся!

Я не могу этого представить! Ванечка, ты для меня все! Неужели я никогда не увижу глаз твоих!? Ваня, безумно это! Пришли же мне хоть любительское твое изображение! Ванечка! Милый! Ласковое солнышко мое! Я знаю, что ты любишь меня!! Мне приходили иногда в голову мысли, что ты умышленно не хочешь меня видеть, чтобы остался у тебя неиспорчен-

ный, созданный твоим воображением, образ для Дари! Что ты, только для полноты моих «реакций», говоришь так и о любви, и о... «благословенной»...

Это думала я так, когда горько было от «обид» твоих. Знаю теперь, что не «обиды» это были твои.

Ванечка, правда глупые мысли? Не сердись. Все это от любви. От невозможности, нерешительности поверить, что стою я твоей такой любви. Это не скромность, Ваня, — это истинное мое убеждение! Поверь!

Завтра — Знамение!.. Я буду с тобой, Ваня! С праздником тебя! Я девочкой, маленькой-маленькой (2-х лет) говорила: «палянти» — это «с праздником»! Часто у нас слышала это слово.

Я рано начала говорить. И рано себя помню. Получил ли о моей жизни[148]? Часть. Другую дошлю, — только если не ревнуешь! Получил ли письмо с вопросом о «Степном чуде»? Или это случайно, что ты пишешь: «и я теперь все бы мог также написать»? Часто мы с тобой угадываем мысли!

Ну, роднуся, милушка мой, я кончаю, т. к. тороплюсь. Я всегда с тобой! Получил мои глаза? М. б. и дойдут! Ванечка, пришли себя! И еще: не забудь автографы! Как «Пути Небесные»? Неужели не пишутся? Иногда мне чудится, что будто ты их творишь, Творишь! Ваня, — твори! Дитя это наше, Ваня! Умоляю тебя! Не дай им остаться в небытии!

Я прошу у тебя одного Дара: подари мне твою одну книгу: ...«Пути Небесные», II часть! Подаришь? Верю, что не откажешь!

Ванечка, не балуй меня так! Всем другим! Никаких духов больше и... ничего! Мне стыдно! Ответь мне на все важные вопросы, и... сетуешь ли на меня за то, что чувство мое тебе открыла? Я тебе подробно писала об этой моей муке! И еще: отчего я должна решить о твоем приезде!? Ванечка, целую и крещу тебя. Будь здоров! Ужасно, что холодно тебе!

Всегда твоя Оля

[На полях:] Не знаю, м. б. и буду чуточку ревновать, если «Дашу» очень любил... Потому и Дари? Да?

Напиши о своем здоровье! У меня и насморк прошел. И даже «простуда» на губе прошла! Здесь, в Голландии не наволнуешься за простуду. Всю зиму — все простужены обычно.

Я для тебя буду беречься.

Мама тебе будет писать.

Я очень одинока, Ваня, и не понята*. Всю жизнь. Да не звучит это «не понята» избито. Но это так. Один ты только!

---

* И в «одаренность» мою никто, конечно, не верит. Потому и я не смею поверить и возгордиться. Любят, но это еще не значит, что ценят, в сердце не смотрят. Какая писательница! Где ей?! Ей-то?

Ваня, я еще *не* получила твоих 2-х писем с «рассказом о твоей жизни», о девушке-женщине.

Когда послал?? О том, что «проходило для тебя "в н е"». Как ты говоришь.

Я в постоянной тревоге и не могу писать, т. е. работать. Увижу тебя?

64

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

11.XII.41 12 ч. ночи

Милый мой, дорогой друг!

Как радостно я приняла твои листочки из поминания[149]. Я тоже подавала просфорку за тебя. И каждое воскресенье батюшка молится по моим запискам. Я тоже задумала о Евангелии... как это странно... Я только его не смогла к себе применить. Сегодня получила письмо от дочки священника[150], — она не знает ни адреса Bauer, ни даже того факта, что брала уроки. В каком городе она живет, — я иначе узнаю, только бы город знать... Сегодня мама пишет тебе письмо, но мне не показывает и к себе не пускает(?!)... Скажешь, о чем она тебе пишет? Я любопытствую... И еще: я не поняла словечка-глагола из 3 букв, которое ты хотел бы мне «на ушко» объяснить... Видимо я его не слыхала. О том, как я понимаю «ewige Weibliche», — я могла бы много сказать. И напишу. Я написала тебе несколько писем (4—5) с моей жизнью. Но не знаю, посылать ли. Ты мне тоже не все говоришь. А торгуешься. «Узнаешь, если...» И это напоминает мне пошленькую песенку «Wenn Du alle Wünsche mir erfüllst, — dann — hörst Du alles, was Du hören willst!»[i] Ну, послушай, неужели ты торгуешься. А впрочем: не надо. Это очень тонко. И «пошлых песенок» — ни к чему! — Пришли же себя хоть маленького! Что за упрямство. Неужели нет любительской? Ваник, ни за что не посылай изюму, и вот почему: я его н е люблю. А ты его так любишь! Я никогда не ела изюма, только в куличах. Я вообще не очень люблю сладкое. И не надо же духов! Я прошу! Не надо баловства! Ну, право! Мучаюсь твоим холодом в квартире. Почему ты не завел печку чугунную? Она так практична. У нас жара, а топим деревом. Только наверху холодно. Завтра еду с мамой к Фасе[151]. Сегодня молодочка (еще 1/2 года нет) снесла 1-ое яичко. Ма-ленькое и с кровью! Мамина гордость! Получил мои безумные письма? Цветы? Еще нет? Жаль, если опоздали.

---

[i] «Когда ты исполнишь все мои желания, тогда я скажу тебе все, что ты хочешь услышать» *(нем.)*.

[На полях:] Когда «Паша» говорила «измус»[152] — мне представлялся изюм! В и ш н я — точно, очень сочно!

Целую, твоя Оля

65

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.XII.41
3 дня

Светлый Ангел-Хранитель, Оля. Чудесно! Сейчас читаю твое «о жизни», — «конспект». Как ты чудесно даешь д а ж е в схеме! Схема — трудней, чем всей полнотой души. Я не мог ошибиться, сказав: ты исключительное я в л е н и е! Пиши — ч т о хочешь, к а к хочешь. От меня тебе не может быть ни «комплиментов», ни «подарков»: тебе от меня — только — с в е т сердца, сладостная боль его. Прими кротко, — и я это твое приму, как Милость Божию ко мне. Не смей выходить на сырость, после t°, — дней 5—6! Улучшение м. б. обманчивым. Много тебе писал. Эти твои «ins Blaue hinein» — не насыщают, томят. Прости мне (в отчаянии я был и муках) мои жесткие слова о «скольжении». Кляну себя, что послал. Весь твой, пусть безнадежно. И. Ш.

[На полях:] Вся ты — из романов! Ну, unica![i] !!!

К Тебе его крик: «Напишу тебя, не бывшая»... А ты — е с т ь!!

Все — ты. Напиши, какой образ видела 10-леткой?

66

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.XII.41[ii]
5 ч. вечера

Только что, небесная моя Оля — чудо, Олёль моя... — цветы! Розовая бегония, чудесная! О, ми-лая... как я счастлив! Я целовал прилетевшие ко мне розовые бабочки... — твои глаза, губки, щечки, Олёк, твои, — всю тебя в них н а ш е л, — и ласкал! Целую за твое сердце, — мне так было сегодня тяжело, томила

---

[i] Уникальный *(лат.)*.

[ii] На открытке штемпель почтовой службы: Осталось в почтовом бюро Лионского вокзала из-за отсутствия сообщения с оккупированной Францией (*Refoulè par bureau postal Lyon gare faute de communications avec France occupèe, фр.*). Вероятно, открытка не была получена адресатом, так как на ней отсутствуют пометы цензуры и письмо не включено в нумерацию О. А. Бредиус-Субботиной.

тоска, — все о тебе мысли, в тревоге я, — как ты? Сумасбродка, 2-го хотела ехать в город, не оправившись от гриппа! Благодарю сердечко твое, цветок мой, Солнце! Жду писем, о, как жду! Ольгуньчик, *пиши* мне! Твой конспект — чудо! Я захвачен рассказом. Гений ты, во всем — в уме, сердце, — Все-Женщина!

Сердцем творю Тебя. Спешу отправить. После 6 [часов] нельзя. Твой Ваня — Ива — Ив. Шмелев

67

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.XII.41
4 ч. дня

Дорогая, — как благодарю! Не лицо, — *лик* это! Чудесный лик, — теперь я *вижу весь* Образ Анастасии! Не обмануло меня мое чутье. Ты — светлая, ты — в мечтах-снах являвшаяся отсветом Правды Лика Девы! Это — будь я художником кисти — дало бы несравненную! Превыше всех — во всех веках. Мне вернули все мои «виды», посланные Марине 2 1/2 мес. Кто их вез — оказался «вислоухим». Я поражен благородством-великодушием контроля! Мне вернули даже мое «частное» письмо Н. Я. Квартировой. Нет, есть в Европе чудесные сердца! Твой Ив. Шмелев

[На полях:] Хоть одно слово! Здорова ли?

Я две недели не знаю, здоровье твое? Господи, я в тревоге.

Твое моление — услышано: это — чудо. Я получил твои небесные глаза!

68

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.XII.41

Ваня, голубчик, сердце мое!

Я не могу, не в силах больше так... Как мучительно быть без тебя! Ты пишешь о моем «жестком» письме (22.XI) и о каком-то 23.XI? Я не знаю этого последнего. Что я там сказала? Обидела тебя еще раз? Ну, не зло же! Я не могу, измучилась, — я вся этой тоской больна, я потому тебя терзаю.

Ванюша, я никогда не бываю несправедлива, — органически не выношу с младенчества несправедливости — и не могла выдумывать или, как ты говоришь, — «выискивать», чтобы «выбить искру». Нет, но я тогда в горькой обиде была... Не поня-

ла, значит, тебя. Ты тоже иногда ведь — не ты... Я понимаю...

Ванюрчик, но... не хочу... «истории литературы»! Не хочу... Ты понимаешь, это еще можно, если, за письмами, кроме них, есть наша жизнь, — никому неизвестная, ну, пусть, хоть взгляд один, какого никто не видел... А тут... тут *все* пред «ними», а если чего нет пред ними, — историками, то нет и для меня... Не хочу!..

Я завещаю *сжечь* все, после моей смерти![153]

А ты — мое!? Да? Я скоро буду все равно менять свое завещание. Ты удивлен, что есть у меня уже? О, — если бы ты *все* знал! Но не хочу сейчас: ни о смерти, ни о «истории». Не хочу уходить (хоть мыслью) в историю.

Слушай, глупыш, я много у тебя должна на что ответить, но не могу, — не могу собрать серьезно, строго мысли... Я вся в волнении... трепете... любви безмерной... Я поражаюсь, что ты еще можешь ждать с чтением писем... Я не могу... Я жду ведь только почты. Скоро Рождество — я не заметила зимы... Ведь скоро «поворот на лето»!

Я жду чего-то! Я, как морфинист, жду сладостного яда. И, прочитав, я жду уж снова... Мне мало, мало (!!) писем! Ну, не скажи ты о «истории», я больше бы тебе сказала...

Не удивляйся, что пишу дурацки... Я еще поражаюсь, что не в сумасшедшем доме. Ну, кто же вынесет такое как я? О, если бы все, *все* ты знал!

И так не может хорошо пройти все. Ведь никто не знает, *как* я болею!* И ты не знаешь! И иногда мне даже хочется... «уж к одному концу бы!», — но вдруг опять безумная такая жажда жизни! И для чего же? Для кого же? Сегодня мне о тебе все снилось... письмо твое Сереже... будто ты в марте приехать хочешь... за мной... А недавно я видела тебя на фотографии «общей группы» каких-то незнакомых лиц, — один только еще Бунин был тут же. Бунин такой, как в газете с памятью короля Александра I[154].

А ты... совсем необычайный... в высоких сапогах с шнуровкой (я люблю такие) и в белом, будто охотничьем, костюме. А ворот чудно вышит русским узором, как будто у бояр — стоячий. Костюм дикий? но было *очень* красиво. Лица я не могла уловить, хоть и смотрела очень, очень... Но весь ты был такой... зовущий...

Бывало ли с тобой, что от остроты чувства ничего сказать не можешь, хоть сказать бы надо было массу! Я мучаюсь сейчас вот этим.

---

* Болезни нет никакой, но как я таю! Я не могу без тебя! Что же мне делать? Не смею так писать?

Ты не ответил мне: могла ли я тебе вся так открыться. Простил ли мне? Ведь это все — и твоя мука?! Скажи же? Или я пришлю тебе письмо с одним только этим вопросом...

Ваня, еще одно (не обходи молчанием тоже)... мне больно иногда при мысли, что тебе эта «оригинальность» наших «небывалых» отношений нравится. Ты понимаешь, что ты эту «оригинальность» как-то «ценишь»! Я — мучаюсь ей! Мне кажется иной раз, что ты бы не хотел прервать эту «оригинальность» нашей встречей. Тогда мне горько-горько. И тогда я — злая.

Ты поймешь, отчего у меня такие «срывы». Это не «изломы». Я могла бы и не посылать тебе того (22.XI), но я думаю, что тебе меня всякую надо узнать. И все равно меня бы эти вопросы мучили.

Как непреодолимо, властно, мучительно, влечет меня к тебе... Ну, хоть «на краткий миг»! Никогда, никогда, я такой не бывала... Не знала, что так безумничать можно... Как все бы я тебе сказала... Как обняла бы тебя... Ваня, я не буду тебе писать, — мне больно, тяжко... все: «обниму, поцелую, взгляну»... и все... это — нельзя, недостижимо... Это мне — мука... Лучше не писать, совсем... Не могу я! Пойми! Что мне тебе сказать?! Ты же все знаешь! Ты все представить можешь... во-образить!

Я кое-что тебе писала, вчера... о «зовах моря»[155]. Пошлю... И много могла бы я сказать еще о «думах о творчестве».

Я многое «поймала», что было смутно, неуловимо. После. Сейчас не могу...

О, да, конечно «sexe-appel»[i] — не исчерпывает понятия о том очаровании, которому мы оба молимся...

«Sexe-appel» — это галун, с претензией на блеск золота. Слушай, — «Эмерад» меня с ума сводит...

Как жадно я твои письма вдыхаю! Ты получил мой «висок»? Волос кусочек с виска? А фотографию?

Пришли же мне себя! Какой упрямый! Но я тебя люблю... за все! Какой упорный! Как прелестно! Хотела бы тебя «софиста» послушать... Представляю...

Ах, да, Ваня, я никогда не посягаю на твои взгляды... Но... я хочу и сама остаться... неприкосновенна. Ты понимаешь? Я не знаю *точно* в чем мы сойдемся, — в чем нет, — но я тебе писала, что я (к великому сожалению для меня) не могу быть «женой при муже», — т. е. в смысле мнений, конечно только. Легче жить было бы, кабы была иная... Проще. Ах, Тоник, Ивик, душенька... как все, все это... далеко от сердца! И кааак же я люблю тебя!.. Сегодня я возилась с выдумыванием нового платья... Сколько «ахов» и «охов», что похудела, что «все

---

[i] «Сексуальная привлекательность» *(фр.)*.

мерки прежние хоть выбрось». Я уж давно стала все носить номером меньше, и то еще широко! И вот я, выбирая и рассуждая о том как и красивее и моднее, — я все это... только для тебя! И если бы знала, что ты наверняка не приедешь, — не стала бы! Мне это самой не интересно все! Сегодня я ношу то платье, в котором слушала тебя в 1936 г. Его я только изменила вышивкой, немножко оживила траур. Оно все эти годы валялось где-то, а теперь одно из немногих, которые впору. Тогда я тоже была, как смерть, худая. Когда от тебя нет — 1—2 дня писем, я еще больше худею. Ох, ты уедешь? Как ревновать я стану! Я умру должно быть тогда, когда уедешь ты!! Ваня, обещай мне, — мне это надо, Богом заклинаю, памятью О. А. и Сережи! — там, куда поедешь, — ни с кем, ни словом обо мне! Ну, будто меня нет на свете! Объясню почему. Но это надо! Ну, ради О. А. и С.! Хорошо! Умоляю! Исполни! Вот и 2 листа!.. А сказать так много надо!

Ах, Ваня, «В ударном порядке»[156] — такая прелесть. Мы читали несколько раз еще с мамой вместе. И неужели, ты... что-то сказал? Что мне «отдашь в следующем издании»? Я не смела бы и думать об этом счастье, гордости! Я не достойна! Я тоже плакала, его читая.

Но о «Степном чуде» я писала еще и по иной причине. Какой был страшный сон мне! Что-то он значит?!

Целую, Ваня, тебя отчаянно и больно. Твоя вся Оля

69

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.XII.41
Св. Николая

Оля, родная, наспех это, — сегодня пишу на твои чудесные письма. Получил мамино и Сережины письма. Я думал, что он сам передаст тебе посылку, потому, храня твой покой, я послал на него. Знаю, получила[i]. Не ударило ли тебя пошлиной? Потому, не зная, я 6-го не послал «L'heure bleue» и «Muguet». Жду известий. Вчера просил видного человека, едущего в Берлин помочь моей поездке в лагеря[157]. Только на месте можно добиваться разрешения — на Голландию. Оля, ты знаешь сердцем, к т о ты для меня! В с е. И мои «укоры» — темного во мне остатки, — забудь. Мы оба так боимся друг за друга! Так поразительно похожи! Вчера был в церкви, молился за н а ш е. Сегодня, в полдень, с тобой молился. Весь тобой одной наполнен. Твой — весь,

[i] Написано между строк, поверх зачеркнутого: Получила ли духи?

и недостоин чистоты твоей. Умоляю, не говори — о моем писательском, не называй меня... — я для тебя только Ваня, — и ты мне — для меня, для сердца, в с я, — не для искусства! Ты — свет мне, жизнь, без тебя — н и ч т о. Как и я тебе. Оля, молись, нам все же дано хоть т а к о е счастье! А сколько вокруг страданий! для всех, — и безнадежности! Будем укреплять друг друга — и верить. Бога благодарить! Ми-лая! Твой Ваня

[На полях:] «Даша» — никакого отношения к «Путям Небесным».

Починили пишущую машинку.

Милая, «палянти». Твой детский лепет — «с Праздником!»

70

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.XII.41
7 ч. вечера

Сердце мое, Оля... только что послал маленькую посылку — маленькую радость той, которая и сейчас, будто, — для меня! — головит (так Сережечка когда-то!, вместо — говорит!) — «палянти!» — с Праздником. И — горе мое! — опять свыше 1 кг. Пришлось оставить плитку шоколада «Rialta»! Хотел 1/2 послать, разломил... все больше 1 кг! а «грушку» послал. Буду ждать... Изволь написать о пошлине за духи. Я смущен — как бы не стеснило это тебя. В другой раз сам буду «очищать», здесь, если можно.

Целую. Твой Ваня. Завтра пошлю закрытое письмо.

[На полях:] Получила ли «Старый Валаам»? Эта книга даст тишину-уют твоей душе.

71

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.XII.41
12 ч. ночи на 23

Ольгуночка, милая детка, я потрясен твоим письмом 7.XII[158], где ты говоришь, как я могу вызвать в тебе словами сладкие биения сердца, прилив любви. Там говоришь о 22.VI.36 — день кончины Оли, острую боль в тебе... — да, странно: это было в 12—1 ч. дня, ее кончина. Боль моя... — тупое удивление, — как э т о просто! Ее — н е т! О, больно. Я был оглушен. Она — у ш л а. И в с е кончилось, в с е, в с е... О, эти дни... один, — увижу ее шляпку, сумочку... — н е т е е! И никогда не будет.

Оля, этого не передать. И три дня — ночью я читал над ней псалтырь... помню. А раньше — рядом с ее смертным ложем — прилег. Она спала — будто спала, рядом, как всегда мы. Потом — белые лилии, в гробу. Я вскрикнул: «Царица! она — Царица!» Так была прекрасна, увенчанная лилиями. Я читал 2 ч. ночью. И — чтица. Ночь душная. Ливень был. Господи... Ее желание исполнилось — «не пережить тебя!»

Олёль моя, ты мне дана Ею. Я знаю. Она так меня жалела! Это она тебе внушила — 9-го VI.39! По моей мольбе — взять меня. Я погибал, я так остро чувствовал одиночество, я плакал, руки ломал, сидя на кровати.

И ты ответила: «нет, Вы не одиноки!» Ты тогда еще отдала мне себя. Как бы сказала: «Я — с тобой». Это смысл твоего отклика. И — ты со мной. Все равно, вдали — со мной. Ты полюбила меня, созданного живым воображением, ибо ты — Творец, Оля. Ты — дар.

Ольга, нет, не упрекай себя за «порыв жертвенности»! Это — истина, это — любовь, до отдачи себя. Ты думаешь — не оценил я? О, как оценил! Я всю тебя знаю. И я после этого — потонул в тебе, если бы ты знала — как оценил! Нет, тут бы мне не пришлось идти на компромисс, — тут никакого компромисса: я принял бы твою «отдачу», как святое! Ибо тут — вся любовь. И мы были бы правы перед совестью. Тут — живая правда. Не стыдись, Олёль, — это — чистое увенчание любви, это — завоеванное страданием, огромным твоим страданием. Не бойся страсти, ее выражения в тебе, от моих писем. Это — счастье, пусть сухое. Знаю всю жизнь твою, — ты — героиня, ты — сила поражающая. Ты — Святая. Ты вся — отдача, вся — любовь, вся — жертва. Вся — во-имя!

Боже, какая же величественная твоя жизнь! Не жизнь, а — Житие. Ольга, я необычайно счастлив, найдя такую. Встретив — такую! Я преклоняюсь, молюсь на тебя, Оля. Ты должна быть счастливой! Как — не знаю. Ты должна. Что моя любовь?! Если бы вылилась она — в твое счастье! Но она — так бессильна — дать счастье! Твои переживания — счастье! Большего ты достойна. Как мне дать тебе — это большее?! Не знаю. Для меня — одно такое письмо, — а сколько их! — счастье. Люблю тебя, бесценная моя, та-ак люблю — до сладкой истомы, боли, крика беззвучного, — мольбы — Оля, Оля... приди, дай мне себя, я как святое тебя приму, приникну, — приму, как святой дар, как небесный дар, Оля... как милость Господа. Я как бы приобщусь тебе, взгляд твой волью в себя, дыхание волью, ослепну от твоего видения-образа, святая моя Дева, — ты для меня святая Дева, да, — чистая, нетленная. Твой локон — так он вьется в сердце, нежный,

легкий, светлый, Олин локон, — бессмертная реликвия! Целую — и мне сладко, будто тебя, всю, в себя вбираю, вливаюсь в тебя, в твою кровь вливаюсь, в теплоту твою, — как ее чувствую! как осязаю, как льну к тебе, родной, милая теплынька! Оля, Олёк, Ольгуна... губки дай, и глазки... милые такие, в синеве, — вся — Небо, Свет голубой мой, мой цветок далекий. Оля... О-ля! Хоть во сне явись, и поцелуй, и приласкай, и — пожалей. Дана — и не дана мне! — а вся даешься, вся стремишься, как и я к тебе. Молись, родная детка... а, вместе стали бы молиться, как молиться! В бреду я... Оля, ночь сейчас. Один я, как и ты... — Мамино письмо — прекрасно. Как она тебя любит, и как — умна! Целую глаза твои — бессмертные. Твой Ваня, — вечный, твой. И — верный, знай всегда!

Почему должна ты решить (о встрече): тебе видней, может ли это скомпрометировать тебя!

72

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.XII.41[i]

Нежный цветочек — Олёчек мой, — мне 3 письма закрытых — больших вернули, — из-за любительских снимков — совсем маленьких! Я как-бы услыхал твою просьбу и послал себя (на могилке и на даче[159]) по 3 фото в каждом письме. Я шлю письма, т. к. одно очень для тебя важное, — начало истории Даши. Оля, можешь ли ты во мне сомневаться?! Знай же: ты в моем сердце, и это сердце станет — святилище, и ни-кто отныне — будь хоть раз-Клеопатра! — не может войти в него. Я всегда был «однолюб», — других женщин — и просто «мяса» для меня не существовало. Разве тебе не ясно, — по моим книгам хотя бы, — что я строг к себе?! Разве могу я двоиться?! Ты пишешь про Helène![160] Мне смешно и горько. Ты — для меня — Светлая, Царица... — разве «бабы» могут быть рядом? Никогда в жизни моей я не опускался до похоти — пошлости. Это ты увидишь из истории моего «искушения» — с Дашей. Ах Олёк... — или тебя дождусь — всей, или — с тобой в сердце — пребуду, тебя достойным! Целую.

Твой Ваня

Сегодня утром у меня 9° Ц. Не могу писать при такой t°.

---

[i] Описка И. С. Шмелева: 22.XII.40.

73

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.XII.41

Дорогой мой Ваня!

На рубеже «Нового Лета» хочу всеми моими мыслями, чувствами, желаниями, молитвами — быть с тобой!

Я всегда страшусь этого «рубежа», всегда трепетна, — никогда не радостна... Хочется крепко помолиться о всем том, что суждено в этом новом лете, чего мы — и ты, и я хотим, чего не знаем...

Я ничего не высказываю словами. Я несу тебе все мое сердце, полное любви и нежности к тебе, мое Солнце, моя радость, мой Единственный Свет в жизни!

Как хочется просить у Господа радости для тебя, покоя, здоровья, и... счастья!

Я верю, Ванечка, что Господь устроит все так, как надо...

Я, в этот «рубежный» час, буду с тобой, вся, вся, всякой мыслью, молитвой, всей любовью!

Ванюрочка, верь мне, верь моей любви к тебе!

Обнимаю тебя крепко, целую, благословляю, с тобой вместе смотрю в лицо Нарождающемуся Новому году!

Оля, твоя, до смерти!

P. S. Рискую послать, как exprès. Тороплюсь послать очень. Отвечу на все твои письма.

Посылаю для последней, меня[1].

Ваня, вот тебе к Новому году: — если любишь, пошли фото! Как я! Дойдет! Попроси так же!

74

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.XII.41

Поздравляю, голубка — Оля, с Праздником Рождества Христова! Будь здорова, родная. Послал тебе приветы*, — дойдут ли?

Целую, зорька чистая моя!

Твой Ваня. — Всегда, до конца.

---

[1] К письму приложена записка с дарственной надписью к фотографии: Светлому Гению, / Великому Ивану Сергеевичу Шмелеву — / моему чудесному, любимому, / Солнышку жизни моей — Ване. / Оля

* На Сережу: 1) «Ландыш» и мелких конфет 2) Коробочку шоколадных конфет

Светись, свет мой... чистая моя!
Не нагляжусь на твои глаза.
Твои мотыльки цветут чудесно! Все Оля, Оля, Оля...

75

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.XII.41

Мой дорогой, любимый мой, соколик ясный, сердечко мое, солнышко, душенька родная!

Как хочется обнять тебя в наш праздник Рождества Христова, помолиться с тобой вместе, быть всей душой с тобой, мое сокровище!

Шлю тебе, такому близкому, своему, сердечному моему дружку, такой привет г о р я ч и й, столько любви и ласки! Я помолюсь мысленно с тобой за литургией, я вся в мысли унесусь к тебе! Ванечка, мой светик! Сегодня утром, я вдруг (совсем еще не выспавшись, — было еще до 7 ч.) проснулась и ясно слышала, как кто-то шепотом позвал: «Оля!» Я думала, что мама, и даже отозвалась... Никого не было... Это ты? Ванечка, какой ты чудный, ласковый, единственный! Как я люблю тебя! Как я благоговейно твое чудесное варенье приняла... Какой ты... ну, необычайный! Сварить варенье! Ну, кто, кто так сердцем придумать сможет?! Только ты! Тоник! Я целовала флакончик с грушей, — ручки же твои его касались! — Милый Ивик, ты зачем же все-таки послал духи еще?! Ну, конечно, — непослушный! Я ведь нарочно тебе не сказала ничего о следующих духах, — я не хотела, чтобы еще ты баловал меня. Я знаю этот «голубой час»! Я их очень люблю — были у меня раньше. Я их не открою. Я сохраню их до... смерти моей! Ванечка, я ничего не трону из твоего — все это мне — Святыня! А изюм я тебе сохраню!

Твоя посылочка пришла (С. ее привез) как раз в европейский сочельник. Милые ручки, милое сердце, как мне благодарить вас!?

Ивчик, неужели мы не увидимся? Я не могу примириться с этим абсурдом! Это же невозможно! Ваня, Ваня, я заклинаю тебя: увидимся!! Пришли мне фото твое! Просто, как я это сделала! У людей есть сердце, и если ты скажешь, что это фото — единственная мне радость в жизни, что мы, любя так, не видимся, не знаем друг друга... неужели тогда не будет чуда?! Чудовищно это, Ваня, было бы! И всюду есть сердце. И люди добры! Ванечка, умоляю! Пошли! Ах, о моем ты так восторженно пишешь! Я же, правда, — некрасива! Это не скромность. Я потом тебе опишу об этом подробней. Верь, я не красива. Мне больно

было бы, если бы тобою созданный образ, обманул тебя! И это же 10 лет тому назад было! Я была моложе. И фотограф был — художник. Он создавал тоже образы! Сегодня и вчера, и почти каждую ночь ты снишься мне. Или о тебе. Письмо твое: ты пишешь: «последние дни я много рисую...» И я думаю: какой талант! Сегодня я видела твое письмо, но не в словах, а в красках: будто кубизмы какие-то, и каждый уголок мне что-то говорит. И я прочла: «я же все тебе о себе сказал, ты все знаешь». Странно? У меня странные сны бывают. Я все тебе опишу, и об образе, и о Богоматери, и о том, почему я девочкой ночью убежала, и о «сумасшествии» моем. Я опишу тебе так, как подобает. Я уже начала. Ты все узнаешь. Я много ношу в себе! Ванечка, ты здоров? Я так волнуюсь! Писем нет от тебя давно! Ты мельком сказал, что t° повысилась, и слова доктора привел. Ваня, что же это такое? Почему так доктор стал говорить? Ты очень болен был? Или, Боже сохрани, есть? Ваня, у меня сердце стынет, когда я подумаю, что ты болен! Эти обливания! Ты же безумец! А я-то хороша тоже! Вместо того, чтобы на коленях молить тебя оставить их, я, впадая в состояние обиды (не помню, кажется, Елена играла роль тогда), журила тебя только с этой «елениной» стороны. Ваня, прости меня за все эти мои «обижания». Ванечка, берегись же! Это сплошное страдание и мука для меня жить вот так, не зная, что с тобой! Ванечка, будь бодр, здоров, радостен!

Пропоем с тобой «Рождество Твое, Христе Боже наш!..» и «Дева днесь»![161] Чудесную, старинную, знаешь, как будто по ухабам. Ванечка, а «Слава в Вышних Богу!»... Концерт этот чудный! Ванечка, как я хочу к Тебе! С Тобой попраздновать! Ванечка милый, дусенька! Не знаю, как выразить всю нежность мою к тебе!.. Ах, столько у меня всего к тебе начато. Но все не дописано! Ванечка, я, как снежинка, свежая, беленькая, пушистая, ласкаюсь к тебе, касаюсь щечки, щекочу тебя... Это я не себя ласкаю, говоря «беленькая, свежая и т. д.», а снежиночку, — нежность ее передать стараюсь. Хочу ею быть, чтобы залететь к тебе, родимый!

Лучиком солнечным, звездочкой серебряной, заглянуть к тебе в окошечко! Птичкой обернуться, носиком стукнуть тебе в стекло... Гиацинтом стать и всю комнату собой заполнить!..

Привет мой душистый... получишь ли ко дню?! Я пишу это письмо и верю, что получишь точно. Я, дерзкая, доктора прошу. Ничего это?

Ваня, напиши, кто этот д-р Серов. Это друг твой? Муж Марго? Или это еще другой? И кто Гааз? Я ничего не понимаю.

Ванечка, скорей пиши о здоровье! Берегись! Если любишь! Вань, пишешь ты «Пути»? Мне чудится, будто ты творишь! О, как это было бы радостно, как прекрасно!

Ваньчик, у меня нет мгновения, когда бы я о тебе не думала. Вчера, я шла вся под снежком, кружило чуть-чуть метелькой... и я звала тебя громким шепотком: «Ваня, Ванечка!» Это было около 11—11-30 дня. Я даже однажды голосом тихонько позвала. Слышал ты? Я всегда о тебе... Посылаю веточку елочки моей тебе. Свечек не будет... только одна на самой верхушке. Я не могла найти. Я не беру никогда пихту, хоть она и красивей, — ищу елочку, простую, нашу, будто ярославскую. Я хотела тебе устроить елочку, справлялась нельзя ли. Но оказалось, что — невозможно. Хотела С. М. С[ерова] просить, — но... постеснялась. И не знаю, можно ли достать, и вообще... думала, что очень это ему трудно. Я не знаю же его. Но в сердце, я устраиваю тебе елочку, всю в огнях и звездах! Ванечка, посмотрим же на небо, в 11 ч. вечера 24-го (6-го I)! И мы увидим нашу елочку в сердце!

Обнимаю тебя нежно и горячо. Люблю. Люблю. Целую крепко. Тоскую по тебе! Очень, очень! Пришли же фото! Ну, пожалуйста!

Думаю о тебе всегда. Еще раз обнимаю, крещу, молюсь о тебе, с тобой!.. Друг мой!

Твоя Оля, всегда твоя!

76

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.XII.41

Моя тоска, тоска до смерти, разразилась... острой жаждой жизни! Широкой, вольной, звучной! И я... люблю тебя! Во мне «горят», — нет не «истомы мая», — а... перезвоны, зовы мая.

И я в неугомонном лете мысли, чувства; я — ...вся я в песне, в восторге, восхищении... С чего же? Не сказать, не знаю! — От жизни, от ее призыва, от... тебя, какого-то еще другого, во мне рожденного, моей любовью... моей тоской...

А небо плачет, сечет слезами, шторм рвет с задвижек ставни, злится... А мне? Что мне за дело?

Я... слышу за этим всем... совсем другое...

Радио поет мне что-то, уносит в дали... И я несусь туда покорно. И слышу, там, хоралы духовой капеллы в раннем, светлом утре, хлестание парусины тугой, упругой, визги чаек... Песню моря. Я обоняю соленый воздух, ветер свежий... И холодит приятно песок, чуть сыроватый с ночи. Такой чудесный... будто сахар!

Хорал поет, струится к небу, пропадает в ветре, замирает, несется снова, могуче, сильно... Катится в волны... Поет ли море? Поет ли ветер? Поют ли трубы?

Я слышу дробные шаги по сходням к пляжу, крики, смех, задор и... жажда жизни, простора, воли!..

Просторно солнцу в небе, просторно волнам, просторно пестрым флагам, — как хлопают они и бьются звонко в ветре!

Все вижу... Слышу... Как шумно стало, — дети кричат, смеются, кто-то хнычет — воды боится, брызжутся-визжат девчушки. Гремят ведерки, лопаточки кудрявого мальчонки где-то тут вот, рядом.

Как чудесно закрыть глаза и греться в солнце... унестись д а л ё к о в дивном гимне всех этих звуков!..

Как постепенно нагревает солнце, истомно, жарко...

Капелла бросает в море вальсы, отрывки известных арий... кто-то свистит лениво, вторя... где-то близко... Мотив знакомый.

Ребята накричались вволю, тащатся «за ручку» к дому... Обедать... Пустеет берег, молчит капелла... Жаркий полдень...

В лесу, над кручей, прохладно еще, и сыровато... Как холодит лицо и шею, руки... Как обожгло их солнце!

Отсюда море — «как на ладошке», — если выбраться из чащи и свеситься над меловым обрывом.

Необъятной, могучей синью... слепит и блещет в солнце, белеет крутыми гребешками, гонит, набивает пену... Шумит, ласкает, поет и нежит... Катятся волны, лижут льстиво пески сырые, шевелят ракушки, любовно их перебирая, вздыхают тихо... Шлепают утес с размаха, хлещут в меловые срезы, отскакивают звонко, хлещут снова...

И... тишина... Все тонет в этой тишине горячего полудня... В деревьях еще нет зноя, но прохлада уже уходит... Смолистым духом тянет с верхушек сосен. Обдает волнами... В кустарнике, где чащей сплелись орешник, рябина, ежевика, душно пахнет листом... и пряным чем-то. Истошно-звонко трещит кузнечик, где-то в одиночку... (Знаешь, часто в жару они поодиночке кричат, особо звонко!)

Внизу, на пляже, не многие остались... жарко...

Попрятались в корзинках... дремлют. Лениво бродят фотографы в белом, мальчишки разносят воды...

Кто-то шелестит газетой... Чуть уловимый дым сигары наносит ветром...

Но чуть спадает зной, — и все проснулось. Корзинки пусты, все отдается манящей влаге...

Все пуще шум, возня и крики... Брызжутся-ревут ребята, швыряются мячами, бьют ногами пену.

Колыбельно качают волны, зыбкой гладью бережно перекатывают они свою ношу... Безбрежно-сине о н о и небо... Пестреют флаги, костюмы, мелькают руки, искрятся брызги... Все дальше, дальше... Уносят волны...

Светло и бодро... Дробью отбивают сандалии по сходням... Толпой уходят, тянутся они все в свои отели, пансионы... Чудесная стихия! До завтра!..

Я вижу всех их, — всяких. Одни смеются, флиртуют бойко, обгоняют других, уж утомившихся и отдыхом, и ленью, ползущих тихонько в гору, раскачивающих лениво на руке халаты — купальную обузу.

Я слышу их... Барометр, меню, последнее фото, прогулки на ближний остров, вечерний дансинг...

Вечерний дансинг... Под открытым небом гремит веселая капелла, танцуют пары...

Как тёмно небо... при свете «зала», — как звезды крупны, как дышат сосны! — Поют-ласкают, намекают на что-то скрипки, увлекают в танго... И кружат вальсом, сыплют блестки, взмывают вихрем и... опускают нежно...

Вот потянул вдруг ветерок тепло и тихо, и теплый, холодит уж, тонкой струйкой, касанием платья ожоги солнца.

А если выскользнуть из круга, и унестись подальше в вальсе, и вдруг остановиться... то услышишь в саду цикады и... вечный шепот, — вздохи моря!..

Шумишь ты? Кому же? Вечно?! —

28.XII.41

Ванечка, родной мой, — восторг мой перед тобой, умиление, радость на любовь твою ко мне и «счастье-боль» — все это перемешивается с мукой и тревогой за тебя! Ты мельком коснулся твоей t° и слов доктора. А я исстрадалась в догадках и предположениях всяких. От тебя нет вестей с 16-го! Подумать только, что может за эти дни произойти: ты мог разболеться, слечь... Боже, я не могу, не могу и думать даже! Я получила твою очаровательную посылочку. С. привез ее мне 24-го вечером... Я не могу выразить тебе, как я тронута тобой. Целовала флакончик, угадывая следы рук твоих на нем. Я ложечку чайную, попробовать только, взяла этой груши... Какой ты мастер! Чудесно, Тоник! Мне бы так не сделать! С коньяком или ромом?

Чу-дно! Но я все это сохраню, не трону, как Святыню сберегу до смерти. И духи (Ваник, зачем же это?) я не открою, я сохраню до смерти... или... только для тебя открою!.. О, если бы! Я знаю эти духи. Я не писала о них, не хотела, чтобы ты еще посылал. Ведь «после ливня» так чудесны. Я их еще не знала. Ванечка, если бы мне знать, что здоров ты!.. Ты непростительно безумен! Ну разве можно сознательно себя подвергать простуде!! Я не понимаю такого легкомыслия! И это все, любя? Ты не знаешь как все это меня мучает тревогой! Ты знаешь, что, заболей ты, и я не переживу кажется этого! В такой дали, ме-

таться в неизвестности и бессилии! И ты сознательно себя простужаешь! Ваня, тебя же выпороть надо! Как маленького мальчика! Ну, прямо розгой! Что же твой доктор-то! Неужели не нашел достаточно-внушительных слов!? Или ты своенравный непослушник? Да, да, я знаю тебя! Я все время о тебе думаю. Каждую ночь тебя или о тебе вижу. Тебя, собственно, никогда не вижу — ужасно это! Когда я подхожу к тебе, — ты — неуловим. Это конечно оттого, что я никогда взгляда, глаз твоих не видела. Тогда, в Берлине — в 36 г. — ты не смотрел на меня. Ни разу. Я помню тебя вообще. Но не для себя. И ты не хочешь прислать мне фото. Алеша не пишет. И знаю, что не дождусь никогда. Пошли сам! Ты сказать сумеешь. Я же тоже сказала. И кто-то сердцем понял! Сегодня ночью, я с кем-то спорила о... Бунине... И сказала, что «не люблю его». И мне сказали, что это оттого, что я «И. С. ценю очень». И помню, как горячо я спорила и доказывала, как я ценю «И. С.» и как Бунина. И когда проснулась, то все еще билось сердце. Я и правда не люблю Б[унина], хоть и знаю, что он большой художник. Тебя вообще ни с кем нельзя сравнить. Твоя сущность, Душа твоя — исключительны, и т. к. ты всего себя даешь в твоем творчестве, то — и оно неповторимо и несравнимо. Таких, как ты, — нет больше. Это недавно мне и мама сказала. Я обожаю тебя! И как безумно я влюблена в тебя! И как чудесно, что все это тебе сказать можно! И мы должны увидеться! Ты, понимаешь ты, мы не можем не увидеться. Это же бессмыслица. «Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой!» Я слишком много послала тебе «суррогатов себя», — вот ты и не хочешь встречи... Ну, тогда я потребую, чтобы ты сжег все мое, если мы не увидимся! Да? Хочешь? Тогда ты м. б. захочешь увидеть живую Олю?? Сожги и фото все, и письма, и локон. Все, все! Захочешь тогда? Я безумно хочу к тебе весной! Это очень для меня неосторожно. Я знаю, — мне нельзя из дома. Но я не могу больше...

«Пускай погибну я, но прежде...»[162] и т. д. Чудная ария! Я же и живу только мечтой тебя увидеть! А ты? Ты — нет. Я знаю. Я все твои отговорки знаю. Ты не хотел и тогда, когда это легко для меня было. Не постигаю, отчего?! Ванечка, как же твое здоровье? Я мучаюсь, страдаю... И как ужасно, что стало опять холоднее. Тебе холодно? Я не могу, не могу жить в этом знании, что ты в холодной квартире. Функционирует ли, наконец, отопление? Мне стыдно, что я в таком тепле сижу. Лучше бы я мерзла, а не ты. В холоде и писать нельзя. Ваньчик, целую тебя, молюсь за тебя крепко.

[На полях:] Родной мой, ласковый, Ивик. Твоя Оля

Это «море» — давно уж лежало не переписано. Теперь у меня опять тревога все закрыла. Я здорова совершенно.

Я очень хочу попробовать писать. Но нет подходящей обстановки. Урывки. Мне хочется и рисовать. У меня несколько акварелей — ничего. Новых.

«Писать словом» я не решаюсь. Боюсь тебя разочаровать. Рисовать мне легче поэтому. Критики твоей страшусь. Ужасно.

77

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

1.I.42 7 ч. вечера[i]

Ванёчек, мой дорогой,

целый день сегодня ты у меня в уме и сердце. И странно так: 13-го ты тосковал, а я писала тоже о моей тоске смертельной (и... как же тосковала!), 22-го ты столько писем мне писал...[163] и я тоже целый день тебе писала (думаю, что не ошибаюсь — 22-го?) о жизни, все 3 письма. И сегодня... думаешь ты о мне? Конечно. Знаю...

Читаю письма твои и плачу. Ваня, заклинаю тебя, будь откровенен: о встрече ты чего-то не договариваешь! И это твое «если бы ты... все знала». Что бы я знала? Ваня, умоляю тебя, скажи все, все, как самому себе! Это можно. Мне ты все можешь. Нет, мне не нужно только «песнопение» и «оберегание». Мне нужно все! И твое раздражение срывай, и все, все! Это тоже надо. Я все хочу знать, быть всем с тобой. Я многого бы теперь не сказала, на многое бы не обиделась. Например, это глупое: «я не только жена мужа». Идиотка. Я много уже опять изменилась. И каждый день меняет, но все в одну сторону: — Я все ближе к тебе! Ваня, неужели ты со мной можешь «лукавить», что-то скрывать!? Почему же я тогда не знаю, — что «если бы... знала»?! Передо мной письмо твое: «Но я спрашиваю себя, что же мы можем тогда решить? Ни-чего. Препоны останутся, — ибо внешнее положение не изменится долго: мы — отделены событиями». ...«Ко мне уехать ты не можешь, если бы даже и была свободна». Как трезво-холодно! Ваня, за что же ты корил меня тогда, что я «дни теряю»? Ты, ты можешь «спрашивать себя», что мы решим? И ответить: «ни-чего»? Я жду встречи, потому что не могу жить без тебя! Потому что меня не утешает эта «оригинальность» наших отношений. Прости, это не «цеплянье»! Правда, нет! Скажи мне прямо, как на духу: ты поставил крест на том, что мы когда-нибудь будем вместе? Ты довольствуешься, остановился на нем,

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: поразительное выражение чувства! Просит сказать хочу ли я «вместе».

останешься на... «сухом счастье»? Скажи! Тебе, м. б., как писателю, так даже более удобно (неудачное определение)? Скажи, умоляю. Ты пойми, что я *не* навязываюсь тебе. У меня же тоже все так сложно!! Но я все время стараюсь вырваться, для тебя вырваться. И до болезни мучилась этой проблемой. Если бы ты серьезно думал о н а ш е й общей жизни, то не «спросил бы себя», «что нам решать?». Решать очень надо было бы много. Я же ничего не знаю и не могу одна. И если бы в силу внешних обстоятельств, и из-за моих (увы, их много) трудностей, все же пришлось бы неопределенно... ждать, то.., Ваня, разве можно спрашивать себя «что же бы мы решили»? Ваня, это холод, это лед. Ты, так сказать не мог, сам по себе. Это ты говоришь, ограждаясь, последними усилиями отталкиваясь от этой, надвигаемой мной, «встречи». Я — я тогда, при твоем таком отношении, ее не хочу! Но я, сама, я хочу ее безумно. Я не могу жить дальше без надежды на нее! Никакие письма, никакое воображение мне не дадут счастья! Конечно — без писем, без того, что есть, — я окажусь в небытии, в хаосе! Я, хоть на миг, должна тебя видеть. Нет, не видеть, а тебя всего принять: видеть, слышать, чувствовать, осязать... Я знаю, мука будет, но будет хоть короткий миг настоящего счастья. Я не могу без тебя жить. Я не рассуждаю больше ни о чем. Грех или нет, я не спрашиваю. Нет, не грех. Я же люблю тебя на расстоянии так же, как любила бы и вблизи. О «грехе» решается ведь не внешним проявлением, а внутренней готовностью к поступку. Так понимаю я грех. Я — сейчас, без тебя, — вся твоя. Я всего тебя жду, принимаю, люблю, как единственного мне на свете. Если ты не хочешь, — я задавлю в себе все это. Ваня, скажи все, о встрече. Ты все выставил: и о «высокомерной каланче» голландских тетей даже. Это же все — о т г о в о р к и. Я боюсь другого. Я боюсь тебя зимой тащить в холодную поездку, возвращения твоего одинокого боюсь... Лучше, если я приеду. Я ничем тебя не обременю. Если бы ты, бывает это, захотел побыть один, м. б. т в о р и л бы, то я не помешала бы. Я жила бы эти дни где-нибудь вблизи тебя и видались бы тогда, когда захочешь ты...

Ваня. Но ты пойми, я *не* могу удовольствоваться воображением! И мы не можем всего сказать друг другу, и так всего много! Я не могу тебя не встретить. Подумай! Я же сознательно тебе говорю: «вся жизнь моя была залогом...» Ты пойми! Дождаться... и... н е у в и д е т ь!

Я так мало всего знаю. Я ничего не знаю. Мне даже страшно и стыдно своего незнания... Ты... не спрашивай меня, что я знаю и чего не знаю... учи меня... Я сидела бы часами, не дыша, тебя слушая, у ног твоих. Ты учитель мой, ты мне все,

все. И как же я тебя не увижу живого! Настоящего, подлинного, того, кем я живу?! Иван, пойми! Неужели ты меня о «разрыве» не понял? Ты искал смысла замысловатого, в таком простом, до примитивности... Именно: как же сходиться, коли нас разделяют тысячи верст? Да... «несхождение». Письма, конечно, останутся. Любовь, вся мука останется, все, все. Больше еще будет, — но это же все — несхождение, реальное. Ты звал меня пройти с тобой твой путь... как? На расстоянии друг от друга? По-американски? С перчаткой повенчаться по телефону? Нет, я не могу так!! И все же, Ваня, родной, я не смею ничего вынуждать у тебя. И все же я скажу тебе: «как хочешь ты». Я муки твоей боюсь. Но я высказать тебе все мое хотела. Я бы могла тоже «лукавить», «ломаться», «умалчивать»... Кто из женщин так открыто все скажет?! Но не могу я... Я все хочу тебе сказать! Ты понимаешь, что за твоими словами: «что же мы решим тогда. Ни-чего», — скрывается нечто, ради чего — просто увидеться, просто взять друг друга взглядом, сердцем, бездумно, бесцельно, просто по сердцу, — не стоит. Ты, такой, какого я знаю, вдруг стал чуть ли не дельцом — голландским — ищешь рационального! Все тут иррационально! Глупо м. б. с точки зрения «дельцов». Ты же сам писал: «все узнать, и все сказать, и все решить». Ваня, ты не знаешь меня. Я люблю тебя. И в этом все. Люблю навсегда. Я никогда тебя не оставлю. Если только ты не захочешь — тогда другое. Тогда не навяжусь. Никогда! Мне чудится за твоим: «ты не можешь ко мне приехать, даже если бы была свободна», — мне чудится твоя некая будто «боязнь», что как бы я *в самом деле* не стала свободной и не вздумала приехать... Прости, если не так это. И сама не верю этому. Но так выглядит. Я не верю! Но я не могу ничего судить, не знаю твоей правды. Я уж говорила тебе, что мне казалось, будто ты для «яркости чувств», для «творческих горений» все так сказал, как сказал, не считаясь с реальной возможностью. И что м. б., будь такая возможность, — ты никогда бы не сказал так... Прости мне, я знаю, что говорю тяжелые вещи. Но глубоко я страдаю. Я гордая, я не могу так. Ваня, я не обижать тебя хочу. Ты просто слишком фантазер-художник. Скажи же мне правду! Я все пойму! Ты осенью просил меня к Новому году «решить». Что же, неужели тоже все это шутя было? Т. к. «нам ни-чего не решить». Ведь и тогда это было так. Ваньчик, я не упрекаю тебя. Я только все хочу знать. Скажи мне все, все! Почему не хочешь? Встречи? Какие глупости, ужасные глупости, твои «страхи». Неужели ты серьезно это? Отбрось это! И если отбросишь их, то ничего не останется, что бы мешало. Конечно, кроме визы. Но внешнее меня не интересует. Это больно, ужасно, но [не] непреодолимо. Меня мучает *твое.* А оно, это твое —

есть. Ибо ты говоришь: ...«но я спрашиваю себя...» и т. д. Ты бы стал спрашивать себя и имея визу?!! Или ты боишься страданий после встречи? Или ты считаешь жизнь нашу вместе настолько невозможной, что не к чему и видеться? Да? Я не знаю: даст ли Бог мне это? Но я знаю, что без мечты быть около тебя (пусть «краткий миг», пусть крадучись) — я не могу жить. «Крадучись» — для женщины ужасней, чем для мужчины... но мне ничто не ужасно. И... внутренне — я не крадусь. Внутренне ты давно мой, как и я, давно — твоя. Не разожженной страстью, нет, (не только) — но всей душой, всем, что мыслит, чувствует, живет! Ты — вся моя душа, моя молитва, совесть моя, все, все! Давно! Еще до «любовного» периода нашего! Я же давно тебе писала, что не мыслю не увидеть тебя! Перечитай! Ты — все мое наставление к Жизни, Учитель мой, ты мой источник Правды! Я не могу не увидеть тебя. Но я не хочу тебя нудить. Если почему-либо трудно тебе — не надо. Это без обид. Я тогда приеду. Пойми, что мне теперь все — все равно! «Высокомерные каланчи» и все, все! Это — безумие — мне ехать, знаю. Но я не могу. Пойми же! Если бы я убежала к тебе — могла бы я остаться? Или бы выставили меня из Франции? Ах, нет, нет, все одни мечты! Я плачу, Ваня! Я к тебе хочу! И знаю, что не смогу! О, хоть бы миг, один! Хоть для того, чтобы сказать все, чего не скажешь здесь! Чтобы обнять безмолвно... и к а к обнять!

Нет, не только «ж а р» твой «увлек» меня... Разве ты не знаешь, что у нас о д н а д у ш а?? Да, душа и... м. б. «жар». Я люблю тебя! Никого так не любила... Хорошо, условимся: ждать первой внешней возможности, чтобы быть вместе! Конечно, если ты хочешь... Ответь!

[На полях:] Ответь на все это письмо!

О, как бы я тебя сейчас любила!.. Приди! Или надо смириться и принять «Крест»? Господи, укрепи! Ты прав — молиться надо. Родной мой!

Иногда кажется, что не пережила бы счастья встречи! Обними меня, я так... жду тебя! Оля

Господи, я же не хотела и тебя «проблемами» мучить, — а вот опять написала. Буду молиться, просить, чтобы увидеться. Солнышко мое! Счастье мое! Радость! Ужасаюсь, что и это письмо намазалось от того жиром. Ужасно!

Обнимаю тебя, горячо и нежно, любя, сгорая, уплывая в счастье... Будь здоров! Как бы хотела, чтобы ты писал «Пути». Ванечка бесценный! Как — завидую Ивику и Люсьен, что тебя видят!

[Приписка поверх текста:] Ванечка, верю тебе, но все-таки посылаю, чтобы хоть наказал меня за это. Сейчас письмо твое чудесное! Это все от моей ласки и любви.

78

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.I.42
10 ч. утра

Только ты, нежная, ласковка-Оля, могла т а к излить сердце, так прильнуть нежной и сильной, и вдохновенной, святою страстностью ко всему л у ч ш е м у и чистейшему, что живет — только тобой — во мне. Твое письмо, в adresse д-ра Серова, моего друга, для меня — вечное, незабываемое.

Оля, голубка... — сохрани свою пасхальную свечку — для Светлой Заутрени. Затепли ее от Христова света, — и она, ч и с т а я, будет светиться в твоих глазах, целовать огоньками твои губки, щечки, — все милое твое лицо, и ты будешь чувствовать, как я посылаю тебе первое мое — из земных — «Христос Воскресе, Оля!» Я счастлив, что мог найти эти пасхальные свечи. Их было во всем Париже — только 16. Больше не будет. — Твоя п р а в д а — ранила меня. М. б. и не вся правда. Но то — у ш л о. Я совладал с собой. Я тебя люблю, Оля. И если скажу об э т о м — только правду, покойную. Острей, больней всего — это: Д. Тут — для меня — ужас и отвращение. Я напишу тебе. Нет, это твое не может быть предметом м о е г о искусства. Это нельзя преломить в «Свет вечный». Это — темное. Твой Ваня

Ты во мне — светлая.

Да будет в душе твоей вечно рождающийся в нас, л у ч ш и х, — Христос-Господь!

79

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5. I. 42
12 ч. дня

Дорогулечка-Олюлечка, какая досада!

Сейчас узнал на почте, что с сегодняшнего дня — прекращена отправка пакетов (посылок) за границу, за исключением Германии. Как рад я, что мог заблаговременно послать тебе, что хотел, — и ты будешь довольна. Если ты не откроешь духи и не будешь ж и т ь ими, я **заболею**, — так и знай! По-мни! Ты — в с е для меня, вся, — Господь — да поможет сохранить тебя! Оля, помни, ч т о ты для меня! — а через меня — для в с е г о, что мне еще будет даровано — создать. Как я буду рад, если и «Старый Валаам» дойдет до тебя. Тогда почти все, написанное здесь — будет у тебя. Исключая неизданного

(а этого у меня очень много — и важного, м. б. еще л у ч ш е г о! Книг на 5—6). Да еще российских ты не знаешь, — 8 томов[164], да еще 12—15 тт. для юношества (школ)[165]. В и д и ш ь, к а к я жил, и — чем. На 3/4 этим м о и м — все, кто любит меня, — о б я з а н ы Оле: она берегла мою душу и — принесла жертву. Вот — м о я п р а в д а! Твой Ив. Шмелев

[На полях:] Для меня — ты — Святая и чистая! Я люблю твое сердце и твою душу. Оля, ты... всю правду сказала мне? Ну, Господь с тобой. Я жду разрешения.

Я все ясней убеждаюсь, как в о ш л о в русскую душу мое писание.

Пиши в с е, что хочешь, только работай и в е р ь мне.

Как я люблю тебя, сердце мое! Как целую, как живу тобой!

80

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.I.42

Вот моя Оля[166] — в 1908—09 гг. Ей тогда было 29—30 л. Снята в Крыму, в Алуште. Это лишь бледная передача ее лица и стройности: глаз ее тут нет, — но они — точь-в-точь у Сережи, только еще с «вечно женственной» прелестью, и ж и з н ь ю. И прическа тех лет — н е е е. Глазам мешало солнце юга — сомкнуло их. Море делало их темно-синими. Наследница Стюартов — овал лица — для художников являлся «единственным», неповторимым, называли «ангелоподобным». Здесь он н е у д а л с я, от резкого солнца. Этот снимок — единственный, сохрани его — и когда-нибудь передашь мне, с а м а.

У меня остался увеличенный снимок, где рядом — я в рабочей блузе писателя[167]. Я тогда уже дал «Распад», «В норе»[168], кажется, писал «Под горами» («Liebe in der Krim»). — Это за 2 года до «Человека из ресторана». Мне был 31 год (я старше ее на 2 года).

М. б. цензура милостива будет к этой памятке духа, и признает это за фото-passeport.

Ив. Шмелев

Я переписываю для тебя «Куликово поле». Пошлю Берлинский журнал (если найду) «Europaische Revue», с отрывком «Лик скрытый»[169], — в нем сущность того, что назревало невидимо и ныне — д а н о человечеству [в] горький удел. Писал в 1916 г. О, сколько я тогда дал страдания! Сам его видел, — и переливал в философскую систему полк. Шеметова.

Этот немецкий отрывок вызвал ряд писем ко мне от германских представителей мысли, церкви, искусства.

Твой Ив. Шмелев

81

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.I.42[i]

Оля, м. б. цензура не тронет этой святой для меня памятки, и она дойдет до тебя: я верю, что человеческое сердце не утратило даже в наше суровое время своей чуткости, поймет — что это не посягательство на закон, что это сильнейший из Законов — закон Жизни, закон человеческого страдания. Да будет милостив к нам Господь!

Ив. Шмелев

82

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.I.42 8 вечера

Вот, Олюша, начинаю для тебя переписку «Куликова поля». Почувствуешь родное.

Подзаголовок — «рассказ следователя». Посвящаю Оле, урожд. Субботиной. Писано в янв. 1939 г.[ii]

Продолжу в следующем письме. Будь здорова, милая, — нравится? Дальше — лучше. Писал — светился, плакал, трепетал.

Целую, родная Оля! Твой Ваня

Будешь и ты сиять и плакать — знаю. (от следующих частей — [3-ей]).

[На полях:] Ватка с моими духами «Сирень персидская» фирмы Rene Agnel.

Я посылаю тебе 1-ое письмо с «Куликовым полем». С о. Дионисием. «Сирень» — Geurlain.

83

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.I.42   3 1/2 ч. дня

Наш Новый год

Ольгушка моя светлая!

Люблю, люблю! Счастлив, что ты получила «Muguet» и конфеты, и мои книги, и — Тютчева. Все большое надо читать-перечитывать: тогда только раскроешь все. Если бы ты получи-

---

[i] На записке помета О. А. Бредиус-Субботиной: Ольга Александровна!

[ii] Далее следует текст «Куликова Поля» главы 1–4.

ла «Пути Небесные»! — 2-й экземпляр — и нашла в них мое «сердце» тебе! Подари книгу маме. Все, что пишешь о себе — читаю жадно, ты мастер. И «море-пляж» — хорошо, — это с «напевом». Так долго — трудно. Лучше — спокойней, ритм (внутренний) сам найдется. Лучше бери с сюжетом, пусть маленьким. Твоя «тетка» у свекра[170] — символ всей их жизни — духовно и... внешне — параличной! Дала чудесно, ярко. Все твое мне дорого. Все пиши, о снах, — я перечислю поздней, — а теперь наскоро. Я здоров, мне не холодно, и все есть у меня. Гаага ответила, наконец: ты должна получить ландыши, — слава Богу. Я успокоился. Шоколадные конфеты там нельзя достать, хорошо, что послал из Парижа, жалею, что не большую коробку, надо будет другой раз пойти. Досада, посылки прекращены. Хорошо, — все книги теперь у тебя! О, как люблю, целую глазки. Твой Ваня

[На полях:] «Праздники» очень мотали, сегодня — на ужин. Надоело, хочу уйти в себя.

Всегда ты во мне, все миги дня и ночи. Как по тебе истомился! Ласточка!

Поняла открытку 31.XII?[171] Простила? Девочка!

84

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.I.42 8 вечера

Нежная Оля, глу-пая... сейчас письмо 7—8, Рождество[172]. Не все прочел, но вижу — получила «Пути Небесные». Прочла мою главную мысль, страницы, кажется, с 324 по 334? Не разрезала?! Что же ты, зевака?! А я-то мечтал — поймешь мои «Пути»! Неужели так и не поймешь?! ... Ну, я тогда не виноват, я мечтал, что эта моя мысль даст тебе радость, к Празднику. Любимая, светлая... Из Гааги ответили, что будут посланы тебе к 7-му — ландыши! Получила ли? Письмо друзей помечено 31 дек. Корзинку ландышей, заказаны прямо в Арнхеме, на Сережин адрес. Он, должно быть, был у тебя, и принесли в его отсутствие. Я тебя поздравил к Новому году! — нежно, молил Бога о счастьи для нас, для — Тебя! 6-го, в 11 ч. я отворил окно — был доктор, — и пропел сердцем Богу, как Ты хотела! И — громко! Доктор слышал, написал тебе[173]. Я все о тебе, только о Тебе, моя голубка. Я много писал тебе. Сейчас переписываю «Куликово поле». К Рождеству — 8! — получил белые-снежные гиацинты, они и сейчас чудесны. Целую их — тебя. Белая сирень в силе еще, 17 дней! И — мотыльки, чудо, с 13.XII! Целую всю, всю, ласточку мою, мою девульку, последнюю радость жизни. Будь

сильной — мы увидимся, — будем верить. Цени каждый миг, не смущайся, загадывая на Евангелие, а читай *все*. Евангелие — не Оракул. Молись сердцем Пречистой. Целую. Твой Ваня

Открытку 31.XII — разорви. Я ее отсек. Я люблю тебя, чистая! Дай конец поездки с шефом.

85

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.I.42[i]
1 ч. дня

Милый Ваня мой, дорогой мой, светик!

Измучилась я все это время. Наконец написала тебе. С мукой в душе писала. Я заболела, Ваня, от всего этого. Уж лучше и не говорить...

Страдаю о тебе, о твоих муках.

Слушай: я кляну себя за все мои «поцелуи», за эти «факты»[174]. Но молю тебя: уверуй, что это *не* так, как ты изобразил!

Это не было «порханье». *Никогда*. Вся моя трагедия была в том, что я слишком возвышенно, небесно искала «его». Ну поищи в письмах (кажется в одном от 30.X[175]) о том, что идеалом мне представлялось «любить по письмам, только душу». Ваня, я всегда такой и оставалась!

Меня никто не целовал до «N.» (почему буква? — все бы тебе устно рассказала, — я никогда не боюсь, спрашивай обо мне кого хочешь!), а когда поцеловал в губы, он это сделал, то мне *противно* было! Ей-Богу! Я его не оттолкнула, боясь оскорбить. Я же, идиотка, Крест взяла спасения погибающего. Вся жизнь моя была — парение Духа, искание святого! Клянусь тебе! Ей-Богу! Ты еще не знаешь меня, какое пылкое у меня воображение, какие бывают порывы! Я из порыва на костер могу пойти за свое! Я из этого же «порыва жертвы» около «N.» сама себя убивала. Пойми! А ты клеймишь!

Он в «доказательство того, что я ему не только сестра милосердия» (чувствовал, видимо, мою жертву) требовал от него, туберкулезного, есть конфеты! А когда я не ела (Я не могла, меня тошнило. Мне был уж он противен!), устраивал скандалы. Сцены. А все эти доктора... Ваня, умоляю тебя, не пачкай меня!

Незаслуженным не пачкай!

Я никогда не «порхала». Я 3 года с «N.» сидела, ни на кого не глядя. Ваня, я — верная! Мне трудно это сейчас сказать, —

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: смягченность, растерянность [1 сл. нрзб.], Оля на 9-й день приняла мои ландыши.

ты меня упрекнул, — но это правда так! Я по природе своей мучаюсь двойственностью. У меня нет двойственности. Я не могу уверить в этом, но это так!

О кавказце и хирурге не хочу говорить. Это же — песок! Ничто. Кавказец — ценность как врач, как добрый врач! Оба они знали, что ничего не добьются. У меня не было колебаний! М. б. страстность моя общая (не любовная) увлекла меня игрой, но не этой «особливо-женской», не «пониже поясницы». Ваня, я тебя Богом заклинаю, — не думай так!

Я 3 дня лежкой лежала, плача, что в «святом» и «целомудренном» Д. — увидела обычного медика. Они все такие! Я же писала, что «Вы и не представляете, что такое медицинский мир». Помнишь? Я рыдала, что мечты свои в него воплотила. Наши его все любили. Я не хочу, чтобы не делать тебе больно, «их» выгораживать. Но Д. мог очаровать. И всегда у меня одно — религиозность. Я его за это полюбила (?). Остановилась на нем. Мне больно было «разбитое мое корыто». И это «сало» как ты сказал, — меня же благодарил, что «не далась, что показала, что есть же еще девушки, способные вытащить и такие черные души из ада». Я устно все бы тебе рассказала. Всю борьбу. Ты понял бы и увидел, что именно и только парение Духа вело меня всю жизнь. Что поэтому я разбивала часто лоб.

Д. сам сказал, что «почувствовал во мне совсем другое, не посмел привычно завлекать». Он самой мне хотел предоставить и, злясь, в душе благодарил. Это был человек, не только сало.

Я не хочу, не буду оправдываться. Но говорю только, чтобы поверил, что и это «сало» — оценило, почувствовало сущность. Эти мои цветы на горе... Это же — исповедь моя тебе! Пойми! Не заклеймишь же ты Тоничку, томящегося неведомым?! Точно то же было! Но когда я бывала с Д. вместе — я вся робела. Я сама себя и от себя как будто «ограждала» этой робостью.

Я никогда не могла «сомлеть». Я вся была струна. И это всегда так. Вся — начеку. Я все бы тебе устно объяснила. И ты бы понял. Когда Д. хотел было на мне жениться, то я сказала: «нет, когда-то давно, Вы сказали, что моя любовь (т. е. Олина) — глупая, несуществующая, что право на жизнь имеет любовь только вся, полная, независимо ни от чего, — это оскорбило меня...» Я любила, или хотела любить очень уж небесно. Клянусь. Откровенность Д. меня отвратила, казалась цинизмом. Понимаешь, то самое, о чем говоришь ты. Я не почувствовала у него тогда этой «полноты», а только его понятие о любви. Потому и мучилась. Ах, все не выходит! Ну, поверь же! Были полосы, когда Д. ударялся в молитву... удивительно. Батюшка наш[176] тоже «сватал» нас по-своему. Батюшка его очень любил. И тогда Д. бывал примиренный, тихий и душевный.

И тогда-то я сама того не замечая снова его «творила». Верила своим образам! Вот откуда «отталкивания»-«притягивания». Настолько у меня не было этой «особливо-женской манеры», что я умышленно себя уродовала, чтобы Д. не утратил примиренности, чтобы узнать его душу. Я не выносила этого элемента «пониже поясницы». Клянусь! Мне тошно от таких дам, когда вижу! Ей-Богу! С Георгием[177] была какая-то «аскетическая любовь». Он не по подлости, не мог жениться. Это сложно. Он не у бесов был. Его дядя был публицист[178]. И не играет никакой роли, — только то, что в 10-летнем племяннике пробудил интерес изучить все самому. Г. — не имел денег (капитала) и отец ему не давал ни гроша. Он сам создал себе большую карьеру только трудом. Его трагедия — зависимость от государства, именно в силу взятых денег на учение и карьеру. Он не любил кутежи. Был очень робок и скромен. Познакомился с отчимом на лекциях последнего.

Г. не искал «тургеневской девушки», но просто с современными [людьми] ему было не по себе. Когда он был в церкви, он не знал еще, буду ли я. Служили по 2 всенощных на Рождество Христово. Вечер у дипломатов — не американских, а немецких. Моих друзей. О том, что Г. не смел на мне жениться, оставаясь тем, чем он был, он сказал моим родителям и... мне... Он не обманывал. Г. проклинал себя и не считал себя «достойным» (его выражение) за то, что не ушел вовремя, а признался мне, зная, что уйти придется. Разрушить его жизнь я не хотела. Все очень сложно... И все же под конец Г. хотел все бросить. Но не хочу ничего больше об этом! Поверь мне, что все было без мерзости, которую ты описал! Я кляну себя за хирурга! Я все принимаю от тебя за него! В этом казни меня. Но тоже — без грязи! И как ты мог писать «темнота с поцелуями и еще кое-чем»! Ваня! Это был флирт что ли!? Не знаю! Провал! За это бей! М. б. психологически я бы объяснила. Но не хочу оправдываться! Прими во внимание мою порывистость, фантазию. Ваня, еще одно: когда я давала дневник N. — это тоже — порыв, полное доверие, «если жертва, так сполна»! Я молода была тогда! И ты не говори о «порханье». Я очень глубоко все беру. И потому страдаю. И в каждом случае я видела особое назначенье и оттуда такое останавливание на этом. Не могу объяснить. Но в каждом случае мне именно этот случай казался единственным, наконец найденным! Пойми! Но мне все, все противно теперь. Я бы все это прошедшее бросила из веков для твоего покоя. Никого и ничего не надо! Ты же это был тот, единственный, которого я искала! Ваня, я не загрязнилась ничем. Иначе я не искала бы тебя! Ванечка, я та же 10-летка! Я не могу связно писать. Напишу еще. Тороплюсь на почту.

Ландыши твои приняла сегодня всей душой — чудесны! Посылаю как знак мира!

[На полях:] Ваня, бесценный! Зачем упрек в двойственности? Это — боль.

Это видимо мое какое-то «фантазерство» виной тому, что я так уходила в свое, не видя ничего, позволяя целовать себя. Я что-то «божественное» находила, а не грешное в своей любви. Была уверена, что и «они» такие же.

У нас холод. В столовой утром +4° С, потому вожусь часами с печкой и тогда +10° С. В спальне минус[i]. В ванной, в кухне тоже мороз. А у тебя?

Целую. Оля

86

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.I.42, 2 ч. дня

Олёчек-ласка, вчера твое письмо, 7—8, в Рождество, еще не прочитал все, но вижу, получила «Пути Небесные», — нашла в них «желанное»? — то есть, «главную мысль романа», о чем ты просила меня в каждом последнем письме, надеясь даже, что тебе ее объяснит Марина или Алеша Квартировы? М. б. они ее и понимают, но вряд ли так ясно, как сам автор. Я уверен, что ты сама ее поймешь своим острым чувством сердца. Прочтя еще раз роман, — главное — его конец, отдай переплести. Маме подари ранний экземпляр, без посвящения. Но не отдавай в переплет раньше, чем поймешь суть книги: дело в том, что в первом экземпляре твоем не достает страниц, уясняющих основную мысль! Твое письмо очаровывает меня, как ты светла, детка! как искала звездочки, молилась! И я молился. Но не увидел звездочки. Чудесна ты, как бегала в метели, моя Дари, н о в а я! как «пила» снежинки! — снежинка моя ж и в а я! Я здоров, терплю холод (не страдай за меня, это преходящее, очень большие окна! — площадь 4 кв. метра — больше!), — мотор еще в починке, — подлец хозяин морит жильцов. Я стыну и не могу писать. Но это — малое, — главное — я согреваюсь тобой и переписываю для Оли моей — «Куликово поле». «Пути» буду писать, они — готовы. Целую и — весь полон тобой. Ваня

[На полях:] Все твои цветы — свежи! Сирень — 18-й день! Снег!

Белые гиацинты — 11-й день, цикламен — 36-й день! Всегда целую.

---

[i] В оригинале: — °.

87

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.I.42[i]

Дорогой, родной Ванечка!

Все это время я очень страдаю. Мне все кажется, что я во сне, и что стоит мне проснуться, и все будет хорошо. Что же это случилось? Что такое? Ваня, ты не прав ко мне! Ванюшенька, твои письма чудесные от 12/13.I[179] — не дали мне покоя, т. к. в них тоже маленькая приписка: «прошлого, того, что коснулось тебя, для меня нет». Ваня, не только *для тебя* — но его вообще *нет*! Меня ничто, из того, в чем ты меня обвиняешь, не коснулось. Я вижу любовь твою ко мне и вижу, что ты любовью этой стараешься «закрыть» что-то. Это больно мне, Ваня! Я, — с какой-то «подмоченностью» — не могу для тебя существовать. Пойми это! Мне не прощение твое «из любви» нужно, — нет, но вера твоя мне, что нет ничего, что требует прощенья! Ваня, я всегда была такой, какой ты меня «встретил». Верь мне, я же знаю! Я вся запуталась в страданиях, но я прохожу воспоминанием все изгибы моей души-сердца... Ужас, ужас меня охватывает от обвинений твоих, Ваня!

Близко знавшие меня, знали мою эту повышенную требовательность чистоты! За мои «срывы» я кляну себя, но они были *совсем* не то, что ты говоришь обо мне! Ваня, Ваня, как больно мне, что и ты меня не знаешь, не понял! Особенно больно то, что я никак не ожидала такой твоей реакции. Я открыто тебе все писала о себе. До того доверчиво, до того нещадно. Да, я за каждый поцелуй (будь они прокляты — эти «срывы»!) давала отчет тебе! Но я не сомневалась, что ты верно поймешь меня! Ванечка, всюду, где я ни бывала, как только я замечала чувственную сторону «героя» (даже не моего) — отвращалась! И те, на ком я останавливалась в жизни, — не были чувственны. И Д.! Ты м. б. не поверишь? Нет, он был страстен, но не чувственен... Несчастный «N.» тоже совсем не был чувственен... Г. — нисколько!

Я ни малейшей тени не терплю, ничего, что хоть напоминает чувственность... Д. отвращал меня своей «нарочитой откровенностью» — у него это бывало тоже только «назло наивной девочке». Но не хочу ни слова об этом больше! Все «они» — не стоят даже того, чтобы быть темой наших с тобой разговоров! Все, Ваня, и Г.! Ты — сокровище, ангел, любимый!

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: опять страдание! О, бедная моя девочка! Ну, как уверить, что она для меня *все*!

Но я смущаюсь писать тебе *так* теперь. Я, — понимаешь, — «из милосердия тобой очищенной» — быть не хочу! Ах, Ваня, если бы ты знал, как все другие, чужие, знали меня лучше! Как горько это! Помню, в клинике, как часто меня молили девочки «совет дать». Чего только мне не поверяли! Просили «показать» им как себя вести достойно! Я многим помогла. Однажды, вступаясь за достоинство одной моей девчушки, я даже матери другой ученицы «выговор» сделала. И это была к сожалению одна русская, еще! «Выговор» был очень тонкий, но та его поняла и... сама потом мне же помогала. Благодарила после. Меня туда потом приглашали и оказывали «уважение». До шефа моего (ненавидимого мною и посегодня) все знали отлично, что в вопросах известного порядка я — кремень. О шефе я тебе писала. Он знал, что я его ненавижу. Не знаю, почему. С первого взгляда. Я ему никогда не льстила, как все это делали. Он очень был умен, бестия, чудно все понимал. Но я тебе уже рассказала, как «посадила» его на место.

И когда кавказец «бесился», и однажды жена шефа, бывшая у меня в лаборатории, случайно слышала издевательский телефон[i] кавказца, дающего мне работу вроде «решетом воду носить», чтобы только пригвоздить меня к клинике, услыхала все хамство его, — она сейчас же пошла к мужу, прося положить всему этому конец.

И вот тогда, мне шеф, этот... таракан (так я его звала дома, не желая имени произносить) говорит мне: «...Вы же его мужское самолюбие... verletzt[ii], — а... почему? А впрочем, Вы из того века, таких-то и не найти еще. Надо жизнь брать проще». Я его еще пуще возненавидела. Жена другого доктора говорила мне, плачась на ветреника-супруга: «Subbotinchen, die Frauen sind auch zu toll, ich würde zu keiner, ausser Ihnen, Vertrauen haben. Selbst mein Mann hat gesagt: vor S. beuge ich meinen Kopf»[iii].

Но почему же ты не видишь, не чувствуешь?

Ах, эта моя порывистость! Оттого и некоторая «шалая нотка», оттого я вдруг сорвусь и запою какой-нибудь «Schlager»[iv].

Я иногда ужасная дура. Ну, не знаю почему. Тогда люблю цыганщину. Лихость какую-то! Вдруг накину на себя что-то, мне совсем чужое. Но это — не мое! Ну, как иногда с сильной досады, начнешь смеяться... Помню было: масса работы, и уже

---

[i] Здесь: телефонный разговор.

[ii] Ранили *(нем.)*.

[iii] «Субботинка, женщины тоже слишком безумны, я не стала бы доверять ни одной, кроме Вас. Даже мой муж сказал: перед С. я склоняю голову» *(нем)*. В немецком обращении использована уменьшительная форма фамилии Субботина.

[iv] «Модная песенка» *(нем.)*.

к концу приносят еще и еще. Мы все злиться стали на одного врача-беспорядника, что задержал долго работу. И только что кончили, уже на 3 ч. опаздывая, как вдруг опять в дверях... этот же с еще работой... Мы так и ахнули все. Руки опустились. Сели и стали... хохотать... Рукой махнули на досаду! Ну, вот так и тут! Я не знаю, что это такое! И. А. не понимал, что я могу слушать, например, Вертинского. Он его никогда не мог бы слушать. А я... иногда. Но если ты бы запретил мне, то я бы не огорчилась. Мне это не нужно! А так, между прочим. Как глупость. Но я буду исправляться. Мама тоже Вертинского не любит. Мама вообще многое в моих «глупостях» не понимает. Всю мою «иррациональность». Хоть так выражусь. Я совсем это не причисляю к глупостям. Я просто создаю себе миры... всякие. Но я уверена, что ты-то все бы это понял и многое бы даже оценил. Потому, что это и твое! Я вовсе не мондэн[1]. Я не люблю все это! Но я хочу знать, что если бы захотела, то и смогла бы быть ну, не мондэн, но не отсталой, понимающей, этот мондэн. Не могу объяснить! По-моему натуры художественные должны, *оставаясь* **собой**, уметь все понимать! М. б. потому, у меня и кажется это «вывихом»? Я не художница в большом смысле, но что-то такое во мне есть. Какой-то вихрь вдруг набегает на меня, кружит, но не закруживает, никогда! У меня много с и л ы! Да, да, Ваня! Я раньше думала, что это р а с с у д о к. Нет, это что-то глубже! Рассудок — какое-то нечто холодное, да! Ванечка, как просто было бы обо всем говорить, а не писать!

Ванечка, как я страдаю. Я когда-нибудь тебе все расскажу, как и что со *мной было! Ужасно! (Т. е. вот теперь, после твоей* открытки 31 дек.) Как ты меня измучил! Ваня, я тебя безумно люблю!

Ванечка, не грешно! Я боюсь теперь всякого проявления себя, ты «загнал» меня! Ах, нет, *тебе* все можно, все могу сказать! Ванечка, солнышко... Я тебя так скоро нашла. В ночь на 11-ое я вдруг поняла. Чуть дождалась утра, побежала к книжной полке и стала искать, и... нашла! Но я не могла тогда принять все так, как хотела бы. Я вся была изорвана. Ванечка — ты — чудесен!

Не смей глупости говорить о себе!

Я совсем не «выдумала своего Ваню». Какой вздор!

Я все понимаю, я чувствую все, что ты пишешь о встрече нашей. Но я не согласна с тобой! Откуда у тебя все эти... комплексы? Иначе не могу обозначить твой вздор! Ты для меня — все! Пойми же! Чего «пересиливать»? Какое «смущенье»? И о Сере-

---

[1] Светская *(от нем. mondän)*.

же тоже! Сережа тебя, не знаю как, любит! Знаешь, однажды что он сказал? «Ну, какой же он чудный парень!» Ты понимаешь, — это «*парень*» — *ласка*, а не грубое панибратство! Это когда ты грушу прислал в варенье! И потом много, много. Мама знает, что мы хотим увидеться. И сама мне сказала: «все надо постараться сделать, чтобы встретиться вам, нельзя же так!» Но я все же могу вдуматься в твои чувства. М. б. я тоже такое бы подумала. Только — это не верно! Совсем по другой причине и я бы хотела лучше быть у тебя. Был бы мир одного из нас, что-то свое, насиженное, уют. Но я в отчаянии, что мы бесконечно долго будем разъединены! Ужасно это! Ваня, здоров ли ты? Берегись! Холод какой! Я сплю при — 2—3°С. Вода мерзнет. Все время уходит на борьбу с холодом и мышами. Масса их. Всюду! Проели у меня меховое пальто новое* за несколько часов. Стаями бегают. Я их боюсь, гадливость такая! За 1 неделю удалось 25 шт. убить. В моей комнате потолок в 3-х местах прогрызли. Ваня, я не могу писать, творить! Я с ужасом вижу, что нет времени. Что мне делать?! Я мотаюсь целый день. Да и негде. Все сидим в одной комнате, где тепло и светло. Я так не могу! А мне хочется. У меня много в душе всего. Но как я мало знаю... всего! Как мне больно, вот коснусь того... что... «необразована». Да, это... верно... Но вспомни жизнь мою. Школа... какая? Утром служба за паек, чтобы не дохнуть, а вечером «школа». А за границей? Я у сна крала часы, ах нет, минуты, для подготовки к экзамену, к необходимому. А потом, в короткие мгновения... читала. Но, конечно мало... Все это ужасно. Но я ничего изменить не могла. Я так хотела ходить на семинар к И. А. и... не смогла. В трамвае я только могла читать что-нибудь, — было время. Поймешь м. б.? Тяжелая была жизнь. Я знаю мои пробелы. Мне теперь всего стыдно. Да, я боюсь тебе себя показать теперь. Я так мало знаю!.. Мне горько до слез. И жизнь уходит. И нет ничего!

Пойми же меня! Хоть немножко! Получил ли мои письма от 1.I[180]? Мне стыдно за мою там подпись. Н а в я з ы в а ю с ь?! Нет, не навязываюсь. И никогда так не чувствовала. А теперь боюсь, после твоих писем, тех, от 31-го XII и 2.I[181]. Напиши все! Хочу приласкаться, но стесняюсь. Я не «ломаюсь», а правда это! Люблю тебя очень! Когда я пишу «целую», то — «оглядываюсь» теперь. Оля

[На полях:] Я так несчастна! Жду ответа.

Хочу вернуть непосредственность мою к тебе! Люблю тебя! Поверь!

Сознавая свою «необразованность» я робею писать. Я вообще как-то пришиблена. М. б. и не смогла бы писать, все бы «ду-

---

* м. б. я умру? Кажется такая примета есть?!

малось»... Я же это всегда знала, что мне «учебы» не хватит. Я же тебе и раньше писала. Я потому и не рисовала. Для всего нужно образование. Нут, уж и без меня много кого! Куда нам «с суконным р. в калашный[i] ряд».

88

И.С. Шмелев — О.А. Бредиус-Субботиной

22.I.42

Только сегодня твои письма от I.I[ii]. Олюша, сегодня послал на Сережу заказное тебе[182] — на твое письмо от 17 и другое от 17-же[183]. Оно тебя успокоит. На все ответил и воспел тебя, мою Чистую, мою Святую Икону. «Куликово поле» завтра закончу перепиской и вышлю письмами. Хочу, чтобы знала его. Какой от тебя Свет — мне! какая Жизнь от тебя — мне! Хочу быть крепко с тобой, до конца. Любить тебя до последнего стучанья сердца. Хочу говеть с тобой, глубоко, светло, по-православному. Хочу с тобой принять Св. Дары, — и светиться светом твоим, Оля. Чистая моя, моя невеста, мой цвет весенний, моя сила Духа! Как я счастлив, что ты — вознесешь Дари! Я тебя в ней нашел — а ты себя узнала, — твое волнение, когда все прочла! Узнала... А я тебя учувствовал, не видя в жизни ни тебя, ни Дари. Она — вся — творческая, почувствованная мною, что должна быть такая. И — Ты — пришла такая, лучше, чище, сквозистей, — о, мой фарфор[iii] нетленный! Сколько во мне ласки для тебя, и какой жаркой нежности. Ах, как сладко так любить и — дождаться. Этим и живу, Тобой — и верю.

Твой Ваня

Как хочу у всенощной с Тобой, и идти по снегу.

С воскресенья начну II ч. «Путей». Во-имя Твое. Все готово.

89

О.А. Бредиус-Субботина — И.С. Шмелеву

22.I.42

Милый Ванюшечка!

В тоске я неизъяснимой по тебе! Здоров ли ты? Я исхожу тоской, задыхаюсь, не могу жить. Отчего все так мучительно?!

---

[i] В оригинале: калачный.

[ii] В оригинале описка: I-I-I.

[iii] Так в оригинале.

Зачем нужно было этой моей проклятой «повести жизни» все так испортить!? Я молю Бога просветить меня, все одолеть...

Я вчера писала тебя, но все — не то! И глупо мое письмо вышло. К чему говорить о доверии ко мне «всех прочих» — ведь ты-то и этому можешь не поверить. У меня опускаются руки!.. Мне С. М. С[еров] писал. Поблагодари его от меня. Я ему самому ничего не пишу, т. к. не хочу обязывать его ответом. Он не любит писать. Поблагодари и скажи, что я никогда бы не обиделась, если бы он мне и не ответил! Ванечка, я ничего не могу читать. И твое. Я не могу подарить маме «Пути Небесные» — ни те, ни другие. Ты их у меня взять хочешь? Как это больно мне! Недостойна? Знаешь, я часто прежде (вот когда ты думал, что я «порхаю»), плача спрашивала: «зачем только я родилась?!» Я и теперь это спрашиваю. Я не хочу и не могу ничего дать миру. Я — балласт. Я никому не нужна такая, как я есть. Ты меня не знаешь! Никто не знает! Для чего я живу? У меня никогда нет радости жизни! Я хотела бы уехать, чтобы быть одной. Оля

[На полях:] Я убита твоим «обвинением». Смогу ли изжить? Хочу, молю Бога!

От тебя нет писем. Люблю тебя, — помоги мне!

Я здорова.

90

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10 ч. вечера
22.I.42[i]

Иван, я не могу больше выносить этой муки! У меня нет ни слов, ни умения, ни чувства больше. Я — убита! Пойми!

Я страдала все это время. Сегодня я будто удара какого-то ждала. Писала тебе, отнесла на почту и там же еще открытку написала, что мне особенно тяжело сегодня. Все Милости Божией ждала — хорошей вести твоей. И вот: 2 письма от 16-го[184]. Ужас, Ваня! Я молю тебя: если ты не хочешь, не можешь, не станешь видеть свои собственные в ы м ы с л ы именно вымыслами, — будешь и дальше меня терзать, то... не пиши мне совсем лучше! Я боюсь твои конверты открывать!

Чем, чем мне уверить тебя, что *все* твое обвинение мне — К Л Е В Е Т А!?

В Берлине был случай с одним знакомым дальним, отцом семьи, хорошим, честным человеком, служившем в банке, —

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: Оля — бедняжечка моя все мучается! Господи!

случилась кража, большая. Его зовет директор (друг его!) и спрашивает о... краже, но очевидно так, что того передернуло. Было перед Рождеством... Дня 3 «держался» директор так, что ни доверия, ни прямого подозрения. Наконец этот служащий прямо говорит: «что же Вы меня что ли подозреваете»? Тот поднял плечи. Улики. Какие-то улики подыскали. А потом, при фантазии пошло как по маслу. В сочельник то же. Косые взгляды. Пробовал служащий горячо «уверять». Не помогло. Мямлят, — ни веры, ни безверия, мутят. И вот: — пропал этот служащий. 4 дня пропадал. А на 5-ый полиция нашла его труп в Grünewald'e[i] — удушился носовым платком в лесу. Нашли записку: «перед смертью никто не может лгать, мне не верят, у меня семья, для которой я должен оставить мое честное имя, — пусть смерть моя докажет, что *я не вор*». В банке была сумятица. К директору явился помощник бухгалтера и принес, украденные им тысячи.

Я не могу этого сделать, я не хочу душу губить.

Я верю. Я вся — смута. Что же ты этого доказательства хочешь? Я понимаю, теперь понимаю все отчаяние бедного этого знакомого.

Я умоляю тебя! Не знаю, смогу ли я вообще еще раз касаться всего этого. Я болею этим! [1 сл. нрзб.], умоляю тебя, Богом молю: поверь, что ты *надумал* себе и мне муки! Ты не веришь мне, но спроси маму, С., кого хочешь! Как пример фантазий твоих: Г. — ложно обрисован тобой! Допусти, хоть на миг, что существуют порядочные люди и среди моих знакомых. Но м. б. тебе и не хочется узнать, что Г. — порядочный человек, м. б. тебе приятней, если я его порочить стану?! Я не издеваюсь. Я понимаю! Но я не хочу хвалить Г., — это просто правда, что он был и скромен, и робок, и истинно-верующий. Или ты не допускаешь моего знания людей? Его «русский вечер» был устроен вполне искренне. Образа не краденые, а поднесенные русскими друзьями в Риге. Я не хотела подробно рассказывать, но теперь обязана. Его друг[185] — не от мира сего, святой какой-то. У них отбоя нет от всякого нищего люда. Они брали буквально почти с улицы, кормили, чистили, одевали, уступали свою постель. Так жил у них один русский очень долго. Друг Г. — был до самого последнего времени в Берлине; женат на русской (он мог, т. к. только консул), постоянно ходит в церковь, в посты стоит по 3—4 часа, все дети православные. Русские массу добра от них видят. И если ты спросил бы у русских бедняков о них, то услыхал бы только хорошее. Г. сам признавал «душевное превосходство» над собой его друга, по скром-

---

[i] Грюнвальд *(нем.)*.

ности своей. Подражал ему, старался держаться тех же правил. Друг же (Кирилл) вспоминал и отзывался о Г. прекрасно. Вся обстановка вечера — не «потемкинские деревни», а сущая правда, то, чем оба жили. Г. никогда не «пускал пыль в глаза» — всегда говорил, что только трудом пробивает себе дорогу. Да, я же тебе разве сама то не ясна? Разве бы я остановилась на «гарри-жорже»?[186] Ты с ума сошел!! — Ужас!

Г. с самого начала приходил в ужас, что мы должны расстаться. Я не могу, не нехочу, — все объяснить тебе. Но мне нельзя было стать его женой. *Ничего* другого Г. не мог и думать! Он знал и себя и меня. И потому спросил меня тотчас же: «что же расстаться нам, или остаться, хоть друзьями?»

Я, одинокая всю жизнь, *я*, я виновата, я не захотела тотчас же уйти. И мы встречались. Мы встречались **свято**. Святей нельзя! Не «стерильно», как ты сказал, а именно свято! И я бы могла написать чудесную поэму, этой чистейшей любви. Неужели я так бездарно тебе рассказала, что ты не увидел этого?! Сколько силы духа было в нас обоих, как мы берегли это чувство!

Я тебе только несколько штрихов дала, когда Г. чуть-чуть «прорывался». Все прощанье наше. Все, все! Г. знал, что так надо было. Если бы иначе? Нет, не «оглядка» это его, а был бы ужас! Себя казнил он за то, что не ушел сразу, до нашей «душевной встречи». Все «случайности» и были такие. Учитель его русского языка — Николай Васильевич Яковлев[187]. М. б. знаешь? Достойный человек. Последнее «свидание» наше было именно в доме Н. В. Я[ковлева], и там же жила моя ученица (Элен). Я тогда не знала адреса Н[иколая] В[асильевича], и только потом узнала, что это его дом. Элен была обручена с одним немецким господином. Ничего о Г. не знала. Это был действительно случай! Я Элен хорошо знаю. Хозяева, где был вечер — немцы, вернее он, — она русская. Давнишние наши друзья. Ничего о Г. не знали. Дама, знавшая Г[еоргия], была *случайно*. Я знаю как ее пригласили за неимением еще 1-ой дамы. Она знала Г. не по его службе, а как товарища ее друга детства, некоего Володи[188]. Я их всех знала. Володя этот русский, очень любит Г. и были знакомы давно. Никакой «подстроенности» не было. Спроси маму. Я клянусь тебе жизнью своей, что не вру! И *не* ошибаюсь. Я на ветер не клянусь!

Г. не мог, по положенным правилам на мне жениться. Он искал случая, возможности обойти это. Хотели кое-что устроить. Но это было невозможно. Т. е. что значит? Г. должен был бы просто «сбежать». Было настолько все продумано, что Г. говорил с генеральным консулом. Тот понял Г., но потребовал, чтобы Г. возместил все, потраченные государством суммы на

его учение[189]. Г. не мог. У него не было денег, капитала. Ему дали понять, что это не... честно. И все же Г. еще не хотел отступаться. И спрашивал тогда меня. И я... не посягнула. Интрига, о которой я вскользь сказала, велась одним типом — мужем сестры, будущей жены его[190]. Г. не поверил бы тому, что я «только из-за карьеры».., но я сама не старалась его удержать. Я боялась... Я знала, слишком хорошо знала всю Западную Европу, и как ни больно, должна сказать, что не уверена была в том, что Г. не пожалел бы, что сломал карьеру. Я не хочу «возносить» Г.*, — но я обязана сказать, что никаких гадких мыслей у него не было. «Любовницей» своей меня он никогда не думал иметь! Если ты хочешь так думать, то это твое дело! Я могла показать все его письма. И ты бы увидел. Когда он выразил надежду на «дружеские отношения», то тут же писал, что это выразилось бы в том, что я могла бы думать о нем, как о друге. Он не искал встречи. Был однажды в Берлине и не дал знать. А я (ты не поверишь), я во сне видала, что он тут! За годы, до меня, Г. любил и Пушкина, и Чехова. Это я знаю от Н. В. Я[ковлева].

О моем отчиме ты напрасно так! О нем сказали у могилы (и верно!): «Блаженны чистые сердцем!»[191] У него м. б. были другие недостатки, но он был чистый сердцем. И сверх-честный! То, что называется «до глупости»! Не думал меня «сводить» с № 3! Ты... невозможен! Этот № 3, если бы был только «кулем мяса» — не задержал бы меня ни на минуту. Я же писала тебе, что ненавижу «грубую мужскую силу». Забыл? Я писала, что, не только я, но и наши, и батюшка-монах (теперь он на Валааме, м. б. умер, ему около 80 лет) очень его любили. Этот батюшка «сватал» нас. Знал Д. по исповедям тоже. Это имело тоже свое влияние на меня. Никто, никогда не посмел бы мне ничего гадкого ни сказать, ни показать! Я однажды за один анекдот ударила по щеке рассказчика. Это все знали. Кроме того: Д. сам этого не любил, я знаю как он морщился от одного типа, развязывающего свой язык. Наоборот: Д. никак меня не «соблазнял», и сам знал, и говорил, что с другой, которую менее высоко ставил бы, — поступил бы иначе[i]. Говорил: «Я мог бы обмануть Ваше воображение, рассказать о себе то, чего Вы хотите, но я этого не делаю». И это верно. Он сам себя «провалил», сказав о себе правду. Я не могу в 2—3 словах тебе все открыть, но... верь же! «Дима», «Микита» — не интимность, я его так в глаза никогда не звала. Его так все звали, и я за глаза,

* Увы, и у него были слабые стороны. Я никогда не «ослепляюсь». Эту возможность «пожалеть о карьере» и тогда уже предполагала. Тяжело ли это было? Сам пойми!

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

дома, с мамой. Всегда ему говорила Димитрий Михайлович, а он — О. А., и очень редко: Лелечка. И — «девонька» — другим обо мне. Например, моим родным. «Ваша девонька». Подчеркивал всегда, что особенная русская девушка. Я знаю его мнение о себе. Он был намного старше меня. У меня долго оставалось отношение к нему как к старшему, дяде. О моих грешных мыслях на горах я писала. Не было это «катаньем по земле». Фу, как гадко бы это было! Ты не понял меня совсем тут. Это не скверное было! Нет! Не хуже того, как Дари дышала ландышами[192]. Нет, м. б. даже меньше, т. к. все было мне не ясно. Я «что-то» угадывала, но не знала «что». Почему цветы? Потому что на голых скалах одни они ласкали взор. Я ушла тогда в неопределенной, *не*грешной тоске в горы. Мне не с кем было поделиться. Не у кого спросить! Я искала чистой ласки. Цветочки эти вроде крокусов, чашечками. Очень хрупки и тонки. Я помню тосковала, не знала что думать, как найти выход. Ничего не видела. И вдруг целый ковер этих цветов... Я легла на скалы и, не срывая, дышала ими. Потом нарвала букет и их сладкий аромат кружил голову. И тут я подумала грешно... Не очень много... Ах, Ваня, м. б. у другой все бы это прошло так незаметно, что и писать-то не о чем! Я слишком строго все в себе анализирую, всему даю вес! Теперь жалею. Но неужели нельзя тебе все говорить?! Я уверена, что если бы Д. тут на горах явился, — я бы убежала. Это мое «грешное» не было желанием греха, нет, но ища путей, я наткнулась и на грешное. Пойми! Когда я писала о «разврате на моих глазах с девчонкой», то никак не имела в виду того, что понял ты! По-моему — уже разврат, если мужчина афишировано[i] под руку прогуливается перед носом той, которой это делает больно. Они ходили на танцы. Он усаживал ее за свой столик (как!), угощал вином. Танцуя прижимал (фуй!), я это видела. На пляже поставил свою корзинку рядом с ее. Плавали далеко вместе. Все это гадко! Я не выношу органически того, когда на людях высказываются чувства и чувствишки. Как это меня покоробило сразу же за границей! У нас этого не было! Никогда! Ну, как ты мог (?!) допустить даже воображением, что мне можно показать порнографию?! Ужас! Я не выношу это так же (нет, еще хуже!), как если бы мышонок за воротом бегал по телу!

Моя глупость была — давать тебе полунамеками картину жизни. Для меня-то все понятно, но я не перенеслась в тебя. Ты мог дополнить воображением. Что ты и сделал! Но я умышленно не писала много. Писать трудно, да и отжили все эти «герои». Мои «подробности» ты счел бы за «оживление» их.

---

[i] Открыто *(от нем. affichieren)*.

Когда я говорю: «если бы ты все знал!», я не имею в виду новых поцелуев. Совсем иное! Мое. Только мое! И если бы ты знал, то... никогда бы не страдал. Я не хочу делать все это достоянием почты. Мне некоторое очень интимное хочется оставить для себя только. И, если встретимся, то для тебя! Это — насколько я вся «совсем иная», непохожая на тех дам, что окружают. Я не хочу сказать, что «лучше» их. Но, просто — другая!

И только при моих этих, совсем моих качествах, я могу быть такой, какая была и есть. Я одержимая могу быть. Я сейчас одержима тобой! Когда я говорю: «все, все забыть» — конечно не значит, что «есть что-то особое для забвенья». Нет, но просто — все забыть. Ничего не было. Ты — только! Не ищи никогда скрытого смысла. Я тебе пишу совем открыто! До безумства! Никому бы так не написала! Я никогда бы не смогла быть «модной». Кстати: странно я как раз вчера тебе об этом писала. Я «касаюсь» всего этого, но не собой самой, а чем-то, что ничего не воспринимает! Я не могу быть «модной», Ваня! Значит ты меня не знаешь! О, Господи, я кажется что-то понимаю, — ты под «модной» — думал еще что-то другое?! Да? Нет, Иван, этого никогда! Я не легко смотрю на жизнь.

Да разве ты меня не знаешь? Прочти все письма (пожалуй, много времени на это надо?!), когда еще Ивану Сергеевичу писала. Посмотри, по каким вехам шла я! Почему-то Бунин мне не понравился? А? А ведь с «раздраженными»-то нервами, пожалуй, прийтись должен бы по вкусу?! Нет! Иван, вот пример еще: я люблю танцы, но... никогда не то, что некоторые им хотят придать. Я (часто) среди танца извинялась, что не могу дальше продолжать и уходила, если замечала хоть чуть-чуть, будь хоть только миг один. Танцы люблю как искусство, без людской грязи. Я могу забыть, что с кем-то еще танцую, наслаждаюсь просто ритмом, музыкой, вихрем. Не люблю ползучих танцев. В танго люблю четкое исполнение, трезвое. Этот трудный танец, — его чаще гадят. Но я давно не танцую. Я никуда не выхожу... Последний раз я танцевала на моей свадьбе. Арнольд не танцует. И вообще, здесь и дома-то все так устроены, что не затанцуешь по бобрику и плюшу. Ноги увязнут, как и все тут. И меня не тянет... Вообще, ты ложно как-то обо мне судишь.

Нельзя спрашивать, что мне ближе «Твоя от Твоих» или... (не хочу и говорить). Я живу этим «Твоя от Твоих», *без* этого я умру. А... все остальное?.. как-то прикладывается, как нечто невесомое, к существованию, не к жизни. Ты говоришь о подвиге монахинь, белиц наших. Ваня, (опять скажу!), «если бы ты все (!) знал». Ты ищешь скверны в словах этих. А посмотри иначе! Почему ты ищешь во мне скверну? Я не хочу «молебствий» мне, — но я не принимаю и неправду!

Мне очень тяжело! — Пойми! Сдержи свое воображение. Ты ему только будешь обязан, если случится что-нибудь с нами! Я долго так не могу! У меня нет силы! Я тебя очень люблю! Ты знаешь! Я чиста перед тобой! Я не та, какую ты обвиняешь! Почему, когда ты говоришь, что «Вагаев такой, а Виктор Алексеевич — такой», — то мы верим, — а когда я говорю, что Г. — такой, то ты не веришь?! Я бездарна. Я знаю. Но я и не даю произведения, а просто тебе говорю *правду*. Я искренна с тобой! Когда будем вместе, то *все* расскажу (т. е. все свои переживания), и ты увидишь как ты не прав! Я так была всегда строга ко всем! Ваня, у меня много было ситуаций, когда могли бы всплыть те инстинкты, о которых ты пишешь, если бы они были во мне! Запомни: чем больше старались их разжечь, — тем гаже были мне эти люди! Г. и Д[имитрий] М[ихайлович] оставили меня около себя именно чем-то другим. С Д[имитрием] М[ихайловичем] было неприятней, тяжелей (в смысле разочарования) потому именно, что у него были и инстинкты эти — все спутано. И, — не отрицаю, — пробуждение во мне (пусть 1 раз!) грешного предчувствия. Не больше! Но я ужаснулась, до того, что вот тебе написала. Я его не культивировала.

Ваня, Ваня, я ничего бы от тебя не хотела укрывать. Я так хочу тебя встретить и все, все с тобой решить. Писать так трудно. Все думы свои я бы тебе сказала!

Ванечка, ты никогда не писал мне о причине смерти О. А. Разве я могла бы «забыть»?! Я все помню, что ты скажешь. Ванечка, я читала в «Возрождении» — «Радуница» (там о твоем отце... все помню). «Куликово поле» только отрывком[193]. Мне прислали сюда № 1 и больше не было. Я напишу в Берлин по адресу, данному тобой... Ваня, я посылала тебе ниточку-шелковинку, малиновую. Хотела знать твое мнение. Я вышиваю ею что-то. Я взяла бы другой цвет м. б., но ничего не могла найти. М. б. скоро к вам приедет наш батюшка. Я его просила и завтра еще попрошу зайти или написать тебе. Мы под Крещенье 2 часа (с 8 утра до 10) ждали на морозе автобуса. Замерзли. Чуть успели на освящение воды.

Ваня, прости, у меня весь блок в масле — кошка перемазала однажды лапкой. И все еще попадаются листы! Да, у спикерши «волнующий» голос. Мы с Сережей это давно уж сказали. Ты хочешь знать, какой у меня? Трудно себя услышать. Ты знаешь, я хотела наговорить тебе пластинку... Хочешь? Это можно.

Но не думаю, чтобы цензура позволила. Я справлюсь. Я очень люблю баритон. Самый мой любимый голос. Я завидую Ивику и Люсьен, что тебя слушают.

Я иду с тобой мысленно по спокойной равнине... И все так дивно... Какой живой рассказ! Чудесный!

Я уношусь на миг к тебе, любящему. Но... Ваня, я холодею, когда вспомню... к а к о й ты ко мне теперь! Ванечка, верни мне себя!

Утро 23-го Ваня, еще об «инкогнито». Ты понял бы все иначе, если бы знал, как я тогда в жизни была одинока. Все время одинока. Я видела и знала, что так я не могу, ни на какую встречу я не надеялась. Я была в каком-то отчаянии от людей. Этому виной «N». Я хотела уйти в монастырь сперва (в России это почти что случилось), потом я вся отдалась идее «дать то, чего я не могу в людях найти». Это сумасшествие. Я это теперь вижу. М. б. моя прирожденная любовь к детям. Я до отчаяния детей любила (теперь все, и это стерлось), не могла помыслить без ребенка прожить жизнь. Спроси маму! Это была фанатичная одержимость. Я девочкой еще искала по-осеням в листьях, не найду ли подкидыша — начиталась, что бывает. А тут, я решила, что с тем огнем во мне, с идеалом чудесного моего папы в сердце, *я* создам то, чего больше нет. Я соглашаюсь — это больное. Это мое непонимание обоюдной любви... Теперь понимаю. И тогда конечно как-то знала, и... потому «инкогнито». Я не хотела «его» прямого участия как бы в «творчестве» моего идеала, не надеялась, боялась его второй половины. Дико все это. Но это же были не *планы*, а только как сны мои. Я могла бы лучше не говорить, это же исповедь моя тебе была в «помыслах». Конечно ничего бы не было. Я только объясняю, почему эти мысли могли возникнуть. Представь, что я всегда думала, да и теперь часто бывает, что я проживу недолго, что торопиться надо. Почему? Не знаю. Но по этому «инкогнито» ты можешь судить как я боялась, чтобы это не обратилось в разврат! Пойми это! Если ты меня в этих моих мечтах о ребенке не сможешь понять, — то мне это больно. Это было н и ч у т ь не грязно. В поисках света, — я думала создать свое! Это настолько фантастично, что я понимаю твой упрек. М. б. имело влияние чтение об одной такой истории. Нет, не такой, по существу — *не* такой. Но это «инкогнито» было... Я же безумно впечатлительна. Но не думаю, что я и поступаю по впечатлительности! Нет, но я тебе и о думах своих писала. Пойми же! Я конечно была глупая девчонка. Я была очень одинока. Тебе надо бы много, много знать обо мне, о детстве, юношестве, — тогда бы понял. Я вечно жила где-то не тут. Ванечка, прости что не подготовив тебя (обрисовкой себя самой), я подвергла тебя страданию своей «повести». Это было глупо, не продумано. Но посылкой кусочка платья, я не хотела тебя томить. Почему это сделала? Сама не знаю. Потому что увлеклась рассказом. Со мной бывает — все, все рассказываю. Мне самое ужасное — знать, что мучаешься ты. Не могла сознательно мучить.

Прости за все! Но это невольно. Кончаю. Мучаюсь. Постарайся понять Олю. Уясни себе меня, какую уже знаешь. Ты веришь же письмам О. А. — И. С. ... до 1941 г.? Ну прости! Если бы я тебя давно встретила, то была бы очень счастливая, ни на кого бы и не посмотрела! Т. к. и смотрела-то я, ища Тебя! Никаких «соблазнов» не могло бы быть мне с тобой! Целую. Оля

[На полях:] Послать тебе обратно фото с О. А. и твою на могилке? Ты просил, а мне жалко.

Ты и «полюбил»-то меня м. б. по случайно совпавшему имени? Иначе не постигаю мучительств. Мучаюсь! Прости!

Я отдаю переплетать твои книги. Если еще хочешь, — то пришли автографы. Я бы хотела их вплести тогда.

Торопись это сделать, т. к. не будет материала.

Ты не ответил мне на письмо от 1-го I с надписью поперек! Получил?

Ванечка, ты вся моя радость жизни! Вернись! Без тебя я не могу! Но и так как сейчас — не могу. Я — только достойная тебя, могу любить тебя!

Ванечка, не могу без тебя, но любить тебя могу только, будучи тебя достойной!

Перечитала, — не бойся — я ничего не сделаю с собой. — Этот рассказ только иллюстрация (о служащем в банке).

Да и что можно сделать? Мои муки теперь хуже смерти.

91

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.I.42 10 утра

Голубка Оля моя, вчера я послал тебе письмо[194], в ответ на твое, такое для меня горькое, но — и при всей его чрезмерности! — так меня восхитившее твоей страстностью, огромной одаренностью твоею, гордой душой твоею, — чудесно-гордой, умно-гордой! — твоим умом и силой сердца. Там я ответил тебе на укоры мне, во многом мною заслуженные, но и не всегда справедливые. Сейчас хочу сказать о самом главном, что тебя тревожит как-то, — м. б. повторю, что вчера писал тебе. Ты пишешь в письме от 1—2-го янв.: «что это твое — “если бы ты все знала”!» Возможно, я тебе писал уже, как меня и почему смущает поехать а Арнхем: как я пересилю чувство смущения... мне стыдно будет перед Сережей, мне стыдно и прикрывать истинный повод поездки — страстное желание увидеть тебя, быть с тобой... Вот — все. Ты говоришь: «ты можешь мне все сказать». Милая детка, мне нечего сказать тебе, чего бы не знала ты обо мне. Мне нечего от тебя скрывать. У меня нет и не

было никаких причин отклонять нашу «встречу», ее бояться. Не было у меня и нет никаких «связей», никаких обязательств, ни перед кем: ни секретного, чего бы я страшился, что хотел бы скрыть от тебя. Я такой, каким ты меня чувствуешь, — весь для тебя открытый. Никаких побочных соображений, которые могли бы удерживать меня от желанного, — пусть очень важного! — шага в новую жизнь — в жизнь с тобой, с тобой только. На нашу встречу, с памятных дней июня 39 г., я смотрю, как на благословение. И чувствую всем сердцем и всем разумением моим, что ее надо завершить нАпрочно. Я верю твоей сильной и чистой любви ко мне, я счастлив ею светло. И я молю тебя, моя Олюша, не смущай себя ничем, что касалось бы меня, ничем, что может тебя касаться, я разумею теперешнюю жизнь твою: верь сердцу, его спрашивай, думай хоть немного о себе, не о других только, как это было до сегодня в жизни твоей. Слишком много перенесла ты, отдавала другим, слишком мало брала для себя, слишком многим жертвовала. Твой инстинкт, наконец, бунтуется, ты хочешь жить и ты имеешь на это все права, больше, чем ты сама думаешь. Твоя совесть чиста: ты все сделала, что было в твоих силах. Не софизмы это мои, не чарующие «песни», чтобы усыпить совесть твою, слишком чуткую, как и все в тебе. Скажу больше — болезненно-чуткую. Ах, милое дитя... ты же совсем дитя! Я радуюсь, читая это в твоих письмах... и как я счастлив! И про наш цветочек, и про «святую воду»: ... — !! — о, как это чудесно, как это светло, до слез! — и — про радость твою, такую чистую, такую детскую, когда ты бежишь с радостным криком «к маме»... и она называет тебя — деткой! Такой и будь, и пребудь, ласточка моя нежная, чистая моя, святая Олюшечка моя! И как удивительно скульптурно пишешь ты — и ласково-детски-игриво как! — о котишке..! Ты сама не слышишь, как ты говоришь все это, а я... я все слышу, и вижу всю тебя, в одном этом! Боже мой, ласки сколько, и какой же ласки! О, золотая сердцем, чистый мой бриллиант духовный, душевный, — всякий. Я целую всю твою чистоту, всю тебя, моя снежинка! И умоляю, Оля: будь же моей женой, моей дружкой во всем, — до конца! Я ни в чем, ни-чем не посягну на свободную твою душу, на твои устремления в искусстве, в жизни, в планах. Ты не для «услуг» мне, моя голубка, ты для нашего чистого счастья, если Господь соизволит даровать его нам. Ты будешь делать то, что тебе надо, — писать, рисовать, учиться. М. б. сочтешь нужным слушать художественные курсы, — это твое естественное право, я сам первый рад буду этому. Ты мне нужна для жизни дружной. Полной светлого, радостного труда-служения. С тобой, с поддержкой твоей любви, твое-

го сердца, твоей ласки, я буду куда сильней! Мы так во многом схожи! Мы к одному и тому же призваны, мы так удивительно встретились среди сложной путаницы жизненных дорог наших, с таким напряжением друг-друга ждали, так искали... и так чудесно — именно, чу-де-сно! нашли друг друга! И после всего — не завершить этой, Господом посланной встречи! Да тут же, Олёк милый, тут же самое подлинное, самое яркое указание, знаменное, — и было бы греховно и безблагодатно, если бы мы не приняли все наше, как — Дар нам. За что? — Об этом не нам судить. Нам — надо принять и благодарить, за Дар. И беречься сбивающих нас — если они есть! — сомнений. Бывает, что и «внутренний голос» в нас, что мы называем иногда, ошибочно, «голосом совести», — не подлинный голос совести, а внушение нам «со стороны», влияние сил враждебных, — «искушение». Я такие случаи знаю, в моей жизни. Не всегда надо слушать то, что ошибочно выдает себя за инстинкт наш, за нашу подлинность, проникновенность в нас. И часто губит самое дорогое нам. Так, в Крыму, мы послушались этого «голоса», поддались слабости перед предстоящими трудностями, остались с Сережечкой в Алуште, — а могли же, могли же уехать! — и потеряли его. Я никогда не могу простить себе этого «голоса», этого подчинения вражескому во мне, и до сего дня болит моя душа, и до последнего дня жизни Оли болела ее душа и сердце. Родная моя Олюша, я верю, я хочу надеяться, что Господь смилуется... что дарует нам, вернет нам... что ты дашь мне утраченное мною. Да будет Его святая Воля! Ольгуша, милая, сердечко мое, свет мой... слушай.

Ты права, надо воспользоваться первой возможностью нашей «встречи». Мне думается, что эта возможность приоткрывается. Ты, м. б., сможешь поехать на «Лейпцигскую Ярмарку»[195]. Сделай это. Ехать мне туда — излишне, никак не приблизит «завершения», — я думаю, ты сама согласишься с этим: надо сделать решительный шаг, или — продолжать ждать... чего, другого случая? Будь покойна: если ты получишь возможность приехать в Париж, ты там и останешься, и будешь должна остаться, чтобы не напутывать новых петель на мучающую тебя жизнь твою. Я горячо убежден, что никто не помешает тебе остаться в Париже, — мы найдем все возможности, используем все, чтобы так было. Тебя не заставят уехать из Франции, мы будем просить об этом, о твоем праве располагать собой, и, верю, наши просьбы будут уважены. Не смущайся, не допускай колебаний. В Лейпциге ты увидишь, как и где надо просить о визе. Если здесь, в Париже, я сделаю все, что надо, что возможно, и визу, Бог даст, ты получишь. В Лейпциге я прошу тебя побывать у моего друга-переводчика, у проф.

д-ра Артура Федоровича Лютера[196], — его адрес: Prof. Dr. Artur Luther, Leipzig, Bozener Weg, 10 (D. 27). Ты попросишь его совета, как хлопотать, — он, верю, не откажет дать указания и, если возможно, посодействовать тебе в твоих планах. Он — чудесный, душевный, умнейший человек, знаток русского языка, русского искусства, — его работы-лекции о нашей Иконе! — лучший переводчик Пушкина, долго жил в России, читал в петербургском университете лекции немецкого языка, имеет связи, — и его рекомендация имеет вес. Кстати, поговори с ним о возможности издания «Путей Небесных», им переведенных, — подписан у меня контракт об издании с мюнхенским издательством «Козелл унд Пустэт», еще в апреле 39 г. М. б. удастся вновь получить разрешение власти на издание, — было дано, но война помешала, и годичный срок истек, возбужденное вновь ходатайство издательства было отклонено. Если остановишься в Берлине, зайди в издательство — бывшее? — С. Фишер, — адрес: Berlin, 57, Bulofstrasse 90—91 и узнай, можно ли мне получить в счет гонорара аванс под «исключительно» разрешенные 1000 — ! — только!!! — экземпляров «Ди Зоннэ дер Тотен»[i] [197]. Их отчет, мне присланный, в частной выписке из Берлина, — какая-то путаница, не пойму. Но это неважно, разберемся. Помни: если ты попадешь в Париж, а я в этом почти уверен, ты приедешь прямо ко мне, — я тебя встречу на вокзале, если ты мне дашь знать заблаговременно, когда приедешь. Не смущайся. Если ты хочешь, ты остановишься в отеле, на время, совсем от меня близко, в прекрасных условиях, — 4 мин. хода от меня: отель отапливается, там переживали холодные месяцы Квартировы. Там до последнего времени жили мои друзья. Я не люблю «ломать» привычных условий жизни и перетерпел холода у себя, со вчерашнего дня стали отапливать. Оля, не смущайся: у меня ты найдешь все необходимое, у тебя не будет недостатка ни в чем, по мере моих возможностей. Только хочу предупредить: здесь сейчас с трудом находят белье, — можно на «пуантах» доставать, но этого недостаточно. Голубочка моя, я так жду тебя, я так трепещу тебя... я так молю тебя! Я столько нарисовал себе воображением... — я так хочу ласковой, нежной, покойной для тебя жизни! Так хочу молиться с тобой, жить с тобой, не расставаться с тобой, работать с тобой, мое солнце, моя нежная, моя чистая! моя... чудесно-бурливая душа! моя детская, светлая... Оля! Господь с тобой. И да дарует Он нам и Пречистая — жизни чистой, достойной, благословенной! Еще, важное: если ты хочешь, — а я всем добром твой друг-дружный! — чтобы мама жила с то-

---

[i] Немецкое название романа «Солнце мертвых».

бой, я буду счастлив твоим желанием, и мы тогда только переменим квартиру, возьмем больше. У меня — очень большое «ателье», теперь разделенное на 2 части, в каждой по огромному окну, с 2—3 часов — солнце. Хорошо для любимых твоих цветов, — и — моих тоже! К «ателье» примыкает «тупик-альков». 2-й этаж, асансёр[i], передняя, небольшая, удобная кухня, — будет ходить «фам-дэ-менаж»[ii], моя Арина Родионовна, постараюсь устроить так, чтобы каждый день приходила, и тебе не придется кухарничать, бегать по лавкам и проч. Ты должна быть самой собой, жить своим — и моим! — я буду только счастлив ввести тебя во все мое, родная Олюша, моя дружка, моя умка, моя чудеска! Для тебя — у меня нет ни «часов», ни «отдельно», ни «тайн творчества»... — я весь только твой, и — для тебя. Ты полная хозяйка моего времени, моего сердца, моих трудов. Ты — сама, и — во всем, сама! Ты мой распорядитель, мой водитель — во всем моем, только пожелай: твоя воля для меня — закон любви. — Да еще, — ванная комната, с женским удобством; отдельно, конечно, кабинэ дэ туалет[iii], в кухне механический сбрасыватель сора — вид-ордюр[iv], коридор, в который выходят две стеклянные двери из «ателье». Центральное отопление, камин, — меблировка сборная, — т. к. после кончины Оли многое разбросал... и много же я перебил посуды! Все, что потребуется, — будет. Думаю, что тебе придет по сердцу: меня эта квартира успокаивает, она «по-душе» мне. Но, повторяю: если мама будет жить с тобой, мы возьмем больше, и... будем ждать возвращения в Москву, в Крым. И жизни наши — будут — единая, крепкая жизнь — одна, и — до... это будет зависеть от твоей воли. Моя же страстная воля — закрепить нашу жизнь благословением Церкви, чтобы ты стала носить мое имя, и быть, воистину, женой-другом. И повторю: ты с первого шага нашей общей жизни — моя жена, полноправная и нерушимая, — для меня, как и для всех, кто меня знает и кто любит. Так и будет. Меня никакие «предрассудки» не потревожат: для меня ты — вот единственное, с кем я чутко считаюсь, твое счастье, твой покой... и только. И никто не посмеет коснуться тебя, твоего-моего достоинства, — знай это. И не смущайся, ничем: единственное мерило у нас с тобой — наша совесть и наше право.

Целую тебя, жданная, желанная, дарованная, моя, Олюша! Карточку, Олёк, ты мне послала, на конвертике печать контро-

---

[i] Лифт *(от фр. ascenseur)*.
[ii] «Приходящая домашняя работница» *(от фр. femme de m nages)*.
[iii] Умывальная комната *(от фр. cabinet de toilette)*.
[iv] Мусоропровод *(от фр. vide-ordure)*.

ля, мой адрес твоей рукой, печатный текст Madame O. A. Bredius-Subbotina, а на спинке — «С Новым Годом! Крепко целую. Оля». Забыла?

Жду. Обнимаю. Твой весь Ваня

Да хранит тебя Господь, родная моя Олюша!

92

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.I.42 9 вечера
25.I вечер

Чистая девочка, Олюша, светлая моя, голубка, я весь в твоем страдании, я проклинаю себя за окаянство свое, за отупение свое, за уступку искушавшим меня мыслям-страстям, за эту тьму во мне, — она подымается с низин во мне, греховном, и вдруг меркнут в ней духовные очи мои, и другие, уже грешные, рожденные страстями и соблазном, глядят — и видят свое, им в мерку. Душу свою томлю, терзаюсь, ломаю голову... — ну, чем могу тебя уверить, что — поверь же мне! — я всегда преклонялся перед твоей необычайностью, перед твоей детской чистотой, перед небесным в тебе, нежно лаская в сердце! Всегда, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков, пока буду сознавать себя собой, буду преклоняться, молиться на тебя буду, моя святая девочка-женщина, Оля моя желанная, неземная! Ты далеко жила от меня все годы, но ты была на земле, — и ты, ты, твоя чистота, твои мечты, твои искания... может быть, таинственные волны твоего света, твоей силы духовной, встречались с моим исканьем... — не с моей чистотой, я слишком грешен! — и я почерпал в этих искрах-волнах твоего света — мой свет, я получал внушения — о, это все неразгаданная тайна, — эти духовные влияния извне! — и я находил как-то, что я хочу и должен представить в своем писании, я находил «радостный призыв», то, что зовется вдохновеньем. Ведь ты же, вот такая... — редчайшее явленье в людях! Я, иногда, думая о другом совсем, совсем, порой, противоположном, вдруг... каким-то странным душевным поворотом, схватывал мысль, и эта нежданно блеснувшая мне — откуда? — мысль — чья мысль, чье чувство, чье внушение?.. — никто не скажет, — эта мысль начинала томить, звать меня, требовала своего воплощения в слово-образ! Я хочу верить, что всегда жил тобой, от тебя, от твоего исключительного восприятия света в земном, света с Неба, — жил небесным, преизбыточествующим в твоем тонко-духовном существе, в твоей Богоищущей сущности! Оля, моя, светильник мой неугасимый, не меркни для меня, не ли-

шай меня себя, не отходи от меня, твори свое во мне, — я весь к тебе влекусь, я весь верю и буду верить в тебя — чистую, мучающуюся земною тьмой. Ах, милое дитя, в свете рожденное, от света — Света исходящая, я никогда не утрачивал веры в твою нетленность духовную, в твою необычайность, — я всегда говорил тебе — Олёк мой, без тебя не могу, не стану жить, — все огни для меня погаснут без тебя, не хочу жить, если твоей волей тебя утрачу. Ты вся из той духовной сферы, откуда «необычайное» в людях на земле, в редчайших людях. Не величай меня несвойственными мне наименованиями: я никакой ни Учитель, ни пророк, ни[1] «источник жизни». Мне стыдно слышать это, я в духовном отношении — о, с тобой ли мне ровняться, Ольга! несравненная!! — ничто, не заставляй совесть мою жаться от непосильного, чего я недостоин. Ты из той духовной атмосферы, полу-земной, полунебесной, — вот они, настоящие-то твои — «полу»... «дэми»! — откуда греховность наша черпает силу утешения, упования, восторга, черпает, — и потому еще не забыла, что носит образ-подобие «сотворившего вся». Из этой сущности духовной, из этого «рая» на земле творится и обновляется вечно — жизнь, ее духовный стержень, ее ткань-пелена, связующая ее с небесным, — мир идей, вдохновенности, богопознания, высокого искусства, — Бого — Богу — служения. Ты — говорил я, — от Храма, прекрасная его левитка, ангелика, светильник ангельский. Олюша, Ольгуля моя... о, как ты дорога мне, как я живу тобой, как верую тобой, как гляжу тобой! Ты не веришь мне? Моему светлому, что живет во мне, что замирает часто, но умереть не может, этому во мне верь: я чистейшую тебя люблю, в тебя, чистую, верю, — или мне не быть. Прости мне мои порывы, мою грязь невольную... прости прорывы страстности во мне... что я с собой поделаю, — она меня порой пронзает огненно, томит, требует отдачи в ее власть... и я чувственной мыслью тебя вижу, влеку к себе этой силой, и темной, и влекущей. Не скорби, не говори мне — «клеймо», «смертный приговор»... от моего — какого? — «обвинительного акта»! Я все страстное-пристрастное, набравшееся силы от гадкой ревности за тебя, порвал, как лживость во мне, искривленность душевную, порождение дьявольское... — в чем, в чем, я, гад, осмелюсь обвинять тебя, чистейшую?! Господи, помилуй меня, и ты, Олечка милая, Олюнка, меня помилуй. Целую твои ручки, ангел, твои глаза небесные... и как люблю, как в трепете люблю, как хочу жить тобой, с тобою, пить свет твой, побеждать им, стать лучшим, хоть чуть достойным тебя. Как я люблю тебя, Олюночку мою, грёзу мою, выдумщицу мою, так

---

[1] Так в оригинале.

люблю! Вижу чистые — и горькие какие! — слезы твои в словах письма, мученье твое чувствую и томлюсь им, не могу выразить, как горит сердце, и жалостью, и лаской к тебе, и укором себе, и совестью, тобою пробужденной. Оля, прикрой мои глаза, жаждущие тебя увидеть, шепни мне — «Ваня мой, я тебе все простила, я тебя пожалела, я не плачу, смотри, Ваня... я верю искренности твоей, любви твоей». Верни себя, успокоенную, знающую, как я люблю тебя, чту тебя, как никого еще не любил, не чтил. Олю мою, покойную, я любил и чтил, да... она была достойная, выше меня душой, лучше, чище, устойчивей... Ты послана мне — лучшая ее замена (непостижимая!), и я припадаю к тебе, молю тебя: все мне замени, не оскорбись мной, уверуй в меня, стремящегося быть тебя достойным... Наш «рай» не закрылся, мы не ушли из него, мы верим, что будем вместе. Ничто не шатнулось, — ты знаешь это сама, — не от мелкой же и злой ревности ему шатнуться! — Оля, ты лучезарна, прекрасна, детски-чистая. Верю, знаю: ты всегда искала чистой и вдохновенной, от небесного, любви, и не изменишься никогда. Моею волей ты никогда не утратишься для меня. Своею... но тогда я померкну, буду кончен. (Но помни: не свяжу тебя, твоей свободы!) Я так был обрадован, тобой обласкан, когда увидел на Новогоднем письме твое имя, моей увидел тебя! Будто приласкала, отогрела меня, оцеловала нежно, до слез моих, до восторга. Я поцеловал, да, да... эти твои два «имени» — твои-мои! Ах, нежная, светляночка моя... как же ты можешь обласкать! — кружится у меня в глазах от мысли о тебе, от твоего образа во мне, от жизни твоей во мне. Я ношу тебя в сердце, грею сердцем, в крови моей ты течешь, в биениях сердца слышишься... — и все во мне живет тобою, надеждой светлой: вместе, нераздельно, чисто, свято, крепко, светло, вечно, неизменно. Ольга моя, ласточка-тревожка, трепетная, волнующая, влекущая, живой, святой огонь мой! Люблю тебя, верую в тебя, святая прелесть, Небо мое родное в глазах твоих, и золотое солнце в нем — твоя любовь. Никакого «обвинительного акта» не было и нет, я не стал писать, противно мне было себя видеть во зле нечистом, — я же был все тобою полон, а ты — свет чистый. И этот твой свет все темное очистил, и я светел. Ольга моя, дитя мое чистое, как сейчас — 4 ч. дня 25.I — сердце взволнованно-радостно взмывает во мне, тебя качает, нежно баюкает, плещешься будто ты в нем, играешь... о, какое ты чудное дитя! Никто, никто, никогда, в целом свете, не сделает так, как ты, вся — Вера, вся чистота, вся нежность, все благословляешь, все для тебя — от Господа! Погибавший цветик полить св. водой! Какая же вера, любовь, чистота, детскость в этом! И... перекрестила, как своего ребенка, — мою-твою любовь! В этом цветке для тебя знаменье чудесное,

чистая любовь твоя-моя! Как я понимаю тебя, как я вижу тебя, — единственная! — как я больно, светло тебя люблю, тебе поклоняюсь, прекрасная Ольга! Как счастлив, — под вечер жизни моей — встретилась ты на пути безвестном, бесцельном почти... для меня! Мне уже ничего не оставалось, душа отмирала, и с ней замирала жизнь-воображение... и как больно томило одиночество, осознание бесцельности в дальнейшем. Но твоя Душа бессмертная искала... искала — свет дать кому-то, от своего богатства... и нашла путника на перепутьях жизни... путника, всегда искавшего кого-то... поделиться светом, — от своего богатства, гибнущего втуне. И встретились, и... так легко узнали, кто они, блуждающие души света, и... полюбили друг дружку, чисто так, чудесно, нежно... слили вместе свет свой, немеркнущий, так обогатились светом друг от дружки... так духовно-слитно стали быть! Ольга, чудесная! Верни же покой себе, надежду, веру в Ваню твоего, в твоего песнопевца, тебя поющего, одну тебя, и Бога, — Он в тебе, и жизнь, и божий мир... — все, все в тебе, — твое огромное богатство, вечное! Ольга, ты мне позволишь эту «св. воду», цветок любви, и «перекрестила»... — взять в «Пути Небесные»? позволишь? Так никто бы не придумал, никто не делал... только одна Дари могла бы... Ты, моя Дари отныне... и навсегда! Ольга, люди будут плакать светло от этого движения твоей Души! Оля, если бы я тебя не встретил! если бы ты не услыхала крика моего..! Ты меня воскресила, Оля, Ольгуна, моя чудеска, милая моя Олёль! Я плачу... так мне светло от тебя... так я живу тобой, — о, никогда еще не видел я, не слышал ласки и нежности, какими ты ко мне прильнула... ни-когда! Ты только можешь так, так ты богата сердцем, как никто на свете! От чистоты, от света Божьего, от всеобъемлющего сердца! Единственная, золотинка с Божьей Ризы, слетевшая на землю... Ольга! Я тебя предви-дел... как я счастлив, что было мне даровано предвидеть, воображением искать... такую! И — найти: Ты же себя в Дари узнала, я это знаю... ты мне не говорила... скромная моя, ты — помнишь? — «себя не сознавала», что в тебе творилось от «Путей»... ты помнишь? Вот когда мы встретились с тобой! Вызванная мною к жизни, небывшая никогда Дари.., мое дитя... и — ты... — дитя, другое... — встретились, узнали... — и не разойдемся, ни-когда..? да, Оля? Я буду петь тебя... какое счастье! — Оля, ты не так толкуешь мои слова «надо сильно преломить тебя моим искусством». Это вот что: слишком ты сложна... я еще не смею себе усвоить всю твою огромность... упростить тебя для жизни... Дари гораздо проще... будет полнИться от тебя, от твоего богатства... Это и мне неясно в целом... но я найду... возьму пределы, уравновешу как-то... Ольга, не смущайся тем, «на го-

рах», что испытала... — это так совместимо с полной чистотой! Это же «право» тела, — перед ним бессильны и святые... в этом и состоит то бремя, что человеку в удел назначено. Тут — тайна, тут — «цепь» (об этой проклятой «цепи» есть у меня российский рассказ — «В усадьбе», ты его не знаешь), та «цепь» тяжелая, которая влачится нами, всеми... на земле... — прах прикован к праху, — до времени, — его не знаем. В монастырях инокини о каменные плиты бьются, — з н а ю. Дари смотрела вожделенно на лядвии архангела! и — искушалась[198]. А в «Чаше» — помнишь? Молодые инокини взирали — к а к? почему? — на лик прекрасный юноши[199] в броне, копьем повергнувшего Змия! Я э т о дал, чуть прикровенно, в меру. В новом издании я выброшу одну «соринку», упавшую на «Чашу». Резало всегда меня, когда подумаешь... — на ярмарке... два словечка только... — ты поймешь, какие: это болтовня гулящих[200]... — не идет к столь целомудренному в моей поэме. Другое дело, если бы в тонах «Четьи-Минеи», а... тут — тут режет мое внутреннее ухо.

Олёличка... так влечет к тебе... ну, все минуты дня — и ночи! — к тебе, к тебе... писать... побыть с тобою сердцем... только тобою жить могу теперь. Сегодня видел тебя... отсвет остался в памяти... ты зажигала елочку, и я слышу, твой голос... — «свечки то-лько пасхальные... только красные...» — и я увидел елочку, в огнях, пасхальных, красных, — радость! Твой — целую — Ваня. Все играет сердце... тобой. Что такое, — не знаю. Прости мои потёмки! О-ля!!!

[На полях:] (Очень извиняюсь перед гг. цензорами, что превысил 4 стр., — но... не мог не превысить, — простите!)

В следующем письме пошлю автографы на твои книги. Заканчиваю «Куликово поле».

Твои цветы ж и в у т! все! Сирень — 25-й день! Гиацинты — 18. Цикламен — с 13.XII. Отопление есть, +14°.

Завтра будет готово стило твое! пустяк — надо лишь сжать «зияние».

93

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

26.I.42

Дорогой мой, милый друг!

Пишу очень наспех, чтобы Сережа смог взять с собой эту карту[i], т. к. мы от всего отрезаны из-за снежных заносов. Были холода (до —21°C), а вот 3 дня идет (валит) снег. Не ходят ни ав-

---

[i] Здесь: почтовая открытка.

тобусы (они же и почту возили), ни что другое. Люди идут 12 км пешком до города. С. рискует на автомобиле. У них тоже не работали эти дни. Так что не удивляйся, что не будет долго писем м. б. От тебя давно ничего нет. Состояние мое (душевное) очень скверно. Ничего не могу! — Писала тебе, открыткой, но... ее вернули. Я по недосмотру не доклеила марки. В субботу вечером ее вернули, а теперь уж не посылаю. Могла бы тебя расстроить. А писать пока я все равно не смогла бы, т. е. отсылать письма. Бог весть когда все прочистят!? Метель сущая. Как ты себя чувствуешь? Скоро будет наш батюшка у тебя. Я просила его сообщить о своем отъезде. М. б. ты что-нибудь ему для меня скажешь. Все-таки скорее, чем письма. И я буду знать через 1—2 дня как ты живешь. Кончаю, т. к. очень тороплюсь. Ты мне ничего не ответил на письма от 1.I.42. И все у меня так неприятно-мутно, сложно. Так мало радости... А ты?.. Ты — в мечтах доволен «призрачной* Олей»! Да? Будь здоров. Оля

Я тоскую.

94

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28.I.42

Милый Ваня!

Тороплюсь ужасно, т. к. пользуюсь случаем — едет лошадь в санках в город за Сережей, который, рискнув на автомобиле, застрял в пути, шел 8 км пешком при —1°С, вытянул сухожилие ноги, отморозил оба уха и остался в Амстердаме. Только вчера управился с делами (удачно!) и сегодня кое-как приехал в Утрехт. Весь день искали за ним подводу. Сейчас чудный день — солнце, тает. Наш март! Дивно!

Я еду тоже — прокачусь. Свои 3 лошади у нас (в другом имении) застряли из-за холодов, а теперь ни у кого не найти, — все в разгоне!

Почту возят на салазках, — вернее совсем не возят. От тебя потому ничего! Потому ли только?!? Я очень измучилась за все эти дни, недели!

Мне так больно, что я не смогла так все твое принять, как бы приняла это, если бы ты меня так... не исколол всю...** Я конечно твою мысль в «Путях Небесных» поняла. Не такая я непонятливая. Я очень догадлива бываю, Ваня!

---

* *А я не могу, не могу, не могу! Я люблю ясность далей, четкость,* «быль». Всегда любила «быль». Но сейчас мне все — все равно. Нудно.

** Теперь все приняла душой. Ландыши цветут еще!

Ваньчик, пуловер тот, я сама вязала.

Ужасно рада была достать шерсти, хорошей, старой. Цвет только был дикий, надо было покрасить. Не знаю уж, хорошо ли будет.

Я так много думаю о тебе.

Я никогда не пребываю в праздности, как это ты думаешь. Напротив — у меня так мало времени! Только занято-то оно все таким... скучным делом! Ваня, я в ужасе — я не могу писать! Я бездарна! Я не знаю как писать! Я так хотела! Ничего не могу!

Я не знала, что мы сегодня добудем подводу, потому не написала заранее, и вот теперь так тороплюсь... У меня масса тревожных мыслей. Все бы тебя спросила! Многого я в тебе не понимаю... Мучает меня это!

Я здорова. Спала при —4°С. Вода в стакане и крем (!) мой замерзли! Теперь уж тепло! Топили массу, но ничего не помогало.

А у тебя-то как? Мой кактус, огромный, больше меня ростом (я его вырастила из одного «листочка»), — замерз. Я чуть не плакала.

А твоя бегония растет!! Она — *не* клубневая! Я же ее дала исследовать тогда!

Я рада, что растет!

С солнцем и мне будто радостней. Спала очень плохо. Сны — ужасные. Я умереть должна была, а Батюшка у меня в глазах «видел березки». Сердце билось. Встала усталая. И почты нет!

Целую. Скоро еще напишу.

Оля

Ужасно обрезала палец, — прости, что измазала [лист].

95

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.I.42 3 дня

Снова мучительные твои письма, Оля... — и меня прожигает болью, и я кляну себя, зачем я попустил в с е э т о?! Пора, кажется, поумнеть, — не мальчик Тоня. Пробую разобраться, как же это так вышло..? Я не смею перекладывать на тебя причину, ты и без того вся истекаешь болью. Пойми: ты для меня — святыня. Это не «молебствия», как ты определила: это истинно так. Понимаешь ты, что такое «ревновать о Господе»?[201] Так вот, это мое пыланье, моя горячка — то же. Всякая неосторожность с тобой, всякая недоговоренность о том, что тебя касается, всякое посягательство, — пусть только тень его! — всякая с тобой «свободность»... — все для меня мучительно, болезненно, тревожно... сжимает сердце, душит, колет, жжет, — и я се-

бя теряю, я... ревную о тебе! Не — тебя, а — о тебе! Ты смешиваешь мою страстность, к тебе и — к тем. Чем тебя заверить, что я в тайниках сердца храню тебя, нетленную, чистую, светлую, единственную на всей земле? Это не «словцо» мое, Оля — это — так, и ты еще сама себя не понимаешь, кто ты! Да, единственную, — другой, как ты, — нет, и не будет, должно быть... Это же не слепота безумца, влюбленного, одержимого маньяка. Это чудесный, дивный вывод изо всего. Ни в жизни, ни в искусствах я не встречал такого образа, такого дива. Презенты-комплименты тебе дарю? Я скуп на это. При всей моей «горячке» я трезв в оценках, я не смею играть таким. Ведь тут в игре — душа живая... а душа — священное для меня, Оля. Я, кажется, имею материал огромный, чтобы понимать, кто эта О-ля! И... такой не верить?! Я своей странностью мысленно ограждал тебя, бессильный... я убеждал себя, насколько ты огромна, недостижима, непостижима — в сравнении с пигмеями, которые сновали около тебя, тебя искали, ждали, и... желали. Ни на мгновение я не усомнился в твоей силе, вере, чистоте. Оля, я все мучительно переживал, с тобой... и во мне кипело — накипало против тех. А ты, задетая: «из моих знакомых не может быть порядочных?» Разве я виноват в этом? Я, *не* вижу. Ну, кори. Это же так понятно. Каких я доказательств домогался?! Я просил, да, возмущенный теми, — закончить твой рассказ, — и только. Я хотел еще больнее мучиться тобою, за тебя! Я раны бередил в себе, навинчивал воображением... — да, в ослеплении мукой, я и тебя винил... невольно, Оля... но веры в тебя утратить... — этого не мог я. Это был бы смертный приговор мне самому. Искать всю жизнь, душевными глазами видеть, поверить, что есть Она на свете... петь Ее, Лик Ее любить, боготворить... создать! — это же не выдумка моя, ты знаешь, ты была потрясена, себя узнав! — или неправда это? Я твое письмо отлично помню, после «Путей Небесных»... — ты бредила, ты была собой, — чудесной, опьянена... — неправда это? Так вот: создать... вообразить... — дать людям — вот, можете, все, восхититься, полюбить, поверить... опьянеть... — и... — встретить, живую, истинную! не лик, а... сущность, яві! Мог ли я, после таких нечеловеческих усилий... после такого, — такое «совпадение» воображения и жизни — ты такое знаешь? — я не знаю, другого, нет его! Так вот: после всего такого счастья! — после такой Победы, — разве не Победа это? ну, найди мне подобное во всех литературах, во всех жизнях! — после всего — утратить, так легкомысленно, так мелко, так погано! Да что ты, кем же ты меня считаешь? Способным плюнуть в то, чем мучился, чем жил, чему

служил! — а я служил, я имею право так говорить, это право трудом всей жизни завоевано! Тебя утратить, Тебя грязнить?! Тебя, в сердце хранимую так свято, так бережно... поставить в уровень с такими?! ... Ну, тогда скажи — ты — сумасшедший! Не поверю, можешь кричать, что сумасшедший, что я — подлец, что содержание моих, тех, писем может быть сравнено лишь с той «универсальной по-длостью»... неведомого «Н.»... — все можешь, — это мимо меня летит, это не в меня! Больно мне может быть, как ты не поняла меня, как легко «сравнила»... — с кем!! — как хороши и благородны все, один писатель — фантазер... может быть сравнен лишь с... мо-жешь, я не обижусь на тебя, на твой запал, я мысленно тебя ласкаю, я тебя благословляю, моя Оля, мое счастье, моя — найдена... я люблю тебя... иначе как же? я же тебя, такую, вы-думал! мечтами высек из небытия... и ты — явилась. Как у Овидиева Пигмалиона ожила статуя! У меня — больше: мечтами предносилась и — явилась. Странная «угадка»? Нет, конечно, — ты была во мне, — необъяснимо это. Что же те? Познали кто ты? Чуть только, что-то... чуяли, — и только. Если бы знали, кто ты, — в осколки бы себя разбили, у твоих ног в прах бы обратились, но... не отошли бы! Убили бы друг друга, себя убили бы... — не отошли бы. Не женились бы на «фрейндин»[1], «хорошей для...» (зачем писала ты эти «голые» слова?! Меня вертело от них. Мне было не по себе.) или на «кукле»... Ты не возмущайся мною: это правда. Ими возмущайся. Разве ты в чем повинна? Ты выдержала испытание с честью, гордо, ибо ты Свет, дочь Света, Ольга! Не закрывай тех, да я и не посягаю на «малых сих». Но будь же справедлива, хоть к себе. Припишешь ли достоинствам хоть доктора, что «так благородно относился, так бережно»? Припиши себе. У того срывалось, сорвалось. Был «злой, темный». Разжигал «ревность» — разжигал тебя! играл с «девчонкой»! «С другой бы поступил иначе». Ясно? Припиши себе. Другой — тот просто: «сам женился на другой». Насильно? Не мог вынести казнь за обучение? Не мог... имея «Нэш», загородную виллу нанимая, — этот «нэш»-то содержать — ведь стоит денег, и немалых. А разве нельзя было часть уплатить и выдать обязательство уплаты в сроки? Все было можно. Все — в карьере! Не узнали, кто ты, — вот, в чем дело. Масса их, вертелись, что-то прознавали... так непохожа на других... очарование... — и — не узнали. Вот, в чем дело. А скажи-ка, можно осквернить... Икону? Можно. Замазать грязью, опоганить, разбить и сжечь? Да, можно. Но... разве на чудо-

[1] «Любовница» *(от нем. Freundin)*.

творную молиться перестанут? Разве «Всечестная» перестанет быть чтимой и творящей чудо? Ты — та Икона. Могли и осквернить, запачкать, — все могли. Есть предел силам человека, страданьям человека. Можно его загнать, заторкать, захватать. Святость есть святость, но человек — от персти. Без Благодати он бессилен. Папочка твой плакал. О чем он плакал, светлый?! Никто не скажет. Оля... я тебя боготворю, мало сказать — люблю. Веришь мне? Я знаю, кто ты. Как же я могу тебя утратить, — все во мне, чудесное, утратить?! Нет, не могу. Сказать мне больше нечего.

Как чудесна! как необычайна ты! Новый штрих: «в бобрике и плюше ноги вязнут, как все там...» Вот ты как можешь, все — одним штрихом. Знаешь, за эти дни мучений ты необычайно поднялась, новая, еще... любуюсь, восхищаюсь... очарован... целую ноги, ножки милые твои, Олёль... схожу с ума, уже безумный. Ты — Душа, вот кто ты. Истинное подобие и образ Божий. Дар Божий. Сам Дьявол очаруется тобой, — ты помнишь «Демон», Пушкина. Недаром мой Вагаев говорил Дари в метели... Перед чистотой, перед святым и Демон «дар невольный умиленья» признает. Как же «сим малым»-то не поступиться своим, им свойственным! Припиши себе. Я кончил.

Жив тобою. Страдаю, восхищаюсь, трепещу, молюсь, ликую, плачу. Да, ты — героиня необычайного романа. Огромного. Огромная. Слепящая. Тебя создать — труд непосильный, мне. Дари — через тебя — могу, и буду. Ты можешь сама творить. Пиши. Ты права: недомолвки искажали правду. Раздражали. Самый прекрасный образ — чуть зеркало кривит — урод! То же в искусстве, в жизни, в «мыслях изреченных» — чуть-чуть уклон — и ложь. Так не вини же, пойми же Ваню твоего... да, твоего? все еще — твоего, да, Ольга? Все о тебе, все о тебе... и дни, и ночи, просыпаюсь, вижу, зову так тихо, нежно, так ласково... Олёль, Олюша... бедная моя Олюша... моя чудеска... умная... ка-ка-я! Господи, Твой Дар. Знай, Оля: ты — такая — одна. Цветочек, умирающий цветочек... святой водой..! перекрестила... — Господи, благодарю Тебя! Ты дал мне увидеть чистоту... ребенка-женщину... дитя... о, какая красота Твоя! Помнишь, Оля? «Господи, Твою красоту видел!»[202] И я. Тебя.

О. А. скончалась от грудной жабы. Нажила горем, нежеланием лечиться, непосильной работой: убивала себя, томилась по мальчику, не могла жить. Как я умолял, требовал... — «успокойся, милый... пиши... ничего важного». Серов в 33 г. определил расширение аорты. Другие врали. Месяца за 2 до смерти Оля сказала мне: «я скоро умру». Собирались ехать в турне по лимитрофам. Я умолял показаться профессорам в Берлине. Повез к доктору: можно ли нам поехать. Неуч заявил: «серд-

це молодой женщины». Два приступа сряду, в понедельник 22.VI — я едва успел прибежать из аптеки: ...после 3-х впрыскиваний понтапона! — мерзавец доктор — не Серов! — она уснула. Я тебе писал об этом. ЕЕ сняли. Мне страшно смотреть — спит, живая, прекрасная. Увидишь. Я тебе все писал, как она лежала в гробу, в лилиях... я читал ночью, чередуясь с чтицей, первую ночь лежал на постели, рядом с ее постелью... о, тяжело... проклятая моя работа! она меня уводила из живой жизни, а Оля гасла... не хватало сил упрашивать: брось работать, все передай прислуге! — «Тогда я не уйду от себя!» Плакал — и уходил в свое. Тяжело. Себя виню, но она — вся забота и любовь — вела свое. И — должно быть наследственный атеросклероз, хотя давление было 15.

Ушла так незаметно... тихо. Усыпил насмерть д-р Чекунов, подлец! Приступ мог бы пройти. За 1/4 ч. до конца Оля говорила матери Ива: «Ваничку, покормите, бедный измучился».

Должно быть ты не получила какие-то письма: я писал подробно о кончине Оли. Но мне тяжело писать об этом, больно.

[На полях:] Прошу: завяли ландыши мои? забыла их? за что?! А я так старался... больно мне. В следующем письме расскажу «историю одного пера». Странная история.

Ах, тебе прочел бы!!! На днях я был на обеде у Серовых, и как же читал «Каменного гостя»! Все трепетали, и — я! Да, мысленно Тебе — читал, да. Ты, ты во мне — всегда!

И откуда голос взялся? Гремел! и какую глубину почувствовал — новую! — в Пушкине! Это не то, что в Берлине я. Почему? Берлин мертвый. Вот, почему. Ольга, я знаю, каким бы артистом был! И все знают. Хвалюсь?

Фото домашние оставь у себя. Если бы ты подошла тогда! Я знаю: я остался бы там. Знаю.

Зачем извиняешься за какие-то пятна на письме? Хоть на дерюге пиши — твое — все дорого, все целую. Твой Ваня

96

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.I.42

Милый Ваня мой!

Кажется, наконец идет снова почта. Спешу послать, чтобы ты не волновался. Но как же мне тягостно на душе! Пойми, что мне твое «прощенье», твое — «из милосердия любви» не дадут покоя. Я вся изранена. Я твое из открытки 31.XII: «жду окончания повести жизни» — даже не поняла, — я думала, ты

злишься, т. к. почтовое промедление принял за мое «ломание», нежелание писать дальше.

Ну, довольно. Безрадостно и тоскливо. Я многое должна решить. Многое будто бы и напрашивается ответом, но я пока что жду. Я еще хочу все, все твое узнать. Всю горечь выпить. Никогда не изорву открытку 31.XII. В ней же целая твоя сторона открывается! Я все должна знать!

И еще должна знать: почему у нас нет благостности, того покоя, который дает чудесный мир душе? Отчего? Я, я всему несу лишь огорченье!

Я должна это все проверить.

Не хочу дальше писать — боюсь «отравить» и тебя своим отрицанием. Я подожду твоих писем. Я посмотрю какой ты ко мне теперь.

Я стыжусь порой выражений нежности своей, своих чувств к тебе, к тебе, меня так обвинившему. Я стыжусь, что быть может ты меня назойливой, навязчивой сочтешь. Не знаю — какой!? И не хочу вот так писать, как сейчас, боясь вынудить у тебя сострадание, желание «извиниться». Ведь само по себе у тебя ни разу даже и сомнение не мелькнуло: «а что, м. б. я ее неправильно обвинил?» Понимаешь?

И до жути больно, что все это чудесное: ты, «Пути Небесные», свечи, ландыши... все это я не могла принять!

Сколько счастья влилось бы в душу со всем этим, не будь этих... обвинений!

Я не написала тебе ничего о тебе... Ты удивлен, быть может огорчен. И это больно мне.

Но что я могу о... внешнем? Если ты — Душа... меня так больно оттолкнул?! Понял?

Конечно все, что ты о своих «смущеньях» пишешь — сущий вздор. Ну, если не хочешь встретиться, — твое дело! Я не хочу неволить! Ты счастлив и «вдалеке»! Я больше никогда об этом ныть не буду.

Я много об этом писала и давно.

Ах, Ваня, я так горюю: я хотела послать тебе теплый пуловер. Был случай послать. Достала с трудом материал, связала сама, но цвет был такой дикий (другого не могла достать — сиреневый (!)), что я отдала спешно красить. И вот обманули меня. Не прислали. Я телефонировала каждый день. Молила. Обещала тройную плату... все бесцельно. Обещали... и обманули. Еще есть слабая надежда до завтра... Не думаю, однако!

Лучше бы некрашеный послать тебе. Но я стыдилась, — сказал бы: «что за вкус у Оли?»

Ах, Ваня, пишу тебе, а как часто теперь боюсь ошибок — необразованная — я!

Ужасно всюду чувствовать себя прибитой!

Я доктору не напишу. Поблагодари его от меня за милое и такое подробное письмо. Я не хочу своим новым письмом принуждать его, беднягу, к «подвигу». Конечно бы я не обиделась, если бы он и не написал мне. Я и не ждала. Я благодарна была ему уж и за его любезность.

Кончаю, Ваня. Опять снег!

Ах да, почему у меня нет образования — я училась в советской школе — институт я же не кончила.

В советской школе мы только то получали, что сами себе отвоевывали. Днем я служила, а вечером училась. Ночью уроки готовила. Я хорошо писала в институте, но в советской школе изломали нас на новом правописании. За границей, я из протеста против большевиков сама постаралась «восстановить» старое правописание. Но м. б. многое забыла. Я тогда училась на медицинскую ассистентку, и так мало было возможностей. Но я хорошо образована по специальности. Т. е., я надеюсь! Я не хочу ничего «писать». Понимаешь, какая муть берет, когда читаешь необразованных? И я уж *до* твоего замечания это знала. Кажется тебе даже писала? Я не мню о себе больше, чем есть! Я не обижена. Но ты меня пригвоздил. Мне все больно. Не могу читать о Дари. Не пиши мне больше историю Даши! Я объясню почему, потом. Мы не должны были всего такого касаться. Я виновата.

Христос с тобой! Благословляю. Оля

[На полях:] В Берлине я написала о «Лике скрытом».

Ничто меня не радует, т. к. ты — прежний мой... где ты? И потому уж ничто не радует. Я тронута «Куликовым полем». Спасибо! Еще не получила.

Не грусти — я все та же, что и прежде, к тебе!

97

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

I.II.42 12 ночи на 2-ое
2.II — 2 ч. дня

Оль-гулинька, так есть захотелось, — это о тебе-то думая! — что, за неимением — пока — тебя, один, один-на-один с ночью, заварил крепче чаю — очень хороший у меня! — душистого, и с таким вкусом выпиваю, с чудесным хлебом — комплэ[1], — как наш лучший черный, с маслом. Помни: прими антигрипаль! Я принял вовремя, и, благодарю Бога, не гриппую. И ешь

[1] Цельный *(от фр. complet)*.

селюкрин! Очень жду батюшку, упрошу его взять для тебя от меня лекарство, посылки с 5.I — не допускаются, никакие. Проси заехать ко мне, или я заеду. Угрею твоего батюшку, угощу, очарую, — вот увидишь. Добрые меня все очень любят, злые — боятся и ненавидят. Выпью еще чашку, все есть хочу. Бодр, очень хочу к «Путям». Но — бо-льше! — хочу к тебе, с тобой, у меня, со мной, всегда, на-всегда! до...вечно! Все бью посуду и как же ругаюсь-черкаюсь! В ужасе от «боя» Арина Родионовна! Летит из рук. Сегодня сам сардины жарил, праздник, не пошел в ресторан — уж приходили звать друзья, в 12 утра, а я... валялся еще. Зато в порядке, голова светла, душа полна тобой и «Путями» — вот — запишу! — завтра и вторник — закончу переписывание «Куликова поля» — для тебя, Ольгушоночек мой, — тебе посвящаю, привет от Вани — от дружки, от однолюбца. — Если бы ты была сейчас здесь, усадил бы тебя в кресло у электрорадиатора и принес бы тебе чаю и вместе пили бы... и ловил красные огни радиатора в твоих глазах! И — у ножек твоих сидел бы!

[На полях:] В ужасе от твоих мышей и холода.

Дай же губки. Твой — ночной — Ванёк — Ваня

98

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.II.42, 11 дня
Только что письмо от 21.I

Дорогая моя Оля, родная, болезная ты моя, светик мой чистый! Каждое твое письмо — страдание твое и мое, и что ты накручиваешь в сердце у себя, в бедной, умной твоей головке! Поверь, страшно мне от твоих отчаянных писем! Чем мне тебя заверить, что ты для меня — в с е, в с е? Что ты — вся т а ж е, желанная, чистая, светлая, недосягаемая ни для пылинки малой! Что ты навыдумала?! Когда, когда мог я назвать тебя «полуобразованной»? А ты из этой навязавшейся тебе на сердце выдумки — не могло быть того! такое насоздавала себе! Веришь ты мне, наконец, что ты — в с е знаешь, в с е можешь, в с е смеешь, в с е одолеешь?! Веришь ты мне, что у меня даже тени мысли-чувства, что тебя коснулось что-то, недостойное, твою чистоту и святость затронувшее как-то, — не было и не могло быть, что ты для меня — чистая моя Оля, девочка моя небесная-земная, моя малютка нежная, мой светик чистый, что я мучаюсь, измучен болью твоей, что я проклинаю и свою ревность О тебе, — не из-за тебя! — проклинаю, что читал твою повесть, меня так взволновавшую?! Ты же сама сознаешь, что,

«мало сказав о себе», ты меня оглушила вереницей «встреч», как бы сознательно испытывая крепость моего чувства, как бы сознательно создавая сгущенность направленных на тебя «посягновений»! Для чего все это, и для чего брать на себя роль «адвоката дьявола», защищать благородство искателей? Мне противно думать теперь обо всем, и я, имея тобой же мне данный матерьял, не хочу им пользоваться, чтобы мгновенно опрокинуть все твои заступничества и доказательства «благородства» домогавшихся тебя. Я все отбрасываю, мне надоело и противно поминать многие имена, недостойные даже твоего презрения! Ты мне прости: я тебе отвечал на эти «защиты», я м. б. и еще что-нибудь острое сказал тебе, в текущих письмах, — но знай же: твой Ваня, каким был, тем и остался, моя любовь и все, что нельзя словом выразить, — не только не дрогнули, но — верь же! — ты мне еще дороже стала, я так мученье твое принял сердцем, и такой нежностью к тебе наполнено мое сердце, все, что есть живого во мне, что плачу я, о тебе плачу, о твоих муках плачу, Оля... Неужели ты настолько мнительна, или — горда? — что даже такому моему крику, такой боли моей за тебя, о тебе, — не поверишь? Тогда, скажи, чем, чем могу заверить тебя, — или же ты совсем потеряла в меня веру?! Никакого прощения я не могу дать тебе, потому что ни в чем ты не виновата передо мной, ни в чем! Тебе, такой, страдавшей, боровшейся своим светом с темным и в тебе, — как и во всех нас, людях, — с темным и грязным в тех, которые хотели посягать на свет твой, и победившей и себя, и все, — тебе прощать?! Или я потерял рассудок, или ты больна неисцелимой мнительностью... — я не могу понять. Зачем ты ломишься в открытую дверь? чтобы себя и меня мучить? Мало ты мучилась? мало я испил за эти смутные недели? Черт отнял у нас святые дни Рождества, наиздевался над нами обоими, лишил покоя, ласки, нежности, в то время, когда я всеми силами хотел приласкать, обогреть твою одинокую, твою исключительную, твою нетленную Душу, Оля моя, чудесная моя! Я твой, всегда твой, ни на один миг не отходил от тебя, всеми думами, снами, всеми минутами дня с тобой был, весь в тебе, как я к тебе взывал, как нежно шептал — Оля, моя родная, моя бедненькая, моя ласточка, ты моя? все еще моя? я — твой? все еще твой, Олёк? Ну, что мне с тобой делать? Не веришь мне? Нет, ты не хочешь верить... тебе какое-то больное наслаждение дают твои разъедающие твое сердце мысли! Чего ты от меня хочешь, ну, скажи! Каких тебе заверений, каких клятв? Ну, сердце вырвать и показать? Но тогда я — мертв буду, без сердца! Этого хочешь? Тогда затихнешь, тогда удовлетворишься? Какую груду обвинений нагромоздила ты на мою не-

повинную голову, на мою душу, на мое истомленное сердце! Зачем? Кому это нужно? Дьяволу это нужно, только, Злу нужно, — не нам, ни тебе, ни мне. У меня силы на-исходе, сердце устало, я сам не свой. Что ты себе внушила? Зачем отвернулась от моего светлого, от моего привета любви, от моих чистых цветочков Рождества? от моих свечек алых? от моего «меня», к тебе вшедшего в заветной книге — моей любви к тебе, моего п о з н а н и я — узнания тебя, Оля! Ты и меня не приняла, ты вот-вот и отдала бы меня на изрезку, я Бога молил — приведи меня к н е й, моей единственной, моей светлой, моей чистой! И я пришел к тебе, так пришел, как молил, как мечтал, к тебе, на твой Праздник, на твою елочку, пришел в лучшем, что есть у меня для тебя, в самом моем заветном, в том, где ты себя н а ш л а, у з н а л а, где я открыл тебя! Я все, все сделал, чтобы в знаках земных, в вещах хоть показать тебя, к а к я люблю, как чту тебя... — и что же сделало Зло, чтобы в с е это, с таким напряжением воли и труда созданное, при таких трудностях эпохи, достигнутое, все перепутать, все смешать, исказить, загрязнить, залить страданьем, раздраженьем, отчаянием, взаимными укорами, обвинениями... и когда же..? Когда мы оба молились вместе, когда мы звали один другого, когда мы в ночном, смутном небе искали нашу общую... н а ш у святую звездочку! Наши белые цветы были одиноки, были — не мною, нет! — откинуты, забыты, брошены! Победа... и какая! и — ч ь я! Зачем это ты — ну, и я! — допустили?! Зачем?! Этот ужасный месяц, ведь он же не только вырван из нашей жизни, он еще и оторвал многое от нас, он многое исказил в нас, но он — этот месяц торжества темных сил... — он все же оказался бессильным — для меня — даже чуть пошатнуть во мне нетленное и чудесное, чем живу, чем счастлив — веру мою в тебя, мое почитание тебя, мое благоговение перед тобой, Оля моя, жизнь моя! Ну, чего же ты хочешь от меня?! каких еще сил, слов, каких перенапряжений?! клятв?! Я не клянусь, я не могу клясться, — это же радость и опять победа темных сил — вымогательство клятв священных! Дай же мне твою руку, Оля, дай мне твою бедную головку, я положу ее к себе на грудь, пошепчу тебе нежно-нежно, чисто-чисто: Олёк моя, Ольгуна моя... поверь же мне... ты для меня все, в с е, Оля... я не могу без тебя и не стану быть без тебя. Не могу. Я люблю тебя верно, сильно, крепко, — лишь бы н е безнадежно! Если бы ты могла услышать, как повторяю твое имя, как зову, ночью проснусь, — сегодня я совсем не спал, я ждал, должно быть нового твоего отчаяния... — и дождался! — зову, лелею твое имя, играю им, ласкаю его, вызывая тебя силой воображения... — и ты приходишь... — и я обнимаю темноту, пустоту моей одинокой ком-

наты. Ах, Оля... все это оттого, что твои нервы больны, что твоя мнительность *дошла до предела бреда*, что ты, уничижая себя, коря меня, чувствуешь м. б. какое-то больное облегчение?! Я теряюсь, я не понимаю... я в отчаянии... я бессилен, Оля... В каждом письме ты разишь меня: то новым обвинением, то новым отчаянием. То — «м. б., и полюбил-то меня через совпадение наших имен?» Что это?! «Я навязываюсь..?» — Что это?! И ты веришь такому в тебе?! Я целовал твою подпись, О. Шмелева, я был счастлив, а ты... что ты писала! Оля, зачем свое больное — навязываешь мне, вменяешь?! Зачем меня приравняла — меня-то! — к содеянному «Н.»?! а? На что это похоже?! Зачем повторение — «сними клевету с меня?» Что ты все — «полуобразованная», «я ничего не умею», «я — ничто», «я не могу писать, не стану!» — что все это?! Или ты потеряла всякую чуткость и не сознаешь, как мне это бьет прямо в сердце? Надо тебе это?! Да обратись же к Богу, помолись, попроси покоя душе! Уйди от темного, овладевшего тобою, от твоего, тобой же созданного отчаяния! Так любить, так верить, так дорожить, так жить, как я люблю, верю, дорожу, живу тобой... я не знаю, не помню, когда такая сила была во мне! А ты... все требуешь: сними, скажи, покажи, поверь, верни мне себя, стань прежним! Да пойми же ты, что я все тот же, тебе дурной сон снится, ты в злых чарах, в наваждениии темном... и ты сама будто хочешь разрушить то, что так чудесно зачиналось, росло, родилось и стало жить! Оля, дорожи, если тебе это дорого, — а тебе, знаю, дорого, как и мне, — дорожи каждым мгновением нашего огромного чувства, нашего такого чистого света, каким мы друг другу светим, должны светить... ведь такой любви, какую я несу в себе, какую ты обрела в своей чудесной душе, так долго одинокой, так ждавшей, так томимой холодом жизни неуютной, одинокой... такой любви, Оля, нет в жизни... — это выстраданная любовь, это вымоленная любовь, это чудесно обретенная любовь, любовь — Божией Волей, это — благодатная, благостная, это любовь священная, любовь святая. Веришь мне? Ну, скажи, ну, детка... ну дай же, я поцелую тебя, далекую, приласкаю, слезы свои волью в твои глаза, возьму твои слезы в свои, — и это слившиеся в одно слезы наши пусть вольются в наши сердца и согреют их своим жаром, своей нежностью, своей правдой, — в которой только одно, одно, святое, — любим, сильно любим, вечно любим, неизменно, во-истину, во имя всего чистого, что в нас обоих, во имя чистых и светлых чаяний наших.

[На полях:] Целую, крещу, люблю, чистая моя, вечная моя! Твой Ваня

Ну, пойми же, ну, прильни сердцем!

Если и это письмо тебя не успокоит, — я не вынесу, мое сердце достучит последней моей силой. Господи, помоги!

Сказал Арине Родионовне про мышей, шубу, она — в с е -о знает! — говорит: нет, не умрет барыня, а в ы ж и в а ю т ее мыши, у е д е т куда-то! А я говорю: дай, Господи!

Это что-то [1 сл. нрзб.]. Кошмар! Брось выдумки о шубе, о мышах... — но ужас, в каких условиях ты живешь! о, бедняжка! И я бессилен тебя вырвать!

У меня +14, 15. Вчера весь день писал тебе. Твое сегодняшнее письмо все сбило, не шлю.

Твой безоглядный, как и ты моя — всегда т а же, моя чистая! Всегда верил и всегда буду верить.

99

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.II.42, 3—30 дня

Ольгуля, безумная Ольгуна, ты — необычайна! Я измучен, — и я же не могу не сознавать, что ты совершенно исключительное «чудо жизни», «чудо человеческой сложности», всего потрясающе-неожиданного, изумительного, непобедимовлекущего, что мог дать з е м л е — и... Небу..? — Всемогущий Художник — Бог! Ты страдаешь, ты истекаешь в страданьях, — на 0,999... ты их т в о р и ш ь с а м а сложностью исключительной нервной твоей природы, — так же вот ты могла бы т в о р и т ь и — будешь! — в твоем искусстве! — ты открываешь головокружительные п р о в а л ы, зияющие жутью пропасти и обрывы не-человеческой психики... ты, вообще, н е в с т р е ч а е м а больше, — и ра-ньше! — в земной-обыденной жизни... — м. б. на каких-то иных планетах и есть усложненные существа, как продукт совершенно иных психо-физических законов, — я предельно-остро мучаюсь с тобой вместе... и — прости, Олюша! — я отступаю перед таким... сверх-человеческим и неопределимым... и не могу не сознаться, что ты покоряешь чарами этого твоего страдания, покоряешь неведомой мне силой страсти-муки, заставляешь плакать, жалеть, безумствовать от бессилия помочь, и простирать к тебе любящие руки в страстной мольбе-молитве за тебя, за эту неземную драгоценность, за это божье счастье, неземное счастье любить т а к у ю, ангело-ребенка... за эту изумительную красоту души, которая вот-вот растает, разлетится в блеске, пропадет, как сон, и страшный, и прекрасный. Оля, Оля, прекрасная моя, Олюша, девочка-чудеска... — ну, утихни, сдержи себя, не расточайся так! Ведь все ты вы-думала, себе наворожила, нанизала

как-то, чтобы страдать, чтобы заставить и другого испивать страданье, — и без умысла все это, из любви своей все это! — ведь такого сам изобретатель «подпольщины душевной», Достоевский сам не показал нам! — утихни, Господь с тобой, крещу тебя, как взбунтовавшуюся-разыгравшуюся в ночи детку... — детки, знаешь, если вдруг разыграются... — о-чень уж разыграются! — плачут ночью, мечутся с подушки... а утром — заболела! Родная девочка моя, утихни... все я понимаю, что в тебе, и как же больно мне!.. ведь знаю, как это все напрасно, как — ни за что! — сгораешь, только. Пойми, безумица! Нет такой веры крепкой в человека на свете, — так лишь могу определить свое к тебе! — какой живу я. Понимаешь? Вера моя в тебя, в твою божественность, твою душевную и телесную Чистоту, в твою Нетленность, — в твою способность охранять честь-святость имени, какое носишь (родного-родового — папина!) — не голландского!, так достойно носишь, Ольга... — эта Вера моя в твое чудесное призвание быть примером человеческой духовной мощи, красоты душевной, чистоты, нетленной в искушеньях, — верь, Оля, эта Вера — безмерна, непоколебима, эта Вера изумлена, — вот что нашел сказать тебе, бесценная моя, непостижимая! Каждое мое слово, Оля, я чувствую, не может все же выразить всей полноты, какую ощущаю самым тончайшим щупальцем душевным... понимаешь? Тобой клянусь, самым священным для меня в сей жизни! собой клянусь, пусть покарает меня Бог, если я сказал неправду! Ну, что же, утихомиришься? поверишь? Дай же глазки, губки... — нежно-свято коснусь их поцелуем, девочка моя святая. Так люблю тебя... ну, плакать хочется, нет слова — передать всю силу чувства... счастья, что так люблю тебя! что и ты, я верю, я смею верить... и ты так любишь, правда? Ну, умирись же, моя страдалица, невольная, повинная богатству своему — к страданью. Но не могу передать тебе и силы своего тобой страданья, всей муки, всех томлений... только сердце знает, что с ним творилось и творится. Ну, довольно... испили оба... да, два сапога-пара. Ну, до чего же мы похоже с тобой переживаем! поражаюсь, как чутки и... как — сознательно? не-чутки?! — понимаешь? О, ты, умка, все с пол-слова понимаешь. Но как ты смеешь говорить — «ничего не знаю», «не училась»... «куда нам с к. р. в суконный ряд»? Оля, умоляю... перепиши мне, где, как я писал тебе о «полуобразованности»? Это ты вывела сама, выдумщица, чтобы чем еще меня примучить, приязвить... при всей твоей любви. Этого я не мог сказать, это опрокидывает во мне все мое к тебе, это я не мог и боковинкой мысли думать: я всегда писал тебе: как ты поразительно много знаешь! Ольга, безумная, истязательша, сумасбродка...

слушай: ты — я сердцем говорю! — все знаешь. Да! В тебе такая сила восприятий, ты так наделена богатством, что начинаешь дебоширить, издеваться над собой, терзать себя, с этого богатства! да, — «бывает это», — повторяю твое словцо! Брось, не проси «на бедность»... сты-дно! — можешь швыряться всем твоим богатством, — и не убудет, как в Неупиваемой. Ты знаешь больше всех ученых, всех мудрецов... ибо ты сердцем знаешь, чем-то такое знаешь, что все «дипломы» — рваная бумага. Ты — огромна! Думаешь — на ветер говорю, тебе понравиться? смиренье показать и заслужить улыбку? Нет, это всё со мной, тобой дано, Всемилостивейше, моя Царица! Не смей же каплюжничать, «себя жалеть» и пи-кать... — так дети начинают пикать-скрипеть, чтобы пожалели их «бо-бо»... не смей же, хоть и ребенок ты, при всей огромности. О, милая, ну как же я не знаю... как сказать, как передать, что чувствую... и как люблю... Ну, слушай... вот как тебя люблю... Вот ты... я смотрю, я начинаю задыхаться, мне трудно, в груди сжимает сладко-сладко, тают ноги, все... я коснулся твоей руки, держу... чуть подымаю, выше, выше... слышу, как ландышами... сиренью, всем весенним, всем твоим чудесным... тельцем... кровкой, всей твоей любовью нежной... нежной, как первые листочки клейкие, листочки золотистые на тополях... ты помнишь, духовые тополя у нас? — чудо-детство... даже сам Достоевский, такой скупой — и неумелый на «пейзаж»? — упоминает в «Карамазовых»[203] — ? — целую... тихо, чуть сильней к губам, сильнее, крепко-крепко... тебя вбираю, взглядом, сердцем, всем во мне, безгрешно-грешным... склоняюсь, умоляю... позволь мне... у локотка, вот тут, у ямочки, где дети прячут заплаканные глазки... ты прятала? там еще остались слезы... детство, маленькая Оля, детка, та — далекая! — помнишь... мечта о кукле-детке..? Ты позволишь... я слышу эти слезы-детство... вижу тебя, дале-кую, тогдашнюю, на Волге, — и Волгу слышу, Волгой пахнешь, ее привольем, снегом талым ее полей, ночными звездами, чешуйчатым их блеском в ней... глубиной стихии... — все в тебе, все слышу... обнимаю, вдыхаю от тебя... целую всю, всю-всю целую... все в тебе родное... трепетное, святое, чистое, и... все цветы полей в тебе целую и вбираю страстно... — и безуханные — весенний воздух в них, и только, — и тонкий аромат подснежника, и горечь молодой полынки, и — будто слабой розы — бубенцов шуршащих... и розовую кашку, и любИсток-зОрю... — душисто-тонкий! — и ирис безуханный, нежно-голубой, и... вот он, ландыш... это дышишь ты, и незабудки, — хлебцем пахнут? Ты, Оля, помнишь теплую просвирку? — как тонко-тонко дышит теплотцой..? — вот это... от локотка так... — с детства сохранила? —

чистая моя, малютка... О-ля, десятилетка, семилетка, пятилетка... Оля... ее целую, вижу, вызываю, создаю... Выше, выше... у плеча... оно покато... бы-ло... исхудала ты... ну — будет... слышу, сиренью дышит шейка... а это... как это..? там, у церкви часто, густо-густо... летом, в июне... пчелы любят в венчиках возиться... ну, шиповник! Розовые губки — как шиповник. Можно? Чуть, нежно, будто струйкой полевой пахнуло — поцелуем. И дальше... можно? Можно. Дальше... томно-сладко, ландыш? В затишьи любит, в затени... и губы ищут щечки, чуть у шеи, чуть... где кольчики волос, за ушком... Тепло и тихо... земляникой пахнет... — можно? Можно... Дремотно, сладко... вечереет день, склонилось солнце... Густой и теплый аромат лугов, ночных, скопилось за день жаром, охладевшим... Ми-лая, ночнушка... ты!? Как кружишь голову, томишь дыханьем, завлекаешь страстью... любка моя любимая... фиалочка ночная... вот ты где!.. Ну, дайся, нежная... Ну... умоляю... бледная какая, в крестиках телесных, страстных... вот ты где..! Бывало, как искал, заветную, зеленовато-бледно-золотистую такую... чуть дурманит... и манит-манит... пить дыханье, пить пьяное томленье... можно..? Нет? Нет, мо-жно..! Любка..! наша орхидея-тайна-греза..! мо-жно... до задыханья, до сладостного вскрика-счастья... Вот, моя Олюша... сон мой вешний, в твоих цветах приволжских, в запахах твоих лугов, твоих раздолий, — в твоем стыдливом, целомудренном, любовном можно. Ну, все прошло? забыто? Ты Ваню, тобою выдуманного, немножко любишь, да? Я — мно-жко, о-чень множко! Ну, поцелуй же. Веришь мне? Я? Как в Господа, — прости мне Боже! — в тебя я верю, в мою Олю! Ну, слушай — вот что было с твоим-моим пером.

Помнишь? 20 окт. «дубина» мне прислал, чуть не погубил «тебя». На следующий день машинка возревновала и сломалась. Чинилась долго, воротилась, застучала. Теперь перо возревновало и... раззявилось... Отвез чинить. 4 раза приходил: все чинят... странно. Потеряли? Наконец-то... нашли. Не починили: не выдержит «вашего нажима, густого штриха». Решили мы — я очень люблю твой, тонкий, — полюбил, Олёчек! — переделать чуть — «на тонкий». И сегодня я добыл твое перо! Тонкий штрих!! твой!! Вот, смотри, как[1]: Как я тебя люблю, Ольгунка! Та-ак люблю, так люблю... вот так, до... писка! Скорей ответь мне, ради Бога! — как ты теперь? Опять себя вернула мне всей прежней? Да? Крепко? Как я жду встречи, и — нерасставанья! Вместе! Хочу с тобой молиться, — и любить, любить тебя. И будем писать вместе.

[1] Далее письмо написано от руки тонким пером.

[На полях:] Всю, всю, до... последней точки! — целую. Твой, верный, весь, Ваня

Я весь в вихре от тебя!

Прости за кляксу! Набирал в перо.

Поцелуй в зеркало себя (за меня!), а в натуре — Сережу и маму, но <u>не</u> говори, что я просил. Мне понравилось «парень». О-чень. А я сам иногда люблю всякую чепуху. Раздолье, разгул и — чертовщину. Да всю тебя понимаю! и — о, как! ценю!

100

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.II.42

Мой дорогой, любимый мой!

Спешу открыткой сказать тебе скорее, что все время с тобой, много думаю, пишу тебе. Написала почти уже большое письмо, но не смогла кончить, так как [в] этот момент (когда я писала) привели маму — она разбилась, упав с лестницы. Разбилась ужасно. Сейчас она лежит, стонет, все болит. М. б. сломана рука. Работники ее нашли, а сама она и не знает, как упала. Помнит только, что лестница стала скользить, т. к. на концах был снег. Стрясла все внутри и голову. Была и есть в сознании. Я ничего не слышала, а сидела и писала. Доктора-то тут даже не достать хорошего. А. тоже сегодня внезапно заболел. Думаю или прострел, или м. б. плеврит, судя по болям. Так что я кружусь между 2-х больных. Оба не могут пошевелиться от боли. Из каждой комнаты стоны. И помочь не могу. Холод адский всюду, мыши... Переселила А. в гостиную, там можно топить печку. Сама же я сплю в комнате с —2—3°С. Ничего.

Ваня! Ты не волнуйся, что долго не будет письма, я постараюсь его сегодня ночью, если можно будет, докончить. Я вся с тобой, друг мой, люблю тебя, мое солнышко! Оля, твоя всегда!

101

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.II.42 <u>второе</u>

Милый мой, родной, любимый Ваня!

Не высказать все в одном письме. Пишу второе[204]. Ванечка, я конечно, тебя всего «поняла». И то, что мне не дали ни Алеша, ни Марина, дал ты, мой неоцененный, всю полноту своей души и сердца! Хоть и далеко ты, но как живой в творениях своих выступаешь, вся твоя Душа! Я все нашла! Я сразу тебя

почувствовала, всего! Ты же знаешь, что любя, это так просто! Я не писала тебе об этом, т. к. страдала, томилась духом. Ванечка, спасибо за маленькие фото[205] в письмах. Я получила их. О. А. очаровательна! Мила! Прелестна! Почему себя отрезал? И скорбного тебя[206] я получила. Ванечка, можно их не посылать обратно тебе? Хоть пока?

Милушка мой, получил ты фуфайку, которую я тебе связала сама? Как сидит она? Не смутился, что «мала мол»? Нет, родной, она должна быть не растянутой, только тогда и греть будет. Должна всего «охватить» крепко, а не висеть. Я это опытом на С. знаю. Она вся растянется на теле, как чулок, и тогда будет сидеть крепко, тепло. Слушай, какая с ней была история: я с трудом достать могла шерсти, собственно для рукоделия, очень толстой и, раскрутив ее, связала фуфайку. Но цвет был «дикий», я не смутилась, думая ее окрасить. «Оказия» же должна была уехать. Я всё же вязала, думая, что м. б. еще кто поедет. И вдруг слышу, что «оказия» задерживается до первых чисел февраля. Гоню, вяжу, несу в красильню, умоляю, обещаю тройную плату за «срочность». Обещают, что 29-го янв. утром готово будет. Я расчитала, что успею сшить тогда отдельные части и отвезти «оказии». Сделала в отделении красильни заведующей подарок, прося ее звонить в красильню и напоминать. Обещала. Уже с 23-го я сама звонить стала. И вдруг заносы снега. Все встало. 25-го никто, ничего не знает. 28-го тоже. Я хотела туда сама ехать, на фабрику, но это у немецкой границы почти что, а сообщения никакого от нас. Автобус не ходил до Утрехта. Я в отчаянии. Звоню, что если не красили, то пусть пришлют не крашеную, — пошлю, думаю, уж и такую. А ты пишешь, что — 7°. Я в отчаянии. 29-го не прислали, 30-го тоже, 31-го звоню, — тоже. Наконец, 31-го вечером, я чуть не плачу, с мамой говорю, что какая обида. И вот, слушай, уже в 1/2 11 вечера (здесь не принято после 9 ч. вечера звонить, да еще в субботу), я решила звонить в отделение, на авось, не живут ли случайно кто при магазине, хотя глупо было, т. к. на другой день воскресенье — закрыто все, а в понедельник рано утром уже уезжала «оказия». Да и кроме того сообщение с Утрехтом таково, что мне бы и невозможно было успеть. Воскресенье — последний день, но так как воскресенье, то все пропадало. Я все-таки, по наитию, рискнула и позвонила... Слышу подходят (берут трубку). Извиняюсь ужасно... ко мне очень милы; надоумило меня что-то подарочек-то им сделать (тоже совсем не принято!). Спрашиваю: «ничего для меня нет?», и уже не надеюсь. И вдруг: «да! сейчас вечером принесли пакет "exprès", и я хотела звонить Вам, но уже так поздно и Вы сказали, что 29-го последний срок, ну хоть оставили еще до 30-го, а потом

я уж не думала, что имеет смысл». Я стала ее просить, нельзя ли завтра, в воскресенье взять пакет и у нее же сшить. Можно. Хотя, здесь наши фарисеи ничего не делают в воскресенье, даже грехом считают ездить на поезде. Условились, что в 11 ч. я буду. Я расчитала, что с автобусом в 10 ч. от нас. И, о, ужас! за ночь масса снегу! Но автобус пошел! Я получила, стала тотчас же шить, 1/2 часа до поезда было. Прихожу на вокзал и через 3 мин. поезд в Гаагу. В вагоне узнаю, что было накануне крушение (сошел с рельс поезд) и это (мой-то!) первый поезд пошел. Я свободно бы поспела съездить в Гаагу и вернуться в Утрехт до последнего автобуса (1/2 6 ч. вечера), но тут вижу не успеть. Мы стояли через каждый шаг. Приехали в Гаагу только в 1/2 3, а мой обратный поезд идет 3—12! И если на него не попаду, то и вовсе в Schalkwijk не попасть. Я уже в поезде начала дошивать фуфайку, но не кончила и стала соображать что делать. Но была уже и то счастлива, что она у меня уже в Гааге, а сама то я уж доберусь! Как только приехала, так побежала к одной русской даме и стала молить ее докончить. Обещала. Бедняга лежала простуженная с невралгией лица. Но мне было все равно. Только бы ты получил. Но не знаю как она выглядит? Тебе ничего, нравится? Или нет? Скажи прямо. Она совсем настоящая шерстяная, и это главное. Я знаю, что ты носишь пуловеры, — на фото в Ужгороде! Потому и решилась. А то некоторые не любят. Получил ее? Получил и о папе моем? Да, время летит... скоро масленица... я к тебе на нее тоже немножко хотела прийти... Ах, да, еще.... от 1/2 3 до 3—12 я успела съездить к «оказии», возвратиться на вокзал и захватить поезд. Была дома как следует! Разве не чудо? Прямо удивительно! У Сережи 3 месяца эта же красильня держала вещи, правда не «срочно». С. мне взял всю надежду: «нет, Олечка, отложи великие упования!» И вот! Это воля моя сделала! Теперь опять автобусы не ходят. Да, Ваня, о С. хотела тебе давно сказать. Думается мне, что ты предполагаешь его зависимость от Б[редиусов]?! Нет! Никому из них он не обязан. Совершенно случайно, м. б. только чуть-чуть благодаря мне, к нему хорошо относящийся наш сосед по Бюннику, порекомендовал его своему со-директору. Очень скоро они С. полюбили и поставили его наряду с собой, а теперь даже и отделение ему передали. Субсидировали его целиком, без единой расписки, переводя тысячи на Сережино «конто»[1]. И когда С. благодарил за доверие, то сказали: «да, его Вы имеете на все 100%!». Сережка всецело сам пробился. И очень рад этому!

6.II.42 Тороплюсь кончать, т. к. ты, верно, заждался, Ванёчек, дорогой, как больно мне, что ты не такой меня представля-

---

[1] «Счет» *(от нем. Konto).*

ешь, какая я есмь, — легкой какой-то. Ты думаешь, что я могу «перепархивать» от одного к другому, «придерживая одного про запас»... Горько. Я писала тебе, что сумею ответ дать Богу за то, что, будучи женой А., тебя полюбила и хочу уйти. Да, я смогу дать ответ, т. к. никто не знает какой этот мой брак... И не надо никому знать. А «перепархивать»? О, если бы ты знал, как трудно я живу, во всем, как совсем не «легко». И вот теперь, непонятно и странно: — мне морально гораздо труднее уйти от А., оттого что от этого ухода зависит *мое* счастье[i]. Я до мучительнейшей боли душевной страдаю этим. Я очень сильно «человек долга», и мне было бы просто невозможно нарушить этот долг, если бы я чувствовала, что именно *долг нарушаю**. Я тебе уже сказала, что если бы мне приходилось ломать семью ради другого, то это значило бы для меня ужас. Не знаю, что бы я пережила. Я не позволила бы себе «открыться», даже тебе, — подумай, даже тебе (!), которого люблю так, что нельзя сильнее, глубже, чище, прекрасней; я задавила бы все в себе м. б. умерла бы даже, м. б. не знаю что бы сделала, но осталась бы на посту. Ты для меня единственный в целом мире, я знаю, что полюбила бы тебя (и встретив, и по книгам) все равно, даже в самом счастливом браке. Я же не от скуки тебя полюбила, но потому что ты — Душа моя, Жизнь моя, Свет мой! Ты тот, которому я все бы сказать могла, все открыть. Ванечка, не ищи никогда в моих словах скрытых смыслов, я так перед тобой открыта. Дай мне возможность тебе смочь все говорить. Не забивай меня моим же, — это меня очень мучает, лишает самого заветного — возможности быть с тобой открытой. Я уверена, что мы были бы очень счастливы, если бы до конца поверили друг другу в искренности. Я сказала, что есть пункты, о которых надо только говорить. Но я уверена, что мы во всем сошлись бы, в главном. Иначе быть не может. И не привходящему же, постороннему, забить между нами клин?! Ванечка, я только 2 пасхальные свечки сожгла на елке, только твое желание исполняя. А 3 еще целы. Я тебя крепко обнимаю и благодарю за все! Конечно, я была ужасно тронута, и тем было все еще больнее. Вань, ландыши чудесны. Очень, очень было все красиво, в корзиночке с красивой зеленью: очень нежно-зеленой и совсем темно-зеленой-красной. В тон этим последним были на дужке корзиночки банты. Они все еще стоят. Я даю им засо-

---

[i] Выделенный фрагмент впоследствии подчеркнут О. А. Бредиус-Субботиной красным карандашом.

* Никакая любовь, самая сильная, святая, чистая, не смогла бы извинить мне моего «преступления» долга. Если бы я совестью знала, что п р е с т у п а ю. Или... если бы я не осталась на посту, то... я бы очень страдала. М. б. до смерти! Я же дам ответ! Я не преступаю.

хнуть, чтобы весной высадить в сад. Бегония растет, — уже 3 листочка, я ее очень холю. Как рано в этом году Пасха! Ваня, я так люблю «Покаяния отверзи ми»[207]. Но не могла слышать. Давай в грядущем посте особенно чисто и тепло молиться Богу. Давай беречь покой Души каждого из нас. Не надо писать о наших «романах». Это была моя ошибка, моя «повесть». Я могла тебе устно все рассказать. Я себя нещадно сама бью совестью и бывало так, что на исповеди меня священник оправдывает, а я все свое, так что наоборот получалось: не он меня наставлял, пробирал, а я его заставляла. И в «повести» я тебе описывала вещи, кажущиеся всякому гораздо серьезнее, чем они были, просто потому, что о них говорится. Но я все же себя очень порицаю за многое. Но, Ваня, грязи не ищи!

Из писем священника (о. Диодор) ты смог бы также увидать, что N. не «преступник». О. Диодор имел дело с теми типами, которые N. оклеветали. Я сама даже уже это забыла, но перечитывая письма и это нашла. О. Диодор пишет: «не смущайтесь того, что наговорил про Вас N. — никто ведь ему все равно не поверит, зная Вас, нельзя этому верить!» Ванечка, я бы так хотела твоего покоя!

Как подхватило меня твое... о... лыжной прогулке[208]. Как чудесно! Ваня, я так хочу, хоть немножечко похожего! Тебя! Хоть раз тебя увидеть! Хоть раз! Я так часто смотрю на твой большой портрет. Любуюсь, говорю с тобой, хочу повернуть тебя совсем к себе, чтобы смотрел на меня, в меня! Он дивный! Портрет твой! Как я люблю тебя, Ваня! Поймешь ли ты все, что я тебе тут писала? Не обидишься ли, не скажешь ли «мало любишь меня, если можешь писать, что “морально трудно уйти”?» Но пойми, пойми, Ваня! Пойми меня, мою любовь к тебе! Пойми, что вот несмотря на мою такую «трудную» совесть, я все же писала тебе, что убежала бы к тебе! А это ты за «легкость» счел?[i] Нет, Ванечка, о, если бы ты все, все во мне видел, все знал!! Ванечка, я цветочков в пакетике не получила, но я их сердцем взяла. Я прилагаю к этому письму карту Д. М.[209], т. к. то письмо очень длинное. «Подарок» — просфора, которую я ему на Рождество (без письма) послала. Я знала от его друзей, что он горюет без Литургии, в лесной глуши в санатории для больных волчанкой. И послала. Это было после того, как я ему о чувствах говорить запретила. А этой просфорой я хотела показать, что остаюсь только его сестрой по Храму, по Церкви. Он это оценил. От других знаю. И верно понял. Покончим только, ради Бога, со всем этим! «Они» не стоят этого! Столько было муки эти

---

[i] Выделенный фрагмент впоследствии подчеркнут О. А. Бредиус-Субботиной красным карандашом.

недели! Ванечка, я в следующем письме постараюсь тебе об Оле 10-летке и еще более младшей написать. Хорошо? Ваня, ты получил мою надпись на фото тебе? В письме послала. Голубчик, пришли мне автографы для книг. Я все жду, не отдаю переплетать, — боюсь откажутся, не будет материала. С моей визитной карточкой на Новый год ничего не понимаю. Я её дала барышне в цветочном магазине, чтобы прикололи к цветам (сирени) на Новый год. А ты ее получил уже 25-го XII? в письме к тебе. Что за фокус? м. б. цензор положил? Ну, целую тебя, мое солнышко! Будь здоров! Твоя всегда, Оля. Будем молиться, чтобы увидеться! О, если бы! Не вижу пока путей! Но верю!

Нарочно не дописываю, чтобы для цензора с прилагаемой картой не превысить 2-х листов! Только бы дошло, и ты поверил мне!

В день рождения Сережечки я думала о тебе!

Ответь на все в этих письмах![i]

102

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7.II.42, 11 ч. вечера
8 утро 11 ч.

Милая Ольгуша, наконец-то — к продолжению твоего «Куликова поля». Прерывать не стану. Читай все вместе, иначе ослабишь восприятие[ii].

Докончу в следующем письме, Олюшечка. Но до чего эта Оля — т ы![210] Теперь я это так ясно в и ж у! Этот рассказ — был — предтеча нашей встречи. Был закончен к февр. 39-го за 4 мес. до твоего письма. Целую. Твой Ваня

[На полях:] 4-ое письмо с «Куликовым Полем».

Сегодня еду в Meudon — получить твои «ручки». Мо-ро-оз!.. И везу посылку. Но... возьмет ли?!!

103

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.II.42. 11—40 утра

Продолжаю, милая Оля, «Куликово поле»[iii].

Вот, дорогая Олюша, отныне этот рассказ — Т в о й. М. б.

---

[i] Предложение выделено О. А. Бредиус-Субботиной, ее помета: !!
[ii] Далее следует текст повести «Куликово поле» (гл. IX—XI).
[iii] Далее — текст повести «Куликово поле» (гл. XI—XII).

это одно из более углубленных, внутренних, моих произведений. Это — предтеча нашей встречи. Разве это не ты?! Вся — ты. Так и была, в янв.—февр. 39 г. — найдена Оля. Да, так тогда и была названа. Прими сердцем от твоего Вани, — я плакал иногда, когда, ночью, писал. 4 дня нет писем от тебя, эти дни — пустые. Но я их наполняю. Я все живу тобой, «Путями». Завтра я их продолжаю. Все во мне бьется. Целую, светлая моя, Олёля моя! Твой Ваня

[На полях:] 5-ое письмо с рассказом «Куликово поле».

Последнее твое письмо было — от 28.I.

Оля, помни: только эту посланную тебе редакцию «Куликова поля» я признаю — подлинной.

104

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.II.42

Милый Ваня!

Мучительно до чего это наше: ты тревожишься моей тревогой, а я изнемогаю твоей тревогой!.. И так без конца!

Положим же конец этому!

Ничего не хочу касаться, — скажу только, что я ничего не «нагромоздила», но все ты мне сам дал. И назвал меня подлинно мало образованной, сказав, что «обвалы» эти я «природным умом» заполняю. Но все это пусть сгинет! Я не могу больше!

Я просто боюсь твоих писем, и теперь, если даже и будут приходить волнующие меня, то просто выжду, пока получишь ты это мое.

Я им ставлю точку на все плохое, что было за этот месяц.

Прости мне, Ваня, что не пишу много, я так устала. Я вся «сожглась» тревогой. Места живого нет! Мне отдохнуть хочется. Скоро пост. Как хочется тишины и мира!

У тебя теплей ли? Я измучилась о тебе в холоде!

У меня в столовой тепло, +10°, у мамы очень тепло, теперь для больного А. (не серьезно, слава Богу, не плеврит, как думали сначала, прострел, уже встал сегодня. а то был чистый лазарет у нас!) топлю салон, — тоже +14—15°. А в спальне — 4—5°.

В моей комнате — холодильня! Ужас!

Я все же от ужаса мышиного нигде не могу спать, кроме спальни, — там их нет. Вчера вылилась бутылка с кипятком в постель... кошмар. Сегодня утром попало что-то в трубу камина в салоне... крыса? Нет... сова! Маленькая, чудная, дуся! Хотела тебе сегодня написать об Оле-глупышке, малютке, но не могу. Устала, Ваня. А ничего не делала! Мама уже поправ-

ляется тоже, — только ушибами отделалась. С. приехал опять к нам вчера — привез твое от 2.II. Мне больно, что ты за меня волнуешься.

В посте хотелось бы помолиться.

Да, то сам дьявол «шутил» нашим миром! Я очень устала от всего этого! М. б. ты получишь это письмо к прощеному воскресенью, — тогда п р о с т и меня за все... невольное, «вольного» не бывало! Господи, как хочется тишины и покоя! Я устала от моей жизни «урывками». Нет текучей плавности дня! Жду лета. Хоть уходить будет можно! Я не верю в визу в Париж — не дают женщинам ни за что! Надо смириться, верно, и себя не мучить. Получил ли ты мою посылочку? Прости, Ваня, что пишу карандашом, запропастилось стило. Сегодня я чуть-чуть рисовала. И то уж устала. Иногда мне хочется лежать с закрытыми глазами, не говорить ни звука и не вставать. Но и этого нельзя — всюду надо быть самой, в каждой мелочи! И этот холод! +10° — тоже ведь мало! Я люблю теплей! Но... многим еще хуже! Я должна быть довольной, как и ты писал. И это верно. Пришли, если хочешь, автографы к книгам. Я их должна отнести в переплет. Кстати: никогда я бы на «изрез» тебя не могла бы отдать. Я же писала.

Ну, Ваня, будь здоров, Богом храним, за меня покоен! Идем в пост! Твоя Оля

[На полях:] Я очень, очень хочу обрести покой, помоги мне в этом! Будем беречь друг друга. И никогда плохого в другом не искать, — тогда все будет хорошо.

Больше веры друг другу! Веры в основном! И не «трепыхаться», — ничего мы сами не можем все равно. Я прошу Бога помочь мне смириться, дать хоть немного мира душе!

105

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9.II.42, 8—30 утра

Милый Ольгунчик, свет мой немеркнущий! Что ты со мной сотворила! Я так одарен тобой, такой вознесен, мои золотые ручки! Вчера я был в Медоне и получил все. Приехал — и тут же совлек с себя свой свитер, надел твою дивную «теплушку» — что за мастерица, как влитой я, все обтянуто, грудь — как у хорошего спортсмена, — правда, у меня грудь высокая! — и я почувствовал себя — в уюте твоего сердца. Я весь в тебе; всю ночь я как будто бредил тобой. Итак: я вчера надел твою грелочку — что за толщина! — только что делать с мохрами, у ворота? — воротник отложил, затянул «цепочкой» до

шеи, и стал пить чай с твоим чудесным маслом, и читать о папочке! Ах, какое у него лицо было, глаза какие! Он — Свет. И я узнаю в нем тебя, смутно ты видишься мне в его лике. Моя чудеска, моя прекраска, Оля... — целую тебя бессчетно. Я рад, что о. Дионисий принял коробок для тебя. Я виноват перед ним: он хороший, милый, скромный, а я, идиот, прошлый раз рассерчал — в письмах тебе, — ну, его к черту! — ну, не идиот неистовый?! — и все из-за того, что «вообразил», что тот из кичливости ко мне не побывает, а я для него кулебяку заказал! А он болел гриппом, и мама его бережет. И, идиот, ни за что, ни про что его отца пристегнул, а капитан Лукин[211] и работал-то в жидовской газете в тисках, как я узнал, его там карнали. Семья их — удивительно хлебосольная, меня приняли как родного, закормили, папиросами даже русскими наделили. Капитана не было, он в Италии. Милая, прости мне мое неистовство! Я все еще — огненный, бешеный, кипучий... но смиряюсь. Раньше каким я бы-ыл! Ну, порох... от кипучей работы страстного воображения. Так все во мне. Ты меня знаешь — и простишь. Обидев кого, я готов на коленях молить о прощении. Не вмени мне греха моего. Олюньчик, Ольгуша... как нежно вчера в 11 ч. вечера я призывал тебя, называл именами нежнейшими... и молил — услышь! Сегодня я должен кончить переписку «Куликова поля» — для тебя. Я кое-что правлю, и рассказ стал полней, лучше. Это — ты все. Он — твой отныне. Спешу отправить книгу о. Дионисию. Еще одно поручение — для тебя! — и поеду в центр по делу. Ольгунка, неужто из моего посыла ничего не придется тебе по вкусу?! Я буду в отчаянии. Хоть сухие бананы пососи! хоть чернослив! хоть шоколад! Хоть бретонские крэпы! хоть «дрикотин» с «сюрпризом»! Воображаю, что сталось с этим сюрпризом... промаслился, пожалуй! Духами душись во-всю. Ешь клюквенный кисель. Если нет картофельной муки, сама сделай, из картофеля, потри на терке и отмучь в воде, крахмал осядет, высохнет, и будет «фекюль»[i] первый сорт. Видишь, я все умею. Я бы такой тебе кисель сварил! И морс сделал бы... — ты должна любить клюкву, ты — клюквенная, вся! северяночка моя, рыбка моя. Как я ценю тебя, люблю, чту, лелею в сердце, несу всегда, всегда. Целую от темечка до пяточек, и глазок твой, каким к маме привязана была, — и его целую. Ты его знаешь, глазок этот? Ну, ты знаешь, детка... «спящий» всегда «глазок». Он у тебя недалеко от сердечка... отмеряй — всего пядь с малым. Так вот я его особенно целую — и в нем — всю тебя! Олёля моя, бесценная

---

[i] «Крахмал» *(от фр. fecule)*.

девочка... как я хочу увидеть тебя! обнять, прижаться к тебе тоскующими глазами, согреться твоей теплотцой, нежностью твоей. Оля моя, радость светлая. До свиданья! До скорого свиданья! Ручки твои целую, золотые. Я исцеловал «теплушку» твою, я так счастлив. И такая она крутая, такая теплая, и так мне нравится эта «марина», это наше Черное море! Сейчас я опять в ней, и мне так тепло, от тебя! У, радость-детка, как же я жду тебя, как ласкаю в мыслях, в сердце... — единственная, чудесная, неповторимая!

Твой, весь, всегда твой Иван — неистовый, Ваня-ласка.

Оля, глазки дай! ручки! все дай!

106

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.II.42, 2 дня

Дорогая моя Ольгуличка, суди сама, как я получаю твои письма, и что со мной творится. От 19.I[212] получил 24. Письмо страдания твоего. А я уже 22 послал тебе всю свою душу! умолял успокоиться, я в тебя верю больше, чем себе! Письмо 22.I, получено 29, я на нем пометил — «Оля, бедняжечка моя, все мучается! Господи!» — Продолжение предыдущего письма, получено 29-го, — все та же мука, и я бессилен — расстояние! — снять ее. Письмо помечено 21.I — получено 2.II, помечено мной: «опять страдание! О, бедная моя девочка! Ну, как уверить, что она для меня все??!» — Письмо, 28.I, получено 5.II, чуть светлей, пишешь, что «теперь все приняла душой, ландыши цветут еще». Помечено мною: «все еще не получены мои "объясняющие" письма!» Затем идут: открытка от... 22.I, получена 6.II — !! — опять боль, и еще — эта ужасная мнительность, неуверенность в себе. Помечено мной: «если бы она сознавала, какая она си-ла! Господи, помоги ей, моей Олюше! Она должна творить, она не знает, что вся она — великое искусство, что в ней, на ней благодать — назначение — творить!» И последняя открытка, от 26.I, получена 10.II, опущена Сережей в Амстердаме, — опять подавленность, — правда, она была писана до 28-го. Видишь, какая мне мука, — я ведь все тебе описал, во всем повинился, всю душу тебе показал, во многих письмах, и не знаю, да получила ли? Ольга, как можешь писать, что я «в мечтах доволен "призрачной Олей"»?! Оля, откуда ты это вывела? Я, пока благодарю Бога, что хоть издали чувствую твое сердце, любуюсь сокровищами твоей души, что ты любишь Ваню своего — тоже «призрачного»... — но я всеми силами хочу, жду... тебя, Оля, живую тебя! — ко-

торой я не достоин! А томлюсь я как, Олечка! Когда все только тобой наполнено, — и нет, и нет тебя... и я еще столько боли тебе доставил, — проклятый я! и не знаю, убедят ли тебя мои письма, мой крик моей боли... А дни, как нарочно, стали тянуться... и письма твои редки, и все вперебой, и все не узнаю, да получила ли, наконец, мои, которые должны дать тебе покой и веру, что люблю тебя, как никого еще не любил, никогда! Так вот не любил, до муки, до смертельной тоски-отчаяния! Оля, я не просто люблю, я люблю-благодарю тебя, люблю-боготворю тебя! Если бы я был на 10 л. моложе! Вся жизнь была бы впереди еще. А дни уходят... Оля, твое письмо от I.I было — есть — изумительное! То, где ты поперек страницы приписала[213]. Его получил я только 21.I — !! и надписал на конверте: «поразительное выражение чувства!» Я на него ответил. Я все сказал. Мне нечего скрывать от тебя, и я страстно хочу быть с тобой вместе, не расставаться ни-когда. Работать с тобой, думать, делиться с тобой всеми движениями души, всеми мыслями, планами, надеждами творческими, всегда с тобой, и только с тобой. Ничего, никого не надо мне в жизни, — только нежно обнять тебя, в глаза твои глядеть... тепло твое почувствовать, горячку-нежность твою в себя вдохнуть, — ах, Оля моя, необычайная, нездешняя ты! Читал некролог о твоем папочке — и тебя в сердце держал. Красивый он был, светло-красивый, дивный. Жизнь его — исключительная, но не умел оттенить это некрологист. Он все дает «благолепно-лампадно», а надо строго и глубоко, не разжижая мелочами. Я-то и из этих страниц мог все несказанное, — в душе о. Александра укрытое от земных, — увидеть. Его «жертвенность» земными благами надо было оттенить, и не цитатами из Писания. Надо было дать и семейные чувства его, — ведь тут весь человек должен даваться, в посмертном слове! Оля, ты от Него, я чувствую... — и я по тебе уже дополняю твоего папочку. Если бы дожить, поклониться его могилке и воздвигнуть над ней бело-голубую часовню... и там написать о нем! Украсить фресками, цветами жизни, цветами Духа, — подвигов выражением! Я был бы счастлив это выполнить, во-имя Правды Божией, которой был верен твой папа. Во-имя твое, Оля, — его чудесного цветка! Ольгуша, свет мой чистый, как же я тебя люблю! Знаешь, я не вылезаю из твоей «грелочки»! Она так обтягивает, будто обнимает, и я слышу твое сердечко — в своем. Она напиталась от тебя, и мне это передается — тепло твое. Я слышу, как будто, духи... чуть-чуть... я в каждой петле вижу твои пальчики, твои глаза... я глажу эту «маринку», я ее целую. Я как влитой в ней, «моложе», говорят мне... стройный. Да, правда, стройный. Я как

гуттаперчевый, гибкий, быстрый, легкий... мальчишка старый, странно как-то. Знаешь, я сейчас сильней, чем был 10 лет тому, — это я испытал вчера, — когда мылся в... кухне! Ванную комнату не отапливают, горячей воды не подают. Для меня мука была, терпеть две недели, — были холода, а я кашлял, — не мыться. И вот, вчера, я газом нагрел кухню до 22 градусов, поставил огромный аллюминиевый таз, нагрел воды... и полтора часа возился с «баней». Бывало, выйдешь из ванны, расслабленный, дремотный... А тут, после «гимнастики» с водой, верченья с самим собой, с огромным тазом, с уборкой после... — я вышел совершенно бодрый, напился чаю с твоим чудесным маслом, да еще часа полтора слушал стихи одного отчаянного поэта[214], в конец меня доканывавшего, плохими же стихами! — и я был свежий — после таких стихов-то! — и скоро заснул, — в 12 ч., — и проснулся... в 11 с половиной — !! И с каким же наслаждением пил кофе, ел твое масло, — у меня и свое есть, но я хотел — твоего! Ольга, Олёк, Ольгунок... я не могу без тебя, я замираю без тебя, я плачу... я хочу всегда быть с тобой. Я могу с тобой много еще дать... так во мне все горит и светится. Если бы обнять тебя..! Иногда мне кажется, что ты близко... что ты можешь приехать... каждую минуту, и я начинаю строить планы... Я всегда у твоих ножек, у твоих коленочек, кладу голову на них, смотрю в твои глаза... шепчу самое нежное, что в голову приходит, что тебя ласкает, — о, дивная моя Царевна! Как ты умеешь хорошо сказать, как ласково показать, как любишь..! Оля, я живую тебя люблю, хочу... дышать тобой хочу, твоим всем, всем существом, и земным, и — душою твоею бессмертной, Небом в тебе! Я чисто тебя люблю, и — пылко, знойно даже, жарко, страстно. Ты прости, это не грешно, так любить, то — надо так любить... это — дано нам так любить. Я счастлив, что твоя мама понимает, что «так нельзя же», — томиться только. Я вчера был радостно-тревожен, я ждал тебя! Странное такое чувство — близости. Ты, м. б. думала обо мне? Иногда мне кажется, — и страшно мне! — что нами играют злые силы. И опять эта острая боль при мысли, — зачем, зачем не случилось тогда, в Берлине, в 36 г., встречи с тобой?! Все было бы, м. б. иначе. Олюнчик, я послал о. Д[ионисию] книгу «Свет Разума», и — для мамы — «Няню из Москвы». «Пути Небесные» — только для тебя, милочка моя, ты, ты только у меня для них, и какую же Дари я сделаю тобой! Ах, ка-ку-ю..! Ты отмахнешься, пожалуй, скажешь — «но какая же... до муки страстная!» Нет, до... светлого счастья — страстно-жадная! Я ее дам о-чень особенной, в нее теперь все, все будут страстно влюблены... — в тебя, Олюнчик. И какое прекрасное тело

дам ей! Я боюсь, как бы не переступить границ меры, так я восхищен тобой. То, что во мне, ты и не представляешь... — этот захват тобой, хотя и не видал тебя, настолько силен, что я пугаюсь, найду ли спокойствие давать Дари. Эта предельная «влюбленность» вносит в творческую часть души страстность, колеблет равновесие «покоя», нужного для работы. Писать женщину — для меня теперь — это: писать тебя! Писать — и в то же время — любить, — кипенье в чувствах, до... осязаемых событий, — кружит голову. Но, с другой стороны это может дать слову-образу — очарование предельное, когда слово переходит в живую сущность, в трепетное-живое, что вот-вот услышишь, как бьется кровью, как сладок поцелуй, как опьяняет страстью... — и — «Слово плоть бысть»[215]. Оля, я ждал сегодня письма твоего и не получил. Я страдаю, я не нахожу места, я слушаю шаги, но уже 8 ч. вечера — не будет почты. Вся моя жизнь заменилась тобой. О чем бы ни думал — все ты, все ты, вся — ты. Оля, не бойся писать, грех это — отталкивать свое. Пиши — как можешь, — все будет прекрасно. Ты — переполнена. Страх — не плохо, это есть сознание важности дела, его священности. Но надо его одолеть. Думаешь, не бывало во мне страха? А де-сять лет моего «воздержания»[216], после «У мельницы» и «На скалах Валаама»? И было бы преступлением, если бы я не преодолел. Я снова начал, когда мне было 28—29 л. Ты — зрелей меня, тогдашнего, и ты преодолеешь. Спроси чутко сердце, душу свою: «что я хочу писать? о чем поведать?» — и вслушайся. И начинай, как хочешь, с чего хочешь. Рассказывай — поведывай — просто, без напряжения, без оглядки, без опаски: выйдет. Ну, расскажи просто, какой «идеал», образ предносился 10-летке Оле, в церкви. Ты когда-то намекнула мне и не рассказала. Это дай. Будто мне пишешь. И все, все пиши так, будто мне рассказываешь. А меня ты знаешь, меня любишь, и — не будет страшно. Я, ведь, не буду тебя смущать: я все приму, любя. Ну, милая детуля, не бойся... ну, бросайся в воду, плыви же... — я поддержу тебя. Если бы ты была здесь, со мной... я тебе нежным поцелуем, в щечку... влил бы силу, веру в себя. Знаю, что ты будешь писать, будешь знаменитой, будешь полонять сердца. Вот как я знаю, как я верю! Вижу. Скромница, робкая моя, чистая Оля... — какую красоту души в тебе я вижу! Капли одной этой красоты довольно, чтобы стать писателем. Верь мне, поверь в себя! Оля, ночью я чувствую тебя... так близко! Твой Ванюрочка. Прилагаю фото-«москвич»[217]. Обними! не фото, а меня. Я жду тебя.

107

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.II.42, 1 ч. дня

Оля, снова, запоздалое письмо, 30.I, и снова громоздишь на себя, — с переводом на меня, — воображаемые терзанья. Я, тебя «оттолкнул»?! Не выдумывай, не томись болезненным желаньем «всю горечь выпить». В моей открытке открыла ты «всю новую сторону меня»? Придумывай же — какую. Мучай, терзай себя, — тебе это болезненно-сладостно. А мне как это? «Люблю и мучаю»? Не пора ли и кончить с этим? И еще спрашиваешь, почему у нас нет благостности. Сами, видно, не хотим ее. Надо же как-то «поддерживать отношения», раз нет решимости на главное, чего я ждал, во что верил, в чем ты меня не раз обнадеживала. Продолжай «изучать» меня. Мало меня знаешь? Я — двуликий? Один — в книгах, другой — Хлестаков, Деспотов, Подлецов? До-знавай. Хочешь знать, «какой я к тебе теперь»? Тот же, верный, мучающийся тобою и — мучимый. Стыдишься, что так писала мне, нежно голубила твоего певца, тебя искавшего и обретшего? Отними же, что вырвалось из твоего сердца. Насильно не держу — бери. У меня, — пишешь, — «ни разу не мелькнуло сомнения, что, м. б., неправильно обвинял»? Зачем новые обвинения? мало тебе, как я подавлен? Рабом никогда не буду, как бы ни любил. Ты не укротишь меня, ты лишь отдалишь меня — сама. Никогда я не посмел бы помыслить о твоей «ошибке» в отношении к другим. Но я не бесплотный дух, и, исходя из тобой же данного, мог смутиться, не имея права на то, т. к. «повесть» твоя дает тебя до нашей «встречи». И этого ты не можешь мне благостно простить. Ты даже не признаешь за мной слабости Фомы, ты строже самого Христа: ибо ты все, все замещаешь собой, слишком ты — вся во всем! Ты писала, что твоя мама и родные, — а они ведь знали тебя куда больше, чем я, на их глазах протекала твоя жизнь, — и они усумнились и не знали, где правда! За что же ты так обрушилась на меня? и когда же? Когда я молил уничтожить мою проклятую открытку! Ты не давала мне, сама, твоей черточки характера, об «игре с партнерами»? Ты не поселяла в моей душе сомнений? томлений? Не признавалась ли в «легкомыслии»? — (доктор № 2). Не говорила: — «я вела порой "игру" на "очень высокой ноте", и когда прием партнера — спортивное-то словечко! — мне не нравился, я часто срывала игру». Что это?! Искание идеала? безупречная чистота? Ты сама так себя открывала, и ты же все рушишь на меня?! Ты играла... Как же я с самы-

ми чистыми намерениями к тебе, мог отличить, где «игра», и где — «мучительное искание чистоты»? В «игре» всегда азарт, всегда скольженье, и всегда опасность — сорваться. Я привык, что ты все сгущаешь; измучаешь, а потом, так легко признаешь, что все это «глупости». За что же ты мучила за «глупости»? Та история с г-жой Земмеринг... — где я ни в чем не повинен... как ты мне накидала обвинений?! Писала: «так еще ни-кто, ни-когда меня не оскорбил, как ты!» А оказалось все — «глупостями». Нет, ты любишь терзать... себя и — меня. Не изворачивайся: писала: «содержание твоих писем я могу сравнить лишь с универсальной подлостью "Н."!» Что это значит?! Содержание — т. е. «мои слова»... и мною сказанное тебе, как и сказанное «Н» твоим родным — одно и то же — подлость. Двух толкований не может быть. Тебе приятно высекать из меня искры? Ты их много выбила, приняв мое сердце за кремень, и, высекая своим — подчас убийственным кресалом, — ты не хотела видеть, что вместе с «искрами» — моими пылкими и яркими образами в письмах, — били струйки крови... которых ты не отличала от «искр». Тебе это доставляло болезненное наслаждение? да?! Сердце мое устало. Я ли именовал тебя «скальпоносицей»? Так именовал твой родственник, лучше меня тебя знавший. Прав ли он был? Зачем же тогда писала мне? Ведь должна понимать, что всем этим ты создаешь во мне определенное впечатление. Сгрудив в 7 письмах твои «искания», где все, как нарочно, сводилось к одному — к увлечениям, к «поцелуям»... — ты называешь это моим словом — «порханья»... — ты обрушиваешь на меня страшные обвинения в утрате веры в тебя, когда я лишь колебался, был в смуте, молил не принимать моего невольного вскрика боли... молил поверить, что для меня ты — все та же, чистая, светлая Оля! Разве все тобой сообщенное не давало мне права сделать — пусть невольно-ошибочно! — вывод о легкости отношения к «чувству»? Оля, нельзя требовать, как бы я тебя ни любил, — или молчания моего или — только восторгов тобою. Не ты ли упрекала меня, что я с тобой неоткровенен?! А когда я открываюсь тебе, ты обвиняешь меня, что мешаю тебя с грязью! Я не выдумывал грязи о тебе. Разве молчальника и песнопевца только ты, такая, требовательная ко мне, примешь во мне? можешь любить? Нужна ли тебе моя игра с тобой «в поддавки»?! Надо кончить с таким отношением ко мне, мне уже нестерпимо от боли. Смотри же в совесть твою, она чутка, она тебе все скажет. Я все не постигаю, где искренность, где... самообман — в тебе. Ты когда-то писала: «я хотела бы к тебе приехать», о «встрече». Из чуткости к тебе, страшась смутить семейный покой твой, еще не зная о твоей семейной жизни,

чувствуя, что ты можешь увлечься мной... — это же так возможно! — я удерживал тебя от такого шага. Ты поставила и это в вину мне. А когда я тебе открылся, предложил чистым сердцем — связать законом твою жизнь с моею... ты «была потрясена»! ты... запретила мне посылать тебе заказные письма и все, что могло бы вызвать внимание окружающих. Когда ты была искренна? Я уступил тебе. Я дал тебе сроку — до Нового года. Нельзя же вечно кипеть так, как кипим мы оба! У меня — мое заветное, моя работа. Я не смею всего себя сжигать. Я тебе отдавал лучшие думы, лучшие чувства. Я ждал. Ты звала меня. Я и обещал, и уклонялся. Почему? Стыдился признаться тебе, что не мог бы смотреть в глаза твоему брату, — за-чем я появлюсь, крадучись..? Ведь не в твой дом приду, как знакомый семье... а где-то, в чужом месте... «встреча». Меня, всегда ходившего прямым путем, это смущало. Я признался. Тогда ты — снова! — даешь надежду: «хо-чешь? я приеду... я постараюсь...» Я говорю — да, хочу, приезжай, свяжи свою жизнь с моею! — «Да... но мне трудно... меня не пустят...» И снова, снова... ласканье надеждой... Наконец, — «меня пускают! на Лейпцигскую ярмарку»! Я уже вижу тебя... я пишу тебе... как приехать... И снова: — без объяснений — «я не приеду... я не могу...» Что за... игра?! Зачем это вытягивание нервов сердца?! Зачем обнадеживание? зачем — удар?! Чтобы тянуть время, пока не случится чуда... ?! Ты можешь ждать, тебе это дает много, моя переписка... я не могу. Разве я не прав?! Разве я не смею сказать: надо же кончить, последние мои творческие силы размениваются на это призрачное кипенье в надеждах и разочарованиях. Но ты не можешь отказаться от наслаждения томиться и томить. Ты изыскиваешь, что же еще навалить на мою измученную душу. Ты в скольких письмах пишешь — я тебя назвал «полуобразованной»?! Я потребовал: приведи мои точные слова. Где я сказал? Я жду. Или это мое замечание — о «паре дней», что это неродственно духу русского языка? Но ты же сама писала, что хочешь учиться у меня, слушать меня, что ты так мало знаешь. Оля, я не мальчишка, и понимаю, что такое «образованный». Что я тебе писал — о тебе? Перечитай. Ты увидишь, как я восхищался тобой, умом, сердцем, много-знанием?! Я все из сердца вынул и дал тебе. Мне не стыдно, что я не все знаю. Кто знает все?! Покойная Оля многого не знала, что ты знаешь. А как я любил ее, как чтил! Ключевский, наша гордость, женился на своей кухарке[218] — и какой это был брак! как он уважал ее, чтил! любил! хранил память о ней! Я знаю это, потому что я жил в его доме[219]. Оля, Оля... Твой Ваня знает, что такое «образование» и умеет отличить истинное. Я знаю, как ты жила, как

страдала, все знаю... и как же разрывается мое сердце, когда его колет твоим страданием*. Я плакал от боли, от горечи — или я палач? И это после всего, что я говорил тебе о тебе! Ты мою нежность, мои восторги называла «молебствиями» и уже не даешь им цены. Тебе нужны какие-то призрачные «концы», чтобы, схватив их, добраться до сердца моего и сжать его сильней. Оля, в нем две незаживающие раны... ты еще ранишь, ты третью хочешь..? зачем? и — что все это?! Ведь ты и к чужим благостна была! Ты все отдавала... интимное свое, дневники, просиживала у больного, часами, позволяла, чтобы тебя за руку вытаскивали с танцев... — а у меня... тебе хочется добраться до еще неизраненного места в сердце — и уколоть?! ты ко мне относишься безжалостно? Хуже я всех для тебя? и мои раны — ничто? и последние мои силы, которые не мне, не тебе одной только нужны... а мно-гим..! — можно пустить на ветер, в искры, в струи крови, в дым?! Не верю. Значит, тут не воля твоя, добрая или недобрая, а — болезненность твоя, Оля. И ты права: надо лечиться. Сколько раз я говорил тебе! посылал лекарства... — ты отмахивалась... наконец, согласилась. Мало тебе моих мук, надо еще? Зачем написала, что «я пока не буду тебе писать о моем здоровье... я здорова». Что это?! Бросить тревогу — и — закрыться. «"Необразованная" я...» Ах, Оля. Не безумствуй: «необразованные» не могут писать. «Я не буду писать». Что это? Новый укол? Дари — образованная? Дамаянти — образованная? Прочти, если не читала Жуковского «Наль и Дамаянти»[220]. Очаруешься. Для меня образование — сердце. — Оно — все. Евангельская Мария — образованная? Чего, побрякушек тебе надо? Ты же не такая. Для русской литературы лучше было бы, если бы Чехов женился «на кухарке», а не на бездарной ломаке-актрисе, образованной для похабства. Я моего Горкина не отдам за миллион Балалайкиных. О твоем сердце я сказал тебе. И я тебя — «пригвоздил»?! Этими «болями» ты заполняешь нашу странную «сухую» любовь, пока, до решения, которого так и не будет, — так мне видится. Твоя воля. Не отнимай же у меня мою Олю! Ради Господа, не отнимай... Я, ночами, сухими слезами плачу. А знаешь ты, что это такое — сухие слезы! О, если бы вылились они! И мне бо-льно. Ну, снова изыскивай на мне вины, из всего, что теперь написал тебе.

Но помни: у меня все — на исходе. Я дальше не могу так, не смею. Я — не для только переписки, я — сознаю свой долг перед Богом, давшим мне дар, перед русскими — и не толь-

* что я, такой «нечуткий», не понимаю, как же трудно в таких условиях учиться!

ко русскими! — людьми: я должен писать, служить. Теперь я лишь истекаю, болями, кровью сердца, сухими слезами. Я не могу больше. Я тебя люблю, очень глубоко, и очень верно. Я знаю тебя, твои плюсы и минусы. И сердись — не сердись — скажу: доктор-кавказец, умный несомненно, верно сказал: твоя любовь может дать пресветлый рай, вознести и счастьем ослепить... и она же может ввергнуть в адские муки, в бездны! Да, я готов признать, что ты — прекрасная, лучшая, необычайная, гениальная, упоительная, святая, чистая, все-все-все... — но ты и — «гололедь», и «русалка», и «мучитель», и «рыбий глаз», и — все-все-все... Ты изящно-сложна, чутка необычайно, мнительна сверхпонятно, неотразимо влекуща, стыдлива, как мимоза-пудика, «не-тронь-меня», требовательна к себе пуще всех подвижниц, ты за идею на костер взойдешь... ты — для меня — Царица из Цариц! Но ты и мучитель мой. Я могу целовать твои ноги, но я никогда рабом не буду, от себя и моего не откажусь. Бери меня таким, как я есмь. И — решай, не решай, — но не томи, и скажи все прямо и окончательно. Тогда я сделаю окончательный вывод. Я больше так не могу. — Напиши о здоровье мамы. Я послал ей «Няню». «Грелочка» твоя чудесна, я не вылезаю из нее. Целую ее, глажу, чувствую в ней твои любящие глаза, чувствую нежность пальчиков. О, чудесная, моя, вечная, О-ля! Я люблю, люблю тебя. И — страдаю. Закончу завтра. Твой Ваня

[На полях:] Оля, я — прежний, твой Ваня, верящий в тебя, чистую! Но я так исстрадался!

На обороте последних твоих писем ты уже не даешь своего родового имени «Субботина» — что это? Отказ от себя? Окончательное утверждение в голландском «доме»? Решила? Вот оно, наконец, твое «решение»?

Тогда — простимся. Я отойду. «Игра» окончена? Давно пора. Завтра до-пишу. Господь с тобой.

Вдумайся, возьми себя в руки. Я все написал — от страшной к тебе любви. Не отвечай спешно. Все это очень важно. Это — моя правда.

108

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.II.42 3 ч. дня

Олюша, милая, да когда же ты перестанешь себя томить, когда примешь открытое тебе мое, все, сердце?! Я все сказал тебе об «ослеплении» своем, во всем повинился, сознал вину свою — невольную, от беспредельной любви к тебе, лишаю-

щей меня «хладного рассудка», обострившей *все* чувства во мне, — и все под-чувства, — порой и мутные! Ты умна, и все понимаешь, как никто. И нечего мне шарить в твоей душе. Не обижай, никаких «доказательств» твоих не смей посылать и — прошу! — не говори больше об этом. Для меня — и *повести* твоей *нет* и *не было*. Просто: я узнал тебя, *лучшее* в тебе! Забудь. Я сказал: ты для меня — *все*, пусть это грех, кощунство, но это не *слова*: ты для меня *все*, и без тебя *я не* могу, и *не* буду. Зачем письмо 24.I[221] называешь «разумным»? Это боль моя за тебя, страх за всегда возможное твое разочарование. Сознание — трепет, — ответственности за твои страдания. Не «про запас держать» — совсем не уходить от сложившейся твоей жизни, — этого *я не* мог и думать, а позволил себе, — и с какой же болью! — остеречь: ну, представь... ну, отвернешься от меня... — а мне ведь больно, что ты опять на тяжкую жизнь, на работу, где-то... — ведь я теперь всю твою жизнь знаю, восхищаюсь подвигом твоим и плачу о твоих страданиях, бедная моя девулька... — я бы на руки тебя взял и укрыл бы ото всего, ото всего... ты мое дитя, в тебе смешались для меня: и дочь, которой мне не дала судьба, и самая любимая... — я не могу сказать это обычное — и какое все же таинственное слово — *женщина*! — самая любимая, огромная часть души моей, Оля моя, святая моя, чистая моя! Вот, в каком смысле писал я тебе и, должно быть, боялся, что ты примешь неверно, — и как же верно думал! — я даже и там оговорился: не подумай, что я «отмахиваюсь»! Мне больно это читать. Я знаю, *кто* ты, и знаю, что ты не вернулась бы... слишком ты... О-ля! И потому разумел: ты для меня — святое, и я мыслью не посягнул бы сделать тебя своей, коснуться тебя нескромным взглядом даже, пока ты не определила бы, что не ошиблась, что будем с тобой — навсегда, — *одно*. Главное — то, что писал тебе в первых письмах, *как* мыслю жизнь нашу. Высшего счастья для меня — неразлучно с тобой — нет. Не надумывай на меня томящее тебя, мнимое твое: не изобретай для себя слов пытки, как «гнушаешься», даже в кавычки берешь, будто это мое слово! Это же ты сама себя растравляешь, это болезненное твое. Ничем я «снова, чем-то» *не* уязвлен! Я тебя люблю, и только, в этом чувстве — весь я, и вся для меня — ты. Достойная не любви, а — преклонения. Я пишу это сознательно — я искренно считаюсь с недостоинством своим. Прими же мою *правду*. Да, я верю крепко, мы были бы счастливы. М. б. даже *слишком* был бы счастлив тобой я, я. И страшусь. Лет своих?.. Но что я могу... когда я весь поглощен образом твоим, живою твоею сущностью, мое неземное счастье! Или я исключение? Нет. Ты знаешь эти примеры жизни: это у людей, наделенных *живой* душой, душев-

ной жаждой неутолимой, неиссякаемой с годами. Не с великими исключениями себя сопоставляю. Охваченные творческими страстями, есть души, для которых тленное — не имеет власти. Они не могут не любить, не творить любви, не жить: они всегда над собой, над обычным. Это — души певучие. Таков был Гете, Тютчев, Пушкин был бы юн до дряхлых лет своего тленного. Таков был и чистый лирик-романтик — наш Жуковский: первая любовь его[222] — уже 35-летнего, к своей 10-летней племяннице — ! — «побочной», — брак не состоялся, помешала «религиозная» мать ее... — но они любили друг друга! — мучились. И вот, после ее кончины, он, в 50 лет, полюбил 12-летку! И она... его. Это была дочка художника Рейтерна[223]. Промежуток в 3 года. Новая встреча. Она, 15, «кидается ему на шею, только увидала». Его это потрясло. 5 лет промежуток, — новая встреча. Интересны ее письма о чувстве к Жуковскому[224]. В [18]41 г. — Жуковскому было 58 л., ей 20, дарит ей... часы и «косвенно» делает предложение: «позвольте подарить вам эти часы. Но, знаете ли, часы показывают время, а время есть жизнь. Вместе с этими часами я предлагаю вам всю мою жизнь. Принимаете ли вы ее?» Она «бросилась ему на шею»[225]. Они прожили 10 л. Трое детей, мальчик и две девочки. Одна скончалась[226]. Жуковский умер 69 л. Брак был исключительно счастливый[227], «безоблачный». Да ведь и Жуковский был безоблачный. См. стихотворение Тютчева, на его кончину[228]. Таких случаев было много у «живых душой». Тут все — в силе, в жизненности душевной. И эти примеры мне так освещают то, что переживаю я, любя тебя, Оля. Ты для меня — все. Ты — Душа моя. И без нее-тебя — я не могу. И так почему-то надо. Для зубоскалов это — повод к плоскостям. Для Жизни — один из её таинственных законов. Это — чудесное обоснование бессмертия духа (намек на это — в «Куликовом поле», в озарении Оли), его самостоятельного бытия, вне зависимости от тела-тлена. Но тут и само тело — покоряется власти души: оно тоже творит, рождает. Тут залог «бессмертия всего тленного», быть может?! Очевидно какой-то таинственный закон, ускользающий от биологов, анатомов, физиологов. Мы с тобой это знаем, ибо мы этим живем. Да, ты права: мы могли бы быть счастливы, и мы нашли бы такой план жизни, в любви и единомыслии, в котором были бы «безоблачны». Я непоколебимо верю, знаю. Да, будем просто принимать «из души в душу» друг друга.

Чтобы закончить «испытания-пытания» наши, скажу: письмом твоим от 2.X — я никак не ограждаю себя. Я понимаю, чем оно было вызвано. Если я поминал о том, «что было 9.VI.39», то потому, что хотел вникнуть в твою жизнь-томление. Чем ты

была убита, почему весь день плакала? и — почему мне написала? Я не знаю. — Ты писала о поездке на Лейпцигскую ярмарку. Я ухватился за это. И ты, написав, что это «легко» и тебя пустят... теперь говоришь: я не поеду. Почему же писала?.. зачем подавала надежды? унесла меня? Я объясняю это твоим состоянием, — болезнью. Ты больна, у тебя и малокровие, и неврастения. Да, надо лечиться. Почему я упустил из виду, не послал тебе с о. Д[ионисием] селюкрин?! Но в Голландии есть же кровяные сыворотки, «hemostyle»? Меня тревожит, меня томит это. Почему написала: «я пока о своем здоровье писать не буду»? Мне не нужна встреча, чтобы узнать тебя: я тебя всю знаю. И я люблю тебя, и я уже сказал тебе: вот мое сердце, вот я, весь... — для меня не может быть оглядки. Я давно решил, бесповоротно. Никаких колебаний, опасений: я лишь страшусь одного: достоин ли я тебя?! Таким и бери меня, бери или — отклони. Почему — до конца войны не увидимся? Так же можно и дальше: и после можно не увидеться, если совместно не захотим. Помни: для меня каждый день — невозвратим. Я в последние дни подавлен: кругом умирают, смерти, смерти... мы все в руце Божией, да... но шансы не равны. М. б. мой живой дух дает мне силы. Но я — как пятак: прекратился «толчок», — и... конец. Это — тоже неразгаданное. Но я это сознаю. Погляди, сколько сил отдал я этому дивному чувству — любви к тебе! Огляни мои «писания любви». Это уже то-мы... и в них много сил рассеяно... — я не жалею... Но, Оля... — если бы мы встретились в 36... — это все перелилось бы — в иное. И наше личное — получило бы жизнь — в мире, в иных — и м. б. чудесных — формах. Я не сожалею, но мне — страшно, что так долго не может продолжаться. Я — ты не укоряй меня, — но я — и в согласии с тобой, — перекрестясь, временно отойду от писем... я буду тебе писать раз в неделю, кратко: я хочу уйти в работу. Пусть теперь она будет толчком для катящегося пока «пятака»! А я могу писать, когда могу только писать в работе... — двоиться я не могу, — или — или... Когда бы мы вместе жили... — другое дело... — ты — вот ты... твой взгляд — уже сила-толчок мне... — и я в обладании себя, я силен и твоим, и моим чувством и — покоем. Теперь... — я горю, сгораю... томлю, томлюсь... — а дни уходят... я главного не доделал! Не говорю уже, что смысл брака, его святость... теряют возможности, свою основу, мою светлую — и твою, Оля! — надежду! Счастливец Жуковский! Он пел лучшее свое, не взирая на время, когда... любил. И создавал детей — духовных и — брачных, малюток светлых. «Сухой» любви я не понимаю, я ею томлюсь, от нее сгораю. Да, очень это важное... и требует силы воли,

решимости. Я тебя понимаю, давно понял: нет, тут, в твоем — нет таинства-Брака. Тут — кощунство над браком-Таинством. Тут нет Любви, семьи, основы, предмета Таинства. И «человек да не разлучает» — тут не при чем. «Что Бог соединил...»[229] — что?? Вот — это-то?! Нет, мы знаем Его, читай Евангелие — Его «свободу Духа». «Дух живет, где хощет»[230]. Для Духа — нет буквы, формул, рамочек. Взяточники консистории и «духовного суда» — легко «разлучают»... Та-инство?! Как все шатко. Совесть, — твоя чрезмерно-чуткая совесть — вот мерило! Ты права, ты — свята. Бог знает, чего мы ищем, чего хотим. Мы — святого хотим, не похотей. И мы — правы. Я в себе слышу — высшее веление, как в творческом акте, когда думаю о жизни с тобой. Бог видит.

Всего не написал, продолжу завтра. Твоя «грелочка» — чудесна! Целую глаза, пальчики, бедная моя, трудница моя! А узнав, как ты металась... чтобы дать мне скорей «теплушечку» твою... — о, теперь она еще священней, ми-лая..! Буду счастлив, если ты порадуешься клюкве! и — всему, что я так радостно искал, чем бы тебя порадовать, дитя мое. Посылаю тебе «зимнего», пусть «парижанина из... Москвы». Не отвернись, плохо вышло, мелко очень... Пришлю Олю — иную, святую. На днях уменьшат ее «посмертный лик»[231]. Тяжело, но я пошлю. Ты ее любишь, чтишь. Никому не показывал, никому не дал, — только Ивику — его «теть-Олю». — Олиську. Целую. Господь с тобой. Твой Ваня

С приложением фото-паспорт.

109

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.II.42 10 ч. 30 вечера

Светлая моя Олюша, так пусто, так мне одиноко. Письма твои тревожны, мучительны. Больно мне было писать тебе, что написал, но надо было все сказать, чтобы ты все во мне знала и не искала бы «новой стороны» во мне. Спрашиваешь: где ты, прежний мой? Вот, все тот же я, и все больше люблю тебя, хоть ты и томишь меня. Когда-то писала ты — «тебя я не стану мучить, не буду с тобой, как с другими... я буду очень бережна, чутка...» И вот, стоило мне только высказать смуту свою, как ты все собой закрыла, только свою боль слышишь... Где мое Рождество? — спрашивала ты с болью. Где — мое? где моя светлая, нежная, чуткая Оля, где моя чистая девочка?! — плакало в моем сердце? И — за что?! Ты поняла смуту своих и извинила им, а мне моей тревоги, моей о тебе ревности, — не прощаешь?!

Я опять в пустоте, в тоске, как до июня 39 г., я хочу все опустошить в себе, я не могу молиться, я подавлен. Сникли мои надежды, ушла бодрость, и на распутье я. Вчера ушел из церкви, как пропели любимое мое — «Ныне отпущаеши...» Боль не отпускает меня. Я не найду мысли, воли написать для тебя автографы. Ты словно отходишь от меня. Ни ласки, ни нежного словечка в твоих последних письмах. И это новое, — о, какое холодное, — «друг мой»!.. И — м. б. случайно это? — на твоих конвертах — твое O. Bredius... без родового, дорогого мне! Или ты другое решила, не наше, что должна была решить? Решила, что ты — O. Bredius... — и конец? Зачем это? Чтобы еще больнее было мне? Оля, оставь гордыню. Или не видишь, как ты все, все — собой закрыла?! Оля, верни кротость, светлость свою, тихость-нежность, будь же светлой, чудесной, как ты открывалась мне! Это — не от папочки, такое. В каждом письме боль твоя, тобой надуманная, чтобы растравлять сердце, — все повторяешь — «необразованная»! Зачем возводишь на меня, что я будто бы тебя «пригвоздил»? Это стало твоей навязчивой идеей. Это — больное.

А сколько света мне виделось! — и ушел свет. Я не побуждаю тебя — решать главное, я примирился с мыслью, что ты не можешь решить, нет воли у тебя, ты сама себя покинула, ты устала, больна, — ты вся растратилась на — чаще всего — призрачные муки. Ты их ищешь, чтобы «всю горечь испить». Мало ее было?! Вдумайся же, спокойно, во все, что написал тебе вчера. Какая радость — терзать друг друга? Тогда уж лучше забыть друг друга. К чему это томление — надуманным, несбыточным счастьем? Я теряю веру в него. Я теряю волю — жить, работать. Когда-то, после второго удара в сердце, после смерти Оли... — я ждал конца. Я все разметал и кинулся в монастырь на Карпатской Руси, — около него окончить дни, когда меня, в июле 37 г. вернули к жизни после тяжелой болезни. Но и монастырь не мог утолить тоски, закрыть пустоты. Или я что-то предчувствовал?.. И снова — проклятый Париж, и снова черная пустота, и снова гнетущая боль одинокости. И мой крик. И ты — отозвалась мне, свет мой, вечерний! Зачем отозвалась ты? — чтобы поманить далеким отсветом... несбыточного счастья?! Зачем?! ... Теперь еще больней, еще ужасней сознание грозящего одиночества, новой, страшно болезненной, невыносимой утраты...— третий удар?! Но его я не выдержу, я знаю, — у меня нет сил выдержать. Я не могу молиться. Я не хочу жить — без тебя не хочу, не могу, не стану. Я все, кажется, дал, что было во мне сил. Я счастлив, что отдал тебе светлое мое, м. б. лучшее из просветлений духа... — мое «Куликово поле», связал душевно себя с тобой. Помни своего найден-

ного Ваню... — он плакал, когда писал. Не знал — для кого писал... И вот, узнал — для кого, и — отдал. Там тоже — Оля. Да, так и явилось, в янв.—февр. 39-го, за 4 мес. до тебя. Переписывая для тебя теперь, я чуть пополнил ее, Олю...[232] чуть усилил ее черты — твои — мне дорогие... — смирение, чистое сердце, благоговейный порыв-восторг, веру, что все живое, и нет утрат... у Господа нет утрат, и у тех, кто во-Имя Его живет и верит... И вот — болью слышу ответ мне — утрата! Неужели надо принять эту, новую, когда озаряла вера?! Оля, ведь я прежний, люблю тебя, верю в тебя... — зачем же ты так? зачем не веришь мне?! Ищешь во мне, чего во мне нет, — ты же все во мне знаешь! Оля, м. б. Он, Преподобный, кого я дерзнул дать в своем искусстве... м. б. Он помог мне найти эту — Олю — мечтаемую, искомую, взыскуемую?! Ведь это твой духовный образ выяснялся мне, — ненадуманный, — явившийся сердцу моему, нежный, чистый... — я плакал с ней тогда, в той комнате, склонившись к ногам Святого... я задыхался в рыданиях, в благостности... тогда! И Он — благословил меня? положил и мне свою десницу на усталую голову? и сказал — «пребуду с тобой... до утра». До утра — с тобой, утра дня «встречи» с тобой, Оля моя! Не знаю. Я был счастлив. И вот, призрак светлый... отходит? гаснет?.. Не уходи, Оля. Не мучай. Нет, я не стану удерживать тебя. Делай, как хочешь. Мне стыдно, я не хочу, чтобы даже ты меня жалела. Милости мне не надо... Ушел Святой от меня, и опять пуст кров мой, и дни опять пустые, и ночи без сна.

Будем благостны друг к другу... — говоришь ты. Будем же Господа просить помочь нам! Будем искать друг в друге не темное, не острое-колющее, а доброе, наше, от Света, чем живем истинно оба, что, знаешь ты, всегда вело меня в моей нелегкой работе, в томленьях и сомнениях и — в восторге творческом! Я всегда искал света в людях, я тянулся к нему и старался показать его в людях — людям. Зачем же в жизни быть другим, злым, темным?! Будем молить Его, светлого Пришельца, благовестника... — благословить и нас, дабы пребыли в мире. Ведь ради нее, ради света в ней, в Оле, явился Он, ради ее веры! — а не ради отрицающей гордыни образованного. Будем же просить Его дать нам указание путей, дать Свет Креста нам! С этим Светом мы перенесем и разлуку... и м. б. встретимся, там, Оля?.. Во-имя Его, Светлого благовестника, дозволившего мне дерзнуть — явить Его... давшего мне силы понять Его... — Оля, будем же жалеть друг друга! Этот странный рассказ мой... — как он томил меня! как пугал бессилие мое! — и как же я трепетно преодолевал... и как я трепетно слышал, что мне открывается и да-

е т с я... — такие были осияния глубокой ночью, когда я вскакивал с постели и бежал к столу записать неразборчиво, дрожащей рукой мысли... осиявшие!.. — сколько было сладких и бурных мигов! — если бы я мог тебе, сам, прочесть этот явленный мне у ее могилки сон жизни! правду — Оля! — мы вместе плакали бы и стали бы так чудесно-светлы, мы слили бы в одно слезы наши, добрые, благостные..! Ах, Оля милая... я всю душу отдал бы, всю нежность... тебе отдал бы... и ты почувствовала бы мое сердце и мою чистую-чистую любовь к тебе! И плакала бы ты, и я снял бы светлым поцелуем эти святые слезы! Олюша, я не могу больше, я устал... Сейчас думаю о тебе. Ты, м. б. уже была в Гааге и получила мои ласковые малые памятки о тебе. Я хотел, чтобы родная девочка порадовалась малому родному, что только там есть, было... что она в детстве знала... клюкву, чернослив, запахи поста... вязигу, странную такую... большего не мог найти... искал нашу пастилу, клюквенную, яблочную — нет, пряников, постного сахару... Да, забыл! Надо бы халвы тебе! Господи, за-был!.. Есть, ведь... Оля, как греет твоя «грелочка»! Как я люблю ее! я ее целую, глажу, ласкаю. Я прижимаю ее к лицу, глазам... и это будто ты, Оля моя... твои пальчики, твои токи света из глаз — в ней, твое дыханье в ней, твои вздохи... твои думы... Я вижу эти петельки... эти... Оля держала, тут — она, ее боль, ее губки, ее, быть может, слезы... и ее тревоги. Как она дорога мне! Я ее ни-кому не отдам, я ее не оставлю здесь... она не пойдет старьевщикам... Оля, целую, светлая, о, как люблю, Оля моя! Твой Ваня

[На полях:] Сегодня меня друзья насильно увезли в театр — утренний — в оперетку «La chauve-souris»[i]. Милая караимочка[233] хотела развлечь мою тоску. Потянула к себе пить кофе. Пришел домой — мои юные пришли. Но я был все тот же, унылый.

Оля, прошу, немедленно сообщи о твоем здоровье и о здоровье мамы, или я срочно напишу Сереже. Что ты меня пытаешь?

110

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Сретение Господне
15.II.42

Дорогой мой Ванюша, дружок!

Вчера, — и как светло мне от этого, — вдруг спала моя душевная обуза, давившая меня невыносимо. Не знаю, что это

---

[i] «Летучая мышь» *(фр.)*.

было. Ужасно только. Вчера твои письма. Утреннее (от 7-го II, т. е. 5, 6, 7 — ты писал его 3 дня, собирался к отцу Д[ионисию]) твое меня как-то «облегчило». Не ласка, не «извинения» твои, и уж конечно не твои «бичевания» себя самого (!), но просто твое состояние, настроение, какое-то скрытое в е я н и е спасло меня. Я вдруг «о т т а я л а». Ванюша, я прежде всего сама рада этому. Я очень страдала этой моей захолодалостью. Я и не думала тебя наказывать ею. Я же сама всего больше страдала.

Это было не оскорбленное мое самолюбие или еще что-то от оскорбленности. Я не знаю, честно, сама, что это было. Я покоя не находила, себя не находила. Не могла тебе писать. В ы д а в л и в а л а. Ваня, у меня все всегда заметно: все мои чувства и переживания не умею скрывать, — т. е. стараюсь, но лицо (глаза)* «выдают». И я не умею быть неискренней, если ласка не идет из сердца, то я не могу говорить ласковых слов. И так я мучилась, что ты их ждешь, а я, ну не могу, не могу. И хочу, поверь, но не могу! Это было. И как же я болела духом! Мира не было, молиться было трудно. Все было в смуте, не видела далей. Н е от обиды! Ты этому должен верить! Я знала, что мне трудно будет излить ее, но такого последствия (?) или такого «осложнения» я сама не ожидала. Со вчера мне легче. Ванюша, ты знаешь, что твои «хвалы» мне — не помогали. Твое «самобичевание» тоже, нисколько. Наоборот! Я уже не верила, что оттаять можно. И вдруг «повеяло» теплом. Спасибо, что ты моей души «сумел» коснуться. Душой же? Ты знаешь, я так была «задергана», что н и ч т о, никакая «жалость» меня бы не вернули. Меня самой себе! Я знаю себя, как я могу быть «бесповоротна». И к себе! Я рада, что к сегодняшнему дню мне лучше. У меня все еще тоска, правда, но это уже — хроническое мое. Это не *та* «болезнь». Я хотела ехать сегодня в храм, к Д[ионисию], но автобус не ходит. М. б. как-нибудь в другой раз, скоро. Мне так не терпится. Сгораю узнать, как был твой визит у него? Его у тебя? Впечатление? Я же тебе писала о нашем «беспастырстве», еще тогда в 1-ом письме, далеком, но ты меня «пробрал» тогда, сказал, что есть светлые души. В Д[ионисии] я ценю то, что он в е р и т, а то ведь много и таких, которые и этого не имеют. Он все же идеалист, хоть и «убогий». Я ему тебя очень «рекламировала» еще давно, тогда [в] 1939 г. Спросила: «читали?» «Да». «"Пути Небесные" Вам нравятся?» «Да, что-то помню, нравилось». Я думала, что «кривит» святой отец. О «Путях Небесных» нельзя «что-то помнить», тем более, если они нравятся. Они берут всего! А м. б.

* *В клинике упрашивали согласиться сделать с моих глаз (остальное лицо закрыть) «Foto-Studie der Augen» [фотографическое исследование глаз, *нем.*] и доказать, что в лице главный «выразитель» — глаза. Конечно, не далась.

и читал, но по монашеству стесняется чар Дари?! Ваня, я конечно все в «Путях Небесных» для себя нашла. Разве не писала? 10-го янв. ночью я проснулась и сказала: «там весь мой Ваня!» И взяла тебя всего в сердце, душу, в г л а з а!

Я 8-го и 9-го была слишком оглушена. Пойми! Письма были ужасны. Хуже открытки. Я бы тебе все процитировала, но не хочу бередить, хотя и переболело. Там ты прямо сказал: «ты привлекала не женственностью, а теми особливо-женскими (не женственными) инстинктами, что пониже поясницы. Знаю эту манеру! Тьфу!» И об образовании тоже, совсем ясно. И о маме, много после и в этом особый был мне ужас, что так долго «возишься», что не оглушенность твоя только, но длительное обсуждение. Ты уже «каялся», когда в конце вдруг сказал: «у тебя от папы твоего светлая душа, а от мамы... физиология? Думаю, что не ошибаюсь. Ты была странно воспитана и не умела пользоваться предоставленной тебе свободой». Я никогда не выискивала, чем бы тебя еще уязвить, как ты это думаешь, — Боже, что бы я дала, чтобы преодолеть себя тогда и быть милой — Олей. Нет, я искала всюду следов мгновенной слепоты, ревности твоей, чтобы о п р а в д а т ь и не находила. Ибо ты сам все это заранее уже оговорил! Понимаешь, почему было так больно? Но довольно! Вань, как жаль, что перо сломалось! Отчего? Неужели обман? Не золотое? Я его за золотое покупала. «Монблана» не было уже нигде, а это «Ватэрман» очень хвалили. У меня такое тоже. Я люблю, и пишу хорошо, только т у п ы м пером, но тогда, когда себе покупала, не могла найти и взяла какое было. Это не мой почерк — тонкий. Я пишу тупей и круглей. И. А. восторгался им, — он, кажется, занимается этим. А тебе я гадко пишу, не умею тонко и всегда спешу «ухватить» мысли. Твой почерк тоже для пера тупого. Я люблю очень, как ты пишешь, имею в виду сейчас и внешне. Я тебя очень люблю! Всего! О ч е н ь! Ну, поцелуй! Конечно «м о ж н о», — у шейки!.. за ушком? Тоже! Но только сегодня, а завтра — Пост! Будь пай! Не «волнуй» меня фиалкой-любкой!.. Я думаю, что знаю этот цветок под названием «фиалка», белая, восковая, душистая, но бывают такой же формы сиреневые, без запаха. Да? Эта?[1] Я плохо нарисовала, только вообще, конечно. Почти что натуральной величины, м. б. чуть меньше. Чудный аромат! Несказанный! Их в Костроме звали «фиалкой». Эта? Ваня, Ваня, какой ты... г л у п ы й! Да, да, г л у п ы й, мой умница! Чего ты такое выдумал? Мне нравятся голландские ковры и т. п. И этот «уют»? Дурашка! Разве мне нехорошо было бы д о м а? У нас, т а м? Какая бы там ни была «бес-

---

[1] В письме рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

ковровая» (а м. б. и больше, «безводная», «бессветная», «безванная» жизнь!) жизнь? А ты — Россия! Все твое — богатство, жизнь, счастье! И чудесное! Я знаю!

Чего ты себя все принижаешь? Не смей! У меня никакой роскоши здесь н е т! Я очень просто жила всегда девушкой и теперь я никакая не «важная дама», а та же Оля. Я все сама делаю, ты даже не подумаешь что. Я все умею. Только для тебя бы стала учиться готовить. Ты такой гурман! Я русской кухни мало знаю, такой обширной, твоей. Ах, ах, чего ты накрутил! Вязига, чернослив, бананы, бисквиты... Господи, Ваня, себе бы оставил! А «Ваню-Москвича» забыл? Не послал? Пошлешь? Пошли! Я не знаю, приехал ли Дионисий, — думаю, что получу от него письмо. Ах, Ванёчек, говеть вместе! Чудно бы! Сегодня мне снились... м о и р . . ы. Подумай! Я так безумно боялась и все молила доктора помочь. И начало уже испытала, были боли страшные, и проснулась. Болей наяву нигде не было. Я читала твое письмо о Дари и вот вообразила. Я безумно бы этого боялась. У меня захолаживает сердце порой от дум только. Я в клинике видала этот ужас. Я понимаю, «почему» только год счастья Дари. Ужасно, но н а д о... Верно! Ваня, у ж а с, я получила только 3-ье и 4-ое письмо с «Куликовым полем», а 1 и 2 нет! Пропало? Когда послал? Напиши! Я в ужасе! Ванёчек, спасибо тебе, о, какое! Ваньчик, но это: «Оле, урожденной С.» — это не для всех? Это только наше? Я не хотела бы, чтобы все, толпа тоже, читали это — «Оля», твое — мне, чтобы для всех я прозвучала «Олей». Ты не обидишься? Я «для всех» *недоступна*, недостижима для них как «Оля». Но, впрочем, чего я расписалась, ты сам это знаешь. Я хочу быть только тебе Олей. Никто меня так, кроме мамы и С., не зовет. О л я! Ваньчик, я боюсь, что все же долго мы не увидимся. Не дают мне визу. Толкалась я всюду. Будем ждать! Но страшно, как «уходят дни и годы, и бегут века»[234]. И я... «ухожу». Я... будет поздно? Спроси Серова? Или не надо! Уйти с мечтой... о... Знаешь о ком! Вот это ужасно. Я моложе своих лет, мне говорил врач, что «такова и для этого по существу и не поздно, но торопитесь». Может быть поздно. Понимаешь? Сироту оставить без матери страшно. Но, впрочем, что я, об таком?! Мой ягненочек почти что умер вчера. Отходили. У него закрепилось (дали черничного отвара), но стало вздутие кишок. Стонал, страдал, прикончить его хотели. Случайно оставили до утра. Отдышался. Я ему соды дала чуть-чуть. Сегодня отчаянно есть просит. Осторожно даю. М. б. останется?! Цветик растет, но почему-то листочек один подгнил, думаю, черви. Я дрожу над ним. Мышей как-то меньше слышно-видно. Потеплело — убежали по хлевам. Я «боюсь» их до безумия. Рада, что и ты «не выно-

сишь». Мама на стулья скачет от них. С. и она в восторге от твоей открытки брату. Я тоже, — ты — дуся. Ванечка, прости меня сегодня за все и скажи мне мыслью: «Бог простит!» Я твое все-все взяла в сердце. Елочка горела твоими свечками (хоть и в ссоре), ландышки сухие, но чудно пахнут — ждут весны... будто живые. Да они и живы! Ваньчик, пуловер впору? Я по С. мерки делала. Он должен быть узкий — только тогда и сядет по фигуре и греть будет. Напиши, и нравится ли цвет? Получил о его «истории»? Чудо!

[На полях:] Я действительно, и по документам «О. Субботина, супруга A. Bredius'a». Это здешние законы. Когда умру, напишут: O. S[ubbotina] — замужем была за B[redius]. Это мне раньше очень правильным казалось — широта нравов, но оказалось, совсем иное.

О шефе когда-нибудь напишу. Разве я не посылала конца поездки? Никакого повода к ревности!

Обнимаю на «Прощеное» Воскресенье и целую! Твоя Оля.

Котишки — прелесть, начинают друг другом очень интересоваться, но «она» очень целомудренна и стыдлива! Право!

111

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.II.42 9 вечера

Ты, Оля моя, снова моя! Ты просветлела, моя Оля, моя жизнь, мое все, все..! Как я был придавлен все эти недели! Я писал тебе, я скрывал свое, я мучился, Оля моя... я не понимал, что с тобой... ты уходила, я это в подсознании чуял... и был бессилен уяснить себе. Я знал, что ты необычная, необычайная... но я не сознавал, что ты до такой степени отчужденности могла сознать себя! Сегодняшнее твое письмо, «срочное», — благодарю, родная! — мне показало весь ужас, который грозил мне: только тут я понял, как ты могла быть «бесповоротной»! Хорошо, что я всего твоего не сознавал вполне: я себя убил бы, если бы я сознал весь ужас. Что бы мне оставалось тогда... после счастья — быть тобой любимым, после твоей открытости мне, после такой — пусть из отдаленья! — близости твоей ко мне, такого твоего светлого доверия ко мне!? О, ласточка... я снова живу... Оля, ты знаешь... тогда... давно, в начале июня 39... когда я в отчаянии был, воззвал к ней... взять меня отсюда... ведь я знал, что живу последним усилием, что мне жить нельзя... и я только не знал, как я оборву дни, но сил жить уже не было. Я в слезах, беззвучно, кричал... — и ты отозвалась, ты меня удержа-

ла... потом ты меня крепко удержала, потом ты меня заставила поверить, что можно жить, что надо жить. Оля, вот теперь, когда я узнал, как ты можешь быть «бесповоротной», мне стало страшно: подошло ко мне вдруг, холодом, ужасом... то, июньское чувство пустоты, бесцелья, смерти. Ты устранила... ты вернулась... и я страшусь — надолго ли? Ведь ты мне уже давно посылала «привет мира». А потом, последние твои письма — были — вынужденные, письма души опустошенной, безразличной ко мне... я это слышал — и терзался. Письма мои были нежны, — но я не могу не быть нежным с тобой, даже и отвернувшейся от меня... — я, впрочем, старался объяснить эту холодность болезненным состоянием, сильной неврастенией, когда все уже безразлично. Оля, не мучай меня больше, мне страшно... клянусь — мне страшно. Оля! Ну, ты вернулась, ты будешь прежней, ты мне все простила, — а я... я без вины виноват... т. е. бессознательно, лишь страстью виноват, а не сердцем, не злой волей. Мама твоя для меня — твоя мамочка, твоя гордость, — и — позволь же, Оля! — моя гордость!! Я недостоин говорить так, но я говорю это через свое недостоинство, потому что это — во мне — ощутимо живо. Я готов ей ноги целовать, т. е. земно поклониться! твоей маме, за тебя, за ее чистоту, за мое окаянство. Это грех кощунства, — был! — это дьявол во мне изрыгал злое, — он подсказывал мне объяснения моего «пожара», моей растерянности перед ложно объясненной тобой... — и я стал беспутным в словах, в корчах своих душевных. Оля, я сегодня же получил и твое — давнее! — письмо, от 31.I, где ты дала блестящую — иначе не могу выразить! — картину-портрет твоей святой мамочки, твоей справедливой гордости и... моего изумления — это я вынес из чтения письма, — моего изумления самим собой, как я мог не понять, кто твоя мама?! Ведь я же писал тебе, я же чтил ее, я любил ее уже, как твою маму... верь, Оля! Я перед тобой, как перед совестью своею говорю, я же не могу иначе... я не такой же дурной... я хоть и безумным бываю, ослепленным, но я не такой плохой... я могу каяться в безумстве, и я каюсь, и я раскаялся. Оля, ты — не хвалю же! — ты — сверх-умна! ты необычайно глубока, ты умно-страстна, ты — вся огонь палящий, в гневе... ты — прекрасна, Ольга! ты — нет слов сказать, — кто ты для меня, во мне... ты — неописуема! неохватна, — клянусь, ты... я бессилен был бы всю дать тебя, если бы и хотел страстно, — у меня, просто, нет сил дать тебя... И знаешь, Оля... это абсурд говорить так, но надо же хоть тень чувства выразить сию минуту... — я тебя больше оценил теперь... — любить больше нельзя! — после этого письма о маме... этого блеска ума и чувства... и богатства средств,

слов, неповторяющихся! И ты можешь еще писать, что ты — «не можешь писать!!?» Ты — все можешь. Я не знаю, с кем тебя ровнять... я только в изумлении и в исступлении восторга могу шептать... — «какое чудо эта Ольга! свет какой, моя Ольга!» — и мне жутко, что ты... — сердцем моя?!! Я так порой ничтожен... так бессилен перед тобой... видишь, нет никакой во мне гордыни, только лишь могу молиться, в сокровенном смущении Бога благодарить за дар бесценный.

Оля, ты вернулась?! Ты не будешь больше застывать... отчуждаться мучительно? Ведь я же не так уж преступен?! Оля, вернись вся, я не могу вынести, я сгасну, я стаю... — не делай же меня еще несчастней, чем я был — скрытно — эти недели ужаса... обманывая себя — и чуя. Но... да будет Божья воля!

Олёчек, светлая моя... ты сама выберешь «посвящение» тебе моего «Куликова поля». Теперь же... Вот, просто: «Ольге Александровне, урожденной Субботиной». Я не могу... все наименование... не могу! Это допустимо, ибо это — правда. Тут лишь опущение наименования, приобретенного юридически. Я хочу связать тебя, любимую, с моим творчеством, с моею душою.

Уверен, что начало — письмо 1 и 2 — «Куликова поля» ты получила. Если нет, — я снова перепишу, пошлю. Но читай все целиком: все связано.

Да, это та самая «фиалка» — «любка» моя. «Восковка», из немногочисленного у нас семейства «орхидейных». Лиловые не пахнут, да. Запах — необычайный, «гвоздичный» в основе, но... — для меня — полон тайны и... неопределимой страсти... до мистического ощущения... — трогает «глубины». Так — с детства. Ты хорошо нарисовала, верно.

Мой Олёчек, как тебя назвать, какою лаской обласкать — не знаю. Благодарю, что ты — Оля... — только для меня! Права ты, Оля — не для печати. И знаешь — это я в порыве чувства — так... в корректуре для печати я изменил бы, знаю. Я это — только «для тебя». И первой моей заботой, как только наступит возможность издания... — «Куликово поле»! Я подберу к нему — что подобает, что достойно — рядом. А лучше — издать только это одно, издать молитвенно, очень чистым томиком, малого формата, как издают стихи... — ибо этот «святой рассказ» — стоит особняком во всем моем, как и во всей русской литературе. Тут — святое дерзание, тут — моя молитва. Это моя песнь о... тебе, Оля моя! Я не знал тогда тебя, но я тебя нашел в этом «Поле», увидел духовным оком, моя Светлая, Чистая моя, Святая... Я так и сделаю — склонюсь перед светом Твоим! Навсегда соединю себя с тобою, в духе. В рамке — в нежной зелени — издать бы, все странички, как бы — молитвенную

книгу, церковную. — Я все бы тебе отдал, из самого заветного, и я не возмерил бы всего, что ты дала мне... — свое сердце! Оля, поверь, это не словесный оборот, это подлинное мое чувство, живое, — это Любовь к тебе, это мое родство с тобою, это Душа, *наша*, *цельная*, *воссоединившаяся* из частей в нас обоих. Верь мне, Оля! моя Олёль, моя вернувшаяся ныне... прости мне согрешения мои перед Тобою, чистая!

Олюша, девочка моя святая... льется сердце к тебе, такою нежностью... до замирания... как бы в молитве, самой чистой, горячей самой... возносящей! И — как это свято! — я думаю, я грежу... о желанном... неназываемом. Ольга... ты прочтешь, что написано в моих глазах, какая мольба к тебе... о — чем?!! ... Как это свято для меня! Нет, Оля... не поздно. Ты — не обычным меряй, не законом естества. Ты — чудо. Ты... чудесным меряй. Для закона — и то — 45 лет... круг замыкается: круг жизненных, творящих сил. Но и закон знает исключения, даже до 50 л. Ты — юная, пойми! Годы — так относительны! У тебя большой еще запас. Верь, моя чудесная, необычайная. Не тщетна вера эта. Для Господа возможно все. Ждать, м. б. не так уж долго. Я верю. Я хочу — и будет, если соизволит Бог. Он видит все. Душу нашу видит. Будем же молиться! Я весь — в трепете, как никогда.

Твоя фуфайка-грелочка... — чудесная! Я — как влитой. И так тепло! И так красиво. Все так любуются. Такой я бодрый в ней, как... мальчик. Так и говорят. Вчера была поэтесса[235], принесла мне посвященные стихи, не была года 2. «Как вы помолодели!.. посвежели!..» Еще бы... На ночь я кладу грелочку на подушку, за голову, один рукав под подушку, другой — на «думочку», и — прижимаюсь щекой. Я слышу тебя, будто это твоя рука... со мной. Я дышу ею, я вбираю твои вздохи, твои глаза... твое тепло. И так все ночи. Оля, нет минуты в днях, когда бы не было тебя во мне! Да, это правда: ты все, во всем. Как жизнь. Ты — жизнь мне. — Не болей цветочком! Твои «мотыльки» цве-тут! Еще будет бутончик. 2 с половиной месяца! — Оля, письмо от 14 — опять «самооправдание». Я был все неспокоен, все объяснить пытался... — ну, прости! Кончим же все. — О шефе ты не досказала, как посадила его «на задние лапки». Мне интересно. О «Даше» я все сказал. Получила? Все, все — правда, чистая. Знай же, я никакой другой женщины не знал, и не любил никакой другой, кроме Оли. Ты — первая, без нее. Так — дано. И я счастлив, что так. Ты должна долго жить, долна жить в творчестве, твоем — моем. И — будешь. Я... жесток к Дари..? Но ты чувствуешь сама, что по заданию — так надо. Надо — оправдание страдания и — счастья. Не в сроках дело — в силе чув-

ства, переживаний, напряженности Счастья — вот. Время — условность. Нет, тут не наказание за грех. Тут — испытание, завоевание Высоты! Тут, наконец, мой творческий опыт... и надо его сделать ясным. Твоя любовь мне поможет. Благословясь, приступаю. Завтра Благослови, Оля. Мысленно поцелуй меня, Ваню твоего, родного твоего, горемычного твоего. И — счастливого тобою. Перышко выправлено, оно — золотое. Как тебя ласкаю!! как целую нежно, всю, всю! Привил сегодня оспу, надо. Зима зверская, замучила. У меня сносно +9—10, когда добавляю радиатор электрический. Достали мне «мацы» — из белой муки, горы! Как хрустит! Я хорошо питаюсь. Ты-то ешь! Будь радостна*.

24-го утро. Сегодня за «Пути». Целую. Твой Ванёк

Не рассерчала за «мышей»?[236] а за «Прости»? Это Тоник балует.

112

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23.II.42

Ваня мой родной, светлый мой, чудесный, прекрасный ангел! Ванюшечка — солнышко радостное, ласкунчик, нежный, дорогой мой! Неоцененное мое сокровище, счастье мое, единственный мой! Ванечка, не могу выразить тебе всю муку мою за тебя! Христа ради, — не для меня, — я недостойна тебя! Но Христа ради молю тебя: утишься! Успокойся! Верни покой и радость! Послушай друг мой единственный, Душа моя: представь, что мы с тобой в своем, далеком храме, никого народу, тихо, полу-темно и только батюшка еще в алтаре закрытом что-то вполголоса говорит с прислужником.

Одни мы перед Крестом... И я тебе вот перед этим Крестом говорю, Ванёчек: успокойся, уверуй, не мучь себя!!

Я, слабая и грешная, только тобой и живу. Не думаю отходить от тебя. Откуда ты это взял? Нет, такая я, что теперь у тебя, — я навеки. Не возьму никогда ничего, из того, что дала. Не томи себя этими мыслями. Это нельзя! Но мне больно, что большего пока нету. И в этом я не вольна. Подумай! Ты сам это признаешь! Я не могу преодолеть расстояние... и многое другое, не мое. Разве я не хочу? Ну, успокойся!

Давай молиться вместе... Хорошо, спокойно... Ванюша, я пред Лицом Бога тебе говорю, что никогда тебя сознательно не мучила. Ты верь мне, что эта проклятая моя

---

* Знай, что тобой живет сердце и как бьется! Творит Тобой!

«повесть» меня доконала. Я так старалась (не «громоздить») себя найти, и так страдала, что не могла.

Ненаглядный мой, я вижу, как ты склонился головкой, ты грустен... Ванюша, я на коленках перед тобой, я снизу заглядываю тебе в глаза... Ну, улыбнись, ну, хоть сквозь слезы! Я обниму тебя, тихо и благостно, поглажу, успокою. Тебе так нужно тепло и ласка... Дружок мой, милый!

Забудь, брось все! Помни только Олю светлую, твою, любящую. Ну, будем же детками Христовыми! Ну, будем!

Я писала тебе вчера много, подробно, объясняя все мое. Не посылаю. Не надо этого ничего, никаких длинных слов. Ты все поймешь сердцем! Ты поймешь, что Оля страдала, дико, безумно, не могла унять себя, именно из боязни утратить Ваню, писала убито, горько, потому что иначе не могла. Серии писем горьких Ваниных, вызвали потоки таких же Олиных... Но письма ползут и опаздывают... И получается нескончаемая мука...

Ванечка — радость моя, моя весна и счастье! Ванечка, друг мой! Ты увидишь, что уже 20-го и 21-го я тебе писала о том «кризисе», который я теперь переживаю. Побереги меня, Ванечка. Мне очень трудно. И себя побереги, т. к. и тебе нужны силы духа, чтобы светло за меня молиться.

Ваня, пойми еще одно: моя жизнь очень трудна. Ты не все знаешь, но верь, что мне труднее, нежели тебе!

Я не хочу конкурировать, но это — факт. И ты, конечно, сам поймешь! Я должна внести во многое ясность. Я уже 15-го вечером говорила с А. об этом. 17-го была у врача и у свекра. 17-го, 18-го говорила с сестрой А. Я не пишу тебе всего подробно, т. к. это не нужно. Чувствую так. Все потом узнаешь. Я боюсь теперь лишних нагромождений из посторонних чувств. Я немного боюсь теперь (ты так мнителен, Ваня), что ты мое «расчистить» поймешь, как мое незнание и в отношении тебя... Не впадай же в новую пропасть! Верь всему, что я тебе говорю, не ищи ужасов, где их нет!

Я тебе говорю: люблю тебя, сам знаешь как (не надо все время это дергать), если бы была свободна, то не было бы вопросов. Понял? Моя несвободность независима от меня только. Это горько и ужасно, но это надо видеть. Это не моя любовь к «удобствам», безволие или еще что. Тут все серьезней. Когда-то я тебе писала. И это кроме общих трудностей. Ты поймешь, почему мне особенно тяжела зависимость этого решения от моего счастья? И потому-то я хочу (и иначе не могу), как, отрешившись (это смертельно трудно, м. б. и невозможно) от моих чувств к тебе, объективно все взвесить и главное найти пути...

Я не могу «отрешиться» от чувства, я знаю это, — это такое

ужасное страдание рвать себя! Но как тяжело мне. Я уехать хотела. И уеду. Доктору я ничего лишнего не сказала. Меня он очень жалел. Звал в лечебницу. Но я хочу в церковь. Они не понимают, ч т о мне нужно.

Сестра Арнольда поняла многое. Но и она, и доктор, зная Ара, видят много трудностей для меня. И для него.

Ты пойми, что это все не от меня зависит.

Я должна у Бога помощи просить. Я должна все взвесить. Я же тоже виновата, что взяла т о г д а на себя «возок». И еще Бога[1] его благословить просила.

И теперь я помощи должна искать все там же. У Бога! Не могу тебе все описывать, но душой ты поймешь, стоя у Креста со мной, молясь, и веря мне!

Поймешь, что силы мои последние, что меня надо чуточку понять, поберечь это время.

Ты тогда (у Креста) не будешь выдумывать ложных объяснений, ты поймешь Олю. Грешно, мой родной Ваня, придумывать такое как: «фамилию мою родовую не хочу писать» и т. п. Ты сам знаешь, что это вздор!

Ванечка, молю тебя, пойми меня правильно! Без надрыва! Он и у тебя есть! Не старайся объяснить мое желание «расчистить» и «уяснить», — как отхождение от тебя, как мое еще н е з н а н и е в отношении тебя. Я этого очень боялась, когда писала.

Я как перед Богом тебе говорю, что решение о моей свободе или н е свободе — не только в моей руке.

Я давно томлюсь. Я не пишу тебе всего (ибо для чего тебя впутывать во все еще и другие тяготы мои), но ты поверь, что я измоталась вся. Когда-нибудь ты все узнаешь. Страшного ничего нет, не бойся, но постоянная моя мука. Неспокойная я душа! Я не могла так пребывать. Я как-то должна была все уяснить. Я должна не только смочь себя перед собой оправдать, но я должна знать, что я п р а в а.

Твое письмо с просьбой «все взвесить» показывает мне еще и с другой стороны на ту осторожность, с которой я должна все решить. Тебе было бы нестерпимо, если бы у Оли появлялись в совести уколы. Потому-то я и хочу путем углубленной, тихой молитвы, оставшись одна, просить Бога помочь мне решить и указать путь.

Потому то я и предупреждала, что м. б. не смогу писать тебе очень любовных писем. Ты поймешь? А теперь я боюсь, — поймешь это как нежелание, что будто не могу, «остыла». Все это, Ваня, оставь! Оставь для дурного, темного, кому это радостно — нас мучить. А себе оставь светлое! Веру, Надежду и Любовь!

---

[1] В оригинале: Богом.

Я верю, что ты из строк этих меня увидишь сердцем. Я клянусь тебе, что я вся — Правда!

Не будем себя жечь сами упреками, что нет встречи — мы же не можем ничего!

Я, конечно, писала, что «хочу приехать!», потому что я хочу! Но я не могу, т. к. не дают визу!

Так же как и ты. Но не падай духом. Все может измениться. И что мы — люди знаем! У меня всегда такое чувство: что ничего абсурднее нельзя придумать, — как нашу не встречу! И вот, знаешь, теперь (так и всегда бывало), когда у меня сил нет, нет никаких человеческих сил, — я чувствую очень сильно, что надо себя вручить Богу! Надо его просить и слушать! Это моя правда! Я — сама больше ничего не могу, не в силах. Это не малодушие «на Волю Божью». Это мое — Святое! Поверь мне, прими это, и... помоги! Ты поможешь мне твоим миром. Молитвой!

И помни: то, что дала, даю тебе, — того никогда не возьму обратно. И не думала «отходить» от тебя такой, какая тебе далась, открылась... Это тяжело — разлука. Ты знаешь, как мне тяжело! Я же столько писала. Но это надо пока принять, смирившись. Молясь, чтобы Господь помог!

Мне очень тяжело! Верь! Но любовь к тебе, твоя любовь дадут мне силы! Не отходи от молитвы! Никогда! Сколько бы годов ни ушло... это ничего у меня не изменит! Я люблю тебя гораздо глубже, чище, серьезней, чем ты это думаешь. Люблю так, что годы — ничто! Пойми это! Любовь Духа! Души!* Не тревожься и о здоровье моем! Да, я очень вся измоталась. Но, очевидно, лекарство сердечное (пахнет и валерьянкой) помогло — не сжимает, легко, тоска прошла. Я хорошо, с удовольствием сплю. Ем хорошо.

Чуть-чуть еще слабость, «пустота» в голове. Пройдет — верю! Это все спазмы. Я их знаю. Бывало. Обмороков больше не бывало. Итак, Ваня, не мечись, не страдай, не надумывай себе страхов. Господь да даст тебе покой души. Будем дружны, светлы, тихи!

Помолись Боженьке! Вспомни О. А.! Ей же тоже это все больно — твои муки! Ну, дай благословлю тебя! Ну Господь с тобой! На лобик, на грудку, на правое, на левое плечико! Маленький мой мальчик, глупка, родной мой! Это все — радость темному! Эта проклятая моя «повесть». За все эти «порханья» (если были) мне — казнь! Крепко тебя, дружка, обнимаю, свято, чисто, любовно! Любящая твоя Оля

[На полях:] Я не буду больше страдать. Не томись!

---

* Это и там, за пределом!

Я написала 15-го маленький рассказик[237]. Тебе. Пошлю, когда себе еще «на память» спишу и поправлю.

Ванечка, в одном письме ты пишешь: «Но оставь мне МОЮ Олю, (курсив твой) ради Господа оставь!» Я не понимаю. Почему? Я же никогда, не трогала недосягаемой, святой! Я так чту О. А.! Почему, Ванёк, клянусь, ты что-нибудь не понял.

Маме лучше. Болят еще ушибы. Боится, не сломала ли ребро, но к доктору не хочет. Не уломать ее!

Ванёк: почему автограф: «Ольге Александровне», а не Оле? Я за все благодарна, но это не казнь твоя? Ванечка, успокойся!

113

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.II.42 4 дня

Олюньчик, я очень хочу, чтобы ты достала «Эккарт», «Блэттер фюр евангелише Гайстескультур»[i], окт. 1933, там статья германского писателя Эрнста Вихерта[238], очень популярного в Германии романиста и мыслителя, по духовной структуре и духу гуманности и по моральной требовательности близкого к сущности служения лучшей стороны русской литературы. Он написал обо мне. Он знает все, что вышло моего на немецком языке и на французском. Тогда ты будешь иметь приблизительное понятие, как Шмелева рассматривают лучшие на Западе. Прочти и И. А. И. — «Эккарт» июль—авг. 932 г.[239] Такой журнал должен быть в Голландии, м. б. даже и в Утрехте. Досадно, что издание немецкое «Путей Небесных» — был договор! — пока не двинулось, и не по вине мюнхенского издательства «Козелл унд Пустэт». Издательство меня запрашивало о продолжении даже. И я должен был получить приличную сумму авансом. Недавно разрешено, в исключение, выпустить I тыс. экз. «Солнца Мертвых» — !! Знают, ведь, что лучшего не существует в художественной форме против большевизма.

Милая Оля, победи в себе душевную подавленность, а то я сам ею заболею, и — опущу руки. Это со мной случалось, на го-ды... когда я бросал перо, пока не в силах, что ли, себя самого швырнуть. Теперь я буду в силах.

Весь твой, милая Олюша, весь. Твой Ванятка, как меня отец звал, давно-давно.

---

[i] «Газета евангелической духовной культуры» *(от нем. «Blätter für evangelische Geisteskultur»).*

114

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.II.42

Милый Ванюшечка мой! Родной мой!

Болью рвется мое сердце, как читаю твои последние письма. Ваня, ты мнителен до ужаса. Мне страшно от этого. Страшно, что многое мое, сказанное в святой правде, ты сможешь опять для себя обратить в муку! Ангел мой, Ваня, пойми и запомни: не могу я тебя «пытать», «мучить» или швыряться такими «штучками», как писать на обороте свою фамилию (без «С.»), чтобы тебя терзать. Торопилась м. б. Не знаю, не помню даже. Ванечка, одно пойми, что жизнь врозь с тобой, все, что тебя мучает, все это — и *моя* мука! Пойми, что *не я* создаю это! Я сама страдаю. Я, м. б. больше еще страдаю! Ванёк мой светлый, пойми это! Я теперь, при твоей мнительности уж боюсь, что ты примешь мои слова, что я «вне тебя»* хочу свое все «расчистить», — что ты их не так примешь. Я фактически — никогда не вне тебя... я всегда с тобой, в тебе, а ты — со мной. А этот вопрос, с Арнольдом (до сих пор переживая и в связи с тобой) хотела бы для объективности, для совести (ну пойми!) рассмотреть ни от чего независимо. М. б. практически это и невозможно. Я уехать хочу. Хочу все, все вспомнить, передумать, ну... будто... перед лицом Смерти, когда не лгут. Ты меня пойми, Ваня. У меня очень мучающаяся душа. Я себя знаю. Я мучаться бы стала. Это и тебе не нужно. Понимаешь? И именно, чем я больше рвусь к тебе, чем больше хочу себе счастья с тобой, — тем больше бы себя пытать могла. И потому я все должна «расчистить» и понять. Не умею говорить...

Ваня, не думай, что я историю с Земмеринг я тогда нарочно и «раздула». Тогда, когда она была — я вся рвалась на части, горела, до исступления. А после... когда утихла, созрела (и все время духовно через тебя зрею), то показалось глупостью... Перед другим, Высоким! Ваня, я не могу больше говорить... Я одно только скажу, что грешим мы оба, создавая себе мучения. Ванёк мой! Стою в благоговейном трепете перед твоим «Куликовым полем»!

Я плакала... Я не могла не плакать. Конечно, Ваня, это... не все поймут, как надо!

Я вчера получила и № 1 и 2 «Куликова поля». Все теперь. Не пойму, как это И. А. мог усомниться в писателе и следователе?..[240] Коли «сомневался» бы в таком писатель, то и...

---

* а я и для тебя это делаю!

не дал бы! Так просто! Но, Ваня, я не такая Оля! Где мне! Нет, Ваня, я очень недостойна. Оля Среднева тиха, скромна, смиренна вероятно... О, как трудно мне дается смирение! Это о. Д[ионисий] знает с исповедей моих. Я так боюсь, что ты меня неверно понял, «украсил» своей мечтой. Ведь начал же ты теперь верить «кавказцу»... Хотя, Ваня, он врет! Я — не гололед, н и к о г д а! Ни для кого! И еще: о «рае» со мной он говорить не смеет — для него этого «рая» никогда бы не было, — ну, а об «аде»... это от него самого зависит! М. б. у самого с собой!

Я не вампир, не «опасная», — я совсем простая Оля! Мне страшно, когда ты меня возносишь очень. Я тогда боюсь встречи! Я — хуже. И внутренне, и внешне! У меня много недочетов!

Ах, о встрече! Ваня, мое твердое убеждение: мы должны увидеться! Должны! Все наши муки от этой «призрачности». Мы не знаем один другого! Я не знаю, к а к это выполнить. Я буду спрашивать еще и еще. Но вот, что я узнала: мне ехать к тебе — это значит очень испортить дело с... ты знаешь чем? Ты же юрист, ты знаешь. Можно вообще *все* в конец испортить. Меня приклеймят и не пустят. Тогда я и односторонней просьбой ничего не смогу сделать. Понимаешь? Мне совершенно «наплевать», что обо мне говорить будут, так сказать «вина». Но можно все испортить. Понимаешь? Потому, лучше, если бы ты приехал. Попробуй весной.

Для Сережи — совершенно искренне: ты хочешь мне передать «литературную заботу». Представь, как это было в июле... Ты же писал! О том, какие чувства и т. п. — никого не касается. Сережа не так много знает. Ничего дикого нет в том, что ты будешь в Arnhem'е, а не в «семье гостем», — здесь, у «тутошних» — ничто не дико!

С. знает отлично, какова у меня «семья» и абсолютно бы не удивился, что я охотнее встретилась бы с тобой в другом месте. Если бы даже н и ч е г о у нас не было. Гораздо проще, легче атмосфера в Arnhem'е, где *и* С., где мы можем быть русским обществом. И, кроме того, Shalkwijk — дыра (или «щель»!), а Arnhem все-таки городок... и миленький. Но впрочем, я не хочу томить тебя. Ты все теперь знаешь, — ты реши...

Я признаюсь, что с большей радостью поехала бы сама к тебе. Поверь же!

Я страшно боюсь, что ты меня при свидании... разлюбишь! Ты же никогда меня не видел. Я иногда жалею, что послала тебе фото... Мне иногда мечталось, что я — незнакомка приехала бы в Париж и выследила бы тебя... Ну, хоть в церкви... да, определенно в церкви. Я под каким-нибудь предлогом подошла бы к тебе. Я постаралась бы поговорить с тобой... у меня бывали целые темы!

И я... м. б. (!), увидела бы... к а к ты ко мне. Ну, хоть не холоден уж слишком, хоть не неприятна я тебе. Я всегда угадываю тотчас, при знакомстве, к т о к а к ко мне. И я тогда рискнула бы тебе открыться... или... уйти.

Я думаю очень часто о таких и других встречах. Я приезжаю к тебе, без того, чтобы знал ты... Звоню у тебя... ты дома. Или... тебя нет дома. Я жду на лестнице... часами... иду слоняться по улицам, устала, в отчаянии, что нет тебя. Иду за угол, возвращаюсь, стою в подъезде... Дождик. Мне холодно от бессонья, дороги, дрожи. Иду опять на лестницу. И... слышу какой-то шорох в твоей квартире. Звоню... выходишь ты... Я не сообразила, что, когда уходила за угол, ты мог вернуться... А я не знала... и часами еще мокла у подъезда... И как тепло, как счастливо, как сверх-небесно!

Но зачем, я это? Мутно, Ваня, в жизни... а мечты... где они остаются? Уходят как мираж? Но я живу ими... пока? Ванюша, я в Гааге не была еще. Я хочу туда уехать на-дольше. Я и не получив, уж вижу все твое — мне. Ванёчек мой ласковый!

Я обожаю чернослив, и клюкву, и все, все! Я каждый год добывать еще могла клюкву, но теперь нет ее. Ванюша, а вязига — роскошь. Я сама ее не делала никогда для пирогов. Мама знает, конечно. Мы с мамой стараемся поститься, как можно. У нас есть белые грибы. Жалею, что тебе их не послала. Мы сами с Фасей собирали. Ваня, я вчера так без тебя скучала, именно скучала, как детки без мамы. Твои духи вдыхала, конфеты твои открыла и массу их «распробовала». Они очень вкусны... Но я их беречь буду. А вот цветочек... — горе! Падают — отгнивают листочки. Не понимаю причины. Еще «глазок» есть. М. б. и отродится. Ваня, здоров ли ты?? Сокровище мое! Мой светлый Ваня! Нравится тебе «грелочка»? Как я рада! Подумай — это чудо, что шерсти тогда достала. Мама в том же магазине хотела купить себе для С. 300 г — не дали в одни руки. И уж мы сборно: Фася, мама и я собрали эти 300 г и то еле-еле. А я тогда тебе могла достать! И все так было удивительно! Ваня мой, радость, никогда не огорчай себя, никогда не допускай мысли, что я «ухожу» от тебя. Разве ты не знаешь, что ты — Жизнь моя! Ваня чудный мой! Ах, я так иногда ревную!.. Прости... Но повинюсь уж! Мне кажется иногда, что эта Д[аша] к тебе может приехать, что ты ее все-таки как-то «в о с п р и н и м а л», ты же сам писал: «иногда жаль, но я дополнял все воображением». Это ты о том, что ничего не было с ней. Мне кажется, что «Пути Небесные» — ее история, что тебя тянуло написать ее, эту Д[ашу], «излить» ее в творчестве, так сказать «восполнить пробел». Тогда мне ужасно. Тогда я ухожу мысленно к О. А. и прошу ее успокоить меня... Дико? Но это, правда так! Я люблю О. А. Поверь мне! Она очень

мила на фото... Я бы в нее влюбилась. Очень мила! Я даже слышу ее голос... мне кажется, довольно высокий, мягкий. М. б. такой, как у Вали Розановой чуть-чуть? Ты ее не знаешь. Да, это та, что любит П[устошкина][241]. Но не это — ее «примета», ее особенность. Валя обворожительно-чудесна, будто в ней бьют ключи. Причем внешне даже не красива (не некрасива). Теперь очень за этот год постарела, перенесла операцию. Пустошкин в моих глазах стал выше, когда я узнала, что Валя его любит. Что-нибудь, значит, и в нем есть... Ванёк, сегодня или завтра, приедет С., и я знаю, что (ему телефонировали сюда — он был здесь) 3 письма заказных ему. М. б. твои?.. И я... боюсь. Боюсь боли твоей, Ваня... А как странно: оба мы пишем о... «м и р е»... И о... благости Креста... Пишем, не говоря друг с другом, скрестились письма. Я — перед Крестом тебе шепчу успокоение, мир, — а ты — зовешь меня напиться Света от Креста! Ах, Ваня милый, никогда не поддавайся злому духу, — он борется за тебя, такого чистого, такого светлого, такого... святого! Ванечка, ты мне источник света... На коленях перед тобой твоя Оля

[На полях:] Здоров ли ты?? Я волнуюсь... Мне лучше!

26.II.42 Сережа привез вечером 3 письма. Посланы от 18-го[242]. Ваня: «в какую бурю ощущений»[243] я погружена! Мой дорогой, любимый! На все отвечу. Я все понимаю!

Меня *не* «схватило»! И не «схватит». Я люблю и узнаю тебя глубже. Истинно «узнаю». Люблю!

115

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.II.42[i]

Мой милый, мой родной, мой чудный Ваня!

Невозможно на твои письма ответить... в них так в с е г о много. Ванёчек, моя главная мысль-чувство-желание — обоим нам покой и мир! И потому, я ничего больного там не касаюсь, ничего о моем тревожном, что в свою очередь тревожило тебя.

Даже не хочу вдаваться в подробности твоего, об «огоньке», который «может зажечься», о том, что «я увлекающийся, и если отойду от тебя, мне самого дорогого, то навсегда». И многое другое...

Я всеми силами души и... моей любви к тебе хочу, стараюсь всего этого не принять опять в сердце, не ранить его, не терзаться взаимной мукой.

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: (перед поездкой в Гаагу). Олечке гораздо лучше.

Я верю, что если мы оба любим так светло и свято, то нам ничто не страшно.

Ваньчик, но все же не режь меня таким! Мне трудно! Ванюша, я тебе это ласково, хорошо говорю. Как бы это сказала тебе О. А.!

Родной мой, это все, конечно, надо сказать, если такое впрямь случится, но... если нет этой казни, то не надо и говорить о ней. Я все твое так беру в сердце. Ванечка, если бы ты знал. Если бы такое («огонек», «отход») случилось, то... нет уже не знаю... что бы и было!..

Мне страшно думать. Мне жутко от мысли только. Умоляю! Я все свои запасы сил (всяких) употребляю на то, чтобы окрепнуть. Пью лекарства, сплю много. Иду в постель вечером уже в 11 ч., и днем от 2—4 тоже лежу. В теплой комнате, хоть это отопление отчаянно нас подрывает; в смысле запаса дров. Я до сих пор не знаю, каким образом смогу выполнить план моей поездки в Гаагу, т. к. это связано с массой досадных, но жизненно-необходимых мелочей. Я чувствую, что одиночество и покой самое главное, чего мне так не достает. Я хотела бы именно отдохнуть, передохнуть. Буду стараться исполнить. Тогда же, вероятно, использую время и для говения, т. к. иначе не соберусь. Да, мне конечно не достает духовника. Но что же делать?! У о. Д[ионисия] бывает очень чуткая интуиция и опыт, как бы ему данный, не его собственный. Я этому и прежде удивлялась. В моей болезни он меня удивительно поддержал. Но... конечно... ты прав: не к таким ходить за жизненным советом. Но мне и не надо (верю) будет. Я верю, что — только бы окрепнуть и просветлеть душой! — я сама найду себя и пути. Сейчас, пока я дома, я ничего не могу. Я даже не пытаюсь во что-нибудь вникнуть. Я гоню всякие мысли — мне не под силу. Я только единственно хочу окрепнуть. Доктор мне сказал: «душевной энергии у Вас масса... окрепните только физически». И он прав. Только чуть-чуть прояснится мой небосклон, как масса планов, идей... всего, всего...

Как жаль мне, что я, просто за недостатком времени (с моими отдыхами и снами) не могу тебе послать мой рассказик. Все это только ради и для тебя! Я хотела бы его исправить, «отделать» и переписать. Это... «постный». О моем первом «грехе» и исповеди в нем. Увидишь, как Оля мучилась еще 7-летней. У меня 7-летки были такие проблемы, которые и сейчас не разрешить. Напишу. Ставила родителей в тупик своими вопросами.

Ванюша, я получила твои автографы... Спасибо, дружок! А твои стихи... «Прости» и «мыши»... Ну, что же мне сказать?! Ванюрка, как же ты можешь... о коврике!? Ты там меня очень любовно отхлестал! Удивительно! Ну, нет. Если бы я могла сти-

хи писать, то ответила бы тебе... какой ты — коврик. М. б., но только... волшебный коврик... самолет... уносишь за облака... даешь мечту! Вот ты какой коврик. А такую Ольку, что «притопнет» и т. д. розгой по голому месту!

«Мыши» очень хороши. Кстати... по комнатам не носятся, но за обоями пищат и скребутся всюду. В салоне, где я сплю, по ночам будто птички пищат. Беру кота, который с вечера гуляет по всей комнате, а ночью спит у меня в ногах (в сгибе колен), — тепло ему так. При всяком писке пулей вскакивает и несется. Приходит снова и, мурлыкнув совсем особенно, осведомляется, нельзя ли ему под одеяло, т. к. к утру холодает. И непременно лапки на грудь, а мордочкой уткнется под подбородок и лижет-лижет, поет-поет. Потом вздохнет с чего-то и заснет. Я люблю его, ласкового, мягкого котишку. Иногда лежу не шевелясь, чтобы не помешать ему — подлецу, не лишить его «норки» теплой. Ты никогда не хотел себе завести котишку. Это дает уют все-таки.

Ванюша, меня, конечно, очень интересует тоже прочесть тебя и в переводе. Я уже искала тут. Не понимаю, почему и голландского даже перевода (3-х книг) нет. Попытаюсь еще в другом месте. Мне очень хочется. Выпишу еще «Europeische Revue». Мне кажется, что «Das verborgene Antlitz» переведен не очень хорошо. Ты мало чувствуешься, хотя я оригинала не знаю. Но так, по чутью. Мне думается, что «Liebe in der Krim» — хорошо. Я там тебя живого осязаю. Попытаюсь все достать. И «труд» о тебе. И статью И. А. Очень интересно! Почему же ничего не слышно о И. А.? Я тревожусь, здоровы ли они оба? Оба не богатыри. И я, и С., и мама, много ему писали... Н и ч е г о... раньше у нас была регулярная (хоть и не очень частая) переписка.

Ужасно смеялась я, читая твои проклятия о. Д[ионисию]. Я, действительно, тоже не понимаю, почему не сказать сразу. Я понимаю твое бешенство. О, я бы так же! Но, Ванёчек, — это ничего. Я знаю сердцем, что всю меня ты задарил! Ах, я бранить тебя бы за это хотела, но... не могу!

Ну, подумай, что я буду делать с такой массой духов?! Жизни моей не хватит на них! Я чуть-чуть трачу!

Ванюшка, скажи, ты любишь немножко грим? И все такое? Да?

И, как это ты сказал? — «раздетые шелком чулок»[244]... Да? Я помню, на меня это твое выражение, его меткость, произвели большое впечатление. Очень хорошо помню. Бич-Бураев[245] шел, своей черкеской, «плыл» по витринам... Чудесно дано! Я некоторое твое наизусть помню, прочитав один только раз! А некоторые вещи (других авторов) забываю даже, чье это. И знаешь,

я прочла Бунина некоторые вещи, а потом забыла, совсем забыла. Смутно что-то мелькало... и стыдно, что забыла. Перечитал недавно нам вслух С., — слышу: «ой, да это Бунин был, а я то и забыла уж!» И хорошее его! Ужасно! А твое врезывается... Или: твои «нарубки» входят в мои нарезки для них. Мы же поразительно похожи. Моя душа с этими «нарезками» только и ждала тебя! Я из «Путей Небесных» почти все наизусть помню! Ваня, ты говоришь о письмах 1 раз в неделю. Ах, если это для «Путей», то я с радостной печалью приму это. Скажи мне только честно: не из-за того, что я тебе надоела?[i]

Если для «Путей Небесных», — то все приму.

28.II.42 Ваня, я воровски прочла из твоего письма к маме[246]: «скажите, как мне вести себя в отношении Оли, — она сама мне исчерпывающе-прямо[ii]* не скажет. Я все... все исполню, поверьте». Ваня, я не хочу, да и не могу больше ничего разгадывать, но просто и дружески прошу тебя мне сказать: ты подсказываешь маме сказать: «не пишите Оле...», а м. б. ты даже хочешь-ждешь большего? Все это пришло мне в голову в связи с твоими «огоньками», «жаждой женской ласки» и предложением «отойти от писем». «Отойти от писем» — значит у нас — отойти от всего. Все ведь у нас в письмах. Я тебя просто, без истерии спрашиваю, — мне это нужно знать для всей моей жизни, здесь и там — : ты разлюбил меня? Ответь. Я жду. Если бы ты знал, что стоит мне это писать тебе! Я понимаю, что жить такой сумасшедшей перепиской нельзя. Тебе нельзя и творить, и так сгорать в моей «тоске». Я от чистого сердца принимаю твой «отход» для работы. Но я должна знать, так ли это только. И не скрывается ли за этим еще и другое. Я тоже не буду часто тебе писать. Я дам тебе покой. Это для спокойного творчества тебе необходимо. Не волнуйся за меня. Я буду лечиться. А видишь, как я права была, не желая писать о здоровье... больных женщин не любят мужчины. Я это много раз видала. Но не преувеличивай моей болезни. У меня вовсе не неврастения! Ваня, одно я тебе скажу: я с тобой, как с совестью своей всегда открыта. Не ищи же во мне вампира!

[На полях:] Буду писать реже, по твоему желанию. Пиши «Пути Небесные», милый!

О поездке с шефом я тебе все послала? Еще не получил? Если пропало, то дошлю. Но после. Шеф — никакой, никогда не «герой».

Прилагаю Олю в лаборатории, у микроскопа[247].

---

[i] Это предоложение выделено О. А. Бредиус-Субботиной в рамку.
[ii] Словосочетание выделено О. А. Бредиус-Субботиной в рамку.
* Ваня, что это???

116

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.II.42 4 дня

Дорогая Олюна, вот продолжение твоего «Куликова поля»:[i]

Ольгуночка: сладко мне что-нибудь делать для тебя, и еще переписал бы, и еще... — но кончаю, т. к. из твоего сегодняшнего письма узнал: дошли 1 и 2 письма с «Куликовым полем». Ваня

Ольгуночка, пусть эта, последняя, редакция «Куликова поля» (я опять местами правил и пополнял!) будет истинной, по-мни! Рад, что дошли 1 и 2 письма с «Куликовым полем». Больше не буду переписывать.

(продолжение письма от I.III[248])

Моя Дари — созданная исключительно моей душой — из ничего. Я как [пел]: «напишу тебя, небывшая никогда... и бу-дешь!» И она стала быть. Вот. Мне смешно, когда ты, выдумщица, припутываешь сюда — какую-то бесцветную Дашу! Чушь какая! Я такой — Дари — очевидно, хотел... и создал. И — спустя, — ею, этой моей, — и не бывшей, и ставшей, — нашел Живую, тебя! Да, да, да!!! Вижу. Я писал, а ты — она — уже была! таилась, жила в моей душе, — и на земле! Сущая!! До чего же это теперь мне ясно! Ты себя узнала в Дари! до трепета... до сладостной тоски-тревоги... ты не могла, прочитав, «прийти в себя»... Но ты куда больше Дари, чудесно-сложней, нервней, трепетней, полней, краше, заманней, чаровница милая, чудеска! Нет, ты не «гололедица», нет... прости, но ты... чарующе обаятельна... именно, своею «недоступностью»... помнишь: «вертится — вьется, а в руки не дается»?! Да это же предел прелести... — тут уж слово «кокетство» — бессильно. Вот почему верно — в отношении тебя — «несказанный рай»... — сверхблаженство. Я это чувствую в тебе, это только ты могла бы дать. И это многие чувствуют (-вали), но не так глубоко, а — площе, более плоско и низменней. Прелестна, несказанна в тебе — духовность, в соединении... с обаянием, обликом осязаемым, движениями, (ты, уверен, удивительно женственно-изящна, — именно — чарующе-привлекательна, маняща...) — и за всем этим — несбыточное, нескАзанное счастье твоей любви. Твоя любовь — (видишь, я и тут вижу воображением, создаю, а это уже есть) — необычайна, — предчувствую — глубоко-чарующа, от НЕЕ можно изнемочь душой, сердцем и...

[i] Далее — текст повести «Куликово поле» (гл. II—III).

быть «р а з ъ я т ы м»: сладостное онемение, как после какого-то неземного, душевного м а с с а ж а... Прости, если я тебя невольно волную: в этом есть что-то и от «страстности».

2.III.42, 5 дня Ольгуша, милая... я в с е сказал. Будь спокойна.

Я больше не буду мнительным. Поверь же: тебе я верю во в с е м. Люблю тебя навечно и безмерно. Ты мне д а р о в а н а. Ты — несравнима, несравненна. Какое счастье писателю — создавать, искать, облекать словом — и — н а й т и! Нет, в Оле «Куликова поля» и в тебе — о б щ е е. Это тоже предчувствие мое. Ты замечательно сказала: «коли сомневался бы в т а к о м писатель, то и н е дал бы!» Точней, глубже — нельзя. И ты права: я н е сомневался. И следователь мой н е сомневался. Разве не чувствуется его «страстность прозелита», только что п о в е р и в ш е г о, а потому и... рассказывающего об этом. И. А. тут «перестарался смудровать». У-мница, гений ты мой, девчурка!

Хочу тебя видеть, обнять, в с е взглядом сказать тебе. На этих днях буду у Лукиных в Медоне, все дознаю, как он получает позволения. Был вот в Италии на днях, а мне... в 37 г. не могли дать визы, — в течение 2 мес., хоть хлопотала русская колония в Риме, Милане, Флоренции... — и это — д о войны. Полагаю, что большевики тогда совали палки, о-чевидно... с ними считались. Но т е п е р ь, после всего, что я сделал для укрепления человеческой воли в борьбе с большевизмом... этого же н е закрыть, это же в моих книгах, на многих языках... — вот, в Германии разрешили же вновь издавать мое «Солнце мертвых», «как бы в исключение»! — почему теперь мне не дадут визы?! Я все сведения получу у Лукина, везде буду хлопотать, где надо, и я тебя увижу. И, кстати, мой мотив уважительный: мне надо устроить литературные дела и переговорить с Сережей. Там и встретимся, Бог даст. И — верю — недалеко время, когда мы в м е с т е въедем в Россию. Б е з тебя я не поеду туда. Тебя здесь не оставлю. Ты можешь меня разлюбить... — ну, кто что знает! — но я б е з тебя не буду. Во всяком случае я буду всегда близко от тебя.

Слушай: ты должна, обязана серьезно лечиться. Не днями приходит здоровье. Ты должна 2—3 мес. быть в полном отдыхе и лечении. Да, в санатории, ну, в лечебнице, только не в пансионе. Зубов рвать не давай! прошу!! Это — прихоть медика. Я Серову верю. Он сказал: если бы с н и м о к, н е просвечивание показали, что н е о б х о д и м о... — другое дело. Но этого н е т. И были бы боли, воспаление... — все, значит, — чушь. Пощади себя. Займись собой, если, действительно, хочешь ж и т ь, хочешь «встречи» и — нерасставанья до конца. «Куликово поле» — по сердцу, да? Я рад, милка. Д л я т е б я — писалось. В и ж у. Если бы, я сам тебе мог прочесть!.. Я всю душу вложил бы в чте-

ние. Я говорил бы сердцем — сердцу. И ты приняла бы, м. б., еще нежнее, глубже. Да когда же этот нарочито-монах доставит тебе «часть» посылки?! Хотя бы 1 флакончик духов. Там еще конфеты, клюква... вязига... Но какая досада... ты любишь черносливку, я тут угадал... а он не взял! Ну, что мне делать?! И всего фунт! И — бананы сухие, тебе бы очень понравились, и хорошее питание. Рису бы тебе послать! Есть у меня. Если бы ты вот здесь была... вот в этом кресле... я бы припал к тебе... я бы так нежно коснулся твоей руки... в глаза глядел бы... ножки целовал бы твои, моя прекрасная!.. Твою «грелочку» кладу на подушку ночью... прижимаюсь глазами к ней, вдыхаю... проснусь, под щекой рукавчик, жадно целую... полусонный, шепчу, ласкаю... нежная моя, О-ля моя... ты со мной. А ты... сущая, — да-лё-ко..! О, какая терзающая мука... И кому это нужно? во имя че-го?! для чьего счастья?! У тебя нет освященного союза... они же не признают таинства брака... и брак для них — не таинство, а юридическая сделка. Все равно, и освященный в православной церкви! Нет таинства — в односторонности. Он — не мог принять, как «невер», этого таинства. Так это все искусственно, это лишь в эмиграции установился «обычай» освящения, такого! У них нет таинства священства. Все это — не обязывает. А для тебя уже явно — нет здесь — святыни, в таком... тут полное одиночество, твое... ни тени «души в душу»... — Ну, оставим, не надо мучиться и мучить. Тут, в таком браке — голый эгоизм, вопиющая односторонность: на одной стороне все выгоды — на другой — сплошь томленье! И это... «связано» Господом? Кощунственно думать так. Кощунственно — и рабой быть в таком союзе. Ты сумасшедшая! Я тебя... «разлюблю... — когда увижу»?! Мало ты меня знаешь. Я онемею от тебя, да... я не в силах буду говорить... я знаю. Я тебя во сне видел, смутно... ты что-то кроила, с мамой... что-то деловое говорила ей... Я тебя начинаю видеть во сне... только забываю... И Олю вижу, добрую... в светлом, хорошо это. Я здоров. Оспа привилась. Никого, ничего мне не нужно, только, чтобы ты была здорова, чтобы ты была... и мы — жили душа в душу. Завтра опять за «Пути Небесные». Надо их взять. Дари тонет в тебе. Ну, будем же бережны друг к другу. Будем кротки, нежны, чисты, Оля. Я — я отныне ни тенью мысли-слова не омрачу тебя. Я молюсь за тебя. Ночью я шлю тебе привет в молитве. Моя светлая, Господь с тобою. Будем верить, будем надеяться на Милость Господа. Он видит наши души, сердце наше. И наши цели. Оля, пи-ши! Это твой долг, твоя радость — и мое счастье: Оля будет творить!

Целую, нежная моя ласка-Оля, твой Ваня

Начало «Куликова поля» послано 28.II на Сережу. Посылаю 3.III.

117

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.III.42

Милый мой, родной Ванюша!

Пишу в надежде, что звтра утром, в 8 ч. уеду в Гаагу. Ничего не могу загадывать теперь, и все зависит от того, пройдет ли благополучно день и ночь (без кровоизлияния). Получила письмо от о. Д[ионисия], где он зовет меня остановиться у них, в церковном доме.

Посмотрю: если будет холодно и мало покоя, то поищу комнату в Hotel'е. Это м. б. самое разумное. Готовить же себе обед я смогу в церковном доме. Это обстоятельство очень облегчает все дело, т. к. тогда я могу взять просто продукты. Удалось получить, выменять картофельные номера (мы дали картофель, а нам №), на натуру, т. к. у нас самих карточки отобраны.

Хлебные тоже достану. Молоко возьму сгущенное и т. д. Смогу вероятно доставать рыбу. Поститься я брошу, если это будет неудобно и трудно. Не в этом дело!

Я чувствую себя хорошо! Ничто не болит. Тоски больше нет. Сплю хорошо, несмотря на отчаянную возню мышей.

Головокружения прошли совершенно. И, представь себе, я даже перестала худеть!

Все же я считаюсь с возможностью (даже м. б. необходимостью) лечь в клинику для исследования. Поэтому я и уезжаю с таким рассчетом, что из Гааги проеду в Амстердам к своему специалисту и покажусь ему. Если он захочет, чтобы я осталась там, то я останусь.

Сколько я пробуду в Гааге — не знаю. Хочется очень отдохнуть... М. б. до конца 5-ой недели. Мне очень хочется поговеть. А теперь, ввиду этого «казуса» с почкой... чувствую особую потребность.

Ванюшечка, помолись, чтобы операции не надо было! Хоть знаю, что просить тебя не надо, что и сам помолишься!

У меня бодрый дух после твоего милого письма 23—24.II.

Ты — моя радость, моя жизнь, моя вся сила и бодрость, Ваня!

Я постараюсь в Гааге достать твое все, что ты мне написал. И о тебе. Но я без всего того, что сказали о тебе другие, — знаю к т о т ы! И мне иногда страшно, что я так просто, так «по-домашнему» к тебе... И кажется, что, увидь я тебя... смутилась бы... и не сказала бы ни «ты», ни «Ваня». Так я ничтожна и мелка... и т а к я с м е ю тебе?!

Я бы в прах упала перед тобой!

Ванюшечка, радость моя, пишу коротко сегодня, т. к. уже скоро 5 ч., а мне нужно еще собраться и распорядиться, и на почту сходить. А вечером в 8 ч. мы с визитом у бургомистра, — давно уж сговаривались. Редко-умный, чуткий человек, знающий нашу душу и сущность. Я поражена была здесь услышать такое свежее слово!

Ну, дорогой мой, обнимаю тебя и люблю. Твоя Оля

[На полях:] Я тебе уже писала, что «Куликово поле» получила. Очарована! Унесена!

Ваня, я мечтаю о чудной, дивной книжке «Куликова поля»! Я вижу ее... эту «цветную триодь» твою![249] Она же, полуцерковная! Троицко-Сергиева!

Вань, ты да-вно обещал рассказать о том, как О. А. на скачках тебя «учила».

Конфеты твои (рождественские) чудесны! Я же писала! Я их почти все съела, а хотела сберечь. До того вкусны! И медовые — дивные!! Все, все!

Все твои письма мама перешлет мне в Гаагу. Я же буду тебе обо всем , что со мной, подробно писать! Счастлива «Путями»!

Да благословит тебя Господь на этот труд!

118

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.III.42 8 вечера

Милая Олюша, не знаю, что с тобой. Давно не бывалая тоска давит весь день, — места не найду. Ты ли страдаешь, или обо мне думаешь в тревоге? Если трудно тебе писать — не утруждай себя, родная, — перемогусь. Не могу ни писать, ни думать. О, какое снова одиночество! Вчера писал тебе. Не могу мысли собрать. Что с тобой, деточка? Господь да сохранит тебя. Молиться-то не могу. Но сердцем весь с тобой. Целую, крещу.

Последнее твое письмо было от 3.III[250]. Твой Ваня

Оля, очень хорошо пить миндальное молоко! Вреда не будет.

119

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.III.42

Милый мой Ваня!

Несколько строчек только еще сама напишу, чтобы не волновался[251]. Лежу смирно на спине, трудно писать. Вчера тебе большое письмо писала, не кончила, а вот сегодня опять слег-

ла. 2 письма тебе больших не могу все кончить. Но ничего там существенного — все только душа моя и сердце к тебе! Ну, ты и без слов знаешь!

Сегодня было в 8 ч. снова... то же самое с почкой, много крови потеряла (шла сгустками даже сперва), а в 9—10 было все совсем нормально, ни тени даже крови. И, созвонившись с амстердамским специалистом (действительно знаменитый, не только здесь, а всюду), должны были снова отказать, уже заказанную, комнату в клинике, автомобиль и провожатого для меня. (Можно так сказать: отказать к о г о-то? думаю нельзя). Ну, все равно. Доктор, по его соображениям, велел выждать. Но как только появится кровь, то м. б. и поеду. И все равно и после поеду. Надо.

Не волнуйся. Я чувствую себя хорошо и хорошо позавтракала. Беда только, что все у нас больны. Ар очень страдал. Мама забегается. Прислугу не могу никак найти, уговорю поденщицу, хоть 2 ч. в день приходить. Помолись за меня. Не волнуйся. Будь покоен, а то и мне еще тяжелей будет! Хорошо?

Помолись, чтобы без операции!

Будь здоров! Давно, от 14-го нету писем твоих, я волнуюсь.

Пиши мне на дом, мама передаст, если меня увезут.

Ну, Господь с тобой! Милый, Ваня!

Твоя Оля

120

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.III.42 6 вечера
19.III 3 ч. дня

Родная Ольгуночка моя, все о тебе думаю и тревожусь, здорова ли. Как ты кормишься там, в церковном доме? Разве ты не могла бы в ресторане, в лучшем? Я знаю точно, что в гаагских ресторанах чудесно кормят, все решительно есть. Ну, что ты еще стряпней будешь заниматься, а тебе нужен полный покой, а не верченье у газа. Это в тебе сидит наше обывательское — с «домашними запасами» ездить. Или тебе дано денег в обрез, и ты боишься перетратить? Прошу тебя, лечись, давай же себе отдыху! Меня, прямо, сокрушает твое желание «служить»... искать работу. Ты слишком доработалась. — Питайся у с и л е н н о! Молочных продуктов в Голландии сколько угодно, были бы деньги. Чего ты щадишь «голландское наследство»? Слишком ты многим пожертвовала, чтобы еще стесняться расходов. Ты никак не ценишь себя.

Доктор С[еров] сказал, что, по-видимому, у тебя маленький

камешек в почке, м. б., «песочек», а при слабой сопротивляемости сосудов и «песочек» может вызвать кровоизлияние. А все это — на почве крайнего переутомления, при душевной подавленности, которая является также следствием переутомления нервного. Необходим, по его мнению, о-чень длительный покой, до нескольких месяцев. Иначе могут быть тяжелые последствия. Покой и лечение, при очень отборной диете. Вот его мнение. Да, просил я тебя написать мне, чего стоит в Голландии вполне приличное (отельное) прожитие, и в каком соотношении с германской маркой ваш гульден. Ты мне так и не ответила. Ответь, милочка, очень прошу.

Что мне делать с оставшимися для тебя гостинцами, как тебе переслать..? Ну, хоть духи-то, мог бы Сережин шеф взять? Адрес его не знаю.

Да, ты мне писала: Сережа читал из «Лета Господня», — «мама и он жили тобой, а я горько плакала над каждым твоим словом...» Почему «горько плакала»? Потому ли, что этого уже нет теперь... или — что моя мысль, чувства мои тебе близки, они с тобой, в тебе... а меня нет... далеко я..? Но я всегда с тобой, возле тебя, в сердце у тебя... и ты во мне, всегда ты, в каждом миге ты, и ты только. Олёчек, моя нежная, светлая, чистая моя птичка, ведь тобой только и жив я... ты — все для меня, и если бы все-все-все было у меня ныне (я не говорю тут, конечно, о невозвратимом!), ну, все, все (сила творческая, полный покой, полная независимость, все «блага»...) и я не знал бы тебя, — как ничтожно было бы это «все-все»! Только теперь я это понимаю. Я такое сокровище узнал в жизни — в тебе, что было бы для меня казнью — быть без тебя. Поверишь? Этого объяснить нельзя словом, все слишком слабо в слове, если бы мне нужно было определить, что я нашел в тебе, тобой, с тобой. Я теперь часто вспоминаю Пушкина: «И может быть на мой закат печальный — Блеснет любовь улыбкою прощальной». И вот — блеснула. Каждая ласка твоя, каждая дивная черта твоей мысли, — всегда твоя — своя! — для меня дар, радость нежданная.

Оля, мне стеснительно и больно даже читать, когда ты меня возносишь... Между нами этого не должно быть. Я тебе откровенно, как и всегда, говорю: Оля, ты, ты даешь мне счастье, даешь пресветлую радость в жизни моей! Я знаю, кто ты, какая ты. Ты для меня — именно, неземная. Я страшусь порой своего недостоинства. И когда я мечтами вызываю тебя, встречу с тобой... — я могу представить себя только склонившимся перед тобой, как перед явлением Святого, непостигаемого. Ах, как я порой тебя вижу! Это выше любви, выше чувства, это — благоговейный восторг, с чем срав-

нить его? Сказал бы... но ты могла бы смутиться, принять мое задушевное — как кощунство.

Меня пугает твое ожидание операции. Да разве она нужна?! Отнесись с большой осторожностью. Я знаю, что теперь, вообще, «камни почечные» лечением изводят или дают им «обволокнуться» и не вредить. Не соглашайся на операцию, проверь и проверь. Умоляю тебя, деточка, — осторожней. Если бы камешек был бы опасен, непременно были бы боли, острые... — а этого не было! М. б. ни-как-кого камешка нет, а кровка показывалась от раздражения...? Нужна диета, режим подходящий... — не пила ли чего-нибудь острого, или — не преобладало ли в пище мясное? или — пряное слишком? Ольгуна, ты же многое знаешь в медицине, проверь, справься. Я уверен, что никаких камней у тебя в почке нет, и ничего нет. Помни: кровоизлияние, состояние кровеносных сосудов о-чень зависят от душевного состояния! И я упрекаю горько себя, что вызывал в тебе неосторожными письмами, упреками, своею душевной нескладностью острые огорчения и возмущения. Ты до того предельно чутка, — ты же исключительна! — как самый тончайше-чуткий живой инструмент предельной точности... что с тобой говорить, тебе писать... надо с великой нежностью-чуткостью... о, как надо тебя беречь, как надо тебя лелеять! — о, милая, ненаглядка! Пойми же, Оля... — с такой душевной организацией, с такой неизъяснимой чуткостью, при твоем богатстве души, ты можешь быть только огромнейшим художником! Я вижу, я знаю это. И твоя истинная дорога, твой «воздух», твоя стихия — только искусство! Оля, помни мое слово, я как перед Господом говорю: ты дана жизни Господом — только для сего. И великим грехом твоим будет — грех отказа «от себя». Помни! Всегда помни. Тебе будут великие радости, ты их узнаешь, — радости твоего творчества. Таких чутких — нет вообще, это исключительно-редкое явление, может быть раз в веках. Поверь же мне. И ты поймешь, почему я так счастлив, тебя узнав. Пой же, птичка чудесная, пой, во имя Господа! Есть у тебя, что, чем и как петь. Ты удивительно многогранная. Исключительно умна. И страшно огромно твое сердце. Не смущайся, не страшись: ты будешь творить, ибо тебе нельзя не творить. И не сомневайся в своих силах, не робей!!! преодолей смущенье. Иначе у тебя никогда не будет жизни. Господи, хотя бы один раз только тебя увидеть! Олюша, как бы мы говорили друг другу, как бы чутко понимали друг друга с единого взгляда, слова..!

Гуленька, близится Светлый День. И так захотелось мне послать тебе светлый пасхальный привет мой! Может быть, не сочтут это гг. цензоры проступком против установленных правил

переписки, это же «Ostern — Bewillkommnungsgruss»!![i], разрешат этому освященному на Гробе Господнем пасхальному красному яичку докатиться до тебя, до твоих светлых глаз, до чистого сердца твоего! Христос Воскресе, дорогая Оля! Заочно с тобой ликуюсь, моя далекая, — и всею силою веры и чувств моих молю у Воскресшего — и всегда да Воскресающего в сердце нашем! — полного укрепления сил твоих, душевной свежести, светлой воли к труду творческому. Когда грустно станет тебе, взгляни на это радостное яичко, на этот светлый знак нашего будущего Воскресения, подумай, с каким лучезарным чувством послал я тебе этот пасхальный поцелуй-привет, — и пропадет грусть, сменится светом в сердце, — пасхальным Светом. Это яичко всегда хранилось у меня в Евангелии, с самого дня прибытия в письме из Св. Града. Когда открывал Евангелие — долго смотрел на подвешенное к травке пасхальное яичко, вглядывался в травки сухие, — в этих потомков тех далеких травинок, что жили тогда, в Страстные Дни чудес, Слов, страданий и — Воскресения Христова. И как мечталось быть там, почувствовать то, святое, что, кажется, так и осталось доселе на каменистой земле, в древних маслинах, в смоковницах, в злаках и лилиях полевых, в этом обилии ярких маков, в волчцах и терниях... — в солоноватом и горьковатом воздухе предгорий! Живет эта мечта во мне с юных лет. И всегда пробуждалась вёснами, манила в святые дали. Может быть с раннего детства, рожденная рассказами простых людей с нашего двора, — да, старая русская женщина, крестьянка наша... ходила в Иерусалим... — и как же тоже мечтал мой Горкин «грехи свои донести до Святой Горы»[252], сложить у подножия Креста! Родная, чувствуешь, какая же светлая душа русская..! — и что ее наполняет!? И — верю, хочу верить! — есть она, светлая, и поныне, уцелела среди всей грязи и крови, какими заливали ее насильники. Вот этой-то душою, ее светом — верой, и жило-питалось творчество мое. Из русской Души родилось, живилось ею... — и останется неизменным до конца. Обманывался ли я? Не думаю. А если порой и так, то... разве в темные времена сугубых испытаний откажешься от освещающей темный путь мечты? «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»[253].

Голубка, как хочу я, как желаю тебе, чтобы Светлый День был для тебя светел воистину, чтобы ты была хоть немного счастлива, покойна, радостна надежной, что свидимся и скажем сердцем сердцу, как мы родны и близки, как мы чисто и свято друг друга любим, ценим, храним и укрепляем! Будем же

[i] «Пасхальное приветствие» *(нем.)*.

чувствовать в сердцах наших Христа Воскресшего, дарующего нам жизнь во Свете — в Его Свете. И будем радостно, в м е с т е, восклицать — «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» Ну, Христос Воскресе, Олёк... И — «Воистину Воскресе», дорогая!

Твой Ваня

[На полях:] Ах, милая... знаешь ли мой очерк (из будущего тома «Лета Господня») «Вербное воскресенье»? Он удался. И еще — «Крестный ход»? и еще: «Говенье»?

Ты мне не ответила о шелковых чулках.

Как ты хороша у микроскопа! Как п р о с т а, т и х а! Русская девушка!

121

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.III.42

Дорогая моя Олюша, вот тебе мой скромный дарок, — переписал для тебя. М. б. «весеннее» наше почувствуешь. На Страстной, если дойдет во-время, прочтешь. Этот этюдик должен войти во вторую книгу «Лета Господня»[i].

21.III.42

Сегодня, Олюша дорогая, твоя открытка-экспресс. И так мне грустно стало, не дали отдохнуть тебе. Собрать мысли. Ты, конечно, верна себе: иначе и не могла... Оля, дочка своих родителей. Не смею корить тебя, что так мало о себе заботы. Все — для других. Для тебя это так естественно. Только, родная, не вдумывайся в свой «крестный путь». Вся жизнь — крестный путь для христианина. Испытание его годности жить во Христа. Очевидно, ты и «свидетелю» на исповеди говорила о сем. Причем тут его «чуткость и зрелость»? О т в о е м всем он, понятно, осведомлен, без твоего признанья. Матушка что тебе летом в Викенбурге сказала? — «Как похорошели, О. А. — а как похудели!» Матушка, конечно, с зорким глазом, при всех ее достоинствах. И очень просто могла поделиться впечатлением и с братом — какой он там «отче»! — Д[ионисием]. Вот и «крестный путь». Кроме сего, он уже знал о твоей болезни. А потому не вкладывай бОльшего содержания в его слова, чем они стоят. Ты молодец, Олюша, ты и духовно прекрасна, но как мне больно, что не отдохнула, не привела себя в порядок, не уяснилась. Очевидно, я бессознательно знал, что с тобой творится: в открытке 12.III я писал

[i] Далее следует отрывок из главы «Вербное воскресенье».

тебе о непонятной тоске, давящей. Как раз тогда ты и затрепыхалась от внезапной ломки плана твоего жития в Гааге. Не усматривай в этом, что тебе надо, непременно, «домой», в дохлый Халквейк, где, кажется, и мышам душно. И, кажется, во всем Халквейке только твои котишки еще живут.

22.III 11 ч. утра Сегодня первый день Весны. Солнце, свежевато. Я пошлю тебе «Вербное воскресенье» — мою весну, написанную в Швейцарии. Тебе понравится, особенно — мне это — да! — запахи весны, каретного сарая. Кажется, что такое этот сарай?.. А вот поди ты... мне эти запахи — дороги, уносят меня в тонкий аромат невозвратного, детского. Спешу на завтрак, уже 12 с четвертью. Приглашен на «булочки» еще во вторник новой по-читательницей[254]. Все еще меня «открывают». Эта пишет — «Вы для меня несравненны... Вы, ясностью и простотой — Пушкин прозы нашей». Хорошо, пусть и так. Мне хочется — в «Пути». И какая-то усталость, весенняя... всегда. Целую тебя, милочка. Христос Воскресе! Олёк, у тебя 3 пасхальных свечи — всем вам. Подумай о Ване. Это мое сердце горит тобой. Огоньком ласкается. Твой Ваня

[На полях:] Когда же найдешь покой? Как без тебя мне пусто! Не знаю, что случилось, думаю: только бы ты не измоталась. А ничего опасного нет. Напиши же мне, я совсем один.

Хочу поговеть на 6-ой неделе. В Заутреню весь с тобой, все мое сердце у тебя. Глазки, когда увижу вас, живые?!

Целую, целую, всю-всю целую.

В глазах у тебя — весеннее! Вижу — какая ты чудесная, весенняя! Весна моя!

122

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.III.42 6 вечера

Христос Воскресе! — светлая моя, нежная, весенняя Олюночка! В третий раз приходит Светлый День в жизни нашей... как мы близки стали душой и сердцем, самые близкие-родные с тобой, и все нет встречи, чтобы хоть руки подать друг дружке! Ничего, надо перетерпеть — дождаться. Какое счастье, смотря в глаза друг другу, глубоко-глубоко смотря... — сказать радостное, воскрешающее, — о, милая... Христос Воскресе! — и обнять друг друга, неразрывно. Да хранит тебя Господь, родная моя, светлая, весенняя моя! Вот окончание «Вербного воскресенья», *для тебя*[i].

---

[i] Далее перепечатано окончание главы «Вербное воскресенье».

23.III.42 Родная моя, Ольгуночка... да смилуется Господь над нами, столько испытаний, страданий вынесла ты, и теперь — я же знаю, я чувствую, — ты томишься и душой, и твоей болью телесной. Я весь, всегда, каждый миг с тобой, и ты это знаешь, ты должна знать, — самое мое светлое, самое родное мое — в тебе, чудесная моя Оля, и я всеми силами души и сердца, и воли, сколько только веры во мне, молюсь за тебя, хочу, чтобы моя воля влилась в тебя, передала тебе силу одолеть болезнь, и веру — что так и должно быть. Не томись обо мне, милая моя девочка, дитя мое, я силен волей, я все преоборю, только бы ты была крепка надеждой на милость Божию, на одоление недуга. Я верю, что ничего опасного, и, Бог даст, не надо и хирургического средства; — прав ли я — не знаю, но мне думается, что волнения душевные этих недель последних — вот причина рецидива этих почечных — да по-чечных ли?! — кровоизлияний. Внушай же себе, роднушка, что это все преходящее, все должно пройти, ты должна оправиться вполне. Не томи себя мнительностью, не воображай... Я знаю с е б я, а потому и тебя знаю: мы так однородны, мы — одно. Эта ужасная мнительность все портит. Я ее знаю. Я переживал именно то, что ты испытываешь, — эту подавленность, и это... о н е м е н и е. В 34-м так было... будто и вся жизнь кончалась во мне. А это был только надуманный мною же призрак. Но это подавленное состояние очень вредило. Будь бодрой, верь мне, верь моему чувству, — странно, я как-то особенно покоен! 12—13 была ужасная тоска, но вчера и сегодня утром, когда читал мамино и твое письмо, — сам удивился, как я спокоен. А ведь ты-то для меня — в с е! жизнь моя — ты это, и ты это знаешь, — и я з а т е б я спокоен. Детка моя, молись, — ведь ты же избранница, твоя молитва к Богу — она перед Н и м... Он любит тебя и Он избавит тебя от испытания. Я так верю! Олёк моя, я весь — только о тебе, весь — мольба, весь — перед Господом со своим недостоинством молиться за тебя! Я же мутный перед светом твоим, чистая, светлая, неизъяснимая Оля! Будь же бодрей, покойней, верь крепко — и будет хорошо, будет свет нам, милка, будет Божие милосердие, мною незаслуженное, но тобой — да, о, как заслуженное, ты его в с я достойна, как редко кто. Я могу быть сам недостойным, но твое-то достойное, твое-то чистое я очень чувствую... — и я прав, все во мне говорит, что прав. Но ты же знаешь. Будь спокойна, я силен, я верю, я надеюсь, дорогая, на самое лучшее, самое радостное для нас обоих надеюсь. Писал я тебе, Олюночка, какая сила — душа! — у человека. Она может — должна! — властвовать над тленным в нем, она может чудеса с ним творить. Душой воздействуй на недуг твой, внушай себе, что ты д о л ж н а быть здорова, вливай жизнь-силу в себя!

Помни, тебе дан дар — творить. Не распускайся, не страшись ничего, — со всем больным в тебе совладаешь. Да ты же сама все знаешь, умнушка моя светленькая. Если бы ты увидала меня — ободрилась бы: я крепок, я надеюсь, я заставляю себя все дотерпеть, все одолеть. Читай сердцем мои слова, какие послал тебе. Сама сочиняй, сама себя веди, Душа твоя все оздоровит в тебе. Как бы хотелось мне, чтобы ты встретила в церкви Светлую Заутреню. Вспомни обо мне и похристосуйся с Ваней, а я — с тобой, родная. Зажги же пасхальную свечку, мою — тебе!

24.III

Вчера был у меня доктор. Я ему сказал. Говорит: «по рентгеновским снимкам судить очень трудно. Надо быть тонким знатоком "читать рентген". Надо знать, как снимали, в каком положении находился пациент: малейшая тень, упавшая от какой-нибудь ткани, складочки, пуговки даже... — все меняет и приводит "читателей" к диким выводам. Снимок — не довод!» Раза два бросил: «еще вопрос, почка ли... м. б. тут связано с женской сферой...» Надо быть очень осторожной в выводах. Мочевой пузырь исключается, т. к. при таких кровоизлияниях — если бы из мочевого пузыря, — были бы резкие боли. Почка тоже дала бы боли... если это поранение «камешком». Мнение его: опасности не вижу, об опухоли не может быть речи... очень вредит тут мни-тельность... надо гнать ее, надо управлять собой и... недугом. Нервное истощение — главная причина, нужен полный покой. Состояние нервов действует и на сосудистую систему. «Вспомните "заговоры крови"!». Значит, м. б. и обратное: «можно вызвать кровотечение»! Он мудрец. Ольгушка, будь веселей, помни, Ванька твой всегда с тобой, около, хоть ты меня и не видишь. Сегодня мне совсем покойно, необыкновенно! Олюша, помни, ты моя, ты не себе только принадлежишь, а потому ты должна себя сохранить, если меня любишь. А ты лю-бишь, знаю, верю, счастлив. Ну, Христос Воскресе, моя светлая детка, целую тебя, много-много... с глазок, всю, всю, всю, до... до... ну, это я только знаю, как я тебя целую, птичка. Я рад, что мог послать тебе мой яркий — живой — поцелуй — в Светлый День Христова Воскресенья, пасхальный поцелуй! Горячий, яркий, жгучий, нежный, чистый и... воскрешающий. Как я тебя обнимаю, льну весь к тебе, «ласкаюсь котишкой». Как хочу к тебе, с тобой, у тебя, тебе, для тебя... С тобой, в родном... поздняя Пасха... заря занялась, вот оно и солнце... я с тобой над садом, на балконе, какой воздух, небо, легкость дыхания... и — столько сирени... ее вершины душистые — вот, у балкона, в росе... ты слышишь, эту горьковатую свежесть... мы окунаем лицо в нее, душистую... мы —

одно. Оля, Олюша, Олёк... — годы для нас — ничто, мы душой спаяны так крепко, ты всегда — юная, светлая, свежая... вечная для меня. У, голубка моя, гулька, гуль-гуль... люблю тебя, моя девочка чудесная. Будь же сильна, любящая, светлая, нежная, — всегда я с тобой, в тебе... разве не слышишь как мое сердце в тебе живет?! Ну, целую, ну... Оля моя... Христос Воскресе! Христос с тобой. В глазах твоих вижу мое небо, ласточки там играют, любовь там... и какая же чистая, бо-ль-ша-я!! Ты должна быть здорова, — бу-дешь! будь же!

Благодарю маму за письмо. За доверие ко мне, за умное ее сердце. Я напишу ей сегодня же. Сейчас одиннадцать утра, иду на почту. Потом за молоком. Скоро будут большие события, и сердце слышит — к добру. Верь, будем верить. За родное не тревожься. Все будет чудесно. Ибо Россия — чудо. И это все увидят. Святая, чистая Россия. Она уже прошла Голгофу. Она вот-вот воскреснет, — в Господнем Плане. Так дано. И — для общего воскресения. В две страны, в два народа верю — в Нее да в Германию. Они связаны. И они дополняют одна другую. Так дано. И провалятся вся дурацкие басни о дикости нашей, о ненужности нашей. Народ, давший такое Искусство, — а оно — дыханье Бога! — необходим для человечества, для «путей небесных». Жизнь России — только расцветает. И смысл Ее Воскресения — огромный, глубочайший, необходимый. Так верю, верую. Ну, дай же обойму тебя, птичка, воскресающая моя, воскресшая для меня, для — Родного! Когда получишь «пасхальное яичко» мое от Св. Гроба Господня, поцелуй его, поверь, что оно принесло тебе силы, здоровье, радость, счастье, любовь беззаветную. Долго ждало оно тебя... — и вот, нашло. Целую — душу. Весь и всегда твой, только — Ваня.

[На полях:] Напиши, что случилось с г. Бредиусом. Ничего не понимаю. Чудно: у вас словно палата клиническая! Но ты-то — с чего?! Ты будешь здорова!

Прилагаю мои весенние духи, пасхальные, — сирень.

123

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.III.42[1]

Милый Ваня!

Пишу тебе из больницы, накануне «решения судьбы» моей несчастной почки. Я писала тебе, что доктор не хотел оперировать после исследования цистоскопом, но, когда на следую-

[1] На конверте помета И. С. Шмелева: из клиники, Оля в отчаянии.

щий день были сделаны снимки с почки, то он сказал: «снимки не удались, мы должны иметь новые».

По некоторым обстоятельствам до завтрашнего дня меня не трогали, а завтра, предварительно всю промыв и прочистив, будут опять снимать рентгеном. Рентгенолог этой больницы плохой на мой взгляд, куда хуже прежнего, в той клинике, где я раньше лежала, — она занята под родильный дом, для детей солдат. С великим трудом втиснули меня сюда, — все перенабито больными.

На мои вопросы (постоянные) «будет ли операция или без нее обойтись можно», доктор теперь почему-то не говорит так определенно, как в 1-ый день, но — «не знаю, — что скажут фото». Утешал он меня только тогда, в первый день?? Я была тогда вне всяких нервов, или вернее — сплошной обнаженный нерв. Теперь доктор скрывается (?) за «не знаю». Знает он? Или не знает? Я панически, до ужаса, до холодного пота боюсь операции... И... все же... м. б. придется принять.

Я до отчаяния дохожу. Прошу, молю Бога, чувствую себя недостойной Его Милости, Его чуда, и все же прошу, как та женщина «крупиц для псов со стола господина»[255]. Я не могу дольше выносить этой муки неизвестности, я изнываю. Сестры — прелесть. Утешают. Но, что все это... Я не должна, не смею так писать тебе, — я знаю это. Но я не могу скрываться за другими, неверными словами. Прости мне. От 12-го было твое письмо. Здоров ли ты? Господи, я все истерзана нашими постоянными несчастьями. С невероятными усилиями приезжают ко мне то мама, то Сережа, то золовка, свекор, еще одна старушка, полубольной, забинтованный, загипсованный Ар, сам еле передвигаясь... ужасно! Завтра жду маму с Фасей. Мама разрывается дома. Ар сегодня сказал, что все-таки удалось ему найти девчушку-прислугу. Но что с ней мама «без языка» будет делать. Одевать и раздевать, мыть и т. д. Арнольда приходит работник, кормит мама. Мне жутко думать о Схалквейке, масса стирки, некому белье собрать, отдать. Я все разыскивать по лавкам умела, теперь у них ничего нету. Мама измучилась...

Не могу ничего тебе радостного написать, Ванюша. Вся — нерв. Прошу тебя только помолиться. Я лежу, т. е. почти сижу, в подушках, на резиновом кругу. Неловко. День и ночь на спине. Кровь больше не показывается. В больнице здесь вообще ни разу не было, — только старая выходила буро-коричневая из почки, забитой сгустком. Свежей не было. Пока... У меня нет никаких мыслей, желаний, кроме одного, панического ужаса и острого желания поправиться.

Я лежу в хорошей комнате с одной дамой. Тоже почечная, тоже моего доктора. Но вообще здесь все почти хирургиче-

ские пациенты. Дико дорогая клиника. Опять вылетит на меня уйма денег. И еще все эти неудавшиеся фото: штук 8—10, и новые, завтра. Ну, не буду. Довольно.

Я не даю тебе здешнего адреса, т. к. не знаю, долго ли я тут буду.

Мама перешлет. Помолись за меня! Помолись! Помолись! Умоляю тебя! «Если двое соберутся во Имя Его и попросят чего, то Он посреди их, и исполнит о чем просят»[256].

Но завтра я услышу, будет ли нужна операция!.. Завтра, Ваня!

О, почувствуй, и помолись завтра!

Помолись! Помолись! Если не нужна операция, то он срежет полип изнутри, или прижжет. Не знаю. Я никакой боли не боюсь. Я на все готова, — только бы не было операции!...

Помолись — почувствуй з а в т р а!

О, Ваня!

Ну, всего тебе доброго, Ванечка, и, главное: будь з д о р о в!

Все остальное — не важно! Будь здоров! Я верю, что смогу тебе написать скоро и радостнее!

Верь и ты, мой дорогой друг!

Верь для меня, Ваня! Молись, молись, Ваня, молись, прошу!

Целую тебя и крещу.

Твоя Оля

Перечитала и страшусь, что огорчишься ты, мой родной... Больно мне, но что же делать.

Ванечка, не огорчайся слишком!

Одно хорошо, что сама по себе почка здорова. Могло бы хуже быть. Опухоли нет. Полип-то, кажется, не опасно. Ванечка, помолись!

Мама обещала по возможности тебе тоже писать.

124

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.III.42

Христос Воскресе!

Мой милый, родной мой Ванечка!

Страшно мне писать это «Христос Воскресе» теперь, лежа, не чувствуя еще Пасхи, но уже пора писать!

Я обнимаю тебя и целую крепко и свято три раза, а потом... еще... и не три, сверх трех!

Я послала тебе отчаяние свое недавно, мне так мучительно это... У меня существенного ничего нового нет. Вся — неизвестность. Вчера, наконец, должен был быть снимок (решающий). И, вообрази, — утром... опять кровь! Я в отчаянии

была, т. к. уже правда никакой к тому причины. М. б. только зверская чистка кишок? Сестры уверяют, что нет. Вчера же утром меня повезли к доктору на цистокопию. Перед вставлением цистоскопа оказалось, что содержимое пузыря без крови уже. Долго, тщательно... и... больно рассматривал и «знаменитость», и еще один его коллега. Наконец приклеили к ноге катетер, оставив его в почке, а меня повезли в кровать. Ни есть, ни пить не давали. Из почки стекало все в баночку через катетер... светлая жидкость с очень малым количеством крови, микроскопически[i] незаметным. Но когда все же надо было опростать (перед рентгеном) весь пузырь, то оказалось, что он опять с бурой кровью. Откуда она? Текла и помимо катетера из ранки где-то ниже? Или правая почка тоже больна?? И так я лежала с катетером, мучилась болями и резью. В 4 ч. чистили опять кишки. Кошмар какой-то был! И [в] 1/2 5-го повезли на рентген. Ровно час пытали меня там. Ужас! Каким-то необыкновенным способом делали снимки. Фракционированно как-то. Вытаскивал чуть-чуть катетер, впрыскивал «Kontrastmittel»[ii] и снимал. Кажется, 15 снимков. Причем всякое вытаскивание катетера и впрыскивание непосредственно в почку было очень болезненно. Я лежала в рентгеновском кабинете, обыкновенной температуры комнате на деревянной скамье совсем раздетая, без ничего. Только на плечах была кофточка. От боли, усталости, жажды, пере-переутомленности, я не чувствовала холода. Но когда вынули наконец катетер, положили на носилки и вкатили меня полуживую, с резью в пузыре и ломотой в почке и во всей левой половине живота, то у меня не попадал зуб на зуб. Сестра моя — ангел. Вся постель была нагрета, но я уж ничего не чувствовала, и когда просила воды, то выходило: «ge-ge-geeeft U-u-u m-m-m-ij w-w-wa-ter» — «geeft U mij water»[iii]. Долго-долго ломило все. К ночи стало лучше. А ночью... ад был. Над самой крышей стрельба[257], но какая! Мимо окон летали снаряды, все рвалось, трещало, бухало. Больные плачут, кто молится! Летали очень низко. Все сестры собрались на всякий случай, директриса тоже. Обошлось. И остальную часть ночи я хорошо спала. Утром в 9 ч. еще была кровь, но немного и бурая. С тех пор больше еще не знаю. Диеты у меня никакой. С трепетом я ждала прихода доктора, т. к. сегодня он должен был мне все сказать. Но слышу, что его нет в Амстердаме. Уехал. И я ничего не знаю. Очевидно, рассчитывает меня продержать в клинике, иначе отпустил бы домой. Ждала его ассистента, но

---

[i] В оригинале: макроскопически.
[ii] «Контрастное средство» *(нем.)*.
[iii] «Дайте мне воды» *(голл.)*.

и того не было. Вчера, во время исследования, я его спросила, что он видит. Он, очень скупой на слова, сказал: «Вы же знаете, что исследования не окончены, что диагноз я смогу поставить только после рентгена. Ничего не скажу». Я вздохнула и сказала: «я знала, что Вы не любите говорить, но... значит и не утешите меня...» На это он перебил горячо: «о, нет, это я могу сделать, т. к. сегодня гораздо меньше похоже на операцию, чем в 1-ый раз». А в 1-ый раз он тоже обещал не оперировать. С голландского перевести на немецкий так: «es sieht jetzt viel weniger nach einer Operation aus, als bei dem ersten Mal»[i]. Вчера же спросил имя и адрес моего врача в Схалквейке. М. б. ему сказал что-нибудь. Рентгенолог вчера сказал, что «страшного ничего не нашел». Поскольку я могла вчера заметить, — особое внимание он уделял последним снимкам, т. е. самым внешним местам почки, м. б. даже мочеточнику. Не знаю, что будет. Прости, Ванёчек, что такое непасхальное пишу письмо. Но я знаю, как ты волнуешься и как хочешь все знать. И потому, преодолев даже и смущение, пишу тебе подробно так. Попаду ли я домой на Пасху??? Ничего не знаю. Зажгу ли твою алую свечу?

Но тебе, мой друг, желаю сердцем, чтобы радостно и светло пришлось встретить тебе Святой День!

2 ч. дня Сию секунду прервала. Пришла сестра, заставила меня... постараться,.. узнали, что... опять кровь. Не яркая, немного, но есть. Сижу высоко в подушках. И... вдруг дает сестра экспресс от мамы... твое там! Твое от 19—20.III[258]. Ты пишешь там, что писал и 17-го[259] и 18-го. И что послал яичко мне. На Сережу? Я ничего не получила после от 12-го[260] и открытки 11-го, до этого последнего от 19/20-го.

Неужели пропало? Я в шубе тебя получила 2 раза! Спасибо!! Ах, я конечно написала бы тебе давно об образе, но ты пойми, что я не хотела э т о г о касаться вскользь, — хотела тебе дать сразу художественно-красиво. А вот теперь больна. Мне трудно писать. Я скоро устаю. Я все это время (с 18-го и до сегодня) непрестанно теряю кровь. Одно сменяло другое. Я очень ослабла. Не сердись же! Самое лучшее моей души я для тебя лелею... Ты этого все еще не знаешь?!

Ну, прошлое уж дело, но все же: о «хлебных бонах», — ты осуждаешь меня за «Марфу»? Да, в ресторанах всего еще много, но без бонов нет. Для больницы мы с трудом устроили. Я чувствую твое раздражение на меня. Очень часто. Я не всегда не него реагирую, но я знаю. Негодный... Вань... ка! Кланяйся Серову. Я мысленно христосуюсь и с ним, твоим другом! Спроси

---

[i] «Сейчас гораздо меньше похоже на операцию, чем в первый раз» *(нем.)*.

же M-me Руссель[261], как она ездила? Сегодня солнце... Весна... О, если бы быть здоровой! О, быть здоровой! Как я хочу жить!! Читаю Чехова, принесла Фася.

Чехов... всю жизнь болел![262] Как мог он еще писать?! Чудный Чехов! Я его очень люблю. Почему ты редко мне пишешь? Для тебя «пустые дни»? А мне? Какой... ты... не знаю какой. Если бы ты был здесь!!

[На полях:] Сейчас часы приема, — у меня никого. М. б. вечером будет Сережа. И завтра. Он ночует в Амстердаме.

4 ч. Сейчас был ассистент — ничего не сказал. Будут кровь исследовать на витамины. Оттого, что всегда весной болею.

Как надоели мне доктора, знаменитости, и ассистенты, и все, все! О, если бы здоровье! Получишь ли ты мой привет к Пасхе? Сама я уже не могла, лежала, но Сережа обещал послать вовремя.

Целую. Твоя Оля

Целую тебя, Ванёк, дорогой... люблю!

Ванёк, еще раз обнимаю тебя. Будь радостен в Светлый День. Подумай обо мне! Неужели Господь не даст мне быть в церкви. Я причащалась 13-го, писала тебе[263]. А ты? На Страстной? Как захватывает меня твоя работа! Ты любишь Дари? А меня? О, как хочу жить, и творить, и любить!

«Жить из чемодана» — не мое, а где-то слышанное.

125

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.III.42 4 ч. дня

Ванёчек мой, пасхальный мой, светлый! Получила твое «Христос Воскресе» и яичко... Чудесно как ты меня там поздравляешь... Родименький мой, Олин! Во всяком случае (даже если я совсем о себе забуду)... Олин. Странно... Часто думаю, что странно.

«Христос Воскресе!» Ванечка! И «Воистину Воскресе!» Не знаю, кто скажет из нас первый, — кто ответит? Странно... мои мечты о Иерусалиме... и ты пишешь то же самое! Я люблю тебя, Ванечка, брат мой, душа моя живая, все мое (страшусь сказать кто, вслух), ты все мне — живое, чудесное! Нет, не только «брат», но ты знаешь!..

Ах, душа моя! Душа моя!! Увижу ли тебя?! Яичко твое у меня в сердце. Вижу его, красненькое и в глазах их много-много, от «волшебных кружочков», теснящихся в ресницах. Щурюсь и вижу: все яички красные... тюльпаньчики Сережины свесились ко мне, горят... яички! Ах, о себе!

Сегодня утром... опять испуг... Кровь? Не знаем мы никто, что и откуда. В 1 ч. дня ничего не было. Был доктор (ассистент знаменитости, не менее его знаменитый, кажется), милый, ласковый. Взял руку, пульс, и сразу понял, что вся я струна натянутая. «Обещайте мне, что не будете волноваться, успокоитесь, радостны будете!? Сестра, поставьте радио, веселее!». И затем: «Я видел снимки Вашей почки, видел и самую почку, — ничего страшного нет! Все Ваши кровоизлияния из ничего.

Завтра я просил исследовать кровь на витамины, мне странно это совпадение обоих кровоизлияний весной». Еще пошутил и вышел. Я успокоилась. От Арнольда узнала, что он звонил доктору в Схалквейк и сказал, что они ничего не могут найти, что что-то есть очень маленькое в левой почке, но не могут определить, камень или полип, и потому об операции пока нет речи. Мой v. Capellen очень честный доктор и зря *не* оперирует никого. Ради денег. Слышала я, что хотят мне ввести в организм много витамина С и делать пробы.

А, знаешь, м. б. все-таки зубы?? Я спрошу его. Мне жалко невыразимо Страстную тут проваляться, Пасху м. б. тоже. Но что я поделаю. Дома с 1-го будет девчонка, а уж как работать будет, Бог весть. Читаю Евангелие и как же... вся им взята! Дивно как, Ваня! И как всегда одни и те же люди! И Чехова читаю. Бедный, милый А[нтон] П[авлович]! Если бы у меня не повторялись кровоизлияния, и я бы не уставала сидеть, то я бы стала сейчас писать. Хочу! Писать и тебя любить, хочу! Для тебя писать! Только! Тебе! Все тебе! «Признаться, то-то б одолжил!»[264] Скажешь ты?! Ты верно скоро уж узнаешь, что я больна. Ах, не волнуйся! И я такая дура, дала волю своим тревогам! Прости, Ванёк!

Ванёчек, я тебе на все твои вопросы уже отвечала, но видимо, это в тех 2-х больших письмах, которым не суждено было написаться.

О жизни здесь в отелях: Ваньчик, ты писал, что это для тебя самого нужно, тогда я тебе так ответила и опять отвечу только так: ты будешь моим гостем и тебе ничего этого не надо знать!

И если ты это будешь оспаривать, то обидишь меня пребольно. Это было бы до того не по-русски, до того... обидно! Мне высшая радость — это все тебе по мере теперешних возможностей уютно и тепло устроить. Неужели я бы позволила тебе самому о себе заботиться?! Да кто же я тогда?? Господи, только бы здоровой быть!

Если тебе для кого-нибудь эти сведения нужны, то я, право, не знаю что сказать. Я не знаю, честное слово, какие тут условия, могу Сережу спросить. Разно. И в разное время по-разному. В августе, например, все перенабито и безумно дорого. Сережа наш из любезности к хозяевам выселяется в августе из их пан-

сиона, чтобы дать им заработать на его комнате. Arnhem очень любят на вакатах[i]. Здесь все берут отпуск в августе. Соотношение марки таково с гульденом: я переводила недавно R. M. 1.60 и должна была уплатить fl. 1.22. Если кому-либо из твоих знакомых надо, то я спрошу Сережу, сколько он платит за отели (он иногда останавливается по делам), но для тебя — это не нужно! Больше не говори ничего! Иначе я не захочу тебя видеть! Как только гостем! Господи, неужели?? О. Дионисий мне говорил, что его отец после Пасхи поедет к нам, м. б. привезет часть твоей посылочки? Это о. Д[ионисий] мне сам сказал. Ваня, Ваня, как ты меня балуешь! Когда я уходила в больницу, то надушила сорочку твоим «ливнем», не забыла, хоть очень была «вне себя». Выдохлось. Вымыли уже ее, рубашечку. Как бы мне хотелось сейчас этих духов! Они дома. Но у меня твои медовые конфеты! Ванёк, не смей о чулках думать! Я тебе нарочно ничего не ответила. К чему такое баловство. Я тоже могу достать и настоящие шелковые. Но это баловство. Теперь, такое время! Но все же все это так у тебя шармантно![ii] Какое наслаждение было верно О. А. жить с тобой. Каждой мелочью! Я не хочу вдумываться, я не могу себя дразнить! Какое счастье — весь ты! Я знаю, что для тебя весь мир Е Я — твой мир, как и твой — ее!

Я не называю эту «е я» по имени... Дари ли она, или кто другой. «Она» — это О н а. И я знаю, как во всем, во всем ты с ней! Ах, Ваня! Зачем узнать тебя вдали, так полюбить... и... что? А не узнать тебя — не знать, что есть прекрасное здесь, под луной. Кстати о звездах: я тебе вчера писала (глупо), что хотела бы увидеть другие звезды. Я, конечно, не в Америке их жду увидеть (а ты бы так мог понять). В Австралии их можно видеть. А ты уже подумал, что я географию не знаю, «необразованная»? Ну, ну, не буду! А сознайся, ты лукавишь, ты хочешь чулочками только узнать, какие у меня лапы? Да? Конечно, длинные и тонкие, как же иначе?! Но я вся не «верзила»! Средняя женщина. Вся и во всем! Правда, Ванёчек! Ничего особенного! Для тебя бы я хотела быть особенной! Господи, Господи, неужели мы увидимся?! Я у твоих ног бы сидела и слушала бы тебя. И все бы тебе сказала. И ты увидел бы, какая я дурочка. И все-таки бы любил меня. Я знаю. Правда? Ванечка, дай приласкать тебя, солнышко. Ванюшечка, родной мой, Ванюша... Знаешь ли ты меня?! О, Ванечка... ты жалеешь, что «смутил мой покой»... ты маму спрашивал о ее совете, что тебе со мной делать... Ждал ты, что она тебе скажет: «оставьте ее!» Неужели, Ваня? Ах, да, у меня нет покоя... И все куда сложнее,

---

[i] Здесь: на отдыхе *(от нем. Vakanz)*.
[ii] Очаровательно *(от нем. scharmant)*.

чем ты думаешь. О, насколько сложно... Нет, я не преувеличиваю. Но сейчас, будто все у меня взято из пределов возможностей, все, и я только принуждена думать о здоровье. Доктора все, как один, жалеют меня как усталого ребенка, все твердят, что пролежать лишний день мне только хорошо. Сестры (моя особенно) пичкают постоянно всем, чем могут. У меня постоянно что-нибудь для еды. Сегодня, когда ассистент наговорил мне утешений, то сестричка после него прибежала, впорхнула на постель ко мне и, вся блестя (слезками (!) блестя), стала меня тормошить: «Oh, fein, fein!»[i] Самоотверженная чудная девочка. У них еще масса сил и идеалов, как когда-то было и у меня у Gillmeister'а в клинике[265]. Ах, тебе, кажется, не повторила конец нашего путешествия? Или ты получил?

Напиши. Играет радио... Покойной ночи, Ванюша! Оля

30.III Ванёчек, сегодня «скандалила» твоя Оля: кровь для исследования на витамины до 4 ч. не брали, а я сидела голодная. Забыли, а когда я настаивать стала, то вдруг: «Вы можете есть». Я не стала. Дотерпела. Все неточно, халатно. А как точно я сама работала!

Яичко твое целую. Оно такое радостное! Ваньчик, милый, родной, хороший, ах ты моя радость! Ванюшечка, ангелок, родная душенька.

126

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.IV.42 1-30 дня
Великий Пяток
3 часа 30 мин.

Христос Воскресе, голубка Оля!

Ликуюсь с тобой во-Имя Его.

Болезная ты моя, ласточка моя Ольгуночка... всегда с тобой, в е с ь с тобой, все сердце в молитве за тебя, свет мой незакатный, святая мученица, — Господь сохранит тебя, бу-дешь здоровой, будешь радостной, в е р ю, верую, Олюшенька... д о л ж н а быть здоровой! Плакал над твоими страдальческими письмами, и все сердце изныло нежностью и болью о тебе. Я знаю: ты отпустила мне все прегрешения, все «муки» мои: я иду к исповеди. Благослови меня. Да, я знаю: благословила, и мне — легко. Олюша, я недостоин перед Господом, но когда я молюсь за тебя, прошу Его, я так и открываю Ему свое недостоинство, и молю, молю, как умею. За тебя молятся более достойные, — и мольба их бу-

---

[i] «О, чудесно, чудесно» *(нем.)*.

дет услышана. Я верю. Все перенесешь, все... — восстанешь сильной! Оля, ты сейчас творишься новой, ты страданием наполняешь сердце, душу свою... — ты обогатишься, моя птичка, нежная моя Ольгуночка, Ольгунок! Я лишь тень твоих испытаний вынес в 34 году, и я все это знаю (но гораздо меньше твоего, о, да!). И «рентгенизацию», когда меня подтягивали вверх, подведя этот «шар», под желудок, чтобы снять поджелудочную железу... о, я помню это, и мою голоту в холодной и пустой комнате... до 12—15 снимков, во всяких положениях... при моей-то язве... как не разорвалась эта «дуоденум»!? И через дня два-три я чуть не помер, когда — уже дома — почувствовал одеревенение всего живота! Какие бо-ли..! А это... произошла закупорка кишечника от массы принятого при снимании «бария» — что ли... знаешь, эту «сметану»? Там, в госпитале, мне вкатили лошадиную дозу... Серов, вызванный, в 11 ч. вечера — к счастью, захватил его телефон дома! — опасался заворота кишок. Оля затопотала от ужаса! Массировал... прогнал! А потом... ожидание — «решения». Я молил — да режьте же скорей! — только бы не эта неизвестность. Я уже уходил... — и смотри: помилован, молитвами, чу-дом преп. Серафима... и... — написал «Пути»... — надо было, чтобы они были написаны. Никто не дал бы их... И помни: ты должна выполнить дарованное тебе от Бога, и ты будешь здорова, и ты выполнишь! Ольга моя... — ты вся — чудо! Ты — сама — Чудо! Ты — гармония. Я... укорю то, что в тебе «от Марфы»?! Откуда ты взяла это? Я счастлив, как ты гармонична! В тебе — слилось все: ты — Мария, ты и Марфа, и — ты трогательно-прекрасна, моя птичка, мой Ангел. Оля, ласкуночка нежная, — ты, в болях, в тоске-тревоге... ты... нашла столько нежности для твоего дружки, для твоего Вани! Чудесная, недосягаемая... — на тебя смотрю, как на ослепляющую чистоту и святость. Вот ты какая для меня. Любить так чисто, светло, свято... как я люблю тебя... — мог ли я думать, что есть подобные чувства в человеке! А ты... ты показала их мне — во мне.

Ты пишешь — «я чувствую твое раздражение на меня»... Нет, Олёчек... этого во мне нет... я болею за тебя... я болею, что ты все себя на какое-то последнее место отводишь, все — для других. Ты, в болях, томишься, — как они там без тебя... ты умела все доставать... и проч. И вот, ты надорвалась, моя нежная Оля-Мери... И твоя болезнь — итог всего, и летних работ, поливок... помнишь, писал я в июле?! Это таскание тяжестей, леек... — да это же для почек... у женщины, такой, как ты... — это же — преступление!

Верю, — здоровы у тебя почки! Есть что-то... слабость сосудов, «усталость» почек... м. б. какие-то неважные дефекты... но

все это — при такой нервной, — поражающей! — организации, при твоей способности влиять силой воображения на жизнь органов в тебе... — все это вызвало то, что может специалистов поставить перед непонятным, которое они объяснят, конечно, привычными им «явлениями болезни». Твоя болезнь наполовину — «в нервах», ты вся «расшатана», — жизнью! — и какой!! — и потому такая реакция организма. Тебе нужен полный покой... тебя в «ватку» взять и положить на солнышко Божие... как истомившуюся святую детку! Ты будешь здорова! ты будешь творить, Олёк!! Я смотрю на всю твою жизнь... Господи, до чего же она богата... страданием! И все это дано тебе. Прими это — как — непонятную нам вполне! — Божью милость. Это — для твоего духовного наполнения. Но это скоро кончится. Ибо ты — уже готова. Ты все перенесла. Ты выйдешь из последнего испытания новой... еще чудесней, еще прекрасней, моя чистая девочка, моя Святая. Господи, благослови же Олю твою, — Милостию Твоею согрей, укрепи.

Я переломил себя, и хожу в церковь. Был во вторник у литургии Преждеосвященных Даров. В среду — за всенощной, слышал «Егда славнии ученицы...»[266] Вчера за 12 Евангелиями... в соборе... дивно пели «Разбойника благоразумного»...[267] и баритон Кайданов[268], после болезни — сердце! — дал чудесно. Я, встретив его в метро, благодарил его, он был тронут. Сейчас пойду поклониться Плащанице. Буду исповедываться. Вечером еду в собор на «Плач Богоматери», на хождение с Плащаницей. Завтра, Бог даст, — к чудесной обедне... как я ее люблю! и, м. б. Господь удостоит причаститься Ему, — недостоин я! И всегда, везде... ты, ты, ты... со мной, в сердце, в мыслях, в глубине-глубине моей... ты, светлая, чудесная, радостное мое чудо-Оля! Ты всегда, и все наполняешь... Господи, прости... но Ты видишь, какой чистотой наполнена душа от нее! Олёчек мой... свет мой... как ты дорога мне, как родна... ты не отдельна от меня... ты — вся — моя духовная сущность... моя молитва, лучшее, что во мне! Ты все освящаешь, все возносишь, все очищаешь во мне, моя лучезарная святая... золотинка Божества во мне — от тебя, через тебя! О, пасхальная моя... весенняя травка блеклая... первая... весняночка нежная, чистая, небесная дева моя... Ангел Божий! Как на Божье Дитя смотрю на тебя. Я купил тебе, вчера, перед входом в собор... купил чудесное яичко! Алое, — деревянное — лакированное, — на одном бочку — живая верба! — на другом — золотцем — Х. В. Я нашел для тебя другое — с белым Храмиком, и — Х. В. И третье — все для тебя, Олюля... — с куличом, пасхой, и Х. В. Я постараюсь послать тебе их — мое Христос Воскресе. М. б. о. Дионисий доставит. Они маленькие — эти яич-

ки — и до чего же «ласковы», радостны! По тебе. Их можно положить каждое в жилетный кармашек. Ты будешь радостна, увидев их. Перед твоим портретом и портретами отшедших — стоят цветы — анемоны, тюльпан и ветка в розовых цветах, без листьев, — персик? — Звонок... Да, верно: меня не забывают. Сейчас — кулич! теперь это редкость здесь. Большой кусище ветчины..! — варить!! Я получил еще маленький куличик — мою Ольгуночку — так и назвал! — красное яичко... банку варенья, апельсинового, ... видишь: сказал — ничего не буду добывать... — и все само приходит. Если бы тебе послать! Если бы ты была здесь... Но ты всегда со мной. Как ты мне дорога! как необходима, Оля!! И как я снизу вверх смотрю на тебя!! Ты в эти дни необычайно — прекрасна! Ты все растешь. Ты необыкновенная! Только о других!! Я знаю, ты тревожишься — все, все знаю, испытал сам! — но как ты любвеобильна! Знаешь, мне теперь и твоего А. жалко стало...

Поверь, Олюша, я не питаю к нему никаких темных чувств. И это — от тебя, через тебя. Ты очищаешь мое сердце. Но... я знаю, что все голландское — не для тебя, оно губит твое здоровье, начиная с почвы, сырой, с воды близко-подпочвенной... это бьет твое слабое — духовно сильное! — здоровье. Ты хиреешь от... Голландии. Мне понятно твое описание «ночной тревоги». Я — один в квартире — и мне тоже бывает трудно. Я не люблю «убежищ» и не спускался в подвал, но... лучше спускаться. Нервы сдают, чувствую. А дня три болел ночью — боли во весь живот. Думал — «язва»? печень? Нет. Серов правильно [определил]: от газов. И верно: случайно, по ошибке, сварил себе каши — оказалось — мятый ячмень — не выношу! Стал осторожней — прошло все. Ем я хорошо. Да что о себе... все пустяки. Я — чуть ли не первую весну — не слышу «язвы». Ты здорова — и я здоров. И ты будешь здорова, моя птичка!

Ольгунка, твой мотылек-цикламен — до-жил! Последний цветок — живой, чудесный, свежий... — встретит Св. День, и я поцелую его — тебя: «Христос Воскресе, далекая моя, самая близкая, вся во мне!» Сейчас любуюсь им. Это — ты, Ольгуна, Олёк моя, Олёль моя... царевна моя... пасхальная моя веснянка! Все благое буду стараться творить — во-имя Твое, моя ненаглядочка! Тобой живу, тобой расту, тобой творю и творюсь. Ты — гимн Творцу, Оля! Ты поешь во мне Славу Ему. Люблю Дари? Да, потому что тебя в ней вижу, — тебя люблю, тебе поклоняюсь, тебя лелею. И тебя буду писать, те-бя..! На все буду смотреть через тебя! всем жить — только через тебя, как через дивный кристалл Божий. Как прекрасна твоя душа! как чутка, благоуханна! Все, все твое — драгоценно. Нет ничего в тебе, от тебя, чего бы ты могла стесняться, и когда ты гово-

ришь о болезни... — все для меня свято и перед всем я благоговею... — и боли твои — для меня «святые страсти». Все освящено тобою, Господом в тебе. Ты для меня — чистая, и я был бы счастлив все, все делать для тебя, ходить за тобой, принять на себя твои страдания. Голубка моя сиротливая... сколько вытерпела, — этот озноб твой... я его так почувствовал! До боли в сердце порой — молюсь за тебя, не находя слов... болью сердца прошу тебе здоровья, солнца, радости... чтобы ты почувствовала себя — «я счастлива! я радостна, я живу!» Как Тоник когда-то, после кризиса — «и я опять живу!» Это утро Тоника...[269] ты помнишь? — вот такого утра хочу тебе! И ты его увидишь! Ты почувствуешь новый вкус ко всему... апельсин ли, воздух ли, сухарик ли, чашка чая, какао... цветок... ложка бульона... — и пенье птиц, и — солнце, много солнца! Почувствуй, Олёк! Господи, дай ей почувствовать всю радость даруемой Тобой жизни, Жизни! Ты должна жить, ты должна быть вполне счастливой, узнать святую, священную радость Жизни! Дышать полной грудью! видеть море! родные березы, слышать их шелковистый шелест на ветерке... Олёчек... весна моя... ты должна быть весенней. Тебе еще далеко, очень далеко до... «лета», — ты еще весенняя, нежная, — моя душистая первая травинка. Ты нальешься солнцем, сочностью, — и расцветешь. Но в сердце моем — ты всегда — в расцвете, моя подснежная, хрупкая, снегурка рождающаяся. Христос Воскресе, моя Оля! моя Олюша, Олюньчик! Как юно-свеже у меня в сердце, когда пишу это... — ах, как я слышу тебя, твое легкое дыханье, как вижу твои любящие глаза... моя прекрасная! Ну, дай их... Оля, весна моя... ласковая моя... чуткая моя... трепетная... — как я люблю тебя! Как я болею нежно тобой, баюкаю тебя, моя девочка! Ты будешь жить, ты будешь снова здорова, ты будешь Господа петь, моя вечная. О, теперь ты так переполнена всем, всем... о, теперь ты вполне готова — драгоценнейший сосуд Господень, готова — исполнить благую Волю Его — для чего и дарована жизнь тебе. Ты познаешь великое счастье вдохновенности, Господь дал новые глаза тебе, я это чувствую, — и ты это почувствуешь скоро, скоро... — ты будешь творить, ты испытаешь скоро сладостную тоску и жажду — творческие. Ну, мой лебедь чистый... ты скоро взмахнешь сильными крыльями... — и все мучительное схлынет, и ты будешь радоваться Жизнью. И петь чудесно в ней, что откроется твоему огромному сердцу. Я так страстно верю. И ты сама веришь, и знаешь это в себе. Обнимаю нежно, ласкаю чисто, целую во Имя Воскресшего, — да воскресни же, сильная, новая, юная, моя Оля, моя дарованная!

Твой — весь — Ваня, Ванюрочка

[На полях:] Оля, не томись, — все будет во благо, все будет — свет! Дай же, Господи! Я — покоен. И ты вспомнишь мои слова.

Мои письма: 17.III, 20.III — с «пасхальным яичком», еще 20.III[270], 22.III — с «Вербным воскресеньем», 24.III — с окончанием «Вербного воскресенья»[271], 28.III заказное[272], 31.III на маму [273], 1.IV заказное exprès[274] на маму.

127

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.IV.42

Мой милый Ванёчек, ангел мой, дружочек мой! Ты одинок? «приласкайся кисой»... душенька моя, родная! Разве я не с тобой? И не ласкаюсь разве киской?! Почему ты вдруг так «опустел»? Не хочешь устроить Пасхи? Не знаешь, найдешь ли силы идти святить вербу?!

Ванёк, золотко мое, ласковое солнышко мое. Что с тобой? Не успела дальше написать — сестра приносит твое письмо от 23.III — ласточка моя, любименький! Ты 23-го радостней, покойней, чем в (утреннем) от 28-го III...

Ваня, я вся тревога за тебя! Ну, как тебе не стыдно: ты намеком на какую-то твою болезнь меня встревожил и не хочешь досказать, что же с тобой! Я *требую*, да требую, чтобы ты немедленно мне ответил, *что* с тобой такое было. А уж это определение «серьезно» или нет, предоставь мне! Голубчик, ну, не мучай! Почему ты не сказал мне что с тобой?? Конечно, потому что это именно не пустяк?! Иначе не могу объяснить! Я тебе все, все о себе пишу, именно, чтобы у тебя не оставалось мучающих сомнений. Иногда я сама смущаюсь той откровенностью, с какой я пишу тебе о себе. Но моя любовь к тебе это все покрывает. Я уже тебе писала, что ничего не нашли в почке. Вань, отчего это, скажи, пожалуйста, все, кто слышит об моем кровоизлиянии — сперва думают, что это не почечное, а о «ж ...... сферах»? Это бесит меня, не ты бесишь, но другие! Это же безумно просто различить! Неужели ты-то такую глупость можешь спрашивать! Все-таки есть же разница! Неужели ты такую примитивную анатомию не знаешь?! Да что же специалист-то мой дурак что ли? Они не по рентгену *только* судят, но исследуют цистоскопом! Скажи это Серову, если это его интересует. В последний раз цистоскопировали оба раза во время кровотечения и видели ранку откуда течет. Она у меня низко, при выходе из почки. Я не на тебя злюсь за это «ж ...... сферы», а на всех, кто к медицине причастен и с этим может но-

ситься. Доктор в Схалквейке тоже: хотел удостовериться и готов был начать даже без перчаток. Я завопила и не пустила. Этот, по-моему, думал даже, что я что-нибудь сама натворила. Идиоты! Доктор в Утрехте, у которого я была 2 года назад (который настаивал на операции), по своей специальности — хирург-гинеколог! Ну, веришь, что что-то нибудь он видел! Эти две «сферы» я сама отлично разделяю, не будучи врачом. И во время этого последнего кровотечения почки, можно было особенно убедиться, насколько одна сфера — почечная, а другая — не почечная. Понял? Ни у одного специалиста не возникает даже и тени мысли о не почечном, т. к. у меня и страдает почка. В ней образуется сгусток, и она болит, жар бывает, а потом я чувствую, как проталкивается этот сгусток и течет тогда «старая», бурая кровь. И обычно этим заканчивается. А доктора *видят* через цистоскоп! Меня прямо бесит это предположение врачей, что это не из почки! будто я не могу понять! Подумай хорошенько и скажи сам себе: можно ли ошибиться? Они же (если я сама дура!) катетер вводят. Что же Серов думает, что в «женскую сферу»? Глупо! Я не хочу обижать твоего друга, но я не понимаю его! Не слушай его в этом! Ну, довольно. Ванёк, я изнываю о тебе! Безбожно это, что заставляешь мучиться твоей болью... Что с тобой было?? Говоришь: «сегодня опять здоров...» Но что б ы л о?

Тоже кровь? Где? Почему? Ты обязан, ты должен все сказать! Я не буду спать, я изведусь! «Ты бы рассмеялась», пишешь ты... Глупый! Неужели я могу смеяться на твою болезнь? Какая бы она ни была! Если даже палец обрезал, то я и то хочу знать!

О, как ты пишешь: «хочу к тебе, с тобой, тебя, тобой...» ах, Ванюшечка... а я? Ну, обними, ну целуй, «только я знаю как...» пишешь ты. Хорошо, дай же и мне узнать... Все. Все... Господи, прости мне! Сегодня Великая Суббота. Мне грустно было. Без храма. И завтра тоже. Сегодня ночью меня сестра разбудит, и я зажгу твою свечу... с тобой буду, в Свете, в Радости Божественной...

А сейчас... я пью твою сирень из письма и ту, про которую пишешь... в поздней Пасхе...

Я с тобой, я до боли люблю тебя, я не могу больше, я твоя, вся. Ты знаешь... И ужас какой: эта болезнь, это все такое неясное. Не могу тебе всего объяснить... Но тяжело мне. М. б. потому я и болею, что нет сил справиться со всем... О, если бы ты знал! Да, у нас «больничная палата». Как я хочу тебя сейчас, сию минуту (!) видеть, осязать, слышать, всего чувствовать!! Отчаянно люблю тебя... Мне хочется тебе что-нибудь послать от себя, кусочек себя... Но что? Волосы? Есть у тебя. Кусочек одежды? Рубашечки, свидетельницы слез моих и страхов? Да? Хорошо.

Я люблю тебя! Господи, грешно сегодня так своим радоваться, — сегодня все только ради Него...

Но я не могу. Я хочу тебя согреть, моего глупого, — чего ты навоображал, что «одинок». «Пасху не буду устраивать». Ну, опять у мальчика Вани заболели ножки до Троицы дойти? Ванечка, как мне жаль, что я тебе не могу стола устроить! И яичко тебе не смогла послать! На 2-ой день ты будешь грустен? —

Я понимаю... А если бы я с тобой была, то... можно мне было бы с тобой поехать? И подождать, хоть у ограды, чтоб отогреть тебя. Немножечко утешить... И если можно, то представь, что я жду тебя у ограды (если ты не захотел бы меня с собой взять на могилку), встречаю тебя нежно. Молюсь в душе и обращаю взор к усопшей твоей, прошу ее послать на тебя свою улыбку... и на меня! Я очень чту О. А. Поклонись от меня ей. Всегда.

И, когда ты усталый придешь домой, то подумай, что с тобой пришла и твоя маленькая глупышка. И мы тихонько сядем, молча, и погрустим в сумерках... Грустно в сумерках!.. Зажжем огонь, светло и ярко, и так тепло, уютно станет! Ты отдохнешь за чаем, мы поговорим о н е й. Ты мне покажешь ее прекрасный лик... И ее последний. И расскажешь... все, что можешь и что хочешь. И я буду тихой мышкой у тебя, на ручке твоего кресла, обняв тебя рукой свободной... и ты не будешь «разбит» и одинок! Хорошо?! Ну, Ванечка, Ванёк мой, глупышка милый!

Кончаю вечером. Скоро Пасха! И ты у Заутрени будешь! Милый, Христос Воскресе!

Обнимаю тебя крепко. Ванёчек мой! Твое «Вербное воскресенье» — дивное. Я его знала. Сегодня мне прислал о. Д[ионисий] чудесное, дивное письмо, полно ласки и тепла. Оно согрело меня, дало мне чувство сопричастности к приходу. Он никогда так просто-чутко, без препон, не писал. И подписался «любящий Вас иеромонах Д[ионисий]». Без фокусов и «нарочитости». А Валя Розанова прислала просфорку с записочкой о моем здоровье. Я очень растрогана... Небо стало голубое-голубое, и иногда летают большие чайки. Я так люблю их! Ну, мой родной, пока кончаю. Будь радостен, неодинок, не терзайся. Умоляю тебя написать мне, что с тобой было, в чем «созвучен»? Ванька, скверный, почему не сказал сразу? Хочешь мучить меня! Или ты смущаешься сказать, что у тебя тоже, что и у меня, но тогда мне это невыносимо — я тебе все так открыто говорю. Ваня, я жду! Серьезно! Умоляю тебя, если любишь, то скажи! Умоляю! У тебя тоже из почки кровь? Неужели? Скажи!

[На полях:] Целую, ангел! Твоя Оля!

Почему ты пишешь: «пока не скажу, что со мной было»?

Ты говоришь: «когда-нибудь потом, — не теперь, скажу, что со мной было». Почему не теперь? Оттого, что я очень расстроюсь?

Страшное что-нибудь? Умоляю! Не язва, но что же? Тоже почка? Не понимаю, почему ты теперь не хочешь сказать! Умоляю!

Когда делали рентгеновский снимок, то чрезвычайно «чистят», несколько дней. И никаких «кнопок» быть не может, т. к. на мне ничего тогда не бывает!

Ужасно рвется блок! Прости!

128

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.IV.42

Милый Ванечка! Сегодня Великая Пятница. Я лежу и остаюсь пока лежать. На Пасху я попросила сестру разбудить меня (если бы случилось заснуть) в 12 ч., и мне уже мама прислала твою красную свечку, — я ее зажгу и прочту Евангелие о Воскресении, Чудесное Иоанна Богослова I гл.![275] Мысленно пропою «Христос Воскресе» и мысленно обниму тебя! Ванечка, я теперь уже от доктора (вчера) узнала, что у меня в почке ничего не нашли! Ничего. Никто не понимает, что у меня. В крови оказалась нехватка витамина «С», и я получаю его искусственно в таблетках. Доктор сказал, что «не гарантирует», что это поможет, т. к. причины моей болезни он не знает, но надо попробовать.

На мой вопрос, можно ли еще до Пасхи домой, сказал: «нет, если бы я был Вами, то не поехал бы. Теперь я могу Вам сказать, что Вы много потеряли крови, и Вам надо окрепнуть». И я все равно не могла бы. Я так ужасающе слаба! Я ем яйца, у меня постоянно молоко, прислали банку сметаны, сестра придирается к каждому случаю, чтобы дать мне есть. У меня чудный шоколад. Я должна вставать 2 раза в день, но я не могу! Я встаю через силу, с единой мечтой скорей опять в постель! Сердцебиение до тошноты, и усталость. Я превозмогаю себя и встаю, т. к. мне все говорят, что постель еще больше расслабляет, но я не чувствую, что поправляюсь. И все они забывают, что я уже до крови болела. Я теперь тебе скажу, что это мое состояние (вроде обмороков) уже с зимы. Отчего я уже и в Haarlem ездила. Отчего все это я не знаю. Нервное? Конечно, я редко в жизни так много мучилась, рвалась, доходила до тупика, как в эту зиму. Может быть. Но я в отчаянии, что не могу поправиться. Я не могу одна встать, не могу одна ходить. А тогда, в 1940 г., я лежала дольше и смогла сразу встать. Я похудела и худею дальше. Я постарела, побледнела, не чувствую бодрости. Я сплю тяжелым сном, сном от слабости. Ах, когда я получила твое яичко, то мне в ту же ночь приснилось, что я в Палестине, хожу

по каменистым пригоркам, поросшим сухой горькой травой... И я чувствую и вижу, что кто-то еще тут ходит. И я знаю, что эта женщина — О н а, Пречистая, везет маленькую колясочку деревянную, сколоченную, на деревянных колесиках. Что-то вроде этого[i]. Я Ее Лица не вижу. И колясочка пустая, но я знаю, что в ней Она возила Своего Младенца. И я растроганно стараюсь коснутся колеи от колесиков и собираю травки, примятые ими, грубыми, самодельными. Мне перед болезнью тоже Богоматерь снилась. И я тогда всегда знаю, что заболею. Что мне с собой сделать, чтобы окрепнуть?! Все во мне дрожит и кружится. Ты не обвиняй себя, что «неосторожен» со мной был, что я «покой утратила». Не вини себя, дружок мой! Только, на будущее, не надо ссориться. Давай жить в мире, — это так хорошо... Я не могу вынести никакого напряжения больше. Побережем друг друга! Если я тебя чем-нибудь раздражаю, то потерпи пока на мне. Я очень всем волнуюсь. Хотя, нет, «осторожные» письма — не письма. Я жизни твоей в них не найду! Нет, все пиши!! Знаешь, я рада бы была остаться подольше в больнице, — я без удовольствия пойду домой, т. к. очень слаба. Но, знаешь, в тот же день, когда v. Capellen мне сказал, что я не могу идти до Пасхи домой, — приходит директриса клиники и спрашивает, не могу ли я еще до Пасхи уйти домой. Я передала ей разговор с доктором, на что она буквально заявила: «но Вы не можете дожидаться Вашего выздоровления здесь, у нас не пансион, и сотни пациентов ждут очереди быть принятыми сюда на операцию. На 5-ый день после операции я их выписываю уже, если без компликаций[ii]». Но видя, как я не могу стоять, согласилась, что могу остаться до 3 дня Пасхи. Дама с тромбозом и пороком сердца, и воспалением почек, которая только — начала вставать, — должна тоже уйти. У той с директрисой вышел скандал прямо. Ты знаешь, как тутошние свои персоны высоко ценят!? Во многих городах «сокращены» клиники и все переполнено. Вот, видишь, при всем желании даже негде отдохнуть и поправиться. Мой прелестный доктор тоже через скандал меня сюда втиснул. Очаровательный он. Всегда умеет успокоить. Представь себе: опытный, уверенный в каждом слове, спокойный, лет 65, но совершенно молодой, свежий, такой аккуратный. Говорит мало, очень мало, но все, что скажет — золото! Когда входит молча, то улыбается как-то сбочку, будто хитрить хочет. Любит русских, наше искусство и литературу. Со мной всегда шутит. Сестры говорят, что для меня у него «белая лапка» — поговорка голландская. Ни слова лишнего. Все,

[i] В письме рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

[ii] Осложнения *(от нем. Komplikation)*.

манеры, походка, голос, улыбка, — все уверенно (*не* самоуверенно!), точно и... сердечно. Но ты не бойся, — я не влюбилась. У него слишком много поклонниц, а я — мне не до влюбления.

Но я его немножко «почитаю»... головой, но не сердцем, и тем более не душой. Это ничего. У него жена (из сестер) и взрослые дочки, замужем. Мы все его по-институтски «обожаем»... Ванёк... ты не ревнуй. Я только тебя люблю! Я ведь твоя частичка... Да? И ты никого другого не люби. Зачем меня дразнишь? Караимочкой твоей... Не надо! Вот и я тебя подразнила! Ах, я шутить хочу, а мне так грустно. И буду ли я когда здорова? И увижу ли я тебя? Мне кажется отчего-то, что ты не меня любишь, а тень О. А. Я не ревную, но я не чувствую твою любовь ко мне как самостоятельную любовь. Не понимаю, отчего это. Не проси у меня рассказа о говении, — он вконец испорчен, и его нет. Не только ритм, тон неудались, но все. Глупо. Поверь же мне! У меня тоже вкус есть. Я не стремлюсь к красивости, я ищу простоты, но этот этюд — сплошной провал. Я расскажу тебе лучше о моем «Крестном сне»[276]. Это было в 1920 г., я только что встала от тифа. И снится мне, что я одна во всем великом мире. Стою в ночи и вижу массу звезд на темном-темном небе. И нападает на меня чего-то ужас и трепет, в предчуянии чего-то, чего сама не знаю.

И вдруг я вижу, что все звезды приходят в движение, толпятся, образуют какую-то фигуру, я падаю ниц, я в страхе. Я не свожу глаз с неба и вижу, что нет звезд рассыпанных на небесном своде, но все они, сколько их было, собрались в великий Крест. И этот крест охватил все небо, так что не видно его концов. Неслышный ухом шум, но ш у м, разнесся, как вихрь, склонил голову мою, и я поклонилась подножию креста. И думала: «Вот, это знамение Сына Человеческого». И когда я приподняла голову, то увидела, что нижний конец Креста упирается в пол храма, а я лежу на плитах этого храма, знакомого мне, казанского. Это была Покровская церковь[277]. И мне невыразимо жутко одной, совсем одной... И вдруг я слышу, что из алтаря выходит кто-то. И вижу батюшку той церкви, о. Н. Писарева[278] (ты его теперь знаешь — автор некролога), папиного друга. Он кадит, и весь далекий, какой-то дымчатый, уходящий... И я проснулась.

На утро мы узнали, что в ту ночь о. Н[иколай] скончался от тифа. В то время меня это очень огорчило. Вся семья была близка нам. Его дочки были мои подруги, а старший сын Миша, светлый мальчик, трогательно «почитал» меня. И это было такое чистое... удивительное чувство. Миша был весь церковный. Мама у них рано умерла, тоже от тифа (брюшного), заразившись от младшего сынишки. А о. Николай от сыпного тифа, заразившись от того же сына, Сережи.

Странный сон? У меня часто странные сны. А я тебе писала о сне про папу в 40-ой его день? А о Божьей Матери, как Она мне новое имя дала? Напишу как-нибудь. Очень устала сейчас. А мне вставать нужно. Можно ли мне селюкрин принимать? У меня его много. Или он кровь вызовет? По-моему, у него есть такое действие. Если бы можно было в Виши поехать!

К нам привезли рядом в комнате одну... даму (?), девочку (?)... Существо, рожденное, казалось бы, для радости. Кроме муки, однако, ничего она не видит. Выглядит лет 16-ти, на самом деле ей 32 г., сын есть 4-х лет. Вынута одна почка, другая теперь болит, во время беременности делали операцию аппендицита. Когда ее Baby[i] было 7 мес., то ее муж ей изменять стал, а когда она была на операции почки, то бросил ее, уйдя к... прямо дряни! Она рассказала, плача, что умоляла его на коленях не оставлять ее и мальчика. Но он ушел. 3 года она это скрывала. Но потом просила развода, любя его все еще. И теперь она живет с его другом, шармантным, внимательным, до безумия в нее влюбленным, обручена, но... любит первого. Красавица. Полна женственности и... в чудесной «рамке» всегда, масса вкуса. Теперь, первый умоляет ее принять его снова, она рвется на части и сердцем хочет только первого, но боится муки новой, его неверности, и жалеет второго. Безумно жаль ее. Ничем не похожа на голландку. И это сказочное создание, «уверенное, что долго не наживет», зовет старость, «чтобы проскочить скорее через все муки молодости».

[На полях:] 6.IV.42 вечер

Ваня, прости меня за отчаяние мое в письме сегодняшнем, другом. Прости. Но это оттого, что я измучилась, что любви твоей хочу верить! Я ревную, я мучаюсь.

Письмо почему-то оказалось неотправленным. Досылаю.

Крепко целую. Оля

129

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Ты сегодня в Сен-Женевьев...[279] Как хотела бы тебя утешить! И не могу!

6.IV.42

Милый Ванёчек!

Исписала тебе много листов, но не пошлю — это отчаяние мое, расстроило бы тебя. Я вся издергалась. Пишу коротко, что-

---

[i] Маленький ребенок *(нем.)*.

бы только сказать тебе, что ты пришел ко мне на Пасху и что я тебя поцеловала, обняла сердцем. Ты пришел в колокольчиках белых, чудных гиацинтах! Их во всей Голландии не найти почти что было в этом году (!). Это чудо, что нашлись. Мне подала сестра их ночью (в 10 ч.), а в 12 я зажгла твою свечу и встретила Пасху, как умела. Вся комната благоухает гиацинтами, пасхально! Сережа знает, что я на Пасху ничего другого не признаю, кроме этих цветов, и они с мамой постарались. Но С. мне еще сказал вчера, что для меня еще другой цветок от тебя будет дома, постоянный, растеньице. Он знает, что я все жалела, что «отцветет и... кончено, и не за чем ухаживать, вспоминать», и вот решил еще меня порадовать. Я ужасно ему за эту идею благодарна, но сержусь на тебя за такие траты! Не смей такие шутки делать! Сережа прислал массу гиацинтов и очень красиво устроенных и... еще этот другой цветок! Спасибо, Ванёчек, но мне всегда так это приятно неприятно. Зачем?!

У меня ужасное настроение. Лучше, если я не много буду сегодня писать. А то тебя еще расстрою. Коротко скажу: меня убило твое «и я буду разбит как всегда». Я вижу, что я тебе ничуть не могу облегчить тяжесть утраты. Мне очень это горько и больно. И мое состояние... Почку мою исследовали как нельзя лучше: снимали 15 раз, в разных видах. Катетер то поднимали, то протаскивали вниз, впрыскивая каждый раз «Kontrastmittel». «Чистили» всю неделю до этого, в тот день не давали ни есть, ни пить и опять чистили. Никакой «ткани», кроме моей собственной кожи, не было, тем более пуговиц. Около cystoskop'а возился консилиум. Оба раза, что меня исследовали cystoskop'ом, было кровоизлияние, и они могли видеть самый «источник» крови. И видели. Вся другая «сфера» была ими изолирована (для осторожности в смысле инфекции), — там ничего ненормального не происходило. Все же исследовано! Я не могу ни на секунду быть покойной за мое здоровье. За неделю моего лежания мышкой, тихо-тихо, было 2 кровотечения и еще одно под вопросом. Сил у меня нет и, несмотря на хорошее, исключительное питание, я ни на йоту не поправляюсь. Ходить одна я не могу (падаю), сидеть могу не дольше 1/2 часа. И это после недели вставанья! Чувствую себя (душевно) премерзко. Никакой бодрости, никакого желания! Вся жизнь проходит, будто помимо меня!

Мне, будто, нечего ждать. И не утешай меня! Бесполезно метать бисер перед свиньями! И не поверить мне твоим словам «здорова, сильна, счастлива», — если я знаю, слишком хорошо знаю, что я и не сильна, и не здорова, и не счастлива. Будь ты здоров, Ваня, и скажи мне, что с тобой было! Не мучай хоть ты-то!

Как я люблю, когда ты меня зовешь «Олюша».

Это очень ласково. Целую. Оля

[На полях:] Завтра, если не будет крови, еду домой.

Ах, не говори обо мне ни с кем — все обо мне так скучно. Серову неинтересно, а Ирина на смех поднимет.

P. S. Опять и опять подтвержение все того же; — сейчас твое заказное на маму и... «ты ей (Арине Родионовне) о-чень понравилась, как и моя покойная Оля». Всегда, во всем, я как сравнение. Только. Ты сличаешь меня. Я это так чувствую. Я не ревную, но я знаю, что ты *не меня* любишь и страдаю...

Ты любишь свою любовь к отшедшей. Я только... объект. Я это знаю. Знаю!

Посылаю твои гиацинты и еще другие цветы.

130

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.IV.42[i]

Милый мой Ванюша!

Как рада я за тебя, что ты причастился и так светло причастился. Дивно это — это сошедший на тебя мир!

И как хорошо, что цветы мои пришли именно к этому дню! Поздравляю тебя, милый причастник! Будь здоров! Напиши обязательно, что с тобой было, когда ты «отозвался» на мое? Напиши же! Ах, Ванёк, я написала тебе 2 письма, вчера и сегодня, и не пошлю. Уж очень грустны они, полны моего отчаяния от слабости, нездоровья.

Я приехала 7-го IV домой, но как?! ...

Я живо чувствую и «Утро Тоника», и твою радость при выходе из американского госпиталя. Но сама я ничего такого не испытала. Я не буду много писать, а то опять не решусь послать. Скажу только, что я еще за всю жизнь не чувствовала себя такой больной, как теперь.

Я не ропщу, но я только молю Бога, чтобы хоть теперь то, вскоре бы не пришло снова кровотечение, т. к. мне теперь тратить силы просто не из чего! Доктор меня предупреждал, чтобы я была к крови готова, т. к. витаминная нехватка — «лишь гипотеза», сказал он. И ты поймешь мой вечный страх?! И когда меня измытарили, всю еще истекающую кровью (26-го особенно!), то я уж даже не знала: да стоит ли бояться операции?

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: первые признаки выздоровления! Господи, укрепи ее! Мою Олюшу!

Теперь я лежу дома, вставать продолжительно я не могу: все кружится, летит, шумит в ушах, будто они полны водой.

Ты понимаешь, что это не слабость после болезни, та блаженная слабость, обещающая здоровье, но слабость еще в болезни. Я не чувствую даже приближения поправки. И это меня гнетет. Только бы не повторилось теперь еще кровотечение! Подумай, их было 3 на одной неделе, при полном покое! Приходится однако сдерживать нервы, не думать, отвлекаться. Я все делаю для того, чтобы окрепнуть, ем много и хорошо: яйца, молоко (чудное!), масло, всякие соки: лимонные (достали!), томатные, вишневые. У нас все есть, — ты не беспокойся. И Пасху справили очень хорошо. И не только для себя, но смогли отправить в Гаагу на общее розговенье все, что надо, скопили. Как больно мне, что тебе ничего не могла послать. Еще и сегодня я ела пасху и кулич, и в воскресенье мама опять сделает. Если мне чуть-чуть покажется, что могла бы съесть что-нибудь, то я и делаю это. М. б. и будет когда-нибудь лучше?! Холодно на дворе, нельзя еще дышать воздухом. Ах, Ваня, как трогательно, что ты мне купил яички! Ну, будто детке сделал праздник! Ужасно мне тепло от этого! Они гладенькие? Лакированные? Я их почти вижу! Ванюша, только ты не возноси меня высоко! Я недостойная, и если Господь пошлет мне Свою Милость — исцеление, то не по заслугам. Разве что по молитвам папы. И я не осмелилась бы простить себе, дерзать, не зная примера с хананеянкой[280]. В этом «доме скорби» — клинике столько горя, что мне стыдно за мои вопли к Богу!

Подумай: эта дама-девочка-то — ей и вторую почку резать будут, сегодня должны были! Одну (левую) вынули, а другая, так называемая здоровая, оказалась тоже негодной. Стараются хоть что-нибудь операцией спасти. А ей 32 года, и мальчик, брошенный отцом! Она меня не хуже, а лучше! И — главное — М А Т Ь! Вот ужас! Она из головы не выходит. Будь я на ногах, поехала бы. Я ей советовала: «попробуйте, помолитесь!» А она: «да, и если Господу угодно, то м. б. хоть 2 годочка бы еще пожить!» Доктор торопит ее, не дает времени даже на свидание с малышом ее, велел вызвать «мужа» — как отца ребенка. А она мне: «м. б. еще хорошо все кончится, м. б. он раскается по-настоящему, придет снова...» Ужас, ужас! И сколько же еще и еще слез! Ах, Ванюша, не хочу отталкивать твоего оптимизма обо мне, но уж очень много мне отвоевать сил надо! Увидел бы ты меня — испугался бы! Сестры-то когда меня подняли, согласились, что операцию-то, пожалуй, не перенесла бы. T° — 35,8°.

Вся холодная с 2 грелками. Здесь, дома лучше, ночи теплые стали. Но все болит от лежания: вся натираюсь камфор-

ным спиртом, но все-таки есть чувствительные места и особенно пятки... до ужаса болят. Я уж носочки надела. Трудно спать только на спине. А я люблю калачиком. Но я все же падаю в сон, в тяжелый, оловянный сон. И ты знаешь, эта слабость не от потери крови только. Я же и до болезни этой, чем-то уже хворала. Я страшная, Ванёчек: глаза огромные... Это у меня легко бывает. Когда я ребенком болела, то детский врач маме шутил: «вырастет — глаза подводить не надо, "интересные" будут глаза». Ну, а теперь уж страшные. И когда я встаю и вижу себя в зеркале, то ловлю какое-то выражение удивленного страха. Но лицо... розовое. Доктора думали, что я «помогаю» природе. Но я всегда такая, всегда розовая.

Напиши же, что с тобой было?! Сегодня мне письмо от Марины Квартировой[281], вот дословно: «об Иване Сергеевиче Вы наверное все уже давно знаете. Мы никакого портрета не получали». А на днях Сережа получил письмо от приятеля, который его спрашивает: «М. К[вартирова] просит тебя спросить, получил ли ты (т. е. С.), портрет И. С. Ш., который Марина тебе послала?» Я ничего не понимаю. Все письмо Марины довольно в холодноватых тонах. Она ревнует. Я это чувствую. Как читательница, конечно...

Твои гиацинты я взяла с собой из клиники — они цветут! Сережа не рискнул сам по своему вкусу выбрать «вечный» цветок от тебя, и потому его еще пока нет. Я сама выберу. О, с какой радостью! Бегония погибла! Но ее все время еще поливают. Ландыши пересадили в сад — у них сохранились корни. А хочешь я тебе тоже пошлю «вечный» цветок? Да, да! Только бы встать! Кланяйся Серову. Напиши, как ты провел Пасху! Мне все чего-то кажется, как бы не уснула наша переписка, как тогда... ты назвал то время временем «созревания чувства», — помнишь? Почему-то все кажется. Но я буду и буду писать. Тогда я бы дневник писала для тебя и потом его бы тебе отдала. Но буду верить, что мы не утратим переписки. Ну, Ванечка, кончаю. Устала очень.

Целую тебя, солнышко.

Твоя Оля

P. S. Сегодня будто чуточку бодрее, к вечеру стала. Много спала. Бог даст, м. б. и поправлюсь к лету?!

10.IV.42 Сегодня очень хорошо (легко) спала, принимаю укрепляющее средство и все время хочу спать. Сплю с наслаждением. Это впервые. И ночи теплые стали даже без грелки!

Цветочек я поцеловала.

131

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.IV.42 1 ч. дня

Сейчас твое чудесное, нежное, — знаю, как ты моя в с я! — письмо. Дернуло же меня обмолвиться «глупостью» и тебя встревожить! Ни-чего серьезного со мной не было, а «созвучность» только внешняя. Ну, что я тебе, глупка, буду расписывать о совсем пустяковом и вовсе н е приятном! Ну, то, что со мной было два-три дня — меня удивившее неприятно! — связано с дурной погодой, с сидячим образом жизни, м. б. и с некоторым нарушением диеты, — ну, чего-нибудь раздражающего съел, пряности, что ли — приходится бывать в ресторане, я непривычен к такой кухне. Ну, и — «созвучие» с твоей, только вот «сферы» наши разные. Я же, ведь, писал: «поймешь — и рассмеешься». А ты затревожилась, моя пичужечка! О, моя нежная, ласточка-трепыхалочка, вся — «электроскоп» — и самый чуткий. Ну, поняла? Ну, глупость все это, только маленькая неприятность, чего почти не бывало со мной; раз как-то, еще при Оле, — я еще пошутил «у меня как у жен-ны... — “на себе”». Понимаешь, это народное — «на себе»? (до чего же народ умеет прикровенно-целомудренно выразиться?!) То, что называется — «мес-чное». Мне тебе было сты-дно об этом, а прорвалось только потому, что и у меня, «из симпатии» — лю-бви сверхчувственной к тебе, даже кровь с л ы ш и т и отзывается. Бунтует. Вот — поди ты! И смешно, конечно. Я, слава Богу, здоров, моя «язва» с п и т... я даже теперь и «каолэн» редко принимаю. А на Пасхе в с е ел. — Ольгушоночек мой чудесный! Олюша, Олюшка моя, Олюночка... — очень поласкала ты меня в письме, сегодняшнем. Будь ты сейчас со мной... голова кружится. — Глупка моя, слушай. Еще д о исследования цистоскопом, Серов очень неохотно — почти тут же и отвергая, — сказал о другой сфере, откуда м. б. кровоизлияние. Главным образом относил все к «причинам внешним», волнениям и «к особенностям кровеносной системы». Могут быть местные повышения давления в сосудах, могло быть и травматическое, от переноски тяжести, могла сдвинуться почка... некоторые нервные узлы могли повлиять на прилив крови к почке и ее сфере, что — при временном слабом состоянии кровеносных сосудов, и могло вызывать кровоизлияние. По его словам, опасности нет, кровь восстанавливается быстро, слабость же длительная — главным образом от «замотанности нервов», это — сильная — предельно-сильная нервная усталость. Я же, милка, знаю анатомию немножко (конечно,

ты больше моего знаешь!), не могу смешивать две разные сферы, но я-то исходил из ясного для меня внутреннего вывода, что почки твои здоровы. И ты будешь здорова. Надо полный длительный покой. М. б. надо укрепить сосуды, — это дело врачей. М. б. витамин С. Не может быть, чтобы тебе не дали права получать апельсины и грэпы[i], — ешь больше салата — лэтю[ii] — в нем С чуть меньше, чем в апельсине, этот салат у нас называли — «латук». Ешь печенку, фасоль, молока больше, масла сливочного. Больные, как ты, имеют право на особое питание, и я уверен, что ты будешь есть апельсины. В хорошей аптеке должны держать миндальное молоко! Тебе должны достать апельсины и миндаль! Я бессилен, что не могу послать тебе миндаля — у меня есть же! — я бы тебе сконцентрированный сок апельсинный посылал! Но посылки не допускаются, с 5 янв.! Мне Лукины прислали поздравительную карточку, а на мое письмо — раньше посланное, с поздравлением, в котором я запрашивал, когда к ним могу заехать, чтобы передать «пасхальные яички» для пересылки отцом Дионисием Сереже — чудесные, с вербочками, с пасхой, с церковкой, — так и не отозвались!!! Очевидно боятся: нагружу Лукина просьбами о доставке. Сегодня, переломив самолюбие, еще запрошу: не м. б. чтобы письмо мое не дошло. Это очень прозрачная «политика» уклонения, отклонения. Ольгуночка, Олюша, Олюшка моя... — иного пути не найду послать тебе. Если бы ты была у меня... все силы, все минутки мои, все чувства мои — всего себя отдал бы, и ты бы была здорова, радостна, счастлива... — ведь ты же меня любишь, знаю. И моя-твоя любовь помогли бы нам. Оля, ты получила мои слова успокоения? Читай их себе, воздействуй волей душой — на тело! Ты будешь здорова. Верь этому. Ольга, выкинь из трепыханья своего все темные думы, все сомненья: так любить, как я тебя люблю... я никогда не умел... Веришь? Верь. Тебя люблю, подлинную, сущую тебя, самую сущую, всю, всю, со всем в тебе, с трепыханьем, с капризками, с «дерг-дерг», с попытками — невольными — терзать меня, — всю, всякую... люблю до... угрызений совести... т. к. ты все закрыла, и безоглядно! Ты, и только ты, и в этой любви нет никакого «отражения» от Той... Та прошла земное, Та — оставила во мне благоговение, — та любовь. А эта любовь, любовь тебя, — пусть это не этимологически! — это такое огромное, глубокое, небывалое... я же не могу себя-то обмануть! И никакой хладной струйки в письме, где «Вербное воскресенье» не было. Перечи-

[i] Имеется в виду грейпфрут.
[ii] Латук *(от фр. laitue)*.

тай же! Я хотел скорей тебе переписать и хоть этим ввести тебя в воздух детства, когда предпасхальное так особенно чудесно, и потому м. б. мало написал о себе, но я жил тобой, и только тобой. И... как же томился твоим страданием! Я весь исстрадался, я весь истомился в моленьях, я весь истекал в нежности к тебе, мой ребенок бесценный... моя женщина-дитя, моя красавица, мое лучшее в целой жизни, в целом мире! Ну, чем покажу?.. Ну, жизнь свою отдать за тебя?! — скажи, — как?! Я живу, потому что ты во мне, как сила живящая, как душа... Я грежу тобой, я только надеждой на тебя живу, только через тебя хочу жить. Олюшенька, я переломил себя, я много был в церкви, говел, — и только грусть смешалась с пасхальным светом во мне. Сегодня я ощущал тебя во сне... о-чень... Олюша, убеди же себя, что покойная Оля дала мне тебя, благословила, — и я — так ясно, так прямо, так полно, так истинно люблю тебя, сущую, не призрачную, не «образ отраженный», а самую всю, душистую-юную, прекрасную из прекрасных, живую из живых, у-мную... о, какую же му-друю! Не ослепленье это, что так зову... — я не знал никого таких, никого... ты — редчайшая, ты... я, кажется, сжег бы себя и тебя в одном сверхсильном чувстве! Ты говоришь о Сен-Женевьев. Что мне мешало... не знаю. И погода была первые дни плохая, а я хотел быть на могилке — в солнце, — я только 14-го — ! — в Радуницу собрался на кладбище. Если бы ты была со мной! Какие дикие мысли у тебя! Мы, оба, с легким сердцем, свободные духом, не укрываясь ни за что, пошли бы вместе к ней, любящие друг друга, да, да, — и мне не стыдно так говорить, — да, любящие, Е я волей встретившиеся, — я знаю, что Оля поручила меня тебе, отдала тебе, моя Олюша, только тебе! И это мне не в смущение, а в радость — было бы прийти с тобой на ее могилку и сказать — «вот, мы пришли к тебе, к останкам твоим земным, как к священной памяти о тебе-земной... — благослови же нас!» И поверь мне, Олюшенька, Оля оттуда благословляет нас. Она же знает, что нет лучшего во всем свете для ее Вани... она оставила все земное, но она благословляет его для нас. И как ты могла подумать, допустить тень думки, что я смутился бы явиться вместе с тобой к ее могилке! оставить тебя у ограды?! Чего я могу смущаться? Что так сильно, по-земному, люблю тебя?! Что ты для меня все теперь здесь?! И там, Олюша, мы будем все, вместе, другой сложности, нам неясной, но одной Души. Эта любовь, земная, любовь смешанная со страстностью, с пылом жизненного начала во мне, с земными планами продления в жизни нашей душевно-телесной сущности, — если бы осуществилось!!! — она повелительна, эта любовь: она возник-

ла из совпадения наших душ, из их встречи и из слияния их — влечения непреоборимого. Это такая сила, перед которой бессильны все мои опасения, что я тебя не стою, что ты, увидя меня, разочаруешься... — а, пусть, пусть... но я не могу тут ничего... я одно знаю, одним живу — я люблю тебя. И ничто не в силах это изменить во мне, и я открыт тебе весь, я ничем себя не прикрываю, я весь твой, недостойный пусть, но я твой... И ты это знаешь. И я не хочу объяснять тебе твои сомнения во мне, в моем к тебе чувстве... — Твои два предыдущих письма, от 1 апреля[282] и 6-го, — сегодняшнее было от 4-го, Великая Суббота! чудесное! — полные грусти, сомнений, меня опечалили вчера... за тебя, родная, глупка моя чудесная... цветик мой чистый, трепетный, — ах, как ты дорога мне! Ольгуна, оставь эти сомнения, они лишь мешают тебе окрепнуть. Ты — должна жить, пойми — ты должна! Я в тебя верю, ты должна писать, ты будешь писать... и ты, пока я жив, будешь мне другом вернейшим в моей работе, в моих заботах о книжном моем... — Разговоры об экранном — все, конечно, о будущем, для русских зрителей. Это все предположения и планы. «Чашу» здесь, конечно, нельзя поставить, ни-как... — она не может жить и создаваться на здешних экранах. Нужна родина, нужна огромная сила — кто, кто бы мог дать Анастасию, — «без слов»?! Тут нужна — сила, и какая ду-ша! В «Няне» материалу на два—три фильма... Да у меня есть один маленький рассказ — ты его знаешь... «Трапезондский коньяк»? — вот была б фильма-то! До чего же необычайный, по исключительности сюжета! Если не знаешь, я тебе перепишу и пошлю. Скажи. Ольгунка, если бы ты была сейчас здесь... я бы, кажется... утратил себя от счастья... залил бы тебя таким солнцем нежного света, какой в моем сердце... ослепил себя твоим светом, твоими чарами взгляда... — у меня в мыслях мешается... я так полон тобой! Умоляю, деточка светлая... найди в себе волю выздороветь! Ты органически здорова, не думай о болезни, ее нет: есть большое недомогание. Тебе растревожили осмотрами ткани и сосуды, м. б. даже и поцарапали катетерами, — только будь осторожна! Не напрягайся, пей здоровье, внушай, что пьешь его: молоко пьешь — говори — я набираюсь сил, ешь больше зелени, — отыщи же пути достать и апельсины, и миндаль... надо пить такое, что не раздражает почечных тканей, — избегай соли, т. е. не абсолютно... но я не знаю... кажется, можно с успехом есть лук? правда? Пей воды, — ах, Ольгуша, чем бы мне содействовать..? Я рад, что мог цветами тебя поласкать, киска моя. Твои душистые гиацинты отцвели. Но мотылек декабрьский — доцветает, еще свеж. Это редкость. Ну, Ольгунка... я тебе на твои два письма не ответил... — отвечу. Конеч-

но, эти твои сомнения во мне, эти «пени» на меня... — все это от горестного и так мне понятного самочувствия твоего. Ты будешь весела, будешь цвести, петь, и тогда твой Ванюрочка станет в тебе таким верным, таким близким, таким ясным, таким неизменным..! Я все сказал тебе о моем к тебе... и ты знаешь это: большего мне нечего сказать: ты — все мне, — нет слов, мое к тебе полней, сильней их выразительности. Ты лишь сердцем все дополнишь, и знаешь сердцем. Твоя рубашечка... — я ее слышу... я ее целую, как святое. Ольга, я не могу, не смею доверить слову на письме все то, что во мне к тебе... это не высказывается... это — дается, и только так, так, без слов, берется. Сердцем, чувствами, объятьями, силой, огнем любви... — не только страстью, но неизъяснимой нежностью, таким ласканьем души, чего никогда никто из самых чутких к слову не мог выразить и дать понять. Не мешай здоровью наполнять тебя, стать сильной, — тревогами и сомнениями, и грущеньем не мешай. Крепи себя верой, что будешь здорова и счастлива, заставляй же себя радоваться больше, — не знаю, как тебе, — думаю, что то же! — но для меня твоя любовь — Свет Господень, Милость Его, радость жизни на моем пепелище. Я снова принимаюсь за «Пути». Вот ты удивляешься, что мне льстит, что нерусские люди принимают, понимают кое-что в моей работе, книге. Да, не спорю с тобой: м. б. это и наивно, но это мне и приятно: доходит, берет, — мой дух, стало быть, за-ра-жа - - - ет! Ну, вот, — тут, конечно, какой-то «пережиток»... но когда я слышу, что произвело «Богомолье»[283] в сердце вел. кн. Владимира... — мне приятно. Даже в сердце таких, казалось бы, дале-ких от «простоты», от «уюта» русского... таких «внешних» людей, да еще не видевших родины, как этот великий князь... — наше творит... — это мне знак верный: значит, нашел всечеловеческое, смог показать, захватить — это же мне приятно, это меня подгоняет, я веду... и к доброму веду, во что я верю: в живую душу родную, в человека! Неудивительно, что ты, мудрая сердцем и умом, и всем в тебе, меня полюбила за мое: ты — редкая, ты — другой «я», ты — моя же вся... — я счастлив, я безоглядно счастлив... — и я так свыкся с этим, как с собой. Твоя оценка, твоя хвала — истина для меня, и благословение. Я же от тебя черпаю силу-веру... — да ты знаешь. Но когда «блудные сыны» приобщаются от моего слова-чувства... как же мне не радоваться! А ты — моя, вся, во мне, ты же — сам я, больше, но это не передать. И как неверно, — ты сама не веришь! — твое «ты не считаешься с моей оценкой!» «Мало тебе моей оценки?» Откуда ты это?! Ольгушка, я тебя так люблю, что и не хочу думать, что ты это всерьез... это от твоей горечи, от временного

в тебе недомоганья... нет, ты знаешь, какой я к тебе, как ценю, люблю, чту, как преклоняюсь, — до «коврика»! Наступи, — поласкай. О, киска, рыбка, нежка... трепетка бедная, слабенькая моя, больнушка... — будь же веселой, радостной, просветленной, драгоценкой, моей всей Олюшенькой! всей — во мне, ко мне, со мной, обо мне, — и всегда — самой, своей, — я в восхищении от всего в тебе, даже от... сердитки-тебя! Твой дар сестренке... «орхидейное действо» — ты, вся ты! Вот она! Ольгуночка, Олюша, Оля... — вся ты, все понимаешь до... «любования собой», но какого же чи-стого, светлого, радостного «любования». Не будем к этому подходить, как в «Лествице» своей делает Иоанн Лествичник с предельными достижениями святости, где находит тень-оттенок «греха»[284]: это сверхуглубление — скажу — вниз-углубление! — все изничтожает, «режет», анатомирует до того, что остается пустота... — недаром же опытные старцы не дают молодым инокам читать это «достоевское» творение! Не буду копаться в подчувствах, какие несомненно боковинками тебя щекотали в этом «движении»... — ты прекрасна! И каким же счастьем затопила ты эту малютку-сестру! Поцелуй же ее за меня, — хоть в мыслях! Великую славу оставила ты в клинике! Вот как ты еще умеешь творить и отворять души! Молодец, Олька! Дай же всю тебя, все в тебе исцелую, хоть ты и не позволила бы. Даре-ная ты моя... Олюшка, сердитора, капризуля... страдалица моя милая, птичка трепетная... — о, дай прижму тебя к сердцу, мое дитя святое! Губки, глазки... пальчики... восковочка моя, бледнушка, фиалочка-ночнушка... июньская моя... о, моя «после ливня»! Так ты тонко-душиста... душой душиста, телом... вся — ароматная, кружащая, берущая, влекущая к себе.... поглощающая всего... до бессознанья. — Прости, я был неправ в суждении об о. Дионисии, ты же его лучше знаешь, и не могу возражать. Ни с кем о тебе не говорю, тем более с Ириной! Ни-когда. О тебе не говорить надо: ты взглянешь, осияешь — и — поведешь. Я тебя в себе храню, как святое «пасхальное яичко». Ах, исцеловал бы твою руб . . . . . у! Теплую твоим теплом, твоим дыханием. Прости, безумствую. Твой — Ванюрка

[На полях:] Оля, хоть кратко — чаще извещай о себе.

От И. А. ни строки 2 года![285] Видел его во сне: он очень полный и говорит: я знаю средство быть здоровым. Не болен ли он с Натальей Николавной?![286]

Будущую Пасху — вместе, да?!

Недели 2 тому видел тебя: ты сидела у стола при лампе с зеленым абажуром, одетая, будто едешь в Schalkwijk. Немного худенькая. А «сизая» — совсем бледная.

Перед болезнью видел тебя полной и краснощекой, одетой

в розовое-голубое. Я тебя поцеловал в спинку, у шеи. Ты была такая «вкусная»!

Сообщи, что же случилось с А.? Или не хочешь... почему? Поцелуй маму и Сережу. Спасибо им!

132

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16—17.IV.42

Олюшенька, родная моя девочка, получил твое письмо от 3-го, отосланное 7-го. Не падай духом, вернешь и силы, и свежесть духа, и радостность. Я крепко верю, и ты, береженая моя, верь. Это благо, что «селюкрин» у тебя, без колебаний принимай его. Как раз и назначают его, как лучшее восстанавливающее силы средство, парижские госпитали выписывают из «Биотерапии» килограммами. При потерях крови, при анемиях — он дается. Никаких противопоказаний для него нет. Ну, проверь у специалистов. Он готовится из свежей бычьей крови, удаляются все «трудные» для пищеварительного тракта ингредиенты и высушивают кровь при давлении, в низкой температуре, так что витамины не разлагаются. Проверь, прочти бумажку при коробке. Проверь же у врачей! Ничего удивительного, что ты ослабла. Нагонять потери всегда приходится очень медленно. Молодец Капеллен, что не пустил домой: ведь он понимает, что надо беречь сердце! Каждое малейшее движение, пальцем даже, при такой слабости, — недопустимо. Не слушай глупых советов — надо вставать, от лежанья слабость хуже. Чушь! Само тело хранит себя — тебя — его инстинкт тянет тебя в постель. М. б. надо порой принимать и камфору — особые пилюли «солюкамфр» — в Париже лаборатории М. Делялянда. Подобное есть, конечно, и в Голландии. Ну-жно. Кроме сего, необходимо, чтобы доктор выслушивал сердце, м. б. надо принимать укрепляющие его мышцы, обычно «адонис верналис». Олюша, в 37 г. я, должно быть, потерял мно-го крови, когда почти был на краю жизни, и адоверн мне очень помог — спас. Ты — молодая, сердце у тебя здоровое, но надо знать его работу и помогать ему. Надо укрепляющие средства, и питание вволю. Не допускаю мысли, чтобы тебе, как больной, отказали в праве на апельсины, грэпы, миндальное молоко.., — е с т ь они и в Голландии! Ешь больше салата — «лэтю», по-русски звали «латук». Но ты в с е знаешь. Пей молоко, как можно больше сливок, масла и прочего. Никаких усилий! У тебя, кроме потери крови, нервная слабость, надо, м. б. стрихнин, для «вздергивания»? Ты столько перене-

сла всего! Надо и «вздергиванье» — стрихнин, но надо и успокоительное, — бромоны. Никаких усилий, волнений! Мне каждая строчка твоя — свет, но умоляю, не утомляй мозга, я удовольствуюсь хотя бы строчкой о твоем состоянии... милая моя, ножки целую твои, молю! Береги себя, Олюша, лежи, ни о чем не думай, — я весь с тобой, весь только о тебе, только тобой жив! Слабенькая моя детка, не грусти, что поблекла, «постарела», — !! — ты-то?!! — опять расцветешь, поверь мне. Ты для меня, какая бы ни стала — ты мне дороже всего на свете! Я бы все отдал, чтобы тебя осветить верой в здоровье, в радости жизни, которые будут, будут для тебя! Олюша милая, знай крепко: не «отражение» Оли ты для меня: ты — ты для меня, самая сущая, самая реальнейшая Олюша, не отражение Дари: я тебя боготворю, несу в сердце, тобой, подлинной Олюшкой моей, живу... Ну, что значат слова, уверения, — если бы ты сердце мое видела!.. Но ты его знаешь, и твои сомнения — яд, он только ослабляет тебя! Или ты так мало веришь мне?! Но что же мне тогда делать, не повторять же все те же слова, — они бессильны. Не делай же мне — хоть и невольно — боли, при таком моем бессилии словами тебя уверить! Ты сердце свое спроси... самое глубочайшее в нем... — я верю, что оно тебе правду скажет, — и ты уже знаешь ее, эту правду, — кто ты для меня. Помни: без тебя я не хочу жить, и не буду! Ты мне дар священный, и я храню его, как дар Милостью Божией. Больше у меня нет слова.

Не мечта, не выдумана ты мной, ты для меня живая сущность, вся во плоти, вся в яви, вся — жизнь. И нет у меня слова больше. И вытрави из души весь этот сосущий тебя злой яд: это от темного, не от Господа, не от нашего чистого, чем дорожим мы оба. Заставь себя! Я тебе послал слова покоющие, читай их, они размеренностью мо-гут покоить, — я знаю по личному опыту. И молись. Сны твои... да, чудесны. Но это — сны. И в них не ищи тревожного. Этот чудесный, с детской колясочкой, с Пречистой... — это же все отражение твоих думок, все вышло из «яичка» иерусалимского, так это ясно. Благодари за эту ласку во сне! Это так светло, так нежно должно голубить тебя, давать силы душе твоей! Пречистую чувствовать..! Это такое счастье! Твой «крестный» сон — удивительный. Он уже мой. Ты мне его подаришь, и он будет жить в моем. Творческая душа, Олюша моя светлая... ты будешь всегда со мной... живая, ты узнаешь все мои думки, все зачатия, все планы... — во всем ты со мной, и нет от тебя у меня ничего сокровенного! Как я жду этого... как высшей Милости Господней! Душой своей вечной воздействуй на слабенькое тело твое, — это же великое средство, — и ты окрепнешь.

Обо мне не тревожься, я здоров вполне, я лишь о тебе болею, поверь, родная Ольгуночка! Не приходи в отчаяние, что силы возвращаются так медленно. Я больше месяца в 37 г. лежал, а «припадок» мой продолжался каких-нибудь два-три часа... Я, как говорит т е п е р ь С[еров], должно быть потерял много крови, было кровоизлияние из язвы дуодэни, — и я теперь припоминаю, что, делая за неделю перед тем гимнастику, я сделал сверх-усилие... — и должно быть несколько дней шла кровь, а я не знал! И слабел день ото дня, чтобы в д р у г, утром, потерять все силы, — начал холодеть, не мог пошевелить пальцем... — только, к счастью, впрыскивания камфоры — подряд 3—4 раза, остановили потерю сознания! И — ме-сяцы слабости после того... ме-сяцы..! А ты — молодая, ты, при уходе и лечении, в хороших условиях, — оправишься, увидишь! зацветешь!!

Я счастлив, что д-р Капеллен такой чудесный. И я понимаю твое обожание. Я сам «обожал» моего хирурга Дю-Буше, в американском госпитале[287], который... «всегда к Вашим услугам... но теперь не нахожу необходимой операции...» Я чуть не расцеловал его! И по-сейчас я ему глубоко благодарен. Уверен, что ты всех там очаровала. Это твое особое свойство — и призвание! — очаровывать: даже злые чувствуют, какая душа у тебя, какое сердце, какое сокровище ты! О, я, з н а ю, я очень чуток... к т а к о м у в человеке... я так об этом мечтал..! — о т а к о м... — и я нашел тебя! Я у з н а л тебя, единственную... — ты же знаешь, как и ч е г о я искал в образах смутных... и как давно, как п р о з н а в а л, как провидел... — я всегда чуял, что д о л ж н а ж е быть «небывшая никогда»... — и вот — О н а «стала быть».

До чего дивный сон твой «звездный-крестовый»! И... какое «созвучие» с моим, у Дари! Ми-лая... осуществившаяся мечта! ставшая живой явью. Когда ты будешь сильней, ты мне расскажешь о «сне в 40-й день по папе» твоем, и как тебе Богоматерь дала «новое имя», все, все... сокровищница моя! — «В Виши поехать!» Господи, если бы это случилось! Оля, Олюша... а? м. б. удастся? это же лечиться, это же такая уважительная причина... Господи! Как оберегал бы я тебя, как дышал бы на тебя... всего бы себя отдал! Но если нельзя будет, я — о, поверь мне! — я все усилия употреблю, чтобы получить позволение приехать, — и литературные дела оформить, и тебя увидеть, сердцем к сердцу тебе сказать, к т о ты для меня! Оля, будем верить, что вся запутанность жизни вдруг и разрешится... — к т о ч т о знает! *Только не приходи же в отчаяние от медленности поправки*: вернутся силы, будь бодрей духом, заставь божественную силу твоей Души влиять на тленное, и преодоле-

ет она, и... какая же ты чудесная «орхидея» будешь! живая, таинственная-глубокая душой, внутренним ликом... прекраснейшая ликом живым, цветением женщины-девочки! О, какая ты чарующая, я вижу тебя... — и что, что все прекрасные перед тобой, для меня! — А как опять чудесно ты — в нескольких строках — дала историю этой несчастной «девочки», «женщины»? Как ты уме-ешь! Неужели не видишь.?! Олюшка, глупенькая, трусиха, изволь, как поправишься, прислать мне «Говенье»! Хочу, хочу. Ты все навыворот судишь о себе. Да, ты очень чутка к искусству, в оценках, но... «самооценка» — совсем другое. Поверь же... Я... часто ошибался в своем. Потом уже... начинал видеть. Ты — можешь. И потому — должна писать. Не стану кадить тебе, довольно с тебя и с меня, но знай: если ты еще раз станешь кукситься, трусить, отмахиваться... — я озлюсь, серьезно: ну, что мне делать с таким упрямым ребенком! как наказать? Или — дураком себя признать? бездарным? олухом? «свиньей в апельсинах»? Не приводи же меня в отчаяние и в исступление, наконец! Чертовски интересен твой рассказ о «девочке»... вот трагедия с комедией-драмой! Разберись тут... да еще и «почки»... ну, и «амбарà де ришесс»![1] И черт их знает, че-го людям не хватает! Это не любовь, во всяком случае... — это «капризы любови», это какое-то «дегустирование сы-ров...» любителями... это — «пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Мудрый Эдип, разреши! А ты... ты и проще всех этих, и ку-да сложней, изысканно-сложней, душевно-сложней! И потому — так прелестна. Я-то знаю, куда и что. В тебе весь молниеносный блеск божественного в Любви. И как же мелки и, при всей «сложности непонятной», тусклы все эти потуги «исканий и колебаний ихней любовишки». Ну, понимаешь, как же ты для меня-то сверх-заманчива, глубока, изысканно-изящно заманна?! Вся — другого сплава... из какого-то небесно-земного неведомого элемента. Неопределима, неизъяснима... и — так чиста — проста... «Проста» в высочайшем значении, как лучшее у гениального Пушкина, как почти все в Евангелии, Слове неземном, в слове-Духе!

Ты зачеркнула пять строк о своей зимней болезни... почему? Можешь — скажи. Но ты скажешь это только тогда, когда пройдет слабость: не напрягайся, подожду, ты — вот первое для меня, над всем, превыше всего. Родименькая, Олюночка моя... как я был счастлив твоим пасхальным гиацинтам! Отцвели. Но «мотылек» еще держится. Ах, какие пасхальные яички у меня для тебя! Они из дерева, покрыты пунцовым

---

[1] «Затруднение от большого выбора» *(от фр. embarras de richesses)*.

лачком, и на них — писал уже — пасха с куличиком, на втором — вербочка — !! — на третьем — храмик наш, белый... и на каждом на другом бочку — Х. В. — золотистым. Странные Лукины... Я им на 2 день Пасхи послал письмо с Х. В. и запросил, когда можно заехать к ним, чтобы передать яички, которые можно, каждое, в жилетный кармашек положить, для тебя. На 5—6 день от них цветная открытка с Х. В. и поздравлением, но без даты. И только. Не получили моего письма? Не может этого быть?! Значит... убоялись «комиссии»..? Но тогда скажи прямо... а не играй в молчанку. Этот прием мне очень не понравился, — да еще после таких сердечных двух приемов с угощениями, после моего присыла книжки для Лукиной! Не понимаю. Но, перемогая себя, напишу сегодня, выясню. Я втайне надеялся хотя бы один флакон духов послать тебе, хоть «сирень»... Не удастся, плюну на них с досады... и буду ждать шефа Сережина, только устрой, чтобы он мне адрес парижский дал. Я же не злоупотреблю их любезностью, не в обузу будет. Размер яичка таков: высота около 6 см, ширина — около 3. Сейчас они стоят перед твоим портретом увеличенным. Чудесно, тебе понравятся. Ласковы уж очень, особенно с вербочками и с храмиком! Твой храмик. Сейчас напишу Лукиным. Сумею, вежливо. Что до о. Д[ионисия]... так Ирина С[ерова] передавала впечатления главным образом школьные, и я не принимаю их, как непреложные... — тебе лучше судить. Мне только показалось странным, в мое посещение... — Обычно, когда я куда прихожу, — да еще впервые! — я встречаю... или, вернее, хозяева меня встречают в передней... — я вовсе не честолюбец, а всегда стесняюсь, особенно впервые... — А тут... о. Д[ионисий] ко мне не поехал, даже на мое приглашение... — а я сказал, что нарочно для него заказал кулебяку... хочу его угостить, — это в письме писал, при свидании говорил... — чтобы он видел, как живет русский писатель, у кого есть чуткий друг-читатель... его прихожанка и духовная дочь О. А. Бредиус-Субботина. Увидит, и ей передаст, и это для нее будет интересно и предупредительно, с его стороны. И вот я поехал, первый, приехал... меня вышла встретить мать его, а сам он... он остался в кабинетике-столовой... зная, что приехал русский писатель, кого многие хотели бы видеть, — обычно-то! — и о-чень даже, и все же постарше смиренного инока... — а он, вполне здоровый тогда, не сделал и шага навстречу, а при моем входе в комнату, поднялся от столика... и... был большей частью нем, как рыба. Ну, суди сама... что тут. Мне это не было в обиду — я для тебя все готов принять, Бог с ним, со «смиренным»... И вот, теперь... неполучение ответа на ясный запрос-просьбу..? Что

это?! Но я люблю все открыто, начистоту... и потому выясню умело, с тактом. Чтобы увериться, да что же в самом деле это все. Я пошлю о. Д[ионисию] письмо, поблагодарю за посылку и кончу этим: — да, еще за одно одолжение... — и кончу. Он мне, такой, не нужен. Если он хорошо на тебя влияет, я рад, искренно. Но мне пусто с ним. Думаю, что мое внимание — в признательность за одолжение я ему подарил «Свет Разума», — стоит его хлопот. Ну, просто, он... не широк душой и не глубок чувством... или — что же тогда? Или же он почувствовал, что я-то его знаю, его — по моей оценке — сущность? Не обижайся на меня, Оля, — это я спокойно, «без сердца», конечно. Это — мимопроходящее.

Ну, Господь с тобой, дорогая. Будь здоровенькой, свеженькой, окрепни, запой, птичка моя истомившаяся.., и я буду так светел, так радостен тобой.

Целую тебя, ласковая, нежная... я так люблю твои сердечные письма, киночка моя, — певунья... когда запоешь? Олюша, дай глазки... губки...

Твой Ваня

[На полях:] Где ты сейчас... дома?

Господь да обережет тебя, родная моя, дружка моя, чудеска!

Сейчас написал Лукиным очень вежливое письмо, про-шу принять поздравление — Христос Воскресе — т. к., по-видимому, своевременно посланное письмо мое — пропало?

Мамочке — и Сереже — сердечный привет. Целую руку.

133

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.IV.42

Милый Ванюша! Я не нахожу себе места — что с тобой?? Твое последнее письмо от 7-го, такое унылое, какое-то безжизненное, «выветренное». И до него последнее от Великой Субботы такое короткое, правда бодрое, но ничего не рассказывающее. Теперь я думаю, что это не случайно, что оба они в одну страничку, написанные от руки, — на-спех? Через силу? Ты болел? Да? Ты лежишь, потому и от руки? И мне не понять чем вызван твой такой упадок 7-го? Почему «не было Св. Дня»? Что случилось за несколько часов от Причастия и до Заутрени? Все мне загадочно и не понятно. Я и не ждала, что ты мне часто будешь на пасхальной писать; — я знаю как, верно, тебя треплют почитатели, и еще, конечно много всякой праздничной суеты.

Кроме всего я знала, что ты поедешь на могилку и на это уйдет тоже целый день и м. б. и следующий... тяжело будет. И все то я понимаю. Я и думала, что раньше 4-го дня Пасхи ты мне не напишешь обстоятельно. Но теперь я ничего не понимаю... Зачем ты меня терзаешь? Я тебе массу писала из клиники. Получил? Вчера С. рожденье было. Мы ели пироги с вязигой, а я еще и клюквенный кисель. Спасибо, солнышко! У меня еще есть твои конфеты, и шоколадные и медовые! Ваня, умоляю, напиши тотчас же! Что с тобой? Я все еще лежу — вчера много вставала. Стараюсь поправиться.

Целую. Оля

На дворе весна, а я ничего не вижу!

У вас тепло? Ваня, что с тобой? Я не сплю!

134

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.IV.42 7—30 вечера

Радость моя, Олюша, сейчас твое письмо от 9—10.IV. Тебе лучше! — знаю из утреннего заказного письма, от 14-го![288] Но «заря здоровья» уже занимается в этом, от 9—10. Начала спать! И спи, во-всю спи, — это же укрепление. Ничего не бойся, ты — на пути к полному здоровью. Помни: нервы твои всему причина: и болезни, и — выздоровлению. Управляй собой! Мо-лись! За тебя молятся достойные. Ты — угодница Господня, не «недостойная». Олюша, гони черные мысли. Почему угаснет наша переписка?! что ты надумываешь?! Теперь — если это возможно — я еще безмерней люблю мою Олюшу-больнушку, мою детку. Хоть бы ты была «расстрашная», — как ты не поймешь! — я еще бездонней был бы т в о и м! Твои страданья меня как бы прирастили к тебе... поняла?! При-жи-вили. Не оторвать ни-какой силе! Ты мне — в с е. В с е! — пойми же. Бесценная, благо, сила, красота сердца, душа моя светлая! Весь перелился в тебя, все сердце отдал тебе. Чту, молюсь. Радость нежданная! Ты — здорова! И посмотри — какая радость будет в тебе светиться день ото дня! Ты — здорова! Благодарю Господа. Мое сердце з н а л о это. И — знает. Олюша, девочка, детка... — живи, как птичка, не думай, не уставай. Спи, ешь, — не смей тревожиться, ни-чем. Твой, только, весь Ваня

[На полях:] Я зацеловал твой цветочек-поцелуйку.

Я твой, в е ч н ы й... Оля, я же не мальчик — и ты знаешь это, и — о, не забывай!

Целую глаза, губки, всю, мою, О-лю-у!

135

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.IV.42

Милый Ванюша! Отчего ты не пишешь?!

Не понимаю, что с тобой, мучаюсь догадками, сержусь на тебя, потом опять страдаю, боясь не болен ли. Мне никак не понятно, отчего у тебя этот припадок тоски. Это письмо 7-го![289] И с тех пор у меня ничего нет от тебя! Невероятным кажется мне, что ты не написал мне ничего на Светлой Седмице. Ну хоть бы сказал как был за утреней, подумал ли обо мне? Ты всякий раз мне (даже в 1940 г.) писал что «мысленно христосовался». И особенно теперь, зная, что я-то в плену у болезни... Я не могу найти объяснений... Или ты увлечен? Чем? Кем?? Твои последние 2 письма — оба слишком «на-скорую руку», торопны... Пусть там много милых слов, но сердца твоего я не слышу в них... За что-то ты меня казнишь, (если не увлекся кем-то). Мне все чаще и чаще приходится мучиться мыслями, что «любовь» твоя ко мне — не мне... Я не могу от этого отделаться. Я чувствую в тебе с зимы какую-то отчужденность. Не обманывай меня, что я ошибаюсь! что-то есть!!

Есть что-то, что стоит (м. б. и кто-то) между тобой и мной. У тебя!! Прости мне вчерашнее мое письмо тебе. Оно вышло из страдания от неизвестности. Мне кажется, что тебе обузой кажется частое писание писем. Тогда не пиши! Я ценю только то, что по доброй воле. Я ценю свободу мужчины, а не рабство, и потому никогда не посягала на всякую его свободу. Я даже «Елену» тебе не запрещала, только просила мне об этом не писать.

[На полях:] Хотела спросить Серова о тебе, но при мысли, что ты разлюбил, — не могу по самолюбию. Пока не получу, — писать не буду.

Мне — кажется, что я тебе наскучила...

Мама каждый день получает почту сама. От тебя нет писем!

Целую. Оля

136

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.IV.42

Дорогая сновидица Олюша, кто видит твой рисунок[290] — восхищены. Доктор пришел в раж. Очень тебя жалеет, уверяет, что ты будешь здорова. Очень одобрил «селюкрин»! Гемоглобин, привлекая кислород, вызывает аппетит и улучшает

питание, через кровь, сосудистых клеточек. Никак не способствует кровоизлиянию. На мою просьбу вдуматься и дать совет — отвечал: приемы в каплях слабого раствора хлористого кальция, 20—30 капель, 2 р. в день, ну — двухпроцентного раствора? И еще — принимать желатин — не фальсификацию его! — в форме разных желе. Есть же в рыбьей-то стране желатин! И вот почему. Хлористый кальций, как желатин, повышают вязкость крови и тем способствуют уменьшению возможных случаев кровотечения. — Твой последний цветок-мотылек храню, привесил под лампадку, рядом с валаамской сосновой шишечкой. Жду проекта обложки в красках. Я пленен твоим вкусом, твоим даром, всем в тебе. Слова «он нашего Роду» — сказаны были Ею про преп. Серафима, не преп. Сергия. Молюсь за тебя. Спокоен. Верю. Узнаешь радость здоровья. Спи больше. Избегай волнений, управляй собой. Ей молись! Как ты описала сон! Оля, ты должна, поправившись, закончить школу живописи. И не бросать литературную работу: ты — истинная! Не удручай же меня, трусиха! Изволь мне дать «Говение»! Милый «калачик», киса... прошу! Целую, роднушка. Твой Ваня

Ландыши чудесны.

137

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.IV.42

Ванюшечка мой чудесный, солнышко мое, голубчик!

Такая нежность у меня к тебе... и так хочется мне тебя приголубить... Вот между делом (я встала сегодня вплотную, смотрю за работой моей «трамбовки»[291], бьющей все и ломающей) не могу утерпеть, не могу молчать. Взяла сегодня перо и пишу тебе! Как мне кажется, что будто скоро тебя увижу! Отчего это?! И когда котишка моет лапкой рыльце, — думаю: «Ваню намывает!» Как оживает все, зеленеет, как все, все — т в о е! Все, что ж и з н ь, — все это твое! Ты — вся жизнь сама! Ваня, ты долго-долго будешь жить, ты — жизнь! Милое солнце — мой Ваня! Радость моя! Мне грустно, как подумаю, что мои «злые» письма (они не были злые, если даже на такие и похожи) тебя замутят! Ваня, мы до того созвучны, — это правда! Я чую твою тоску, а ты мою! Ох, Господи, помоги же не поддаваться ей, помоги мне беречь Ванечку! Но это «сумасшествие» мое от любви к тебе! Ванюша, каштан напротив — весь изумрудный, горит на солнце. Мне рисовать хочется... Но я так бессильна, бессильна из-за неумения. О здоровье не волнуйся. Я много лучше стала! Вчера мигрень была и то ходила.

Немножко розовею. Кончила лекарство, которое дал доктор (вытяжка из печени + vitaminen[i]) и со вчера беру твой селюкрин. Радостно принимаю, как твою волю.

Хочу, чтобы ты помог мне стать здоровой!

Сегодня был страшный сон. Тоскливо было, — боялась не заболела ли опять, безумно боялась... посмотреть. Ребячески. Но... ничего. Когда утром не бывает крови, то я смелее: обычно всегда это утром начинается, всякий раз... Видела во сне, что я в большой белой комнате, — будто палата больничная, какой-то народ. Я знаю, что я тут первое лицо, ну вроде как было в лаборатории раньше, и по какому-то случаю должны меня чествовать (юбилей или я ухожу), и вот я знаю, что должно молиться и соображаю, что «секретарь» прочтет молитву. А кто — «секретарь» — не знаю. И вдруг какой-то тип обращается ко мне и говорит: «нет, Вы прочтете "Отче"». И я становлюсь впереди и думаю: «Отче, — иже еси на небеси». И тут же читаю особо ударя на «н а ш», «Отче н а ш». Читаю с невероятным подъемом. В душе же горит: прочту так, как ученики Христовы должны были впервые, за Ним, читать. Каждое прошение четко, будто огнем выжжено в сердце. Я все горела, вся была не здесь! — Кончила словами священника: «Яко Твое есть Царство...» И кончив, обернулась, к людям. И тот же тип, что заставлял меня молиться, — подает мне сверток, трубочкой, разворачивает и вынимает оттуда цветы... георгины, лютики... осенние цветы. Довольно помятые. И читает «адрес». Но я не слышу. Мне чего-то щемит сердце, и я проснулась. М. б. заболею? М. б. молиться больше надо! А перед тем снилась чужая квартира и одна комната с обоями в иконах. Сплошь иконы отпечатаны на обоях. И венчики горят-горят. И будто я знаю, что это образ «Хрисанфа и Дарии», а вглядишься — и не видно!.. Ну, это уж твои «Пути Небесные»! Ванечка, ты в них? Родной мой, — дай Бог тебе труд легкий!

Ванюша, не хвали меня! Я гадкая и бездарная. Не думай, что я из «ломания» это говорю. Чтобы ты не думал, я даже одну свою бездарь тебе посылаю. Убедишься сам. Я ничего не могу. Но я все-таки буду стараться. Для тебя! Если ты мне велишь, то буду! Только потому и попробовала свою физиономию изобразить. Но это же мой — позор.

Ни умения, ни души, ни техники. Правда, моя стихия — краски. Не любила ни карандаша, ни угля. Я иногда прямо, без рисунка, «по-наитию» кистью только в 5 минут могла. Смелее кистью я. А карандаш меня «увлекает» к «подробностям», требует «отчета». А я не могу! Карандаш — грамматика в рисун-

---

[i] Витамины *(нем.)*.

ке... Без грамматики нельзя, конечно, но, ох, как сухо! Я языки учу тоже без грамматики, грамматику уж после, когда говорить научусь.

Я немецкий язык учила-учила, — ничего не понимала. А потом, как перестала возиться с грамматикой, так в 1/2 года с разговора выучила. Я им очень хорошо владею. Но Гете, Шиллера, Лессинга, Клопштока, Грильпарцера, Клейста, я читала со словарем. Особенно Гете! А потом перечла, и так легко! Для разбора «Фауста» я брала уроки... А ты знаешь, что голландский язык я выучила не учась. Просто так. Много читала. Мы дома не говорили по-голландски, очень редко, но тем не менее я совершенно свободно говорю и думаю (если в голландском обществе) — по-голландски. Я даже иной раз (не смейся) поправляю А. в его «германизмах». Иной раз он оговорится, «переводя» с немецкого. Некрасивый язык голландский! А французский я забыла! Я быстро усваиваю и еще быстрее забываю! Но я люблю французский язык! Английский 3 раза начинала и не могу! Отвратительный! Для Г. учила, хотела, очень. Не могла! Не решалась заговорить! Так и бросила. А французский очень хочу обновить! Когда-то я хорошо, бегло говорила, после института. Все забыла! Потому что годами болтала по-немецки. Немецкий для меня как русский. И там, в Германии, никто не думал, что я иностранка, принимали за «Ost-Preussen»[1]. Мне все хочется учить! Я когда-то мечтала стать адвокатом и принялась было за «право». Потом увлекалась психологией, очень увлекалась медициной. Влюбилась в одного студента-медика просто с вида, со-слуха. Читал что-то вроде семинара в университете в Казани. А я туда ходила, т. к. вход был разрешен всем. Я все их лекции посещала, какие были для всех (не из-за «него», а наоборот: «он»-то из любви к медицине!). Никогда не увлекалась учительством. Хотя готовилась на учительницу немецкого языка.

Но это больше из практического применения знаний. Ах, чего я расписалась о себе! Ванёчек мой! Приедешь? Постарайся же! Как мне в церковь хочется! Какой ты счастливый, что можешь быть в храме! Когда твой литературный вечер? Напиши точно! О, как хочу быть там! Какие счастливые люди, которые могут! Ваня, пойди в немецкую комендатуру и спроси все, что тебе нужно для поездки! Скажут! И часто дают совет. Сережиного «шефа» не уловишь — постоянно в Париже. С. их сам не видит больше — все сам ведет. Мне ничего ты не посылай! У меня все, все есть! Духи... их так у меня много! Когда ты приедешь, то все открою, все для тебя, с тобой попробую! А до тебя берегу!

---

[1] «Уроженка Восточной Пруссии» *(нем.)*.

4 ч. дня Ванечка, все, все о тебе! Здоров ты? Скучаешь? Не томись, дружок! Как твои «Пути»? Ванёк, если бы нам Божий мир вместе увидеть? Палестину! И если бы... родную Землю! Ах, Ванечка, я так нестоюща, мелка, — а ты меня возносишь! Поверь мне, — я знаю себя! Ванёчек, никого я особенно не очаровываю! Про клинику напишу тебе, — старшая сестра меня ненавидит верно! Я — «скандалисткой» могу быть! Знаешь как было? Когда 26-го марта, после исследования ничего опять не нашли, то ассистент Капеллена (последний уехал) придя ко мне сказал: «мы должны сделать еще одно исследование крови на витамины, а Вы обещайте, что ничего до этого не будете ни есть, ни пить, — это очень важно. Мы хотим наконец найти причину». 27-го никто, однако, не был за кровью. 28-го тоже. 29-го — воскресенье — является опять ассистент и говорит, что завтра будут брать кровь, т. е. 30-го, и снова просит ни есть, ни пить. Я вечером 29-го в 5 ч. в последний раз чай получила и ждала на другой день, как манны небесной исследования, чтобы наконец что-нибудь знать. В 10 ч. утра никто не пришел (обычный час для лаборатории), в 11 ч. тоже, в 12 ч. я спрашиваю придут ли уж? — «Конечно!!!!» (отвечала старшая сестра). Около 1 ч. я (будучи уверена для себя, что меня забыли) опять спрашиваю. Опять самоуверенное: «ах придут, не волнуйтесь!» В 1 ч., в 2 ч. — никого. Наконец я говорю моей милой сестре: «позвоните в лабораторию, — они верно забыли, а я пить хочу!» И вот тут-то и выяснилось, что старшая сестра перепутала все: она должна была известить доктора в лаборатории о желании Капеллы, а она думала, что сам ассистент придет. Моя-то сестричка знала, но не смела ей противоречить, но потом-то все-таки осторожно сказала, что та ошибается; а вначале та просто заявляла: «все в порядке!» И вот в 2 ч. мне несут обед!! Я справляюсь: «что же сегодня не придут?» — «Придут, но Вы можете кушать!» Я отказываюсь. И вот летит вся в красных пятнах старшая сестра: «что тут за самовластие? Вы можете есть!» Я очень спокойно ей возражаю, что если сегодня придут, то лучше потерплю, т. к. я обещала доктору — «Совсем этого не надо, (мне было нельзя долго так без еды и питья — для почки — яд долго без питья, у меня же еще кровоизлияние было! потому и бесилась, что сама напутала) и доктор *знает!*» — «Для меня авторитет здесь только д-ра ф. Капеллен и его заместителя» — говорю. Та взбесилась. «Это самовластие». — «Нет, говорю, но я хочу точного исследования, мне надоело ничего о себе не знать и мучиться 2 года». — «Ах, доктор может высчитать сколько витаминов Вы съедите в обеде». Это абсурд, т. к. нельзя высчитать. Кишечник по-разному воспринимает, в зависимости от его состояния. Мы, желая точно

узнать то или иное содержание крови при искусственном «обременении», давали искомое не через рот, а в мускулы, не надеясь на кишечник. Я работала до предельности точно. Ненавижу «кое-каканья» в работе. Сама себя отдавала для других, а тут так «валяют». Ну она на меня накинулась, что я ничего не понимаю, а спорю. Тут я сказала: «я сама 10 лет почти работала и знаю, что значит точно работать и именно работала для проф. Rost'a[292] о значении "натощак". Прочтите его работу и увидите». Вылетела пулей и сказала, что «глупо так упрямиться». В 4 ч. пришел доктор. Все пациентки и из соседних комнат мне аплодировали, что не дала себя одурачить. А перед тем, часа в 3 приходила старшая сестра в комнату за чем-то и «мило» улыбаясь мне прошипела: «M-me состязается с Ганди?![293]» Остроумно, но не уместно пилить больного. У меня буквально язык присох от жажды. Но, подумай, если бы я в 2 ч. поела, а в 4 ч. взяли бы кровь!.. Какая досада! Не думаю, чтобы она меня любила!

[На полях:] Ну, мой милый, родной Ванюша, кончаю, но так хочется еще и еще говорить с тобой! Посылаю тебе свое «малеванье». Не суди очень строго. И не слишком тяжело разочаровывайся в моих «талантах». Ибо я сама-то давно примирилась. Я же бросила не зря рисованье! Целую. Оля

Напиши как проводил Пасху!

Хочу верить, что дойдет этот «портрет»[294]. Только ради тебя его сделала!

138

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус — Субботиной

30.IV.42 6 вечера

Олюшечка, милая, ты все еще не получила моего заказного письма 14 апр.?! Твоя открытка, 22-го апр., в отчаяние привела меня. Что, что ты еще навыдумала?! Не слышишь моего сердца?! Господи, что ты говоришь... «мне кажется, что я тебе наскучила!!!» Нет, ты просто и-щешь, чем бы еще тревожиться. Ты вся метешься, метельная... мало тебе страданий?! Но я в отчаянии, ты опять ни словом о твоем здоровье, — ну, зачем так томишь! Ты в с я — тревога, вся во власти твоего болезненного воображения, и я понимаю это, — сам такой же, почти такой же. Милая, голубка... Олюночка... поверь же твоему Ване: ты, только ты у меня в сердце, и нет минуты в днях, когда бы не думал, не тосковал по тебе. Нет, я никем не увлекался, и н е м о г у. Что же это — за пошляка меня считаешь! Чушь какая! И не в мою пору «увлекаться». Поверь, — не крыловский же

я петух[295], нашедший жемчужное зерно! Милая моя жемчужина, поверь. Вчитайся же в мои письма! И что ты, откуда вывела, что я «с зимы» т а к о й, что ты чувствуешь какую-то «отчужденность» во мне?! Ты все окрашиваешь мрачным тоном дурного самочувствия, — следствие твоей болезни. Голубка моя, я до боли... понимаешь, до острой боли тебя люблю! — этого передать нельзя. Нет, писание писем не кажется мне обузой, но бывают полосы дней, когда — в отчаянии — чувствуешь себя опустошенным: тогда и в письмах не находишь облегчения, исхода. Пасхальная неделя такая выдалась. Я болел твоими терзаниями, места не находил, не знал, где ты, как ты... и ждал, ждал... в оторопи, как бы в анабиозе. И не мог быть на людях. Только раза два откликнулся на зовы — поехать позавтракать, и тоска шла со мной неотвязно. Бывали минуты отчаяния, когда я думал, что тебя уже нет на свете! — Ольгуночка, разве я не писал, как с тобой христосовался? Заутреня Светлая была при дневном свете, и все было как-то — для меня! — не с в е т л о. И воспоминания детства, когда все было так необычайно... и о мальчике вспомнилось... и об Оле... — и я з н а л, что не найду сил поехать в Сен-Женевьев послезавтра. Бывало, я на первый день ездил. А тут, после ночной тревоги под 2-й день, перебило сон, проспал. И это мне было неприятно. И вот, похолодало, были дожди, и я оттянул поездку до Радуницы. Помни же, беспокойка, бесценная моя девочка, что никто, никто не стоит между нами! — этого быть н е м о ж е т. Знаешь, не обижай меня. Как же ты меня мало знаешь!! Ты для меня — священна, совершенна. И если бы это было возможно теперь, — еще сильнее любить тебя! — да, я сильней бы тебя любил. Но я так люблю, что больше нельзя любить. Мне жутко читать твои слова о «свободе мужчины»... — я этого <u>не понимаю</u>. Для меня свобода — верность чувству, хранение его, бережение... благоговение перед той, кто стала в с е м. И твое про «Елену» — «не запрещала» — меня жалит. Никого у меня после усопшей не было для «свободы», и н е будет, не может быть. Поняла? Я писал тебе в апреле: 3, 4, 7, 14, 16, 17, 20 два, 23, 24, 29[296]. Когда я в оторопи, когда жду «важного», — а в данном случае о тебе, как ты, лучше ли... — я не могу быть самим собой, я как бы в оцепенении, и не могу ни думать, не писать, ни... на людях быть. Это болезненная черта, знаю. Все ночи я спал с перебоями, вставал разбитый, противен самому себе был. Я замирал... и потому не находил воли тебе писать. Признай же за мной эту неприглядную правду, — я сам томлюсь ею. Олюшка, дайся мне, я тебя, кажется, зацеловал бы всю, всю... бедная моя мученица, выдумщица... — и так мне понятно это твое. Но это же мешает выздороветь! Ну, что мне делать с тобой? Ужас и великая радость — иметь такое

огненное воображение. Я тоже его имею. Да, да. Такое же. Но я старше тебя намного, и держу себя. Оля со мной мучилась. Я почти на все смотрел вывернутыми глазами, как бы — желая? — ожидая всегда «самого худшего»! Вот и ты, глупенькая моя... И это тебе болезненное удовлетворение — найти колющее, жалящее — и в моем, таком к тебе светлом, таком неизмеримом чувстве любви! Я бы много написал тебе, что во мне бьется жарко (к тебе!)... но я не могу в письме... и это только мешало бы тебе окрепнуть. Как сильно я люблю, как я воображаю... как я ласкаю тебя, Олёк. Это — безумие было бы — писать... это можно только шептать, даже глаз боясь... Но это — близко страсти... а я еще и по-иному чувствую тебя... о, как же свято! как чисто, вдохновенно! — тут даже и коснуться тебя мне страшно было бы. Не пойму, почему мое от 14-го, заказное! — ты и 22 не получила! У Светлой Утрени я с тобой был... и с тобой первой поликовался в сердце... и шептал — звал... — где ты, Олюша... дома ли, в больнице ли... — но ты во мне, со мной, твоя душа, твой духовный образ... — со мной. Пришел домой, в одинокую мою квартиру. Один. Это была полоса «налетов»[297], и все — по домам. Заутреня началась в 8 вечера — по солнцу — в 6! — кончилась — около 9. В девять — я был дома. Досидел до часу. Читал Евангелие, смотрел на тебя, перецеловал «пасхалики» твои нежные, всю комнату наполнившие гиацинты... и твоего «мотылечка» сколько целовал, последнего. Теперь он висит, усыхающий, под лампадкой, рядом с шишечкой валаамской, — писал тебе. Мечтал: если бы ты была со мной! Я всю тебя опрыскал бы ландышем, сиренью, фиалкой... — и пил бы твое дыхание. Да, пытка это — так чувствовать — и не видеть даже! Не упрекай меня, что будто «мысленно даже не похристосовался». Неправда это. Оля, я очень истомился. С января — да и раньше! — все терзанья, — правда, я виноват... открытка та! — но я же тогда еще послал вдогон — «не придавай значения!» И потом твои «метанья», попытка «определить себя», твоя болезнь... и как же тебя истерзали в клинике! И вот — итог всего — итог логический! — эти твои укоризны... но не смотри вывернутыми глазами, — мне верь! Самым священным заверяю тебя, моим дорогим, утраченным... — смею ли здесь покривить душой?! — заверяю: ты все для меня, пой-ми! ты — священна для меня. Наконец, я устал уверять! Зачем делаешь мне больно?! И каждая слезинка твоя горькая, — мне страдание, каждое тревожное движение сердца твоего — боль мне.

Пиши мне ласково, нежно... — это облегчение моего постылого одиночества, моих глубоких скорбей... верь мне, как самой себе. Что ты насочиняла! «“Любовь” — в кавычки! — твоя

ко мне — н е мне». Нет, ты должна отделаться от этой дикой мысли. Оля, всем этим недоверием — ты р а н и ш ь мое большое чувство, к тебе! Зачем испытываешь меня?! Я опускаю руки, теряюсь. Вчера опять была тревога после 10—15 дней покоя. И мне перебило сон. Я лежал и слышал, как поют моторы, как грохает «защита». И — о тебе думал, — слава Богу, покойно в глухой деревне... «Господи, укрепи Олюночку мою... огради ее, даруй мне ее... хоть бы увидеть только!»

А припадки тоски часто у меня... и это отзывается на «спящей язве». Иногда я ее слышу, и принимаю белладонну. Эти дни были ночью боли. Теперь трудно соблюдать диету, многого нет, а я привык к молоку... теперь же — только пол- или четверть литра! Бывало, я выпивал полтора. Хорошо еще — достаю сухари белые, а хлеб не по мне, должно быть, добавляют ячмень французские пекари, — не переношу. И нет «су нитрат-дэбисмют»[1]. И Серов не может добыть, хоть и в госпитале французском работает — кажется, единственный из русских врачей, без парижского диплома допущенный, «приглашенный» даже в госпиталь Ляонек, с жалованием в... 500 фр. в месяц! Смех? Это составит... 20 гульденов. Скоро ли ты напишешь, что тебе лучше? Прошу, молю. Не будь жестокой, Оля. Твои два последних письма — закрытое — 21[298] и открытое — 22 — больно было читать. И — до-садно! Ты все-таки, несмотря на мое разъяснение, не хочешь понять оброненное Серовым словечко «увлекающийся». Это значит — ж и в о й, душа все еще в порывах, немертва, молода. Сегодня муж Юли принес мне рыбы и шоколадный порошок — вроде какао. Но сегодня же я получил и полфунта — 240 г — хорошей баранины, сварил суп-лапшу, сыт вполне. Скоро, м. б. лучше будет. Вот, выдали полфунта варенья, фунт цветной капусты — которую я не ем, — нельзя! — фасоли зеленой — тоже не годится. Мечтаю вернуться домой, но без тебя — не поеду. Я должен перевезти и прах Оли, похоронить на родине. Если бы мы очутились в нашем домике, под Алуштой! Я его мало дал в «Солнце Мертвых», — больно очень. Ах, как черные дрозды поют по весне там! «Вон он сидит на пустыре, на старой груше, на маковке, — как уголек! На светлом небе он четко виден. Даже как нос его сияет в заходящем солнце, как у него играет горлышко. Он любит петь один...»[299] О, милая... ты положила бы головку мне на плечо... я сердце твое услышал бы... и слезы, слезы... в моих глазах... последнего счастья, обретенного, слезы... в лобик тебя поцеловал бы... — и увидал бы слезы в твоих глазах. Поверила бы мне тогда? Теперь поверь. И не томи себя: Ваня — всецело твой, только тебя

---

[1] «Нитрат висмута» *(от фр. nitrate de bismuth).*

и любит, крепко, достойно, нежно, чисто. Живи, оживотворяй себя верой, что наши чувства друг к другу не мимолетны, *не*-случайны: надо было, чтобы ты н а ш л а себя, чтобы я нашел в тебе последнюю радость жизни, и силу — достойно завершить свою творческую дорогу. Милая моя птичка, утишь сердечко, и не укоряй меня: вот моя совесть, перед тобой.

То, что ты написала — показывает мне, как мало ты считаешься с моим чувством, как ты не доверяешь мне. Кто же я потвоему? Лгун, пошляк?.. Не причиняй мне боли, — с меня довольно ее. Целую. Твой Ваня

[На полях:] Пришли же «Куликово поле» — в красках. И — автопортрет.

Напиши — сколько прошу! — о здоровье! И — Оля! — будь же тихой, нежной. Не томи.

139

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

1 мая 1942 г.[i]

Бесценный мой Ванюша, любимый, нежный!

До чего я вся к тебе тянусь душой... Чувствуешь ли ты это? Вчера у меня прямо замирало сердце при думе о тебе, — целый-то день! К вечеру взяла тоска. Что с тобой, василечек мой? Ночь всю ты и о тебе (тебя самого не видала) снилось. В тревоге я вся... Что такое? Господи, м. б. мое дурацкое письмо пришло? Кажется, я его 20-го или 22-го послала? Ты расстроился? Разволновался? Ваня, милый, выругай меня! Я, гадкая, о себе только думаю. Но это «о себе» из любви к тебе! В е р ь же!

Умоляю тебя: прости меня! Мне кажется теперь, что ты меня никогда не простишь! Ванёчек, я на коленях перед тобой! Я молюсь на тебя! Я так люблю тебя! Светлый мой! Прости, прости, солнышко мое! Какая я скверная! За что я тебя расстроила. Ну, потерпела бы уж! Пождала бы писем! А я тогда навоображала. Я же Бог знает что в и д е л а. Но как (!) видела! Хоть пиши! Я и хотела уж, т. е. в голове так проносилось!

Прости мое безумие, мой чудный! Ваня, Ванюша мой, прости!! Будь покоен опять, радостен, уверен во всем хорошем! Да, мама умеет спокойствие вселять. А я вот не умею, нет! Я совсем другая! Твое письмо маме чудесно![300] Она мне его дала прочесть. Дивный ты!! Ваня мой милый, роднушенька, душенька ясная моя! Ваня, я м. б. одержимая, но слушай: я все это вре-

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: Чудесное, полное ласки. Олюша выздоровела.

мя, несколько недель как-то «осязательно» чувствую.., что м. б. твой Сережа жив. Я не знаю отчего это. Но иногда я просыпаюсь с еще не осознанной радостью, умом не осознанной... сердце сладко жмется... думаю: «что бы такое?», хочу вспомнить, просыпаюсь окончательно и знаю уже, ясно знаю, что это от надежды, что Сережа жив. Я говорю «надежда» — осторожно, но в душе у меня (абсурдно?) прямо будто знание, вера... Прости меня, Ваня, что так об таком святом тебе пишу. Но я до того себя как-то странно чувствую, так сжилась с этим, что не могу не поделиться с тобой. Ну, считай это моей истеричностью... Не знаю. Но неотрывно о твоем Сереже думаю...

Не может этого быть? Ты уверен, что его нет? Господи, как же это ужасно, — вот его однополчанин жив, а его нет!.. М. б. я потому о С. так думаю, что его Дух с нами? Прости, если я тебя растрогала, расшевелила рану. Как я люблю всех вас. Тебя и твоих дорогих! Сегодня мучилась в снах... Сперва мне снилось, что ты непременно хочешь, чтобы я надела какое-то платье. Но все путается: это ты, по чувству моему к тебе, по всему з н а н и ю, но говоришь ты так, как муж сестры Арнольда, русский[301].

Его жена развелась (или он с ней, не знаю) с ним, — и вот будто ты говоришь, чтобы я надела платье «первой жены». И я знаю, что это она, В. М.[302], — не Ольга Александровна твоя. И думаю, что все это так странно. И дама эта очень полная (я ее знаю), и как же платье я смогу надеть. Но я уступаю просьбам и надеваю. Оно все из серебра (плохо?) и точно влитое, как раз по мне, будто на меня. И очень декольтировано. Я боюсь посмотреть в зеркало, — такая худышка, а с декольте... но вижу, что я совсем не худышка и очень красиво это платье. Но я думаю: «мне не идет серебро, — я бы хотела лучше золотой брокат[i]. Мне желтый цвет очень к лицу. И я все время тебя чувствую, за спиной, но не вижу. И ты будто тоже большой и полный, как муж Елизаветы. И я хочу тебя увидеть, но не могу и мучаюсь этим очень. И потом все в обществе, в этом серебре... А туфли... вижу худые... И так мне неловко... И я в роскошном ресторане, масса красивых женщин. Я стесняюсь за туфли. И все какой-то около меня юноша, мальчик. Был такой однажды случай — влюбился в меня один мальчик, — похож на него. И я так боюсь, что заговорит о любви. И хочу ему помешать, не говорил чтобы, чтобы понял, что я не хочу! И все уйти, уйти хочу, а он все просит посидеть и вина выпить. Я вижу большой стол и за ним все священники наши, какие-то славяне. Я к ним сажусь, чтобы мальчик отстал. Но он тут же. И мне это мучительно. Свя-

---

[i] Парча *(от нем. Brokat)*.

щенники из Праги... Потом я на улице, жду почтальона. Получаю твои 3 письма. 2 открытки и закрытое. Долго думаю как мне надо расписаться на чужом каком-то языке, целую фразу. Читаю твои письма и не могу ничего понять. И вдруг вижу, что все это рисунки. Девочки и цветы, цветы... И я ничего не понимаю. И вот улавливаю буквы: «Оля, я думаю, что тебя утрачу, это не может быть иначе...» Это так ужасно. И я ничего дальше не могу понять. И все эти писания написаны на крышке конфетной коробки, а не на бумаге. Я, мучаясь, просыпаюсь. И все о тебе думаю. Здоров ли ты? М. б. я опять заболею. Боялась почти, — думала какое грустное твое письмо. Но ничего не было. И еще тоскливей. У меня нет минуты, чтобы я о тебе не думала. Ты, Ваня, знай, что, *что* бы я ни писала, я всегда твоя — «Оля». Коли злюсь за твое молчание, надумываю страхов, то это только из любви же! Ванечка мой милый, дорогой!.. Так много думаю о тебе! Ах, я ничего не «надумываю», когда боюсь за переписку нашу. Я просто вспоминаю то время, когда мы месяцы ничего не могли узнать друг о друге. И вот чего-то мне представилось, что вдруг да, опять так...

Я м. б. от болезни своей, так стала пуглива.

Ванёк мой, радость моя, — мне лучше. Определенно, я выздоравливаю. Я глотаю твой селлюкрин и мне кажется, что это он именно дает мне силы. Я постоянно хочу есть. И ем.

У меня уже слегка румянец. И под глазами не так черно. Я радуюсь здоровью! Это ты, ты мне даешь силы, нежный ангел! Я принимаю селлюкрин и говорю себе: это Ванечка хочет, чтобы я была здорова! Я уже готовлю «исподволь» обед. Я кое-что могу уже делать. О, не бойся, я не устаю. Я до позора лентяйка. Встаю только в 1/2 9-го! Мама уж чай устроит. Я на готовенькое встаю. Ванёчек, разумник, умник, все ты знаешь: даже рецепт твой кормления ягняток пригодился — мама остальных всех выкормила, так, как ты писал. О желатине для меня, очевидно, тоже верно, т. к. мне и в детстве тогда, когда истекала горлом кровью, давали лед и желатин. Я тебе писала об этом когда-нибудь? Я чуть не умерла тогда... Лет 6-ти. И в 1940 г. я сама еще до доктора просила желатина развести прямо в кипяток и пила, чувствуя инстинктом, что надо. Не знаю смогу ли достать желатину, у меня пока у себя есть. Я много пью разных соков. Кончу когда селюкрин, начну снова «Tonicum», а потом еще есть у меня одно средство <u>очень</u> хорошее еще из Берлина. Я на себе испытала их действие (конфетки)[1]. Если Бог даст! Я теперь боюсь что-нибудь загадывать. О луковицах гиацинтов я могу тебе только то сказать, что мы делаем с нашими садо-

---

[1] В оригинале: компфетки.

выми: когда отцветут, то цвет все оборвать, еще до их засыхания (но это на свободе, когда они оплодотворяются) и мало поливать, пока поблекнут листья. Около июня (конца) луковицы вырывают из земли и сохраняют до следующего года в сухом месте. Мы храним их на чердаке. Цикламен я обычно так и оставляла в горшке и он цвел на другой год. А не знаю правильно ли это. Твои ландышки я высадила в сад, но не знаю, что выйдет. Так холодно, а держать их в корзиночке уже нельзя было. Корешкам пора было уж высадиться. Погода катастрофальна[i] для сельского хозяйства: холодный суховей! Ничто не растет. Скоту взять нечего. Наши коровы все еще не согнаны, а доедают пока что остатки сена и законсервированной травы. У других же, у кого запасы кончились, — коченеют на пустых полях. Ужас, если так пойдет и дальше!

Продолжаю в 10 ч. вечера... Пошел дождичек. Чуть-чуть, но м. б. разойдется. Не разошелся, 2-го мая, сегодня — солнце![ii] Мама массу работает в огороде. Увлекается, любит это. Мы с ней много занимаемся(лись) и садом. А твои ландышки растут? Как мило это все у тебя! Ванёк, прочитала написанное, и стало мне как-то не по себе: не надо мне было писать так о своих «подчувствах»? Прости мне! Мне так все, все хочется тебе рассказать! А я твоих люблю тоже очень. Я молюсь всегда о них.

Ванюрочка, м. б. я слишком много живу в снах и предчувствиях. Тот сон с Пречистой я не приняла за знак иноческого чина. Я даже не подумала о таком значении. Мне думалось другое: м. б. обратное, чем для той сухой смоковницы?!

Но я ничего уверенно не думала. Я не знаю значения слова «Елизавета». Ванёк, мой, мне очень хочется для тебя и писать и рисовать. Но я, не ломаясь, скажу тебе честно, что у меня ни разу не было чувства, что у меня что-то выйдет. И потому я живопись бросила, а писать не соберусь. Ты понимаешь? Я тебе признаюсь: я уже начинала писать, еще до тебя. И бросила. Мне тоскливо было читать свою бездарь. Я, право, *не* ломаюсь, а говорю то, что есть. Но я теперь, в радость тебе буду пробовать. А ты — ты суди! Ты все должен знать во мне без прикрас! Сегодня мама читала-перечитывала «Няню», — мы опять и опять в восторге. И я слушала и думала: «ну разве можно хоть похоже на это создать?!» Я себя чувствую такой мизерной по сравнению с тобой! Тебе бы служить хотела!.. Ах, Ванёк, сегодня так красиво было: на фоне тучи, свинцово-синей чуть-чуть распускающиеся сливы и ярко-зеленая трава под ними вся в солнце

---

[i] Катастрофическая *(от нем. katastrophal).*

[ii] Предложение приписано позже.

с противной стороны от тучи. Хотелось «схватить». Но вижу: в хозяйстве будет мало времени. Поправлюсь, и надо стать хозяйкой... «Марфой»! Хуже Марфы! Мешает, тычется кошечка. Она собирается стать мамашей. И нрав ее даже изменился. Вся ластится, ищет ласки. Она удивительная. Мы с мамой любим ее, как дочку, — она, ночью, когда хочет впрыгнуть на кровать, то сначала курлыкнет-спросит, нежно-нежно, и если ей мама ответит: «ну иди, киса», — то и вскочит. Не терпит конкуренции и, если котишка на ее месте, то и уйдет, ревнует. Впрочем теперь она его вообще избегает и даже лапкой ударит, если тот вздумает «ухаживать». А так очень нежны, — по утрам целуются форменно, как люди, трутся мордочками и обнимаются лапками, только не смей котишка «ухаживать», тогда она озлится! Умора! У кролих обеих маленькие. Обычно нельзя рассказывать, но тебе-то можно. Позавчера у мамаши, а вчера у дочки. Лежат груды пуха и ничего не видно. Господи, до чего же все мудро!

Ваня, я читала Сургучева...[303] ты его ценишь? Или нет? Мне он очень не нравится. Все ищет себя-то выказать. А и нечем! И кому интересны его расписывания... Ты маме сделал приписку о Вал. Гор.[304] Ты не читал его? Но разве ты не читаешь то, что он пишет? Ответь! Он так мерзко иногда проявляется! Жаль его, если он несчастен, но все же... Получил ли ты мою цветную обложку для «Куликова поля»?[305] И не очень ли разочарован? И «портрет»?

Получил ли также и письмо мое, где я писала об оптимуме моего профессора?[306] Мне интересно. Почему ты перестал писать на Сережу? Ему же не трудно! С. тебя очень любит! Опиши мне как ты провел Пасху. И как твой друг Серов! Благодарю его за советы мне. Он очень мил! Привет ему! Рада была бы с ним лично познакомится. Вообще со всеми и всем, кто тебя любит. Ванюша, получил ли ты мое письмо из клиники, с пасхальным яичком, нарисованным губным карандашом? И еще одно письмо с разными цветиками. Или они выпали? Я тебе много из клиники писала, давала сестрам (иногда и чужим, т. к. моя бывала свободна). Дошли ли? Посылаю тебе сегодня наш такой знакомый герань, лапкой, — знаешь? Он у меня цветет буйно. Я за все время эмиграции нигде такого, нашего, не видала, а этот в Wickenburgh'е нашла и отсадила, «уворовала». Чудно пахнет! Ванюша, я вся ухожу, растворяюсь как-бы в этом чудесном весеннем... И каждой тучкой, каждой веточкой, каждым цветочком приникаю к тебе, обнимаю... слышишь ли? Ванечка, я поправляюсь!! Оля

[На полях:] 2.V.42 Я вся полна тобой. Невыразимо, несказанно. Какое счастье знать, что ты есть там, хоть и вдалеке, — и что ты любишь меня! Ваня, мы должны же увидеться! Я впер-

вые ощущаю радость жизни, и впервые начинаю не бояться (кажется так) смерти, ибо т а м — мы неразлучны будем!

Душа моя! Будь радостен! Твори, Ваня! «Пути» ждут тебя! Твоя Оля

Мне кажется, что Лукины другого склада люди. Думаю, что они на некоторые вещи совершенно иначе смотрят, чем ты, — потому не будь очень доверчив. Конечно, если это так! Я не знаю.

140

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.V.42[i]

Девочка моя дорогая, светленькая Олюша, спешу сказать: едут к тебе мои «пасхалики», — три, христосуюсь с тобой за т р и Св. Дня любви нашей: на Пасху 1940 г. (уже привязался к тебе!), на — Пасху 41 (почти в з я т ы й!) и 42 — весь твой. Поцелуй их — меня. И еще — если не отберет французская таможня — «фиалочка» Гэрлен. Повезет завтра m-me Boudo, сестра караимочки «Roussel», — писал я как-то! Думаю, что приедут раньше этой открытки. Сегодня 2 твоих чудесных письма — ах, какая же нежная, чудесная девочка, когда сердечко твое покойно! Спасибо, целую. Благодарю за автопортрет, но личико у тебя тут вышло жестковато, ты — сама — прелесть-свет, в натуре, я это в и ж у по твоему фото. Глаза почти не твои, — холодны. О, я тебя так з н а ю! Ольгунка, как хочу, чтобы ты со мной была, в с е г д а! Мой «вечер» — кажется, 7.VI[307], в 4 ч. дня. Вспомнил. А потом — буду хлопотать о поездке. Болей почти нет. И были-то — отраженные. Целую глазки. Твой Ваня

[На полях:] Оль, жду обложку в красках! Будь здорова, не смей работать, ты скоро будешь вполне здоровой, сильной.

Я помню день т в о е г о рождения — 9.VI!!!

141

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.V.42

Ваня мой родной, горячо, нежно любимый мой Ванюшечка! Солнышко родное, ангел светлый мой! Я недостойна писать тебе даже, недостойна ждать, надеяться получить твои письма!

---

[i] *В оригинале описка:* 4.IV.42.

Ваня мой, прости меня! Письмо твое от 30-го — 1-го... меня так и обрадовало, и опечалило. Я сама негодная готова себя избить! Почему не удержалась? Не дотерпела до твоего письма. Настроила страхов!? Вань, мне так больно от слов твоих: «что же я лгун, пошляк?» Ваня, не смей такого и в форме вопроса говорить о себе! Не смей! Я бы убила себя за то, что тебя довела до этого! Ванечка, я презираю себя. Я самым дорогим клянусь тебе, что если говорю тебе: «я наскучила тебе», то не твое легкомыслие в отношении меня чувствую, но только и только *себя* надоедной, скучной, нудной вижу. Я вечно боюсь, что твое очарование, твое воображаемое боготворение — пройдет. Ты неминуемо по-моему должен разочароваться, т. к. я не такая! Ничего я не могу с собой поделать, если так чувствую!

Не желание тебя о б и д е т ь, но сознание своей ничтожности! Пойми, Ванёк! И прости, прости, радость моя!

Я не буду больше так! Умоляю тебя, Ваня! Нет, я никогда не «испытываю твоих чувств». Никогда! И больше всего страшусь боль тебе причинить. А ты думаешь, будто я тебя нарочно так! Я знаю, что я виновата, — ты можешь так сказать, но, Ванюшенька, это не так! Клянусь тебе!

Если бы ты был со мной, то поверил бы! Ванюрочка мой, ангел мой, только не разлюби меня, не оттолкни! Мне иногда кажется, что ты не простишь мне, что я тебя утрачиваю... Ужасно. Ванечка, прости! Умоляю тебя!

Прости! Не перестану просить, пока не «отпустишь».

«Не терзай, не будь жестока!» Говоришь ты... Господи, счастье мое, неужели я тебя терзать хочу?! Я не писала о здоровье, т. к. может быть ничего нового не было. И потом, я боюсь, боялась тебе наскучить вечными разговорами о болезни. Тогда у меня была легкая Temperatur[i], доктор думал что легкое воспаление пузыря от катетера.

Но все прошло. Я давно молодцом. Только слаба. Вчера у Фаси была, но очень устала. М. б., (заветно мечтаю!) завтра к обедне в Амстердам! М. б. услышу «Христос Воскресе»! Если бы! Ванёк бесценный мой, я угнетена твоей «язвой». У тебя боли! А ты обманул меня 29-го, ты написал, что давно не болела. А 30-го говоришь, что «последние дни боли ночью»! Мне это хуже всего! И м. б. я еще испортила?! Готова разбить себя о камни! Ваня, напиши подробно! Ванёк, спроси Серова! Я сегодня же звонила своему доктору с просьбой достать тебе bismut hypo-nitrat (это то, что тебе надо?). М. б. достанет. Когда будет у нас Л[укин]? Я попрошу его взять! Умолю. И еще я тебе давно делаю маленькую штуку... м. б. понравится тебе.

---

[i] Температура *(нем.)*.

На смену «грелочки», для лета.., русскую рубашку вышиваю, ее ты можешь носить как пижаму ночью, или, если хочешь, в жару и утром, или днем, когда работаешь. Она выходит приятная. Холодит шелком. Не надоест, думаю, и вышивка (я ее частью сама составила), негрубая, однотонная, тоже не надоедная. Хочешь? Сама бы ее тебе надела, обняла бы тебя в ней! Есть у тебя небось уже?

Ну, это от меня пускай будет! Как вот только перешлю?? Хотела сюрпризом, но не утерпела, Бог знает когда дойдет... Я ее давно шью. Каждый крестик — ласка тебе, т. к. в каждый из них я любовь мою «вшиваю»... Это все — капельки из сердца моего к тебе! Так и знай! Каждый день шью и вечно с тобой! Я люблю тебя... глубоко и очень, очень. И я влюблена в тебя... трепетно и так весенне-юно! Ваня, никогда не думай, что одинок ты, — я ведь так же одинока!! Поверь же мне! Никогда я не думала, что ты легкомысленен, когда писала «увлекающийся». И я не сказала «кем-то» только, но и «чем». Я знаю, какой ты. И я чувствую себя такой мелкой, что все время боюсь, что ты такую не станешь любить. Потому только и боюсь. Пойми! Ванечка, мой бесценный! Пишу перебоями: сейчас еду в Amsterdam — сижу на вокзале. Ах, Вань, как мне мучительно знать, что тебе не так живется, как надо. Ужас это — беганье за 1/4 л молока... русскому великому писателю. И какая же горечь мне, что ничего, ничего-то не могу я тебе сделать. Послушай, дружок, если тебе хоть как-нибудь можно приехать, то устрой это! Я вылечу тебе «язву», хоть на время. У меня все есть! Я бы с такой любовью за тобой ходила! Моему котишке лучше, чем тебе: ему не надо ходить за молоком. И какое (!) получает! Никаких цветных капуст и фасолей! Я нашла бы для тебя чудную диету! Ванёк, я не ною, но если можно, то приедь! Ванёк мой, я узнала, что у нас есть этот нужный тебе alkali (да?) — bismut-hypo-nitrat. Только надо рецепт. Будь добр, *скорей* пришли мне эту формулу, от Серова. А я дам моему доктору переписать и куплю. Очень, очень трудно уже его найти, но в 2-х аптеках еще есть. Но они спрашивают рецепт и точно соединение, т. к. будто надо осторожно принимать, спрашиваю от какой болезни, говорят, что не безопасно. Заставь же Серова дать этот рецепт! Умоляю! Скорее, а то пропадет пожалуй! Об этом возмутительном «вознаграждении» С[ергея] М[ихеевича] в 500 фр. могу составить точное представление. То же самое было с нашим «кавказцем». Он — первоклассный врач (у него двери ломятся теперь от пациентов), с местным дипломом даже, а т. к. «бесправный», то шеф его, как «главного врача» пригвоздил к клинике день и ночь за 50 марок! Представляешь? Он тогда стеснялся мне это сказать и плёл что-то. Его

друг, возмущенный такой эксплуатацией, сказал шефу, что это обидная плата. На что тот сказал в переводе на наш язык: «для этого нищего, глотателя голодной слюны и этого достаточно!»

Ах, еще целая страница! Ну подумай! Каково! Этот «глотатель» не смел даже воскресенья для себя иметь. Не смел курить в комнате, т. к. это все в клинике. Не мудрено, м. б., что у него и на меня срывалось. Ну, а со мной как было? Так же! Еще гаже, м. б. Но, Бог с ними! Для меня эта пора была хорошим жизненным уроком. Я научилась и работать! Ну, мое золото, кончаю, т. к. скоро поезд, а я хочу скорее, скорее отправить, чтобы ты смог скорее спросить Серова. Жду! Заказала держать для меня, но не обещали, т. к. это последние запасы и больше не будет.

Целую крепко, жарко, нежно... люблю, моего Ваню! Пиши о здоровье! Молюсь!

Оля

142

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.V.42, русское 1 мая!
2—4 ч. дня

Здравствуй, родная моя птичка, ласковая моя, нежная моя голубка!

Ну, какое же хорошее твое письмо! Давно не получал такого, — верю теперь, что ты начинаешь опять быть Олей, Олюшей, Ольгушкой славной. Ах, ты, моя расчудесная! Ну, наконец-то веришь, что Ваня твой, весь и до конца — твой. Ну, дай мне глазки, добрые, любящие глазки — сказки. Верю, что ты начинаешь набираться сил и веры в себя. И чтобы никогда-никогда не слышать мне твое истерзанное, рожденное болезнью, — «бездарная я, ничто я, маленькая я...» Ах, ты, упрямая гордячка! Тебе ма-ло, чем наградил тебя Господь?! Постыдись. Ну, будто скряга-богач: чем богаче — тем больше скаред, — «еще, еще»!.. Мало тебе, что я всю твою богатую душу показал тебе, до всего в ней дорылся—дощупался, все обцеловал-опел, всему поклонился, перед всем чудесным твоим склонился. Ма-ло?! «Честь...» — российского — «тавра»![308] Ну, кобылица молодая... когда же ты перестанешь ноги в воздух метать? когда покоришься, смиришься? когда направишься «в мерный круг»?! Все готово в тебе — и ум, и сердце, и глаз, и ушко тончайшее, и чуткость-мера, и вдохновенье, и вглубь духовное гляденье... все, как редко у кого — избранных! Поверь мне хоть, ведь стоит же, хоть чего-нибудь, и чуткость моя,

и опыт?! Не считай же меня за... шарлатана, лестью влекущего, пьянящего, чтобы вскружить головку! Твоя головка не из таких, и я не из таких, что кружат... — я из таких, что... хоть и слабо, да... Богу служат! Веришь? Ну, давай обниму... так обниму... как никто никогда не обнимал тебя... так на ушко тебе шепну... такое — никто не шептал такого. О, женка моя, любимая моя, бесценная... духовно женка ты мне, и сестренка младшенькая моя, и вся — любовь-девочка-прелестка, полная всех даров, и любви, и неги, и нежности-ласки... и сердца бессмертного! Ну, дай... ти-хости твоей, кротости, покорности Той Воле, что давно призвала тебя — служить Ей. Начни же свое служенье, выпрямись, гордая моя царевна, обернись же русской жемчужиной, достойная! Нет больше слов у меня — уверять, доказывать, просить, ободрять, молить. Терпение мое на исходе... отойду, забуду, все силы соберу, чтобы забыть... если не позабудешь, если не сбросишь с себя — гордыню ли... робость ли... — не разберусь. Ну, перекрестись — пиши «Лик» свой... жду, жду... Если бы ты была со мной, здесь!.. Ты приняла бы такой заряд любви, страсти... отдачи всего меня тебе, дару твоему... силе твоей... что, знаю, — ушла бы с головой в творческое... во всякое... — и... в земное, и в душевное-духовное! Ах, какие бы «детки» родились у тебя..! — Ну, Олёк... благословляю тебя, твори. И мы — сойдемся. Меня, такого... жизнью измученного, годами... трудами... «видно, что битая посуда»...[309] — помнишь нянькино слово-то? — такого — ты не можешь полюбить, как женщина... но ты другого любишь — и полюбишь... внутреннего Ваню твоего... нежного, верного, чуткого, — весь-ласка... правда? — вот такого — любишь? полюбишь? обманешь себя? сумеешь?.. глазки закроешь и обманешь, но силу любви испытаешь — и поверишь, что я — т в о й, что меня можно любить и — <u>женщине</u>! З н а ю, что да, да, да, да. И поразишься, как еще можно — мне! — и так сильно любить, и так гореть, и так т в о р и т ь! Вот сейчас... я — пожар, весь в пылании... к тебе, ко всему в тебе... я тебя слышу... я тебя вижу... впиваю тебя, пью тебя, сжигаю. Что еще за безумие во мне, откуда? Прости мне, Оля, эти кипенья, взрывы...

Ты победила здесь всех... — кто ни взглянет на твою «Лавру в туманце», — пленен, очарован... заворожен талантищем... нет, с е р д ц е м, душой твоею, — она так и поет в этих сияниях святости нашей... в этом «очаровании троицком»! Без исключений..! Милые женщины... которые меня любят... — ну, как писателя! — склоняются, покорены... восторгаются... поверь же, что <u>за</u> книги мои, а <u>не</u> меня, меня, внешнего, нельзя полюбить. Это — духовные чувства! Моя милая караимочка (она очень ласкова и облегчает мне бытовую жизнь, ища случая угостить

обедом, — ценит мою беседу, ловит слово! — и я всегда вежливо-внимателен! — ну, вспыхни, закинься! — изумлена-заворожена... — она-то отлично — умная! — понимает, — подозреваю! — к т о ты для меня... — и она, и другая, бывшая староверка-владимирка-ковровка[310], — красотой не блещет, и глаза у нее малые, не то, что у этой крымчачки... — приятно-скуластая крымчачка эта, а я совершенно безразличен, — во-первых потому, что «нет, уж занято здесь место» — помнишь, м. б. из водевиля «Ворона в павлиньих перьях»?[311] — а я не из прохвостов! — а во-вторых — она — жена милого крымчака[312], который так ко мне расположен... — как и она! — что... — «вы, сударь, холод,.. сударь — лед..!»[313] Кстати, они теперь будут рассовывать билеты на мое «чтение»... — одобряешь? Без дам не бывает «вечеров», особенно ныне, когда ни афиш, ни газет наших... — и они их заменяют... — теперь, ведь, не до чтений, а как бы достать масла, хлеба, всякого едова! — Ну, словом, ты всех покорила. Поверишь ли хоть теперь в себя? Расцеловал твою гераньку-лапку. Перемучился я тобой, твоею истерзанностью, з н а я даже, что ты д о л ж н а быть здорова. И — поболел. Боли прошли, и были не от проснувшейся моей язвы, а... надо было несколько исправить преходящий нехваток чего-то у печенки... — ну, ты понимаешь, медичка-умница... и Серов дал мне такое чудесное средство... что... — чудеса! Сразу же ночные боли, тянущие, — не в печени, а в «тракте»... рукой сняло! Сам виноват, нарушил безумно всякую диету, наелся са-ла говяжьего, сырого! Временно — не было у меня масла... — теперь вдоволь! — и такой аппетит... — что селюкрин-то творит! — тебя бы съел! Дай «кала-чика-а... О-люша-а...»!

Нет, детка... нет Сережечки з д е с ь... но это он сам, дух его напомнить мне тебе о нем тебя заставил! Временами... ты в с е - закрываешь во мне. Теперь я молюсь о нем, думаю... плакал вчера, читая твое письмо. Милые мои — хранят меня, знаю. И — любят тебя. Они же, знаю, послали тебя мне! Чтобы твоя нежность не покидала меня. Они, ласковые-ласковые... знают, как мне нужна ласка... — как я одинок был, как томился... — и ты явилась! Они и тебя хранят. Ольга, перестань видеть сны, толковать, страшиться. Они — нет, не они, а ты сама ими себя изводишь. Это — безумие. Всякую чепуху наворачиваешь себе. Бывают сны... — редко — вещие... а у тебя больше спутанность больных грез. Молись и предай себя Пречистой, Господу. Читай всегда: «*Господь мя пасет, и никтоже мя лишит!*» И будь спокойна. Я счастлив, что ты выздоравливаешь, я чувствую по письму. Но не смей заниматься хозяйством! Не добивай — себя. Не делай резких движений, не носи тяжестей, не тянись, — лежи и лежи, будь лентяйкой, думай о «Лике», ну, — и обо мне чуть

хоть... Да, я знаю: что бы ты ни наворачивала себе, суедумка... ты всегда отныне «моя Оля». Как и я — твой, и — только твой. Только ведь ты знаешь мою душу! Да, селюкрин творит силы в тебе, и я рад. Принимай, что велит Серов. Ты расцветаешь. Но помни: храни себя от гриппа! принимай в свое время антигриппаль! По-мни! Будь петушком и слушайся меня — котика, — помнишь сказочку Ушинского?[314] «Завтра я далеко уйду, не выглядывай в окошко... придет лиса...» По-мни, глупышка — мышка моя, ласточка, киночка... — о, как хочу тебя... всю! всю, всю... «калачик милый, горячий, мягкий...» дай же хоть кусочек... Ольга, если бы ты была со мной... как бы мы гуляли по Парижу! все бы тебе показывал... тебя бы показывал... — худышку, упрямку... мнитку... — знаешь, милка... вечерами я усаживал бы тебя в глубокое кресло, и... ну, у меня мутится в голове... — я тебе ножки целовал бы... о... прости... я тебя волную... но я и сам вне себя... — и из этого ты можешь заключить, насколько, слава Богу, я здоров... — разве больному пошло бы в голову такое?! я-то знаю себя... О, моя рыбка золотенькая... я чувствую, какая ты можешь быть, когда... любишь! Ведь ты же безумица, безоглядка, вся — отдающаяся... вся... несравненная... безумная... Потому что ты вся — творчество, вся — в страстяхчувствах... чрезмерная богатством воображения и... безумства. Ты — гениальна во всем... клянусь тебе — я знаю.

Эти дни я был в тревоге: Ивик заболел — несколько дней температура — 40! Сейчас сообщила племянница: слава Богу... от молока... м. б. ящур..? Температура спала. Я его навещал в воскресенье. Лежит, — уже лучше было — и невеста над ним... — я их подбодрил. А у него 25-го ответственный конкурсный экзамен в самую трудную из высших школ — Эколь Нормаль Сюпер — по чистой математике! И еще — в другой цикл высших политехнических школ... куда попадет? А после экзамена — решали — венчаться! Ольга! Неужели случится — или — неужели не случится..?! — что мы..? Олюшенька, как бы я с тобой России поклонился, всей, повсюду! Вчера я видел... твой Углич... картины Горбатова[315]... Псков... Великий Устюг... Нет, ты мне о желатине не писала. И я не знаю «оптимистического письма» профессора Капеллы![316] Сообщи. Я все, кажется, твои письма из клиники получил. Не живи снами! Да они скоро и пройдут, увидишь. Не надумывай перед сном ничего, а говори себе: все хорошо, Господь мя пасет, меня любит мой В., и мы увидимся. И охота тебе читать С[ургучева]! Это же — пустой. Ничего своего. Срединка. Не отнимай же времени у себя. Или мало тебе Пушкина!!? Его надо веч-но читать! Себя не навязываю, ты его — меня — знаешь, — и будя. Да, чудно... вчера одна женщина, — из левого толка — значит, не из моих, — говорит: — «все,

решительно все говорят, что Б[унин] получил Нобелевскую премию незаслуженно: получить должен был ... — ну, ты знаешь — кто. Ну, вот, — уши мне протрубили. А я думаю: а вы то где же раньше были? а почему ваша газета де-сять лет избегала поминать даже имя «достойного»?[317] Ну, Бог с ими. Да, да... «обратное, чем для той сухой смоковницы»![318] Да. И я бы тебе это доказал. Я тебе писал значение слова «Елизавета»: «чтущая Бога». Так тебе и сказала Она. Но и еще: ты... зачнешь... М. б. — в смысле «творческого». Я бы хотел — для себя — в обоих смыслах. Ну, будь же киской. Чудесно о киске ты. Вот так именно и надо все писать, не думая, что кто-то будет читать, и что надо — «получше». Берегись этого «получше», когда пишешь. Когда на-пишешь... вот тогда и будешь — пра-вить. Помни, милка... ну, как я тебя... люблю! Не думай — выйдет или не выйдет, когда пишешь... — это страшно связывает... плюнь на это, а... раскрывайся, сердце показывай... вычерпывайся. Ольга, я чувствую, что сейчас ты — моя... думаешь... зовешь... я весь в трепете, я рвусь к тебе. Буду писать на Сережу, — м. б. тебя опять стесняет, что я заказное на тебя? Ладно. Ах, как-нибудь, расскажу про «флер д'оранж»[i], как я «соблазнился» цветком... — сейчас я ищу в Париже горшочек привитого апельсина, лимона, или померанца. Мне достанут Пастаки[319] — они в большом садоводстве, химики. — Это товарищи моего Сережечки, мои молодые — 45 л.! — друзья. Я дрожу от запаха «флер д'оранжу»! — до того люблю... Ах, если бы ты видала меня — 3-леткой! Жалею, не взял с собой карточки из Москвы. Хорош же был! Важно сижу в кресле бархатном, ручка на ручке кресла, и лицо... — ну, вдумчиво-вдумчивое... чу-дно! — будто уже тогда — важный. То-то отец меня «капитаном» называл! А глаза..! а губки... губенки... пухлые... и «ротик... как у карасика». Все любовались. Я был не сухощавый, как всю жизнь, а пухленький, и ножонки были толстые. Снят в башмачках на пуговках, и в белых чулках... колбаски-ножки. Но... до чего же — серьезен! И столько самого чистого... такого глубоко-младенческого... — ты бы влюбилась в «капитана». Пасху провел смутно, но потом отошел. Чего ты хочешь, — а ты еще на меня напала! — когда ты вся в страдании была... — ну, я и со-страдал. Прошло — и теперь я сам словно выздоровел... и хочу жить, хочу моей Олюши... тереться щекой о щечку... прильнуть... и — молчать — жить тобой. Растворяйся в весеннем, пей солнце, вливай в себя жизнь... радуйся... Я знаю это: после болезни — все обновляется, и Божий мир — новый, живой. Я же сказал все — в «Истории любовной». Найди такое... у кого?! Нет ни

[i] «Цветок апельсина» *(фр.)*.

у кого. Ибо это было во мне самом... хоть и все это знавали. Теперь, читаю, «вспоминаю» и радуюсь. Целую всю — и «калачиком» когда. Оля, я не могу без тебя. Олюша, будь радостная, ешь, больше, больше салата! Это же кровь.

[На полях:] Твой Ванюрка

Есть хочу... Питаюсь хорошо. У меня сегодня салат и — овсянка, яйцо, варенье, молоко, масло. Завтра — мясо. В 6 часов — на концерт — поет Мозжухин[320] — баритон — «концерты нужды». Олюшка, я... тебя... о-чень... так... вот так! — как дети.

Тут капля моей «Сирени», не Гэрлэн!

Твои духи — «Сирень» Гэрлэн — ждут оказии. А бананы — кто отвезет? И чернослив. А печенье — я съел, увы, и в нем был мой портрет.

Что ты за скаред? все еще bonbons au miel?[i] и — шоколад [ешь]? Ай, ты ска-ред! Давно должна была съесть!

Сейчас так играет сердце! Должно быть ты получила мои пасхальные яички. И ты Светла. Красиво, правда? Пусть это будет — все эти дни — наша новая Пасха! Наша. Оля, Христос Воскресе! Ми-лая..!

Олька, за 40 г. Христос Воскресе — с вербочками, за 41 — с пасхой, за 42 — с храмиком. А надо бы тебе еще — за 42-й с... вербой-розгой! При-шлю! — если опять начнешь наворачивать! Я грежу этими пасхаликами! И скучно без них. Но они у тебя — значит — и у меня.

Оля-Оля! Как вспомнишь, сколько ты сил отдала на «трепыханья», на укоры и на муки свои за зиму! Это все должно было уйти на творчество!

А я... чем я погрешил?! Я же спохватился... и молил! Ну, этого не должно быть больше. Как я тебя жалел! Молю тебя. Целую. Твой, твой Ваня

[Приписка:] Прошу г. цензора простить мне этот добавок к положенным 4 стр. письма, но это изречение из книги немецкого автора («По Индии» — Вальдемара Бонзельса)[321].

Оля, вот одно из самых ясных, по-моему, определений «таинственного». Правда?

«Мистическое — не мрак, не неясность и не грозная фантастика непонятных или таинственных явлений: мистическое, в глубинном значении этого слова, есть лишь достоверность вечных истин по ту сторону нашего познания» (стр. 58. — «По Индии», Вальдемар Бонзельс).

Твой Ваня

---

[i] Медовые конфеты *(фр.)*.

143

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.V.42

Олюша, прости мне оба письма, от 14-го и 15-го[322], они внутренней силой, моим бунтованием могут волновать тебя, а это тебе пока, до полного выздоровления, — м. б. вредно. Я не сдержал себя, я так ярко чувствую тебя, и так вижу... — прости, птичка.

Помолись, — и все пылкое отойдет. Этот «сухой огонь»... — надо его мне в себе гасить... — и так это трудно. Нет, я жду, жду твоих жгучих, твоих зовущих писем — всей твоей открытости. Хоть это дай мне! Твой Ваня

Сколько буйного нашептал бы тебе, но это невозможно в письме! из этого ты видишь, что я здоров. И — ты, да?..

144

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.V.42

На твое письмо — 7—8.V[323], роднушка-Олюша, — в нем и тоска, и радость, и отчаяние. И все это — и во мне, и так мне все понятно. Но нет отчаяния. Верь, Олёк: не только, даст Бог, увидимся, — и м. б. очень скоро! — но, я надеюсь, и жизни сольем в одну, и будем вместе. Иначе не мыслю. Молюсь о чистом счастье с тобой. Молюсь. Молись и ты, голубка. Такой близости душевной, как у нас с тобой, такого понимания друг друга, такого проникновения друг в друга я не знал, не знаю... — теперь знаю, познал. Я живу только этим — надеждой на жизнь с тобой! Оля, ты пишешь: только увидеться, я не буду тебе обузой... и проч. Ты и сама этому не веришь: ты знаешь, не можешь не чувствовать, что только ты для меня — свет и счастье. И нет высшей радости, как — ты со мной — и — навсегда! Ты это знаешь, сердце твое не может не слышать этого. Я тебя всегда чувствую, — Ты — это я, и я — это ты. Какая радость так любить, так понять, так быть взятым! Нареченная моя! Неизреченная! Невеста моя, жена моя! Будь же тиха, молитвенно-покойна. Ты во мне всегда. Твой Ваня

Не томись. Жалей себя хотя бы ради меня.

11 ч. вечера Я слышу тебя, молюсь с тобой, за нас, за все. О, какие нашел слова моей молитвы о нас!

145

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Среда, 20.V.42

Ванюша, родной мой, и сегодня ничего от тебя нет. Я очень тревожусь. Здоров ли ты? Еду сама в Утрехт сейчас и отправлю заказным тебе, чтобы скорее получил. Умоляю тебя, хоть 2 слова пиши о здоровье, если тебе трудно писать. Сознание того, что ты м. б. с собой в разладе, что ты не радостен, меня терзает. Не знаю, что бы я могла сделать, чтобы согреть тебя. Порой отчаиваюсь я от своего этого бессилья. Ну что я значу тебе, если не в силах тебя ободрить!? Ванюша мой милый, солнышко мое, просияй же! улыбнись мне! Останься светлым! Напиши мне тотчас же и срочно, когда твой вечер точно и адрес зала! Мне хочется это знать!

Не могу писать, — так я взвинчена тревогой о тебе. Чудный день, солнце, цветет все! Радостно. А у меня сердце рвется на части: о тебе ничего не знаю.

Вчера получила письмо от брата Арнольда[324], тот, увидя меня (недели 2—3 тому), «ужаснулся» (видимо), что мой «вечный» румянец пропал. Я это слышала от других, кому он рассказывал. Вчера пишет, что он с Сережей на днях виделся и обо мне они решали, что бы мне такое к рождению придумать. И решили, что подарят мне поездку на отдых, дней 10, около Arnhem'a. Умоляют принять, «чтобы возвратить прежний вид и окрепнуть». Я не поеду. Никуда не поеду без тебя. Или, если поеду, то только посмотреть, где лучше тебя устроит.

Между прочим, К[ес] пишет, что он уже справлялся об Hotel'ях и узнал, что нужно заранее условиться, т. к. в этом году все приморские курорты будут пустовать, а публика в эти края хлынула.

Умоляю тебя: Ванюша, узнай когда тебя пустят! Тебе необходимо встряхнуться! Увидишь, что сам доволен будешь! Ну, впрочем, не хочу ныть, приставать, неволить. Желание мое, надежду, все, чем дышу я, — ты знаешь! Не хочу подвергать тебя неприятному, не буду упрекать, если почему-то ты все-таки «не хочешь», не можешь. Я не неволю тебя ни в чем! Будь только радостен, Ваньчик! По себе знаю, как гнетет все в таком состоянии «опустошенности», и потому не пристаю. Но только тихонечко прошу, чтобы ты знал, что постоянно верю, хочу, жду свидания с тобой!

Ванёчек милый мой, обнимаю тебя нежно и ласково. Отдай мне тоску твою, коли она все еще с тобой! Дай сердечко твое послушать! Поцеловать тебя!

Твоя Оля

P. S. Я здорова и хочу ответить Кесу, что вид мой очень изменился с тех пор как он меня видел. Я хорошо ем. Пополнела даже чуть-чуть. Иногда розовая. А когда возбуждена, то никто бы не сказал, что я болела, — тогда я вся живая и румяная. Все делаю, чтобы исправиться и стать лучше. Все для тебя. Будь ты тоже «пай»!

Ну, рассмейся же!

P. P. S. У кошки 4 котенка, а наш котишка не при чем, — все чужие! Два в нее, а два тигровые! Котишка «скучный».

[На полях:] Прочти «Новое слово», № 5 (387) от 18 янв. 1942 г. «Возвращение троянского героя»[325].

Пиши!

На яички любуюсь каждый день, — они под образом на полочке у меня в комнатке.

146

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.V.42[i]

Ваня, счастье мое! Радостное солнышко! Ванюшка, дорогулька! Сейчас оба письма твои, и мне, и на Сережу! А я так уж истомилась! Вчера дошла до того, что Серову написала! Мне это очень было трудно, зная, как он не любит письма! И плохо написалось. Ваня, откуда это берется, объясни Христа ради: вообразила я, что больше ничего от тебя не получу, что не любишь меня, что уходишь. Я так это ясно видела, что оплакивала даже свое счастье прошлогоднее, когда ты так о х о т н о мне писал. Я не сказала Серову об этих думах, но там есть фраза: «со мной не считайтесь». В расчете именно на то, если бы он знал, что ты меня больше не любишь. То я тебя больным видала! Ужасно! Ванька, не мучай меня караимочкой! Чего ты пишешь, что «да и кроме того ее муж ко мне прекрасно относится, а я не прохвост». Мне никогда не важны факты, но двигатель к фактам.

Факт может и не совершиться, но важно то, что внутри. Чуть-чуть не написала «ужасных вещей», о том, что и как можно. Но ты же сам знаешь, что можно, даже в письмах... Я часто рассматриваю и события, и вещи именно «изнутри» и только так даю им оценку. Не всякое «благодеяние» — благо. Важны побуждения к ним. Я знавала случаи, когда из желания «потопить» ненавистную соперницу (безразлично в чем), дамы «благотворили», о них трубили, восхваляли, а на самом деле

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: чудесное.

это «благодеяние» было орудием зла. Но это не о дамах, которые для тебя стараются, не подумай. Это из моего прежнего опыта, в работе и т. д. Но эти «рацеи» не по поводу караимочки. А только «к слову». И утешаюсь другими словами твоими: «место занято». Пиши, что хочешь. Бранись, ревностью мучай, — только не молчи! Умоляю, не молчи! Ты опять неделю не писал... Я не понимаю, как это можно. Я не вытерпела бы целую неделю... Я все время о тебе. И утром не сплю только потому, что жду почту! Ну, не упрекаю! Я тебя так же безумно люблю. Не нужно мне «закрывать глаза», «обманывать себя» и т. д. Молчи, глупый! Пойми, что я тебя знаю! Это ты меня не видел, а я-то тебя ведь знаю! Мне больно, что ты слова няньки приводишь! «Няня» о ком это говорит! Те люди действительно такие, а твоя жизнь для меня — Страсти, я целую все ее удары тебе. Это великий Крестный путь, а не обшаркивание, как это бывает у многих! Неужели тебе это надо разжевывать?! Я тебя страшно люблю и счастлива была сегодня прочесть все то, что ты мне сказал, за что извинился, как за «волнующее». Я тебя вижу, осязаю, чувствую... Ты так мне дорог, близок... Не могу сказать больше, но ты поймешь! Да, я знаю, что ты обнимешь, как никто не обнял, никогда, что ты скажешь, чего я не слыхала! И я... жду тебя!

Я люблю тебя именно такого, каким встретила. Люблю в тебе то, что выковалось жизнью. Как хотелось бы мне в Париж! Каким образом m-me Boudo получает визу? Да, ты показывал бы мне Париж, но меня показывать не стоит. Замухрышку! Но, слушай, я поправлюсь! А после твоих этих писем я совсем здорова! Я хочу жить, работать, писать, для тебя! Я очень хочу жить! Я пополнела даже! Я верну себе и краски! Хочу, чтобы ты меня розовенькой увидел. Я все еще не могу «калачиком», все еще полусидя. Это так неуютно. Ты получил кусочек калачика, розовенький? Или нет? Я послала, от поясочка.

Да, чудное это — «после ливня»! Я так люблю. Хочу пойти в «Wickenburgh» — будто на свидание к своим, к тебе, грезам. Мне «Лик» уже почти дается! Я его буду писать очень просто, не с расчетом на публику, но для тебя. Потому я и медлила тебе о нем писать, чтобы новое рассказать, как незнакомое. Но я сумею! Я не буду думать, что это — повесть или рассказ, а просто расскажу. Сегодня мне был жуткий сон: пустой зал, но я знаю, что там присутствует дьявол. Я видела голову, похожую на врубелевского «Демона»[326] (сидящего) с пустыми светлыми глазами. И кто-то внутри меня сказал: «здесь ум, сердце и слезы». И я знала, что это дьявола. Меня сдавило тоской, пыталась я перекреститься. Проснулась. Стала молиться... Фантазия. Но страшно. И много чего еще, тоже удивительного, но

не буду тебя томить снами. Я бы хотела спать без снов. Но нет ни единой ночи! Это моя вторая жизнь, и куда более интересная. Ой, что подумалось сейчас... Но лучше не скажу, а ты догадайся... м. б. догадаешься.

Вчера родился жеребеночек — мальчик (увы)! Чудесный! Как красиво! Ничего нет очаровательней этого благородного животного. Но моя лошадка, сердца моего лошадка — это «Мери» и никакая другая!

Ваня, боюсь словами вспугнуть мою надежду: ты пишешь, что м. б. приедешь! Господи, я боюсь верить! Я не выпущу тебя. Я обниму тебя и оставлю у себя долго-долго! Но мама и С. тебя тоже тянуть от меня будут. Сережа меня сколько раз спрашивал, почему я не умею тебя по-настоящему, настойчиво пригласить. «С коих пор ты все "приглашаешь"», — говорит мне. И вот сейчас (он прямо обворожен Arnhem'ом), говорит: «Вот, знаешь, где бы И. С. отдохнуть!» Меня туда тащит тоже. Но я никуда не поеду, тебя буду ждать! Получил ли ты лекарство? Как жалко, что ничего другого не послала — поздно узнала об оказии. Спасибо, что дамы для тебя стараются. Я нисколько не ревную, — рада, что тебя любят. И мне нравится, что тебе нравится «модная» караимочка. Это все — Жизнь... И ты — Жизнь! Я сама могу «увлечься» красивой женщиной. Теперь давно не было нового объекта для восторгов. Фася чего-то уж слишком знакома, — она слишком порой спортивна. Но — милочка! Да, ты знаешь, я совсем не спортивна. Ты же любишь спортсменок. Я это заметила! «Катя»! Скажи, дружок, Серову, что я прошу его не беспокоить себя ответом мне, если он не любит писать. Я ни в коем случае не обижусь. Правда! В. Бонзельс у меня есть на немецком. «Indienfahrt», — прочла! Согласна. Сургучева не читаю, а просматриваю лишь в газете[327]. Меня с него... мутит — бездарь! Неужели ты думаешь, что мне такие писатели нравятся!? Письмо «оптимистическое профессора» — не Капэллы, а И. А. Капелла, я думаю даже, еще не профессор. Кстати, дамочка та поправилась после операции чудесно. Мечтает завести еще дочку, но побаивается почки...

[На полях:] Ну, Ванёчек, кончать, видимо, надо... А так бы и не кончила никогда болтать с тобой! Сегодня радостный день — солнце. Св. Николая!

Напиши же мне все, все о твоем вечере! О, как завидую всем я! Пасхалики твои всегда вижу! Тебе скучно без них?! Они чудесны!! Целую... как горячо в... мыслях, и как же бледно это... на бумаге!

Оля. Глупая твоя Оля

Я боюсь нашей встречи, хоть жду ее трепетно, как жизни самой (!). Я боюсь, что я покажусь тебе провинциалкой, в срав-

нении с твоими парижанками... Я хуже, глупее, чем ты меня вообразил! Боюсь! И молю: приедь! Только и жду!

Люблю стихи Лермонтова. Трепещу от его «Демона». Стихи — лучше невозможно. А проза — schwach![i] Не люблю. Это только моe мнение.

Поклон «Арине Родионовне!.. Как она?

Пока, до тебя, стараюсь находить радость в природе. Наученная тобой же любить и «меканье телят» и блеяние ягняток!

Сама сажала анютины глазки[ii].

Прочла твои приписочки рукой еще и еще. Плачу я. Нет, мне не нужно «закрывать глаза» и «обманывать себя». Я люблю тебя. Я жду тебя! Что ты сделал со мной?!

Слеза моя здесь — слеза любви и нежности, и страсти. Да!

147

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.V.42

Олюночка моя Светлая, чудесные цветы от тебя, голубая (лиловая!) гортензия. В 6 веток, получил в канун Троицы. Не ждал. Что ты разоряешься на меня?! А я тебе и не послал! И мне досадно. Но я всегда с тобой весь, каждые минутки дней. Эти дни — дожди, свежо. Дурное настроение, преходящее, — полосами. До сего дня нет еще разрешения на чтение. Перенес на 21.VI — 4 ч. дня. Я тебе писал. Сплю тревожно, мало. Но ты не думай, — я пишу тебе в с е о себе. Питаюсь хорошо. Читаю. Пишу мало, — нет захвата. Все думы о родном. Птичка моя далекая, когда же тебя увижу? услышу? приникну к тебе?.. Ты единственный мне свет, Оля, — с ужасом порой подумаю: что был бы я, не встреть тебя, твою душу, твое сердце?! Какой в душе свет от тебя! какая нежность!! Какая ты необычайная! — радость жизни, небесный дар. Олюша, дай мне глазки, — целую. С 20-го нет писем. Я писал тебе 15 — три, 18 — два, 22-го[328]. Душевная во мне усталость эти дни, — пройдет, Бог даст. Пиши. Отдыхай, лечись. Не забывай Ваню. Нет, ты не забываешь, не забудешь! Скоро день твоего рождения. Да будет он светлым, светлый Господь да хранит тебя, моя бесценная. Благодарю за цветы — это любовь твоя.

Твой всегда Ваня

О, милая, я так грущу!

---

[i] Слабая *(нем.)*.

[ii] К письму подшит засушенный цветок.

148

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.V.42

Дорогая моя Ольгунка, сейчас (утро) два твоих письма: от 18 и 20[329]. Детка светлая, выкинь из головки, что я д р у г о й! Господи! — или ты все ищешь, чем бы терзаться?! Я — весь, весь твой, Оля, я только тобой живу. За что мне прощать тебя?! Бог с тобой, — я всегда о тебе, всегда — с тобой. Я не писал тебе после 8-го по 15-ое — должно быть писал, был занят, — ждал твоих писем? Не помню. Но 15-го и дальше — писал тебе так н е ж н о, даже страстно, что смутился, — боясь повредить твоему покою (относительному), твоему выздоровлению, и послал открытку — «прости за такую страстность!» Как я счастлив, что моя птичка-Олька — светла, радостна, здорова! Да, ты здорова!!! О, счастье мое! Я тебе в с е сказал о творчестве, я тебе всю душу мою раскрыл. После вечера моего — верь — буду просить о поездке. Эти дни были боли... — и я зная, что это от лекарства (Серова), вчера не принимал, и сегодня ночь — вся спокойная, и сейчас не слышно болей. Это со мной бывало — надо не нарушать режима. Сейчас должен ехать на завтрак — с экранщиками. Очень звали еще вчера. Целую, милую, ласкаю.

Твой Ваня

Вечер должен быть 21, в 4 дня. 26, rue Tokio.

149

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.V.42

Ванечка мой чудесный... Пишу очень коротко, т. к. спешу: а то ты долго ничего не получишь. Я эти дни все время, как редко, о тебе... Да, я вся с тобой! Твои письма дивные! Я на все отвечу, если только можно вообще человеческим языком ответить. Сейчас я буквально использую минуту до автобуса, — мы едем с мамой к зубному врачу, — она, бедняжка, очень страдает. Потом, кажется, о. Дионисий гостить сегодня на несколько дней приедет. Эти дни я замоталась; то поездка в Гаагу, то дома была, т. к. с поездкой все отстало.

Сережа гостил, гулять ходили. А вечером меня валит в кровать. Я веду себя хорошо. Много ем и сплю. Будь доволен. И, смотри, приезжай! Мне очень хочется начать писать для тебя, но как все суетно! Как мало времени! Постараюсь.

А ты как? Я сегодня же тебе писать буду — постараюсь, уйду от о. Д[ионисия], если даже и приедет. Надеюсь, что мама не слишком будет мучиться.

Целую тебя.

Оля

150

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.VI.42
7 ч. вечера

Ольгунок милый, так и летит к тебе сердце. Все, все попытаюсь сделать, чтобы приехать, — пусть не будет у тебя сомнений. Веришь? Ах, как хочу воздуху, и как одиноко мне! Прошу — поезжай же отдохнуть, подыши в чудесном твоем Wickenburgh'е, где жила в грезах и полусне... — теперь в светлой яви, зная, как ты дорога мне, как ж и в у тобой! Ми-лая, поезжай, оставь хозяйство, укрепись, оздоровись, вполне обновись, веря и надеясь, что ничто-ничто не омрачит сердца, душу. Золотая моя птичка, кинарка, кинка!.. Пой, мечтай, и «Лик» тебе удастся, и какую радость узнаешь! Я так весь — к тебе, — и знай, если не смогу быть с тобой, то это — поверь — будет зависеть не от моей воли! Я все сделаю, чтобы скорей свидеться. Верь Ване! Как чудесны твои гортензии! Целую, новорожденную, юную всегда! Твой Ваня

Какое ласковое письмо твое, 22-го! Ну, п р и л а с к а й.

151

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.VI.42

Милый Ванюша.

Прости, что эти дни тебе не писала. Объясню в конце письма почему. Спасибо тебе, дружок, за твои милые письма. Как я благодарна M-me Б[удо] за доставку висмута и как рада, что это то, что тебе помогает. М. б. еще достать? А то и тут, пожалуй, не найти будет. Глупо, что я не по-русски письмо написала А[нне] С[еменовне], но я не знала, кто они, твоя приятельницы. Ты мне писал, что ее сестра тебя в переводах немецких читает. Почему же? Разве она разучилась по-русски? Или я перепутала что? Очень мне досадно было, что я раньше не узнала о приезде А[нны] С[еменовны], а то бы и ее встретила, и тебе бы еще что-нибудь послала.

«Арина Родионовна» тебе лепешки «на поденьи» пекла. Знаю! Очень вкусно. Бабушка дивно их делала. Из моего детского лексикона скажу тебе еще словечко: Причастие, например, я называла «с л а т о к а». Забавно? И очень любила причащаться. А Сережка завертывался в одеяло и «служил обедню». Нам попадало, но мы все-таки делали это. И еще любили очень в большой шкаф-гардероб садиться и представлять, что едем вокруг света. Брали с собой «подорожники», — т. е. теплый ржаной хлеб кусочками, посыпанный сахарным песком и чуть смочив водой сахар. И называли «медовый пряник». Обожали. Когда я была в клинике, то просила сестру мне их делать. До сих пор люблю! Только черного-то хлеба нету!

Я рада, что ты перенес чтение на 21-ое. И очень рада твоему выбору вещей[330]. А что из «Няни»? Я не знаю всего твоего «нового «Лета Господня»[331]. Ты не написал мне, что пишешь его, только писал, что думаешь его «завершить». Я чуть огорчена! Почему не сказал? И что написал еще? Я очень люблю твоего «Орла». Счастлива, что его читаешь! Когда будешь его читать, то знай, что моя вся душа с тобой. Особенно! Я и во всем с тобой в духе, но тут особенно! И ты услышишь мои аплодисменты. Как удивило меня, что Алексей и Марина у тебя! Как это возможно!? Бедная М[арина], что же с ней такое? Отчего больна? Ванечка, я тебя сразу «огорошивать» не хотела, но... я ведь опять лежу. Не пугайся, на этот раз не сильно, но опять была кровь. Сперва в пятницу (29-го) показалась алая, свежая, но не так много, ну, — 1—2 столовые ложки. Я полежала день. Ничего больше не было. В субботу я утром увидала остатки совсем старой, коричневой крови (так всегда бывает, в конце) и все прошло. Я встала в воскресенье. И все было хорошо. Я тебе и не писала потому, — выжидала, чтобы не пугать. Высиделись у нас цыплятки. Я обожаю их. А на дворе холодно, и клока еще сидела на 1—2 яйцах в субботу. Я малышей в дом принесла и от котов поставила их у постели своей в гнездышке. Да, ночью пришло мне в голову, не задохнулись бы под покрышкой теплой. Я перегнулась неловко как-то к ним и тут же почувствовала боль, и сразу подумала, что не было бы крови... На утро в 5 ч. ... кровь. Немного, но больше, чем в пятницу. Это вчера... Легла прочно. Не двигаясь. И после 5 ч. утра до 6 ч. вечера было 7 порций абсолютно без крови, а в 8-ой порции (я пила много молока, массу! нужно) опять немного алой крови. Ты, понимаешь, это была больная почка сгустком закрыта, работала только правая. А тут приоткрылся сгусток, и прошла опять кровь. Я это знаю. Потому знаю, что когда сгусток, то у меня появляются боли в спине и температура. А когда выход из почки снова открывается, — то все проходит. Я уже все это так изучила.

Хочу (не шутя) многое из наблюдений написать «кавказцу» для врачебной практики. Как я маме шучу, что «докторскую работу» писать буду. Я уже многое ему из практики своей «открывала». Не ревнуй, я ему очень серьезно пишу, и всегда ему и Inge (его жене)[332] вместе. Он «исцелился», пишет тепло, но как надо. Жалеет меня и дает хорошие врачебные советы. Если бы он мог меня лечить, то верю, что давно бы нашли причину болезни. Он талантливый Haimatologe[i], раскапывал удивительнейшие болезни, так что специалисты потом его разыскивали, чтобы узнать, как он добрался. Сережу он спас от «Agranulocytoze»[ii], — редкая болезнь, последствие отравления гриппозными ядами. И много, много... Будь Шаляпин у него в руках, не дошло бы до такого конца[333], м. б. У меня он первый нашел «Avitaminoze»[iii] и еще особенности крови. Ты знаешь, у меня и группа крови-то не обычная, а какая-то составная. Я могу давать кровь для переливания всем, а мне могут дать только такие, как я сама. Очень редкие. Ну, что за капризница!!?? Ну, так вот, вчера же вечером, после этой алой крови была только очень слабо-окрашенная, коричневатая, старая. Как старый чай. Что и доказывает, что почка уже снова открыта, но свежей крови нет. Сегодня то же, только «чай» еще слабее, и не смотри я так внимательно, — ничего бы и не заметила. Ну, лежу. Тихо. Мышкой. Доктор был, больше для проформы. Советовал мне тоже дальше исследоваться у интерниста[334], Haimatolog'a и м. б. гинеколога. Но не потому, что «сферы» не выяснены, — нет, совершенно ясно, что кровь из почки, — но для того, чтобы искать нет ли какой связи с «другой сферой». Есть некоторые странности в медицине, м. б.?! Ну, сначала выздороветь надо и окрепнуть. Капэллена спрошу. Он еще ничего не знает. Ты не волнуйся, я не ослабла. И пока не показывается новая кровь, не надо унывать. Не придумаю, только, как я могу еще больше беречься! Скучно это все! Что же за жизнь?! «О с т о р о ж н о!» Все, все время: «о с т о р о ж н о»! Ну ничего! М. б. витамины еще не успели свое дело вполне сделать. Погожу.

Иван, а теперь о творчестве: совершенно серьезно: я не думаю ломаться, когда говорю о «бесталанности». Меня самою мучает этот вопрос: отчего, если ты находишь во мне эти творческие силы, отчего я их сама *не* ощущаю..? Ответь мне, могут ли они все же быть, хоть я их не чувствую. Почему я их не чувствую (веришь). Это меня смущает. Я и не думаю тебе не верить. Конечно, верю, но смущаюсь, почему их не чувствую. Если же

---

[i] Гематолог *(греч., лат.)*.
[ii] Агранулоцитоз *(греч., лат.)*.
[iii] Авитаминоз *(греч., лат.)*.

я могу, то буду творить радостно. У меня большая задача. И не я себе ее ставлю, «предмет» ищу и т. п., — а она сама дается, настойчиво требуя ее выполнения. И, если, у меня есть дарование, то я перед Богом должна ее выполнить. Я не ищу ни славы, ни даже наслаждения в работе. Пусть только я запечатлею то, что м. б. кому-нибудь, когда-нибудь принесет в тишине пользу. Да, это будет до некоторой степени подражанием тебе, но только потому, что это — сама жизнь. И оба мы берем ее — жизнь, самую сущую. И тут я не буду твоим вором. И это еще давно во мне. Нет, мое детство, жизнь моя — только «проба пера» пусть, — эскизики, а цель моя другая. Не о себе. Каждый отвечает за свое существование и каждый должен сделать вклад в сокровищницу жизни. Какой бы то ни было. Духовными ли, телесными ли детьми. Или дать возможность другому внести, способствовать ему собой. Вот моя «трамбовка» больше меня делает. Она мне время предоставляет, а я-то... жду чего-то...

Кот ловит муху на окне! Забава. Ваня, скоро С. уходит из Arnhem'a. Торопись приехать. Иначе С. не будет там. Мне же лучше, если он еще там. Был ли ты на службе 31-го в церкви и панихиде по «деятелям литературы и искусства»?[335] Как ты расцениваешь Коровина в его воспоминаниях о Шаляпине?[336] Мне очень нравится, я их раз 5 перечитала, чту-люблю Шаляпина*. Ну, не писатель, конечно, а читается легко.

[На полях:] Ответь мне о Валентине Горянском. Я спрашивала тебя. Ты его знал? Прочел ты о тр[оянских] героях?

Крещу тебя. Оля

Пишу о том, что черного хлеба нет, а его мне как раз и прислали!

Сейчас утонул один цыплюшка. Безумно жаль. Бойкий такой! «Трамбовка» принесла показать. Вот лежу, а мамы уже рук не хватает. Замучили ее. И зуб болит, непроходно. И все-то мы болеем. Сереже я передала, что ты велел, т. е. «получит, о чем я ему писал»[337], на что С. мне сказал: «я никакого письма от И. С. не получал и не знаю, что он имеет в виду».

Я Сереже прочла из твоего письма о бабе, плачущей над несуществующим мальчиком[338]. Он мне сказал, что это рассказ о. Варнавы[339]. Вот какие книги твой доктор читал!! Он религиозен? Хохотал С. и над тем, что «скаредом» меня за шоколад зовешь и одобряет, ибо это его девиз — съесть вкусное сразу, чтобы «учуять, что ешь-то». А я берегу как реликвию, потому и не ела. А я не скаред. Посылаю фото[340]: чтобы убедить, что поправилась. Толстушка стала. Да вот опять бы не сдать! Лошадка же «выдра» с голодного пайка зимы. А маленький-то чудный?

---

* пусть «дик», но такой гений и до конца волжанин — парень-русак.

152

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.VI.42
7 ч. вечера

Светлая моя Ольгуночка, сегодня получено разрешение на мое чтение. Оно назначено на 21.VI — воскресенье, в 4 ч., а начнется, должно быть в 4 1/2, т. к. русская публика всегда запаздывает. Программу ты знаешь. Зал — Русской консерватории — Conservatoire Russe, 26, Avenue de Tokio. Ты, ведь, упрямка милая, и бесполезно тебя останавливать: знаю, что пошлешь цветы, (а я их публично поцелую, да, да! вскрыв конверт, тоже публично). Эту чудесную интимность мне извинят, надеюсь, — подумают: «до чего же благоговейно признателен читательнице!» Конечно — читательни*це*, читатель, обыкновенно, цветов не шлет и не подносит. Всегда жду твоих писем. Или, думаешь, это ты только любишь получать от меня? Не думай. Поезжай в Wickenburgh, отдыхай вся! Сегодня иду собрать все справки о поездке. Добьюсь или — разобьюсь. Хочу поставить себе западню на писание «Путей», — как-то обязать себя. Как было с 1 частью. Довольна? Ну, приласкай же! Сегодня выясню. Сегодня жарко. Говорят, в Париже уже нельзя найти «Пути Небесные». Олюна, я бы, кажется, всю тебя выпил, — такая жажда до тебя!

Твой Ваня. Целую, люблю, крещу, будь здорова.

К[а]к я т[ебя] х[очу]!

153

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.VI.42

Милый мой Ванюша!

Ты ждешь, конечно, узнать, что со мной, — потому спешу писать. Я еще лежу. Пока что только вчера рано утром вышла старая кровь, вслед за сгустком, закрывавшим, очевидно, все время ранку. Сегодня (пока) ничего не было. На этот раз, если не будет больше ничего, кровоизлияние не сильное. Даже просто маленькое. И я лежу розовая, — правда! Я не ослабла. Ем хорошо и много молока пью. Доктор мой милейший собеседник (но не больше), обещал отдать боны[1] на апельсины, которые ему дали для его малолетних детей. Мы говорили

[1] Здесь: продуктовые карточки.

с ним о том — о сем, забывая болезни. Я думаю, что о болезни же надо поговорить с хорошим интернистом и т. д. М. б. мне лучше остаться на исследовании в университетской клинике, хотя бы в Leiden'е. Вот видишь, как ничего я не могу предполагать! Я даже вдруг стала бояться: приедешь ты, а я свалюсь! Ужасно! Ваня, приедешь ты? Сережа, вероятно, в июле уедет из Arnhem'а, кончают работу, а что дальше — неизвестно. Торопись. Конечно, я смогла бы что-нибудь иное придумать, чем Arnhem, но мне он удобней! И я Master'а[341] знаю. Он бы тебя хорошо устроил. И хорошо бы кормил. Ну, я ничего не загадываю. Я не знаю, что с собой делать. Какая-то я надорванная струна... Ну, ничего. Все приму. Это — мой крест. Кто же не имеет креста?! Вчера вечером я получила книги. Переплели не по вкусу: жестко, а я хотела, и даже записала у них, что мягко должны. Я набросилась читать их жадно. Взяла «Мери». И так разволновалась, что даже поставила термометр — думала, что жар, так колотилось сердце. Я жара боюсь — он вестник сгустка часто бывает. Все нормально. А только нервы. Я плакала, со стоном. Я не могу... такой ты... все живое сердце! О, какой ты... Все в тебе то же. Ты тот же, узнаю тебя во всем, во всем. И как же дорог! Ястребок твой...[342] живой какой! Я вижу его... и все, все переживаю! Но я всю душу отдаю твоим книгам, я вырываю сердце свое! Плачу и не могу читать. Почему? Не знаю. Но с тех пор, как узнала тебя для себя, не могу читать тебя спокойно... так жив ты и... так далек! Твой огонь вижу, всего тебя. О, горячка. Говорить бы с тобой хотела о многом, многом... Ах, Ваня мой! Как хватало сердца физического у О. А. для того, чтобы вместить счастье жизни с тобой!? Ты молодой, такой вот, как в «Мери», «Последнем выстреле» и «Мой Марс»...[343] Тебе же лет 30 тогда должно быть было?.. О,.. Ваня! Как прекрасна жизнь! И как ты это понял, и как другим ты это дал! Ты был очень счастлив! Ты взял все, что дает нам Господь! И дал нам, показал, уяснил нам все, чего бы мы м. б., не увидали! Какое сердце твое! И я знаю теперь, что ты не посмеешься надо мной, что ночью больная стала цыпляток оглядывать — не задохнулись бы (!)... ты-то поймешь. И то, что м. б. из-за этого заболела.., ну, что же! Не сетую!

Ах, если бы и впрямь оказался у меня талант творческий! Я хочу не разочаровать тебя! Все для тебя! Мне хочется подучить, освежить французский язык, чтобы в оригинале прочесть Флобера, — ты на него ссылаешься порой. Я прочту все, что ты мне назовешь. Я хочу немножко пополнить свое образование. Это я без «сердца». Я мало знаю и стыжусь этого. Мне очень хочется на родину. Я так мало всего знаю. Но если я буду вечно болеть почкой? Если год от года будут чаще кровотече-

ния? Калека!? Спроси Серова, что можно хоть думать? К кому еще обратиться? Я не в отчаянии, — я спокойна, Ваня, но меня тревожит это возобновление. Конечно, м. б. витамины не могут сделать своего дела так скоро. Поговори, дружок, с Серовым, если не трудно. Хочу м. б. написать «кавказцу», — он часто делает открытия в неразрешимых загадках. И просить Бога!

Ну, кончаю пока. Мне немного неловко писать, лежа на спине, и девчонка идти на почту должна. Вся я в твоем сердце, т. е. чувствую твое сердце как бы моим. Все мне так близко в твоем... несказанно... Ну, помолись обо мне, Ванёк!

Целую. Оля

Посылаю цветочек, — дикий.

А я так хорошо окрепла было. Толстушка стала. Почти что прежний вес догнала. Вот и карточку-то для того тебе послала, чтобы успокоился. Получил? С лошадкой? Но я и теперь хорошо себя чувствую, и румяная. И много ем. Бог с ней, с линией! Или ты не любишь круглышек? Но это я шутя спрашиваю: знаю, что ты моя душа!!!!

154

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.VI.42

Ванечка, а ты опять не пишешь целую неделю. Я волнуюсь, предполагая, не заболела ли твоя язва. Не плачу тебе тем же, т. к. знаю, что ждешь весточки о моем здоровье. Со среды не было крови. Но как же я боюсь всякий раз! Как бы мне хотелось теперь быть в Wickenburgh'е — там должно быть рай земной. Лежать могла бы на веранде, вся в солнце... Ну, чего уж мечтать! Читаю твои книги, и вся моя душа звенит, стонет, скорбит и ликует, плачет и смеется! И во всем этом рвется к тебе. Какая сила, как много души и сердца! Стараюсь перенестись в то время, когда писал ты, и т у д а, где писал ты, ставлю себя с тобой рядом... Ну, себя теперешнюю, тогда-то мне всего 4—5 лет было... Когда ты «Мери» писал. Ты, верно бы на руки меня взял бы? Меня малютку любили. Я была пухленькая, крепыш-девчурка. Щечки очень нежные, так что весной под вуалькой возили, а то «сгорала». Бойкая. В Рыбинске мне было 1 1/2 года, когда революционеры ходили с пением своих песен, и я, стоя на подоконнике, махала ручонками и бросала мнимый платок или шапку кверху, крича: «пелё, пелё!», т. е. вперед, вперед. Когда мы ездили в Саров, мне было 3 года, и я помню, как сдружилась с каким-то «дядей Кузей», толстым господином, с которым наши и провели все путешествие. Иг-

рала со всем и всеми, не требуя игрушек. Например, любимой куклой был у меня вал с турецкого дивана. Я звала его «Минька», таскала с собой, выше себя ростом, лечила его, к доктору носила, давала «капли» и наконец, все это кончилось после того, как влила в «ротик» больного Миньки целую бутылочку красных чернил. У меня отняли Миньку и отдали его перетянуть новой материей. Я плакала. А когда плакала, то подходила (до 4-х лет!) к няне[344] и просила: «дай сосоньку, дай голе засосать!» Сосала эту «сосоньку» — рваную соску, не позволяя ее заменить новой. Вся она была зашита няней и береглась ею только на случаи горя («голя»). Когда мой дядя[345], приехав с японской войны, много играл со мной (все помню!) и восторгался, как я «умно» рассказываю ему сказки, заканчивал всякий раз: «ну, а как же тебе не стыдно соску-то все еще сосать? Когда ты ее бросишь?», — я отвечала, нисколько не смущаясь: «тогда, когда ты свою сосоньку бросишь!» И хваталась за его папиросу. Старшие смеялись, а я торжествующе вынимала из кармана сосоньку и отдавала ей должное. Я была разговорчива и общительна со всеми и однажды завела жулика в дом, показывая ему все, что имеется интересного дома. Мама ахнула, войдя из кухни и увидя ободранца со мной «за ручку». Тот в окошко выскочил. А я его, в саду играя, позвала через загородку. Но и причудница была... Помню, нянечку мою милую «Яйюшку», (т. е. Александрушку), как она, уже больная ревматизмом, таскала меня тяжелую девчонку на руках, убаюкивая ночью. Я засыпала сладко под ее чудесные песни-сказки, но как только она тихонечко подкрадывалась к кроватке, чтобы положить меня в нее, я впросонках пугалась, что кончится это блаженное укачивание и начинала плакать, заставляла себя плакать. А та берет мой лобик в руку, — жару нет ли, животик гладит... А я торжествую... И сторожу: не заснуть бы как! Но... засыпала... Ах, много... чудесного, прекрасного из детства! А эта Яйюшка (она умерла!) любила меня беззаветно. Когда я мучилась деткой 6-леткой воспалением легких и думали, что умираю, — она на свой страх обегала чуть ли не всех докторов, (перепутала, что ей сказали, кого позвать на консилиум, и к лучшему — сложилось так, что не пришли, кого не надо было), носилась вихрем в аптеки, упала на гололедице и разбила колено. Она герой была. Муж — пьяница, никчемный, детей не было. Взяла она приемыша, Варютку. Барышней ее хотела сделать. И когда мы ее спрашивали: «Варя, ты кем будешь?» Она гордо отвечала: «сайтийсей», т. е. «кассиршей». У нас Яйюшка жила и с мужем[346]. И когда я плакала, он садился на корточки и говорил: «а где капрыз? Где, говорю, капрыз-от?». Так я его и звала Василий-капрыз.

Когда папа был чем-нибудь домашним занят, то я вилась около него, а он говорил: ты моя дорогая помощница? А я с гордостью заявляла сторожу, приходившему за ключами: «Я даагая патётица». Рано помню я себя. О, какое было чудесное детство!

Это — я, твоя «Мери»! как похоже все это на мое. Надорвалось, лопнуло что-то. В скаковые больше не гожусь. А какой конец, — кто же знает. Ну, пусть «без такого грустного конца», как ты сказал. Да, «Вы были счастливы» помнишь? Так тебе писала я, боясь, хоть чуточку приоткрыться, боясь и этой даже фразы. Ты был, конечно, счастлив. Вспомни, и засветись. Мне хочется взять приемыша, какого-нибудь несчастного, русского птенчика. Мне одиноко. Я так люблю детей. С моей почкой безумие думать теперь о детях. И годы уходят. М. б., я год от года буду хуже? М. б., все время будет кровь? Ну, не буду. Я не хочу отчаяния. И не думай, что я трепыхаюсь. Это просто «думы». Всякие на ум приходят. Мне эти мысли в больнице дамы подали. Будто с такой почкой нечего и думать. А доктор плечи подымает, — ничего не говорит. А м. б., поправлюсь? А? Как ты думаешь? Только серьезно, а не в утешение!

Рождение-то мое скучное будет: наверное в постели. Никого не принимаю. Сережа даже не приедет — дела много, а оно приходится на вторник. Хоть бы письмо твое было. Даже не хочу, чтобы раньше времени пришло! А то пусто будет! Но я не люблю рожденье. Не люблю поздравлений. С отвращением думаю о поздравлениях, — будто я что-то совершила. Глупо! Это матерей надо чествовать за их муки, а поздравлять-то тоже не со всяким экземпляром можно. Ну, довольно минора!

Твое «Это было» читаю. Странное меня волнует чувство... И там ты тоже очень силен. Ах, Ванька, люблю тебя! Ну, что же «Пути»? Неужели не пишешь? Такой пир теперь в природе, такая жизнь... Даринька, небось, соловьев в Уютове слушает. Малина еще только цвет набирает... А ландыши уже отцвели, — любки же стоят еще свечками, дурманят, зовут... Трава теплая, шелковая, ляжешь, — тебя не видно... и кругом только небо да травки... А на подсеке, где малинник, душно, иглы сосновые старые, желтые под ногами, горячие, скользят туфельки по ним. А какие купавки на речке, в заводи... Жарко... Дашенька вечерком бежит купаться... вода теплее воздуха... А какие ночи! Душно только, плохо спится. Как травы пахнут в окно открытое. И сходится заря с зарей... Поймай же Дари! Анютка[347], и та, зачаровалась барыней. Она, Даринька, вся теперь в своей сфере...

О, как я чувствую... как жду твоей Дари! Хочу любви твоей к ней!.. Давно еще, когда мы на «Вы» были, ты писал мне:

«и я пропою через нее, Дари, гимн всему...»[348] и ты описывал, как ты прославишь Бога ею, прославишь творением Его, природой нашей... Я тогда читала это в парке Wickenburgh'a, я захлебнулась, простонала даже в восторге, в счастье когда-нибудь прочесть это. Я заплакала чего-то. И помню вслух (!!) сказала: «Господи, что это за человек такой, И. С.!» М. б., тогда уже была во мне и любовь, и тоска к тебе, и надрыв, что нет тебя, и жажда тебя... Я так душу твою чувствую, так трепещу от этого, что не могу спокойно быть счастливой твоей любовью. Слишком чего-то много, слишком звучно, слишком ярко! Понимаешь? Ответь, что ты думаешь? Ты так редко теперь отвечаешь на мои письма. Для меня читать твои книги не только наслаждение — но и какая-то сладкая мука. И это уже давно так... Какая-то щемящая тоска по раю? Я осязаю шелест крыльев Серафима, когда читаю тебя... Неземное что-то. Ведь недаром я писала тебе в 1939 г.! А «Пути Небесные»! Я рыдала, буквально, читая их. Меня могут захватывать книги, я многому в жизни отдаюсь с детским экстазом, но твое... твое уже граничит с предельным. Потому я спрашивала-писала, что поразительно, как еще хватало физического сердца у О. А. для вмещения подлинного, пожизненного счастья с тобой. Я не вынесла бы... так кажется мне. Тебя любить, твое горение творческое видеть, ревновать ежесекундно (потому что я бы ревновала дико, безумно!! Знаю!) и отдавать тебе с восторгом всякое движение сердца! И любовь твоя, в которой потонули бы крики ревнивой души моей! Пожар твой, нераздельность с тобой, хоть в миг... и... вечный страх тебя утратить... Кто ты? Почему в тебе такая сила? Все, все твое... Все пережить с тобой... вплоть до азарта на скачках. О, как хочу! Я могу быть азартной... Я бы прощала все твои «срывы»... О, и эти «срывы». Это же грозы... с таким чудесным (уверена!) после них ливнем любви! И... утишённые мы, не слышали бы мира, и никого... Ах, Ваня, я только о таком, о Н е м, всю жизнь мечтала... И вот ты, лучший, чем моя мечта! И как же все горько! М. б., я не права и не смею писать так, — это волнует, дразнит, мучит несбыточностью. Но, прости же мне, не могу никогда молчать. Пиши же Дари, живи ее, дай ей то, что жду я от тебя! Живи ею! Пусть оно будет! Наше счастье! Пусть хоть только как создание твоей мечты. А м. б., и сбудется?! Оля!

5.VI.42 вечер Получила твое от двадцать девятого-тридцатого[349]. На рожденье. Грустно мне. Ты тоскуешь! Не волнуйся обо мне: я чувствую себя хорошо. Слабости нет. Румянец. Сейчас мама приходит, плачет — [кроленок один пропал] нашелся!

6.VI.42. Свинья не могла съесть?

А как тепло! Аромат в окно! Был доктор, надо ему послать для анализа. Долго ли же надо мной будет дамоклов меч? Помолись, душа моя!

155

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.VI.42 9 вечера

Радостная моя Ольгуночка, как ты чудесно-ласкова и мудра, когда душевно полна, — как бы почти с ы т а, — когда «плесканье» твое — порой и трепыханье, — утихает, и ты — настоящая, здоровенькая, светлая моя девочка Оля, Ольгушка, Ольгушонок! И в то же время — вся ж е н щ и н а, очаровательная, расцветающая, манящая, — независимо от себя! — влекущая ласковой благостностью, нежностью чистой... ну, такая б л и з к а я, такая «по душе», вся, вся... — я так тонко это переживаю, с л ы ш у... — я как бы твое касанье испытываю, касанье тебя, твоего образа земного, твоей теплоты жизненной, — ну, вот, подошла и обнимаешь, и так близко и сильно льнешь... — всю тебя слышу, и так ты близка, будто ты и я — одно-одно, ты во мне, ты влилась в меня, и мы ж и в е м одним, лишь нам понятным, нас сомкнувшим счастьем... — это неповторимо, это — только — н а ш е. Вот такое почти испытываю я сейчас, прочтя и еще перечитав твое письмо 27 мая[350], закрытое. Вечером пришло сегодня. Оно очень насыщено. И так хорошо, что мне уже мало его, — я мог бы пить такое вечно. И все же — ма-*ло* мне. Но как зато мно-го-много, если подумаю о субботней твоей открытке — от 27-же. Там — все мимоходом, впопыхах, одна нога на пороге, другая на дороге. Письмо-спешка, без чувства, особенно этот «бросок» — случайный! — «Ну, а ты как?»... Я опешил, но тут же и объяснил себе, — до чего ты «впопыхах», а надо хоть что-нибудь послать... Ване! Но сегодня ты приласкалась, приоткрылась... — и как же ты прекрасно-обворожительна! Мое воображение горит, и я вижу, дополняя, какой ты м о ж е ш ь быть... сколько в тебе неисчерпанного тепла, огня... любви... — неопределимого словом... — чудесно опьяняющего, глубокого и тайно-женского. Ну, дописался... Я было хотел после той открытки напасть на тебя — за твои «убеги» от того, к чему ты призвана, и чего страшишься... — ты опять, даже в этой открытке-спешке затянула свою волынку... — «очень хочу писать»... и «но как все суетно, как мало времени...» Стой, я пока об открытке, о главном в ней. Оно так и высунулось пугающей меня — за тебя!! — рожицей. Ты молилась, чтобы в письме ожидаемом Ваня тебе ответил на му-

чающий вопрос — «разъяснить себе свою жизнь». И тебе было даровано — узнать ответ. Оставим область мистического — тут самая живая суть, хоть и касается как бы потустороннего: молилась — и получила ответ. Да, я как раз и ответил тебе письмом о творчестве, о «влияниях»[351]. И сказал: это мое «последнее слово» тебе о сем. Я как бы поставил точку. Я знаю: я должен был тебе ответить, мыслью и чувством огромной любви накрепко-нежно приласкать тебя. Я писал, помню, с великой к тебе любовью, надеждой и... болью о тебе. Не мне разбирать свое, но, кажется, я сказал достаточно полно и выразительно... — по крайней мере, бывший тогда у меня друг[352], ценящий искусства, прослушав отрывки из этого письма, — я знаю, как он ценит мысли о творчестве и, в частности, мой внутренний «творческий мир», мои взгляды на искусство, — я писал тебе, кажется, об этом? — дня через три написал мне — «дайте же мне сохранить для других то, что Вы мне бегло прочли из какого-то письма или работы...» Я ответил — забыл, что написал, черновика нет, пишу прямо, и копии не сохраняю. Вот, Олюнка, как родился «ответ» на твою молитву. Когда ты молилась, ответ уже давно шел к тебе. Вдумайся в это! Я все тебе сказал. Когда бы случилось нам встретиться... если бы я мог прижать тебя к сердцу... я, м. б., многое, что вдруг могло бы прийти в словах, от полноты сердца... многое бы тебе излил, и ты впитала бы это в себя, — мой душевный мир, мое постижение законов творчества... — не знаю... В письмах я больше не коснусь сего. Все дано. Но вот что важно, слушай, Ольга, слушай, упрямка и непокорка, и... ро-бкая! — а, м. б., бессознательно, и... нерадивая! Так нельзя дальше. Искусство не балушки. Не слова. Не предмет «для разгулки времени». Искусство — труд и жертва. Богу и мамоне[353] служить совместно нельзя. В письме перед открыткой ты писала — а я в досаде читал и возмущался! — «будут гости, запущено хозяйство»... «хочу писать», «боюсь писать»... «время бежит... надо ехать» и прочая тормохня. Помни: так нельзя. Или совсем похорони, — похороним! — «о творчестве», или — надо взять себя в руки, ра-бо-тать. Или жеребятки, телятки, зайцы, обеды, пироги, кремы... верченье в хозяйственной трясине, — я чту хозяйство, да, но нельзя себя рвать пополам. Искусство требует — всего человека! Продолжая жизнь так, как ты жила, оставь думать о творческом. Помни: ты должна, если хочешь и если будешь, — пробовать писать не для меня. Творят не для кого-либо, как и дышат, как грезят, — не для кого-то. Ты умна, все понимаешь. Для творчества нужна во-ля, и... по-кой. «На свете счастья нет, А есть покой и воля»[354]. Пушкин так. И дальше: «Давно завидная мечтается мне доля, Давно, уста-

лый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нег». Пушкин всегда старался убегать от «жизни мышьей беготни»[355]. И в этом его трагедия, что мало имел творческого досуга. Что бы он натворил! — будь в условиях обеспеченной жизни Толстого! Вечная нужда — относительная, конечно, — ссылки, любови... пуля. Прошу тебя, как преддверие к ожидаемому мною твоему по-двигу! — перечитай всего Пушкина. Вчитайся в те его стихи, где он определяет — и как глубоко, и как лично-интимно! — свое творчество!! Ты умна, чутка: ты все, пчелка золотая, чу-деска моя ненаглядная, найдешь, впитаешь в себя. Знаешь, Ольгуна: я не представляю себе лучшей, более близкой, более по-мне... дружки, любимой, женщины-девочки... более способной все постигнуть с полсловечка, чем ты... Если бы мы жили рядом..! как бы купались мы в радости самой чистой и уносящей, порой — опьяняющей радости творческой! Терпеть не могу теорий, схем, зАсуши... — пили бы из живой чаши! упивались сотворенным, раскрывали его, и... — сами заражались бы, отдавались могучему захвату божественным огнем в человеке! Вдали друг от друга, мы можем жить вместе, созвучно, мысленно неразлучно, связанные накрепко — нам свойственным, нашим душевным, нашим богатейшим миром! Оля моя, Олёнок мой, Ольгушечка... — надо вдумчиво отнестись к сему: или плескаться в хозяйстве, гостях, заботах дня... — а дни-то скачут и ускакивают, и «каждый день уносит частицу бытия»[356]. Я почти два года горю и томлюсь тобой. Думаешь, не утратил я из того, что мне даровано сделать? Правда, я многое нашел, очень многое... — но я чувствую... — «Пора, мой друг, пора!» Я должен многое закончить. Ты должна начать. Думаешь, не ценю я — гостей, пирогов, кремов, жизни хлева, этого вечного рождения жизни... — закатов, прогулок, умной беседы, любви, страсти, глаз любимой, ее движений, ее касаний, ее шепота... ее близких губ..? — Я все страстно и страшно ценю... я страстный, кипучий по природе... — я — стремителен... жаден до жизни... я не аскет, не нарочитый... — но мигу отдаю миг, а искусству — время. Так было. Да, я многого не выпил, от многого отвернулся, — а сколько не допила, порой и не пригубила Оля! — отдавая мне всю себя! — Я уходил в труд, я «убегал». Да, я приносил — теперь это видно! — жертву... но зато получал и редкое наслаждение, и великую награду, — внутренне получал. Сегодня, например, попалась мне на глаза статья И. А. о моем «Богомолье»[357]. И я как бы выпил этот «фиал-гимн»[358]. Там он сказал о «памятнике нерукотворном». Там он вынес суд и дал мне место... — я был поражен — ка-кое! Чтобы тебя приманить еще больше, приведу маленькую выдержку: из статьи (я сказал бы — «из

его “гимна”») «Святая Русь» — II. «“Богомолье” Шмелева». (ст. 1-ая «Святая Русь» — «“Лето Господне” Шмелева»). Вот заключительные строки: «Русским художественным актом создана поэма Шмелева: видением сердца, сердечной символикой, глубокомыслием любви, молитвенным созерцанием; а э т о й силе духа подчинились все остальные силы его, в легком творческом согласовании. Прав Горкин: «одной рукой да глазом не сделаешь, тут д у ш о й р а д о в а т ь с я надо»...[359] — радоваться и любить. И петь.

Эта радость передается и нам. Она передается и всякому, кто не совсем еще, не до конца окаменел и иссох сердцем. Она будет передаваться из поколения в поколение «по всей Руси великой»[360], вызывая своим пением ответное пение в душах всероссийских «богомольцев», пробуждая и укрепляя русское национальное самосознание. Нерукотворным памятником будет жить эта поэма в истории русской литературы и русского духа. На великий, скорбный и страшный вопрос — «кто мы? кто мы в истории человечества?» — русские прозорливцы не раз уже давали ответ и Богу, и своему народу, и чужим людям. И ныне, на наших глазах, после всего испытанного и поведанного Иван Сергеевич Шмелев дал новый ответ, по-новому. И ответ этот сразу — д р е в е н, как сама Русь Православная, и ю н, как детская душа или как раннее Божие утро! И в этой д р е в н о с т и — и с т о р и ч е с к а я п р а в д а его ответа; а в этой ю н о с т и — несравненная религиозная и лирическая п р е л е с т ь его поэмы.

Т а к о России не говорил еще никто. Но ж и в а я с у б с т а н ц и я Р у с и — всегда была именно такова. Ее прозревали Пушкин и Тютчев. Ее осязал в своих неосуществленных замыслах Достоевский. Ее показывал в своих кратких простонародных рассказах Лев Толстой. Ее проникновенно исповедовал Лесков. Раз или два, целомудренно и робко, ее коснулся Чехов. Ее знал, как никто, незабвенный Иван Егорович Забелин. О ней всю жизнь нежно и строго мечтал Нестеров. Ее ведал Мусоргский. Из нее пропел свою серафическую всенощную Рахманинов[361]. Ее показали и оправдали наши священномученики и исповедники в неизжитую еще нами, революционную эпоху. И ныне ее, как никто доселе, пропел Шмелев...

Читая эту книгу, мы слышим духовным слухом, как трио ангельски-детских голосов поет от лица России, за весь наш народ, чудную песнь прежде-освященной литургии: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою»... И верим, и знаем, что воистину «исправится»...[i] [362]

---

[i] В цитате сохранены разрядка и пунктуация И. С. Шмелева.

Ты довольна, Ольгуночка моя, люба моя? Тебе я пропел, тебя я пропел... — ты ведь — ныне я это знаю! — и есть «живая субстанция Руси». И я люблю тебя, и в тебе — Ее, и в Ней — тебя. Ведь это ты, еще незнаемая тогда, когда писалось «Богомолье», но уже призываемая... Это ты — «молодка» с бусинками, янтариками, «совсем как девочка»[363]. Ты, Олёночек мой, и в юной Анюте...[364] — ну, ты, ты, ты... — и во всем «Богомолье» — для меня — ты, вся ты, моя русская девочка, — вся ты — душа моя. Я писал тебе: «Богомолье» спасло меня. Оля знала это, мучилась моим страданием и укрепляла меня: «пиши, милый... это самое твое святое... как я люблю его!» И я писал... я шел на богомолье... и — дошел. Я его силу знаю, этого моего «нерукотворного памятника». Господь помог. Его Воля. Благодарю Тебя, Господи! Это, Волею Господа, дар мне моего народа, его души, — от недр его. Какое же счастье — быть от недр его! И какое же счастье — творить так радостно, так светло-свято! Я испытал это. Вот *почему* я хотел бы, чтобы и ты испытала эту радость-счастье! Хочу, ибо я люблю тебя. Я слышу в тебе эту святую, эту непостижимую душевную красоту богомолья. Я слышал ее и в покойной Оле... В ней было это святое, наше... было. Оно было и в нашем Сережечке... — о, как бы оно сказалось! Она ушла. Но она передала-отдала меня тебе, Олюша... и тебя — мне вручила. О, ми-лая... нежная моя, голубка! Теперь ты веришь, что я твой, врученный... и верящий в тебя. Поверь же в себя, сознай себя.

Оля, когда я говорю, что творчество — жертвенность, это не значит, что все должно быть принесено ему. Остается все, только это все, все радости жизни — не главное и не должно заполонять все в человеке, заматывать его и закрывать главного. Я люблю жизнь и ценю и — вижу. Я пел жизнь, ты знаешь, и все прекрасное в ней — и до греховности..! — люблю. Но я и 3/4 не написал бы, если бы, с полной поддержки Оли, не смог бы сокращать себя! Нет, я не дался суете меня заматать. Меня уводил, ограждал от суеты-сует голос (Божий?) в душе. Но помни: не надо глушить этот «божественный глагол», надо слушать его, надо так чутко слушать и делать, чтобы «шумы жизни» его не заглушали. В твоей душе он поет, шепчет, зовет, велит. Храни его, слушай его. Преодолевай суету. Слушай его — и найдешь себя. Берегись «рассеянности». Не растеривай себя на мелочное, — отдавайся этому маленькому — сдержанно. Главное — да не утратится! Мой Илья... — вот отдача. М. б. слишком. Но это же — символ. В творчестве — радости жизни не утрачиваются, а воспринимаются в мигах очень обостренно и порой страстно. Пьяница

вольет в себя вёдра вина и не почувствует и 1/10 доли того, что вкусит знающий — в одном бокале!

Я увлекся — и почти не коснулся твоего чудесного письма. Я в следующем письме скажу о многом в нем. Ласточка, целую твои перышки, головку, под крылышками, у сердечка, грудку, — нежное тепло твое, моя птичка. Расцветай, полней, — наливайся жизнью, — я замираю, когда т а к грежу тобой. Тобой — земной, радостной, весенней. В грезах о тебе, в сладком бреду — сладкое и мучительное томленье. Слова эти... так это бледно, вяло... в сравнении с тем, что во мне творится. Да это передается не словами, а... полнотой всех чувств, всем устремленьем...

Целую тебя, всю.

Твой Ваня

[На полях:] Напиши же, наконец, о чулочках! Черных, конечно? да? Если бы было можно, я объяснил бы, что такое для меня — черные. Сочетание ж и в о г о и — черного газа (шелка!)... — необъяснимо в о л н у е т!

«Трэфль» постараюсь найти, Герлена.

Если бы я увидал тебя вдруг (!) на своем чтении!.. Знаешь, что сделал бы... ?! Встал бы и — молча склонился пред тобой. Но ты — и далекая — вся со мной. Помни. И пусть все — что угодно! Да. Для тебя буду читать. Знай это. И — думай. Я это почувствую. Будь со мной.

Хоть бы в снах приходила ко мне!

Мне не нужно тебя — «в рамке», «мо-дной»!

Как мой Илья[365], ночами я — с тобой. Что во мне порой творится... — безумие.

156

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.VI.42

Милое сокровище мое, Ванюша любимый!

Не писала тебе, т. к. ждала, что скажет анализ. Тот, первый, показал еще кровь (следы крови), а вот сегодняшняя порция, сию секунду узнала, — без всякой крови, совсем хорошая! Порадуйся, дружок! Сегодня могу встать на 1 час, и завтра тоже. Это доктор мне для дня рождения устроил. Мило? Я не ослабла. Ну, м. б. немножечко, от лежания. Вот увижу, как встану. Буду беречься. Ванёк, позавчера я мучилась болями в желудке, ужасно. У меня он здоровый, так что я думаю, что это уж не чуяние ли твоих болей? Теперь ничего. Ем все. Ванюша-светик, не оставляй меня долго без вестей о себе. Пиши хоть открыточ-

ки. Я получила в субботу от 26-го и 27-го унылые. Не грусти. Берегись, Христа ради, будь здоров. Не поддавайся мрачному от известий о «концах». Думай о других случаях: например, Мазини![366] По Коровину он в 80 лет женился[367] на очень красивой и молодой, и очень его любившей. Ты не должен поддаваться мраку. Ты — весь свет и жизнь! Больше всего я боюсь отрезанности от тебя. Кажется и не выживешь. Помнишь, как после первой моей болезни? Пришли же копию портрета![368] Я так хочу! Я пишу! Видишь, как сильна! Пишу и м. б. пошлю тебе! А ты? Пиши же, друг мой. Все будет хорошо! И. А., конечно, себе верен. До гроба будет верен. И весь вопрос только в том, где Дух! Господь все видит и, хоть не скоро, но правду Свою скажет. И ничего не значит для вечного, если мы-то еще ее не увидим. Себя и свое приходится забывать, как это ни больно. Да, ты прав — это Божеское, Вечное решение! В этом я согласна. Целую тебя и крещу.

Твоя Оля

Сегодня рождение Пушкина![369] Пришли о Пушкине.

157

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.VI.42

Милый Ванюша!

Тотчас же пересылаю письмо Сереже, чтобы он тебе переписал, составленное мной письмо, как ты указал. Только я не знаю, хорошо ли вышло. Как у тебя дела с чтением? Я ничего не поняла, что ты мне говорил о «Путях Небесных»[370]. Почему «поставить себе ловушку на "Пути"»? И, главное, в какой связи «Пути» с поездкой твоей? Или ты «закабалив» себя, как ты говоришь, для «Путей Небесных», не сможешь поехать. И рад? Дай Бог тебе всякой удачи! Обо мне не волнуйся: я, слава Богу, здорова. Опять хожу-брожу. Гостей никаких не было и не будет. Я и о. Дионисию отказала. Я пока что очень еще устала. На первую часть твоего письма (через С.) я не отвечаю[371], но не потому, что мне н е ч е г о сказать, а как раз именно потому, что, м. б. слишком много есть чего сказать. Для того, чтобы быть понятой надо очень много говорить, а я это не умею в письмах. И потому лучше вообще не трогать, да к тому же я и слишком всеми такими вещами волнуюсь. Иногда ночами не сплю, стараясь постичь тебя. Пушкина, Тютчева и Достоевского считаю во всем этом очень близкими себе и у них не вижу никаких вопросов. Иногда меня убивает твой взгляд на меня (в некоторых вопросах) как на ребенка, и тогда опускаются руки...

И все-таки кaaк же это не так! Хочется верить, что когда-нибудь ты поймешь меня и сможешь выслушать серьезно. А пока... остается потерпеть и помолчать, понабраться равновесия души и не быть кипятком. Это мне не полезно, очевидно. Почему-то Марина, видимо, дольше остается? Кто ее «провожатый»? Если это ее Виген[372], то — редко-благородная, чистая личность. Стоит ли еще его сама М[арина]?!

Розы твои чудесны!.. Но шлю одну.

[На полях:] Как твое здоровье? Будь здоров, душенька! Жду тебя и не смею верить!

Думаю, что скоро напишу еще. М. б. завтра же. Целую. Оля

158

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.VI.42

Ваня мой родной, бесценный друг мой!

Не могу собрать мыслей, чтобы охватить в ответ твое письмо от 8-го*. Во мне все куда-то стремится. Впрочем, это — мое основное: все куда-то мчусь!.. Ваня, ты не обращай внимания на «открытки от 27-го». Это вовсе не значит, что я душой опустошаюсь к тебе. У меня бывают полосы усталости. А в данном случае, видимо, даже просто спешка. Тогда, помню, был сумасшедший какой-то мой период угара... что ли. Я тебя тоже видела, как наяву... Я это старалась даже погасить. Ну, и естественно, что приходила другая полоса... Знаешь: мой давнишний друг, Иван Семенович Морев[373], он так прав был: «напишите мне, пожалуйста, дорогая Оля, но только тогда и в том случае, когда душа Ваша снова захочет говорить с моей, только такие письма ценны мне от Вас, и их жаждет душа моя». Это было в 1923 г. Мне не было еще 19-ти, а ему? — думаю, что за 60. И я знаю, что у него было «нежное чувство» ко мне, а я-то влюблена была вполне, — носила его скрипочку и шла за ним собачкой верной, ловя каждый жест его, не только слово. «Вот перед тем, как написать Вам, я играл, [1 сл. нрзб.][i] на рояле народную нашу песню (слова обычные, грусть покинутого любимым человеком), и мне казалось — что и сам я покинут, оставлен милой, любимой, родной душой...» Иван Семенович понимал, что бывает, когда «душа просит» больше обычного... Конечно, у нас с тобой еще и другое. Я изнываю без твоих пи-

---

* Кажется, я тебе 8-го тоже писала?

[i] Здесь и далее письмо повреждено.

сем, всяких, пусть даже и злые (если бы были!)... Но не кори, если иногда душа поприпряталась... У тебя тоже бывают «пустые» открытки! Да! Даже у тебя, Великого Ивана Сергеевича Шмелева! Подумай! Бывают (именно открытки), когда прочтешь и грустно станет, что вот она была, взяла очередь свою у письма, стало быть ждать, ждать... потому что она, открытка, ничего не дала... бывает, Ванёк. Я пустею часто... Я это знаю и этим томлюсь. Но чаще другое: вот вчера, я писала тебе, но не послала письмо, недовольна осталась и послала открытку. Странно: я настолько переполнилась всякими чувствами и чувствованиями, что не могла ни на чем остановиться. И т. к. письмо все-таки нечто очень ограниченное, то и получилось, что-то уродливое, «кривое зеркало» того, что рвалось во мне. И твое сообщение о хлопотах о приезде, и твое серьезное, то, о чем с Мариной, и многое другое... Во мне всхлынулось всякое... Радость твоего сдвига на поездку*, чувствование тебя на чтении, волнение за это чтение, разговор твой с Мариной... Я все вообразила так ярко, что мне казалось, что я чуть ли не на вокзал тебя должна встречать ехать. И доминирующим над всем... эта моя несчастная хворь... Я хочу то, и другое, я тороплюсь, я стремлюсь и... должна все т а а а к тихонько... Я хочу быть сильной, здоровой, молодой, веселой, а на самом деле: «осторожно! ты еще не совсем здорова!» Этот полет предельной скорости в душе, — и эта черепашья поступь в — яви! Да! Вань, я ХОЧУ писать, но н е м о г у! Я рвусь, вся лечу, [но] хозяйство, болезнь, суета!.. И мое страдание от этой дисгармонии беспредельно. Пойми же! Ну, нет никого, на кого бы я еще кроме мамы свалила бремя хозяйки. Все же есть хотят! И как все трудно. Ну, если бы здоровье, то я бы чуть свет вставала, управлялась бы... Хотя не знаю, нужен «досуг»... Покой, и даже лень... Именно лень. Я не могу сказать себе: «от 2 до 4 у меня есть время, мечтай, Ольга, пиши!» А вот как раз и не захочет Ольга мечтать. И будет все это похоже на здешних: «давайте веселиться!» Ах, чего я тебе жую, ты же все это знаешь. Мне до безумия хочется уйти из повседневщины, но я не могу!

Я тебе никогда не писала об этом, но скажу, что меня, например, ужасно убивает, что все на маме. Она не ропщет, но ей это не под силу, я знаю. И когда я пишу иногда, то у меня сосет червяк. Этот же червяк не позволил мне и в Художественной школе доучиться за границей. Понял? Мужчина — другое дело. Мы же — Марфы[374]. Кто же вас накормит? Моя трамбовка — недоразумение, она больше ломает, чем помогает. Пищат цыпля-

---

* не верю, что приедешь. Не знаю почему, — не верится. Уж очень ты брыкался все время.

та, их 24 шт., куры, кролики, телушку опять работники довели до болезни. Ни на кого нельзя положиться. Я действительно не знаю, что мне делать. Посоветуй! Невозможно найти прислугу. Вот хорошо бы нашу, какие были у нас в России... Она бы все у меня взяла в свои руки, освободила бы, дала бы волю... (в смысле свободы). У меня такая жажда одинокого* отдыха, «давно завидная мечтается мне доля, давно, усталый раб, замыслил я побег. В обитель дольнюю трудов и чистых нег!» О, как это понятно мне! В это воскресенье я в слезах (покаюсь тебе, что плакала), даже рыдая, говорила золовке[375]: «мне хочется одной, в тишине отдохнуть, я не поправлюсь, я устала...» У меня была усталость от этой негармоничности: этой спешки души и беспомощности наяву. И когда так бывает, то я впадаю в тоску, что не поправлюсь... Мне не терпится тогда, хочу скорее быть здоровой. Но ты не волнуйся, я очень «минутная», я предаюсь всегда страстно и гОрю, и радости. У меня нет границы, в чувстве. И когда мне тошно, то действительно до предела, до смерти. И тогда все мрачно. Но уже через 1—2 часа, я могу очень радужно смотреть вперед и радоваться простому кваканью лягушек. И меня немногие понимают в этом. Вот, например, мама этой моей структуры не понимает. Мне кажется, что они считают тогда мои переживания несерьезными, если они так же мгновенно проходят, как мгновенно и появляются. Но это не так. Я так сильно переживаю, что, если бы да это продлить, то не хватило бы человеческой возможности пережить даже. И как трудно жить так! Я могу ужасно сердиться, отрицать все, что является объектом гнева, до смерти страдать. Но если я узнаю, что я не права, что я ошиблась, то мгновенно все проходит, я могу на коленях просить прощения. Но не переношу неправды. Никакой.

Ну, довольно! Да, молодка в бусинках... чем-то сходна! У меня бывает такое же чуть не помешательство на безысходности. Будто весь мир вокруг меня запетлялся... А все так просто на самом деле! И мне хочется, до страдания хочется, к старцу... Я давно уже собираюсь. Но где они? Одного знаю. Писала в 1940 г. Телеграмму послала ему... Война отрезала его... Мне кажется, что мое «паломничество к старцу» (оно в душе у меня) происходит именно совершенно точно в таких же состояниях души, как у «молодки».

Меня мучает одна картина... Хочу писать, красками. Я видела сон... Опять сон! Но что же делать, коли я во сне живу.

---

* Это не значит, что я *и* без тебя тоже думаю при этом «одиноко». Я не ощущаю возможности встречи с тобой, потому и хочу хоть одной отдохнуть. Я этого «одиноко» хочу для трудов, для мечты, для ухода из всего суетного. Ты это поймешь.

Удивительный сон... И такой пластически-красивый... Художественный сон! Какой свет, какая игра света, какой символ, какое настроение! Я все еще в его обаянии. Как нежно мог бы его дать Левитан, как трепетно — Васнецов*[376], вероятно, «дыхательно», как мистерию — Врубель. Нет, это тема для Васнецова... Так чувствую. Да, Врубель тоже дал бы, но «беспокойно»... а этого нельзя... Хочу сама попробовать. [Нет] только уменья. Горит во мне и просится наружу много, много... И разбивается о... неуменье? Правда, Ваня... И «н е р а д и в а» я. Это тоже правда. Без напора. И воли мало. Постоянства в работе, при неуспехе нет терпенья. Что-то от «молодо-зелено», — хотя и не так уж молодо. Что-то «бродит». Кобылица молодая?[377] М. б. ты и прав... Я хочу узнать себя! Не для честолюбия, а для того, чтобы узнать, могу ли что дать другим. Я очень издергалась душой. Ах, если бы увидеться с тобой, — все бы сказала... Но, пожалуй, ты-то как раз мне и не судья. Ты же с о з д а л меня! Смотреть будешь через свое создание. Хочу И. А. увидеть. Неужели никогда больше не доведется? Хочется исповедоваться у такого, как он. У ног старца молча все выплакать и все открыть... Где старцы? После войны уйду домой, если жива и здорова буду. И, заметь, без всяких предпосылок. Если бы ты знал, какой сон это был! Но я его дам тебе в искусстве, — не иначе! Но знай, что я проснулась от слов: «я понимаю, как “это” видел Шмелев, почему любил он это, и почему так описал». Я плакала во сне, хотела осушить слезы, чтобы еще разок взглянуть и... когда взглянула, то... все исчезло... Я проснулась.

Я говорила это не сама себе, а кому-то, и потому не «Ваня», а «И. С. Шмелев». Этот сон привиделся мне на утре, между 1/2 8—9 часами. А ночью пела я «на реках Вавилонских»[378]. Тоже очень пластический сон! Ваня, розы твои чудесны. Посылаю одну, далеко не самую лучшую, ибо та не вошла бы в конверт. Все, полученные мной цветы, уже увяли, — только они стоят нетленны! Обнимаю тебя в них...

[На полях:] Посылаю укропу свежего, пощипли в суп за мое здоровье!

Не думай искать «Трэфль» для меня! Рассержусь! Серьезно, Ваня!

Ты прав — нужно тебе продолжать, а мне н а ч а т ь. Ну, хорошо, отступи от меня на время, как ни больно. Твори, Ванёчек. Я понимаю. Но, увидимся сначала!?

---

* В России, знаешь, я работала на переписи однажды под руководством некоего Васнецова, родственника художника, кончилось довольно лирически, он был очень влюблен.

Ну, Ваня, милый, не хватает бумаги опять. Жажду, жду, жду твоего ответа на мое письмо 27-го V. Перечти его и напиши. Или ты его засунул и трудно найти? Поищи! Приезжай, дружок! Я чувствую себя хорошо. Хожу. Берегусь. Мне статья Ивана Александровича о тебе — не новость, я это знала! Он тебя еще и не так хвалил.

Целует тебя твой Оль-Оль

159

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.VI.42

Ванечка, счастье мое, мне так тревожно-трепетно: все думаю о тебе. Почему-то трудно собрать себя. Твое письмо от 8-го чудесно. Жду и жду ответа твоего на мое от 27-го V, как ты обещал, а сама не знаю уж, что я там писала.

Я так всколыхнулась вся душой, вся трепещу, горю от одного твоего обещания хлопотать! Приедешь ли? Когда? Господи, чтобы было все благополучно! И... хоть бы мне остаться здоровой! Я так теперь особенно боюсь заболеть, — приедешь, а я хвораю. Вот был бы ужас! Как обидно мне, что возобновилось это: я так хорошо поправлялась. Но, Бог милостив, м. б., теперь пройдет! Я тааак осторожна. Ты спрашиваешь, почему не сплю калачиком, — да все потому же: боюсь вреда почке. Ты не представляешь, до чего я берегусь, и вот... все-таки. Сейчас у меня была «с визитом» сестра Фаси[379]. Рассказывала, что у нее тоже такое было. Целый год мучилась, но даже доктору не говорила, а только про себя таила. Недавно она тоже очень болела, но только иначе. До чего же надоел холод и дождь. Кажется, никогда не будет тепла. А как хочется! Ты пишешь — «жарища». Если бы она пришла! При солнце вся жизнь лучезарней как-то. Ах, Ваня, неужели мы увидимся?! Мне что-то не верится! Сейчас так хорошо поют дрозды в дождик. А утром какая-то пичужка все кричала: «пиить — пиить!» Будто пить просила. И знала я уж, что будет дождик.

18.VI Продолжаю. Ванюшечка, солнышко мое любимое, единственное! Сегодня так я тобой взволнована. Все думаю о тебе. Как-то ты, что делаешь, что думаешь? Как живешь? Господи, если бы можно было, как бы радостно я тебе всего послала, чего у меня много. Зелень ты достать можешь? Здесь трудно. Но с моего огорода (именно моего) все я имею. Только огурцов и томатов еще, конечно, нет. Все бы я тебе послала! Ах, молочка хорошего, густого! Куры — (тоже мои и мамы) — плохо стали нестись. И надо много доставить яиц государству, хотя и не полу-

чали мы карточек на корм им, а от себя уделяли. Боюсь, что не соберу норму. Цыплятишки растут. А кролики умирают, — три уже умерли. Давали какой-то шприц[i], но не помогло. Мы прямо исстрадались душой с мамой. Она прямо идти утром к ним боится. Ну, расписалась я о хозяйстве, а совсем это не то, что меня всю заполняет. Я была сейчас у всех этих зверюшек, — потому и пишу! Ванечка, роднушечка ты мой! Что? Что я могу для тебя сделать?? Я так бессильна... и так хочется для тебя что-нибудь сделать! Как счастлива я сознанием, что ты где-то думаешь обо мне! Как недостойна я твоего такого чувства! Розы твои я утром и вечером целую, — они чудесны и... с в е ж и!! Сегодня 10-ый день, а они все свежи и благоуханны! Вот, «от сердца»-то! Я выну их сегодня из воды и дам засохнуть. Я сохраню их. Все цветы, которые я получила, уже увяли, только они красуются. Мне масса радости в них, но, Ваня, умоляю тебя, никогда не делай этого больше: не балуй меня, не надо, прошу, это меня так смущает! Пошли один цветочек в письме — довольно! Разве надо эти роскошные траты?? Умоляю тебя, Ванюшечка! А то я буду сердиться! Теперь такое время, что роскошь — грех! Не спрашивай меня ни о каких таких баловствах, — я не отвечу все равно. Не выдумывай искать «Трэфль», — это же я для тебя писала! И шелковых настоящих чулок я теперь тоже не ношу, — это luxus[ii] не по времени. Не хочу! Не потому, что не могу достать, а потому, что именно не хочу! Ну, голубчик, не надо! Я каждый день живу тобой... Вчера попробовала твои грушки... Меня убивает, что я не могу тебе ничего послать. Рубашка готова, а послать не с кем! М. б. будет M-me Boudo? Напиши тогда заранее! Или, м. б., ты сам приедешь? Я не могу поверить, я даже боюсь думать... Господи, как бы это было просто все в былое время!! Но, видно, так нужно! Сегодня Сережа мне прислал копию своего письма по-немецки для тебя[380]. Я просила его послать заказным. Ваня, напиши мне обязательно, знаком ли ты с «пассией» Марины?[381] Кто этот «провожатый» Марины? Это редкостный по душе человек. Не он ли заходил к тебе с ней? Такой маленький, «вихрастый» какой-то, может быть «кипяток» и «зацепка», но дивный по душе и сердцу. Армянин, но русский больше, чем многие русские сами. Это воистину кристальной души человек! И еще скажи одно, и не забудь ответить: фамилия Охтерлони[382] в России, вероятно, ведь только одного рода? Или были представители и других «ветвей», не только семья О. А.? Мне это очень надо знать. Странные бывают случаи в жизни. Ответь! Остался ли кто там из мужской линии?

---

[i] Здесь: делали уколы (*от нем. Spritze geben*).
[ii] Роскошь (*нем.*).

Как дела с твоим чтением? Как я бы хотела быть в зале! Господи, как бы хотела! Тихонечко бы, чтобы ты не видел. Ах, Ванечка, как люблю я тебя! Браню себя, за то, что не умолчала о своей болезни, повторившейся 29-го мая, ты мучился верно? Но мне невозможно было не сказать тебе, — мне легче переносить с тобой вместе. Да и не могла соврать, сказать «здорова». А то бы больше и не верил. Но теперь мне больно, что ты опять, наверное, «в миноре»? Ты не тоскуй! Бог даст, пройдет. Теперь жду ответа от Шахбагова («кавказца»), он очень трогательно-заботлив. Получила письмо от его жены[383] (большое, вежливое, но сухое) и от него, маленькую приписку, но очень сердечную и глубоко-«докторскую», — но они скрестились с моим описанием последней болезни, и потому там только его вопросы и вопросы, уверенность, что, наконец, что-нибудь да найдено и т. д. Мне бы хотелось к хорошему интернисту, поговорить о сосудах. М. б. какие-нибудь спазмы? М. б. кальк[1] надо принимать? Салатов я ем множество и, думаю, что вся провитаминилась. Солнца мало, — вот досада! И что за лето?! Холод! У вас тепло? Был ли ты с Серовым на прогулке за городом? И удачно ли? Понимаю, как тебе не хватает леса, полей, воздуха! Ты же весь от природы! От н е д р! Да, верно! Ах, Ваня, ты писал, что твоему другу (кто он? все хочу знать!) хотелось бы иметь выдержки из письма ко мне о творчестве. Переписать тебе для него? Я сделаю это с радостью, если ты хочешь! Напиши! Напиши мне, кто твои друзья, познакомь же и меня с ними в твоих письмах! И я их тоже полюблю. Я и твою караимочку люблю... Она мила, внимательна к тебе, — мне радостно это! И другая, единоверка, тоже. Все, что мило, добро и ласково к тебе, — и мне мило. А как «Арина Родионовна»? Давно ты о ней замолк. Где сейчас Марина? Уехала? Помогли ли ей врачи? Ты не знаешь, служит она где-нибудь в Б[ерлине]? И где? Она работала раньше в лаборатории, куда я хотела перейти от невыносимости своего шефа. Довольна ли она? От И. А. давно опять ничего не имею. С. сегодня пишет, что он ему (Сереже) писал; обещал С. привезти письмо. Мы их всегда сообща все читаем. Им трудно материально, кажется, но как-то перебиваются. Как он выражается: «к о р м и м с я». Ужасно, что в силу условий почти, я не могу им ничего послать. Ведь это же для нас русских самое светлое счастье, хоть чем-то, хоть чуточку, облегчить жизнь таким людям. Я даже цветов не могла ему послать на Троицу, а он их так любит. Хоть бы радость маленькую, малюсенькую доставило. Запрещено было. Ну, ничего не поделать. Обидно только и больно, что на насущные вопро-

---

[1] Известь (*от нем. Kalk*).

сы дня уходят и силы, и время, а сколько бы дал людям И. А., если бы у него взять все эти мелочи жизни?! А Т ы? Хоть ты и «брыкаешься» и уверяешь меня, что хождение за молоком даже тебе полезно, все это так, — но... хорошо и полезно пройтись, если это по своей воле, а не обязанность, которую ты должен и во всякое время и во всякую погоду выполнить... И все эти посещения, звонки, все мелкие заботы дня одинокого человека... Я-то знаю ведь! И. А. не один, но Н[аталья] Н[иколаевна] — ничего не делает. Ты знаешь, какая она? Она вся для духа, а И. А. помойные ведра за нее по лестнице выносил, чтобы «Талочку», «барыню» никто с ведром не увидел. А он мог! И мы все это позволяли (хоть мы лично и Квартировы по мере сил кое-что и старались)! Позор нам! Он и в магазинах все закупал, чтобы она не наткнулась на какое хамство (которого было вволю). Я ломала голову и все еще ломаю: неужели мы это не можем изменить? Почему мы все так мало заботимся и радеем о наших служителях духа? Господи, да ведь тебя, осиротелого без твоей Ольги Александровны, должны, обязаны, окружить всем, всем, теплом, лаской, взять все заботы от тебя!.. Ах, конечно, есть такие, которые заботятся, я знаю, но все это носит случайный характер. Надо бы организованно все это устроить. Наладить все. Мне больно, что я ничего не могу тебе сделать и в хлопотах о поездке. Только еще лишний балласт тебе. Я бы хотела всюду сама за тебя бегать, достать визу, достать билет, взять такси и подъехать к твоему дому за тобой: «Садись Ваня, и поедем!» Чтобы все, что тебе надо было, — сводилось бы к только поехать! И все же это было так возможно! Почему я никогда не была в Париже? Не понимаю. Я однажды чуть-чуть не уехала. Для меня это было буквально: пойти на вокзал и сесть в поезд. Никаких виз! И я однажды совсем было решила прокатиться. Были льготные поездки почему-то, и за 33 гульдена можно было ехать туда и обратно II кл. даже. Почему не поехала? Не тянуло ничто. О, если бы теперь! Ну, что себя дразнить! Ванюша, я поисправила рассказ свой о говеньи[384], — м. б. прислать его тебе? Дружочек мой, Ванюша милый, ласковый, родной мой!

Ваньчик? Ты любишь укроп? Посылать тебе его, чтобы каждый раз в суп его сыпал? И если он засохнет, то это тоже ничего, — я его на зиму всегда сушу. Я в каждом письме буду посылать. Я очень его люблю. У меня почему-то с ним связано воспоминание о пароходе, обедах в рубке, о воскресеньях (верно в пироги рубили его?), не знаю, но всегда какое-то радостное чувство, когда его слышу. Кончаю уже в 2 ч. дня. Розы твои дивные я вынула из воды, — ни единый лепесточек не упал, они чудесны! Раскрылись и застыли. Я их связала и по-

весила у окна своей комнаты сушиться. Ванечка, мой любимый, тебя в них буду видеть, тебя ласкать глазами, обнимать всем сердцем. Пиши мне! Я так жду! Ванёчек, для «Путей Небесных» претерплю и редкость писем. Я не смею тебя уводить от твоего Святого! «Пора, мой друг, пора» — сказал ты, а мне стало чего-то тоскливо. Но я понимаю! Правда!

Ты пишешь? Что? Почему никогда ничего об этом? Или это спрашивать нескромно? Ванюша, скажи, переписать ли мне твое из письма для «друга»? Целую тебя, мой родной.

Оля

160

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.VI.42

Дорогая моя Олюша, 6 дней ни словечка от тебя. Я весь в тревоге о тебе. Так серьезно больна... ?! иначе ты написала бы! Ведь ты знаешь, как я весь издерган... — ты в неизвестности, а мне еще послезавтра читать публично, (я всегда перед этим жестоко взбудоражен) да еще меня теребят по разным острым вопросам, нет покоя, — приходят, пишут, запрашивают... — и все это отзывается на нервах, а это ведет — к болям. Не могу допустить ни на миг мысли, что ты сознательно не пишешь — чтобы возместить мне за то, что я не каждый день пишу тебе?! Но если бы ты видела, как проходят дни мои..! Я весь замотан, — с очень больными вопросами обращаются, иные — использовать хотят, считаясь с моим значением в эмиграции... После чтения я хочу хоть на неделю уехать из Парижа. Все места давно разобраны на чтение, и должно быть будет недовольство при входе, когда явятся за билетами, в воскресенье. В зале нельзя будет дышать, а мне читать — му-ка — без воздуха. Извести, хоть словечко! Не сплю. Целую. Твой Ваня

161

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.VI.42

Дорогое мое сокровище, Ваня мой, ласка, счастье, радость моя! Ванюшечка мой единственный, родной, прекрасный! Как полна душа моя тобой, как люблю тебя всей полнотой сердца, как всякой думкой лечу к тебе, томлюсь тобой, живу тобой... грущу... очень грущу.

И эти твои боли! Ванечка, я ими тревожусь. Сегодня был у меня мой «домашний» доктор. И... очаровал меня! Но это по порядку! Очень кстати пришел, — я только что собиралась ему звонить и просить достать висмут. Попросила. Оказалось, что он мне тогда из своего запаса дал, и у него тоже или не так много, или нет. Жалел и говорил, что «постарается поискать». Тогда я взяла у него рецепт и буду искать в Утрехте. М. б. еще есть где-нибудь. Не понимаю, почему так трудно. Доктор мой этот очень охотно бы дал, обещал (искренне) поискать. И теперь о себе: он мне принес, как бы ответ на мои томленья. Знаете, я читал много за последнее время о почках и нашел в одном австрийском журнале, что подобные вещи бывают, и именно совершенно без видимой причины. Подобные кровотечения называются «exsencion haemathurie»[i] (не знаю, верно ли exsencion?) или еще другие случаи: «renale haemophilie»[ii] (не ручаюсь за правописание). И вот он предлагает мне пойти с его описанием моего случая в лабораторию, где работает хороший врач — его знакомый. Тот должен то самое сделать, что мне всегда казалось таким необходимым, для чего я и искала интерниста, который бы мог меня направить для подобного исследования куда надо. Понимаешь, я всегда боялась, что меня опять затаскают по больницам и всякий невежда (ибо по сравнению с van Capellen почти все таковы) будет считать своим долгом лично еще убедиться. Этого теперь не будет. Я очень довольна.

Доктор не исключает возможности какой-нибудь маленькой анатомической аномалии, по существу ничтожной, но в связи с особенностями крови вызывающей кровотечения. Очень подробно говорил и под конец добавил: «я не хочу скрывать от Вас, что операция почки почти всегда имеет очень большую вероятность удаления всей почки, поэтому давать себя оперировать для того, чтобы только “посмотреть” — крайне нежелательно. Конечно, многие живут и с 1-ой почкой, но я определенно советую дать себя оперировать только при 100% уверенности необходимости сего». Вчера же вечером я собралась с духом и звонила van Capellen. Тот очень спокойно принял весть о кровотечении и только спросил: «erg?», т. е. «сильно?». Уверял, что авитаминоз не может так сразу ликвидироваться и что ничего страшного нет. Фрукты, зелень еще и еще... Буду стараться. Я счастлива, что у меня огород. Ягоды еще не продаются. Я уже «сговорилась» с одной девушкой, которая в Wickenburgh носила мне клубнику и малину. С зеленью хуже: здесь приучают

[i] Беспричинное кровотечение (*фр.*).
[ii] Почечная гемофилия (*искаж. фр.*)

публику варить крапиву (помнишь русские крапивные щи?) и даже обязывают при покупке 1 кило зелени, покупать и крапиву. Она, кажется, очень полезна?! Как ты справляешься? Ну, довольно, о болезнях пора и перестать. Я потому это «во первых строках моего письма», — чтобы тебя успокоить сразу. Не томись, Ванёчек. Я в этот раз не так отчаиваюсь. Ты не заметил? Ванюша, не глупи с мелочными штучками! Я достану (если посчастливится) для тебя висмут с огромной радостью. Какие еще переводы расчетов?! Ты откуда это такой мелочной?? Мне даже неприятно писать об этом. Что за счеты?? Я поняла бы до некоторой степени твою щепетильность, но правда же, уверяю тебя, ты никому не обязываешься. Это только мое было! Не хочу распространяться на эту тему, но поверь, что это так. А если ты и передо мной так мелочно себя держишь, то меня это очень удручает! Кончено! Ни слова!

Ванюшенька, ласковое солнышко мое, как письмо твое чудесно, как светло оно, как удивительно тепло! Я именно и молилась преподобному Сергию, мама акафист ему читала, на коленях, а я, лежа пластом, мысленно тоже склонилась вся перед Его Святым ликом. И преподобного Серафима я просила и прошу. После того акафиста (только что до него была алая кровь) я было боялась даже посмотреть, но мама сказала твердо: «не бойся! Все хорошо будет». И верно... так и не повторилось. Только через 2 дня старая вышла. И так хорошо все устроилось: ждали доктора, нервничали, думали в больницу, м. б. пошлет. А вдруг приходит работник наш и говорит: «доктор на роды уехать должен, потом будет». А когда он «потом» приехал, то уже ничего и не было. И осталась я дома. Ах, опять на свое сбилась!

Ванечка, не трепыхайся о чтении. Конечно, полный зал будет. А если почему-либо кто не придет, то верно локти кусать будут, что почему-либо им нельзя было. Отчаянно, что нет газеты. Да и жизнь-то у всех шальная. Но я уверена, что все придут. Кто же к тебе не рвется?? Чудашка ты мой!! Ванёк, как жаль, что полненькую Олю не получил. А я еще смущалась, что очень уж там «скульптурно». Ветер был. Попрошу у Сережи отпечатать еще. Пошлю. Ах, мое милое, живое солнце! Жизнь моя! Как плакала я над письмом твоим сегодня... и радостно, и горестно. Как радостно любить так, узнать такого, так близко ощущать твою единственную, твою бессмертную душу... быть такой дорогой тебе, любимой... и таак все безнадежно! Так далеко ты... А душа рвется к тебе все миги, все минуточки жизни! И для других это так возможно — видеть тебя, быть с тобой. А я? И всякий утраченный день, всякий час, — не говорю уж об этих 3-х годах! — утрачен, потерян, погиб для

жизни! И я запуталась вся. И я не знаю ничего... Я — больная, теперь еще глубже упала в бездонность безысходности. Прости, мой Ванечка, за эти скорбные слова. Так я переживаю. Конечно, эта скорбь, скорбь о тебе — ведь тоже счастье, но... Милый друг мой, как оно больно! Сегодня я все время чувствую на глазах моих высохшие слезы. Плачу. Маме сказала: «Господи, зачем узнала я его?» и тут же: «какое счастье было его встретить, узнать, и знать, что в Божьем мире есть такие!» А для себя я еще сказала: «и быть таким любимой!» Ах, Ваня, милый, родной мой, светлый! Как я молюсь на твое все! И рада, что не скорбное наше взял, а «Крестный ход». Как чудесно! Как гармонично. Как существенно! Как весь это — ты! Ах, Ванечка, я молюсь на тебя! Когда ты пишешь: «чтобы еще больше привлечь тебя». Это о статье И. А. о тебе, — то все это не то! «Привлечь» меня нельзя больше... И все твое и о тебе, что еще и еще говорит о гениальности твоей, — не то это... Мне не надо этого, чтобы быть у ног твоих. Наоборот, когда я вижу тебя — Гения, то ты для меня «И. С. Ш.» — не иначе. Не могу иначе. Я стыжусь тогда себя перед тобой, я так мала и так ничтожна. О, как страстно хочу я быть тем, чем кажусь тебе!.. Как хотела бы быть так одаренной, как видишь это ты! Почему у меня нет фантазии, нет «замысла». То, что бы я хотела дать, — все свое, о себе, а не из себя о мире. Но я даю тебе слово писать. И буду. Я боюсь разочарования твоего во мне, в созданном тобой обо мне! О, как боюсь. И совсем я не «очаровательна». Боже, Боже, ты так меня возносишь! Только одно то верно, — это все мое сердце к тебе! Я постоянно в болезни любви. Да, это болезнь. Ни о чем другом не думать, не интересоваться ничем, как только ты, ты, ты и о тебе! День и ночи! Мучительно, и все же не отдам этой муки! Если можешь, уйди в «Пути». Что-то нужно, какой-то «вентиль»[i], как говорят немцы. И мне что-то нужно. Писать? Нужно действенное проявление тех сил, которые переполняют сердце, душу, заливают и туманят разум. —

О, не пиши это ужасное «поздно»... Вечно ты это — «поздно». Не надо! Нет, не поздно! Не хочу, чтобы было поздно! Что бы дала я за 1936 г.[385] Вернись, вернись! Я подошла бы к тебе и сколько бы тебе сказала. Ваня, не «чужой» ты был мне, — ты не прав, а я робела: «куда же лезть к великому человеку, в великом его горе?». Я никому никогда не писала и тебе написала от переполнения чувств, от поразившей меня родственности твоей со мной по духу, от живого воображения мною твоей одинокости до... почти что переживания ее. Я давно тебе писать хотела. Не решалась. И еще однажды, скажу правду, — (ужасно

---

[i] Здесь: выход (*от нем. Ventil*).

мне это теперь подумать!) хотела написать Плевицкой[386]. Она меня «взяла» тогда исполнением народных песен, и: «а девичью совесть вином залила»*[387]. Я ошиблась тогда. Мне она казалась искренней. Но ошибся даже и И. С. Морев. Я писала ему о ней и сказала, что гениальное исполнение Шаляпиным «Блохи»[388] не дало мне и 1/100 доли того, что дала почти безголосая Плевицкая ее русской песней. Шаляпин в тот год не пел почему-то народной песни, в Берлине. И И[ван] С[еменович] мне восторженно ответил, что понимает это. Тогда я была очень молода, ах, юна даже, я ошиблась. Хотела сказать ей просто «спасибо», но что-то все же удержало. Я не писала. И больше никогда этого чувства не было. Понимаешь, я не к ней *лично* чувствовала благодарность, а к этой искренности, как мне казалось. А м. б. она и была тогда искренна? И м. б. тоже «залила совесть»?[389] Я Павловой[390] еще восторженно в глаза смотрела, у ее автомобиля; она ручку свою дала, я чуть не поцеловала... из жалости... Павлова плакала! Почему-то был очаровательнейший ее балет провален. Интрига! Она усталая, и огорченная, бледная до крайности, одна в холодном автомобиле, плакала. Мой отчим ей что-то говорил восторженно и горячо, со свойственной ему теплотой и искренностью. «Я не довольна, что Вы, я очень недовольна собой сегодня». И: «...ну я рада, что доставила кому-нибудь радость». Я подбежала и, задыхаясь, только могла: «Спасибо, спасибо!» Она дала ручку... Почему я ее не поцеловала?? Это был ее последний балет в Берлине[391].

Я слушала Бунина. Он мастерски читал. Но сердца не тронул. За ним бегали дамы и весь он был какой-то «dandy»[i] — холодный и «куда выше всех». Не свой! О, нет. Около И. А. я благоговейно стояла, не рискуя подойти, чувствуя как бы ограду между собой и им. Много спустя познакомил Сережа. К тебе рвалась душа моя... Рвалась тогда уже. Ты как-то именно сердце ухватил... И долго я думала о тебе... Да, конечно, как о писателе — редкостнейшем человеке. Иначе думать я не смела! Когда И. А. сказал: «Подумайте, какое горе, он только что потерял жену, и какую!» У меня сжалось за тебя сердце. Чудовищна казалась мне эта утрата. И, помню, было так все время, долго, долго, неопределенно грустно: подумаешь: что такое? — ах, да, бедный, бедный! Знаешь, как это бывает: случится несчастье, давит все время; проснешься и еще не осознаешь яви, а уже на сердце смутно что-то давит: «что такое?», — «ах, да...». Я не вру, так это было. Я была задавлена тогда и своей жиз-

---

* Я *не* люблю «Ухарь-купец» и вот тем удивительней мне было услышать у нее так. Потому, видимо, и очаровалась.

[i] Щеголь *(англ.)*.

нью. Мало у меня было света... Не подошла... Ванечка, вижу тебя такого, как пишешь ты... «азартничали бы»... да не упиваясь, пили бы жизни чашу! Знаю, Ваня. Я знаю, как бы было... И твой «уход» для творчества, — это было бы счастьем... Знаю. О, я умела бы ждать тебя! Еще больше обогащенный пришел бы ты ко мне обратно! Я все это знаю, до трепетности яви. И потому еще несносно больно... не знаю, какая я... Ты меня рисуешь. Я не знала такого счастья до тебя, не знаю, какая я, когда раскроюсь вся ему, этому счастью навстречу. Какое было бы блаженство открыть тебе всю душу, отдать тебе ее. Все, все сказать... Ваня,.. «а счастье было так возможно, так близко...»[392]. Пело, недавно я могла услышать отрывки «Евгения Онегина». Как рыдала я, Ваня. Я себя Таней увидала. Какой же ужас вот такой их встречи... Каждое слово, ложилось в сердце. У нас здесь нет вины своей, что... невозможно. Но Господи, как все же больно... С восторгом я жила бы для тебя всем, всем, что нравиться тебе могло бы. Все эти мелочи обычной жизни, беря на службу нашей любви. Я понимаю тебя. И очень люблю, что ты такой... Обожаю тебя: от Горкина твоего, от «недр» твоих, от Лавры твоей чудесной... до.., ну, да и... до «Герлена»! И аромат Лавры еще святей, еще чудесней! И все бы тебе простила! Даже это твое желание... знаешь, о девушках простых что писал? Да, простила бы, потому что эту силу я понимаю. И за это тебя еще больше люблю. Восторгаюсь твоей любовью к простонародью. Люблю и я. Хлеба, закат, «нагрев», проселочная дорога... конопля. И благовест, а «Свете тихий»! И ты — бесценный мой мечтатель! Какое чудное ты выбрал место из «Богомолья»! Я счастлива! Конечно, буду я с тобой! Господи, хоть бы цветы пришли вовремя! Я так просила! Хоть бы красивые были! Они же жулье. Я получила от магазина открытку, пишут, что выполнено будет хорошо, благодарят за «доверие и заказ».

Серов — шляпа! Чего он разболтал тебе все? Вот так сюрприз! Я не могла доставить в зал, т. к. это воскресенье, не рисковали. М. б. Серов не сумеет их сохранить за ночь?

Целую тебя, Ванечка мой, и вся живу тобой... И воображаю тебя, «толкающего меня к пределу «моды», «шалого», как пишешь ты.

Как я люблю тебя, как ярко чувствую это счастье, как благостно люблю, и как же сумасшедше! Не могу писать тебе то «определение», — ничего особенного, но чувствую, что написав, сниму такой[i] дивный флер. Оля

А вот с к а з а т ь, глядя в глаза, могла бы в с е! Все!

---

[i] В оригинале: какой.

162

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.VI.42 5 ч. вечера

Ванюшечка, моя светлая, моя лучезарная радость!

Ты читаешь сейчас? Ты горишь? Ты держишь свою Олю в сердце? Я все время с тобой и о тебе, дружочек. И вчера, так радостно мне было думать о тебе... так ныло сердце! Получишь ли ты вовремя мои цветы, и хороши ли будут? Досадно мне и больно будет, если неудачно выйдет! Ах, Ваня мой, как радостно любить тебя, и как же горько, что нет тебя! Как ждать буду вестей твоих о чтении. Все опиши. Не устал ли слишком? Как я за тебя волнуюсь! Ванюша, солнышко мое! Мне кажется, что мы встретимся с тобой, Ванёк! О, сколько скажу тебе, спрошу, учиться буду у тебя. Как много, много сказать надо! О, Ванечка, как я мучаюсь вопросом творчества... Не сердись, не брани меня. Поверь, что я не «ною», не «вою», а серьезно мучаюсь... Я такое бессилье чувствую в себе. Ванёк, я пошлю тебе свой «Пост»[393], но ты, — прошу и молю тебя —, не очень стыди меня за него и не поощряй к писанью еще и еще. Это не случайно «н е в ы ш л о», а просто со всей натуги я не могу ничего лучшего создать. Я перечитала сегодня твой «Пост»[394] и пришла в ужас, как я натаскала у тебя всего, но я клянусь тебе, что *не* сознательно. Поверь мне! Перечитывала вчера Пушкина и... когда сегодня стала было переписывать свою бездарь, то упала духом. О, не подумай, что дерзала бы по П[ушкину] равняться, — конечно нет, но я увидела убожество свое. Когда я это так ярко сознаю и, кроме того, не чувствую ни единой темы, то мне тошно до ужаса. Не нудь меня, Ваня, стать тем, чем быть я не могу. Все, что писалось прежде, до тебя — ничто по сравнению с тем, что сказал ты. Ты исчерпал *всю* жизнь в литературе.

Для меня ты выше Пушкина. Я это не могу объяснить, но так чувствую. Потому что, когда читаешь Пушкина, то испытываешь: наслаждение, восторг, преклонение, — а когда тебя я читаю, то испытываю нечто неописуемое. Как будто перестаешь существовать, как будто тело тесно для души, проснувшейся от твоего «Глагола»... Твой великий Дух так захватывает, что душе не хватает воздуха в бренной оболочке, и можно только молитвенно-радостно и горестно плакать. Я не умею объяснить. Но верь, что с тобой начинаешь томиться по Предвечному... Не забуду, как я читала «Пути». Все твое так удивительно, что я не умею выразить. Когда я читаю (хоть 100-ый раз) твое, то часто, часто скажу с тоской по Прекрасному — «оох» — возь-

мусь за сердце и... почти физически станет трудно дышать от переполненности сердца. Все, все твое!... Ванечка!..

22.VI.42 Ванёчек мой, как я голублю тебя заочно, как люблю, как ласкаю... Я обнимаю тебя нежно, целую в лобик, в глазки,.. ты грустен? Сегодня горький день!.. Я помню. Я о Ней молилась... И всякий раз молюсь. А о Сереженьке молюсь не за упокой, — а просто: «где бы он ни был, на земле ли, там ли...»

По-моему, так неудачно выпало чтение твое на 21-ое. Вчера устал ты? После напряжения всех сил, сегодня, небось, упадок духа? И эта горестная память! Ты на могилке? У вас тоже жарко? Томительно? Бодрись, Ванюша!

Почувствуй сердцем, как я тебя ласкаю... Ну, нежно, как сестренка, дочурка, глупка,.. и так горячо, так страстно... тебя ласкаю...

Не смей грустить, улыбнись, обними меня (не в первый ли раз пишу так?), обними, уйдем на миг от горя, муки... Забудься... Не думай горьких мыслей!.. Посмотри в глаза мне: видишь, сколько в них к тебе любви, и неги, и ласки, и боготворенья? Видишь!? Увидь! Ах, как целую тебя, — почувствуй! Мой милый Ваня, единственный, любимый, родной мой, ангел!

Ну, хоть немножечко же будь счастливый с твоей Олюнкой. Как жду тебя... Ты это знаешь?! Нет, всех мыслей моих не знаешь. Не можешь знать!

Я дни и ночи о тебе мечтаю. И каак люблю! Я безумно люблю тебя... На столе стоит букет жасмина... Как упоительно... люблю тебя! А в полях у нас (там), в овражках, в одном особенно, перед сосновой горкой, — цветут фиалки-любки... Как я к тебе приникла... всем сердцем... слышишь? Вчера на том месте, где читал ты, в «Богомолье», я положила белую гвоздичку и жасминчик... Гвоздичка: — чуть-чуть от любки... пахнет?! Правда? Как я хотела бы с тобой побыть на океане... в тепле... на юге... Безумно бы хотела. О, если бы ты мое сердце видел! Мечта моя, живая! Как хочу, чтобы ты приехал, чтобы меня понял, услышал, не разочаровался, обнял бы твою пугливую пичужку. Ванечка, как жду тебя! О, мой милый ангел! Какое блаженство тебя любить так, тебя голубить, слова тебе самые чудесные говорить сердцем, и думать еще лучше, еще чудесней!.. Не высказать! Как солнышко радостно светит... как чудно розы пахнут, и гвоздика, и вот жасмин... Я не могу без тебя больше! Я так... тянусь к тебе! О, если бы я могла к тебе приехать! Боже, что это было бы за счастье!? Ах, да, сегодня я была у Фаси мельком, — из больницы зашла, — рядом. Ее «дубина» скоро будет в Париже. Я умолю его взять висмут для тебя и рубашку. Фася обещала. Сегодня могла достать только часть того, что доктор выписал рецептом, — буду еще ста-

раться. Очень висмут берегут и не дают в одни руки много. Но я раздобуду! Пришлю! Ваня, но меня волнует, что тебе он так часто нужен. Часто боли? Ну, скажи же! Берегись, Ванёк! Хоть для меня! В тебе мое все счастье! Подумай! Мне делали сегодня разные уколы. Посмотрим. Я чувствую себя хорошо. Очень хорошо. И жду, жду тебя! Ах, как жду! Почему нет тебя сейчас со мной?! Если бы ты мою душу видел! Знаешь ли ты, как вся твоя я? Как каждой думкой я с тобой? Как каждую минутку я отдаю тебе?? Ну, знай же, ну, поверь мне! Не говори мне «поздно» и все такое!.. Не мучай... Не поздно. Ничего не поздно, пока мы любим. И это вечно. С тобой, любя тебя, я не боюсь и смерти... мы там будем вечны...

Ах, какая чудная пора сейчас... цветет все... Ты жару любишь? Сенокос какой у нас бывает!.. Как сено пахнет... Как душно-ароматно в старом сарае ночью... и сколько букашек ползают-елозят, шуршат около уха. И в щели видно зарю... одну... и другую. Ты спал когда-нибудь на сене?.. И неужели никогда не повторится? Так хочется верить сердцу...

Мой милый Ванечка, кончаю, не могу ничего писать тебе, кроме слов любви и все одно и то же... и как же мало могу сказать в письме!..

Но ты представь себе все, то, что так пера боится... Вообрази свою Олю нежной-нежной, любимой, любящей, немножко «шалой», немножко в жасмине и любках утонувшей и... так тебя зовущей...

Люблю, обнимаю... долго и горячо. Целую, пока дыханья хватит и... плачу в счастье...

Оля

Пиши мне! Будь со мной!

Шлю розы лепесток, мой поцелуй, и жасминчик. Какое сочетание красок! Люблю!

163

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[22.VI.1942]

Вот выдержка из письма от 16-го V. Думаю, что это-то. Да?[1]

По закону цензуры не могу еще приложить листа с письмом, пишу одновременно!

А это — только и исключительно «выписка», а не письмо!

---

[1] Далее следует (в сокращении) часть указанного письма И. С. Шмелева: «Когда я был во 2 кл. гимназии страх и трепыханье лютые враги». См.: Т. 1. Письмо № 188.

164

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.VI.42

Милый Вань!

Все нет от тебя писем, а я все бегаю к почте... нет и нет. Почти неделю! Здоров ли? Замотался ты? Устал? Приедешь ли, Ванёк! Мне думается, верится, сердце говорит, что да! Вчера звонил мне Сережа и рассказал, что он переехал от Master'a (адрес тебе сообщу, — сама еще не знаю) и снял 2 комнаты больших, с балконами, в доме ванна. Так что очень удобно будет, — приедешь и прямо комната тебе есть. И искать не надо. Хоть какой рассезон ни будь! Они: одна на восток, а другая на запад — не смежные. Приезжай! Мне сразу подумалось: вот одна для Вани! Ванёк, я послала тебе 22-го выписки об искусстве из твоего письма ко мне (для приятеля твоего), но мне чего-то стало больно. Будто ты усомнился в верности моих рук, хранящих все твое. Твой приятель сказал: «Это же важно сохранить для других...»[395] Я понимаю его, но разве ты то усумнился, что я сохраню? Разве для этого должно у друга твоего храниться? Когда я думаю об этом, то мне так больно, что я плачу. Почему ты не сказал ему, что это все будет сохранено как самое святое? Опять как с Земмеринг — не нашелся сказать об Оле то, что надо? Или не захотел? Я жалею, что послала, — все, что ты мне пишешь я храню, как зеницу ока и пока я жива, ценю как самое мое душевное, самое сокровенное, интимное, и потому еще не хочу другим отдавать. Я могла бы дать прочесть, но ведь, так послав, я о т д а л а ему! Мне очень горько это и я тебе открыто об этом говорю.

Скажи другу, что это принадлежит сердцу кого-то. Пока. Пока я жива. Я только ради тебя послала, и теперь очень жалею. Поймешь ли ты? Если у тебя другой взгляд, то напиши, и я м. б. пойму.

Но ты не думай, я не сержусь... Я вся ласка к тебе, вся любовь. Жду узнать о чтении. Были ли митрополиты? Думаю, что о б а не пойдут, они же враждебны друг другу?

Чувствую себя я хорошо. Совсем здоровой, стараюсь пополнеть и загораю, хотя загар не к лицу мне. И я уже пополнела, даже против зимы. Вот увидишь! На днях м. б. поедет Фасин муж. Пошлю рубашку и висмут. Целую. Оля

165

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.VI.42[i]

Здравствуй, Ванёчек мой!

Я послала тебе открытку сегодня, но мне хочется завтра отвезти в город еще и это письмо. Едем с мамой рвать ей зуб. Опухоль прошла наконец, и надо торопиться. Я боюсь таких вещей всегда. Лучше самой терпеть, чем видеть это у близких. По Толстому: все только эгоизм[396]. Но как бы то ни было, а неприятно. Сегодня нежданно для себя собрала с моего «игрушечного» земляничника целый стакан чудесной лесной земляники (это что из парка Wickenburgh) и сразу же сварила для тебя. Буду завтра (если буду здорова и поеду в Утрехт) просить Фасю, чтобы муж ее прихватил. Я собирала их в солнце, они горели, эти «живые огоньки»[397]. Помнишь, в «Богомолье»? Мне так хотелось их дать тебе... И еще хотелось непреодолимо нарвать тебе букетиком. Нам так всегда носила бывшая наша няня, когда приходила в церковь из своей деревни... бежит леском и ухватит, и каждому подарит. И была какая-то особая от этих букетиков радость! Я сорвала тебе такую веточку и зашила в целофановый мешочек. Мне так хочется благосклонности цензора, чтобы допустил эту веточку — радость, этот мой живой тебе привет! Я верю, что это может быть, что дойдет эта веточка до тебя, и потому приношу теплую благодарность неведомому, но доброму контролю!

Ванёк, я с верхней ягодки откусила чуточку, чтобы и вдали, но все-таки с тобой будто вместе есть эти ягодки! Выбрось ее (она была меньшая из 2-х), если побрезгуешь. Это моя глупая, м. б. выдумка. Я все хочу тебе переписать мое несчастное «Говенье», но все не соберусь. Его надо бы все исправить. Я уже не люблю его и радовалась лишь один-два дня. Читала тогда и даже плакала... и радостно было. А теперь досадую... М. б. даже первый вариант был и лучше, но я его куда-то задевала: м. б. и сожгла. Я многого не могу найти. Я многое и тебе писала (лирически), когда еще не знала к а к ты ко мне. Все куда-то запропастилось. Я тебе массу эти дни писала, но многое уничтожила — очень горечи много было и отчаяния (все это касательно моего «творчества») и не хотела огорчать тебя. А теперь я не знаю, что я писала и чего не писала. Там много было и интересных мыслей. М. б. наперед лучше не бросать, а сохранять у себя на память?! Ах, Ванюша, я тебе сегодня в открытке писала

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: с земляникой. К письму приложена засушенная веточка земляники.

об этих выписках из твоего письма мне об искусстве, о творчестве; по просьбе приятеля твоего... Ну, да мне очень больно, что ты как бы не счел достаточным хранить это у меня. Твой приятель говорит, что «это надо сохранить для других...» Отлично могу его понять. Но больно колет сознание, что ты ему не ответил (чего бы так ждала душа моя): «все это будет очень сохранно, как святыня, т. к. тот, у кого это, — ценит и бережет все мое, как Святая Святых». Неужели ты думаешь, что он лучше и вернее сохранит? И еще больно мне: я отдала ему (кому????) в собственность то, что вся душа моя, вся жизнь моя! Я могла бы дать почитать, поделиться, но т а к, как я отдала... Боже, что я сделала?? Я слушала только твое желание... и сделала. Но отдав письмо на почте, я уже раскаивалась. Ты понимаешь? М. б. ты иначе думаешь? Тогда скажи, я постараюсь понять... Не давай ему! Это такое м о е, все твое, — мне. Пока жива я. Я не хочу отдавать, пока я жива. Я так мало тебя имею... Письма только твои... и из них я ни капли не уступлю никому, пока живу. Скажи, отчего ты захотел ему дать? Ты не надеешься на мою нежность, бдительность, любовь? Обязательно ответь! Я так томлюсь. Я не сержусь, я так вся полна тобой, вся в любви... Очень люблю... Эти дни особенно как-то остро и жгуче. Ах, Ванюша, я совсем не «огневая». Это только мои порывы. Я бываю, и даже очень — рыбка. Могу годами жить аскетом. Ты смеешься? Правда... Без отрубания даже пальца! («Отец Сергий»!)[398]. Я могу вся уйти отсюда... А сколько я о монастырях мечтала!.. И... как же люблю порой вино жизни!..

Ну, Ванёчек, жду твоего ответа. Как давно не было от тебя писем... Ты теперь мне часто не отвечаешь на письма... Отчего? Ты можешь еще читать мой почерк. Я так разболталась.

Ужасно пишу, и сама не могу себя исправить. Целую земляничными губами. Оля

166

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.VI.42

Милый Ванюша! Я уже 2-ую неделю ничего от тебя не получаю и очень волнуюсь. Что с тобой? Здоров ли? Последнее письмо ты писал 12-го[399]. С тех пор — ничего. Я просила тебя коечто спросить у С[ергея] М[ихеевича] относительно моей болезни и все ждала ответа. Или тебя так издергало чтение? Все это мало меня утешает. О себе нечего писать. Исследования были сделаны, и доктор хочет некоторые из них повторить, т. к. не все оказалось нормально. Через 1 месяц хочет. Я очень нервна

и заставляю себя больше есть и спать, что не всегда-то удается. Погода дрянь, и это меня всегда тоже гнетет. Хоть бы солнце!

Хоть бы словечко от тебя! Ни читать, ни писать я не могу, — очень неспокойна. Мне так хочется покоя.

Целую, Ванечка. Оля

[На полях:] Вся я — один сплошной нерв. Легко сказать: «не нервы».

В постоянной думе-заботе о тебе!

167

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.VI.42 5 ч. дня

Ольгунка моя радостная, как я сегодня тобой обласкан, как озарен тобой и согрет! Два письма, розо-жасминное и земляничное! Нежка моя, цветущая радость, душистая, чутко ко мне прильнула... и я вдыхаю, ищу этот аромат любви твоей, и воображением нахожу, вдыхаю, пью... — и опьянен тобой, чувствую тебя, земляничка-жасминка, кружащая, дурманная сладко-сладко... Ты... — ры-бка..! Может быть и бываешь рыбкой... но я-то з н а ю, какой ты можешь быть — не-рыбкой... ты в одном миге можешь в с е передать, что розлито в жгучих чувствах множества женщин... ты же художница чувств, — этого ли не знать мне! Ольгушка, ты для меня бесценно дорога к а к т ы... — какую знаю, в и ж у, и мне совершенно — в этом чувстве — неважно, будешь ли ты творить, писать, рисовать... — все это в твоих возможностях, все это — ты, а проявится ли это в н е — для моей огромной к тебе любви — силы не имеет. Поверь, что это так.

30.VI 6 ч. вечера Я должен был оставить письмо, начались боли, — они уже возобновились, только один день не было... не постигаю, что такое. Не тревожься, все знакомые боли. Ночь на вчера не спал до трех, а потом кончились, и я проспал до 12-ти. Эту ночь опять, началось с 4-х дня, а завтракал я в 1 ч. дня... Сегодня через час после кофе начало царапать у — печени? Но это все многолетние, знакомые боли, только упорней. Сегодня придет Серов, — Очан[400] уехал надолго. Я с неделю почти, после благоприятного диагноза Очана не принимал каолен... — с этого..? Дерет, как когтями. Сегодня сел на диету. И курил я последнее время очень умеренно: две папироски в день!

Ну, довольно. Ольгуночка, ты так меня ослепила своим чувством, так онежила, так... затопила счастьем! Только ты так можешь, так любить. И поверь, нежная моя... в с е э т о и именно так, так — я к тебе. Нет слова определить в с е. О, я чувствую,

как ты обняла меня, как твое сердце во мне трепещет, и так мне тихо, и так мне бурно-горячо, и так я весь твой! Ах, Оля... в таком счастье, в таком ослепленье... — и вот, такая моя незадачливая полоса... эти боли... связанность моя... — я, когда боли, как-то оторопею вдруг, становлюсь неуверенным, медлительным, — все мысли меня покидают, и только «дранье когтями» все темнит во мне. Но ты... ты остаешься единственным во мне светом, святая моя, робкая моя пичужка, так гонимая жизнью! Дай мне твое сердечко прижать, вжать в себя, в свое сердце... дай мне глазки, я поласкаю их своими, поглажу реснички твои... пальчики твои возьму, и все-все-все перецелую тихо, так вдумчиво-ласково... Оля, *так* я никогда не любил... — так безоглядно, так беззаветно и так — глубоко-сознательно!

Ольгуна, твое письмо, с переписанными выдержками об искусстве — никому не отдам, — знай это. Ты не так поняла мое согласие дать другому: он коллекционер, очень чтущий писателей и представителей искусства, он хотел мое авторское мнение об искусстве, как «редкий №»! Пусть он благоговеет перед *этим*, но моим единственным ангелом-хранителем *моего*, кому я единственно верю, кого *так* безоглядно люблю-чту... — ты, только ты! Во всем, на все. Оля, ты мне дарована, как Дар Священный. Оля, я тебя люблю неопределимо, неназываемо, безмерно... — слов нет на это. Ольгушечка, — ты *все* мне! Веришь, только ты, одна в целом мире. И — навсегда. — Ольгуля, я кляну себя, что захотел сказать тебе правду, не покривить... перед тобой не могу иначе... и я, идиот, сказал о цветах..![401] О, как кляну себя! Но поверишь... — я был ослеплен, озарен твоим даром, твоими розами... я их публично поцеловал, и это видели... — вот *что* мне твои цветы! А что купчишки плутуют... — Бог с ними, им судья. Я все же *не* должен был омрачать тебя! Твои цветы у меня, теперь усохшие, и они будут всегда со мной... — *всегда*, *вечно*. Да, так. Вот сел писать тебе в болях, — и прошли боли... не тревожься, птичка моя... О, ты моя Жар-Птица... умная-умная... чуткая-чуткая... как я забылся в ласках твоих... как все вообразил, дополнил... я эти дни ни на секунду без тебя! Вся ты со мной. Боже, как ты нежна, как глубока в чувствах! как разнообразна... как изумительно прекрасна! Слышишь, я не говорю, нет... все мое поет тебя, свет мой тихий и... мое ослепительное Солнце! Я безмерно тебя люблю, до боли в сердце, до... исступления, и при этом любовь не — вихрь во мне, а сросшаяся со мной сущность, ты воплотилась ею во мне, ты срослась со всем во мне, нерасторжимо... Оля, не мучай себя работой, только доверься мне и пришли... *не старайся*, не напрягайся... а пиши совсем безоглядно, забыв, что были Пушкины... — ты — сама себе гений,

ты — с а м а! Все придет и так загромоздит тебя... — сладко задохнешься и не будешь знать, что начинать. Пришли же, мой свет вечный! Светик-детка, мне больно, я замираю от тоски... Господи, неужели я не совладаю с болями и не приеду, не увижу тебя?! А я хотел завтра ехать и подать просьбу, — надеялся. М. б. это невралгия у меня? Проверю... Очан — умнейший, чудный доктор. Он твердо сказал, ни язвы, ни с печенью ни-чего, жаль ее, насилу нащупал. Ни изжоги, ни отрыжки... никаких неприятностей с «трактом», все нормально, только Серов мне прописал «Эвониль», для усиления перистальтики кишечника, это как бы продукт печени, желчь. Очан, узнав, сказал: замечательное средство! Были у меня несколько дней затруднения... от вялости, что ли, внутренних органов. Но, знаешь, Ольгулька, аппетит не пропадал, я и вчера хотел есть, и сейчас с удовольствием ел овощной суп, пустой, и манную на молоке. Я не худею... правда, перед чтением я чуть сдал, от горения, но за эту неделю — знаю по ощупи, — я не похудел. И н и капли не пью вина, нигде, никакого! И давно. И никогда-то я его не пил, как пойло, как многие делают. После от 19-го я писал тебе 25-го заказное[402] — маме и 27[403] — тоже. Прости, девочка чудесная, любимая моя страстно и нежнооо я, м. б. тебя разволновал? Я не хочу, чтобы ты сгорала впустую, я хочу сам в тебе сгореть, от тебя... — н е впустую! И ты чтобы — въявь, со мной пила чудесное вино жизни... пусть это миги только... но, Оля, — это же вечность такое неизмеримое ничем мое чувство к тебе... мы друг для друга... — мы — е д и н ы, мы так едины, так похожи... единое в разделении только... — и наши токи нашли нас, соединили... И мы давно слились, давно — единое! И так живем, пусть в отдалении... но ближе никто не чувствовал, пусть и вместе эти никто... мы не расторжимы... мы — из какой-то страшной единой любви вышли и — должны ее создать, слившись сердцем и всем чудесным в обоих нас! О, пугливая моя пичужка... моя Олёль... серденько мое.... все во мне зовет тебя, к тебе несет, влечет... все закрыто... — ты только, моя небесная... моя пылкая, нежная... Ах, какие эти твои письма! Это — незабвенное 21? Как я жил тобой, когда ты писала его? Для меня не было зала, слушателей... я тебя видел, одной я тебе читал, я для тебя нашел силу... я теперь дивлюсь, как ее много — для тебя! потому что — д л я Т е б я! Я знаю: большинство сдает на первом получасе... — я вынес полный голос, ж и в я все время... в течение 2 часов! Сердце не падало... только после я понял, что устал. А через два часа я был свеж, мог пройтись — подышать. Твои розы — это ты сама, они показались мне — ж и в ы м и, шепчущими... Это я — сделав усилие — посмотрел после, чтобы тебе сказать всю правду. Ты хотела знать ее. Публика гово-

рила — прекрасные розы. Я никому и лепестка не дал! От других давал. Твои — Святое.

Обнимаю, целую земляничную, душистую, теряюсь в тебе. Твой Ваня

[На полях:] Не кощунствуй: не поминай всуе Пушкина! О, какой я — т в о й! Если бы ты это почувствовала!!!

Пишу одну страницу, чтобы успеть на почту. Не правлю опечаток. Сейчас только 10 мин. до закрытия.

168

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.VII.42, 4-30 дня

Ольгушка милая, все еще не исчерпал твоих писем, — так они икряны, так полны чувства, так изумительно нежны! Ах, какая ты богатая душой... ластынька чистая, гуленька-игрунок, нежка вся... — сердце заливает. Слушай, гуль... — чтение прошло отлично, «грандиозный успех» — говорят наивные. Смешно говорить об «успехе», — он связан с чтением, и я его не домогался. Мне дорога связанность со слушателем, его причастность полная м о е м у. Это не изменилось. Твои цветы для меня были сущей тобой, телесной и душевной, — да я только тебя и видел, только тобой и жил, острее даже, чем — если это можно! — обычно, с глазу на глаз с Олькой! Я с тобой — сам я, и потому, — только потому! — сказал о цветах — о купчишках! — ты мне сама наказала сказать правду. А как живой символ — розы прекрасны тобой, вот они, я их целую — и в них моя Олька живет, моя любовь, моя девулька-горячка, пылка... — о как в е с ь отдаюсь тебе, до сладкой боли... странное это чувство, будто ты сейчас со мной, и я страстно обнял тебя... и свято-нежно целую... и сгораю. Постой, маленькое отступление. — Вчера был доктор мой — «ни-чего» — говорит, печень искал, подсунув одну руку над почкой, сзади, а другой спереди щупал — не мог печени найти! И так я — «обеспеченный». Говорит — спазмы, на почве, м. б., дисгармонии в работе разных гланд, поджелудочной железы... — до чего надоела эта физиология, да еще в письме к тебе. Ночь спал без болей. Завтракал у караимочки — они силой меня заставляют ходить к ним, если не иду — он приходит за мной. До 4 ч. не было ничего, потом начало скрести... выпил теплого молока — кончилось, сейчас. Ах, знает ли мой читатель, к а к писалось «Солнце мертвых». Это на юге, в Грассе, жили мы вместе Буниными[404]. Я, бывало, катался по полу от болей... — в 23 г.! — откатаюсь — пишу. Дали мне новое средство, помогающее лучшему броже-

нию, парализующее «вздутия». За завтраком принял компримэ[1]. Ел с большой охотой: чудесный картофельный суп, блинцы с клубничным вареньем, картофель вареный, с маслом и укропом — о, страшно люблю укроп! — и напишу еще о нем тебе!! — почему и для меня в нем «особенное». Довольно о сем. — Ты чудесна, чудеска. Твое письмо 21.VI — четыре раза перечитывал. Ну, будто ты меня в с я ласкаешь, ты, в красоте живой-земной. Рассказ пришли непременно. Я тебя не нужу, ты же свободная! Ничего ты не «натаскала», чушь. Мы одинаково воспринимаем, одной душой, оба — одно, быт наш с в о й, и все черты жизни знаемы нам обоим. Глупёныш умный мой, при всем таком ты дала — по-своему, уверен. Т а к вот Пушкин не мог бы! У гения — с в о е, по-своему, а мы с тобой двояшки, неразлучники сердцем, — и как ты смеешь меня смущаться. Ты — я, я — ты. Да я в с е смею сказать тебе! Я в сердце тебя ношу, ты моя. Ты усложненная душа моя. Но... не кощунствуй Пушкиным. Пушкин есть Пушкин. За это я чуть кусну тебя за ушко... чуть-чуть... — как поцелуй. — 27 был на могилке с друзьями, береза — исполинская, велел подрезать, — всю могилку осенила. Я посадил белые лилии во всю могилку. Велел сделать голубой крест на ней — из цветущей лобеллии, а кругом белые низенькие бегонии. Ели пирожки на могилке, — был светлый-светлый и теплый-теплый день. И тихий. Гуляли пчелы, дрожали березовые сердечки. Был в мыслях с м и л ы м и моими, и ты была со мной, Оля. И легко мне было, — ты со мной. Ты д а н а мне, — ах, детка, как я и щ у тебя, как ты необходима мне — в с я! Я светел тобою, — ты и х любишь, моих бедных... моих чистых, светлых... — У нас теперь жарко. Я люблю жару, русскую-летнюю, она — в-меру. Я чувствую, к а к ты меня ласкаешь... и чую в тебе и сестренку, и дочурку... и — м о ю, в с ю. И в твоих глазах вижу... много вижу... и тайное вижу... и чувствую в с ю тебя! И немножко счастлив с моей Олюнкой. Жасминка, ах как люблю их сладость, их истомность, густую не-гу их... — наш оранж! Любка... она всегда уводила меня к желаньям... пьянила. Правда, удачное место из «Богомолья» взял я. Мыслью о тебе выбралось. Довольна? Земляничная-жасминная, дышу тобой. Лю-бка моя дурманная... — хоть и всегда «собранная». Но... можешь и... раскрыться. З н а ю. А я могу без тебя? Или ты не слышишь, к а к я м о г у... ?! — Не хлопочи с висмутом, он м. б. и не так уж необходим. Милая, все люблю, что ты... и сено, и знаю зори на сене, и сараи... и пряность... — но спать лучше без шуршанья, на чистой холодящей простыне, тонкого полотна... — отвык ныне, все нарушено в моей жизни.

[1] Таблетка *(от фр. comprimé)*.

Я люблю тонкий аромат свежего хорошего белья... а сплю на грубом, но всегда брызгаю лавандой. И в комнатах брызгаю — сею пульверизатором. И твои цветы прыскаю свежей водой. Гортензия еще жива, три ветки! С 23 мая! Олюнка моя, как ты мне желанна! — му...ка какая... так ты неуловима! Вижу тебя жасминной, чуть дурманной... томной, обвеянной колдовской любкой... так влечешь ты, так мной владеешь, так топишь в себе... — о, как ты страстно-тонко... в письме чаруешь. Слышу тебя, пью тебя... и пьян-пьян... с тобой. Чуть вакханкой писала ты, — в каком-то о-стром дне твоего существа, остром миге! Я зов твой слышу. И все — одно сгоранье, истомленность.

Получил сегодня ранние твои письма, 17 и открытку 15. Как счастлив, что ты почти здорова. Буду хлопотать... м. б. мои боли минуют. Я знаю эту птичку — «пи--ить... пи-и-ть...» это, должно быть пеночка. А то есть — на вечерней зорьке — камышевка: «ты Ти-та ви-дел? ты Ти-та ви-дел!!?» — и отвечает — «видел, видел, видел...» Это Чехов подметил, кажется в рассказе... «Дача» или другом[405]. А я где-то давно дал: знаешь, поджарая, подтянутая индюшка, жеманная такая: — я умею ловко подражать! — «Фье-дор... Фье-дор... я озя... бла... ку-пи башмаки...» А индюк, надув свои «кораллы», важно-сердито: — надо быстро-быстро, будто выплюнул-выстрелил — «В Туле были-не-купили-теперь нечего покупать..!» Страшно быстрой скороговоркой — высыпкой! А еще лягушки, весной, только черемуха еще зацвела... скрежещут от страсти: «Варварра, полюби Уварра». А Варвара — «Варрварр-варррварррр...!» Я это еще гимназистом слыхал... и — это услыхал Чехов у брата в мещанском училище в Москве[406], и я одновременно слышал, стоя за перегородкой, в том же училище, — мы с Женькой! — и я это дал в моей маленькой «трилогии»: «Как я встречался с Чеховым». Она состоит из 3-х очерков: «За карасями», «Книжники... но не фарисеи» и «Веселенькая свадьба». Читала? Написано в Альпах, в 34 г. — Ах, ты о «Путях Небесных». Я должно быть неясно писал. Вот как: я полагал, что дам в трех главках все «обращение» Виктора Алексеевича и, написав первую отдал печатать. Затем — вторую... отдал... и — попал в ловушку, сам: уже обязан был продолжать, хотя почувствовал, что роман — «без конца»... И так, глава за главой, — 33 главы! Теперь, если бы я дал печатать первые главы «Путей», — их готовых — 2—3... остальное — вчерне и только пятая часть романа! — я связал бы себя перед читателями, и должен был бы продолжать и — кончить! А ты подумала... Ваня что-то путает? Перед тобой Ваня ни-чего не скрывает и не путает. Он — тебе — всегда ясный, ты же в нем, навсегда. И перестань быть «на-струне», со мной-то. — Зелени мало, но я должен даже и са-

лат варить слегка, а это разлагает витамины. Я не могу — и не хочу — стоять в хвостах. Прошу тебя — ради Бога не тревожься за меня, берегись, Олюша, не печалься, не томись... цветы тебе — какие же это тра-ты!!? Глупости. — Марина заходила не с Нарсесяном — я его в глаза не видал! Он в Лионе, недавно писал мне. А провожавший был какой-то «неопределимый», не знаю его. На днях зашла проститься, — поправилась, — принесла нежно-голубых — скабиоз, — знаешь, наши луговые «астры»? Но эти махровые, чудесные! живут долго. О Нарсесяне. Виген? — слышал много хорошего. Марина не поминала, а я не спросил. Была в восторге от чтения. Знаю: многие плакали за «Крестным ходом». Ты его знаешь? А то — прислать..? Почему ты не со мной? Ты все бы разделила со мной, все мои тайны-планы литературные... — других нет. Ты мне давала бы «заряды», озаряла бы... вливала *свою* силу... — и *мое* — стало бы тогда — *наше*. Ты знаешь, ты бы дала мне часть себя самой... ты это знаешь, как... и я знаю... как это дивно, глубоко и... таинственно! — в творчестве!! — дает такую мощную детонацию!! — Наука лишь в последнее время открыла это... а творящие знали это опытом... — что такое за *сила* у любимой! как она наполняет, как оживляет... как... со-творяет! Да? — Да..? Да... !! Ты согласна. Гореть в творческом... зажженным нежно-страстно-любимой... — какое окрыленье! Довольно... а то похоже на чеховскую «Сирену»[407]... — охотиться с холостым зарядом..! Охтерлони[i] — старинный шотландский род, это ветвь Дома Стюартов. Их родовой городок Розен. Там сохранилась портреты лордов Охтерлони. Прадед пришел служить Екатерине II, инженером военным. Дед и отец Оли были в обороне Севастополя в 1856 г. Оба были ранены. Брат Оли — Александр Александрович[408]. У него сыновья — Алексей и Владимир. Последний умер лет десять тому. Есть дети у обоих. У последнего — два мальчика были, один — Серафим — очень чистый, религиозный, воспитан матерью Оли. Вот и весь род, кажется. Думаю, что однофамильцев нет. У Оли были миниатюры предков, были проданы нами в тяжелый час. — ! — Они — в Румянцевском музее. Дед Оли играл в азартную игру под бомбами с Львом Толстым, на барабане, в 56 г. и — странно — мог в то время получать через контору Беринга — старинный «дом»! — фунты, остатки ликвидированного наследства от тетки, что ли... — у них был майорат — кажется отошел к родному городу Розену. У Оли были наследственные черты Стюартов. Глаза, кажется... и — шея... очень красивая. — Нет, ты все изволь мне говорить о здоровье, *все*. Я достаточно силен — ко всему. Без правды

---

[i] В оригинале: Охтэрлони.

я буду страдать сильней. Никуда я не поеду отдыхать, ленив я и не люблю «привыкать» — к новому укладу. Слово моей царицы — закон: о творчестве, твои строки н е отдам. Приятель этот не покидал меня в тяжкие минуты, когда я страдал головокружением, в 38 г. Скромный человек, но «коллекционер» авторского. Меня особенно чтит. Я д л я тебя писал, надумал, — и забыл, что писал. В с е мое заветное — только для тебя. Ты — мое тело, мое сердце, все мое, т. е... ты сама стала такой для меня, для нас. Неотделимая ничем, никем. Я на ветер не говорю. Я тебя люблю. И это, о, какое светлое мне счастье даровано! Ты не можешь всего представить... ты слишком смиренна в этом... хотя ты и безумно-бурна, горячка, гордячка, страстка. Упорка. Не будь же со мной всегда «на-чеку», всему во мне верь. Я — твой.

Марина, кажется уехала. Мечтает о работе на востоке. — «Говенье» непременно пришли. Не обижу тебя ни словечком. — Укроп теряет в сушке все «эфоры»[i], и становится сеном. Я пытался его сохранить. Я люблю свежий, крепкий... в нем солнце огородное... радость огурцов, созрева... отраженье вкусов — праздничных пирогов, ботвиньи, окрошки — все люблю! — читала мою ботвинью в «Богомолье»? — в главе — «Царский золотой»?[409] Там пропет гимн ботвинье... ?!! Лучше н е мог. Па-хнет свежим огурцом, в с е м нашим. В укропе и для меня «радостное», с в е ж е с т ь... — как и в антоновке, в рябине... — осенняя последняя радость... люблю полупустые сады яблоневые в солнечный сентябрьский день... какое утреннее солнце! роса какая на поздних маках! они — как в жемчуге, их головки. О, как все хотелось бы перелить в «Пути»! И все что-то мешает влиться. Т е - б я мне не хватает Оля... твоей с и л ы! Я на этом кружусь... Но я могу писать и — аскетом. Внутренне сгорая. Увидим... На этих днях подаю просьбу о поездке. Но как же, если мой контрагент по литературным правам[410], уедет из Арнхема? Сроков не знаю. Если получу... и если все эти боли..? Ну, увидим. Ты, милая моя больнушка, не должна двигаться, пока все не пройдет у тебя. Если бы даже — чудом — была возможность поездки твоей... я бы не мог на это согласиться, — ты не смеешь подвергать себя опасности. Ты должна быть здоровой, и ты б у д е ш ь здорова! Оля, помни: надо быть спокойной. Заставь себя. Сосуды очень чувствительны. Я страшусь, что мои письма тебя могут волновать... Господи, да не будет сего! Прими покойно, как сильно мой Ваня любит меня, как верно. В е р н о. Ни мысли о другом, ни тени мысли. Ты и только т ы! Одна. Все закрывающая, спасающая, хранящая. Как моя святыня. Ты не сму-

---

[i] Здесь: силы (*от фр. effort*).

щайся, что «не удается»... — ты мне дорога , как т ы, ты в себе несешь богатство души, а будет ли оно явлено... в н е... — для меня-то давно явлено. Ты неизменна для меня. И не озирайся, не смущайся, а — хочется — пиши. И не стыдись меня посвятить в свое творческое. Я чуток к тебе, я только мысленно поцелую тебя, мою Олюнку. Господь с тобой. Я спешу на почту. 6 с половиной. Потому не доканчиваю страницу. Дай же ротик... губки... ручки... — всю целую, ласкаю, мою детку, мою далекую... нежную мою птичку... розовая ты заряночка! Вишни бы собирать с тобой..! И у тебя губы че-рные... и на щеках сок вишневый, и в глазах вишни... и вся ты в вишнях, и на их щечках я вижу отражение моей голубки... такой малюсенькой... на черном зеркальце, на глянце этих сочных щечек вишни... — и солнце там, и сад, и небо... и все я вижу... и сколько блеска, и тепла, и света... Ольга, вишенька моя... моя сочнушка... — теплый сок какой, какая сладость... упоенье... — о, я знаю наши вишенники.... на Воробьевых горах какие! во Владимире какие! А треск дощечек с вышек — воробьев пугать! А какой янтарь... на листьях капли, на коре... бывало, как сосали..! Какое солнце через этот клей!.. Ты жуешь его... я вижу... твои зубки и глаза... в них вишни, вишни... вишни... — и ты, самая сладкая из них, и сочная какая... брызжешь соком... — я пью тебя.

Нет времени править опечатки, сама поправь, спешу-бегу на почту, осталось 12 мин.

Твой Ваня

Любимая, моя, Олюна, целую. Господь над тобой!

Не могу расстаться в беседе с тобой. А надо.

169

О. А. Бредиус-Суботтина — И. С. Шмелеву

4.VII.42[1]

170

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7.VII.42 4 дня

О, дорогая моя, детка моя, Ольгуленька моя... — я чувствую, как ты вся в грусти и тревоге, что так давно не пишу тебе... Ах,

---

[1] Письмо, названное И. С. Шмелевым «солнечное откровение». На конверте его помета: это письмо никак не для печати! (хотя бы и имело историко-литературный интерес). Это воля О. А. Бредис-Субботиной и моя. Ив. Шмелев.

моя милочка... я так не хотел тебя тревожить, все ждал, что мне станет легче, и я могу не писать тебе о своем недомогании. Но вот, 6-й день, с 1-го, когда писал тебе, а мои боли не проходят... Все, быть может, обычное мое... — доктор С[еров] уверяет — «ну, ни-чего же нет страшного!» — а я мнителен, я подавлен. В с е, что со мной, можно легко объяснить, конечно, — я очень много переволновался перед чтением своим, много было и других «дерганий», я плохо спал, ел неважно, на-скоро, и, должно быть, слишком много перепринимал всяких лекарств. Теперь, нет, как будто, утомления, какое было дня три после моего выступления, но я о-чень похудел! И это не показатель чего-нибудь грозящего... — помню, в половине декабря я был гораздо худей... чем сейчас, и вот за зиму и весну набрал до «полноты», т. е. не дощупывался до ребер даже... а в декабре считал их, как косточки на счетах. Тогда, в декабре, помню, у меня мало было масла... а эти недели две я довольствовался граммами... забывал, не получал из провинции, от Ивиковых родных[411], да еще я совсем перестал — месяца два! — есть хлеб: не могу, такого он дурного качества, вздувает желудок, и в с е... и — бо-ли! Ем все эти недели только белые сухари, достаю с трудом... и без аппетита ем... и мяса мало ем, порой забываю выбрать паек даже... — такой я рассеянный. Так что, учтя все, похудеть не трудно. Да еще много ночей без сна, от болей. Эти дни боли были и днем. Обычные, знакомые мне лет 30! Ведь д в а доктора уверяют, что ни-чего не могли прощупать... ни язвы, ни печени, ни в энтэстэн...[i] — «спа-змы» — они-то и причиняют боли, — так говорят. Но мне не помогают и противоспазмовые средства. Сейчас пишу тебе — почти не чувствую болей. Вчера были весь день, Серов был в 11 ч. вечера, помял меня, — «видите, я прогоняю скопившийся “газ” — под печенью — вздуток, сейчас будет лучше». И правда: боли затихли, я чуть повертелся ночью, заснул в 1 ч. и спал до 10. Давно так не спал, роднушечка! Завтракал сегодня у друзей, самое режимное, и вот почти нет ощущений болевых, а лишь «наболевшее». Да я сам виноват, знаю... Ну, прости, что наполняю письмо таким нудным. Но когда каждый час слышишь — «ах, как вы похудели!» — когда слишком знаешь о болезнях... когда воображение не изменяет, когда... я так счастлив тобой, Олюна моя... я о-чень не-о-бычно счастлив твоей любовью, своей к тебе... когда дрожишь над таким ослепительным д а р о м... о, тогда так страшишься «обмана судьбы»! — которая вот-вот настигнет... и как же насмеется!!! Вот. Это чувство «томленья» грозящим... мне т а к знакомо! Я, ведь, уже раз десять «умирал», — смеется

---

[i] Кишка (*от фр. intestin*).

доктор! И в 28-м, и в 34-м... и в прошлом декабре... От Очана, две недели тому, я вышел окрыленным, но его лекарства, что ли, мне навредили..? Я не могу, например, выносить угольного порошку... а Серов изумился, что «белладеналь», который должен успокоить боли, — вызывал их сильней! Вы, говорит, какой-то... «вверх ногами»! И я решил ни-чего не принимать. Только для сна... «седормид», и то — половину таблетки. Сейчас нет болей, совсем! В воскресенье сварил себе молочный кисель из «домашней» картофельной муки, друзья сделали, только гря-зная... надо было отмучивать... — и целый день — ни намека на боли! И сегодня хочу. Ем больше. А то и желания не было, и масла мне пришлют — мно-го! — Не тревожься, милка, все от «трепыханья» моего, нервы ни-куда... — и сил-то сколько отдано 21-го! Все и посейчас говорят — ну, и голос же у вас! Да, сила была показана. И доведись — еще мог бы не хуже прочитать! Но было много всякой тревоги. Если бы ты видела, как меня дергают! И письма семьям казаков, уходящих на фронт, и — «молим написать книгу» — ! — в память 25-летия мученической кончины Царской Семьи, и — в Комитете Молебствия об освобождении Крыма...[412] и десятки посетителей за день, и отвечай на письма... и... одинокие ночи с болями... часто совсем без сна. И... — трудно с питанием, режимным — !! Ну, как же не похудеть ото всего?! И — самое первое, всегда и во всем: ты, тревога о тебе, томленье по тебе, моя голубка... тоска, стремленье... и... не знаю, ну, как я, если не пройдут боли, смогу поехать даже и в деловую поездку в Арнхем?! Завтра подам просьбу. Ну, если получу — да, если не пройдут боли, — не смогу. Это же ужас... ехать и мучиться! Я должен поправиться, придти в форму. Только тогда — да, поеду. Ну, проверим... что скажут дни... Словом, одни волнения, тревоги, трепыханье... — такое и вполне здорового положит в-доску. Заклинаю тебя: не придавай значения, помни: я не менее тебя мнителен, «до безумия», — смеется доктор. Знай еще: такие боли всегда были, в 23 году я катался от них по полу и кушеткам в Грассе, и... писал — !!! — «Солнце мертвых». Читатель не поверит: в таком состоянии писать так... — наружно спокойно, и внушительно. Я знаю, чего стоят эти — для читателей! — муки от «Солнца». Иногда мне приходит в ум — да не болезнь ли «солнечного сплетения» у меня, при бывшей «язве»?! Такие боли, будто во мне, под желудком, в нем, в печени, в груди, в пояснице... — бьют тысячи молний... и пронзают... до задыханья. Тогда — ложись и замирай... А я, дурак, наелся лимонного мороженого, забыв, что ныне — да и раньше! — купчишки готовят мороженое из «лимонаду», а лимонад-то делают из... лимонной кислоты, а кислоту... из обра-

ботанного железа — что ли, серной кислотой..! Ну, мне мороженое и дало себя знать... такой гюпер-асидитэ![1] это в субботу было... И все внутри у меня словно изранено. Эх, будь вволю молока... — отпился бы. Ну, довольно. Жди более светлых писем. Напишу.

Целую мою птичку, мою детульку... умку мою, вечную, единственную для меня в целом мире! Скоро Ольгунка будет именинница... Звонок: твоя открытка — 27-го. Вчера была — 24-го. Гулька моя... пойми же мою тревогу! з н а ю, как ты томишься — сам в е с ь такой же, ты — другая! Я тебе писал: 15-го, 19-го, — перерыв... перед чтением и утомленье от чтения. Писал: 25-го, 27, 30, 1-го. — Перерыв, пишу сегодня... Пишешь: последнее письмо было 12-го. Возможно, а послано 15-го, заказное на маму. И все — заказные, кроме кажется, открытки от 19-го. От 27-го было... — о, какое жгучее, я потом только почувствовал, что «вышел из границ». Прости. От доктора ничего не мог вытянуть о твоей болезни... — «трудно заглазно» — вот ответ его. «Индивидуальность особливая», «серьезного не вижу», возможно, что некоторый дефект сосудистой системы, и «жидкое состояние крови...» Жду Очана, когда вернется. Гулька, Гуля, молю тебя: держи себя в уверенности, — все будет хорошо! Мы — два сапога — пара. Да ведь д у ш а-то единая!!! — и — все остальное тоже. Это тебе поможет прощать мне мое молчанье: ну, значит, не в-силАх! Зато мои письма, которые ты теперь уже получила, тебя по другому взволнуют... — ах, Олька моя, как ты мне дорога-нужна!! Два безумца... от счастья и от муки. Погода была удушливая, все ходили, как ошпаренные, и у меня — всегда легкого на жару — пудовики на ногах. И спать было трудно... да, в с е, абсолютно, похудали. Есть потерявшие 28 кило! — проф. Карташев. Есть — 23 кг. Но мне-то — я не хочу взвешиваться — нельзя терять и пяти кило. Ну, обойдется. «Пути Небесные» д о л ж н ы быть написаны. И — «Лето Господне». Преп. Серафим поможет. Именем Господа буду писать. Твоим. Оля, — в с е мое — только для тебя. Помни. Твое письмо с выпиской никому не давал. И не дам, будто... з а б ы л. Только тебя могу считать — единственной, в е р н о й, хранительницей того, что вышло из моего сердца. А ты, глупенькая, пла-чешь..! Да разве ты не веришь и теперь твоему Ванюше?! Оля, я в е с ь твой, и только твой. Нашей святой любовью клянусь тебе. Да ты и без того з н а е ш ь. Но ты не можешь жить, чтобы не тревожиться хоть чем-нибудь. Знаю тебя. Так тебя знаю всю... — будто из меня родилась ты, моя детка... моя солнечная, моя... умная-умная безумица!

---

[1] Повышенная кислотность (*от фр. hyper-acidite*).

Ни одной слезке твоей не дал бы упасть — все выпил бы... всю твою тревогу взял бы... Оля-Оля... Олюна моя! — Да... вот уже вторую неделю, с некоторыми перерывами — хожу завтракать к милым моим караимам. Заставили. Половину забот с меня сняли. Сегодня ел свежую разварную камбалу — или почти камбалу, с картофелем, суп-лапшу, бефстекс, персики. У них очень хорошая девушка-француженка — евангелистка... чисто готовит, вкусно. Вот какие друзья... нежные, заботливые, чуткие... — это семья караимочки. Удивительные есть люди. Воистину чтут писателя. Моя Арина Родионовна плачет надо мной, так жалеет, что боли у меня. Ольгушка, Ольгушоночек... помни: все такое было давно, всегда: в Крыму, помню, так схватило, что при Оле, в лавочке сел бессознательно на... раковины! Особенно в жаркие дни... — идешь... и — стой! — прихватило, ножами будто, молнии там мигуют, внутри... И, бывало, съешь хороший кусок свежей ветчины... малосольной, или — хороший бефстекс... — ко-нец! здоров!!! А то так, всегда перед чем-нибудь «важным» — а у меня «важное» — это — куда-нибудь ехать-укладываться... — вот, бо-ли..! Оля шутила: «это ты нарочно, чтобы мне не помогать..? — Воистину! Приедешь, или даже — только в вагон сядешь — да где же бо-ли?» Или помню: ехали из Биарица в Париж, после 6 мес. жизни в сосновых лесах Ланд[413]. Я лежу, бо-ли... в вагоне, — лицо упокойника... слышу, соседи-французы: должно быть, бедняга смертельно болен... — и даже называли болезнь! — а мне и тошно, и жутко, и боли... — приехали в Париж, сажусь в такси... — да где же бо-ли?! Словом, верь: я раз-бол-тан! жестоко.

Опять волынка. Больше не стану. Я же тебе в письмах обычно никогда не писал о своих болезнях. К чему? И досадую теперь. Но я же не знаю, как все дальше, и ты будешь винить мою лень и мой «страх», если не удастся поехать мне. Только потому и пишу. И теперь мне не 30, не 40, не 50 лет... — понятно?! Если бы было 40—45!!! По душе-то мне м. б. и все тридцать, только... а — «дух бодр, плоть же немощна...»[414]. Правда, я живой, не чувствую слабости, усталости... но — надо быть готовым ко всему. От нервов стал больше курить, а это мне вред. Но ночью... один... без сна, да еще эти боли... — как удержаться от «зелия»?! — Жалею, что и о цветах твоих написал... но, клянусь, публика их не могла расценивать — ей важно было, что любят писателя, о-чень... и он даже их поцеловал, их — одни!!! Я же не мог не написать тебе, ты просила, а сказать неправду перед тобой не мог!!!!!!!! Ты для меня — вся правда! и я хочу быть для тебя — только правдой!! Цветы сохранены, вон они! Твоя гортензия еще дышит. Твои «мотыльки» дают побеги. Оля, ты смотришь в меня, ты живешь вся — в сердце.

Мой ангел, моя имениночка, светик мой... к а к я взываю к тебе ночами, когда не сплю! Как молю тебя — не забыть о Ване. Помолиться об одиноком, усталом страннике. Как счастлив, что есть ты, что могу лелеять тебя, моя светлика, моя жемчужка, жасминка-земляничка... моя душистая веснянка, свежка... моя Олюна... Олель моя. Сегодня писатель Ремизов принес мне редкую книгу — «Иконография Богоматери» — Кондакова[415]. Нет, не эту, конечно, ты с бабушкой читала. Вспомни, детка, я хочу достать ее, прочитать ее, с тобой побыть — с той девочкой, какой ты и теперь осталась. Вспо-мни...! Мама вспомнит... Целую вас — тройку, так нежно, так по-родному... — по-разному... Милые мои... друзья мои... близкие мои... бережно люблю вас всех... а тебя, ненаглядка, беспокойка... — возношу в любви, как мое святое-святых... — Олюша, ласточка, залети же ко мне... стукни в мое оконце... солнце мое далекое! Освети, озари... приласкай... так мне порой душевно-одиноко, так холодно... плакать хочется... и я плачу... и корю себя: неблагодарный, т а к о е тебе дано... как же ты дерзаешь мучить себя и Е е!!!? Прости, Олькушечка... порой изнемогаю.

Сегодня я, слава Богу, совсем хорош, боли лишь — отсветы... наболело. М. б. скоро и совсем оставят. З н а ю их да-вно! Пусть это будет тебе ободреньем. Ну, 5 с половиной. Надо на почту. И... читать «Богоматерь».

Не очень разволновали тебя мои письма? Оля, прошу: н и ч е г о, ни слова не пиши о н а ш е м[416]. И я не буду. Слишком это сложно, волнующе, и... не место. Я в с е знаю. И это в с е, очень сложное, требует огромной выдержки. Я имею письма с фронта от жертвенно пошедших биться с Сатаной. Они — с ч а с т л и в ы. Они-то уж в с е знают. Целую милку мою в щечки, глазки...

[На полях:] Нет времени исправить опечатки. Осталось 20 мин. до закрытия почты. Обнимаю. Твой Ванёк

Оля, ми-лка. Напиши. Здорова ли?

171

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.VII.42

Спасибо, дружок Ванюша, что не забываешь!

Письмо твое от первого такая ласка... Читала его зарей вечерней, и опять... в румянце утра! Я в отчаянии от неудачи с цветами — не забуду никогда... Ужасно это. Я больна тогда была, не могла даже звонить, заказала письмом. Писала, очень прося хорошее, отборное послать. И, поверь, это так и должно

было быть. Я позже, узнав от тебя, что подали гадость, Фасе сказала. Она ужаснулась такой наглости магазина. По ее мнению «утонуть можно было в розах». Я же хотела, чтобы тебе корзину роз принесли — ! Болваны-жулики. В июне же розы-то с неба валятся! Подумаешь, невидаль какая! чтобы «сборные» подавать! Ах, я бы сама, лично, все сделала иначе. Ну, а тут: шаблонные розы. Розы — всегда хороши, думала я. Я хотела тебе собрать букет из маков махровых, васильков и колосьев с ромашками. Но подумала, что не сумеют шикарно это сделать, и получится убого. Взяла розы. И — вот! Совсем это не «слово Царицы» — и я не хочу, чтобы ты из «приказа» не давал строк об искусстве... Я хочу, чтобы именно сам ты, а не по «приказу». О висмуте: я бегала после того как вырвали два зуба по всему Utrecht'у, но собрала по разным аптекам по 10 г в каждой, всего лишь около 80 г. Это все у Фаси, и еще один препарат висмута, м. б. погодится. Я уезжала с последним автобусом и потому не могла уже сама тебе перевести с голландского. Это обещал сделать «Фасёк». Отчаянно, что все еще муж ее не уехал. Ждет разрешения. (Сию секунду звонила Ф[ася] — завтра едет ее муж. Узнаю его адрес и сообщу тебе на всякий случай[i].) Рубашечка тебе и варенье (капля!) все у нее. А теперь бы самая пора спать в ней! Она холодит. Даже, если и мои руки вокруг себя вообразишь. Вань, ты получил земляничку веточкой? Верно расквасилась?* Ну, это глупость моя была. Хотела послать тебе: так она красиво горела в солнце!

Сережа пока что в Arnhem'е — ты знаешь, это никогда с ним ничего неизвестно, т. к. он работает от заказа до заказа. Поступал туда на несколько недель, а вот уже почти 2 года сидит. Он снял 2 комнаты и очень доволен хозяйкой. Я с мамой верно скоро поеду туда и все обсужу на месте и о тебе. Слышишь, я жду тебя! Обязательно! Но, Ванюшка, мне часто кажется, что ты «лукавишь». Ты не хочешь ехать!? Отчего так долго не подаешь «просьбу»? Ну, соберись же! Я сегодня, проснувшись, лежала и думала во всех мелочах, как я тебе устрою все. Даже меню составляла на все, на все. Какая была бы радость! Маме говорю: «то и то бы сделала для И. С., как ты думаешь, ему понравится?» — «Да, думаю, но одно ему наверняка не понравится — то, что тогда в кухне будешь торчать». Я смеялась. И верно! Но у С. хорошая хозяйка, — она сделает все, как хочу! Я хочу тебе все, все предоставить, что еще можно. Привезу мои, собственные мои хорошие, тонкие наволочки (которые

---

[i] Приписка сделана позже.

* Ты ничего не упомянул, — верно так глупо, что тебе стыдно этого касаться? Да?

я, сама, в Берлине шила), чтобы ты и это имел. А я бы не дала мыть потом и все тебя бы вспоминала... Неужели ты лишишь меня этой радости? Неужели не приедешь?

— Ах, да, конечно, на сене спать неловко! Жарко, что-то все возится, карабкается лапками, шуршит. Я тоже люблю холодок тонкой простыни. Но не думай, что у нас, в Голландии мы спим на голландского полотна белье! О, нет! Они тут ужасно себя «закаляют»? Или жадничают? Это я ввела пуховую подушку, — не могла спать на ихней, из травы? Хлопок какой-то индийский. И простыни... грубейшие, без вышивок, простые... м. б., у иных и есть, но у наших нет. Все добротно-прочно-грубое. На сто лет! Сто лет жизни-размазни! У Фасиных «родных» — тоже! У сестры Фаси — тоже, м. б. и у всех! О, я бы порасписала! М. б. и напишу! А я не люблю «прочных» вещей, на г о-д ы! С детства не любила «на рост»! Как это неправильно делают родители. У ребенка получается какое-то определенное «недовольство» от этого. Каким-то ублюдком себя чувствуешь в длинном пальто. Сережка тащил с себя и говорил: «не хочу, — это как девчачье, какое-то — [попонно]». И добивался своего. Я бы делала платья моему на каждый данный момент — красивые. Это так важно. Нужно, чтобы дитя не чувствовало себя неуклюжим, хуже других. О, как это важно. — Сегодня у нас на Баране[417] праздник! Иванов день[418], — или: «И в а н о в к а». Торг огромный в городишке. Ели на горе пышки, гуляли толпами. А вчера бывало «подторжье», а по-народному «портожье». Вечером тащились все по своим деревням. Пьянство! «Васька Семенов» — мужичок-пьянчужка за магазеей свалится — нет мочи в гору нашу подняться, и вопит: «а во двенадцатом часу, да черти съели колбасу...». И дальше: «я ли не богач? Да у меня 40 тысяч есть! Моя ли дочка не невеста, Машка-криво.....» тут шло нецензурное. А мы смертельно его боялись. И так у меня и связалось с Ивановкой это «во двенадцатом часу». Я маленькая тогда еще была, а вот на всю жизнь! Ваня, если Охтерлони не имели однофамильцев, то могу тебе сказать, что один из них вполне уподобился своим дедам. Совершенно нечто поразительное, как он сохранил таким образом традицию. Странно играет иной раз судьба!? И удивительно так, что вот пришлось узнать. Я рада, что ты легко был на могилке 27-го. Хорошо, что друзья проводили. Что день был светлый! Как я бы хотела быть с тобой! Сейчас пошла к себе с намерением писать, т. е. работать. Но вот села тебе писать и так устала. Такая лень, так жарко. Не пишется пером. Если бы машинка!! Нет, я о «Путях Небесных» поняла именно как надо. Но не поняла, что ты, собираясь ко мне, хотел бы попасть в «ловушку» писанья. Ванька-лентяй, я тебя

не могу понять. Почему ты не пишешь «Пути»? Неужели заедает тебя повседневщина? Это же гибель! Ну, устрой как-нибудь! Послушай, не могу ли я чего-нибудь тебе в этом смысле сделать? Ах, Серов твой — ш л я п а, а то бы я с ним списалась. И если бы попала хоть на 1 день к тебе, то поверь, что устроила бы тебе какую-нибудь «хозяйку», чтобы ты не крутился сам! Ваня, милый, со здоровьем ты шутишь, — нельзя же так! Что это за диагнозы? Я зла на С[ергея] М[ихеевича]! Ванчик, м. б. тебе помог бы рыбий жир? Это чудесное средство. Все улаживает! О поджелудочной железе я думала уже. М. б. это отраженность в желчном пузыре. Это у мамы было. Тогда — ничего строго нельзя! Ты мне так тогда и не объяснил, чем ты «отозвался» на мою болезнь. Я н и ч е г о не поняла. М. б. у тебя это самое т е п е р ь и есть? А что? Была кровь? Я не знаю, чтобы это было не болезненное явление. Скажи же. Я народное твое изречение не поняла. Скажи только: было это нечто патологическое или просто так? И почему тогда «неприятно»? Если бы я даже и поняла, то все мое понимание разбилось о твое: «несколько дней».

Значит болел? Это же не нормально-физиологическое явление? Или да? Я мучаюсь за тебя. Берегись, Бога ради! Милая «караимочка» — как она хорошо придумала! Тебе во всех отношениях хорошо это! Эта предоставленность самому себе, это «а я иногда з а б ы в а ю обедать», — ужасно это!

[На полях:] Ну, целую, Ванёчек. Еще раз зову тебя! Приезжай же! Сережа пока на [лето], думаю, остается в Арнхеме, но это неважно. Устроится все!

Ну, будь же здоров! Спроси доктора, можно ли ехать! Тебе перемена места только хорошо!

Ночь. Переписала-исправила рассказ. Посылаю все, 3-мя письмами. Ничего мне о нем не пиши, — я знаю, что плохо, но мне будет больно услышать. Прочти все сразу! Обязательно!

Любуюсь на пасхалики и вдыхаю розы — они засушенные так сладко-сладко пахнут!

Ох, жду гостей... еще неизвестных мне... каких-то очень важных. Желают со мной познакомиться. Не люблю такие «смотрины». Сегодня велела чистить сад, двор, — вылизать, чтоб ни сучка, ни задоринки у «русской дикарки». Сама возилась. Маникюр — никуда. Они, пожалуй, этого не простят. Ну, не ударю лицом в грязь! Не люблю такие визиты!

9.VII.42 Фася не знает, где остановится ее муж, — м. б. в том же отеле, но и адрес отеля она не знает. Он пробудет очень недолго, во вторник уже будет здесь. Целую. Оля[i]

---

[i] Приписка сделана карандашом.

172

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.VII.42 2 ч. 15 мин. дня

Чудесная моя, солнечная, вся в истоме летней, моя открывшаяся Ольгуна, молодка моя... жена моя! Олёк, что ты со мной сделала твоим волшебным письмом?!![419] твоею очаровательною женской сущностью! Как я всю чувствую тебя, будто ты вот... в моих руках, вся трепетная, вся отдающаяся чувству, и какому же уносящему, какому, при всей страстности, светлому!

О, как я тобою счастлив, как взят... пленен... как ты наполнена любовью, как я чувствую это — «через край»!.. — все мне твое передалось и обожгло, и захватило дыханье, ну вот... будто ты со мной... до изнеможенья со мной, и я не помню себя, я весь в тебе, весь — с тобой, я силен тобой, я зажжен тобой... Ольга! Я тотчас же пишу тебе, как получил... — как ты мне велела! — твое письмо незабвенно будет — оно — такое — первое, твое первое, и, вообще, — такое — первое в жизни. Я знаю, что ты чувствуешь, — я сам так чувствую, я сам тебя опаляю, и сам тобой опаляюсь... — пусть! Ольга, дай сказать главное, от чего почти все зависит... — я — слава Господу! — здоров! Вот уже третий день — ни-каких болей, а я не принимаю никаких лекарств! — все было — спазмы, прав оказался Серов. Я сейчас внутри весь пою и сияю, я полон тобой, ты стала моей... физически моею стала... я почти это чувствую... и как бы я был безумно счастлив, если бы вот сейчас ты была здесь... и ты бы узнала, как я могу любить... как могу петь мою малютку-молодку... мою чудесную Ольгунку, мою жаркую... мою светящуюся любовью, пылкую, зовущую, безумную... — о, как же прекрасна ты, безумная! — безоглядная! Ольга, так переживать тебя... так свято-светло... так трепетать живым чувством... требующим своего... — о, это же так чудесно, так озарено лучшим в нас, и так безгрешно! Да, вот где предел любви... когда она требует боли... когда она хочет излиться — истомиться... и твое «измучай»... — о, как же я это слышу, понимаю... я сам тебе шепчу — Оля, я жду, я хочу тебя, я безоглядно, впервые в жизни так чувствую... я — твой первый, и ты — — вот такая, вот в таком шепоте-зове, — ты для меня поистине первая, единственная в свете, в жизни моей... так меня озаряющая, опаляющая... испивающая... О, я не ошибался, я чувствовал и знал, какой ты можешь быть... какая в тебе сила женщины!.. Ольга, Анна Каренина, когда загорелась страстью... помнишь слова Толстого? — она в темноте видела свои пылающие глаза... они светились...[420] И ты вся све-

тишься... Оля... Олюша... ты светишься еще ни разу не загоравшимся в тебе светом... — этот свет — пламя твоей любви, крик в тебе женщины... впервые пробудившейся... — на мой крик к тебе. Не смущайся, Олёк, это тебе дано жизнью, это живая правда в тебе... это переполнение чувством... это не темное в нас, никак не темное, когда в обоих такой восторг, такое стремление, такое — «ну, не могу больше выдерживать томленье... хочу любить всей силой»! Я пью тебя с фото[421], я прячу свои глаза в твоих овальках, в твоей вольной игре на солнце... в твоих ласканьях... я не могу дышать больше... я весь в трепетаньи жгучего горенья... от тебя, я пьян тобой... — прости, моя девочка-прелестка! Я пробудил в тебе эти движенья... эти изумительные признанья твои, — безмерную награду мне за муки, за томленья... Олька моя... я только тебя вижу, только тобой думаю, живу, только тобой имею силу ждать и верить. Мы должны встретиться, узнать, познать друг друга... — только тогда, — да, я это з н а ю! — только тогда, познав тебя, в с ю, всю тебя выпив, смогу я уйти в работу, найти покой. И какие же «Пути», какие, полные страсти «Пути» — увидит-переживет моя Дари, твоя Дари, Т ы — моя Дари! Тебя ждал, тебя провидел, тебя звал, тобой томился, моя царевна, моя чистая девочка... моя необычайная! Ольга, как ты богата ж и з н ь ю... и как я тебя всю з н а л, давно-давно! Т а к у ю - то и хотел всегда, безоглядную, отдающуюся — в с ю... — но ч т о я не смею здесь сказать, досказать... я сказал бы тебе... особыми словами, н о в ы м языком, шепотом любви... — такое боящееся звука... что услыхала бы ты сердцем, страстью поняла бы... любовью постигла бы до глубины... до изумительного восторга-счастья... неизъяснимого словом, — только сладостной болью чувствований понятного, таинственных чувствований, предельных... когда все в нас, любящих друг-друга, вылилось в одно желанное... в наше святое-святых... — в слитное, н а ш е, общее твоемое, — в грядущее ж и в о е! О, если бы... это Чудо! в в е ч н о е наше, в несбыточное — сбывающееся!

Пишу и страшусь, за тебя боюсь, за здоровье твое, родная, боюсь... — что пробудил в тебе невольно такие движения, такие желанья... — о, такие естественные для тебя! — какие должна, по Высшему веленью, познать-исполнить в жизни каждая женщина... Но ты для меня не «каждая», ты во всем особенная, и твои волненья, ожиданья, томленья... — единственные, т в о и... — и — мои. Ч т о я вижу в тебе, что чувствую!! ... Ты вся новая, ты единственная, ты — первая! Для меня ты — п е р в а я, т а к а я, — клянусь тебе! Ты высшая за все награда, увенчанье, свет всей жизни, за все мои потемки, за все боли... за все, за все, Ольга, Ольгуша, Ольгуна... какие имена

еще у тебя, неназываемая, душистый ветер родных полей, родное солнце в твоих глазах, родное тепло-жар в твоих объятьях. Ты вся — родная моя, ждавшая меня, искавшая... нашедшая так поздно, такими томленьями, исканьями, жданиями... отчаянием... — но, все же, нашедшая, пусть и не всего такого, как хотела бы... — если бы лет 15 тому нашли мы друг друга! Но ты снизойдешь к своему Ване, к одинокому своему, так чутко услыхавшему в тебе свое, родимое! Оля, Ольгунка... с первого твоего письма, далекого... — я как-то насторожился, как-то стал вдумываться, чего-то ждать... — казалось мне, что все это — не случайно... это ответ, это — «ау» — мне... — я сразу в тебе почувствовал «встречу», — — ты же вспомни, как я писал тебе... — о детях! — и когда писал, — поверишь ли?.. — я как бы спрашивал тебя: — я как бы мечтал в себе: «если бы вот она... эта неведомая Оля... была... моей..!» Даю тебе слово, Олюшечка моя золотая... пчелка моя блистающая... — вся ты блеск!!! — я так, скрывая от себя, стыдясь, страшась, так безнадежно думал! и это не казалось безнадежным!!! Свершилось чудо. Ты, ты, свершила это чудо. Мой дар, от Господа мне данный, помог тебе узнать меня, почувствовать, и ты, единственное в мире твое сердце... — все постигло, на все отозвалось своим священным для меня биеньем. Оля моя, жизнь моя... — сверх всех сил люблю тебя... так ни-когда не любил... — могу же сознаться в этом... ?! так свеже, так юно и так глубоко-зрело! Та любовь, к Оле, была большая... чистая... чудесная... а к тебе... — еще сверх всего этого, повторение той — и еще новое чувство, единственное, от тебя исшедшее, тобой во мне созданное, — и потому говорю тебе — ты — первая у меня, такая, полнозвучная, такая страстная, такая, переполняющая всего, такая — священная, святая... бесценная моя царица! Оля моя!

Пишу тебе, весь с тобой, весь переполненный, весь взятый... до предела жизни. И что же..! Ты все еще наполняешь, ты так богата, так щедра, так необычайна, так безмерна! Слушай же... Ольга моя, душистая моя... цветы всей земли в тебе для меня, все дыханья их — в тебе, ты... Ты — моя властительница, ты — меня побеждающая, ты дурманящая мое сердце... ты — сон мой светлый, птичка моя, поющая всегда в сердце!.. Ольга, сегодня — сверх-день, сверх-свет, сверх-счастье... — сейчас звонок, принесли пакет... — Ты!! всегда Ты!!! — о, лучезарная, ослепила меня, одарила, обвеяла, обняла, всего заласкала, зацеловала, и я слышу, как сердце рвется, льется к тебе... — малютка моя небесная.., как еще мне назвать тебя, мой цветочек, моя жасминка-ягодка... душистка... чудочко мое дивное... — как я тебя целую... как я дышу тобой... Ольга моя дивная... толь-

ко ты так умеешь радовать, светить, ласкать... ласка моя нетленная, вечная! Я целую твою рубашечку мне... твои пальчики, твои «крестики», твои думки, твое сердечко, я слышу его биенье... в шелесте шелка, в его ласке... — какая дивная рубашечка! Я утираю лицо т о б о й... Какой святой труд, — ты... божественная Ты — все это! Я вот положил твою рубашечку, эту живую ласку, на грудь, глажу ее, целую... тебя целую! — дивная!!! моя Оля... моя небесная золотинка... мой ангел, дышу тобой, вдыхаю тебя, через шелк этот! Какой вкус, какое сочетание! — Ты, Ты, прекрасная, только ты так можешь. Целую твои ножки, весь ниц перед тобой, весь для тебя, весь — тебе! Оля моя... ты пришла сейчас ко мне, мне так легко, светло, радостно... — Господи, как ты изумительна! как ты пребогата чувством, как щедра сердцем, — как необычайна! Ольга, я пью тебя, сладкая... сладкое вино жизни... бессмертная моя, живоносная моя, Душа моя... как тебя недостоин, как мал перед тобой, моя огромная! Ольга, если бы ты была, осязаемая, здесь со мной! Я потерял бы рассудок, я ослеп бы от твоего виденья! Оля, Олюна... благодарю... *ты меня переполнила*, ты меня затопила с о б о й. Я смеюсь на твою земляничку... на твой «стаканчик»! О, какая ты необычайная... я обнимаю тебя... я молю тебя... — ты — м о я... вся. Оля... я плачу... от счастья, от твоей любви, от заботы твоей обо мне... Я как бесценное все сохраню... — я все получил... И висмут, и пакетик, и коробочку, и коробку с Бисма-Рекс... Волшебная Ольга, что ты со мной творишь, чудесная?! Оля, Олечка, Олинька... моя девочка светлая... как я хочу нежно-нежно гладить щечки твои... твои реснички целовать, любоваться тобой... необычайная! Как я хотел бы с тобой, тобою одной *переполненный*, быть т а м, на твоей родине... — да будет это! — склониться над могилкой твоего папочки... Оля! Я хотел бы там храмик создать, Е Г О памяти... белый и голубой, и там положить моих... закрепить память объединенных... — и там остаться, когда срок наступит... — т а м... и — с тобой... последующей, *поздней*, все выполнившей... с моим духовным наследием. Оля, тебя прошу: ты должна принять все мое, ты — единственная на земле. Бог даст, мы еще долго жить будем, я завершу все, что дано будет мне... — мы увидим родное солнце. Хочу верить. Но знай, моя жена, моя верная подруга-дружка... — ты в с е для меня. Как ты меня наполнила, обогатила. Оля, как я жду тебя, как я хочу тебя, Олюна моя, — чтобы ты моею стала вечной, всею, — чудотворная моя Икона! Молюсь на тебя, и весь живу тобой, и весь — в тебе! Тайны твоей хочу, ...«и сквозь опущенных ресниц угрюмый, тусклый огнь желанья!»...[422] Оля... во мне все томится, такой истомой... до задыханья... я так тебя чувствую... я так брежу

тобой, так млею нежно, негой... о, безумная моя, красавица моя... — о, как бы я тебя... люби-ил... до истомной муки в тебе, до томного шелеста губ твоих, до... не знаю, не называю, не... смею. Оля, я твой, и ты — моя. Оля, я все сделаю, чтобы тебя увидеть... я завтра условился быть в Управлении и все сдать. Я буду очень просить, поверь. Я уже не могу больше... — Если откажут, буду просить разрешения тебе приехать. Как у меня сейчас хорошо, светло, сколько солнца! И как чисто. Арина Родионовна диву далась, любуясь на рубашечку. «Ах, мастерица какая!» В комнате — запах густой, от персикового варенья, от вишневого, красные вишни, — с ванилью. Будь ты — всю бы тебя — твои губочки! — вымазал вареньем... и все поцелуями снял бы... — нежная моя, сладостная Олюнка... О, сколько в тебе прелести неизведанной! Ты вся — прелестна, свеженькая моя молодка... ветер.

[На полях:] Оля, твое письмо изумительное! Какая сила!! Оля, ты все можешь, потому что ты все постигаешь.

Олюша, останься такой, открывшейся мне впервые! Как ты светоносна, и как — богата чувством! О, ка-ка-я!

Оля, я пронзен тобой.

Ольга, ты гениально умеешь любить и... творить. Да.

Оля, я не могу больше без тебя. Ты меня затопила собой.

Сейчас позвоню в отель к mr. Толен. Должен его увидеть, только бы он не уехал! Я упрошу взять для тебя конфет и духи! Сегодня как раз купил! Будто так надо было! У нас их продают с пятницы по воскресенье.

Все еще отзвуки моего чтения! Живут родной стихией! Благодарят. Я рад. А ты? Я для тебя рад, теперь у меня все для тебя! через тебя!

Оля, целую твои овальчики... в ветре.

173

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.VII.42 4 дня

Олюнка моя, что ты со мною сделала! Олюночка, это письмо твое, жгучее-солнечное, золотое письмо твое..! Олюна, какая изумительная ты, как ты безумно-богата чувством, сердцем, всеми движеньями существа... о, какая ты же-нщина..! — и ты еще мне будешь говорить, что не для творчества ты!.. Ты — вся живое творчество, если можешь так опалить... — это же вернейший признак творца — зажечь человеческую душу, тело, все... — а ты зажгла, и я все эти часы дня и ночи... — не свой... Олюна моя... солнце мое живое, огонь живой, как ты по-

чувствовала себя, и как же высказалась... в с я! Ты сейчас — в зрелости необычайной, плодоносной, ж д у щ е й! Т а к, как тебя теперь, я не чувствовал «женщины» ни-когда, ни в искусстве, ни в жизни. Веришь? Чаровница, ты знаешь силу свою... о, редкое явленье-чудо, моя прекрасная, прелестная молодка... и ты еще спрашиваешь... не очень ли рискованно дана на фото? Жалеешь, что послала?.. Олька, ты — само естество женщины... ты так чудесно скромна на фото... так обвеяна ветром и солнцем, и так в о л ь н а... — свободно-красива, истинная молодка русская... степная девочка, голоножка... — в е т е р... — вот метнешься... — «честь российского тавра»! Целую тебя бессчетно, пью тебя ненасытимо... и жажду, жажду... — что ты со мною сделала! Огни в тебе, солнечные огни блистают и жгут, и творят во мне жизнь-порывы, я хочу беснования в творческом, «мерного жара» в нем, после бури, тобой рожденной во мне, во всем моем... — ты этого не представляешь. Эти «огни», кровью ли жгучей зажженные, пылким ли хотеньем неудовлетворенья... моим ли вскриком-зовом к тебе... не знаю. Я их жар чувствую из твоих строк, и тебя, нежная-страстная моя... мое воображенье меня томит, и так все ярко я вижу, слышу, так ощущаю... — и задыхаюсь, моля твой облик, все ускользающий, порой такой живой, до слышимого вздоха... до трепета в руках... вот-вот, ты станешь здесь, в моей комнате, ж и в о й... весь свет закрывшей... Оля, — со стоном шепчу к тебе — Оля, моя... как я счастлив тобой и как измучен... — это ужасное воображение... оно меня пронзает тобой несбыточной... такой м о е й... — как я молю тебя, как зову... как изнемогаю от тебя, Оля!

Твое письмо золотое, твое солнце-письмо... эту песнь твоего сердца, всей тебя... — я оберегу его... оно только твое-мое... нет, никто не прочтет его, оно священное, это крик исповедный, — я его вбираю в душу, и оно живет в ней таким ослепительным бунтом, таким повелительным криком п р а в д ы, хотящей жить, быть, стать... Оля, я целую эти слова твои... это твое таинственное-очаровательное... — «из . . . чай»..! Оля, да, да... и я, я повторяю это слово — к тебе... я так же хочу этого огня-муки... и такой радости обновляющей любви, це-льной, полной... завершенной! Я знаю, что тогда творческое в нас, о, в какой мощный рост выльется, моя Олюнка... — Что может быть тебя дороже? что, что?!!! ... — я знаю, что ты в с е в моей жизни... стала в с е м, стала моим «во-имя»! И мне от этого тем легче, что вся т ы... — так со всем лучшим во мне сплетена, так его порождаешь, силишь... что ты последнее завершенье в с е г о во мне... — ты дашь мне это завершенье, ты его почти дала... Ну... как передать тебе..? Ну, Олюлька моя, де-

вочка моя лучезарная... ну, вот... чудесная картина... созданная... и — невидимая... — нет света. Она уже есть, создана, но никто не знает о ней... — нет с в е т а, солнца нет! И вот — свет. И картина стала быть, жить... Так вот — ты для меня этот свет, и я теперь лучше вижу себя, и сознаю себя, свою силу...

Твои розы, правда, обратили внимание уже тем, что были — по приказу из другой страны, — «самой горячей ценительницей твоего искусства» — посланы. Это — главное. Для меня, ты это знаешь, не имеет значения, — к а к и е розы. К т о дал мне их — вот в с е. К т о меня любит т а к — вот все. Т ы — вот в с е. И это — вся правда. Ольга, Олька, что ты со мной сделала!.. Я не спал сегодня. Я был с тобой. Ты — со мной. И все во мне тобою пело, тобой светилось, тобою... жгло. Должно быть со мною то, что и с тобой было. Знаю, что в т а к о м — можно принять смерть и не заметить. Это такое, когда все чувства поглощены, немеют, никнут... — и лишь о д н о — сверх-чувство... — м. б. даже сверхчувственное, — сть, — что за страшная сила! — властвует и велит. Это уже странная сила... какого-то высокого... инстинкта?! Не знаю... Знаю, что можно в т а к о м сгореть — и не почувствовать, т а к о т д а т ь с я!

Думал ли я... что во мне еще живут такие силы, такие чувства?! Ты мне открыла — да. И все это т о л ь к о через тебя, от тебя. Вот, какая ты, какая в тебе власть над тленным. Ты можешь довести и до... безумия. Я предпочту — «до предельного просветления», пусть даже через муку. Минутами я за тебя страшусь... — с собой совладаешь ли в таких «порывах»? Не делай опытов. Не пробуй свою силу над другими... и не томи себя. Сбереги. Я так ждал твоего первого рассказа! Оля, поверь: я в с е испытаю, чтобы тебя увидеть. Это жизненно-необходимо, — мне, тебе. Так н а д о. Ты — д о л ж н а писать! И т о г д а ты будешь писать, смело, — к а к вот сознала в себе страшную силу ж е н щ и н ы. Тогда будешь страшно сильна, я чувствую. Лишь бы не омрачило тебя... разочарование в твоем Ване... Для тебя я хочу быть, остаться хоть на миги сильным... для тебя, для — всего. Мы тогда многое отдадим друг другу, сто-лько скажем... столько почувствуем, — о, как ты чутка, как ты богата безгранично чувством, — вами!.. Ты — бездонна в т а й н а х... — каких, я еще не постигаю, только предчувствую. Ты... я же писал, к т о ты. Ты — от н е д р. Как ты мне углубляешь постиженье — моей-твоей-тебя... — Дари! Оля, это не слова... я знаю это. Т а к н а д о было. Я х о ч у... да, тебя хочу — з н а т ь, п о с т и ч ь, почувствовать всем во мне, понимаешь... — в с е м! Хочу тобою с т а т ь. И за это можно отдать жизнь. Твоего воплощенья в себе хочу. И мои «буковки» — лишь бледное выражение, чего х о ч у. Объяснить... — кружится голова.

Олюночка... я исцеловал твою мне рубашечку, твои «крестики»... — какая прелесть — в с е! Я вчера надел ее, целуя... — моя чуть похудевшая шея все же оказалась больше ворота. Но можно всегда переставить кнопки. Цвет — чу-до! О, как ты в с е умеешь! Твоя земляника... — ты или кто-то — так завинтили крышку, что я не мог открыть, я в нетерпенье пронзил ее, и достал твою землянику... в экстазе, в ласке, в трепете, почти физической боли от... сладости! Олюнка, я безумно целую твой «цветок»... хочу сорвать его... — ты поняла, о чем я?.. выпить его сок пьянящий... жизнь выпить... Оля, Олюна моя. Я брежу, я в грезах, я в истоме... и сны мои... сегодня — были таким плетеньем счастья, устремленья... безумного гашиша... тобой, — и мысль о «цветке», о твоем о г н е... теряю слова, в бреду я будто... ты меня прости, я так переживаю спутанно, одержимый лишь одним... — в с е й тобой.

Милка, благодарю за твои заботы, висмут... — ты чудеса творишь. Нет слов. Я вчера же, — меня задержали посетители чуть, — все же собрался, поехал к г. Толен, было десять вечера, не застал его в отеле. Оставил письмо, голландский роман «Человек»[423], и для тебя немного конфет и «фиалочку». М. б. успею в понедельник, — если торгуют, — найду «трефль» Герлен, — х о ч у! Толен пробудет, — узнал от портье, — до вторника. М. б. еще увижу его. Хотел бы ему дать еще для Фаси книгу «Историю любовную», — во-имя тебя! Олюночка, скоро День ангела твоего, мой ангел... — о, без тебя опять... Но я приду к тебе, я поцелую твои глаза, твои губки, милка... нежно поцелую, и буду всем сердцем с тобой. Писал тебе: 25, 27, 30, I.VII, 7, 10. Безумствую с твоим письмом.

Как ты велела — сделал: вчера же ответил на него. Не помня себя, заполоненный. Ты все — ты и смиренница, и скромница, и вакханка... и еще, еще... — но слов на это не дано. Так мне ясно: к а к ж е я т е б я намечал... искал, давая Дари... лишь намеками давая, ища... — но там уже в с е твое зачаточно. Сказал бы тебе в с е, как тебя в и ж у, сознаю... к т о ты... — ты чувствуешь «качанья» Дари? Да. Ты же — и она — из о д н о г о. Ну, не чудо ли — т а к искать... и — н а й т и?! Это — победа. И я получу венок, ты меня увенчаешь, мой ц в е т о к земно-небесно-земной! невиданный, животворящий и... разящий..? Не знаю. Я тянусь за ним, я жду его... — в нем — в с е, вся твоя сущность, все богатство сердца, чувств, тела, духа... — нет, я не порву его, я только его коснусь, так нежно... так благоговейно-свято... о, цветок всей жизни... ты, моя Олюна, моя, божественная в человеке, сущность... прекрасная из всех земных... не понимаю, что пишу, весь в сладкой смуте — вот как ты м о ж е ш ь... даже в отдаленье овладеть... ты, Ольга! Ну, дай мне

губки, бровки, эти глаза степные, эти дали родимые... в них столько света, столько мысли, чувства, сердца... трепета... полета... воли, столько н е б а, Оля... — я склонился, я глядеть не смею... я молюсь. На тебя молюсь, единственная из земных, из светлых светлая, из чистых — чистая моя голубка, моя пугливая пичужка... и — властная, могучая, прелестная из всех прелестных, женщина из женщин, Ольга! Гимн слагать? О, милая... я тебе дал тихое мое... мой «Свете тихий». Там — в с е. Что дам еще? Дам... что-то... пока неясно мне. Что-то... спою тебе. Когда..? Хочу... самое совершенное — тебе. «Пути»? Не знаю. Господа молю — дать сил — достойное тебя сказать, оставить. Только в большом смогу... — Тобою завершить и жизнь, и творчество свое. Тобою, п е р в а я моя, последняя. Да, мне нужно тебя видеть, н е о б х о д и м о. Тогда — в с е выполню.

Спешу, надо Сереже написать. Милый он. Маму поцелуй. Как я всех люблю твоих! Как они мне дороги, близки, — Ольга... ты и твои... — это лучшее, найденное на склоне, — и как я через тебя, через твоих... как я ярко ощущаю, что я люблю р о д н о е... мою Россию, — пел ее, плакал над нею... — и теперь столько чувства бурлит во мне... к а к бы я дал ЕЕ, в с ю, во всем! Оля, милая... помоги мне... только тобою я смогу все сказать о ней, всю ее красоту понять... найти в себе, собранное жизнью, ждущее рожденья, воплощенья... Оля, это лишь трудом огромным... моими «Путями», — чего-то ждущими, — смогу сказать, оставить... исчерпать до глубин... — во Имя Господа, во имя назначения Ее для мира... — передать людям, и себя исчерпать! Ты мне поможешь, мое чудо, моя дружка... своей особой силой... любовью чудной, небывалой еще, непознанной никем другим... — м. б. это — верю! — так назначено. Я ждал. Дождался. Надо торопиться. Я знаю свои силы, их хватит у меня. Ты мне их восполнишь, Оля. Ты меня восполнишь, ты — часть моя, ты — моя-другая, лучшая часть нашей Души, общей, одной... — явленная мне в моих путях, в моих исканиях, томлениях, в несознанном... — ты, моя Олюна, моя жена священная, моя перед Господом, моя — заветная, моя бессмертная душа... моя неоогторгаемая, неотторжимая Ольга-Олька! Как я тебя все-люблю! и как молюсь тебе, моя земно-небесная! Ольга, мне мало слов... только теперь я чувствую, как мне — для тебя — мало слов... их надо создавать,.. — они придут, в работе. Найду, — в с е для тебя найду, что создано для тебя, что творит тебя во мне.

Олюнь, целую, всю-всю, родная, святая, О-ля моя! Твой Ваня

[На полях:] Оля, я страшусь, как бы твои волненья и «огни» — не вызвали опять болезни! Оля, храни себя.

Оля, так любить, как я, мы... — какое же счастье! и — нельзя больше. Твой Ванёк. О, ми-лая!

Оля, — ты мне в с е.

174

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14.VII.42

Милый мой Ванюша!

Так мне горько за тебя, что страдаешь в болях! Но не мучай себя мнительностью и тем не усугубляй еще страдания. Я уверена, что у тебя это все-таки отзвук язвы от нервности. Конечно, м. б. и «вздутия» и т. п. кроме того еще. У моего отчима всякий раз после его чтений в церкви (он превосходно читал, особенно все великопостные вещи, длинные паримии[424], пророчества и т. д.), после собраний, когда ему приходилось волноваться. Мы уже наперед этого ждали, а сам он всякий раз удивлялся: «с чего это?». Ему доктора все говорили, что у него заколдованный круг: язва от нервности, а нервы от исхудания язвенного. Он ужасно был худ, юрок, жив. Ему было 63 года, когда умер, а никому и в голову не приходило его считать старым. Он таких «стрекачей» отпускал, что и молодому не угнаться. Ему доктор никогда не позволял: 1) утомляться; 2) долго сидеть у стола — писать; 3) не петь и не читать громко! Ну, не похоже ли на кого-то еще?? К счастью, он не был мнителен. Не пугайся потери веса, — это уж ваша такая «порода», всех с язвой. Но старайся удерживать вес. Обязательно отстрани гостей. Это должны понять. А ты отдохни. Ничего, что поскучаешь. Ляг и спи! Лежи и лежи. Ночами не плачь, не томись, что один. Ни-чуть не один ты! Я же все время с тобой. Мне тоже немыслимо тяжело сознание, что я далеко от тебя и тебе помочь не могу. Но я многое из своего лечения делаю для тебя, т. е. во имя твое, когда мне не хочется, то я скажу: «Ваня тут бы был и заставил бы». И кажется, будто ты тут. И ты вот постарайся так! Скажи: «Оля не хочет, чтобы меня беспокоили, я лягу отдохну. М. б. заснется». Заставь себя пунктуально есть, спать. Это так важно. Не принимай седормид. У меня были с него очень сильные боли*, до того, что я думала, не язва ли? Не выношу никаких сонных! Пей валерьяновый чай вечером. Очень покоит. Попробуй, — для меня! Прошу тебя! М. б. хорошо ставить на живот русский компресс? Влажное тепло очень успокаивает. Отчиму это делал Шахбагов с успехом. Есть ли у тебя электрическая грелка? Затем, Ваня,

* Откуда мои-то боли? Никакой язвы, а были невыносимы.

еще: попытайся достать рыбий жир — это дивно для всего! Меня спасли им в детстве. Да и после. Если тебе противно, то — есть препарат: «Sanostol» — очень вкусно с апельсином, ни намека на рыбу. Он укрепляет, восстанавливает и регулирует деятельность и кишечника, и печени, и поджелудочной железы. «Очищает» кровь, как принято говорить. Увидишь, как поможет. По новым изысканиям медицины рыбий жир необычайно скоро заживляет раны, очищает даже гнойные после-оперативные раны. У меня в 1935 г. была операция ноги и по вине операционной сестры (выкупавшей ногу в тазу после гнойной другой пациентки), загноилась рана, образовалось дикое мясо и ничто так не помогло, как рыбий жир, прямо в рану. Все очистил. На глазах прямо! Равно как сахар «съел» дикое мясо. Когда мне было года 4, я болела, думали умру, рвотой. Я не могла поднять головы, как начиналась мучительная рвота. Я помню это! Притворялась все спящей, чтобы не трогали. Доктора предполагали: и мозговое, и глистов желудочных, и... Бог знает что. Извели и маму, и меня. А один, просто поставил клизму до невероятия большую и глубокую, как для взрослых и все очистил. Жар спал сразу же, а то до 40° был. И велел летом есть много земляники (витамины??), и непрерывно, как только начнется «сезон», пить рыбий жир. Я совершенно бесследно исправила им желудок. Sanastol можно достать и летом. Попробуй, — авось еще найдется. Пусть С[ергей] М[ихеевич] даст рецепт! Не кури, Ванёк! Это — зелье!

Спроси С[ергея] М[ихеевича] вредно ли тебе пуститься в путь. И если нет, то приезжай с Богом ко мне! Мы будем бережны, нежны... Я буду рано гнать тебя в постель. Утром мы хорошо будем кушать. Я все, все устрою. Погуляем, если ты не устанешь. А то, ты полежи, отдохни, расправь нервы, косточки, все узелки свои. Я посижу около тебя, поглажу тебя. Тихо... мило... Я буду Ванюшу своего беречь и покоить. Откормлю тебя. Поживи же без забот вседневных! И брось разные глупости! Я тебя люблю, жду, м. б. я не тот идеал, что ты придумал, но сердце мое тебе не лгало. Ну, с новой Олей познакомишься. М. б. она тоже ничего?! Встряхнись, отдохни! Глупости! Для кого ты «должен быть в форме»? Ерунда какая! Нет, без «формы», ты мне ближе! Ты все равно всегда в форме, какой бы усталый ни был! Я же тебя знаю! Ваня, не громозди же ерунды! К чему это!? В мои именины я собираюсь, если буду здорова, к Сереже. И мама. М. б. и погуляем там. С. очень доволен хозяйкой и «квартирой». Приедешь, устроим тебя у Сережи. У него чудный балкон, полежишь на солнышке в стуле. Около Arnhem'а много чудных мест. У этой же хозяйки, кажется, могла бы и я устроиться, т. к. кажется есть еще одна свободная комната. Она

из хорошей семьи, не профессиональная пансионщица. Хорошо готовит. Сережа обедает в ресторане, но говорит, что иногда случайно у нее видит и подумывал даже не взять ли у нее и стол. Но ему по роду работы удобней не быть связанным. И не жулик. Это тоже очень важно. Попрошу ее тебе готовить. По ресторанам тебя таскать не буду, — вредно тебе это. Но если тебе лучше бы хотелось в hotel'е устроиться, то поищу и это, в хорошем месте города. С. живет на очень хорошем месте. Для питания твоего мне кажется удобней обед домашний. Скажи, однако, твое желание! Я бы хотела тебя поминутно кормить чем-нибудь. После утреннего кофе, я в 11 ч. тебе велела бы давать какао или молоко, с яичком, или еще что-нибудь. В 1 ч. «lunch», ну, это уж постановленное время еды. В 3—4 ч. мы бы уютно пили чай с чем-нибудь вкусным. Я бы уж припасла!! Уж знаю что! В 6 тут обед. В 10 ч. или пораньше Ванечка вместо чая что-нибудь питательное пил бы! И кушал-лакомился. Я вчера 30 фунтов черной вишни застерилизовала, да недавно красной — 20 фунтов. Но банки берегу для овощей. У меня масса всякого такого была. «Трамбовку» выгоню вероятно. Пропала с понедельника. Предполагаю, что позарилась на выгодные работы по сбору вишень. Из-за 1—2 недель упустит постоянное место. Но учить надо. Без предупреждения взяла и не явилась. Она часто уходила, то к жениху на целый день я ее отпускала, то на какую-то свадьбу укатила без спросу. Я не терплю такого отношения к дому и долгу. Если бы спросила у меня, то я бы ей дала этот «вакат»[1] — пусть подработает еще. Взяла бы временно-приходящую. А так? Отошлю вот! Сегодня нашла приходящую на часы. Но вчера и сегодня, и так до четверга... масса дел. Вчера устала безумно и испугалась-таки за почку. Бог миловал! Сегодня возвращается муж Фаси. Получил ли ты посылочку? Пустяк, но мне так хотелось тебя приласкать!

[На полях:] Незаметно уже написала «норму», а кончать так не хочется! Ванюша, будь пай, не терзайся. Приезжай! Олик твой ждет тебя! Оля [1 слово нрзб.], не «дерг-дерг», тихая, нежная, заботливая Оля! Я беречь тебя буду! Езда же такая короткая! А здесь я тебя заставлю отдыхать! Увидишь! Куда мне выехать тебя встречать? На бельгийскую границу? Если бы знать поезд точно!

Ну, Ванюша, будь же здоров, дружок. Не «нерви»! Хотела тебе подробно письмо Шахбагова описать, но уже сверхнормы. Он ставит ряд вопросов, на которые я должна ответить (анализы), и тогда он даст совет, что дальше. Думает, что излечимо, вселяет мужество и веру в выздоровление. Склонен думать и на

---

[1] Здесь: свободный день (*от нем. vakant*).

камень, — есть такие, которых не видно на снимке. О «другой сфере» *тоже спрашивает, представь себе. А я на* С[ергея] М[ихеевича] взъелась!

Конечно не поеду в Берлин, — слишком бы это было не под *силу* моей застенчивости. Лучше согласилась бы, кажется, хворать, чем показываться Ш[ахбагову], а к другим врачам — не имеет смысла, и здесь имеются. Ему, конечно, этот мотив не *выскажу*. Просто: *визы не получу*.

Ванюша, забыла тебе сказать: кушай скорей варенье: я его очень мало варила, т. к. хотела сохранить по возможности лучше аромат ягод. Не оставляй долго: прокиснет!

Сегодня варила малину — вспоминала тебя!

Ну, целую и благословляю тебя. Оля

15.VII.42 Получила сию минуту твои «ответные» письма (10 и 11-го). Я вся дрожу. Сегодня ночью было что-то странное: проснулась со словами: «Ваня, приди, Ваня, я т а к тебя люблю». Не спала до света, до птичек. Напишу! Тороплюсь ехать в Утрехт.

175

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.VII.42

Дорогой мой Ваня!

Вчера от Фаси получила твои чудесные дары; — ну, как же мне выразить и восторг, и радость, и... досаду на Ваню-моего, транжирку своего «пайка». Мне больно, что ты себя урезал! Как удивительно-аппетитны, «вкусны» даже с виду вишенки! Чудесно! А другие конфеты! Таких здесь давно уж нет! Обнимаю тебя, благодарю, целую! А утром вчера письма твои «гашишные». И сама я все в дурмане... С усилием громадным воли погасила в себе «огни». Нельзя. Не знаю, что их вызвало. Родилось вдруг! Вдруг я опьянела. Не думай: никакой свое «силы» я ни на ком не пробую... и не могла бы пробовать: я слишком полна тобой. И все это мое вызвано только тобой. Я годы была холодна и сама на себя удивлялась — думала, что старость. Правда! Вчера вечером, до боли я рвалась к тебе... так звала тебя. А ночью на вчера... мне снилось будто я в саду, а мама получила для меня твои письма. Я тянусь к ним, лезу под какую-то скамейку, чтобы добраться, попадаю в траву, густую, густую, влажную с ночи, всю дышащую утром, нагретую уже солнцем. Я утыкаюсь в нее, в эту траву и задыхаюсь ароматом ее. Читаю лежа в ней твое, и... все в безумье... «Ваня, Ваня, приди, я безумно люблю тебя»... и еще многое, многое, такое «открытое», больше даже, чем в том

письме, я тебе шептала. Я вся твоя была, я каждой жилкой своей тебя ждала, любила, тобой жила... До стона... И проснулась... Мучительно билось сердце. Было душно... Пахло твоими розами — они засушенные у меня стоят в вазе около иконы и наполняют всю комнату. И этот сладкий запах так пьянил и мучил! Мне так было мучительно без тебя... Поймешь?

Я не спала всю ночь. Летали еще аэропланы, гудел весь воздух сталью. Жутко. А утром... письма твои, оба (10 и 11), на мое сумасшедшее ответ. Я вся дрожала, их читая. Ты мне веришь? Почему я так тебя люблю? Мучительно, болезненно, страстно. И, знаешь, я совсем не «безоглядна». И в этом такая мука... Я не смела бы тебе писать так?! Я это знаю. Но я хочу. Я не могу не говорить тебе уж больше. И к чему? Я не увижу тебя? Гнаться за призраком? Где ты?? Ловить тебя, обнимать тебя, простирать руки к тебе... и... встретить воздух? Где же ты?? И если увидимся? О, Ваня, поймешь ли ты меня тогда? Нет, я не безоглядна! Не страшись моих «порывов», — я не сорвусь! Н и к о г д а! Я слишком еще и в рассудке... О, узнай, пойми же ты эту муку сути моей: пыл чувства, предельность отдачи сердца... и этот разум... совесть... долг! Ну, не сердись на меня за это. Я тебе признаюсь в своем существе... я такая. Я мучаюсь. Пойми! Но я не буду тебе об этом говорить. И все-таки: «блаженство темное зову...»[425] Я сгораю, Ваня мой!.. Да, чудесно это тютчевское о глазах: я их вижу... чувствую этот «огнь», у себя вчера... Едва можно справиться с ним. Я ушла вечером гулять в ветер... Уснула мирно. Какое холодное лето. У вас как? Хочется жары, тепла... Ваня, ужасно это, что все, все мною присланное не годится! Мы по Сережиной рубашке делали тебе ворот, — ему не узок. А баночку варенья я тщательно сама завинчивала. Ее легко можно было открыть. М. б. Толен закрутил из боязни вымазать свои вещи? Надо было постукать кругом края крышки, — легко бы открылось. О розах я справлялась в магазине: сама видела в их «исходящих» «ордер»[i]: «красные, длинностебельные розы, лучшие по сорту. Требуется подать очень красиво для праздничного случая». И ответ из Парижа: «поданы 20-го июня (адрес) красные розы». Я заказывала сама в самом шикарном магазине, и барышня не понимает, что это могло быть. Она думает, что вообще мало роз и потому дали «Paulsen-Rosen» (вроде шиповника) вместе с другими. Или здесь, вместо 300 шт. в день отпускают из центрального распределителя только 20 шт. И часто они не могут удовлетворить публику. М. б. то же и у вас? Она мне долго рассказывала о цветах и показывала, что у них есть, — пустые

---

[i] Заказ (*от нем. Order*).

витрины, по сравнению с раньше. Предложила мне наперед не обуславливать отсюда, но предоставить на месте послать лучшее из того, что есть. Она мне показала приблизительно то, что могли бы послать не то, что я послала. Поверь, — тебе не пришлось бы огорчаться, — это был чудесный букет. Относительно спаржевой зеленцы, та руками развела, к чему ее вообще присунули. Куда шикарней без посторонней зелени. При следующей корреспонденции напишут нагоняй. А мне так больно! — У Фаси был очень грустный вчера день: ее папа чуть было не умер от сердца. Ему свыше 80 л. и много пережито, кроме еще хронической какой-то болезни. Она лукаво на меня посмотрела, когда я вся засветилась, увидя твое чудесное мне! — А я хотела померкнуть немножко, но не могла... Я улыбку не могла унять, краску... счастье! Мне все о тебе говорить хотелось... Но я не говорила... Фася просит читать твои книги... А я боюсь за автографы... Увидит... А это твое-мое сердце!

17.VII.42

Ванюша, прости мне мои безумные письма. Я не смею тебя волновать. Я вся уже снова пай-детка. Я очень впечатлительна. Сейчас я горю, порываюсь писать. Бооольшой роман[426]. Я чуть дала его намеком маме. Она одобрила и сказала: «думаю, что сумеешь... это хорошо будет. Ты так живо, картинно всегда рассказываешь-изображаешь». У меня большая задача... «Миссия». Не сердцещипательные сценки, а кровная, наша жизнь! Ее должны знать! (Птичка моя мешает писать и грызет бумагу.) О, если бы Бог помог... Это не будет историйка Анны Карениной, от которой миру-то «ни холодно — ни жарко». Пусть меня обзовут «горе — писательницей», пусть я не художник, но м. б. кто-нибудь, когда-нибудь оценит в этом труде другое. Не автора. Я не гонюсь за славой.

Я напишу и о лике. Но это другое. И да поможет мне Господь! Это — долг мой! Я постараюсь написать до твоего приезда часть, хоть, чтобы ты мог судить. И посвящу... о, кому! Нет, даже не тебе! Все, все, отдам тебе (если то, что напишу будет тебя достойно), но это — — — это принадлежит Ей! Кому? Угадаешь? Нет! Той, во имя которой живу, за которую молю Пречистую... Ты разделишь и поймешь!

Ванюша, к 24-ому я шлю тебе особенный привет...[427] я все мысли соберу и пошлю тебе любовь и ласку. Это грустный тебе день. Ты будешь на могилке? Помнишь наше первое с тобой «свиданье»? «В 12—30 подумайте обо мне!» Подумай и теперь в 12—30! Хорошо? Если буду здорова, то поедем в церковь, а потом к Сереже. Подумай в 12—30! Уже кончится служба. Только бы быть здоровой. Сегодня готовимся к имениннику, зав-

тра — Сережа[428]. Пироги будут с луком и яйцами, и с малиной. Малины много, но кислая без солнца. Как ужасно, что проходит лето. Уже разговоры о молотьбе и т. п.! Как летит время. В прошлом году я очень устала за время молотьбы: смолачивались по несколько крестьян и было 13 человек, которых я должна была 4 раза в день кормить. А т. к. мотор был долго в починке, то растянулось на 2 недели: каждую ночь по 2 сторожа у нас торчали. Теперь кажется будет иначе. Говорят, что власти назначат своих доверенных лиц, а хозяева не должны присутствовать. Тогда наверное мне не надо будет и о еде хлопотать. Все будет более казенно. На огороде из-за холода ничего не растет, а только гниет от мокра. Огурцов до сих пор нет, а в прошлом году уже были! Сегодня я себе один стаканчик земляники сварила. Скажи, ты получил письмо с веточкой земляники? Или она измялась? Твои письма все получила, кроме от 30-го июня. Как я мечтаю о твоем приезде! Не хватит времени на все, что надо сказать. Возьми то из твоего, что я не знаю. Все II «Лето Господне» (почти все), «Радуницу» знаю и «Вербу»[429] знаю. «Трапезондский коньяк», «Чертов балаган» я не знаю. А «Виноград»? Возьми, все, что можно, чтобы прочесть, конечно. Не подарок. Боже упаси! Не выдумывай ничего дарить! Я заплачу тогда! «Трэфль» я искала, и только для тебя, а не себе. Только потому, что напоминает «любку». Это же ты ее так любишь. Ничего, слышишь, не надо! У меня все есть! Чулок, слава Богу, у вас уже не достать. Знаю. Фасе не достали. Я рада, а то, пожалуй, досадил бы мне все-таки. Умоляю, не надо! Привези только себя! И речь твоя о Пушкине[430] есть? М. б. привезешь? Вот это все — меня интересует, а не «бабьи побрякушки»! Не надо мне ничего, кроме тебя! Конфеты кушай сам. Нельзя себя урезывать в пайке. Мне только грустно от этого. Хорошо, милый? Кричит птичка... «где ты? где ты? где ты?» Часто, часто... и потом редко: ...«где, где, где...» Кто это? И я спрашиваю... «Где ты?» Понимаешь, Ваня, я не гонюсь за славой, не подумай, что я о себе воображаю, если буду писать. Мне для себя ничего не надо от читателя. И я не буду стараться. Я буду просто зеркалом. Правдивым.

[На полях:] За 6 недель прибавила 3 кило! 63 kilo!

В моей комнатке-келейке пили вчера с мамой чай с твоими конфетами.

Ответь скорее!

17.VII.42 Сегодня вечером я уже «Снегурочка». «Пай». Не страшись за меня! И мне все-о скучно... Я почти что — флегма! И... вдруг! Я вдруг меняюсь. Но флегма не к тебе!

Наконец-то осилила письмо Шахбагову, — валялось днями. Все снова описала о болезни... Сколько же было муки... вот

пишешь и видно... А теперь? Как боюсь я, как пугаюсь, когда... одна... и должна посмотреть!.. Всякий раз молюсь.

Очень хочу писать. И трудно... У меня опять мыши... Не пиши мне лучше ничего о рассказе. Я боюсь... Скажи: что говорила тебе про меня «Юля»? Она догадалась? Конечно. Она же умна. Она ревнует? Это может быть. Это бывает. А что же «молодые»? И здоров ли Ивик? Желаю ему успеха! Целую тебя. Оля

176

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.VII.42 5—30 вечера

Олюночка милая, ласточка ты моя далекая... светлый ты ангел мой, как и назвать — не знаю, весь тобой полон, тоскую, мучаюсь, недостижимая... Целую тебя, именинница, вдалёке от тебя, а сколько душой от тебя далеких — с тобой, засыпали тебя цветами, словами... и ты — для них. Руки тебе целуют, в глаза заглядывают, могут бойкий твой взгляд ловить, могут и так смотреть... тая желанья. А, зачем я пишу это!.. Но как мне трудно в себе таить. Ну, Господь с тобой. Только бы ты была здоровой, полной надежд светлых, и... помнила сердцем твоего Ваню. В этот день я, если что не задержит, поеду, как все эти годы, в Сен-Женевьев... — вот мой Ольгин день. Ты его знаешь, писал тебе в прошлом году. И светло, будто... — и грустно-грустно. Ну, светленькая... вглядись в сердце мое, вспомни все, что шептал тебе, все высказал, все во мне знаешь... всю глубину душевную знаешь, все мое к тебе — знаешь. Да, рвусь к тебе, но столько препон всяких... и я верю и не верю — увидимся?! Я все делаю, что только можно, все. И обнадеживают, и... разочаровывают. В понедельник будет пущено мое ходатайство в ход, а когда отзовется..? Не в этом, «именинном», письме скажу о многом, что сказали мне последние твои письма. И — о себе, как жил эти дни. Мое душевное состояние... лучше? Здоровье... — не знаю, лучше ли. Я очень разбился нервами, упорная бессонница, назначен бром. Все — говорят — «от нервов». Ну, ничего, болей нет. Погода плохая действует на меня тяжело, хмурит. Не радостно мне. Но зачем я все о таком? Надо тебя радовать, ласкать, — но, Оля... ты знаешь, как я люблю тебя, как глубоко, как крепко. Детка моя, как я обласкан тобой, твоим сердцем наполнен! Твою «земляничку» засушенную я получил и принял в сердце. Эти твои беги за висмутом... твоя чудесная рубашечка... — какая ласка, какая нежность мне... — я бережно с ней, я не хочу ее помять, пусть она всегда такая, без одной складочки, девственная! Она — священное для меня, Оля... эта

рубашечка, эти святые крестики, твои мне думки, вздохи, твои г л а з а... — смотрят в меня из этих чудесных крестиков.

Мой гостинчик тебе... только бы дошел с этим г. Толен! Он мне ни слова не ответил, на оставленное мною ему письмо в отеле... Я писал тебе, что в пятницу, 10-го, отвез ему книгу с автографом, голландское издание «Человека». И — пакет для тебя, с конфетами и духами — две коробки конфет. И — письмо ему. Он совершенно, должно быть «дикий» и неотес. Мне [на] это плевать, — ради тебя я так. Не смущайся, и дикаря не вини: это его сущность. Грызи конфеты, душись, поцелуй цветы, если Сережа не забыл мою просьбу. Это маленькая моя радость — хоть малым тебя поласкать из отдаления... Я не скажу что весь этот день буду с тобой: я в с е г д а с тобой. — Мне очень хочется скорей уйти в «Пути»... мне н а д о их завершить... — о, как я молюсь об этом! Не проходит дня, чтобы не пришло какого-нибудь нового «дерганья», мешающего сосредоточиться. И — странно, что так «совместно»! — редкий день не слышишь о «Путях»... Сегодня, вот сейчас только, пришел один драматург... м. б. знаешь — Н. Евреинов? — «моя жена ошеломлена...»[431] ну, и... о «Путях». Словом, как нарочно, — поджиг и — то-рмоз! — Да... не получил твоего рассказа... О твоих словах — «условии» твоем... (не писать ни слова о рассказе!) в этом письме не стану писать, — в следующем. И много есть, что сказать тебе — о мно-гом. Что меня изумило, почти... ошеломило!

Нет, я хочу светиться нежно, ласково, с тобой светиться, тобой дышать, моей светлой Ольгой — в этот светлый день. Будь здорова, будь светла. И — ко мне светла.

Может быть мне не надо было писать тебе так, как писал 10 и 11-го. Прости, если смутил. Но ты мне так открылась, так... необычно, так полно. Но ты еще и другое нечто открыла мне... — об этом — после. Я очень задерган, мне опостылели посетители, истомили. «Давно усталый раб, замыслил я побег»[432].

Зачем ты так: «хочу, чтобы ты по своей воле, а не по слову “царицы”»... — Это о твоей копии моих строк об искусстве! Я, по с в о е й воле!!! Я хотел любителю «авторского» дать «соску», а вовсе не поручить хранение!! Я только т е б е — поручил и поручаю!!!! Когда ты этому поверишь?!! Не веришь. Тогда оставим об этом. Прости, я в с е после напишу. А сейчас — нежно и в е р н о, истинно-недрами души тебя обнимаю, ласкаю, мою девочку светлую, единственную, и — незаменяемую. Господь с тобой. И — все лучшее, что есть во мне — с тобой, для тебя. Голубка моя, Олюна, Олюша, Оля... — мне в этот день, знаю... будет очень одиноко, так пусто... так пустынно... но я постараюсь сыграть тебя, заставить ж и т ь во мне. О твоих «смотри-

нах»... Поражен. После. Заранее скажу: следующее мое письмо будет серьезным. Очень. Целую. Твой Ваня

Я весь излился в письмах 10—11, — и вот, это лишь отражение моей усталости.

177

И.С. Шмелев — О.А. Бредиус-Субботиной

20.VII.42 5 дня[i]

Светлый мой ангел-Ольгуночка... вижу тебя, в твой День, — радостная моя, просветленная, любящая так нежно, вся — ласка, и вся такая летняя-летняя, июльская, жаркая, знойная... — и на головке твоей милой — перевиты косой чудесной — вишни, сочные-сочные, полные темным вином и сладким... ты вся — чудесная моя ягодка, малинка, вишенка... и я из далей слышу, как пряно твое дыханье... — малиной спелой, малиной жаркой, с июльского полудня! Щечки твои горят, и в светлых твоих глазах, где небо играет синью, — смеются в румяном блеске, играют сочно, путаются в ресничках... — грозды малины спелой, и вишни, вишни... — с развесистых деревьев сада... — и все в тебе, родная, такое благодатное, радостное и нежное, и вся ты — нежная, вся ты живая не-га... заветная вишенка моя, Ольгуна... — я слышу, как бьется твое сердце, моя далекая, моя беззаветно любимая Олюна, ангел... Пишу — тороплюсь, хочу, чтобы поспело это отрывочное письмо, укрыло тебя от тревог напрасных. В последнем, именинном, от 17-го... досадные строки могут тебя смутить... я что-то писал о «серьезном» письме, которое напишу... Нет, нет... ни-чего серьезного, никакого письма... все это вырвалось так, случайно, опромётно... — смутили меня твои строчки... и вчера еще смутили приписки в письмах с рассказом... твои «или — или»... где ты говоришь о поездке к доктору...[433] Я написал — и порвал. Никогда не смущу твоего покоя! ни-когда не повторится страшное, как томились и в октябре, и на Рождестве... — ни-когда! Будь светла. Твой Ваня глубоко любит тебя, не искушай его... не грозись! Я перемучился этой ночью думами... — ты не сделаешь т а к, ты н е можешь т а к... ты не можешь т а к разменять неразменное, ставить т а к о й знак равенства: или... — или..? И это вырвавшееся у тебя — «Вот — тебе!»... — это же сон дурной. Ты не можешь сжечь несгораемое... ты... — Ольгуна! м о я Олюна! мой ангел светлый, мой ангел чистый — чистый! Будь светла, нежна, тиха... — такая твоя сущность истинная, такой

---

[i] На конверте помета И.С. Шмелева: для именинницы! Срочно!!

несу тебя в сердце! И если бы я принял это — «или — или»... — ты сама взглянула бы на меня с презреньем!

Нет, Оля моя... я не омрачу твоего сердца, моя чудесная. Знай, как я люблю тебя. Больше любить нельзя. Я устал... но болей нет, вот уже три дня нет. Все было от небрежности моей к себе, от пустяков. Только бы вернуть сон, покой. Придет это. Я тороплюсь, я хочу, чтобы ты была покойна, светла, моя голубка. Моя именинница-ангел милый, моя Олюночка бесценная, моя дружка чистая, верная, далекая-близкая, нельзя ближе... Вишня моя, сладостная моя, теплая — летняя моя... русская вся, девушка-женщина... — ах, как малиной пахнут твои щеки, твои реснички, губки... — все путается во мне, от этого пряного дыханья моей Олюнки, мечты моей заветной... Дай же мне вишни твои, с губ твоих, с этой горячей щечки, где растеклось струями... — малина, вишня..? — о, моя земляничная, жасминная... — июльская ныне, ангел мой, крылья твои румяные, — и в них грозды запутались, — вижу так... вижу — как никогда не видел... — ягода зрелая, живая!.. — кружится в голове от страстного томленья, от пряного дыханья твоих ягод, тобой согретых, тобой укрытых, — с каких же вишенников родимых снятых, с каких малинников..? — не назвать. Я вижу их в тебе, тобой созревших! Олюночка... — целую тебя, сладкую, ягодную мою... — о, дай же эти губки, жаркие такие... моя вишня! Целую, всю целую... и где отстукивает сердце твой жаркий полдень... — я слышу его так ясно, — я чувствую его так близко, — вот, у меня под ласковой рукой, тебя коснувшейся, я слышу нежное ту-тук... — я слышу — «люблю... люблю...» И мое повторяет неустанно, и будет стучать, стучать... так нераздельно-слитно! — «люблю... лю---блю...»

[На полях:] Олёк, я дарю сегодня тебе — русское мое «Под горами», — тобой любимое, т. е. литературные на него права. Ты знаешь его лишь в немецком переводе — «Liebe in der Krim».

Я дарю тебе — на родном языке: «Под горами». Да будет оно истинно твоим, Ив. Шмелев

Твой, до конца — Иван, Ваня, Ванёк

Не одна ты восхищаешься: караимочка сходит с ума (а русский оригинал — несравним!!)

Отныне эта повесть — твоя, моя именинница. Ты чудесно издашь ее в России. И. Шмелев

Сбереги эти строки!

Приеду, если позволят доктора. Я надеюсь! М. б. в 1/2 авг.

Но оставь «шутки» — это недостойно ни меня, ни — главное — тебя!

Аппетит очень большой, начну набирать!

178

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Черновик]
22.VII.42

Какое страшное может быть уничтожение праздника. Какое совпадение. Кто это тот, что не дает мне света в радостные дни? Кто путает все, мешает? Почему испорчен, — и как! — День ангела моего?

Почему обижена я?

Можно думать, что во мне и вина, но я честно вдумываясь во все, не вижу ее.

И здесь, даже, вся обида... Она — напрасна. Я не виновата. Отчего же так совпало?

179

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.VII.42

Ваня, Ваня, родной, любимый и... такой иногда странный, непонятный мне... жалящий остро и больно!

Твое «именинное» мне письмо пришло сегодня... И какое же? Зачем ты отнял у меня мой День ангела? Зачем лишил меня света и радости? За что? Мысленно перебираю я свои письма к тебе, то чувство, в котором они тебе писались. Я ничего не найду такого, что могла бы вызвать ту р о з г у, которой ты грозишься мне в этом «именинном» письме. И еще 3 дня ждать до именин, теперь тусклых, скучных, без единой даже искры света! Да, ты стараешься быть ласковым и нежным, ты присылаешь (видимо) что-то через Сережу, а сквозь это... много раз просишь не забыть меня, что будет р о з г а. И я, не видя ее, эту розгу, в ожидании ее только, вся сжалась, вся истомилась, вся сникла, готовая к твоему удару. За что же? Ты меньше причинил бы мне боли, если бы теперь же, сразу же, не считаясь с обычаем к именинам писать милое, все бы сказал. Это преддверие измучает меня, знаю, м. б. до изнеможения. И я спрашиваю себя: чего ты хочешь?

Я не знаю, в чем будет состоят твое «серьезное» письмо. Но скажу только одно, заранее, и от всего сердца: о н о н е с п р а в е д л и в о! Потому, что не было и тени в моей душе никакой на что-нибудь, что могло бы тебя оскорбить, задеть, разочаровать во мне, «ошеломить». По ассоциациям, по твоим намекам, я кое-что вижу. Ты — ревнуешь, Ваня??!? Ты можешь только

к одному ревновать: к самому себе! Абсурдно? Но бывает! Бывает! Мне рассказывала одна дама, что ей всю жизнь муж делал упрек за то, что отдалась ему безоглядно, влюбившись до безумия. Я видела иногда сама их драму. Он, забываясь, иногда даже передо мной, посторонней, кричал ей: «ты со всяким могла "тискаться", — я-то — знаю!» Именно это «тискаться» — «knutschen[i]» говорил. А была она до глупости добродетельна и любила только его, даже и такого... Я объясняла это его особой дикостью, — у него были странности. Но меня совершенно поразило то же самое наблюдение, сделанное Шаляпиным. В своей книге «Маска и душа» он эту черту выставляет, как очень присущую нашему народу. И вспоминает об этом в связи с тем, что мы почему-то обязательно должны мучить того, кого любим, ценим, и т. п. И прямо говорит, что так например «о н» не простит любимой девушке тех поцелуев, которые когда-то сам с восторгом принимал. И искорит ее за них[434].

Женщина не должна открываться! Вот это все! Онегин не простил Татьяне ее открытости. И упал перед закрывшейся для него княгиней. Вот это и все! Но неужели я с тобой должна так же? Я открылась тебе до предела. Я хотела так! Мне была счастьем это. Описать тебе все, всю обстановку. Даже вот до бульканья воды... слышу это и сейчас, хоть льет дождь и шумит ветер. Ты ко мне подходишь слишком обычно. И я, не будучи той Святой, как пишешь ты, я и не та, что ты бранить будешь! Когда я тебя люблю, то люблю только тебя. И если бы ты *все* обо мне знал! Я не могу, ну, не могу тебе многое писать о своей жизни, но ты поверь мне, что тебе стыдно было бы самому за те подозрения, которые ты мне бросил бы! Ни на кого я не смотрю так, как у Христа сказано! И этот жалкий свояк... о, Господи! О нем упомянула лишь, чтобы показать тебе, к а к горела я тобой, я в нем видела как бы отражение своих огней! Мне даже тошно об этом, — так это недостойно строк. Ты говоришь, что мне будут дарить цветы, руки целовать и т. д. ... О, как смешно мне сквозь слезы! Ты и не представляешь к а к я одинока! Кто? Кто они эти, целующие руки? Голландцы не знают моего Дня ангела. Не будет даже и привета с почты. Никто не знает! Даже Фася и та уезжает на дачу в этот день. Мой свояк мне и всем так прискучил, что я теперь долго его не увижу. Я же зеваю, когда он у нас. Никто, никто. М. б. только в Гааге, куда я хотела ехать с 8 ч. утра, семья матушки[435] (женщины и старушки) поласкали бы меня. Ее Оля — именинница. И думали уехать к Сереже. И это — все!

Но вот нежданно приехал друг нашей семьи из Берлина[436].

---

[i] Тискаться (*нем.*).

Мы условились с ним обедать в Гааге от 2—3-х часов. Иначе он занят. И это все! И это уж мне — событие! Но он верно не знает, что я именинница, и, хоть и перешел в православие когда-то, но мало еще об именинах знает. Я давно уж не видела «заглядывания в глаза», никто не целует мне руки. У голландцев же это не принято, как и у немцев. Только Пустошкин да Юрий (муж Елизаветы), «приложатся» (ненавижу это!), ну, кое-кто еще из русских, которых вижу я раз в год. И ни одного т а к о г о взгляда! Разве я из тех, что допускают такое?? Никогда. О, если бы ты видел, как одиноко мы живем, в нашем захолустье. Как отучилась я быть «дамой». И никого не вижу, но если бы и видела, то у меня нет для них ничего. Я же вся у тебя! Ты все еще не знаешь? Ты, как художник, как писатель ведь должен знать, что женщина, любя одного, не может, просто не может в и д е т ь других. По крайней мере я бываю тогда поглощена. Меня нету для других. И в этом вся драма жизни моей. Я не могу легко, просто жить. Я молчала, не говорила тебе ничего на твое: «живи спокойно, верь, что Ваня твой тебя любит, не терзайся, будь здорова». Нет, я не могу быть спокойна. Я не хочу писать. О многом и нельзя сказать. Да и м о е это. Но как ты глубоко меня н е з н а е ш ь, н е п о н и м а е ш ь! Что же я была бы за тварь, если бы розга твоя мне была справедливой!????

В конце письма ты примечаешь: «твои “смотрины” меня ошеломили». О чем ты? Даже не пойму?! К нам, т. е. к Арнольду, собиралась их подруга детства, некто «Soff», вышедшая замуж и вдруг, что-то ее «чкнуло» поглядеть как живут Bredius-Subbotin’ы. Она — «дама», именно дама. Богатая и привыкшая к роскоши, как к воздуху. Я всегда перед такими робею. Глупо? М. б.! И т а к и е обычно не прощают именно отсутствия этой всей мишуры. Потому и написала: «простят ли мне мой “маникюр”»? Они не прощают труда, рук со следами работы. И я, хоть и презираю таковой взгляд, все же всегда хочу показать, что, не скупясь моим, тем, что они презирают (внешне, а в глубине то завидуют!), я смогу и их требованиям вполне ответить!! Потому и писала тебе так. А что ты понял, я не знаю? Ты подумал, что я вся стала ихняя? Да? Неужели ты это мог? К счастью не были они. А. мне объяснил их интерес к нам: «ищут завязать старую дружбу, — м. б. надеются просто поесть чего-нибудь раздобыть!» М. б.! У многих же такой взгляд, что у крестьян всего много! Глупо! Их не было! Относительно рассказа моего... Неужели ты не понял, что я боюсь, трепещу... Этого твоего суждения. Неужели непонятно тебе это? Как ты стал вдруг ко мне глух! Во всем! — Что-то тяжелое, мутное, закрыло меня от тебя. Что это?

Как ужасно, что эта твоя розга совпадает с очень тяжелой моей полосой. Я теперь — совсем одинока. Мне очень тяжело. Как бы я хотела убежать куда-нибудь.

Меня обидела мама. Мне тягостно. У меня не будет Дня ангела. Я так не люблю несправедливости. И вот... Я вся задавлена ею. И от обоих моих любимых: я не могу терпеть. У меня нет сил сносить это!

Я так боюсь твоего письма, что, кажется, не рискну открыть его. Я боюсь. Я не выдержу его... У меня совсем нет теперь сил. Так иногда бывает: думаю, что окрепла, поеду в город, — вернусь разбитая. Так и тут... М. б., Ваня, я не прочту его. М. б., я высчитаю сроки, когда ты сможешь мне на мое это ответить, и тогда только прочту, а все до этого буду откладывать. Прочту после. Ты не сердись. Это какой-то, м. б., инстинкт самозащиты. Я боюсь терзаний, страданий, боюсь, что не справлюсь с еще одной, незаслуженной обидой. Мне даже не с кем словом перекинуться. Мы все молчим...

Я жалко, пусто, бесцельно влачу дни... Я наказана за мои письма тебе. Так — грех, видно, так и ты не хочешь. И я несу эту кару. И как больно! В тихом свете, нет обмана, нет блуждающих огоньков, нет муки. Я начала, я виновата, и я несу. И потому, я не ропщу, но эту несправедливую обиду, и твою, и мамы, я несу, постигая душой, что она обиняком, но кара за что-то, что я все же преступила. Ну, прости меня, Ваня. Вот, как через грех человек может сам себя наказать. Мое письмо к тебе унесло Свет, зажгло другое, то, что оставляет пепел. Наконец-то слезы... я днями их ждала. Как хочется мне в церковь, как неисполнимо это, как горестно! У меня же никого нет, никого. И я вижу, что все же я виновата. Что-то мне необходимо. Смирение, отсечение воли? Бесплотность? Какое-то очищение? И ни одной души... Никого! О. Дионисий — дитя! И все же — единственный, пожалуй...

Ну, довольно! Я стараюсь заполнить, заткнуть день. Дни! Драгоценные дни... Душой я знаю, что ты не приедешь. И я не вынуждаю. Я всего теперь боюсь. Когда будет можно, то сама постараюсь к тебе приехать. И тоже не верю в это! Значит так надо! Сгореть одной? Когда кончится война, и если останусь жива, хочу уехать, сперва в Швейцарию, к духовному моему отцу («посажёность» тут ни при чем), а потом домой. И это — без предпосылок, без всяких. Этим только и живу, только это осмысливает мое существование. И только это дает мне силы продираться сквозь одинокое болото.

Ну, я жду твоего письма. И замираю... Я вижу себя со стороны, — эту жалкую фигуру, обороняющуюся слабо и безнадежно от удара. И все жизнь моя такова: этот вечный дамоклов меч!

Но что вызвало у тебя эти состояния? Откуда? Письма 10 и 11 не носят и следа их? Что? Я теряюсь. Мне тягостно. Я знаю, что прочту этот твой бич, не совладаю... прочту. И боюсь читать. У меня нет сил... За что ты меня?? За что? Чего ты хочешь? Спроси себя! Ответь себе... и м. б. пожалеешь о розге? Но, однако, я не хочу вызывать в тебе жалость к себе.

И я все же снести могу еще очень много... Мне чувствуется в тебе какая-то «заноза». Последнее это время... И... эти письма... так регулярно через неделю... Размеренность, планомерность... Холодность? Блеклость чувств? Ты хочешь моего отхода? На время? Вовсе? Скажи тогда! Наскучила? Хочешь нового? И какой чудный был этот день в прошлом году! Оля

[На полях:] До свидания, Ванечка, в следующем письме... мирном... Когда ты его мне напишешь!?

Как оплакиваю я прошлогодний Ангел! Какое чувство! Свет какой! Какое солнце! Ушло? Ужели? Вспомни надсоновский «Поцелуй»... Только утро любви хорошо...[437] Не люблю этот стих, но как верно!

P. S. Нет воли идти на почту, послать заказным... Я вся разбита. Отдаю шоферу. Идет простым.

Вчера не успела отправить в Утрехте письмо, — отдала в Houten'е, по дороге.

180

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

26.VII.42 ночь

Милый мой Ванюша, вчера твое письмо на Сережу (его он получил утром, а в 6 ч. вечера привез уже мне). Спасибо, родной Ваня, за него тебе! Я истинно знаю, что любишь меня... Ванюрочка, за чудный цветок тебе спасибо: Сережа прислал его мне, такой, как я люблю (постоянный, название опять забыла. Звонила в магазин, спрашивала, как ухаживать за ним. Из рода агавы, в середине один розовый цветок (чудный!!) вроде шишки, дивный цвет розовый и чуть-чуть голубыми пятнами). Я давно о таком мечтала, сама дарила, и всегда желала иметь сама такой... Сережа знал это! Обнимаю тебя! Ванюша, о письме еще: родной мой, ты действительно и не мог ничего подумать. Это было бы ошибкой, ужасной ошибкой! Если я писала тебе «или-или», то никак не выбор, не «знак равенства», как это ты хотел понять. Но только (и очень по-дурацки) как детский запуг: «не дашь того, чего прошу, я кушать не буду, — вот тебе!» Но это же не значит, что дитя голодный бунт объявляет! «Приедь, Ваня, — а не приедешь, Оля и тебе неприятное выду-

мает!» Ну, глупо! Но никогда не «если-если»*. И если бы я тебе это устно сказала, то ты бы только поцеловал меня, ну, дурочкой бы назвал, но никогда бы не подумал, того, чем бы можно было мучиться. Ну, что ты, Ванечка!

Ты получил уж наверное сейчас мое письмо, что я и пишу, что «срывов» тебе у меня бояться нечего! Но я хочу знать, какое это твое серьезное письмо. Напиши все, что тебя мучило. Но не мучайся! Умоляю тебя! Это все пустое, что ты думаешь! А я... тихая... Все, что кипит, сплавливается во что-то и где-то у меня же в душе, внутри меня. Не находит исхода. «Срывов» не будет, Ваня. Я слишком еще и другая... Не определю к а к а я, не знаю сама, но есть что-то, что не позволяет, я же знаю себя. Оба начала во мне почти равны по силе чувства, но рассудочная я всегда активнее. «Рассудок», или назови это как хочешь, управляет мной. Нет, не рассудок, а некие иные тормоза, что-то от дедов, от отца. «Рассудок» — понятие слишком холодное, не — идет тут! Ванечка, я тороплюсь писать, чтобы ты скорее получил, — увезет в город Сережа. Потом напишу подробней. Мой День ангела, предполагавшийся таким унылым, все же оказался светлее. И я (странно!) знала чем-то в себе, что ты уже светлый, мой милый, ласковый Ваня... При мысли о тебе, мне уже снова тепло было. Точно я знала! Мы были в Гааге, в церкви. Меня заласкали. Было много писем, маленьких знаков внимания, и порой очень ценных. У матушки целый фестиваль для дочки и меня. В 2 ч. встреча с другом... Потрясшая меня... Не выразить. Потом!.. Со вчера и до завтра он у нас гостит.

Ваня!? ... Я мучаюсь рассказом... Он плохой, Ваня? Ты ни словом не обмолвился. И вот, я себя успокаиваю теперь тем, что сама просила ничего не писать. Вот, видишь, зачем это понадобилось? Ты не написал, — не хотел «убить» моего полета? А я оставила еще своей «просьбой» маленькую себе надежду... Но так не надо. Надо знать правду! Я хочу знать твое мнение! Брани! Напиши все! Я томлюсь. Я так жду!

Ванюша, я так страдаю! Скоро ли ты напишешь? О, как трепетно!! Ванюша, и вдруг я — бездарь, и ты это увидел... Ужас! Ужас! Он плох, этот рассказ? Я не буду больше. Никогда, ничего не напишу. Прости мне! Ваня, я страдаю! Ванюша, я потрясена твоим (но как ты можешь это! Это — слишком!) даром

---

* В отношении моем к тебе и к Ш[ахбагову] нет ничего общего. И мое желание тебя видеть, слышать, слушать — несравнимо ни с чем и не заменимо ничем. Моя душа тебя ждет, — не что-нибудь иное. И н о е — только искры, пряность. Не главное и не сущность! А Ш[ахбагов]? Ни зова души, ни (ни капельки) «иного». Так в чем же дело? Что ты сочинил?

мне... Ваня, я плачу... Твое «Под горами»... Ванечка, зачем ты так? Скажи, опиши, к а к издать его? Нет, Ванюша, ты один, и только *ты* хозяин всего твоего. Я счастлива, если могу хоть только мнение свое сказать. И только т а к и рассматриваю твой дар. Я все сделаю, как хочешь ты, как я уже тебе обещала. Все охранить и сохранить, все так сделать, как этого хочешь ты. Но не могу, не хочу писать об этом теперь. Я хочу, чтобы мы вместе, а не я, одна, (Боже, ужас какой!) — после тебя... Не могу, не хочу так! И зачем ты мне об этом опять напомнил. Я же тебе обещала... но не надо, не говори... Мы вместе будем... Господь даст нам долгой жизни! Верю! И почему ты вспомнил?! Как бы я хотела прочесть оригинал!.. Ах, я (мы) поехала(и) бы в Крым и написала к этой повести иллюстрацию!.. Вижу, чую... все! Нургет. И старого отца ее... и муллу... Осязаю почти что и персик, который тогда з а к у с и л а Нургет и... почувствовала... И шум моря и ветра слышу... Чудная может быть иллюстрация! М. б. я могла бы в живописи творить? Если писать негодна?! Стыжусь за рассказ мой! О, Ваня, ты ничего не сказал... Если бы хоть чуточку был приемлем, ты бы окрылил твою Олю... Я боялась этого твоего молчания и потому и просила сама, не писать... Понял?

[На полях:] Завтра твой большой день. Я помню!

Постарайся приехать, если ничего не случится. Будь здоров!

Ванечка, кончаю. Целую тебя, и еще раз благодарю.

Получил ли письмо о фильме «Чаша»?[438] И согласен ли относительно Paula Wessely?

181

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.VII.42 3—30 дня

Прости, Олюша-голубка, такой перерыв (9 дней!)... да что же мне делать, не смел тебя тревожить, а не писать о себе не мог. И вот, вижу: приходится говорить все; только не тревожься, опасного нет, что меня томило, — почти уверен, что нет: гораздо лучше чувствую себя, и — кажется — перестал терять вес. Слушай, моя трепыхалочка, моя обвинительница, моя нежная Оля... Во-первых, умоляю: ни-когда не думай, что Ваня может тебя забыть, что хочет отойти... — это безумие! Я в е с ь и н а в с е г д а — с тобой, твой. Пусть даже стану тебе не нужен, а все же — останусь твоим Ваней. Ты все надумала, как обычно. Слушай. 10-го я писал правду: боли кончились. Но уже 11-го началось хуже, — постоянная тошнота, к ночи, наполнение кислотой, которая клубилась к горлу, так что я вынуж-

ден был облегчать себя... а после сего — желудок — будто ошпаренный, ободранный, и бо-ли... бо-ли... — до ужаса. Я растерялся: очевидно — близится развязка, после 30 лет болезни, с перерывами. Я не спал две недели! — ну, на час-другой забывался. Я уже ничего не мог есть. Только — картофельное пюре. Я ослаб. Именинные письма писал — в тумане. Ты меня — не зная ничего — очень огорчала. Слушай: 1. «Если не свидимся, моя любовь может ослабеть!» Какая же это тогда «любовь»?! 2. «Не пиши ни слова о рассказе, мне будет очень больно». «Если будешь хвалить, я не поверю, это ты из любви так». Это меня убило! Ты мне завязала рот, ты мне н е веришь?! Для чего же тогда я столько бился над твоей нерешительностью?! И я зажал сердце. Я решил н е читать твоего рассказа: не верит — хорошо, не стану «лгать». 3. Еще: «или ты приедешь, или я поеду к доктору...» и удар: «Вот — тебе!» Скажи, или я все это сам выдумал? И еще, я был раздражен твоими тревогами перед какими-то голландцами — «смотринами»! Оля все еще счи-та-ется с этими... она так вросла в почву, что... сама вылизывает скотный двор!.. — да, я был ошеломлен. Раз не считаешься, нечего готовиться, утомлять себя... Выходит, что считаешься. Ты слишком самолюбива... до грязи в хлеву! Оля, у тебя иное назначение. Все это меня добивало, в моих бессонных ночах, в моих мучительных болях. Но я все же болел тобой, твой покой мне был дорог, свят, моя Олюночка. Я послал письмо именинное, 1-ое, куда вкралась моя досада... и опомнился: зная, что ты оставишь письмо до Дня ангела, если придет раньше, я 20-го послал на Сережу, узнав из твоего письма, что думаешь с мамой в Арнхем на Ольгин день. И во втором письме, от 20-го, я постарался все изгладить, я весь был ласка к тебе, несмотря на мои страдания, до полуобморока. Прости же мне, Ольгунка, Олька моя, единственная моя... девочка моя бедная, одинокая, обиженная всеми... — почему мама тебя обидела?! — ты сама зацепилась? ты ведь, то-же... пе-рец порядочный... помнишь, у Островского — купец: «оби-дели Силу Карпыча...» А ему жена — «Ну, кто тебя обидеть может... ты сам семерых обидишь...»[439] Ну, шучу. Верю, что обидели, — и мама, и я... и — Сережа? Пишешь: «мы все молчим». Это почему? Ольга моя, свет мой чистый, радость незаменимая... шепни же, ч е м тебя обидели в с е. — Не пиши глупостей мне, — я тебя в е ч н о люблю. И не могу без тебя, до конца. Ты не поверила моим жгучим письмам? Ты их выбила из меня... и ты — дай, поцелую! — ты, ты... *дала* мне боли, взорвала все нервы во мне, обнажила их... я весь дрожу... слышу, как дрожит все в концах пальцев... и эти «приступы кислотности»... — знаю! — все от моего волнения. Н е от тебя, детка... а от моих переживаний

т е б я... — так огненно я воспринял! Серов был в отчаянии, что со мной —? «Все — нервы!» — твердил, как дятел. Он меня всего перещупал, — «ни-чего... спазмы дикие, отсюда — в с е!» Он не мог прощупать печени — ее нет. — Т. е. все в порядке. Не мог ошибаться и д-р Очан, — я Серову не говорил, что советовался. Тот нашел, что ни язвы, ни-чего... ни печени, — все — в полном порядке. И признал — нервные спазмы. Не мудрено, что я стал терять в весе, если за две недели я себя «опустошал» раз пять, и почти не ел. Ну, слушай, детка... птичка, кинка, бабочка моя легкокрылая, Олюшечка, Олька, Олькушка, Ольгушонок мой... как я тебя жду... как люблю... как — н е с у в сердце! Слушай. Уехавшая к сестре в имение караимочка заставила мужа силой забрать меня, когда поедет на праздник. Ее сестра — миллионерша, что ездила в Голландию, — настаивала, чтобы меня привезли к ней на отдых. И меня — почти насильно! — увезли на 2 дня. 23 и 24 уже не было «кислотности» и тошноты. 25-го мы поехали. За 50 километров, дорога с пересадками, в пути — 5 часов! Были боли... приехали к вечернему кофе и ватрушкам. Замок-дворец, — ваши голландцы-рабочие, временно жившие там, по реквизиции, все изгадили, и г-же Будо стоило до полумиллиона только очистить от грязи голландской и кое-что исправить. А убытков от краж, разгрома каминов мраморных, от сожженной мебели — и ка-кой! — до 2 миллионов!!! «Наши крючники — ангелы чистые в сравнении с этим голландским зверьем» — вот как говорила m-me Будо, весом до 120 кило, а ее сестренка — 46! Теперь все в относительном порядке. Я лежал на солнце, под огромным зонтом на теннисной площадке. Кормили... — вот тут-то и горе! Мне готовили и по диете... но разве можно удержаться, когда угощают тортами, каких и до войны-то поискать надо было! Или — молодой барашек... или — пирожки с вишнями... или фисташковые кремы, вареники... — от борща я все же удержался! — и... в итоге... ночью такой потоп кислотой... — ну, мученик стал! 27-го вечером меня доставили, — мы вернулись с мужем караимочки в Париж — за 40 мин., на мощной машине, — причем с нами ехал окорок и его влиятельный хозяин... читавший когда-то мое «Ди Зоннэ дер Тодтэн». Говорят, поездка эта меня оздоровила... — ну, аппетит у меня все эти недели был сильный, правда... (но я ничего не ел) но эти ночи я сплю лучше, тошноты нет дня три, я держусь диеты, и, думаю, вес не убавляю. Самочувствие лучше. Охотно особенно пью чай с твоей земляникой, — ах, ты, душистая моя, — с тобой чай пью, тебя целую, Ольку глупую мою, капризку... трепыхалку... — ты не знаешь, не воображаешь, к а к бессмертно люблю тебя! Ах, как была нежна со мной караимочка, как она

меня любит... — нежно любит, знаю... пи-са-теля и «светлую душу» во мне любит... — и я с ней очень дружен... но, Оля, я же не мальчик, чтобы не знать, как я тебя люблю, и кто ты для меня! Выкинь из сердца все сомнения, выдуманные обиды... — не создавай тревог, без которых ты, словно, и жить не можешь. Оля, во-имя твое я дал себе слово — бросить куренье, и вот, 23 и 24 — не курил... потом сорвался... но с 27, третий день ни одной покурки... — потянет, вспомню «во-имя твое» — и силен.

Олюночка, как ты меня удручаешь своим отчаянием! Вот, в письме, не заказном, — оно пришло лишь на день позднее заказного, — от 22-го, пишешь о «розге» моей. Как все это неверно! У меня вырвалась, и я все «взял назад», — я вспомнил, что ты будешь держать письмо до Дня ангела, и послал вдогон. Я разорвал письмо с упреками... — оно из «нервов» моих разбитых вышло, и все же, я преодолел себя. Ревновать тебя к самому себе... — нет, для меня это слишком сложно, я куда проще, куда честней с самим собой. А с тобой... — Оля, ты для меня — святыня, это не словечко, это так я тебя ценю. И не смей говорить — «ты забыл прошлый год... ты забыл мое «золотое» письмо». Нет, такое не забывается, — из него рождалась любовь. Не верно — в отношении меня — что женщина не должна открываться... Я целую твои ножки за твое письмо... от 4-го июля. Напрасно отучилась ты быть «дамой». Нечего обращаться в мужичку! надо оставаться изящной, чистой, не лизать хлевов для неизвестных «строгих гостей голландских», нечего их учитывать... что скажут! Плевать.

Тебе, робеть, перед богатой дамой..! — когда ты сама — сверхбогатство! твоего мизинчика не стоят все голландские дамы вместе!.. Ну да, я подумал, что ты вся погружена в ихнее... раз так готовишься к смотринам... значит, дорожишь «честью Дома»! Но зачем так писала?!! И зачем так альтернативно — «или приезжай, или — я уеду на осмотр к доктору...» «вот — тебе!» Виноват ли я?! Ведь это — зло в тебе писало. И ты всеподняла во мне. Это совсем недостойно моей Олюнки.

Слушай, глупенькая, я прочитал-таки твой рассказ... Можешь мне не верить, но я твердо говорю: хорошо! Самое главное — дано: тревога совести ребенка, ты сумела ею захватить читателя. Я не говорю, что рассказ технически совершенный, нет: он вызывает правку, — очень незначительную..! — и ты лично убедилась бы, как ты чудесно совладала с нелегкой задачей. Напрасно ты боишься бытовых подробностей... — они необходимы, как оболочка для души рассказа. Это не мое, — черты быта, — это — жизнь русская дала, и оно принадлежит всем. Ты напрасно сжимала: я не понял, кто это Василий... я не увидал лица Александрушки, только ее шершавые руки почув-

ствовал, а каждому лицу, раз выводишь его, надо дать его «вид». Флобер говорил Мопассану: «раз ты даешь извозчичью лошадь, раз упоминаешь о ней, ты обязан показать ее... т. е. так дать, чтобы она осталась в глазу читателя из тысяч извозчичьих лошадей-кляч». Это верно. В искусстве за все — ответственность. Чехов говорил: «если упомянул, что в комнате висело ружье... — для чего-то упомянул. Значит, ружье должно выстрелить, или что-то с ним будет... — в искусстве ни-чего лишнего!»[440] Пустые описания, не имеющие внутренней, органичной связи с зерном, с душой произведения — не нужны! Ты ничего лишнего не даешь, но ты поскупилась на «подробности». Старушенцию юркую дала хорошо, и, вообще, ты вовсе не «первый блин комом»! Поверь же Ване! Обнимаю и целую в губки-глазки, моя хорошая, моя гордячка-самолюбка... о, как ты дорога, как роднаблизка мне! Роман? Пиши, милая, все, что хочешь, к чему тянет... я тебе заданий не ставлю... Раз я предложил тебе «тему»... ну, ты увильнула, ты даже чуть заершилась... — «ну, хорошо... будем это считать уроком...» — я помню, как ты губки кривила... как на-дыбки становилась... — ну, Бог простит. В искусстве не должно быть места «гордыне»: оно — всегда ученье, всегда искус. Но ты уж такая страстная... — В твоем последнем письме, — о «розге»... — меня подавляет твое сокрушенье о «грехе»... Оля, ничего грешного не было в твоем письме 4-го. Это же так понятно, мы живые же, мы любим... мы ждем... И ты вовсе не наказана, не за что карать. От тебя мне всегда свет, и в самом страстном в тебе — всегда для меня — святое, чистое чувство, исканье предельной, человеческой близости! Разве это — грех?! Оля, я жду тебя, я хочу любить тебя. И я не знаю, когда смогу приехать. Пока я не окрепну, пока не получу уверенности, что не повторятся со мной явления, как случилось это за эту двудневную поездку... — мне было очень стеснительно! — я не отважусь... приехать к тебе, а в глотке будет клубиться кислотой, и беспомощность сделает меня лишь жалким... — нет, я не могу решиться. Но даю слово, — как только уверюсь, что все обошлось, — только бы дали разрешение! — я приеду, не страшась погоды, осени... — ты мне — вечное лето, Олюночка. И не томи себя сомнениями. О, если бы ты была со мной! Ты почувствовала бы, сколько правды в моих словах к тебе, ты бы в глазах увидала все. Нет нужды тебе ни в отсечении своей воли, ни в «бесплотности». Ты чудесна, когда ты, — вся своя, свободная, не сжатая самонасильем! Открытая. Тогда — жизнь, и ты — вся жизненная. Ты должна быть такой, ты — творец. Для меня нет сомнений: все можешь. Ты жалась, когда писала рассказ, ты старалась, с оглядкой... — о, поверь, как ты овладеешь свободой писанья! Молодец-Олька, выдержала отлично пробу, —

уж мне-то верь! И нет мне надобности лгать перед тобой: просто начато, чудесно завершено! Целую, детка, твой ротик, цветочек твой... — о, голубонька моя! Мне больно было читать, — словно ты меня похоронила... ты пишешь: «когда кончится война, и если останусь жива, хочу уехать сперва в Швейцарию, к духовному отцу, потом домой...» Меня тут уж нет? Да? Похоронила..? Нет..? Тогда... как же это так?

Целую. Твой Ваня, — сегодня — ни болей, ни приступов тошноты. И ел хорошо!!

[На полях:] Получила духи? Ты — ни слова. Или — пропали?

Сегодня открытка от mr. Tholen: благодарит за книгу.

Я еще не был в St-Genevieve. 24-го я, больной на выздоровлении, служил панихиду в Париже. Поеду, м. б. на этой неделе.

Еще раз: твою землянику в прозрачном пакетике получил и восхитился!

Изволь дать № чулка, — есть настоящие, для тебя я найду, на-шел!! Или я куплю сам, большие, а — цвет? Черный? Светлый, тела? — палевый?

Не пиши мне больше о розах на чтении, — я кляну себя! Никогда не стану говорить правды!!!

182

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.VIII.42

Милый Ванюша!

Все это время не могла собрать мысли, покоя не могла найти, чтобы писать тебе. Объяснить все — невозможно, к сожалению, да и трудно. Ты понял бы меня вполне. Я — будто под тяжелым камнем. Не личное это. Многое мне пришлось принять в себя и пережить с «кипящим сердцем»[441] (Слова Виктора Алексеевича!). Ну, а теперь вот еще новой тяжестью легла болезнь твоя.

Как ты небрежен со своим здоровьем! Напрасно ты мне ничего так долго не писал о болезни. Знать лучше, чем томиться в неизвестности. Я рада, что у тебя есть такие теплые, отзывчивые друзья, которые, очевидно, смогут и тебе достать необходимое, полезное, то, что другим, м. б., недоступно. Обидно лишь, что поездка твоя так грустно кончилась.

И откуда он, этот несчастный «молодой барашек» (пропади он совсем!) в конце лета сыскался? Только видно для того, чтобы тебе попортить? — это же необыкновенное явление — так поздно! Неудачное меню, что и говорить. После телячьего буль-

она и угря, —это самое вредное, что можно себе представить. Не виню тебя, что соблазнился, — понятно это. А крем с фисташками! Это же сумасшествие — есть орехи, да еще такие тяжелые! Ну, не бранюсь, однако. Будь же осторожней. Мой отчим, попробовав однажды на Пасхе молодого барашка, чуть не умер. Мы все это помним. Ну, как же теперь? Напиши правду! Я тебя очень бы просила сходить к врачу, и не только к Серову. Нужно, чтобы тебе дали средство против наполнения желудка. Не вызывай искусственно рвоту сам. Спроси врача. Отчиму это запрещали — раздражает стенки желудка. С 25-го по 27-ое (я очень много о тебе думала), у меня был гость — такой же больной*: наш друг старинный из Берлина. Шутя, я говорила, что его приезд мне репетиция для тебя. Старалась «взять» у него на эти дни его сознание болезни. Стол такой устраивала, что он, будучи его диетой, — не походил на диетический. Суп — лапша, курица, но не под жареным, а под распущенным маслом, пюре картофельное, столь ему надоевшее, я подала в виде «крокеток», в сухарях, с петрушкой. Сливочный крем тоже не нарушал режима. Прием лекарства мы сделали не скучной повинностью, а чем-то забавным: за 1/4 часа до еды я, смеясь и шутя, предлагала ему взять лекарство, делая тоже и с моим. И не было у него этого всякого «не забыть бы!» получалось, будто мы выпиваем перед обедом. Утром и среди дня «пичкала» его молоком, маслом, сухарьками. Прогулки делала небольшие, и я всех гнала отдыхать после обеда. Никто не чувствовал себя особенно «болящим». И вечером не давала долго сидеть. Прямо курить не запрещала, не насиловала, но все употребляла к тому, чтобы это выходило реже. Через 2 дня для всех стало очевидно, что у него даже румянец проглянул. О, как его это обрадовало! Оказывается, он, Бог знает чего, надумал. А тут надежда — поправлюсь! Мы в Arnhem'е. были это воскресенье (2 дня!), и он тоже приехал. Притащили целый чемодан его «диеты»: и молока даже (!), и масла, и творогу. Ухитрились и там ему «режим» устроить. И... чудо! К концу, его непроходящие боли (у него ulcus ventriculi[i]) перешли в «ощущение», а затем и совсем прошли. От «ощущения» я ему давала масла ложечку — тотчас проходило. В воскресенье вечером рискнул выпить красного вина и стащил таки у меня ложечку шампиньонов* (ругалась я!) — и н и ч е г о!

Зову его на отпуск к нам, хоть на 1 недельку. Не знаю, отпустят ли со службы — очень занят. Звонил мне: «знаете О. А., это

---

* странно: я верю в «круговую ответственность» — думала: я — ему, а кто-нибудь — Ване!

[i] Язва желудка (*лат.*).

* Ой, клякса! В ресторане были, я то бы не сделала себе шампиньонов.

с Вашего масла и молока пошло, лучше то! А я-то уж, знаете, что думал? — Рак!» Ну, еще бы! Кто не видит самого страшного! А это очень образованный, — все-о-о-то знает! По себе знаю. Лекарство даже бросил. Очень важно для вашего брата и душевно-психическое состояние. Боже упаси «дразнить» вас, хотя бы запахом (жаркого), и при этом твердить: «а Ване, вот кашка, пюре... диета!» Я же это по клинике знаю... По твоим рассказам у тебя digestive supersensitive[i]. Это получается от того, что желудок, «защищаясь» от высокой кислотности, сам вырабатывает, так называемую Verdunnung-Flussigkeit (т. е. разбавительную жидкость), чтобы ослабить концентрацию. Получается переполнение желудка, оттуда тошнота и возможная рвота. Но первопричина всему все-таки — кислотность. Иногда собирается так много жидкости, что, вынутый желудочный сок релативно[ii] не показывает уже (за счет этой огромной разбавленности) высокой кислотности, и очень часто дурные или посредственные врачи дают в рапорт: «кислотность — нормальна». Никогда не нормальна. Для определения ее, необходимо учесть *все* содержимое желудка, приняв во внимание соотношения твердых и жидких частей его, и релативную кислотность обязательно перевести в абсолютное количество. И вот тогда то и видно какой это «normal»[iii]. Мы очень много бились над этом с неучами и полу-«учами». Имей в виду, что не только принятие пищи может вредить, но запах раздражающий. Тебе борщ бы меньше навредил, нежели барашек. Угнетенность и думы о болезни — тоже скверно. Потому я старалась своему гостю никак не напомнить даже, что он — «особь статья». Не хотел верить, что эти «чудные крокетки» — то же ненавистное пюре в своей субстанции. А поставь я для нас жареную картошку — конечно у него бы слюнки потекли. Понятно. Доктора считают, что все, что вкусно, что вызывает «слюнки» — вредно вам. Но мой бедный отчим, однажды заплакал, когда доктор его «донял» диетой. У него было особенно строго. Это вечное: «помни»! Наш берлинский друг совершенно преобразился. И главное потому, что п о в е р и л, что и ему может быть лучше. И страшилищем же он явился! Я не узнала бы его! Ну довольно.

5.VIII.42

Вчера вечером письмо от Шахбагова[442] — советует пока операцию, но просит дать ему еще кое-какие сведения. Напишу.

---

[i] Повышенная чувствительность пищеварительного тракта (*нем.*).
[ii] Относительно (*от нем. relativ*).
[iii] Нормальный (*нем.*).

Была на проверке крови — все еще не в порядке. Меня тревожит. Но я пополнела. Рада этому, и кроме пользы, довольна и видом, и я, и прочие.

Ваня, на твое письмо в остальной его части мне трудно писать: слишком ты там все отражаешь кривым зеркалом твоей болезни (?). Ничего не хочу касаться, ибо это было бы писанием прописных истин. Слишком ты там — не ты. Иначе бы это было ошеломляюще-неожиданное новое «открытие» тебя. Не могу же я себя заставить поверить, что для тебя дама определяется миллионами, а «мужичка» — трудом. Нет, я уважаю всякий честный труд, а вот «миллионы»-то — презираю! И горе нам русским, что у многих был это «ложный стыд» за свой труд, занятие, сословие. Нет, всякий хороший работник должен гордиться своим трудом, будь он «золотарем» даже. Германия потому и сильна, что на эти вещи смотрят здраво. И этому нам следовало бы поучиться. Мнение о том, что труд делает мужичкой очень распространено все еще в некоторых кругах, часто среди тех самых голландских дам, на которых ты обрушился. И справедливо, — ибо того они и стоят. Кстати сказать, «вылизывать хлева» мне бы даже при всем желании не пришлось, — они вымыты и заново выбелены с момента сгона скота в луга и останутся такими до декабря. Я работала в цветнике сама, давала указания во дворе, т. е. на «въезде». Никогда ничего не «вылизываю», тем более хлевов. И всякую работу я привыкла делать хорошо, не за «честь дома», а для себя. Такова уж у меня природа. Ну, хватит.

Я получила, конечно, духи твои. Разве я не благодарила? Спасибо, еще раз! Мне всегда тягостно получать подарки. Не хлопочи о чулках. Я просто — не хочу! Зачем же делать неприятное? Я не могу теперь франтить! Пусть это делают те, кто может, кто хочет, кому это радостно. Ты не ответил мне на ряд писем. Писала тебе о Paula Wessely. Ты что, — обиделся? Неинтересно мое мнение? Тогда, конечно, не буду. Совершенно ненужно и неуместно твое замечание о Швейцарии — у меня к И. А. совсем особое отношение — это воистину мой духовный отец. И только! И почему ты вдруг стал меня разубеждать в моей ревности?.. К кому? Я только рада, что караимочка к тебе хороша. Спасибо ей! В жизни так мало тепла, что было бы грешно с моей стороны на это «дуться». Нет, милый Ваня, успокойся, берегись, лежи, отдыхай, не надумывай чего нет. А то мне, право, страшно писать — все ты «вывертываешь».

[На полях:] Прости мазню. Ненужные строки. Повторилась.

Прости, что своим глупым письмом (4-го) «дала тебе боли (!)», как пишешь ты. Конечно, далека была от сознания этой опасности. Будь оно проклято (!), это окаянное мое письмо! Прости же!

Благословляю тебя, глажу, целую! Будь же пай! Не выдумывай! Не неволю тебя с поездкой. Делай, как тебе лучше! Оля

Крещу, целую. Оля

Будь здоров, Ванечка!

183

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.VIII.42 12 ч. ночи

Милый Ванюша,

как истомилось сердце неизвестностью о тебе. Напиши хоть открытку в несколько слов, как здоровье? Лежи обязательно. Попроси кого-нибудь, — неужели никого не найдется, кто бы тебе готовил диету. Остроумнее было бы, если бы караимочка не тебя «обязывала» ходить к ним завтракать, а присылала бы тебе диету с прислугой. Это же пустяк. Невозможно, — знаю я это, — самому больному о себе заботиться! М. б. тебе хоть на некоторое время к «Юле» перебраться, под женский надзор. Это важно, Ваня! Я не знаю условий Ваших там, но, думаю, что возможно все это. Я ломаю голову над тем, как бы устроить тебе это, и... м. б. найду выход.

У меня есть одна знакомая в Париже[443], спрошу ее, что можно устроить. Тебе должны готовить обед и следить, чтобы ты кушал, и аккуратно, по часам, чтобы сам не дергался за молоком и т. д. Ты должен иметь покой! Добейся его! Уверена, что если ты поговоришь об этом с Елизаветой Семеновной, то она тебе в этом помочь сможет. Придумай же что-нибудь против посетителей! Ну, Серов-то хоть что говорит? Я не рискую к нему обращаться. И мне некого спросить о тебе. Если тебе трудно ходить на почту, то черкни хоть с Ариной Родионовной открытку. Попроси Серова занести на почту. Но дай же как-нибудь знать! Ванечка, ты ничем не волнуйся, не тревожься. Есть «жестковатые» места в моем письме — от горечи это, горечи твоего «непонимания», — беру в кавычки, т. к. ты конечно, по существу-то прекрасно меня понимаешь, но, видно, какая-то тебя обида глодала? Не обидься, что «брыкаюсь» от «подарков». Это сущая правда, что мне сейчас не до франтовства. И об И. А. не сердись! Ну, брось, дурашка! Дай поглажу тебя, успокою, убаюкаю! Бай-бай!

Я тебе скоро м. б. (если не так тревожно на душе будет) другой рассказ напишу. Он уже в душе сложился. Ну, успокойся! Забудь все, что тебя грызло. Обо мне-то, *все* ты сам надумал. А все оттого, что мало меня знаешь. Я не похожа на «барынь», которые вполне «взрослые». Я, правда, все еще, будто девочка.

Глупо это, но так это. Я боюсь даже «взрослых». Но это совершенно «между нами». Мне совестно! Я робею даже, таких вот «важных». И мне скучно с ними. Я флирта не люблю. Никогда не думай обо мне так. И... панически боюсь всякий раз, если замечаю нечто вроде влюбленности. Какие там «опыты»! Для меня «успех» — никогда не «гордость», а всегда — страдание. Я никем, никогда не играла. Могу за это поручиться. Мне говорили, что я все же меняюсь в обществе, будто бы «кокетничаю», что ли? Но это не верно. Или — невольно. Подсознательно м. б. Часто уверяли, что я такова же и с дамами, вообще, когда оживлена. Это верно, когда мне общество приятно, — я очень оживаю. Но никогда не кокетка. Я ненавижу это! Ванечка, если увидимся, то я тебе, смотря в глаза, все, все о себе расскажу, всю мою жизнь (повесть — это тень!), и ты поймешь меня. И тебе смешны покажутся твои упреки мне. Твоя ревность! Верь Оле твоей. Ах, знал бы ты все обо мне! Ты взял почему-то какие-то нелепые черты из этой «повести» и создал то, чего не бывало. Но ты не знаешь, как я еще жила и живу и после, поставленной точки в «повести». Письмо это мое от 4-го — это я, но *очень* редкая. Почти что никогда такая не бываю. Я искренне писала, но в жизни я не та. И я тебе ручаюсь, что среди женщин, ты нечасто найдешь такую. Я не хвалюсь, — ибо, м. б., даже тут и нечем хвалится, — а наоборот? Не знаю. Но во мне сидит иногда очень крепко это «фанатическое», — «хоть на костер»! И я себя почти всегда сжигаю. Заставляю себя сгорать. Я никогда, ни единого раза в жизни, не позволяла себе забыться, Ваня. Поверь же! Никогда не ревнуй, а еще больше: не пиши, как однажды: «будь только здорова, весела, моя Ольгуна, флиртуй, живи во всю, но будь здорова». Я не ответила тебе ничего на это «разрешение», но оно во мне «[грейтело]». Очень то мне кто-то нужен! Оставь это, глупка! Я очень измучена душевно все это время. Я почти больна (душой)! Читаю «Божественную комедию» — отдыхаю. И еще перечла некоторые вещи Бунина, — его «Розу Иерихона». Где он? Скажи, какой он, какая его жена? Она жива? Или их у него несколько? Он умолк? Или работает? Его вещи прекрасны, но как холодны сердцу! Как далеки! Вот, Бунина бы я тоже «боялась».

Я много читаю за последние ночи, чтобы уйти от тоски. И... так устала! Но я здорова. После письма Шахбагова тревожусь чуть-чуть. Он не верит в «общую» причину кровоизлияний (как-то: avitaminoze, сосуды и т. п.) по той простой причине, что кровь всегда из одной и той же почки. Он думает скорей на камень, — есть такие, которых не видно на рентгене. И тогда, пишет: «оперативный путь — единственный, который даст Вам исцеление».

[На полях:] Я пью снова травы против камней и посмотрю, что будет. Надо же и v. Capellen верить. Хоть что-то нибудь да дала ему его практика и опыт? Ну, Господь не оставит. Ванечка, молись преподобному Сергию о себе. Берегись, дружок! Это по существу — не серьезно, но мучительно. Блюди диету, сколько можешь! Ах, как бы я тебя выходила! Ну, целую тебя и крещу на сон. Оля

Поздно, хочу спать, не пишу второй страницы! Пиши же! Немножко хоть! Обнимаю. Оль-Оль

184

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.VIII.42

Дорогая Ольгуночка, горько писать тебе, но я все вперемежку: два—3 дня сносно, а там снова тошнота, а на следующий день болит весь желудок и кишечник. Худеть, как будто перестал, но нервы ужасные, снова hyper-acidité. 8-го был наконец, на могилке... Не было болей, не устал, вечером ел хорошо, спал, а 9-го — опять — поел суп из зеленых (haricots verts)[i] — ночью тошнило. Му-ка моя! Вчера и сегодня — боли. Арина Родионовна будет 3 раза в неделю. Не поеду к M-me Boudo, а очень зовут. Очень нежны ко мне все — «очаровал», хоть я все куксился. Серов долбит одно — бром! бром! Ну, видишь, какая же тут поездка! Лежу, читаю. Ем с нынешнего дня только картофельное пюре, кисель молочный. Твое письмо от 5-го совсем усталое, без ласки... Не хлопочи, не пиши в Париж знакомой, — я ни от кого чужого никаких услуг не приму! Это меня смущает. У меня все есть, и мне нужно больше ходить, иначе я сгорю от дум тревожных.

Целую, твой Ванёк

Ты — в письме — какая-то... другая!

185

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.VIII.42 3 ч. дня

Светлая моя девочка, Ольгуночка... ах, чудесная ты какая! Сердце сладко томилось, когда читал, как ухаживала за больным другом вашим! Я сам себя обслуживаю, и поверь — достаточно, да и воли у меня хватает. Ты четко описала недуг: вот

---

[i] Зеленые бобы (*фр.*).

именно, так и есть у меня. Но скучно же об этом... Удивилась «молодому барашку» в августе! Понятно, не апрельский, а полугодовой, и какой же вкусный! Не в барашке дело, а в перенасыщении всем. Это я за три сорта тортов поплатился. Estomac[i] мой здоровый, вполне, все переваривает. А вот «бунтует», скручивается порой. Ах, попробовал бы твои крокеточки! Пальчики бы твои все исцеловал... Но гюперасидитэ вызвана, главным образом, переутомлением и будораженьем нервной системы. Итог всего. Полагаю, что и ульсер[ii] сказывается, а вовсе не «заснул». Сегодня начну инъекции ларистина, он укрепляет и дает толчок — оживленье клеткам. Курю раз в 2—3 ч. по одной трети папиросы. Боли в связи с волнениями. Я все тяжело переношу. Сегодня утром так захотелось писать!.. Я решил: сперва закончу «Лето Господне». Потом — Бог даст, «Пути». Олёночек, ласковая, нежка милая, как люблю тебя, о, как люблю! И что мы за горькие! И события, и недуги... — все мешает свидеться. Но я не теряю воли и надежды. Олюша, нет, я не определяю «дам» миллионами... — какая чушь! Я чту в тебе труд, я сам ставлю его превыше всего, после духовного в человеке. Я подивился и захмурился — с чего Оля смущается, зачем готовится — перед нулями?! Слишком дорога мне твоя душка, вся ты... горжусь тобой, святой тебя почитаю, ми-лая... птичка моя нежная, я тебя всю знаю... ты и не воображаешь, как знаю тебя! Ты вошла в меня и во мне раскрылась, вся-раскрылась. Ты не тревожься за меня, — прой-дет! Бог поможет. Мне же надо во Имя Его закончить назначенную Им мне путину. И я ее закончу на твоих глазах. Увидишь — вспомнишь Ваню... мы встретимся. — Не понимаю, чем и как могу очаровать... а вот, два дня в поместьи, полубольной, кислая кукса... — и... правда, я чуть развлекся, говоря о родном... Вдруг на днях получаю письмецо: это скромная такая караимочка... — «Я так чувствую, что мне недостает Ваших таких бодрящих бесед... Вы даете мне столько светлых минут... и... если не рассердитесь, — крепко целую Вас!» Ну, ты понимаешь, в каком это смысле. Тут и тени нет темного, это «писатель-друг» я для нее. И потому так прямо. Да, да. Олюша... — как-бы я с тобой говорил..! Одна ты, одна ты для меня на свете, — и все мое — тебе, и ты — все мое. — Да, да, пиши еще, пиши, детка милая... как жду, так хочу твоего! — Знаю — меня хотят тащить опять в гости, но я не поеду. Хотя, знаю, на людях я забываю о недуге. Он весь — от нервов. Сегодня ночью были острые боли... принял глинку — и полегчало. Днем почти нет

---

[i] Желудок *(фр.)*.
[ii] Язва (*от фр. ulcere*).

болей. Теперь я на суровой диете. Рыбий жир..? Помню, лет 10 тому попробовал... и смертельные были боли! Мне нельзя жирного, нельзя и крепкого бульона, всего, что дает толчок «секрециям». — Я всем обеспечен. Ни-ни, не пиши знакомой даме в Париж, — я ни за что, я отмахнусь. Юля очень разбогатела, и все мне сделает, все, все... она и чужим раздает безоглядно. Я одинок ночами, я одинок — без тебя! Но все же усилием воображения я привлекаю тебя. В болях я взываю к тебе. Господи, только бы закончить начатое! Олюнка, я писал тебе — ты удивительная, ты так чудесно поняла Анастасию, и твои силуэты див экрана — четки художественно! Да, ты права, никто не сможет дать этого образа, — дерзаю сказать — един-ственного в литературе, во всех литературах. Я дал ее почти без слов. Я дал Дух чистой женщины, мученицы. «Неупиваемая» бу-дет жить. «Чаша» не для экрана, а для сердца, но ка-ко-го..! Для твоего, моего... — для чутких. Все матерьяльное снизит образ, упростит, огрубит. Жизнь душ и невыразима даже чутким словом. Ты понимаешь, конечно... — «синяя (голубая) коляска»?[444] Ведь это же Госпожа... шествует... не помянул я того, что видел внутри себя: коляска, синяя, голубая... — шестерней, конечно..! Это... как бы прообраз Ее. Так возили в Москве... прости, Господи!.. — Иверскую-Пречистую. Много для экрана, но и мало — в поэме! Главное не дастся. Ты... да, ты могла бы. Я вижу. И придет время... ты... — нет, не могу высказать. Ты и теперь могла бы дать ее. Тебе никогда не поздно. Но... где?! — Оля... помнишь мое июньское письмо, прошлого года. Это ныне боль моя. И это сплелось со всем во мне. Письмо твое — 4-го... — о, не проклинай его! Это мне — свет и му-ка... это такая «го-речь»... и такой мед! Ножки твои целую, светлая моя, неповторимая. — Ты о диете... В 23 г., при адских болях, (писал тебе) я пил мар[i] — это крепче коньяка, и закусывал... железной колбасой, копченой, трехлетней, «ослиной»! Безумие. И... писал «Солнце мертвых»!

Оля не писал о недомоганиях — не хотел тебя тревожить. Прости, родная. О духах спрашивал — не потому, что ждал «спасибо», о, нет... — а тревожился, получила ли. Должно быть ты эти не любишь? «Жасмина» не мог найти. Скажи, каких еще, что особенно любишь? хочу все хоть маленькое принести к твоим ручкам, ножкам, ты ведь... царица моя... — Ольга, прочти непременно «Страницы моей жизни» А. Танеевой-Вырубовой[445]. Это... потрясает! Трудно достать. Замечательное письмо проф. Карташева[446] мне, за эту книгу. Как он написал! как покаялся. Оля, прочти. Я сейчас весь в книгах,

---

[i] Выжимки *(от фр. marc)*.

весь в глубинах нашего духа. Оля, я *должен* дать «Пути». И я насыщен ими, сто-лько мне открывается! Тебе хотел бы *все* раскрыть... и как бы пел тебе... и ты положила бы головку мне к сердцу, и плакали бы с тобой... надо всем... души бы облегчили и вознесли! Оля моя, нежная, светлая, свет мой чистый, святая моя девочка, как чисто люблю тебя, и как тревожно... Ни в чем не укоряю, не укорю. Столько ты мне дала очарований... столько *женщины* открыла... — я ведь так мало знал. Я проникновением *брал* и полетом духа... — и жаждой *создать* небывшее — для меня — невиденное... Я, именно, *творил*. Только ныне я это постиг. Ты мне многое во мне подкрепила. Оля, изволь писать так, *как* сердце шепчет, просто, безоглядно, без — «формы». Чудесно, когда женщина одевается инстинктом, без намерения «к лицу». Это внутри ее. Так и в писаньи: *не* стараться. После, написав, *надо* чистить, стягивать, выбрасывать, «выхаживать», ну... как тесто выхаживается... — а хорошее слово! — «чтобы тесто *выходилось*»! Лучше нельзя сказать. Его надо, кажется, месить часами, руку по-локоть... *бить*... тогда ох, как легко всходит! Да? Так с написанным — «выходить» его надо. Тут внешнее искусство. А внутреннее — *тайна*, наитие... искание-нахождение, нюхом... «сердцем сердца». Вдохновенье — тут. А отделка — труд, святой, чудесный, но... труд, а не духовное паренье. Пиши. Введи себя в описываемое, старайся *увидеть*, разожги воображение... — у тебя оно огромное. И увидишь, как потечет к тебе *твое*, пережитое. Все щелки комода увидишь, все оббитки на мордочке любимой куклы вспомнишь. Ты схватила тон талой подмерзлости... — золотистость навоза... — да, но ты взяла неудачное сравнение — «орех золоченый»... Неудачное образ-сравнение. Ведь орех маленький и круглый, а ты говоришь о дороге! Читатель растеряется... — «орех»! Ему полезет в глаза, маленькое, круглотца... — тут надо сравнение протяженного чего-то... ризы, ткани, покрова, настила... — Помнишь, в «заливном» — ! — словцо-то!! — орехе... эта липкая золотистость карамельной корочки, пленочки сладко-хрусткой!? Оля, почему сказала — «и ме-дом» — про епитрахиль? — м. б. лучше — ладаном..? Правда, [слегка] обычно в ладанном духе есть и от меда. Оля: я увидал твою старушку: у ней пустой рот, и в нем один зуб, и этот зуб-клык дрожит, когда она шпыняет тебя, ты только его и видишь — этот зуб. И тебя томит запах от старушки... изо рта ли, от всей ее... — от ее «внутри». Как она должна была испортить тебе *все*!!! Еще — что это за пирог с... «соленьем»? с груздями, что ли? Капельки маслица вижу, если это жа-реный пирог. Детка, всю обнимаю, сжимаю, ласкаю, душу, никому не даю... Олёнок милый, ты моя детка! да?

ты вся моя? Спешу, хочу сейчас же на почту. Потом к доктору. Тошноты нет, три часа прошло после еды. Олёчек, и сотой доли не написал, что в сердце к тебе. Мне, знаю, надо больше гулять, отвлекаться, я н е устаю, и делаю даже легкую гимнастику. Только бы без госпиталя... там ужас, не могу.

[На полях:] Ну, конечно, рефлекс — и пошло крутить.

До Павлова его еще проф. Сеченов[447] (60-ый г.) знал! — его «Рефлексы головного мозга». Оля, я немного слушал медицинские науки.

Как-то ночью проснулся, и так захотелось есть..! И воображение стало поваром! Чего только не подало!.. Жареный поросенок с кашей! И ка-кой, до сквозной кожицы, хрусткой... а какой дух! И еще — навагу подало... и — рябчиков! И-кры!

Я думаю, что мой «Grand Sympathique»[i] нуждается в укреплении, и потом — в с е. Надо мне Chlorure magnesien[ii].

Сейчас читаю книгу Doct. Martin du Theil — «La Defense par le Systéme Nerveux»[iii]. О-чень важно! Выпиши с книжного склада в Гааге.

Не поспел на почту, продолжаю. Сейчас 11 ч. Думаю о тебе. Молюсь за тебя. Будь здоровенькая. Олюля, Ольженка... Ольженка!.. Продолжу завтра, — спать. Будут боли..?

[Приписка:] 13.VIII Не было болей. Даже странно мне. Но спал плохо, — от волнения, что нет болей? Но нет у меня и воли, — разбитость, и все во мне дрожит, внутри, мелко-мелко. Я знаю, что это полная нервная усталость. Нет воли продолжать письмо, хоть и пометил — 13-е авг., а пишу 14-го, 4 ч. дня.

14.VIII 4 ч. дня Вчера днем болей почти не было. К ночи — снова, очень острые, старые мои знакомые. Вертелся часа два, потом принял седормид... — не принимал недели две. Скоро заснул и спал часов 8. Болей нет. Ем охотно, но давит мысль, что начинается отныне страда моя... Нервы? Днем, вернее — до 2 ч. дня без болей, потом легкие приступы. Завтракал хорошо. Ну смотри, какая моя диета: утром чашка кофе с молоком, яйцо всмятку, масло, сухари белые. В 2 с половиной — завтрак: картофельное пюре на молоке, масло, молочный кисель, легкие блинчики с сахаром, полчашки чаю. Сейчас иду к доктору, — инъекция ларистина, 3-ья. Кажется теряю в весе, — а ем хорошо. Слабости не чувствую. На приглашение поехать на 3 дня к м-м Будо — не отзовусь, не тянет, тяжело быть на людях больным. Часами лежу — без дум. Но ты всегда со мной — ты как бы органически присуща мне, — в с е г д а со мной, в под-

---

[i] Здесь: центральная нервная система *(фр.)*.

[ii] Хлористая магнезия *(фр.)*.

[iii] Доктор Мартин дю Тейль «Защита нервной системы» *(фр.)*.

сознании, когда и не думаю... Бумага на исходе, трудно достать. Достал вот куцую.

Не грусти, что я такой стал, — это сколько повторялось! М. б. и теперь разрешится благополучно. Попробую новое леченье, — укрепить надо «гран симпатик», дать ему питание хлёрюр-магнэзи-ей. Проверю дней десять. Вернется караимочка, позвонит одному очень большому специалисту-французу:[448] а то он нового пациента заставит ждать с месяц, у него такая запись. А по ее просьбе примет скоро. Что-то скажет..? Я боюсь рентгенизации, этой «сметаны» ужасной, — бария? — в 34-м он мне так закупорил внутренности, что я чуть не погиб. Прости, что пишу о недугах, но это потому я, что чувствую, как ты тревожишься. Хочу все это забыть. И не могу. Одно знаю точно: за этот год я переутомил нервную систему до предельности. Оттого мне и работать охоты нет... — вдруг захочу писать, уже беру рукописи-наброски... — и вдруг — отвращение: не могу..! не хочу... — будто уже не нужно все это... Это — упадочное, это уже — полная неврастения. Не могу и молиться. Только о тебе, моей светлой, моей Олюночке... думаю, думаю, грущу, — и слезы, слезы... — глотаю их, бессильный, и так все темно, и так все горько... Ах, милая, Олюночка... Возьму себя в руки, преодолею. Милая, не забывай Ваню. Только ты у меня — свет мой. Целую. Твой Ванёк

Олёк, голубочка моя, здорова ли? Ради Бога, прими anti-grippal, если схватишь грипп — может опять кровотечение...

Не было воли ускорить письмо, послать.

186

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14.VIII.42

Милый Ванечка,

Я ничего не могу больше с собой поделать и, после того, как перервала кучу писем к тебе, боясь тебя тревожить, все же вижу, что не могу ни молчать, ни ломать комедию, — и я пишу тебе все так, как есть... Я не могу больше выносить этих страданий. И я не знаю, что такое случилось. Почему ты так суров ко мне. Ах, я не стану перечислять всего того, чем ты хотел мне сделать больно (и сделал!!), — я устала, я измучилась. Я молчать об этой боли хотела, т. к. меня страшит сознание твоей болезни (м. б.(?)). Но я, судя по самой себе, знаю, что молчание еще мучительней. И я не могла писать «как ни в чем не бывало». Да, я измучилась так, что... заболела. Правда не почкой, но все же очень неприятно. Был жар, разбитость,

боли в левой стороне груди. Теперь жара нет, но я не сплю и сегодня было опять то же состояние, что и тогда, после Рождества... головокружение чуть не до обморока. Я знаю, что это нервы. Я хочу себя сдержать, им не поддаться, но я не могу. Все силы мои меня оставили. Сегодня ночью я не спала и думала, думала... И вдруг мне очень ясно представилось, что все твое ко мне ушло. Помню, как ты мне 2 раза в день писал, как мы угадывали на лету друг друга мысли. А теперь... эти твои недели молчания, и в результате 1 страничка... упреков...

У меня нет сил больше на оправдания, да я и не знаю в чем. Но ты просто спроси себя, за что меня казнишь?! Ах, я не упрекаю тебя. И меньше всего хочу докучать тебе! У меня, например, было ночью такое чувство, что мои письма и вообще вся переписка со мной тебе надоели. И я не могла тебе писать с утра. Но я так страдаю, что не могу и так оставить. Но пойми, что у меня появилось чувство такого стыда за письма, какое появляется должно быть у женщины, когда она чувствует, что она ему уже надоедает. И все же я пишу, во имя д р у ж б ы, которую ты, верю, не отнял еще у меня?!

Я не могу писать. Мне технически это трудно. Умоляю тебя беречься и стараться быть здоровым.

Молюсь когда Богу, то поминаю твою караимочку, дающую тебе радость и заботящуюся о тебе. Я-то так бессильна хоть что-нибудь тебе сделать.

Мое состояние неописуемо. Только не думай, что я обижена. Я только предельно несчастна! Ах, а ты... то, что составляет муку жизни моей, поставил мне в «зигзаги», убил меня этим! Но не корю. Я хотела бы только знать, отчего все это у тебя? Я страдаю тобой...

Но если тебе это ненужно уже, тягостно, стеснительно, то я не упомяну об этом, как и вообще умолкну, как бы это мне ни было тяжело. Ваня, милый, далекий мой, далекий-тогдашний мой бесценный Иван Сергеевич! Сколько счастья, сколько песни было тогда у меня в душе! А теперь я не могу читать твоих писем старых... Как они разнятся от теперешних!

Суббота, 15-ое, утро

Сейчас я получила (идя на почту с письмом от вчера) твою открытку. Я ничего не могу больше. Я вся убита ею. И болезнь твоя и все другое. Господи, помоги мне, — я не могу слов найти! Ты же ушел от меня! Не говори «нет»! Я сердцем это знаю. Господи, если бы уж написал ты это «обвинительное письмо» мне, я бы хоть знала... Теперь же я в недоумении страдаю. Но я не хочу, я не могу тебе писать о своем сердце. Это смешно: когда отвергнутые все еще об утраченном хлопочут.

Не говори словами: «я твой». Ты же фактически — ушел. Я неделями томлюсь, простаивая у окошек, высматривая почты... и вот... открытка. Ты болен. Но это не только болезнь... Я же знаю. Я тоже тогда больная, только и стремилась быть с тобой, хоть в письмах. Эта бездушная открытка только отхлестала меня за мои муки.

Прочти мои письма (если они не противны тебе — я это, вот именем отца клянусь! — говорю убежденно) — и ты увидишь, как давно я уже жалуюсь, что ты на них не отвечаешь... У нас давно нет обмена мысли. Ты давно уже отбываешь повинность писать мне. Прочти мое — и ты увидишь... Ах, впрочем, зачем же убеждать тебя? Ты это знаешь! Ты знаешь, лучше меня причину, отчего ты раздражился (надоела?), отчего эти пропуски в 9—10 дней, отчего эти короткие открытки...

У меня все, все, все — вдруг ушло. Ты не захотел мне даже оставить дружбы. И я спрашиваю себя, что это было? Каприз твой? Мечта писателя? Как я тебя предостерегала.

Ванечка, (ох, прости, что еще смею назвать тебя так) — я так страдаю. Но я не молю тебя вернуться, — я знаю, что я только смешна тебе тогда буду. А это было бы страшно мне. Я только в последний раз открою тебе свое сердце: и просто потому, что я молчать не в силах.

М. б. лучше было бы молчать? Я не могу. Я так одинока.

Как трудно вдруг стало мне с тобой делиться. И м. б. и не надо? Как назвать мне тебя в последний раз? И неужели *ты* хочешь, чтобы в последний??

Мой дорогой, бесценный, всем существом моим любимый Иван Сергеевич, далекий, тот, прежний... его я не боюсь оскорбить фривольностью...

За мою искренность, за всю пламенную открытость моего сердца.. он пожалеет меня, — не насмеется над слезами. Я верю, что во имя того Святого, что будет жить вечно, что не может уйти из жизни в хаос — останется хоть капля ко мне уважения. Я ничего не жду больше. Я опьянилась на 1 год какой-то мечтой... я забыла, что я — ничтожество, что я никогда и никому не была нужна. Удел мой? Не знаю... Дожить как-то данную мне жизнь. Я вернулась к своей тоске прежней, к тому сознанию, что я никому не нужна. Я ничего не исполню в жизни. И завидую каждой простой бабе, знающей свое какое-то назначение. Ни единой души теперь нет в мире, кто бы меня услышал, понял. Я не хочу разжалобить. И сама не знаю, зачем пишу так. Это фрагменты тоски огромной, душащей меня сейчас. М. б. я пожалею завтра о письме этом... Мне больно было бы, если бы письмо это счесть было можно за «зигзаги». Я клянусь всем, всем Святым, что это не так. Я не брошусь, конеч-

но, под поезд, как Анна Каренина, но разве смерть — приходит только со смертью тела? И разве утрате только смертью? Я не вижу никакого смысла жизни моей. Но я меньше всего хочу обязывать себя жалеть из сострадания. Если ушло чувство — то значит ушло. Его нельзя вернуть насильно. Боже, как глупо письмо мое. И как мне больно, что теперь это все увидится трезвыми глазами. М. б. безвкусный рассказ тоже был тому виною? Как у Тоника ошибка Серафимы?[449] У меня тоже бывают ошибки. Я часто мучаюсь этим. Я же уже за границей начала писать через «ѣ», и... недостаточно твердо. Я все перебираю в мыслях все, что могло поставить меня в смешном свете. После рассказа ты резко изменился. Я не виню тебя, поверь, но я просто страдаю. И знай, что я оставленная не побегу за уходящим. Я никогда не могу этого. Я умолкну. Ты не узнаешь, как я пережила. Прости мне все, чем я невольно тебя мучила. Никогда этого не хотела. Прочти мое самое первое письмо. В нем вся живая правда и поныне. Больше я ничего сказать не могу. Да благословит Бог всех, кто тебя нежно любит и милую старушку Анну Васильевну.

[На полях:] Не уверяй в любви словами, когда ты по 10 дней меня не вспоминаешь! Или ты болен?? Господи, ужас! Мне страшно думать о твоей болезни, но если болен, то умоли, хоть 2 слова писать Серова! Не мучай неизвестностью. Я сама сгораю.

Я не знаю, что с нами всеми будет. Жизнь так сложна. Но знай, что я все та же, неизменная Оля, с тем же сердцем, полным слез и любви, и молитвы. И за что ты меня отвергаешь, я не знаю. И очень страдаю. Не сплю ночи, боясь за твое здоровье, мучаясь твоей мукой.

Я хочу за тебя молиться... Пишу, а вдруг стало стыдно, что так «растопилась», а м. б. ты уже не любишь... и тогда... как это больно...

Я опять начинаю худеть... Мне все так тягостно... Ну, Христос с тобой! Будь же здоров. Благословляю тебя, моя радость, и как всегда любящая Оля

Я пишу сейчас, не читая, твоих последних писем, я обращаю сердце к моему чудесному сну, к моему Ивану Сергеевичу, глубоко меня понимавшему тогда, так осветившему жизнь. Но я верю, что он все еще есть, что хоть дружба еще да осталась и мне!

[На полях:] Я *все* сделаю для спокойствия твоего. Будь только здоров! Я всю себя пожертвую, если надо. Не дам себе и пикнуть.

Я перечла вчерашнее письмо — мне стыдно за него. Как докучаю еще там. Но все же посылаю. Я клянусь тебе Богом, что все, что я пишу тебе — правда!

Будь здоров Ваня! Прими еще этот крик моего переполненного сердца. Ты можешь взять в нем *все*, что хочешь, или — ничего не взять. Твоя воля! Ольга С.

187

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.VIII. [1942] 1 ч. дня

Милый ангел,

Дорогой мой Ваня, сердечко мое, радость моя, солнышко! Я в тоске, в безумном горе утраты тебя писала тебе сегодня. Я измучилась, Ванюшечка. Неужели ты меня покинул? Но я перечитываю-изучаю каждый штришочек твоей этой открытки. И одно слово дает мне силы писать тебе снова. Ванюшечка мой родной, ты пишешь: «твое письмо без ласки»... Значит ты, м. б., хотел бы ласки? Моей ласки? Еще хотел бы? Или ты просто это упомянул, как факт? Но я хватаюсь за первое... Тебе еще не противно, не приторно, когда я говорю тебе это, все снова и снова, что люблю тебя. Мне ужасно подумать, что тебе меня не надо больше. Но все равно — ты благороден, ты не посмеешься надо мной... и я еще раз тебе откроюсь...

Милое мое, родное сердце, как я томлюсь тоской по тебе... Почему ты хмур? Ты болен? Как я страдаю за тебя. Как хочу тебе облегчить, как я горюю бессилием своим.

Милый, я у постели твоей тебя оберегаю от всякого дуновения ветерка, от всякого шума. Я дыхание затаив, ловлю каждый вздох твой. Как хочу помочь тебе! Я рукой тебя тихонько желудочек глажу... Хочешь, право, поставь компресс. Помогает! Ванюшечка, успокойся без брома. Помолись Пречистой с верой, и покойно ляг, уверен, что посетит тебя Ее святая милость!

И Серафим Саровский! Вспомни! Милая «Арина Родионовна» будет у тебя чаще, — как я рада. Как бы я хотела ее увидеть, сделать ей какую-нибудь радость. Я кланяюсь ей сердечно. Милый Ванечка, я хочу забыть себя, свои чувства, страдания, все забыть для тебя. Ты со мной не считайся. Ну, презирать станешь?.. Ужасно это... Но ты же — гений. Для гения можно лежать в пыли! Ванечка, ты не бойся сказать мне правду. Я же, безумная, залетела к солнцу... Опалила крылья?? Сожгла сердце! Ванечка, я все равно тебя любить буду... Пусть молча!

Если тебе мои противны письма, то не томись необходимостью отвечать мне. Не буду мучить тебя своими страданиями. Я все перетерплю сама. Я не доросла до тебя, я понимаю. А я, безумная, мерила свое по тебе. Я не смела так. Ты же — ге-

ний! Ты знай, Ванюша, что все мое сердце поет тебе чудеснейшую песню и ею только и живет. Я нужна ли тебе она, — это я не знаю. Я не буду тебе омрачать жизнь упреками, просить, молить принуждаться к письмам. Ты знаешь, что люблю тебя, так глубоко, как никогда на свете. Что я погибну без твоего тепла, без твоего ответа, — я не скажу тебе. Но м. б. ты поймешь? Но если еще не все ушло, то услышь меня!

Увидь сердце мое, увидь, узнай! Узнай, хоть раз! Как оно любит, как страдает... как хочет жертвовать собой. Милое сокровище мое, ну, что же, знай это, знай, что я не смогу уйти от тебя. Я не буду докучать тебе. Не буду писать, но я буду попрежнему жить тобой!.. Я буду писать все думы свои к тебе в дневник. Я воображу тебя снова любящим, я обману себя... иначе жить так одиноко. Разве есть хоть одна минута в днях и нОчах, когда я не думаю о тебе?

И если я тихонько тебя люблю, то разве тебя это оскорбляет, даже если ты меня не любишь больше??! Но почему ты разлюбил меня? Иль нет? Скажи же!

[На полях:] Ванечка, если бы ты не изменился ко мне, то никакая болезнь, никакое ограничение местом, не играли бы роли, — ты и одним словом сказать бы смог все! Я из одного намека у тебя угадывала всю твою любовь ко мне. Что с тобой??

Обнимаю сердцем, я верю, что ты меня не осудишь. О.

Обратись к другому врачу.

Я молюсь о тебе, Ванечка, будь здоров! Конечно, «какая уж там поездка». Не мучай себя этим вопросом. Старайся поправиться. Тем более, что я никогда не верила в нашу эту встречу. Не знаю почему, — но мне казалось, что мы «играем мечтой» только. Да и опасно теперь пускаться в путь. О поездке я больше не думаю. Будь только здоров! Целую тебя очень тепло и нежно в мыслях, — если хочешь, то прими...

Д-р Шахбагов советует операцию мне. Считает, что это «единственный путь к излечению».

В последний раз еще «клянчу»: ответь мне только хоть на это поскорее! Я не могу не знать!

Всю жизнь буду любить тебя!!!! М и л ы й!

188

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.VIII.42

Милый мой Ванечка, солнышко ты мое, глупышечка, родной мой... Ванечка — больненький? Или получше? Сегодня я причащалась. Удивлен ты? У меня была такая тоска, гнету-

щая, зловещая какая-то, будто. И еще: кажется с 25-го авг. будут сокращены поезда, и ездить будет можно только по разрешению. Нет надежды и в будни, значит, попадать в церковь. Мы хотели уехать на Успение, но побоялись отложить. У меня все время было желание приобщиться Св. Тайн. Ну, я очень рада, что удалось сегодня. У меня не было подготовки, это было экспромтом, но на душе стало все же тише. И когда я вернулась домой, то нашла твое письмо. Ты — мой?! Снова! Ванечка, не надо же мучить ни себя, ни другого! Я все эти дни полужила. Я ясно (откуда же это, если это неправда?? Знаю, что неправда.) почувствовала, что утратила тебя. Я не могла тебе писать, потому что стыдилась писать «ты» и «Ваня», а своим «Вы» пугалась все разрушить и для себя, и главное, огорчить тебя! И я не знала с чего приступиться к тебе! Такой ты был «колючий».

Ну, весь колючий! Ванюшка, не говори, что это — болезнь! Ты же и заболел то от какого-то своего раздражения. Я же тебя тоже знаю. Ты и больной можешь быть вся ласка. Я же — сердца твоего не находила. Это был ужас мне. И давно, Ваня. Собственно сразу после чтения, с перебоями. А как же я томлюсь тогда! Я осунулась даже. Но не худею, Ваня, как думала было.

Я быстро меняюсь в лице. Сегодня мне тихо было, и я так счастлива, что могу тебе радостно писать. Я молю Господа, чтобы это письмо еще дошло до тебя. Ванечка, пиши мне хоть 2 слова о себе, чтобы я знала о здоровье.

Нет, какая уж теперь поездка, и кроме-то болезни? Ванёчек мой, голубчик, ты снова Олин? Миленький мой глупка, дусенька, чего же ты «куксился» все на меня? Ну, не хочу винить, никаких твоих «извинений» не хочу, — хочу только, чтобы ты меня понял. Как же было мне не увянуть? Ты всем, всем меня казнил. А эти письма аккуратно через 8 дней. И даже 9 дней! А эта открытка, убившая меня! А это «зигзаги» о самом святом во мне. И даже зубы! И даже и цветок свой обидел!

Ну, не буду. Вижу, что что-то Ванюшу мучило. А это: «удобную, легкую жизнь мог бы себе устроить»? Ванечка, — если «легко» и «удобно», — то значит не неприятно... а где же тогда Оля? Это не ревность... Это больше. Ты понял? И фуксия меня убила... Эта «голость», — я ее не люблю. Мое письмо 4-го как-то все это иначе чувствовало. Но не буду. Меня это очень убило, а теперь только Ванюшу жалко, что ему тяжело невыносимо было, коли такое написалось. Но отчего же? Моим письмом от 4-го дала я тебе «думы»? Показалась тебе Оля очень «срывной»? Я могла бы нечто такое понять, но ты не думай так. Для меня т о, — очень «прикладное». Почти что отвлеченное нечто. А я истинно — ж и в у — другим. Поверь мне!

Ах, как все это больно мне от тебя было! Как я твое все читать не могла. А письма прошлые!.. Какой утраченный рай! Но не утратила!! Нет!! Ванюша милый, родной мой, тихий... Ванечка, не болей... Я молюсь о тебе! Молись, Ванечка, тихо! Уйди в себя, не трепыхайся! Голубчик милый... Ванюша ласковый мой, дорогой мой... И опять вот слов не хватает, как тогда... когда «Иван Сергеевич», — но сколько я в эти 2 слова вкладывала сердце... и все не хватало, не хватало слов! Как мне больно, что ты пишешь: «за этот год я предельно истрепал нервы»... Неужели я тому виной?! И ужасно, что от этого и охоты писать нету! Как успокоить мне тебя? О, как бы я хотела к тебе приехать. Но я боюсь, что ты этого как-то не хочешь. Т. е. подсознательно «не хочешь», — сердцем то хочешь, — знаю я!

М. б. боишься за мое здоровье, и т. п. Теперь это невозможно, но м. б. зимой, если жива останусь... Наш друг берлинский умолял меня сегодня не обуславливать этим «если», а я не могу, всякое думается. В какое мы живем время! Я все эти дни думала, что никому я не нужна, живу балластом. Сегодня, после причащения, мне было легче, но когда мы после церкви часок еще с ним виделись, то опять вырвалось у меня это «если». И, знаешь, его простое: «О. А., не мучайте себя и других таким щемящим, больным “если”, в жизни так мало остается ценных, дорогих друзей...» — это меня подбодрило. Я сказала все же: «ах, ну да, ценных, а кому и чему *я* ценна?» — «Бросьте, — мне тягостно вдуматься в Ваше... “если”»*. А я подумала: он так страдает болями, а я о себе... Пересилила. Но у меня все это время была такая именно тоска. Я думала, что я тебе не нужна. Понимаешь. Не брани меня за то, что «выдумываю», — я не выдумываю. Я не хочу тебе всяких доводов приводить, Ванюша, но, поверь, — ты мне достаточно дал поводов так думать... Довольно. Я так хочу пригреть тебя, обласкать, всего обнять, как мама детку. Убаюкать... А тебе бы поставила компресс на желудок — это так успокаивает... Попробуй! Попроси караимочку поскорей позвонить специалисту. Ванёк, не пугайся рентгена. Тебе могут дать ведь и жидкую «кашу». Как мила караимочка. Я рада, что у тебя есть светлый луч. Я безумно боюсь возможности нашего разделения событиями[450]. Тогда я с благодарностью думаю о Елизавете Семеновне. Нет, я не ревную, Ванечка. Я же не глупая. Ванюша, постарайся же утишать себя! Роднуся, ты переутомился чтением! Да! Да!

---

* Ты не предполагай ничего иного об этом друге. Он просто, хорошо и тепло ко мне относится, как друг моих родителей. Никакой «примеси». Почему-то на днях восхищенно сказал: «Вы удивительно даровиты!» А почему? Я ему никогда ни строчки не писала и не показывала картинок.

Лежи больше. Кушай! Аппетит каков? Знаешь наш болящий здесь, — иной раз дико нарушает диету (ел горчицу и «с отчаяния» выпил коктай[i] (!!!!) и — ...ничего! А до этого, когда страдал душой — все были боли. Мы много говорили, и мама и я старались его подбодрить. В результате он нам все свое горе поведал и когда «выговорился», то стало легче. Теперь смеется снова, — он очень раскатисто-открыто смеется. Будто прежний. Посылаю его к Шахбагову. А пока что подкармливаем его, когда приезжает на праздники. Он очень интересный, многосторонний человек, кончил Петроградский университет, экономист, но доктора получил в Германском университете. Он немец. Массу читал. На тебя (твои книги) накинулся у меня в комнате. По-моему, что-то догадывается, т. к. сегодня, когда я рассказала поистине удивительный сон... такой мистически-прекрасный, то он меня спросил вдруг: «О. А., Вы переписываетесь с И. С. Ш.? (я ему когда-то сказала, что большинство книг ты мне сам прислал, т. к. он хотел достать тоже и спрашивал, где) — Послушайте, напишите ему... Это же должно быть интересно художнику!» Я смяла. Ну, что я разболталась! Ванюша, спасибо тебе, что о рассказе кое-что заметил. Одно только: я не «золоченый» орех сказала о дороге, а «залитой». Это — , знаешь, — такие конфеты? Мне и по сию пору это сходство видится. Ты не разобрал видно мой почерк. Посмотри там! По форме, конечно, — нет, но именно и по цвету и по «корочке». Ледок — поверхность ореха, гладкая, а внутри именно такое, как бывает у весенней дороги! Но... может неудачно??! А мне всегда так хотелось, чтобы кто-нибудь это сравнение дал! Я не описывала действительно лиц, боясь загромоздить подробностями. Но я попыталась. «Василия» я иначе и не вижу как «приземленным»: то на корточках перед «Оленькой», у которой он «каприз отымает», то «бухающимся» в ноги с прощением за пьянство, а то и... самое пьянство... Часто, очень «наземное» его положение. Его лицо: простое, дурковатое, невыразительное, красноватое, русый, «в скобку», с развальцем ходил. Плотник. Жена его — святая. О ней массу сказать бы можно. Чудная женщина, ценность при «пустышке» из... жалости и долга! Как это часто бывает в жизни!

Ах, одно словечко о цветочке. Ванюша, он — прелесть! Каждый день — новость! Открывается, и все сюрпризом. Это — не то, что тебе «мозолило глаза по базарам», не может быть то, т. к. это очень хрупкое, дорогое растение. Из рода крина, мама говорит. Ну, мне все равно — я его всегда хотела. Пойми ты это! Это мое желание было! Чего ты надумал только! —

---

[i] Коктейль *(фр.)*.

Я начала о «лике». Подумай! Но выходит очень «издалёка». Можно? И странно: начала в день бабушкиного рожденья... бабушка там должна быть добрым духом всего моего перерождения. Не зная, начала. Мама потом сказала. Почему, Ванёк, то, что в «прошлогоднем письме» твоем, — стало теперь твоей «болью»? Я знаю о чем ты, но почему? Старайся себя и этим *не* мучить. Лучше всего, Ваня, просто жди, наблюдай. Ничего не говори о больном. Мы ничего изменить не можем. Все — Божие. Я очень страдаю, *тоже, но м. б. иначе*. Не знаю, как у тебя точно. Если бы увиделись, я бы тебе все объяснила, а так — лучше и не касаться. Ты понял бы меня. Не сомневаюсь в этом. Ты бы оценил мое. Я тоже надземно на все смотрю, и все же... но довольно.

[На полях:] Я так страдала, что послала сегодня Серову письмо. В отчаянии писала, думала, что ты меня не хочешь, боялась тебе самому писать. Его молила. Прости, что друга твоего беспокоила. Ну, не вели ему трудиться мне отвечать, если ему трудно. Целую тебя, радость моя. Будь покоен, тих, мирен. Молись, Ванёк. Ты поправишься очень скоро, если утишишь себя.

Оля твоя

Я ночи не спала — мучалась, с 24-го июля. Не о личном. Ужасно, это наше расстояние.

Как мне послать тебе бумаги? У меня есть еще.

Не прислали все-таки мне выписанные журналы с твоим и И. А.![451] Не найти.

Христос с тобой!

Молись, Ванёк. Молиться вместе давай! Не надо этой «дрожи», — я ее знаю. Не будет и госпиталя. Но, Ванёк, если в хорошей клинике, то м. б. тебе покойней было бы для болей? Почему ты клиники боишься? Я же тоже была! Режим тебе, друг мой, нужен! Подумай!

Ваня, читал ли ты «Mein Kampf»? Гитлера?[452] Обязательно прочти — это же важнейшая книга. Это необходимо знать.

Пиши лучше на меня и заказные письма. Арнольд все равно их видит, и это «для Оли». — Он читает по-русски. У нас здесь каждый может получать заказные — лишь бы расписка!

189

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.VIII.42 3—30

Только что твои письма, 14 и 14—15 авг.

Ольгунка, безумица, что ты с собой опять выделываешь?! Бедная моя детка, я плакать хочу, от боли за тебя, от жало-

сти, от бессильной любви к тебе, от счастья, что ты моя-любимка, от твоего ослепления, — ведь сжигаешь себя дикими мыслями... хоть для меня-то пожалей себя, выкинь из переполненного — да, да! — сердца эти колючки, тобой же втиснутые! Или ты это от избытка моей — безумной! — любви к тебе?.. Знаешь... «мышь сыта — так и мука горька»! Ты, прямо, бешеная какая-то... такой и самому Достоевскому не снилось. Да что ты наворачиваешь пугал?! Я только руками развожу, не могу ничего понять... — какая-то одержимость..? Ольга, дрянная девчонка, если бы я сейчас был с тобой, я тебя, кажется, всю бы... не знаю, что бы с тобой я сделал... искусал бы, искромсал бы... — чего ты хочешь, дотерзать меня так, что я снова оторопею от пугающего сознания, что болен, что не закончу заветного, что не свижусь с тобой..? Я хочу, до метанья хочу тебя увидеть, быть с тобой, сердце свое вынуть и тебе дать — на, смотри, *что* там... *кто* там! Как в зеркале увидишь, и — только тогда поверишь, наконец, безумица, девчонка моя ненаглядная... что ты со мной делаешь, *за что*?! Я два месяца был болен, терял себя, отчаивался, гнал мысли, и отдавался им... — ужас брал — *все* рушится, и тебя не встречу, и все мое в хаосе, не завершено... — ну, раз я такой «мнитка», как одна глупая девчонка, которая дороже мне всего на свете, без которой мне *свету* нет, жизни нет... о, ми-лая... да как же тебе еще-то говорить? Слушай, глупе-нок, «сытая»... — твои письма, особенно от 4—5 авг. — в болях-то моих! — меня приканчивали... ты там такое наворотила... — ты что мне сказала?! — «подарки мне в тягость»! Ты что, с ума сошла... после всего? *всего*? Да ты поставь, безумица, себя на мое место... я бы тебе так писал! Все твое, все... — свет и радость и счастье мне... я целую, я безумствую от твоего... а ты про мое — «в тягость»! Не посылать? лишишь меня? Это твое безумство кричит, не сердце. Ты себя жжешь, — Господи, на глазах сгорает, и я бессилен..! «Ненужно и неуместно» — что-то я о Швейцарии писал? Да ты в своем уме? — как из ушата... да что ты... окстись! Конец этого письма — лекция о труде, отшвыриваешь мое все, что возносило меня, — ведь я часы считал, когда получишь... а ты свела — «добивается благодарения!» Ты очумела? Я швейцару духи оставил, ты о них не поминала, я затревожился, — дошли ли... а ты — «ну спасибо, еще раз!» Окстись, бешеная девчонка... у, как люблю тебя, себя не помню... Слушай. Завтра я подаю прошение. Опущу руки лишь тогда, когда стукнусь об стену лбом. Твой Ванёк будет с тобой, только бы дали разрешение. О, как я удесятерю свою жизнь, как ослепительно опалю ее, как всю душу тебе отдам, безумная-любимая! Глаза твои выпью своими, в себя вберу, в сердце волью, пусть сгорит... — люблю тебя...

какое еще слово найти, чтобы сказать тебе, к а к... ?! Или ты только д е л у поверишь..? да? то-лько... ?! Хорошо. От тебя зависит... Я страстно хочу тебя видеть... все забыть с тобой, в тебе, т о б о ю ото всего закрыться... Ольга, Ольгунка, ласточка... — я все тот же, больше... глубже, нежней, крепче... о, как крепко! — Я здоров, в час добрый сказать. В с е прошло. Снова мои бока становятся гладкими, есть хочется... — тебя бы съел, да жалко... очень уж ты ре-дкостная... глу-пая... — воображаю, какая же ты, когда... !? В с е плавишь... — воображаю... ах, ты пожар-стихия! И как ты такая уродилась, счего..? Вулканы, что ли, столкнулись... и — выкинули такой цветок стихийный, огненный, — но помни, ты же не «купина»... — ведь ты сгораешь, бедная... меня-то хоть пожалей... я только тобой дышу, весь в тебе, все-гда!!! Ведь это болезнь меня в оторопь... я коченею... и все же, я через силу — «нервное спадание» было предельно! — писал тебе. Не могу я гореть годами безнаказанно. У меня же еще есть жизнь, внутренняя моя работа над сырьем, ждущим света! — пой-ми же, ведь ты же меня любишь, мое любишь... и знаешь ему цену! Ведь для него-то ты хоть часть меня уделишь, жадная?! не все же для себя... для тебя у меня особая сила есть, — увидишь меня, упьемся с тобой песнями сердца... если твое не остынет скоро, не утомится... — в с е поймем друг в друге и в с е, все возьмем друг у друга... Олёнок мой, я здоров, мой «барометр» — хочу писать! — вот самое верное. Но пока тебя не поцелую... не исцелую... не выпью, сколько силы хватит — не приступлю вплотную. Если же мне вплотную вложиться, тогда — в с е на время захлопнется, я стану бессилен... знаю! Жду тебя, жду безумицы моей, и уже нет сил терпеть... — только бы увидеть, услышать, как стучит сердце твое. Во мне стучит... — оль-оль-оль... олька-олькушка... глупка-безумка... ты его так собой настучала, так налила собой... — вся кровь горит тобой... и я — безумец. Помни: Шахбагов твой слишком самоуверен, указывая на операцию. Где бесспорность данных? «Из одной и той же почки» — не довод. Почка почему-то ослабела, потеряла способность сопротивляться чему-то анормальному для нее. Ты тифом болела? Почка могла чем-то от тифа повредиться. И каждая инфекция — повторение, почка очень реагирует на инфекцию. Но главное: вот эту-то ослабленную еще мытарили, инструментами раздражали, лекарствами... — чего же тут не понять! Я читал, что, как последствие — от осмотров, от раздражений... и сколько через это — неверных диагнозов! И Серов подтвердил. Ни-ни, не соглашайся на операцию, — все испробуй, — вылечишься! Надо же на сто процентов быть уверенной, что операция — единственное. Так какой-то твой доктор правильно сказал. Так и мой говорит. Надо прежде всего

укрепить «главный регулятор» и главный оплот против болезней, — «центральную нервную систему». Она у тебя не защищает тебя! Разве я не вижу, как ты вся разболталась! Да, вся. И не щадишь себя. Ведь новое заболевание твое — «жар»... писала ты... — может опять влиять! Застрахуй себя от гриппа! молю! Приказываю тебе! Ты помни: ты не только себе принадлежишь, ты — моя, ты мне себя подарила-отдала, всю себя... помни! И я требую, как права, — обереги же себя, хоть из жалости ко мне, Олюночка! Я не слова пишу, когда говорю — люблю... — я сердце свое тебе отдал, оно твое... так побереги же его, если оно тебе хоть чуть дорого. Оля, во имя того, что мы с тобой создадим в творчестве... побереги себя, меня... Я повторяю: твой рассказ очень хорош, и погрешности какие — я лично укажу тебе. Но для меня — несомненна твоя сила. Знаток по зерну определит урожайность, добротность, качество. Я знаю, что ты можешь, — клянусь тебе всем святым... — в этом лгать никто и ничто меня не может заставить. Ты мнительна, ты робка, при всем твоем бешеном характере, при всей твоей «гордыне». И все это не недостатки твои, я за все тебя люблю, всю тебя цельную Ольгунку. У кого нет «червоточинки»? Я тебя-румянку, яблочко мое... сладкая моя, вот именно с «червоточинкой» и люблю... тем и сладка-остро, пряна... душистая моя... страстная, горючая-жгучая... обжигающая... — люблю!

Со всем твоим об экранном вполне согласен, ты дала блестяще. И «лечение» гостя — чудесно. И определение моего недуга — точно, сжато, умно, — ты была бы большущим ученым и торила бы новые пути. Знай, Олюнка, если иные мои письма кратки, «хладны», если замедлены... — значит, не мог, не в духе, разбит почему-либо... — я не только «прошлогодний», — я глубже, крепче для тебя, я вплавнен тобой в тебя, и без тебя мне не жизнь, а пустыня. Не смею клясться самым для меня священным... ты мне поверишь: я до боли твой, до сладкой боли, этого не сказать — как. И мне очень больно, горько, что моя Олюнка томит себя напрасно, изводится, живет в надуманных и больных призраках. Сердце мое страдало, когда читал сегодня оба твои письма. Ужас охватывает, когда представляю, чего ты наворачиваешь себе! — это же опять болезнь, это же чистая истерия, неврастения, — борись же, найди равновесие, не испепеляйся, хоть — повторю! — для меня-то, меня-то пожалей. Если бы ты была тут... как чутко, как нежно-ласково прильнул бы к тебе, как тихо голубил мою Олюну... мою больную девочку... мою найденную так благодатно, единственное отныне дорогое мне на свете! Ну, ми-лая... дай твою головку, вот сюда, к сердцу... слышишь, как оно тобой живо, тобой трепещет, за тебя трепещет? Сколько бы сказать хотел тебе, шептать, — так это

глубинно н а ш е, так только нам понятно, только нам присуще! Оля, какой блеск зажигается во мне, от тебя, живое мое вино, мое Оле-шампанское... чуть-чуть пьянящее... чуть-чуть дурманное сладко... — и сколько образов, мыслей, планов... сколько чистого, не сжигающего огня... огня освящающего — от тебя во мне! Оля, ты устала бы слушать... ты заворожилась бы... если бы я сейчас вот стал говорить тебе... так ярко во мне, так образы теснятся... такой простор воображенью! Ты меня зажигаешь, огневая моя, чудеска моя... чарующая тайной-чудом, в тебе творящимся... о, сколько бы дала ты мне, как я это з н а ю!.. — мы нашли бы новый с тобой язык... н а ш язык, мы понимали бы с намека взглядом, с движенья брови, с уголка губы... со вздоха... Оля, твой всегда, вечно до... вечности! Твой Ванёк, только твой — и весь. Как целую!

[На полях:] Оля, верь: завтра начну — и — добьюсь! Хочу с тобой в лесу — остановиться на поляне... и видеть небо в твоих глазах.

Какой суп сварил! — сам. А сейчас — яблоки, так хочу... очень люблю мармелад, — умею!!

Оль, приди... во сне хоть пока... дай же обнять тебя! Что со мной?!

Даже намека на склероз нет. Оль, дай глазки... вот! Ты чувствуешь? к а к целую..? Вот так?

Помни: ни-ка-кой болезни нет, доктор доволен. Но бром мне необходим ! Иначе я — как в 37—38 гг.

Спешу на почту. И все-то есть хочу! Ночью — проснусь — и вот — в с е вижу... смешно!

С тобой мы бегали бы по лесам, на велосипедах, — так мне все легко, а с тобой... я стал бы до того юным... г л у - п ы м... — и ты смеялась бы... как дети играли бы... я, ведь, такой еще «мальчонка»! — несмотря на в с е! М. б. и увидишь. Сказала бы: ах, болтушка!

190

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.VIII.42 9—30 вечера

Ласковая моя Олюночка, еще и еще перечитал твои письма, му-ку твою-мою... как мне душу всю перевернуло, что ты так страдаешь, н и из-за ч е г о! — и я бессилен крикнуть тебе, чтобы ты тотчас же услыхала, что ты сама себе все жгучим воображением накрутила! Но от этого еще больше нежность во мне, еще острее боль за тебя, — кажется, с радостью принял бы за тебя в с е, все снял бы с тебя на себя, если бы возможно было.

Олюна, Олюночка-ласка, успокойся, детка моя-надумщица... Ванёк твой все тот же, прежний, восторженный, светлый к тебе, молящийся на тебя, за тебя! Ты моя драгоценность неразменная, уют душевный, уюточка моя, славочка моя... успокойся, не надумывай, не выстрадывай лишние, ничем неоправданные муки! Молю, прошу тебя, у ножек твоих, целую их — они для меня, как все твое, — священны, чисты, как ножки моего ребенка, ну, все, все твое, все в тебе — покрыты для меня неизъяснимым чувством святой благоговейности... — вот что я чувствую, — ты вся для меня — небо мое... и твое душевное, вечное твое, слиты во мне с таким же прелестным земным в тебе... даже неровности, которые и тебя томят, и те мне дороги, — ведь они твои, из твоей сложной и как-то особенно чисто-святоболезненной сущности... — это неопределимо словом. Опять ты заболела, опять худеешь... Оля, овладей же собой, прогони эти навязчивые сумбурные тревоги, — это же не от света! Ты умница, ты мудрая, ты понимаешь, как это отражается на тебе... Господи, я бессилен. Оля, неужели ты не можешь вообразить моего состояния во время минувшей, слава Богу, болезни, длившейся почти два месяца!!? Представь: когда часами, вот тут... у горла, томит... неизбывная тошнотность... — не хочу физиологических подробностей! — это такая мука, когда в тебе только эта «физиология», нестерпимая... ну, зубная боль, что ли... ни думать — или только мрачное! — ни говорить, ни дышать ровно... наливаешься тошнотой... и вот... часами... а потом еще боли, «схватки»-спазмы, крутишься от них... и чего-чего только не лезет в голову! «Ну вот, все кончено... пустота... ни солнца не видишь, ни света, ни в чем... и тревога о тебе... — надо же написать... Олюна томится, не увижу ее... к чему же все было!..» — ох, Олёк, это не описать. С тоской глядишь на стол, на забытые рукописи... неоконченные... а, тягостно переживать в мыслях..! Представь, — и ты поймешь, почему редко писал тебе, почему хмур, — в таком состоянии жизнь противна! Ну, поняла, детка? Ну, будь же прежней, нежной, радостной, исполнись надеждами на лучшее, что ждет тебя! пой, ласточка, пусть сердечко твое ровно-ровно бьется, — твой Ванёк все тот же, еще нежней, еще ближе к тебе, — если это возможно только! — весь я тобой томлюсь сладко и — это же надо сказать, — тревожно. Не думай об операции, не надумывай... Слушай, красавочка моя... — у мужа караимочки лет десять камень в почке... дня не проходит без болей... но доктора не советуют оперировать, его тревожить (т. е. камень), (а бывают и истечения гноя!). У тебя нет никакого камня, у тебя, м. б., периодически, от инфекций, воспаляется слабое местечко, отсюда и кровоизлияния. Окрепнешь совсем, установит-

ся «равновесие» в организме, — самое главное — нервная система — регулятор всего внутри, всех отправлений, — давления крови, состояния сосудистой системы... — и может кончится. Не надо допускать напряжений, работать физически, быстрых движений... — ты же пылкая во всем, надо потерпеть, дождаться полного оздоровления. Что поделаешь, милка... ну, потерпи немного... а главное — не давай воли диким мыслям, тревогам... ведь все себе накрутила! — вот что меня мучает... — я же не ветрогон, не «делатель опытов» над человеческой душой... над — твоей душой, родная! Неужели я тебе все еще неясен? Мне можно тревожиться, что ты меня оставишь... — и я не тревожусь, я так глубоко чувствую тебя! Ты этим тревожиться не можешь! Бывают забеглые мысли... но я гоню их. Любовь... как это сложно. Что такое, что я увлек тебя данным мне от Господа даром? Но ведь в любви не только духовная сторона... она требовательна, любовь, — пустяк какой-то, и тот может вносить разлад, подтачивать любовь... — сколько случаев бывает! — и я не из таких, кого с первого взгляда полюбить можно, — я и некрасив, и как же не молод, — я могу тревожиться. А ты..? Умна, прелестна, с неопределимым очарованием, — да, да... я на расстоянии, по письмам слышу... я что-то найду в тебе, чего не знаю, не знал... это так манит... я мир твой богатейший чувствую, слышу, вижу... я ду-шу твою знаю, сердце... бездонность нежности в тебе, чарующей ласки женщины, сестры, ребенка... что-то кружащее голову, когда приникаю к тебе, малютка... к твоему облику... по карточкам... да я особым чувством мужчины постигаю, что в тебе... — в тебе такие бездонности... такие манящие закрытости... — в одном твоем безмолвном взгляде... воображу только... — «но есть еще очарованье... глаза, потупленные ниц...»[453]. Вижу тебя, девочку-женщину... в светлых березах... мелькает голубенькое платье... милые локоны, каштанчики... овал лица... эта женственность, эта плавность-ласка движений... — изгиб руки... эта розоватая, чуть с загарцем кожица у локтя, с бликами от берез, от неба, от теней, от игры свето-тени... этот непередаваемый аромат свежего тела... молодого, сильного... — и все это — на миг кажется — живет тобой, ну... душой твоей, что ли... это все составляет ее... твою... — Господи, да правда ли... ?! — Каждый волосок на кожице, пушок шелковистый, чуть слышный в поцелуе... — и радостно дивишься, это — все это тебя лю...бит... ?! О, Господи... Олюночка... мне становится жутко, когда подумаю, что ошибся... что возомнил, что это только сон из дней отшедших... отсвет яви... и все это растает..! Как я порой вижу тебя, как тобой любуюсь... как стыжусь себя перед тобой... как дышу твоим дыханьем... недоступным,

юным, незаслуженным... Оля, поверишь ли, как я страшусь? Мне — да, мне можно спрашивать себя — не сон ли? А ты... вся — могущество женщины, вся — жизнь! ты же королева! И как же больно читать твои сомнения! — «Ну, останься другом», — говоришь ты, — мне страшно — «дру-гом»?! Ну, да... ты *ей* можешь быть только другом. Это от *ее* щедрости, великодушия, — м. б. из снисхождения только — больше, чем другом быть — зависит. Я могу молить тебя — останься другом, — *не* ты. Я дерзаю, — знаю, — я одарен королевой — знаю. И ты для меня останешься — *величеством*. Твой «отход» — гибель мне. Знаю. Но я знаю и то, *что* в тебе: что у редких только женщин можно встретить: *верность* сердца, стойкость оценки душой, (и души!), — это величайшая ценность — скрепа земного чувства. Я чту тебя и этим успокаиваю набегающие сомнения, гоню. Ты меня знаешь и по книгам. И это одно может дать тебе правильную оценку того чувства, которое вызвано тобой во мне. Ты же должна убедиться, (по книгам, хотя бы), что во мне, какие свойства мои: *стойкость*, *совесть*, чуткость к страданию других, чистота в человеческих отношениях, ну... просто — по-ря-дочность. Как же, если все это во мне есть, как же не верить мне, моим словам?! Оля, я не могу размениваться на мелочь, укрываться, «делать вид», обманывать, таиться... я слишком открыт, слишком наивно-простой, очень несложный... разве ты это не чувствуешь? «Несложный» — в смысле *прямоты*, искренности. Заглянешь мне в глаза — увидишь. Я часто беспомощен в житейских делах, часто наивен, доверчив... — «какой ты еще ребенок!» — помню *ее* слова. И я такой, «несложный», ни-чего не прикрываю. Увлекаться могу, но посягать на спокойствие другого — не смею. А когда я *так* держу в сердце, как тебя, моя радость, моя Олюночка... моя бедняжка-мученица, самомученица... — то держу крепко, неотрывно... а если оторвать — только с кровью можно. Ты — *вечная* для меня, и ты это глубинами своими *знаешь*. Ты не можешь обмануться. Ты можешь накручивать себе, — почему-то это тебе бессознательно нужно... — ? — но ты до того чутка... что впрок обмануть себя *не* можешь. И потому — ты должна стать снова светлой, радостной, той — июльской Олей, когда шла золотой дорогой, в ячменях... и золотое твое сердце светилось таким блеском, таким слепящим светом — и таким жарким-легким светом, что, — как чистое Божье дитя игралось все в тебе... — «любима... о, так сильно-беззаветно любима... и м... моим Ваней... кого я нашла в книгах, кого я так чудно встретила на перекрестке жизни... *его* — *моей*». Ты м. б. так не думала, но *это* пело в тебе, — золотом полей, золотом неба в солнце, вечернего, тихого, теплого, мягкого, ласкового,

на-шего неба! Олюночка... я больше не могу... я все сердцем сказал тебе... я пою тебя... я молюсь тобой... я дышу, живу... я теперь через тебя живу... — ты мой источник силы, мысли, чувств, желаний, планов, надежд, веры... — ты, моя Олюна, ты только. Веришь? Верь. И ни-когда не поддавайся лжи набегающих сомнений. Они — от мрака, не от света, не от Правды. Мы с тобой — в Правде, такими и пребудем. Веришь? Верь. Господь с тобой, свет мой тихий. Будь тихой, нежной, Олей, моя голубка. Твой всегда Ванёк. Целую, Олюночка. Крещу на здоровье. Завтра, как писал сегодня, еду по делам. Верь.

[На полях:] Сегодня в 5 ч. после доктора (я впрыскивал Laristine) еду по нашему делу.

Чем мама тебя обидела? Опять сама надумала, да? Детка, по тебе что-то плачет. Ну, погоди, я тебя утешу. Ты еще всего меня не знаешь.

Я тебе еще напишу, глупка, о «никчемности»!

Оля, все во мне играет, как подумал, — Олю... увижу... буду любить.

Рвусь к тебе. Слава Богу, я здоров. Тяжелею. Но легок на ногу, в metro по лестницам быстро всхожу, на-цыпочках, упруго, будто мне 20 л. Дивилась караимка.

Не думай, с ней я ни-когда один не бывал. И ничего — не питаю. Верь.

Ты не слышишь, к чему ты призвана! — творить чудесное и вести, давать силу, ты — вся жизнь — свет! Я так (!!) это чувствую. Все в нашей встрече — так значительно! Ты должна была найти меня, я — тебя. Да, Оля. Да разве теперь могу я без тебя?! глупая девочка... но как же ты и в этом прелестна!

Оля, не кощунствуй: столько тебе дано! Вдвоем мы — увидишь! — еще новое в себе найдем, о, моя женка, мой водитель!

Оля, так во мне легко, взмывает, так хочу писать, но должен тебя увидеть, и ты мне дашь много света, сил...

Неужели вправду тебе в тягость мои гостинцы? Не верю. Мне — всегда в радость — твои. Не нагляжусь.

Поцелуй мамочку за меня! И — Сережу. Я ему очень благодарен.

191

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.VIII.42 4 дня

Ольгуночка, миленок, вчера все выполнил, прошение подал — обещано, но возьмет время — 3—4 недели. Управление делами русской эмиграции само все сделает, мне обещал

сам возглавляющий[454]. Увидав приложенный документ инженера С. А. о проекте приобретения литературных прав, он радостно сказал — «Сережа...» или — «Сережка...» — не помню точно. Вместе учились?[455] Я говорю об Юрии Сергеевиче Жеребкове. Это родной племянник генеральши Ольги Федоровны Поздеевой[456], моей глубочайшей почитательницы, — помнишь, писал я тебе о ее письме и моем — ей[457], которое ходит в Париже и жадно-страстно читается. Я отказался дать его напечатать. Ю[рий] С[ергеевич] обещал непременно устроить, — и я ему верю. Он понимает, как важна для меня и для жизни, для выполнения моего писательского долга — поездка. Мне необходимо быть и в Гааге, и в Амстердаме. Я должен договориться с каким-нибудь большим органом прессы, чтобы печаталось там «Солнце мертвых», — пусть же и Северные страны знают этот ударный антибольшевистский труд! Мне необходимо найти отличного переводчика — не жида-макулатурщика, переводившего «Человека»[458], и не Козлову[459], кажется отвратительно передавшую две мои книги. Проф. ван Вейк был недоволен переводами. Мне надо найти адрес — пишу проф. Карташеву, — одного известного журналиста — Грондейса[460], и я запрошу его о переводчике и газете или журнале. О гонорарном вопросе — второстепенно для меня, важно — отлично дать и в хорошем месте. Чтобы многое наладить, я пошел на уступки, дам «Чертов балаган»[461] — для парижской газеты, издаваемой Жеребковым, — они все равно напечатали мою статью об инвалидах[462], данную в прошлом году Союзу инвалидов[463], — как я ежегодно делаю[464]. Ю[рий] С[ергеевич] Ж[еребков] — оказывается отличный будет журналист, его статья о гнусном убийстве Царской Семьи — меня приятно удивила, что я ему и высказал. Это его о-чень в з м ы л о... — он весь засиял... Знают, как я скуп на похвалы. Правда, статья сильная, с большим сердцем и крепко слажена. Она произвела впечатление, я от многих знаю. Но меня-то не обманешь: та-лантливо, «по-своему», а ведь об этом ско-лько писалось! Большевики замучили отца Жеребкова[465], казачьего офицера. И вот, сын пишет... хорошо пишет, как мальчиком он с матерью и сестрой были в Соборе на панихиде... — молодец, с большой душой и талантом. Он не раз восторженно заявлял, как ценит мои книги. Вот он и поведет дело. Видишь Олёк... как мне н а д о быть на месте, так все скорее можно наладить с печатаньем, — это важнейшее дело моей жизни, — дать в с е м языкам эпопею страдания. Со Швецией тоже поведу, там у меня переводчица отличная[466]. Никогда с а м не хлопотал о своем, но раз касается раскрытия ЗЛА, — художественного удара по «убийцам Жизни», я изменяю своей инертности. Ты довольна?

А теперь о самом душевно важном — для нас. Олюнка, оставь кощунствовать. Мне страшно читать такое, — такое отчаяние в себе, в своей жизни, такую хулу —да, да!!! — на милосердие Божие! Не смей!! Зачем лишаешь себя духовной — да и телесной! — силы?! Этими твоими — «я никчемная», «моя жизнь бесцельна»... «опалила крылья», «я никому не нужна», «я ничего не жду больше», «я забыла, что я — ничтожество»... «удел мой дожить как-то данную мне жизнь» — !! «я ничего не исполню в жизни», « я завидую каждой простой бабе...» — Ольга, не стану нагромождать, я «сыт» и... подавлен всем этим диким кощунством. Мне больно видеть, как убиваешь ты в себе ж и з н ь, волю, силы, дар Божий, и чувство свое ко мне. Внушаешь себе упадочность, снижаешься до праха, не ценишь «таланта» — от Господа. Так можно в с е растратить, довести себя до бессилия во всем, на все. Сколько ты имеешь!!! Сколького не ценишь... или ничего я так и не дал тебе? — ни-чего? как легко ты теряешь в с е... убеждая себя, что потеряла, — и ведь не можешь же ты верить во все это твое больное! Я тебе отдал все сердце... а ты и не слышишь? зачем гонишь от себя свет? зачем тычешься в тьму?! Спроси же себя: другая, зная, что ее так любят, что она вся сама любовь... могла бы так все з а к р ы т ь... будто и не было ничего, будто все это — «мечта писателя»?! Да одним бы письмом, строчкой иной были бы счастливы, осязая такое чувство! Олюнка, поднимись же, вспомни, кто мы друг для друга, что мы — дружки... что ты мне дала столько чудесного! — и я говорю, что я силен тобой, ты меня наполняешь, искры во мне твои светят, такие толчки для творческого получал я... — а ты... ?! Прильни же ко мне крепче, возьми от меня силу, почувствуй ее! — я себя отдаю тебе, и сколько же отдавал! — не чувствуешь? со всем пылом, так безоглядно, так свободно! Олюночка моя, голубка нежная... возьми же руку мою, почувствуй твоего Ваню, — он не даст тебе оступиться, он хочет тебя вознести, укрепить, раскрыть тебя тебе — для меня ты давно раскрыта! — заставить тебя поверить в себя. Ведь это ужасная растрата душевных сил, таланта, здоровья... — т а к от себя отворачиваться, так обесцениваться. Это не проходит бесследно, это — как яд, он все выедает в душе, и — убивает. Духа не угашайте![467] — помнишь эти великие слова? В себе, в себе... — главнейшее это. Самоубийство это. Ты и меня убиваешь, убивая себя. Я тебе говорил — Оля, пойдем дружно, крепко, в м е с т е, у нас одно — общее — драгоценное — наши богатые души, они родные. Они назначены на светлое и чистое для жизни, и они — о д н о... ведь ты же з н а л а это?! И так малодушно, из пустяка, наворачивать на себя паутину, задыхаться душить себя из-за н и ч т о! Я возмущен, я подавлен. На пер-

вых же шагах вместе... — оступаться, ро-нять себя! самовольно, кощунственно. Где повод? что, что вызывает такое бессилие, отчаяние? Смешно сказать: просрочка в письмах, какая-то кажущаяся холодность... — «надоела», «наскучила»... — полная потеря способности в и д е т ь, мы-слить! отдаться призрачному, вскочившему вдруг в сердце, вернее... — в больной какой-то нервик! Что за чушь?! Поднимись, смотри гордо, — ведь ты же так самолюбива, так горда... — я тебе со всей нежностью говорю — Олюнка, ведь я же лю-блю тебя..! за эти, что ли, безвольные «зигзаги»?.. Нет, я их понимаю, как уклон, как временное заблужденье чувств и нервов... я — мимо их... — я люблю тебя в тебе, сердце, богатую душу твою, твои самоцветы... — сколько писал про твои «подвалы»! — все напрасно. Ты не уважаешь меня, да, да... ты не даешь мне веры... ты все подозрительно приглядываешься, — нет, какая же это — любовь?! Ты, просто, не хочешь — в м е с т е, отвергаешь «дружку», общую цель, самую общность нашу! Ты тянешь к хаосу, к косности, к... умерщвлению в себе ж и з н и, целей, всего — что есть — радость Жизни. Сама гасишь все источники света, все искры. Опомнись, поверь в себя, поверь же, наконец, мне! Пожалей меня... ведь ты меня принуждаешь повторять без конца одно и то же. Вместо того, чтобы дать мне свободу для работы, ты тормозишь мою волю, мои порывы... — тебе надо, чтобы я каждый день убеждал тебя —люблю, люблю... Олюнка, ведь ты же умная женщина, сверх-одаренная... — ты меня любишь посвоему как-то... хорошо. А коль любишь — верни покой себе — и вернешь мне. Могу же и я заболеть? но почему я непременно — отойду от тебя, прикрываюсь, — ничего не пойму! Так ни с чего мгновенно падать духом! Да при таком — как же можно творить?! Творчество — всегда искание, пытанье, пы-тка даже, требует величайшей воли, выдержки... — учись на жизнях великих мастеров! Во-ля... труд... упорство... сосредоточенность, жертва, отдача себя, самозабвенье... — и все это н у ж н о, и чем сильней дар, — сильней все это, ибо требовательней и строже к себе мастер, чем выше восхожденье, тем больше напряженье, тем больше воли надо... вон она, вершина! — еще, еще!.. Разве не прекрасно это?! Олюнка... вглядись в себя... ты — большая! Поверь мне. Ведь не карлик же я, — в самооценке, — если знаю, что были Шекспир, Пушкин, Гёте, Достоевский, Данте... — ведь после них д о л ж н о ж е продолжаться?! Их гималайность не может сделать меня карликом и парализовать волю и сознанье, которое живит меня. Пора, пора сознавать себя, после в с е г о, пора научиться видеть и в другом — ч т о и к т о он. Я тебе говорю: пойдем рядом, будем ограждать друг друга от чуждого нашему духу... будем д р у ж н ы в любви,

будем верить друг в друга и друг другу... — будем благоговейно нести в себя и ростить в себе нам дарованное. Я пополняю тебя, ты — меня. И это так. И за это я люблю тебя, — ты мне с первых писем с е б я даешь. И я хочу в с е й тебя, я жду... хоть и шатки права мои... а верю и жду, хо-чу! Не лишай же меня веры и надежды. Не оступайся и меня не тяни... щади и себя, и меня — ведь ты же меня не в порывах любишь, а п о л н о и наполняемо. Не царапай меня, не мельчай, не разменивай силу на пустое... а лучше ударь сразу, в-конец, если я того стою, но себе строго докажи, что я заслужил того. Я н е заслужил — это я совестью знаю, и не могу говорить — ценю, люблю, дорожу... — когда все это лживо во мне. Я же не духовно ослепший, я не лжец же, после всего того, что рождало и творило во мне сердце мое и душа моя! Как же ты так легко хочешь подозревать во мне — мягко сказать — притворство!

Олюнка моя, успокойся, прильни ко мне, вплавься в меня, накрепко, чтобы никогда не мучить ни себя, ни меня. Я сросся с твоей душой, я это вижу, знаю. И потому все твои больные движения — боль моя. Береги себя, верь, что будешь здорова. Ой, опоздаю, я хочу послать сегодня же, *22-го*. Целую. Не правлю. Спешу. Оль моя, солнышко, пташка! Твой Ваня

Выправь ошибки сама, дружка моя!

192

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.VIII.42

Ах, как счастлива я тобой, милый Ваня!

Тебе лучше? Нервы лучше? Как радостно, что писать хочется! Какое это мне солнце! Не укоряй меня, Ванёчек, что я «накручивала» будто. Если бы я тебе твои письма переписала, то ты бы понял, что я могла так мучиться. И, вот именно, — (как и ты мне говоришь): перенеся на себя: что бы ты почувствовал, если бы... и т. д.

Но довольно, право, довольно! Пойми одно: что ты выдумываешь относительно Швейцарии? Если я писала, что поеду туда-то и туда-то, то совсем это не значит, что тебя я «исключаю» из своей души. Какие глупости! Но, Ванёк... подумай: когда бы я ни писала тебе, что я приеду к тебе, ты меня всегда мягко отклоняешь. Ведь правда? И в 1940 ты так вдруг «испугался» моего появления... Я уж больше об этом и не рискую. Это все от тебя зависит, хочешь ли ты вместе со мной побывать и в Швейцарии. А почему я хотела бы туда, — об этом писать трудно. И не значит, что я с тобой не считаюсь. Никак не зна-

чит! Это все в связи с родным. А я очень хочу домой. Необъяснимо. Это должно быть! Но трудно писать. Да, к а а а к бы мы с тобой говорили... Как поняли бы друг друга! —

Ванечка, оставь думы о «ревности» И. А.! У него ко мне чисто-отеческие чувства, а м. б. и еще менее нежные. Я ему от октября ничего не писала. И нет у меня потребности пока. И не читаю его. Как-то недавно с нашим гостем мы перелистали кое-что из его книжки, знаешь, мелкие популярно-философские наброски (по-немецки), — и там есть: «Die Liebe» и «Die wahre Liebe»[468]. Я прочла вслух, а гость мой, — очень почитающий И. А., его слушатель, вдруг замахался: «Ой, ой, оставьте, О. А.! — Да разве можно т а а к, да разве можно о любви так философски-схематично трактовать?! Нет, нет, художественный образ, — мне показать бы только мог любовь в слове, но нет, не это же». И помолчав: «... мне это напоминает известное о дверях рая... знаете? Если бы после смерти и попав на небо мы увидели 2 двери с надписями: на одной — «Рай», а на другой «Лекция "О Рае", то наш народ пошел бы во вторую дверь, говорит Keyserling»[469]. Удивительно! Я подумала, что как бы чудесно было, если бы ты в этом разговоре был! Я защищала все же книжку, ибо написана она для широкой публики, и для таковой дает очень много. Многие ведь примитивного не знают в жизни... Ванька, как смел ты мне глупости писать о моем отношении к тебе в сравнении с И. А.? Ну... что я скажу? Ты (?) мне «мало даешь от духа»? А что же ты мне даешь тогда? А ну-ка ответь! Ну, сам видишь, что «зарапортовался». И еще: я не отбрыкиваюсь от твоих подарков, как... от т в о и х, но просто как от роскоши. Понял? У меня много переживаний... ах, Ваня! Не могу я беззаботно наряжаться. От тебя мне все радостно, только не боль твоя. Господи, если бы, ты был всегда здоров! Берегись же! Ты спрашиваешь что у меня еще «не все в порядке», — кровь не совсем еще в порядке, т. е. все еще повышена Blutsenkung. Как объяснить по-русски? Скорость снижения (упадания) красных кровяных шариков. Была сперва очень высока, а через месяц значительно стала лучше, но не совсем. М. б. это сильное малокровие. Я чувствую себя хорошо. Но очень устала за последнее время. Было много разного люда, я даже рада была, что не имела времени остаться наедине со своими тогдашними думами. Теперь я рада, что отдохну. Только тревожит мама — ей нездоровится что-то. Тоже переутомилась? Не знаю.

Но посуди: 10-го авг. 2 гостя к обеду и чаю. 11-го 2 гостя к завтраку и чаю. 12-го 1 гость к завтраку, 15-го друг наш и Сережа до 17-го, 18-го — гостья к обеду и чаю, 19-го мы говели, 21-го один мальчик на несколько дней с ночевками. 22-го друг

наш, а 23-го Сережа и еще двое русских инженеров из Гааги. Эти последние уехали, а те 3-ое остались до 24-го. Подумай, сколько обедов и т. п., и еще диета строгая для больного. Опять у него боли. Вчера я брякнулась в кровать, когда все уехали, спала часа 3 подряд и не могла опомниться, когда мама разбудила к чаю. Сегодня опять одна гостья к обеду и чаю. Это воскресенье кажется никто, кроме С., впрочем, м. б. приедет дней на 10 матушка. Но это не помеха — она уютная и все еще сама же делает.

Масса работы с зеленью. Огород полон — надо все убирать, варить, солить. А мне так хочется побыть с тобой! И я обожаю работать на огороде, тогда я все забываю, вся в мечтах и думах. Вчера я получила твое письмо прямо на дороге, прошла в сад и, сев на ворохе сухой горошкиной тетивы, читала его. А какое было чудесно освещение: шла огромная туча с юго-запада, сизая, сизая, а по этой серости отливало желтым каким-то жаром, от последних еще лучей солнца. Зловеще шла туча. Было томительно жарко, пахло густой травой, парило. Ветра почти не было. А потом подуло, понесло и... пронесло мимо... Только чуть-чуть брызнуло. Ах, как я с тобой была! А сегодня! Я всякую секундочку с тобой... Мне так весело было под солнышком сегодня рвать всякую зелень! Я была в открытой кофточке, — вся будто золотая она, я люблю этот цвет. Жгло солнце. Щиплет сейчас и шею и руки. Моя гостья была со мной, что-то мы говорили, а сердце все о тебе пело. Знаешь это? Так волнующе... Это тайна! Говоришь о пустом, или даже о важном, а на душе... все одно, одно... совсем другое! Знаешь? Стало так жарко, что я переоделась в совсем простое платьице, ах, да то, в котором я под деревом снята[470]. Все зелено, зелено, горит изумрудом. А небо!.. И в нем... ласточек так много вьется вокруг колокольни. А в тополях, уж вот сколько дней, идет немолчный гомон и свист скворцов, должно быть молодые. И кажется, что весна.

Я люблю тебя, Ванечка, Иван мой, мой чудесный Иван Сергеевич! Тоник, глупый Тонька! — Поздно, кончаю, иду спать. Хочется продолжить о рассказе... Скажи, Ванюша, он тебя не очень разочаровал? Можно мне все же писать — пробовать? Ответь? Прямо — честно скажи: ты *лучше* ждал? Скажи! И еще одно: мне не писать тебе часто? **Ответь**. Тебя м. б. это отбивает от работы «вплотную»? Скажи тоже! Непременно ответь! Я это пойму! Как хочу быть с тобой, когда ты пишешь. Нет, не мешать тебе, а просто... затаить дыхание. Какие должно быть чудные это будут вещи... Знаю, что буду плакать над красавчиком твоим отцом и над мальчиком-Ваней! — Но, довольно... пока. Спокойной ночи! Руки в креме, перо не пишет, измазала бумагу!

Утро... 26-го, чудное, солнечное утро... И 2 письма твоих. На них отвечу после... Сейчас спешу послать девчонку на почту, а то ты заждешься. Вань, какая глупость: считаю тебя за «ветрогона»... Нет, но я так страдала, думая, что ты, как раньше самым искренним, честным образом меня любил, так теперь почему-то так же искренне разлюбил, или... притупился ко мне... Я не «накрутила», Ванюша, поверишь м. б., если скажу, что даже говеть стала, чтобы утишить себя. Этим я не шучу.

В том-то и был мой ужас, что я верила и ничем не могла себя успокоить. Отчего это? Не знаю, Ваня, м. б. потому, что я мало ценю себя как человека. Я не считаю возможным, что кто-то меня так прочно мог бы полюбить. Я мучаюсь теперь своим рассказом. Ванечка, я тебе верю, конечно, не смей говорить глупости: «меня не уважаешь...» Но я всегда думаю: он меня не видел, он ни одной моей вещи не видел, ни рисунка, ни рассказа. А этот — первый, он... ты лучшего ждал? Скажи правду! Могу ли я? Я хочу. О лике[471] выходит глупо. Если бы я могла все тебя спросить! Понимаешь, я люблю ту девочку, (т. е. ее надо любя показать), которая расскажет ее «видение» Лика. И я так вижу, так чувствую... Я не могу дать от себя. Это такое... такое тайное... Не могу за свое давать. Дам от другой... И хочу, чтобы ей верили, ее любили, приняли достойно ее рассказ. И как трудно это. Я создала себе эту Нину*, — отчасти от одного образа, отчасти просто из сердца. Я ее так хорошо вижу... Смешно же давать ее мне, — женщине? Я хотела бы писать от имени мужчины, о ней! Можно? Я представила себе: что было бы, если бы я стала писать от себя в женском роде? Глупо. К женщинам относятся полусерьезно. Я бы не хотела в этом рассказе. Да, пусть Нина расскажет все *сама*, но ее рассказ пойдет через какого-нибудь «него». Ну, скажем, художника. Я хочу очень просто: в разгроме, в революционной художественной школе эта Нина с ее «странной» конкурсной работой. Окружение: бездарь и футуристы. Несколько человек «старого» направления. Из них и художник-рассказчик. Поневоле, эти 4—5 человек знакомятся ближе. Случай наталкивает их на разговор. Нина сперва не замечена, но вдруг она «открывается» в самом неожиданном свете. Ее рассказ. Не хочу давать никакой любовной нити во встрече художника и Н[ины], — его очарованность только этим отсветом видения. Как ты думаешь? Мне трудно давать все от себя... Это уж слишком все мое. И не хочется ломать «околесицу». Я не

* Нина — моя подруга, Святая душа, умерла. Она — вся порыв, вся молитва, вся радость и смех, особенный смех. А глаза! У нее было видение... и какое!

знаю... Я начала, но начала как бы о 2-х подругах. Как будто я встретила Нину. Но я не думаю, что будет убедительно, когда всюду будет: «я сказала, увидала, подумала». Или это предрассудок? Почему наш друг сказал, что я «одарена». Чем? Откуда он? Я была в такой хандре и все о смерти думала. Сказала: «я так слаба в жизни (духом), что мне кажется, что это самое естественное, если я уйду со сцены». Он долго молчал и потом: «я думаю вот, О. А., откуда это у Вас могло взяться, — я всегда чувствую, что Вы как раз очень сильны, — очень ярки. Как личность ярки». Ну, почему же я своей ничтожностью так страдаю?? Скажи ты мне! Ванёк, если ты приедешь, сколько тебя спрашивать буду всего! Приедешь?! Я всего боюсь теперь, боюсь событий. Когда я была в Arnhem'е, то нашла чудесный для тебя Hôtel. У Сережи тесновато тебе бы было. Ты простор любишь.

Hôtel тот стоит в парке, тянущемся на километры. Чудный вид. Шикарный, белый дом. И воздух дивный. Будь здоров! Это главное.

Я не могла достать твоих вещей на голландском, — жду Фасю с дачи и возьму «Человека», чтобы увидеть как перевели. Кто такая Козлова? Вань, твою конфетку я слизнула. Разве у вас свободно можно купить конфет? У нас *все* на пайке. Но достаточно. Целую тебя и крещу. Тороплюсь. О.

[На полях:] Ванёчек, пиши на меня прямо. Лучше. Все равно у нас подают заказные всякому. «Глава дома» может расписываться за всех по здешнему обычаю. Все 3 последних письма получил А. Пиши спокойно на меня.

О нервной системе очень интересно, знаю... Vagus и Sympaticus. Я от vagus'а, т. е.: «vagus-betont»[472]. А ты?

193

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.VIII.42 2 дня

Дорогая моя Олюночка, светом было мне твое письмо с вьюнком... — оно такое же тихое и светлое, как этот милый цветочек конца лета, начала осени. До глубокой осени цветет он. Ты выбрала самую нежную расцветку. Я еще люблю густые, синие колокольчики. Как хороши эти тихие цветы, эти немые — и такие молчаливо-звонкие колокольчики!.. — до полудня только живут. Люблю их таинственное рождение (ночное!), их детство (раскрывание до полудня!)... — будто живого фарфора винтики... — они, как-будто, вдруг расцветают в колокольчики... часы их немой жизни, и вот, уже скручи-

ваются снизу, и вот — бутылочки... падают. С каждым днем их все больше, больше. Вьюнок, «ипомэа»...[1] — родня нашей придорожной повилике, чуть горьковатым миндалем дышат, и — чуткие! — закрываются к дождю. В синих вьюнках что-то церковно-строгое. И все они — целомудрие. Как чутко послала ты мне нежность эту! Поцелуй за меня их, малюток, — винтики, колокольца, бутылочки... люблю их, как душистый горошек, как аромат лупина, напоминающий мне чуть-чуть... флер-д'оранж.

Ах, Олёк... какая же ты издерганная, все, все наизнанку вывертываешь в моих письмах! Сколько мне горечи от этого твоего надрыва. Я через силу писал тебе, не хотел тревожить молчанием, говорить о недомоганиях... — и не мог не писать, и потому — были перерывы. Да, я мог ждать и тяжелого поворота в болезни, — и это меня угнетало. Найти тебя, — свет встретить в моем мрачном житии... — и — утратить! О, как угнетало это. И я, стиснув зубы, таил в себе. Открытка — это уже почти мое отчаяние, я уже не смел таиться. А ты так, — лично! — поняла ее! Я не помню, кчему я написал, что «мог бы легкую и удобную жизнь устроить...» — это не к настоящему времени относится... и эти определения — «удобную и легкую» — не на мой взгляд, а на общий. Иначе я, конечно, устроил бы. Ты тут не входишь, тебя я и не знал еще. Нет, твое письмо от 4 июля — нисколько тебя не отемнило в моем сердце. Ты стала мне еще ближе, ибо ты сама сказала так, письмом этим — «я хочу быть совсем в тебе! совсем твоя, тобой, с тобой, у тебя... вне себя, а — вся — твоя». Разве я могу тут судить? — я могу лишь на миг потерять рассудок.

Ты довольна? Довольно, что так много написал тебе, так был «взят» твоей лаской, нежностью..? что я рвусь к тебе, что я уже все сделал, чтобы — тебя увидеть? Теперь будет зависеть от условий, вне нас с тобой. Что же ты не написала мне о «мистическом» сне? Пиши мне больше о себе, не о других, хотя бы о больных, несчастных. Ты восхищаешься, когда тебе другие говорят о даровитости... и не веришь мне, когда я кажется уже наскучиваю тебе повторением бО-льшего, чем «даровитость»!? Ты не считаешься с этим, ты не желаешь истинного и высокого Труда-Восторга. Зачем такой излом? То — «не пиши ни слова о рассказе, мне будет больно»... Не написал — «ты не пишешь, значит — он никуда..? Я в отчаянии.» Что это все?! У меня руки опускаются: такая трусость, и такая при сем... гордыня, самощаженье, «страусовщина»! Искусство — всегда борьба, всегда смелость, ну да, и му-ка,

[1]Вьюнок (*от лат. ipomoea*).

тревога... но зато и счастье в достиженьи! Искусство — всегда «исканье», ис-кус, пы-та-нье! Перечитал — да, у тебя хорошо, — «залитой» — но надо «заливной»... потому и прочел — «золотой». Но можно дать то-же лучше, видимей глазу читателя: надо еще одно, маленькое что-то... чтобы совсем устранить «похожесть-зрительное напоминание»: орех всегда вызывает округлое что-то... Значит — если бы ты «дала» ближе к сему... например — я не настаиваю! — «бугристую» дорогу, знаешь — горбами, чуть ухабами, залитую, «заливную» — (как луга бывают «заливные»)... тогда читатель не отвлекся бы к «ореху — круглоте» и чему-то маленькому, тогда орех не звучит диссонансом... Ты отлично сказала — ибо ты внутри это — что я сейчас сказал — чувствовала, и потому повторяешь — «бо-о-льшой, бо-льшо-ой заливной орех» — не «залитой»!! — так, кажется, нигде не говорят, это классическое определение ореха грецкого, — глазированного! — «заливной орех», «заливные орехи»... Видишь, сколько всяких мелочей, и как эти «мелочи» важны. На днях, прорабатывая «Чертов балаган», — в какой уже раз! — я вместо прежнего — «Вы чтите Данте, этот высокий идеал — символ культуры духа, всечеловечества — променяете ли вы его на... бычье мясо?» — дал так: «...спустите ли вы его за... бычье мясо?» Тут вся сила в слове — «спустите» ли. — Два смысла в нем и — снижение, и — рыночный смысл — спустить — швырнуть променом — все деньги спустил... за бесценок спустил... Так всегда в искусстве: в нем все важно. Я не могу здесь разбирать все. Я в полчаса тебе открыл бы все в твоем рассказе, и ты узнала бы, как и почему он действительно хорош, а вовсе не потому, что я хочу тебе потакать, льстить, чтобы что-то выманить у тебя... мне выманенное не нужно, оно — бесценно, — и как можно его еще поднять или углубить? Он — хорош, как начало твое, он многое обещает. Он с «зерном». И «залит(вн)ой орех» — этому доказательство: у тебя острый глаз, у тебя живой вкус к слову-образу, а это очень много — Ты уже умеешь давать. Ну, похож я на льстеца? похож — на ветрогона? А ты все, все самое худшее изыскала, чтобы оправдать и твои тревоги, и твои... обидочки мне. И эти «ненужно и неуместно о Швейцарии», и слова о труде — мне..! — вся жизнь в труде, и — в ка-ком! и «твои дары мне в тягость». — Это уже не оби-дочка — это куда больше. Но я не корю тебя, я отношу все — к разбитости твоей. Я люблю тебя, моя Олюнка... так и будет, до... конца.

И охота тебе давать-показывать мои книги, с посвящениями — другим?! Как ты до этого допускаешь? Они только тебе отданы, посвящения очень личны, а ты даешь повод «угадывать», м. б. иронизировать, смеяться? Как это непохоже

на тебя, какой я знаю тебя... предполагал, что з н а ю! И как гость мог «накинуться» на мои книги у тебя в комнате? Не понимаю. И какое ему дело до того, переписываешься ли ты со мной...* что за доследование?! какие права?!! Вот почему я — инстинктом — не давал долго «посвящений» тебе на книгах. Безразличных — неправдой было бы, а «правду» что-то останавливало... теперь вижу — н е без оснований. Не о себе говорю — я м о г у в с е писать, я вольный казак, и мне плевать, к а к обо мне болтают, но тебя разумею... — не поставлю ли тебя в трудное положение своей «вольностью». И вот, поставил, и оказывается, кажется, с твоего согласия или от твоей растерянности..? Прости. Я не виню тебя, я чувствую, что для тебя это было неожиданно. — О цветке... — м. б. я неверно понял, но, повторяю, а-га-вы... не дар сердца, для меня. Для меня цветок всегда — з н а к. Как многое. Почти — в с е. Как чутка ты к моему — в творческом, и как берешь меня «со своего огляда» — в письмах! Там многое — наоборот!? почему..? О «смотринах»... — кчему о труде, «миллионах», «даме», «мужичке»? Ты уж вообразила — будто тебя в «мужичку» обернул! Ты для меня да-ма... и самая любимая... — червонная... — з о л о т а я... г о т о в а я, дама — как для рыцарей. Будь ты хоть в дерюге, посконии, лаптях, — ты — с е р д ц е, ты — д у ш а — для меня. И я ли такой мелкоглазый? Но почему «подарки» в тягость? Ты у меня отнимешь, отняла... те чувства, с которыми посылал... Хорошо, я постараюсь отвыкнуть от «знаков». А ты меня даже берешь и мелкочувствующим... совсем — о т м е л ь! — «что я тебя не поблагодарила»? Это что же... такое «спускание»? Я его совсем не заслуживаю! Это — вот, он, «зигзаг». Ну, кончим «счеты». — Я рад, что пишешь «Лик». Не бойся и не ежься. Напиши-ка еще про яичко, как высиживала... — кратко, сильно, как рассказала. Но не «скупись». На 4—5 страниц. Ах, Олюнка... как хотел бы тебе читать, много-много... только тогда Ты меня узнала бы больше... и почему так сказано, а не так. Сейчас я очень в проблеме всего н а ш е г о... — но негде высказаться. Выговариваюсь порой... сгораю. Но скверно, что плохо сплю. Сегодня опять почти без сна. Бросил «седормид», валерьяновый настой слабо помогает, а были боли... от газов, вздутия... ел вареную кукурузу (новую, в початке) с маслом, а вот, нельзя, оказывается. С 4 утра и посейчас прошло 12 часов, никаких болей, но сижу вареный, куксой, едва пишу... вес прибывает, аппетит есть... но чего-то

* скажешь — «чтобы я послала сон». Я никогда до тебя, ни у кого ничего не брал... Я сам выгрызал из себя — жизни. Ты для меня иное дело — ты — это я.

не хватает, а Серов ничего не дает, не вдумывается, только — бром, бром... Думает, м. б. панкреатического[i] сока нехватка? Все гадает. Бром не действует у меня на умственные силы (на память), «крышкой», напротив, он нужен мне. Не сплю — значит, его не вырабатывается. (он же вырабатывается во время сна, гипофизом)... Это может ослаблять. Попробую сегодня раньше лечь. Все сие — итог переживаний острых, за эти месяцы. И не прибавляй к ним новых. — Алеша Квартиров вернулся — много радужней... и есть основания. Он вдумчив. Марине лучше — стремится nach Osten[ii]. Говорит: чудесное впечатление от родных душ, кого видел в Берлине. Ни забитости, ни дикарства, чувство личного достоинства, понимание, нежность братства. Поражающие способности! Руками разводят, как быстро осваиваются и даже усовершенствуют преподанное дело. Девушки поражают нравственной силой, стойкостью, — вне сравнения с французскими, голландскими, бельгийскими, норвежскими... — по словам все эти страны прошедших. Самолюбивы в смысле личного достоинства. Есть — огромного диапазона в смысле знания культуры (художница из Киева). Очень физически крепки, цветущи даже. Большевиков ненавидят. Видишь, прав был Ваня, нащупывая родную душу. Все это от многогранности, от основы — от ку-пе-ли. Но и другие есть выводы: пройди еще лет десять, в большевизме, и грозила опасность — озверения, оплощения, «стертой монеты». Помни: все творится в Высоком Плане. И никто ни-чего не ведает, как Промысел укажет — соделает. Советую тебе, если не знаешь, достать «Россия и Европа» — Данилевского, там есть много очень четкого. «Майн Кампф» знаю, главным образом, главы о близком нам. Книга во многом замечательная. Но все даровитое растет, расширяется, — это Пушкин выразил чудесно. И — в жизни — истории — очень многое зависит не только от творящих, но и от творимых: будь достоин заложенного в тебе, помоги же узнать тебя, покажи свои дары и свою ценность. Для меня — все идет к лучшему. Я порой теряюсь, но это миги «спадания», усталости, — и если России суждено — а ей ведь суждено то или иное! — она будет идти назначенным ей путем, или к нулю, или — к Прославлению, пусть через страдания! Мало их было? больше надо? По выносливости и дается. И это не — фатализм: это — вера в выполнение Плана, — повторяю, при участии, волевом «объекта Истории», но объекта одушевленного, образ свой не теряющего. Буди!

---

[i] Желудочный (*от фр. pancreas*).
[ii] На Восток (*нем.*).

Написал Грондейсу[i] в Гаагу о возможности — ли? — перевода «Солнца мертвых» и печатании в газете или журнале. Не знаю, есть ли образцовый переводчик. «Солнцу мертвых» надо образцовый. Дело не в гонораре мне, дело — дать голландцамм нужное о большевизме. Да м. б. голландские газеты и журналы не очень-то рады разить то, что я уже искусством поразил, раздавил. Если приеду, узнаю; лично можно скорей добиться толку. Есть там m-lles де Хааз[473], переводили «Мери», печатали ее в старинной газете[474], но переводили «на-цыпочках», должно быть, по-институтски. Нужен переводчик-художник... где он? Грондейс — автор книги «Византийское искусство» и журналист, профессор, вряд ли годится, он не знает русского языка — в искусстве; нужен свой в языке, в языках! Где он? Не Козлюха или Изаксон*. Ну, Грондейс может меня свести с издателями. Ну, неважно, если не сбудется. Голландцы и по-немецки могут читать. Жду от Земмеринг, о новом издании «Солнца». Из Швеции. Если тебе удобней, я на Сережу буду писать. Скажи. Я не хочу ставить тебя в затруднение. Благодарю, милка, за ласковое, письмо, я отвык от них. Ах, как надо выспаться! Зачем ты писала Серову?! Бумагу я достал, но дамский размер. Эта кончается у меня. Не требуй, чтобы я писал часто, — это берет у меня силы, нужные для работы — ты знаешь меня: я не могу быть хладным, и если я работаю — я горю, а если я горю — сгораю. Разве тебе нужна отписка? Я тебя взял, и ты во мне творишься. Или этого мало тебе? Тобой многое творится во мне. Верь же, как это сильно. Ты всегда со мной, ты — я. Любовь не только — исход в речи, но и — держание. Скрепление, отстой. И только тогда «свидание» — свет слепящий.

Целую, люблю, моя детка, моя бесценная, Олюнка моя! Хочу к тебе! Твой Ванёк, Ваня

[На полях:] Заклинаю: гони мнительность! Тьму! Ты для — света. И тогда я буду — светлый.

Дай мне точный адрес Сережи.

Прошу: ясно напиши о здоровье, бывают ли кровотечения из почки? Боли? Ради Бога, не уходи в хозяйство! Храни себя!!!

Господь с тобой, моя тихая... нежная. Ею останься, Олей, как я сразу тебя почувствовал и полюбил.

Олюночка, не рань чувства укорами и «болями».

---

[i] В оригинале: Хрондайсу. Далее исправление не оговаривается.

* Так и не ответила, читала ли по-голландски мои книги? Скверный перевод? Как ты отворачиваешься от меня — не можешь меня читать! Потому, что ты тогда ложного, выдуманного тобой держишь, и я не вхожу.

194

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VIII.42 10 утра

Олюнка, послал Грондейсу, профессору, письмо, с запросом о возможностях печатания перевода «Солнца мертвых» в каком-нибудь значительном периодическом органе печати, — журнале или газете, — т. к., полагаю, издание книгой трудней в теперешних условиях бумажного рынка. Сегодня послал m-lles — они обе старые девицы! — де Хааз, — переводили «Мери». Но эти переводчицы очень «старые институтки» и потому цирлих-манирлих и проч., — какой же у них м. б. свободный мах!? А для перевода «Солнца» нужна крепкая сила языка и душевная прозрачность, тонкость... Козлова исключается, за свободное обращение с языком, которого она совсем, кажется, не знает. И тут меня охватило тревожное чувство, и, конечно, с ним связана дума о тебе, мое золотце! Моя Ольгунка, л... гунка... — всегда «лжет» самой себе, своему сердцу, когда сомневается в Ванюрке!.. — моя Олюна, Олюша, Ольгушонок мой... может все истолковать зиг-заг-ом... и обернет против меня: «а обо мне и не подумал! я для него — слишком "мужичка", ничто...» — и проч. Нет, моя девочка, моя капризка, моя любовь... нет и нет! Ты для меня — в с е. Понимаешь ты, что такое — в с е? Ты ничего не понимаешь, ты — Олёнок-глупёнок. Целую тебя в глупые глазки... Знаешь, как я с тобой говорю в эти утра? «Ну, что, моя девочка... довольна ты? получила три письма? что, пучеглазка моя, таращилка..? довольна душенька?..» — и т. д. Внезапный посетитель, застав такой разговор с ни-кем — для него, скажет — «он спятил?» Нет, не спятил, а... — никто не поймет, кто ты для меня. И вот, я решаюсь тебя шевелить... Меня удерживало — что? 1: Не хотел я, чтобы ты волновалась, кипела, шмыгала... 2: — хотелось — и хочется, как всегда хочется... тебя! — чтобы ты работала над своим, ибо ты, дурёха, не сознаешь, к т о ты! — чтобы писала, творила, жила тем же, чем твой — истерзанный — тобой! — я шучу... — Ванёк. И потому не заикался. Но ты же меня можешь заклевать, и потому вот что: «желаете, милая Ольга Александровна, — тут уж — официально, почтительно и по-секретарски... — т. е. тут ты как секлетарша моя... — обиделась, а? — желаете участвовать в переводе "Солнца мертвых" на канальский язык?» — от слова «каналы» — «кано-канар-канайи»[475], по ненавистному мне похабному Вольтеру! — Я не знаю, как ты в голландском, но во всем свете не нашлось бы лучшего истолкователя для «Солнца мертвых». Ты чувствуешь все тонкости русского языка, и м о е -

го, в частности, — ты музыкальна предельно, — внутренно-музыкальна, ты вся — песня, ты вся — поешь, такая уж у тебя гармоника-душа, виолончель, рояль концертный. Ты, девчонка с цветами, ветер в ветре, буря в урагане... — о, знаю тебя, девочка от Храма! — свет мой тихий, и порой — те-мный! и порой — жгучий и опаляющий... страстная из всех страстных... прекрасная из прекрасных, русская из русских... ты для меня — избраннейшая для всего моего творческого акта, сказал бы швейцарский отшельник[476]. Ты отлично знаешь немецкий язык, и перевод — «Ди Зоннэ дер Тодтэн» — его хвалили крупнейшие немецкие писатели[477], — мог бы тебе быть подспорьем. Ты, конечно, в нем найдешь недостатки, — ты, ведь, тонкая искунья, ты вон во мне то находишь, подчас, чего мне и во сне не снилось... — когда надо меня шпынять и плескать. Напиши мне, — под силу ли тебе голландский язык. Во всяком случае, если ты откажешься, ты могла бы быть самым авторитетным истолкователем труднейших и невнятных для чужого уха и сердца мест моей страшной эпопеи. Кроме сего, — забыл об этом сказать моим корреспондентам, — я для голландского издания, как и для всех последующих, — как и для нового, немецкого, (если будет разрешено включенье!) включаю две новых главы: «Туман» и «Панорама»[478], — последняя особенно важна, — «страшней такого приговора русской интеллигенции, ее известной части... еще никто не выносил в русской литературе»[479], — писал когда-то Амфитеатров, назвавший — первый, а за ним и другие — эту эпопею... — шепну, только тебе! — «ге-ни-а...» — оставлю бесхвостым: это неопределимое понятие. Впрочем, чего же греха таиться... «Нью-Йорк Таймс» — я тебе выпишу его статью — назвал же «Солнце мертвых» — космическим извержением, в сравнении «с фейерверком гениального Карлейля»[480], его «Революции». Сейчас от тебя письмо, от 20[481], — еще не получила моего радостного и за ним еще 2?! Ну, я покоен, теперь-то получила! Я спешу, только поцеловал письмо, — тебя! — крикнул — пучеглазочка моя! — к твоему портрету, таращилка! — прочел первые строчки, и оставил лакомиться на-после, как дети с шоколадкой или огромной грушей. — Вижу, там твой «рассказ» — о, ми-лка, о, ангелёнок, о, детёнок, о, котенок, ласточка, бабочка — !!! — во всех смыслах! — глубинная, малинная, душистая, душащая, дышащая — о, как бурно и как не-жно... вся — любовь... вся — ласка, моя кроткая Оля! — Как я т. л. ..! Ты будешь писать, ты страстная, и тебя закрутит чудесный бурный вихрь искусства... но и мучитель же! — и — щедрец же! и — пьянящий же чародей! — Мы с тобой будем купаться-играть во всех его тонкостях-тайнах, до... сладострастия! Понимаешь, как дети купаются и как

люб-ки! Да, да... можно пьянеть им, творчеством... — и все отдать, и так в нем отдаваться друг другу... — если оба страстные в одном, — и в таком огромно-бездонном! — как никаким люб-кам и не снилось! Ну, я увидал там строчки... и целую тебя. На-после... А сейчас спешу, надо на почту, много корреспонденции, и много еще забот дня. В 5 ч. еду к друзьям Сережечки...[482] в Версаль, очень ждут, приезжали и взяли слово. Караимочка сердится, что я забыл ее, что я... хочу в Голландию. А, плевать... — я одну чародейку вижу, ею грежу... — чистую мою, небесную золотиночку. Ольга, дай мне твой пальчик, чуть укусить..? дай мне губку, верхнюю, чуть приложусь глазом... щекотну ресницей... дай же мне, — наконец, — твою ножку... чуть погладить... дай мне твое сердце, я его обожгу своим! Ольгуна, Олюна, лю-ночка моя... я посвящу «Солнце мертвых» моему Сережечке... — и как бы я был счастлив, если бы это было — над твоими строками! Я не смею думать, что ты можешь согласиться... взяться за перевод... но это было бы для меня... чудесным обрученьем! Но... главное-то — ты тут встретишь много препон. Ведь надо найти орган печати, и вполне авторитетный, чистый, — безусловно! Прежде издатели — больше — евреи и под-евреи... — ненавидя «Солнце мертвых» — чуяли!!! — отделывались от ван Вейка покойного — а он уже был ректором Лейденского Университета, — «это зе такая тяжелая вещь, а читатели хотят отдыха и отвлечения от сует времени и своих печалей... и это для издательства — невыгодно — книга не оправдает себя...» Вот что говорили! А в Германии прошло — при тя-жести книги! — не менее 20 тыс. экз., и она давно бы перевалила и за 30—40 тыс., если бы не задержка в изданиях... по условиям времени, бумаги и проч. Ныне получено разрешение — на... 1 тыс. экз.!!! Конечно, это не ремарковское — бездарное «На западе все спокойно»[483], — там жидовское издательство раздуло с благословения либерально-демократического правительства — губившего Германию — в буйную рекламу, — что выделывали!!! — и миллионный тираж бездарности и разлагающего пасифистско-жидовского яда — лессэ-пассэ[1], все прекрасно! — да, далеко не ремарковское, — он же и сел! — в «Солнце мертвых» в каждой строке тревога, укор, подземный толчок, страдание... и они все это понимали и ставили преграды, как «Протоколам сионских мудрецов»[484], как книге Форда...[485] Всех они победили, а «Солнце Мертвых» все еще светит с жестяного неба... — таким они его сделали! — на-время!! — и будет светить, и в этом свете они слышат себе отходную, звон шиллеровского погребального колокола...[486] Ольга,

[1] Свобода частного предпринимательства (*от фр. laisser-passer*).

ты возьмешься — или — испугаешься? В подыскании издательского органа может помочь тебе Грондейс и Хааз... — не знаю — кто еще, я же никого в Голландии не знаю. Моих там три книги вышло[487]. Ван Вейк помог бы. Но если и отклонишь, я буду покоен, — моя маленькая Ольгуночна... огромная моя Ольгуна будет увлечена своим, будет в работе, поймет, наконец, что есть у ней огромная цель жизни, всю захватывающая, топящая, — искусство и... дружба-любовь Ваника, чудака в жизни, — всю жизнь обратил — «в трепет без конца». Ты мне напиши. Как я хочу писать..! Сегодня спал лучше, но — мало — часов пять. Мало свободы мне, — многое дергает, отвлекает. Арина Родионовна теперь три раза в неделю ходит. У меня чисто! светло!! Я каждый день полощусь, всегда пол мокрый, — а я не терплю, сам берусь «сушить», — я не могу без обтираний, без плесканья. Из-за страха не увидеть тебя, я уже не лезу в холодную ванну, — ду-ша у меня нет, — а лишь поливаю себя губкой, трусь, одеколонюсь... — делаю гимнастику легкую... — и когда вчера запрыгал перед доктором на-цыпочках... — тот сказал — «а я так не мог бы, отяжелел, устал...» А я как перышко в ветре, и — не задохнусь, после двухсот прыганий даже. — Ну, Ольгуночка, ответь мне. Спасибочко за письмо. Ты теперь уже узнала — из письма от 17-го[488] что я, слава Богу, здоров, с 9-го не было ни тошноты, ни-чего. А сегодня и ночью не было ни пучения, ни болей, — Олюля, ты м. л. ..? да? Ну, покажи глазки... пра-вда? У, какая глу-пая, пучеглазая!

[На полях:] А как я верно тебя учуял, — я тебе писал о заливных орехах, — тон весенней улицы — мерзлой, — а прочитал золотой орех! Ты чутко определила! нашла!!

Как жду разрешения! — тебя! Целую и благословляю мою детульку. Твой Ванёк-Ваня. Оль, не «трусь» и пиши что хочешь. Ты — дар Божий.

(Духи-сирень)[i].

195

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.VIII.42[ii]

Ольгулинька, не утерпел — прочитал про Сашу...[489] — чудесный, готовый этюд, лучше нельзя. Чудесно владеешь

---

[i] Письмо надушено.

[ii] Открытка была возвращена отправителю из-за недостаточной оплаты. Позже была послана И. С. Шмелевым в одном конверте с его письмом от 28 августа 1942 г. (Т. 2. № 16).

народным — не нарочитым — языком. Все просто и строго. Выписка характера — в фактах — удивительно сжата и — полна. Повторяю — чудесно! Вижу и лик, дала, а ты говоришь — опять не дала лица. А я все вижу. Это готовая ткань с набросанным рисунком — если бы стала «вышивать», — интересная повесть! Но этого не надо. Ты все дала. Как Тургенев например — «Живые мощи»[490]. Ты по инстинкту — большой мастер. Целую. Я — с захватом все вы — читал. Веришь? Ну, еще целую, дружку. Сейчас к доктору — laristine! — оттуда к 5 ч. к поезду в Versailles к друзьям Сережечки. Подышу. Сегодня это 2-ое к тебе, утром — закрытое, простое. Я — в восторге от тебя, молодец! Пи-ши..! Ах ты, тайна! — а я тебя разгадываю — л. Твой Ванёк. Я — в свете, от тебя.

На днях прочту доктору.

196

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.VIII.42

Милый Ванёк мой, светлый лучик, мой неоцененный дружочек! Пишу очень наскоро, т. к. тороплюсь очень в Utrecht, но все же не откладываю, а то ты долго ничего не получишь. Я получила твои письма, очень рвусь на все ответить и, как назло, все нет времени. Я разрываюсь все эти дни и очень устала. Я знаю, что мне надо беречься, но что же поделаю, коли все люди и люди. Кроме того, масса возни по хозяйству (его никуда не ссунешь с рук! — Ужасно!). Я целые дни кручусь около печурки в «летнем домике» и стерилизую на зиму все, что могу из огорода и сада. Вчера взяли у меня мою любимую Блонду, а ее «мальчик» целый день плачет, надрывает сердце — он же еще сосунок, не умеет даже пить из ведра. Я рыдала, как о человеке, когда А. мне это сообщил. Не знаем как обработаем поле, т. к. предписано вспахать еще и еще земли под хлеба, а лошадей осталось так мало. У нас почва очень тяжелая, надо пахать тройкой только. Я не спала почти что от горя, что не увижу больше моей милой, кроткой Блондушки, так доверчиво тянувшей губы за сахарком. И сейчас плачу. Арнольд бегал вчера с 9 ч. до 1 дня всюду, чтобы «спасти» ее. И удалось только добиться того, что м. б. мы узнаем, куда ее взяли на работы или на фронт. До того привыкаешь к животным, до того их любишь, как людей! Вчера были у меня гости: матушка с Олей и неожиданно одна армяночка с подругой[491], а я их всех оставила в саду и больше не могла «занимать», а ревела белугой о Блонде. Мне даже стыдно. Матушка осталась еще гостить.

Ванёк, ты очень трогателен...: писала тебе, что ты меня за орфографические ошибки разлюбил м. б., а ты приписочку делаешь: «не было времени править ошибки, исправь сама...» Это мило, но я же понимаю, что ты хочешь меня утешить. Я знаю, что я пишу очень с ошибками. Например, однажды я писала тебе «надежде» через ѣ, когда отправила, то вспомнила, ужаснулась. Но часто я забываю. Ну, довольно. Ты очень меня тронул твоей чуткостью. Я все время думаю о твоей поездке. Неужели возможно?! Твой цветок чудесен. Я отсадила от него еще «детку» — принялась! Он раскрывается всякий день все новым сюрпризом. «Шишка» вся в цветках: голубых и красных, а сама розовая, очень красиво. Листья «серебряные» у него. Все любуются, кто видит. Духи твои, Ванек, я берегу, как Святыню. Я открыла только «После ливня». Я обожаю их! А другие, конечно, тоже чудесны. Я люблю Гэрлен все! Очень хочется рисовать. Такие краски! Какие восходы — закаты! — Чудо! Жара у нас. Ночью дышать нечем. Но что за ночи! Ваня, как чУдно мир! Я чувствую твою душу во всем. И такую юную, такую живую! Не пиши мне о «внешнем» — это же так мне не важно! Для тебя годы — только богатство мудростью, чувствами, опытом, но никак не растрата чего-то. Мне «мальчики» не интересны. Разве ты все еще моей души не знаешь?!

Я счастлива, что я тебя, твою сущность нашла же в мире! Целую. Кончаю, т. к. тороплюсь. Будь здоров, мой ангел! Оля

[На полях:] Ванечка, это письмишко — только отрывочек, только весточка тебе о том, что я постоянно думаю о тебе, люблю тебя и помню!

Спешу очень! Жара!

197

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

31.VIII.42

Милый мой Ванечка, сегодня твое письмо от 26-го, я так его ждала, так хотела, чтобы ты поскорее мое «тихое» получил.

Я хочу тебе сказать — ответить на твои некоторые вопросы. Послушай:

1) (по порядку твоего письма) — «ненужно и неуместно о Швейцарии» — я же писала тебе, что и как я думала. Да, именно подобное и у меня, как и у тебя, неуместно и ненужно. Но совсем в другом смысле, чем это ты растолковал. И. А. — вне всех таких мыслей, его я с тобой никак не сравниваю. Ты для меня на совершенно особом, твоем месте.

2) Относительно труда и «мужички», и миллионов, — не могла иначе, т. к. ты буквально сказал: «напрасно ты становишься мужичкой, надо всегда оставаться изящной и чистой...» Это буквально.

3) Твои дары «тяготят»? — нет, не т а к, как это ты видишь — меня тяготит роскошь в это время... Понял? А все твое... может разве тяготить? Жизнь-то уж очень тяжела, Ваня, трудно забыться, трудно беззаботно пить радость, брать роскошь. Это не оттого, что т в о е, а оттого, что р о с к о ш ь. Верь мне!

4) Я не давала и, тем более, не показывала твои книги мне. Было же это так: я уступала на субботу—воскресенье нашему гостю свою «рабочую» комнату. Ему негде иначе было удобно поместиться. Она — тихая. Келья. Там у меня полки для книг. Твои бросаются в глаза аккуратненьким переплетом. Ласковые. Когда я его ввела в комнатку, то он вскрикнул: «батюшки, сколько книг то! — Можно почитать?» Не скажу же я: «Нет!»

5) Автографов тех, интимных в книгах нет! Я не включила их туда. Почему? Вот потому же, что и ты пишешь. Очень они уж близки сердцу.

Он нашел «Неупиваемую чашу». А то у меня даже и «Степное чудо» и «На морском берегу»[492], не говоря о 2-ой книге «Путей Небесных», изъяты и лежат отдельно.

Все автографы храню в шкатулке, где и письма и многое твое другое.

6) О его замечании относительно сна... никак не предположение, что это тебе как-то понадобилось бы, но исключительно лишь из желания художнику показать «интересный о б ъ е к т». Если так можно выразиться. Что-то вроде этого и сказал: «ему интересно было бы увидеть такую душу, Вы так странно, “из эфира” ловите незримую природу, — это шмелевской душе так присуще». Что-то в этом роде.

7) Никаких «прав» у него на меня нет. Ни в какой степени.

8) ...Не выдумывай, Ванька, будто хотела тебя укорить, что моего «спасибо» за духи ждешь! — Я просто удивилась, что неужели я не написала, не поблагодарила, т. к. вся была этим полна. Ну, неудачно написала. Какой ты — задира!

«Н у, к о н ч и м с ч е т ы!»

Ванёчек, я не хочу тебя ни к чему «принуждать». Не пиши часто, если тебе трудно. И мне больно было бы получать твое «по принуждению». Я же сколько про это писала. Но, конечно, я жду твоих писем, т. к. только ими и живу. И особенно, когда болен ты, я волнуюсь еще.

Помню: «как я живу? — От письма до письма (конечно Вашего)». Помнишь? Это было когда-то...

А теперь как? — Не знаю. Скажи...

Писать ли мне чаще, или оставить тебя твоему труду? Буду писать все к тебе в... дневник.

Ванечка, обратись же к другому доктору. С. М. С[еров] — ленив.

Ты спрашиваешь о моем здоровье. Конечно, не кровоточит почка, если бы это было, то я бы опять лежала пластом. Я же тогда рук не смею поднять к голове, умыться не могу сама. Боли? Какие-то бывают слева сзади, но где они? Я не знаю, почка ли это. Бывают не часто. Вчера были, а сегодня нету. Скучная история: сплю все еще не «калачиком», а на спине в 6 (!!) подушках, сооружаю «домик» и почти полу-сижу. И так всю ночь и... не шевелясь, по возможности. Вот так устраиваю[i]. Надоело! А иначе не могу. «Тянет» почку. И всегда бывало кровотечение ночью, а когда садилась — проходило.

Я чувствую себя хорошо. И... до ужаса... растолстела... Мне стыдно даже. Я много ем и все время хочу есть, все, всякое, даже то, что обычно и не любила. Просто сухой хлеб ем с удовольствием и массу фруктов. Молоко пью! Сплю и после обеда! Никогда это не удавалось. Но я за последнее время устала нервами. Вообще... устала. В субботу взвешивалась: стыдно сказать — еще прибавила! Небывалое было: 65 1/2 kilo! Такого веса у меня никогда не бывало. В Берлине было 55, когда выходила замуж — 56—57. И так и держалось. Я теперь толстушка. Не ущипнешь. Действительно: руки как надутая резина, не ухватишь. Но не толстые руки. Вверху даже не похожи на женские руки... всегда были полу-детские. А кисти рук даже очень худы. И сейчас.

Ну, довольно. Но ты успокоишься относительно моего здоровья. Шахбагову не могу собраться написать. И вообще никому не хочется писать. Мне хочется безумно... рисовать. Болезненно хочу. Мучаюсь призраками... Вчера такие зарницы были!.. А разве изобразишь? А как изобразить стену белого дома, обычную и тут же, ее же в солнце? Этот слепящий белый цвет? Знаю, что можно за счет сероватости тени... Но это же не то, не то!..

А эти ночи теперь... Преображающие убогость обстановки в царственную пышность... Как в «синей птице»![493] А утлый наш мостишка через канал... какой волшебно-легкий он в лунном свете! Но передашь ли шепот тополей чернеющих под звездным небом? А золотистый пушок на румяном загаре? Какой чудесный пушок... и тень глаз, глубокая... до черноты, на освещенном, даже на залитом солнцем лице!? А это есть! Я это вижу. Меня это болезненно манит... «Воплоти!» В субботу закупила красок и бумаги, кистей и всего, что надо для живописи. Хочу! Неужели не буду?! Массу накупила, на сказоч-

---

[i] В письме рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

ные суммы. Сама потом удивлялась*. А матушка: «Куда это Вам?» А мне стыдно вдруг стало. Будто «балуюсь». Но что-то мне подсказывало: «запасись!» Купила много почтовой бумаги. Как бы послать тебе? У нас тоже скуднеет, но все же есть.

Ах, как досадно с переводчиками! Я писала тебе, что не могу достать твоих вещей ни в Берлине, ни здесь. Буду просить у Фаси. О Козловой знаю, что плохо перевела. А о Грондейсе знаю, что он.. очень нескромный профан. И в частности о его книге «О Византии» знаю. Профанация. А за все берется. Его лично не знаю, но слыхала о нем. Жена его русская[494], сбежала от него. Но, говорят, что они «2 сапога — пара». Дочурка же их чудесна: ангелок с картин Боттичелли. Не поручай ему перевода. Обязательно возьмется, т. к. за все берется. И испортит. M-lles de Haas видала в Преображенье впервые. Представлена не была. У меня остались в памяти их одинаковые туалеты: от пуков цветов на шляпах до пуговок на ботинках и вся их какая-то... допотопность, впрочем не без симпатичности. Понимаю, что «на цыпочках» переводили. Очень ты метко это сказал. Матушка с ними приятельствует, и они делают какие-то церковные переводы. Как жаль, что я не настолько хорошо голландским владею, что рискнуть передать твое. По-немецки м. б. могла бы. Я знаю, что, знай я хорошо язык, я бы тебе перевела чудесно. Это не самохвальство, а знание просто. Ты не думай, я все это замечаю, всякие вот «мелочи» — они совсем не мелочи. Конечно чувствовала так, когда писала «б-оольшой орех». Помню даже. Можно бы очень просто решить проблему и сказать: «будто она была покрыта корочкой с заливного ореха». Тогда бы предстала она, эта весенняя дорога, укатанная полозьями, блестящая на солнце, подмороженная, с тонкой корочкой, через которую просвечивает эта «ореховость» навозца. Ну, а скажи Ванюша, как я рассказала об самой исповеди и засыпаньи-просыпаньи дома. О мечте следующего утра, о радости от нового платья и т. д., не очень сюсюкающе? Скажи, хоть коротко. — Как зашумело вдруг сейчас... выглянула в черноту ночи, потерялась в ней совсем,.. ветер, штурм. И вдруг... полыхнула зарница, одна, другая... Теплый несется ветер, душный, и жарко как-то вздрагивают облака от зарниц... Не хочется идти спать. Кажется, что что-то пережить можно, что-то великое... в такую ночь зарниц. Как таинственна эта безмолвность... и как величественно-торжественно! Сколько совершается таинств в природе... и как мало кто это видит. Люди спят... храпят м. б. не-

* поехала купить себе, пока еще можно (видела очень красивый), пеньюар летний и... забыла, ушла в краски. Так и приехала обратно, а дома вспомнила!

пристойно... А звезды мерцают где-то за облаками, живут мириадами тайн! Но все же: спать надо. И ты, дружок мой, спи, спи! Отчего плохо спишь, Ванюша? Валерьяновый настой будет действовать не сразу. По мере накопления. Я лично, не переношу брома. Для меня он — «крышка». — Приближается гроза. Гремит. Погашу свет, и открою окна. Какой шум за окном. Опять зажгла свет, — хочу побыть с тобой, мой милый... Занавеску вздувает, треплет тяжелой тканью, как вуалью. Трепетно в грозу! До «Лика» не дотрагивалась. Ах, зачем тогда я оторвалась, зачем у суток есть ночь? Если бы я тогда не оторвалась, — я много бы написала. Теперь... «замудрилось» все как-то. Рассказ этот, повесть ли (?) назову «Заветный образ». Ой, как гремит! Чуточку страшно! А тебе? Т. е.: ты боишься гроз? По моему представлению тебя — нет! Ты любишь грозы! Ну обними—защити Олюнку, она чуть-чуть боится.

Хочу с тобой побыть в грозе... ночью. И ливень... Чудно! Но пусть лучше будет завтра солнце. Я т а а а к хочу это написать при солнце! Ах, эти дымные дали... этот зной, этот свет, эти блики на воде! Но дали, дали! И облака! Не знаю, откуда эти краски, м. б. от близости к морю, но так порой бывает дивно! — Однако, пора мне спать... так поздно, страшно на часы взглянуть. Глухая ночь. Завтра рано встать надо. А я люблю поспать утром. Утром я спокойно сплю. А ты? С вечера я все еще от дня переживаю. Сегодня твое письмо. Ой, ливень-то какой!!!! Покойной ночи! Под ливень так люблю заснуть!

[На полях:] 1 сент. — серое утро, — увы — дождичек. А в прошлом году было солнце!

Не думай о болезни, Ванюша. У тебя все нервы. Ты не принимал Baldronit? Спрошу, когда наш друг из Берлина вернется, название лекарства: оно <u>через</u> нервную систему действует на желудок. Для тех пациентов, у коих «язва» просыпается от нервов. Сегодня он очевидно приехал уже. В то воскресенье жду его опять. Узнаю и сообщу тотчас же. Не воображай никаких его «прав». Я в душе зову его «старой девой» за его старо-холостяцкие привычки. Да и вообще — невозможен у меня н и к т о! Ты же знаешь! Или все еще нет? Ну, знай!

Отправлю письмо только 2-го IX.

Целую тебя и молюсь, чтобы был здоровым! Выбрани меня за мерзкий почерк. Я его разболтала. Вань, мне теперь совсем хорошо, даже кофе пью и... ничего, а бывало до обмороков доходило, с сердцем скверно бывало. Все в норму приходит. Только вот стала круглышкой. Спи спокойно. Оля

Сережин адрес: Arnhem, De Welsh, 10. Но ты можешь писать на меня прямо. Твои письма таак стали редки, что никаких мыслей, кажется не вызывают ни у кого.

198

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.IX.42

Милый Ванёчек, как досадно мне, что все это время я разрываюсь на части и не могу поговорить с тобой так, как хочет того душа. Я еще не получила твоего простого письма, но зато заказную открытку (28-го)[495], письмо заказное с вложенной недофранкированной открыткой... Я, конечно, вся зажглась от них. Как счастлива я, что ты все же меня «признаешь» еще! И я очень хочу писать. Мне самой очень хочется писать длинное об Александрушке, м. б. повесть. Я все это чувствую, а деревня ее и все оттуда — мне так знакомо, такое свое! Но меня задергали, нет досуга, — мне хочется даже лени! Такого п о л н о г о досуга. Сегодня опять гость наш у нас (а матушку сейчас посадила в поезд). Вот вернулся опять из деловой поездки в Берлин и был там у многих наших знакомых... Вчера меня тоже отчаянно трепали — уезжала я в Haarlem. Ну, довольно. Ваня, что самое главное: твое здоровье. Меня возмущает леность С[ергея] М[ихеевича] — что такое «м. б. нехватка панкреатического сока?». Это же достаточно серьезно, для того, чтобы т о ч н о узнать. И очень просто. Пусть назначит тебе сделать исследование крови на сахар и диастазу, и урины на диастазу, все натощак. Кроме того, хорошо бы было определить количество родана в слюне, но тогда не кури и будь натощак 12 часов. Почему у него это предположение? Разве у тебя какие есть показатели на панкреас?[i] Боли? Есть ли у тебя отвращение от жирного, сахара? Или можешь переносить? Жирное то из-за язвы, конечно, не можешь, но сладкое? При «заминке» деятельности панкреаса всегда можно многое узнать путем лаборатории!! Исследование всех отправлений тогда необходимо! Он должен, если предполагает что, обязательно все это проделать. А не гадать. Мне его «гадания» очень не нравятся. Нельзя только на свою интуицию полагаться. Напиши мне подробно о здоровье! Наш гость был у Шахбагова, — говорит, что тот очень обо мне волнуется. Но я чудно себя чувствую! Погода — прелесть. Подсолнухи прямо солнцами смотрят. Один сегодня даже поцеловала в смолистую серединку. Пишу с почты. Ванёк, как с поездкой? Ничего не знаешь? Знаешь, я уже до твоего письма, сама хотела не «Мой первый пост», а «Первый грех» сказать. Я его исправлю, когда будет наитие, а не нарочито. У меня есть еще одна народная тема. Очерк. Припадочная Наталья. Рассказы ее о Иерусалиме, — они погорельцы, по обещанию ходили. И «охаль-

---

[i] Поджелудочная железа *(от фр. pancreas)*.

ник» — невер Иван Степанович и его «семейка». И[ван] С[тепанович] мне казался «лесовиком». Целую. Оля

[На полях:] Много и ласково думаю о тебе!

Скажи, могу писать чаще? Или отвлекаю?

199

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.IX.42 3 ч. дня

Миленькая моя Олюночка, я давно не писал тебе, воли не было, очень я устал, очень гнетет томящее чувство покинутости, почти — как 3 года тому, когда взмолился к Оле. Письма твои — случайны, беглы, отрывочны, — ты не со мной, как бы томительно тебе мое недомогание, как бы и не нужен больной Ванёк. Я не хочу быть душевным бременем для тебя, у тебя слишком и без того много нерадостного. Правда, Оля... не хочу. Не пересиливай себя, не старайся меня развлекать, отвлекать. Но мне все же горестно... — какие «случайные» твои письма! Тебя нет в них. И что я замечаю: как только я пишу тебе чаще, полней, нежней (когда ошибся, думая, что здоров!)... — в тебе обратное: письма реже, наспех, сугубо безразличны, деловиты, хладны. А я еще так хотел особенно написать тебе, о русской женщине... так вдруг загорелся... — и воли нехватило, опять это переполнение кислотностью, тошноты... — при осторожной диете! Днями я лежу, будто всеми забытый. Бывает это, — боятся потревожить, и я один. Вчера заглянула Юля, поласкала, пожалела... — «святой мой, Ваничка-дя-дичка наш!» А я заплакал. И она плакала надо мной. Был пролетцем Ивик, к отцу поехал[496], в Виши, а невеста пока осталась у родителей, на севере. Была у меня вчера. Когда повенчаются — не знаю[497]. Был вчера Серов, исследовал «напрощуп» — «ни-чего, решительно! все — нервы!!» А у меня полон-то рот вязкой слюны, и — тошно. Я опять очень похудел, вдруг как-то... и сегодня едва-едва прошелся за молоком, — 8 мин. пути! — ноги подкашивались. Но спал лучше. Нет, отвращения к жирному нет, но я не ем, из-за диеты. До сахара почти жаден, аппетит плохой, утром только ем, — а то и не глядел бы. — Напечатанный в «Парижском вестнике» «Чертов балаган», как говорят, производит «впечатление потрясающее». Снова по мою душу, от берлинской газеты. Ее тираж в занятых областях России — больше 200 тыс. М. б. дам что-нибудь... — хотел бы отозваться на «Два письма»[498], в № 71, от 6.IX, но вряд ли смогу все сказать. А если так, кчему же писать неполно?! М. б. дам «Смешное дело»[499]. Нет из Швеции ответа на мои письма в Стокгольм о «Солнце мертвых». Ни — из

Голландии. М. б. еще рано, считая с 26 авг. (в Голландию). Это мое — душевное, дать «Солнце мертвых» людям с крепкой шкурой. Юля — вся забота обо мне. Она урывает от деловых часов минуты, чтобы навестить «Дядь-Ваничку нашего». Вчера она предложила мне — 50 тыс. фр. — «лечиться». Я поблагодарил ее, — есть у меня на это. И еще есть, из замороженного гонорара в Швейцарии. Но терять на этом не могу. Я так хочу воздуха! я упустил чудесные дни лета. Все как-то смогли, сумели отдыхать, — я — нет, я никогда не умел отдыхать, я всегда кипел в работе, и... докипелся. Я так слышу н а ш воздух, воздух широкой поймы у Оки, под Серпуховом... когда, бывало, сидел на опушке бора. Пойма давно покошена, — теперь отава, изумрудная, быки пасутся. Над Окой — чибисы, на отмелях песчаных стаи куликов, в ольшаннике, у прудков, еще держатся коростели, — «дергачики»... — а воздух..! Дятлы над головой постукивают, лесные кардиналы-зимнички, и такими сладкими пряниками с нагретого солнцем бора! Ах, как хочу я воздуха, родного... наших далей! Не дождаться мне... — не знаю. Я так устал, Оля... так замучен всем, всем... и эти «Два письма» — какие они н а ш и... женщина русская, девушка русская — в них! Сколько жажды д е л а, и сколько же полета к — и д е а л у! Я вспомнил, как в 36 году, в Латвии, в Эстонии... — заглядывали в мое сердце... просили указаний, ободренья!!! И я посильно отзывался, весь убитый. Когда-то писал я так полно — русским девушкам, русским юношам... в 28 году, в «Русском колоколе»[500]. Эти письма переписывались многими. Там я, тоже больной тогда, в болях, — был приступ язвы всю весну 28-го, — это меня тогда замучили в «Возрождении» масоны, в ы ж и в а л и за мою национальную линию... и через год добились, — я уходил на 5 лет[501], после жестокой борьбы, после моего «ультиматума»: т а к вести русскую газету н е л ь з я! И вот, болезнь разыгралась — «Богомолье» и «Лето Господне» — исцелили, чтобы в 34 снова заболеть мне. Ныне м. б. — рецидив. Слишком дался мне этот год! Вот пишу тебе, Олюна, и все дрожит во мне. У караимочки заболел желтухой Рустик[502] — ему 19 л., думали, не брюшной ли тиф... — теперь лучше, но мои «завтраки» оборвались, и мне приходится самому... изобретать. Я устаю. Я не хочу жить. Я истомился, всячески.

Зачем ты так растрачиваешься? Гости, консервы... гости... поездки... — а спишь на спине, в «норке», — а днями-то носишься, делаешь усилия, ведь почка и днем напрягается, в и с и т..? Хорошо, что вес набираешь, а я вот и последнее теряю. Не знаю, как я могу, такой, поехать?! Пока нет ответа. Если я не окрепну, не избавлюсь от болей, — я не поеду. Не могу. Видел тебя, два раза. Будто ты в постели, волосы золотистые, и три

ребеночка у тебя, и я спрашиваю: «все твои...? и все — мальчики..?» — «Да, это мои», — говоришь ты, «и все — мальчики». Разные лица. И — не красивые они, а так, миловидные, но какие-то все разные, и не «тонкие» лица. И еще, сегодня... — будто я к тебе приехал, и мне смутительно, как посмотрит мама, Сережа, ты... — я в белом костюме, и — неряшлив этот костюм... меня смущает... проснулся в смутной тоске... Ах, как я был здоров, силен эти дни прошлого года! Я помню завтрак в чудесном ресторане, на Шан-з'элизэ, 25 сент.! Я тогда весь тебе открылся, так светло, так верно! — так чисто-безоглядно, такой счастливый, такой юный душой, такой... в надеждах, в жажде работы, в планах, весь в любви, еще не испытанной до такой силы... и как потом, скоро, поник, завял... ушибся сердцем, вернулся в свое одинокое... и в самые трудные дни... День ангела моего Сержика... канун моего Ангела... когда, получил — 8 окт. твое испуганное письмо! Потом — Рождество, не по моей вине — такое... я был уже надорван, я отменил открытку... и я все месяцы потом томился, за тебя и за себя... я терял силы, и вот, разбитость, бунт нервов, их отказ служить верой и правдой. Я не живу, я — до-живаю. Я тебя не виню, ты же больна была, мы так похожи... Олюна... — нет, я спрашиваю себя: «ну, зачем, зачем все так случилось?!» Я так рвался к тебе, чтобы увидеть только, в глаза заглянуть, руку твою взять, поцеловать милую ручку твою. Какая досада... плачу я... глупый... пора бы все отплакать, ан нет... недоплА-кано, недотЕ-рплено. — Сейчас «завтракал», — в 4 ч.! Съел всего тарелку манной каши на молоке половинном, с маслом и сахаром, а через 10 мин. — такая кислота! — обожгло. Дня три тому, эта кислота стравила мне губы — пленочку. Меня раздражает солнце, столько его в комнате большой, такой слепящий блеск. А сколько его было, когда писал «Солнце мертвых» — в Грассе, и — как я тогда катался от болей, а не было такой кислоты. Принимаю карбонат дэ шо[i], и дважды в день по 15 капель беладонны. Не могу не курить, хоть две папиросы надо, а то — тоска! Олюша, тебе скучно все это, прости. Как одинок я, как заброшен жизнью. Надо, говорят, больше ходить, а я не могу ходить без дела, и — устаю. Сейчас глядел долго на большой портрет — увеличенный, моего Сережечки, на фронте, у орудий. Дочего же красив он был! И еще — с мандолиной, под деревом, на позициях[503]. Смотрел — и заревел. Все ушли, а я живу... на муку свою, на тоску. Ты... но ты так далеко, ты так бессильна что-нибудь изменить... и я так безнадежно люблю тебя, Олюна! Что со мной? я все плачу, изнемогаю. Ты меня

---

[i] Известь *(от фр. carbonate de chaux)*.

не укори, что простым посылаю, трудно мне стоять в очереди на почте. Где вы, мои «Пути Небесные»? Так и не сбудетесь. Стал об отце думать... — о, тяжело, не могу «Лето Господне». Кто-нибудь, придите же ко мне, мне так тяжело, у меня сил нет... прижмите мою голову одинокую... глядите же, что в моих глазах, какая там скорбь... снимите, — и никого нет, один со своей тоской, всегда я был один... и Оля говорила — ты всегда о д и н. Неправда: я не был один, когда подходила она и брала мою усталую голову и без слов облегчала мое — «один». Я пишу это, — не надо бы! — и слышу, как измоталось во мне все — до утраты стыда, видишь, Оля... мне уже не стыдно перед тобой. Но это миг, я этого не допущу больше, такой слабости... и не могу скрыть от тебя, как мне трудно. И как темно. Оглядываюсь — как многое в жизни моей было темно и скорбно! Так обокрала жизнь: все, все, все светлое, жалеющее мое — работе отдал, сам себя обобрал. — Оля, твой «Первый грех» — в е с ь хорош. И говенье, и сновидение, и — чудесно! — как ты ловишь родную жилку на руке отца. Господь с тобой, пиши, работай... ты нашла себя. И я счастлив этим. Тогда наша «невстреча- встреча» уже оправдана. Рад, милка, что ты прибавляешь вес, что охота к пище, хорошо спишь. Видишь — ты здорова, родная девочка. Но не тони в хозяйстве, обереги себя. Купи же пеньюар и снимись, хоть так увижу! Да, я живу от письма до письма, твоего, конечно. Да, да. Но теперь письма твои д р у г и е. Они мало дают т е б я — м н е. Не перемогай себя, пиши только, как велит душа. И извини мне слабость мою, нервы мои... они все дрожат. И слезы мои, — они неудержимы, и горечь мою — слишком уж она жгуча. Целую тебя, родная девочка, тянусь к тебе, бессильный... да будет с тобой Господь!

Твой Ваня

[На полях:] Ложусь опять, бо-ли... — знакомое все, давнее. М. б. и отпустит и на сей раз. Целую!

Бумаги не посылай, есть у меня. И не дари цветов ко Дню ангела! Прошу! Я буду только больше скорбеть.

200

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.IX.42

Мой милый Ванюша, ласковое мое светлое солнышко, радость моя, светик! К твоему Дню рождения шлю тебе эти строки, — пусть передадут они тебе всю любовь мою, всю ласку, всю нежность, которые живут в моем сердце к тебе.

Будь здоров, родной мой, радостен и светел, будь мой милый, хороший Ваник! Мысленно перенесусь в тот день к тебе, постараюсь представить себе, что и как ты?!

Как рада я, что ты побывал за городом, подышал воздухом и простором.

Я так бы хотела тебя утащить куда-нибудь отдохнуть! Сейчас уж осень, но чудесно порой бывает. Вот и сейчас: раннее утро, туман, а солнце рассекает его лучами, золотит клубами. Дали скрыты, но чуются, волшебные. И как мне хочется тогда писать (кистью). Но почему же бездействую? Не знаю. Мало воли творческой? Я буду бороться. Я очарована твоей «критикой» моей «Яйюшки». Да, я говор их слышу, и это не «их» говор, а мой будто, — ведь мы выросли в этом. Я даже оттенки помню, с которыми то или иное говорилось. Хочется много писать. И много о бабушке. Ванечка, о «Солнце мертвых» — хочу говорить так, чтобы ты правильно понял: по-моему, перевести так, как подобает, может только тот, для кого язык, н а который переводит — родной язык, или настолько знакомый ему, что почти что родной. Я владею голландским достаточно для обыденной жизни, даже бойко, даже часто меня принимают за бельгийку, но это же не то для перевода. Надо знать все, все созвучия, иметь их на руке, так сказать... Иначе — ерунда. Никогда бы я не взялась за перевод, не обладая таким знанием языка. А потому и не думала даже о «Солнце мертвых».

Нет — *не* «заклевала» бы тебя, Вань! И «потому» (?) ты мне предложил? Так ты сам пишешь!

Видишь ли, если бы я знала язык, то у меня полная уверенность, что лучше меня *твое* никто бы не перевел. Это не гордость, но я это знаю, ибо твое — *во мне*! Но тогда я бы переводила одна, сама, без «участия в переводе». Понимаешь, я принимаю такое лишь на полную свою ответственность... Да и кроме того: неужели ты думаешь, что какой-нибудь голланец или голландка, будь они даже ангелы, позволят что-нибудь изменить в ихнем? или указать? посоветовать? Они *все* упрямы. Я это очень хорошо знаю. И очень мило согласятся даже, а сделают по-своему. И никакого подспорья в нем. «Die Sonne der Toten» мне не нужно было бы. И еще милушка. Я никогда не верила и не думала, что ты бы мог счесть меня за «мужичку»*, — я и тогда же знала это, меня только удивило, — за что ты захотел меня обидеть? Это — только. Я знаю, что я не «мужичка» и знаю, что ты меня таковой никогда не считал. Но будет. Это пишу только в ответ на твое письмо. Я — ласковая Оля.

---

* бросим это — это не наше. Я знаю, к а к о й ты ко мне, а ты обо мне знаешь! — М и л ы й!

Ванюша, ищи для перевода «Солнца мертвых» достойного переводчика. M-lles de Haas по-моему — *не* годны. Относительно издательства, не думаю, чтобы и они что мне сделали. Теперь же все органы печати очень сокращены. Частных журналов нет! — А газеты? У меня была всегда мысль издать что-нибудь твое, еще не изданное. Это моя мечта. У меня есть для этого деньги. Только я не знаю можно ли это теперь. Есть и знакомый издатель. Но пока, думаю, невозможно. Я издала бы тебя только книгой. Ну, будем верить! Ванёк, как с твоей поездкой? Иногда мне страшно событий. Ну, что Бог даст! Вчера я получила через С. твое письмо. Спасибо! С. пишет очень интересную одну вещь: он был (шутя потом) к «спиритке», а та ему такого наговорила, что ахнешь! Все о папе, о его духе, о его жизни, будто его видела. Много о Боге. Я тебе выпишу и пришлю. Это страшно интересно. Мой милый Ванёк, я не знаю точно 20-го или 21-го ты празднуешь, судя по твоему письму прошлого года — 20-го, а в книжке написано о тебе, что 21-го родился ты, «бурный» мальчишка! Цветы шлю на 20-ое, но не знаю какие пошлют, — отсюда нельзя заказать точно, а что там, у Вас есть! Пришли мне, пожалуйста, стихи «Юлиного» мужа, — мне очень интересно! Я рада, что «рассказ» мой нравится. Ванёчек, роднуша, я молюсь за тебя, ласково обнимаю тебя, прошу Боженьку благословить «н а ч а л о л е т а» твоего. Милый труженик мой, Ванюша, Господь с тобой! Целую и люблю. Оля

[На полях:] Все дни я мыслями у тебя. Как манит меня письмо твое. Ах, как чудно все, все — вместе мы! Всюду. Счастлива, что пишешь и буду терпелива в письмах. Люблю!

Духи![i]

Мне *очень жаль*, Вань, что я не владею идеально голландским. Веришь?

Прости кляксу. Перо течет.

201

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

11.IX.42

Мой милый Ванёчек, мое солнышко родное, досадно, что пишу открытку, а не письмо — т. к. на почте это делаю, а достать бумаги в городе не могла поблизости. Я огорчена — мне из цветочного магазина дали знать, что будто цветы в Париж посылать нельзя. Это другой магазин, т. к. я на прежний «сердита» за розы и ушла от них. Но все же (шут с ними!) пойду ско-

[i] Письмо надушено.

рей, — они — очень большая фирма, м. б. новый магазин что-нибудь путает. Ванёчек мой, еще и еще тебе шлю привет к дню рождения, — вчера послала заказное через шофера; надеюсь, что не забыл сдать. Спрошу квитанцию. Душенька моя, как я тебя люблю. Душеньку твою люблю!

Мой ангел светлый, мой родной, мой дорогой, неоцененное сокровище мое!

У меня нет слов для тебя. Когда ты думаешь приехать?? Какая это радость была бы! Не разочаруйся только!

Ванюша, ты был в детском приюте? Ты не знаешь случайно, там ли Валя Костина[504]. Я когда-то для нее посылала «стипендию» (до войны). Одним из устроителей был о. Андрей[505]. Это? Или еще что другое? Деньги шли через г-жу Пустошкину, м. б. даже она от своего имени это делала. Мне было горестно, что нельзя было с войной продолжать. Ванюша, молюсь за тебя, целую, обнимаю нежно и свято. И... очень люблю. Оля

202

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.IX.42 9 вечера
1/14.IX. Бабье лето.

Ольгуночка дорогая, очень досадую, что так писал тебе от 10-го, но, м. б., это, заказное, получишь раньше. Не грусти, писал тебе в приступе тоски, подавленности крайней, душевной истомленности. Мне совсем лучше, вчера ездил за город, дышал. Воротился усталый, правда, но зато испытал огромное наслаждение, — физическое! — когда у себя пил чай! После душного дня прошла гроза, и так прохладно было у меня! Не помню, когда я с таким наслаждением пил чай. Какая малость, подумать... чашка чаю... — но что она мне дала..! — должно быть так в Сахаре бывает с жаждущими. Чудесный чай, с молоком, двумя кусками сахару, с ложечкой божественного коньяка, — я его так, наголо, никогда не пью. И как же глубоко спал я ночью после поездки! Она меня освежила и — утИ-шила. Ни приступов гюпер-асидитэ, ни болей, и снова охота к пище. Конечно, у меня — старое мое, чуть обострившееся, от «переживаний». Очень помогает, кажется, присланное тобою — «Бисма-Рекс». Лечусь я сам. Как ты глубоко-точно подсекла доктора! Мне это все понятно и известно, уверен — панкреас нипричем. Дочего это скучно... — довольно. Только и слышишь кругом — болезни, «концы», скорби, беспросветность. Надо — через это, надо владеть собой. Но жизнь, как нарочно, сует, сует... — на! Сегодня была у меня кн. Волконская, месяца че-

тыре тому потерявшая мужа, моего чудесного — хоть и немноголетнего — друга, — писал я тебе. Удивительная женщина! Какая вера!! и какое спокойствие!!! На днях она узнала, что ее — последний — сын[506], 34 лет, работавший в Алжире биолог-энтомолог, — он применял с большим успехом новое — им открытое — средство по борьбе с саранчой, — скончался от вдруг обострившегося туберкулеза. Ей лет 75, но она приняла этот удар мужественно, ясно, и — в каком-то... ну, как бы — умиротворении! Так Господь судил, так надо. За эти два года — чуть ли у ней не пятая утрата!! Она не нуждалась в утешениях: она пришла ко мне, как к человеку-другу, другу ее, исключительного по цельности и нравственной высоте, покойного мужа. Она почти не говорила, как и я. Знаешь, Олюночка... я, кажется, куда больше был подавлен ее горем, чем она — своим. Я прочитал ей из Шиллера, в прекрасном переводе Жуковского — «Не узнавай, куда я путь склонила»...[507] Она так благостно светло слушала, — вся покорность Воле. Вот — русская православная душа. Что за красота!.. Мелькало мне — «м. б. уж так застукана, что..?» Нет, она все сознает, — и все принимает. Это — огромная высота духовной ее культуры — таковое «приятие». Я чувствовал себя перед ней совсем маленьким. И ее посещение принимаю, как указание и пример мне. А на днях я получил письмо от одной читательницы, — ей 85 лет! — вдовы иркутского генерал-губернатора. У ней дочь — бывшая фрейлина — едва оправляется от паралича, сын[508] — каждую секунду может умереть, — порок сердца, а сама она ведет весь дом, — даже стирает! — и не бедная! — и на редкость ясна, умна. Она корит меня, — я когда-то у них — летом 38-го, прожил два—три месяца, вернувшись из монастыря на Карпатах, перед отъездом в Ментону, — тяжелые дни мои! — что не сдержал обещания, не навестил, и ей так необходимо (?!) услышать меня в эти безнадежные дни... Эта — иного характера, «боевик» в жизни, «канцлер по уму», чуть «вольнодумка»... — и опять я показался себе — «совсем не-вровень». Да, жизнь не просто течет, а и подчеркивает, — надо уметь увидеть.

Читаю сегодня: ваши голландцы создали Общество «хозяйственного использования Юга России». Хорошо. Хохлы будут уметь «варить» голландский сыр. России ныне слишком многое нужно: пусть. Годятся и голландцы. Нужны и коровы, и свиньи доброй породы, и лучшие навыки. Россия объемиста и жадна: все вберет и все переварит. Особенно — хозяйственно-культурное. И деньги — капиталы ей очень необходимы. И не ново все это: с Петра ведется... доживет и до Павла, и до... Петра и Павла. Я с легкой душой приветствую. Особенно нужны Ей — хорошие дороги. Народ наш понимал их значение спо-

кон-веку: «Дай, Государь, нам дороги, — поклонимся тебе в ноги!» Народу надо кормиться, надо окрепнуть, жить надо дать великомученику. И всегда надо помнить, что за 25 лет большевизм истребил до 40 млн. и не дал родиться — ско-льким! «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка...»

Я хочу согласиться на вторичный позыв «Нового слова»[509]: знаю, что там тираж его — свыше 300 тыс. Для меня это очень важно, встреча с родным читателем, — новым и старым. Колеблюсь только, что давать. И еще: дадут ли мне свободу давать — что сочту нужным, в пределах возможного, конечно. Сегодня вычитал, что в Берлине «Русишер Национальь-Ферляг»[i] «приняло на склад» «Богомолье»[510], 5.00, «Лето Господне» — 5.00 марок, «Родное» — 5.00 марок, «Это было» — 1,5 марки, «Как мы летали» — 2 марки. Знаю, что года три тому — два! — оставались ничтожные остатки первых трех книг в Белграде, — по 200—300 экз. Из Белграда было почти невозможно что-нибудь послать, из книг. Цены назначены очень высокие, — и я недоумеваю, что это, — самовольство или закономерное. Но важно, что русские люди — а их мно-го в Берлине, — наконец, могут узнавать Святую Русь. Запрошу друзей, в чем дело. Но почему нет «Въезда в Париж»? Разошелся? А «Солнца мертвых» нет уже в продаже 14—15 лет! И «Старый Валаам» — исчерпан[511]. Но монастырь на Карпатах, получивший от меня эту книгу в дар, м. б. догадается выпустить новое издание. Дай Бог. Ему нужны средства, да и изголодавшейся душе русской — пища невредная. Да? Знаю, милок мой, как будут читать твоего Вань... придет пора. Кажется, сама жизнь заставляет меня, нерешительного, заканчивать «Лето Господне». Бог с ней, со «злобой дня сего». — Больше месяца не получаю от Земмеринг ни звука по существу моего запроса о немецком издании «Ди Зонне дер Тодтэн». Завтра запрошу снова. Мое ходатайство пошло своим путем, — его направляет «Управление Делами Русской Эмиграции во Франции» — получил вчера официальное письмо. Ну, буду ждать. Истекло три недели. — 14.IX — Ночью была гроза. Раскаты, трески, взрывы огня, — до утра раскрывалось небо. Люблю грозу. Но мешали ломящие боли, все те же. Ну, хоть ты полечи меня, ты умница. Распирание живота, проклятые газы, — с чего?! — отзываются болями в «язве». А что я ел? Сварил суп из сельдерея, и петрушки зелени, — от этого? в них много «летучего»? И еще кисель из ревеня (кажется, это — кислота?) — из варенья, и компот — яблоки и гру-

---

[i] «Русское национальное издательство» *(от нем. Russischer Nationalverlag).*

ши, очень сладкий. Ну, яйцо, всмятку, чашка молока кипяченого. Началось к вечеру и раздувало меня до 6 утра. Хлеба не ем, только сухарики белые — м. б. из ячменной примеси? ячменя я не переношу. И еще — палочки «грийэ»[i], из муки специальной, с пониженным содержанием азота — «пэн гюпазотэ»[ii]. Возможно что от киселя из ревеня и супа из селери?[iii] Сегодня попробую то-лько кисель и макароны. А то все было бы хорошо. Сейчас нет болей, с утра. Спал часа 4. Но достаточно свеже чувствую себя. Как только вернется в Париж доктор моих друзей, поеду к нему. Мне это так мешает в работе. Это варенье из ревеня... — Юля мне принесла 5 кило весной. Помнится, что до него у меня не было подобного. Помню, месяца два—три я его избегал, но боли продолжались. Первая тошнота — с него, и потом пошло и пошло. Были перерывы — в 3 недели. Яйца хорошо переношу, люблю, ем в день 1—2. Куренье свел до 1—2 папирос за день. Присоветуй, ты — вду-мчива, чутка. Я верю в твои указания. Могу и совсем бросить куренье, если скажешь. Во всем, милочка, послушен буду тебе, во всем. Я хочу писать, о-чень. И ночью только этим и жил, все видел. Напишу для «Нового слова» — есть что. — Да... мое письмо от 10 — слезы. Я редко плачу. А тут — истек. Это — повышенная чувствительность. Мы ее утратили ныне. А вспомни, в прошлом веке... — «Страдания молодого Вертера»[512], герои Тургенева, Ленский, Гоголь и умирающий молодой друг, в Риме...[513] у Карамзина, у Достоевского, Диккенса... — все плачут. «Герман и Доротея».., у Виктора Гюго... — ах, не выношу его! — сколько болтовни-фальши! Степан Верховенский..![514] Должно быть жили сильно воображением, отсюда — «дар слезный». И вот, такое же и со мной случилось. На почве разбитости моей. Мне стыдно. Прости. «Слезы» — и у самого Пушкина. Писал я тебе — ? Ну, кстати. На его стихи — «Дар напрасный, дар случайный...»[515] — Митрополит Филарет ответил «переделкой»[516] — «Не напрасно, не случайно, Жизнь от Бога мне дана. Не без воли Бога тайной И на смерть осуждена. Сам я своенравной властью Зло из темных бездн воззвал, Сам наполнил душу страстью, Ум сомненьем взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною! Просияй сквозь сумрак дум, И созиждется Тобою — помнишь из псалма — «Сердце чисто созижди во мне, Боже...»[517] — ? Сердце чисто, светел ум». На это Пушкин ответил строфами — «Стансами»: «В часы забав иль праздной скуки, Бывало,

---

[i] «Обжаренные» *(от фр. griller)*.

[ii] «Хлеб» *(от фр. pain)*.

[iii] Сельдерей *(от фр. céleri)*.

лире я моей...»[518] — И вот там-то — стих: «Я лил потоки слез нежданных...» Стихи чистоты-высоты — непревзойденных, и в полной искренности. Последняя строка — «В священном ужасе поэт». Здесь «ужас» взято Пушкиным в смысле «благоговейного трепета», — именно этот смысл вложен в церковнославянское слово «у ж а с», ему присущ. Дочего он прекрасен, Пушкин! какая душа! какая д е т с к о с т ь!! и какое — искреннее сми-ре-ние! Тут вся его сокровенная сущность, он как бы исповедывается перед пастырем, и как высоко чтит его! Тут нет притворства, тактики... — он чувствует глубокий ум и духовную высоту Филарета. Тут как бы благоговение «простеца»-мирянина. Урок недоросткам-интеллигентам. — Сейчас — посылка из Тулузы — «Швейцарская посылка — Коли сюис», на 5 килограмм, но на три четверти — мне нельзя: маслины, сухие бананы, зеленый горошек! — виноградный сахар, сухие персики, какая-то му-ка... и — это хорошо — миндальные орехи. Это от переводчицы, из Швейцарии. Ри-су бы... лучше. Или сгущеного сладкого молока. Ну, «дареному коню...»[i] и т. д. Помнит. Узнал печальное: утрата. Молодой ученый наш, барон Мейендорф[519], в Африке, даровитый гидрограф, погиб со всей экспедицией. Искал воду, нашел... заброшенный, должно быть колодезь. Выпили — и в мучениях скончались. Оплошность? Не сделал анализа? Сколько таких наших погибло! Дикари мы... а ско-лько наших ученых по всему миру занимает кафедр, сколько сделали открытий для человечества! Дикари мы... — а к а к же наше искусство пронизывает мир! Музыка наша, словесность — первое место по роману — наше! — признают знатоки-европейцы. Балет, — не знает мир живописи нашей. А наша м ы с л ь... как дает толчки и какие! Дикари мы... бесправные мы... — а выдержали, не утратив д у ш и, погром большевизма! — 25 лет!! О, Господи.

Ольгуночка, мало я тебе ласковости пишу... но ты у меня в с я в ласке. Вся — поешь во мне, девочка милая, как по тебе тоскую. Как рвусь к тебе... — хоть бы увидеть, — и шепнуть в глаза, в сердце твое — люблю, родная... нет ближе тебя, родней, неоценимей, Олюночка... — ну, подумай обо мне, ну, пожелай мне... дождаться тебя, — о, как сердце томится тобой! И все-то невеселое пишу тебе, больное, — вернуть бы весну, когда я был совсем здоров, ни малейшей боли... и сколько воли к работе, и сколько сил..! А сейчас опять боли, едва пишу... а вчера — весь день — ни намека. Конечно, язва это стонет, а я все, все стараюсь делать, чтобы не нарушать диеты. Все еще не получаю оригинала «Под горами». Берлин словно

[i] В оригинале: даров. коню.

забыл меня. Да, там должно быть трудно друзьям. Приезжавший от них друг Чуругин[520] — убит на восточном фронте. Милый мальчик был, я ему «Чашу» подарил. Оля-Олюнка, как я тоскую по Ней, моей родной... не могу больше... я весь от Нея, вдохнуть бы раз родного воздуху... ткнуться бы в стог соломы и умереть.

15.IX Утро. Ночь спал. Болей нет. Еду в центр по делам. Целую тебя, светик.

Твой Ваня. Ах, хоть писать. Буду. Твой, твой В.

Как редко стала ты писать мне! Все «некогда»?..

203

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.IX.42. 12—1 ч. ночи

Ваня, Ванюша, Ванюшечка мой, глупка, милушка, родной мой, болезный мой!

Письмо твое от 10-го IX меня прямо сразило. Ты болен опять?! Господи, какой же это кошмар! Но я чую еще что-то, — ты подавлен, ты этой подавленностью и болен главным образом. Оттуда у тебя и язва снова. Дружок мой любимый, родная душенька, солнышко мое, не унывай же так! Ванёк, и чего же вдруг снова одинок так? Ну, скажи! Малюточка мой, деточка, голубчик. Ты массу навыдумывал еще: какая там моя «хладность»? Ну неужели тебе не стыдно все это писать? Как так: я «принуждать должна себя к письмам тебе»? Откуда это, что ты мне «духовная обуза»?? Опомнись! Ты же мой бред повторяешь. Если бы ты был обузой, так я бы так не страдала, не писала бы того, как писала, не искала бы утешения даже в исповеди и причащении, т. к. ничто не могло меня «утишить». Ну, веришь, Фома ты этакий????

Ванёчек, нет, шутки в сторону: я убита твоей убитостью, подавленностью, одинокостью. Ванюша, откуда это? Ласкунчик мой, не надо так, нельзя, Боженьку обидишь! Не надо отчаиваться. Утиши себя молитвой, не трепли нервы. Пока ничего не делай. Ванечка, бывает у каждого человека время, когда даже нужно, чтобы все оставил, всякое попечение о себе самом и предоставил другим себя «баловать». Зачем-то это нужно. Ванечка, не будь же ложно-самолюбивым. Позволь Юле милой за тобой походить. Это же ей радость! Верю, что тебе это (ложно это, Ваня!) неприятно, верю, что все всегда сам и хочешь, и можешь. Но поверь и ты также, что и другим может хотеться для тебя сделать. Почему ты так ёршишься? Юля милая, как я благодарна ей!

Если она тебе что-нибудь хочет устроить и может, то почему ты ее «гонишь»? Ну, будет! Как ты хочешь, так и делай, конечно. Но иногда хорошо действует на организм именно: полное неозабочение самому о себе. Ляг как на волны и дай себя нести... отдохни. Отдохни, Ванюша. Поезжай в санаторий куда-нибудь, тебе уход нужен. Ласка тебе нужна. Какое горе, что у караимочки больной — тебе, конечно, и этого очень не хватает. Ты вдруг почувствовал себя покинутым.

Да, горько это, что я далеко, что я бессильна. Горько мне это, Ванюша. И все же я ломаю голову, чтО бы устроить? Не говори только, мой милый, мой бедный изведшийся нервами Тоничка, что мне тягостен ты — больной!

Ваня, если тебя мысль о поездке тревожат, если тебе это трудно, то, дружок, не езди. Я покоя бы не нашла, зная, что ты больной в пути. Но, если ты действительно хочешь, то я все сделаю, чтобы к тебе приехать.

Если ты этого хочешь! Тогда слушай:

попроси г-на Жеребкова попросить для меня визу, ввиду твоей болезни. Я поеду от Сережи. Я в свою очередь буду просить отсюда, но мне необходима поддержка с твоей стороны. Без нее я ничего не добьюсь. Вот, если ты хочешь, чтоб я приехала, то попроси Жеребкова, хотя бы прислать мне сюда выписку о том, что на тебя хлопотали визу по делу с С., но, что по болезни м. б. я могла бы по тому же делу заменить брата? Посоветуйся с ним, чтО можно. И не мучай себя глупыми снами — это же все отражение твоих мыслей, глупышка! Никакого «неудобства». Как посмотрела бы мама? Сережа? Я столько раз тебе писала об этом![1]

Какие все «внешние» твои смущенья! Я удивлена. И неужели ты моей души не знаешь? Не знаешь, чтО я в тебе люблю. Странно: мне снился тоже сон около 10-го же: я одна, совсем одна в целом мире. Я вижу небо, голубое в легких «барашках» и как же я счастлива, что столько света, простора и свободы... и... что я — одна. Мне весело это! А в жизни я боюсь — одна. И вот я роняю взгляд на землю и вижу огромный двор за каменной оградой, — смотрю я будто с птичьего полета. А во дворе что-то маленькое, в уголку, — колыбелька, а в ней ребенок. Мальчик. Я смотрю на небо, смотрю на мальчика, и мне невыразимо радостно. Чисто и уютно в душе. Я вижу какую-то особую гармонию в этом, что вот только и есть в мире, что то небо, простор и... дитя. Но... вдруг я вижу идет кто-то, — мне больно, что кто-то эту гармонию нарушает. Идет мужчина по дво-

---

[1] В оригинале абзац зачеркнут О. А. Бредиус-Субботиной. Поверх текста надпись: Сообщи мне имя известного уролога в Париже. 17.IX. 42 утро.

ру, широкий, сутуловатый, в рубашке с подтяжками поверх ее (не выношу такого вида), меня коробит. Он подходит к люльке и вынимает детку. Это так грубо, так несогласованно, так все... не в «плане»! Я чуть не плачу, очарование ушло, я чувствую себя опять на нашей планете и... просыпаюсь. Странно? Но нет, это не «мой» был. — Не томи себя и такими снами... Хорошо? Этого не надо, Ванёчек. Ты мучаешь себя напрасно! — Не проходит дня и минуты, когда бы я не была с тобой. Не одинок ты! Ну, дай головку твою. Я тебя успокою, поглажу, убаюкаю нежно, ты задремлешь, а я легонько, на цыпочках встану, завешу лампу и сяду в кресло, буду ночью сторожить сон твой. Ты будешь спать хорошо, крепко, а утром я открою тебе занавеску, пущу солнышко, и тебе оно не будет «резать глаза», а поцелует тебя нежно. Я сварю тебе вкусную кашку, что-нибудь придумаю моему Ване. Я заставлю остаться моего Тоньку отдыхать и днем, и буду ему читать, рассказывать, молча говорить сказку своего сердца... «Дядя Ваня» не будет плакать! Ванечка мой мне улыбается. Да, Ванёк? Да, мой милый? Олюша тебя успокоит, всего тебя лаской обогреет, душечку твою погладит.

Как больно мне, что ты весь год так горестно припомнил! «Где Вы “Пути Небесные”»? — Где? Да у тебя в сердце. И будут в мире! Конечно будут! Мы все осилим, Ваня. Ты предельно устал. А чтение тебя сорвало совершенно. Мне это сразу было видно. Подумаем, дуся, что бы сделать, чтобы стать здоровым, бодрым, сильным? Ванёчек, устрой же отдых! М. б. и можно? Ну, если мне приехать и взять в оборот тебя?

Я не хочу никуда ходить, ездить, — это все тебя вредно пока. Мы отдохнем оба. Мирно, тихо, в твоем уюте. Я уже люблю его, твой уют. Серов жестокий — не ответил мне! На это раз я обижена. Нет, не подходящее это слово — не обижена, а очень неприятно поражена, встревожена, что он так халатен.

Ванёк, не смущайся, что будто у тебя трудоспособность теперь страдает. И. А. одно время не мог работать от болей и чего только не передумал. Все были нервы. 2 года болел. Ванюша, пойди с Даринькой в монастырь помолиться. Уйди в тишину эту. Пока, только пока, не давай себя мучить никаким вопросам. И «два письма» пока оставь. Тебя все это тревожит. Отдохни пока, чтобы быть свежим, чтобы вдвое смог потом дать. Ты измаялся, и так нельзя дальше. Не надумывай, что мои письма «случайны, хладны»... Ванёк — вздор это. Ты же, солнышко, это знаешь! Я была внешне задергана, но только внешне и очень этим тяготилась. Я вся — прежняя. И ничуть не увяло, ни капельки из моего чувства. Даже странно: все то же. Если я хорошо одеваюсь, что-нибудь покупаю, то будто для

тебя! Я мало писала еще и оттого, что чуточку была нездорова — выглядывала ночью в грозу и шторм в... одной сорочке из окошка, свешивалась вся, ну, охватило, горло чуть-чуть болело, насморк и спина. В 3 дня прошло. Я совершенно теперь здорова. Лечу зубы. Не буду больше рвать ни единого. Хорошего нашла дантиста. Он сказал, чтоб я «из головы выбросила совет рвать зубы», все нашел хорошими... Да, я толстушка стала. Не любишь кругленьких? Ну, скажи же! Скажешь? Но что же мне делать? Я хочу быть здоровой! А ты, Ванюша, роднусенька, постарайся же не худеть! У тебя должно быть сильное сгорание, высокое потребление кислорода, так называемый высокий обмен веществ. Не делали с тобой этого исследования? Важно бы! М. б. щитовидная железа шалит? Спроси Серова. Сходи к кому-нибудь другому. Где же доктор Елизаветы Семеновны? Пойди, если меня жалеешь, Ваня. Я же извожусь твоей болью. Умоляю тебя! Все будет хорошо, мы все увидим. Надышишься ты и своим воздухом, нашим. Верь, только! Верь крепко, верь! Молись, чтобы тебе тихо было, и все пройдет. Все пройдет, Ванюша! Не утомляй себя сборами, поездкой, если это тебе хоть сколько-нибудь трудно. Я все сделаю, чтобы быть у тебя, если тебе скорбно, что не увидимся, если хочешь, чтоб я приехала. И знай всегда, твердо знай, Ваня, что я тебя люблю навечно. Никакие глупости у меня ничего не изменят. К чему ты пишешь о них? Ты для меня прекраснейший из всех, ты — единственный. И ты это знаешь! Что мне годы? Ваня, Ваня, как мало ты меня знаешь, и все-таки знаешь же! Я в тебе нашла то, чего всю жизнь искала, чего не надеялась никогда найти. Но нашла... нашла вот! И какой же шелухой бредовой ты на меня швыряешь, когда «боишься встречи»! Поверь, и кончим об этом! Ванюша, а если бы ты был здоровым, приехал бы, то я бы тебя хорошо устроила. Мечтала также я взять «дачу», в лесу, чудное место. После 3-го окт. будут свободны дачи, я узнавала. Недалеко от Arnhem'a. Вот бы дивно! Хотел бы? Совсем в лесу! Дубовый лес. Золотой в октябре! Но как ты хочешь. В Arnhem'e есть прекрасный Hôtel, там тебе хорошо было бы тоже. Близко от С.

[На полях:] Ну, целую тебя, благословляю, молюсь с тобой и за тебя. Будь здоров, тих, покоен — это уже половина дела! Обнимаю тебя, глажу нежно, осторожно. Хочу, чтобы ты заснул. Оля твоя тоже тихая, ласковая, ручная, без колючек. Люблю. Оля

Не огорчай меня запретом посылать цветы. Ты мстишь мне за чулки?

Ванёк, на всякий случай (вдруг нежданно получишь визу, будешь здоров, поедешь) если бы не успел меня известить пись-

мом, дам С. телефон. Позвони ему с вокзала, а если это было бы время его службы, то прямо поезжай к нему на De Welsh, 10. Извозчики стоят у вокзала. С. близко. По-французски говорят почти все. Но м. б. позволили бы в Париже тебе протелеграфировать С.?

17.IX.42 Прошу: назови мне какого-нибудь хорошего специалиста-уролога в Париже. Мне это н а д о, *срочно*. Пишу еще сегодня-завтра.

Если можно, Ванюша, пришли «Парижский вестник» с «Чертовым балаганом». Пришли, солнышко!

204

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.IX.42[i]

Ах, Ванечка, какое скорбное твое письмо, и как все новую и новую скорбь я открываю в нем, читая его ежедневно. Я страдаю, мой милый Ванечка, я мучаюсь своим бессильем — разуверить тебя в твоем мраке! Мне горько, как ты при мне «одинок»... Что же сказать мне?! Ах, Ванечка, голубочек мой, родное сердечко... «Обуза»... Ваня, Ваня, за что казнишь ты меня?? Ванёчек, как нестерпимо больно, что год этот только «обобрал» тебя! Боже мой, какая же мне это кара! За что? Ванечка, какая я несчастная, какая-то проклятая, будто... прикоснусь к цветам — они увянут. Отчего же вместо радости тебе дала я горе?! Господи, помоги нам! Я так хочу благостности, тишины, любви и веры! Ванечка, отбрось все неверное и больное. Помни, что я всей душой моей, бессмертной и свободной открыта тебе, предана тебе навечно. И горестно нам может быть лишь оттого, что мы в разлуке, что мы не видимся, но не тО, что рисуешь себе ты. И тогда, мой Ваня, не будет этого томящего «о д и н». Ты не один!.. Пойми это. И умоляю, Иван мой родной, не рань, не рви мое сердце этим «не хочу жить»... Понимаешь ли ты, чтО это мне? Ты знаешь, что твоя душа единая мне, ее я смутно искала, всю жизнь искала, я чудом нашла ее, и я живу ею, как путник в пустыне, прильнет жадными губами к источнику, так и я пью живую твою воду, ею только жива душа моя. Ты пишешь о годах и т. п., а не чувствуешь будто, что ты, т ы дал мне истинное веяние юности, дал мне любовь к жизни. Через тебя я научилась любить червячка-березовичка и с ним всю тварь земную.

Нет, Ванёчек, не «доживаю», а «живу»!

Ивушка мой несравненный, молю тебя, о б о д р и с ь!

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: дивное письмо!

Ради любви моей! Я молю тебя... Нежно, ласково прошу тебя. Послушайся, Ванечка. Будь мой тихий, милый, ровный... отдохни! Все будет хорошо. В е р ь! Верь, Ванюша. И милость Господню не отринь ропотом. Как трудно нам в несчастье, в испытанье видеть Руку Всевышнего, но потом как часто видим мы Ее, благословляя Премудрость. Так у меня всю жизнь, и ни разу не случилось ничего абсурдного. И потому я и теперь, когда мне тяжело, молюсь, прося указать мне смысл и э т о г о Промысла. Для чего-то все это нужно. Да, м. б. для сплошного страдания з д е с ь, но ведь этим «здесь» ничто не исчерпывается. Но, обо мне — в сторону...

Ты, Ванёк, не ропщи, что «столько темного, скорбного» было в жизни... А сколько света?! И опять скажу тебе, как давно... но только не прикрыто: Ванечка, ты б ы л счастлив, а подумай: есть такие, которые не знают даже, что такое счастье. Подумай... И все же я счастлива... Я тобой счастлива, мой светик. Я вся трепет к тебе, вся любовь и ласка. Ничто ни потускнело, не угасло, — все так же чудно, как и год тому назад. К твоему дню рожденья, — я чувствую так, будто это мой праздник, — я все устрою так, что будто у тебя в гостях буду. Я буду весела, нарядна, интересна... Я все время с тобой. Неужели ты не ощущаешь меня? Я т а а к дружна с тобой! Душой, сердцем, каждой думкой, каждой жилкой я с тобой дружна...

Не подумай, что я это слово употребляю случайно, или в обычном, холодноватом смысле, — нет, я разумею его в самом чудном смысле, в самом близком. Я дружна, согласованна с тобой так тесно и так прекрасно, что и не выразить. Это — любовь-дружба, это — выше любви, т. к. это и святое, возвышенное, это больше дружбы, т. к. это несгораемый светильник любви, не опаляющий, не дымящий, не сжигающий, но горящий вечно пламень. Я не могу выразить, но ты все это знаешь!

Ты вечный для меня, прекрасный, единственный... Ты знаешь это, Иван!.. Ты знаешь. Не мучай же себя! Мне кажется, что тебе больно мое участвование в окружающей меня жизни хутора... Мне кажется так. Но... Ваня... как это все неверно. Разве что-нибудь может встать между нами? Между тем великим, чему и имени-то нет?? Любовь моя к тебе, какая-то необычайная, сгладила для меня страх смерти даже. Я впервые теперь, однажды, подумала сердцем: какое счастье, что после смерти я буду с Ваней неразлучно. Я поймала себя на этой неожиданной мысли.

Но я хочу жить. И ты х о ч е ш ь жить! И мы должны быть здоровы и бодры. И будем! Поберегись для меня! Ну, неужели бы ты так стал мучить Ольгу Александровну (1-ую)? Ну, будь, хоть на денек, со мной как с ней... Прошу, Ванечка! Ты

же жалел ее?! Пожалей меня! Побереги себя. Помолись... Господь так добр! Ванюша, у нас с тобой много дела... Мы должны быть сильны! И мы увидим все, чего так просит душа. Ванечка, у меня такое дивное к тебе чувство... мне так хочется все тебе сказать! Мне хочется приехать к тебе. Можно? Не трудно это для тебя? Или ты очень будешь волноваться? Я м. б. смогу устроить визу. Не знаю, но попытаюсь. Я не могу больше так оставаться в неизвестности о тебе. Мне ничего не надо: ни театров, ни Лувра, ни-чего, ни-чего... только ты, Ваня! Пойми же! Никогда *не* «наскучивает», только мучает о твоей болезни. Дурашка! Ну, как ты ко мне? Так же и я к тебе! Мне ничего не надо. Я дни и ночи ходила бы за тобой. Пойми, что все это внешнее, чему ты так часто моими устами придаешь вес — для меня в действительности не играет никакой роли! Какой же ты меня себе рисуешь? Самой обычной барынькой?! Иногда твои рассуждения о, так называемом, моем «возможном разочаровании» — меня чрезвычайно удивляют и порой даже смешат. Брось! Я *знаю*, что то, что я люблю в тебе — неизменно, и что в нем я никогда *не* разочаруюсь. А огни?? Ты их во мне испугался, принял за очень «зыбкую»? Да? Это таак второ-третье-десяти-степенно! Я не такая, Ванёк. Годами не бывало этих «огней». Как трудно объяснить себя другому, самой себе!.. М. б. поймешь все-таки? — Да, мне очень хочется писать. Но сейчас я в тревоге за тебя. Не могу. Суета повседневности? Изводит. А нисколько не полонит меня. Жизнь требует и «консервов» и т. п., но повторяю: никак не могут все эти «интересы» встать между нами, хотя бы только в смысле «случайности» моих писем. Дурашка! Я всегда и всюду думаю только о тебе! Постоянно! А ты? Жаль, что не могу достать фотографических пленок, а то бы снялась для тебя. Ну, мальчик мой глупый (только в своей мнительности глупка), успокойся. Ну, вот я вся с тобой, улягся, будь тих, будь нежен, а я посижу с тобой, поглажу тебя. Усни. Не будет болей. Не плачь, милушка... родной мой! Ах, ты и не плакал бы, если бы я могла быть у тебя, погладить, приласкать... Как нежно утешила бы я тебя, мое сердечко! Миленький, родной мой, близкий в далеке, мой Ванечка! Успокойся. Роднуша. Целую тебя нежно, как мама, как сестренка, как дочурка, как самое любящее и близкое тебе, родное сердце. Ванечка, ты еще и в боли душевной на меня за что-то... Иначе не запретил бы цветы... За что, Ванёк? Излей же все! Выскажись, не копи в себе. Ну, скажи все! Выплачь все! Я все пойму. Я все выслушаю. Ах, ты мой милый ребенок! Чудесное, прелестное дитя! Прости мне, что так к тебе обращаюсь, — но часто чувствую я тебя именно таким. Не только юным, но прямо по-ребячески юным. Тоник, Тоник!

Ванёчек, пойдем же вместе в церковь, ну, хоть в это воскресенье — твое рожденье! Пойдем... как тогда... помнишь? «Свете тихий»? А вдруг чудо? И я приехать смогла бы?? Назови мне какого-нибудь известного врача в Париже, — лучше уролога. Прошу, и срочно.

Ну, Ванечка, моя милая больная детка, птенчик мой, да хранит тебя Господь, будь здоров, — ангел мой, благословляю тебя, нежно глажу по головке. Закрываю поцелуем глазки и тихонько гашу лампу. А ты — спи! Спи хорошо, тихо, оздоровляюще. Ольгуна тоже идет в постельку. Уже очень поздно. Олюна

205

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.IX.42

Милый Ванюшенька!

Сейчас письмо твое от 15-го. Пишу тебе против своего решения пока не писать (объясню почему), — т. к. всю ночь думала о лечении тебя, а в твоем письме нашла вопросы касательно этого же, и вот скорее пишу, хотя собственно не должна м. б. писать, т. к. — больна. Не пугайся, *не* почкой: вчера вдруг стало мне нехорошо, пропал аппетит, до отвращения к еде, и я решила, что пойду постараюсь заснуть и все пройдет, — я плохо спала ночь. А все эти дни была у меня давящая тоска, объясняемая мной, впрочем, твоей болезнью. Но когда я легла, то не могла заснуть от холодных ног, — надела шерстяные чулки, — не помогло. Взяла грелку. Ноги уж горят, а мне все холодно. Когда хотела в 1/2 5-го встать к чаю, то показалось, что t°[1]. Смеряла — 38,0°. Это для меня очень много. Нормально у меня 36,0°. За 1 час дошла почти до 39,0°. Безумный пот и все лезет ввысь! Я вся мокрая лежала. Всю ночь металась. Сунула было градусник, — за 3 минуты он нагрелся до 38,7°, испугалась, бросила. Почти не спала. О тебе думала. Сережу вчера просила отправить тебе письмо, и адрес он же писал, чтобы мне не касаться бумаги, — мало ли что, м. б. заражу еще чем?! Ты это письмо сожги! Слышишь! Потому и решила не писать, что заразы боюсь для тебя. Да... всю ночь думала о тебе и вспомнила еще одно: от кислотности с тошнотой м. б. хорошо тебе делать следующее — белок сырого яйца взбить и с водой (немного, ну 1/2 стакана) три раза в день, хоть, принимать. Это — органическая щелочь и не вызывает обратной реакции. Хороши про-

[1] В оригинале: t-ra.

тив кислотности вообще всякие органические слизи. Но какие? Мы это слышали в клинике, но я не знаю что именно. М. б. овсяная слизь? Haferschleim[1]. Если есть геркулес у тебя, то кушай. Рисовый отвар? Крепит, кажется? Да и нет риса. У нас есть тут перловая крупа, но не крупой, а тоже давленная, вроде геркулеса. Хорошо. Ведь все эти бисмуты, магнезии, соды — все они глушат кислотность только на самое короткое время, на время их соприкосновения, что ли. Но зато после, через 1/4—1/2 часа наступает реакция, часто превышающая кислотность после «провокации» алкоголем или кофе. Это я сама, на опытах видела. Это — правда, Ваня. Хорошие врачи уже давно этого избегают. Попробуй белок, сырой, сбей его, чтобы лучше смешать с кипяченой холодной водой.

Знаешь, как человеческий организм сложен? — Я работала для одного профессора, нашедшего, что очень часто заболевания происходят от неприятия организмом той или иной пищи. Например был один молодой человек, страдающий поносами, что-то до 15 раз в день. Ужас. Все ему давали — поможет на время, а потом опять. И вот мы пробовали: я исследовала его кровь (число белых кровяных шариков) до еды и после, причем давали каждый день новую пищу. Обычно, нормально, что после еды повышается количество «Leucocyten», а после той пищи, которую «душа не принимает» они понижаются. Мы установили, что у больного хорошо усваивается все, кроме белого хлеба и пива, но пиво даже лучше хлеба, и именно молочного белого хлеба... У другого, с язвой желудка, после кровоизлияния, когда сидел он только на молоке, были тоже какие-то страдания, не помню точно что, — оказалось, что он не переносил кипяченого молока, но прекрасно сырое. Одного больного с астмой мы исцелили, отняв у него белый хлеб с солью. У некоторых организм сам определяет, чувством отвращения от того или иного, но это редко. Чаще бывает, что больной не чувствует ничего, или даже (!) любит то, что вредно. Огромная интереснейшая проблема открылась еще только в зачатке в этом направлении. Меня это очень интересовало, но оборвалось с моим уходом из клиники. Работал ли кто после меня — не знаю. Профессор этот — специалист по совсем другой отрасли. Это было «между прочим», «пользуясь случаем наличием хорошей лаборатории». У меня иной день до 10 пациентов бывало таких. И, знаешь, проявления могут быть самые разные, от пузырей на коже, до астмы. Относительно Vagus и Sympaticus... ну, ты же знаешь. Я — «vagus betont», т. е. подчеркнута, выявлена, обозначена vagus'ом, от betonen —

[1] Овсяный кисель *(нем.)*.

подчеркивать. Betonung — ударение, но в смысле подчеркнутости, акцента. Большинство людей с «Habitus astenicus»[i] — vagus betont. Или — думаю, что от limphaticus. Ну, Ванечка, ты все сам знаешь. Относительно курения... Говорят, что сразу все отнять у курящей — тоже нельзя. Постепенно. 1—2 папиросы немного! Главное: покой. Тебя чтение надорвало. Погоди, не кушай ревень, очень уж он оскоминный. Думаю, что в нем много железа, не оно ли вредит. Петрушку и сельдерей не бери. Какая досада, что ничего тебе послать нельзя! Оливы-то м. б. и можно? Но не знаю. Ванюша, я не касаюсь твоих мест письма на близкие душе вопросы. Невозможно. Я бы хотела говорить, а не писать. В письме очень трудно. Относительно «голландских крестьян» ты очевидно многое не знаешь. Я это дело хорошо знаю, очень хорошо. У них нашим нечему учиться. Да и все это не так, как тебе представляется. Капитал? Какой капитал? Его же и дух простыл. Разве ты не знаешь? Ну, довольно. Отрывочно говорить не стоит. Я устала. Мне все же неможется. Утром сегодня было 36,0°, сейчас около 1 ч. дня, еще не меряла. Что-то непонятное, молниеносное. Я сразу ослабла. Ну, ничего не ела. А сегодня Рождество Богородицы, — мама хотела ехать в церковь, а я вот помеха.

И... осень, осень... Ванюша, ты сожги это письмо. А то я волноваться буду. Сегодня же приняла антигриппал. Мне чуть тошно стало после него. Но допринимаю, как сказано. Доволен?

Странно, что за несколько дней до болезни я уже сказала: «не заболеть бы... такая тоска». Я все время вздыхала, даже ночью. Но думала, что это по тебе.

Я писала тебе, что, если ты так извелся с желудком, то лучше не езди, Ванёчек. И просила указать тебя мне какого-нибудь хорошего врача для меня в Париже. Ну, например, знакомого Елизаветы Семеновны? Только бы мне не расхвораться.

Я думаю, что этим вчерашним и ограничится. Во всяком случае страшного ничего, видимо, нет, иначе не упало бы сегодня до 36,0°. Сережа и Арнольд меня вчера «утешали» не тиф ли. Есть случаи тут. Но видимо не похоже. Но сожги же письмо! Не береги, — много их у тебя. Ванечка, попытайся, достань яиц, они могут долго пролежать, на холоде в сухости. Или в «Wasserglas»[ii] (как по-русски?). M-me Будо верно их сможет тебе доставить? В имении-то таком шикарном куры есть? Поторопись, а то они отстанут нести уж. Если яйца переносишь, так это чудесно. Ну, Ванёк, я кончаю. Устала все-таки. Молюсь за тебя и очень нежно с тобой в мыслях. Почти что вижу тебя

---

[i] «Астеническая внешность» *(лат.)*.
[ii] «Стакан» *(нем.)*.

и твои комнатки, почти что у тебя. Ну, Господь с тобой! Будь же здоров! Попробуй с белком. Белладонна — хорошо. Она «подсушивает» язву. При вздутиях обязательно ставь компресс. Послушайся же! Очень помогает.

Сперва теплую мокрую тряпку, на нее клеенку, на клеенку шерстяное что-нибудь. Увидишь. Или просто шерстяным, сухим, обвяжи живот. Грелка слишком резка, а это лучше. И... режим...

[На полях:] Напомни, чтобы я тебе написала о том, что С. сказала ясновидящая[521], о папе. Это — потрясающе!! Исключительно. Она угадала всю суть нашей жизни! И обо мне сказала, правда, мало.

Ну, целую тебя и крещу. Оля

Не пойму, что это за припадок какой болезни. Неужели отзвуки мук о тебе? Я все это время очень, чрезмерно тосковала.

22.IX Я встала. Не волнуйся. Хорошо ем опять. Хочу писать. За болезнь целый новый рассказ родился, вернее откристаллизовался. Попробую. Но это совсем иной. Из иной жизни. Но необходимый н а ш е м у. Его жадно проглотят, даже если и не очень талантливо напишу.

22.IX Битва на Куликовом поле! Да?

206

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9/22.IX.42 5 ч. 30 вечера

Дорогая Ольгуночка, вчера от тебя — чудесные розы, ярко-живые, ярко-алые... — ослепили меня! Ночью проснулся — в тревоге! — остались в комнате, тут, в большой, рядом с моим «заломом», где сплю. Было должно быть 4 ч. ночи. Встал, вынес в ванную, налил воды в ванну, обрызгал, открыл окно. Они дышали, яркие, т в о и, Ольгуночкины розы! Я поцеловал их — тебя, сердце твое, поцеловал, та-а-ак прильнул к нему!.. — И — слезы!.. — тебя все нет... когда же увидимся?.. Увидимся ли..? Господь знает. В цветах — душа твоя пришла ко мне, моя голубка, моя тихая, нежная гуленька... Олюночка, Оля моя..! И словом неопределимо — к т о ты для меня... — ты все вместила — для меня в себе... в с е, в с е... — и это все — еще не В С Е... ты в себе хранишь будущие мечты, возможности, то, чего не умею назвать... — источник жизни моей — ты, Оля, Олюночка...

Ах, как красиво-ярки они, твои розы! Их — 14 розочек. Вчера были бутоны, сегодня к - а - а к раскрываются! О, милая, ты в них пришла ко мне. Целую, пальчики целую, реснички —

все, все — целую... Смотрю в глаза — целую... Оля, дорогое мое, солнце мое... — и светишь, и греешь мне, и чудесно озарен тобой — до!.. н е м о г о счастья! Благодарю, за все, что ты дала мне — чувством, мыслью, словом, движеньем сердца, — всею тобою!

А сегодня твое письмо! — от 16—17.IX. Дивное. Светлое. Все — нежность, забота, ласка. Песня тихая, баюкающая. Плачу от ласки, — так ослабли нервы. Эти дни 18—19 опять то же — тошноты, (в ночь на 19-ое — непроизвольно — одна кислая жидкость). 20 по сегодня — лучше. Вчера ночью (на 22-ое) захотел есть. Совсем бросил курить с 20-го. Серов совсем отупел, говорит: «Вы меня с толку сбили». Сделаю ему замечание, что не отвечает тебе. Знаменитого уролога не знаю, у-знаю. Если это в связи со моим состоянием... я никогда не имел дел с ними. Серов, должно быть знает. Проверю. Лечусь я пока так: утром принимаю caolin + 1 ложка твоего Bisma-Rex. И перед первой едой 15—20 капель успокоительная смесь: valeriane, belladonne, codéine, menthol, еще что-то. (Эти капли 3 р. в день) вечером перед сном, но 3—4 ч. спустя после вечерней пищи — опять caolin. Сегодня еще не было болей, с ночи. И тошнотность меньше, почти нет. Серов определил так: «Вы себя измотали "переживаниями". Сильная нервная растрата. В частности, затронутое давно у Вас, (ulcère duodeni) сказывается, внутренности, ввиду подавленности (или возбудимости) нервных центров, не управляются, а предоставлены влияниям — подавленности и возбудимости. Но если настаиваете на concilium с французским врачом — охотно, пусть Rentgen, пусть и анализы»... Ждем, когда Mr. Antoine приедет из Fontainebleau (имение там его). Я могу, детка, ходить завтракать к Елизавете Семеновне, но не хочу, — очень я дичаю, когда болею, — раз, и — боюсь нарушить диету. Очень я исхудал, но это — мое свойство, быстро терять — и — кажется — быстро набирать. Ем в пол-аппетита. Ну, м. б. все обойдется. Вот тошнотность с чего — не понимаю? Помню был перерыв в 24 дня, с 27 июля (когда вернулся из имения), и хорошо чувствовал себя, а потом пошли, с промежутками, боли и проч. ... Ну, скучно. У меня, конечно, всякие мысли... ты понимаешь, — и это меня в с е г д а давит. В 34 году были тошноты и vomissements...[1] — около 10 дней. Ныне я применяю почти то же лечение (по совету в 34 г. — professeur Brulé).

Олюночка, ласточка, светик мой, единственная, в е ч н а я моя... — как я счастлив твоим письмом сегодня! Оно излечит меня, оно осветило меня! Девочка родная, сколько силы в тебе, этой чудесной силы любящей души, женщины! Святой, чис-

---

[1] Рвота *(фр.)*.

той, — недостижимой! О, чистота святая! Тебе кланяюсь земно, Святая моя! Родная из родных. Золотое, блистающее сияньем любви сердце — живой, бьющийся родник Жизни! Оля, люблю чисто, нежно, кротко, покорно... безоглядно, в е ч н о. Ты не думай, я за столом пишу, не лежа. А не на машинке — так захотел, б л и ж е дать себя тебе — почувствовать, твоего Ваню, Ванюрку, То-ника... Ничего, Олёк, Бог даст — все будет хорошо. Серов говорит: «Смотрю на Ваши глаза... — ни-чего: глаз б о д р ы й. Значит — будѐте здоровы».

7-ой час..! Спешу отнести на почту. Олюночка, день моего рождения — 21 сент. ст. ст. — розы твои осветили мне и мое Рождество, и праздник Рождества Богородицы. О, как целую тебя! Все, что пишешь постараюсь сделать. Оля... О-ля! Если бы я не смог приехать... ты, ты, ты... смоги! Не смею думать, если это выше сил твоих... ты должна беречь себя, Ольгуночка... — не смею думать... это выше моих надежд... но можешь ли ты сомневаться? Гляди мое сердце!!! Но я боюсь за тебя, за твою жизнь... О-ля!!! Пусть никогда не свидимся, лишь бы ты была, жила, говорила, была здоровенька. Ваня весь твой, с тобой, в к н и г а х, в твоем сердце. И ты в с я — во мне. Господи, дай мне увидеть Олю!

Дай глазки, ручки, губки... Твой всегда Ваня

207

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.IX.42

Мой милый Ванечка, как тянет меня к тебе, хоть письменно хочется побыть с тобой. Если бы ты знал, как необходим ты мне, дружок... И эти все дни я как-то особенно с тобой. Как мне досадно, что как раз день твоего рождения я пролежала больная. Во вторник, однако, я уже встала, а вчера была в городе. Немножко еще было «не по себе» как-то, вчера были страшные боли в желудке и кишках, но скоро прошли. Я, думается, простудила желудок. Сегодня все в порядке, и я уже забыла о болезни. Все эти дни была т а к а я осень, но сегодня солнце, солнце! И как радостно тогда на душе! Во вторник, как только встала, села писать. Много написала. И... чуднО: заплакала перечитывая: жалко стало своего героя. Правда, не вымысел это — м. б. только чуть-чуть обрамление мое, а суть — вся быль. Ужасная драма одной молодой души[522], мелькнувшая перед нами в последние дни зеленые этого героя. Это в Tegel'е было... а теперь стоит лишь одинокий, простенький крестик на забытой могиле. Но сколько т о г д а было надежд и даже пла-

нов, и сколько веры, и сколько передач себя судьбе и покорности Богу сколько... И как мало требований, какое довольствование малым, таким малым. Меня пронзила тогда эта «судьба» безвестного героя, смерть эта ранняя, — ему года 24 было, и горе матери там, за рубежом... И главное: какой «жест культуры», ответный на... сердце. Вместо хлеба — сущий камень, да еще какой жесткий! Помню, как тогда у меня глаза не хотели верить, тому, что приходилось видеть. Сердце упало, заныло. Волосы шевелились. Все опишу. Пусть кто-нибудь прочтет. Прочтут. Предельная покорность Господу, любовь поющая к матери, жертвенность последней... все — сердце, сердце... и — голый материализм, до наглости оголенный. Как они тогда столкнулись! Я опишу это. Мне Бог поможет. Меня давно эта тема томила. Я оставила «Лик». И начала это. «Лик» я тоже не брошу. У меня намечается целая серия «этюдов»[523]. М. б., если Бог поможет, то будет маленькая книжка, ну, вроде твоего «Въезд в Париж». Но другого типа. Первый рассказ, а по нем и вся книжка будет называться «Христова невеста». Ты удивлен? Это нежданно во мне так вдруг... Болела когда, мама мне рассказывала (я ее пытала-выспрашивала), чудно рассказывала о всех «Птицах Божьих» у деда. Я помнила некоторых из них. Чудесные люди. О них мы обязаны сказать своим. Это, понимаешь, д о л г мой! Если у меня выйдет плохо, то умолять буду тебя перенять это от меня и дать. Ибо это — долг наш! Я слушала и все, все записывала в сердце. И я уверена, что они были недаром, и их подвиг не мог уйти бесследно, они — защищены новой сменой! Я не сомневаюсь. Они есть! Есть! Какое же это счастье! Какое упование! Я безумно хочу писать. О, пойми, как хочу! И как не достает мне тебя! Ты учишь меня плавать, — без тебя я ничего не сделаю. Неужели мы не увидимся?! Помимо чувства, — мне насущно необходимо (делово) тебя увидеть. О, Иван, о, счастье мое! Как благодарить мне судьбу за встречу с тобой?! Я ничего не могла бы одна... Ничего. Я сознАюсь тебе: я пробовала уже раньше писать, тогда в 39-ом, но устыдилась своего кощунства, порвала, что-то 6—8 страниц.

Я буду писать так, как ты указываешь... Так гораздо прекрасней: не пачкая поправками сути, оставляя эту правку и отделку на потом. Не зализываю. Стараюсь, вернее. Я не люблю и живопись зализанную, умученную правкой... У Фаси вчера вижу, — бросилось в глаза, — маленькая новая картинка... Чья? — Коровина... Париж ночью. Знаешь? Она мне о ч е н ь нравится... Его манера, сочность красок, живость эта. Все Фасины картинки блекнут рядом. Но меня потрясло больше то, что я узнала: «Дубина» купил ее в своею поездку в Париж... но как купил? За такие гроши. Фася сказала, что вдова

Коровина[524] крайне нуждается и продает работы мужа за что попало и кому попало. На голландские деньги эта картина — что-то 17 гульденов! Это же даром! Это ужас! И чтО можно сделать!? Я всякий раз спрашиваю на почте, нельзя ли что-нибудь посылать в Париж, — нет! Ничего! Как это ужасно! Как я хотела бы помочь г-же К[оровиной], как бы хотела иметь это счастье — приобрести картину ее мужа. Но это невозможно. И сколько горя, и как полно сердце жалости и готовности помочь, и... как оно бессильно.

25.IX вечер Знаешь, сегодня приехал к нам по поручению С. один мужик на какой-то удивительной лошадке, — я спрашиваю: «что за порода?» — «Russ». Русская степная лошадка. Во всем она другая: вся — струна, бежит ровно, быстро, именно «пчелка». Рыженькая. Милая, ей уже 18 лет! Нету жеребеночка от нее, т. к. «супруга не найдут подходящего». Мужик говорит, что она по его голосу «все знает». И стоит лишь ему вскочить на облучок, как срывается с места, и как-то вся, вся — движение. Я ей хлеб свой отдала «на дорожку». Как она его ела. Я бы поцеловала ее, умные ее глазки... Мама тоже хлеб отдала. И у нас сегодня такое чувство, будто что-то особенное было. А только ведь частичка своего... Кто-то ее давно завез сюда.

И так грустно было их провожать обратно. Собачушка моя на нее кидалась с визгом. А жеребеночек наш хиреет без «мамы». Сразу сдал. А такой-то был красавчик. Ну, довольно... Я не хожу больше в поле, больно его видеть, как бегает за старой лошадью. Ах, как чудесна твоя Мэри. Какая досада, что жизнь так летит — времени не видно. А когда же работать? По-настоящему? Иногда отчаиваюсь. Теперь еще лечу зубы, езда в город... Довольна очень врачом, осторожный и скоро работает. В среду поставил сразу 3 пломбы, правда маленькие, но одну переднюю. Очень быстр и точен. Даже не страшно, а то так мучительно собраться к этому сверленью. Ах, хочу рассказать тебе о «ясновидящей». Когда С. к ней пришел (шутя, компанией, больше барышни его затащили), то она просила какую-нибудь вещь, которую он чаще всего при себе имеет. Он дал стило. И она сказала: «Ваш отец умер очень давно, вдруг почти, нежданно, молодым, цветущим. Он не успел проститься со всеми Вами, но его мысли, душа его постоянно с Вами. Он не успел сказать Вам, но это его желание, чтобы Вы во всем видели Промысел Божий, помнили Бога, и чем ближе Вы будете к Богу, тем ближе будет к Вам Ваш отец. Он жил всю свою короткую жизнь только для других. Не был ли он доктор? Он и теперь помогает людям. Брак Вашей матери с ним был на редкость счастливый. По Вашему характеру Вы больше сходны с матерью в смысле замкнутости. У Вас есть сестра с сильно

развитой духовной стороной. (?!?) Вы живете здесь, но не чувствуете себя "дома", это — временно, Ваша работа не удовлетворяет вас и часто даже претит Вам. Но Вы не останетесь тут долго, и сразу же после войны уедете очень далеко. М. б. в Индию? Вы не были в Индии? — (Здесь многие грезили об Индии.) Сережа не говорил с ней, молчал больше, и она не знала голландец он или нет... Там, куда Вы уедете, для Вас раскроется широкое поле деятельности, и только тогда Вы поймете всю радость Вашей работы». — «А когда это будет?» — спросил С. «Если бы я ответила Вам на этот вопрос, то я должна была бы коснуться политики, а я этого никогда не делаю, — после войны, я сказала». Затем предупредила его не смотреть легко на жизнь, и разные мелочи. Когда она говорила о болезни и смерти папы, то она сама тяжело дышала, точно так как папа перед смертью. Сказала и о его болях. Все верно. Сказала, что его смерть — произволение Божье. Так и мы смотрим. Когда С. сказал, что он не голландец, а русский, то она сказала: «м. б. Вы поедете в Россию? Но странно, что это путешествие мне представляется по воде». Странно, что она так говорила о папе. Суть духовная нашей жизни именно и заключена в общении с покойным отцом. Всякий раз, когда предстоит что-нибудь тяжелое, он во сне является, большей частью маме, или нам, как бы напоминая, что он с нами. И тогда обычно все хорошо кончается.

Удивительные бывают вещи. И меньше всего С. ожидал, что она ему станет говорить о папе. Да и она... видит перед собой компанию молодежи, флирт, глупости... и говорит такое... Странно? Она много ему говорила о духовном общении. Как много чудесного. Но я бы не пошла.

Ну, Ванечка, крепко тебя обнимаю и целую. Будь здоров. Я так о тебе волнуюсь. Берегись. Серов — ну, как его назвать? — Нет, не люблю его! Ну, Бог с ним, кланяйся все же ему! Оля

208

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.IX.42 6-30 вечера

Дорогая, бесценная моя Ольгуночка... дивное письмо твое, все — ласка! Это Сережа которое опустил, от 18. Пишу наспех, чтобы ты получила ко дню моего рождения, к 4 окт.! Чтобы не оставить тебя без известий. Хочу быть у тебя в этот день, всю тебя обвить лаской сердца, всей моей сущностью душевной, прильнуть душой к тебе, моя неизреченная! Олюля, тобой

живу. Олюля, ты мне все счастье дала, даешь, живишь меня... Олюля... нет, нет... эти годы, да... — это святой мне свет от тебя! это награда за страданье, за муки мои, за все. Оля, я тебе завтра много, м. б. напишу... а сейчас наспех... минуты остались до закрытия почты... а то не поспеет к 4. Олюша, 25 — помнишь 25 сент. прошлого года письмо! — меня возили к французскому доктору. Елизавета Семеновна не отпустила одного. Он дал лечение на 10 дней, пробное. Прописал впрыскивания женатропина, прогрессируя дозы. Это должно показать, на нервной ли или иной почве боли. Когда мял живот и желудок — никаких болей я не чувствовал. Он сказал Елизавете Семеновне — «это "буль де нерв"»[i]. 26-го она повезла меня в лабораторию — для исследования желудочного сока. «Полное исследование». Длилось почти 2 часа. Я сидел с зондом, впервые в жизни. Сказала докторша — «идеально ведете себя». Правда, было скверно. Брала двенадцать раз сок в трубочки, с промежутками в 10 мин., — 8 штук и последнюю, через полчаса предварительно, после первых трех дала выпить чего-то вроде молочного какао, без вкуса. Это, очевидно, «пища». Исследовался процесс переварки. Результат будет на днях. После пробного лечения назначен рентгеновский снимок — исследование состояния желудка, дуодени и «есть ли действительно сужение». Что будет дальше — Бог знает. Боли бывают. Но по крайней мере эти 4 дня кончилась тошнота, доктор дал препарат содовый, — микстуру — бикарбонат дэ суд[ii], ситрат дэ суд, фосфат дэ суд, сюльфат дэ суд... — мне легче. И рвоты не было. Арина Родионовна ждет письма... Господи, какая досада, мне столько надо тебе сказать, но не было возможности, я лежал после еды... были боли. Теперь нет. Олюна, твое письмо — свет мне!! Ты все мое счастье, ты — в с е мне!!! Олюночка, когда я сидел с зондом, такой аппетит поднялся..! и я стал говорить о Москве, о булочных... и знаешь... такая картина мне открылась... такого огромного содержания-захвата! Я должен написать ее[525]. Во всяком случае, если не я — ты, ты ее напишешь. Я тебе скажу в письмах. Оля, я не ответ пишу на твое от 18 на него нельзя дать ответа: оно: огромно! Оля — ты — предел счастья для меня, ты — неохватна, твоя душа неизмерима, ты — все чудесное, что м. б. в человеке... Господи, благодарю Тебя за Олюшу, что Ты послал мне ее. Оля, целую твои ножки, твои ручки, губки, глазки... целую твою бессмертную Душу... она со мной, ты всегда со мной... и ты всегда будешь со мной. Оля, будем крепки, да... ты так писала... бу-дем! Будем верить,

---

[i] Здесь: «комок нервов» *(от фр. boule de nerfs).*

[ii] Натрий *(от фр. soude).*

надеяться. Оля, ты все, все — вся жизнь — Ты, моя песня... моя вера, мой свет, мое вечное. Оля, как я счастлив, что ты есть. Оля, забудь думать, что можешь ко мне приехать. Это же — самоубийство! Ты можешь заболеть, что — тогда?! Это счастье — ты у меня... да... — но это невозможно. Я леденею от мысли — если ты здесь свалишься!!! Да, ты будешь в заботе, да... но я не могу допустить твоих тревог, страданий, переживаний непосильных, — я сам болен... а дома ты в уходе, в заботе... и я покоен, что ты не кинута на ветре. Если я не в силах буду — ходить за тобой?!!! Олюша, радость, если бы ты была здесь... — это верх мечты... но это и предел страдания. Ты же больна! Господи! Оля, обнимаю, покланяюсь тебе, в ноги кланяюсь, моя Святая. О, как я счастлив тобой! что ты — на земле, ты здесь. Что я узнал, нашел тебя, ты — меня! Целую. Последняя минута, надо посылать. Пиши, ради Господа!

Родная, не исправляю, нет времени.

Твой вечно Ваня — о, как люблю!

Я приду к тебе в этом письме ко дню рождения, 4-го X.

209

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.IX.42

Олюночка моя чудесная, Ольга моя премудрая, тихий светик... — пил твои письма вчера, в постели, — было уже одиннадцать, ночь, а тут нанесло доктора. Но сперва о твоем здоровье. Родная, у тебя был, конечно, молниеносный грипп. Нет, ни одной буковки твоих писем не сожгу, и никакой «заразы» — от тебя не боюсь, — а и заболеть от тебя — счастье мне. Слава Богу, что ты приняла антигриппал, — ты теперь, увидишь, застрахована. Следующий прием сделаешь 20—15 декабря, помни! Только бы не было от твоего гриппа осложнений! Спаси тебя Господь. Олюночка, у меня мысли скачут, — столько всего надо тебе сказать.

Знаешь, я был 14 в церкви, хоть и слаб был очень. Дотащился, поклонился Кресту и слушал — и пел сердцем! — чудесное, «детское» мое, столь любимое, от отца-певуна, зажигавшего лампадки, — «Кресту Твоему поклоняемся Владыко...» О, какой для меня свет, в словах, в напеве! Видится Воскресение...

Олюша... я был счастлив, слабый, что пришел, что услыхал снова и снова эту возносящую сердце песнь... Милая моя, птичка моя больная... как ласкова ты, нежна, глубока, тиха, — ты все мое исцеление. Ах, как хороша твоя комната — келейка

золотой моей пчелки-Оли![526] О, палевое, золотистое, как зрелый виноград, как «свет вечерний» — окно твое, — мой любимый цвет стекол, теплый, тихий, обещающий радость, умягчающий скорби и грусть. Ребенком, я так любил смотреть через граненое пасхальное яичко из хрусталя... — и все, все — солнечное, не резкое, праздничное, воскресное... — в будни, бывало, поглядишь... — вот же она, Пасха-то... — и я возвращал ее, отшедшую. Да будет всегда от этого оконца золотой свет в сердце твоем, родная. Но я не могу сейчас ответить на все в твоих письмах , — они так полны, так — о т т е б я! — Напиши о ясновидящей, что говорила о папе, о тебе... Путается все во мне, я сейчас взбит, радостно взбит: пришло одно письмо, — от газеты... — скажу сейчас. А пока — вчера — тоже п о к а, писал почти смаху, Арина Родионовна ждала письма, последние минуты до почты. А вот и сегодня, спешу тоже. Уже 6 ч. О себе, чтобы ты была спокойна. С пятницы — 25 — у меня нет ни тошноты, ни худшего. Боли... — изредка. Вчера около двух часов были. Сегодня, после утреннего чаю с маслом и яйцами, — в 10 ч. утра — спешил в город, — в центр, конечно, т. к. я же в городе тоже живу! — не было болей и через 2 часа после пищи. В 2 ч. завтракал с аппетитом, — все время хочу, хочу есть! изголодался? — правда, я мало ел, и не вовремя, все эти недели, месяцы... — ел свекольный, протертый суп с картофелем и сливочным маслом, потом молочный кисель... — после 2 ч. были очень небольшие боли, около 20 мин., — прошли. Спасибо, докторок мой чудесный, я сделал, как ты сказала, сбил белок, прибавил воды, и три раза принимал, — отлично! Сейчас пил чай с маслом и молоком и... оставшийся от белка желток сбил с сахаром и капельку рома — ! — и я сыт, и пишу — спешу. М. б. буду набирать вес? Ты знаешь, такое искушение: даже ночью — все — грезится-думается, — а что я могу поделать? — ну, все разные кушанья... то поросенок с кашей, то солонина, с огурцами, горячая, жирок дрожит... пар такой... — то — булочная с заваленными прилавками — и нашими весами! — и маковые хлебы, — знаешь, спиралями чернеет-слезится? — то подковки, сушки, баранки... недавно стал пряники перебирать в памяти... и что же полезло! — такие вороха, такой огонь — жар — явь! запахи, слышал, как носик розанчика поджаренный пахнет! — слойки полезли, жавороночки, — заплетенные коски! — сайки с впеченной в донышко изюминкой, соломинкой! — о, как бы я все это изобразил — и хочу, хочу, такая т е м и щ а — вылезла... в лаборатории! когда я сидел с кишочкой, а Елизавета Семеновна слушала меня и... пускала слю-ни..! — и я пускал — в... пищеварение-то лабораторное!! Ольга, ты не знаешь, не помышляешь, к а к а я это

тема и на какой *основе*, — с глубочайшим *смыслом*!!! — о, что я могу дать!!! Вот оно, — «звезды глубоко тонут и в прудочке», — сказал один величайший и прекраснейший мыслитель в мире, — ты знаешь его?! — я это скоро повторю[527] так, чтобы все знали, — там услышат! — сотни тысяч прочтут и — подивятся мыслителю, и это надо мне, тебе, всем. Ольга моя, ты знаешь, если мне случится написать, что пришло — о съедобном, — это останется. Это же гимн, — из гимна Ему, Всеблагому! Ольга моя, знаешь ли ты, что когда я подумал о виноградинке в сайке... — что я узрел!? и — в соломинке запеченной... — все узрел. Ольга моя... — как одарены мы, люди — Им! — В каждой пылинке — сколько смысла, величия, красоты, — да, именно «красоты, которая спасет мир», — выкрикнул Достоевский устами Алеши[528]. «Красота спасет мир»!!!! Ольга, Ольга... как ты мне дорога, как я все имею, узнав тебя... — приняв тебя, открыв, услыхав тебя, ненаглядная, неизреченная моя. Как ты чудесно пришла ко мне! Нет, я не пустил бы тебя в отель... ночью... нет! И ты поняла бы, почему. Ты, редкая, заглянула... в ночи... в огромном городе... ко мне, одинокому! Я уложил бы тебя, мое дитя, мое чистое, мое святое дитя... — сам до глубин чистый, очищенный видением тебя, сердцем чистым твоим, мой дорогой ребенок, моя дочурка... Я не коснулся бы тебя тайным взором, рожденным чувствами... я как святое святых стерег бы тебя, тишь в тебе, молчание твое, дрему твою. Усталую ласковость твою, блуждающую твою улыбку. И ты поняла бы меня, и ты осталась бы с Ваней, с братцем, с папочкой с родным, — самым родным, что только есть у тебя родного. Я зажег бы лампадку, и Пречистая благословила бы сон твой, мою сторожбу, радость мою святую. Я слушал бы твое дыханье. Я пропел бы тихо тебе «Кресту Твоему...» — я прочитал бы «Богородицу» над тобой, как няня, как мама, как папочка, как Ваня твой, весь и навсегда твой. От тебя идут токи в меня, творческие, святые токи... моя Ольгуна. Я должен ценить их. Да, я знаю: я могу дать много-много, нового, свежего, глубокого. Как же я чувствую это, силу мою, от тебя. И ты вольешь в себя от моей силы, — вот она, наша чудесная зараза! — и сколько ты в себе почувствуешь жизни... — духовного зачатия! Не думай, я не аскет... — но тут-то ты была бы в надежной броне, мною — и тобой — выкованной! — броне благоговения перед святым в творчестве, во Имя Господне! — И ты провела бы лучшую из твоих ночей... — брачную ночь искусства Божия, горящего в нас... — чистую ночь двух любящих, и двух девственных... — без мук, без волнений... — ибо все чудесное-острое... временно отступило бы перед тайной встречи истинно любящих! Утром

я поцеловал бы мою голубку у височка, у глазка, у ротика... — и как нежно... как птицы целуются! А потом... — пришла бы такая часть м и г а... — потом... — независимо от нас, от воли, хотений, страстей... — в с е исполнилось бы... если это было бы нужно — да, нужно, м. б.! — но не э т о — основа нашей встречи. Мы с тобой, при всей страстности нас обоих, — знаю! — в огромной мере — д у х о в н о дороги друг другу, духовно счастливы друг другом... — и все остальное было бы лишь уступкой плоти... м. б. очень роскошной уступкой, захватывающей — до сладости смертельной. Мы же супруги в высочайшем смысле этого понятия! Я так чувствую. И мы — созвучны, потрясающе созвучны. Мы оба хотим чистоты, тихости, головокружительной высоты и глубины... кричащего в нас, просящегося высказаться содержательного молчания! — творящего!!! Да, Олёк? О, ты все поняла, ты во все проникла, в моих будоражных словах. Мы с ползвука все схватываем. Нам и говорить не надо, — только смотреть в глаза. Мы как бы умные, мудрые зверюги... — без языка... но с огромными чувствами и мыслями — и движениями, шевеленьями мыслей... — чудесных, как движения ребенка в утробе матери. А теперь, — надо спешить, — видишь, опять не отвечаю на — письма: получил письмо. Редакция согласна, чтобы я «ответил» на «два письма» напечатанные в «Новом слове». И я начну отвечать. М. б. это будут две, три статьи мои... Это очень важно. К о м у же отвечать ныне, как не русскому писателю?! Ведь «вопросы» и недоумения русской души, русской женщины, девушки... эти вопросы т а м — у сотен тысяч. Все — в хаосе. И в с е ищет ф о р м ы. Я д о л ж е н попытаться дать ее, навести, направлять! указать, укреплять, поднимать замордованные души. Это... исконный к р и к ищущей, ж и в о й, бессмертной русской души! И я попытаюсь... Не осуди меня, если я не осилю... — я постараюсь быть достойным тебя, моей любимой: я и для тебя, — главное-то! — для тебя о т в е ч у. И ты не укоришь меня. Я буду верен святому нашему. Г л а в н о м у в нас. Я найду формулу, я о т в е ч у т а к, как достойно русского человека, правду, П р а в д у, которой бессознательно служил всю жизнь. Я сыщу свои тайники, я открою источник живой, чтобы утолить... Я не заношусь: я смиренно прошу Господа мне помочь. Столько страданий и голоты — во всех... И во всем мире. Я не дерзаю заявлять, что я все смогу, но я х о ч у оправдать свое назначение. Пришел срок — пытаться строить разрушенное и оскверненное. Душа томится — о б щ а я, т а м. Я хочу ей дать каплю в жажде, светик во тьме. Выпрямись, бодрей смотри, — путь велик твой, Душа родна! Олюна, благослови, помолись. Какая сила в тебе — для меня! как счастлив я тобой, моя же-

ланная, вечная Ольгуна! Целую. Обнимаю. Не думай, что я в лихорадке: нет, t° нормальная, конечно. Но это всегда со мной, когда «возьмет». Твой Ваня, Ванёк. Напишу скоро.

[На полях:] Я хочу на этой же неделе сдать 1-ю статью[529], чтобы скорей. На той неделе пойдет, если... пойдет. Ваня

Ваня не может молчать теперь. Напечатаю еще не включенные в «Солнце мертвых» главы «Панорама» и «Туман». В России «Нового слова» более 400 тыс. экземпляров! Редакция согласна печатать 5—6 избранных мной глав «Солнца мертвых»[530]. Ольга, выбери сама. Скажи. Как выберешь, так будет.

А сколько тем у меня! Жизни не хватит. Ольгушка, напиши, какая тема тебе пришла: жадно буду читать, даже если и не талантливо выйдет. Нет, будет талантливо, ибо у тебя все — ты, а ты — Дар Божий.

У меня тема неисчерпаема. На тысячи этюдов!!!

Я силен тобой, Олюша. Голубка, как дорога ты мне! И все, все дороже, безмерней. Я тебя представил в лаборатории. Это ты была, и я потому был «идеальный», покорный.

Дочего люблю суп из потрохов!! Смеешься? Такое — и... потроха! В Жизни, — а она от Бога, — ВСЕ — одинаково важно и велико. До запеченной виноградинки в сайке! И я это... покажу!

210

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.IX.42

Мой милый Ванечка, именинничек дорогой, самый дорогой... бесценный мой! Поздравляю тебя, мой голубчик, обнимаю, всем сердцем прошу у Господа тебе здоровья, сил, бодрости, радостной работы! И все это, конечно, тебе желаю. Не только по случаю Дня ангела твоего, но всегда, решительно всегда.

Как досадно мне, что поздравила тебя розами к ошибочному дню рожденья, — я думала, что ты уже на новый стиль перевел, как я это сделала (не 27.V, а 9.VI). Ну, прости глупую Олю! Поздно уж послать теперь к настоящему дню, и даже письмо, думаю, не поспеет.

Ванёчек, я буду с тобой и 8-го окт., — тебе тоскливо будет?! Не скорби слишком сильно, побереги себя.

Конечно, у тебя многое от нервов. Наш болящий друг (он опять каждое воскресенье у нас, но следующее не будет, т. к. опять по делу в Берлин) совершенно похоже страдает. Ему хороший врач дал лекарство прежде всего для нервов, и через них

оно должно действовать и на желудок — Bellargal. Ему хорошо помогает, но трудно достать его. Я ведь тоже чего-то маялась было с желудком, так он и мне оставил. Но, слава Богу, не понадобилось.

Я только хочу сказать, что этот господин, когда «утряслись» его нервы, совершенно переменился. И подумай: ел (когда еще жарко было) окрошку (!!), салат зеленый, томаты, винегреты... А в последний раз, т. е. позавчера: щи, жареную баранину с картофелем, зажаренным в этой же кастрюле, в жиру плавающим (мы так любим), салат зеленый... Он обязательно хотел, хотя и было для него отдельно, но в этот раз мы не могли себе, и главное Сереже, отказать в меню, о котором мы — казанцы, давно мечтали. Не было болей. А на другой день были к завтраку грибки-лисички и Kartoffel-Puffer[i] (это из сырой тертой картошки пекутся в шмальце[ii] «блины»), для него была каша, яйцо и творог. Но он безудержно ел все. И... ни-ни, никакого даже «ощущения». Ну, что ты скажешь? А у него колоссальная язва по рентгену. Он заметно оправился, как только удалось ему (не без нашей с мамой помощи) ввести в равновесие себя и нервы.

Ванюша, дружок, ты не думай страшных дум. Прошу, молю тебя! Н е т у тебя того, что ты думаешь! Конечно, н е т!

Я много таких видала, — знаю.

Понимаешь, — у тех — не бывает болей. И самое главное: — кислотность лучший тебе гарант, что нет. Это же как раз то, что следует доказать. М. б. у тебя параллельно gastritis?[iii] Это скучно, неприятно, но не опасно. Длительно, тягуче, надоедно, но диета — все... Эта слизь, «вязкость» — обычно показатель на гастрит. Ну, у тебя: м. б. gastritis acida[iv]. Ведь это действительно очень может быть, Ваня. Оттого и тошно. Разве мудрено это при всяческих суррогатах? Но, слушай, Ванёк, не сердись только, не брыкайся, а как детка-пай подумай спокойно: не лучше ли тебе для обсервации лечь в клинику? Почему ты так этого не хочешь? Тебе все же самое главное нужен режим. Нет, Ванюша, т в о й режим, — (прости меня), не режим. И главное: упадет у тебя настроение, нет аппетита, ну и не ешь, — поднимется настроение, — засуетишься, — забудешь еду. Это же так понятно. Там этого быть не может. Я сама испытала и знаю. Подумай! Нельзя же возиться с болезнью и делать ее хронической. Тебе же нельзя болеть, — подумай, —

[i] Картофельные оладьи *(нем.)*.

[ii] Топленое сало *(от нем. Schmalz)*.

[iii] Воспаление внутренней оболочки желудка *(лат.)*.

[iv] Гастрит с повышенной кислотностью *(лат.)*.

сколько у тебя работы! И... потом... кто знает? — я м. б. приеду... Нет, поправляйся, брат!

Получил ли ты мое письмо с поздравлениями[531] к рождению вот на такой же бумаге?[532] Я послала его кажется 10-го, с шофером, а квитанции он мне не дал. Я там коснулась и «Солнца мертвых». Получил ли? И почему же не отзовешься? Напиши.

Сегодня дивный день, — ах, если бы повременила стужа! Мне в этом году как-то особенно жаль лета. Не видала я его с болезнью. Если тебе дадут разрешение на поездку, а ты будешь себя плохо чувствовать, то не езди, но не дай пропасть визе, можно заявить о болезни и попросить ее повторить в более благоприятное для тебя время. Так делал и Фасин муж, и о. Д[ионисий]. Хорошо? Или ты сам не хочешь уж? Кто знает!? Ну, я шучу, — полу-шучу.

Сегодня видела тебя во сне: — ты поцеловал меня в «душку», но потом... превратился в другую личность, даже в какую-то девицу. Мне было томительно это. И я опять тебя не видела в лицо, — как и всегда.

Ну, Ванёчек, будь же здоров! Сходи в церковь! Если будем здоровы, то собираемся на Богослова в Гаагу с мамой. У меня ведь Праздник! У меня — Именинник! Ты и будь хорошим именинником, светел, радостен, покоен! Целую тебя, мое солнышко. Оля

Милушка, роднуся, дорогуся, ласкунчик, Ванюнчик, Ивчик, Ваник, Иваник, Иванушка, Иван-Царевич!

211

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.IX/4.X.42[i] Ванино рожденье.

Ванечка — солнышко! Как я сегодня все время с тобой... 2-го письмо твое — стремление придти ко мне к 4-ому... Но какое грустное оно. Ванюша, не томись болезнью. Я так рада, что ты был у доктора. Доволен ли ты им? Это много значит — впечатление. Напиши. Тебе делали так называемую «фракционированную вытяжку сока». Вообрази себе, вспоминая, «докторшу» Олюлю. Это — мое было дело. Я хорошо вставляла зонд, даже самые нервные не давились. А часто и у врачей не выходило: однажды у нашего ассистента до того дошло, что пациент ему до крови перекусал пальцы, бегали по комнате — пациент пятился, а врач его настигал. Двери заперли, а мы в щелку смот-

---

[i] *На конверте помета И. С. Шмелева: чудесное письмо!*

рели — хохотали. Кончилось тем, что больной, когда ему было велено сесть, плача заявляет: «не могу». — «Это еще что?» — «Не могу... у меня... у меня...» Я не могу докончить, но догадайся, — с ним случилось то, что только дети могут сделать в штанишки от страха. И вот этакого-то пациента через 3 дня прислал ассистент ко мне. И мы... шутя вставили, — правда я сперва сама на его глазах проглотила «оливу». А то уж ему сестра даже через нос пробовала вводить. Ну, довольно. Ванечка, напиши тотчас же, как будет известно, что у тебя. Я подчувством знаю, что ничего страшного. Ты будешь здоров!

А как все эти дни я грустила о тебе... Эти последние дни, наши дни, сентябрьские дни — были особенно хороши: утра туманные, опаловые, мокрые, идешь и слышишь, как с набухших веток капли падают в канал.

А к полдню солнце прорывает эту завесу и, о, как чудесно тогда... Как тихо, нежно. Какие-то особенные дни. Все будто сладостно замирает, будто последняя ласка — эта тишина теплая. Около полдня даже жарко... А ласточек-то уже нет!.. Грустно... Какие серебрные дали... И какой еще яркий луч. Я ушла в плодовый сад, сижу на порожке куриного «палаццо». Смотрю на запад сквозь тяжелые ветви с бронзовыми, пунцовыми, лимонными шариками... Колья, поддерживающие ветви, прочно уперлись в землю — под тяжестью плодов. Ах, какие розово-опаловые зори... И такая грусть... У меня бывает это. Отчего это? Будто хочешь понять что-то, сказать, уловить, передать другому... и... не знаешь что... И оттого, что не находишь четкости у мысли, не находишь даже и самой мысли, и тем более слов, оттого что все же это «что-то» — есть, и я его ощущаю как некую тайну, — оттого мне так благостно и так грустно... Это бывает весной, бурно и беспокойно, и это бывает осенью... более благостно и тонко... Я люблю это, хоть и томлюсь, хоть часто и плачу от неведомого чего-то... Тоска ли это по несбывшейся жизни, или чуяние Вечности и своей мимолетности в этом дивном мире? Или это грусть по счастью, существующему только в грезах, в сказках?

Бог весть... Я думаю, что у великих людей-творцов, такое состояние предшествует их творческому акту, и как должно быть чудесно, когда угадать эту Т а й н у они смогут... И выразить!

И м. б. все это — лишь маленькие искры — золотинки, падающие из «Божественной Кошницы» на землю, поймать кои не всякому дано, напоминающие о... «Т а м». И потому такая святая грусть... Не знаю.

Сегодня (со вчера до завтра) мама у Сережи, а я не могла, — задержали дела. Хотела пойти в Wickenburgh, чтобы помечтать

о тебе... там всюду образ твой для меня. Как было тогда чудесно! Но далеко мне идти. Я ушла перед зарей вечерней в сад. Далеко от дома. Он тянется непосредственно от дома длинной полосой. На полдороге (около 1/2 километра от дома стоит куриная избушка (здесь не любят кур около дома! — дико?), и мне кажется, что я совсем, совсем далеко...

Сосед по усадьбе скосил еще раз траву, и так чудесно пахнет сеном, — иллюзия весны... А из сада тянет чем-то вроде розмарина. Яблоки что ли? Собачонка моя гоняет нещадно кур, ну что мне с ней сделать?? Смотрит виновато и лижет трепетным язычком ноги... За ухо? Визжит... Ах, как тихо... Где-то вдали орут ребятишки... похоже, как там, у нас, дома под горой у реки — вечный был там крик. Так и знаешь — река. Я читала на днях роман Чирикова[533]: «Мой роман». Мне понравилось. Понравился этот подход к любимой, это чуяние святого. Как ты ценишь Чирикова? Он, как человек, не может быть по-моему плохой, дав такого героя. Фася, отдавая мне эту книжку, сказала: «ну, это немножко слишком “свято”, чересчур “благородно”, таких мужчин не бывает...» А я думаю, что бывают. И мне стало жаль Фасю, что она не верит в это.

Я всегда верю, и верила. М. б. потому так горько и разочаровывалась, что слишком верила. Но без этой веры все же жить нельзя. Опять-таки, — по-моему. Я не знаю, велик ли талант у Ч[ирикова], — думаю, что не слишком. Но, читая «Мой роман», я плакала.

Ты как-то мне писал, что я видимо «очень юна, если так воспринимаю книги». А какая же юность в мои годы? И потом... я сама пишу сейчас... мелочь одну. И плачу. Глупо?! Потом Фася же дала Мазурову — «Земля»[534]. Ты читал? Это вот не тронуло. Гребенщиков дал отзыв как о самой интересной книге эмигрантской литературы. А мне не нравится. Прочти, Ванюша, и скажи... М. б. я — профан, не чувствую искусства. Ванюша, береги себя. Пока не работай, — ты догонишь, когда оправишься. Да, Ванюша, видно нам не скоро увидеться. Мне, кроме всего, не получить было бы визу. Но как ты... испугался... «Забудь думать, что можешь ко мне приехать...» Ах, Ванюша... Ну, забуду... хорошо!

Но м. б. поедет к Вам один голландец[535]. Попрошу зайти к тебе, или послать почтой что-нибудь. Не знаю только, когда. Ванечка, как название того Hôtel'я, где жили Квартировы? Я в разговоре сказала, что это такой, где тепло было... Так ведь? Меня спросили, какой и где. Ему этот район Paris 16-е очень подходит. Если не трудно, голубчик, — укажи. А то Оля, как глупенькая — говорит, не зная что. Собачонка сзади тычется, лижет локти мне, а я это не очень люблю, брезгую, и за целый

день не забуду (если нет возможности раньше вымыть), будто горит это место. Сегодня у меня такой праздник... Я сейчас ушла к себе, умылась, оделась, причесалась, надушилась (не для кур же? А для кого же в поле-то??). Для себя, и тебя в моем сердце! — Вот для кого! И я себе сегодня нравлюсь. Хотела бы тебе показаться. В прошлом году, 5-го окт. (завтра) я снималась «девушкой в ветре»... Но было куда холоднее, и цветов было меньше. А теперь сняться нельзя — не продают пленок. Жаль! Ну, Ванёчек, неужели кончать? Так скоро исписывается наша «норма». Как грустно мне без твоих писем. И как я жду.

[На полях:] Еще раз обнимаю именинника.

Напиши, получил ли мое о «Солнце мертвых», о переводе? И о книгах твое мнение («Мой роман» Ч[ирикова] и «Земля» Мазуровой), и еще об Hôtel'е, очень прошу! Не забудь эти вопросы!

А заря уже началась... Коровы порозовели в опаловых далях. Туман опять будет. Целую еще и еще. Твоя «пастушка» куриная.

Собака мешает, всю излизала, отогнать не могу.

Ваня, умоляю: если не трудно пришли мне о Яйюшке, это кажется в письме от 20-го авг. Мне надо, очень! Я пошлю, тебе опять, если хочешь.

Но не утомляйся! Если не трудно, черкни об отеле. Прошу.

Обнимаю тебя, мое сокровище, и молюсь за тебя. Будь здоров и Богом храним! Твори радостно! Но, когда поправишься! Целую моего родного Ваню. Олюля

5.IX.42 Посылаю цветочки: незабудочку — небесную нежность, ромашку — это полевое солнце, и мак — такую яркую любовь земли... Мама вернулась, отвезла мои деревенские гостинцы, а мне привезла гостинцы из лесу — кучу грибов и кисти рябины. Твое письмо от 29-го. Отчего ты не соберешься спокойно со мной поговорить, а все только за минуту до почты? Будь здоров!

212

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.X.42

Дорогая Олюночка, 7-го писал тебе и не послал, не мог: очень мрачное письмо, — и хорошо сделал, — это был час упадка душевного. Спешу хоть открыткой тебя успокоить, нет возможности написать большое письмо — я лежу большей частью, а лежа писать не умею. Очень большой упадок сил, до полуобморока. Не выхожу, чтобы не упасть на улице. Меня завозили по

докторам. 8-го снимали radio и просвечивали. 14-го (Покров Пр. Богородицы) доктор должен решить, что со мной делать. Рентгенолог выразил надежду, что Antoine назначит лечение, а не операцию. У меня «старая язва» и незначительное сужение от нее. Вся пища проходит совершенно свободно. Теперь мне лучше, боли реже, тошнотность тоже очень редко, рвот нет. — 4-го — Рождество — я был почти прежний, надел твою фуфайку и обцеловал ее. День ангела был для меня черный, — отчаяние. Теперь — светлее. Елизавета Семеновна полна заботы, много сделала для меня. И Юля. И — все. Целую тебя, родная детка, благодарю за красивую бегонию, за чудесные твои письма. Они мне — единственный свет. Напишу в с е, после 14-го. Будь покойна, м. б. все со мной обойдется и я буду светлым. Так хочу писать! Написал 1-ую статью, для газеты. Будут (должно быть) еще несколько. Как я устал! Сколько ночей без сна!

Целую твои глазки, детка. Твой Ваня

[На полях:] Отвечу на все.

Нет висмута, а он нужен.

Очень исхудал!

Аппетит есть, м. б. перестану терять вес.

Если найдешь, пришли висмута.

25.IX — вес был 44,400 kg. Теперь — не знаю.

Не могу лечиться, нет висмута.

213

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.X.42 3 ч. дня

Дорогая моя Олюночка, заждалась письма... чувствую... — прости, родная. Еще 7-го написал тебе, но, задержав на день, увидал, — дочего же «отходное» письмо, оно отравило бы твою душу, лишило бы покоя. Было написано в состоянии подавленности, которое может быть объяснено лишь крайней степенью нервной слабости, раздавленности, — будто уже з а с ы п а н. И не послал. И рад, что не послал.

Мне надо укрепить расшатанные нервы, всякие... — только тогда я верну себя себе и другим — для работы. Я — как бы в вечном «упокой», но это мало оправдано сущностью, — ну да, я болен, давно болен, но т а к же я был болен — и еще острее — и раньше, давно, и в 28 и в 34-м, и в 37—38 гг. И стоит мне — у й т и от с е б я — я — другой, сразу. Но к делу, к ж и з н и, голубка моя. — Я получил твои праздничные письма, нежные, золотые письма. Но по порядку. — 4-го я был радостен, почти здоров. Надел твою фуфайку, обцеловал ее. Гости говорили —

«какой вы красивый...» — !? — Это я-то!.. А я был весь только с тобой, ты у меня была. И это — давало силу. О розах писал... — чудо-розы! В четверг — радиоскопия и графия. Доктор-спец, — чудесный кабинет! — был, прямо, нежен со мной, до чуткости тончайшей. Оказывается, — мой читатель! — да, француз читал «Гарсон!»...[536] — «Человека из ресторана». И назвал правильно мою фамилию, по транскрипции литературной на — ов. Другой доктор-терпевт, Антуан читает «Солей де мор»[537] — ему караимочка дала, и он выпросил — насовсем, чтобы послать своим сыновьям-юношам, дабы знали, что такое «страдание»! Новых два читателя-друга. Меня рентгенолог исследовал очень тщательно и стоя, и лежа, и нажимая, и... — все. И была тут же караимочка, которая повезла меня на «силь-ву-плэ» — впервые в жизни — на человеке! Она видела «старую язву» — пятнышко. Доктор нашел «маленькое сужение» и выразил уверенность, что Антуан назначит лечение язвы, м. б. пробное, на 3 мес. Думает, что операция не потребуется. Решаться будет в среду, 14. Мне необходимо — знаю! — лечение неврастении, полной нервной разбитости. Надо укрепиться, нужно какое-то впрыскивание, — мне помогало «сэрум антиневростэник» — мышьяк, стрихнин и еще что-то. В этом году не делал — вот и пошло. Боли бывают, но 8 и 9 не было ни днем, ни ночью. Эту ночь было — часа два, покрыл их глинкой. Но вот беда: нет висмута, обыскались все. Твое «Бисма-Рекс» очень пригодилось, но на днях принял последнюю ложечку. Если найдешь что у себя — пошли как-нибудь. Но лишь бы мне «светлое настроение», и я — увидишь — залечу язву за две недели!

Вчера — день горький[538], хотел в церковь, панихиду и молебен, и не мог: ужасная нервная слабость повалила, я почти весь день лежал. Твой светлый поцелуй — очень красивую бегонию принесли мне на День ангела. Я ее целую, родная детка. Я б[ольшей] ч[астью] лежу, и мне трудно писать лежа, не умею. Много дум, много наплывает тем... — ско-лько бы я мог дать еще! Чтобы не забыть: отель, где топят, и очень тихий и комфортабельный — на рю Моруа, в том конце ее, что выходит на авеню Версай, называется Ройяль-Версай. Там живут военные, и потому топка зимой и осенью. И цены сходные, только надо бы заказать комнату заранее, а то все нарасхват, — парижане греются. — Олюша — горе мое, нельзя найти висмута, а это меня только и спасало. Не могу, устал... — а надо идти на почту, старушка ушла, а идти мне трудно, я так ослабел. Подумай, — 25 сент. вес мой 44 и 400 гр.! Теперь не знаю, аппетит есть, м. б. я перестал терять. Ну, 14-го решится вопрос, что со мной делать. М. б. и не будут — пока — опериро-

вать..? Страшный упадок сил, — 27 сент. в церкви я чуть не упал, едва дотащился. Сейчас мне лучше, я много ем. Я, кажется, оголодал... и отсюда в с е. Ну, и много было переживаний, очень тяжелых. Да, я оголодал, я жил на нервах, а питание забывалось.

Целую тебя, моя родная девочка... Я написал статью — «ответ на 2 письма»... — не люблю я писать статьи, а н а д о. Но надо еще 4—6 м. б. статей.

Крещу тебя, родная, помолись обо мне. Спасибо, добрые люди заботятся, особенно Елизавета Семеновна — вся заботливость. Олюша, я был бы счастлив безмерно, если бы увидал тебя, если бы приехала... — верь мне, я не «боюсь» твоего приезда! Я боюсь з а тебя, за возврат твоей болезни... — я страшусь, что, больной сам, я не буду в силах отдать тебе все силы, все заботы... — вот чего страшусь! Как же ты не хочешь мне поверить?!! Мне это больно. Какие чудесные письма твои! Как я в и д е л тебя в плодовом саду!! к а к ты дала все, все! Оля, пиши, родная, работай... — Бог даст, мы пойдем рука-об-руку... — мы будем вместе, дружки, с л у ж и т ь Господу! Я хочу верить... — только бы вернуть силы. Сколько мыслей, картин!! Мысли томят и не дают спать.

О, как нежно льну к тебе, как целую ручки твои, реснички твои... — о, моя «девушка с цветами»! как ты прелестна! как — дивно-чудесна! — о, если бы хоть на миг очутиться с тобой в том далеком саду... — припасть к твоим коленям, слушать с тобой ход тихой осени... слушать, как капли тумана шуршат в листве... как посвистывают синички... о, как чудесно смотреть на спящие яблони, загруженные плодами... — и какой воздух! как дышат они душисто — томно!!! О, как я счастлив был бы, хоть миг...

13.X. Два—3 дня нет болей. И ночью не было. Аппетит. Кажется, перестал худеть, да, да. И тошноты нет. Все утро писал — я, кажется, дам целую систему жизни. Не люблю статей, но уж разгорелось — должен закончить. Основная тема: отношение к жизни как — таинству. Человек может создать жизнь-совершенство. История мира — вся — в Плане Божием. Миссия России. Почему нам выпала Голгофа? Что самое важное для переустройства жизни. Ценность русской души. Ну, ты увидишь, если завершу. Русское издательство в Берлине просит для издания новую книгу. Предложу новое издание «Солнца мертвых» с дополнительными 2 главами. Или — новое — «Чертов балаган», куда войдет «Каменный век» и десяток рассказов, — большая часть их написана при жизни Оли; часть — 3—4 — после. Требования (огромные!) на книги т а м. Дам лишь на определенное количествово экземпляров и с оп-

ределенным (не менее 20) % — авторских. Требование Берлина на немецкое издание «Няни» — швейцарское издательство почему-то не шлет. «Лето Господне» и «Богомолье», случайно попавшие в Берлин (по 20 экз.) — расхватали в один день. Требуют, а из Белграда нельзя достать — да там, кажется все продано давно. Пишут из Берлина — «Вы и не представляете себе, какие — и сколько — у Вас читатели! «Не удивляйтесь, к Вам приедет одна дама, — она все может». Ничего не понимаю. Должно быть думают, что я бедствую? Зовут устроить чтение в Берлине. Нет, я не поеду никуда, пока не встану. Слава Богу, аппетит — огромный. Но... я хочу мяса, а его ма-ло... Была сейчас Елизавета Семеновна, принесла чудесного, из имения, творогу и побежала — принесет какой-то особенной баранины. В День ангела — цветы, груши побольше фунта. В Рождество — чудесный шоколад и... носки... — чудесные. Трогательная она. Она, буквально силой заставила ехать к доктору. Если я поправлюсь — то только благодаря ее заботам и ее мужа. Они меня оберегают от... истощания, до трогательности. Оля, ночами я просыпаюсь и думаю о... поросячьем заливном, о гречневой каше, о щах с головизной, о наваге... — безобразие. Да, я отощал. М. б. — если буду благополучен, уеду на воздух, — если найдется хороший пансион. Денег у меня довольно. А впереди — сколько угодно. Усиленно начинают просить книги.

Олюшенька, свет мой, хочу видеть тебя, весь с тобой! «Яйюшку» постараюсь переписать, а подлинного письма не пошлю. О книгах — не читал и не буду. Мнение Гребенщикова — круглый 0. Это же — серые писатели, — как ты не понимаешь. Это — рассказчики — и слабые. Когда свидимся — все поясню. Пойми: истинных художников — 2—3 в полстолетие! Потапенки, Баранцевичи, Тимковские, Вербицкие[539] — все пыль, уносимая ветром дня сего.

Целую. Твой Ваня. Устал. Хочу ко [всенощной].

214

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.X.42

Светлая Олюночка, спешу успокоить тебя: доктор вчера установил точно: старая язва duodeni, образовался «корридор», сужение, но вполне свободен проход из желудка по duodenum, (сужен вдвое!) Он опасался «злокачественной язвы». Этого нет. Надеется вылечить. Назначил впрыскивания (12) «bistropa» (?) Очень строгая диета. Без мяса в течение 10 дней, потом — толь-

ко hachée[i]. Лежанье почти все часы дня. Спать — в 6 ч. вечера! Вставать — в 10—11. Ужас. Я хочу писать. Был удивлен доктор: прибавил весу почти 3 кило! За 15 дней!! Очень большой аппетит, но... трудно с едой. Друзья помогут добыть. Елизавета Семеновна 4-й раз возила меня. Доктор сказал: исследование сока дало: следы крови. Говорит: все время язва кровоточила. Отсюда похудание и слабость. Надо строго беречься. Боли — вечером, часа 2, терпимо. Кислотность в 4 раза больше нормы. Сейчас нет (эти дни) отвратительной тошноты и отрыжки гнилой. Чувствую себя крепче. Я, ведь, дошел до... полного изнеможения! Господь м. б. и на этот раз отсрочит †, и я закончу заветное. Я подробно напишу тебе все. Лежа трудно мне работать. Я должен написать еще 3—4 статьи, по важному вопросу. 1-ую послал, — пропустят ли? Как я хочу писать! Олюночка, я тебе напишу, как мы «встретились», — ты — в Париже. Извини, что мало пишу тебе. Эта возня с исследованием. Все по часам. Лежанье. «Арина Родионовна» у меня каждый день. Все готовит. Милая дружка моя, Господь с тобой. Как твое здоровье? Напиши. Тоскую. Целую. Твой Ванёк. М. б. выздоровлю.

215

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.X.42

Милый мой Ванюша, открытка твоя от 12-го меня очень удручила. Не могу удержаться и не побранить тебя за то, что все-таки мало бережешься. Ты будоражишь себя статьями — полежал бы пока без писанья. Одной неделей раньше или позже — ничего не меняет. Я по отчиму знаю: начнет по «насущному вопросу» теребить нервы — писать и... конечно заболеет. У него даже и стеноза-то от нервности была. Ну, как знаешь. Я приложу все старания к тому, чтобы найти висмут, хотя трудно-то теперь; ну в разных местах м. б. еще и найдется. И м. б. «Bisma-Rex» хорошо? Но как послать? Здесь, говорят, был Лукин, но, конечно не сказался мне. Я не знакома. Какая досада!

Многое бы хотела тебе послать... Но как? М. б. поедут отсюда к вам, но когда!?!

Я не писала тебе долго, Ванёк, и чувствую, что и это... не будет письмом, как бы хотелось. Не могу. Я каждую минутку живу тобой и очень, мучительно за тебя тревожусь, хотела бы утешить тебя, ободрить, успокоить, а вот писать не могу. Очевидно бывают такие душевные состояния, когда трудно бывает выска-

---

[i] Рубленое мясо *(фр.)*.

заться, подойти к другому, даже очень близкому, даже к самой себе. Нет, нет, я могла бы всегда к тебе подойти и все сказать, но я знаю, что многое тебя бы могло растревожить. Я боюсь тебя утомить, больно взбудоражить своим. И мне трудно, т. к. я не привыкла тебе писать только частицы, не говоря в с е г о, а т е - п е р ь, пока я всего не хочу, не могу. Не хочу, потому что думаю только о твоем здоровье. Поправься, голубчик, поскорее.

И м. б. стало мне так странно на душе еще оттого, что письма мои последние к тебе — все сердце — уперлись в тупик какой-то и остались без эха, без ответа.

Не виню, конечно, — ты болен... И м. б., оттого, что я не понимаю чего-то (или наоборот... боюсь понять что-то) из твоего последнего: «выбрось из головы, забудь думать приехать в Париж»... А перед тем: «Оля... если я не смогу к тебе приехать, то ты, ты, ты... смоги!!» И многое что еще, — из того, что много раз спрашивалось... и м. б. что давно дОлжно было быть понятым умной женщиной. А я... по-женски я никогда не умна. Это горе мое. Ну, хорошо, я постараюсь понять.

Ты не сочти, что я на тебя в обиде, претензии, или еще что. Конечно же нет. И не хочу, чтобы ты волновался. Не пиши и мне, если тебе трудно, но я хочу знать что с тобой, я же мучаюсь. Пойми ты! Неужели н и к о г о не найдется, кто бы написал мне 2 слова о тебе? Какой Серов жестокий. Как я его молила! Он костный[1], жестокий, не чуткий, — понимаю, что его жена ушла.

Ах, я не хотела писать тебе правды, но теперь не могу терпеть... я же опять хворала, почкой, кровью!

И как о тебе терзаюсь при этом! Я верю, что ты оправишься скоро, как только нервы свои возьмешь в руки и отдохнешь, но мне томительно ничего о тебе не знать. Обо мне не волнуйся: ничтожно-мало было крови. Я была у Фаси, после моего зубного врача и там... открыла, что «цвет странный», не красный, а такой буровато-желтый, мутный. Мы дали отстояться и... осела на дне кровь, но тоже не яркая, а коричневая, немного. Это старая кровь, — значит ночью м. б. было, а не явилась. Поехала домой, легла. Больше не повторилось. Но велено было все же лежать. И теперь я снова ничего не смею делать. Я встала сегодня. Не страдания от болезни, а сам факт этого возвращения меня убивает. И как раз всякий раз тогда, когда назревают планы. Я не писала тебе о том, что я задумала, но это было так... прекрасно. Dr. van Capellen велел «тотчас» начать снова витамины. А я... не верю им больше. Понимаешь? Не верю. Н и к о м у. Наш друг рассказал, что его посылали к кому-то, что лечит загово-

[1] Так в оригинале.

ром ли, магнетизмом ли... Так вот я туда лучше соберусь. Этому пока что еще м. б. верю. Наступает осень, холод... Страшно зимы. Как ты будешь опять мерзнуть? Больной-то! Я не переставая думаю о тебе. А что я могу сделать? Если бы ты от меня не отбрыкивался, то я бы м. б. еще попробовала показаться какой-нибудь парижской знаменитости не только по почке, но и по крови. Здесь нет никого. М. б. попробовала бы Виши-воду. И тогда тебя бы тоже чуточку могла согреть и успокоить. Но ты не хочешь... а я больна и боюсь дороги.

Как ты энергично сказал мне: «...ты же больна, Оля, Господи!» Вот я и поверила тебе сразу. Вскоре же и вспомнила меня почка снова. Ну, смеюсь... Я пробовала было работать, но не клеится.

Пришли мне, ради Бога, очень прошу, во имя любви твоей, прошу — пришли мне листки и о «Яйюшке» (они около 20-ых чисел августа), я их тебе возвращу. Мне очень надо. Если тебе не трудно. Я рисовала кое-что, но мерзко вышло. С одним этюдом возилась в 4-х «редакциях». Хотелось сквозной акварели, а вышла мазня. Вся душа дрожит от каких-то образов и звуков, а воплотить их нету сил. Я порой в отчаянии, что так заедает повседневность. Ничего не успеть. В одно воскресенье были на бегах, хотелось хоть чуточку азарта и огня. А была то... [спячка]. Лошади были красивы, но все остальное — какая-то биржа, а не спорт. Все только и жили у тотализатора, мялись толпой, тянулись, алчно запуская глаза в билеты. Посмотрела я на обстановку тут и <u>не</u> ставила. Погано! Но по чутью моя лошадь выиграла. Я нашему другу сказала: «на кого ставите? Я на...» А он закричал: «сейчас же идите, О. А., ставьте по-настоящему, я уверен, что Вы выиграете». Я хохотала. Выиграла моя лошадка. А я ни лошади, ни жокея не знала. Даже в программу не заглянула. Ловко? Наш друг не удивился. Будто бы иначе и не думал. Вообще он мне приписывает качества, о которых мне и не снилось. Я хохочу, а он руками разводит, что не верю ему серьезно. Он мне советует всецело положиться на мою интуицию и ею только жить. Куда бы это завело?! ... А если бы кто знал, как часто я теряюсь и своего «голоса» не слышу...

Вообще, как трудно узнать себя. Наш болящий не будет опять долго, кто-то к нему по службе приехал, — воображаю как разочаруется, что <u>его</u> интуиция его обманула... Он уверял меня, что ему кажется, что моя почка прошла. Так-то! Вот куда интуиция-то годится! Чепуха! Мой van Capellen тоже скис и уж назначил через месяц сообщить о себе, а то вообще не считал нужным. Что же всю жизнь так? Получеловеком? Самое-то ужасное — зависимость в мельчайшей мелочи от всех и каждого. Ну, терпи казак! Терплю, терплю, Ваня! Для чего-то все это нужно!

Все нужно! Читала Пантелеймона Романова[540], — люблю я его. Конечно читательски*. У него хорошая душа. Его «Осень», «Зима»... Дивно. А «Право на жизнь»? И «Человеческая душа»[541]. Совсем не чувствуется в нем «советского писателя». Да он в душе-то — н а ш. Он верит в Бога. И тонко верит. В е р у е т. А эти слова «...я ценил его больше всего за его бессмертную душу, за то, что он увидел то, чего другие не могли видеть. Он видел небо, он видел вечность». А о монастыре[542] как... Это писал он в 1915—1923 гг. И он не стал зверем. Не верю. Чудесное его это — «Осень», «Зима». Где же тенденция? Где советчина? Его «Русь» ужасна[543], но я хочу ее забыть. Это вымучали из него. Где он? Жив ли? И творит ли? И что? Ах, Ванечка, сколько там Душ! Если бы быть здоровой! Только у Пантелеймона Романова к любви и женщине подход слишком не сложен... грубоват! Ему бы у тебя поучиться! Но э т о м у не научишься. Это ведь из себя, из нутра. Ну, довольно. Но после «Осени» мне самой вдруг пришел в голову «этюд»... не напишу, конечно. Когда же? Где уж!

[На полях:] Целую еще раз тебя, мой милый. Попроси же Серова[i], нет не надо, кого-нибудь другого мне написать, если тебя утомляет. Лежи спокойно, не гори. Молись, Ванечка... Это так благостно. Оля

Чудный видела фильм как-то: «Рембрандт»[544]. Дивно об искусстве... Долго им жила.

Я кончаю, дорогой мой Ваня. Как я бы издали поцеловала ручку Анны Васильевны[545], если бы она мне о тебе писала... Грамотная ли она? Какое было преступленье — эта безграмотность нашего народа. Сами теперь и платимся за все! Крещу тебя, целую. Скорблю, что день твоего ангела был снова мутный. Отчего же! Не поддавайся «ему». Это «он». Господь с тобой, родной мой. Оля

216

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.X.42

Милый мой Ванюша, пишу сегодня, чтобы С. взял с собой для заказного, — сама-то я не выхожу пока и не могу послать. Все разбирала твою открытку, — она так неразборчива, — и все

---

* а м. б. ошибаюсь? М. б. это оттого, что ожидая встретить з в е р я, я нашла Божьи искры и они-то меня пленили? Не знаю. Как его ценишь ты? Мне это очень важно.

[i] Слово зачеркнуто.

новый гнет ложится на душу. Почему у тебя такое отчаяние? И еще в ужасе я оттого, что ты все теребишь себе нервы. Повремени же с писанием статей! Побереги себя. Иначе, к чему и все лечение у докторов? Гнетет и то, что я не могу выходить и начать поиски висмута. И мысль о том, что тебе его не хватает для лечения терзает меня.

Тоска у меня ужасная. Не заболеть бы больше... Ночь опять молилась, так особенно, от всех глубин души, как только я молюсь во сне. И видела опять Богоматерь во всяких Образах. Так часто у меня перед болезнью. Но буду надеяться, что проскочу. Ночь спала плохо, так билось сердце, боялась встать и... посмотреть нет ли крови.

Пока что нету, а я 2-ой день встала. Опять ем витамины. Наш друг трогателен. Так всполошился, получив мою писульку и адрес «знахарки» передал даже вчера по телефону. Он милый. Если бы я была здорова, а главное, если бы ты не брыкался, то он мог бы мне легко устроить нашу встречу.

Но, но, но... Все откинуто назад, и я снова трушу. Но как-то надо терпеть. Но неужели так всю жизнь хворать? Было в это раз, конечно, до смешного мало, но все же б ы л о, и это главное... Отчего. Сам доктор мой встал в тупик. Поневоле кинешься к «знахарке». Видела я странный сон: среди массы икон хожу я и вижу огромный образ: лежит кто-то (мужчина) в белом и будто спит, а сзади склонилась над головой его Женщина, Она, Богоматерь, держа в руках омофор и обвивая им голову и плечи лежащего. Она — вся нежность, благостность и ласка. А я думаю: вот, наконец, он, этот образ, который мне надо, и я знаю, что это Покров Божьей Матери и т а а к молюсь. И думаю после: а ведь это еще невиданное изображение Покрова, покровительства болящим. Проснулась... Сердце сжато, больно, страшно... И мысли о тебе. И вспомнила, что 14-го Antoine решил. Владычица т е б я это м. б. осенила? Напиши скорее! Насколько счастливее меня Елизавета Семеновна, твоя милая «караимочка», — она все о тебе уже знает... А родная душа Анна Васильевна у тебя бывает? Я люблю ее. Ее я не боюсь, а других дам да, всегда побаиваюсь.

Я им всегда чужая. Иной раз думалось, что, если бы даже ты хотел, и если бы было приехать можно, то из-за одних твоих любимиц я бы не решилась носу показать. Я очень «труслива» стала. Не то что в детстве была. Но теперь я рада, что оне суть, т. к. заботятся о тебе и тебе с ними радостней. Ешь больше, попытайся доставать еду. Лежи, спи, не трепли нервы. Ваня, как тебя об этом молить?

М. б. поедут отсюда, тогда я попытаюсь тебе послать что-нибудь. Я просила тебя черкнуть мне адрес Hotel'я, где жили

Квартировы. Будь мил! Ну, Ванёк, не грусти, поправишься скоро, если будешь паинька. Лежи тихо! Кушай! Молись главное! Молись *благостно*, Ванёк. Думай обо мне в каждые 11 ч. вечера. Помнишь ли ты вообще твою Олю? Не знаю иной раз. Но это удел, видимо, всех около великих людей. То много, богатство, а то... холод. Ничего.

[*На полях:*] Обо мне не волнуйся. Я — толстушка.

Привет Анне Васильевне. А Серовым я возмущена!

Будь здоров, Ваник. Я так в это верю!

Я не корю, но стараюсь себе усвоить. Саския[546], обожаемая Саския, бросалась Рембрандтом тоже на недели, когда он творил. Твои статьи закрыли меня, но не ропщу. Пиши, т. к. это твое счастье. Я знаю тебя. Я терплю. Но только умоляю: для здоровья береги себя. Целую. Оля

Злюсь на цветочный магазин — я просила послать розы. К чему бегония? Ты не любишь ее? Мне кажется, что не любишь. Почему опять изгадили?

Вчера послала тебе простым, к сожалению, т. к. некому было снести на почту.

217

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.X.42

Дорогая моя Олюночка, я — в неизвестности, что с тобой. Больна ты? или близкие твои больны? случилось что, — почему нет от тебя хотя бы нескольких слов с 5-го X (твое последнее письмо получил 10-го). 12 дней — ни слова! Я в ужасной тревоге. И болен я, очень болен, ты знаешь... Если все у тебя благополучно, тогда я з н а ю, почему ты не пишешь мне. Господи... Ну, пусть тогда судьею и водителем твоим будет совесть твоя. Я тебе не стану приводить доводы... — ты умна, и должна сама разобраться. В <u>такое</u> время ты отвернулась от меня..? Не ждал, не думал. Но не хочу говорить об этом, — я же не знаю точно, почему не пишешь. Если моя догадка верна, — ну, что же... кончим. Ты не томи себя, не вынуждай: вынужденное — бесценно, ненужно мне. Я всегда шел с в о е й дорогой, слушая голос совести. Больше я н е напишу тебе, не стану тревожить, — раз тебе тягостно.

Пишу лежа, мне трудно. Господь с тобой. Будь здорова, обрети мир душевный.

Твой Ваня

Мне очень трудно, очень тяжело.

218

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.X.42 12 ч. дня

Дорогая моя Олюночка, не могу скрывать от тебя, родная, — мне определенно хуже. До 14-го X, когда мне делали уколы genatropine'a, кислотность почти не мучила меня: с 8-го и по 23.X не было vomissements, хоть порой и были легкие приступы тошноты. Я набирал вес. После диагноза д-ра Antoine'a (14-го) лечение — общее — (диета и solutions[i] (bicarbonate de soude, citrate de soude, phosphate de soude, et sulfate de soude) — против тошнот) — продолжалось, но впрыскивания genatropine (на 10 день) кончились, и раз в 3 дня стали делать уколы «histropa» (atropine, histidine, scopolamine et l'ion brome) — это для заживления язвы. С 23.X возобновились рвоты. 23, 25, и сегодня в ночь. Это ужасное для меня. Утром я еще ел с аппетитом — 10—11 ч. В 2 ч. дня завтракаю (но все больше пюре или овсянка, кашка) уже с меньшей охотой. С 4—5 дня начинает набираться кислота, я слышу, как плещется в желудке жидкость. Подходит вечер, я стараюсь сдержать рвоту (говорят это вредно, самому вынуждать освобождение). К 11—12 ночи не выдерживал, облегчался и мог заснуть. Вчера дотерпел до 1 ч. ночи. Заснул на 2 ч. Ночью повернулся набок, и — должен был бежать в кухню, к раковине. Выхлестало одной кислой, светлой водой. Я чувствую как слабею. Елизавета Семеновна 3-го дня чуть не умерла: глубокий обморок, — у ней органический порок сердца, она потянулась закрыть форточку — и обморок. Муж с сыном насилу привели в чувство. Она сегодня была у меня, принесла шпинату, предложила запросить доктора, что со мной делать: он ведь дал лечение — 12 уколов, на 36 дней. Сделано 4. А не лучше. Правда, язва не делает болей, но — рвоты! М. б. он назначит еще genatropine, или велит приехать, — не знаю. В 34 г. у меня были тошноты и рвоты — но всего недели 2. Хоть бы к одному концу: пусть делают операцию, если нужно. Или — конец, если не вынесу, или — поправка, и я смогу жить — работать. Я извелся. А тут еще — как всегда в критические полосы — кончается через 3 дня моя carte d'identité[ii], надо самому в префектуру — теперь очень строго[547]. М. б. друзья устроят за меня. Вчера должен был идти сниматься, для carte d'identité. Без новой carte не дают пищевых листков, (надо через мэрию, и то дадут на 7 дней). Газ я по-

---

[i] Растворы *(фр.)*.

[ii] Удостоверение личности *(фр.)*.

требил сверх нормы, (для грелок, для варки овощей) — опять угрозы — закрыть. Хлопотать. Доктор дал свидетельство на высшую норму. Но надо опять в мэрию, для особых бонов для Газового общества. Все это раздражает. Лежанье в холодной квартире — лучше, чем одеться и сидеть у стола с тошнотой. А я хочу писать, и н а д о. Олюша моя, ты мне свет, последний свет жизни. Т а к жить, как я сейчас — мне тяжко. Детка моя, так и не увижу тебя. Сегодня пошлю и «Яйюшку». Пиши, родная, ангел мой светлый. Тревожусь о твоем здоровье. Не забывай твоего Ваника. Так темно все во мне — я не надеюсь выздороветь. А были недели в этой болезни — как будто верного улучшения, я воспрянул, было. Мой диагноз — он и Серова — сильная нервная депрессия, разбитость, на этой почве — очень повышенная кислотность, которой желудок не выносит, не пропускает (или — мало пропускает) в кишечник, (кишечник должен получать лишь кашицу щелочной реакции) и — выбрасывает. Отсюда еще и... constipation[ii]. А послабляющие запрещены, чтобы не раздражать язву. Видишь, как заколдованный круг. Этот ужасный октябрь! Я всегда с трудом переживаю его. А его еще — по ст. ст., — остается 15 дней! Никуда я... все запущено, давно не мылся (холодно! не дают в ванну горячей воды). Так мне противно это, грязное тело! Анна Васильевна бывает каждый день. Уходит часа в 3—4 — и я — один. Правда, заходят друзья, но стесняются беспокоить: мне надо вставать, отпирать. Вчера было 6—7 человек. Как я был силен в прошлом году — в это время! Правда, к половине декабря я похудел, были боли язвы... — но прошло скоро, и я поправился. Это мое чтение в июне — доконало меня, разбило. Господи, неужели нет средства против hyperacidité?! Эта кислота заливает меня. Худеют, правда, все, — но мне нельзя т а к слабеть. Да и года мои... Олюночка, как хочется писать! Сколько не завершено!! Олюша, мое распоряжение будет сделано на днях. Я его отдам моему верному земляку, очень хорошему, честному человеку: Александру Николаевичу Меркулову[548] (11, rue Claude-Lorrain, рядом с моей улицей). На случай все: ты прими мое литературное наследство, устрой его: некому, кроме тебя. Ты мне послана Богом. Ивика я не обижаю, ты увидишь. А надо думать, все может быть.

Как бы хотелось — быть возле тебя, в ваших яблоневых садах! Хотя бы недельку быть здоровым! Указали бы средство против этой ужасной кислоты! Она имеет отвратительный запах и вкус — гнилых дрожжей! Это меня изводит. Мне странно: отличный, ученый доктор дал solution, где все — сода! Она

---

[i] Запор *(фр.)*.

же даст в конце концов реакцию, шок — для новых волн кислоты! Я это знаю, читал, и ты писала. Яиц свежих нет. Нет и молодой картошки, — ее сок — розовых главным образом сортов, — в несколько дней, будто бы, излечивает приступы! — читал я в Signal[549], это один нем. ученый открыл. Сегодня хочу не пить solution, а принимать только carbonate de chaux, как велел в 34 г. prof. Brule. Какое серое, болезненное письмо написал тебе! Прости, моя голубка. Будто реквием тебе посылаю. Да, Пантелеймон Романов, кажется, умер. Он, помнится, — я немного его читал, — был даровит. Лучше других. «Осени» и «Зимы» его не читал. Он з н а л язык — слово родное. Но я не любил ничего под-советского[550], совсем не следил за литературой т а м.

Олюночка, не забывай Ваника. Последнее твое письмо — от 18.X — получил 26-го — в одну страничку. Как одиноко мне! Так все мрачно, грязная осень, сырость, — так неуютно на душе! А надо бы за все благодарить Бога. И этот [октябрьский день] — жизнь. А что — т а м? за... пределом жизни? Верить хочу: жизнь Души, — о, какая тайна! Целую тебя, моя чистая, светлая Олюша! Господь с тобой. Будь здорова. Твой Ваня

Поцелуй от меня себя — в зеркало! — маму и Сережу.

219

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.X.42

Родная моя дружка-Олюночка. Посылаю твое письмо с рассказом о «Яйюшке». Он — чудесный. Мне жаль расстаться с письмом. Но ты... пришлешь?

Все твои письма, если я буду чувствовать себя хуже и хуже, будут переданы Александру Николаевичу Меркулову. Его адрес — в письме к тебе, от сегодняшнего числа же.

Целую тебя и благословляю за все, за все. Только бы ты была здорова! Ах, как хочу увидеть тебя!

Твой Ванёк

220

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

31.X.42

Ванюша мой родной, милый мой, солнышко ты мое, душенька... Ваньчик, Иванушка мой дорогой, неоцененный, любимый! Вчера писала тебе с угасшим сердцем, — твое от 22-го

меня убило, отняло силы, повергло в отчаяние... «Когда же *ты* поверишь, что люблю тебя?» Ванёчек, достаточно о таком. Сегодня письмо твое от 26-го[551], как рада я, что не поспела вчера отправить. Но как убита я твоей болезнью.

Ванюшик, и эти мысли твои, родной... не надо их, светик! Хоти, хоти поправиться. И будет! Благостно молись! Если ты хочешь, я буду тебе каждый день писать. Я (правду говорю) не знала, не лучше ли дать тебе уйти в себя, не докучать письмами, ты болен, но я знаю, ты и писал. И это рвало твои силы. Я не хотела еще и в 3-ью сторону тебя трепать. Я томилась молчанием, но ждала, пока ты «позовешь» меня. Пойми и меня. Ты часто (и не только больной) писал (еще в феврале), что нельзя так только отдаваться письмам, что у тебя другое назначение, что, наконец, эти письма стоили тебе твоего здоровья. Меня это так все время мучило, что я притихла. Поверь мне, Вань. И очень уж мутно у меня на душе было, — что бы я тебе дала? Я берегла тебя, дружочек.

Поверь мне, ласковый мой! Меня эта моя «кровь» опять пришибла. Доктора растерянность ввергла в отчаяние. А тут еще (не хотела тебе об этом, но раз ты всякое надумываешь, то скажу все) только встала 18-го, а 19-го вечером около 4-х начались боли, какие-то дикие. Всю меня разрывало. Началось около сердца, стало трудно дышать, я вышла в холодную комнату, но быстро стали боли усиливаться и переходить в правую половину груди, опоясывать поясом всю меня. Ломило даже шею, ухо правое, безумно болела правая рука вся, с плеча. И вся правая сторона груди и живота. Больно и внутри и снаружи. К правой груди было болезненно прикосновение белья. Никакие лекарства, ни грелка, ничто не помогало. Я корчилась до 8 ч. вечера, а потом все прошло. Тошноты не было, но болел желудок. Расстройство желудка сделалось на несколько дней и слабость. После этих болей я спала днями. Спала, как камень. Ничего не хотела есть. Я не звала доктора. Не знаю что это. Это уже, только сильнее, 2-ой раз со мной, а в Wickenbourgh'е было что-то вроде этого несколько раз. Мама думает, не печень ли это? Я иногда ем все, что для «луженого желудка» впору, и — ничего, а тут? С чего же? Я удручена была всем этим. Больше же всего твоей болью, Ваня. Не хотела тебя своей тоской мутить. Не писала. А думала я каждую секунду о тебе.

М. б. все мое — нервное? У меня чудный цвет лица, какая же печень? А нервы? Ванечка, я изболелась душой. Слишком много я узнала горького. Узнала очень близко.

Светик мой, Ванюша, а теперь вот что: не будем о мрачном: дай я тебя поглажу, помилую, успокою... Ну, милая душа моя, успокой же ты себя!

Ванёк, еще одно: д-р Аксенов[552] — редко милый человек, но как врач — хуже нуля. Ужас! Мы его очень хорошо знаем. Умоляю тебя всем святым ничего не принимать, что он пришлет, без совета с твоим доктором. Аксенов верующий, милый человек, дивная поддержка у постели умирающих, но никогда не целитель. Если бы ты все о нем знал! Он пустяков не знает, живет медициной того столетия. Он из интеллигентной (в лучшем смысле) части эмиграции — «притча во языцех», как профан. Многих он отправил на тот свет из наших знакомых. Тогда ты бы близких послушал! Мы на кладбище-то живя много слыхали!

Например, у одной моей знакомой была грудная жаба (я даже, и то сразу подумала по ее признакам), а он нашел рак желудка. Отменил все, что для сердца было, позволил ей в лестницу ходить на 4-ый этаж, а жена его (тоже горе-врач!) всем рассказывала в церкви, что ее муж у М-me такой-то «рак в кулак нашел». Я помню, извелась тогда, чуя беду, упрашивая Шахбагова, осмотреть больную. Он не хотел из этики врачебной «перебивать у коллеги». Но согласился. И ахнул! А мне сказал: «...совершенно серьезно: Вы больше имеете права на практику, чем этот Аксенов». Только подумай! Я сама у него тоже лечилась когда-то, — мы еще никого тогда в Берлине не знали. Это — сапожник! П повторяю — редко-чуткий человек, но не в медицине. Провинциального типа людям, няням русским и т. п. он очень нравится, т. е. тем, для кого в докторе самое главное — «обхождение». Ну, ты все знаешь. Я писала тебе об одном средстве, «Belorgal» кажется. Мой знакомый его очень хвалит. У него то же, что у тебя. Ему тоже известно о соке картофеля. Кажется в Берлине это применяют. Бисмута я тебе достала. Пока 120 г. Буду еще искать. Как послать? Ванечка, ты мне упоминал в описании одного состава впрыскиваний, кажется, мышьяк? Я боюсь, что тебе мышьяк вреден. У отчима впервые после 30 лет сна язва проснулась именно от впрыскивания мышьяка. И всякий раз, когда ему зубной врач клал в зуб мышьяк, у него болела язва. Спроси твоего доктора. Тыквенная каша, по-моему, тоже могла повредить. Господи, как бы я тебе все послала, что имею! Но как? Конечно, я мечтала к тебе поехать. Мне же обещал помочь наш друг. Он очень мил ко мне. Ужасно изволновался за мое здоровье. Как раз его эти 2 недели не было. Звонил, просил писать ему. Не писала. Сам звонил. С мамой обо мне говорил, что ему меня очень жаль, что меня как-то особенно беречь надо. Почему это он? А мне сказал, когда спросила его — «не можете ли посодействовать моей поездке к доктору в Париж?» — «ну конечно же, и Вы обязательно поезжайте... Боже, как это было бы Вам хорошо!» И если бы я не заболела, то м. б. он бы и устроил. Он очень «важный».

Ванюрочка, ты о статьях своих... всего, конечно не скажешь, но ты меня поймешь. Я верю, что мы с тобой не разошлись бы во взглядах в главном. Я только смотрю так, что сказать важное для нас и нужно, и необходимо, но что этой возможности нет. Понимаешь, надо говорить в о л ь н о, без посредников посторонних. Вот это моя дума. А в тебе и твоем я не сомневаюсь. Относительно «Восточного мотива» ты сказал точно то, что у меня стоит в дневнике моем «бить лежачего»[553]. Я этого «лежачего» знаю, Ваня. И не сусальничаю. Но бить, вот именно теперь, я не могу. И твое «Солнце мертвых» именно и чудесно твоей беззлобностью. Я теперь спокойна и знаю, что ты меня вполне понял в моем отказе от темы.

Ванечка, я скажу тебе, что все этих Горянских, Сургучевых и иже с ними — я презираю, и мне больно твое соприкосновение с этой братией, но я именно так и объяснила, как и ты мне пишешь. Ты этим пренебрегаешь для более ценного. Так именно я поняла. Могут быть и по этому поводу разные мысли. Но не подумай, что я тебе навязываю свои. Никогда. И уже потому, что я слишком мало от тебя знаю о твоем. Ты тоже многое бы у меня понял, если бы заглянул в мою душу, скорбящую безмерно, особенно за последнее время. Я с июля не нахожу себе места. Знаешь: «век живи, век учись». Все новое и новое несет жизнь. И все еще мы ничего не знаем. Мои мрачные мысли прошлые, все то, что я сама знала опытом, о котором тебе и писала, оказались еще детской игрой с тем, что узнаёшь из жизни. И так близко, и больно, и верно узнаёшь. Ты м. б. прав, — Божья рука, Божья воля на все. И тогда спокойно. Иначе не прожить жизни. Мне, Ванечка, много хотелось бы тебе сказать о своих думах. Я молчала, чтобы тебя не тревожить, но ты спрашиваешь... Что же сказать мне? Разве опишешь?? Горько мне, а не умею. Молчу вот. А в душе, ох как много. Я жду твоих статей. Тогда мне легче будет м. б. сказать. Ты прочел на обратной странице твоей «обезьяны»?[554] Да, вот так-то!

Но знаешь, Ваня, оставь пока ты все писанье. Умоляю тебя: думай только о здоровье. Не беги и сам на почту, погоди Анну Васильевну, не беда, если 1 день позже получу. Лежи и лежи. Ваня, голубчик мой, солнышко мое, не лучше ли тебе для режима в клинику лечь? Подумай! М. б. мне приехать? Ну, скажи. Не бойся моей болезни. Ну, лягу в клинику. Пройдет. А если провернусь, то сколько радости будет! Я не отойду от тебя. Я здоровая так-то. Распилась молоком так, что прошлогоднее платье переделывать надо — узко. Не скандал ли? Я бы тебя так пригрела! Ванюша мой родной. Ну, слушай, не пиши много. Потерпи! Душенька, мне пиши только открыточку, но почаще. Очень я томлюсь твоей хворью. М. б. Анна Васильевна напи-

шет? Ваня, через Roussel я не могла бы послать висмут? Спроси! М. б. ты дашь мне адрес Елизаветы Семеновны на всякий случай. Я бы ее спросила о возможностях сообщения с Парижем — м. б. от них кто ездит. Или ты спроси ее. Ах, Ванюша, ты надорвал себя чтением. Это же ясно. И теперь опять кипятишься. Ну повремени немного. Оправься. У меня тоже тогда от лежанья ноги страшные стали. Не удручайся. Все пройдет, Ваня! Господь не оставит! Молись! Ах, какая сила молитвы! У Фасиного отца была тромбоза в сердце(!), он умирал почти (ему за 80 л.), пришел о. Дионисий помолиться. Я уговорила Фасю не бояться «напугать папу». Молились тихо, проникновенно. Причаститься папочка захотел (я его очень люблю, этого папочку Ф[аси]) и... со следующего дня стал воскресать! Доктор удивлен. Даже сестру милосердия отпустить позволил. А папочка уж глотать не мог. Все затекло у него. Я помню, как я преобразилась однажды в 40-м году. Даже жар спал с 39° на норму. И какая тишина и Вера. Ванечка, молись, солнышко. Попей святой водицы. Артоса возьми. Попроси Анну Васильевну с тобой тихонько помолиться. И да будет с тобой Его благость! Голубочек ты мой, радость моя. Страдалец! Ванечка, не томись. Статьями не томись! Не томись. Побереги себя! Обо мне не выдумывай глупостей. Верь и в меня, хоть чуточку. Ну, легче нам стало? Немножко! Да? Целую тебя, обнимаю нежно и крещу. Непрестанно с тобой. И помни, что сверх всего, всех «взглядов» и т. п. я люблю тебя, Душу твою бессмертную. И все остальное, как бы трепетно оно ни было, и как бы больно ни было — все же п р а х. Верь мне!

[На полях:] Мама тебе шлет сердечный привет и желает здоровья.

Ванечка, я не вольна в бегонии, т. к. посылают то, что им удобней. Я просила розы. Целую тебя. Оля

221

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.XI.42

Милый мой Ванюшечка, как томлюсь я неизвестностью о твоем здоровье. Был ли ты снова у доктора? И что он сказал? Ваня, м. б. тебе нехорошо принимать висмут, т. к. (мне тут говорили в аптеке) он несколько «ядовит». М. б. именно этим свойством и объясняется его лаксирующее действие? Будь осторожен с лекарствами, — не принимай ничего без ведома врача. Я достала пока 120 g и при первой же возможности перешлю. Ванёчек, скажи, дружок, хочешь, чтобы я приехала? Мне жаль упустить возможность, — наш друг мне по-

ездку может устроить, — почти наверняка. Подумай только! Мне кажется, что я тебя бы смогла ободрить, смогла бы помочь тебе оправиться. Или я помешаю? Писать помешаю. Я мышкой бы притаилась. Я бы тебя покормила, поухаживала бы за тобой, больнушечка! Но я боюсь, что я навязчива, что ты не хочешь. Если бы этого чувства не было, то я бы давно уж собралась. Я сама — здорова, пока. И если бы Бог дал, так и осталось, то дорога ведь ничего не значит. Близко ведь! Я и сама бы показалась докторам в Париже — здесь я отчаялась что-нибудь у себя отыскать. Ну, как ты хочешь! Обо мне не волнуйся, ибо если бы я и заболела, то тогда обратилась бы у вас к специалистам и м. б. мне бы что-нибудь и сказали бы новое. Ах, Ванюша, какое было бы счастье мне за тобой поухаживать! Ты бы очень скоро восстановился. Я — строгая «сестрица». Но меня больные любили. Но не поеду, если ты не захочешь. Ну, крещу тебя, целую, и нежно обнимаю. Болей у меня опять давно нет. Не беспокойся. Будь здоров, мой ангел! Еще раз благословляю. Оля

222

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.XI.42

Милый мой Ванюша, радость моя!

Сейчас только получила твои письма от 29.XI... Ванюшечка, родной мой, я так за тебя скорблю. Но ты не отчаивайся, солнышко мое. Ваня, я все сделаю, чтобы быть у тебя. Это нужно, Ваня. Я обогрею тебя, я привезу тебе все, я успокою тебя. Я же безмерно люблю тебя, я так верю в помощь Божию. Ты извелся. Тебе покой нужен. Ванёчек, я думаю, что тебе нужен клинический режим. Мой отчим страдал точно так же, но только еще плюс кровавые рвоты. И его отправили в клинику. Там ему в неделю ликвидировали тошнотность и Hiperacidité. Видишь?! Я приеду и все устрою. Господи, я вся спутана тревогой, твоей мукой. Верь, Ванюрочек мой, что Господь тебя восставит. Не отчаивайся, ангел мой! Ванёк, пишу открытку, т. к. хочу, чтобы еще сегодня успела, а остается несколько минут. Какая мука мне: должна с такой тоской идти на свадьбу — у соседей, звали, нельзя отказаться. И вот я, забежав домой из церкви (католической), твои читаю письма... Господи, тоска какая, что нарядной должна быть! Стою вот в бархате и золотых побрякушках, завитая и душистая... и горько плачу. Платочек мокрый, оставить его надо. Не могу, как тоскую по тебе, сердце мое. И эта пытка — чужое веселье. И мои напудренные веки.

Не могу остаться и выплакаться вволю. Я плачу о твоей тоске, оттого, что ты угнетен, Ванёк. Верь и надейся! Я хочу приехать. Я все сделаю. Я хочу ободрить тебя. Не пугай себя глупостями. Ты мне же несказанно близок и дорог.

Да хранит тебя Пречистая от мрачных дум. Ванечка, я хорошо тебя во сне видала, ты встанешь. Молись, целую и люблю, люблю. Оля

223

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.XI.42

Дружок мой светлый, Олюночка моя, письмо твое сейчас 31.X. О, как благодарю, кисулинька-Олюнок! Как жалею, что 29.X написал о себе уныло-безнадежно! Так я был подавлен, не совладал с тоской, с отчаянием, хотя данных точных — для безнадежных выводов о моем недуге — нет все же. Но пока оставлю о себе, — отвечу на твое письмо. Родная, не оставляй меня без писем: мне — именно нельзя, мне страшно «уходить в себя», — это значит — тонуть в отчаянии, — неудержимо стремительны и убийственны мои думы — когда я думаю о себе. Без тебя — мне гибель. О, я крепко знаю: Оля моя любит Ваника, светло, самоотверженно. Как я одарен тобой! Как ты меня глубоко понимаешь! Знай же: ни в чем я не разойдусь с тобой, все — как ты, вбираю, как ты — томлюсь. Но я поверх еще смотрю: все вершится по Божиему Плану, — и не страшно. Теперь — о моих статьях. Да, только потому и отозвался, что там читают ее minimum — 2 миллиона родных читателей. Но вот какое явление. 13.X (!) — я послал 1-ю статью, написав: «ничего не менять. Если в чем-либо не подойдет (в цензурном смысле) — этим и кончим». Ясно тебе? 31-го я послал главу из «Солнца мертвых» — «Чудесное ожерелье». До сего дня статья не печатается. У меня пропала воля писать другие. А ско-лько и как (!) хотел сказать! Систему свою — отношение мое к жизни, к миру, к Богу, к Смыслу истории человечества и России, к творчеству в жизни, к «Царству Божию на земле», как надо по-новому строить жизнь, о предназначении России, о ее Голгофе, о предназначении Германии («Два народа») — обо всем «самом важном», сказал бы!.. — и все это в самой простой форме, все мог бы обосновать ссылками на действительность и на провидения гениев наших. Теперь... — нет, очевидно слишком вольно и свободно-широко сказал-намекнул даже во вступительной 1-ой статье — не пролезает. Ну, а на выбор газеты — я не работаю, не могу, хоть она мне открывает аванс — «какой

хотите», в любой сумме. Нет, «авансы» ни-когда меня не брали. Досадно, что поспешил послать им из «Солнца мертвых». Кстати: мне надо было посодействовать товарищам по белой борьбе — моего Сережечки — переслать помощь их матери[555], живущей в Крыму, — а я это мог только через газету — Деспотули может быть доставит, через своего представителя в Симферополе. А теперь я свободен, и больше ни звука не дам, если не пройдет статья. Никогда я не был рабом, и всегда слушал голос свой. Он — знаю! — с твоим созвучен. Да разве это могло бы быть иначе?! Ни-когда. Мы — одно, во всем. Ибо мы — от одной закваски: ты же — для меня, я — для тебя — сотворены. И как бы мы это ясно увидели, если бы встретились, открыли сердца свои друг другу. Родная детка, моя чудеска! Ванёк твой — твой. Прости за письмо 29.X. Не знаю, что со мной. Все худею. Завтра — буду у доктора. Болей нет — [ясных] — иногда «отражения» — вот уже дней 12. Vomissments — нет с... 29-го X. Тошноты — да, но 2—3 последних дня слабые. Но кислотность быстро набирается от еды, глушу ее Виши, и — magnesium'ом perhydrol (фабрики Мерк'а). Знаешь, ночью давит газом желудок, и я раз 20—30 — делаю «renvois». Ведь на эту «кислоту и renvois» — тратит организм силы? М. б. похудание этим объяснить? И еще. Боясь ночных наполнений кислыми жидкостями, я вот что делаю дней 8—10: 1-ая еда — в 10 ч. утра: тарелка квакера[i] (на воде, конечно) с маслом и сахаром, яичко с сухариком и чашка жидкого кофе с чуть — молоком и сухарь с маслом. 2-ая еда — в 2 ч. кончаю: тарелка супцу овощного или овсянки, и тарелка манной кашки на 1/2 молоке или пюре картофельное. 1 раз в неделю котлетка — вареная на пару, из молодой телятины. И — с 2 ч. дня до 10 ч. утра следующего дня я ничего не ел, т. е. в течение 20 часов. Эти последние 2—3 дня — я стал вечером в 6—7 ч. выпивать чашку чая с молоком и сухарик с маслом. Эти 3—4 дня меньше кислотности. С 2-го XI лежу, не встаю, не хочется. Завтра поставлю доктору вопросы: чем укрепить нервы. Знаю: это самое важное. Я сам довел себя до болезни: слишком много принимал всяких лекарств! Кто что посоветует — я сейчас же! Какое-то сумасшествие. Так хотелось — скорей выздороветь. Я дал желудку настоящую отраву, и он мне ответил — ну, и получи! Надо нормального питания, а его нет. Мне надо 1—1 1/2 л молока, а у меня 1/2 л да крупы. Ну, масла немного. Но это-то мне друзья восполняют. Я потерял аппетит..? Да. Но это неверно: однообразная пища и преснота ее — придавили его. А вот, вчера, сказал доктору С[ерову] — заливного бы судака

---

[i] Здесь: овсяная каша.

съел, поросенка с кашей, лапши... щей со свининой... — и все клапаны в желудке открылись, слюны-ы... — съел бы го-ру! — Серов убежал домой, «хоть постного супа» съесть, — так его разожгло от моих «картин». Олёк мой, проснусь ночью, и мысли о... разных кушаньях. Я слышу все запахи, я хочу есть, я страшно оголодал, до ужасных спазм в кишечнике. Лежу — и слышу: желудок выгибается пружиной... выворачивается... в животе — все, без болей, выгибается, ходит, пружинится... Неужели моя болезнь — голод? Я ведь всегда горю, я всегда был — и до сего дня! — страстный во всем, и — ребенком! Я вот, как дитя, не дождусь, когда смог бы поехать — посмотреть на дачку с садом[556], которую Юля купила! (теперь она — «собственница»!) М. б. ты заметила, как твой Ванёк любит описывать едово? («Масленица» в «Лете Господнем» и многое. А «Человек из ресторана»?) Так вот: теперь я дал бы все это — как шедевр! Есть хочу, Анна Васильевна несет... пустой суп... картофельно-манный. Ну, пущу кусочек масла... Потом — манная — и все. Ну, как тут окрепнуть?! — 7—XI. Вчерашний день — плохо, было vomissement, слишком много кислоты в желудке, а я перепил Виши и проч. К доктору не мог поехать, слабость. Все время хочу есть, но — что есть-то?! Сегодня встал, сам был в лавках, достал 90 g — !!! — мяса. Выпросил кость (!!) у мясника (как собака!). Велел А[нне] В[асильевне] сварить лапшу из этой — собачьей — кости. А с 90 g мяса — сделать пирог, с морковью и этим мясом. Все-таки это не преснятина. Просил друзей купить для меня курицу, — на 4 дня еды будет! Трудно найти. Все время хочется есть. — Сейчас письмо из «Нового слова». Статья не может пройти! Ну, видишь?.. Самое безобидное — и не может. Редакция сожалеет, но... Вот и отозвалось мое «общение» с русским читателем! Больно мне. Олюша, опять больна? Господи... Возможно, что это был припадок острой невралгии, — м. б. и от печени... м. б. камешек проходил? Много странного у тебя: недавно молниеносный жар — ? Мы с тобой, кажется, устанавливаем рекорд «недугов». Сегодня мне лучше: я решил переломить болезнь. Язвенной болезни нет, — разве лишь «отзвуки». Знаю: надо лучше и чаще есть. Чувствую, что как будто и тело оживает... Ах, надоело об этом. — Приходят новые посетители-почитатели. Вчера одна дама — я лежал в постели! — умолила хоть 5 мин. — а просидела 1/2 ч. Сегодня студент, работает в Берлине[557], принес «Пути» (надписанные). Очень душевно-чистый, религиозный — борется со страстью к оккультизму. Ушел — восторженный, «просветленный». Олёк мой, — вчера (сегодня ночью) воображение дало мне чудесные запахи плодов... — до чего ярко слышал арбузную свежесть..! — живую! Опять то-

мили вкусовые видения. Это становится моим кошмаром. Я убегаю, стараюсь гасить, — и не могу. Ясно: надо насытиться. Иначе изойду слюной и желудочным соком. Жить думами об еде... — это же такое подчинение тленному! А не могу — живу. О, милая, арбузная моя, вся свежесть... Как бы хотел с тобой быть в России, в ноябре, в снегопаде... вместе разгребать снег, все заваливший... Как с хрустом врезается лопата..! Милая! Ты по-бабьи укутана, в платок-шаль, зелено-красно-черные полоски, бахромка, — ты вся «арбузная», щеки круглые, свежая, глаза горят... Ах, как я дал «зима стала» — в очерке «Лета Господня» — «Михайлов день»![558] (Именины Горкина!) Нигде так не давал зиму! Читала? Хочешь — перепишу для тебя? Доставили «Под горами», русское. Анна Семеновна Будо поедет в Голландию — дней через 10, возьмет для тебя книгу. Она может взять висмут (спасибо, роднулька!) Адрес Елизаветы Семеновны Elisabeth Guelelovitch, 108, rue Michel-Ange, Paris — караимочка. Она всегда готова тебе написать обо мне, но я же пишу тебе! Целую. Твой Ваня

[На полях:] Олёк, скорей напиши, как здоровье!!

Мне — лучше!! пишу за столом. Ходил за покупками, так захотел!

Милый — незаменимый — Александр Николаевич Меркулов, он выправил мне carte d'identité. Лучший — во всей эмиграции. Его адрес — на случай — 11 (одиннадцать) rue Claude-Lorrain, Paris, 16.

Елизавета Семеновна, кажется, — ангел-хранитель мой. И он, и она. Сколько чудесных людей узнал я!

Оля, если бы что-нибудь случится со мной... — в болезни могут быть всякие переломы, — и если бы я не мог писать, то А. Н. Меркулов [тебе] всегда ответит. Но да не будет этого!

Помни, что самый верный друг мне — А. Н. Меркулов.

Он все, все, все, что может — делает для меня! Какой цельный русский человек!

М. б. я и выправлюсь — ? Хо-чу. Для тебя. Для работы.

224

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.XI.42

Мой родной Ванюша, всю ночь почти не спала (я рано улизнула со свадьбы), о тебе думала, бездумно думала... Ванечка, что же нам придумать, чтобы поправиться? Слушай, любимый мой, не лучше ли, право, тебе попробовать побыть недолго в клинике? Почему ты так против этого? У тебя отпадут все

заботы: все эти карточки, газ, холод, посетители и т. п. Умелые руки тебя будут и кормить, и поить, и мыть, и все прочее. Я же знаю, как невозможно все это дома. Даже подушки они там лучше укладывают. И это чувство, что никуда вставать не надо, никому отпирать не надо. И доктор всегда тут. Ты будешь под наблюдением. Нельзя запускать кишечник. Там и его поправят. У моего отчима был даже легкий заворот кишок, от... «пасхи» сырной. Хорошо, что мы догадались тотчас ему поставить клизму. Доктор так и сказал, что мама его спасла этим. Ужасно лежать одному, да еще в холоде, да еще с заботами. М. б. у вас в Париже исключительно плохо в клиниках, — я не знаю, но если нет, то решись, Ванечка! Подправься, а тут и я приеду. Хочет Ванёк? Я собираю нужные бумаги для поездки и тогда (надеюсь завтра) отправлюсь просить. Я не знаю, хочешь ты или нет. Знаю, что сердцем хочешь. И это — все. Все остальное — ерунда. Я для себя чувствую, что не могу сидеть так, даже не пробуя достать визу. У меня начали молодки нестись. Привезу тебе свежих яиц. Это можно. Я все, что с моих кур причиталось, сдала в центральную и все, что теперь нанесут — мое. Господи, всего бы я тебе привезла, что сама имею! И вот еще что: картофельный сок — очень хорошо. Наш болящий это тоже знает и пил у меня в воскресенье. Ему нездоровилось (не был у нас 3 недели, да нервы истрепал, влюбился, кажется, еще к тому же, а «она» уехала), но когда я ему натерла картошки, и он выпил, то будто бы «как рукой сняло». Почему нет свежей картошки? Попроси же прислать Анну Семеновну Будо — у ней же есть?

Затем вот что: хорошо принимать концентрированный раствор Traubenzucker[1] (а как по-русски? Виноградный сахар?), его название «Dextropur» и на коробке — кукуруза. Вряд ли найдешь, но попытайся. Спроси. Это тот самый сахар, которым питают через клизму при кровоизлияниях. А моего отчима посадили в лечебнице на такую клизму и при рвоте! Заметь! Твоя диета все же еще м. б. недостаточна для разгулявшейся кислотности?! Потому и молю тебя: не решай ничего сам, но слушайся только врача, вплоть до клиники. Ты сам увидишь, как тебе будет покойно. О растворе концентрированного сахара — Dextropur'а — я пишу, имея в виду лечение [2 сл. нрзб.], но не клизмой, т. к. там строго определенный раствор, не помню точно, кажется 5%. Но не знаю точно. Затем хорошо от изжоги препарат «Aplona» — яблочный порошок. Очень вкусно и помогает. Вообще ведь теперь даже сырыми тертыми яблоками желудки лечат. Но не знаю, можно ли тебе при таком раз-

[1] Глюкоза *(нем.)*.

дражении. И очень хорошее средство — это «Belargal», я писала уже. Оно, действуя на нервную систему, укрощает желудок. Мне дал его наш друг, но как я пошлю?? Это средство очень хорошее, но трудно достать. У тебя, конечно, нервы, но теперь желудок уже тоже разболтался и сам не знает, чего хочет. Что говорит Серов относительно клиники? Понимаешь, Анна Васильевна для тебя недомогающего еще могла быть решением вопроса, но не для тебя — больного. Тебе не такой уход нужен. Я же знаю. Если я приеду, то я готова все для тебя сделать. Я обращусь в сестру милосердия для тебя с радостью. Но ведь ты не дашь мне всецело тебя взять в руки? Я знаю, что не дашь, и мне трудно было бы настаивать. Но чужие сестры... ты им позволь! Это не так ужасно. Меня же трогали чужие доктора. Неприятно, но если нет выхода, то что же делать? Милый мой худышка... ангелок ты мой. Не грусти, не смей. Ты поправишься, если этого захочешь и будешь слушаться. Хорошо, роднушечка? Если Господь мне поможет приехать, то тебе будет лучше, я ручаюсь. Часто эти рвоты бывают еще и оттого, что pilorus сдавлен спазмой нервной. Это не органическая [стеноза], но нервная спазма. Так было у моего (опять-таки) отчима. Он сидел часы... все не освобождался желудок от barium-каши, доктора решили было оперировать... нет прохода. И вдруг... через кратчайший срок все прошло и стала «пища» совершенно проходить нормально. Я знаю, что пища из желудка пропускается в duodenum лишь ±1 centimetre cube[i] и совершенно нейтральной реакции или даже щелочной. Потому то, чтобы разбавить слишком кислый сок, желудочные железы (есть такие) вырабатывают так называемую Verdünnung-Flussigkeit[ii] и оттого переполняется желудок этой массой. Оттого же часто мы в лаборатории, взяв лишь нужное количество для исследования (10 centimetre cube) часто находили «нормальную» цифру кислотности, но, приняв во внимание соотношение *всего* количества жидкости, мы устанавливали адскую Hyperacidité. Я уже писала. Раньше, некоторые профаны вытягивали только немного соку для исследования, а не все содержимое желудка и очень, очень часто прозевывали болезнь. Ну, это не важно. У тебя, конечно, очень высокая кислотность, но м. б. еще и спазмы? И тогда тоже часто, что-нибудь извне меняет ход болезни. Просто даже музыка, приятный посетитель делали чудеса с моим отчимом. Твои нервы, Ванёк, в вечной судороге какой-то. Ты все мечешься, горишь. Так нельзя. Оля приедет, твоя Оля и заставит тебя быть пай! Я колебалась, ехать ли

---

[i] Кубический сантиметр *(фр.)*.
[ii] Разбавляющая жидкость *(нем.)*.

и потому не просила визы, но в это воскресенье почему-то просила друга написать мне бумагу. Ах, Ванёк, зачем такой мрак у тебя! Я понимаю это, но это так вредит.

Милый Ванечка мой, ну успокойся. Поди же в клинику. Там тепло. Подумай, тепло. Не надо дрогнуть. Молоко получишь. Отчиму остановили рвоты мороженым. Тогда еще хорошее было. Обязательно снесись с Antoine. Бедная Елизавета Семеновна! Давно ли у нее это? Юля к тебе ходит? Не лучше ли тебе к ней перебраться на зиму? Ах, если бы ты у меня мог прогостить зиму! У нас тепло. Мы топим, очень правда неказистая, но чудесные печки, — «Salamander». Они французские. Жарко прямо. Только в спальнях наверху холод. Дикий обычай. Я люблю тепло и тогда можно вставать, не корчась от холода, а с удовольствием, мыться, не торопясь делать туалет, гимнастику. Впрочем, я ее теперь оставила из-за почки. Ванёчек, светик мой, благодарю тебя за рассказ. Я перепишу его и тотчас тебе пошлю письмо обратно. Обещаю. Но могла читать строки о Меркулове. Господи, Ваня, зачем так думать? Ревела я вчера до опухших глаз. А вечер ломать себя надо было. Мучилась до пыток, на свадьбе. Хорошо, что все внимание было их еде — «жор» собственно даже (прости грубое слово). Отличная она была... до... того, что не вздохнуть. Торты так стоять и остались. А потом домашнее «кабаре» с поразительно-талантливыми силами. Я ускочила домой, брякнулась в кровать и долго лежала, смотря в темноту, слушая сердце, спрашивая его, что оно чует. Ванечка, я безумно <u>твоей</u> тоской тоскую, но когда думаю о том, <u>что</u> с тобой будет, то у меня крепкая вера, что все будет хорошо. Мне только ясно, что ты задергался. Тебе и твоему желудку ежовые нужны рукавицы, а дома их быть не может. И потому я еще и еще прошу: подумай, посоветуйся с Antoine о клинике. Да? Подправься, а там, глядишь, и Ольгуна к тебе приедет. Я все тебе сделаю, ангел, что только могу. Целую тебя, радость моя, и молюсь о тебе горячо, и верю, что Господь не оставит. Благословляю тебя. Обнимаю тебя, грею у сердца. Радость моя, Ванечка мой! Оля. Привет Анне Васильевне.

225

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.XI.42

Ванюша мой родной, каждую секундочку думаю я о тебе.

Солнышко мое, умоляю тебя, подумай о клинике. Дома ты изведешься, измучаешься, доведешь себя до предельного истощения всяческих сил. Прошу тебя, подумай. Не будет ни хо-

лода, ни беспомощности против тошноты, ни этого ужасного одиночества ночью и беготни к раковине в кухне. Ты будешь весь отдан покою, который тебе так нужен. Не надо думать о том, что можно кушать и чего нельзя, и затем что и где достать. Тебе дадут, что нужно. И всегда возможность позвать врача. Будут следить за всем, чего одному и самому невозможно сделать. Ты вспомни, когда хвораешь, мучаешься, выбиваешься из сил, а стоит придти доктору, и уже одно его посещение часто заставляет забыть боли. Я сама брыкаюсь, когда меня везут в клинику, но уже от первых же минут там, чувствую, что это — единственная правильная мера. Ты думаешь, мне легко бывало уезжать, да еще перед Пасхой? Конечно же нет. Но надо. Попробуй. Ты ведь не подневольный, — можешь и уйти, если невмоготу станет. Поговори с доктором. Меня каждый вечер сковывает ужас, когда думаю, что ты один, в холоде, с болями. Ванечка, послушайся меня! Прошу тебя очень, очень.

Вчера я была относительно визы. Надежды очень мало. Благодаря бумажке моего друга, меня еще выслушали, но не подали больших надежд. Надо еще попытаться. Надо представить свидетельство врача, что лишь именно в Париже могут помочь. Но разве знаменитость согласится признать чужой авторитет выше своего!? Мне и просить то об этом дико. Не знаю, что буду делать. М. б. просто буду просить друга хлопотать, хотя это не так просто, ибо одно учреждение не может вмешиваться в функции другого. Да кроме того он уехал в Берлин опять. Я буду стараться попасть лично к тому, от кого это зависит, все изложу, и верю, что тогда упрошу. Только бы не пошло прошение трафаретной дорогой! Как у тебя вышло с просьбой? Отклонили? Ванюша, как устроилось с картой, — получил? Или пришлось бегать в мэрию? Если бы ты был в клинике, то ничего бы и этого не было. И газовый вопрос бы разрешился. Бывает ли у тебя «Юля»? Ваня, хорошо ли тебе кушать шпинат? Не знаю. Много железа, м. б. вредновато? Рассказывали мне вчера, что тут Лукин долго гостил у сына, всяких лакомств ему навез. Им, кажется, чудесно живется. Жаль, что его не видала. Не знаю, поедет ли кто скоро, а то бы послала висмут тебе и еще другое лекарство. Мучаюсь и терзаюсь своей беспомощностью, невозможностью облегчить тебе твои страдания. Я бы, кажется, в ногах валяться могла, вымаливая разрешение к тебе проехать... Господи, сжалься. Я только и живу этой надеждой. И верю, что, если бы это удалось, то тебя бы я подняла с Божьей помощью. Правда, Ванёк, я так верю. Не мог бы ты, если уж таак претит тебе больница, хоть у Юли холода и болезнь перетерпеть? Все-таки она бы тебе облегчить могла одинокие часы страданий. Это так много значит. Ведь ты и О. А.

много для Ивика сделали. Не надо бы тебе стесняться. Анна Васильевна милая, верю, чувствую, но тебе другое тоже нужно: постоянно кто-то, и все-таки интеллигентный, умеющий за больного взяться. Я понимаю, что тебя уход чужих стесняет, но Юля то ведь своя. Если бы я к тебе попала, то я неотходно бы у тебя была. Или бы тоже не захотел? Ванюшечка, что, что мне для тебя сделать? Ну скажи, придумай... Не впадай в отчаянье, не [мрачни] духа, — сила его тебе так необходима!

Я жду с замиранием сердца каждой почты. Ванёк дорогой мой, поди в клинику! Ну подумай! Я надеюсь, что за эти дни ты уже советовался с Antoine, знаешь, что надо делать. Ванюша, не смущайся, что он тебе все содовые соли прописал, — м. б. соли, именно как таковые не делают «шока». Подумай, маленькая разница химических соединений может дать и безвредное лекарство, и с другой стороны — ужасный яд, например: каломель и сулема. Разные соли — разные действия. Я думаю, что он все учел. Это же хороший врач. Для твоих нервов же необходимо тебе тепло. Ляг в госпиталь! Увидишь сам. Тебя только режимом можно скоро поправить. Иначе ты провозишься месяцы, истощишься, изведешься. А этого никак нельзя. Неужели тебе никто этого не посоветовал? Ты же брошен на произвол твоей болезни, один, в холоде... Это не безумие, Ваня. Ну, ради меня, подумай! И не пиши пока ничего тебя волнующего. Газета подождет. Ты истрепал себя в конец. Отдохни. Я дни и ночи думаю и думаю, что я могу тебе сделать: ч е м облегчить твое такое состояние? Если бы я могла быть у тебя!.. Но если нет? Что тогда? Писать тебе часто? Но это же так мало. Ванюша, как я страдаю от этого бездействия. Ангел мой дивный, светлый, кроткий, утешься, не скорби. Все пройдет, ты будешь здоров, только успокойся! Ванёчек, не может ли Анна Семеновна позаботиться о тебе, послать тебе, что нужно для диеты. У нее в деревне конечно есть хорошее молоко, например. Тебе же только молоком питаться надо. Попрежнему-то, — сливками. Обо мне же не тревожься, — я чувствую себя хорошо. Боли не повторялись. Думаю, что тоже нервы, ибо ем я иногда аховые вещи. Крови пока тоже не было. Пью травы, которые пила и в 1940 г., и после которых не было рецидива 2 года. Может быть все-таки это камень?!

У нас был один поденный работник, у которого тоже точно такие же кровотечения из почки. Никто ничего не нашел. А вчера я слышала от одной дамы, что (она забыла, во Франции или здесь) есть целая область, где почти все страдают этим. Странно? Дико? Что это? Но обо мне ты не думай. И не бойся за поездку, если бы сие счастье мне свалилось. — Стараюсь представить себе тебя, обстановку твою, и... больно сжимается серд-

це и тоскует душа. Молюсь за тебя, мое счастье. Господь не оставит, верь! Видела тебя во сне. Поцеловала. Утешить тебя все хотела, — ты грустный был, но какой-то другой, не ты. Я пришлю тебе, конечно, письмо и рассказ обратно, переписав его. Но эти дни буду обдумывать и подготовлять все для визы. Надо кратко и четко изложить на немецком фирме, надо в нескольких словах суметь убедить. У меня вся душа кричит и плачет, кажется, что невероятно, чтобы отказали. Помолись! Милушка, солнышко, сокровище ты мое, Ванюша. Черкни словечко, как ты. Не утомляйся, не садись к столу, не пиши много, но только о здоровье. Томлюсь и мучаюсь ужасно. Пусть Серов напишет, кто другой, кому веришь, но не утомляй себя, а меня не томи неизвестностью. Милое мое сердце, мой нежный, мой любимый, мой родной... люблю тебя, жалею самой святой сторонкой души своей, сострадаю с тобой и вся — желание облегчить тебе... Поправься, поправься, будь светлым, радостным, моим прежним бодрым Ванюрочкой!

Силой духа, силой воли заставь себя не предаваться тьме. Твоя болезнь зависит очень от состояния духа. У тебя нет ничего серьезно-органического. Возьми свои нервчики в руки, душенька. Господь милостив, Ванечка. Верь в Его Святую Помощь. Обнимаю тебя, ласкаю, глажу нежно и люблю, люблю. Ласково тебя целую в сонные глазки, а ты дремли, дремли. Сном болезнь выходит. Будь тих, покоен, здоров! Царица Небесная да будет с тобой! Храни тебя Господь! Целую, крещу. Оля

226

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.XI.42 7 вечера

Родная моя Олюночка, заботка нежная, ласка-чудеска, как счастлив я, что могу светлое сказать тебе: мне гораздо лучше, больше даже, чем «гораздо лучше» — но я даже и не смею сказать... — я здоров. Вот уже больше 2-х недель нет болей, а сегодня ни тошноты, ни кислотности, и хочется есть, есть... и такая мука — эти оставшиеся впрыскивания — 4! Нет, сейчас сделано 9-е, осталось — 3. Но средство такое сильное, что я должен часа за 3—3 1/2 до него не есть, и часа 2—3 после, т. к. настолько у с п о к а и в а ю т с я все желёзы и проч., что пища — несвоевременно принятая, может оказаться балластом — со всеми последствиями, что и бывало. Велел сделать сейчас уменьшенное, вместо 3/4 — только 1/2 centimetre cube. Я явственно обрастаю, сильнею, веселею. Не дождусь, когда буду есть, еще часа 1 1/2 терпеть, — ты это знаешь по лечебнице. Никакой

клиники мне не надо: я такой же, как когда вышел из американского госпиталя в Нейи, в 34 году. Нет, я гораздо сильней, бодрей. Ты не имеешь понятия, какие теперь в Париже клинические условия! Опытные люди говорят: кто может лечиться у себя — и лечись. В самых безумно дорогих лечебницах — хотя бы по 500 фр. в день (по 25 герм. марок) — плохо топят, скудно, до голода, кормят, неряшливо лечат. Уже больше года тому, один известный русский доктор[559] (караим), которого очень чтут свои (а «свои» — богатый народ) на которого чуть ли не молятся (он мне помог в 41 г. против спазма в груди) и сам с хорошими средствами, должен был подвергнуться очень серьезной операции, почти безнадежной. Его привезли в этот американский (лучший м. б. в Европе) госпиталь (июнь 41 г.). Известный хирург — его друг — делал операцию, — словом в с е и вся — сплошная забота о нем. И... когда поправлялся после удачной операции — не смог бы окрепнуть — из-за скудного питания! Каждый день кто-нибудь из друзей и пациентов благодарных привозил ему то курицу, то утку, то бифштексы... А теперь предел скудости. Нет, никакой клиники мне не надо, а как закончится укрепляющее лечение, если будет, назначено, — решил поехать в хороший русский пансион, верст 30 за Париж, — там меня будут питать, и все там отлично: комнаты, отопление, парк... и хозяева — мои глубокие почитатели. И плата — для ныне — смешная: 125 фр. в день со всеми диетами. Так говорят. Мне важно, будет ли молоко и яйца. До зелени я не охотник. Ну, Олёчек, кто меня отмолил? кто — оправил? Пойми: я — здоров! — ? — ! Самочувствие — очень хорошее. Хочу писать, да-вно! И — буду. На отдыхе я пером буду, не возьму пишущую машинку, а твоим перышком. И вдруг... вместо русского пансиона — к тебе приеду?!! Холод пугает, только. В отелях у вас вряд ли топят. Вот сейчас у меня оба радиатора электрических — шпа-рят! Ну, я отобьюсь от угрозы прервать ток, достану от доктора «увеличение», как на газ. А штрафы готов платить. Знаешь, Олюнка моя, собиравшийся в Париж голландец может и не найти комнаты в моем отеле (rue Le Marois), — кажется в с е давно разобрано, (с лета!) на случай холодов. Моя караимочка еще осенью хотела оставить себе и сыну месяца на 3 хорошую комнату, (у них в доме не топят, а радиаторы не дают тепла при урезанной норме): не удалось. А готовы были бешеные деньги дать. И — каминов нет, а угля достали бы. Вот я и боюсь холода голландского. И если у меня будет плохо, — в холоде я не могу писать! — и если в отеле не достану, (по особой протекции) — останусь в теплом пансионе. Юля умоляет меня не обращать внимания на расходы, (да я и не обращаю внимания), тратить «сколь-

ко хочешь». Тьфу, до чего же хочется есть! — а еще час почти. Ну, уж выдержу! Горе мое — нет яичка, а я их так люблю! Но у меня опять пир: мой мясник (у него жена щеголиха, а Меркулов подарил чулочки) опять дал... но на сей раз уже мозговую, — двойную! — кость к положенному мясу... и суп же мне сварила старушка! Смеюсь: костью стал восторгаться! До этого дойти надо. А я, очевидно, дошел! Сам виноват. Кипел (и докипелся!) эти летние месяцы, не ел. Отсюда — все, до кризиса. Могло быть все, — сказал доктор. Но, знаешь, Олюночка милая... — все в мире ценно, если вглядишься, — и духовные блага, и — вещные! Ско-лько новой красоты постиг я — в думах, ночами! Знаю — ароматное (неповторимое!) дыханье вещей! Вспомни «миндалики» Тоника[560], в его выздоровление! Бы-ло это, и как же ярко, я слышу их, этих живых прыгунков... их тельца, полированные, и какие душистые! Их нежную — едва уловимую — ребристость! Ольгунка, ах, какое чудесное желе из айвы! из абрикосов! — старушка сделала по указаниям Елизаветы Семеновны. Какой кальвиль, нежно-лимонный — на столе — в другой комнате. Я слышу через глухую портьеру — стену! Люблю его — горячий, просахаренный — когда он дымится, и его мякоть выпирает... Эх сыру бы швейцарского — мягкого..! Но — ни-где! В скудости, как ныне, — особенно ценишь «маленькие радости». Из них берут силу — большие. Как радостно чувствовать, что становишься здоровым! И — спокойным! А этого (чувства покоя) я давно не знаю. Теперь оно навестило меня. Не ты ли его послала? Что бы такое послать тебе? Jasmin поищу, вряд ли найду. Завтра ринусь в город, — центр, Champs Elysées — к Gerlain'у. Вряд ли достану шоколаду, попробую. Да стесняет меня — просить А. С. Будо...[i] — я не люблю раскрывать свое людям. Клюквенный экстракт поищу. Но пакетик (золотистых) конфет, как ты хвалила, сохранил, — пошлю — попробую. Только один есть, теперь не найти еще. Шоколадные конфеты пошли жульнические, — где покупал раньше: сверху шоколад, а внутри больше мармалад, плохой. Юля привезла мне «лучшего фруктового пата»[ii], — отсырел, потёк... — были дожди, все просырело, — а у меня квартира сухая! — поставил на радиатор — подсушить... а «пат» этот расплавился!

Ура! на днях мне прислали «semoule de Sarazin»[iii] т. е. гречневую муку! Идиоты французы не знают крупорушек и гречку сеяли для птицы!! Ах, дочего каши хочу! Бывало, гимнази-

---

[i] В оригинале описка: А. В. Будо.
[ii] Пирог *(от фр. pâté)*.
[iii] «Мука сарацина» (*фр.*)

стиком... читаешь на пышущей лежанке Жюль-Верна «Вокруг Света»...[561] — постом бывало! — и так вкусно — поджаренная на сковороде красная гречневая каша с луком и... конопляным или подсолнечным маслом! Ква-сом запивал. Какое (вспоминал!) богатство вкусовых ощущений... — оркестр! Так ничего и не написалось, а уже 2-й лист. Я весь в томленьи от... оголоданья. С 2-х ч. ни крошки. Вспоминаю, как ты «все кусочки» добирала, после болезни. Дочего вкусны сухари, прогретые на радиаторе! Хруст какой! Знаешь, я должен написать что-то очень с ы т н о е, очень вкусовое. Напишу — и все истекут слюной. Олёк... губки... глазки... Я снова ожил... я — почти — здоров?!

[На полях:] Крепкий день, почти морозный. Каштаны сразу почернели: упало золото их.

13.XI Олелёчек! Сейчас, в 3—30, поев очень хорошо, бегу искать для тебя Jasmin.

Сегодня, 13-го достал две коробочки сладостей тебе.

Ваня

Холодно. Я даже пою!

Анна Семеновна[i] поедет скоро, но при изменившейся ситуации может не получить визу!

Господи, благодарю Тебя за Милость Твою! Я снова пишу Ольгунке. Целую. Твой Ванюрочка

227

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.XI.42 11 ч. вечера

Светлая моя Олюшенька, твое письмо от 7.XI — не тревожься! Все хорошо. Ни болей, ни тошноты, только renvoi, после еды, но и этого не было бы, если бы я только сухари и молоко. А я страшно хочу есть, и ел вчера и сегодня — и как! — Суп из мозговых костей, страшно жирный. Хо-чу! С утра ездил добывать снедь. Добыл гречневой крупы! Это — чудо. Вязиги! Анна Васильевна сделает пирожки с кашей! Видишь, я становлюсь идиотом, — только бы есть, есть. Но я и ду-маю!! О тебе. Достал у Герлэн — «Душистый горошек». Вчера нашел Jasmin у Piver, но, должно быть, дрянь. Хочу тебе послать — но — как? Анна Семеновна неизвестно когда едет. Нашел клюквенный экстракт. Купил — сумасшедший! — 35 пузырьков! Люблю, хочу варить кисели. Хочу — очень — писать. Силы прибывают, — и вес. Елизавета Семеновна принесла курицу —

---

[i] В оригинале описка: Васильевна.

суп и жареное — на 3—4 дня. Олёк, я совсем оправился, чу-до! и буду беречься. Не курю. Как тебя ласкаю в мыслях! Я спокоен. И никакой клиники. Только бы совладать с аппетитом. Он — бешеный. Ты хочешь «зимы»? Пошлю «Михайлов день». Обнимаю. Твой — почти здоровый — Ванёк

[На полях:] С удовольствием пью Виши.

Завтра напишу большое письмо.

Да, д-р Antoine — замечательное дал лечение: яркое.

228

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[16.XI.1942][1]

Милый Ванюша, пересылаю обратно мое письмо тебе. Как ты здоров? Напиши, Бога ради! Я пишу еще о себе. 14-го XI, т. е. ровно через месяц у меня опять чуточку кровь показалась. Лежу из предосторожности. Но чувствую себя очень хорошо. Не волнуйся! Доктор хочет давать новое средство Vitamin «К» — против кровоизлияний, сгущающий кровь. Не волнуйся. Было чуть-чуть. Крепко целую. Крещу, обнимаю. Пишу еще. Оля

Спасибо за это письмо. Я переписала рассказ.

Люблю тебя солнышко, молюсь. Всегда с тобой.

229

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.XI.42

Мой бесценный Ванечка!

Как твое здоровье? Я томлюсь неизвестностью о тебе! Правда, Ванёк, подумай о клинике. Одна только мысль о твоей холодной одинокой квартире приводит меня в ужас. Твоя болезнь излечивается именно холей, удобствами. Когда я вспоминаю, что мы делали для больного отчима; — у него ежедневно бывал Шахбагов, и ежедневно делала исследование крови и на кровь, мама была выучена, как лучшая сестра делать все ему нужное. Ему запретили всякие волнения, визитеров, вставания, и т. д., и т. д., — и когда я думаю о том, как ты один «бегаешь к раковине», то мне нестерпимо больно. И то, знаешь, при всех этих удобствах, отчим так «развинтился», что его тошно-

[1] На конверте помета И. С. Шмелева: с возвращением письма-рассказа о «Яйюшке».

ты мы не могли унять. А в больнице в несколько дней его исправили. Они знают, что и как нужно применить. Подумай об этом... Обо мне ты не волнуйся. Крови было мало, чуть-чуть. Я эти дни лежу. Из предосторожности. Доктор мой домашний, которому я поручена v. Capellen, пробует новое средство на мне: Davitamon K — это vitamine K — против склонности к кровотечениям. Новорожденным дают, при кровоточивых случаях. Ну, посмотрим, что будет. Я думаю, что все-таки камень у меня, т. к. теперь чувствую иногда перед кровью боль, хоть легкую, но очевидную боль слева в спине.

17.XI.42 Ванечка, продолжаю сегодня. Как-то ты???

Написала письмо Анне Семеновне на гаагский магазин, чтобы мне своевременно сообщила, а то тогда я получила письмо после ее отъезда. У меня на глаз крови нет, доктор вчера исследовал под микроскопом и нашел только «ничтожные следы крови». Вышли вчера совершенно серые сгусточки, очевидно очень застарелые, где-то сидевшие в складочках. Сегодня ночью были чуть-чуть боли. А вот сейчас опять малюсенькая «галочка» — сгусточек (вот такой)[1], но более свежей окраски. Но так, все нормально, и я лежу. Может быть старая ранка чуть-чуть растревожилась? Не знаю. Конечно, меня это все нервирует. Узнала еще сегодня, что Фасин папочка вчера скончался. Ужасно жалко его. Светлая, истинно русская душа! Фася плачет. Бедная их мама! Не думаю, чтобы смогла я быть на похоронах, — в четверг они. Не легкомысленно ли рисковать здоровьем? Остальные-то наверно будут. Жаль, что это день маминого ангела. Ему за 80 лет, но он мог бы еще жить да жить, — такая веселая, живая душа! Радостный... Фася по доброте на него похожа, а вот веселости его у нее нету. Пристукало жизнью.

Милый мой, родной Ваня, все время я о тебе, с тобой. Ночью проснусь — одна дума... Ванюша, я послала тебе письмо с Яйей, просила Сережу отослать заказным. Из моей визы в Париж очевидно ничего не выйдет: теперь почти бессмысленно просить (да и больна я), а потом уедет наш друг (называть его буду «В.»). А я уже все приготовила... И снялась, и листы заполнила, все бумаги и удостоверения достала. Как я хотела бы тебя, мой светик, увидеть! Всего бы привезла с собой. Курочку бы привезла, и яичек, и всего, что можно. Ах, Ванёк, тебе кушать хорошо надо. Тебе через 2 ч. по немножку, легкой диеты. А ты голодать вздумал. Да ведь от голода тошнить может иной раз. Молока ты разве достать не можешь? Неужели никто не может уступить тебе свою карту? А Будо? Ну, прислала бы из имения. Это же так просто! Что у нее там есть? У нее, например,

---

[1] В письме рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

яйца и куры не запрещены, можно их друзьям давать. Никакое другое мясо не полезно так тебе, как голубь или курочка. Телятина — сама по себе ничего, но ни-ни бульона. Это — яд для язвы. Поверь мне!

Ванюшечка, попроси ты написать мне Александра Николаевича, если тебе трудно. Милушечка, радость моя, Ванечка мой бесценный! Как хочу приласкать тебя! Милушка, глажу тебя нежно, ласково, кротко. У тебя холодно? Неужели ничего не может сделать Юля? Ты не мог бы, хоть у нее побыть? Хотя, по опыту тебе говорю, нигде нельзя найти лучшего покоя (и главное — вне зависимости, пусть даже от близких людей), как в больнице. Ты увидишь. У них есть приемы для остановления рвоты. Один из них: дают клистир и определенные растворимые соли, по принципу питательного. Знаешь? Ну дома, хоть и очень просто, а не справишься один. И многое другое. Почему ты Antoine на дом не позовешь? Тебе же нельзя силы еще на дороги трепать! Не мучай себя и писаньем, статьями и т. п. Все придет, когда Ванечка будет умник. Все поправится, и очень скоро, только будь пай. Тебя нужно в грелочки положить, с ложечки любовно, ласково кормить. Вкусными, легкими вещами. Голубить тебя, нежить. И Ванюша мой снова будет прежним, и тогда и писать будет и все, все...

О статьях ты не тужи. Все делается к лучшему. Ты на них бы еще больше тратил сил и здоровья. Подожди, оправься, а тогда и напишешь, не на них, а для тех, кому хотел ответить. Рано или поздно прочтут и м. б. еще лучше, если не так скоро.

Кто тебя навещает? Часто ли бывает Александр Николаевич? И кто он? Напиши. Сколько лет ему, что делает? М. б. занят и не может часто у тебя бывать? Если есть кто, кто часто бывать может, то не лучше ли дать ключ, чтобы тебе не вставать? Не могла ли бы Анна Васильевна ночевать у тебя? Где она живет? Тебе постоянный покой нужен. Моя знакомая в Париже — не знаю куда делась, так называемый муж ее[562] в Берлин уехал, а она с дочкой сперва была в Париже, но тоже, кажется, к нему собиралась. Давно не писала[563]. Она очень милая, сердечная, но какая-то иногда «растяпа», — вдруг, например пишет: «Ната[564] (дочь) очень способна, интересуется всем, массу читает и чувствует себя русской. И очень скорбит, что учит чужую философию, чужую литературу, чужое искусство». И спрашивает: «И где же все русские? Разве нет русской философии и т. д.?» Мы прямо обозлились. Мамаша-то сама на курсах училась. Написала ей чтО и как она бы дочке преподать могла. Не знаю, была ли она на твоем чтении. Если бы она тебя «открыла», то Марией бы у твоих ног сидела, но видимо ее жизнь затеребила. Тяжело им было. Прежде-то очень

богаты были. Дочку то мы в Берлине крестили, году ее в Париж проводили.

Я хотела ее просить о тебе за меня позаботиться, но не могу ее самое-то отыскать. Они от холода куда-то уезжают, а на лето тоже уезжали, так мы их и потеряли из виду. Madame меня тоже девчонкой только помнит... Олечкой.

Ну, Бог с ней! Я думаю, что твои дамы могли бы м. б. устроить род дежурства, чтобы ты не вставал для открывания двери. Один день одна у тебя с ключом, а на другой — другая. И ты бы не был одинок. Это же можно. А Серов что? Я бешусь на него. Он халатен, Ваня, с тобой! Давно должен был тебя послать к врачу, коли сам только гадает. Нельзя так. Это «аксёновщина». Ванюша мой, отнесись серьезно, не назначай себе сам лечений, дай доктору точно установить и слушайся, золотко мое. Господи, чтобы я дала за то, чтобы к тебе приехать! Чтобы быть здоровой, тоже. Ну, как бы я больная пустилась в путь? А если бы визу получила, поехала бы все равно, Ваня! Милый мой, ласковый Ванюша, как нежно тебя глажу, целую, обнимаю. Молюсь за тебя. Будь здоров, солнышко мое! Потихоньку поправляйся, не тормошись! Люблю, крещу. Оля

На всякий случай, дай мне имя и адрес лучшего urolog'a.

230

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.XI.42

Дорогая моя Олюночка, сегодня утром твое письмо, от 12-го[565], почтовый штемпель — 13.XI. Слава Богу, ты здорова! Письмо чудесно. Хорошо дала о молотьбе хлеба. Отлично — себя, в нарядах. Знаю эти «Крылья» — старо-голландские. Чудесное ожерелье — золотистые топазы, жемчуга! Игра [какая], переливы-ы..! В и ж у. Как бы хотел видеть тебя — вот в таком наряде. Напрасно говорят — женские пустяки. Нет, это о-чень красиво, люблю я все это (см. «Пути» мои). Мне лучше, но со 2 половины дня, часов с 5—6 начинается отрыжка, (раз 5—6 за час) и часто до 2—3 ч. ночи, (3-и дня — до рвоты, — прости). Очевидно мне надо есть по-малу. (Болей нет.) Вес, кажется, прибавляется, аппетит первую 1/2 дня очень большой. Ел гречневую кашу — восторг! Она мне д о л ж н а быть полезна: щелочь! Захарьин, профессор[566], бывало, лечил ею катары. Достать крупы нельзя: это чудо было со мной, всего 1 кило. Напишу Земмеринг, ее муж — важный чин в Риге. Ему мож[ет] найти моя горячая читательница, все сделает для меня! Последняя надежда. Я верю, что гречка меня излечит. Не могу

найти яиц! Изныва́ю. Осталось 2 укола «Histropa». Убивает меня renvoi, а то бы я был совсем здоров. Пищеварение — идеальное. Откуда же отрыжка. Спрошу Antoine. Об урологе — завтра напишу, узнаю фамилию и адрес от Серова.

Слушай: завтра (18) Анна Семеновна Будо поедет к вам. Преодолевая смущение (проклянет она!), посылаю сейчас Анну Васильевну к Елизавете Семеновне (она утром заходила сказать о сестре и просила сегодня в 3 ч. дня сдать ей книгу для тебя и духи). Про духи я сказал (не хочу «открываться» людям) что это ты просила купить. А про маленькие духи, что это от меня. Дрянь, конечно.

Послал тебе: книгу «Под небом». Надеюсь, что сам приду в ней к тебе, давней. Это же почти в начале моей литературной работы — эта книга — я. Еще: 3 пузырька клюквенного экстракта, натурального, пропорция на 1 пузырек — лучше — 13—15 пузырьков воды. Ну, как тебе вкусней. Тут больше витаминов, чем в лимонах. Еще: «Душистый горошек» Герлэн. Дрянь Piver (должно быть жидовская — бывшая — марка) «Вина-вер, Пассовер». Не мог найти, все изъездил. У Герлэн обещали. Готов — за сколько угодно! Буду искать, ждать. Еще: antigrippal. Изволь принять перед Рождеством: твой срок, запомнил я. Да о ком же мне помнить-то?! Кем — живу?! Только Олюнкой да... своими мечтами в творческом. Все. Еще: 2 коробочки сластей — прости, если неважные. 1 пакетик «любимых», золотистых конфет. Всего, кажется, 10 вещей (больших и малых). А может быть и... одиннадцать? А?! Да? А «Ванюрка»-то... — «Под небом»? Он был тогда лучше. Это было у художника Калиниченко, в его имении, Рязанской губернии, за несколько дней до проклятой революции. Я у него угорел, не хотел позировать. Дал ему 20 мин. Он мазал, чем попало. И... кажется слюнил даже. После кончины Оли я все — или большую часть — разбросал по людям, хотел уходить. Отдал и оригинал Зееллеру[567], другу Репина. Он мне не отдал назад, я хотел — для тебя! — а — отлично — дал воспроизвести меня еще 2 шт., больше и меньше.

А[нна] В[асильевна] ждет письма. Сегодня я не хочу из постели, — холодно. Ел кашу! Чу-до. Ах, как ты богато кормила о. Д[ионисия]. Где мне такая роскошь... но ем прилично. Сегодня — куриный суп, жареная курица, каша. Как она торопит, эта А[нна] В[асильевна]! Ей на работу надо, у меня она с 8 до 3 ч. Ну, сегодня буду подробно все писать. Помни: Анна Семеновна едет завтра, 18-го. Кажется заедет в Брюссель, — не знаю. Сейчас же звони ей, как получишь. Я ей писал, что ты кого нибудь пришлешь за посылкой. Лучше, если сможешь свидеться. А знаешь, м. б. позовешь ее на день, [обыденный]? Ведь у вас

все — два шага. Если бы ты ее увидала, она — тебя! — Хочу ли чтобы ты была в Париже? И ты еще спрашиваешь? Узнай у ней — условия наши. В Hôtel Royal Versailles все занято. Но я бы походил, нашел хороший — найду ли только? О, как хочу видеть тебя! Так хочу и — страшусь за тебя. Знаешь, отложим до тепла? Я хочу быть бодрым. Бог даст — окрепну, буду очень строг к себе. Целую, целую, целую. Голубонька моя Оля. Твой всегда, — весь — Ванёк

231

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

22.XI.42

Милый мой Ванечка, 18-го я получила твои радостные письма, и так вся просияла, что лучше тебе, что ты «почти здоров», мой светик. Я получила 2 письма и открытку от 14-го. Писала тебе 18-го, 19-го кончала, но не успела отправить, как мое «сомнительное» кровотечение (т. е. очень слабое и после него только кровяные «галочки») разразилось 20-го настоящим кровоизлиянием. М. б. оттого, что я 19-го должна была вставать, т. к. все наши уезжали на похороны Фасиного папы. За мной должна была ходить девчонка, но она провалилась куда-то... и я не могла ее дозваться. Но не знаю от этого ли. Так как только в 9 ч. утра на другой день началось. Часов с 4-х вечера и до сегодня ничего больше нет. Лежала это время пластом, т. ч. и писать тебе не могла. А сегодня могу полусидя писать. Ты уж наверное ждешь. Dr. v. Capellen ничего теперь не знает и уже готов видеть какие-то «образования», кажется «haemalgiom»(?) или что-то в этом роде, не полип, т. к. последний растет, а это, — ну такая маленькая кровяная «опухоль», что ли? Но тоже не уверен, а лишь предполагает. 20-го было у нас смятение, тем более, что дома была лишь мама да Tylly (А. был опять на похоронах), а мама не говорит еще достаточно по-голландски, Tylly же не умеет соединить телефон. Кое-как научила ее. Позвали доктора. Работника велела позвать и просила его разыскать на похоронах телефоном Арнольда, чтобы не до позднего вечера там оставался, а знал, что я больна. В отчаянии я позвала из Гааги и эту «знахарку». На другой день она была. Она только молилась и гладила меня, сказав сразу же, что у меня больна левая почка. О ней напишу особо, а сейчас мне писать трудно, а сказать хочется много. Ванечка, о тебе: ты обязательно поезжай, и на деле в пансион. Отдохни! Или же в отопляемом отеле поживи. И пиши в тепле-то! Чудно работать в тепле. Но не надрывайся сразу. Я не читала твое «Зима встала» и, конечно, очень ее хочу,

но не труди себя! Перепиской-то. Понимаю, дружок, как больно тебе писать об отце.., заканчивать «Лето Господне». Как хорошо понимаю. А «Пути» ты так и отставил? Неужели? Ванёк, без II-ой части, или: без II-ой и... III-ей, одним словом без окончания, они останутся куцыми. И такая дивная твоя эта вещь... Ведь каждый читатель, прочитав: «летела в ветре, придерживая шляпку»[568] (кажется так?), начинает томиться: ...«что же дальше???» Разве ты сам не чувствуешь этого, Ваня? Ведь Даринька еще не начинала жить сама, она только вошла в жизнь... И что же? Закончи сперва «Пути». Впрочем, как ты сам знаешь. Ах, еще: я браню тебя! К чему опять духи?? Ванюша, это же безумие — у меня их на всю жизнь. Не покупай же! Не посылай! Я писала на магазин в Гааге для Анны Семеновны заказное, чтобы уловить ее наверняка, но пока никакого ответа. Лишь будет очень досадно, если я буду еще больна и не смогу повидать ее лично. Ванечка, тебе бульоны вредны, не знаю как из костей, но мясные — очень вредны. Помни это. Особенно телячьи.

У меня на этот раз вдруг «выявилось» нечто — камешек? Не знаю. Что-то беленькое, с одного конца острое, маленькое, очень плотное. Бросить: — стучит, как камень. Доктор смотрел — не знает. Надо послать v. Capellen. О-чень малюсенькие нечто — вот такое[i]. М. б. откуда-нибудь попало, а не из меня, хотя все мы очень тщательно осматриваем. Если бы... из меня! То все бы разрешилось. Я пила в течение последнего месяца травы: 3 недели корешок какой-то + можжевельные ягоды, а последние 9—10 дней лист березы (настойку), одновременно со мной этот же курс лечения проделал один наш рабочий, у которого тоже были 2 раза кровоизлияния из левой же почки. (Но у него нашли 3 почки и приписали это патологическое явление его аномалии — но почему же он 55 лет жил и ничего не замечал?). И вот, и у него (его жена рассказывала), и у меня, после 8 дней питья березы, пошла муть. У меня белые хлопья (исследовали — крови нет, а все это «amorphe Salz», бесформенные соли), а у него серо-желтый осадок, как песок. У меня закончилось все это кровью и... может быть камешком? Что, береза безумно «тянет», — в этом мы оба убедились, но что тянет? Моему доктору муть так в глаза бросилась, что он затревожился: не кровь ли, не гной ли? Н и ч е г о. Только много бесформенных кристаллов. Я все жду когда выйдут у меня остатки крови и сгустки из почки, но вот 2 суток их нет. М. б. и не будет? Хотя всегда выходили. Я очень волновалась 20-го. А теперь совершенно спокойна. У меня какая-то особая тишина. Я и лежу тихо, много сплю и могу все время... мечтать и спать. Несмотря на то, что лежу

---

[i] В письме рисунок.

все время на спине не шевелясь, я не устала и кажется, будто я и кровать — это одно и то же, нечто слитное. И так хорошо. И все бы спать, спать. Но я не слаба. Я румяная. Доктор у меня сегодня даже не хотел быть, а 20-го 2 раза был и последний раз [в] 10 ч. вечера, хотел intra-venös'ную[i] инъекцию сделать для остановления крови, но v. Capellen его отговорил. А я и рада, не люблю я инъекций в сосуды, никогда мне их и не делали. Вчера и сегодня спокойна и верю, что может быть поправлюсь, что это — последнее. Потом напишу отчего так кажется. Я уже и до «знахарки» это чувствовала, и даже просила ей за ненужностью отказать, но телефон разминулся[ii] и она приехала. Велела мне пить молоко и соль — Виши. А где ее взять?

Не знаю, есть ли еще. Молоко есть, но не люблю его. И как стыдно мне, что вот тебе его так надо, и ты бы рад ему был, а я... «веньчаюсь». Бабушкино слово.

Ну, целую тебя, Ванёчек. Будь здоров! Благословляю. Оля

232

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.XI.42 9—30 вечера
27 — Филипповки

Родная моя Олюнка, с 19 не писал тебе[569] — метался и «приходил в себя». Совсем ли я здоров? Нет, есть еще «рэнвуа», очевидно — желудок не справляется, устал... — спрошу Антуана на днях. Вчера была Елизавета Семеновна — увы, ее сестрица не в нее, очень «для себя», и моя посылка тебе оказалась непосильной: взяла лишь меньшую половину и, главное, — не взяла «душистый горошек»! Из конфет вслепую — завязаны! — выбрала, кажется, худшее. Дама тучная и... — несмотря на обещание дать ей и ее дочке по книжке — не осилила! Ты пишешь: дамы бы дежурили! Не все же, как ты... как милая Елизавета Семеновна, как Меркулов. У всех — свои заботы, да и трудно теперь, да и нет необходимости, раз у меня Родионовна, хоть и упрямая старушка: каждый день ставит портреты по-разному! И все так переставляет, что сам черт не найдет. Ругаю ее, кляну, — про себя. Кто Меркулов? Был генеральный секретарь Товарищества Саввы Морозова. Честнейший, умнейший. Все ценят. Он староста на Дарю, и без него пропал бы наш кафедральный собор! Всех держит в руках и самому митрополиту режет правду. Бог мне его послал. Он со мной нежен, как с ребен-

[i] Внутривенную (*нем.*).
[ii] Так в оригинале.

ком. Что достанет себе — делится, всегда. Курочек достает Ваньке. Сырки-сюисы[i], — крем такой, будто сгущенные сливки. Рыбки — ружо[ii] — чу-до! Масло порой, получает от родных из провинции. Ему 62 г. огромный, красивый, до-брый! Сам познакомился со мной. Я с ним нежен, люблю его, ч у в с т в у ю. Женат лет 40, как я с Олей был... — жена — тихая, боится «тревог», очень набожная — все посты постится. Детей нет. Мое творчество любят оба. Москвичи! В с е им родное. Получил он твое письмо. Он очень трогателен: так обо мне тревожится, следит, соблюдаю ли диету. Серчает, мило. — Елизавета Семеновна вчера принесла пару свежих яиц. И йогурт. У ее сестры нет ничего из хозяйства на даче, сама берет молоко на соседней ферме, и яйца, редко. Привозит сестре хороший творог, а та делится со мной. Мне обеспечены куры, каждую неделю. Денег у меня достаточно, ты напрасно этим тревожна. Меня теребят и издатели, и газеты. Рассказ из «Солнца»[570] — говорят, ошеломляет. Я... писал... так?! Да, я с л ы ш у с и л у. Я эту главу проработал, для газеты. Другие — еще страшней. Ты отказала мне в совете... — не выбирала, как я просил. Мне грустно это... — «Ри-зы»?! Ни к чему: я даю р у с с к и м мученикам. Д о л ж н ы в с е знать. Голова полна планов, идей, тем. «Хлеб насущный...» — как бы написалось! Я с л ы ш у в с е запахи. Я вижу больше сотни сортов «выпечки» нашей. Но не в сем дело: все пронизывается болью: не умели свое беречь! неблагодарные скоты... Господь сто-лько дал..! И отняли у народа все, — да, ведущий слой наш отнял. Прет из меня... — десяток тем, а надо прежнее закончить: Бог дал мне отсрочку. Пишу — завтра — конец «Именин» — продолжение «Кренделя»? Не знаешь? Закончу сначала «Лето Господне». Буду печатать в Париже[571] «Знаменательную встречу», — «Слово» о Пушкине[iii]. И статью о «Поэте стихий и ледяной пустыни», — о творчестве И. Новгород-Северского, мужа Юли. Он ввел в русскую поэзию целую область... русскую Арктику. Изволь ответить тотчас — когда вернешься на наше Рождество домой, я пошлю тебе ландыши или живую сирень. Хочу, закажу здесь, сам. Глупая тучная дама отвезла тебе дрянь — «жасмин» жульнический конечно. Оля, у меня есть гречневая крупа, хочу каши с молоком, но держусь. Ел квашеную капусту, щи из нее, — ничего! Но... дуло, правда. От каши? Буду протирать. Но — хочу! Выпишу крупы через Земмеринг из Риги. Есть хочу ужасно. Но вот, наелся бацилл, «лактобациллин Мечникова» — чтобы освежить внут-

---

[i] Швейцарские *(от фр. suisse)*.

[ii] Краснобородка *(от фр. rouget)*.

[iii] В оригинале: и Пушкине.

ренности мои, съел 18 комприме с бациллами... — написано: без вреда! — и... поплатился: теперь 3 дня «забастовка». Но есть хочу. Всего! Значит, требуется. Ел устрицы в воскресенье и сегодня, три штуки лучших, с лимонным соком, вернее — нет лимонов! — с дикими апельсинами. Сегодня ел: утром, в постели: квакер с маслом, йогурт из цельного молока, крепкий чай с молоком, сахаром и сухари с маслом. Днем — курочка и яблочный компот. В 7 ч. — баранье жиго[i] — чулочки Меркулова! — и 4 шт. пти-сюис[ii] с желе из айвы. Хочу есть, и ждет йогурт, цельно молочный. Ну, что делать?! А... отрыжка еще. До 4 с часу — отзывались устрицы. Теперь — будто дрожжи. Доктор Серов меня забыл. Ирина приносила йогурт. — Скажи Фасе твоей — жалею ее, бедную. Ты опять больнушка? Да что же э т о?! Лежи, непоседа, не смей ни-куда. И на Рождество не езди, а молись дома. Пропой «Рождество Твое...» и «Дева днесь...» — и зажги елочку. И я приду к тебе, ангел мой. Пусть это Рождество будет светлым, н а ш и м. Тихим. Цени, Олёк... Господь нас дал друг другу — чисто, нежно, как детей. Я счастлив тобой, твоей любовью чистой, твоей душой. А ты..? И буду ценить. Жизнь так хрупка. Генералу Деникину должны делать операцию, узнал сегодня, — что-то «серьезное». И жена лежит, слабость сердца. Но у ней от злоупотребления наркотиками — давно. Приучила себя. Он сколько раз жаловался Оле. А теперь — он... Ему — 71 г. А мне — 66-ой. — Видишь, как у края... жизни. Я не чаял поправиться. Я еще очень слаб. Ноги отвыкли. Худящие... Но я, кажется, набираюсь. Надо начать «селюкрин». — Куда ни приду — что-нибудь подадут. Я не гордый, беру. Да ведь так все трудно найти. Вот, уже нет квакера... Юля старается все достать. Нашла мне чудесный хлеб — пэн комплэ[iii], как довоенный. А теперешнего я не могу есть, только бискоты[iv], сухарики почти белые, но они надоедают су-хи-е... а я хочу объемного корму. Ах, как мечтаю сырой квашеной капусты! Был у меня план: самому заквасить, да кадочки нет. Я люблю сам делать опыты. Выучился без масла на раскаленной сковороде жарить... — чудесно! Накроешь — а о н о со-о-ок дает! Оля, отчего так хочется есть, в с е г о? И самого грубого. Квакер не буду — буду есть утром лапшу... или — кашу гречневую? Может быть, пришлют из Риги? У меня фунта три вязиги! — вот бы пирожки с кашей! Не сочти за идиота, — все про еду! — но я так истощился! Ведь 4 мес. болел. И почти не ел. Мои инже-

---

[i] Жаркое *(от фр. gigot)*.
[ii] Сливочный сырок *(от фр. petit suisse)*.
[iii] Свежий хлеб *(от фр. pain complet)*.
[iv] Сухарики, гренки *(от фр. biscotte)*.

неры стряпают торты из... желудей! Дрянь. Макового хлеба хочу! Оля, когда представляю огромную булочную... Филиппова! Ско-лько..! и какой запах. Любил калачи с икрой. Навагу..! си-га..! Я брежу... едой. В Крыму так не бредил. Что — э т о?! Или — себя теряю? дожить до... т а к о г о! Вчера мечтал: монументы — хлебному колосу! дару Господа! Хлебу насущному!! О, как бы я с тобой говорил!!! Ч т о бы тебе насказал! Мозг горит. Вот сейчас ем йогурт, сам делал, из «биолактиля», «болгарская бацилла молочная». Какой же йогурт ты сделала бы! из густого молока!! Я так люблю молоко! и все молочное. И нет его. Ну, что пол-литра! «Отдавали бы молочные карточки», — пишешь. Чудачка! У нас только дети получают молочные карточки и больные, редко. Я — милостиею Божией. А то, если выбрать молочную карточку, побольше — кончится мясо и жиры, сыр — капля! И все это от «разумного французского порядка», — будто на-зло делают, чтобы население дыбилось. Чертова пропаганда англо-саксов прямо кричит: «морите народ, тормозите, чем хуже — тем лучше»! А во Франции в с е г о много! 10 млн. тонн картофеля — лежат. Кур — тьма, а яйца не видишь. В провинции..! Рыбы... — сколько угодно. А в Париже — как редкость, по рыбке малой в неделю, да и то не всем. Во всем — злостный саботаж. И все «ловчатся» как-то, гнусно. По статистике — очень прибавилсось всякого скота, а мяса раз в неделю... 90 грамм! Насмешка. Но богачи в с е имеют. На днях Меркулов был на «завтраке»! Столы ломились от еды. Как до войны. — Если теперь издать «Солнце мертвых» — Россия взяла бы, шутя, 50 тыс. экземпляров, так мне пишут. Я получил бы 1 млн. франков, т. е. на ваши — тысяч 50 гульденов. Но нехватка бумаги, издадут, если уговоримся, — куда меньше, если позволят. Придет пора, и мое «Богомолье» будет в каждом православном доме, — в е р ю. Все никак не могу вымыться, так холодно, боюсь простудиться, какой-то страх! Ищу теплой бани, есть где-то недалеко. Ведь я недавно только стал выходить. Я же был очень болен. Я не верил, когда понял, что начинаю выздоравливать. Да верно ли? Ну, Олёк, изволь сейчас же написать, когда будешь у себя на Рождество. Всю правду о здоровье. Боли опять? да, девочка моя? Как бы прильнул к тебе, приласкал, детку мою. Ведь ты могла бы быть моей *дочурочкой*. Ну, пора спать, одиннадцать. Корреспонденция моя запущена за болезнь... — жуть. Все было брошено. А хочу работать. Берлинское издательство хочет новую книгу — против большевиков. Дам... — «Каменный век». Но там все мои счета спутаны, у заменившего старого моего, Фишера[572]. Концов не найду. Хлопочет Земмеринг. Сын ее, немецкий солдат[573], вчера был у меня. Ты знаешь... один студент-рабочий, добивавшийся меня и бывший у ме-

ня... — вчера узнал! — оставил для меня кому-то сто франков! Я чуть не расплакался... — святая лепта! Я просил отдать ее — церкви. Вот, Оля, это уже — л ю б о в ь. Благослови его Бог.

27.XI Утро. Вымылся в кухне, в t° 30°, от газа. Могут запереть газ. Но все равно. После бани — легко. Все еще renvoi, но есть хочу. Спал плохо, дремлю, писанье пока отложил. Целую детку. Твой Ванёк. Тяжко мне читать «Солнце мертвых».

233

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.XI.42[i]

Милый Ванюша. Очень неловко писать — лежа на спине, еле вижу бумагу. Но хочу все же дать о себе знать и тебя приголубить. Я все лежу и лежу. Сейчас был доктор, говорит, что «если ничего не будет — то попробуйте в воскресенье на 1 час посидеть в пеньюаре, свесив ноги». Хорошо это «попробуйте»... Ну, попробую. Всякий раз страх и трепет не только у меня, но и у прочих... Какой-то психоз... Невозможно так. Магнетизерка ездит ко мне тоже. Ничему не верю... Ну, будет...

Анна Семеновна звонила вечером, накануне отъезда по телефону и говорила с мамой. И знаешь, Ваня, моя к тебе очень большая просьба: н и к о г д а ее не утруждай просьбой о т н о с и т е л ь н о м е н я. Очень прошу. Моя посылка для тебя осталась вся целиком в ее магазине. Кто и когда ее получит, не знаю. Ну, пусть все портится и тухнет. Мама с ног совершенно сбилась с моей болезнью и устает отчаянно, у нее утомляется сердце. Ее я гнать не могу в Гаагу, а у Арнольда молотьба. Сейчас в родовом имении, с 5 1/2 ч. утра уже из дома и до ночи, и все почти на велосипеде. Его тоже не могу погнать. Ну, Бог с ней, с посылкой. Брала бы тогда, хоть для своего пользования или дала кому, а то все протухнет*. Наш друг навряд ли сможет к нам приехать, как я думала. Он уезжает уже в Берлин.

Ах, как трудно писать. Ваня, «Чудесное ожерелье» больно видеть в соседстве новых твоих «собратьев» по «литературе»**[574]. Таких, как твой племянник[575], думаю, не один и не два, и какое же право имеют некоторые господа из этих «литераторов» называть их «стадом»?? Оставь ты меня мучить этими вопросами, —

---

[i] К письму приложена записка: Beanstandungsgrund: Kunstsprachen, Esperanto, Geheimsprachen, Kurzschrift unleserlich u.s.w. nicht zulässig ist. (Основание для отказа: использование искусственных языков, эсперанто, тайнописи, сокращений, неразборчивого [почерка] и т. д. недопустимо, *нем.*).

* Предупредила, что в магазине очень жарко.

** Потому я и не «выбирала» для печатания. 4.XII.42.

мне это больно свыше силы. Ты поступаешь, слушая свой голос, ну дай же и мне своего слушать. Я не раз тебе писала. Я сумею перед Богом ответить за все. Не считай меня «заблудшей овцой». И... подумай о твоей сестре[576]... она же жива!

И... будет о подобном. Благодаря короткости фраз, ты можешь подумать, что я холодна или резка, но это не то. Я же не могу иначе. Как трудно писать на спине! Я постоянно мучаюсь твоим здоровьем. Мама спрашивала А[нну] С[еменовну] о тебе. Она сказала, что «все, что тебе нужно она и ее сестра доставляют», что тебе главным образом нужна диета, и больше нового ничего не сказала. Хоть я и благодарю Бога, что тебе она кое-что доставит, но все же убита была, что мое не взято. Фасеночек мой родной успокаивала и сказала, что ее муж с удовольствием все возьмет, когда поедет. Но только... когда? Об Hôtel'е не хлопочи, т. к. г-н Ederveen не поедет, а обо мне и речи теперь быть не может. Я, Бог знает, когда опять окрепну. Две недели завтра как лежу, пластом лежу. Фасин муж, передавая мне летом твои подарки, сказал в ответ на мою благодарность: «...считал честью услужить русскому знаменитому писателю». Я его не хочу больше звать «дубиной». Бедная Фася горюет с мамой без папы... Эх, чудный был ее папочка... У меня от лежанья по ночам иногда отчаянные боли... тоскует все тело... и все лежи, и лежи. Ну, будь здоров, Ванечка, обнимаю тебя, родное сердце и целую. Оля

[На полях:] Молюсь за тебя. Молюсь и за доброго Александра Николаевича.

10 ч. вечера

4.XII.42 Спасибо, Ванечка, за подарки: духи (очень мне нравятся, настоящий жасмин комнатный), конфеты мои любимые, antigrippal, клюква. Спасибо, целую.

Одновременно реву от злости, что мое все, все оставила в магазине.

Даже 3 коробочки Bisma-Rex вернула. Две коробки драгоценного висмута и не говорю уж об остальном. Это же, прости, — хамство! Не для меня, а для тебя, которого она чтит! Спроси-ка ее, как я ее просила! Два раза писала...

234

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.XI.42

Ненаглядка, голубонька моя, Олюночка... — да, да, я чувствую, что ты уже з д о р о в а! Вся твоя болезнь — ушла. Я так светло счастлив, — о, да... ушла, и это же так мне я с н о. Долж-

но быть — и тебе. Смотри: недавно ты писала мне о болях в почечной части спины..! Вот, когда отрывался-выходил т о т поганец — и ми-лый, за то, что ушел-таки! — камешек,.. в сопровождении свиты своей — «аморфных солей» — это м. б. и его части, растворившиеся, рассыпавшиеся. Этот процесс длился недели 1 1/2, кажется. Что помогло? — Все. А главное — молитвы чьи-то — папочкины?! — и сама ты, ты х о т е л а быть здорова. И — витамины, м. б. и питание молочное! — и — березовый лист и можжевеловые ягоды... все. Но... не «знахарка», конечно: она же — post factum! Я у в е р е н, что болезнь твоя ушла, — и не вернется. Этот камешек — итог всех твоих нравственных страданий! — за ряд лет. Никакой опухоли, полипа, больных сосудов... — а была крупная и острогранная зёрнь, и — не образовала камешка, слава Богу, ушла. Ясно: организм совладал! Ура! Целую, милую, тискаю, до писка! Как хочу видеть тебя!!! — Не думай, я не болен, — что пишу рукой, — это от радости, что ты — Олюнка моя — будешь живой, светлой, жизненной, будешь теперь пи-сать, пля-сать, петь. О, как я весь пронизан тобой, радостью за тебя, за себя... Оля, надо нам увидеть Россию всю, всю... Я вижу, как мы вместе перед Нею... О, Олюна моя! Я крепко уверен, что этот день 21-го — когда я решил плюнуть на лежанье и 22-го уже махнул в Версаль, гулял и ел... — был последним днем твоей и моей болезни. Ласточка, я всю тереблю тебя, тискаюсь к тебе, в твое тепло душевное, — хочу тебя видеть, вбирать тебя! Будь покойна! «Пути» должны быть написаны. И бу-дут! Так д а н о. А теперь — о бытье своем. У меня тепло, топят! 27-го мылся на газовом тепле, а 28 — в 5 ч. уже лежал в с в о е й ванне, в 37—38° — полчаса, больше! Каждую субботу будут теперь давать и на «Sale de bain»[i]. У меня в квартире к вечеру +17—18°. Да еще я печку на случай поставил, жду бодро морозов. — Ем хорошо. Напал и напал на меня едун! Сегодня, смотри. Утро, в постели, в 9—30. Анна Васильевна подала — 1) тарелку квакера (скоро кончится!) со сливочным маслом и сахаром, 2) баночку йогурта, 3) чашка чудесного чая с хорошим молоком, 3 сухаря рассыпчатых, и я намазывал чудесный «патэ»[ii] — сам вчера состряпал! — из вареной и стертой со сливочным маслом бараньей печенки! В час дня: 1) тарелка (хорошая) превосходного супа (манная густь, + картофель + протертые белые сухие грибы, с маслом сливочным, гу-сто!); 2) печеная рыбка ружо — (султанка, барбуля), 3) 1 1/2 баночки йогурта, через 1 1/2 ч. (лежка на брюхе!) — отличный чай с яблочным и айвовым желе! Сейчас 4 ч.

---

[i] «Ванная» *(фр. salle de bains).*

[ii] «Паштет» *(от фр. pate).*

Я иду гулять. Начинает хотеться есть. И *есть*, что *есть*[i] (хоть в грамматику!). Но боюсь переполняться. Я полнею (!!?), в четверг (канун Введения) rendez-vous[ii] с Antoine: он м. б. даст лечение дальше, — укрепляющее? Отрыжка меньше, лучше. Да, я всегда знал (еще проф. Сиротинин мне говорил) что бульоны мясные (да, особенно телячий и цыплячий!) мне яд. Избегаю. Будь покойна: Ванька будет себя держать в узде — для работы! (Но как же хотел бы пирога с кашей, грибами+вязига!) Олёк, ты приедешь. Да, да. И я — к тебе. Как вполне окрепну. И посему я должен быть в ладу с полезными для сего. Мне устроят разрешение. К теплой поре. Зима не будет суровой, верю. Озлился я, что тебе не довезла А[нна] С[еменовна] духов, книгу, конфет... — дряни привезла!

Ольга, дай я тебя обниму... как когда был здоровый — в мечтах хоть! Мою юнку, свежку, бодрушку, певунью, товарочку мою ясноглазую, репку мытую... — какая ты — слышу, — вся души-и-истая, вся атласная... вся — вёрткая, скользящая... — Оля, *то* (!), что вот сейчас я чувствую в себе... о, как ясно! — вернулось. Эти месяцы болезни я не слышал в себе э-то-го... возбуждения... порыва к тебе всем существом... ну, всеми силами... а это добрый и в е р н ы й знак — знаю! — что в с е - приходит в норму. Олюнка, Олька, Ольгушка... — ты — здорова! Слышишь, как — весь к тебе? — Никуда не поеду. От тепла-то? Раз хочу и хочу есть, — значит, ça va[iii] (са ва), как говорят французы. От добра добра не ищут. Весь в планах писаний. Но надо корреспонденцию очистить. Завтра запишу. «Михайлов день» — день — отныне — твоего выздоровления!!! — обязательно перепишу и пришлю, — это мой поцелуй тебе *на* здоровье, новое, сильное, страстное! Да. «Яко видеста очи моя спасение Твое»[577]. Ясно. Господи, благодарю Святую Волю Твою... за Олюночку благодарю! — Я молился за тебя, но... ка-кая моя молитва! Помни: 21-го ноября = 8 ноября, Михайлов день, — Горкин именинник. В этот день ты была избавлена. Камешек раньше еще вышел, шел (боли)? А м. б. во время болей — оторвался, причиняя боли, шел медленно, где ему надлежало идти, царапал (его «тянуло»!). Так как же не послать тебе этого «Дня»?!! Ольга, моя и с к р а... зажгла ты меня, ж г л а... чуть не сожгла... но теперь ласкай, свети и грей. И *мы* запишем! Помни. Целую, в с ю. Не стыдись, я — ч и с т о, я — ч и с т ы й. «Нечистого» мы прогоним. И будем целоваться детски... Олёчек мой, как люблю-у-у!.. Бегу на воздух. На почту.

---

[i] В оригинале: *И есть*, что *ѣсть*.
[ii] Условленная встреча *(фр.)*.
[iii] Здесь: все в порядке *(фр.)*.

Забегу на кофе к Елизавете Семеновне. Она вчера мне ли-мон (!!) достала... чудеса!

Твой до-всегда Ванёк, едун, — гулёна

Ах — хочу писать и еще... чего? — обнять тебя, Оль. Пиши. Ты — здорова. Я с н о. Го-споди, дай, дай!

[На полях:] Скажи, почему ты чувствуешь, что выздоровела. (Да!) Но... почему?

Мы выздоравливаем в одно время, в о д и н и тот же день!!!!!

Как же благодарю за лекарство! Оно почти кончило с renvoi.

235

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.XI.42 8 вечера

Ясная моя Олюночка, светлая зорька, — я-то уж ве-чер... — только что послал тебе письмо, получив обрадовавшее меня твое, от 22, — ты же выздоровела, д о л ж н а выздороветь! У Елизаветы Семеновны застал сестру, только что вернувшуюся из Голландии. Боже мой, Олюнка... как ты меня хотела напитать, сколько заботы отдала, в с ю себя, родная... я так чувствую сердце твое... но, видишь, не в твоей светлой воле — облегчить мне житие мое. Не грусти, слава Богу, у меня все есть для питания, режимного. Вот сейчас сварил чудесные щи, к ним немного каши гречневой! — на завтра. Захотелось так: стряпал, о тебе думал, — вот сейчас Олюнке пошлю мой «ангельский» дар, — ангелу моему далекому — Ольгунке! да, перепишу «Михайлов день», Горкина именины. Это тебе мой братский поцелуй, на выздоровление. Все оставил: и ответы на залежавшиеся письма, и начатую работу для газет, все, все... — тебе хочу, всю душу хочу тебе отдать! И, знаешь, это так надо, да. «Михайлов день» у меня в единственном экземпляре и если бы пропал, трудно теперь найти. А раз перепишу для тебя — застрахую крепче, ты сохранишь. Этот рассказ — из 2-й части «Лета Господня» — кажется, удался, я несу его крепко и светло в сердце. Растревожила меня Анна Семеновна, говорила с твоей мамой по телефону, ты — лежишь?! ... это же было — говорит она — в четверг? — 26—27? С 22, когда ты писала, ты все лежишь..? больна? Но я хо-чу верить, что доктор еще не установил, что камешек вышел из почки, что, м. б. боли были, когда проходил мочеточником?.. Крепко верю, что ты теперь преодолела недуг! 21-го, это же по старому стилю — Михайлов день! — по новому — Введение. Будь здорова! будь!! будь,

Олюнка!!! Анна Семеновна хоть и очень тучная, но живая, а говорит — десяток слов в секунду... и без телефона-то ее часто не поймешь. Не унывай: приеду если — да, да!! — все у тебя съем, что хотела мне послать. — И петушка какого-то, — хотела жарить? Ах, ты, милка — добрушка, широкушка... да ведь надо покоряться обстоятельствам, — живем в величайших событиях, какие тут мирные жареные петушки! Бог даст, споют народы — «Слава в вышних Богу, и на земли мир, и в человецех благоволение...»[578] — тогда и всякие пианиссима жизни будут слышны и доступны. Нам ли не принимать все, как «назначенное» — свыше, когда мы свою космически-российскую грозу-землетрясение видели и в ней кипели и — сохранили душу?! Ничего, да будет Его Воля. А вот, получай: от Вани — Олюночке, — тишайшее, да-внее![579]

Обострение болезни оборвало. Сегодня закончу. (Продолжение на днях пошлю.)

Хоть это порадовало бы тебя! О, как тебя видеть радостной, радость моя! Господи, если бы быть здоровым к весне — и я бы был у тебя! и еще должен дописать «Именины»[580] — читатель ждет. Твой Ваня

[На полях:] Исправь. Не выправлял, м. б. есть описки.

Этот очерк сохрани, это последняя редакция — для тебя. Ваня

236

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.XII.42 Введение.

Милый, родной Ванюша, досылаю тебе письмо, завалявшееся в моем блоке, сбились с ног с моей болезнью, не отослали, а я была уверена, что отнесли его на почту. Твои 2 письма передо мной... от 27-го и 30-го... Какое радужное последнее!.. Это я писала тебе, что уверена, что болезнь ушла?! Дивуюсь... Какая же я бываю оптимистка! Ну, из последующих писем ты уже знаешь, что кровоизлияния были «бесконечны» в этот раз, хоть, м. б. и не так сильны... Хотя, что значит не сильны? Были одни только сгустки по куриному яйцу. Доктор отклонил энергично версию о камне — считает массу слишком компактной и цвет очень бел*. Подумал, не отбился ли от чего кусочек фарфора. Я сперва тоже так думала, но не нашли, откуда бы он отбился. Да и не похоже, если ближе разглядеть.

---

* За мою клиническую практику я много видала камней, но согласна, что таких не видала.

Хотели, в случае очень длительного заболевания, отправить в клинику и сделать кровоостанавливающий шприц в почку. Думает v. Capellen, что это опухоль (не растущая и не злокачественная), которая время от времени кровоточит. Не знаю! Может быть и камень, — о, как хотелось бы верить! Я только на миг подумала, вообразила, что — «тогда совсем здорова»! И... тогда только поняла весь ужас моего теперешнего житья. Ну, будет! Но, если и камень, то куда его дать исследовать? V. Capellen, я думаю, теперь из упрямства не согласится со мной, и я не узнаю правду. Это очень часто бывает у врачей... здешних (не только голландских, а всяких!). И я берегу этот кусочек... Принимаю витамины всяческие. Прогресс моего здоровья хоть, что сегодня мама рискнула меня одну на девчонку оставить, уехала в церковь, кстати проститься с В. — уезжает в Берлин, кстати взять посылку... Лучше о ней и не думать, не вспоминать. Ваня, я не смею критиковать твоих близких, но... поведение M-me B[udo] было таково, что умоляю тебя, никогда ее ни о чем для меня не просить. Она, конечно, не хотела взять, ни мне, ни тебе! Я очень горюю, что не получила книгу и, главное, тебя. И не верю, что этого не могла сделать! Не верю. Ибо сама я все-таки не совсем мужичка и езжала[i], и много даже езжала. И многим, очень многим возила, да, и не очень хорошо знакомым, а больше знакомым знакомых. Из России мы перли (иначе и не выразить) ящики с докторской работой, рукопись, одного профессора[581], от которого после, кроме подлости ничего не видали. Да, без носильщиков, мама перла, вскоре после тифа, а я надорвалась корзиной и... потом... скрывая от матери даже (совестилась) болела. Ну, Бог с ней! Сегодня узнаю, что она там оставила. Знаю от В. (был там в магазине), что посылка не развязана, значит она и висмут не взяла! Я на это до того возмущена, что слов не найду. Это же не забава, а нужное, и *тебе*! Я еще одну мелочь просила взять, сущую мелочь, в сумочку бы только сунуть. Не хотела взять! Не знаю, взяла ли! А я то, дура (!), думала «Арине Родионовне» душегрелочку еще послать к празднику, чтобы Вы оба у елочки меня вспомнили, чтобы она лучше за тобой ходила. Ну, будет, будет, я чуть не плачу! Висмут-то!! — Ах, я так издергалась за эти недели: мука за тебя, долго в неизвестности о тебе, своя болезнь страх, что никогда не кончится кровь... и т. д., и т. п. ... Нерадостно...

Нет, я не попаду теперь в Париж. — Бледная опять, сквозная, — похудела, «ветром носит». Как быстро! В. уедет — некому замолвить словечко. Да... и не хочется. Я устала. Я опять

---

[i] Так в оригинале.

пуглива. Не решится даже до Амстердама к v. Capellen добраться — куда же Париж!? Ну, прости меня за нытье, Ванюша. Первое письмо... не нравится мне; ты подумаешь, что я холодна была. Но так не думай! Меня до истязания душевного мучает семейный вопрос, которого ты очень часто касаешься, и эта боль отзывается в письме. И иногда, я до того теряю равновесие и рассудительность, что могу т а к высказаться, что сгублю себя. Понимаешь? Я иногда не знаю удержу. Для меня, для встречи со мной (как ты пишешь) не ломай себя; нельзя в некоторых вопросах иметь личный подход, ни в какой мелочи. Я не «учу» тебя, а просто свой взгляд говорю, т. к. не хочу в этом участвовать. Если у тебя, независимо от меня, то или иное отношение, то я молчу, но со мной, ради Бога, не связывай этого! Ванюша, я очень прошу тебя, только серьезно, умоляю тебя: не посылай мне цветов. Это безумие теперь. Ради Бога, дорогой. Ну, пойми, что это не брыкание, а просто это меня стесняет. Пришли веточку елочки, и у меня будет тихое, н а ш е Рождество. А эта роскошь... Теперь, когда столько горя... Ванечка, не надо, дружок. Ты поймешь меня, я верю. Ванёчек, почему ты спрашиваешь, «когда ты вернешься на наше Рождество домой?» Откуда вернусь? Я вообще о себе ничего не знаю. Если такая слабая буду, то как и в церковь-то соберусь? Я счастлива, что лучше тебе. Но берегись! Какой ужас, что так трудно всего достать. Я не постигаю как возможна такая бесхозяйственность, о которой ты пишешь (про французов!). Но теперь, когда вся Франция оккупирована[582], этого произвола, о котором ты пишешь, быть не может, т. к. германскими властями будет все учтено. И у нас, и в Бельгии решительно все хозяйство, всякое урегулировано германской властью, и такие «склады» картофеля просто немыслимы. Именно против спекуляции борьба очень активна, и судит спекулянтов немецкий суд. Уверена, что с занятием всей Франции у вас будет то же самое. Мы — деревенские хозяева — должны жить тоже строго по норме, и спекуляция карается очень строго. Все автобусы из деревни в город обследуются контролерами, мы с мамой сами испытали. Все велосипедисты обыскиваются. Именно против спекулянтов. Не пойму, как это во Франции упущено и как французы могут у себя гноить «из саботажа» продукты. Здесь — это немыслимо. Ну, надеюсь, что будет тебе лучше. Курочки наши, подумай, старые начали нестись. Как только оперились, так вот 2-ой день несутся. Это очень кстати, т. к. мне пришлось до 15 сентября массу яиц сдать государству, чтобы получить разрешение на держание 15 кур. В результате получилось то, что не только себе ничего на зиму не пришлось оставить, но для сдачи-то пришлось у соседки занять 8 шт. Но теперь я имею право на 15 кур и 1 петуха, и вот

они радуют. Мы ни одного дня не сидели без свежего яйца. Молодки очень рано начали. Мы удачно скрестили расу[i], — сами с мамой дошли. Чудные вышли курочки. По-ученому-то «расу» испортили, т. к. скрестили от 2-х разных рас, а оказалось, что детки взяли у отца и матери лучшие черты. Ну, расхвасталась! Сегодня у нас белый мороз и все бело. В этом году чего-то я очень боюсь зимы. Не холода, у нас топливо есть, но не знаю почему. А раньше я зиму любила... Ванечка, спасибо тебе за желание послать «Михайлов день». Очень хочу! Люблю Горкина...

То, что у тебя ко мне давно «того» чувства не было, как ты пишешь, — я знала, ты... вообще от меня отходил. Я не тиранила тебя этими приставаниями, «отчего переменился» и т. д., но я знала. И это уже давно, давно. «То» — не важно, и мне менее всего нужно и ценно, как само по себе, но это — симптом утраты чего-то еще. Более ценного. Я очень страдала, видя тебя ушедшим. Не говорила и не сказала бы, если бы начал ты. Кто знает, что и во мне за это время творилось!? Но ты — прав: надо ценить все, что дает жизнь. И я все ценю. И я стремлюсь к святому, к тихому Рождеству. Но того настроения, которое было у меня в сочельник, в первый день Рождества со снежинками... помню... Будет ли? Это было как вдохновение. Пусть будет! Хочу верить! Я ко многому себя заставила привыкнуть. Я во многом стала другая. Ты не заметил? Только не в чувстве к тебе. Люблю глубоко.

[На полях:] Ну, Ванюша, целую тебя крепко и любя. Оля

Напиши обязательно, как ты относишься к Жорж Санд?[583] Очень важно!

Я тебя очень люблю! Живо!

Духи твои новые[ii].

237

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.XII.42

Милый мой Ванюша,

не могу понять, почему от тебя так долго нет писем. Я волнуюсь. Пишу эту открытку очень наскоро, чтобы не заставить тебя долго ждать вестей от себя, т. к. мне сегодня вернули 2 письма заказных к тебе (от 27-го и 4-го)[iii]. Я воображаю,

---

[i] Порода животных (*от нем. Rasse*).

[ii] Письмо надушено.

[iii] Вероятно, письма не дошли до адресата, они не включены в нумерацию писем И. С. Шмелева.

как и ты волнуешься, не получая от меня так долго. Постараюсь на днях написать и ответить тебе. Надо будет просмотреть недосланные эти 2. Я писала их лежа, на спине, очень больная, и потому неразборчиво, за это и вернули. Напиши о твоем здоровье! Неужели не понимаешь, что томишь меня. А сил у меня тоже немного. Я возмущена А[нной] С[еменовной], — она даже висмут не взяла и 3 коробочки Bisma-Rex. Только 2 Bisma-Rex взяла. О ней вообще много бы могла сказать! — Получил ли ты от нее хоть 2-то коробочки? Ты до сих пор ни звука об этом. Получил ли ты мое письмо обратное с рассказом о Яйюшке, моей няне? Ты мне никогда не отвечаешь на вопросы, но на эти ответь! О себе нечего сказать... радостного нечего, а о тоскливом что же говорить? Чувствую себя совсем неважно. Доктор отверг версию камня в почке, после анализа.

[На полях:] Ванечка, прошу, не посылай мне цветов к Рождеству! Прошу!

Целую тебя и крещу. Оля

238

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.XII.42

Милый Ваня, вот уже 3-я неделя, как я не имею от тебя никакой весточки. Я очень тревожилась за твое здоровье, предполагая в нем причину твоего молчания. Но от А. Н. М[еркулова] я узнала[584], что тебе, слава Богу, лучше. Теперь я ломаю голову над тем, отчего ты не пишешь? Какая же причина так мучить меня? И сколько бы я ни думала, я все вернее прихожу к одному выводу, что ты меня забываешь, или забыл, что я тебе не составляю уже того, что была когда-то... Одним словом, я пожалуй должна согласиться с определением Серова, что ты — увлекающийся (ну, хорошо, как художник, не в плохом смысле) и в увлечении говоришь многое, во что и сам свято веришь, а потом это улетает. Но ты должен одно понять, что я — человек, пусть маленький, но все же с душой и сердцем. И мне невыносимы эти муки. Если бы ты меня любил, то понял бы, что нельзя так испытывать человеческое сердце. Нельзя так. Я не могу, я м. б. слишком слаба, но пойми, что я не могу выносить этих полос твоего молчания. Это началось давно. Сперва недели. Регулярность эта... хуже брани.

Если бы ты смог увидеть все то, что творится у меня на душе. И, главное, к чему это? Я молю тебя, серьезно, во имя чего-то, что ты мне раньше писал, — скажи мне лучше прямо, разом, а не томи, не мучай, не заставляй меня выводами доходить до

правды. Скажи, если я тебе не нужна, или нужна как «пристяжка» в колеснице. Я в толк не возьму, чем я тебя могла прогневать, или огорчить, что ты бы замолчал. Если работа тебя держит, то 2—3 слова черкнул бы, и я бы не волновалась. Я же не дура и могу понять, если тебе не до меня в работе! Если бы любил ты, то все это понял бы сам... И... где же то вдохновенье, где отображение любви твоей в твоем. Я никак не отразилась у тебя, кроме упреков в болезни, в «сжигании». Я очень скорблю. Господь с тобой. Ольга

Почему ты не хочешь ровной радости друг от друга? Вот именно: тебе она не нужна.

239

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.XII.42   7 вечера

Я виноват перед тобой, дорогая Олюша, — с 30 ноября не писал тебе. Но если бы ты была на моем месте, тебе было бы понятно, почему это так. Я был в ужасе какого-то оцепенения, будто уже и нет тебя на свете! Твое письмо от 25[585] придавило меня, — опять больна! — а я, было, возродился, от прежде полученных писем твоих, что камешек вышел, и вот ты совсем здорова. С неделю так было со мной. Наконец, я решился — заставил себя, превозмогая предельную подавленность, — написать маме твоей, 12 декабря[586]. Вчера пришла твоя открытка, от 12 же! Боже мой, ты больна, больна... что мы за незадачливые! Горько мне писать, но не могу и таить от тебя, что здоровье мое не налаживается... Только что болей нет... но язва, — знаю, — не зажила... и снова начались отрыжки и... эти две ночи подряд — непроизвольные рвоты. Я так берегусь с пищей, ем только растительно-молочное... все протертое... — и вот, это, очевидно, кислотность, снова спазмы пилора[i], пища застаивается в желудке, бродит, отсюда отрыжки... и — вон. Я выхожу... но так хочется лежать! Нет, уж пусть бы делали операцию. Ну, вот сегодня утром я пошел за молоком, — по воскресеньям Анны Васильевны не бывает, пил чай у Елизаветы Семеновны — с молоком, сухарик и немножко сливочного масла. Вернулся домой, через полтора часа съел жидкое свежее яичко с сухариком. Через 3 ч. тарелку небольшую супа — из манной и протертого картофеля с кусочком сливочного масла и сухарем. И все. И вот, через два часа после супа я чувствую как бы приближение будущей отрыжки и... м. б. — рво-

---

[i] Нижнее отверстие желудка *(от фр. pylore)*.

ты, ночью. Сейчас поташнивает. Это такое томление, убивает все чувства, и как тут писать! Этой жизни я не вынесу долго, пусть режут, — какой-нибудь конец. Аппетит пропал. Мое оцепенение усугубилось под влиянием противного сновидения, 1 или 2 декабря. — Я стою у камина, где недавно поставили чугунную печурку — еще не топил, у меня топят радиаторы центральные — и сегодня 17 градусов тепла. — И вижу, будто проползла змейка, серовато-телесного цвета. Я хочу найти ее и выкинуть, ищу, и вижу... она обвила мою правую ногу, чуть пониже икры, в два кольца. Я чувствую нажим этих обвивов и доселе... — я хочу взять газету и — чтобы не прикасаться голой рукой, снять змею, под шею взять, тогда не опасно... и — просыпаюсь... Ужасное чувство жути и омерзения.... еще больше придавило меня, я заледенел в оторопи... закостенел. А тут еще ухудшение болезни. Я чувствую, что это ухудшение связано с моими тревогами за тебя и за себя, сознание бесцельности, — не работаю, не могу!! — в тошнотности постоянной! — угнетает и — ухудшает. Я плачу над тобой, моей бедняжке — и бессилен... Я решил ото всего отказаться, в пище и питье, самое аскетичное... — только бы избыть. Заметил: забудусь — и лучше мне. Но теперь пришлось даже от йогурта отказаться. И бросить даже протертое мясо. Я не могу даже есть с л а д к о е яблочное пюре! Хочу завтра пойти к Серову и просить впрыскивать «ляристин», который мне помогал. М. б. с строжайшим соблюдением диеты — поможет: я на все согласен. Теперь жалею, что в 34 г. не было операции... А теперь... спустя 8 лет! — не то сердце. А кругом — смерти, смерти... Но, Олюночка, но что же с тобой-то? опять кровка течет из почки? Ну, в с е скажи, мне надо знать. Ведь я одурел — окаменел в мысли, что тебя уже нет на свете, вот потому и нет писем, или ты в клинике, тебя оперируют... — и я чего-то ждал... ждал... и мое ухудшение началось. — Я получил две баночки висма-рекс, благодарю. Как я был растроган, озарен твоей лаской... как ты хотела меня питать, так нежно-чутко. О, благодарю, родная моя Олюночка... — я плачу от нежности твоей ко мне, ласка моя! Ну, Анна Семеновна может быть и права, отняли бы на осмотре голландские или французские чины. Но ты-то получила ли хоть пустяки? Со слов А[нны] С[еменовны] понял, что тебе доставлены антигриппал, коробочка конфет, клюквенный экстракт и дрянь-жасмин. Не могла — не захотела А[нна] С[еменовна] доставить тебе «душистый горошек» Герлэна! Вернули ли тебе по крайней мере — твои чудесные припасы... А[нна] С[еменовна] восторгалась какими-то глазированными фруктами — «такие по виду чудесно-аппетитные»! Видишь, теперь мне ничего этого уже нельзя... — О, це-

лую твои заботливые ручки, твое сердечко... о, нежная, светлая моя! — вечная ты моя — за что мы такие незадачливые!? Так чудесно найти друг-друга и так томиться..! Да, получил твое письмо с рассказом о «Яйюшке», спасибо, роднушечка. Не томи себя мыслями обо мне: у меня все есть, нужды в деньгах не было и нет, многого мне теперь не нужно. Курю одну папиросу в день, деля ее на 3 части! Попробую есть теперь в каждый прием очень мало... есть через два-три часа, не наполняться. Но довольно о себе, о болезни... 4 дня — и день станет прибавляться. Это мое чтение меня свалило, надорвался. — Через силу пишу, рассказ «Именины». — Из «Лета Господня». Надо еще дать к русскому Рождеству в Берлин — отработать аванс — и за-чем взял?! — хочу дать «Рождество в Москве», рассказ москвича, — показать праздник материального и духовного изобилия, — для российских читателей, которые этого не знают. Смогу ли, за эти два-три дня..? — когда тошнота все. — Я измучился, не зная ничего о тебе. Ты хоть от Меркулова что-то получила обо мне... а я в неизвестности мучительной... Ты молода, сильна, ты должна преодолеть недуг. Верь, преодо-ле-ешь! будешь радостна. Я, я еще не теряю надежду как-то хоть немного выправиться... а ты — ты должна жить твердой надеждой! по-мни!! Ты должна сказать свое, у тебя так много... и дара, и опыта, и — глаза. Все твои чувства, средства творческие — очень тонки, богаты, огромны! Оля, помни, и — веруй. Не поддавайся унынию. Я было думал писать о визе в Швейцарию, чтобы окрепнуть в санатории и лучше питаться, но эти дни показывают, что мне лучше дома, — куда я, больной, двинусь, если бы даже и разрешили! Ивик в университете, на математическом и еще на факультете «русского языка и словесности», как и его невеста. Заходят, ласковые, жалеют «дядь-Ваничку нашего». Юля — предел ласки. — Племянник нашел меня. Он в Германии, на службе, в «ландгест ютц»[1]. Надеется, что будет возможность повидать меня, в Париже. — 21 декабря. Ночь почти спокойная, отрыжки не было, т. к. я питание свел к самой малости. Но есть небольшие боли в дуодени. Странно, язык совершенно чистый! Сегодня пойду к С[erову] впрыскивать ларистин. Сейчас, в 2 ч. дня должен ехать в город по делам. Милка моя, когда получишь письмо, день уже прибавился! Как я люблю этот поворот! — как бы рождение надежд!

Олёчек мой милый, держи себя в руках, не теряй надежды на выздоровление. Ты будешь здорова. Мои годы — другое дело, тут уже с изношенностью тела не сладишь, — процесс за-

---

[1] «Полевая артиллерия» *(от нем. Landgeschuetz)*.

живления крайне замедлен. И приходится держать себя в полуголоде. А я, конечно, голоден: сегодня ночью опять все думы о съестном! Судак во всех видах: заливной, отварной с хреном, по-польски, жареный, в похлебках!

На Рождество наше, за всенощной, буду усиленно думать о тебе, в 7 час. Смотреть на небо, ловить звездный «свет Рождества». Если, конечно, буду в силах.

Прими от меня цветы, Олюша... м. б., это мои последние..? Надеюсь, доставят тебе во-время. Сейчас я поеду — закажу у Андре Боман[587], корреспондента утрехтского. Ну, Господь да будет с тобой, девочка светлая... о, будь здорова, родная моя, о, будь! будь, будь!!! Целую, светик мой.

Твой Ванёк, не успел просмотреть, выправь опечатки.

240

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

Ольге Бредиус-Субботиной
Поздравляю,
Да светит Рождество в сердце и да исцелит.
Ваня
21.XII.42 Paris

241

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.XII.42

Милый Ваня, и сегодня ничего от тебя нет.

Больше 3-х недель я не получаю от тебя весточки. Если ты не представляешь себе моего состояния, то прошу тебя вообразить, что бы ты чувствовал, если бы это я так надолго тебя покинула?!

Забота твоя о моем здоровье в открытке к маме звучит для меня лицемерием, когда ты своим молчанием буквально меня добиваешь. И я не знаю тогда, для чего тебе надо знать, жива ли я еще. Если бы ты действительно волновался о моем здоровье, то что тебе мешает написать мне? Нет, ты ждешь ответа от мамы, чтобы узнать, почему я «не писала» (это несчастье с возвращенными письмами), а до того терзаешь и себя, и меня недоверием. Будто лукавый опять из ничего делает ссору. Господь с тобой! Делай как знаешь, но неужели ты за всю жизнь не знаешь опытом, что подобные эксперименты ничего хорошего дать не могут. У меня, кроме того, мало сил душевных, —

я все время нездорова. Горько видеть всюду праздник (пусть еще и не наш), и быть как бы избитой... Как легко ты отшвыриваешь людей и без всякого объяснения! Я не ждала в тебе такого. Сейчас я уезжаю из дома на неопределенное время, — я должна подумать о себе тоже. И так верила, что еще до отъезда хоть что-нибудь узнаю. Всем им устроила все к Рождеству, и хочу отдохнуть. Господь да хранит тебя. О. С.

[На полях:] До письма от тебя я больше писать н е буду.

Неужели ты все не знаешь, как я к тебе?

242

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.XII.42

Милый Ваня,

пишу все же, т. к. совершенно измучена твоим молчанием, какой-то, так нелепо создавшейся мутью. Отчего это? Я ничем не виновата. Не понимаю тебя. Что у тебя такое случилось?

Если ты не умышленно меня отстраняешь, если тебе еще я дорога, то я еще в последний раз хочу сказать: «если ты надумал муть какую-то, если мучаешься фантомами какими-то, брось это! Все это глупый вздор, твоя фантазия. Я даже представить не могу, что тебя мучает. Оставь все темное, — будь светел, ибо без этого внутреннего света нельзя жить. Верь мне чуточку — побольше, ты, — неверующий Фома!» Я хотела бы тебя успокоить, т. к. мне мучительно думать, что ты м. б. страдаешь, но я н и ч е г о не знаю — что с тобой?? Почему ты молчишь? Почему эта открытка маме, а мне ни звука? Если ты спрашиваешь маму, не больна ли я, то почему же не напишешь больной? О моем здоровье писать нечего. Одна тоска. Теперь (вчера) я отдав «камешек» тому доктору, который больше всех верил в возможность камня, я узнала, что и он сомневается, и говорит о возможности «комбинации песка с воспалением». Никто ничего не знает. Он думает, что такой песок крови не мог бы вызвать без другой еще причины. Но это — скучно. Я должна отдохнуть и успокоить нервы. Пользуясь праздниками и досугом, меня послали отдохнуть. Пью Виши—соль, имитацию удалось достать. Нужных трав от песка не могу доставать. Сообщи же, ради Бога, что с тобой. Я боюсь тебе прямо писать, не зная, как ты теперь ко мне. М. б. тебе не нужна моя забота. Как ты этого не поймешь?! Но если ты все тот же, то знай, что всегда я мыслью с тобой, молю Бога о тебе, грущу с тобой и радуюсь тихой радостью и светом. Обнимаю (если хочешь ты). Оля

[На полях:] Я забыла взять свою бумагу. Прости, что на такой пишу.

Ванюша, будь милый, тихий, кроткий! Кому нужны эти муки?!

Не томи меня, — я так устала нервами. Мне так хочется покоя... Нет причины к твоему неудовольствию.

Будо все оставила здесь и «мелочь» даже, — узнала на днях.

243

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.XII.42

Милый Ванечка,

к светлому, радостному празднику нашему, Рождества Христова шлю я тебе мое поздравление.

Да укрепит, исцелит и ободрит тебя Господь!

Только что твое письмо от 21-го дек., — я не постигаю прямо этакого уныния у тебя и такой больной фантазии. Берегись таких состояний — это, по глубокому убеждению моему, — грех.

И откуда ты взял, что меня уже может и не быть в живых? И хорошо утешение мне, когда ты такого мнения о моей болезни и так высказываешься. Нет, так нельзя!

У меня был (а м. б. и есть) дядя — муж двоюродной сестры папы, профессор богословия, идейный и идеальный священник. Так вот он всегда говорил, что мы выдуманными страхами «накликаем» беду.

Его жена страдала мнительностью чрезвычайной, но он ее всегда направлял. Не искушай Господа, благодари за каждый день, ибо во всем, даже в болезнях есть великий смысл.

А. Н. Меркулов жалуется, что ты самовольно лечишься много, слушая то одного приятеля, то другого. Я это всегда подозревала, удивляясь тем дозам висмута, хотя бы, которые ты принимал. Мне мой врач тут, и в аптеке говорили, что дозировку должен установить пользующий врач. Я тебе писала. Почему ты параллельно с Antoine ходишь к Серову? Это никогда не хорошо, если оба врача не в контакте между собой. Почему ларистин, если о нем ничего не говорит Antoine. Для последнего ты очень затуманиваешь картину твоей болезни, принимая лекарства (пусть и хорошие, даже) со стороны!! Ведь это же так понятно. Я удивлена, что лишь теперь ты пришел к выводу, что кушать надо часто, но малыми порциями. Это же азбука для ulcus'а. Слушайся А[лександра] Н[иколаевича] — это,

видимо, действительно разумный друг. Грешно предаваться состоянию подавленности от сновидения... Именно — грешно. О том, как в свою очередь все это твое на мне отозвалось, не хочу писать. Хочу, чтобы праздник не омрачался подобными вещами. Я только что вернулась домой, — была у доктора, пользуясь и его и моей праздничной незанятостью. Никаких, однако, точных результатов. Пью, с трудом найденную, вишисоль, имитацию, конечно. Мечтаю попасть на службу в храм на Р. Х., но ничего не знаю, как это будет. И вообще, будет ли, и где служба, надо узнать, т. к. начинают выселять уже ту улицу в Гааге, где церковь. Масса домов срыта до основания[588], очевидно эта же участь постигнет и наш храм. Собирается батюшка переезжать в Амстердам, там есть у нас подвальная церковушка[589]. Вот надо все узнать.

Об А[нне] С[еменовне] лучше мне и не напоминай, не береди. Если она в отношении тебя (т. к. по твоей оценке) и есть «лучшая из твоих друзей», то... у меня совсем другое мнение. Она еще и очень хорошая сочинительница, — сравнивая данные твоего письма и то, что она маме в телефон говорила, — она, по-русски выражаясь, просто — врет! А относительно «глазированных фруктов» — сочинила тоже, т. к. она пакет мой даже и не открыла, а о фруктах я ей в письме писала. Вот она и сфантазировала. Никаких «глазированных» не было. Были пьяные вишни — раз, — и сушеные яблоки — два. Я не могу тебе всего еще описать, т. к готовила тебе сюрприз, но поверь, что такого бесстыдно халатного отношения я ни у кого не встречала. А сестра ее... тоже похоже на нее ко мне отнеслась. М. б. из ревности к тебе?! — Уж не знаю. Но одно скажу, что если бы меня попросили кто-нибудь (даже неприятные мне лица) сделать что-либо для чтимого мною лица, и просили!! И делала!!! (ну хоть И. А.), то я бы для него это сделала с радостью. А тут... забросили куда-то все, черт знает куда. И месяц спустя после моего письма к Елизавете Семеновне, — швырнули из магазина. А сама Елизавета Семеновна и не подумала отозваться. Именно швырнули. Ну, Бог с ними. Если хоть в глаза к тебе хороши, то и то хорошо. Но, прошу, меня таким дамам никак не выставлять. Ты сам очень чувствителен к обидам, а у меня не признаешь. Вспомни только Frau Sömmering! Даже верить не хотел. Однако, не хочу упрекать тебя. Больно только, что все, что для диеты тебе необходимо было — не попало. Врет она, — отчего же Фасин муж возит!? А ту мелочь, что я просила?

Посылаю веточку елочки, как символ. Оля

244

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.XII.42

Детка моя, как измучен, не зная ничего о тебе! Я писал тебе 21-го[590], — еще хотел 2-ое тут же, и — свалился. Вчера послал письмо и «Михайлов день». Допишу его. Мне чуть лучше, болей нет, но — эти ужасные renvois (воздухом!). — Оля, сегодня твоя унылая открытка! Мне больно, что письмо так долго идет. Нет, я люблю-люблю тебя! Крепко, верно. А замедление мое — итог моего уныния. Я поглощен работой, перемогаясь. Дал «Новому слову»[591] — н а д о так. Сейчас — здешней газете. Письмо от племянника[592]. Он свободен и играет большую роль. Он был проф. Артиллерийской академии. Переезжает в Берлин. Будет скоро у меня. Ничего не пойму.

Твой Ванёк

[На полях:] Напиши о здоровье. Ради Бога!!

Обнимаю. С Рождеством Христовым! Светик!!

Всю-всю целую!

245

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

Рождественский Сочельник
24 дек. 1942 / 6 янв. 1943

Дорогая моя детка, милая моя Ольгунка — Ольгунчик! Свет Младенца — Христа, Свет Его жизненосного Лика, Его целЯщих очей да будет на тебе всегда, моя родная, моя чистая девочка. Я весь с тобой, я — твой Ванёк. Сегодня я почти не спал, все думал: воображение так горело, я столько видел! Мне, слава Богу, хорошо. Вчера, — много-много дней не было так, — я был совсем здоров! Чудо, случайность?.. Ну, слушай. В пятницу, 1-го янв., вечером совсем, заехал меня поздравить один из 2-х братьев Pastak[593], — товарищи моего Сергуньки; инженеры. «Вы больны недостатком витаминов. Вы едите только вареное все. Я привез Вам моркови! Сколько влезет — давите и пейте сок. Я сегодня звоню двоюродной сестре[594]. Она хороший доктор (караимка, окончила медицинское образование во Франции, серьезная, му-драя!), завтра она будет у Вас...» Малоразговорчивый, большой химик, чудесное сердце. Утром, 2-го, — является докторша. Старая девушка, лет 40, некрасивая. У-мная. Исследовала, все расспросила. — «Органы важные — в отличном состоянии. Я Вас вылечу». То-то и то-то...

«Во вторник — зайду». Дала успокаивающее нервную систему. Вливания под кожу (4 раза по... 250 centimètre cube serum glucose[i]). Бандаж! Бинт. Antoine — ни-куда! насмешка!! Вторник. «Язвы у Вас уже нет! (diagnose Серова и Очана!) У Вас — gastrite[ii], катар желудка, вялость кишок, страшно опущен желудок и кишки, полное нервное истощение. Отсюда — все! Вы будете здоровы через месяц, если будете соблюдать то-то и то-то». Удивительно! Вчера — 1-ое вливание. За весь день ни болей, ни отрыжки, ни тошноты. «Вы отравили желудок и все... Sous-nitrat de bismuth'ом» «Вам нужен другой висмут...» Понимаешь?.. Она п о д н я л а меня! И сейчас, и ночью — ни ощущения болей, ни-чего. Большой аппетит. «Есть много, чаще, но... по-немногу. Час — 1 1/2 лежать, после еды с грелкой на правом боку. Есть — молочное, свежий творог, принимать такое-то лекарство с 2 десертными ложками оливкового масла, в крайнем случае — арашида[iii]». Оливкового масла не найду. Творог ищу. Я верю, что она меня воздвигнет. Мне хочется писать, я чувствую прилив сил. Настроение очень хорошее. Мысли — рой пчел. Впервые за эти годы встречаю Христово Рождество светлым, просветленным. А я уже — как бы у х о д и л! И все же — я писал!! — Милая Олюшенька, обнимаю тебя! Свет мой! Я хочу быть около тебя, — и я — с тобой. Но я молю Бога — увидеть тебя. Будь здорова! Если бы ты показалась этой докторше, m-lle Claire Абрамовне Крым, — она все поняла бы в тебе. Я ей все скажу. Напиши ей. Адрес ее: 17, rue Saint-Saens, Paris, 15-e Клара Абрамовна Крым (Claire Krymm, Dr.).

Сегодня вечером — пойду в церковь, обязательно! — будет м. б. Серов, кто-нибудь. Я приготовил — почему? — взвар и пшеничную кутью с медом. Сам испек лепешек (старушка заболела!) и буду думать о тебе! Зажгу лампадки. Свечки. Елочки только нет... но она у меня в душе, и это будто твоя елочка, мысленная, — и в ней — Ты, всегда — Ты. Я бы повесил на нее эти лепешки, твои золотистые конфеты и паникадило (елочное), присланное из Берлина. Я буду думать о тебе. Олёк мой, я знаю: «Пути Небесные» будут написаны. Господь даст мне. Только ты, ты будь здорова. Я поправлюсь, — да, да, — я верю. И хочу верить, что ты поправишься. И тебя излечит Господь, через эту Claire «Ясную»[595]. Обнимаю. Спешу. В 11 ч. утра будет почтенная «сестра» вливать. Это моя читательница. Она ходит только за митр. Евлогием и В. Н. Коковцовым[596] (ему в марте — 90 л.!). «Это я только благодарность мою Вам,

---

[i] 250 кубических сантиметров сыворотки глюкозы *(фр.)*.

[ii] Воспаление внутренней оболочки желудка *(фр.)*.

[iii] Земляной орех *(от фр. arachide)*.

И[ван] С[ергеевич], хочу выразить за все, за все...» (правда, она очень утомлена, очень опытная! лучшая!).

Олёк, весь день у меня занят тесно. Надо много писем, купить — старушка больна, я пока один. Юля ищет бандаж. Пишу всем об оливковом масле, миндале, твороге. Достал тебе чудесные pastilles Vichi[1] и тебе [1 сл. нрзб.]. Отдам мужу Фаси — и все.

[На полях:] Мне хорошо. Иду на почту и — в церковь!

Олёль, 2-ое вливание. Нет ни болей, ни отрыжки.

24-го, 5 ч вечера Сейчас, Олёк, принесли твой чудесный цветок. Белый, чистый цикламен. Как я целовал его свежие мотыльки — о, благодарю!

Докторша радостно (!) одобрила т в о й — Bisma-Rex и велела принимать 2 р. в день перед едой, а после — первое лекарство. О, милая ты — спасибо за любовь, заботу обо мне, и духи, и конфеты. Целую. Обнимаю. Моя детка! Всем поздравления.

Твой Ваня, всегда-всегда!

246

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус—Субботиной

8.I.43

Дорогая Олюночка, — спешу сказать тебе, — уже начал большое письмо[597], и написал 3 стр., но надо исправлять, т. к. лента не отпечатывает, — а то [на] день поздней получишь... — как ты меня всего осветила, — такого Рождества, с таким светом в душе не было давно! Елочка, и ка-ка-я!.. О, милая! Я весь зажегся тобой — от нее — и созвал народ, и был с в е т, и я читал новый рассказ — «Рождество в Москве». Олёк, я здоров, да, да! 4-й день — ни-чего! Я хочу писать. Я полон тобой, я — буду у тебя. Я вылечу тебя! Моя докторша, я все ей скажу о твоей болезни. Сегодня, нет — завтра. Она — чудодей. М. б. тебе надо сюда! Да!! Приезжай!! Устрой. А весной я к тебе, если буду — так же. Оль, родная, ты мое Рождество. Обнимаю, всю. Твой Ваня

Завтра будет письмо и — «Михайлов день»[598].

[На полях:] Так легко было [вчера дать]. Я тебя чувствовал... все.

Точно: как твое здоровье?

Приезжай!

---

[1] Пастилки Виши *(фр.)*.

247

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.I.43

Дорогой и милый мой друг, родной Ваня!

Какая-то тихая размягченность, гармония. Какая-то светлая праздничность живет это последнее время в моей душе. Кажется, что она вливается вместе с голубым небом, ярким морозным солнцем, искрится рассыпанным снегом, пушистым инеем, звенит узорами на стеклах... Как будто кто-то неведомый пишет тонкий узор какой-то в душе, какие-то чудесные и таинственные картины рождаются в сердце, и все существо ждет чего-то, великого и прекрасного. И все же я знаю, что ничего не будет такого, но пребываю в грезах о несбыточном, небывалом, и не могущем быть, о чем-то высоком, неизмеримо выше всех наших людских исканий, страстей и чувств. И тогда мне кажется, что можно, и должно, непременно должно что-то совершить, — прекрасное, светлое, какую-то частицу того дивного мира, который где-то глубоко живет в сердце.

И оттого, что не знаю, что и как сделать, — грустно.

Мне захотелось записать хотя бы только вот эти мысли, мысли о каком-то несбыточном «узоре», сказать это тебе, т. к. молчать (и об этом хотя бы только) трудно... М. б. это ты ласков ко мне, — и оттого у меня так уютно и трепетно в сердце. Я прежде это всегда угадывала... ... ...

Странное было у меня н а ш е Рождество... Будто... много гостей, приветов, любви и ласки, а не было н и к о г о...

Цветы твои, а накануне письмо Елизаветы Семеновны (простое и милое, особенно милым показалось, после обиды от ее сестры), и какая-то всеобщая ласка в Гааге, на разрыв зазывание к себе, «нежность» о. Дионисия, неожиданная встреча в церкви с Сережей и, наконец, одно письмо... как будто из недр давнишних времен, от одной знакомой, когда-то игравшей слишком много в моей жизни и в этом письме приписки лиц, казавшихся утраченными мною. Так странно: встало какое-то давно прошедшее, — с того момента, как расстались все, — прошло так много... Откуда-то из южной Америки приплыли, из Лодзя, из... Москвы... Три брата[599], которых я всех давно-давно, веселой девочкой видала. Дипломат большой немецкий один из них. Они все случайно были вместе. Мое одно письмо в это общество попало. Читали все. Вспомнили. И вот в коротких словах приветов встают лица, жизни, как будто бы я их и не теряла из вида... У этого дипломата уж дочь невеста, а помню я ее ребенком, спрашивавшим: «а почему Боженька

в очках?» (о епископе). Ах, сколько жизни там в воспоминаньях! Жена его просит писать... А куда? Знаю только, что в Берлине. И как мне больно, что они о моей болезни знают, а прежде я была — вся радость, здоровье, жизнь... Силюсь вспомнить письмо то, которое попало туда: кажется, я бодро писала о своей доле?! Но все-таки пришла радость откуда-то, и вошла, и осталась... И почему-то (не от картин ли воспоминаний?) создалось чувство молодости и веры в жизнь и д а л и, и кажется, что завеса еще не совсем поднята, и есть еще много прекрасного, и главное, неведомого, счастья...

Ах, такой странный мне недавно снился сон...

Если не скучно будет, напишу...

Душный воздух и ветер, сухой и пыльный... крутит, вьет платье, рвет волосы. Идти так трудно... Город чужой, незнакомый, но наш, знаю. Много белых домов, белым камнем мощены улицы. Кажется, это с них такая пыль вьется, — тонкая, белая, скрипит на зубах, щекочет в носу, сорит, — режет глаза.. По улицам, толкая проходящих, бегут мальчишки — несут цветы, — букеты белой сирени, пышной, крупной, не тепличной. А я думаю о белых цветах, — хрупких, чахло-нежных, белых сиренях из теплицы, на тонких стволиках, в прозрачных, будто восковых лепестках, бледно-зеленых. И у меня тоска по этим, именно по этим слабеньким, выхоленным цветам... и сладко на сердце...

И я знаю, что кто-то, но я не знаю кто, мне прислал такие цветы, — мне — больной...

И вот я в чужой комнате, будто клинической приемной, и на столе сверток с цветами, и еще коробка... И надпись — мне. И я знаю, что это — знак любви, но я не знаю «того», кто прислал, я знаю только, что это кто-то не тот, от кого бы *я* хотела, и мне больно за чужую любовь, за его страдание, за неизбежность разочаровать его порыв. И в личности «того» мне представляется смешение нескольких лиц: мальчика одного из ранней юности и еще одного доктора, которым я никогда не могла ответить на их порыв. И мне больно. Я оставляю лежать цветы, но знаю, что мне их неминуемо надо будет взять и ответить... И вот... много людей, мои все сослуживицы и сослуживцы. И «тот». В руках у «него» (я не улавливаю все, кто это) сверток тот. И он вынимает один цветок, на длинном стебле. Это — черный тюльпан. «Знаменитый черный тюльпан», проносится у меня молнией, и я — вся напряжение... И что же? Это все? Где же другие цветы? Мне грустно, больно, томительно... А «тот», не спрашивая ни о чем, уж будто понял меня, и грустно тоже говорит: «Этот цветок переродится в птицу, — это не простой цветок... смотрите... умоляю, смотрите...» Все

смотрят, не мигая, а я не могу собрать силы внимания, и вздор мой блуждает помимо воли, я не могу смотреть на цветок, как все. А «тот» страдает от этого, молит взглядом. Я это чую, знаю, но не могу ему ответить. Мучаюсь... Вот слышу: «видите, вот клювик...» Я взглядываю и вижу, правда, — клювик, головка из кулачка «того» выглядывает. И тюльпанчик блестит, как блестят скворцы на солнце, переливается шейкой, но все еще цветочком. На стебельке... Я приковываюсь взглядом и в этот миг слышу, как все ахнули: «смотрите, ручка, детская ручка выпала из цветочка!» Я вижу ручку, маленькую, будто из пестика цветка, будто восковая. И больше не сомневаюсь в метаморфозе. И спрашиваю с волнением, «можно мне взять это... на память?! На память о чуде, о неверии моем, и об уверовании... — «Н-не знаю», запинается «тот» — «Вы же не участвовали в этой метаморфозе духом, желанием, мыслью... Здесь м. б. больше права имеет... (и он называет одну мою помощницу-горбунью), она... хотела, она дала цветку силы ожить...» О, как обидно мне... Ведь это же мои цветы... «Цветы любви,.. но не моей любви, поэтому? Без ответа... Поэтому?» Спрашиваю сердце... И мне жаль «того», что я не люблю «того», не могу любить. Но «тот» говорит: «это не все, Вы главное еще не упустили...попробуйте не рассеиваться и Вы увидите то, чем увенчается все это...» Я впиваюсь глазами в птичку и чувствую, как в сердце нарастает нежность к маленькому цветку-птичке, до слез, до восторга. И под этим взглядом головка поднимается выше, украшается коронкой из перьев, крылышки отделяются из лепестков тюльпана и тихонько трепещут-шевелятся, как у скворцов на солнце... Я люблю, люблю эту хрупкую птичку, я живу ею, я всю ее взяла взглядом... Я жду, напряженно-восторженно жду того, что будет, должно быть... И вот она начинает петь. Так нежно, тихо, но четко и верно. Будто в полевых колокольчиках играет степной ветер... Подумалось так. А «тот» сказал: «вот это — твое, ты это оживила... и в этом — все... За этим и живет эта птичка». Это сказали только глаза «его», но я поняла. Но птичка кончает мелодию, — это понятно по музыкальной фразе, — я в горести смотрю на «того» и хочу знать... неужели — конец?.. Да — конец... Птичка «вянет», клонит головку... Ее уже нет. На стебельке комочек свернувшихся, увядших лепестков-перышков. Ну, что же? Рыдает во мне что-то? Зачем же все тогда? Зачем?.. Но «тот» молчит. Потом, подумав, — «нет, еще не все, Вы можете... молитвой теперь еще вернуть... последнее... Молитесь, все молитесь...» Мы за столом. Я молюсь всей силой души. И все молятся. А «тот», скрывая руками комочек смягших листочков, закрыв глаза, о чем-то тихо просит... Кого?..

Я хочу, хочу жизни этой птичке... Какой жизни — не знаю, но не хочу конца... «Тот» поднимет голову и, смотря только мне в глаза, изможденно, — просветленный молитвой, говорит: «вот, это — конец, возьмите, это — Ваше...» Маленькую плоскую вазочку-тарелочку подвинул ко мне через весь стол, и я увидела, что откуда-то, будто из донышка, серебряной тонкой струйкой бьет ключик-фонтанчик. И в тот миг, как я подвинула к себе его, вся растрогавшись душой, я почувствовала такое благоухание, такой тонкий аромат, что не было бы силы воображения, что-либо подобное представить. «Это — слезы любви», — сказал какой-то голос, — «...и они останутся во все века...» Кто сказал это? Не знаю... «Того» я больше не видала...

К сну навертелись еще разные грезы, лица спутывались, я томилась, отыскивая цветы, какие-то особенно чудесные, томилась состраданием к кому-то, решала неразрешимые проблемы... Утром мне казалось, что я все еще смогу услышать и пение и аромат цветка-птички, стоит лишь закрыть глаза, — и странно так, мне еще и теперь все слышится это, и я стараюсь разгадать это странное свое состояние, родившее такую грезу. Я очень бедна фантазией, и ни за какие сокровища мира не смогло бы мое воображение ничего подобного придумать... Откуда эти грезы?..[600]

Прости, милый, «бабьи бредни». Я часто живу подобной «ерундой»... В сердце моем так много к тебе ласки и света. Я боюсь, боюсь твоих перерывов в письмах, боюсь как-нибудь нарушить чудесную гармонию во мне. Хочу сказать: «остановись!» — всему этому миру в своей души. Так хочется вечно этого света! И ты помни, что я полно и чудесно, как и прежде, живу нежностью к тебе. Я здорова. Не мучай себя страхами..! Да, я полна тобой. И потому, чтобы не нарушать этого мира... было покинувшего меня от твоей холодности, не удивляйся, если я не буду без твоих ответов часто тебе писать. Последние письма (твои) растерзали мою душу, мне было бы невыносимо все это еще раз. Я создала мир мой вне этих уколов и хочу быть в нем. Переписка *без ответа* испепеляет мое сердце, и потому я буду тебе писать, лишь на твой ответ. И так часто, как ты сам этого захочешь. Целую нежно. Оля

[На полях:] Прости это глупое письмо. А от тебя опять нет и нет ничего, и я робею писать, утрачиваю нить.

Мне хочется писать, но так горько без твоего руководства. А я знаю, что ты его не дашь, т. к. никогда больше не отвечаешь. У меня масса тем!

Я н е получила «Михайлов день». Что же это? Неужели пропало?

248

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.I.43

Родная Ольгуночка, 7-й день я здоров. Мне лучше, лучше! Елка — моя радость и мой Свет, — ты, она — твое нежное отображение. Как я хочу видеть тебя. Все твои сомнения, укоризны — напрасны. Я — как еще мало меня знаешь! — не мыслю жизни без тебя! Это чувство — моя сущность, без него — конец. Мое «молчание» — онемение от «ужаса»..! — пой-ми!

Каким маленьким, изменчивым, «игрунком» — представила ты себе меня! Я хочу отвернуться — ты была нужна мне «для художественного воплощения..!»[601] — ну, *что* это!? Мне больно, так это не — для меня! Я тебя сильно полюбил, ты — все. Пойми. И так хочу — и могу! — работать. Наскоро, — твой Ваня

Все у меня запущено. Допереписываю для тебя «Михайлов день».

249

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13.I.43

Милый мой Ванечка, какой радостный был для меня вчера день: твои 2 письма[602], и какие! Тебе лучше! Боже, как я рада! Ванька, глупый, ты забыл, что *я* тебе писала (кажется, в начале ноября?)?? Я же тебе прямо сказала: «мне думается, что м. б. у тебя gastritis acida!» Вспомни же, дурной ты этакий!! Это было до твоего визита к Antoine. Я это хорошо знаю, т. к. ждала очень, не подтвердится ли мой диагноз. Я так много видала таких больных, и Шахбагов так много и подробно, и научно мне преподавал, что часто мои предположения подтверждались. И о висмуте я тебе писала, чтобы осторожней, а ты еще мне (помнишь?) «одернул», — «знаю, мол, не хуже тебя, вздор!» Ну, как это чудно, что ты нашел хорошую докторшу! Ванюша, с сырыми же овощами самолично, без совета с врачом не злоупотребляй. Иногда это все же дурно отозваться может. Имей в виду, что желчный пузырь часто протестует и тогда осложняется и с желудком. Спроси, милок, у доктора-рши. Если тебе недостает витамина, то принимать м. б. лучше таблетки? Мне сказал v. Capellen, что «хронический недостаток витаминов, невозможно восполнить текущей пищей, — необходимо дать сразу достаточное количество, чтобы заполнить дефицит, а затем уже поддерживать баланс подходящей пищей».

Понимаешь? Чтобы, например, мне восполнить дефицит «С», надо бы было есть в день до 20 лимонов месяцами, что для желудка и проч. было бы ужасно. И тогда вводят таблетки. Спроси врача. Очень, очень возможно, что тебе витамины нужны.. Ну, а теперь о ином... Ванюшка, мне так радостно... Солнце, капели, небо высокое опять, голубое, в каналах по льду вода ходит, сквозится снег... Будто бы весна... ребята орут около школы, а петух наш — красавец глотку всю себе разорвал, на куче стоя. Собачонка избегалась с визгом и лаем за целой стаей разновидных псов. Ужасно радостно на сердце. Мне так писать хочется... Ах, если бы смочь. У меня только еще мало сил, — я до безобразия скоро утомляюсь, а по утрам, — стыдно признаться, — сплю до 1/2 9-го часа!! Ужас!

Правда, я ложусь не рано, никогда до 12 ч. ... Хочу писать, очень. И... рисовать. И не знаю, что больше. Рисовать я обожаю. А сколько сожжено опять! Я все бросаю. Не люблю, перестаю любить то, что уже сделано. Мечту о работе люблю, ношу в сердце, а коль скоро она воплотится — все пропадает.

Читаю «Madame Bovary»[603], — она не будет моей героиней... Не взяла сердце... Правда читаю по-голландски, это все не то, но ничего нельзя было другого достать, и эту-то книгу с величайшим трудом достал Kees, заказав ее еще на мое рождение!! Я одновременно перечитываю «Войну и мир», и... как же это невыгодно для Флобера! Очень хочу освоить французский язык, перечитать все в оригинале. Но лучше наших, никого нет. Я обожаю народ свой, до последнего босяка! И каждой луже бы поклонилась! Именно... о б о ж а ю!

Ах, Наташа Ростова какая прелесть! Какое сердце! Как можно вновь и вновь стать юной, переносясь душой в молодость Наташи! Но довольно об этом...

Я совершенно захвачена «Михайловым днем»! Очаровательный очерк, Ваня! Как и все твое! Чудесно! Жду, жду продолжения! Вчера только получила начало, — шло 1 месяц. У тебя дата 30-го *XI*! Простым послал! Безбожно это! А ну как бы пропало! Ванюша, не смей свой труд не заказным слать! Преклоняюсь перед трудом твоим, что больной еще переписывал мне. Конечно, сохраню. Каждую твою букву сохраню! Ванёчек, спасибо! Спасибо за этот чудный дар. Когда ты писал этот рассказ? Ты знаешь, я тебе признаюсь, — мне особенно, особенно дорого это, т. к. этот рассказ ты посвятил своей Ольгуне, написав его в ее уже у тебя бытность! Понимаешь? Я безумно счастлива за «Куликово поле»[604], я прямо не верила глазам своим, что ты меня так осчастливить захотел, так отметить...

Я, прямо до физической боли в сердце, как-то вся вздрогнула, когда ты на именины подарил мне «Под горами»[605], но... это,

этот очерк.. ты его написал мне! Понимаешь? Это верх блаженства для меня думать, что в те мгновенья, когда ты писал, ты уже знал мое сердце, любил, и м. б. думал обо мне. Это совсем особенно! Ах, спасибо тебе! Ты знаешь, я тебе признаюсь, — не суди меня: я тогда, после твоих недовольных и скупых писем думала: «он не пишет ничего, он не хочет писать и "Пути Небесные" только потому, что когда-то в порыве обещал их написать мне, и теперь прошло, и он не хочет, и подсознательно не может уж...» Да, да, и много еще чего я думала... Ужасно думала...

Как я счастлива, что тебе лучше! Тебе к весне лучше, а это же лучший признак того, что язвы нет! Она обычно к весне бунтует.

Мне тоже лучше. У меня масса планов, желаний, энергии. Только надо бы какую-то систему, времени мало, надо время сделать, системой его найти. Это трудно, — я — бессистемна, но надо... Сегодня была магнетизерка и прямо говорит: «...у Вас наверное много желаний и то, и это начать?..» — «ну, это лучший признак того, что я рукой своей чувствую?..» — удивляюсь, поднимая брови... «у Вас ничего нет в почке, все ушло...» Ах, я не знаю, Ванёк, но что-то все-таки она производит. Например, сегодня она гладила мне спину, стояла сзади. Вдруг чувствую горячо спине и она не гладит больше,а приложила что-то. Я думала, что она дует, — так бывало. И говорю: «как долго у Вас хватает дыхания дуть, как жарко...» — «я? — дуть? Спросите Вашу маму, что я делаю». Я вижу, действительно, что ее лицо из-за плеча ко мне наклоняется и спрашиваю, что же это? «Я руку только положила...» «Какие горячие руки!..» Но она дает мне ее руки... холодноватые, сухие. Я ничего не понимаю. Опять эти холодные руки кладет мне на почки, и я сказала бы, что это грелка, и хорошо-горячая даже. Это она напряжением воли давала ее магнетизм. У мамы еще показательней.

В а - а н ь... а - у - у?! Ванюша, неужели тебе Елизавета Семеновна все-таки не достала елочку!? Когда я читала твое письмо, радостное, сочельниковое, и твое: «только елочки нет...», то я прямо стонала... О, если бы она ее тебе достала! Что это за «паникадило елочное»? Это «Advent-Kranz»?[1] На лентах висит такое колесо из елок, со свечками и серебром? Или без оных? Я думала тебе такую штуку заказать, но очень уже это не наше. Но красиво. Одно время, я, увлекшись европейскими праздниками, себе такую штуку соорудила и каждую неделю прибавляла по 1 свече (начинают с 1-ой свечи за 4 недели до Рождества). Да, так вот, о «паникадиле»... Тебе я его все же не послала, — оно ведь ничего бы сердцу не дало. Ты полу-

---

[1] «Рождественский венок» *(нем.)*.

чил цикламены? Что же, тоже дрянь? Всякий раз теперь боюсь. Цветочный магазин мне не ручался. Неужели в Париже нет азалий белых? Я так просила! И сирени, — но о ней наотрез сказали «нет»! Твой цветочек мне цветет чудесно. Обнимаю тебя! И тот, что на именины я сама пожелала, — все еще цветет! Я его очень люблю. Ты отбранил его... а у него такие нежные цветочки в колючей шишке! У меня начинают цвести цветы... Очарователен один кактус, сплошь в цветах — висюльках шелково-алых. Ах, как хорошо на душе! Ну, целую моего глупыша.

[На полях:] Я в отчаянии, что не могу тебе ничего послать из нужного: у меня есть оливковое масло, и каждый день творог!

15.I Кончаю «Madame Bovary» — ужасно!

Пиши же! Ответь на это! Ольгуля. Прости мазню.

Напиши, как провел праздники!? Жду с нетерпением, узнать, достала ли Е[лизавета] С[еменовна] елочку!

250

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7/20.I.43

Дорогая Олюночка, сегодня, как и в былое время, елочка раздета и ждет печки. У меня +20°! На дворе теплынь. Много света дала мне твоя елочка. Оля, брось укорять меня, не верить мне: я люблю тебя прочно, верно, неизменно: я хочу увидеть тебя. И если мало (или с промежутками) пишу — значит — занят работой, только. Я должен закончить «Лето Господне» чтобы освободиться для «Путей Небесных». Моя любовь стала глубже, покойней, п р о ч н е й, — выдержалась в испытаниях. Я не повторяюсь: было бы странно — на протяжении 2-х лет заверять: «я оч-ень люблю, я не могу больше — без тебя!» и т. д. Видишь — могу, томлюсь, но жду. Говорил о тебе новой докторше: она советует приехать, поедет с тобой к верному специалисту. — Я очень подавлен многим... — и болезнь еще не оставляет. Я на очень суровой и скудной диете, и — другое. Слава Богу — могу писать.

Вчера была у меня Елена Федоровская[606], она заботилась обо мне, когда я лежал. Я показал ей елочку, сказал — от кого. Она была унесена рассказом «Рождество в Москве».

Целую, спешу отдать А[нне] В[асильевне]. Надо в банк, деньги откуда-то. Твой Ваня

[На полях:] Вчера День рождения Сережечки.

Почему не белые цветы?!!! На Рождество — всегда белые! Твой цикламен дивный!

251

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8/21.I.43 11 ч. утра

Я так засветился тобой, Ольгуночка... — сейчас твое письмо от 13/15.I, я так тобою переполнен и в з я т! Такая ты ласковая, такая нежная, — вся — сквозная сердцем, — все в нем вижу, — твою любовь! Так весь взволнован, — перо не ходит! Ты, наконец, в е р н у л а с ь, ласковка... Рад: «Михайлов день» тебе по-сердцу! Я это чувствовал — будет т а к! Милая, я не сдаю, я силен для писанья, — я дал «Рождество в Москве», — сам взволнован, как еще много во мне напора творческого! О, да, — много, ОлЮшка моя... Одно помни, всегда: ни-когда, ни за что, ни от чего — твой Ванёк не изменится к тебе, ты во мне улеглась — в сердце! — так глубоко, так тепло-уютно. Так меня согреваешь. Если не пишу тебе — не выдумывай: это значит, что мне в эти дни не удается оторваться для тебя, держит работа, веленья (часто — малостные, но не отмахнешься), счеты дня сего: питанье, исканье его, — ну, недомогание или кислотность, или — надо прилечь после лекарства. Это напоминание, что еще не все в порядке... — так мешает уйти всецело в тебя! Помни же: никогда на протяжении этих годов (2—3!) я не остывал, не м о г — для тебя! Ты — в с е — и в жизни моей ныне, и в работе. О елочке твоей я писал тебе 8-го I, ты получила *2* письма, как ты не знаешь, получил ли я?! Или в эти 2 письма вошли от 31-го дек.[607] и 6-го — канунное, когда я только что получил твой чудесный белый цикламен? Светлым пошел я к всенощной, получив через час-два после цветка — елочку! Я так был очарован, согрет, обласкан тобой! — Праздники я провел — весь просветленный (тобой!), спокойный, как никогда за эти горькие годы, *до* тебя! Не помню, когда такое было со мной. Мы взаимно осветили себя. Это наше чистое, верное чувство передалось, и потому так оба были светлы. Я все думаю о тебе, весь к тебе унесся.

Погода — весна! Небо — весна. Твой краснолистый цветок — бегония? — на именины — растет, но он не цвел! Были где-то у корней — чуточные, розоватые! Где же «шишка»?! Не пойму. — Оливковое масло достала Юля, из Марселя, от belle-soeur[i], 1/2 бутылки. Творог устроили друзья, — от фермера — читателя моего[608], буду получать 2 раза в неделю пакетами. Уже получил вчера, и ем чудесную ватрушку. *Сам* испек пряник, и такой... — все диву дались. Да, сам. И без духовки

[i] Золовка *(фр.)*.

даже, — у меня газовая печурка, малая. Найти новую нельзя, но я заказал комиссионеру. Ольгунка, изволь спечь маме, Сереже, себе и Арнольду (пусть знает, как русские пряники, — они почти и французские — эти вот!).

Вот состав: 2 ложки [1 сл. нрзб.] распустить в 3/4 стакана теплого молока, всыпать еще 1/2 чайной ложки соды (лучше аммонии, но этого carbonate d'ammoniac[i] не достать, и сколько его надо в такой состав — не знаю). Добавить 125 г сахару (это — 20 кусков) и 250 грамм муки, все хорошенько размешать. Добавить, для окраски, жженого сахару (ну, 3—4 куска расплавь до темно-коричневого цвета) хорошо — апельсиновых (люблю) цукатов или варенье — лучше бы цельных персиков, чтобы чувствовалось в еде! — или fruit glaces глазированный фрукт, немного поджаренного миндаля и прокаленных орешков, — (можно и без них, конечно) — но я-то все достал, у Ива были орехи, он сам в лесах набрал, а миндаля мне прислали — 2—3 кило орехов миндальных. Мне, видимо, ве-зет на читателей — поклонников! — Дальше: форму смажь маслом, выложи «тесто пряничное» и — оставь так на 1 час до выпекания: очевидно надо соде «выходить» тесто... Пеки (печь в духовке, doux[ii], не жаркой!). Лучше, если добавишь корицы в меру, — я достал, это теперь редкость. Пряник у меня — на диво. Пусть и у тебя такой же. Я так хотел бы! Покупные pain d'epice[iii] — дрянь. Оль, у меня для тебя — ждут: огромная коробка (золотая) шоколадных конфет, marrons glaces[iv], миндальные тянучки (чудесные!), мармелад, — полон комод — для тебя. И я жду, жду случая — послать, или — о, Боже, — в рот твой положить, самому! Оль, я так хочу видеть тебя! Если я буду здоров весной, я буду стараться приехать. Увидишь Ваню — а, все равно, — какой он стал ста-рый... — так все мне кажется. Хоть я и очень ж и в о й.

Не могу бросить письма — хочу еще шептать тебе, как люблю, что со мной делается, — хочу видеть тебя! Ах ты, растеряха — мне жаль твоих, незнаемых — сережек! Ну, прикажи ювелиру приготовить по уцелевшей! Пусть — и м и т а ц и я! Я хочу — «к р а с а в и ц у»! — тебя, — с «болтушками» (?) на ушках. Хо-чу! Вели! Не впервые это у тебя — терять сережки![609] На велосипеде еще было, когда ты соблазняла, «ведьмочка», — спутника, — и... доездилась. Э х, не было меня! Я отлично ездил — и — выносливо, по 50 верст, бывало! Совсем не-

---

[i] Углекислая соль аммиака *(фр.)*.

[ii] Теплый *(фр.)*.

[iii] Пряники *(фр.)*.

[iv] Засахаренные каштаны *(фр.)*.

давно (лет 10—12 тому) брал Ивика на передок. И мог делать по 30 км! (Это в 50-то с малым лет![610]) И вот теперь... чувствовать то, и так, как могут разве 25-летние... по напряженности — так ярко, так осязательно... воображением! Я в с е могу пережить — вплоть до... земных объятий... — тебя, со всеми черточками и ощущениями..! Дивятся мне, — правда! — каким чудесным даром памяти надо обладать, чтобы писать так, как Вы... эти «Именины»! Чудаки. Надо только быть м н о ю... — и тогда так просто. С а м о лезет. Оль, я люблю тебя, — прости, — но сейчас вот — так по-земному! Или — это зовы весны? Но пора бы им перестать действовать на меня!

Оль, только бы ты была здорова! Оль, что со мной? Сегодня, впервые после 5—6 мес. — физического покоя — спокойствия в отношении моей Ольгунки! — и это, конечно, — покой-то физический! — от болезни, в болезни: — я испытываю влечение «греховное»... Но вот — представь себе! — что значит быть равнодушно-хладным: 6-го день Рождения моего Сережечки, — меня посетила, я писал вчера тебе в открытке! — Елена Федоровна Федоровская, жена одного кинодельца[611], который сидит как «подданный» одной из мелких южно-американских республик, признавших врагов Германии, — и поделом ему: не выбирай таких «друзей»! Она очень! заботилась обо мне в болезни. Ей 40—45 л., m-me Бовари, только постарше. На днях прислала мне сгущеного молока сладкого, из своего запаса. Очень милая, из староверческой семьи, вся наша, нестеровская, но со скрытым темпераментом Флёнушки («В лесах» Мельникова-Печерского[612], — любишь, да? Я до сих лет люблю! эту эпопею). Ну, так вот, привезла свежих мимоз, я ее поил чаем под твоей елочкой. Она была очень мила, хорошо запудрена. Сегодня она причащалась. И вот, увидя меня, слушая меня, говорит нежно, — с большим чувством: «дайте, я поцелую Вас!» И я, так просто-легко, будто это сестра-друг, даю, и сам целую ее — трижды, у виска. И — н и-чего, ни малейшего «движения» во мне! — как и у нее, понятно. Ну, что, кто я для нее, — такой, в н е жизни уже, ничей писатель?! Я же понимаю. Так это хорошо — просто — чисто — хладно вышло! А вот, о тебе думая, не... знаю... как я поцеловал бы тебя? Так? Но я не хочу — так. Но м. б. это во мне сейчас — преходящее — ? Или — прилив новых сил? Мне грустно и смешно: в таком возрасте т а к чувствовать!? Нет, мне стыдно. Должен же я понимать, что такой, как я, — уж слишком не подходящий для «любви готовятся дары»[613] (Пушкин, «Руслан и Людмила»). Нет, чувство вкуса, чув-ство изящного — не д о л ж н о допускать сего. Я должен понимать. И я, конечно, — мимо, мимо с е г о! Быть смешным — плохо, но быть дико-глупо-смешным... — отвратитель-

но. Но это мне не мешает открывать тебе потайное мое, это ведь уж не так смешно, правда?

Ну, Оль моя, целую все же, в с ю... очень сокровенно, «в уме». Это же не смешно, по крайней мере — не так голо-смешно. Представь, мне 35 — только. В уме можно и 35. Да? Хочу скорей допереписать «Михайлов день». А сейчас за «Именины». Пишу их прямо «на-чисто».

Твой всегда Вань-Ваня

И. Ш.

[На полях:] Прости, Ольгунка, на многое не ответил, но скоро н а п и ш у. Мне надо в эти два дня кончить «Именины»: читатели ждут!! И Юля ждет статью о стихах мужа. И все надо в эти два—три дня. Ванька

Ольга, ты так нужна мне! О, моя чудесная, моя же-н-щина!

Сколько конфет для тебя! Полон ящик! Всего. Как жду тебя!

Будет кто в Париже — пришли Bisma-Rex, это замечательное лекарство.

Олель, я с ума схожу от тебя, без тебя. Я х[очу] т . . . ! Губоньки твои дай. О, мой цветик!

Прости, но я так хочу по-земному тебя любить! Оля, во мне просыпается страстное уже чувство — снова! — желание тебя! Значит — я здоров, если хочу тебя!

М. б., ты уже здорова? О, если бы! Я тогда буду весь светел. Оля, я так был потрясен, думал — нет тебя. Клянусь! Я не пережил бы тебя!! Клянусь!! Это странное чувство — онемения. Я окаменел. Я боялся тебе писать. Ольгушонок мой светлый, дай, Господи, чтобы ты выздоровела! Моя милая. Радость!

Твой сон — удивительный по подробностям: это твоя мысль в подсознании создавала в с е. Это не рожденное еще — творческое. «Паникадило» — маленькая вещичка из серебряной сусали, в 6 свечечек, — 2—3 вершка кругом: я его подвесил под лампадку. Целую мою прелестную девочку Олю. Всю, до... милых бровок, до пальчиков на ножках. Спешу. Надо «Михайлов день». Мне стыдно — все недосуг.

Как я тебя жарко обнимаю... О, как целую, по-весеннему!

Люблю жарко. Твой Ваня

252

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9 янв. 43 г. 9 утра
(Заканчивается и посылается 22 янв.)

Оль, вот продолжение «Михайлова дня»: Я пою, я счастлив тобой! Оль, напиши, что у тебя с твоим недомоганием? В с е на-

пиши, я все объясню докторше, я верю, что она установит и вылечит тебя. Ты д о л ж н а приехать!!! Ты увидишь, как она тебя в неделю вызволит из недуга! И ты ее полюбишь. Она — вся — в науке, — Господь послал мне избавление, — Пастаки — редкостные друзья, — вот чудесные..! Он знаменитый химик, тот, который мне моркови привез, — оба брата — хомяки, но столько в них скрытой любви..! !! Мне скоро — верю — пришлют миндаля, — у меня пока около кило, и еще орешки лесные, и я скажу Арине Родионовне — сделать мне лепешки ореховые, а сам буду делать миндальное молоко, я так его люблю, и люблю вспомнить детство, толочь, выжимать... только горького миндаля нет, досада... Я дал знать Ивану Александровичу[614], что — был болен, и переводчице, — они, м. б. распорядятся, чтоб мне прислали миндаля... Жду из пяти разных городов, где только найдут. И просил Юлю написать своей золовке — по первому мужу, — прислать мне — привитой лимончик, это моя идея фикс! Он будет цвести, а я вспомню отца, нашу залу, цветок[615], и мой носишко, которым я свалил цветок — опал — первый, чудесный... и матушка требовала, чтобы отец меня высек! Но он только «помазал»... — пожалел «капитана», своего баловливого Ванятку. Если бы вырастить лимон и пить с ним чай — вместе с Олюнкой!! Оль, я тебя жду, так жду... — это будет предел моего счастья — это будет начало работы над «Путями»... — вот запишу... !!!! Ну, продолжаю «Михайлов день».

Да, я не помню, чем кончил, — я добавлял к первой редакции... Пишу на-ура, но ты поймешь...[i]

Окончание посылаю одновременно, — нельзя писать больше 2 листов. Целую. Ваня. (Весь я в переписке, для Олюнки.)

253

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.I.1943, ночь на 22-ое

Окончание рассказа — «Михайлов день». Досылаю отдельно, т. к. в последнем посыле норма в два листа исчерпана. И. Ш.[ii]

Каков рассказ-то?! ... Кажется — «с зерном». Бе-рет читателя, з н а ю. Ты, Ольгуна, оценила уже по первой трети. Ты его полюбишь. Вообще, как увидишь, II-ая ч. «Лета Господня» будет не хуже I-ой, а, м. б., и... Ну, скажешь: «каша гречневая...»

---

[i] Далее следует текст главы романа «Лето Господне» «Михайлов день».

[ii] Далее следует окончание главы романа «Лето Господне» «Михайлов день».

Ну, о себе, к а к я чувствую и принимаю с в о е, — я тебе расскажу, только... на-ушкО. И — как (чем) Оля чувствовала, — безошибочно!

Моя докторша сегодня принесла мне огромное (такого и не видывал) куриное яйцо, «сегодня снесенное»! Арина Родионовна сегодня испекла пряник, с добавлением апельсиновых цукат и рома. Вчера — замечательную ватрушку, — я поднес докторше кусок. И угощал шоколадными конфетами, силой всунул ей в сумку. Пью (скупо) оливковое масло. Мне пока нельзя мясо: не принимает подлец — желудок, кричит: на-зад! И не только кричит, но и... А так мне хочется есть. Не могу пока и хлеба, даже pain complet. Только сухари. Но, к счастью, могу квакер (овсянку), и у меня еще есть маленький запас. Теперь не делают квакера, нельзя. Сегодня 2-ое кило миндальных орехов. У меня запас — 4 кило, еще одного в пути. Я так люблю миндальное молоко, и оно мне прописано. Теперь только я оценил, дочего вкусен... картофель! Не любил, бывало. Ну, печеный, еще туда-сюда и — особенно — из-под жареного гуся, весь в жиру, или — с жареной бараниной. Но вареное мясо могу. Оль, я о-чень оголодал, все на уме — жратва, как у «голодной куме все хлеб на уме». И еще — ты у меня на уме... да, о-чень. Как всегда, но теперь... очень о с т р о, в о л н у ю щ е. Напиши о здоровье, все.

Глубокая ночь, ай-ай... Я должен давно быть в постели. Не смей засиживаться до 12 ч. ночи. Изволь — в 10 быть уже «баиньки». Прошу, и я буду. И будем думать друг о друге. Хорошо? да? Ну, сделай же. Как целую!

Твой весь Ванятка — Вань

[На полях:] Я чувствую, что нисколько не «сдал». Весь в «форме».

Вчера разобрали елочку твою.

Оля, у меня есть очень сильное «Рождество», написанное «с тобой». И — «Именины» должен завтра дописать, надо газете. И — потрясает, будто? — «Рождество в Москве».

Понимаешь, как важно мне закончить «Лето Господне»? Им миллионы душ отогреваться будут! И. Ш.

254

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.I.43 10 ч. утра

Милая Ольгуночка, вот что еще... Для тебя у меня — целая коробка (в 200 шт.!) «Pastilles-Vichy-citron» (вкус) ждет оказии. А м. б., сама приедешь? Сделай! «При-едь!» — как ты чудесно писала, бывало, детка-словотворка. Это совершенно

правильно, если бы производить глагольную форму, но... совершенный вид повелительного наклонения глагола приехать (видишь — в неопределенном наклонении вид совершенный!) утратился. Но в разговорной речи встречается. У тебя чудесное чутье родного языка! О, ми-лая..! Целую твой язычок, о-чень. И... вдумчиво.

Сегодня, в один день, должен написать (буду прямо нА-чисто!) — дописать (сывать), верней, — «Именины». Спешу сдать это на почту. Посылаю племяннику крестик нательный — и гостинчика. Твой белый цикламен — летит бабочками. Милая моя ба-бочка — (в обоих смыслах!) — обнимаю. Люблю. Очень, о-чень... Пой-ми и — «при-едь»! Я никак не страшусь сего. Я — как я — и все. Мы будем у-мники. Какой день, солнце, теплы-ынь. У меня +20°. Но печка в запасе. Только бы ты, ты, ты — была здорова!

Что еще..? Да, сбереги «Михайлов день». Его новая редакция раздвинулась! — я всегда при переписке добавляю. Этот рассказ расширен, — в думах и сердце с тобой, — может быть на 20—25%[616]. У меня нет копии. Знай: это дается Родине — впрок, на столетия. Да. Уверен. Какая... «гречневая каша»! — Скажешь. Но ты знаешь меня. Это я только — с тобой, тебе вся душа моя — настежь. Только — тебе. Как я жду тебя! Что это со мной?! ... Весна? Но она — эх, где она еще!.. Bisma-Rex — пришли или — привези. Оля, я все жду, жду тебя...

Оль моя, — бедняжка-больнушка (и раззява: потеряла серьгу!), — скажи: здорова? Ну, скажи... Да, от И. А. его ученик Нарсесян не имел вестей с сентября![617] Что с ним? болен?.. Жду от Нарсесяна ответа. Марина — невеста (помолвлена?) какого-то Дерягина[618]. Не знаю.

Оля, я все о тебе, о тебе... так хочу тебя увидеть! Оль, приедь!.. Во всяком случае я это сделаю, буду добиваться. Оля, я хочу написать «Масленицу», новую[619] (рассказ «делового человека»). О — блинах — духовных и — вкусных, плотских. А кто же меня будет угощать блинами? Осталось 3 недели. Хочу. И еще — тебя в сметане. И — с маслом. Если бы тебя... с икрой! Понимаешь..? Оль... Ну, целую. Спешу. Девочка моя, с цветами... как я был счастлив (и до-сейчас!) твоей елочкой! Умница. Пригожица. Красавица...

Твой на-крепко — Ваня

И. Ш.

[На полях:] Мозг кипуч, хочу — писать. И ты — пиши! не трусь. Уверуй в себя. Я, я, я — говорю тебе! Ванёк. Я совсем еще (!?) — То-ник! Тонька. Ты — рада этому? Да?

Оля, как я х[очу] т[ебя]! — увидеть, да... и — все сказать. Всю... изглядеть-излюбить.

Поцелуй мамочку и Сережу, крепко!

Я заказал иконописцу-читательнице[620] — очень талантливой — две иконы: Св. Троицы (благословение отца) и триптих: Ольга, Иван Богослов и преп. Сергий. Хорошо?

255

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.I.43

Милый мой Ванечка, вот опять выйдет, что целую неделю тебе не писала, но это оттого, что замотали меня дела и поездки. В Крещенье была в церкви и у магнетизерки заодно. Думала, что и все дела остальные смогу устроить в Утрехте, но поездки теперь так трудны, что еле-еле поспели на последний автобус. Пришлось ехать на другой день. Приехала домой усталая, переусталая, а меня встречают новостью: был телефон от Кеса, который сообщил, что не только его сестру с мужем (русским), но и отца-старика спешно выселяют[621], а отец болен, ему боятся даже и говорить; для сестры их я нашла жилье, дачку Фаси, с еще несколькими семьями вселятся, как в Ноев ковчег. Пришлось к старику ехать и Арнольду, и мне. Там оказалось, что у него нашли coron. Sklerose, (склероз коронной (?) артерии сердца). Доктор сказал, что он может внезапно скончаться. Ему 80 лет. И вот надо уезжать с насиженного гнезда. Я поехала первая, тотчас же и, приехав на место, застала плачевнейшую картину: отец за столом чего-то пишет, его компаньонка-старушка (тоже около 80 л.) суетится с чаем, всюду как-то неряшливо (где прежде пылинка каждая видна была), прислуга саврасит[622] все, что хочет. Никто ничего не знает, да и знать не хочет. Старик не представляет даже всего дела, не верит и, ничего не предприняв, потерял 3 дня. Осталось всего несколько дней до 30-го янв., когда он <u>должен</u> убраться. А дом... битком набит всякой всячиной. Стоят еще шкафы с гардеробом его покойной жены, которые он ни разу не рискнул открыть после ее смерти, боясь воспоминаний... Доктор предписал ему жить «из кресла в постель, из постели в кресло». Ну, что тут сделаешь?! Надо было его как-то подготовить сперва. Итак первый день, драгоценный день пропал даром. С аттест'ом[i] врача Кес стал просить разрешения остаться больному. А тем временем я на следующий день тихонько в задней комнате упаковывала хрусталь и фарфор. Ты не можешь себе представить все те трудности, которые были на каждом шагу. Т. к.

---

[i] Свидетельство *(от нем. Attest)*.

переезды массовые, то ничего нет, — ни ящиков, ни газет, ни стружек. И никаких способов передвижения. От Эвакуационного бюро можно получить право на одну фуру, а все остальные вещи надо оставить тогда в квартире. Ну, кое-как сообразили, как перевезти все ценное, выключив из работы наших лошадей и работника. На аттест докторов прислали для контроля еще одного врача (от национал-социалистической партии). Этот, осмотрев больного, нашел аттест'ы заслуживающим внимания и обещал отсрочку на 3 месяца. Теперь хоть будет время с духом собраться. Конечно, масса проблем, как, например, куда? Ибо нельзя по своей инициативе ездить. Но у старика есть родовое имение[623]. Будут хлопотать, чтобы ему разрешили туда. Воспользовавшись тем, что дана отсрочка, я уехала пока домой и сегодня ночью чудно выспалась. Ужасно за неделю устала. Прислуга (у-че-ная!) 45-летняя баба ревет оттого, что не растапливается печка. Все печки им растопила, научила щипать лучину — не знали! Курам корм показала, как надо варить и рубить. Одним словом навела порядки, и старушка под конец кинулась меня целовать, что я «грубиянку-прислугу на место посадила». Грустно, грустно видеть было такой упадок былого величия.

В Гааге мы мимоходом видали с мамой снесенные улицы. Это совсем рядом с церковью. Очень возможно, что и ее не будет скоро. Сносят как раз дома на том участке, который когда-то был собственностью Вел. Кн. Анны Павловны[624] (а потом жены голландского короля Вильгельма II)[625] и был ею подарен нашей церкви. Там хотели строить собор и император Николай II утвердил даже смету, но из-за революции все пропало. А землю 23 года тому назад наши продали городу. Елизавета с мужем в два счета собрались и молниеносно выкатились «на дачу». Подвезло им с перевозкой.

В свое пребывание в Гааге узнала от матушки, что г-жи Хааз уехали как-то тоже вдруг в Париж. Мне это очень досадно... Что не знала. Мне вообще не удалось с ними познакомиться. Я их только однажды видела в церкви, но тогда я причащалась и очень устала. Но, судя по рассказам матушки, они обо мне спрашивали и, видимо с матушкой много говорили! Вот бы подслушать, о чем толкуют кумушки!!

Я получила письмо от Меркулова[626] с описанием твоего праздника и твоего чудесного настроения, и чтения и т. д. ... Могу себе представить. Пишет, что ты и обо мне упомянул. Что же? Напиши! Фасин муж не может поехать кажется. Невозможно получить визу. На крещенье в церкви вдруг встретили... нашего берлинского приятеля. Он на несколько дней был снова тут по делам. Ужасно много мне наговорил комплиментов, пря-

мо уши даже гореть было начали. А ничего особенного, просто была довольно удачно одета. Глупые, тебя исключаю, конечно! мужчины — как они падки на рамку, на маскарад. Посылал меня опять к доктору в Париж для диагноза, но о визе тоже выразился сомнительно: теперь трудно достать пропуск.

Ах, а какие дни теперь стоят!.. Ну, прямо весна! Дивно, обворожительно... Ходила сегодня гулять... Солнце, тепло, голубое небо и барашки-облачка. Птицы стайками, а скворцы на солнышке уже курлыкают — журчат горлышком. Даже прошлогодние метелочки высохшей осоки по каналам, и то будто ожили, серебрясь в солнце. А каналы сами!.. в них все небо... Голубые дороги, тропки, дорожки... Всюду, где вода, голубеет небо... И тополи не тычутся уже в небо сухими костлявыми ветками, а плавно хлещутся, поводят гибкими, сочными, золотистыми, полными жизни прутиками. Я так люблю это предвесенье. В ту зиму его не было за морозами, но в нормальные зимы эта очаровательная пора — особенность голландской природы.

Я не сравниваю ее с нашей весной, ибо <u>то</u> — несравненно, но нигде в Европе я не встречала такой прелестной весны, именно <u>пред</u>-весны, как тут.

Эти фиолетовые сумерки и такая тонкая прозрачность. Это обилие ив над водой, вдруг оживающих и каких то особенно гибких. Эта масса птиц. И эти цветы, много цветов на окнах. Особенных, здешних гиацинтов, нарциссов. Эти миленькие садики перед домами, начинающие уже сейчас выпускать коекаких «гостей», какие-нибудь ранние растеньица. Голландия хороша <u>только</u> весной. Особенность облаков и красок воздух объясняют, кажется, действием моря. Но надолго ли хороших дней хватит? Пойдет слякоть и мокро, и трудно будет даже вообразить, что было когда-то солнце. А как в Париже? Я шла сегодня вся в солнышке и думала, что ты со мной. Так ясно думала, что мне и до сих пор кажется, что я с тобой встречалась. У тебя так бывает? От тебя опять давно ничего нет. Ты занят? Я в отчаянии, что ничего не пишу. И не рисую. Хотя силуэты теснятся и перебивают друг друга. Не знаю, за что взяться и не делаю ничего. Да и помех много. Недавно такая драма: как-то приходит работник (А. не ночевал тогда дома) и говорит: «если услышите сегодня шаги ночью во дворе, то не пугайтесь, это буду я, т. к. корова должна телиться, но не понимаю только, почему так рано, ровно на 1 месяц раньше, м. б. перепутали что в записях?» Однако она <u>не</u> отелилась и еще проходила дней 10. И вдруг в один день у нее <u>все</u>, <u>все</u> признаки немедленного теленья, даже молоко капать стало. Ее вывели на свободное место двора, дежурили ночь. А я не спала и все прислушивалась, не

стонет ли. Утром бросилась скорей спрашивать Арнольда: «ну что?» — «Н и ч е г о, надо звать ветеринара, корова неспокойна, но схваток нет». Хотя уже что-то течет. Ветеринар сказал, что у нее преждевременное теленье и в животе 2 мертвых теленка. Это — самая лучшая корова. Я, дура, реветь. Не могу. Жалко. Ну, будто человека. Пока обедали мы (1/2 часа) доктор успел все сделать: т. е. проколол пузырь — вынул... одного теленочка. Оказалась ошибка — это был огромный пузырь, который он принял за 2-го теленка, и своей величиной стоял на пути, давил, душил, чуть не удушил теленочка. Сперва думали, что мертвый, но он стал дышать. Его с ложечки кормили, а теперь... такой дуся, только давай, меня съест! Но, увы, бычок. На мясо! Мне жаль их. Понимаю, почему Толстой не хотел есть мяса!

[На полях:] Цветочком твоим не налюбуюсь, — шикарная, дивного цвета азалия. Живой букет! Дивно.

Ну, целую тебя, дружок. Будь здоров! Оля

Я чувствую себя хорошо. И душевно, и телесно. А ты?

256

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.I — 11 1/2 ночи

Светик мой Олюночка, эти 2 дня сгорал в азарте работы, закончил «Именины», — в субботу печатается, — ж д у т!! Всех «Именины» очаровали. Отовсюду слышу. А последняя часть — поздравь! — с таким напором, ни единого слова пустого! Знаю. Пора, получил, кажется, право бранить и хвалить себя. Я ликую. Сегодня Серову днем, прочел ему, — что с ним сталось! — всегда «мямлей». «Это... л у ч ш е е... изо всего “Лета”, всего!» Дурак! Но это, право, с глубинкой. В нем есть — чуткие сразу почувствуют — д у ш а. Столько я влил в эти 9 страниц машинки! И сколько «картин»! Олёк, я не слабею с годами! Я киплю. — Газет с моим рассказом — н е х в а т а е т! Чу-ешь?! Это 4-й кусок «Именин». Я сказал: но эту часть нельзя резать, целиком дайте! Дадут.

Твое письмо последнее[627] — восторг! Дурашка, не знаешь ты себя: ты мо-жешь все. Я отвечу по всем пунктам[628]. И о Ж. Занд. Что она тебе приболела? Твоя прогулка, когда в канал падали капли тумана — чудесно! Кажется бы избранил тебя за твою судорожную трусость! Завтра пишу «Масленицу в Москве». Целую. Ваня

257

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.II.43

Ну, что это ты, Ольгушонок, — сейчас твое письмо — безликое! — впервые — без подписи и привета! Я таких не хочу. Конец его: «В ту зиму его не было (предвесенья, — моя вставка, из предыдущего твоего) за морозами, но в нормальные зимы эта очаровательная пора — особенность голландской природы». И все. Безхвостое письмо — не письмо! И потому пишу тебе очень кратко, — по-мни! Письма надо подписывать, пусть хоть и без привета. Холодное и — для меня — пустое письмо. Мне совершенно неинтересны подробности об эвакуации, на что ты затратила много сил. Правда, это твое сердце... и — по-христиански. Чту это в тебе — и тревожусь. Ты меня караешь, что нет писем, и потому без привета и подписи?

Мой рассказ, (в субботу появился в 2-х «подвалах» газеты), вернее — это 2-ая половина, окончание — произвел фурор. Все говорят — чу-десный! Я знаю, что — да. Это в ы ш л о. Да так оглушительно. О 1-й части были мне письма[629], благодарят — «Вы даете нам, возвращаете нам — и молодежи Россию...» Вчера было много народа: все в один голос — «вот, все говорят — необыкновенный, насыщенный, удиви-тельный... а... соловей! А «грех Василия Васильевича», а — преосвященный с... расстегайчиком... а протодиакон с многолетием... а — «удивление». Столько дано много в этом рассказе, у другого на 10 рассказов бы хватило, а я вложил в 9 страниц машинки. Не могу тебе послать: переписывать надо больше 1500 газетных строк (2-ой части есть копия, правда). А я сейчас весь в работе. Сегодня должен написать статью о стихах[630], а завтра начать и в 2—3 дня кончить — «Масленица в Москве». Кстати: я 2-ю ч. «Именин» писал... 2 часа в субботу 23.I и часов 5—6 — воскресенья. В понедельник переписал, хотя писал на-чисто! Но боялся посылать, — опечаток не обобрался бы. А вышло — без единой опечатки! Я знаю — какая си-ла, этот рассказ! «Михайлов день» — куда слабей. Писал — с тобой в сердце. «Пути» будут даны. Я теперь хорошо обеспечен едой. Друзья регулярно посылают творог, да ка-кой! — сметана!! В воскресенье зван на блины за город, где меня обещал (новый читатель) выкупать в... сливках. Сейчас принесли яиц. Надел только что сделанный по заказу бандаж — поднять желудок. Вчера — хотя я ем мно-го — ни разу ни отрыжки, ни... Твой цикламен увял... внезапно: залил я его? Но краснолистное растение (бегония) на День ангела, — пышно дает листву, но... не цвела! Гиацинты (твои, от

Пасхи) дали ростки, а один вылупляет бутон.

Не считайся со мной письмами! Я слишком занят, после болезни, все запущено, главное — работа. Если ты хочешь писать такие бесприветные письма, твое дело, я отвечать не стану. Я взял было труд — переписал «Михайлов день», ты мне платишь бесхвостым, безличным письмом. «Именин» не пошлю. Я расстроен. Очень рад, что толстошкурных голландцев чуть пощекочут. Этот народ привык пенки снимать с пролитой чужой крови. Во время прошлой войны они торговали налево-направо[631], перелопались с жиру. Теперь... но что это в сравнении с нашими испытаниями. Если бы не ужас «потопа», как бы хотел, чтобы большевизм вспыхнул в этих странах, после войны! Нужна такая наука сытым западно-европейским демократам(!!?) Демокра-ты! Сволочь, а не демократы! Жидовская нанятая сволочь! Все продадут, все. Бедная Россия! На нее — все, Ей — все! Нет, «опыт» для других важнее. Ну, он придет.

Я сердит на тебя. Голое письмо. Таких не надо мне. Долго теперь не напишу. Я писал тебе 20—21—22, 28-го[632]. На 1-й неделе хочу говеть. Прости меня, но я... остаюсь с сердцем, на тебя. Добейся Парижа, а то мы так и не свидимся, — почему-то мне кажется. Мне трудней, и я еще не совсем оправился. Ну, Бог с тобой.

Протестуя, все же целую твою лапку. Ваня

А хотел хотя бы копию II ч. «Именин» послать. Не пошлю. Я серчаю.

Прости за все это: только сейчас увидел, что и поцелуй, и подпись. Объясняется тем, что при скрепке спутаны страницы!

Да, увидал недочитанную страницу, проглядел, 2-ой лист был пришпилен наоборот, я прочитал 3-й как 4-й. И возмутился «безхвостостью». Прости. Описание весны — отлично. С коровой не меньше. Ты должна в с е писать, Ольга. Не тяни, не выбирай, не жди. Пиши — набить технически руку. Пиши — дыши, свободно. Не оглядывайся, не бойся: как выйдет? Выйдет, как надо. У тебя го-ры — писать! Пиши, черт возьми, хотя бы о голландцах. О хозяйстве — «Моя ферма». Это — жизнь. Все пиши. M-les de Haas [малолитературные] кумушки, и им все знать надо! — Не дождусь, когда поеду на Юлину дачку. Писать. Достал еще большую коробку pastilles Vichy (menthe[i]).Что ж, если «дубина» не приедет, — куда я дену все? Шоколадные конфеты долго лежать не могут. Каштаны — ну, хоть и засахарятся, все же их можно есть. Сам буду есть. Золотые медовые ждут-ждут. Не можешь ли с каким-нибудь немецким пу-

---

[i] Мята *(фр.)*.

тешественником послать мне лекарство Bisma-Rex? Справься. Я его просил бы взять обратно что-нибудь для тебя. На А[нну] С[еменовну] нет надежды. Я чувствую себя относительно хорошо. Вчера — был резв, как юный. Я не старею. Вот, например, стихи Ив. Ив. Новгород-Северского (псевдоним) мужа Юли:

Шаманы[633]

На бубне волшебном летели шаманы* —
Спешили за солнцем, встречали весну.
От них убегали седые туманы,
Глухие морозы, слепые бураны** —
С зимой отходили ко сну.

На бубне гремящем летели шаманы***,
Смеялися в тучах, блистали огнем****.
Кругом ликовали полночные страны,
Навстречу стремились гагары, турманы,
И ночью над тундрой — как днем.

Или — Голубые божки. Тунгусская песенка. Смотри какая простота — примитив образов.

Божки нанизаны на голубую нитку,
А это значит — на небе живут
И ходят в небе голубой тропинкой.

Божки нанизаны на голубую нитку,
А это значит, что они пасут
Оленей в небе, с голубою спинкой!

Божков возьми за голубую нитку,
Повесь на шею, — будешь голубым...
И легким-легким... словно дым!

Или:

Олень смарагдовый. (Смар-изумруд.)

Олень смарагдовый приснился:
Был золотым он в блеске дня.
Полярный снег над ним искрился
С цветами, полными огня. (Сон, ведь!)
Олень, на молнию похожий,
Чуть-чуть касавшийся земли,

---

* образ экстаза этих поэтов-знахарей и жрецов: заклинание весны — иди!
** определения-то! — дряхлеющая, умирающая зима!
*** полет духа их!
**** Вдохновенье, п о-л е т! души!!

И стук копыт, <u>с громами схожий</u>, !!
И глас я слышал: «Мне внемли:
Вот так, как я, встряхнись грозово,
Над тундрой звонкой поднимись,
И к звездам жарким с песней новой
Оленем солнечным взметнись».

И таких, по [силе] штук 40 из 80. Эти — в русле Пушкина. Сила дарования — для меня — бесспорна.

Вот почему пишу статью: дать радость читателям. Рост несомненный. Он даст большее. Теперь пишет [1 сл. нрзб.] (он был в Туркестане[634]), но это никак не провинциальное, не этнографическое, — это — общечеловеческое. Из тундры сто-лько извлечь! И я открыл его. И я его проведу. Он будет — в русской поэзии.

Твой Ваня

Ночь. Тоскую, а «Именины» ты получишь.

Пиши письма-ласку! Ванёк

Посылаю II ч. «Именин». А I дошлю на днях. Дай мне *слово*! Не читай до I части. Пока не смей, все испортишь.

Ваня

258

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.II.43
<u>№ 1</u>

Милая Ольгуна, вот II часть рассказа. Не читай до получения I-й ч. Я ее на днях перепишу. Прошу — не читай. Было напечатано в «Парижском вестнике» 30.I.43[i].

Целую. Ваня (Ив. Шмелев)

259

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.II.43
<u>№ 2</u>

Милая Олюнка, вот продолжение II части рассказа «Именины»[ii].

Целую. Ваня (Ив. Шмелев)

---

[i] Далее следует текст второй части главы «Именины» романа «Лето Господне».

[ii] Далее следует продолжение главы «Именины».

260

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.II.43
№ 3

Милка Ольгушечка, вот конец «Именин». Не читай до получения первой части, ее получишь на днях, до масленицы. 7-го я еду на блины. Ах, если бы с тобой поесть т в о и х! Ну, съешь за мое здоровье, а я за твое[i].

Ольгунка, обилие яств — след моего оголодания, понятно. Но это — из меня прет, ничего с собой не поделаешь. Главное — не в этом, сама увидишь, — в ч е м.

Эти дни тепло, ветры, почти бури. У меня топят. Сейчас купался в ванне. У меня в комнатах t° +18—19. Цветы радуют, я так люблю их. Как бы хотел апельсинчик привитой. Напишу в Лион Нарсесяну. У меня миндальных орехов — кило 4. Гречневой крупы — 2. Сейчас буду есть щи кислые (положу соды, чтобы не очень) с гречневой кашей. Еще — жареная курица, остатки. Еще — кофе с маслом. Ем очень сытно. Вчера ел (доел) творог — как сливки, как сметана. Яйца есть, прошу А[нну] В[асильевну] сделать бисквиты и отнести Елизавете Семеновне — у меня нет духовки.

Какая проза! Да? Да, я люблю в с е — и прозу жизни.

Целую крепко. О, при-едь!

Твой Ваня

Хочешь? — Отдам, уменьшить мой портрет (1926—25 гг.)[635], что приложен к французскому изданию «Человека из ресторана»?[636] Очень всем нравится. Я там очень полож[ительный], профиль и — глаз, живой! Не помадный я, как в июльской 41 года. О, уже — 41!! И еще тот, что посылал, и А[нна] С[еменовна] не довезла. Уменьшу до паспортного размера обе — и пошлю? а? хо-чешь? Тогда у тебя буду почти весь я.

Ваня

261

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.II.43

Дорогая Ольгуна, вот, урывая у себя час-другой, переписал и посылаю, чтобы развлечь тебя и — подразнить, как соловьев «горячат»[ii].

---

[i] Далее следует продолжение главы «Именины».
[ii] Далее следует продолжение главы «Именины».

(Продолжение высылаю, надо переписать.)

Ну вот, Олюночка. Неужели ты не устроишь поездку показаться в Париже специалисту по почкам?! При-едь! Я не смею надеяться, что добуду разрешение на поездку, — хоть и надо договориться о литературных правах! Но все же попытаюсь. Болезнь сбила все мои планы, и я даже не узнал в Эмигрантском управлении, что сталось с моим ходатайством. Спрошу на днях. Целую. Ваня

Сейчас сажусь переписывать для тебя, а мне надо писать «Масленицу».

Я вчера отдал специалисту-фотографу уменьшить, до размера passeport'ной[1] — две фотографии мои: снимок с акварельного портрета[637] и — здешнюю, профиль, приложение к французскому изданию «Человека из ресторана». Пришлю тебе, чтобы был у тебя весь я.

262

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.II.43

Ванюшечка, радость моя. Наконец-то я дорвалась до почтовой конторы, вчера получила, по дороге (я опять в пути, на 4 дня!) твою открытку, простую, и 3 письма получила с окончанием «Михайлова дня», и еще открытку заказную... Я вся переполнена счастьем за тебя! Поздравляю, обнимаю, ужасно радуюсь, что «Именины» так удались. Я каждую секунду рвусь говорить с тобой, и вот... пока подождать надо. Все напишу. Вчера же хотела черкнуть, но меня ждала компания в 4 человека в Утрехте, автобусы редко ездят, я извелась. После твоих писем и еще письма Елизаветы Семеновны (очень милое!) я не сомкнула глаз ночью. Ничто не помогло. Сердце рвало грудь. Я горела твоим успехом, была счастлива за тебя... и (странно) чуть не плакала о себе. Не понимала почему... и ночью в д р у г поняла, что это от одной фразы Елизаветы Семеновны обо мне лично. Ну, переборю. Она — милая. Пока не забыла: Фася звонила, просила тебе сказать, что она в восторге от «Чаши» и от всего. Я ей даю с тобой знакомиться (через книги только, конечно!). И что, если она с мужем после войны поедет в Париж, то тебя навестить просит позволить. Она тобой взята. И я уже ревную... Шучу! Ванёчек, это чудесно, что ты пишешь. И т а к пишешь! «Михайлов день» — дивно! Спасибо, спасибо! Мне так не хотелось из дома, хоте-

---

[1] Паспорт, пропускное свидетельство *(фр.)*.

лось тебе писать. Побыть с мыслями о тебе. Но скоро, скоро все, Бог даст, напишу. Накануне бессонной ночи я видела чудный сон. Творческий. Я могу писать! Я это знаю! И кистью писать. Я, — странно, во сне решаю... неразрешимые проблемы (для меня) искусства.

Так, я вдруг узнала, к а к я должна выполнить работу той картины, которая давно во мне жила. Ландшафт. Странный сон. Я не могу дождаться того № газеты, где будет «Рождество в Москве». Они поместили всякую дрянь на наше Рождество, — ты что опоздал послать?[638] Какая жалость! Ваня, я счастлива, что докторша тебе помогает. Ты помнишь, еще до нее я тебе тот же диагноз сказала?? Ну, напиши, помнишь? Я же горжусь этим!! У меня пока все в порядке. Недомогание было все из области же почек. Теперь прошло. Пью Виши-Ersatz[i]. Как сода. Сердце вот только скачет и рвет грудь. Но это от радости за тебя и от... многого. Я ужасно на все реагирую, как девочка. Не могу себя обуздать. Не могу приучиться и ходить степенно, как подобает в моем возрасте, а бегаю часто. Ванечка, обнимаю тебя и, независимо от «наград», — целую. Ангел мой, Ванюша, работай с Богом. Оля

Напишу очень скоро. Вся с тобой! Воздуху мало, от того как бьется сердце! За тебя!

263

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.II.43

Дорогая Ольгуля, вот 2-ой посыл рассказа «Именины». Да, не забыть сказать тебе. В Риге один педагог сказал учащимся (там, в хрестоматии, очень много отрывков из моих книг), что я болею, и что мне хочется гречневой каши. Они собрали 3 кило. Это очень редкий припас ныне. Послали на Земмеринг. Она получила лишь крышку ящика. Вызвали ее на почту и — объявили: пропало.

Она мне уже раза три посылала по 1/2 фунта. Пишет: есть у нее для меня присланная из Риги учительницей[639] моей горячей читательницей. И своего еще добавит. Так что я буду есть гречневую кашу.

Но я и сегодня ел ее: кажется один во всем Париже, мне уделяет из своего запаса один [французский] лавочник — читатель[640]. До чего я жа-ден до этой каши!

[На полях:] Мой вес теперь — 50 кило, а было и 43. Послед-

---

[i] Суррогат *(нем.)*.

нее взвешивание, до вчера, 3.XII — было 47 кг. Видишь — питаюсь[i].

Досадно: склеились во время переписки листы, и 3-ья страница отскочила на другой лист. Дошлю. Чтобы не пропадала страница, пишу 6-ю (4-ая и 5 страницы в следующем письме, т. к. нельзя в одном письме больше 4-х страниц).

Я скоро пошлю тебе рассказ — «Рождество в Москве», — я ушел из газеты «Новое слово». Да, в сущности, и не был в ней[641].

Дошлю 4, 5 и 7-ую страницы (конец I-го куска II-ой части «Именин»).

Целую. Твой Ваня

264

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9.II.43

Дорогая моя Ольгунка, вот, одолел, наконец, переписку рассказа, — вырвал часы у работы. Начало «Именин» было послано 4-го II, заказным.

Конец «Именин» ты получила раньше, (было послано 1—2 в 3-х заказных письмах).

Ваня

Окончание I-го куска II-ой части — «Именин» («Торжество»).

Руководствуйся страницами, чтобы не спутаться в чтении рассказа[ii].

Ну, Господь с тобой. Твой Ваня

Голубка моя, заставил себя урвать время, чтобы тебе, светленькая моя, послать частичку души моей, где ты живешь и светишь. Бедная моя, больнушка... вот, вчитайся, и ты услышишь родное тебе, т в о е сердце, как оно бьется. В каждом слове здесь оно, каждое слово — чувство выстукивало... Это тебе мой весенний малый дарок — на масленицу... — тут и для души, и для... большей охотки к еде... съешь лишний блинок, за меня! Как я их люблю, у-у-у... Вчера я был на блинах, за городом в полпути к St-Geneviève, у читателей, которые снабжают меня еженедельно творогом. Ну, и блины-ы... ну и смета-на! — ложка стоит!! Сдержал себя: 3 блина, только съел. Ни капли вина, ни рыбок всяких, ни-чего! Тарелку чудесного бульона (куриного, с вываренными овощами, но — без них), и чашку чая с куском кремового бисквита. Какой я послуш-

---

[i] Далее следует продолжение главы «Именины» романа «Лето Господне».

[ii] Далее следует продолжение главы «Именины».

ный! На-му-чился... оттого. Я здоров, слава Богу. Пишу «Масленица в Москве». Статью о стихах написал. В субботу, 6-го был на духовном концерте хора Афонского (40 человек). Чудесно. Люблю «Иже херувимы» Бортнянского![642]

Охота есть большая, даже дико это. Вес мой, дня 4 тому — 50 кило. Доберу, Бог даст, до своего, давнего — 56—58. M-lle Krymm говорит — даст еще два лекарства, одно — впрыскивание — эпатроль. Очень хорошо действует укрепляюще.

Мои «Именины» — великий шум! Нарасхват №№, (их нет уже!) пересылают друг другу. Получил ряд писем. Вот — не ожидал, хоть и привычен к этому. Не до того ныне... Но искусство дает радость...

[На полях:] Милая, Оль моя... дай мне адрес, имя-отчество Вашего друга. Я ему пошлю будет случай, для тебя что-нибудь. Книгу, фото, какие можно, конфеты, духи. А ему легко довезти до тебя.

У меня хранится бо-о-льшая коробка шоколадных конфет — твоих! и еще — pastilles Vichy.

Я всегда жив тобой, всегда и во всем для меня — т ы. Твой Ваня

Как ты мне редко и скучно пишешь. Сегодня открытка. Чем ты занята?

Смотри! я рассержусь и не стану тебе писать до-о-лго!

265

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.II.43

Ванюша милый, час тому назад увезли от нас молотилку только (два дня была работа), и я тотчас тебе пишу, уж истомилась, не имея времени. Все это время меня рвали на части. В пятницу колем свинью, и всякий день будут контролеры[643], то свинью взвешивать, то мешки с умолотом проверять. Сию же минуту должна все приготовить для заделывания мяса. Ведь это больше, чем на год! Но все это чепуха!

Я очень, очень счастлива твоим творческим порывом, твоей работой! Дивно это. Но как же мучаешь ты меня, помазав по усам и не дав отведать! Имею в виду «Именины». Когда же, когда же я получу I часть?? Я не могу больше ждать. Ты пишешь: «пошлю до масленицы»... Это что же, еще 4 недели ждать? Масленица 7-го марта! Ты что, собираешься мне целый месяц не писать? Но почему? Ты просишь прощенья перед говеньем на 1-ой неделе, но это же через месяц!! Что с тобой? Я ошеломлена. И какой ты противный: отчего ты на меня «в сердцах»???

Это жестоко-несправедливо. Я знаю, что подписывала все свои письма! И как неверно ты меня знаешь. Ну, неужели же так глупо бы я стала «мстить»! Ты совсем, совсем меня не знаешь... «Нет, я не такая, — я совсем, совсем иная...» И... какой ты можешь быть... личный! Не надо так. И я не скажу ничего больше, но ты знаешь, про что я. Я хочу только сказать, что я совсем не по-христианству, а просто иначе не могу. Не делай из меня ханжи... Ах, но это так все неважно!..

Я очень, очень обрадована, осчастливлена и... смущена, что ты мне перепишешь «Именины». Я не могу выразить тебе, что бы я чувствовала, если бы я их не узнала. Я горюю о «Рождестве в Москве». Почему его все не печатают?! Я жду, жду. И дрянной листок выхватываю с жадностью у почтальона, все ожидая... Будет же он?! В день моего отъезда (на несколько дней) из дома, утром рано приехал проститься наш друг. Я стояла в прихожей, завязывая вуальку[i], готовая уйти к автобусу. Мы говорили очень мало. Я все же его просила о визе похлопотать. Он хотел, но за результат не ручался. Теперь все трудней. А я дрожу за свое здоровье, т. к. приближается март, т. е. та пора, когда я дважды была так сильно больна. И я ничем не могу лечиться, ибо доктора все у меня взяли за ненадобностью. Понимаешь мое чувство!? Фасин муж, кажется, не поедет в Париж, но в Швейцарию. Не знаю, кого найду. Я спрашивала нашего приятеля, но он тоже никого не знает. Очень много интересного он успел мне еще рассказать, жаль, что мало было времени. Он гостил у мамы почти весь день, и они наговорились. Вот бы поговорить твоему племяннику с ним! От Елизаветы Семеновны я получила письмо еще — ответ на мою благодарность. И в тот же день твои письма. Я всю ночь не спала после этого. Сплю плохо, очень плохо. Приняла все коробочку седормида. И пью бутылками валерьянку. Ты не брани и не жури меня. Я что-то ужасно стала восприимчива и долго не могу утешиться. В таком состоянии я не могу ничего писать, ни кистью, ни пером.

Хотя тут однажды написала рассказик-шутку, и еще... по... голландски![644] Вообрази! Это было сделано для граммофонной пластинки. Чудно вышло! И даже с пением. Я однажды (давно) уже стихи голландские писала, тоже шутку. На музыку Lili Marlen. Ты знаешь, конечно, эту мелодию, ее передает радио из Белграда в 10 ч. вечера[645], но поют все! Это немецкая солдатская песенка. Очень милая мелодия. Забавно было перед микрофоном стоять... Моя мечта — тебе напеть пластинку! Я это давно хотела. Хочешь? Напою! Но, думаю, что во время войны нельзя ее послать. Ну, после! Голос свой не узнать. Ни за что. Ванечка,

---

[i] В оригинале: вульку.

солнышко мое, — наговори и ты мне пластинку. Прочти мне твой рассказ! Умоляю! Это можно! Спроси в граммофонных магазинах. Спроси Афонского! Я умоляю тебя! Дай мне твой голос. Я же иззавидовалась всем, кто тебя могут слышать.

Умоляю тебя! Это моя просьба к тебе! Я постараюсь тоже напеть тебе. Или, если плохо пою, то наговорю. Скажу все, что хочет сердце! Моего папу молили тоже напеть... У него был ангельский голос. Он все откладывал. Подумай, какое счастье было бы теперь его смочь услышать! Ваня, ты сделаешь это для меня?! Я верю. Мой голос совершенно иначе звучит, нежели его я изнутри слышу. А все говорят, что точно. Все, кроме мамы и С., — они не слышат меня в голландском разговоре. Я дома очень редко говорю по-голландски, только обеденное с прислугой. Или по-русски, или по-немецки. Впрочем, это касается интонации, что они не узнают, но голос-то мой. Он — ничего, мне нравится. Только я удивилась, что говорю так «энергично». Можно подумать, что очень уверена в себе.

Ну, в общем за «рассказ-комедию» мне были овации.

Тем у меня «горы». Это верно. И оттого, что их горы, я и не могу взяться ни за одну... Сон какой дивный видела! Одна картина за другой... Одно полотно лучше другого. Была в прекраснейшем музее, будто. Люблю такие сны. Тогда не досадно тратить и время на сон. Пробуждаешься с целой массой новых идей и планов. Мне нужны п о к о й и д о с у г! И еще здоровье. Я все какая-то слабая. Селюкрин размок от сырости в шкафу. Слипся в комок. Выбросить, что ли? Или можно еще принять? Да, у меня горы тем! М. б. я возьму отдых. Впрочем, это мечты. Это все невозможно. Жизнь все больше и больше затягивает меня в работу на ферме. Работники м. б. должны будут уйти[646]. Тогда вообще не оберешься дела. Хоть коров и не буду доить, но всякой иной домашней работы будет масса. Мы, конечно, стараться будем заменить их другими, постарше, но не знаю, как это удастся.

Заказала в сад себе кустов разных, среди них больше половины целебных, которых теперь нет в продаже (трав). Решила сама разводить целебные травы. Я панически боюсь своей почки. За последнее время очень нервничаю.

Ванюша, пиши поразборчивей, я в последних твоих письмах не могла многих слов понять. Впрочем, я сама грешу еще хуже. Знаю. Прости! Как жаль, что не достать машинки. Я бы купила с русским шрифтом. Я слишком нервна, чтобы долго писать рукой. Учить стенографию? Такая тоска писать все от руки. Имею в виду те рассказы, которые теснятся у меня, во мне. За это время я чуточку и рисовала. Карандашом. Портрет. Удалось. Но отдала. И опять у меня ничего не осталось. Зачем

я сожгла все, тогда, уезжая из России? И из Берлина когда уезжала, то тоже выбросила все. А были друзья, просили дать им. Теперь мне жаль. Была [(в России) недурно][1] изображена девушка в черном бархате с васильками. Рыжеватые косы. Еще недурна была... «лунатик». Это под впечатлением одного разговора. Сама было тоже стала лунатиком. Хорошо выражение ее лица. Я тогда прочла «Песнь торжествующей любви»[647] Тургенева и еще разговор один. Недурна была католическая Мадонна в листопаде. Было верно еще что-нибудь стоящее. Помню яблони в цветах. Балкон наш <u>над</u> яблонями, тот балкон, где я впервые услыхала слова любви... и так их испугалась и попросила: «...не надо... не говорите так!» Помню, что писала эти яблони тогда же. Они были на экзаменах. Перевели меня в следующий рисовальный класс. Очевидно, недурно было.

Карикатуры я хорошо писала. Всех учителей и профессоров продернула. Их растащили. В пользу русского академи[ческого] бала в Берлине нарисовала 10—15 программ, больших. <u>Ни единой</u> не видала в продаже. Кто-то один их всех оставил за собой. Я очень жалела. Но большинство сил и времени я убивала кустарной работой, это для заработка в магазине. Бывала и фантазия, но чаще по заказу. И из-за этого мне опротивело все это. Я бросила. Ах, как порой хочется уйти от всего и заняться опять любимым! Ванечка, иду отдохнуть. Безумно устала. Подумай: 14 человек 2 дня кормить-поить! Очень трудно было! Я закрою глаза и буду воображать тебя... «Именины»... мне неизвестные... Стыжусь, и все же прошу: перепиши! Поскорее! Я почти не могу больше ждать!

[На полях:] Берегись блинов! Это очень тяжело для желудка!!!!

Как странно: я только что решила освежить французский язык, читать. И ты мне про это пишешь.

Ну и отколола же Марина! Дерюгин — пустышка по сравнению с Нарсесяном!

Я преклоняюсь перед трудом твоим и очень, очень тебя благодарю. Целую. Оля

Мне не хочется делать блины. Покушай за меня и вспомни меня!

Прости же меня перед говеньем.

Цветок с шишкой: <u>твой</u> мне на именины. А какой у тебя от меня — не знаю. Подлецы опять обманули, конечно, это <u>не</u> бегония. Отчего же погиб цикламен? У меня есть <u>свой</u> апельсинчик! Сама вырастила. Дам привить после.

Жду, жду фото твои!

---

[1] В оригинале в квадратных скобках.

266

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.II.43

Светленькая моя Ольгунка... я здоров, слава Богу, и — е м, надо бы сказать — грубей! — даже корю себя. Страшная охота к гречневой каше. Вес — 51 кг. Пишу, — «Масленица в Москве». Сколько раз примечал: чем чаще и больше тебе пишу — тем реже от тебя. Мышь сыта... Ну, Бог с тобой, я не плачу тем же. На днях постараюсь переписать для тебя — «Рождество в Москве». Я вне «Нового слова». С меня довольно, плюнул. Век живи... Еды у меня достаточно, отборной. Елизавета Семеновна меня балует: испекла мне чудесный бисквит, легче дыханья младенчика. Сегодня ел пирог с вязигой, ватрушку, пряник... Сейчас еду за порцией творогу. Еще раз: адрес и фамилию «друга семьи». Он легко может тебе — или завезти, или прислать книгу, конфеты... Тебе послано — и «Михайлов день» и «Именины»... — сколько я отдал времени на переписку — а я не люблю с этим возиться, но — для тебя это... За это ты мне — открыткой. С 21 янв. я получил только 2 письма и открытку за 3 недели. Та-а-ак. Хорошо...

Хоть о здоровье-то написала бы.

Твой Ваня

267

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.II.43

Милый Ванечка, опять, против воли, долго тебе не писала. И задергалась разными делами, и неважно себя чувствовала — не спала, и вообще не удавалось «уйти» к тебе, хотя я все время мысленно с тобой. С весной масса разных дел. Мне же жадно хочется тишины и уединения. Хочется написать, вернее записать один эпизод из давнишней жизни. И рисовать хочу... ...какое теперь часто бывает небо!! Я, не отрываясь от окна, вчера сидела в поезде, — все смотря в небо... Какие краски, какая сказочная вереница облаков... целые миры. И как быстро они меняются. Утром небо было серое, т. е. такое белесое и по этой белесости всяческие оттенки серого... И все было серо... Вода — муть, дороги — грязь, деревья голы... Тоскливо-нудно. Но уже к полдню все изменилось: по нежно голубому небу вдалеке, и по яркому-сочному над головой, неслись пронизанные солнцем, воздушные, белоснежные облака, похожие на взби-

тые сливки или пену. Кое-где были сыроватые облака и там, где эта нежная серость прорывалась, виднелось чудесное голубоватое, светло-голубоватое небо. И эта комбинация была как-то особенно волнующе-красива. К вечеру «набил» ветер груды, громады тяжелых облаков, серовато-розоватых, чуть с сиреневым отливом, и они тяжелой массой, будто горы, стояли на фоне голубого. И вот вдруг откуда-то сзади, из каких-то таинственных недр, будто, выплывают яркие, такие «горящие», какие-то удивительно-золотые облака. И кажется, что там, где-то там... что-то чудесное и совсем опять иное... И понемногу начинают золотить и светиться эти тяжелые громады-массы и где-нибудь вдалеке уже на снова прочистившемся небе, весь залитой этим золотым пожаром, весь сквозной и легкий плывет «кораблик»... Тут на одном небосклоне, в один миг — тысячи картин и настроений... А луга под этим небом... Как чудно освещены, как странно-зелены... И эти тени на светлом... А в блеске полдня голубые дороги — каналы и живописные мельницы... И что еще я люблю: когда вот так освещено все, то даль становится доступна глазу, чуть-чуть только тонет в дымке. И вот сквозь эту дымку где-то далеко-далеко (ведь тут равнина, — ничто не мешает взору) видишь целые деревни, и вдруг одна за другой вспыхивают в солнце яркими пятнами крыши, деревья... ты видишь так подробно все, а между тем это Бог знает какие дали. Такие моменты мирят с обычно-скучной равниной здешней.

И тогда, вот когда едешь в вагоне, и такое видишь, мне тут не до слез обидно, и становится бесконечно грустно и тоскливо на душе... Отчего? Оттого м. б., что просится что-то, хочет начать жить, и я ничего не делаю. Не творю, хоть и полна желаний. Сегодня бурный день, то солнце, то дождь, холодно, но все же весна. Садовник привез мне заказанные мной кусты. Сейчас жду работника, чтобы посадил. Розы набрали почки и кое-где уже листочки. Примулы цветут. И подснежники. Как хотела бы писать маслом... Нет красок. Я очень жду твоего продолжения «Именин». Исполняю, хоть и с большим трудом, твою просьбу не читать до того, пока не получу все. Ты страшно испытываешь мое терпение. Умоляю тебя, пришли поскорее! Как здоров ты? Я волнуюсь, что тебе повредили блины. Ты будь с ними осторожней! Они очень вредны! Разве ты этого не знаешь? Мне нет охоты устраивать блины. Это будет день папиной годины. Ну, конечно, целая неделя масленая, но практически говоря, только одно воскресенье для блинов, т. к. С. приехать может лишь в воскресенье, А. блинов не понимает и не ценит, а мы с мамой предпочтем остаться без них. Скучно делать для себя. Если бы ты был у меня на блинах — другое дело! Но

ты... я думаю... очень балованный в кулинарии... Угодила ли бы я тебе?! Ну, надеюсь. Недавно я устраивала большой званый обед и устроила его на славу. По довоенному. А к бульону испекла даже слоеные пирожки. Все голландцы ахали — это же новое для них, для большинства. И мой крем был на десерт чудесный и все прочее. Вечером был еще полугорячий ужин. Тут я тоже им все по-нашему поднесла. Было все очень удачно. Нужный обед был*. И были очень опытные хозяйки, разборчивые, все в один миг способные распробовать: что в чем и т. д. ... Ужасно люблю их в тупик ставить. Обед был не у меня даже, я все это в чужом доме сделать должна была. Просили меня. Это же гораздо еще труднее. Прислуга их, обычно ворчунья, ужасно противная старая дева, сначала пугала прямо меня, но под конец торжества по одному моему взгляду вытягивалась в струнку. И то, что сперва, как незнакомое отклоняла и ворчала, стала с удовольствием потом записывать в свои рецепты. До смешного: даже в гарнире споры были. У них на все трафарет, а я хотела по-своему, к мясу я велела ей сварить в кожуре отобранных маленьких картошечек и потом, облупив их, подрумянила на сковородке. И ими с прочими штуками гарнировали блюдо. Она нипочем не хотела... Ну, как дура, точно не понимает. Утром уже заявляет: «Mevronw, я так нервничаю, все у меня из рук валится». Я ей: «Мери, сразу же после завтрака, в 11 ч. я буду у Вас в кухне и до самого обеда, до гостей». Сразу успокоилась.

А под конец, как девочка спрашивалась во всем, и все удивление свое экономке высказывала на «молодую Mevronw». Ну, это все чепуха. Видишь, я хвастаться тоже умею. Ух, какой холод вдруг... град. Это зима злится... Сейчас только вернулась из сада, посадили (письмо кончаю уже в 6 ч. вечера) и промерзли... Работник смеется и говорит: «а я думал, что Вы из холодной стороны». Я рассказала, какая это сторона. И девочке своей часто рассказываю, больше в связи с красивыми вышивками, которые я делаю, и на которые она дивуется. Рассказываю ей и показываю картинки, с того, что имею. Много говорю им и о работах в поле, о красоте их, о чудном нашем лете и о волшебнице весне. Мы в свободную минутку «гуляем» с ней и по карте, и я объясняю ей, что где и т. п. Это толковая девчушка, дитя еще, с сильно выраженной наклонностью всюду искать красоту. Она меня даже иногда изводит, когда часами убирается на одном и том же месте, уставляя и переставляя книжки, коробочки, картинки; отойдя в сторону, еще посмотрит, как выглядит. Сама миленькая. Я ее одеваю и ей очень идет черное

* Не бранись опять, что перед ними старалась. Это не то. Так было надо!

платье с ажурным передничком в бантиках и воланах. Однажды, когда в мое отсутствие она принимала и угощала (!!) даже одного молодого человека; тот написал мне записочку с приветом и по-французски (от нее-то) выразил восторг «очаровательной горничной». Обожает читать, и когда я спросила, что ей больше всего нравится, какие книги, то сказала: «те, где про любовь, это так особенно красиво». Жаль, что не могу ей дать почитать твоего. Фася в восторге от тебя. Сегодня она звонила мне и сказала по секрету от ее мужа, что он собирается в Париж, но никому еще не говорит об этом. М. б. в середине марта. Я пошлю тогда Bisma Rex, а как быть с basisch bismut nitrat?[i] Тебе он вреден? Тогда лучше не пошлю. Очень, очень бы хотела, чтобы ты послал мне «Под горами» (по-русски) и твою копию с акварели, но из боязни, что ты будешь еще что-нибудь посылать, от себя вкусные вещи отрывать, суетиться, повсюду искать, — я попрошу Толена послать тебе все в последний момент. Я не могу, Ванёчек, чтобы ты так много мне всего посылал. Конфеты такая редкость, — кушай ты их сам! Я целую тебя за желание послать и побаловать Ольгуну, но подумай и о себе. Безумно хочу увидеть твое фото. Пришли! Очень жду! Хотела бы и сама сняться, но любительски теперь невозможно, — нет пленок. Пришли, Ванюшечка, твои фото! И, ах, как жду «Именин». Пишешь «Масленицу»? И что еще войдет во II-ую часть «Лета Господня»? Напиши, ради Бога, о здоровье. Я пока здорова почкой. Только очень плохо сплю, иную ночь не смыкая глаз вовсе. Это мучительно. Если начну писать, то обязательно не смогу спать. Целую тебя нежно. Оля

Глупое письмо, — стыдно даже послать-то! Прости!

268

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.III.43

Милая Ольгуночка, две недели я был нездоров — простуда, бронхит и проч., — и теперь еще не выхожу. Душевное состояние очень черное. Нет воли писать, думать, ждать лучшего. От тебя нет письма вот уже 12 дней. Последнее было какое-то сборное. За февраль я посылал 8[648], от тебя — 3 и 1 открытка[649]. Я послал тебе «Именины» — все, последний отрывок в письме 9-го II. От тебя ни словечка. Ты не хочешь — или не можешь? — ни писать, ни рисовать. Но находишь время наговаривать голландский пустяк... — для чего? во имя ч е - г о?! Ну,

---

[i] Нитрат висмута *(нем.)*.

если бы канарейка вздумала каркать! И это — д е л о?! Или — ходить готовить по чужим кухням!.. Во-имя-че-го?! Возьми же себя в руки. Сколько сил положил я, чтобы выбить из тебя и с к р у!.. Все — напрасно. Я подавлен. Господь с тобой... Я не хотел бы отягощать и без того отягощенную твою душу. Но я не могу же не сказать — пусть это в последний раз! — или заставь себя работать по сердцу, верни себе волю... — или — забудь, к чему ты призвана. Как мне больно писать это! Но я обязан сказать это. И посылая тебе переписанные рассказы, я хотел расшевелить тебя. Напрасно.

Твой Ваня

Нет сил написать большое письмо.

269

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.III.43 4 ч. дня[i]

Олюночка милая, болею тобой — твоим недугом, и как хочу, чтобы это письмо пришло к горестному по воспоминаниям и до сей поры неизбытым болям душевным, — к 9-му (24.II), дню светлой памяти о. Александра. Мир душе его светлой, мир и твоей — и твоих — душе, дорогая моя Ольгуночка. Нет, ни в чем не упрекну тебя: ведь это все твоя болезнь давит на волю твою, мешает ж и т ь и творить. Оля, все больше убеждаюсь: пока будешь жить в этой ужасной сырости голландской, — не получишь излечения. Климат ее (Голландии) — яд для тебя! Прошу: перепиши (переведи на русский язык) историю болезни, которую посылала д-ру Шахбагову. Я прочту моей докторше, чтобы она вдумалась и дала свое заключение. Но тебе необходимо, по ее словам, показаться здешним знатокам. Она свезла бы тебя к тому или другому — не теряй воли и надежды. Но надо добиться и приехать. Ведь ездит же г. Толен. А ты — 3-й год больна! Разве это не довод?! Умоляю тебя, — для тебя это, не для меня. Поверь: главное для меня — чтобы Ольгунка была здорова! Пусть — в отдалении, только была бы здорова, и тогда ты все наверстаешь. Пришли «историю болезни». Про-шу! — Еще: упроси г. Толена, чтобы он не отказался взять для тебя два-три пакетика. Правда, коробка с шоколадными конфетами довольно большая... но он ее уложит легко, она плоская, еще — «душистый горошек» и — pastilles de Vichy, — тебе очень пригодятся. Конфеты ждут с января, это лучший шоколад, «ро-

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: avec photo-passeport — cela est permis (с паспортной фотографией — это с восточного свидетельства, *фр.*).

ждественский», разрешенный срочно к Рождеству Христову. Я был бы рад, если бы Толен взял. М. б. и еще дам пустячок, — разыщу яички, которые тебе так нравятся.

Открытка вышла, кажется, сухая, — я был разбит, подавлен... и тоской по тебе, и следами кончившегося, наконец, бронхита... — если бы не принял в конце января antigrippal — были бы «плохие последствия» — сказала m-lle Krymm. Вернулся аппетит. 10 дней тому взвешивался: 52 кг, за 20 дней — +2. Думаю, что ты так и не принимала antigrippal перед западным Рождеством, а как раз был срок, прошло 3 месяца после приема. Очевидно, ты хворала гриппом, и вот — итог его: снова кровотечение из почки. Пришли же историю болезни.

Снова просят «Неупиваемую чашу» — очень хороший знаток — предприниматель по экрану, г. Дуван[650], сын известного на [юге] Дувана-Торцова. Он человек с большим художественным дарованием. Это меня успокаивает. Но я решительно возражаю против постановки европейской: и не поймут «Неупиваемой чаши», и нет главной артистки (не найти — нигде!). Только русская женщина может дать Анастасию, — ты права. Ты — могла бы! О, как могла бы! И кто знает... ?! Хотят купить права «на Россию»... — надеются, что смогут выполнить года через два. Изучая все данные и связи г. Дувана, — было умолкнувшего, с год уже! — вижу, что что-то начинает изменяться в отношении русского экрана. Дай Бог. Когда большевизм будет раздавлен (помоги, Боже!), жизнь очистится, обновится... — и моя «Неупиваемая» — чистая — встретит чутких слушателей-зрителей, родных, чистых, очистившихся.

Милая, ласточка. Все мое сердце — тебе. Ты в нем всегда. Селлюкрин пошлю с Толеном. Не принимай отсыревшего, он может вредить. Держи, если дойдет, в сухом месте. Принимай без опаски. Целую. Весь твой, всегда твой — Ваня. Хочешь — перепишу для тебя «Трапезондский коньяк»? Сделай-ка из него сценарий! Сколько там — всего!

[На полях:] Оля, верь: выздоровеешь! Но надо бросить — хоть на год! — голландскую сырость-яд!

Пишу «Пути»... т. е. — вернее — начинаю снова...
Твой Ванюрочка. Всегда твой.

270

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.III.43

Милый Ванечка, несколько дней тому назад, пересилив свое невыносимое состояние и собрав все душевные силы (остатки

их), писала тебе. Писала с трудом, только для того, чтобы ты не вздумал воображать с моей стороны какой-нибудь «фортель» за этим молчанием, чтобы не стал снова писать укоров и посулов «осерчать». Я боялась этого. И не могу, и не могла бы, и не смогу их вынести. Я не отправила тебе то письмо, потому что, прочитав его, испугалась того мрака, который бы затуманить мог т е б я. Оно — это письмо — без всякой искорки жизни... страшное письмо. Ну, не надо. Я и сегодня не могу ничего изменить в себе, но я сдержу это отчаяние и не пущу его наружу. Ванечка, я не знаю что это такое, но у меня больше нет сил. Я и физически больна, конечно.

Меня в субботу увезли уговорами в Arnhem. Сережа очень мило нас ждал и принимал. Только сегодня вернулись с мамой. Я была там еще у новой докторши, — уломали пойти. Я не хотела больше о докторах и слышать, но эту как-то сверхъестественно хвалили. В воскресенье даже приняла меня, очень тепло и бережно отнеслась. Отогрела чуточку, но... не помогла. Анамнеза длилась почти 1 час, но, прощаясь, она мне только и сказала: «будучи под наблюдением д-ра v. Capellen, Вы находитесь в руках человека, ученого, специалиста с интернациональным именем, я могу только посоветовать не искать лучшего, а ему довериться. Бывают такие загадки с кровью, которые никто не может разгадать. А если Вы будете менять докторов, то Вас могут действительно изувечить вечными цистоскопиями, т. к. каждый хочет видеть сам». И это все... Ничего, даже легкой работы не смею делать. Ну, не надо об этом! Я не хочу и не могу все о том же, все о том же! Да и невозможно все перечислить: я чувствую себя очень плохо. Все, все не годится... но главное: душа болит. Душа так болит, как будто бы с нее содрали кожу и не только прикосновение к ней, но даже движение к прикосновению заставляет меня содрогаться. Вот потому-то я и писала тебе, пересилив свой полный упадок, чтобы предупредить возможные твои придирки. Не знаю, чем все это со мной кончится.

Я не хочу роптать, я не сделаю и никаких безрассудств, но... если бы я смела, если бы могла иметь свободу выбора, то... предпочла бы не родиться в этот свет. Мне очень тяжело. Я не знаю, что со мной. Я все, вся никуда не гожусь. Никого не хочу видеть, и все мне трудно, хоть я и вижу, что идет весна... и солнце, и все такое. Все это как-то вне меня. Не сплю совсем, ни без лекарств, ни с ними. Ни днем, ни ночью. Душа болит. И истерзана она до конца. Кончаю, т. к. опять впадаю в ту же ошибку: заполоняю тебя моим мраком. Будь здоров. Сегодня первый день Поста. Был у нас о. Д[ионисий] как-то тут, я его так ждала, но... был, уехал, а тоска все та же. Не стало легче.

Будь здоров и светел! Оля. Целую и крещу.

Я тебе писала об «Именинах». — Они дивны, но я в таком состоянии ничего не могу читать. И даже Слово твое не в силах, кажется, отогреть меня. Ничего не могу. Так никогда еще не бывало.

А жизнь еще само собой бьет и бьет!!!!

271

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.III.43 11 ч. вечера

Ольгуночка, дорогулька... я в отчаянии от твоего письма, вчера полученного (письмо от 8.III). Так нельзя! Ты себя убиваешь отчаянием. Ты работаешь на болезнь. Умоляю, владей собой. Я понимаю твое душевное состояние, так оно мне знакомо... — но я всегда в таких случаях старался отвлечься от сознания мнимой «безысходности». Что у тебя переменилось? Ни-чего. Все то же. Ну, да, почка кровоточит. Но она может и перестать. Ты же, подавленностью, — действуешь в помощь удлинения болезни, ослабляешь силы (кто их знает?!), силы нашей телесной физики-химии-механики, которые борятся с нарушением правильной жизни организма. Это же аз-бу-ка! Ты не спишь... От разбитых нервов не спишь. Родная, детка моя, ну во-имя нашей чудесной встречи, которая должна претвориться в истинную встречу лицом к лицу, душа с душой, прошу тебя: опомнись! Гони мысли черные, ты молода, ты преодолеешь недуг: я верю, я чувствую! не меня читай (не можешь, да и чего же повторяться), читай Святое, если можешь. Евангелие, только. Ну, если любишь — иные псалмы. Пу-шкина читай! Заверяй себя: я буду здорова, я переборю болезнь! Я когда-то послал тебе слова утишающие... я сам испытал, как это важно. Попроси маму говорить их — ровным, успокаивающим тоном, без модуляции. Будто весенняя капель. Родная, девочка, сладочка моя, тоска и боль моя, и радость... дай мне твою усталую головку, я ее прижму к груди. Я загляну в твои светлые глаза, милые глаза мои... девочка моя чистая... Олюна... Я сейчас написал pneu моей Claire Krymm, завтра пошлю, чтобы она завтра же зашла ко мне. Я ей передам, как смогу, о твоем ужасном душевном упадке. Спрошу ее мнения, расскажу все, что знаю о твоей болезни. Мне важно, чтобы пока дать тебе облегчение в борьбе с собой, усилить волю, вернуть сон. Попрошу написать рецепт. Надо же спать. Она мне дала очень хорошее средство — но это «спесиалитэ»[i] — «Kaneuron», 2 раза утром и на ночь — по 10 капель.

---

[i] «Лекарство» *(от фр. spécialité).*

Теперь я лишь на ночь принимаю, и даже пропускаю — и сплю отлично. (Я теперь даже днем сплю 1—1 1/2 [часа], так успокоились нервы!) И спокоен днем. Уже бросил свой «Sedormide». Пока пишу состав: м. б. в аптеке сделают тебе?[1]

Вот так хи-мия! М. б. подобное — только под другим названием есть в аптеках голландских? Удивительно успокаивает. Тебе необходимо — главным образом — пока — привести нервы в покойное состояние. Только тогда ты сможешь перебороть болезнь. Тебе ничто не угрожает. Ты должна пополнять кровь — питанием. Я тебе пошлю cellucrine, только бы приехал Толен! Я уж достал для тебя (теперь это редкость). Олюнка моя, все, все для тебя готов делать, до последних сил служить тебе! Только бы ты была здорова! Я очень хочу к тебе! Вот, увижу племянника, он через 5—6 дней приедет, и начну хлопотать — приехать. Олюночка, Господь с тобой. Ласточка, детка моя бедная, как я тебя ласкаю, мою больную девочку! Ради Бога, светик, успокойся. Ваня с тобой, молится о тебе. Я послал тебе 2 фото-пассепорт. Хочешь, перепишу «Трапезондский коньяк»? — Ладно. Я ни-чего теперь не могу писать, так я тоскую!

[На полях:] Поцелуй мамочку. Ее молитва тебя воздвигнет.

Непременно докажи в аптеке через доктора — что [писал]. Попробуй. Завтра же напишу — что сказала докторша. Господь с тобой. Целую. Ваня

Дозы не усиливай: 2 раза в день: утром — 10 капель и на ночь — 10 капель.

Будь покойна: я «Неупиваемую чашу» не отдам уродовать! Сам все сделаю. И ты мне поможешь!

Из Пушкина: «В надежде славы и добра, Гляжу вперед я без боязни...»[651] (во всяком значении!) И — имею основание, да! И ты тут — и — все, все! Да улыбнись же оптимисту Ваньке!! Ты должна быть здоровой! И — бу-дешь!

272

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

Раннее утро 15.III.43

Ночью я проснулся, Олюша, — все о тебе думал. Зачем такое отчаянье?! Новых оснований, — особенно в сравнении с мартом—апрелем прошлого года, — нет, нет и нет! Сейчас я разобрал твои письма прошлого года, из клиники в Амстердаме. Такое же отчаяние! Что же, что, Олюша, изменилось? Летние месяцы (сухие!), когда тепло, ты чувствовала себя легко, радост-

---

[1] *Далее следует рецепт лекарства. В настоящем издании не публикуется.*

но, была полна — относительно! — жизни! Что же, что же худшего случилось, с тобой? Все та же, уже 3-ий год повторяешься «неизвестность». Только. Нужно добиться, чтобы эта «неизестность» прошла, т. е. — чтобы ты излечилась вполне. Ты не приговорена, а считаешь себя в отчаянном положении. Ты сама себе портишь — подавленностью, мешаешь твоим внутренним силам в их работе — все наладить. Я вспоминаю — февраль—март—апрель—май — 1940 г. Ты тогда скупо писала, — помню только твою открытку перед отъездом в клинику: — потом, через месяц — все кончилось! 41 год прошел, кажется благополучно. М. б. он был *суше* последующих (зима, весна). Зима 41—42 года была жестокая. Ты опять болела. Установлено: ни опухоли, ни полипа, ни [туберкулеза][i], ни камня — нет в почке! Ясно: или почка утомлена, в связи еще со слабостью кровеносных (местных, м. б.) сосудов, либо вся причина в том, что почке не дают условий выздороветь! Это мое мнение, не-медика. Надо найти, создать эти условия, Олюшечка! Н-а-до!! Переменить место, воду (!!!!) — воздух. Не пей воды, пей одно молоко, только! хотя и в молоке — т а же вода, ваша, голландская. Сегодня я буду толковать с m-lle Claire Krymm. Сейчас пущу ей «pneu». Она придет непременно. И я тотчас напишу тебе. Следи за питанием, за п и т ь е м, не ешь соли, — по возможности совсем... но что я, дурак, пишу, надо дождаться мнения докторши. Это я по интуиции. Но для выводов я же способен: нет оснований смотреть на свою болезнь так безнадежно: надо выдержать это испытание. Посмотри на мою фото — в профиль, с бородой: там глаз зоркий, сильный. Вот таким «глазом», чуть усмешливо, и ты смотри на... болезнь свою: она минёт!!! Поверь моему чувству. И ты снова запоешь. И есть, уверяю тебя, основания к сему: все будет хорошо, и во всех смыслах. Скоро начнутся ч у д е с а... — и с ними — возрождение нас всех! Да, да. Я так ясно с л ы ш у ход Плана Божия в нашей жизни. Несмотря ни на что — да, все чудесно обернется. И наш Орел взовьется, и наш флаг — бело-сине-красный — заиграет! И зазвонит Кремль. Москва будет взята у красных — русскими войсками. Такое у меня чувство внутреннего вИдения. Да, в братском почетном союзе с Германией, на основе взаимного признания — вечного союза[652]. Иначе не может быть. И вся красная нечисть сгинет. Ее будут жечь и с Востока. Увидишь. Так помни: будь, Олюнка моя, сильней, вдумайся: тебе ничего не угрожает; надо лишь дать ход работе твоих же сил — в теле — духе! Не разлагай себя заживо!

Целую и крепко прижимаю к сердцу, мою Олюшу, Ольгуну, О-леньку! — Твой Ваня

---

[i] В *оригинале: турбек.*

273

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.III.43 10 ч. утра

Дорогая моя Олюша, вчера доктор Claire Krymm, выслушав историю твоей болезни, — насколько я мог дать ее признаки и ход, — вот что сказала мне: 1) Никаких данных «безнадежного положения», 2) никаких указаний на необходимость операции; 3) нельзя повторять цистокопических исследований, т. к. это только еще сильней раздражает ткань больной почки и сосудов и вызывает усиление воспалительных процессов (м. б. и хронических?) и усиление кровоточивости; 4) менять врача, в данном случае, нет оснований, тем более что доктор — знаток дела; 5) и знатоки в загадочных случаях — бессильны; 6) т. к. бесспорно определяется, что кровотечение почечное является (чуть ли не 3 случая за эти 4 года — весеннего периода!) следом за каким-то простудным заболеванием (грипп, и проч.), необходимо жить в условиях, по возможности страхующих от этих заболеваний: в сухом воздухе, в тепле, главным образом, (холод и сырой климат, для больных почек, — всякое лечение делает бесплодным); 7) заболевания правой почки (у тебя ведь, правая страдает?) обычно бывает чаще, чем левой: очевидно, более усилена деятельность правой стороны тела (правая рука, движения, чаще всего, н а п р а в о, сон, б[ольшей] ч[астью], на правом боку) влияет: отсюда ясно, как важен покой (и физический, и душевный!); 8) необходимо переменить обстановку жизни, — б е ж а т ь из сырых мест, низких... уехать в горы (не выше 400—350 mètres), лучше, конечно, в страну с более мягким климатом, где сухо. Всегда носить шерстяное, — почка, как, по возможности, и живот, и грудная клетка, и спина не должны никогда охлаждаться. 9) возможно, что и состав воды (это очень важно!) сильно минерализован, (м. б. даже и radio-active![i]) — тогда и молоко тамошнее — тот же эффект — вред; 10) соль выкинуть из обихода питания: ее достаточно в естественных продуктах. Хлеб, по возможности, sans sel[ii]; 11) обрати внимание на работу пищеварения: очень часто инфекция пищеварительного аппарата является причиной почечных заболеваний; отсюда — очень важно, чтобы печень функционировала идеально! Эти два органа — печень и почки имеют тесную связь: здоровье почек зависит от состояния печени. Отсюда: вдумчивый отбор — режим пище-

---

[i] Радиоактивный *(фр.)*.
[ii] Без соли *(фр.)*.

вой. Мочегонные не вредны, если не очень резки. Выздоровление безусловно возможно, но лишь в том случае, если будут устранены причины, способствующие рецидивам. Главное: не простужаться. «Это же прямо бросается в глаза: как перелом с зимы на весну, весна — болезнь»! Ясно: усиление сырости воздуха, отсюда (при обманчивом и коротком пригреве солнца (весеннем!)) увеличение случаев простуд, — «не берегутся, рады весне!» — и — расплата. 12) Не может быть улучшения и поправки здоровья почки, если не обращать внимания на состояние нервной системы. С этого надо начинать лечение, во всяком случае — одновременно! Это дело лечащего врача. И надо помогать самой! — внушая себе, что ничего непоправимого — в данном случае — нет решительно! Придет в порядок нервная система, будет излечена неврастения (в сильной степени, в данном случае!) — сразу пойдет выправка. Но..! необходима, «как воздух» — перемена климата!! Надо увезти больную с низменности! — переменить все, избегать решительно консервов всякого вида, вплоть до белого мяса (цыплят, кур), приготовленных запасливыми голландками «в стекле» — хотя бы и без специй, — исключительно, только свежее, и по возможности без соли! Нельзя и цельного хлеба, — слишком много азотистых веществ в нем, а это вредно для почки. Все, что облегчает работу печени, усиливает ее деятельность — благо для почек! Но отнюдь не возбуждающие средства, как пряности и проч. Всегда желудок и кишечник должны быть в идеальном состоянии. В период лечения необходим полный покой. Надо вернуть чувство «благоденствия» — bien-être![1] — для этого — сон вернуть, хотя бы, временно, и действуя медикаментами. Формула «Kaneuron'»а (я тебе вчера писал в письме), очень хорошая, и при болезни почки никак не может быть признана вредной. Пусть посоветуется с лечащим врачом. Бром — нельзя! Все — восполняющее утраты крови — нужно, необходимо. Отсюда: в малых дозах — препараты крови: hemostyl'ы, cellucrin'ы и проч. Пусть специалист укажет. Общее заключение: в силу каких-то первичных причин почка стала с изъяном (не угрожающим жизни, но очень неприятным), какой-то ее пункт ослаблен (ткань, сосуды кровеносные), (почка богата чрезвычайной кровеносностью), и вот этот «изъян»-дефект сейчас же и обнаруживает себя, как только равновесие организма нарушается — любым заболеванием, но главным образом — инфекционного характера (всякий вид «простуды» — грипп, лихорадки (очень часто даже «молниеносные») — для больной почки достаточно даже повышенной t°. Ведь через нее выде-

[1] Хорошее самочувствие *(фр.)*.

ляется «болезнь» из организма. И вот тут-то (у тебя как раз «при выходе»!) и начинается «эффект изъяна»: «кровотечения». Отсюда вывод: необходимо, чтобы состав мочи был не резкой концентрации (режим, главным образом пищевой!) ни кислой, ни соленой, и — особенно! — без инфекций! Ведь почка — основной дистиллятор, но она перестает быть им, если заболевает. Она, по мнению Krymm, у тебя чуть ли не в постоянном (хроническом) — пусть даже и «привычном» воспалительном (пусть даже и без t°) — состоянии. «Не бывает ли периодических ломот и тянущих болей в пояснице?» — спрашивает Krymm. Ясно, что должны быть! — при этом случае. Частые исследования цистоскопом, ввод катетеров только раздражили ее и ослабили: нанесли безусловно вред! Теплые (почти горячие) ванны очень важны, но только в самых лучших условиях уклада-комфорта, когда исключена всякая возможность простуды! Очень сухой и очень теплый воздух (до 22—25° Цельсия) — вот идеальные условия для лечения. — А ты-то все время (перед новым приступом болезни) прыгала — и по хозяйству, и так, просто: разъезжала, паковала дурацкий хрусталь (для чего?!), стряпала... даже и для других! Ну, вот — и плачешься. Не жалко тебе себя?.. Ну, так для дела, для творчества пожалела бы себя?! — для мамы, брата... ну, для твоего Ваньки! Я весь перебудоражен. Меня ударило и пришибло твое крайнее отчаяние, твоя раз-да-вленность! Помни: нет решительно ничего страшного, ничего непоправимого! Нет и нет. Доктор Krymm на этом настаивает. Помни: до теплой поры, когда ты могла бы куда-то переехать... — из низины, в твоей комнате должно быть сухо (очень сухо, и очень тепло!). Надо это сделать. Надо лечить нервный упадок сил, вернуть bien-être, (за-петь! — о, запой же, птичка, Олюша моя!). Помни, я каждый миг с тобой, тобой весь полон. Сейчас у меня все валится из рук. Не[1] тревожься за меня, я справляюсь и справлюсь с собой, только бы ты была здорова. Олюша, держи себя, желай, хоти здоровья — и ты будешь здорова! Улыбнись, все будет для тебя светло, — только преодолей подавленность. Не ожидал: так духовно изнемочь! Восстань же, Олюша, ласточка моя! Веруй — будешь исцелена! Спешу за молоком. Много дела. Весу 52,5 кило. Хоть и болел бронхитом, и мало было охоты есть. Сейчас — я здоров. Родная, целую, крещу, — лаская, тоскую по тебе.

Твой Ваня

[1] В оригинале: но.

274

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.III.43

Ванечка мой милый!

Пишу тебе, потому что боюсь, что ты волнуешься, — но писать, собственно, прямо не могу.

Я в отчаянии, что со мной. Не могу тебе даже объяснить такого состояния. Так, по-моему, еще никогда не было. Мне больно тебе так писать, но что же мне делать? Я боюсь молчать, боюсь твоего гнева, твоего волнения, твоих «выводов». И писать вот так, как пишу, тоже не хочется. Вся душа моя сожжена, убита, куда-то она уткнулась, в какой-то темный угол. Ничто меня не радует. Весна сейчас, и я вижу, что все блещет и радуется, а все это помимо меня. И с чего это случилось со мной, не знаю. Ничего такого не было.

На меня нападает страх, что что-то должно случиться. Я боюсь всего. Я даже иногда боюсь заснуть и больше не проснуться. Но больше всего я боюсь общения с людьми. Больше же всего врачей. И потому не спрашивай меня и не жди «истории болезни». Я с ума сойду, если еще раз буду все ворошить. Твоя злая (не только сухая) открытка[653] меня не придавила, т. к. больше быть придавленной, чем я сейчас — нельзя.

И ты там говоришь только то, о чем я сама тебе писала, но, испугавшись возможного твоего огорчения, не послала: нечего думать о творчестве, когда нет сил жить.

Мне никто и ничто не поможет. У меня тоска.

Тоска ужасная.

Я хотела бы увидеть о. Дионисия, мне с ним легко и тепло, но когда подумаю о всех тетушках и кумушках в доме, то еще тошнее.

Мама знает о моей этой тоске, убеждает, что «так нельзя», в конце концов кончается все это посылкой к докторам, а я от этого-то и больна. И никто, ни единый человек меня не поймет. Я хочу домой. Только домой. Иногда мне кажется, что я скоро умру и я панически боюсь смерти. Боюсь безумно болезни своей и всякий раз с сердцебиением иду куда надо. И так невозможно.

Ни лечебных трав, ни Виши-соли здесь не найти, так что живу «на-ура». Поехать на совет к врачу невозможно. Оставим это! Когда-нибудь напишу подробней. Да и не могу я такая. Мое физическое состояние тоже нехорошо. Но это все так скучно. Так надоело! Фасиному мужу отказали в визе, — он снова просит. Не присылай мне ничего, кроме Виши и книги.

Спасибо за фото. Она, если бы я была сейчас другая, привела бы меня в восторг.

На момент в моей тоске пробилась искра и в моей безжеланной заледенелости мелькнуло желание: иметь т о т портрет. За все это время это единственное желание было. Но это невозможно?? Дай мне его! Кто его владелец? Чуткий или делец? Если последний, то я заплачу ему, сколько он хочет. А впрочем, как ты хочешь! Ты пишешь «Пути Небесные»? Прости, что не даю тебе света в работе. Забудь тогда, что существую, если я-нытик тебе мешаю творить. А так — не забывай! Прости. Но и «Пути Небесные» теперь меня не захватывают, и то, что казалось раньше едва переносимым счастьем (твоя работа над ними), — теперь... как-то тоже идет мимо, как и весна, как и жизнь. Целую тебя в лобик. Дай Бог тебе сил. Оля

Будь здоров! Я плохо и молюсь. Молись за меня ты.

Какие кошмары по ночам. Около 2-х засну, в 4 как ошпаренная вскочу и лежу до утра.

275

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9/22.III.43

Олюшенька, дорогая моя девочка, это же невозможно так обезволиться, довести себя до... меланхолии! Да, это приступы нервного заболевания, это злая тень «черной тоски»! Овладей собой, овладей — во имя того чудесного, что было и есть в необычной нашей встрече! Заставь себя. Твое письмо (сегодня), от 16.III, приводит меня в крайнее отчаяние! И я... бессилен. Ты — умница, должна же знать, что все это п р о й д е т: зачем же отнимать у себя силы, надежды, самую жизнь?! Мне знакомо все это. Знай: все будет благополучно. И с тобой, и со мной, и со всем н а ш и м. Я з н а ю. Да. Я тебе все писал о твоих недугах в письмах 14—15 и 16.III марта. В письме 11-го[654] я послал фото-паспорт в профиль, чтобы хоть этим привлечь, вернуть тебя. Сегодня я для тебя пойду на все (на разрыв дружбы даже с приятелем), и добуду — только для тебя! — отданный (как дар), мой акварельный портрет. Во что бы то ни стало — я его добуду! Ни закакие деньги его не отдадут, уверен. Хоть сотню тысяч. Не знаю, как смогу переслать его тебе. Ведь ты не приедешь за ним сама? А г-ну Толену я не отважусь его поручить: ни за что! Портрет — исключительно удачный! единственный. Он был д о р о г Оле! И я... разбрасывая все, после ее кончины, не в силах жить больше... я его отдал, как многое, как почти все! — только бы не попало на базар. Я забыл, что все

это так же дорого и Юле, и Ивику... за-был! Я был уже не в себе. Я — разметал все. Библиотеку... — прямо, расшвыривал. Рвал рукописи... начала работ... п л а н ы... — только вот записных книжек не было у меня никогда... ни дневников, — не хватало терпения заносить: все «в уме». И так: сегодня же еду за портретом, лишь бы ты отогрелась! Портрет б у д е т у тебя, Олюша моя, счастье мое! Как, когда... — не знаю. Бу-дет! Ольгуночка, не делай себя средоточием мира. Ты все, все только к себе сводишь, все миги дней — томишься собой, своим недугом. Ты себя в себе р а з л а г а е ш ь. Ты умираешь все миги дней. Отсюда — безвыходность, но эта безвыходность только призрак, тобою же создаваемый. Я з н а ю это состояние. Надо найти силу бороться с этим. Помни: миллионы людей (как и всегда) — ныне особенно — находятся на истинном и с х о д е, в истинной безысходности. Умница, светлая головка, чистое и глубокое сердце... — вдумайся. И тогда т в о е покажется тебе иным. Каждый миг теряют невозвратимое. Приговорены [1 сл. нрзб.] болезнями, ждут срока. Сейчас косит чахотка, уносит в 3—5 дней, вдруг, прыжком, так называемый бешено галлопирующий туберкулез. Вот где ужас! Доктора бессильны и смятены (истинные!). Серов хватается за голову: чтО каждый день приходится видеть..! И голод, и холод, и боли, и бездонность горя. Вдумайся, моя светлая девочка. Пожалей себя, меня... твоего одинокого Ванюшу... Ты свет-просвет для меня, и ты — отнимаешь у меня свет этот. Ты изводишься, п о м о г а я недугу, излечимому. На 9/10 у тебя — забитость душевная: ее, ее надо выправлять. Не избегай врачебной помощи. Разве у тебя — в основании — наследственность?! Ты себя доводишь до отчаяния. Это все — и з тебя. Надо с этим бороться. От о. Дионисия никакого излечения не получишь. Это опять — idée fixe. Так тебе к а ж е т с я. Если бы я был близко!.. Надо лечить нервы. Как — дело врача. М. б. нужно впрыскивание, дающее — пусть п о к а — состояние bien-être. Мне делали впрыскивание «Histrop»'a. Туда входят: Atropine, Scopolamine, Histidine, l'ion brome. Scopolamine — дает вот это bien-être, «забвение болезни», он смывает тоску. Histidine усиливает заживление клеток... — м. б. и это тебе полезно (заживляет ранки!) atropine успокаивает особенно nerf pneumogastrique[1]. L'ion brome вместе с ними (alcaloïde'ами), подкрепляет их действие. Скажи врачу (врачам) — должно же быть в Голландии подобное средство! — только, м. б., под другим названием. Необходимо помнить, что средство это сильное, и нужно лучше (к тебе!) применять очень малые дозы, 1/4 средней дозы!! Я помню: тебя лечили (от бес-

[1] Блуждающий нерв *(фр.)*.

сонницы) гипнотическим внушением. Ясно, у тебя что-то незаурядное, как и все в тебе. L'ion brome calme à la fois le sympathique et le para-sympathique (pneumogastrique)[i]. Умоляю: больше отвлекайся от своего состояния, — не бойся смерти, — она далёко от тебя! Ну, дай мне твой лобик, твои глаза, твое милое личико-душку... — вот, крещу тебя, родная Олюша: Господь с тобой. И целую в глазки.

Олюша, я прервал разговоры об офильмовании моих «Путей Небесных» и «Неупиваемой чаши». Только в России — или нигде. Здесь офильмованием (ошельмованием!) они испортили бы мне все. В России — тогда они пройдут по всему свету. Один знаток[655], с которым я советовался, сказал (большой практик — делец и специалист в экранном деле): «знайте, что если переводить только на доллары, Ваши обе вещи цените никак не меньше, как по... десять тысяч долларов». Но мне не до этого: мне важно художественное совершенство выполнения. Поставленные в России — картины пойдут с дублированными подписями-диалогами, а игра-то, все-то — да еще в красках! — теперь это до чудесного, говорят, доведено! Ufa[656] в 25-летний юбилей выпустило фильмы, пока еще здесь нешедшие, а кто видел частным порядком, — говорит: поразительно! — так вот, игра-то — наша будет. «Только в России можно дать это Ваше» — говорит тот же делец, но и понимающий, ставивший сам. Какую артистку назвала ты — для Анастасии (и Дари?), которая уже не появляется, устарела? Какая фамилия... Ильина, что ли...[657] — я забыл, а в письмах трудно сыскать. Напиши. Я называл (говорил о ней) очень близким к синема, но никто не мог мне сказать. О. Чехова[658] — говорят — не годится.

Жду со дня на день племянника. Пора бы. Обещал, что выедет 18-го, а вот 22-ое. Напишу Ивану Александровичу, есть возможность[659]. От Нарсесяна из Лиона получил миндаль (барышня принесла сегодня), очищенный, около 1 фунта. Он просил сказать, что И. А. жаждет от меня весточки. Как ты нашла стихи Новгород-Северского? — мужа Юлина? — ты мне ни словечка. Дочего я слышу, как ты вся — в себе! о себе — [1 сл. нрзб.], сты-дно так! Мне это знакомо, да, и потому, я говорю: стыдно так. Как укоряла меня Оля за это! «Не умирай раньше времени!» «Думай о других больше, — и тогда легко будет». Как была права она!! Все это — у тебя, как и у меня, — от огромного воображения! Мы рисуем себе слишком ярко и преувеличенно. И это, созданное, нас топит в себе. Выход сему — творчество. Хочешь, напиши мне что-нибудь для

---

[i] Бром сразу успокаивает нервную систему (блуждающий нерв) *(фр.)*.

Ивана Александровича. Я пошлю. Поцелуй мамочку и Сережу. Встряхнись, не пропускай же весну! Олёк, я посадил зерно лимона (замухрышки!) — но когда это взойдет, вырастет, привьется! А это у меня — неотвязное. Напишу на юг, теперь можно это, попрошу моих читателей прислать мне привитый апельсин или лимон, или померанчик. Обмираю. Это idée fixe! Мне нужно.

Целую нежно глазки и губки. Твой Ваня

[На полях:] Сейчас иду за портретом. Достану — да!! Сумею выдрать! — но как тебе пошлю? Не доверяю Толену.

Пущусь на хитрость: мне нужен портрет снять копию (в красках). Это сделает бо-льшой художник в другой стране. Ты!!!

Олюля, Олюша, ка-а-ак я тебя люблю! Как нежно льну к тебе! Твой Ваня

276

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12/25.III.43 11 ч. утра

Светлая моя Олюша, Олюшка... Олёночка... все о тебе болею, сладостно-горько. Вот что. Напиши в Берлин, чтобы сыскали и послали тебе отличное средство — для bien-être, для утишения нервной подавленности — «Campalone». Это — немецкое средство, здесь не найти теперь. Это впрыскивание. Делает чудеса. Напиши другу семьи, — непременно. Потом, для физического укрепления — «Hépatrol». Это — экстракт печенки, — за-мечательно! Но для тебя в средней дозе — [тюбочки] по 5 см (не по 10!) — это внутренне, в небольшом 1/4 стаканчика воды. Прошу настоятельно — сделай! У тебя — ты причиной. Все к себе сводишь, все о себе думаешь, о своей болезни (крайняя степень неврастении!). Как-то — это же не свойственно тебе!! больше, больше о других думай. А то — варишься в своем нездоровом, не можешь отойти от себя. Отсюда — страхи, боязнь смерти, страх, что чего-то должно случиться. Это обычно, в таком состоянии. Когда забудешь себя и свое — все изменится. Прошу — сделай две копии с акварельного портрета, — для меня и себя. Как переслать?! Хочешь, я напишу в Берлин. Бывают туда оказии, доставят. А оттуда — или ты укажешь — как переслать, или — мои друзья устроят. Эта работа поможет тебе отвлечься от себя. Сделай так. И еще. Я прервал переговоры о фильмах, хоть и набавляли — и для одной Франции брали. Нет и нет. Будет только в России воссоздание на экране, или — совсем не будет. Так я решил. И — это ты дашь и Анастасии, и Дари. Да, да, да. Ты одолеешь. Я добь-

юсь этого. Это будет мое условие. Скажи: стОит хоть ради этого оздороветь, стать живой Ольгункой?! Для меня — стОит. Пишу с трудом, нарывает палец, средний, на правой руке, — от хозяйства? Наколол, что ли, как... морю его в кипятке, легче. Другой день. М. б. заморю, до полного нарыва, — рассосет? Так неприятно. — Погода — блеск, сушь, тепло. Каштаны забелелись раздувшимися почками. Пушатся, идут в прОзелень. Кустики-мелочь зеленеют дымкой свежей, — чудесно из моего окна! — Пришли мне твою «фото-паспорт» — современную, хо-чу! Хочу, чтобы на столе стояла под хрусталем, всегда перед глазами. Очень прошу. Напиши мне какую-нибудь акварельку, — по твоему вкусу, — яблони, лужок, цветы, — весну — воду — небо. Хо-чу-у! —

Борись с собой. Ты себе навертела и сама в этом завертелась. Это — изживать себя, вот что это! У тебя поразительные скачкИ! Ты в мгновенье можешь казаться умирающей, и тут же — только что родившейся. Теперь всякий пустяк, который надо обойти, перешагнуть — для тебя такой — уже Гималаи. Не допускай сего. Пусть доктор поможет тебе (местный, земский) средствами. Укажи ему, наведи его, если он туповат. Ты достаточно опытна... для других. Будь — и для себя. Себя учи. Плюнь на хозяйство и уезжай, на время хотя бы, к Сереже, что ли, — повыше, где сухо. И — отдайся работе. Сколько я тебе своего переслал, сколько переписал... для тебя... а ты вот не хочешь меня порадовать! Пришли мне этюдик, — мне каждый пустячок твой — радость. Я украшу ими свои комнаты. Дай цветов, ну... ветрянки, ну, «трамбовку» бывшую, — ну — травку у твоих ног — первый весенний коврик, изумрудик... Дай твою птичку («я да птичка»!)[660] дай — золотой ячмень, дай — «звезды глубоко тонут и в прудочке». Все, все, чем запоет душа. Плюнь на свой недуг — он сгинет! Уви-дишь. Но для сего надо и лечебную помощь. Ты же вся — юная, — да, да, да! Все — впереди. Твои 38—39 л. — смех. Ты — девчонка, младенка, дурочка, птичка совсем бесперая, хоть и крылата. Ты и отважная, и... трусиха. Ты и «все для других» — и... себялюбка. Одна — когда ты подлинная, «собранная», здоровая... и совсем противоположная крайность — когда утрачиваешь себя. Проси — «дай мне сил Твоих, Твоей ОлЮнке!» И — будет. Все твое болезненное состояние — очень знакомо мне. Я подобное переживал не раз. Особенно в 30-ые годы (с 29 по 33) — и — после Оли, когда сильно болел и сгорал в предельной тоске. Работа (и Божья помощь) помогли преодолеть. Как же я обобран-изранен жизнью! И — нахожу с помощью Божьей, силы. Ты мне так много света дала. Зачем же отнимаешь теперь?!! ... Подумай... пожалей себя и меня. Я все сказал. Хо-

чешь — пошлю тебе портретик караимочки Е[лизаветы] С[еменовны]? У меня нет, так и не попросил... но для тебя спрошу — фото-паспорт? а? Ну, оживи, Снегурка, осветись — и меня освети! Привет маме и С. Целую тебя, родная Олюша моя.

Твой Ваня

[На полях:] Не прогляди же весны! Это — дар Бога! Засияй!! Ты будешь здорова. Да, да, да.

Не бойся этих капель крови из почки. Все пустяки. Люди годами теряют кровь — и живут. У тебя быстро восстанавливается утрата. Эту «кровь из почки» ты сделала своим ужасом. Поверь, что это твое свойство.

9 ч. вечера Трудно писать: нарывает палец.

Вечером были от экранщика, предлагали — сколько хочу. Я отказал. Ваня

277

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

31.III.43

Спасибо, родной мой, за все! И за письма, и за хлопоты с M-lle Krymm, и за «византийствование». Мне стыдно, что я столько доставила забот своим здоровьем, — зачем, зачем я все-таки о себе писала? Я сделала это, правда, только потому, что боялась неверных толкований моего молчания. Я так много получала всяких упреков, уколов и укольчиков (пусть одетых в ласковость, даже!), что не в силах была выносить еще и еще. А потому, что душа исстрадалась и никак не звучала, письма не писались и, если бы и писались, то выходили бы пустые и вялые, принужденные. Но они не писались, — я не могу «стряпать» письма, когда они не от сердца. И потому, только потому я и написала о своем состоянии, чтобы не было обид, чтобы не было толкований. Не будь этого всего — я бы не «распустилась». Не знаю, отчего все так произошло, но я оказалась в моей боли очень одинока и не могу ни словом, ни намеком открыть свою душу. Какой-то клапан тяжелый захлопнулся, будто. И знаю тоже, что без этой полной открытости меня понять невозможно. Я говорю себе, что одна только и остается верная истина в жизни, что... «человек всегда одинок», — но все же очень тяжело оставаться одинокой, и в своем душевном страдании неразделенной и непонятой. Пишу вот это, а самой противно, так и слышится возражение: «подумаешь, какая непонятая особа». И все это — и верно, и не верно..! Мне грустно, что то, что составляет сущность моей тоски, боли, моей убитости, останется совсем непонятым, может быть, или понятым, как хан-

дра, скучание... Нет, не завтраки у Корнилова[661] мне нужны, и не развлеченья. И ничто, что бы занималось моей персоной, ибо я и без того чувствую, что слишком много я живу для себя, и слишком мало выполняю долг и цель жизни. Моя болезнь — на 2-ом, 5-ом, 10-ом месте, как таковая. Но она убийственна, как помеха к моей свободе, к моей действенности. Только для того, чтобы не возвращаться к сему еще раз, пишу: рецепт M-lle Krymm невыполним в современных условиях. Не буду приводить доводов: пусть подумает о практическом выполнении предложенного и тогда увидит, что все это невозможно (переезд в другую страну). Переезд даже куда-нибудь в Голландии невозможен, ибо *нет* ни квартир, ни комнат, даже для эвакуированных. Надо принять во внимание то, что массу домов снесли, целыми районами и этим людям — первая очередь. Самовольно переселяться запрещено. В Hôtel'ях жить нельзя никому (кроме немецких граждан) дольше 8 ночей в разбивку в 1 месяц, и 10 ночей сряду в 2 мес. Даже в больницу попасть трудно. Но это все меня не тревожит. Я бы все равно никуда не поехала. Жизнь только для себя, для «осторожности», для «здоровья» — меня убивает. Это не в моей природе носиться с собой и ходить по докторам. Моя болезнь и без того срывает у меня все планы... А мне иногда хочется всю себя отдать на служение своему... Но все это не объяснить и не выразить... Я панически боюсь своей болезни, той беспомощности, которую она несет с собой, ту крайнюю зависимость я ненавижу. И вечное напоминание, что я «не все могу». Доктора меня не лечат, т. к. в почке ничего не находят, а «склонность к кровоизлияниям — неизлечима», — сказали. Van Capellen — против курорта для почек, диеты и питья Vichy, даже. Все дозволил, кроме движений, работы и т. п. Но я не хочу больше писать о болезни. Мне и без нее тошно. Главная моя горечь не в ней! Я получила письмо от 23-го[662], в котором упоминается о «письме вчера», но, однако, его я еще не получила, так что не знаю о чем там речь. Могу догадываться, что о портрете... Но мне стало неловко... ну, уж тогда не надо присылать. Зачем же так обманывать?! Я заранее честно предупреждаю, что копии я снять с акварели не смогу. Это не ломание, а знание. И присылка портрета в таком случае меня только обяжет. А я не могу, не могу брать никаких обязательств. Я ничего не могу сейчас выполнить. Мне не надо «рецепта работы» для излечения моей тоски, т. к. я все время в деятельности. Я даже слишком занята: у меня минутки нет свободной. Теперь четвероногие детки требуют ухода. И много чего. Не надо меня упрекать за то, что помогала старику в его беде. Что же из нас получится, если каждый только будет жить для себя?? Если бы не эта постоянная оглядка, то

разве бы тО еще я хотела делать?!! Самая великая пытка — это не смочь делать того, на что зовет душа. Я не могу совершить чего-то важного, угадать именно самую главную жертву, которую я должна выполнить, без которой жизнь прожитая будет пуста. И меня мучает, что я по здоровью не все могу. И оттого я так страдаю. Но это не все, это вообще не то, не главное. Я всего не могу... не могу сказать в письме, да и вообще трудно. И я безумно боюсь смерти, что она все прервет, все это горение впустую... Ах, как это трудно сказать! И все так суетно и шумно. Я не могу найти себя. И как давно хочу этого. Если бы совсем ото всего отойти на время! От всех и от всего! Но я грызу себя за это. Жизнь ведь все идет вперед, а дела масса, я на своем месте-то хоть должна работать, а я хочу все «журавля в небе поймать». Не надо упрекать меня за хозяйство: я не перебарщиваю, но кто же тогда его поведет? Девочка моя — милая, старательная, но она не может одна. Слишком в это время все сложно. Зачем же за все, за все меня упрекать? Ну, один раз помогла званый обед устроить и сколько-то радовалась, что наша кулинария понравилась, сумела ее показать лицом, ну, развлеклась немного от дум (много ли я где бываю??) и вот упреки... Я многого бы не могла теперь так писать открыто, как в прошлом, и именно боясь этих «[проборций]». Но, однако, это не значит, что я обижена. Мне только жаль, что так все закрылось как-то. Ах, да не стоит м. б. об этом!?

Г-н Толен не получил разрешения, подал еще раз. Ждет. Говорил, что надежды почти нет. Мне это горько, т. к. у него лежит моя посылка вот уже 3 недели, если не дольше. Масло верно испортилось. Что с ним сделать? Обидно, что больше не смогу достать такого, т. к. оно из оборота пропало. Не выдают больше масло, но маргарин и сало. Там всего понемножку было, и яичко на Пасху мной разрисованное. Понравилось всем, кто видел: Кремль ночью, хоть и не шмелевский Василий Васильевич устраивал иллюминацию[663], а моя скромная фантазия, но вышло ничего себе, кажется.

Фася пристала, нет ли у меня рисунков... Нет, конечно. Начала давно картинку для Сережиной квартиры (его теперь уплотнят, кстати), но не могу кончить. Нет сил. Деревня русская зимой, в инее. Карандашом. М. б. я устала от малокровия. После ноябрьского кровотечения я не могу поправиться. Тогда я массу потеряла крови: за дня 3—4 около литра видно, а м. б. и больше. Трудно сказать. Принимаю я что-то, но все это ерунда. Ах, да: «что делать с шоколадными конфетами?» — Скушать на месте!! Очевидно, что их послать не придется, да и жаль их для меня — ведь все равно, что бисер перед свиньей[664]. Надо скушать его на месте, тем более, если будут

гости. Мне не стоит* его посылать, а барышне в 20 с небольшим, куда как будет лестно. Что-то еще хотела сказать? Все забываю. Не знаю, что стало с моей головой... решето... Ах, да, мне очень хочется иметь адрес Вигена Нарсесяна. Давно ведь собираюсь спросить. Это редкий человек. Ах, и еще: почему же батюшка, мой духовник — «поп-плут»? Мне это все-таки больно слышать. Нет, он не плут. Но все это только пререкания. Кто какой есть, такой и есть, ну, не плут если, так от слов плутом не станет. Мне он никак особенно не приболел. Ах, как трудна, как непосильна жизнь! И все нет сил на то, что бы надо: вот перед носом у меня чахнет ребенок один, ему доктор лежать велел, от истощения стал тенью. Хотела бы его взять к себе, отогреть и откормить (дрянные у него родители, чтобы ребенку попало, надо ему в рот положить, а то мимо него пройдет), а вот сил нет. Да и трудно: он от слабости мочит матрасы. Ограничилось все мое рвение только посылкой ежедневной кое-чего ему. А попадет ли ему? Их 8 человек детей, да такие еще папаша с мамашей. У отца на каждом углу по девке. И нахалы. Но чем детки виноваты? И сколько же неправды. И еще есть детуля: моя бывшая соседка из Бюнника: бросил их отец, мать-то ее иностранка, чужая тут, молоденькая, 22 года. А девчурка коклюш схватила и вся в ниточку вытянулась. Еды-то мало. Звала их к себе. А как справлюсь? Не хочу на маму наваливать. И эта тоска, тоска... Ночью-то времени для дум много, для этих бездумных дум. Дум сердца. И потому таких жгучих, что в них нет слов, и не выразить их. Не буду больше. Это преступление так заражать другого. Прошу на коленях прощения, хочу с собой сладить, но ничего не могу поделать для того, чтобы писать притворно. Лучше тогда пока совсем обожду. Я пытаюсь молиться. И постоянно думаю.

Крещу, обнимаю. Оля

278

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.IV.43

Милый мой Ванюша, Ванюрочка, дорогулечка...

Завтра Благовещение... Это такой особенный день... Я тебе когда-то писала... Мне хочется улыбнуться тебе навстречу.

Ты не брани меня, не сулись «серчать», а прости Христа ради, т. к. я хочу завтра (если здорова буду) причаститься.

---

* Это не значит, что я не ценю дара, Д а р а, но просто потому, что ничего сейчас должно не могу принять. Вот и весны не вижу, да и не хочу ее ненавистную видеть.

Когда будешь говеть ты? Как твой пальчик? Я получила и то письмо от 22-го, которое считала уже пропавшим, и еще от 26-го[665]. Я в отчаянии была, когда их читала: как же можно неверно понять другого на расстоянии... Или: как же можно себя самой не знать?! Ты меня стыдишь там, что я «все о себе», что мне о других надо думать... А между тем, я именно в своем главном-то и страдаю постоянно от своей никчемности, беспомощности для других... Но я много думала... М. б. это действительно какая-то гордыня: хочется быть не никчемной... А почему же? Ну, коли никчемная, бесполезная, никому служить не можешь, так и смирись с тем, что ты только прах. А нет, нас тревожит какие мы. И вот в этом, пожалуй ты прав... Нужно беспредельно себя смирять. Не в этом ли и есть послушание. Но все же нельзя ведь складывать руки и говорить себе: «ах, я никчемная, пусть уж такая и буду!» Как все это трудно решить справедливо и объективно. Но у меня и не только такая боль, Ванюша, а я мучаюсь за других, за тех, которые невыразимо сейчас страдают. Я ночи другой раз напролет не сплю. О них мучаюсь. Я пишу тебе немного, т. к ловлю светлый миг в себе, чтобы скорее тебе его послать. А то письмо от 31-го я не могла отослать, все собиралась получше, посветлее написать, но все не могла. Вчера понесла было, но уже закрыта была почта... Сегодня бурная была ночь, ветрище рвал ставни и дул в комнатах. А вчера целый день летали тучами чайки, — это перед бурей всегда. Все цветет и наливается. Хочется рисовать. Я кончила в воскресенье картинку Сереже — чудно вышло. Меня просят работать «на рынок», чтобы можно было приобрести. Вчера делала свой портрет... чудно вышел... было, но красками испортила. Намудрила. Выбросила. А то тебе хотела. Ванюша, спасибо тебе за акварельный твой портрет, но я же вижу, ты с ним не расстанешься. Ты и со мной ведь, бывает что, византийствуешь. Да!.. «Не отпирайтесь!..» Знаю, но не показываю вида, когда это бывает. Толену можно бы поручить лучше, чем, например, Марине. Вспомни! Нет, если ты твоим друзьям поручишь, то они его наверняка не выпустят из рук! Будь покоен! Голландцев можно бранить за то или то, но они исполнительны до крайности. Часто в ущерб себе. Если обещают, конечно. Они очень деловиты, без участия чувств, потому м. б. это им и легко. Вчера ночью родилась еще телушка, вся чернушка! От рыжей мамы и от пестрого (черно-белого) быка. Вся черная, только ножки белые и кисточка у хвоста. Пила сразу без пальца. Как мать ея ее ласкает!.. Издалёка... Бычонка мой тоже — чудо. Огромный. Скоро будет жеребенок у новой лошади, первый. Уж все ждут. Соседи бегают, т. к. лошадь премированная «звезда», (так тут зовут) — «Stermerrie». По-

сылаю тебе цветочки из сада. Голубую, Богородичную незабудочку тоже. Прости, что мало пишу, но все из сердца... Напишу еще. Сейчас я еще не одета, а надо пить чай утренний. Тороплюсь. Неужели ты работаешь над «Путями»? Брось из головы меня-актрису. Я уже стара, да и внешность не та стала. Это и не нужно. Много наших найдется. Люблю ее, ту, которая даст. Целую тебя утренним свежим поцелуем. Оля

279

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.IV.43
Вербная Суббота

Христос Воскресе, милая Олюша! И — «воистину Воскресе!» — отвечаю на твой светлый привет Воскресения. В это «Христос Воскресе» вкладываю всю душевную силу, всю нежность, всю светлую-светлую любовь к тебе, дорогая моя Олюша, Ольгуночка! Все моления, весь жар желания — чтобы ты была здорова, светла, л е г к а, радостна и крепка духом, тверда волей — верой в грядущее Воскресение всего дорогого нашего... — и — н а ш е г о. О, милая... как я томился, сердцем истекал, видя в письмах, через них в и д я, как ты измучена. Томился, болел тобою. Нет, не укорял, — и — ни-когда не лицемерил! Я всегда чист и прям перед тобой. Да и не перед кем я не кривлю, не кривляюсь. Сейчас я не могу, не хочу отвечать на твое болезненное — в письме 31.III. Слава Богу: от 6 и 8-го IV[666] — [нежные] письма, пусть не прежние, не уносящие, не кружащие сердце письма, — но они мне отрада, после 3-недельного молчания, после 31.III — где все — раздражение. Оставлю.

Я рад, что ты рисуешь, до счастья рад. Уйди в с в о ю работу. А вот, опять, беганье за телятами, до... — «каблук сломала»! Что это?!! Ну, свалишься. Помни: тебе н е л ь з я заболеть простудой: снова может начаться «последствие». Ты ни слова не пишешь о здоровье. Ни-чего не пойму, что с тобой. По-моему, помимо своего рода «гемофилии» (условно!) — крайняя степень неврастении. Ее лечить надо. Окрепнешь — и «почка» не будет шалить. Помни: «antigrippal» необходим! Но как все это не идет к пасхальному! Твое «чувство весны» — знакомо мне: я его пробовал передать кое-где, между прочим в «Истории любовной». Оно — непередаваемо. Только, пожалуй, музыкой можно, или — какая редкость! — картинкой (пейзаж). Но лучше всего (полнее) оно дается само, — в природе... весной, зорями (предсумеречьем конца марта, начала апреля,

у нас). И всегда — без месяца. Для меня. Только-только лопаются почки, — чуть зелено дымится сад, роща... Стихи (даже у гениев) редко сообщают подобное. И потому нельзя быть такой строгой (говорю о стихах Новгород-Северского). Ты очень верно сказала о неудачах переводов с русского. Конечно, «Любовь в Крыму» — это деляга-издатель требовал от переводчицы (я этого не знал!). Еврей — Reclam (!!). Для «универсальной библиотеки»[667]. Голландский перевод[668] — конечно — дрянь, уверен. Я отказался от 4 млн. франков за 2 вещи для экрана. А на днях мне предложили 40000 шведских крон за т о ж е. Отказался, и швед выпучил глаза. (А м. б. и не швед, а называющий себя так.) Думаю, что все из одной кошницы: «Впервые вижу автора, о г о в а р и в а ю щ е г о свои... шедевры!» — «Нет, — сказал я, — автора, охраняющего свои творенья от искажения и непонимания короткодумных. Ваша С. Лагерлёф — и та, кажется не доросла»[669]. Он ушел, убежденный, что — «мало», что «набиваю цену». Ну, и Бог с ним. Помимо главного, конечно — немного! На наши перевести — 18 тыс. золотых рублей, т. е. по 9 тыс. Конечно, немного. Плевать.

Спешу на почту. А то — до 19-го — опоздает письмо!

Целую. Крепко целую. *3* + 100 раз.

Твой Ваня

280

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.IV.43
Великий Понедельник

Да, дорогая Олюша, да, помню — сегодня Великий Понедельник, Страстная Седмица, а вот, нет позыва, и не иду в церковь, и на Благовещенье не был и за всенощной не был, и с вербой не стоял... и, кажется, не буду говеть. С такой п у с т о т о й, что ныне во мне, как же приступать?! ... А м. б. и переломлю себя. Родная моя, Христос Воскресе! — Говорю, а не чувствую легкости, взлетности... радости, с в е т а. Надломился. Не скрою, что во многом тут виной твое душевное и телесное состояние. Твое молчание и уныние, и опустошенность, что передалась мне твоими последними письмами, главная, кажется, причина моего уныния. Я тебя не виню. Но зачем ты пишешь такое постылое (немилое!) письмо, как от 31 марта?! Тут ты все перебрала — и все переиначила. Даже и за шоколад мне приложила. Кчему это — «бисер перед свиньями»? — «лучше отдай 20-летней...» — кчему? Это же — злое. И мною не заслуженное. Я перед тобой не кривил и не кривлю душой. Ни-когда. Да и во-

обще, это мне чуждо. Я искренно сказал, что раз подарил портрет — не могу отнять. И сказал правду — взял для копии. А ты, оказывается, не можешь сделать копии?! Почему? Ты вон и мой больной палец использовала... — хитрю я, отговорка, чтобы не писать! Странно, обидно. Да, дней 10 палец болел. А я должен был все для себя делать, а палец нарывал. Теперь кожа лупится, после кипятка и спиртовых компрессов.

Ну, Господь с тобой. Ты вон 3 недели мне не писала, — что это? Неврастения, да. Болезнь твоя. И не хочешь лечиться. Ну, твое дело. Ты же писала, что все люди и все тебе надоело, все противно. Зачем же говорить, что ты — всегда только — во-имя и — для других, забывая себя. Когда ты болела, как теперь, так понятно, что и люди могут надоесть, опротиветь. Это так естественно — при душевной-нервной раздавленности. И при всем этом — гонка за телятами в бурю!! А вот телята — не «надоели». Ну, хоть рисуй, если есть охота. Я хотел бы получить от тебя хотя бы малюсенький этюдик, на память. Пришлешь?

Ну, милая... я сегодня разбит (гроза сейчас). Весь разваренный... — и не в духе. Свадьба Ивика — 2 мая. Поздравлять молодых будут у меня. Невесту будут на Пасхе крестить (в православие) — она — н и к а к а я. Теперь — познает православие, свободно входит, зная, что такое католичество — сама выбрала. А с 1 сент. Ив уедет на работу в Германию[670], такой закон для французов: он ведь сын француза, родился в Париже.

Милая Ольгуна, еще и еще, и еще — Христос Воскресе! Будь же светлой, гони уныние. Я стараюсь его осилить. Не заботься о моем пропитании: я всегда сыт. Почему ты во всем отказываешь мне, что бы ни попросил?! (не о «вещах», а о... другом). Не работаешь, (а сколько я просил, и для меня!)... да не хочу вспоминать. Только цепляешься и цепляешь, укоряешь. Твое письмо 31.III — образец. Лучше не пиши, чем такие письма. Кончились твои ласковые присылы! Хочешь о т у ч и т ь меня писать тебе? Твой Ваня

281

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.V.43

Мой милый, дорогой Ванюша, так хочется приласкаться к тебе. Послала тебе письмо[671], а вернувшись домой с почты, хотела бы тотчас же начать писать новое... Вчера мы почему-то все себя плохо чувствовали, мама думала, что расхворается, меня «ломало», знобило, у А. опять жар, а он уже был без t°. Оказалось, что у мамы не было жара, слава Богу, а у меня... ве-

чером было 35,8°. Это что же? Сегодня «ожили». Погода стала дивная. Ветер стих. Хоть бы только дождичек прошел! Ванюшечка, так вчера была тобой полна, так нежно любила, что непременно хотела ночью же писать тебе, но вот это недомогание... Легла. Сегодня проснулась с тем же чувством к тебе. Только что попила кофе и оставила все дела, закрылась у себя, чтобы поговорить с тобой. Поминутно отрывают: то то, то другое, звонки и т. д. Как бы хотелось досуга! Понимаешь? Времени нет ни на что.

Ты сказал: «письма твои, хоть и не уносящие, не кружащие сердце, как прежде...» Да, мне так это больно... я просмотрела старые свои письма к тебе, неотправленные, — они у меня в дневнике, хотя я все эти годы личного дневника не веду, — в старом дневнике. Ах, да эти неотправленные письма, конечно, иные... хотя не отправила их я потому, что недостаточно ярко они мою нежность к тебе отражали. Оригиналы должно быть лучше? И вот теперешнее? Отчего это так стало? Но еще больше я страдаю, читая твои ко мне: прежнее — все ласка, любовь, нежность, тревога, — а теперь... вот с того чтения... — раздражение, укоры, пусть и через... любовь. И главное, это отсутствие трепета, эта размеренность: ты обещал писать «через неделю». На самом деле ты пишешь реже. Я очень много от этого страдала. Потому что письма твои давали мне жизнь. Я, как бы постепенно тебя утрачивала. Моя тоска, — она, конечно, в корне от этого. Имей я тебя такого, как это было в 40, 41-ом, я перенесла бы все легче. Все то, что теперь меня повергло в уныние, в черную тоску. Эти приступы тоски у меня всегда. Только я могу вырывать себя от нее для писем к тебе. Но на сердце у меня всегда камень. Мне жутко жить. Это не за себя и не от себя, и не за своих тревоги, а что-то большее. Выразить нельзя. Физически я себя чувствую, вообще говоря, неплохо. Меня чем-то укрепляет доктор, достал с трудом микстуру. Пью. Здоровьем своим я, конечно, занимаюсь, т. к. не могу пасть обузой на других. Это больше всего угнетает. Постоянно я тревожусь за тебя: почему же А[нна] В[асильевна] разобиделась? Ведь тебе нельзя одному за всем! Как ты питаешься? Мне прямо страшно задуматься обо всем этом. Ах, если бы Т[олен] поехал. Сегодня еще спрашивала Фасю по телефону — не едет пока что (я ее уже в 8 утра предупреждала, что с нашим шофером пришлю ей молока и творогу, чтобы вышли на остановку). О своей поездке нечего и думать. Теперь относительно «Девушки с цветами»[672], я слышала, что она мечтала добиться автора, попасть к нему, но ты знаешь, как трудно это, и чего обычно стоит сделаться «звездой экрана»? Грубо выражаясь, надо пройти через постель того, от кого это зависит. Дико

это кажется, м. б. ты и не поверишь, но «Девушка с цветами» оставила старания, узнав о сем достоверно. Ее приятельницы сделали недвусмысленный намек. Конечно, она ужасно огорчена. Во время войны, я думаю, что не так много будет новых фильмов. Кто это, кто тебе предлагал купить «Неупиваемую чашу» и «Пути»? Конечно, дешево, Ванечка. Ужасны эти дельцы. И для какого экрана? Французского? Чего теперь стоят деньги? Если будешь соглашаться, то не на французские же франки. Пусть рассчитываются «нейтральной» валютой, хотя я ничего не знаю, можно ли это по условиям закона. Я думаю, что эти «экранщики» хотят здорово нажиться, именно благодаря низкой валюте. Это твое дело, Ванюша, мне советовать трудно, но, по-моему, всегда эти фильмовщики — жулики. Конечно, эти вещи для родного экрана. Там будут и актрисы. Обо мне ты не думай. Я (без кокетства) стара. И внешне я *не* подойду. Особенно к Дариньке.

Даринька — вся порыв и чувство, сердце... молодость... молитва... весна сама... А я? Куда же! Бывают полосы у меня, когда я вся — рассудок, пытка, пытанье. Я все-таки другая. И думаю, что на внешности это оставляет след. Да, вообще, куда же... Это даже дико подумать: я и... актриса. Если бы в домашнем кругу, для тебя... то это другое дело. Великие-то актрисы и те обжигают крылья, прежде нежели пробьют путь. Никто не возьмет меня. Не забудь, что ты одних героинь выводишь красавицами! А я? Иной раз могу быть уродом. Знаешь, когда мне было лет 8—9, я, помню, спрашивала папу: «отчего это, в один день я красивая, а в другой, такая отвратительная..?» А папа сказал: «когда ты не капризничаешь, то красивая, а в капризе... нехорошая»... Я задумалась и сказала: «нет, это не то...» Помню, что иногда я себе нравилась в зеркале, а иногда до ужаса была противна. И это ребенком... Так и теперь. Очень это изменчиво во мне. А от чего зависит? Не знаю. Не от настроений. Грим мне очень мало помогает. Он дает некоторую грубость, как бы тонко ни был положен. На балах, когда меня уговаривали «подправиться», я выглядела всегда хуже, чувствовала себя плохо, старше. Он меня как бы делает «доступней» и внутренне смущает самое же меня. Я как бы утрачиваю стиль свой и попадаю в чужие перья. Понимаешь. И вообще я теряюсь перед толпой. Боюсь ее. Боялась бы действия. Раньше я играла, я знаю, что гораздо хуже, чем могла бы, чем чувствовала, потому что смущалась. Стеснялась дать чувство, как будто бы боялась выявить себя, выдать, оголить. Не снимала маски, сжатости. Боюсь этого же и в слове. Боюсь развернуться перед публикой, открыться. Или буду писать неизвестной. И прежде всего от своих таиться. Было ли это чувство

у тебя? В живописи это как-то иначе: 1)[i] живопись не всякий судит, многие ее просто не понимают; 2) в живописи никогда нельзя так полно выявить себя, как в слове. Ты прав — Слово обнимает все. Ах, если бы ты был вблизи! Конечно, я писала бы, писала! Каждое твое письмо об искусстве меня взмывает, дает порывы, толчки. Если бы время, Ваня. И если бы... не это чувство перед своими: «занялась глупостью, ведет[ii] время по пустякам...» Я знаю, что в глубине души все так думают, потому я тихонько, украдкой только могу уходить в работу, чтобы быть душой свободной. Мама тоже так думает, мне кажется. Чем-то очень ярким надо мне их уверить, что я что-то могу. Но «не бывает пророков в отечестве своем»[673]. Как это верно!

Ванечка, пиши мне. Пиши, как прежде, не считаясь днями! Ласково, нежно, трепетно... Не кори! Я так жажду тепла. Если бы ты все, все знал! Это не слова! Если бы ты все, все знал! Мне так томительно, так одиноко... Не покидай меня! Или не можешь ты... как прежде?? ... И что, что для этого надо? Еще раз влюбиться? Ну,.. влюбись в Дари и через это чувство полюби и меня вновь... Но люби меня. Не оставляй меня. Хоть 2 строчки, но пиши мне. Не оставляй меня в холоде. Ах, я пишу так, а самой горько, что вымогаю у тебя письма. Нет, вымученных, выпрошенных мне не надо. Помнишь, как ты по 2 в день писал, почта «ползла» для тебя... И для меня, конечно. А теперь? Что же случилось? Или ты увидел, что любил ты созданный тобой же образ, что Оля не то? И... оставил...

Ванечка, как я хочу вернуть то трепетное, то робкое, то все живое сердце! Когда каждая строчка пела, жила, горела. Когда мало было слов. Когда в доступные слова «дорогой» и «Иван Сергеевич» вкладывалось так много, много. И вот теперь доступны все слова и определения... и что же? Ты выбираешь из них те, чтобы меня уколоть, обидеть... Да, и я делала нечто подобное. В ответ тебе! Но никогда не сама по себе. И всегда с болью. Многое не ответила, б о я с ь тебе сделать боль. И сколько бы можно было дать света! Ванечка, вернись прежний! Будь им, милым моим Ваней! Я обнимаю тебя очень нежно, ласково и тихо. И чувствую, что будто нет пространства. Я будто бы тебя вижу... И жду писем... Так жду. Не покидай меня снова. Если ты меня не отторгнешь, то, чувствую, что смогу выбиться из тоски, смогу быть прежней Олей, писать тебе, и вообще жить... Ванюшечка, Ваня, Иванушка-Царевич мой... Не забывай меня, не оставляй долго без писем. Я не могу. Я все та же Оля... Кончаю на почте в Утрехте, т. к. срочно должна быть в городе. Целую тебя

---

[i] В оригинале: во 1).

[ii] Так в оригинале.

нежно и крепко. Обнимаю. Сердцем с тобой, мой родной... Ах, что ты наделал с Елизаветой Семеновной! Зачем ты рассчитался! Это мне... ну как бы шлепка. Как ты этого не чувствуешь! Зачем?! Ну, не браню, не браню, а люблю и целую. Оля

282

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.V.43

Милый Ванюша, только что отправила тебе письма, приехала из Утрехта, хотела и то, и другое, а вот вчера опять заболела. Ну, конечно, опять кровь из почки. И совсем не ко времени. Масса дела и забот. Мама разрывается на части, — Арнольд вот уже 2 недели возится с t-ой в 38,0—39,0°. Доктор не знает что у него. Бывает у нас через день, и вчера, приехав к Ару, опешил, увидев и меня больной. А я уж ему и не звонила, а легла просто. Надоело и совестно все надоедать. Все равно не лечат. Сегодня будто лучше и я даже сама вышла к кофе, чтобы маме не бегать ко мне. Но боюсь, т. к. велено строго лежать не шевелясь. Мама ужасно выглядит. Ходит ли к тебе А[нна] В[асильевна]?

Это же ужасно — возиться самому со всякой мелочью! Как у тебя с питанием? Есть ли время для работы? Когда чтение? Как была свадьба Ива? Напиши. Я много о тебе думаю. Не забывай меня. Мама тебе все старается писать и напишет, но она так задергана. Все-таки я, пожалуй, не буду больше вставать, т. к. не все еще прошло и может повториться история как в ноябре. Опять я им обузой. А никакая неприятность не бывает одна. У нас очень много неприятных забот. Целую. Оля

283

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.V.43

Милый мой Ванюша, от тебя нет и нет опять ни строчки. Что с тобой? Не болен ли ты. На меня столько всего сыплется, что я прямо уже панически боюсь все новых бед. Сама я, так сказать, здорова, — по крайней мере встала и все делаю. На этот раз не разошлось кровоизлияние и почка успокоилась, хотя сегодня ночью были боли где-то в левой спине. Ну, авось, пронесет. А. тоже встал, будто бы тоже лучше. Он очень неосторожен и не любит лежать. У мамы болят тоже разные боли и порой отчаянно. Я не могу быть в постели, когда знаю, что

значит, если один из нас выбывает из строя, да еще уход за больной мной. Тут на 4-х работы не оберешься. И с каждым годом все больше. Новые правила администрации фермы требуют тоже массу времени и забот. Постоянно приходят люди, контролеры, поставщики, скотоводы и т. д. Иногда куска спокойно не съешь. И все время еще «гости». А если я с гостями, то все остальное на маму. Девочкой своей я очень довольна. Если бы вот тебе такую прислугу! Что «Арина Родионовна»? Все-таки было покойней знать, что она у тебя регулярно. Ванюша, не забывай меня... ...Не повергай опять в уныние! Сейчас был доктор и не хочет согласиться с моими наблюдениями и выводами относительно почки. Настаивает на незлокачественной опухоли... и баста. Ну что же... [Нрзб.][i] окрылилась. Не [нрзб.] ухожу в хозяйств[о] [нрзб.] не могу. Нельзя [нрзб.] [ни]чего поручить, да [нрзб.] будет некому... М. б. вообще придется все, все мне одной делать. Мужчины у нас должны все являться[674]. М. б. освободятся сельско-хозяйственные работники. Посмотрим. Но все равно, то, что я делаю, мне и остается. А на маму я не могу взваливать, да и не хочу. И так она чрезмерно на себя берет. Она любит это, но ей не под силу, — устает и хворает.

Крепко целую и жду письма. Оля

284

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.V.43

Ах, Ванечка, как люблю тебя, как по тебе тоскую... И ничего от тебя нет... Как мне больно и досадно, что ты не угадываешь этой моей жажды тебя... и не пишешь. И опять входит в душу мутная тоска. Я не пущу ее... И вчера и сегодня я в таком состоянии, будто вот-вот я увижу тебя. И жизнь кажется чудесной. У меня совсем нет времени, но я пишу в уме. И когда будет минутка, то все занесу в тетрадку. У меня заболела Тилли, вчера послала ее к доктору, а тот велел ей лежать. Боюсь, не ангина ли. Ванечка, как мне хочется твоих ласковых писем. Не оставляй меня надолго одну. Как мне хочется тебя увидеть. Я верю, что это будет. Ванюша, почему ты не пишешь? Неужели болен? Я обмираю при мысли об этом. У меня очень тяжелая сейчас полоса, суетная, тревожная. И масса дела. Я не могу ни на кого взвалить. А мама слишком много помогает. Она кур совсем на себя взяла, и кроликов, и все время вертится в хо-

---

[i] Поверх текста наклеена марка.

зяйстве. При теперешних условиях невозможно хозяйственные заботы сложить на прислугу. А мне так бы хотелось отдохнуть. И просто побыть одной, уйти от повседневности. Я люблю копаться в саду, тогда я одна с мыслями. Когда я смотрю на «Wickenburgh», то мне кажется, будто я место наших с тобой свиданий вижу, так ярко ты жил там со мной, во мне, вокруг меня... У меня всегда сжимается сладко сердце. Под окном моей комнатки вьются ласточки, каждый вечер вижу их. М. б. совьют гнездо? Люблю ласточек. Ванечка, касатик, миленький, не оставляй меня долго одну. Обнимаю тебя и тихонежно... и... всяко... Твоя Оля

285

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.V.43

Дорогой Иван, вчера я не смогла сама отнести письмо[675], — сегодня, не дожидаясь моего возвращения из больницы, мама отправила его с Тилли, видя его готовым в разносной книге (моей и мамы). Хочу черкнуть поэтому в этой открытке, что меня оперировали сегодня. Вынули опухоль из правой груди с грецкий орех маленький, дадут ее на гистологическое исследование и тогда решат, что надо дальше. Если будут нужны операции (груди и под рукой, еще), то придется делать их, лежа в клинике, каждую под общим наркозом. Писать больно и неудобно. Да и не велено. Я спокойна и жду выявления Воли Божией, хотя не скрою, что прийти к этому мне удалось не сразу. Я очень утомлена. Лежу, хотя это не предписано, а велено только на диване покоить себя. Доктор[676] будто бы ничего не знает и сам [в полной][i] неизвестности. [Так] говорит. Но и не [надо его] пытать. Я это [бросила], очень хороший хирург, известный тут и надо уж довериться. Господь вразумит его, если прольет Свою милость на меня. Боль была все-таки, несмотря на анестезию. Ну, будь здоров и Богом храним. Крещу. Оля

286

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.VI.43

Дорогая моя Олюшенька, и твою открытку, от 27.V получил. Гистологическое исследование, конечно, нужно всегда

---

[i] Поверх текста наклеена марка.

в сомнительных случаях опухоли. Милая, держи себя в руках, — пока никаких оснований для неблагоприятных выводов нет. Я вспоминаю: ты как-то, — уже давно, — писала, что больно ушибла грудь?[677] Правда? Я не могу отыскать в письмах, когда это было, но я помню хорошо. Было это? когда? Так вот, это затверденье, не следствие ли острого ушиба? Ты, конечно, понимаешь, как я взволнован, в какой тревоге... — но главное, что меня томит, это мое представление, не оставляющее меня ни на миг: что ты страдаешь душой, что ты, пылкая воображением, томишься мыслями, громоздишь ужасы... — ведь я по себе сужу, мы так похожи! Милка, детка, не надо этого: в с е минет, увидишь, и ты будешь здоровенькая. Ты молодая, все преодолеешь, в с е поправимо, если даже исследование обнаружит, что операция нужна. Ничто не потеряно, это же ведь наружное! Да может быть и нет ничего серьезного. Помни всегда, что с тобой, неотрывно, неизменно, твой Ваня, в е р н ы й, тобою сильный, тобой живущий. Мои недостатки ведомы тебе, ты их сочти за малые соринки, пылинки в нашем светлом н е б е... — ведь, [понятно], чисто и свято нас связывающее друг с другом. Это не случайность, не прихоть мимолетная. Ты свет внесла в мои сумерки, в неизбывную тоску мою, в мою — так мне начинало казаться — ненужность. Солнышко мое, ласточка, залетевшая счастливо в тусклое оконце моей кончавшейся жизни, защебетавшая сладко в моем сердце. Детка моя, Господь с тобой. Сейчас тихо у меня на душе, только чуть понывает сердце — о тебе... Если бы я жил близко! Ты увидала бы, как я всего себя отдал бы уходу за тобой. Я тебе читал бы, говорил тебе, всю твою жизнь наполнил бы, все закрыл бы т в о е, тревожное, тебя укрыл бы ото всего горестного. Ночи и дни проводил бы около моей Олюнки. Ты смотрела бы в мои глаза и видела бы, как тебя любит Ваня. О, как глубоко, как нежно, как чутко. Эти события все ломают, мы — лепет в буре, мы — золотинки света — в грозовом урагане. Но мы ж и в ы, мы — есть, мы есмы. Разделенные, или — в м е с т е. И будем вместе. 2-го VI я узнал о поездке Толена. Утром в четверг (3-го) я получил твой пакет, чудесное масло (ем, счастливый, что это от т е б я, хотя у меня всегда это есть), и три баночки Bisma-Rex. Немедленно, через 1/2 ч. я уже ехал к голландцу, чтобы передать ему для тебя: книгу с «Под горами» (там еще рассказы, которые ты, думаю, не читала), две коробочки pastilles-Vichy, «Душистый горошек», от Guerlain'a, давно-давно ждавший тебя (теперь нельзя у Guerlain ничего купить, не принеся флакона их фирмы!), 2 коробочки Cellucrine'a (это тебе очень нужно, как укрепляющее!), 2 дозы (на 6 месяцев — считая каждую достаточной на 3 месяца) antigrippal'я

(как раз на днях заказал и — представь же! — получил через 1/4 часа после твоего пакета, в тот же четверг 3-го VI, в Вознесенье!, уже на ходу к этому Толену). Он остановился — для меня удобно, — совсем близко, в 20—25 минутах езды и хода (metro), в районе Madlaine и Opéra, в очень центральном месте, у какого-то mr. Holer (Тюлень у... холеры!). Ну, как водится, я не захватил его (это уже в 3-й раз за эти 2 года, он невидимка, этот дубовый тюлень!). Но дама в той же квартире (г-н Холера отправился en voyage![i]), сказав сперва, что не знает, выехал ли голландец из Парижа или все еще здесь — ?! — после некоторых моих пояснений — предупредительно заявила, что сегодня г-н Толен должен зайти сюда, и обещала вручить ему мой пакет, на котором я сделал надписание: A Mr. Tholen, avec la grand priére de vouloir bien remettre cet paquet a M-me O. Bredius-Subbotina. I. Chmeleff[ii]. Письма и «merçi» я ему не оставил: я три раза бывал у него и не заставал (за эти 2 года), благодарил за любезное исполнение поручений, подарил свою книгу... — правда, он все же осилил написать мне из Голландии, — открытку, кажется... — и не подумал ни разу показаться на глаза. Мог бы и заглянуть ко мне. Но он — голландец и потому — нечуткий. Западные люди в с е меряют аршином пользы, и — приятности. Они могут быть очень любезны (натягивают маску), даже до «жертвочки», когда им это — «полезно» или «приятно». Помнится, этих западных очень зло заклеймил Достоевский в «Игроке»[678], — дал их паспорта... (уже не говорю о «Дневнике писателя»). Любопытно, что слепки «западных» у всех наших бо-льших — совершенно тождественны! Нет ошибки: П р а в д а. И наш — гениальный — историко-социолог — 70-х годов! — Данилевский (не исторический романист!), в своей живой и по сей день книге «Россия и Европа», в главе «Почему нас не любит Европа» — дал глубокое объяснение р а з н и ц ы между нами и — западными. Эта «разница» и эта «нелюбовь»[679] — вот они и поныне, и каждый день дает нам много пищи для размышлений, — и много подтверждений. Но бросим этого тюленя, он не стоит чернил: слишком ходячее явление. Я просил ту даму известить меня, чем кончится моя миссия, она любезно обещала написать. Пока не получил известие. Думая, что Толен взял пакет и уехал. Не знаю... Да, еще я приложил два пасхалика: один — с российским орлом, другой, плохой лакировки, — с ландышками. Лучше не смог найти, — все повторение уже посланного тебе.

---

[i] В путешествие *(фр.)*.

[ii] Месье Толену, с большой просьбой согласиться доставить этот пакет М-м О. Бредиус-Субботиной. И. Шмелев *(фр.)*.

А теперь, — поразвлечь тебя, — маленькая историйка.

Меня уплотнили (и как раз в то же Вознесение!), вселили ко мне чету молодоженов! Он — бродячий камерный певец, она — просто болтушка, стрекотунья. И — представь — на следующий же день разрешилась от бремени (!!), без помощи акушерки и даже без боли-криков... снесла яичко. Ну, Олюночка моя, — смеешься? Мне подарили пару канареечек (одна генеральша, моя читательница[680]) — я ей обещал прочесть что-нибудь на ее «чашке чая» в пользу неимущих престарелых (писал тебе). Моя Арина Родионовна — все-то бьет! в мое отсутствие, разби-ла яичко! Стала «устраивать гнездышко» и ухитрилась разбить. Сегодня утром болтушка, сидя на жердочке, что-то тужилась, изгибала хвостик. И я увидал, как она, дура, снесла яичко (2-ое!) прямо (сверху-то!) в купальную чашку. Я вынул его, положил в ватку-гнездышко в уголку клетки. Она что-то [покрикивала] [1 сл. нрзб.], певец налетал на нее, что-то ей внушал, она разевала клювик и огрызалась... и... на моих глазах клюнула яйцо, расколола... — дура! Стала, было, клевать, желточек, но я отнял. Что дальше будет — не знаю. Нет, не поют (он-то), только пикают оба. Молодятник... Если надоедят — сплавлю генеральше. Вот придется ехать сейчас в город, в самый центр, на La Cité, где птичками торгуют, купить корму. Пока точат сухарики, много купаются, особенно она. Я предпочел бы чижика: не serin de Canary[i], а просто — serin[ii]. Тот коноплей сыт. А эти — разборчивы. Ну, погляжу.

Растут у меня лимончики, из скверных зерен, из чая вынул и посадил — авось! Лимонов нет, это мне Елизавета Семеновна давно подарила малюсенький лимон-ублюдок, вот и вышло. Лист от листа лучше — м. б. удастся привить. Твоя бегония — декоративная — кровавые листья (на именины от тебя подарок!) чуть было не пропала, я уже и рукой махнул, бросил поливать, а она вдруг дала побеги. Теперь — живет, 2-ой лист. Я ее пересадил в особую легкую землю и берегу.

Целую, милая детка моя, Олюшенька, Господь да хранит тебя! Будь же умницей, верь — все будет хорошо. Ты будешь здорова, д о л ж н а быть! Глазки целую, больную грудку твою. Крещу. Молюсь. О, родная моя!

Твой всегда Ваня

[На полях:] Олюночка, не оставляй меня без известий о себе. Если тебе трудно, попроси маму.

Я буду ждать каждый день, — родная, не оставляй без вестей.

---

[i] Канарейка *(фр.)*.

[ii] Чиж *(фр.)*.

287

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.VI.43

Вот, дорогая Олюша, чтобы развлечь тебя, посылаю рассказик — «Трапезондский коньяк». В основе — действительный случай, я по-своему только показал, н а п о л н и л. Переписывал для тебя, кой-в-чем выправил[681]. Писал я его в декабре 38 г. Подзаголовок — «рассказ офицера»[i].

Теперь начинается мое «присутствие». И. Ш. Завтра, Олюша, вышлю окончание.

Нежно целую тебя, больнушка, ми-лая... Ты будешь здорова! Твой Ваня

288

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.VI.43

Вот, дорогая моя Олюночка, окончание моего рассказа «Трапезондский коньяк». Да, я 9-го получил от мамы письмо о тебе. Спасибо ей, — я был в большой тоске, не зная о тебе с твоего письма от 27.V. Слава Богу, ничего страшного в твоей болезни нет! Ты спокойно, твердо перенесла операцию, и скоро, даст Господь, будешь здорова. Мама прочтет, конечно, тебе мое письмо к ней[682], от 9-го же июня. А теперь спешу закончить переписку, чтобы ты читала без длительного перерыва[ii].

Ну, вот. Спешу отправить — не опоздать, чтобы ты, детка, получила без перерыва. Жду, жду весточки о твоем здоровье, от мамы, от тебя, родная моя. Молюсь. Спокоен за тебя. Верю-жду, что скоро напишешь. Не знаю, взял ли г. Толен мою посылочку тебе. Я здоров. Весь — в думах о тебе, и хочу писать «Пути» — для тебя.

Целую и крещу. Твой Ваня

Сегодня пятница, сейчас половина 2-го дня, спешу ехать за своей порцией цельного творога (недельной), — мне аккуратно доставляют с фермы. Это мне очень облегчает питание. Лабаз-склад запирают в 3 ч. Спешу, по пути, отправить на почту. Писал с утра — успел!

Твой, твой, всегда — Ваня. Не пиши мне — Иван, хладно это.

---

[i] Далее следует начало рассказа «Трапезондский коньяк».

[ii] Далее следует окончание рассказа «Трапезондский коньяк».

289

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[26.VI.43]

Милый Ванечка,

спасибо тебе за чудный «Трапезондский коньяк». Мне его чтения хватило на все дни, т. к. читать подряд трудно: устаю, голова кружится от строчек. И пишу тебе целый день. Но в общем я чувствую себя хорошо. Doctor сказал, что я 2 месяца еще «пациент» в полном смысле, а боли будут с 1/2 года — 1 год. Ну это ничего. Все муки уже позади (если не вернется опухоль), а были очень тяжелые дни. Понять может только тот, кто пережил сам или у близких. Мои домашние истерзались за это время. Сережа оставался у нас на день моей операции. И тем больше я ценю выдержку мамы, сумевшую тебе написать и не разволновать. Конечно, ты верно тревожился, но не так, как иногда с тобой бывало (что ты меня уже живой не мыслил).

В понедельник вернулся доктор, еще совсем больной. Я вся дрожала, когда он снимал повязки, — ведь я сознательно-то его не видала еще после операции, а только в полунаркозе. Спросить же надо было очень много. Ранами он остался очень доволен. Суетился как-то, перебить будто мои мысли хотел, занимал внимание «протезом», указывая адрес мастерской и т. д. И тогда я его, робея, спросила: «какой же был диагноз гистолога?» Я не хотела больше об этом спрашивать и думать, а тут почему-то спросилось. Он еще раньше мне обещал ответить честно. И сказал, держа меня за обе руки, глядя в глаза: «это был prae carcinoma»[i] и, взяв бумагу, написал это. Он знал, что вилять передо мной было бы бесцельно; недаром же прошли ±10 лет[683]. И недаром и по гистологии у меня «весьма» в аттестате. Не мне рассказывать, что из-за, например, lippum'a[ii] отнимают груди. Он так и сказал, что попробовал перенестись в меня и решил сказать все. Операция удалась ему, и рентген не нужен. Со стороны доктора и всех я видела одну любовь и ласку. Старшая сестра сказала, что так ни к кому они не относились. Во время отсутствия моего хирурга, часто навещали другие врачи, особенно в дни тяжелые (таким, например, было и 9-ое июня) и были тоже очень милы. Когда узнавали, к а к а я была операция, то становились ласковей. И особенно хорошо: — не раздражали глупыми утешениями. И я видела из этого, что они меня понимали. Молодые, по-моему, понима-

---

[i] Первичная раковая опухоль *(лат.)*.
[ii] Здесь: нагноение *(лат.)*.

ли скорее. И не говоря шаблонов «ах, пустяки», старались разумно объяснить, что и в беде еще бывает удача. И это правда! Меня все баловали и отовсюду получала сердечность. И это так было нужно. 9-го я утопала в цветах, не хватало ваз. Сестра воткнула розы в локоны (не дали-таки мне парикмахера, чтобы остричься), но это был такой жуткий день! Хотят дома за это устроить большие именины. Ах, сказать так много, но не могу, не могу писать, так устала. Пиши чаще, если можно, лучше машинкой, легче глазам. Целую. О.

[На полях:] Узнала, что Т[олен], лежавшие у него с давних пор, деньги перевел Елизавете Семеновне. Надеюсь, что получила. Фася опять больна — обычно как у нее. Убита тогда и плачет. Чуточку лучше.

О «Трапезондском коньяке» не в силах пока писать, надо много, а я устаю и трудно.

Прошу еще тебя: никому не говори о моей болезни, — мир так мал — разгласится. А это только мое.

290

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.VII.43

Дорогая моя Олюша, пишу пером — машинка в починке. Эту неделю хворал, был разбит, — после томлений неизвестностью, как прошла операция. С 9-го VI по 24-ое — 1-ое твое письмо[684], — я жил как бы в пустоте... — все для меня как бы закрылось. Теперь я оживаю: ты жива, ты будешь жить, долго жить будешь, д о л ж н а жить! Гони сомнения, тревоги, — крепись верой-надеждой. Ну, грозило тебе — и не сразило! Мало ли что грозит и грозило нам! Минуло, минует. Когда вспомнишь, сколько раз гибель грозила мне! 12-летним, я у т о н у л в омуте, не умея плавать. Уже не помню, как меня вытащили, о т к а ч и в а л и, будто! Так мне рассказывали, а я дивился... — помнил только в о л н ы, и как в ушах шумело водой... Это было в дер. Дюдеково, Звенигородского уезда (там-то и даны «Росстани» — тихая эта деревенька). Гимназистом 7—8 кл., на большом пожаре, где я был не только зрителем, из 2-го этажа выбросили комод с бельем... меня цапнуло углом по плечу (левому), как спичка чиркнула, то-лько... рассекло рукав на куртке, как острейшим ножом... — комод разлетелся в щепки... — ну, на 1 миллиметр больше, что бы было со мной?.. После сего я все же (никак не [отзывался] на «грозившее»), участвовал в тушении. Уже студентом (Оля была на даче у моей матери) я с неделю заменял заболевшего брата по управлению банями, и вот, на

водокачке меня чуть не убило железным ломом-подпоркой на конском кругу, когда я, растерявшись, что подпорка (лошадей в этот час не было), случайно мною задетая, скользнула и дала ход колесам с огромными бадьями, полными водой, — вместо того, чтобы соскочить с «круга», бежал по этому кругу, а меня нагоняли балки, к которым припрягались лошади, я ускорял бег по кругу, а балка нагоняла, — так я — по словам бестолку оравшего водолива сделал кругов пять—шесть — меня в последний миг осенило, я прыгнул с помоста в сторону, и в этот миг конец железного лома-подпоры (он висел «ухом» на балке-припряжке) со свистом мелькнул у моего правого виска, чиркнув по студенческой фуражке, — точно у самого виска, — даже остался след сухого навоза, что налип на кончик 20 фунтового лома-подпоры. В 1920 году, в декабре, меня послали в Ялту на расстрел, — чудо спасло[685]. 8.II 1930 г. — чудо, уцелел от капкана большевистского, готового вот-вот (я его в и д е л!) поймать меня. Всего не пишу, не вспомню. Мало ли ч т о грозило!.. — П р о ш л о. Так и с тобой, даст Господь. Ты должна теперь сама себе помогать крепкой верой, что — п р о ш л о, в с е! Кончилась полоса болезней, страданий, тревог. Да, я все понимаю, сколько вынесено!.. — вот уж именно: «под кем — трещит, а под нами — ломится». Надо перекреститься: Господь поможет, веруй. Не знаю, где ты: ты не поставила в обоих письмах ни числа, ни места: полагаю, что ты писала из клиники, в Амстердаме? Не знаю точно. И не было у тебя моих цветочков. А как я надеялся, что придут к тебе и книжка, и пасхалики, и лекарства, и пастилки, и «душистый горошек»! Ни-че-го! — не взял Толен. Сегодня я заставил себя поехать и взять от г. Holer'а. Мадам сказала, что Т[олен] так и не вернулся! Это 3-го-то июня. Я 3-го получил от него твою посылку (спасибо, дружок!) и через час отвез ему, его не застал, Мадам сказала, что он вернется... М. б. это «отговорка»: не захотел связывать себя, деревяшка. Я очень слаб, страшная усталость, едва пишу. Все разъехались: Ивик, Серов, Елизавета Семеновна, другие... Жарко. Завтра напишу еще. Спешу на почту. Молюсь за тебя. Голубка моя, светлика моя, будь же светлей. Голова тяжелая, спал скверно. Целую, крещу мою родную больнушку, мою Олюшу. Если бы отдохнуть тебе в старом парке, как в 41 году! Твой Ваня. Хоть кратко пиши, не смею утрудить тебя. Ваня

[На полях:] «Трапезондский коньяк» — это тебе для «укрепления» я послал. Уповай, Олюша. Сколько во мне разбилось, а я уповаю: выиграем на «чудесный билет».

Изволь есть, есть... — н а д о! Как твоя прежняя болезнь? Когда вернешься домой?

Олёк, что еще переписать для тебя?

291

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.VII.43

Дорогая моя Олюшенька, я изнемогаю, ожидая известий от тебя, ничего не могу делать, как потерянный. Со 2-го VII нет письма![686] Понимаю, что трудно тебе писать... Чтобы скоротать дни — ложусь рано, встаю поздно, никуда не могу пойти, ни поехать, — не тянет. Эти последние дни больше лежу, слабость какая-то, разбитость. И события нервят, и никаких дум о творчестве в пустой голове, — полное душевное опустошение. А тут еще пристают с разными «воззваниями», да я отмахиваюсь. Из Берлина неопределенные вести о некрасовском дяде В.[687] Говорят, что стойко себя ведет, достойно. Слава Богу. От племянника давно нет вестей. В мае он виделся в Берлине с дядей. — А знаешь, я теперь маленько досадую, что отверг предложения экранщиков, — мог бы, глупый, оговорить постановку на родине, запретить. А теперь, с а м, не хочу возобновлять переговоры. А был бы обеспечен с житейской стороны. Ну, это все пустяк. Главное у меня — ты и ты. Только бы вполне и скорей оправилась, успокоилась, — отдалась бы творчеству, родная детка моя! Как твоя почка, — ты ни слова не написала. Меня тревожит, есть ли в Голландии укрепляющие средства, вроде «селюкрина», «hepatrol'a» и проч. Это тебе необходимо, после операции. Закажи себе всякую физическую работу! — полный покой и хорошее самочувствие. Для последнего попроси у <u>знающего</u> врача действительного средства, дающего «светлое настроение», — это чрезвычайно важно. Олюна, мне так горько, что Толен не взял от тебя для меня даже яичка твоей работы, — а я так ждал-мечтал! Я бы повесил его под лампадку, любовался! Знаю, что — чудесно. И так хочу какой-нибудь картинки твоей работы, твоей души! Милая ненаглядочка моя... страдалочка моя... все сердце мое — к тебе, с тобой. Хоть бы дожить мне до дня, когда увижу тебя, возьму твою руку, загляну в глаза — душу твою увижу, у з н а ю, при-знаю. Я ее чувствую, почти знаю. Как она чудесна! — и это «чудесна» не объясню себе словом, не охватывается словами э т о. — Все стараюсь вспомнить — и не могу, как видел тебя во сне... — кажется мне, что видел... — и не могу вспомнить. О твоей болезни, об операции и ее последствиях я не говорил никому, — доктору только говорил, но он — молчание, всегда. Для него это — обычное. Елизавете Семеновне сказал, что это был — жировик, кажется. И никого, конечно, это не касается, и нечего говорить. Что людям! Это не для — досуга, не для праздности.

Ивик с женой сейчас на отдыхе, где-то в незанятой зоне. С 1 сент. ему, кажется, придется уехать в Германию, как всем его срока. Для меня это горестно.

Уехавшие — все пишут (даже и вблизи Парижа), что много дичи (охота запрещена!), зайцев, куропаток. А Серов видал даже ласку и... крота! Я посоветовал ему — понатужиться и увидать крокодила и Лох-Нэссу. Питаюсь я однообразно, совсем нет свежих овощей, ни салата, — не привозят в Париж, невыгодно. И ягод почти не видал. Юля привезла мне как-то черешен с дачки и черной смородины, для киселя. Без зелени мне тягостно, однообразно и — скудно. Я так привык к салату. Впрочем, есть-то его не с чем, постного масла нет. Обещала мне докторша ко-но-пля-ного! Я его люблю. Зато из Берлина прислала Земмеринг кило с чем-то гречневой крупы. Хорошо — немного чаю есть, а то совсем бы оскудел. Как ты питаешься? Важно, что свежие овощи есть, ешь больше салату, летю, — по-нашему — латук. Богат витаминами. Голубка моя, целую тебя, нежно ласкаю взглядом, крещу. Пиши хоть несколько строк, чаще. Твой Ваня

Устал, тянет — лежать, лежать — и ни о чем (кроме тебя) не думать.

292

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.VII.43

Вот, дорогая Олюша, — начало переписанного — и отчасти выправленного рассказа[688]. Целую тебя, дорогая, именинница моя!

Вот — мои цветы тебе. Ваня[1]

Вот, пока — что успел, из-за моей руки. Твой Ваня

Опечатки выправь. Завтра продолжу.

293

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.VII.43

Дорогая моя Олюша, и все нет письма от тебя! Со 2-го июля. Что с тобой, родная, я в томительной неизвестности, в тревоге. Жду, жду... Хоть бы Сережа две строчки, на маму не смею надеяться, так замоталась она, — писала ты. И где ты — не

---

[1] Далее следует начало повести «Под горами».

знаю, дома ли, в клинике..? Не могу и тебя утруждать, если ты слаба, или душа не лежит писать. Буду терпеть, ждать. Два дня, чтобы разбить окамененье мое, лежал на воздухе, на дачке. И рвался к себе, — м. б. письмо? Нет. 17 я послал тебе начало «Под горами». Вот продолжение...[i]

Вот, дорогая, светик мой Ольгуночка. Еще напишу — закончу садом... Страшусь-недоумеваю, почему нет письма. Слаба, не можешь? Что случилось? 18 дней нет. Мне тяжело. И ты это знаешь. Ты написала бы. Но пусть хоть два слова напишет мама или брат. Понимаю, не до меня им. Или осложнение после операции? Ты должна быть здоровой! Господи, помоги. Твой Ваня

Мысли вянут, ничего не могу делать, думать. В.

[На полях:] Не знаю, что и думать, но я так истомился. Руке легче, но боль чувствуется, скоро устают пальцы.

Целую тебя, свет мой Оля

294

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.VIII.43

Мне тревожно, дорогой Ванюша, думать, что письмо мое вчерашнее[689] тебя огорчит, — потому шлю эту открытку. Писать мне очень неудобно, лежа на спине, потому и пишу открытку. Вчера я было думать начала, что окончилось мое кровоизлияние, но сегодня утром снова прошла темная (как будто старая) кровь и днем еще раз, и вот сейчас чуть-чуть окрашено, вроде мутного чая старого. Как мама сказала «ополоски». М. б. омывается почка, но где же эти залежи? Алой крови не было. Смущает лишь, что нет сгустка, — обычно им-то и кончается. Ну, посмотрим. Вчера целый день хорошо себя чувствовала, а часа в 4 сердце очень устало и душно было. Это тоже бывало, когда закупоривается почка. Сплю хорошо. Уролога нет, но мой хирург просил ему тотчас же сообщить, если будет что-нибудь мне нужно и он готов помочь. Это истинно христианская душа. Но, Ванечка, не волнуйся обо мне: я спокойна и надеюсь на помощь Божью, хотя и недостойна ее. Будь, милый, здоров и тих. Обнимаю. Оля

[На полях:] Во всяком случае, если не совсем кончилось кровоизлияние, то на исходе, т. к. алой крови нет. Пока, конечно.

Не волнуйся!

17.VII — Мне лучше.

---

[i] Далее следует продолжение повести «Под горами».

295

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.VIII.43
1-ая часть рассказа

Милка моя Олюночка, вот тебе «Свет во тьме»[690]. Посылаю, чтобы ты хоть чуточку почувствовала, как я работаю (тут это только чуть дано). Это — 3-ья—4-ая редакция. Я сперва написал 3 1/2 страницы — весь рассказик. Потом развил его (2-ая ред.) (получилось 5 страниц), затем дополнял (3-ья ред.), исправляя о-чень, получилось до 8 страниц. И уже готовую работу — вновь, здесь, — почеркал. В живой беседе я тебе объяснил бы, почему я так правил, вычеркивая даже частичку «бы». И все было бы обосновано. И все — очень важно. Этот рассказ к сердцу не прирос. Но я заставил себя его прочувствовать. Задача очень трудная. Психологически надо было все обосновать, соблюдая сжатость. Так надо было — для легкости издания — инвалидам. Не серчай, что я был строг к тебе за «Ландыши»[691]. Ты слишком для меня нечто, (а не малость), слишком значительна в дарах тебе отпущенных, чтобы легко к тебе относиться. Ты, просто, побаловалась (нервила, м. б.) пиша сказочку[i].

Одновременно посылаю окончание. От тебя вот уже 12 дней — ни словечка. Тревожусь, как ты себя чувствуешь. Написала бы хоть 2 слова! Трудно? Ваня

296

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.VIII.43

Милая Олюша, вот окончание рассказа. Вдумайся в каждую мою поправку — и поймешь, зачем так было надо править. Это очень важно. А на словах я бы прочитал тебе целый курс о том, как надо работать над совсем как бы готовыми вещами. Ваня[ii]

Никогда не считай, написав какой-нибудь очерк, что он готов: всегда зо-рко проверяй, и увидишь, как много несовершенного. Если бы ты знала, как я работал над «Путями Небесными». Да и почти надо всем. Особенно, помню, работал над «Про одну старуху». Вот почему Иван Александрович писал обо

---

[i] Далее следует начало рассказа «Свет во тьме».
[ii] Далее следует окончание рассказа «Свет во тьме».

мне в своих исследованиях: у Ш. нет ни одного слова ненужного[692], лишнего: все обосновано. Мало, если овладел интересной темой, надо ее выполнить, работая над ней: в этом — почти все искусство. Мало гореть и жить темой (предметом), надо его р о д и т ь, облечь в плоть, тогда он будет — жить, п е т ь. — И творить с в о е в душе воспринимающего произведение искусства. Об этом (как это надо делать) — не узнаешь ни в каких руководствах. Это поймешь лишь от истинного мастера. У каждого с в о я манера работать, но есть и общие законы р а б о т ы в искусстве. Я знаю твой характер — темперамент — и говорю: ты мне очень родная, и ты все схватишь. Ты — очень большое дарование! Несомненно. А посему — ра-бо-тай! Игра стоит свечей. Иначе я не добивался бы от тебя. Хотя бы месяц с тобой провести, сколько бы ты (и я) взаимно узнали! — в этой чудесной стихии — в творчестве! Я все, все бы тебе так осязаемо показал! О, моя светлая, нежная моя, голубонька! Хоть бы на миг встретиться с тобой! Ну да хранит тебя Пречистая! Не забывай же писать мне. Не отчуждай меня. Такие п у с т ы е промежутки — всегда урон. Целую. Твой Ваня

[На полях:] 2-ая часть рассказа. 1-ая послана одновременно.

Еще не ответила мне Елизавета Семеновна о деньгах. На днях она возвращается в Париж, узнаю и сообщу тебе. Глазки целую.

Не томи, напиши о здоровье.

297

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.VIII.43

Милый Ванюша, пишу тебе уже «восставшей», — конечно, пока что: ибо за всякий день не поручишься. Так уже приучилась теперь жить. Большое тебе спасибо за «Свет во тьме». Он — как и все твое... но, конечно, снова новый, т. к. и тема совсем новая. Да, все это ужасно трагично. У меня постоянно щемит сердце от всех этих ужасов. Большое, большое спасибо, что прислал этот рассказ, — ведь еще всегда труд переписки. Ах, не надо больше о моих каракулях литературных! — Позавчера вдруг приехал вечером мой хирург; был поблизости и заехал поблагодарить за наше поздравление к его рожденью на днях, ну, и видимо все-таки тревожило, как я, без-Capellen'овская лежу. А у меня как раз такое было минорное настроение, — говорю: «ну, а толк то мне какой, что v. Capellen мировая известность, он же ничуть не интересуется моим случаем. А вот если бы мне знахаря кто назвал, который бы помог, так я бы

с большим удовольствием к нему пошла»... Klinkenbergh сидел-сидел, да и говорит: «Dr. v. Capellen, действительно, мировая известность и редкий специалист, но представьте (это говорю я Вам частно, доверительно, т. к. просто вот мне частным образом хочется помочь Вам во что бы то ни стало) — у него тоже бывали ошибки. Я не люблю перенимать пациентов у коллег, но если хотите, то я исследую Вас, исходя только из того, что 1 голова хороша, а 2 еще лучше...» На его взгляд я показалась ему очень бледной и похудевшей, и он возмущался, что мне никаких препаратов не давали (я сама себе прописала). И вот я не знаю, что мне делать. Опять цистоскоп?! Это же кошмар. И поверю ли я ему абсолютно, в случае расхождения его с v. Capellen? Спросила: «м. б. операция?» — «А это я не знаю». Только эти одни опять проблемы... Я думаю, что не пойду, а то только обиды, если его не послушаюсь. Ну, прости, что все о болях.

Целую. Оля

298

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.VIII.43

Дорогая моя Олюшенька, спасибо тебе, роднушка, за открытку, которую я получил в пятницу[693], 20-го, — сегодня воскресенье. Открытка коротенькая, но в ней для меня — большое: ты так тихо-нежно говоришь мне — успокойся, будь тих... ты тревожилась, что твое письмо от 11-го меня огорчит... Нет, Оля, оно не огорчило меня, а я как-то онемел, горько изумился, что ты так приняла, поняла мое письмо, где я тревожился о тебе, — а потому и горячо принял, — как ты скакнула в Гаагу, еще не оправившись после серьезной операции. Времена-то другие, ты, ведь, не в спальном вагоне ехала, не в покое, а — в риске на все. И тебя давили и мучили сопутники. Вот что вызвало во мне отчаяние. Тут же я писал тебе о твоей сказке, — так совпало, т. к. я не хотел тянуть, ты ждала ответа. Еще раз, сознательно, скажу: ты взяла трудную задачу — стилизация, — и неблагодарную, и, должен сказать, ты изумительно все же справилась, т. е. ты показала, как берешь чувством, как владеешь словом и образом. Талант твой и тут бесспорен для меня, — и я говорю тебе не в утешение, язык бы не повернулся в таком лгать. И отлично это, что ты задала себе работу, это вырабатывает приемы, это и учит... Голубка, я же не раз писал тебе, как Флобер де-сять лет гонял Мопассана[694], своего, кажется крестника или, как бы приемного сына...[695] — уверен, что его и «хорошие» работы — для

другого, не для требовательнейшего Флобера и не для исключительного талантища Мопассана! — работы летели под «вычерк»-«крест» учителя. И вот, пришло время, и Мопассан принес ему «Пышку» — «По буйи»[696] кажется, в оригинале. Флобер расцеловал «ученика» и сказал — «теперь иди, сам ты — можешь». Что было — все это гонянье? Вы-учка, всяческая, вы-ра-ботка... и техники, и «зерна», и — гармонии содержащего и содержимого. Для меня такая твоя работа, получи я ее от неизвестного... — явилась бы верным показателем, что это писал одаренный, полный больших возможностей. И я сказал бы ему это, но не посоветовал бы печатать, хотя это безусловно куда выше многого печатаемого. Но это и не твой путь? — стилизация, — ибо ты вся — своя, ты вся правдива, ты — проста, — говорю о «простоте» в пушкинском смысле, — ты должна быть свободна... легко дышать в писаньи, тогда ты найдешь себя, как уже не раз доказывала это, — «Айюшка», историйка «наседки-Оли», — удивительная! я ее все и всю помню! до мелочей, до того заломчика в печурке, куда ты положила яичко — ку-рочка ты моя глупенькая! — когда пошла с бабушкой, что ли, в баньку в субботу... да, так вот — не твой это путь — стилизация — да и ничей он, ибо это всегда условность и как бы ремесло невысокого калибра, — почему я и не выношу гг. «стилизаторов», «поддельщиков»... — как бы выкрутасно-поэтично ни было изделие! — стилизация связывает душу, не дает воли, простора чувству, и, главное, мешает проявляться простоте и непосредственности... — а эти два необходимые свойства творящего — под «непосредственностью» я разумею, — главным образом, — искренность чувства. В стилизации ты можешь писать как бы и искренно, но это натуга, это не «легкое дыхание»...[697] Ну, ты все понимаешь, что я хочу сказать. — Так вот, спасибо тебе за открытку. Она пришла как раз в тот день, когда я начал вплотную работать. Я окончательно выбрал — сначала закончить «Лето Господне». Пересилил свой «страх», как тяжела будет работа, душевно тяжела, — ведь такое горестное и остро-больное содержание должно быть этих последних очерков, — болезнь, кончина отца, похороны, поминки, — итог моего «Лета Господня». Надо же завершить, оставить русским читателям цельное произведение... — ведь эти мои две книги («Лето Господне» и «Богомолье») — я вовсе не обольщаюсь! — стали своими для многих-многих... — и все больше я узнаю об этом. Если Бог даст закончить «Лето Господне» — тогда только я вплотную перейду к «Путям». И знаешь, 19-го я начал... — а в душе-то да-вно томился, и там отстаивалось и как-то собиралось все... — и написал в тот день — 2 страницы, начерно. 20-го

я почеркал, и начал снова... написал всего 7 страниц, с прежними-то двумя, исправленными, и уже «начисто» работал... вчера я продолжал начисто... — так легко выливалось! — написал 7 страниц, и в конце 14-ой поставил дату... и закончил рассказ — называется «Святая радость». Сперва-то я озаглавил — «Серебряный сундучок»... и в конце увидал, что до «сундучка»-то ох, как далеко... «Серебряный сундучок»[698] — это — ковчежец с мощами Целителя Пантелеймона. Столько оказалось матерьялу, что еще до «сундучка» будет рассказ[699] — заглавия еще не знаю... — будет — обливание холодной водой в банях... — лечение!? — и вот «Святая радость»-то и заканчивается, как мы трое, отец, Горкин и я — подъехали к баням... в конце мая, чудесный день, все для отца — новое... — как бы выздоровление!.. — это от нервного подъема, конечно, только... — все обосновано и — про-сто! Я чувствую, что не изменю ничего. Столько откуда-то вывалилось... — и столько детского! Думаю, что ты осталась бы довольна. Огромный — для размеров очерков «Лета Господня» — получился рассказ, обычно эти «главки» занимали самое большее — 10—12 таких страниц. Вижу, что, помимо пугливого хотенья-воли моих, приходится давать болезнь отца очень медленно разворачивающейся, как это и было... — опасения, надежды, опасения, улучшение, ухудшение... — и все нужно... — ибо во всем этом проявляются души окружающих... и нарастает-грозится неизбежное... — и отец так хочет жить. Конечно, я не могу же помнить всего, мне тогда, это был 84 год, — было около 7 лет[700]. Знаешь, в этом рассказе я дал, как отец, почувствовав «подъем» — веру, что выздоровеет, — когда уводили со двора разбившую его «Стальную»[701], — рассказ «Радуница»! есть у тебя? — обещается сейчас же... пе-шком к Преподобному, как «вы ходили»... не на «Кавказке»... вспоминает «землянику», как мазал мне щечки...[702] пешком! «как божий[i] народ идет»... — вот тут картина — как он велит собирать его — едет в бани — обливаться... хочет надеть все новое... — в Заутреню в чем был! — сбрасывает надоевший за 3 недели халат... и его головокружения прошли, вдруг... — нервный-то подъем! — и все рады, а «главный участник» что разделывает... вот это нарастание радости у всех и дано... — и дотого, что радуются, будто, и все вещи... — тут дана песенка Гришки, когда он начищает штиблеты отцу, как щетка сапожная поет... — «дъ-я-чесу-чесу-чесу... еще шкалик поднесу...» — навязавшаяся на язычок мальчишке, язык сам выплясывает... масса мелочей, но все они как-то сами влились... — словом, легко

---

[i] Так в оригинале.

писалось. Теперь я, так сказать, на ходу... пишу с передышками, — все, будто, готово, есть. Эта все и всех озарившая радость — надежда... и оттого резче будет — реакция! Но как это выйдет — не знаю, лишь чую... Так продуктивно да-вно не писалось... — «скипело», стало быть. Ждало долго... — дождалось. Так, когда-то, я писал «Человека из ресторана»... — я его дал, кажется, за 2—3 месяца! Вылился... — это было в 910 г., в день смерти Толстого, в ноябре, вечером[703], когда узнал я о кончине, я кончал переписку романа... и в тот же вечер, — была ночь, около 12 ч. поставил последнюю точку.

А сейчас я отрываюсь от письма, чтобы глядеть, как готовится мой «лапшенник», — сам стряпаю! — с миндалем и грушами, — отказался от зовов на воздух — в Версай — масса белых грибов! — и к Юле. Нет, друзья мои, хоть сто корзин грибов сулите... — а я очень люблю набирать! — раз я взялся за работу... — ка-пут! ау-у!.. Я, слава Богу, здоров, охотно ем, — только — как всегда в периоды работы — сплю тревожно... Сегодня — сейчас 4-й час кажется начну «баню»... — «перекипает»! — и надеюсь завтра-послезавтра кончить. И вот тогда — «серебряный сундучок»... знахари... советы... гости, гости... хаос в доме... предчувствия, сны, все цветы у нас зацвели в комнатах! — близится... А дальше — у меня голова кружится... — кажется, очерков пять—шесть будет...[704] очень много всего... — Возьмет месяц—полтора, если не изменят силы — нервные! — Но спешить и форсировать не стану, а так, сдерживая «фонтаны». Ах, родная, если бы ты была тут...! Я покоен, тебе лучше, все пройдет, только не мечись, вылежись... про-шу!!! И еще: душа твоя поищет и найдет, что писать. Почему-то мне лезет в глаза — «жизнь фермы». Но, Олюночка, у тебя горы пережитого, — уйди в родное, давай свое... — как ты хотела... не бойся и не задумывайся, как выйдет... а будто мне рассказываешь, пишешь... только мне! — и увидишь — как пойдет. Обо всем, душа подскажет... как ты ездила гостить... помнишь, писала? И все вольется в нужную отливку... — не бойся размеров, подробностей, всегда можно сжать. Целую. Глазки, губки, всю тебя, голубонька! Твой Ванёк

[На полях:] Если будет время, перепишу для тебя «Святую радость». Не обещаю.

Я слишком изныл — «изболтался» — надо теперь оправдать бытие свое. И до грибков дойдет. Пиши мне, и не надумывай, если у меня будут перерывы... — работаю.

Все-таки, я не так уж «болтался»: написаны «Именины», «Рождество в Москве» (м. б. пришлю к Рождеству — Ольке), — «Свет во тьме», «Святая радость» и кое-что в «Путях Небесных»

и много — в думах было, варилось. Много читал, и сколько писал тебе. Мои письма тебе составят 3—4 книги! бо-о-льше!..

Потому буду писать с п о л н а, что надо же дать, как болеют и умирают русские люди, и как и что делает жизнь-уклад — как бы симфонию отхода и отпуска. «Ну, увидим...» — как любишь говорить ты, детка.

299

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.VIII.43

Дорогая Ольгуночка, сегодня утром я закончил новую главу «Лета Господня» — «Живая вода» — здесь даны бани, народ, встреча бабки, картина окатывания студеной водой, подъём, общее радование, планы лета, — «если Бог даст», — возвращение домой, май, воздух садов, берез, воля... — и накрытый к обеду стол — «ботвинью-то не забыли?» — словом, р а д о с т ь, которая скоро сменится... Своего рода, «шутки жизни», как это часто случается. Теперь мне предстоит давать нарастание горя... Но все это в руках, и я м. б. сегодня начну «Серебряный сундучок». Кроме него должно быть еще очерка 4—5. За август написано 3 рассказа, 7+14+12 страниц. Целую. Жду письма о здоровье. Голубка, я пишу охотно. Твой Ваня

Если ничего не помешает, закончу «Лето Господне» к именинам. А там — «Пути».

300

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.IX.43

Ванечка, я опять больна почкой, вчера слегла. Вот в течение 4 недель 2 раза. Ну, будет. Принимаю лекарства нового доктора, но ничуть не верю, но довольно! —

Сейчас стоят дивные дни, как меня тянет на воздух! Ночи темные-темные, а утро все в тумане, рамы запотевают по-осеннему. Люблю, когда начинает подниматься солнце — этот розово-золотой туман. Это только в сентябре. У меня с прошлого года есть акварели таких утр. Но, вообще-то, я это брошу, поздно и невозможно учиться... Почему никто не поддержал меня тогда, в 1920 г.? Никто не ободрил. Согласились с сожжением всяких кораблей... А я так робка и так скромна [в] оценке себя. Вот пример: в школе набиралась театральная группа, и в условиях стояло: «без физических недостатков»... А я, прочитав это,

огорчилась очень, т. к. считала, что я урод, причем искренне. Я уклонялась очень долго от всяких собраний молодежи: спорта, игр и т. п., — считала себя хуже всех. И в искусстве... могла ли я сама решиться в голодные годы учиться в Художественной школе, когда каждый старался урвать кусок хлеба. Тогда я считала такое ученье роскошью. Меня вообще никто никогда и ни в чем не поощрял. Кроме вот одного проф. Бенькова[705], накануне его отъезда в U.S.A., да и то как же слабо. Мне горько это и больно. Не надо было мне снова ворошить пепел. Ну, жила же я, позабыв все. Не усмотри ты только обвинения себя. Ты-то меня очень окрылял. Но когда?! Все поздно. Я это по себе знаю. Да, м. б. у меня и нет способностей художника кисти. Почему я никогда не пробовала писать? Скажу тебе совершенно честно: потому что писатель — это вершина для меня недосягаемая. Я и пробовала, писала и в слезах стыда уничтожала. Я даже шепотом сама над собой ругалась и днями себя презирала. Это ужасное чувство. А в детстве, говорят, была смелая и уверенная. Кто и когда меня застукал? Институт?? И теперь мне не расправить крыльев. Когда меня обижают, то я не из-за лишней чувствительности сжимаюсь, но оттого, что это вырывает у меня последнюю веру в себя. Я защищаюсь только из желания себя кое-как убедить хоть в minimal'ной своей роли на земле, но когда я одна, то я верю только и абсолютно обидчику и живу потом этим зарядом. Часто у меня не бывает сознания своего, уделенного мне Богом, места на земле[i]. Мои болезни учат меня смирению. И если так, а не иначе меня поставили в жизнь, то значит так и надо. Только обидно, как иной раз тут над идиотом бьются, стараясь угадать его «наклонности» и «способности», а вот у меня прошла вся жизнь ни во что. Конечно, вся наша тяжелая жизнь тому была причиной. Но как же коротка жизнь! —

Ну, Ванюша, кончаю. Мне грустно. Писать трудно на спине лежа. Будь здоров — это все, главное самое. Как ты живешь?

---

[i] Далее зачеркнуто: Как немногие, очень немногие угадали таки простой и такой естественный подход ко мне — ребенку. И сколько я страдала. Тебя удивило яичко Оли-клушки? А сколько бывало подобного. С меня 9-тилетней спрашивали так, как будто я 20 лет. Если взять здешних детей, — Господи, да они в 15 лет все еще бэбэшки. Это горе с яичком, оно меня на долгие годы раздавило, а за что озлился дядя? И он не злой. Потом мы с ним дружили. А как попало мне за побег мой ночью... Конечно, это нельзя поощрять, но неужели никому не пришло в голову, подумать о том, что меня побудило к бегству ночью в совсем чужом городе. Часто удивляюсь. И вот из такого складывается человек с тяжелыми и мучающими свойствами. Ах, как много иногда на душе. Но я так много должна страдать, учиться терпеть, что я не смею об этом говорить.

Пишешь? Помогает ли Анна Васильевна? Что Ивик и его жена? Вчера я так обидно заболела: был один гость*, накрыли стол обедать, а я пошла переодеться к столу. И еще до обеда скорее «забежала» и... кровь. Ну, «извините, я больна, должна лечь». Обнимаю. Оля

[На полях:] 6.IX.43 Не волнуйся: пока остановилась кровь. Лежу тихо. Грустно мне. Не обращай внимания на жалобы письма сего, — не надо так. Ко мне все так добры в болезни, а я ведь какой балласт всем им. Я много любви видела и не смею жаловаться.

Христос с тобой! Будь благостен и тих, и здоров. Оля

P. S. Мне поставили осенних цветов, да — они «милей роскошных первенцев полей»[706].

Мои обвинения не родителям. Не пойми их так. О. 6.IX.43

301

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.IX.43

Милый Ванечка! На твое письмо от 10.IX[707] не удосужилась ответить в тот же день, хоть и рвалась писать, мучимая беспокойством о твоей бесквартирности, (письмо шло 3 дня, было не процензурировано), — а теперь вот снова лежу. Опять кровь. Но немного. Не хочу больше распространяться, но скажу лишь, что у меня появилось какое-то ясновидение: вчера (да и всякий раз так) говорю маме: «м. б. сегодня, а то завтра буду опять болеть». Мама заметила, что это пессимизм мой, припадки коего бывали и раньше. Но это вовсе не было н а с т р о е н и е, а какая-то внутренная уверенность и подготовленность. Сегодня, когда я позвала утром: «мама, опять кровь» — то она даже не удивилась, — настолько «поверила» моему предчувствию сама-то! А вчера вечером я мысленно тебе писала... и все хотела сказать, до какой степени мне за тобой не угнаться. И как ты живо воспринимаешь жизнь. А я, особенно после операции, как-то настороже, — что ли. Всего остерегаюсь. Радоваться-то и то боюсь. Это не зашибленность. Но чудится мне где-то внутри, — не путь ли это тот, который следует каждому в конце концов найти и к которому не придешь так просто, а вот через страдания может быть. И я не знаю, не явится ли мое жизненное барахтание [переньем] против рожна. Под жизненным барахтаньем разумею отрешение от этого внутри меня создавшегося отчуждения от многого и при по-

---

* не думай, не утомилась. Я вообще в этот раз береглась.

мощи воли и фантазии пытаться приблизиться к чаше жизни. Не сочти это за минорные мысли, за фразы. Это все совсем не то. И так для меня важно, что я лучше не стану об этом говорить, чтобы не сердить слушающих. Конечно, ты тоже прав: жизнь живет, и слизняк не спрашивает себя, зачем он обнимает «прекрасную»... но это все в безотчетном. А когда приходит какое-то время (м. б. для каждого) известного отчета, то вот тогда-то и хочется сказать, что все, решительно все суета сует. Да, никто м. б. так не брал всего от жизни как Соломон, и в итоге та же убежденность. Это легко поймешь, когда живешь вот еще сравнительно молодая и годами, собственно, не смеешь жить. Ибо каждый шаг мне вреден, или по мнению докторов, м. б. вреден. Я забыла, как это можно делать планы на гости, поездки, есть, пить все, бегать, ездить, танцевать, работать, быть услужливой: поднять платок пожилой даме и т. д. Все это мне нельзя. Годами нельзя. Я вижу котенка: трется об ноги, гнет спинку и просится на руки. Я хочу его взять, я — порыв нежности к нему — но не смею. Запрещено наклоняться. Меня второй год манит Wickenburgh, — идти не могу. И наконец, молиться не можешь, как хочешь, — бездумно броситься на колени... Нет, нельзя. И живешь. И это больно все, но все мелочь. Теперь мне тоже все это и многое суета сует. Я многого не могу писать, т. к. моя страстность во многом была бы сфантазированной: мои переживанья, чувства, которые прежде я бы ярко описала, теперь кажутся лишними. И я бы могла писать только в одном направлении. Но, как и когда? Я ведь почти что калека — не могу долго сидеть, т. к. отчаянно болит рука, грудь, спина. Хуже всего спина. Я не могла бы высидеть званый обед, т. к. должна обязательно облокотиться, и иногда ухожу из-за стола нашего короткого обеда не в силах терпеть боли. А когда лежу, то поднимаются боли в грудной клетке. Я знаю, что надо бы мускулы спины расправить, закинуть руку за голову, протянуть ее в бок, но это все, увы, навсегда невозможно. И, по-моему, со временем не улучшается, а делается все хуже, если сама рана даже и утихает понемногу. Ну, довольно.

Если увидишь Вигена Н[арсесяна], то кланяйся ему от всех нас и скажи, что его чудесное письмо[708] мы жадно прочли, вернее выдержки из него прочел нам брат, скажи, что мы всей душой с ним и тотчас же ему написали письма, но их вернули, т. к. почтовое сообщение было снова прекращено. Не знаю, как бы его достать, т. к. у всех нас, не говоря о брате, большое желание быть с ним в общении. От моего посажёного отца я не имею сведений больше 2-х лет. Откуда он знает о твоих «мнениях и построениях» — не могу себе вообразить. Но ты

ведь ему сам, кажется, писал не так давно? По крайней мере, помню, как ты мне писал: «вот пожалуюсь на тебя...» и т. д. Я о них абсолютно ничего не знаю. О Марининой свадьбе Вигеша сам писал. Конечно, верно ему больно. Но Марина этим браком, этим ее «избранником» выявила только себя и показала еще ярче, что не Вигену об сем сожалеть надо.

Ее избранника мы очень хорошо знаем. Лучше, что теперь разошлась с В[игеном] Н[арсесяном], чем сделали бы такую ошибку. За 9 лет их женихания могла она ведь хорошо рассмотреть Вигена. Да, он вихраст и мал, и неказист... на вид... а какое сердце, какая душа. И какой идеалист! Его же за его идеи собственная семья чуть ли не проклинали... Ну, да всего не рассказать в письме. Ну, а супруг Маринин... так... трава... растет себе у заборчика, в лучшем случае никому не мешает. Горько, я думаю, Вигену не столько то, что не получил ее, сколько разочарование в той, в которой видел столько идеалов. Он так и пишет в этом роде, что непостижимо, куда у нее все делось. Я мало знала их. Встречались больше по делам И. А., на которого они с Алешей молились, складывая лапки и много об этой любви и близости (?) говорили. А теперь, — И. А. уже 2 года тому, писал:[709] «чуется мне, что М[арина] дрейфит». Не знаю ничего точно. Духовно ее «натаскивали» И. А. и Виген. А без них *она в объятиях Дерюгина. Убила бобра!!*

Ну, Бог с ними. Они еще лучше многих были в колонии, по крайности в церковь ходили хоть. Но неважно все это. Меня волнует, как будешь ты. Это очень скверно, что квартира не в порядке. И чем дальше идет время, чем отдаленней становится непосредственный порыв благодарности за спасение твое, — тем мучительнее представляется мне твоя «бездомность». Я очень хорошо понимаю, что каково это «ютиться и тулиться». А если отремонтируют твой уголок, то тоже какое изводящее зрелище! И эти стуки по уборке камней! Безотрадный пустырь представляю себе... тускло на душе... взглянешь на дома напротив, а там... дыра... Кошмар. Конечно, если отмести все, как суетное, то и уют, и лишение его — едино. Я ощущаю, конечно, красоту и уродство, уют и мрак опустошения, но я больше не болею этим, как прежде. Я чувствую, как ты гораздо больше меня привязан любовью к жизни. Это легче и м. б. лучше, а м. б. и нет, — если все равно необходимо пройти и через мое сознание. А меня ничто не манит. Знаешь, через это длительное: то нельзя и другое нельзя, я воспитала в себе эту безучастность к лишениям, а то ведь было бы невыносимо жить. Единственное мое горячее желание сейчас — это быть здоровой и хоть ненадолго побыть без боли от операции. Какое это было дивное время, когда я все могла. Ванечка, ты не думай,

что я жалоблюсь, — я просто тебе о себе рассказываю, — какая я стала. И вот о «медоносной»... ты там писал письмо к прежней твоей Ольгуне, а теперь то она другая. Какая там медоносная! М. б. Пустошкин и... . .тыш.., — этак его еще И. А. назвал давно когда-то, но ко мне-то его ничто не влечет.

Знаешь, он при всех своих недостатках, в данный момент вызывает сострадание и вот за то, что я его ему выразила письмом, он и оттаял чуть-чуть. Он Сереже писал: «доброта Ваша и Вашей сестры дают уверенность в том, что есть еще прекрасные люди, способные на сострадание»[710].

Они там все крест около Вали несут непосильный. Все, зная правду, таятся друг от друга. Это его «отдохнуть» относится именно больше к желанию просто в з д о х н у т ь свободно, хоть бы и выплакаться, ибо там-то он комедию перед матушкой ломает. Ну, а «дома» у него... одна ломака-Наташка[711] чего стоит. Ведь радуется гадина, что Валя умирает, думает, пришпилить теперь мужа на булавку. Я не знаю, что у них теперь там. Не могу, малодушествую, не хватает сил узнать. Ах, Ваня, Ваня, не все ли равно, что лучше: в муках месяцами уходить или от бомбы в миг? И то, и другое — уход из суетного в вечность. И то, и другое, какое бы благостное или смрадное — итог всяческой суеты. И никакое величие, богатство, слава, никакое самое страстное желание жить не в силах предотвратить сего итога. А время сотрет всяческий след даже нашего пути. Кто бы мы ни были. Сравниться редкий может с великими, как Александр Македонский, Петр Великий, возьмем Рафаэля, других служителей искусства... и часто ли вспоминают их? Они вписаны, и потому их изредка вспоминают... Но кто говорит сейчас о Данте? О Вергилии? И что, как не суета все то, чем они тоже жили, как бы ни высоки были их устремления и задачи?! Самое трудное это вычеркнуть свои я, забыть самолюбие. И потому, верно, в монастырях самый первый подвиг — послушание. Это самое трудное. Можно от всего довольно легко отказаться, но этот червяк самый живучий. И я думаю в моем представлении, что в будущей жизни именно от этого много зависеть будет, как мы себя будем чувствовать. Человек сам источник своей муки и блаженства в большей мере, а червяк себялюбия не дает нам покоя больше всего в жизни. И как же трудно его задавить.

Ну, достаточно расфилософствовалась. Ух, какое длинное слово. Устала, лежа писать. А как Ивик и его Лючик? Ты мне давно о них не писал. Тоже, верно, на даче? «После ливня» — чудные духи, — мои любимые... но почему ты их не знаешь? У Лючика ты бы «познакомился»!.. Разве она их не открыла? Как я тогда «поревновала»... а глупо. Теперь бы не стала. Нельзя серчать на радость другого. Если бы ты захотел, — я бы ей

и другие духи отдала легко... Все это ведь так не главно. Жаль мне, что ветчина не дошла. Фася ее отдала вместе с другими вещами Арнольду в самый «подходящий» момент — когда тот ждал телефона из больницы об исходе операции (т. к. Фася живет в 5 минутах от клиники). Тот нервничал, а она занимала рассказами, как и почему ее Yo не мог взять посылки. Мама моя после этого о Фасе даже мнение изменила, — подобная нечуткость. Арнольд не понимал сперва: что такое ветчина, какая? А она свое: возьмите, а то испортится, пожалуй. Дура, она год может висеть, копченая же! Теперь с деньгами. Я зла. Конечно, не получила Елизавета Семеновна и теперь? Ну, Ванечка, кончаю. Будь здоров и Богом храним.

Благословляю. Оля

302

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9/22.IX.43
Бабушкины именины[712].

Милый Ванечка!

Думаю, что это письмо подойдет к твоему Дню рождения, а потому и пишу его в таком поздравительном духе. Дай Бог тебе в новолетие это здоровья, покоя и спорой, легкой работы! Да благословит тебя Господь своей милостью! Как мне радостно было читать, что ты в полосе творческой, что так радостно и легко творишь. Лишне говорить тебе, как хотелось бы мне прочесть эти твои последние вещи, но я никаким намеком даже не ханжу здесь, не подумай, что выпрашиваю у тебя копии. Я понимаю, как это тебе трудно, а в период твоего захвата работой, — не утомляйся ничем посторонним, пиши только то, чего требует работа. И мне! Я рада за тебя, что ты на даче. А там, Бог даст, и квартиру починят. Но у меня ноет сердце о тебе, когда представлю, что ты будешь снова досягаем для бомб. Я читала, что налет был снова на те же места, что и 3-го. Ванечка, м. б. тебе возможно дольше остаться у Юли? Я боюсь за Париж. Меня интуиция редко обманывает. Я боюсь и за Францию... Мне страшно о тебе подумать в связи вот с такими налетами и т. п.

Конечно, никто не гарантирован. Мы все тоже. Да и вообще, что знает человек о жизни своей? Вчера я получила твои письма: заказное от 16-го[713] сентября и открытку простую от 26 авг.!!

Спасибо тебе за них. Ты опять меня возносишь в письме, — но я не стою. Я очень обычна. И никакого «букета». А дядя-

доктор (хирург) пожалел несчастного куренка, как он многих жалеет. У него дивное сердце. За него то его все и знают и любят, помимо его таланта, стоящего на черте гениальности. А совсем он мной не «залюбовался». Пожалел. Да ведь и правда, — сколько на меня всего валится. Мне бы не хотелось тебе в этом письме жаловаться, но если писать о здоровье, то придется. Грудь и рука, и бок болят ужасно, все время ноюще и [зноздяще], а временами на фоне этого нытья вспыхивает острая боль — будто кто раскаленным кинжалом ковыряет. А то чудится, что вся кожа там содрана. До сих пор, если я мою лицо, чешу голову, трогаю ухо, — бежит ток по всей правой половине, — мурашки с болью. Вся верхняя рука, ребра, плечо и шея не дают коснуться — омерзительное чувство: одеревенение с болью. Потому тяжело ходить одетой в платья, касающиеся материей тела. Особенно теплые платья. Мучительно мыться в ванне. Сперва как будто приятно от тепла, но потом... вся кожа будто содрана... на долгие дни. Шов длиной в 25 см идет над грудью, подмышкой и выходит на спину. Иногда болят несуществующие уже части. До сих пор больно губы и подбородок, и только совсем недавно прошла легкая парализованность нижней губы (я не могла, например, плюнуть воду при чищении зубов и не могла вытянуть рот «трубочкой», — утрированный поцелуй). Теперь это в порядке.

Писать письмо не могу сидя, но только в постели, когда лопаткой прижимаюсь к подушке. Мускулы и те места, где были мускулы, — так наболели, что если даже к подушке прижаться посильней, то больно, будто меня били.

Холод наступил. А я возлагала столько надежд на поправку летом. Все его я прохирела. Не видала лета. Немного встаю, но все время под страхом почки. И так колесо: для руки хорошо двигаться, для общего духа (после такой операции) тоже надо бы, как советует хирург. «Играть в теннис, спорт всех видов, — это вас укрепит и рассеет...» А почка приковывает меня. Ах, Ваня, не мани, — ферма и жизнь ее, как и вообще все мной оставлено, — пойми ты, что я живу точно так, как в богадельнях 90-летние бабушки. Я лежу до 10—11 ч. утра, потом тихо-тихо одеваюсь, — туфли и чулки мне должен кто-нибудь одеть — нельзя нагибаться. Мыться хорошо, со вкусом, нельзя, слишком много движений. Гимнастики ни-ни!! С большим трудом я вожусь с волосами и с Божьей помощью к полудню вылуплюсь. Посижу в кресле. Читаю. Кто-нибудь придет. В 1 ч. обед. После обеда до 4-х обязана лежать или спать. Чай. Ну до 7-ми почитаю, м. б. если нет дождя обойду дом, погляжу на свинушек, кур, кто-нибудь из соседей появится, спугнет меня (не люблю сочувствий), уйду улиткой. В 7 ч. ужин и в 8—9 я так устану (отчего?),

что сама валюсь в постель. Я не хочу видеть жизни фермы, всего того, где я была когда-то и сама. Мне больно. Я, сцепив зубы, (на радости [бытия]), говорю себе иное, то, что единственно может нас примирить с несчастьем. Но я человек, и мне все-таки еще трудно бередить себя. Вчера пришло извещение от нового доктора (полу-знахаря), что ввиду сохранения своей работоспособности он вынужден сократить количество приемов за день, а потому пациенты, назначенные им дни для следующего приема, должны считать аннулированными. Он сам сообщит, когда явится. Я была назначена на 11 окт. К нему действительно стекаются отовсюду. Будто бы чудеса делает.

Он медик, врач по образованию, но наряду с аллопатией применяет и гомеопатические средства и разные другие разности, вроде натирания маслом и т. п. Мне он дал малюсенькие крупинки: по 5 шт. 2 раза в... неделю!!!!

Я не гомеопатка и смотрю на это как на детские игрушки. Принимаю, чтобы хоть сколько-нибудь утешить тех, которые этому верят и страдают за меня. Хорошо, что хоть не вредят их средства. Ну и все-таки: лечение. А то никто ведь меня не лечит. Я знаю явления давлений ([1 сл. нрзб.] Druck[i]), но я «страдала» всегда слишком низким давлением крови. А какие же в Голландии высоты? Кровь у меня текла все эти 3 раза при чудесной погоде. За последние годы нарушилось и наблюдение осени и весны. Кажется, не было месяца, когда бы не случалось. Я не знаю, что надо есть для вязкости крови? Мне домашний врач давал Витамин К — он против кровотечений. Ни разу не помог. Dr. Klinkenbergh хотел посмотреть на тот случай, если бы v. Capellen ошибся, и если бы оказалось, что там полип, который растет дальше. Но он ни на чем не настаивает. Лежу под одеялом, а так закоченели руки, — я вообще очень всегда холодная, без грелки не заснуть. Я не знаю, что мне надо, чтобы поправиться. Я так далеко ушла от себя прежней! Ах, и большинство платьев, и как раз любимых, не могу носить, — рука не позволяет. Я не могу ее поднять, отвести в сторону. Не могу резать хлеб, писать даже с нажимом. Не могла бы оправить кровать, т. к. не могу натянуть одеяло. Ночью должна будить кого-нибудь, чтобы помогли, если что надо. Ужас. Какая же я душа фермы! Мне это все больно, Ваня. Не надо больше об этом. Пойми меня. Я с трудом держу равновесие духа. М. б. когда-нибудь окрепну, — тогда посмотрим. А теперь чулки заштопать не могу. Давно надо бы к хирургу «на показ» (тоже ужасны эти показы!), но из-за почки все лежу и лежу. И боюсь ехать. Я все время устала. Ах, как у с т а л а... Между прочим: за операцию я утратила всего ложки 3

[i] Давление *(нем.)*.

столовых крови (сказал Doctor), они старались меня не обескровить. Откуда же эта усталость? Ну зачем я так тебе грустно написала?! Прости меня! Посылаю тебе цветочки, те самые, с которыми стояла «Девушка с цветами». Будь здоров, Богом храним, бодр, весел, счастлив! Благословляю тебя и целую.

P. S. Елизавете Семеновне вырази от меня по случаю бомбежа сочувствие. Неужели Т[олен] не послал д[о] с[их] п[ор] денег ей?

Не кушай сырых фруктов много, не увлекайся, — они могут раздражить желчный пузырь и отозваться на желудке, это бывало у моего отчима часто.

303

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.IX.43

Дорогая моя Олюночка, — нет, бумага отсырела, буду на машинке... — от тебя последнее письмо — от 9-го[714], получил 14, когда был в Париже. С тех пор безвыездно здесь[715], пишу. Здесь я написал еще три главы «Лета Господня»: «Серебряный сундучок», «Горькие дни» — и ныне! — и «Благословение» — детей. Еще остается, думаю, последняя глава, большая: «Кончина». И — будет завершено, еще до 9-го окт. — предполагаю. А там — если не кокнут бомбой или не буду без уюта, — к «Путям Небесным». 15-го опять близ моего очага — пара стерв лопнула, вот везет-то! Стекла, говорят, вставили, но... погожу пока туда, что дальше будет, а если здесь будет плохо от непогоды — пока перебуду у Карташевых, в тихом квартале, где отличный парк. Они были у меня, и у них есть комната, только кума стесняется, как меня питать. Ну, ладно, увидим... Сегодня ночью дважды гремело, земля тряслась здесь, в 30 км, от Парижа. Сейчас по радио-Пари узнал, что один хищник упал на универсальный магазин «Лувр», подбили-таки! Порывался встать ночью, поглядеть, да... чего глядеть-то, да и холодная ночь. А день сегодня — сентябрьски жарко и большое солнце. Были вчера Меркуловы, привезли почту, (и так пересылается), — но от тебя — ни звука. Тревожусь, здорова ли. Не забудешь же ты меня в эти особенно «горькие дни»! М. б. мне оставлены «ави»[i] от почты, м. б. завтра или в понедельник поеду, возьму: моя консьержка, в панике, забрала ребенка и куда-то сплыла, а замещает ее старушенция... ей, м. б. почтари не оставляют моих заказных писем? Не знаю. Много получаю писем с запросами, цел ли я. Надо отписывать-

---

[i] «Уведомление» *(от фр. avis)*.

ся. А меня еще — вот поди ты! — писательская лихорадка треплет, хочу и хочу писать... Что — это?! М. б., как тундровая травинка, спешу я дать весь «цикл» развития и плодоношенья в краткий срок? Но не дай Бог «тундренного плодоношения» — оно так хило... — нет, мои «главы», что написал здесь, достаточно полнокровны, хотя мне и очень-очень «с хвостиком». Сейчас не могу никак что-нибудь переписать для тебя, — копий не делаю, нет здесь синей бумаги, да и времени нет. Только что откатал полдюжины писем. Неужели пропадут твои письма или их вернут тебе? Их мне очень недостает. Прямо перед окном, у которого пишу, — на солнце! — мой подсолнечник — ух, какой! Ночью какая-то крылатая воришка пробовала щипать, да не дался, ту-гой! Тоска по родному меня съедает... все мои «видения» поблекли... — здесь... умирать?! Горько. Хоть раз единый полной грудью вздохнуть родным воздухом! вольным, не зараженным кровью, гнусью и чесноком! Господи, кажется, половину остатка дней (другую — для работы!) — отдал, чтобы полежать на травке в сухом и звонком, пронзенном солнцем саду осеннем, яблочном, в средней полосе нашей... пройтись озимыми, по крепким сухим тропкам... смотреть на залитые яркими гроздями — темные рябины... синиц слушать... — и чтобы там, на горке, где большие липы, уже снизу тронутые жидким золотцем, на веранде, еще в зелени винограда и бобов со стручками, в гуде крылатой осиной гусарщины, над сотовым медом, уже блестел белой чернью никелевый самовар... дымился в граненом стакане душистый пунцовый чай, сушки в сухарнице... чудесное русское варенье из клубники... сливки в старинном, широкоротом, приземистом синем молочнике... и пусть даже «Русские ведомости»[716] с привычными нытиками и «междустрочьем»!.. Теплые комнаты к вечеру, в яблочном духе спели, широкий письменный стол... — как я люблю, всегда бумагоразмашистый, — огромные письменные столы! — и лампа, керосиновая старушка — друг темных вечеров! о, как бы писалось там!.. и сколько бы нашел для тебя, моя дружка, моя желанка... новых образов, новых призывных знаков!.. В какой чудесной стране мы жили..! — она, правда, много и отлично была дана нашей художественной словесностью, нашим сердцем... но, чаще всего — не вполне, не с того краю. Я-то, я-то еще не давал ее, как дал бы теперь, когда чувствую тебя так близко, далекую... Вот, разве в «Путях», если суждено одолеть их, я мог бы через Даринькины глаза, через свои... — временно наделив им... кого же? Не Виктора Алексеевича, конечно... Вагаева? Или... — найду, еще? О, конечно, найду... почти вижу... А теперь, пока... под кровом, под покровом... — т. е. кров есть над головой, но... мне не такой нужен, хоть и удобно мне, и — видишь! —

могу работать... Но так все непрочно, так случайно... Порой хочется горько вышучивать... себя? — «В дни п о к р о - в А? — Колю дрова... — Порой пишу я... — Ах, где вы — Шуя, — Москва, Владимир..? — — Весь мир — как вымер...» Или загадываю новые загадки... — «Летит птичка-невеличка... Несет в пузике яичко... Летит — несе-от... — Всем головы снесет..?» Чего такое? Сидишь под яблонькой — дурачишься, когда — отдых. Но держу себя в руках — «по-мни, лентяй! мно-го еще за тобой!» Вон, даже «читатели» беспокоятся. Написал всего, не считая «Света» — семь-десять страниц, таких! Этого, для иного-то, хватило бы и на год. Я дал за... 10—12 дней работы, т. к. писал «урывом». Нет, зачем же я пеняю на себя? Я, озираясь, вижу, что много благостного родного дал... при-роды-то! — а мои «Росстани»?!. а мое «Богомолье»?! Дерзнул бы и со многими восклицательными написать эти слова. А мои... печальные... после всего, во-время в с е г о..! Хотя бы иные строки в «Железном деде»! а — мои «Блаженные»!..[717] — Нет, я дал кое-что, но... н е в с е, что мог бы — т е п е р ь!.. Мне хотелось бы сбросить с плеч лет хоть бы... 25... и дать — с тобой... чтобы ты, чтобы тобой пронизать чудную, несказАнную прелесть — русской т и ш и н ы, русской озаренной... пусть и полуосенней бла-гостности! Но... терпение — и моление!!!! — «Пути Небесные» может быть дадут мне сил раскрыться и — по-крыться... Оля, милая... русская моя, родная моя... яблочная-тихая... душистая моя, яблочко мое... на маковке ты висишь... золотишься соком, холодком зорьки тронуто... не бойким клевком пернатой садовой плутовки... Нет, они не родные, яблочки эти, вот те, передо мной какие... — чужие... нет в них той сладкой, и крепкой, и нежной силы.., как и в речи здешней... — о, эти «коман са ва»!..[1] Но... «Хвалите имя Господне...» — за все, за в с е.

На этом и кончаю, пока. Жду от тебя. Тоскую... Не выбивай же меня из колеи сладкого и — тревожного! — труда... Целую, крещу проникновенно-нежно. Родная! Твой Ваня-светик, когда-то называла, давно-о-о!..

304

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.X.43

Мой дорогой далекий Ванечка!

Вот уже и вправду осень, как быстро летят дни... Скоро ты именинник, мой родной. Мне так хочется, чтобы этот день ты

[1] «Как дела» *(от фр. comment sa va).*

провел в радости, тишине и мире. Поздравляю тебя, мой милый, и молюсь, чтобы Господь послал тебе здоровья и сил в работе. Будь бодр и благостен! Я так была счастлива читать твои строки о том, как спорится твоя работа. Какое это для творящего счастье! И для нас, читателей твоих! Мне очень хочется прочесть эти последние твои главы к «Лету Господню». Как досадно, что все это пока невозможно. У меня все та же сильная мечта: если буду жива и более или менее здорова, то все-таки хочется поехать во Францию. Если захочешь ты. Неужели не суждено нам «познакомиться»? Как это дико. А м. б. так нужно??

И еще у меня мечта: поехать на Балканы, но не так коротко, как в 37 году, а как следует. И в Палестину. Так хочется в Святую Землю! Ах, и конечно т у д а, т у д а.., как бы хотелось Родину увидеть! Как ты минорно пишешь... Зачем же так: «умереть здесь»? Разве мы что-нибудь о себе знаем? Я не мыслю себе даже возможности прокоптить всю жизнь за границей. Я верю, что вернусь домой. Много, очень много думаю обо всем. Как грустно, что мы не можем поговорить с тобой.

Ванечка, напиши мне, как ты именинник будешь. Поди в церковь и помолись Иоанну Богослову. Какой он дивный, — как я люблю его читать. Ах, вспоминается детское время, когда все было так близко, все так чутко воспринималось душой. Казалось, что не было ни времени, ни пространства, разделявших нас от того времени, когда жил Христос. Помню, как мне особенно хотелось принять венец мученичества за Христа и как я жалела, что мы не живем в первые века христианства.

Как было все, все понятно и дорого, и близко. Как горе чужое горячо трогало сердце, как хотелось обнять весь мир. Помню как жалела я, что не умерла до 7 лет и не стала ангелом и хотела так невероятно дожить до последнего дня. В детстве я так жила всеми событиями церкви. И как чудесно верилось. Мне так хочется написать одну вещь... Но... Но... Но. Не бранись, — пойми, что я так... немощна.

И этот холод, эта суета. В моей комнатке холодище, топить нельзя ее, разве только электричеством, но это невозможно. Дел накопилось масса. Одной штопки, так ужас сколько. Вся уборка огородных урожаев. Капусту надо солить, томаты, маис убирать, бобы и т. д. Ты браниться станешь, а кто же будет делать? Мама переустала, да и не хочу я взваливать. Моя вечная болезнь всех их доконала. А. хотел всю штопку и шитье кому-нибудь отдать, но никого не найти, никого нет свободных. Да, по правде говоря, я и не хотела бы. Одна возня с чужим человеком: ухаживай за ней, корми, пои, думай о ней. Нельзя же и запасы бросать. Сколько знакомых голодает, а я швырять-

ся бы стала. Началась у нас молотьба. Сегодня (и в субботу) работают в родовом имении, которое арендует Арнольд, и где он поднял целину под злаки. Пшеница изумительная в этом году. Наше зерно взяла комиссия на посевные семена. Мука белая, белая. Вот с какой радостью бы тебе пирожок испекла. До последнего времени ели их еще с луком и яйцами, а теперь уж нет луку, — делали с капустой. Я очень люблю с капустой, а ты? У меня все еще нетронутое стоит твое варенье из груши. Помнишь? Я его б е р е г у... И духи берегу. Ничего, кроме «Ливня», не открыла. Открою шкафчик, полюбуюсь на них и закрою. Я помню, как ты их присылал. Твой цветок, за который ты сердился и называл его репейником, — очень разросся и дал 3 отростка, один из коих я отсадила с корнями самостоятельными и очень надеюсь, что отродится, а 2 других были без корней, но я тоже отсадила. Вот эти новые отсадки могут цвести, а старый цветет лишь 1 раз во всю жизнь. Потом у меня из семян выросла бегония — это редкость. Посмотрю какая. Есть надежда, что от твоей замерзшей семена. Мой апельсин растет чудесно. Посылаю тебе листочек. А в садике все осенне и плакуче. Я писала тебе о Валиной кончине... Да, мне так это больно. Но не касаюсь сего в именинном письме. Ванечка, сожги письмо, у меня насморк. Целую и благословляю. Оля

[На полях:] Как больно мне, что не могу ничего тебе, моему солнышку, послать к Дню ангела. Светик!

Письма идут теперь 3—4 дня, потому не написала к именинам раньше.

Послала письмо от 3-го X[718] простым. Там о Вале.

Ванечка, мама тебя тоже поздравляет, она не пишет, т. к. завалена делами и моими, и своими.

305

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7.X.43 12, рю Шевер, rue Chevert, Пари, VII-e

Дорогая моя Ольгуночка, с 24 сент. не писал тебе: и временное нездоровье, — вот они, я-блочки-то! — начались-было будораженья в желудке, приступы кислотности, тошнота, небольшие боли, но, к счастью, вот уже дня три почти прошло, принял меры, но часть прибавившегося веса утратил... — и переезд в Париж, на квартиру Юли, с 30 сент., и хлопоты о ремонте квартиры. Вчера ремонт закончен, главный, можно вернуться, и завтра, — в Сережечкин день! — я возвращаюсь. Здесь, на рю Шевер, тому 20 л. и 6 мес. я написал первую часть «Солнца мертвых». Жил лет пять... — и пришлось здесь искать крова.

Но эти пять месяцев «не у себя»[719], не пропали: я написал много, и осталось мне несколько страниц последней главы «Лета Господня» — «Кончина». Закончу, Бог даст, на этих днях. А тогда — к «Путям Небесным». Квартира от бомбардировки вы-играла! — дом напротив снесен ураганом и открылся простор..! Теперь, если суждено жить еще, я буду видеть, как заходит солнце. Вид — даль. Я выигрываю часа два в день — солнца! Оказывается, каштаны напротив, правей чуть, — целы. Бывало, смотрел я на этот дом, стройки полувековой — он был в 3 с половиной этажа, — видел «медальоны» — лепку, как делали в 80-х гг., и думал сколько раз: «меня не будет, а вы, гг. медальоны “римские”... — все будете!» И вот... их нет, а кусочек чугунного литья со входной двери лежит, как «мементо мори»[i], на моем письменном столе. Но ско----лько же пы-ли у меня!.. — как бархатные, горохового тона, скатерти, покрывает она — все! — на полсантиметра!! Сегодня и завтра Анна Васильевна будет приводить в порядок, после бывшей чистки «на-черно». Во вторую бомбардировку — писал! — две бомбы упали на самую мостовую, в 20 метрах в обе стороны от меня каждая. Бегать от них..? Один француз в наших местах потерял всю семью, пошел ночевать к знакомым, и на днях был убит... не бомбой, а... куском камня, упавшим с развалин. «Камо пойду от духа Твоего и от лица Твоего камо бежу?»[720] В день рождения Юля надарила мне цветов: два горшка розового и белого вереска и амариллис, кажется. И — банку малинового варенья, — люблю его. Очень тронут многими «сочувствиями». Вчера мне сказали: пленные советские авиаторы были в книжном магазине «Возрождения», нашли только из моих книг «Няню»... Мой знакомый спросил их — «знаете Ш.?» О-чень знают! Жаль, не было ни «Лета Господня», ни «Богомолья» — и ничего другого. «Человек» издавался и в советчине[721]. А «страшного» ничего не осталось, и издать нельзя. А у меня до 6 книг ждут. — Оказывается, моя квартира пострадала сильней других в доме. Благодаря «пурбуарам»[ii] ее привели в жилой вид — где там отделка! — раньше других. Надо бы всю заново отделать, но это уже на мой счет, а у меня нехватит паров, нужно чуть ли не 15 тыс. франков — а где уверенность, что завтра не превратится все в прах?! Да и вообще — я, «безработный», бессилен. Теперь жалею, что отклонил сделку на фильмованье. Не могу и своих гонораров из Швейцарии добыть, — очень невыгодно. Слава Богу, что живу все же и могу писать. Нет, теперь уж не стану тянуть с «Путями», — поспешу.

---

[i] «Напоминание о смерти» *(от лат. memento mori)*.
[ii] «Чаевые» *(от фр. pourboire)*.

Милая моя голубка, меня очень подавили и встревожили твои последние письма. Твои боли! Страдалица моя... — и я бессилен! Не стану возражать на твои мысли о «суете сует», — так естественно, что они владеют тобой. Я имею понятие о «боли» и знаю — все в ней тонет, и солнце перестает быть... и — все. Не отягощай, если есть возможность, удручения! надейся, надейся, надейся, проси Господа! Ты верующая и знаешь силу веры. Держи себя!! Нет же точного показателя — для отчаяния. Человек находит способы — без твоей воли даже! — ко многому применяться. Для меня — ты — всегда ты, мой свет, и всегда будешь лучезарна, всегда — чудесна. Да, медоносная! Ты — Олюна моя, непреходящая, пока мы здесь. А — там... — кто знает это «там»?! Порой на меня наплывает потемнение... отчаяние, от бессилия знать, наверное. Но... вдумайся в величие смысла — «и сущим во гробех живот даровав»[722]. Этим все покрывается. И... — откуда эта всепокрываемость, которую мы порой так ясно сознаем, ощущаем как бы?! Странно... не правда ли? — что я, за месяц до урагана, чуть-было меня не поглотившего, начал этими словами мой — неожиданно пришедший, мне заданный! — рассказ «Свет во тьме»?! За ним я вложился яро в работу... был опален, вы-бит... и — продолжал писать?! В плане моего существования все это было нужно. Неужели — случайность?!!! Нет, конечно.

Какое же еще нужно подтверждение — в моем-то личном плане! — основы, положенной мною — мно-ю ли?!! — в труде — «Пути Небесные»?!! Все мы — в плане... — в Господнем Плане... — до мелочишек. Ибо, что такое, в сравнении с огромным размахом Жизни, мое, эти «мелочишки»..? — но и оне — в Плане. Для Плана нет «мелочишек»... — все необходимо. Правда, становишься в тупик перед иным... например, случай с матерью и новорожденным[723] — для чего сие?! В главе «Серебряный сундучок» — странник рассказывает «случай»...[724] — почему я ввел его, вспомнил, вы-думал..? Тоже как бы «дикий», но... он же и поясняет его глубокую «законность во-имя милосердия». Колоритно вышло... — выпалилось, причем я совсем не думал о таком... Вот если бы такая «целесообразность во-имя милосердия» случилась с явлением на свете атилл, чингисханов, ландрю, — известный убийца![725] — лениных... — но... очевидно и в сих «явлениях» лежит неведомая «целесообразность, во-имя»... «педагогики», что ли..?

Твое поздравительное письмо оказалось далеко не «поздравительным»... и ты сама чувствовала это, и я разделяю с тобой горечь твою и боль твою, моя птичка. Остается — терпеть... надеяться, верить... — да, в значимость для нас обоих нашей встречи на отдалении. Мне это дало так много..! не знаю, как тебе. Но

почему же мы не можем встретиться в реальности? Мы должны встретиться. — Олюша, ты говорила хирургу о твоих болях? Что же он?! Всегда ли бывает так в однородных операциях? Оставь «знахарей», не порти лечения. Я писал тебе в прошлом году — кажется, капли хлористого кальция дают бОльшую вязкость крови. Про желе также. Увижу Серова и Кримочку — спрошу. Как разбито все в жизненных мелочах! Много сил берет отыскивание пропитания. Я вчера потерял два часа, чтобы выбрать продовольственные карточки, у себя в районе я пропустил срок, ездил в мэрию и не дождался, придется снова, как-нибудь. У меня «режим», терпимо, достаю сухари... и молоко. У Юли — все имею. Мне прислали мед, и А[нна] В[асильевна] испечет пряник даже. Так пи-ро-жка хочу! бе-лого, с мясом... я, кажется, снова получил охоту есть... до галлюцинаций, как в прошлом году. У себя я иногда делаюсь «кордон-бле»[i] — мастером поварского дела, выдумываю соуса, — с голодухи-то! — очень хочу сейчас «минутного» бифштекса, без обжаривания в масле. Хочу хорошего овощного супа. И странно, все это «мелочное» как-то уживается с моим уносом в работе, с «вИдениями»...

Должно быть я состарился сильно, страшно тянет на сладкое... Да, старость... надо принять это. Порой меня жалеют чужие, в метро предлагают сесть... — вот — «пе-нси-я» за задержку на земле. Горькая привилегия. Моя голова очень резко посеребрилась за эти недели... Но — и память, и воображение, и сила мыслительная пока не сдают. Матушка дожила до 89 лет, писала за год—два до кончины все тем же крепким почерком, и ясно соображала. Не будь большевизма — могла бы прожить, пожалуй, и до ста. Я за эти недели стал-было принимать драже «колА-астье» — на экстракте из африканских орешков «кола». Удивительно укрепляло! Но когда от яблоков началось вроде — ожога желудка — бросил. А то мог шмыгать в Париж и на дачу и возить багаж. И не утомлялся.

Не смею повторять тебе о работе. О теме «Ферма» писал — не думал, что удручу этим... Олюна, Паскаль 15 лет был почти недвижим[726] — и работал!!! И много терпел, какие были его бо-ли!.. Кстати, читала «Мысли» его? Случай на мосту в Нейи, его покалечивший, ка-кие же последствия дал!!! Паскаль пришел к вере...[727] и дал — не закончил! — «апологию Христианства»![728] Перечитай-ка, моя медоносная! Почерпнешь много утешительного и... кстати! — встретишь — но в ином, м. б., истолковании — эту уяснившуюся тебе «суету-сует». Найдешь много о значении «малых мелочишек» на — огромность (для Господа, — все значимо).

---

[i] «Искусная хозяйка» *(от фр. cordon bleu).*

Напиши мне, как здоровье, уменьшаются ли боли, как почка твоя болезная. Господи, как я бессилен помочь тебе! Олюнка родная, если бы я был близко! Все бы дни возле тебя, баюкал тебя, снимал с тебя думки тяжелые, всячески отвлекал... — и ты окрепла бы, знаю, верю. Вдунул бы в тебя силу веры в себя, сумел бы разговорить, — разгладил бы съежившуюся от болей и дум душку твою — мою! О, моя маленькая и великая! — страдалица.

Напиши о себе, о себе, но не о своих мрачных думах. Ты меня предостерегаешь — подожди переезжать на квартиру. Но чего же ждать? Я хочу своего уклада, я привык быть «у себя». Целую, обнимаю, баюкаю мою детку. Твой Ваня

[На полях:] На 2-е X сон: Сережечка! Давно его не видел. Я его обнял, и он: «Папа, я пришел, чтобы побыть с тобой». Такую радость испытал я!

На *почте*: 8-го X 4 ч. дня   Вернулся к себе, в Сережечкин день. Твое письмо! Сейчас получу на почте. Целую.

306

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.XI.43

Родное солнышко, Ванечка милый,

так мне тоскливо на душе — боюсь, не случилось ли чего с тобой, здоров ли ты? Вторую ночь снишься и так странно. Берегись, умоляю тебя. Теперь у очень многих открылись старые язвы желудка, — недавно было кровоизлияние у того милого господина, который тебе на фотографии особенно понравился (в Wickenburgh с цыплятками[729]), у него была в Париже операция желудка (делал Алексинский[730]), и годами ничего не чувствовал, а вот как раз когда Валя умерла, открылось снова, и такая беда: он живет на хлебах у Оли (сестры Валиной) и та прямо разрывалась между похоронами и больным. Упрекала себя, что м. б. из-за ее частого отсутствия к болевшей Вале, мужчины принуждены были обедать иногда вне дома. После похорон Оля сама еле на ногах держалась, а должна была за Ал. Ал. ходить и следить за его диетой, и все сразу стало лучше. А вот на этих днях опять кровь. У о. Дионисия тоже была операция желудка и в этом году тоже открылась снова. У многих еще слыхала. У меня сердце ноет от мысли, что тебе плохо.

Я знаю, что что-то у тебя не ладно, м. б. неприятности какие. По самочувствию моему, по тоске и по снам я тревожусь о тебе. И так давно нет писем от тебя. Как грустно мне это. М. б. ты работой увлекся?

Черкни хоть 2 слова, чтобы я успокоилась.

У нас все благополучно, пока... Я всегда теперь прибавляю это «пока». Здоровье мое ничего себе. На вид толстею (много пью и мало двигаюсь).

Ничего, свежий вид. В почках болей не чувствую, только однажды, недели 2 тому назад была мгновенная острейшая боль в левой («больной») почке. Я даже вся покраснела. Дня через 2 вышло что-то, маленький черный «камушек», точь-в-точь такой же формы, как и прошлогодний, только тот был белый. Хочу отнести моему хирургу на расследование, т. к. он обещал мне всю тщательность в этом вопросе. Масса дела дома. Ну, не сердись, — я и сама злюсь, что так все суетно, а куда же работу денешь? Для того, чтобы иметь хорошие условия жизни, необходимо самим работать. Меня и то берегут.

Кур и многое иное взяла целиком на себя мама. Но стряпня и прочее... А потом эта убийственная штопка всего, что снашивается. Прежде я чулками никогда много себе жизнь не отравляла, а просто или отсылала поднять машинкой петли или маленькие дырочки сама заштопаю, а когда снашивались... новых сколько хочешь. А теперь уже прошла пора «маленьких» дырочек, около них нарастают новые и все новые, и новые (снашиваются), а отдавать немыслимо, — очередь. Новых же получить очень трудно. Я ухитряюсь, но с каким трудом. Каждую прежнюю пару чулок приходится прямо любовно перевертывать сотню раз в руках, чтобы сохранить подольше. И так все. Вдруг все сразу стало драться. После каждой стирки еще днями сижу над зашиваньем всего повседневного. Совершенно новые вещи берегу еще пока.

Все это последнее время стояла дивная погода, теплая и тихая. Ясное небо, бледное, но совершенно чисто и в нем золотые тополя. Ах, как красиво. А с утра и вечером туманец. Все будто заворожено. Тянуло рисовать. Чуточку помазала, несколько часочков урвала. А вот со вчерашнего дня гадкая погода: дождь и ветрище, сырь и муть. Холодно стало. Мороз сжег всю зелень за одну ночь. Повисли «[наводопелые]» какие-то стебли настурции еще в полном цвету. Топлю печи, а топлива на эту зиму мало. Дров нет, а ими то мы только и дышали в прошлые годы. Угля, конечно, мало. Только бы не холодная зима, а то страшно думать. Господи, и сколько же горя в мире. Эта проклятая война! Когда, когда она кончится!? Мои пороги обивают различные люди, больше детки, в опорках притащившись из Утрехта (за 12 км) попросить поесть, молока. Молока нет, мы сами имеем право только на 1/2 литра на человека. Даю, что могу, хоть горячую картошку. И все же надо Бога благодарить еще за все. Как много счастливее мы многих.

Ах, Ванёчек милый, как то ты устроился у себя в квартире? Не очень ли тебя удручает вид разрушенного квартала? Ванюша, ты ничего мне не написал о том, получил ли мою фотографию, маленькую: мама, Сережа и я с котятами на руках?[731] Она очень удачна. Я там после операции вскоре, так конец июля, м. б. даже Ольгин день. Жаль, если пропала. Я ее послала к именинам тебе. Перечитываю твои книги, и все с новой свежестью наслаждаюсь ими. Как хотелось бы поговорить с тобой о многом, многом. Рассказать тебе тоже многое. Ах, жизнь бывает иной раз так нелегка. А написать вот не напишешь, разве только в сумерках расскажешь тихонько родной, понимающей душе о всем том, что так гнетет. М. б. я старею? Мне так хочется тишины и сосредоточенности в себе и своем. Да, я хочу писать, очень, но мне необходим покой, чтобы знать, что я вот занялась и меня не отвлекут. Ну, хоть бы месяц! А у нас: утро — надо завтрак, надо печи (девчонка является только в 8 1/2), после завтрака тотчас варить обед, после обеда кто-нибудь 100 раз оторвет, да и дела, вот всякие штопки, зашивки и т. п., визиты (последнее время то и дело), чай уж не делаю часто. С 5 ч. молоком надо заняться, отдоят, надо отделить телятам, нам, кое-кому из бедных. До 7 возня. В 5 ч. девчонка уходит. Ужин и мытье посуды после ужина. Вечером я устаю. Днем я уже почти никогда не отдыхаю — не хватает времени. Да еще не говорю о том, что капусту солила, (кукуруза) маис из колб[1] шелушить надо, укроп, петрушку сушить и т. д., и т. д.

Никто чужой не сделает, да Тилли и занята. Много молочных ведер, подойниц, надо ей мыть, свиньям картошку мыть-варить, рубить курам корм и т. п. И много, много, о чем не напишешь, всякая суета. Надо яблоки и груши проверять, чтобы не гнили, а все запасы?! Но еще слава Богу, что вся эта работа есть, хуже было бы, если бы голодали. Но все же досадую. Хочется без всего этого побыть в тишине. Мечтаю после войны уж взять себе отпуск. Только бы здоровье! Грудь моя и рука лучше. Многое делать могу без слез боли. Хотя грудь иной раз и пронзится болью, точно каленым железом, но в общем терпимо. Сплю хорошо. Конечно, иногда думается о судьбе Вали... Но на все воля Господня. Пустошкин говорил, что Валя сама небрежно отнеслась к болезни и не полностью провела просвечивания рентгеном, назначенные ей хирургом. Ну, да кто что знает?!

[На полях:] Внешне рана моя выглядит очень хорошо и не «страшно». С эстетической стороны... Я долго не решалась

---

[1] Початков *(от нем. Kolben)*.

взглянуть, боясь уродства, — но тоже не так уж плохо. Они были милостивы и оставили порядочно ткани железы, придав ей форму. Я и то шучу, что м. б. по ней сделать косметическую операцию левой половины для симметрии. Это, кажется, пустяковая операция. Если бы была моложе, то и сделала бы, а теперь-то уж как будто несолидно о косметических операциях думать.

Ванёчек, мама и Сережа тебе очень кланяются. А я? Я так о тебе волнуюсь. Напиши скорее, как ты. Господь да сохранит тебя! Целую тебя и крещу. Оля

307

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.X.43 — 91, rue Boileau, Paris, 16

Дорогая моя Ольгуночка, твое письмо к именинам прочитал в самый День ангела, дотерпел-таки. Очень я, кстати, и устал, 8-го в 4 ч. дня опять угнездился на своей квартире. Теперь все в порядке, и драпри мне повесили, только в кухне раковина-бассейн расколот, не заменили пока.

На именинах перебывало у меня много народу. Да и на «черствых» тоже. Получил много цветов. Елизавета Семеновна прислала дивные розы и телеграмму. Муж ее был. (Она у сестры в центре Paris и после потрясения страшится и поглядеть на наши (ее) «помпеи»). Правда, из окна моего — «помпеи», в 10 метрах. Вид..! И до сей поры мотается на дереве лоскут какой-то... И такие чудеса... — чей-то пиджак перенесло через 2—3 квартала, через мой дом, и его нашли на платане, на av. Versailles... (почти за 1/2 километра!) но еще большее чудо, что в кармане уцелел бумажник с 53 тыс. и — еще большее чудо! — владельцу пиджака... выдали его и — с деньгами!.. Чудо из чудес.

Но — к своему.

Я опять плохо себя чувствую — итоги в с е г о! 2 раза были рвоты, через 3—4 дня. Кислотность. Лечусь. Охота есть — есть. Знаю, отчего эти рвоты: мне нельзя есть мясные бульоны. А вчера я съел большую тарелку лапши куриной... Сегодня я буду есть только курицу и молочный кисель. —

Ура! Мои инженеры Пастаки подарили мне — редкость!.. ... 1/2 литра оливкового масла! Что мне как раз и надо!

Много было сочувственных писем и визитов, самых неожиданных. Все-таки Шмеля немного любят. М. б. мои «главы» «Лета Господня» увидят свет:[732] предполагаются ежемесячники в Париже, на русские деньги. Уже были у меня — с поклоном (совершенно неожиданное посещение одного господина[733],

который как-то сневежничал (задирание носа, от высоты, ему несоответственной, с которой он свалился, или сам сошел(?)), и вот, появление с повинной...) и с просьбой. Подумаем...

Последним с именин ушел, как всегда, доктор. Ему я прочитал 2—3 главы... Он был захвачен... Читал ему «Москву» и — «Благословение».

Но теперь — самое важное: Оля, светик, мне, недостойному, было явлено... знамение! Я был потрясен и — укреплен. Это по е я молитвам. Бомбардировка была 3-го сент., 2-го я вечером, как всегда, сорвал листок календаря инвалидов — стало — 3 сент. Так и осталось до... 10 окт. ..! 10-го я оборвал все с 3 сент. по 11-е окт. Не читал. Решил бросить. Потом, часа через 2—3, вспомнил: надо выбросить. И — мысль! а что из моего было за эти 5 недель? Начал просматривать, откладывая с пачки — назад. Ни-че-го! Остался последний листик — на 3-ье сентября! И что же..? — Мое! «Царица Небесная»! И какой отрывок!! ... «Плавно колышась, грядет Царица Небесная...» (начало страницы 89 «Лета Господня») 23 — (двадцать три) строчки, кончая: «... — все под Ней. Она — Царица Небесная»[734].

Суди сама. Случайность? Все — случайность? 3-ье сент. (21 авг.) никак не связано с праздником Пречистой. Календарь составляли за 1 1/2 года до 3 сент. Выбирал не я, а — кто-то... из моих книг. Хотел выбросить — и — удержался... И на последнем листке (я смотрел в обратном порядке) — вот о н о! До чего же я в н о! Кто узнаёт... — поражены и — обрадованы. Это же идея моих «Путей»: мы — в Плане. И вот — «Знамение». Поцелуй недостойного Ванюшу. А я — тебя, о, сколь достойную!.. О здоровье! пиши!! Твой Ваня. Спешу послать. Уже 6 часов вечера.

[На полях:] Сколь многих укрепило «Знамение»!

Я знаю, как я недостоин! Сохрани же, как святую память, листик Календаря за 3.X![735]

308

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.XI.43

Дорогой Ванюша!

От тебя ни слуху — ни духу. У меня такое кошмарное состояние от этого, какая-то оловянная запуганность и не верится, что когда-нибудь услышу от тебя хоть слово. Неужели ты снова болеешь? Все ночи вижу кошмары, иногда связанные с тобой. Вчера тоже: ты сидел какой-то сердитый на меня,

а мне было так холодно, и я подошла и села около тебя и говорю: «посмотри, какие мурашки у меня по коже». И сама вижу их. М. б. ты пишешь и занят?

Я пойду справлюсь на почте, не запрещено ли снова сообщение с Парижем. Думаю даже для успокоения себя, что м. б. все тюки почтовые запропастились куда-нибудь, ну как у Вас в Париже было с бомбардировкой. Получил ли ты мое фото? С кошками. Это последнее в этому году и после операции. На днях узнала, что одну мою хорошую знакомую[736] (казачку), будут скоро оперировать (камни в почке) уже 2-ой раз. Теперь не v. Capellen, а другой. Мне трудно писать в такой тревоге о тебе и не зная ничего. Если еще несколько дней ничего не узнаю, то буду просить Меркулова сообщить мне, что с тобой. В последнем письме ты писал, что у тебя снова боли и тошноты. Это меня убивает.

Я тебе писала об «иконке»[737], которую получила от Doctor'а, но ты видимо тоже не получил этого письма. Или никак не реагируешь. Берегись, умоляю тебя. Как мне грустно, что ничего не могу тебе послать и ничего для тебя сделать. После холода и мокра опять солнце и ночью звезды-звезды! Ах, какие алмазы! Я чувствую себя не очень хорошо — сердце томит меня, все будто оно дрожит, и сплю очень плохо. Разбита. М. б. это в природе? Мама тоже последнее время «разбита». На последних неделях заболел и Арнольд, — сперва бронхит, а теперь думаю тоже не сердце ли, даже должен ложиться. Доктора здесь аховые. Пустошкин мне советует известь принимать. Он очень рассыпается в благодарностях, но я могла его выносить только в его несчастьи, а как начнет расшаркиваться — не могу, тошнит. Не люблю всей этой светской мишуры. Конечно, он очень одинок, но как все чувства у подобных ему прикрыты вычурными фразами и словами, красованьем и любованьем своим же собственным горем. Впрочем, м. б. ошибаюсь. Я должна отвыкать от мерзкой привычки осужденья. И как это трудно. Моя рука болит порой все еще очень, особенно к погоде, сверлит каленым прутом. Из почки когда-то тут вышло «нечто», м. б. камешек. Ну, Ванюша, светик, дружок ясный, кончаю, вся в тревоге о тебе. Напиши, что с тобой??

Благословляю тебя. Оля

Фася меня злит тем, что не может наконец устроить дело с деньгами. Мужа же ее я не выношу, просто органически омерзителен даже.

309

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10/23.XI.43 8.30 вечера

Дорогая Олюшенька, твое последнее письмо (за эти 4 1/2 года — 263-ье), от 15.XI, удивило меня, — ты еще не получила моего заказного от 6-го![738] Случайность, или — м. б. — утратилось? Все возможно. Я там и о карточке с котятами писал, и о работе своей, и что мне гораздо лучше, иногда только к ночи небольшие боли. А теперь могу сказать, что — сказать в час добрый! — несколько дней, как все прошло, и я даже могу расширить свою диету, а лекарств совсем почти не принимаю, только иногда чуть магнезии и соды. И охота к еде, а это добрый у меня признак. И — пишу. Снова обрабатываю последние главы «Лета Господня». Дал расширенную главу о Соборовании. Это впервые в русской изящной словесности, и это надо. Хорошо, что у меня есть Требник[739], он меня проверяет. Вчера закончил вполне главу «Кончина», где дана, между прочим, — «отходная». Писать трудно, — уходить в такое — все еще! — болезненное. Остается дать в полном развитии — «Похороны» и «Поминки». А «Кончина» была трудна мне: отец умер 8 окт. утром (в 5—6 ч.), а накануне были его именины...[740] — и представь, как в нас, детях, все спуталось! 7-го несли и несли кондитерские пироги!.. — навещали, в доме все в разброде, а вечером — «отходная»! Столкнулись две силы — жизнь и смерть, в быту и — в душах. А в день похорон, 10.X, — матушкины именины! — мч. Евлампии. И тоже несли пироги!.. Дан мой «сон», в смутную ночь на 8-ое! Я тебе его как-нибудь перепишу...

Сегодня моя иконописица принесла мне чудесно исполненный образ «Царицы Небесной», в воспоминание 3-го сент., — налет англоамериканских налетчиков. Это вариант «Владимирской», как я просил. Чудесно исполнила! Чем больше вглядываешься — сильней и сильней влечет. Киотик, (икона размером 29—20 — вся доска, 23—15 — живописная часть), — валики-овальцы будут покрыты вяло-голубым, м. б. «голубиного» тона, бархатцем, — так советует иконописица: такого тона одеяние под омофором, а омофор вишневого бархата; фон «доски» и «закраины» — жидко-золотистый. — Как же, я писал тебе и об изображении «Казанской», так чудесно... — вот именно, и так именно определяю! — встретившей тебя — встретившей!!! — у хирурга-кальвиниста! — и о таком поразительном «случае», как передача тебе хирургом — книжечки, где то же изображение — !!!!! — «Казанской». Ольгунка, милая... —

только так и надо принимать, — как явление, как знамение тебе! Ничем иначе не объяснишь! Напиши писатель такое в романе... — все бы завопили, — «надумал! подогнал под "чудо"!!» И могли бы почесться почти угадчиками, ибо «надуманность» почти осязаемая. Да потому, что такое не умещается в обыденном, привычно-жизненном, с чем, обычно, имеет дело наш поверхностный житейский опыт. Я сказал — «почти». В этом-то «почти» и лежит недоступная нам — большинству — грань между «здесь» и — «тамо». Но ты не писала роман: ты испытала на себе «веяние» от «тамо». Как же и принимать иначе?! Есть «подробности», которых нельзя придумать, дотого они верны. Например, в Евангелии от Марка... мелочь об «одеяле», что ли, в котором в волнении выбежал «юноша» — Марк!! — сам М[арк]!!! — когда вели Христа в туночь... — и когда его хотели схватить, он выскользнул, и «покров» лишь остался у одного из стражи[741]. Такой подробности — не очевидцу, не участнику, — нельзя выдумать. Это тебе всякий подлинный писатель скажет, а посему — ты сама себе скажешь. А по этой «мелочи» можно судить и о подлинности — и какой же подлинности! — того «случая»! Ибо есть мелочи не выдумываемые! Как есть такие «мелочи», точно так же есть и... «бесспорности»... необъяснимое ничем, никакими «случайностями»: твой случай. Так и прими. Нет, не кинуты мы в пустоту слепой силой: мы — все! — под Промышлением. И сколько же «знаков», о, каких дивных! — не усмотрено «зеваками» жизни! Нет, не скрывай сего, не страшись, что «захватают», а — смело испове-дуй! научай!! У тебя-то уж нет сомнений, ты не можешь обманывать самое себя. Я еще могу так и так толковать находку «Мадонны» Анной Васильевной. Для меня — да, залетела в вихре, во время взрывов бомб напротив моей квартиры... — но ведь не я сам нашел! А ты... сама узрела! сама получила от хирурга, — и — тоже!!! Тут — от тамо, да. Ну, вот, м. б. повторился, я писал тебе. — Я все — о еде. А[нна] В[асильевна] испекла сейчас пирог мне. Сам я вчера испек сладкий хлебец, — ну, совсем тверской пряник, мятного только маловато. Бывает — я чудачествую, отдыхаю в... кухне! Я слишком от быта, жизни... — все меня влечет. Посылаю по просьбе Вигена письмо его Сереже. А посему должен кончить на этом листе. Целую и благословляю тебя, светлое дитя мое, моя Олюна. Твой Ваня

[На полях:] Пиши чаще, это мне очень необходимо.

Напиши, что сказал 11 окт. новый доктор о почке. Сколько раз просил — пришли запах «После ливня». Этих духов я совсем не знаю.

Поклонись маме и Сереже. Тебя нежно целую.

У здешних баптистов — огромный успех «Путей Небесных». Говорят: самая лучшая книга в эмиграции. Пишут мне из Берлина: Норины сородичи[742] рвут друг у друга мою «Неупиваемую чашу»! Очень просили благодарить. С сомнением дали читать — и вот, сверх ожидания!..

У Ивика родилась девчоночка — Катя-Ольга, 8.XI. Хотят иметь детей — сколько будет. Пра-вильно. — Инстинктом народ сложил сие: Бог на всякую душу посылает. Дал Бог рот — даст и в рот. Дал Бог роток — даст и хлеба глоток.

Не волнуйся, не тревожься обо мне: все мы в Руце Господней. Молюсь я мало... лень?! Но... «Верую, Господи, помоги моему неверию!»[743]

Приложения



Куликово поле

Редакция января—февраля 1942 г.

1

10.I.42 8 вечера <...>
Писано в январе 1939 г. Посвящаю Оле, урожд. Субботиной

Куликово поле — рассказ следователя

I

Скоро семь лет, как выбралсяя о т т у д а, и, несмотря ни на что, крепко верю, что испытание скоро кончится. Нет, не «мировые события»... — они скорее могут нагнать уныние, — а укрепляет меня некий «духовный опыт», хотя духовного во мне мало, как, вообще, в интеллигенте нашего с вами времени. Опыт мой — опыт маловера: дай ощупать. И Христос снизошел к Фоме. Сказано — «могий вместити...»[1] — но огромное большинство не может, и им подается помощь. Живя там, я искал знамений и откровений, и когда жизнь наталкивала на них, — о щ у п ы в а л, производил как бы следствие. В э т о м, как и в привычно-земном, предмет расследования — человеческая душа, и следственные приемы те же... ну, с поправкой на «неизвестное». А в уголовных делах, думаете, все известно? Не раз в практике следователя чувствовал я влияния темных сил, видел порабощенных ими и, что гораздо реже, духовное торжество преодоления. Знамения т а м были, несомненно. Невиданное страдание народа невольно дополняло знаменные явления, но з е р н о истины неоспоримо. Да как же не дополнять, не приукрашивать, не хвататься за попранную Правду! Расстаться с Правдой народ не мог, чувствуя в ней источник жизни, он призывал ее, он взывал, и ему подавались з н а к и. Помните — обновления куполов, икон. Э т о и здесь случалось, и «разумного» объяснения ни безбожники, ни научного толка люди никак не могли придумать: э т о — вне опыта. В России живут сказания, и ценнейшее в них — неутолимая жажда Правды и нетленная красота души.

Как маловер, я применил к «явлению», о чем скажу сейчас, прием судебного следствия. Много лет был я следовате-

лем в провинции, знаю людские качества, и «психозы толпы» мне хорошо известны. В моем случае «толпы» нет, круг показаний тесный, главные лица — нашего с вами толка, а из народа только один участник, и его показания ничего сверхъестественного не заключают. Особенно знаменательное в «явлении», это — духовно-историческое з в е н о... звено из великой цепи родных событий, из далей — к ныне, свет из священных недр, коснувшийся нашей тьмы.

Первое действие — на Куликовом Поле.

Куликово Поле... — кто же о нем не слышал! Великий Князь Московский Димитрий Иванович разбил Мамая, крепко шатнул Орду, потряс давившее иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово Поле? Где-то в верховьях Дона..? Немногие уточнят: в Тульской губернии, кажется... Да, почти на стыке ее с Рязанской, от Москвы триста с небольшим верст, неподалеку от станции Астапово, где трагически умирал Толстой, в тургеневских местах, знаемых по «Запискам охотника», — Красивая Мечь, Лебедянь... Но кто удосужился побывать, о щ у п а т ь, где, по урочищам, между верховьями Дона и Непрядвой, свершилось великое событие?[1] Из тысяч не набежит и сотни, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кой-что расскажут. Воистину, — «ленивы мы и нелюбопытны»[2]. Я сам, прожив столько лет в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской линии, в ста семнадцати верстах от станции «Куликово Поле», мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать, воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать, подумать... Как я себя корю, что мало узнал Россию, не изъездил, не исходил. Не знаю ни Сибири, ни Урала, ни заволжских лесов, ни Светло-Яра... ни Ростова-Великого не видал, «красного звона» не слыхал, единственного на всю Россию!.. Мудрый ростовец, купец Титов, рассказывали мне, сберег «непомнящим» этот «аккорд небесный», подобрал с колокольными мастерами для музея... — цел ли еще «аккорд»? Не видал Туркестана, завоеванной нами гробницы Тамерлана, не побывал и на Бородинском поле, в Печерах, в Изборске, на Белоозере... не знаю Киева, Пскова, Новгорода-Великого, ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими птицами-цветами, собора XI века, во Владимире-на-Клязьме. Ни древнейших наших обителей не знаем, ни живописнейших рек, ни летописей не видали в глаза, даже родной истории не знаем путно, ни мифологии, ничего. Иваны-Непомнящие какие-то... Сами, ведь, иссушали свои корни, пока нас не качнули, — и как качнули! Знали избитую

---

[1] *Вместо* вопросительного знака *был* восклицательный.

дорожку — «По Волге», «на Минерашки», «в Крым». И, разумеется, «за границу». Народных учительниц возили даже и сим гордились: это же так необходимо — «для просвещения»! Ну, вот и домотались. В чужие соборы шли, все галереи истоптали, а «Икону» свою открыли перед самым провалом в ад. Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомянешь... — да как же ты Север-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую — церквушки наши..! А видел ли российские каналы — великие системы, молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга? А что же в подвал-то не спустился, не поклонился священной тени умученного патриарха Гермогена?[3] А как же... ? Не спорьте, это кричит во мне, а если кричит — правда. Той же правдой лежит во мне и Куликово Поле.

Попал я туда случайно. Нет, не видел, а чуть коснулся: «явлением» мне предстало. Было это в 26 году. Я тогда с дочерью ютился в Туле, под чужим именем: меня искали, как «кровопийцу народного». И вот, один мукомол-мужик, из Старо-Юрьева, под Богоявленском, как-то нашел меня. Когда-то был мой подследственный, ни в чем совершенно неповинный, попавший в трагическую петлю. Я его спас от каторги. Он перебрался со старого гнезда, — тоже, понятно, «кровопийца», — и жил у станции Волово, по дороге к Туле. Как он прознал, где я..? Написал знакомому туляку — «доставь спасителю моему»; и я получил записку: «по случаю голодаете, как слыхать, прибудьте екстренно, оборудуем». Приехал я в Волово, в замызганной поддевке, мещанином. Было в конце апреля, только березки запушились. У него-то и повстречал участника «действия первого». Тот ютился с внучатами у того «кровопийцы»-мукомола, дальнего по родне, бросил службу в имении, отобранном под «совхоз», где прожил почти всю жизнь, — таки-доели! — был уже очень слаб, все кашлял, после и помер вскоре. И вот, от него-то и слышал я...

Случилось это в 25 году, по осени. Василий Сухов — почему-то все его звали Васей, хоть он был седой, благообразный и положительный, только в глазах его светилось что-то открыто-детское, — служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у старинных дворян Ахлябышевых. Надо сказать, что по соседству с этим имением лежало «Княжье», осколок когда-то обширной вотчины, принадлежавшей барину Средневу, родственнику Ахлябышевых и потомку одного из дружинников Димитрия Донского; дружинник этот бился на Куликовом Поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое «Княжье» тем же купцам на усадьбу в Туле с большим яблонным садом. Отметьте это, о Средневе: речь о нем впереди. Лесное имение купцов расположенов Данковском уезде и прихватывало ку-

сок Тульской губернии, вблизи Куликова Поля. А «Княжье», по каким-то приметам стариков, — отсвет предания, — лежало «на самом Поле». Тех купцов выгнали, имение взяли под «совхоз», а Василий Сухов остался тем же лесным объездчиком. При нем было трое внучат, после сыновей: одного сына на войне убили, другого «комитет бедноты» замотал в чеке, «за горячее слово». Надо было кормиться.

Вот и поехал как-то Василий Сухов в объезд лесов, а кстати дал порядочный крюк на станцию «Птань», к дочери, которая была за телеграфистом, — крупы обещала припасти сиротам. Смотался, прозяб, — был конец октября, промозглая погода, холодный дождь, захвативший еще в лесах. Василий Сухов совершенно точно помнил, что это было в родительскую субботу, в «Димитриевскую», в канун Димитрия Солунского[4]. Помнил потому, что в тех местах эту «Димитриевскую субботу» особенно почитают, и звала его дочь пирожка отведать, «с кашей»! — давно забыли, — и внучкам кусочек вез. «Димитриевская суббота» установлена церковью в поминовение по убиенным на Куликовом Поле, — и, вообще, усопшим, и потому называется еще «родительской». И это отметьте тоже. Продрог в полушубке своем протертом, гонит коня, до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый, Сухов его берег, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит рысью, — и вот — Куликово Поле.

В точности неизвестно, где границы давнего Куликова Поля, но в народе хранятся какие-то приметы, — старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховский[5] свежий отряд берег, дожидался нетерпеливо часа — ударить Мамая в тыл, когда тот погнал русскую рать к реке. Помните, у Карамзина: «Мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня...»?[6] Помните, как Сергий Преподобный, тогда игумен обители Живоначальной Троицы, благословил Великого Князя на ратный подвиг и втайне предрек ему — «ты одолеешь», — ? Дух его был на Куликовом Поле, а отражение битвы видимо ему было за четыреста с лишком верст, в обители, по слову жития его, писанного его учеником и очевидцем[7], — духовная телевизия!

По каким-то своим приметам Сухов определял, что было э т о «на самом Куликовом Поле». Голые поля, размытые дороги, полны воды, такие-то буераки, рытвины. Шпарит, ни о чем, понятно, не думает, какие уж тут «мамаи», крупу бы не раструсить, на грудь запрятал, — тр-рах..! — чуть из седла не вылетел: конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое..? К вечеру было дело, небо совсем захмурилось, дождь сечет. Огладил коня, отпрукал, — нет, пятится и храпит. Поглядел Сухов

через коня, видит — полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. Чего боится..? — подумал Сухов, — вся дорога в таких колдобинах, эта побольше только. Пригляделся, — что-то в воде мерцает... подкова, что ли..? — бывает, «к счастью». Не хотелось слезать, какое теперь «счастье»! Пробует завернуть коня, волю ему дает, — ни с места, уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы поуспокоился — нет, никак. Не по себе что-то стало Сухову, подумал: может, змею учуял... да откуда гадюке быть, с мученика Автонома[8] ушли под хворост. Сошел с коня, поводья не выпускает, нагнулся к луже, пошарил, где мерцало, — и вытащил... медный крест! И стало весело на душе: добрый знак. Старинный, зеленью-чернотой скипелось, царапиной мерцает, — кто-то, видно, подковой оцарапал. В этом месте постоянной дороги не было, пробивали, в распутицу, кто где вздумал, — грунтовая под лесом шла. Помолился Сухов на крест, обтер рукавом, видит — литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старину-историю, а тут самая-то история, Куликово Поле. Ходил купец тот с рабочими покопать на счастье, какую-нибудь диковинку и найдет: бусины были у него, кусок кольчуги серебряной, золотой раз перстень с голубым камушком добыли, а раз и бляху нашли, татарскую — говорили: месяц на ней смеется. С того времени больше пятисот лет сошло. Сухов и подумал: может, и этот крест с той поры, земля-целина, выбили вот проезжие. Стал крест разглядывать: поменьше четверти, с ушком, наперсный, накось — явный рубец, и погнуто в этом месте, — секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца-хозяина: порадовался бы такой находке, да нет его. И тут в мысли ему пришло: барину Средневу переслать бы, редкости тоже собирал, с барышней Олечкой своей копал, бывало... она и образа пишет, какая бы им радость! А это он про барина из «Княжьего», который усадьбу в Туле у купцов выменял и звал к себе Сухова смотреть за садом. Барин Сухову нравился, и барышня добрая такая была, такая ласковая-душевная, все про святых-мучеников знала и духовные стихи умела, — и в самую революцию Сухов собрался, было, уйти к нему, стало в деревне неспокойно, пошли порубки, а барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал в Сергиев Посад, там потише. А теперь везде одинаково: Лавру прикончили, осквернили, монахов разогнали, а кого и поубивали, нехристи, а мощи Преподобного... Го-споди!... — в музеи, сказывают, поставили[9], под стекло, глумиться. Посмотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько, комом душным застряло в горле. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, остро ему представилось, что все погибло, и ни за что! — «Обидой прожгло все-

го, — рассказывал он, —«будто мне в сердце прокололо, и стала во мне отчаянность... вну-ки... а то, кажется, взял бы да и ...» Опомнился — надо домой спешить. Дождь перестал, и посветлело будто. Смотрит — с заката прочищает, багрово там. Про крест подумал: суну в крупу, лучше не потеряется. Только хотел в седло, глядит — человек подходит, посошком меряет. Обрадовался душе живой: «стою у коня и жду, будто тот человек мне нужен». По виду — из духовных: в сермяжной ряске, победному, лыковый кузовок у локтя, прикрыт дерюжкой, шлычок суконный, седая борода, окладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью. И отлегло от сердца, — «будто родного встретил». Снял шапку и поприветствовал: «здравствуйте, батюшка!» Подойти под благословение — подумал, но удержался: а можно ли? До слова помнил тот разговор со старцем — так называл его.

Старец ласково покивал ему и сказал голосом приятным:

«Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Здравствуй, родимый».

От приятного голоса, от слов церковных, давно неслышимых, и от светлого взора старца — повеяло на Сухова покоем.

Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждения не входил, сказал только, что было ему «приятно», и — «так хорошо-приветливо поговорили». Может быть, и таил в себе. Только, словно обмолвился — смутился, когда сказал: «такой лик... священный, как на иконе пишется... в себе сокрытый». Надо отметить, что Сухов удивительно сдержанный, кроткой скромности человек, тонкой душевной деликатности, — такие встречаются в народе, и нередко. Не потому ли и называли его все «Васей»? Был у них разговор недолгий, но примечательный.

Старец сказал ему, — не спросил, а как бы удостоверил:

«Крест Господень нашел... как же ты думаешь...»

Сухову не казалось странным, откуда старец знает, что он нашел крест в поле: было это в дождливой мути, один на один с конем, старца и виду не было. И вовсе не удивило, что старец в мыслях его читал, — барину переслать бы крест, — видел его раздумье и не спросил, а как бы удостоверил, открыл ему самому, как его беспокоит дума, чтобы сберечь крест этот: «как же ты ду-маешь!» Так и объяснял Сухов: «пожалел меня словно, что мысли мои растеряны, не знаю, как бы сберечь мне крест, уж очень об этом думаю». Сказал старцу: «да, батюшка». И рассказал, как было: что это, пожалуй, старинный крест, здесь самое Куликово Поле, битва была с татарами в старые времена; может, и крест с убитого, есть примета, саблей будто посечено... и вот, раздумался, верному человеку пе-

реслать бы, сберег чтобы, а ему негде беречь, время теперь неверное... «раньше у господ жил, потом у купцов, а нонче... у кого и живу — не знаю». И стало тесно ему в груди, от жалости и к себе, и ко всему, что было, — «вся погибель открылась», — и он заплакал. Старец сказал — «вразумительно»:

«Не сокрушайся, милость послал Господь, святое *благовестие*: Крест Господень — знамение *спасения*».

И от слова старца стало в груди свободно, «будто всю тягость сняло». И тут увидел: «сделалось поле красным, и лужи красные, будто большая кровь... так никогда не видел». Понял, что от заката это — багровый свет. Спросил старца: «далече идете, батюшка?»

«За Москву, *вотчину* свою проведать».

Не посмел Сухов спросить — куда. Подумал: «что я, дследчик, что ли, непристойно доспрашивать, скрыто теперь живут... с места решили, может, идет на родину...» Сказал только: «есть у меня один барин, хороший господин, ему бы вот переслать, он сберег бы... да далеко уехал... а здешние они, у самого Куликова Поля старое их именье было, к тому вон леску... звалось Княжье. Уж давно в Сергиев Посад уехал, у Троицы, думалось — там потише». Старец сказал:

«Туда и я путь держу. Отнесу *благовестие* господину твоему».

Обрадовался Сухов, и опять не удивило его, что старец идет туда, — «будто бы так и надо». Сказал старцу: «сам Господь вас, батюшка, послал... только вот как вы разыщете, где они на Посаде проживают... скрытное теперь время, строгое... звать их Георгий Андреич Среднев, а дочка у них Олечка, образа пишет, только всего и знаю». Старец сказал:

«Укажут на Посаде, там меня знают, есть там нашего рода»[10].

Радостью осияло Сухова, «теплом согрело», и он сказал: «уж и поклон от меня снесите... скажите, батюшка, кланяется им Вася Сухов, который лесной объездчик, они меня давно знают... а ночевать-то, батюшка, где будете? Позвал бы я вас к себе, да время теперь лихое... и церковь у нас заколотили...» Ста

2

17.I.1942 1ч. дня
2-ое письмо с «Куликовым Полем» <...>

То письмо кончалось: «“да, время теперь лихое... и церковь у нас заколотили... ” Ста» — продолжаю: — рец ласково посмотрел на Сухова — «весело так, с приятностью», и сказал ласково-приятно:

«Спаси тя Христос, родимый. Есть у меня, где пристать».

Принял старец от Сухова крест, приложился благоговейно и положил в кузовок, на мягкое. «Как хорошо-то», — сказал Сухов: радостно ему было, не хотелось со старцем расставаться: «черные у меня мысли были, а теперь веселый я поеду... — поговорить хотелось, — а еще думалось, по почте если послать, да улицы не знаю, доспрашивать еще станут, да насмеются, да... где, скажут, взял, да не церковное ли утаил от и х, заканителят, нехристи...»

Сказал старец:

«Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Господь с тобой, поезжай... скоро и свидимся».

И старец благословил его. Приложился Сухов со слезами к благословившей его деснице. И долго смотрел с коня, пока не укрыли сумерки.

Когда Сухов рассказывал, как старец благословил его, — опять заплакал. Тайный, видимо, смысл придавал он последнему слову старца: свидимся, — знал, что недолго ему осталось жить на земле? Действительно: виделся с ним я в конце апреля, а в сентябре он помер, писали мне. Он, несомненно, верил, что было ему явление, но скромность и сознание недостоинства своего не позволяли ему свидетельствовать об этом явно.

В этом «первом действии», как видите, нет ничего «чудесного»: намеки только и совпадение, которые можно принять по-разному. Сухов не истолковывал, не искал, не пытался ощупывать, а принимал, как сущее, «в себе сокрытое», — так прикровенно-точно определил он «священный лик». Вот — простота приятия верующей душой. Во «втором действии», в Сергиевом Посаде, — люди иного рода: как вы увидите, там приятие происходит по-другому: происходит мучительно, с протестом, как бы с насилием над собой, с ощупыванием, и, в итоге, как у Фомы, — с надрывом и восторгом. И это психологически понятно: празднуется победа над злейшим врагом — неверием[1].

II

Должен сказать, что рассказ Василия Сухова о встрече со старцем на Куликовом Поле не оставил во мне впечатления, что было ему явление и как бы знамение, а просто — несколько странный случай, странный по совпадениям, с мистической окраской. Мистику эту и совпадения приписывал я душевному состоянию рассказчика, и это вполне понятно: Василий Сухов, простой православный человек, верил, что поруганная правда должна восторжествовать над злом, что

[1] *Далее было*: Янв. 39.

она скажется, и так естественно, что тот случай на Куликовом Поле мог ему показаться знамением свыше, знамением спасения. В таком состоянии душевном мог он и приукрасить «явление» ему старца, и вполне добросовестно, невольно. Мне он не говорил, что было ему явление, и сокровенного смысла не раскрывал, а принял благоговейно, просто.

Вернувшись в Тулу, я никому не рассказывал о том, что слышал от Сухова в «Волове». Впрочем, дочери рассказал, и она не отозвалась никак. Но месяца через три, попав в Сергиев Посад, я неожиданно столкнулся с другими участниками «случая», и мне осязательно открылось, что тут не «случай», а явное знамение свыше. И тогда рассказ Сухова наполнился для меня глубоким смыслом. Знамение свыше... — это воспринимается нелегко, так это ныне необычно, особенно здесь, в Европе. Но там, в Сергиевом Посаде, в августовский вечер, в той самой комнате, где произошло явление, вдруг озарило мою душу, и я принял знамение с благоговением. Я видел восторг и слезы чистой и чуткой девушки, и как бы читал в открытой — вере — душе ее. И вот тогда-то я и повел свое следствие, и сам, неожиданно для себя, одним ударом разрушил последнее сомнение цеплявшегося за «логику» — Фомы-интеллигента. Не передать словами, что испытывал я тогда: это — вне наших чувств. Что могу ясно выразить — это одно, определенное: что я привлечен в свидетели, привлечен чьей-то высокой Волей. А для чего, — это судить не мне. Но что я тогда почувствовал, пережил в миг неизмеримый... — выразить это я бессилен. Ну, как передать, что... времени не стало... века сомкнулись... прошлое стало ныне, будущего не существует, а все — ныне, и — все открылось, все — как бы — в едином миге! — и это меня не удивляет? В миг озарило — и пропало. Жалок земной язык. Можно вязать слова, но опалившего душу озарения... — нет, передать это невозможно. Но попытаюсь восстановить, как было.

Жизнь моя в Туле, призрачная, под чужим именем «мещанина Подбойкина», под непрестанным страхом, что сейчас и разоблачат, и ... — стала невмоготу. Теперь не могу понять, почему я, следователь-психолог, раскрывший сложнейшее, в течении восьми лет укрывался в Туле, где меня легко могли опознать, и не раз узнавали приезжие из Богоявленска. Какая-то безысходность, будто пробка в мозгу застряла, — какое-то непостижимое оцепенение. Самое, кажется, простое — ехать в Москву, острая полоса прошла, в нас, юристах, была нужда, — ну, сунули бы куда-нибудь коллеги, мог бы найти какое-нибудь «нейтральное» занятие, предложил бы полезный курс — «психоло-

гические приемы следствия»... — надо же молодежь учить. Ничего в голову не приходило, — пробка и пробка. Учил грамоте оружейников, помогал чертежникам с завода, торговал на базаре картузами, клеил гармоньи. Дочь давала уроки музыки новой знати. Кой-как перебивались. Тула издавна музыкальный город, славен гармоньями на всю Россию. Не этим ли объяснить, что началась, прямо, эпидемия — «на верти-пьяных»? Все желают «выигрывать на верти-пьяных разные польки и романцы». И выпало нам «счастье» — навязалась моей Надюше... «Клеопатра»! И по паспорту — Клеопатра, разумею в кавычках, потому что сожительствовала она с «Антошкой». Так и говорили уцелевшие интеллигенты: «Антошка и Клеопатра». А «Антошка» этот был никто иной, как важная птица из Че-Ка, или Особ-Отдела, так сказать — мой «коллега» — «по пресечению преступлений»... разумеете? Бывший, кажется, быкобоец. И вот, эта «Клеопатра», красавица-тулячка, глупое и добрейшее существо, — походя пряники жевала и щелкала орешки, — и навязалась: «ах, выучите меня на "верти-пьяных"»! Мучилась с ней моя Надюша больше года. Инструмент у девицы был — чудесный беккеровский рояль, концертный. А Надюша окончила консерваторию «на виртуозку», готовилась к карьере первоклассной пианистки, и вот... «на верти-пьяных»! Забылась как-то, с «Шопеном» замечталась... — и вдруг, будто бревном по голове — звериным ревом: «лихо наяриваете, ба-рышня!» «Антошка», во всей красоте, с наганом. А «Клеопатра», в слезах восторга: «ах, выучите, ради Господа, и меня такому!» Все-таки польку могла стучать и была в восторге. Посылала кульки с провизией, «папашке вашему табачку», то-се. С отвращение, со стыдом, но... принимали. Тошно, безвыходно, от-вратительно... — и это при моем-то «ясновидении»! Бывало, мужики — «наш следатель под землю на три аршина видит!» — и вот, такое бессилие: засела пробка, полное отупение. В «Волово» поехал к мукомолу не от крайней нужды, а чтобы как-нибудь сбросить оцепенение, вышибить эту «пробку». И мукомол советовал: «ныряйте, Сергей Николаич, в Москву, большая вода укроет!» Но «пробка» сидела и сидела. Или — так нужно было? чего-то не хватало? И вот, это что-то и стукнуло.

Вскоре после поездки моей в «Волово», в начале мая, приходит моя Надюша, пополовелая[1], остановилась у косяка и такими страшными, недвижными глазами, ужаса и конца, смотрит в меня, и шепчет: «папа... конец...». Это слово — конец прошло мне холодом в ногах: пришло то, о чем мы с ней знали молчаливо: «если оно случится», — да, конец: другого исхода

[1] Здесь: побледневшая *(рус., устар.)*

не было. И оно случилось: «все известно». Мы еще на свободе и можем собой распорядиться... Надюшу жалко, юную мою... Но что же делать?... Грозит позор, по-зор!.. В то утро мая «Клеопатра» разнежилась с чего-то и решила обрадовать Надюшу: «а что вы думаете, мой-то все-о... про вашего папаньку знает, как он рабочий народ засуживал... но вы не бойтесь, и папаша чтобы не боялся... мой говорит — "я его устрою на хорошую должность, в помощники себе возьму, в заследатели, по Особ-Отделу, а то все негодящие, дела спят..." — и жалованье положит, и еще будет натекать, будете жить, как люди». И вдруг, когда я думал о «конце», вышибло мою «пробку»: бежать в Москву! Вернулась воля. Кинулся на вокзал — поезд когда отходит, велел Надюше самое необходимое собрать. Бегу на вокзал, в голове пусто-пусто, взываю только — «Господи, помоги...» — забыл молиться. И уже вижу — вспомнил вдруг! — возможность: в Москве Творожников, кто-то говорил недавно... в гору у них пошел. А это был когда-то ко мне прикомандирован, для стажа, кандидат на судебные должности, очень ловкий, способный, последнее время товарищем прокурора был. Расстались мы с ним друзьями. Только бы разыскать его! Вхожу в вокзал, спрашиваю про поезд, а мне кто-то, сердито: «как вы сюда попали, уходите, пока целы... главная комиссия отъезжает, Раб-крин!» Контрольная рабочая инспекция! Метнулся, попал в боковую залу, а там... «губернатор» наш, тянется перед кем-то, и еще из Особ-Отдела, с наганами... и слышу — «Сергей Николаич... вы?!» Он! Самый Творожников, о ком только что в голову пришло. Там такие «случайности» бывали, многие это подтвердят. Теперь, что-то мне в этом видится. Но уточнять не буду, примите за «случайность».

Произошло все головокружительно. Творожников подошел ко мне, сухо спросил — «устроены?» Я ему в двух словах. Понял молниеносно, вынул летучий бланк и тут же, на портфеле, великолепнейшим стило — чирк! — «Явиться в Москву немедленно, в распоряжение...» — словом, универсальная отмычка ко всем дверям! Шел я домой, как пьяный, дышал, после стольких лет. Словом, — «счастливый случай».

Устроился нейтрально, «по архивам»: разыскивать и приводить в порядок судебно-исторические дела, с обвиняемым-коллективом: действия скопом, бунты и прочее. И я разыскивал и приводил в порядок, взяв «уездную секцию». Съездил в Клин, в Дмитров, и в середине августа выехалв Сергиев Посад, — сам себе намечал маршруты. Нет, о помещике Средневе не думал, «случай» на Куликовом Поле пропал из памяти... а захотелось увидеть Лавру, толкнуло «к Троице». Ни разу не собрался, когда все было, а тут — погляди — остатки. И я поглядел остатки... и увидал — нетленное. Но в каком обрам-

лении, в каком надрывающем разломе! Не повидал при свете, теперь погляди во тьме.

Приехал я в «Сергиево» утром. Было уже не «Сергиево», а... кажется, Загорск...[11] не помню. И первое что увидел на платформе... — дурак ломается, в кумачевой ризе, с льняной бородой, в митре из золотой бумаги, — коренником с монахом и монашкой, — разнузданные «безбожники»-подростки. У монаха ночной горшок в веревочках — кадило, у монашки ряска располосована, голые ноги видно, в руке бутылка, затылок бритый. И эта тройка вопит: «к обедне, товарищи, в клуб безбожников, доклад товарища из Москвы, про обман-литургею у попов!» И не смотрят на дураков, привыкли. Иду к Посаду, дорога у овражка, и вот, лезет из лопухов кудлатая голова, рычит: «обратите энтелегентное внимание, без призвания прозябаю... бывшему монаху-канонарху!» Отмахнул портфелем, а он пивной горечью на меня: «энтелегенты-плевелы... из-за вас вот и прем в безбожники!» И тут увидал я солнечно-розовую Лавру. Она светилась, веяло от нее покоем. Присел на столбушек у шоссе, смотрел — и думал. Сколько пережила она за свои пять веков! сколько светила людям! И знаете, что почувствовал? И сам не понимаю, с чего пришло на мысли, будто как озарило вдруг: «сколько еще увидит жизни..!» Поруганная, плененная, сияла она — нетленной. Было такое чувство: все, что вокруг творится, — дурманный сон, призрак, ненастоящее... а вот это — живая сущность, творческая народная идея, завет веков... это — нетленное. Можно разрушить эти стены, испепелить, взорвать, и ея это не коснется. Высокая розовая колокольня, сияние, золотые купола... — не грустью отозвалось во мне, а осветило.

У меня был ордер на прежнюю монастырскую гостиницу, у Лавры. И вот, выйдя на площадь, вижу: ворота Лавры затворены, сидит красноармеец, проходят в дверку военные, и так — с портфелями. Там теперь, говорят, казармы. Недалеко от святых ворот толпится кучка, проходят горожане. Слышу мучительно-надрывный выкрик: «абсу-урд!.. абсу-у-урд!..» Спрашиваю какого-то, что это. Он косится на мой портфель и говорит уклончиво: «та-ак... недавно выпустили, а он опять на свое место, к Лавре... да он невредный». Вывернулся оборванный мальчишка, мерзкий, в одной штанине, скачет передо мной за ноздрю рак защиплен, и на ушах по раку, болтаются вприпрыжку, и он гнусит: «товарищ комиссар... купите-с... раков!» — гадость говорит и передразнивает кого-то: «аб-сурд! абсурд!» Прямо, бедлам какой-то. И вот, монастырские часы — четыре певучих перезвона, ровными переливами, — будто у них свое, — и гулко, мерно отбили — 10. И снова — «абсу-урд!.. абсу-у-урд!..» Я подошел взглянуть.

На сухом навозе сидит некто, в хорьковой шубе, босой, лысый, черно-коричневый, с загара; череп — отполированный до блеска, лицо аскета, мучительно-напряженное, с приятными, тонкими чертами, остренькая, торчком, бородка, и... золотое пенсне, без стекол; шуба на нем без воротника, вся в клочьях, и мех, и верх. Сидит к Лавре лицом, разводит перед собой руками, вскидывает плечами и с болью, с недоумением, из последней, кажется, глубины, выбрасывает вскриком — «абсурд! абсу-урд!..» Я различаю в бормотаньи, будто он с кем-то спорит, в н у т р и с е б я: «это же абсолю...тно невозможно!.. это же контрадикцио ад-адверзум!.. абсолю...тно..!»[1] Мужики, с кнутьями, — видимо, приезжие, крестьяне, глядят на него угрюмо, чего-то ждут. Слышу сторожкий шопот: «ад, говорит, отверзу-у..! обсолю-у..! вон чего говорит!» Спрашиваю, посадского по виду, кто этот человек. Говорит осмотрительно: «так, в неопрятном положении... а уче-ный, примандацент, юродный вроде, в мыслях запутался... да он невредный, и красноармейцы не гоняют, и народ ничего, жалеет, хлебца подают... а конечно, которые антересуются, деревенские, не скажет ли подходящего чего, вот и стоят над ним».

Вот как встретил меня Сергиев Посад.

3

4.II.42 8–45 вечера
22 янв. ст. ст.
3-ье письмо с отрывком «Куликова Поля» <...>

Ну, продолжаю:

«Куликово Поле» — посв. Оле, урожд. Субботиной

Побывал в горсовете, осмотрелся. В Лавру я не пошел, н е м о г. Бродил по безлюдным улочкам, по травке, с домиками на пустырях, с пустынными садами без заборов. Я человек уездный, люблю затишье. Выглянет в окошко чья-нибудь голова, поглядит испытующе, проводит. Покажется колокольня Лавры над садами. Увидал в садике цветы, кто-то под бузиной, в лонгшезе, читает книгу. Подумалось: «хорошо здесь, тихо... да, здесь, будто, и ж и в у т». Вспомнил, что сюда многие укрылись, кончил дни свои Розанов, Лев Тихомиров, «леонтьевец» — доцент Александров[12], писали свои картины художники, стреляли галок для пропитания... приехал из Тулы помещик Среднев. Вспомнилось — «там потише»... — кто же так сказал? Да, Сухов, Вася... — и всплыл его рассказ, забы-

---

[1] Противоречие между определяемым словом и определением (*от лат. contradictio in adjecto*).

тый. А, тут Среднев, тот... В грусти бесцельного блужданья нашел отраду — повидать Среднева? Я его знавал, встречались в земстве. Расскажу про Сухова, поклон снесу, справлюсь, донес ли старец с Куликова Поля крест. Справиться бы у кого, где же тут проживает Среднев... И вижу: сидит на лавочке у ворот почтенный человек, —

4

7.II.42, 11 ч. вечера
8, утро 11 ч.

Милая Ольгуша, наконец-то — к продолжению твоего «Куликова Поля». Прерывать не стану. Читай все вместе, иначе ослабишь восприятие.

...И вижу: сидит на лавочке у ворот почтенный человек, в чесуче, борода, как у патриарха, в очках; читает, в тетрадке помечает, и на лавочке стопка книг. Извиняюсь, спрашиваю: не знает ли, где тут помещик Среднев, из Тулы, приехал в 17 году. Любезно отвечает: «да как же-с... отлично знаю Георгия Андреича, книгами одолжаемся взаимно». Знакомимся: «бывший следователь»... — «бывший профессор Академии...» Среднев проживает через квартал: голубой дом, покойного профессора Воздвиженского[13], друга Василия Осиповича Ключевского. «Рыбку, бывало, ловили вместе в прудах Вифанских, с особого разрешения наместника... какие беседы были, споры... в с е прошло». Слово за слово, разговорились. — «В Лавре были? Да, понимаю, понимаю... “Абасурд”-то? Наш бедняга, Сергей Иваныч, приват-доцент, любимый ученик Ключевского... не выдержал н а п о р а, “абсурд” помрачил его. Это теперь наш Иов на гноище. Библейский тягался с Богом, о с е б е... а наш мучается “о всех и за вся”, и не может принять, как а б с у р д, что «ворота Лавры з а т в о р и л и с ь, и лампады п о г а с л и»[14].

Старый профессор говорит много и горячо. В окно выглядывает встревоженное милое лицо сребpayволосой старушки, в черной наколочке. Я кланяюсь. — «Василий Степаныч, не волнуйся так... тебе же вредно, дружок...» — ласково говорит она и прячется. — «Да, да, голубка, не буду...» — ласково говорит профессор, и опять начинает, горячо: о нашем страшном, «апокалипсическом» — говорят теперь. — «Не так это. Как раз я продолжаю свою работу, сличаю греческий текст. Сегодня как раз читаю... — указал он карандашом, — 10 глава, стих 6: “И клялся Живущим... что времени уже не будет...”[15] — и дальше, про «горькую книгу». Не то еще... далеко еще до сего. Времена, конечно, “апокалипсические”, говоря условно».

Мы говорим, — вернее, говорит он, я слушаю. Говорит о

«нравственном запасе, завещанном нам великими строителями нашего нравственного порядка...» — ссылается на Ключевского. — «Обновляем ли запас этот? иссяк ли он? Нисколько. Потенциал огромный. З д е с ь, только еще за день до нашего «абсурда», в народных толпах у гробницы Угодника, было тому свидетельство нагляднейшее. Бедняга Сергей Иваныч смешал "залоги", выражаясь фигурально, этимологически-глагольной формой. Вам неясно, как это "смешать залоги"? Я сейчас объяснюсь...» И опять, милая старушка тревожно его остановила: «Василий Степаныч, дружок... тебе же волноваться вредно...» — «Да, да, голубка... не буду». — «Вы видите... какая нежность, ласковость, теплота... и это 45 лет, со дня нашего брака, неизменно. Этого много и в народе. Видимой п р и з р а ч н о с т и не верьте. Сергей Иваныч увидел себя ограбленным, во всем: в вере, в науке, в народе, в правде. Он боготворил учителя, верил в его прогнозы. И он прав, но... он смешал "залоги". Вы помните, у Ключевского? в его памятном и знаменитом слове о Преподобном Сергии?.. Не помните... Ну, я напомню. Но предварительно замечу: народ нисколько не изжил "нравственного запаса", народ — и я это знаю по проверкам в самом народе, — в е р и т, и как-то з н а е т, что Преподобный —з д е с ь, с ним, со всем народом, во всем народе... Он х о д и т п о н а р о д у, как говорят у нас здесь, с о к р ы т ы й. Раз есть такая вера, "запас" далеко не изжит! да и не изживался. Как это объяснить? Глядите в душу народную, внимательно вдумайтесь во в с е. Все э т о, эта оглушающая нас видимость, — лишь испытание крепости "запаса". Так я верю, и вижу так. И не усматривайте в словах Ключевского... я их сейчас напомню, — горестного пророчества, якобы исполняющегося ныне. Что, "залоги"? Да, спутал Сергей Иваныч, как многие, слишком пристрастно мыслящие, слишком уж оглушенные. Все окаянное, что содеяно и творится... — но только н е народом, а во-имя якобы народа... — а Лавра — символ, над чем творится глумление... — все это как бы "залог с т р а д а т е л ь н ы й"... а у Ключевского, как я сейчас процитирую, сказано в ином залоге». Я, сознаюсь, не понял. — «Да это же так просто, и вы поймете меня и согласитесь со мной!» — воскликнул Василий Степаныч, косясь к окошку: — «Ключевский — и весь народ, если поймет его речь, признает его правым, — так заключает свое знаменитое слово о Преподобном: "Ворота Лавры Преподобного Сергия з а т в о р я т с я и лампады п о г а с н у т над его гробницей — только тогда, когда мы растратим наш нравственный запас без остатка, не пополняя его". Дерзнем ли утверждать, что мы "растратили без остатка"? Нет? Конечно, бесспорно, ясно! Мы все — в стра-да-нии! Ныне же видим: ворота з а т в о р е н ы, и лампады п о г а ш е н ы!.. — А в каком «залоге» дано Ключев-

ским? В стра-да-тельном ли?![i] А тут, ныне — стра-да-тельное, н а с и л и е! И народ-то, во всяком случае, в э т о м неповинен. Не о н затворил ворота, не о н погасил лампады. Свой “запас нравственный” он н е с е т, и в страдании пронесет его, и — сполна донесет до той поры, когда ворота Лавры р а с т в о р я т с я, и лампады з а т е п л я т с я! Не правда ли?..»

Я не успел ответить, как милый голос из комнаты взволнованно подтвердил — «святая правда!.. но не волнуйся же так, дружок». Василий Степаныч обмахивался платком, лицо его горело. Устало сказал: «тяжело... в комнатах душно, в саду тоже... и я выхожу сюда, тут вольней дышится». Часы с кукушкой отбили 6. Я поблагодарил профессора за интересную беседу, и опять думал: «здесь еще ж и в у т». Профессор сказал, что сейчас я застану Среднева, он с дочкой, конечно, уже пришел со службы, из своего «кустыгра». Я не понял. — «Все еще не привыкли к нашему словолитию? Георгий Андреич работает в отделе кустарей-игрушечников, и дочка с ним, рисует образцы для резчиков. Сколачивают усиленно... — это между нами, — на дальний путь. Напрасно. “Камо пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего камо бежу?”[16] Через квартал, направо, увидите приятный голубой домик, на воротах еще осталось — «Свободен от постоя», «Дом действительного статского советника и профессора Арсения Вонифатьевича Воздвиженского». Смеялся, бывало, Василий Осипыч, называл «пышной эпитафией» и добавлял: «Жития его было...»

Шел я, приятно возбужденный, освеженный, — давно не испытывал такого. И розовая колокольня Лавры с в е т и л а мне.

III

Домик «действительного статского советника» оказался обыкновенным посадским домиком, в четыре окна, со ставнями, с прорезанными в них «сердечками», но развесистая береза и высокая ель придавали ему приятность. Затишье тут было полное, — вряд ли тут кто и ездил: на немощеной дороге росли лопухи с крапивой и просвирник. Я постучал в калитку — отозвалась блеяньем коза. Прошелся, поглядел на запущенный малинник, рядом, — за развороченным забором ходила коза на привязи. Подумал — ждать ли, и услыхал шаги: оказалось — хозяева сегодня запоздали, получали сушеного судачка в кооперативе. Мы узнали друг друга сразу, хоть я и поседел, а Среднев подсох и пооблысел, и в парусинной «толстовке» смахивал на матерого партийца. Олечка его мало изменилась: такая же темно-русая головка, и удивительно свежий цвет лица, только

---

[i] *Вместо*: ли — *было*: залоге.

лучистые[i], ясные-ясные, серые с голубинкой, глаза ее как-то поуглубились и призадумались.

После приглядыванья друг к другу, — выработанная опытом шаткой жизни предосторожность, — наш разговор наладился. Средневу повезло, осел у родственника-профессора, профессор недавно помер, а его внук-партиец получил назначение в Ташкент и оставил им дом на попечение. Потому все и уцелело, и ржавая железка — «Свободен от постоя» — оказалась как раз по времени. Все осталось по-прежнему: иконы, портреты духовенства, троицкие «лубки», библиотека, кабинет с рукописями и свитками, пыльные пачки «Русских ведомостей», удочки в углу и портрет Ключевского на столе, с дружеской надписью: «рыбак рыбака видит издалека». На меня повеяло покоем исчезнувшего мира, и я вздохнул: «все в прошлом!» Олечка отозвалась из другой комнаты: «нет, все с нами, есть!» Среднев подмигнул мне: «для нее прошлого не существует, теперь... все неизменно, вечно, не гераклитовское движение, — и все — живое». Я промолчал, в философии я профан, помню из Гераклита одно только... [ii] что «все течет». Но Среднев любил пофилософствовать. — «У ней все теперь, как говорится, — “через призму религиозного восприятия”, — продолжал он, понизив голос, — и весь наш ”абсурд” теперь нисколько ее не подавляет, он вне ее. Некое, как говорится, духовное просветление. Вот, говорите, видели вы нашего ”Иова”... его смололо, все точки опоры растерял, и теперь из тьмы своей вопиет... ”о всех и за вся”, как говорится...» — «Не кощунствуй, папа! — крикнула Олечка с укором, — помимо своей воли, не постигая уже в потемнении своем, кто он, — он как бы Христа ради юродивый теперь, в нем правда вопиет к Богу, и народ это понимает и принимает по-своему». Среднев опять почему-то подмигнул мне. Мне его жесты не нравились, как-то он упростился. — «А знаете, как мужики выуживают из его темных словес свое? Слабость наших философов известна: на десяток словечек семь иностранных. Так вот, путается он в темноте своей, шепчет — «наша традиция... наша традиция...» — а мужики свое слышат: «наше отродится!» А, как, недурно? — «И они правы!» — отозвалась Олечка. — «Они сердцем, верой своей живут, и им открывается». Я подтвердил, как из «ад-адверзум» вывели они «ад отверзу», а из абсолютно — «обсолю». Среднев захохотал, Олечка возмутилась: «Чего тут смешного, папа! Ну, да... они духовно[iii]-здоровы, не принимают

---

[i] *Далее было*: раньше.

[ii] *Вместо*: только — *было*: что-то.

[iii] *Вместо*: духовно — *было*: жизненно.

бессмысленного, безбожного "убийства живой жизни", и верят, что "ад" отворится, и все освободятся, и будет не гниение[i], а жизнь здоровая, чистая, крепкая — "обсолится", только нужно истинную "соль", а не ту, прежнюю, которая сама себя величала "солью земли", отвергла вечное, попустила гниение... и сама себя опустошила! Да, сама изжила себя!» Я[ii] вспомнил слова профессора — «изживет нравственный запас». Олечка верила, что «соль земли» изжила свой нравственный запас? Мне стало интересно. Но Среднев поднял с чего-то руки и помахал, с гримасой.

Осматривая кабинет профессора, я увидал медный осьмиконечный крест, старинный, тут же вспомнил о Сухове и спросил, не этот ли крест прислал им Вася Сухов с Куликова Поля. — «А вы-то откуда знаете?» — очень удивился Среднев. Я ему объяснил. Он крикнул Олечке. — «Для нее это чрезвычайно важно. Вы знаете, она верит, что нам явился... нет, лучше уж пусть она сама вам, если коснется... Нет, это профессорский... а тот она укрыла в надежном месте, и я даже не знаю... тот был поменьше, и не рельефный, а все выгравировано... несомненная старина... и, кажется, "боевой", с той, знаменитой Куликовской битвы... в лупу ясно видно, как посечено саблей... и где посечено — полоска зелени, а все остальное ясное...» Я, вспомнив рассказ Сухова, удивился: «ка-ак, ни черноты, ни окиси?!» — «Только где посечено, а весь крест, поразительно, дочего ясный!» Олечка вошла, очень взволнованная, — должно быть, слышала разговор. — «Скажите... — она говорила, стараясь унять одышку, — все, что знаете... я три письма послала, Вася не отвечает... хочу сама поехать. Для папы в этом ничего нет, он только анализирует, старается уйти от очевидности, и не видите, как все его умствования ползут. А вы сами... верующий?» Я ответил, что... маловер, как все мы, тронутые «познанием». — «Малым земным знанием, а не "познанием"!» — поправила она меня с улыбкой. — «Да-а... "чердачок" превалирует!» — усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб, и не без удовольствия.

Я передал рассказ Сухова подробно, насколько мог. Олечка жадно слушала, перетягивая на себе платочек. Чудесные глаза ее были полузакрыты, в ресницах стояли слезы. Когда я кончил, она переспросила взволнованно: «так и сказал — "священный лик"?.. "как на иконах пишется... в себе сокрытый"..?! Ты слышишь, папа..? а я... я что сказала... тогда..?!» Среднев пожал плечами: «ну... тождество восприятий! Бывают

---

[i] *Далее было*: духа жизни.

[ii] *Далее было*: почему-то.

старцы и очень даже иконописные...» Олечка ни слова не сказала, отвернулась.

Я видел все же, что Среднев говорит наигранно, и не без раздражения, и понял по его тону, что он и не так уж равнодушен к «случаю», как хочет показать это: слушал он меня чрезвычайно вдумчиво. Заинтересованный «случаем», — может быть тут сказалась и профессиональная моя привычка, «следственная», — я попросил рассказать, как они получили крест. И вот, что мне рассказала Олечка, причем Среднев вносил иногда поправки и добавления, в своем стиле.

Случилось э т о в конце прошлого октября. Весь день лил дождь, но к вечеру прояснело и захолодало. В тот день они получали в кооперативе — это они точно помнили, — подсолнечное масло и пшено, и вернулись домой поздней, часов около восьми. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как всегда делали, хотя проникнуть во двор было нетрудно с соседнего пустыря, — «как и выйти со двора», — поправил Среднев, — «забор полуразвален». Оля поставила варить пшенную похлебку. Слышали оба, как в Лавре пробило 8. Среднев читал газету. Оля лежала на диване, жевала корочку. Вдруг, кто-то постучал в ставню, как будто палочкой, — «точно свой». Они переглянулись — «да кто же это?» К ним заходили редко, только по праздникам, и всегда днем. Те, хозяева жизни, стучат властно, и в ворота. Оля приоткрыла форточку — как раз и постучали в то самое окошко, где была форточка! — и спросила негромко — «кто там?» Среднев через «сердечко» в ставне ничего не мог разглядеть в черной, как уголь, ночи. На оклик Оли кто-то ответил «приятным голосом»: «с Куликова Поля». Странно было, что не спросил, здесь ли такие-то... — знает их! Сердце у Олечки захолонуло, «будто от радости». Она зашептала в комнату — «папа, кто-то... с Куликова Поля..!» — и, не ждя ответа, крикнула — Среднев отметил — «радостно и радушно, как ж д а н н о м у»: «пожалуйста... сейчас отворю калитку!..» — «и стремительно кинулась к воротам», — добавил Среднев.

Небо пылало звездами, такой блеск... — «не было никогда такого». Оля отняла кол, открыла, увидала высокую фигуру, в монашеской наметке поверх скуфьи, и, «должно быть от блеска звезд», — пояснил Среднев, — показался ей лик пришельца — «как бы в сиянии». — «Войдите, войдите, батюшка...» — прошептала она с поклоном, чувствуя, как ликует сердце, и увидала, что отец вышел на крыльцо с лампочкой — посветить. Хрустело под ногами, от морозца.

Старец одет был бедно, в сермяжной ряске, и на руке лукошко. Помолился на образа — «Рождество Богородицы»и «Спас Нерукотворный», по преданию, из опочивальни Ивана Гроз-

ного, — и, «благословив все», сказал: «Милость Господня вам». Они склонились. Это, что и он склонился, Среднев помнил и пояснил: «как-то машинально вышло, от ощущения некой глубины слов, быть может». Он подвинул кресло, как бы предлагая старцу присесть, но старец не садился, а вынул из лукошка небольшой медный крест, «блеснувший», благословил им и сказал, «внятно и наставительно», по слову Оли, что подтвердили Среднев: «Радуйтеся Бл а г о в е с т и ю. Раб Божий Василий, лесной дозорщик, знакомец и доброхот, обрел Крест сей на Куликовом Поле и волею Господа посылает, во знамение Спасения».

— «Он — рассказывала Олечка, — сказал лучше, но я не могла запомнить». — «Проще как-то... — поправил Среднев, — но я невольно почувствовал какую-то... духовную? — силу в его словах». Они стояли — «как бы в оцепенении». Старец положил Крест на чистом листе бумаги, — Среднев накануне собирался писать письмо и так оставил, — и хотел уходить от них, но Оля стала его просить, — в ней все «играло» сердце: «не уходите... побудьте с нами... поужинайте с нами... у нас пшенная похлебка... ночь на дворе, останьтесь, батюшка... !» — «Вот, именно, про пшенную похлебку... это же было долго жданное нами блюдо... отлично помню», — заметил Среднев. С Олей творилось непонятное... — Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла: «нет, вы останетесь... мы не можем вас отпустить так... у нас есть совсем чистая комната, покойного профессора... он был очень верующий, писал о нашей Лавре... с вами нам так легко, светло... столько скорби... мы так несчастны!..» — «Она была, прямо, в исступлении!» — заметил Среднев. — «Не в исступлении, а так у меня горело сердце... играло в сердце... я была... вот, именно — б л а ж е н н а!» — сказала Оля. Она даже упала на колени. Старец положил руку на ее склоненную головку, она в д р у г успокоилась и встала. Старец сказал, помедля:

«Волею Господа пребуду до утра с вами».

Дальше «все было, как в тумане». Среднев не помнил, говорил ли он со старцем, сидел ли старец или стоял, — «был это как бы миг, будто пропало время».

5

8.II.42 11-40 утра
5-ое письмо с рассказом «Куликово Поле»

Продолжаю, милая Оля, «Куликово Поле».

...Но в этот «миг» Оля стелила постель в кабинете профессора, взяла все чистое, что нашлось. Лампадок они не зажигали, гарного масла не было. Но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и налила лампадку. И когда за-

теплила ее, — «вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках... теперь негасимая она...» — озарило ее сияние, и она увидала... Л и к. Это был образ Преподобного Сергия. Ее охватило священным ужасом. И до сего дня помнила она, как горело в ней сердце, как вздрагивало от слез с и я н и е.

В благоговейном и с в е т л о м у ж а с е, вошла она тихо в комнату и, трепетная, склонилась молчала, не смея поднять глаза. — «Что я в сердце своем держала... этого нельзя высказать словами[i], это выше сознания[ii]. Будто и сердца не было во мне, будто я рассталась с с о б о й... и меня, какой я знаю себя[iii], уже нет... а я... я, будто, д у ш у в себе сознала... нет, это нельзя словами...» — рассказывала, обливаясь слезами, Оля. — «Стала, как онемелая... ну, оглушенной она показалась мне!..» — заметил Среднев, явно взволнованный. А с ним ничего «особенного» не происходило. — «На душе... то есть, внутри меня... хорошо как-то было, уютно... только». Он предлагал «иноку» поужинать с ними, хотя бы напиться чаю... — «да чай-то у нас какой-то морковно-липовый был», — но старец уклонился, «как-то особенно тактично, не приняв, и не отказав»:

«Завтра день н е д е л ь н ы й, по вечеру не вкушается».

Среднев тогда не понял, что такое «недельный» день. Оля ему после разъяснила: «Значит это, что завтра воскресный день».

Оля так и осталась — «преклоненной», не сознавая себя, — «была г д е -то», Среднев велел[iv] ей поставить[v] в комнату, где[vi] постелила старцу, стакан воды, принести единственную, остававшуюся[vii] у них стеариновую свечу и спичку, — «мне тогда, помнится, все хозяйственное пришло в голову, чтобы все-таки некоторые удобства были для гостя нашего, — признавался Среднев, — но Оля не слыхала, не понимала[viii], — будто[ix] себя забыла». Среднев[x] отворил заклеенную обоями — «вот эту самую», — дверь в кабинет профессора, оглядел, «удобно ли будет гостю на клеенчатом диване, где была постлана чистая постель, под белым[xi] пикейным, одеялом, из Оличкина приданого, — и удивился: «как хорошо стало при лампадке, — давно

---

[i] *Вместо* запятой *было* многоточие.
[ii] *Вместо* точки *было* многоточие.
[iii] *Вместо* запятой *было* многоточие.
[iv] *Вместо:* велел — *было*: сказал.
[v] *Вместо:* поставить — *было*: принести.
[vi] *Далее было*: она.
[vii] *Вместо:* остававшуюся — *было*: сбереженную.
[viii] *Далее было*: словно.
[ix] *Далее было*: она.
[x] *Далее было*: тогда.
[xi] *Вместо:* белым — *было*: новым.

отвыкли!» Приглашая гостя движением руки перейти в комнату профессора, Среднев, — это он твердо помнил, — «почему-то ни слова не сказал, будто забыл слова, а только *очень вежливо и радушно* поклонился». Старец — видела Оля через слезы, — остановился в дверях, и она услыхала «последнее его к нам слово... слово *благословения*»:

«Завтра рано отойду от вас. Пребудьте в мире. Господь да благословит[i] *всех*».

И благословил широким знамением Креста, — «будто благословлял всех и вся». И затворился.

Оля все плакала. Отец недоумевал, что с ней. Она прильнула к нему и, как бывало в детстве, в слезах шептала: «ах, я не знаю, папа... не знаю, папочка... мне так хорошо, легко...» Она прильнула к его груди и плакала[ii], беззвучно. Это его до слез расстрогало. И он шепотом[iii], будто страшась нарушить *странную*, как бы[iv] *святую*, тишину», — так объясняла Оля, — признался ей: «странно... и мне с *чего*-то, так непонятно-хорошо!» — «Да, и не отрицаю... — рассказывал мне Среднев, — было такое чувство... ну[v], благоговейное, что ли... бывает иногда[vi], очень редко, когда что-то торжественное совершается, как бы таинственное, что ли... будто мне от[vii] Оли передалось... [viii] в психологии это называется[ix] “воздействием родственной души”: ее душевное состояние передалось мне, и я, как будто, понял, что с ней творится». Стараясь не стукнуть мебелью, Оля подошла к столу, перекрестилась на *светлый* Крест, видя сквозь слезы «сияние ослепительное», и, не касаясь руками, приложилась. Среднев хотел взять[x] в руки, но она не позволила, «страшным шепотом»: «не тронь[xi]»... Так Крест и лежал до утра, на белом листе, нетронуто.

Оле трудно было рассказывать. Среднев не спал в ту ночь: всякие думы думались, «о[xii] жизни». Чувствовал, что не спит и Оля. Она лежала и плакала неслышно. Но *эти* слезы были для нее *радостью*, «самой светлой». Ей *все вдруг* ос-

---

[i] *Далее было*: вас.
[ii] *Далее было*: плакала.
[iii] *Далее было*: едва слышно.
[iv] *Далее было*: церковную.
[v] *Далее было*: как говорится.
[vi] *Далее было*: такое.
[vii] *Далее было*: моей.
[viii] *Вместо:* передалось — *было*: сообщилось.
[ix] *Вместо:* называется — *было*: объясняется.
[x] *Далее было*: его.
[xi] *Вместо:* не тронь — *было*: не трогай.
[xii] *Далее было*: нашей.

ветилось, «как в откровении». Ей открылось, что «все — *живое*: все, что прошло, — *все есть*, как бы назад вернулось, или пропало время[i], перестало существовать[ii], «не принималось сознанием». Ни Среднев, ни я — не понимали, как ни старалась она сделать нам ясным это странное[iii] в человеке состояние. Для нее стало[iv] непобедимо-ясно, «до осязаемости», до ощутимости материальной, что покойная ее мама — с ней, и Шура, мичман, утопленный в море, в Гельсингфорсе[21], любимый, единственный брат у ней, — *жив*, и — с ней. И все, что было в жизни ее; и все, что она в [v] жизни видела, слышала, о чем помышляла[vi], мечтала, чего ждала... и все, что она помнила по книгам, — родное наше...[vii] — *живет*, и — с ней. И Куликово Поле, откуда *явился* Крест, — *здесь*, и *в ней*! «Не отсвет его в истории, а[viii] сущность его, *живая* ... — и теперь *ничего не* надо[ix]!» Она страшилась, что это с ней помрачение рассудка, и сейчас она все забудет, — но все становилось *ярче*, *просветлялось*. Ночи она не видела.

В ставнях рассвет, и утро[x]. Небывалое утро радости[xi] и неземного счастья, какого-то блаженного покоя[xii]. — «Да нет, словами это нельзя сказать!» Она хотела мне объяснить, как она чувствует, что «все вернулось[xiii], все — с ней, и в ней, и что все, все — *живое*». И чтобы дать мне понять ясней, она прочла, на память, из ап. Павла «К Римлянам»:

«И потому, живем ли, или умираем, всегда Господни...»[18]

«Понимаете,[xiv] *все живет*! у Господа ничто не умирает, у Господа... — *нет* утрат!.. все — в Нем, Господне!..»

Нет, я не понимал.

И вот, утро. Заскрежетал будильник. — 7. Среднев постучал, осторожно, в кабинет профессора. — ?... — молчание. Оля, странно как-то улыбаясь, сказала, громко: — «Войди — и уви-

---

[i] *Вместо* запятой *было* многоточие.
[ii] *Вместо* запятой *было* многоточие.
[iii] *Вместо:* странное — *было*: редкое.
[iv] *Далее было*: ясно.
[v] *Далее было*: своей.
[vi] *Далее было*: о чем.
[vii] *Далее было*: все перед ней явилось, «совсем живое».
[viii] *Далее было*: самая *живая*.
[ix] *Вместо:* надо — *было*: *страшно*.
[x] *Вместо* точки *было* многоточие, тире.
[xi] *Вместо:* Небывалое утро радости — *было*: Небывалое утро. Радости.
[xii] *Вместо* точки *было* многоточие.
[xiii] *Вместо* запятой *было* многоточие.
[xiv] *Далее было* многоточие.

дишь:[i] Он у ш е л». — «Но о н[ii] н е м о г уйти!» Оля сказала[iii], уверенно-спокойно: — «Как ты не видишь, папа... !? это же было я в л е н и е Св я т о г о !..» Среднев не мог поверить. Осмотрел комнату: постель не смята, лампадка догорала под нагаром. Оля взяла отца за руку и показала на образ Преподобного: — «Н е веришь?!..» Среднев н и ч е г о н е в и д е л, не мог поверить: для него это был — абсурд.

IV

Меня этот «странный случай» затронул двойственно: и как следователя — загадкой, которая должна быть разгадана здравым смыслом, и как человека, — явлением, близким к чуду, против чего поднимался все тот же мой «здравый смысл». Оля это почувствовала: рассказывая, она все время пытливо-тревожно вглядывалась в меня, спрашивая как будто: «и вы, как папа..?» Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление от моей веры, — сама она крепко верила: ей нужно была моя помощь, нравственная моя поддержка сломить маловерие отца. Мне ее стало жаль. И эта жалость к ней, ее «одинокость» между нами, неверами, заставили меня отнестись к «странному случаю» с особенно чуткой осмотрительностью.

Только один был выход из кабинета профессора, через их комнату, а они не спали. Так уверяли оба. Дверь из передней в сени Оля не запирала, — это облегчало выход без шума и не вызвало бы их внимания, если бы они хоть на миг забылись, — но парадная дверь была заперта на щеколду, которая падала в пробой. Среднев объяснял мне: нужно предположить единственное — они оба могли забыться, и о н тихо прошел в парадное. Не имеет значения, что щеколда осталась в пробое: случай со щеколдой — не их открытие, это делают все, когда надо уйти и запереть квартиру, если кто-нибудь остается, и не хотят будить. — «Мы всегда это делали. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит стойком щеколду, и...» Он повел меня в сени и показал. — «Смотрите, поднятая щеколда держится довольно туго... ставлю вот так, чуть наклонно, выхожу, захлопываю дверь... — и щеколда падает!» — сказал он уже за дверью. — «Какое же объяснение иначе..?!»

Оля упорно повторяла: — «Это было я в л е н и е!..[iv] Он у ш е л!..[v] для Н е г о н е т п р е г р а д».

---

[i] *Вместо* двоеточия *было* многоточие.

[ii] *Вместо:* он — *было*: О н.

[iii] *Далее было*: совсем.

[iv] *Вместо:* !.. — *было* многоточие.

[v] *Вместо:* !.. — *было* многоточие.

Среднев открыл парадное. В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо: след завалило снегом. Оля показала на крыльцо: — «Завалило снегом..? Но раз отворялась дверь, она бы загребла снег, а снег лежит совершенно ровно, нетронуто!» Среднев и тут объяснял «логично»: «значит, ушел до снега!» Вероятности полной, конечно, не было, но... можно было пройти неслышно, когда они забылись, можно было и сделать со щеколдой. Кол подпирал калитку, как было с вечера, но и тут... — можно было пролезть в малинник, забор развален.

Доводы Среднева были скользки, но нельзя было возразить, что это невозможно: тут не страдала «логика». Для него, как и для меня, чудо было гораздо невозможней. Оля смотрела на нас с грустной, жалеющей улыбкой, но могла защищать свое, единственно, только верой. Среднев веры ее не разбивал, признавал, что рассказ мой «еще больше сгущает впечатление, что старец достойнейший человек, великий инок». Объяснял и мотив «явления». — «Несомненно, это человек тонкой душевной организации, — говорил он, — чуткий к народному страданию и большой психолог. Находка Васи... только вообразите! — крест, с Куликова Поля!... какой же си-мвол! Он сразу понял, что этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду на скорое освобождение... эффект совершенно исключительный! Заметьте его прием, и с Васей, и с нами... его ободряющие слова — «господь посылает — милость... благовестие!» Пять веков назад русский князь разгромил Мамая, татарское иго, тьму... с благословения Преподобного. И вот, эта находка, эта встреча в поле, и... мысль — символ-то какой! И вот — “голос Куликова Поля”: уповайте! и повторится чудо, падет иго наистрашнейшее, Крест победит его! И он принимает на себя миссию, и идет... к нам, в вотчину Преподобного, откуда и воссияет — вторично! — свет. Я искренно расстроган, я перед ним преклоняюсь, за идею! я готов руку поцеловать у этого светлого пришельца!.. А этот уход таинственный — какое тончайшее воздействие! обвеять тайной... — как-бы граничит с чудом! Ведь если такое... «явление» — бросить в массы народные..! Но мы не можем содействовать, вы понимаете. Кто поверит нам, интеллигентам? Оля рассказывала немногим, верным, но этого недостаточно. Надо на площадях кричать, надо... объявить Крест! надо... принять крест[1]. Это лишь повело бы к новым жертвам. Она хотела... принять крест. Я удержал, я умолял ее... — взволнованно шептал мне Среднев, — Крест далеко отсюда».

---

[1] *Вместо* точки *было* многоточие.

Нет, чуда Среднев не мог принять. Я... — смута во мне была, — я[i] почти верил, что тут[ii] исключительное, граничащее с чудом. Опытом следователя я чувствовал по тону, по глазам чистой девушки, по шатким доводам Среднева, по всему матерьялу «дела», что тут... необъяснимое, почти[iii] чудесное.

— «И вы не верите...» — с жалеющей улыбкой, грустно повторяла Оля. Я сказал: «искренно хочу верить... больше: я почти верю, смотря на вас». И это была правда. Светлым своим порывом веры[iv], светом в глазах, детскою чистотою в них она заставляла верить. Тогда я впервые[v] почувствовал, кто она: не современной была она, извечное в ней светилось, за-земное: такими, думалось мне, были христианские мученицы-девы: это светилось в ней.

Среднев заметно волновался, мучилось что-то в нем, — его неверие? — «Ну, хорошо, допустим, явление, оттуда![vi] Но!... не могу я понять, почему вдруг... у нас!?.. Я, конечно, не круглый атеист, но... почему я удостоин такого... "высокого внимания"?! — «Но почему вы предполагаете, — вырвалось у меня невольно, — что это вы удостоены... "высокого внимания"?» — и я перевел взгляд к Оле. Среднев заметил это. — «Нет, я не обольщаюсь... я говорю смиренно: я недостоин, я...» — «Папа, не укрывайся же за слова! — с болью и нежностью вырвалось у Оли. — Ищет твоя душа, но ты страшишься, что вдруг все твое и рухнет, чем жил... а чем ты жил[vii] — разве оно не рухнуло?! или не видишь ты..?! А ты не бойся, ты...» — она не могла, заплакала.

И тут... — что меня натолкнуло..? — я, как бы заканчивая «следствие», может быть, по привычке к форме протокола, коснулся «срока»: когда это произошло? И восстановил для них: встреча со старцем на Куликовом Поле произошла часов около 4-х дня, 25 октября, в субботу... в «родительскую» субботу, в «Димитриевскую», и это совершенно точно, потому что Сухов возвращался от дочери, со станции «Птань», где его угостили пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, а в тех местах этот день чтят особенно. — «Вы помните... это точно?!.» — крикнула нервно Оля, вдруг побледнев и дернувшись. — «Папа... слушай... па-па..! — задыхаясь, вскрикнула она и протянула руку к письменному столу, — там... у те-

---

[i] *Далее было* многоточие.

[ii] *Далее было*: что-то.

[iii] *Далее было* многоточие.

[iv] *Далее было*: небесным.

[v] *Далее было*: кажется.

[vi] *Вместо* восклицательного знака *было* многоточие.

[vii] *Вместо* тире *было* многоточие.

бя, в продовольственной книжке... там есть, я знаю... у меня в дневнике... знаю... а вот ты... в книжке!..» Она задохнулась, кинулась в комнаты. Среднев взглянул на меня испуганно, словно он растерялся, и, вдруг, что-то поняв, нервно дернул ящик стола, — но это был стол профессора, — побежал к своему столу, вынул затертую, трепаную тетрадку, быстро стал перелистывать, что-то нашел, ткнул пальцем, и... — тут прибежала Оля с клеенчатой тетрадью, — не своим голосом прочитал: «200 граммов подсолнечного масла... 300 граммов пшена... штемпель... 7 ноября...» — «Но это же было... 7 ноября!» — сказал он раздраженно-вопросительно. — «Да, 25 октября, по церковному стилю, по старому... в субботу... в "Димитриевскую" субботу..!» — прерывающимся и как бы пристукивающим голосом выговорила Оля, с усилием, — «как т а м... на Куликовом Поле... в т о т же вечер... больше четырехсот верст от нас..! Папа... па-па...» Она упала бы, если бы я не подхватил ее. Среднев стоял, бледный, оглушенный, губы его запрыгали, перекосились, он что-то хотел сказать и не мог выговорить, — только одно и разобрал я: «в т о т же... вечер»![i] Он опустился на стул, закрыл руками лицо и весь затрясся. Оля стояла перед ним, сложив у груди ладони, ни слова ему не говорила[ii], — понимала, что с ним совершается сейчас самое важное, величайшее в его жизни. Он сотрясался в глухих рыданиях, и, сквозь дрожавшие его пальцы на лице, струились слезы. Я хорошо знаю подобное «разряжение», не раз видал в своей практике. Но тут было сложней неизмеримо: тут рушилось в с е привычное и замещалось... — чем? На это ответить невозможно, это —в н е наших измерений. Оля — не странно ли, я мог наблюдать за всем! — была радостно-спокойна, торжественно-радостно-спокойна, смотрела напряженно и выжидательно... но это было такое нежное, почти материнское д в и ж е н и е — взгляд сердца! Я... не странно ли? — совсем не был потрясен, — очевидно, был уже подготовлен, нес в своем подсознательном свершившееся ч у д о. Я был как бы в ликовании, — впервые изведанное чувство, — и теперь знаю, что такое, когда «ликует сердце». И еще во мне было... чувство профессионального торжества: р а с к р ы л! — и совсем неожиданно для себя. Тут уже никакими увертками нельзя было опорочить «юридического акта». Мое заявление, предварительное, о дне и часе, было документально подтверждено записями в Олином дневнике и в грязной тетрадке Среднева. Он отнял от лица руки, оглянул нас смущенно-радостно, новым каким-то взглядом, по-детски как-то, смазал

---

[i] *Вместо:* «в т о т же... вечер» — *было*: «четыре... ста...».

[ii] *Далее было*: может быть.

слезы и облегченным вздохом, как истомленный путник, сказал, озирая комнату, — «верую, Господи...» — закрылся и зарыдал. И теперь плакала Оля с ним, и я... заплакал, о т у м и л е н и я, — впервые изведанное мною чувство.

В посаде я пробыл больше недели. Много тогда переговорилось и передумалось. Вскоре опять приехал, и до зимы приезжал не раз. Приехал перед Рождеством и не нашел Средневых: они переехали на юг, — так нужно было.

Январь—февраль 1939 г. Париж Ив. Шмелев
Выправлено мною — февраль 1942 г. Ив. Шмелев

Михайлов день

Редакция ноября 1942 — января 1943 гг.

1

30.XI.42 8 вечера [...]

Михайлов день[i]

Я давно считаю, — с самого Покрова, когда давали расчет уходившим в деревню на зиму, — сколько до Михайлова дня[19] осталось: Горкина именины будут. По разному все выходит, все много остается. Горкин сердится, надоели ему допросы:

— Ну, что ты такой нетерпеливый... когда будут — тогда и будут! Все в свое время будет.

Все-таки пожалел, выстрогал мне еловую досточку и велел на ней херить гвоздиком нарезки, как буду спать ложиться:

— Все повеселей тебе будет ждать.

Два денька только остается, две метинки осталось!

На дворе самая темная пора: только пообедали — и уж и ночь. И гулять-то невесело, — грязища, студеный дождик, — не к чему руки приложить. Большая лужа вот-вот застынет, рябью по ней студеной гуляет с ветру, и так разлилась с дождей, хоть барки по ней гоняй: под самый курятник подступает, курам уж сладили мосточки, а то ни в курятник, ни из курятника; уж петух затревожился, Марьюшку[20] криком донял, — «да что ж это за непорядки!?..» — разобрали, будто, по голоску.

---

[i] *Вместо:* Михайлов день — *было*: День ангела — подзаголовок Михайлов день.

А утки так прямо и вплывают в свои утятники, такое приволье им! В садике пусто, голо, деревья плачут, видно даже, как по коре сочится, как ручейки... все листочки давно посдуло, на антоновке только вихорок желтеет рваными листьями... последнюю рябину еще до Казанской сняли[21], — морозцем уж хватило, — и теперь только на макушке ржавой почерневшие кисточки, на радость галкам. Горкин говорит:

— Самый грязник теперь, ни на колесах, ни на санях, до самых до моих именин... Михаил-архангел все ко мне по снежку приходит.

В деревне теперь веселье: свадьбы играют, бражку варят... вот Василь-то-Василич и поехал, отгуливать. Мы с Горкиным все коньки в амбаре осмотрели, три ящика, сальцем промазали ремешки: морозы скоро, каток на пруду в Зоологическом Саду откроем для публики, елками-флагами разукрасим, стеклянные разноцветные шары на проволочках повесим, шкаликов и кубастиков наставим, — иллюминацию. Переглядели и саночки-каталочки, в плисе и бахроме, — скоро будет катанье с гор. Приедет Василь-Василич из деревни, горы осматривать покатим... не успеешь и оглянуться — Николин день[22], только бы укатать снежком, под морозы успеть залить. Отец уж ездил в Зоологический, распорядился. Говорит — на пруду еще «сало» только, а пора бы и «ледяной дом» ставить, как запоздало-то. Что за «ледяной дом»?.. Сколько же всего будет... зима бы только скорей пришла! У меня уж готовы саночки, и Андрейка вытесал-выстрогал мне новую лопатку. Я кладу ее спать с собой, глажу и нюхаю: пахнет живою елкой, снежком, зимой. Вижу во сне сугробы, весь двор завален... копаю и копаю, и... лопаточка вдруг пропала, в снегу утопла. Просыпаюсь, — ах, вот она! теплая, шелковая, как тельце. Еще темно, только затапливают печи, — вскакиваю, бегу к окошку: а, мокрая грязь чернеет. А пожалуй и хорошо, что мокро: Горкин говорит, что зима никогда не приходит посуху, а все на грязи становится. И он не дождется именин: самый это священный день, сам архангел к нему приходит.

Мастерская побелена, стекла промыты с мелом; между рамами насыпаны для тепла опилки, прикрыты ватой, а по вате разложены шерстинки, — зеленые, голубые, красные, — и посажены веселые розочки, из сахара, с кондитерских пирогов недавних, — ну, будто садик за стеклами! Полы простругань до-бела, — как же, надо почиститься, день такой: порадовать надо ангела.

Только денек остался. Вернулся Василь-Василич, привез деревенского гостинца. Такой веселый, — с бражки да с толок-

на. Вез мне живую белку, да дорогой собаки отняли, не довез. Папашеньке — особенных рябчиков, любимых: не ягодничков, а «с почки да с можжухи», осинничков, с горьковинкой, — в Охотном и не найти. Михайле Панкратычу мешочек толоконца жареного, с кваском хорошо хлебать, Горкин ужасно любит — уважает, и белых сухих грибов, — ну, дочего ж духовитых... с одной вязаночки во всю мастерскую ду-хом, живым грибом! Я впиваюсь лицом в вязаночку, нюхаю и дышу, дышу... не могу даже оторваться, — такое в этом... такое-такое... ну, не сказать! Будто и щи с грибами, и похлебка, и соус сладкий к картофельным котлетам, и лес, и грибы, и... все! Мне ростовский кубарь расписанный и клюквы, в березовом бурачке, веселой, крупной, как бусины на елку сладкие. И аржаных лепешек еще, с соломками, — сразу я сильный буду. А белочку еще заведем, успеем.

— Со-о-рок у нас нонче по задворкам... — говорит, — прямо, из годов год, невидано никогда! к большим снегам, старики сказывают... лю-тая зима будет! Да у нас в избахтёпло, лесу навезёно — девать некуда!..

Такой веселый, разгулистый... — всех нас порадовал, что зима не гнилая будет: русский человек морозу рад, здоровье с морозу только. И Горкин такой веселый, что Василь-Василич не припоздал, а то — говорит — «без тебя, Вася, и именины не в именины». В деревне и хорошо, понятно, а по калачам соскучишься.

Горкин уж прибирает свою каморку. Народ разъехался, в мастерской свободно. Соберутся гости, захотят поглядеть святыньки. А много у него святынек. Весь угол заставлен образами, до-древними. Черная-Казанская, — отказала ему по смерти прабабушка Устинья, — и еще Богородица-Скорбящая, литая риза, а на спинке печать наложена казенная, под арестом была икона, раскольницкая какая-то: Горкину верный человек доставил, из-под печатей. Ему триста рублей давали староверы, да он не отдал: «на церкву отказать — откажу, — сказал, — а иконами торговать не могу». И еще «темная Богородица», лика не разобрать; нашел ее Горкин, когда ломали на Пресне дом: с третьего яруса с ней упал, с балками обвалился, — и о п у с т и л о безо вреда, ни цапинки! Потом Спаситель еще старинный, — «Спас» называется. И еще — «Собор архистратига Михаила и прочих сил бесплотных», в серебрёной литой ризе, до-древних лет. Все образа почищены столовым вином с мелком, лампадки на новых голубых лентах, — «небо-то, касатик, голубое!» — а подлампадники с лепными херувимчиками по уголкам, старинные, 84-й пробы. Под «Ангела» голубой шелковый подзор подвесил, с вышитыми золотою канительцей

крестиками, от Сергия-Троицы, — только на именины вешает. Справа от «Ангела» медный надгробный крест, литой-старинный; нашел его Горкин в земле, на какой-то стройке: на потлевшем гробу лежал, — таких уж теперь не льют. После смерти откажет мне. Крест до-древний, мел его не берет, бузиной его надо чистить: прямо, как золотой сияет. Привешивает еще на стенку двух серебрёных... — как они называются..? — не херувимов... а... серебрёные святые птички, а головки у них — как девочкины... и даже над головками у них крылышки, и трепещут, совсем живые! Спрашиваю его: «это святые... бабочки?» Он смеется, отмахивается: «а, чего говоришь, дурачок... согрешишь с тобой! си-лы это бесплотные... шесто-крылые серафимы это, серебрецом шиты, в Хотькове монашки рукодельничают... ишь, крылышками как трепещут, для радости!» — говорит он молитвенно, и старенькое лицо его в ласковых, радостных морщинках, и все морщинки сияют-светятся. Этих «шестокрылых серафимов» он вынимает из укладки на именины только: и закоптятся, и муха засидеть может. На полочке, где старые просвирки, серенькие совсем от пыли, принесенные добрыми людьми, — ерусалимские, афонские, соловецкие, с дальних обителей, — на малиновой бархатной полочке положены самые главные святыньки: колючка ерусалимского терновника, с горы Христовой, — баньщица Полугариха подарила, паломничала туда, — сухая оливошная ветка, из Гефсиманского сада взятая, «Пилат-камень», а еще называют — «литостротон», с какого-то порожка, где ступала стопа Христова, иорданский песочек в пузыречке, сухие цветы, святые, которые на воде распускаются, будто совсем живые, и еще много святостей. Кипарисовые кресты и крестики, складнички и пояски с молитвой, раковинки и камушки, фараонов морской конек, до-древний... — еще поется: «коня и всадника вверзи в море!»[23] — и святая сухая рыбка, апостолы где ловили, оттуда вот... — на окунька похожа. Святыньки эти Горкин вынимает только на Светлый День да вот, на день «Ангела» своего. Убирает с задней стены картинку — «Как мыши кота погребали», — я всегда на нее гляжу, и мне все чего-то страшно! — и говорит печально: «Вася это мне навесил, *скопец* ему подарил *сокровенно*... будто и не про кота тут, а в насмешку писано, для потехи». Я спрашиваю — «скупец»? — «Ну, скупец... не ндравится она мне, да обидеть Василь-Василича не хотел, терпел... мыши тут не годятся». И навешивает новую картинку — «Два пастыря». На одной половинке пастырь добрый гладит овечек, и овечки кудрявенькие такие, как вот на куличах, из сахара; а на другой — дурной пастырь: бежит растерзанный, палку бросил, только подошвы видно; а волки дерут испуганных овечек, так шерсть клочьями и ле-

тит. Это такая притча. Потом достает новое одеяло, все из шелковых ярких лоскутков, подарок Домны Панферовны из бань.

— На язык востра, а хорошая женщина, нищелюбивая и богомольная... — говорит он, расстеливая одеяло на кровати, — ишь, какое веселое, как коморочку-то приукрасило!

Я ему говорю:

— Тебя одеялками завалят завтра, Гришка сказал — смеялся.

— Глупый сказал. А правда, в прошедчем годе два одеяла монашки из Страстного подарили да еще из Зачатиевского. Ну, я их пораздавал, куда мне!..

Под крестом — митрополита повесить хочет, наш дьячок посулился подарить.

— Пировать будем — первый ты гость будешь. Ну, батюшка придет, может, коли досуг дозволит: завтра у него много почетных именинников, не мне чета. Папашенька побывает, всегда уж... а ты все первый, ангельская душка. Ангелов праздник и прочих сил бесплотных. А вот зачем ты на Гришу намедни заплевался? Лопату ему расколол, он те побранил, а ты — плеваться! И у него тоже ангел есть, Григорий Богослов[24], а ты... За каждым ангел стоит, как можно... на него плюнул — на ан-гела плюнул!

На ан-гела?!.. Я это знал, забыл. Я смотрю на образ архистратига Михаила: весь в серебре, — а за ним воины и копья. Это все ангелы, и за каждым стоят они, и за Гришкой тоже, которого все называют охальником.

— И за Гришкой?..

— А как же, и он образ-подобие. А ты плюешься. А ты вот что: осерчал на кого — сейчас и погляди позадь его, и вспомнишь: стоит за ним! И обойдешься. Хошь царь, хошь вот я, плотник, — одинако: при каждом ангел. Все в дозоре у Господа. Так прабабушка Устинья твоя наставляла, святой человек. За тобой Иван-Богослов[25] стоит... вот, думает, какого плевальщика Господь мне препоручил! Нешто ему приятно? Чего оглядываешься... боишься?

Стыдно ему открыться, почему я оглядываюсь.

— Все и оглядывайся, и хороший будешь. И каждому ангелу день положен, славословить чтобы... вот человек и именинник с того, и ему почет-уважение, по ангелу. Придет Григорий-Богослов — и Гриша именинник будет, и ему уважение, по ангелу. А завтра вот моему ангелу славословие: «Небесных воинств архистратизи... начальницы вышних сил бесплотных...»[26] — поется так. С мечом пишется, на святых вратах, и рай стерегет, — все мой ангел. В рай-то впустит ли? А это как заслужу. Там [не] по кумовству-знакомству, а заслужи. А ты вон плюешься...

В летней мастерской, рядом, Андрейка проструживает стол, завтра тут нищим-убогим горячее угощенье будет.

— Повелось так от прабабушки твоей — убогих на именины радовать. Папашенька намедни, на Сергия-Вакха[27] именинник был, больше полста кормил. Ну, ко мне, бедно-бедно, а десятка два притекут, с солонинкой похлебка будет и каша белая, будто мой ангел угощает. Зима на дворе, вот и погреются. А то и кусок в глотку не пойдет, пировать-то станем. Ну, погодку пойдем-поглядим.

Падает мокрый снег. Черная грязь, такая же, как утром. От первого снега сорок ден вышло, надо бы зиме быть, а ее нет и нет. Горкин берет еловую досточку и горбушкой пальца стучит по ней.

— Волглый постук, и гляди ты — на колодце-то побелело, захолодало! — надо бы снегопаду быть. Говорил тебе — Михаил архангел все ко мне по снежку приходит!

Небо мутное, снеговое. Антипушка, старый кучер, справляется: «в Кремль поедешь, Михал Панкратыч?» В Кремль. Папашенька уж распорядился, на «Чаленьком» повезет Гаврила. Всегда в этот день Горкин ездит к архангелам, где Собор.

— И пешком прошел бы, беспокойство такое доставляю папашеньке. И за что мне почет-уважение такое?.. — говорит он, будто стесняется.

Я знаю, за что: после дедушки отец совсем молодым остался, Горкин ему указывал, как и что, — во всем помогал ему советом. И прабабушка говорила: «слушайся, Сереженька, Мишу... не обижай». Вот и не обижает. Я беру его за руку и шепчу: «и я тебя обижать не буду». И так горячо на сердце, и подступают слезы.

Три часа, сумерки, а Горкину надо в баню еще сходить-успеть, а там — ко всенощной.

Горкин в Кремле, у всенощной, в до-древнем Архангельском соборе. Там давние цари наши, в гробницах, — почивают. Их стережет архистратиг Михаил с мечом, и все небесное воинство его.

2

9.I.1943 9 утра
(Посылается 22 янв.) <...>

«Михайлов день» — продолжение.

Да, я не помню, чем кончил, — я добавлял к первой редакции... Пишу на-ура, но ты поймешь...

Падает мокрый снег, но за черным окном начинает белеть железка карнизика[i]. Я отворяю форточку: видно: на свете[ii] лампы, как струятся на черноте снежинки. Высовываю руку — хле-

---

[i] *Вместо:* железка карнизика — *было*: железка-карнизик.
[ii] *Вместо:* на свете — *было*: отсвете от.

щет! даже липко стегает в форточку, по стеклам. А воздух... — ах, какой-то особенной свежестью... это зимой пахнет! Михаил архангел это, всегда по снежку приходит, зиму приводит.

Отец велел сшить новую шубу Горкину. Скорняк еще летом подобрал мех, из старой хорьковой отцовской шубы. Она теперь шьется, и портной Хлобыстов обещал принести как раз перед обедней. Все готовят подарочки имениннику[i], а я-то — что[ii] подарю? Банщики филипповский крендель сахарный принесут, Василь-Василич чашку чайную ему купить придумал, особо золоченую, из «дорогих», какие баре[iii] покупают дарить богатым старушкам-чаевницам... какого-то Граднера — завода, или Гарндера... [iv] или Кузнецова-старовера?[28] Воронин-булочник пирог принесет с грушками и желе, а дьячок наш казанский митрополита вон посулился достать — на стенку повесить... а я-то что же..?! Разве «Священную историю» подарить, Анохова, без переплета? и крупные на ней буковки, ему по глазам как раз? Она в кухне у Марьюшки, я давал ей смотреть картинки.

Марьюшка прибирается, спать скоро. За пустым кухонным столом, от которого всегда пахнет кашей, салом[v] и селедкой, — как ни моет Марьюшка, а стол все какой-то красноватый и салистый, и[vi] пахнет[vii], — Гришка лениво разглядывает в «Священной истории» картинки[viii], пальцами по ним трет. Показывает на Еву и говорит[ix]: «а ета чего такая, волосьями прикрывается, вся раздемши?» — и как-то нехорошо смеется, гадкое что-то думает, кажется мне. Я ему рассказываю, что это жена-Ева, безгрешная была, когда в раю были... а как согрешила с яблоком, упробовала, а этого от Бога было не велено... и им Бог сделал кожаные одежды и изгнал из рая на простую землю, в поту лица. А дурак Гришка, прямо, как жеребец, — гогочет, дурак! Это Марьюшка так его. Гогочет и гогочет: «во-какая... согрешила — и обновку выгадала, ло-вкая..!» Ну, охальник, — все говорят. Я хочу отругать его, плюнуть и растереть... — смотрю за его спиной:[x] тень на стене за ним, и я вспоминаю[xi] ангела, который стоит за

---

[i] *Вместо* запятой *было* многоточие.

[ii] *Далее было*: же.

[iii] *Вместо*: баре — *было*: дворяне.

[iv] *Далее было*: ..?

[v] *Вместо*: салом — *было*: сальцем.

[vi] *Далее было*: все.

[vii] *Далее было*: щами с кашей.

[viii] *Вместо*: в «Священной истории» картинки — *было*: «Священную историю», картинки.

[ix] *Далее было*: мне.

[x] *Вместо* двоеточия *было* многоточие.

[xi] *Вместо*: и я вспоминаю — *было*: — и вспоминаю про.

каждым. Вижу в углу иконку с засохшей вербой, вспоминается «верба», вербный веселый торг на Красной площади, великий пост... — скоро буду говеть, понесу батюшке грехи, в первый раз[i]. Пересиливая ужасный стыд, я говорю ему: «я на тебя плюнул вчера... ты, не сердись уж... прости мое согрешение...» — и тру-растираю картинку пальцем, стыдясь чего-то, боясь смотреть. Он глядит на меня, и лицо у него какое-то другое, будто он думает о чем-то очень трудном, будто какую-то загадку хочет отгадать... и потом грустное делается его лицо. — «Эн, про чего ты... а я и думать забыл», — говорит он, и лицо его становится добрым, ну, совсем-совсем другим, словно и не он это, даже, улыбается мягко, ласково, — ну, совсем не он это, всегда насмешник, всегда с подковыркой и зацепкой. — «Вот, погоди, паря... — и это самое ласковое у него — "паря", когда он очень доволен чем-нибудь, — снегу навалит, во-сколько снегу, уж тогда мы с тобой слепим такую ба-бу... во всей-то сбруе!..»

Я срываюсь с лавки, бегу-топочу по лестнице к себе, в детскую, и так мне чего-то радостно, так хорошо, легко...[ii]

Я никак не могу заснуть, все думаю. За черным окном стегает по стеклам... снегом?!... идет зима..?! Снегом, снегом... конечно, снегом!...

Утро. Окна захлестаны. В комнате снежный свет, новый, холодный[iii], радостный, з и м н и й свет[iv], — вот и пришла зима! ...«Зима... крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...»[29] — Господи, вот и пришла зима!.. Я соскакиваю с постельки, в холод, в радостный, снежный, свет, пробегаю по крашеному полу, не слыша холода, взбираюсь на окошко... — снегу-то, снегу ско-лько..! Грязь завалило снегом. Антипушка, весь в снегу, отгребает лопатой от конюшни. Засыпало и сараи, и заборы, и конуру Бушуя, и барминихину бузину, ветки ее заплюхало и придавило[v], — только мутно желтеет лужа. Я отворяю форточку... [vi] — свежий, острый[vii], новый какой-то воздух, яблоками как-будто пахнет, крымскими яблоками, свежими[viii] — ну, как[ix] в театре,[x]

---

[i] *Вместо* точки *было* многоточие.

[ii] *Вместо* многоточия *был* восклицательный знак.

[iii] *Вместо* запятой *был* восклицательный знак.

[iv] *Вместо* запятой *был* восклицательный знак.

[v] *Вместо*: заплюхало и придавило — *было*: заплюхало-придавило.

[vi] *Вместо* многоточия *была* запятая.

[vii] *Вместо*: свежий, острый — *было*: свежий и острый.

[viii] *Далее было* многоточие.

[ix] *Далее было*: бывает.

[x] *Далее было* многоточие.

вдруг донесет из ложи, рядом, где хрустнут яблочком... сочным таким[i], крепким таким и сладким. И[ii] ти-хо-тихо. Я кричу в форточку, совсем задыхаясь в радости[iii], — «Антипушка... зима... !» Мой[iv] голос тоже какой-то новый, будто кричит в подушку. И Антипушка, будто из-под подушки тоже, — «пришла-а... слава те, Господи... при-шла-ааа... зимушка-зима... зима-а...» Лица у него не видно, — снег не стегает, а густо валит, сильней, сильней. Попрыгивает по снегу кошка, отряхивает лапки. Куры стоят у лужи и не шевелятся, словно боятся снега. Петух все вытягивает голову к забору, хочет взлететь, но и на заборе навалило, и куда ни гляди — все бело.

Я прыгаю по снегу, проваливаюсь рыхло, по-колено, нюхаю полушубочек-обнову — радостно пахнет кислым, какими-то зверями... зимой пахнет! Наступаю[v] на путающуюся полу, падаю в снег[vi], карабкаюсь. Ковыряю лопаточкой, лопаточка глубоко уходит, тупо стучит об землю, — значит, зима легла. В саду завалило смородину, крыжовник; торчат из снегу[vii] черные[viii] палки голых подсолнухов, пропали клумбы с сухими маками и астрами, низкие совсем стали зеленые скамейки, на круглом столе[ix] под яблоней, где варили варенье летом и пили чай, — огромный снежный пирог — мороженое-безе, как будто... смешно даже! И[x] все завалило, завалило, только под яблонями еще синеет кругло. Снег вязко налипает, похрупывает туго и маслится, — надо ему окрепнуть. От ворот на крыльцо следочки, — кто-то уже прошел. Михаил-архангел все по снежку приходит... . но он бесследный, ходит прямо по воздуху?... Из конторы, у ворот, выходит Василь-Василич, по-зимнему, в знакомой «коротышке» светлого суконца похожего на войлок, [xi] попискивает по снегу сапогами[xii]. Спрашивает, чего[xiii] имениннику подарю. Я не знаю... а он бо-гатую чайную

---

[i] *Вместо*: сочным таким — *было*: таким сочным.
[ii] *Вместо*: сладким. И — *было*: сладким... — и.
[iii] *Вместо*: в радости — *было*: от восторга.
[iv] *Вместо*: зима... !» Мой — *было*: зима... !» — и мой.
[v] *Далее было*: в снегу.
[vi] *Вместо*: снег — *было*: снегу.
[vii] *Далее было*: наполовину.
[viii] *Вместо*: черные — *было*: почерневшие.
[ix] *Далее было*: у беседки.
[x] *Вместо*: И — *было*: Ну.
[xi] *Далее было*: серым.
[xii] *Далее было*: рад зиме.
[xiii] *Далее было*: я.

чашку купил ему, выведено на ней толсто золотом — «На День ангела», день — и через ять!! А я-то подарю что?..

Стряпуха варит похлебку нищим. Их уже набралось к воротам, топчутся по снежку. Трифоныч отпирает лавку, глядит по улице, не едет ли наш Панкратыч, — хочет первым его поздравить. Говорит мне — «поднесу вот ландринчику и сахарного мармаладцу, любит с чайком пососать Панкратыч». Должен вот подъехать, ранняя-то уже отошла, по времю-то. Спрашиваю у Гришки, что он подарит. Говорит — «я ему сапоги начистил для аменин, как жар горят». Говорит — «шуба новая, хорьковая, к обедне надел — поехал... — не узнать Панкратыча: прямо — купец московский, хоть жениться».

Вон и банщики — крендель несут на большом подносе, трое несут, особенный крендель, «филипповский», «по заказу», — в месяц ему не съесть. Ну, все с подарками, а я-то что же? Спросить у Антипушки, а он — что? Антипушка тоже чашку, с золотцем у пригубья, колечко такое, золотое, — семь гривен дал. Я хожу по снежку, не знаю, что подарить Панкратычу. «Священная история» Анохова ободрана, такую дарить нельзя. Марьюшка тоже приготовила — испекла большую кулебяку с рисом и яичками — одна половинка, а другая — с ливером даже! — и еще пирог с изюмом, сахарный, с посыпкой, в окошечках решетчатых, потрудилась. А я ничего... Я бегу в дом, к папашеньке. Он считает на счетах в кабинете. Говорит: «не мешай... сам придумай». Ничего не придумаешь, как на грех... — старенькую копилку разве..? или — троицкий сундучок? — только без ключика он, и Горкин его уж знает... даже сам мне и подарил, к Троице ходил. Папашенька говорит: «хорош, гусь... он всегда горой за тебя, а ты и ко Дню ангела не озаботился... хо-рош, нечего сказать...» Мне даже тошно делается, и стыдно... и страшно даже: ведь такой день, порадовать надо ангела... Михаил-архангел — всем ангелам ангел, Горкин вчера сказал. Все станут приносить, а он посмотрит — я-то чего несу..? Сейчас подъедет... Я взбираюсь на тугой кожаный диван, высокий, скользкий[1], — едва удержишься, забиваюсь в угол его и начинаю плакать, так сердце и разрывается. Отец двигает креслом, морщится, выдвигает ящик. — «Так ничего и не придумаешь?» Спрашивает ласково. Я молчу, не могу выговорить от слез. Он достает... новенький кожаный кошелек! — «Вот... сам хотел ему подарить, старый у него совсем плохой, от дедушки еще. Ну, Бог с тобой, вместе ему подарим... Ты — кошелек, а я — в кошелек». Он кладет немного серебреца, все новенькие монетки, раскладывает за щечки, а в серед-

---

[1] *Вместо* запятой *было* многоточие.

ку кладет белую бумажку — «четвертную», написано на ней — «25 рублей серебром». Средний кармашек сделан из красного сафьяна. — «Так и скажешь: “это от нас с папашей”». У меня перехватывает горло, хочу поблагодарить, и плачу — не помню себя от радости.

Где вы, спутники детских лет? Сколько любви я видел и в нашем старом, милом, простом дворе с покривившимися сараями! сколько корявых рук нежно меня ласкали, вытирали слезинки жестким, мозолистым пальцем!.. Ангелы охраняли вас, неотрывно ходили за вами, с вами... Пропали ангелы..?

Кричат у ворот — «е-дет!»... Едет, катит, в лубяных саночках, по первопутке — взрывает «Чаленький» рыхлый снег, весь передок заляпан, влипают комья. Едет — снежком запорошило, серебряная бородка светится, розовое лицо сияет. Шапка торчком, барашковая... Шуба богатая, важнецкая, отвороты широкие, хорьковые, настоящего темного хоря, не желтого, прямо — купец московский! Нищие голосят в воротах: «с ангелом, кормилец ты наш, Михайла Панкратыч-батюшка... дай те Господь здоровья, родителям царство небесное!» Трифоныч поздравляет у ворот, подносит жестяные круглые коробочки с монпансье и сахарный мармаладец в фунтике, — целуется крест-на-крест, будто христосуются. Все[i] идем в жарко натопленную мастерскую, за именинником. Василь-Василич снимает с него шубу и раскладывает на лавке, хорями[ii] вверх. Все разглаживают и щупают: «бо-гатая шуба», говорят. Скорняк подносит «золотой лист» — сам купил в синодальной лавке! — раскатывает трубочку и говорит высоким голосом, как дьякон[iii] в церкви: «Золотое слово Иоанна Златоуста!»[30] Вот мне-то бы купить ему «золотое слово»! Горкин его целует, целует лист, будто икона это, и говорит: «радости-то мне сколько, братцы...» — совсем расстроился, плачет даже. Скорняк читает «золотой лист»: «Счастлив тот дом, где пребывает мир, где брат любит брата, родители пекутся о детях, дети почитают родителей... там благодать Господня...» Все слушают, как молитву. Я знаю эти слова, с Горкиным мы читали. Отец тоже обнимает Горкина, и я тоже обнимаю, дарю ему новый кошелек, и мне почему-то стыдно. Горкин всплескивает руками, голос его дрожит, он совсем говорить не может, одно только: «а за что мне такое... Го-споди!..» Все говорят — «а хороший ты человек, Михаил Панкратыч, потому!»

---

[i] *Далее было*: мы.

[ii] *Вместо*: хорями — *было*: хорьками.

[iii] *Вместо*: дьякон — *было*: диакон.

Приносят банные молодцы на большом подносе крендель, вытирают усы и крепко, взасос, целуют Горкина. Горкин то их целует, то меня: прихватит за макушку и целует, — и так хорошо пахнет от его головы, розовой помадой, «праздничной», как вот от мира пахнет. Говорят — монашки из Зачатиевского монастыря одеяло привезли. Две монахини входят чинно, крестятся на открытую каморку, в которой горят лампадки, кланяются низко Горкину, подают стеганое голубое одеяло, говорят напевно: «дорогому радетелю нашему... со Днем ангела поздравляем... матушка-игуменья благословила...» Говорят все: «вот какая ему слава, во всю Москву!» Василь-Василич подает синюю чашку в золоте. На столике у стенки уже четыре чашки и кулич с пирогом. Скорняк привешивает на стенку в уютике Горкина «золотое слово». Заглядывают в каморку, дивятся образам: «Божье благословение, бо-гатое-то какое, ста-ри-нное..!» Василь-Василич — скорняк говорит церковно: «дре-влее!» «Собор архистратига Михаила и прочих сил бесплотных» весь серебром сияет, будто зима святая. Дивятся, крестятся. Все говорят — «ах, благолепие... ну, дочего же сла-достно... не ушел бы!»

На большом артельном столе, накрытом посередке голубой скатертью с белыми розами, — я ее у Трифоныча видел: Федосья Федоровна, может быть, принесла украсить, или и подарила в День ангела? — кипит огромный, «людской», самовар, трехведерный. Марьюшка приносит с поклоном кулебяку и пирог с изюмом, горячие, пар от них, ужасно вкусный. Все садятся по чину: кто постарше — поближе к имениннику. Я один не в счет только: меня он рядышком усадил, «под крылышко», — будто под ангельское крылышко выходит, Михаил архангел за ним стоит! Крестница Маша, которая у нас в горничных, разливает чай в новые чашки и стаканы. Она вышила крёсенькому туфельку под часы. Очень она красива в новенькой кофточке, с крахмальным воротничком, мамашиным, и пахнет душками от нее, когда рукавом заденет. Едят кулебяку, не нахвалятся: ну, прямо, тает! Входят певчие, поют тропарь — «Небесных воинств архистратизи...», подносят кулич с солонкой, резной-костяной, и обещают петь стихиры. Приносят новую кулебяку, от булочной Ратникова, где забираем артельный хлеб, — «не кулебяка, а перина», говорят, дотого она велика! Опять наливают рюмочки и пробуют кулебяку, — «ну, и кулебя-ка... постарался Ратников!» — говорят. Сам обещался быть, попозже. Является наш псаломщик, приносит «Митрополита Филарета, самого мудрого». — «Отец Виктор поздравляет, прислал[1] просфору и куличик вам, Михаил Панкратыч, и очень сожалеет...» — го-

[1] *Далее было*: со мною.

ворит псаломщик, — что к пирогам не поспеет, а попозже постарается уважить... у Пушкина Михайлы Кузьмича на пироге... жертвователь, уважить необходимо... а к вечернему чаю всенепременно постарается быть». И все приходят, приходят, поздравляют, несут подарочки: и Денис, с портомойни, — принес живого налима, «с руку»! — и водолив с водокачки, и банщики, и банщицы, и весь рабочий народ, и Солодовкин-птичник, скворца принес. Весь день самовар со стола не сходит.

Поздний вечер, только свои остались. Сидим у печки. На дворе морозит, зима взялась. В открытую дверь каморки видно, как теплится лампадка перед снежно-блистающим архистратигом. Горкин рассказывает про гробы давних царей в Архангельском соборе. Говорят про Ивана Грозного, простит ли ему Господь. Скорняк говорит строго: «не простит, он святого митрополита задушил!» Но Горкин говорит милостиво, что воля Господня неисповедима... Святой митрополит теперь ангел, и все умученные Грозным теперь ангелы,

3

21.I.1943, ночь на 22-ое <...>

Михайлов день (Окончание, 3-ий посыл)

и скажут они с митрополитом у Престола Господня так: «прости ему, Господи!» И все воскликнут, святые, Престолу предстоящие, и все древние мученики, и все преподобные и богоносные, и все чины: «прости ему, Господи!» И простит Господь. И все говорят — обязательно простит, нет предела Господней милости. И скорняк думает, что пожалуй, и простит: это у нас так, а т а м, у ангелов...[i] по-другому. — «Всем милость и всем прощение... т а м уж все по-другому будет... это наша душа короткая!..» — говорит Антипушка, и все дивятся: мудрое какое слово, а все его простачком считают! А это, пожалуй, ангел нашептывает слова такие, хорошие. За каждым ангел, а за Горкиным ангел над ангелами — архистратиг. Стоит невидимо за спиной и радуется... и все ангелы радуются с ним, потому что сегодня день его славословия, и ему, будто, именины, — Михайлов день.

Ив. Шмелев

Январь, 1935
Париж

---

[i] *Вместо* многоточия *была* запятая.

Примечания

1

Ед. хр. 58. Л.4. Записка, приложенная к цветам, рук.

2

Ед. хр. 58. Л.6. Почтовая открытка, рук.

[1] *В ответ на Ваше... посылаю Вам большое письмо.* — имеются в виду письма И.С.Шмелева от 23 октября 1939 г. (И.С.Шмелев и О.А.Бредиус-Субботина: Роман в письмах. Т.1. М., 2003. № 5) и О.А.Бредиус-Субботиной от 27 октября 1939 г. (Там же. № 7).

[2] *...гремящем пустой бочкой...* — образ из басни И.А.Крылова «Две бочки» (1819).

3

Ед. хр. 58. Л.13. Почтовая открытка, рук.

[3] *...русские воины...* — письмо написано во время советско-финляндской войны 1939—1940 гг. См. примечание 35 к письму № 10 (Т.1).

[4] *...не пустили ни за что.* — А.А.Овчинникова и С.А.Субботин в это время находились в Берлине, в Голландию они переехали 11 марта 1940 г.

4

Ед. хр. 58. Л.19. Почтовая открытка, рук.

[5] *...получу от Вас сегодня весточку...* — имеется в виду открытка И.С.Шмелева от 31 марта 1940 г. (Т.1. № 16).

[6] *...батюшка из Гааги...* — речь идет о духовнике О.А.Бредиус-Субботиной иеромонахе Дионисии (Лукине). См. примечание 77 к письму № 26 (Т.1).

[7] *...сотрудничество с очень хорошим врачом...* — с 1929 по 1936 гг. О.А.Бредиус-Субботина работала в Берлине в частной клинике под руководством хирурга Е.Шахбагова. См. примечание 219 к письму № 55 (Т.1).

5

Ед. хр. 58. Л.21. Почтовая открытка, рук.

[8] *...получила Вашу открыточку...* — имеется в виду открытка от 28 апреля 1940 г. (Т.1. № 18).

6

Ед. хр. 4. Л.20. Почтовая открытка, рук.

9 *...дом в имении...* — речь идет о Викенбурге (Wickenburgh), где О. А. Бредиус-Субботина провела весну—лето 1941 г.

7

Ед. хр. 58. Л.23. Письмо, рук.

8

Ед. хр. 4. Л.58. Черновой фрагмент письма от 24 августа 1941 г. (Т.1. № 35), написанный на конверте письма И.С.Шмелева от 17 августа 1941 г.

9

Ед. хр. 59. Л.15. Почтовая открытка, рук.

10 *Газету получила.* — речь идет о берлинской газете «Новое слово», которую И. С. Шмелев выписал для О. А. Бредиус-Субботиной (см. примечание 741а к письму № 189. Т. 1).

11 *...М-те Земмеринг.* — см. примечание 91 к письму № 30 (Т. 1).

10

Ед. хр. 5. Л.3. Почтовая открытка, рук.

12 *...там «Свете тихий»...* — очерк, посвященный О. А. Бредиус-Субботиной (Т. 1. № 42).

13 *...от 27.VII и 24—26.VIII...* — указанные письма опубликованы в Т. 1 (№ 30, 35).

11

Ед. хр. 5. Л.5. Почтовая открытка, рук.

14 *...Ваше письмо, 31.VIII.* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 36).

12

Ед. хр. 59. Л.20—22. Письмо, рук.

15 *...от 27.VIII...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 38).

16 *...живу от письма до письма (конечно Вашего)...* — здесь и далее цитируется письмо И. С. Шмелева от 17 августа 1941 г. (Т. 1. № 34).

17 *«Глаза» я Вам пришлю...* — имеется в виду фотопортрет О. А. Бредиус-Субботиной (не сохранился).

18 *...«золотое» мое письмо...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 23 июля 1941 г. (Т. 1. № 29).

19 *Первое письмо с «драмой» моей...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось. Вероятно, впоследствии на основании этого письма был написан мемуарный очерк «Повесть жизни» (Т. 1. № 81, 109—114).

13

Ед. хр. 59. Л. 25. Почтовая открытка, рук.

14

Ед. хр. 5. Л. 17—19. Письмо, рук.

20 *...письмо Ваше, — 10.IX.* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 37).

21 *...я не тронул перышков... — они подшиты Вами...* — О. А. Бредиус-Субботина подшила к письму несколько стальных перьев, которые сохранились вместе с перепиской.

22 *... как A.M.D. для Рыцаря...* — «Ave, Mater Dei» (в пер. с лат. «Радуйся, Матерь Божия»), девиз на щите рыцаря из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).

23 *...сейчас плевелы сгорают.* — образ из Евангелия (Мф. 13, 30). Об отношении И. С. Шмелева ко Второй мировой войне см.: Шмелев И. С. Необходимый ответ // Шмелев И. С. Собр. соч. М., 1999. Т. 7. С. 553—556; Бонгард-Левин Г. М. Дело И. С. Шмелева // Бонгард-Левин Г. М. Из «Русской мысли». СПб., 2002. С. 100—110; Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 294—296; Хачатурян Л. В. Последний роман Ивана Шмелева // Т. 1. С. 12—14.

15

Ед. хр. 5. Л. 43. Почтовая открытка, рук.

24 *Любуюсь на девочку под деревом.* — упоминается фотография О. А. Бредиус-Субботиной (хранится в Российском Фонде Культуры: Архив И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053).

16

Ед. хр. 59. Л. 37, 38. Черновик письма О.А. Бредиус-Субботиной И.С. Шмелеву от 23 сентября 1941 г. (Т. 1. № 47), рук.

25 *...принесли мне Ваш exprеs.* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 22 сентября 1941 г. (Т. 1. № 46).

26 *«Вся жизнь моя была залогом...»* — строка из письма Татьяны Евгению Онегину («Евгений Онегин». Гл. 3, XXXI).

27 *«И разумом всечасно смирять...»* — строка из письма Евгения Онегина Татьяне («Евгений Онегин». Гл. 8, XXXII).

28 *...о совестном акте...* — см. примечание 181 к письму № 47 (Т. 1).

29 *...к одним знакомым в Meudon'е...* — лица не установлены.

30 *Болею за бабушку.* — здесь и далее в абзаце речь идет о событиях II мировой войны (иносказательно названы Россия и Гитлер). Впервые этот прием использован О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 8 июля [1941 г.] (Т. 1. № 28).

17

Ед. хр. 59. Л. 44, 45. Письмо, рук.

31 *...«Евгения Онегина», «Снегурочку»...* — среди опер, перечисленных О. А. Бредиус-Субботиной: «Евгений Онегин» П. И. Чайковско-

го (1878), «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова (1881), «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (1872).

32 ...*Шуберт, «Экспромт 4»*... — Экспромт № 4 входит в цикл романтических фортепианных миниатюр, которые Франц Шуберт сочинил в 1827—1828 гг. Цикл состоит из 11 экспромтов.

33 ...*Шопена «Вальс-бриллиант»*... — имеется в виду «Большой вальс-бриллиант № 1» (1835).

34 ...*многое Шаляпину в вину вменяет*... — имеется в виду статья И. А. Ильина «Жизнь и творческая судьба Шаляпина».

35 ...*девочку за белой скатертью с яблоками.* — вероятно, О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду картину В. А. Серова «Девочка с персиками» (1887, портрет В. С. Мамонтовой).

36 ...*счастливое время*... — в Берлине И. А. Ильин часто бывал в семье Субботиных.

37 ...*о бессоннице*... — гл. II книги И. А. Ильина «Ich schaue ins Leben. Ein Buch der Besinnung» (Берлин, 1938). Русский перевод выполнен О. В. Колтыниной в 1992 г. (Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий // Ильин И. А. Собр. соч. Т. 3. М., 1994. Гл. II. С. 92—94).

18

Ед. хр. 60. Л. 13. Почтовая открытка, рук.

38 ... *написала письмо*... — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 4(6) октября 1941 г. со стихотворением «Созвучья дивной Песни Мира...», датированное 16 сентября 1941 г. (Т. 1. № 55).

19

Ед. хр. 6. Л. 1. Почтовая открытка, рук.

39 ...*безумное письмо 7-го?* — экспресс от 7 октября 1941 г. был возвращен И. С. Шмелеву (его объем превышал установленные цензурой ограничения). Шмелев не отправил это письмо повторно. Об этом см. письмо И. С. Шмелева от 16 октября 1941 г. (№ 20 в настоящем томе). В письме от 26 октября 1941 г. (№ 29 в настоящем томе) И. С. Шмелев приводит фрагмент из неотправленного письма.

20

Ед. хр. 6. Л. 12, 13. Письмо, рук., машинопись.

40 ...*с бароном профессором Таубе*... — Михаил Александрович фон Таубе (1869—?), специалист в области генеалогии, юрист.

41 ...*Николая Васильевича ван Вейка.* — см. примечание 38 к письму № 12 (Т. 1).

42 ...*Bauer (Бауэр)* — см. примечание 49 к письму № 16 (Т. 1).

43 ...*открытка от 2.X.*... — указанная открытка опубликована в Т. 1 (№ 50).

21

Ед. хр. 60. Л. 24. Почтовая открытка, рук.

44 ... *вчерашнему письму*... — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 16 октября 1941 г. (Т. 1. № 57).

[45] *... мой «экспресс» от 30.IX ... 9.X должна получить.* — указанные письма опубликованы в Т. 1 (№ 49, 52).

[46] *Я писал еще 10-го... и еще вечером.* — указанные письма И. С. Шмелева опубликованы в Т. 1 (№ 53, 54, 58).

[47] *Мой «вопрос» — 25.IX...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 48).

[48] *...близится день Св. России.* — вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду свержение советской власти, которое он связывал с наступлением немецких войск на Москву.

[49] *«Солнце мертвых», вышло на 6 языках...* — роман-эпопея «Солнце мертвых» был переведен на французский, немецкий, английский, сербский и чешский языки.

[50] *...вышло до 28 г. — 12 изданий.* — имеются в виду переиздания книги «Die Sonne der Toten» (Берлин, 1925).

[51] *...ну-дится оно, как Царство Божье...* — неточная евангельская цитата (Мф. 11, 12).

[52] *...за немецким колонистом...* — о нем см. письмо И. С. Шмелева от 17 ноября 1942 г. (№ 230 в настоящем томе).

[53] *...«истеричкой» и даже — «ханжой».* — И. А. Ильин писал И. С. Шмелеву 8 декабря 1935 г.: «Раисой Земмеринг не очень увлекайтесь издали. Не стоит. Очень тщеславна, "почвенна" больше *на словах*, неумна, истерична, с левинкой». (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. М., 2000. Т. 2. С. 116).

[54] *...в поездках по Эстонии...* — конец лета и начало осени 1936 г. И. С. Шмелев провел в Прибалтике, где выступил на нескольких литературных вечерах. В поездках по Латвии писателя сопровождал Р. А. Берзинь, в поездках по Эстонии — Л. Г. Земмеринг; *...жили там на даче.* — вероятно, имеется в виду деревня Пачковка, в которой семья Земмеринг проводила лето 1936 г. Об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 227—228.

[55] *...успех в лимитрофах...* — в 1920—1930-х гг. лимитрофами называли государства, образовавшиеся на западных окраинах бывшей Российской империи после 1917 г. (Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия).

[56] *...у профессора Арсеньева...* — Николай Сергеевич Арсеньев (1888—1977), богослов, историк культуры, писатель. В 1920 г. эмигрировал в Западную Европу, преподавал в Кенигсберге. В 1948 г. переехал в США.

[57] *...из «Последних новостей»...* — с редакцией газеты «Последние новости» у И. С. Шмелева существовали идейные расхождения. Ведущий литературный критик газеты Г. В. Адамович в рецензиях на романы «Няня из Москвы» (Последние новости. 1934. 24 мая; 1935. 21 февраля; 1936. 30 января) и «Пути небесные» (Последние новости. 1937. 13 мая) упрекал писателя в реакционности, провинциализме и «декоративном патриотизме». Кроме того, Шмелев был не согласен с общим либерально-демократическим направлением газеты.

В 1940 г. Шмелев отказался подписать протест «Последних новостей» против нападения Советского Союза на Финляндию. Об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 269—270. См. также примечание 317 к письму № 142 в настоящем томе.

23

Ед. хр. 60. Л. 27, 28. Письмо, рук.

58 *...мое письмо от 16-го.* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 57).

59 *Свечу... большую, дьяконскую.* — массивная свеча на подставке, с которой дьякон предваряет священника во время торжественного каждения храма.

60 *За бабушку я извожусь совсем.* — О. А. Бредиус-Субботина иносказательно рассуждает о положении в России.

24

Ед. хр. 6. Л. 25. Почтовая открытка, рук.

61 *...открытку от 9, отправленную 12-го.* — указанная открытка опубликована в Т. 1 (№ 56).

25

Ед. хр. 6. Л. 36. Почтовая открытка, рук.

26

Ед. хр. 6. Л. 47, 48. Письмо, машинопись.

62 *...любовался на новую* х о з я й к *у...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной фотография не сохранилась. О ней идет речь в письме И. С. Шмелева от 20 октября 1941 г. (Т. 1. № 61).

63 *...зажечь свечу церковную и жечь под грудью?* — эпизод из главы XIV «Злое обстояние» I части романа «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 118).

64 *...с Ириной...* — имеется в виду Ирина Сергеевна Серова, см. примечание 203 к письму № 53 (Т. 1).

65 *...Марго...* — имеется в виду Маргарита Александровна Серова, см. примечание 207 к письму № 53 (Т. 1).

66 *...племянницу жены покойной...* — речь идет о Юлии Александровне Кутыриной, см. примечание 256 к письму № 62 (Т. 1).

67 *...инженерша, в Праге...* — в переписке упоминается как Екатерина (Катерина) Дмитриевна, «дама с собачкой». См. письмо И. С. Шмелева от 20 октября 1941 г. (Т. 1. № 59).

27

Ед. хр. 6. Л. 51, 52. Письмо, рук., машинопись.

68 *...«восхищен бысть в рай и слыша неизреченные глаголы...»* — 2 Кор. 12, 5.

[69] *...разговор о «покупке прав литературных».* — в 1940 г. И. С. Шмелев отказался продать свои авторские права шведско-германскому концерну. Об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 270.

[70] *...«диссертацию» молодого немецкого доцента...* — имеется в виду диссертант Кенигсбергского университета Михаил Ашенбреннер, см. примечание 627 к письму № 150 (Т. 1).

[71] *...о «лауреате»...* — речь идет об И. А. Бунине.

[72] *... ликторы...* — в Древнем Риме почетные стражи при высших должностных лицах.

[73] *...Квартировым...* — упоминаются Наталья Яковлевна, Алексей Александрович и Марина Александровна Квартировы (см. примечания 47 к письму № 15 и 54 к письму № 18, Т. 1).

28

Ед. хр. 7. Л. 8, 9. Письмо, рук.

[74] *...корреспондент «Русских ведомостей».* — в качестве корреспондента газеты «Русские ведомости» в марте—апреле 1917 г. И. С. Шмелев совершил поездку в Сибирь, о чем написал очерк «В Сибирь за освобожденными» (Русские ведомости. 1917. 1—18 апреля. № 73—86). Об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 100—104.

[75] *...у меня три сестры...* — София, Мария и Екатерина (см. примечание 300 к письму № 70, Т. 1).

[76] *... Брат, старше меня...* — Николай Сергеевич Шмелев. См. о нем: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 23.

[77] *Мать...* — Евлампия Гавриловна Шмелева, см. примечание 290 к письму № 70 (Т. 1).

[78] *...мог написать 10-го!* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 53).

29

Ед. хр. 7. Л. 12, 13. Письмо, рук.

[79] *...сон моей, твоей Дари...* — замысел не был осуществлен.

[80] *Придет с невестой.* — имеется в виду Люсьен Лекомт, см. примечание 241 к письму № 60 (Т. 1).

30

Ед. хр. 7. Л. 16, 17. Письмо, рук.

[81] *«...И к заутрене звонят».* — строки из стихотворения Я. П. Полонского «Солнце и месяц» (1841).

[82] *...для «Кривой»...* — кличка лошади из романов «Богомолье» и «Лето Господне».

83 *...Бунин... только ему доверяет.* — в письме И. А. Ильину от 15 января 1934 г. И. С. Шмелев писал: «Вчера [Бунин] вызвал доктора Серова <...>: "помираю". Расстройство кишечника. Лежит пока, лучше. Все — итоги "пира". Я не думал, что в такие годы можно было так бешено заликовать и продолжать ликованье 2 мес.!» (Переписка двух Иванов. Т. 1. С. 437).

84 *...профессора Сиротинина...* — Василий Николаевич Сиротинин (1856—1934), врач-терапевт. Во время Гражданской войны был председателем медицинского совета при генерале А. И. Деникине. С 1924 г. жил в Париже, за научные заслуги награжден орденом Почетного Легиона. О нем см. также письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 15 января 1934 г. (Переписка двух Иванов Т. 1. С. 434).

85 *...в июле 37 года...* — о болезни И. С. Шмелева в конце июля 1937 г. см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 234.

86 *«Восточный мотив».* — об этом замысле см. примечание 306 к письму № 74 (Т. 1).

87 *...«Безумный художник»* — рассказ И. А. Бунина (1923).

88 *...одна художница...* — вероятно, имеется в виду Светлана Яковлевна Рышкова-Офросимова (в замуж. Чекунова, 1903—1981), участница парижского общества «Икона». С. Я. Рышкова-Офросимова расписывала церковь Знамения (приходской храм И. С. Шмелева).

89 *...бывшим членом Государственного Совета.* — сведений о нем нет.

90 *Должно быть — ей, Денисовой...* — И. С. Шмелев не точен: стихотворение Ф. И. Тютчева «Вчера, в мечтах обвороженных...» (1836) написано до знакомства поэта с Е. А. Денисьевой (1850).

31

Ед. хр. 7. Л. 28, 29. Письмо, рук.

91 *...письмо твое, 22.X.* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 65).

92 *Я ответил вчера...* — упоминается письмо И. С. Шмелева от 27 октября 1941 г. (Т. 1. № 66).

93 *Циник-адвокат.* — имеется в виду О. С. Трахтеров. См. примечание 208 к письму № 53 (Т. 1).

94 *...Менделеев к 70 г. женился на 18 л. ...* — Д. И. Менделеев (1834—1907) вторым браком был женат на Анне Ивановне Поповой (1860—1942). И. С. Шмелев не точен: свадьба состоялась в 1881 г., к этому времени Д. И. Менделееву было 47 лет, а А. И. Поповой — 21.

95 *...«Горящее сердце».* — статья К. Д. Бальмонта «Горящее сердце. И. С. Шмелев» (Сегодня. 1927. 30 октября. № 246).

96 *...«голубицу чистую»...* — персонаж хроники Н. С. Лескова «Соборяне» (1872) —жена главного героя протоиерея Савелия Туберозова Наталья Николаевна; *...бумажкой на ниточке... тянула к себе...* —

И. С. Шмелев упоминает эпизод из 5 главы «Демикотоновая книга протопопа Туберозова» (Лесков Н. С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 1. М., 1989. С. 77).

32

Ед. хр. 7. Л. 32, 33. Письмо, рук.

97 *«И тьма не обья его»*. — Ин. 1, 5.

98 *...не читал никогда Вертинского.* — в эмиграции произведения А. Н. Вертинского постоянно публиковались в периодических изданиях, кроме того, в Париже в 1938 г. был издан сборник «Песни и стихи».

99 *Пел каких-то «лиловых» негров.* — «Лиловый негр» (1916), одна из «ариеток Пьеро», которые А. Н. Вертинский исполнял в Петровском театре миниатюр и кабаре «Жар-птица».

33

Ед. хр. 61. Л. 1, 2. Письмо, рук.

100 *...с маленькой фото — японка...* — фотография опубликована в Т. 1. Оригинал хранится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 60. Л. 46).

101 *...и еще одно... об Арнольде.* — речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 28/29 октября 1941 г. (Т. 1. № 67).

102 *...даже «дубине»...* — имеется в виду И. Толен, муж подруги О. А. Бредиус-Субботиной.

34

Ед. хр. 61. Л. 8, 9. Письмо, рук.

103 *...expres от 25-го...* — письмо И. С. Шмелева от 25 октября 1941 г. (Т. 1. № 64).

104 *С маленькой любительской фотографией...* — указанная фотография опубликована в Т. 1. В РГАЛИ хранятся 3 фотографии И. С. Шмелева, сделанные в Ужгороде (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 117).

105 *...кто этот «дядя»?* — на фотографии вместе с И. С. Шмелевым городской голова г. Ужгорода Петр Петрович Сова (см. примечание 508 к письму № 117, т. 1).

106 *...отправила сегодня три письма...* — имеются в виду два письма от 29 октября 1941 г. (Т. 1. № 67, 68) и письмо от 30 октября 1941 г., опубликованное в настоящем томе (№ 33).

107 *...от 24-го...* — И. С. Шмелев написал 24 октября 1941 г. два письма (№ 27 в настоящем томе; Т. 1. № 63).

108 *...на мое 23-го!* — речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 22 октября 1941 г. (Т. 1. № 65).

109 *...Верру...* — см. примечание 274 к письму № 67 (Т. 1).

110 *«Я знаю, век уж мой измерен...»* — строки из письма Онегина к Татьяне («Евгений Онегин». Гл. 8, XXXII).

[111] *...и романсы... «Хризантемы» ... «Сияла ночь... сидели мы... в гостиной без огней».* — О. А. Бредиус-Субботина перечисляет романсы: «Сияла ночь» романс Н. Ширяева на стихи А. Фета (1877), «Отцвели хризантемы» сл. В. Шумского, муз. Н. Харито (1913), «Как хороши те очи» (П. Фальбинов — Н. Дулькевич).

[112] *...в любви к Сергею Толстому...* — Татьяна Андреевна Берс (младшая сестра С. А. Берс) послужила одним из прообразов Наташи Ростовой. Роман Т. А. Берс с С. Н. Толстым начался в 1863 г. В июне 1865 г. С. Н. Толстой, не порывая со своей гражданской женой М. М. Шишкиной, сделал формальное предложение Т. А. Берс. 25 июня 1865 г. Т. А. Берс послала Сергею Толстому отказ. 24 июля 1867 г. она вышла замуж за А. М. Кузминского.

[113] *...это на нее сложили романс!* — А. А. Фет впервые услышал пение Т. А. Берс в мае 1866 г., второй раз он слушал ее в начале августа 1877 г., после чего и было написано стихотворение «Сияла ночь...».

[114] *«Тебя любить, обнять, и плакать над тобой...»* — строка из романса «Сияла ночь».

35

Ед. хр. 7. Л. 40, 41. Письмо, рук.

36

Ед. хр. 7. Л. 44, 45. Письмо, рук.

[115] *...Ecole de langues orientales...* — Институт восточных языков, одно из старейших лингвистических учебных заведений. Основан Кольбером, министром Людовика XIV, с целью увеличения французского влияния в странах Востока. Существует до настоящего времени.

[116] *...22 октября — Казанская.* — имеется в виду праздник Казанской иконы Божией Матери (22 октября / 4 ноября, в память освобождения Москвы от поляков в 1612 г.).

37

Ед. хр. 61. Л. 31. Письмо, рук.

[117] *...31-го...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 69).

38

Ед. хр. 61. Л. 19. Почтовая открытка, рук.

[118] *...о бритве написал?!* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 27 октября 1941 г. (Т. 1. № 66).

39

Ед. хр. 8. Л. 5. Почтовая открытка, рук.

[119] *Написал книгу об Ужгороде...* — книга П. П. Совы «Прошлое Ужгорода: Исторический очерк» (Ужгород, 1937).

[120] *...в День культуры.* — о выступлениях И. С. Шмелева на праздновании Дня русской культуры в Ужгороде см. примечание 508 к письму

№ 117 (Т. 1), а также в книге: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 232.

40

Ед. хр. 8. Л. 25, 26. Письмо, рук.

121 *...после твоего «рассказа»...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 28—29 октября 1941 г. (Т. 1. № 67), в котором она описала историю своего брака.

122 *Я для них — «Илия»...* — И. С. Шмелев сравнивает себя с героем повести «Неупиваемая чаша» Ильей Шароновым.

41

Ед. хр. 61. Л. 42. Письмо, рук.

123 *Ты писал 6-го...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 4—6 ноября 1941 г. (Т. 1. № 74).

124 *Уголок гостиной и общий вид.* — фотографии опубликованы в Т. 1. Оригиналы хранятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 61. Л. 40—41).

42

Ед. хр. 62. Л. 15. Письмо, рук.

43

Ед. хр. 62. Л. 19. Почтовая открытка, рук.

125 *Я тебе 7-го или 8-го послала...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 8 ноября 1941 г. (Т. 1. № 72).

126 *...в соборной Церкви...* — вероятно, речь идет о Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ). См. примечания 440 к письму № 97 и 609 к письму № 144 (Т. 1).

127 *...Евлогия...* — митрополит Евлогий (Георгиевский). См. примечание 609 к письму № 144 (Т. 1).

44

Ед. хр. 62. Л. 21, 22. Письмо, рук.

128 *...«Степное чудо»!* — сказка И. С. Шмелева (Впервые опубликована: Берлин, 1921).

45

Ед. хр. 62. Л. 26. Почтовая открытка, рук.

46

Ед. хр. 62. Л. 29. Письмо, рук.

129 *Дорогой Иван Сергеевич!* — О. А. Бредиус-Субботина обращается к И. С. Шмелеву более официально, поскольку предполагает, что письмо должен прочесть посторонний человек.

130 *О сестре Сережи...* — О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду себя.

131 *...моя бывшая воспитанница...* — сведений о ней нет.

47

Ед. хр. 8. Л. 35. Почтовая открытка, рук.

48

Ед. хр. 8. Л. 37. Почтовая открытка, рук.

49

Ед. хр. 62. Л. 32. Почтовая открытка, рук.

50

Ед. хр. 8. Л. 40. Почтовая открытка, рук.

132 *...письма 20.XI и от 21.XI...* — указанные письма опубликованы в Т. 1 (№ 82 и № 83).

133 *...от exprеs 26-го XI.* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 25 ноября 1941 г. (Т. 1. № 80).

51

Ед. хр. 62. Л. 34. Почтовая открытка, рук.

134 *...имя Вашего друга-доктора... Гааз...* — имеется в виду С. М. Серов, бесплатно лечивший неимущих больных, которого за благотворительную деятельность прозвали Гаазом (см. примечание 521 к письму № 124, т. 1).

135 *...моего дядю...* — вероятно, речь идет о Владимире Александровиче Груздеве (1875—?), выпускнике Санкт-Петербургской Духовной академии. О нем также см. письма О. А. Бредиус-Субботиной от 15 ноября 1941 г. (Т. 1. № 78) и от 29 декабря 1942 г. (№ 243 в настоящем издании).

52

Ед. хр. 8. Л. 47. Почтовая открытка, рук.

136 *...в лаборатории.* — фотография не сохранилась.

137 *...[фото] Сережечки.* — фотография опубликована в Т. 1. Оригинал хранится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 118. Л. 1).

53

Ед. хр. 62. Л. 38. Почтовая открытка, рук.

54

Ед. хр. 62. Л. 42. Почтовая открытка, рук.

55

Ед. хр. 62. Л. 44. Письмо, рук.

138 *...переснимок с большого портрета.* — указанный фотопортрет О. А. Бредиус-Субботиной не сохранился.

173 *...написал тебе...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо С. М. Серова не сохранилось.

56

Ед. хр. 62. Л. 48. Письмо, рук.

57

Ед. хр. 8. Л. 53. Почтовая открытка, рук.

139 ...*«Египетские ночи». И — готов, приди.* — незаконченная повесть А. С. Пушкина (1835). И. С. Шмелев имеет в виду тему стихотворной импровизации «Чертог сиял...».

58

Ед. хр. 63. Л. 1. Письмо, рук.

140 *«Еще хоть раз увидеть Вас!»* — строка из романса «Как хороши те очи» (см. примечание 111 к письму № 34 в настоящем томе).

141 *«Христос рождается»* — тропарь навечерия праздника Рождества Христова (Сочельник).

142 *С Праздником «Знамения»...* — 10 декабря (27 ноября) отмечается праздник иконы Божией Матери «Знамение». И. С. Шмелев был прихожанином храма в честь этой иконы. См. примечание 213 к письму № 38 (Т. 2).

59

Ед. хр. 63. Л. 5. Письмо, рук.

60

Ед. хр. 9. Л. 28, 29. Письмо, рук.

143 *...я тебе писал сегодня...* — имеется в виду первое письмо И. С. Шмелева от 5 декабря 1941 г. (Т. 1. № 93).

61

Ед. хр. 9. Л. 34. Почтовая открытка, рук.

62

Ед. хр. 9. Л. 36. Почтовая открытка, рук.

144 ...*«историю одной девичьей-женской души»...* — речь идет об очерке И. С. Шмелева. Очерк был переслан О. А. Бредиус-Субботиной в письмах от 3 декабря (второе), 4 декабря 1941 г. и 28 января 1942 г. (Т. 1. № 88, 91, 141). О главной героине очерка (Д. А. Замотиной) см. примечание 413 к письму № 87 (Т. 1).

145 ...*«продлилась жизнь моя!»...* — цитата из письма Онегина к Татьяне («Евгений Онегин». Гл. 8, XXXII).

63

Ед. хр. 63. Л. 30, 31. Письмо, рук.

146 *...с управляющим бабушки моей...* — О. А. Бредиус-Субботина иносказательно говорит о дипломатических отношениях между США и СССР в 1930-е гг.

147 ...*«3... каждому поровну»*... — неточная цитата из романа-эпопеи И. С. Шмелева «Солнце мертвых»: «Грецкий орех, красавец <...> Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка — поровну всем...» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 1. С. 468).

148 ...*о моей жизни?* — имеется в виду «Повесть жизни», мемуарный очерк О. А. Бредиус-Субботиной.

64

Ед. хр. 63. Л.35. Почтовая открытка, рук.

149 ...*твои листочки из поминания.* — к письму И. С. Шмелева от 4 декабря 1941 г. (Т. 1. № 92) приложены поминальные записки «О здравии Ольги и Иоанна» и «Об упокоении Ольги и убиенного воина Сергия» (РГАЛИ. Ф. 1198. Ед. хр. 9. Л. 20, 21).

150 ...*от дочки священника...* — речь идет об одной из дочерей прот. Алексия Розанова. Вероятно, это или Валентина, или Ольга.

151 ...*к Фасе.* — имеется в виду Ф. Н. Толен, подруга О. А. Бредиус-Субботиной. О ней см. примечание 79 к письму № 26 (Т. 1).

152 *Когда «Паша» говорила «измус»...* — фрагмент романа «История любовная»: Паша (горничная) неверно понимает посвященное ей стихотворение Тоника: «Тебе, прекрасная из муз...». (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 6. С. 50).

65

Ед. хр. 9. Л.48. Почтовая открытка, рук.

66

Ед. хр. 9. Л.50. Почтовая открытка, рук.

67

Ед. хр. 10. Л.18. Почтова открытка, рук.

68

Ед. хр. 64. Л.1, 2. Письмо, рук.

153 ...*Я завещаю сжечь все, после моей смерти!* — впоследствии намерения О. А. Бредиус-Субботиной изменились.

154 ...*с памятью Александра I.* — см. примечание 478 к письму № 106 (Т. 1).

155 ...*о «зовах моря».* — имеется в виду лирический этюд О. А. Бредиус-Субботиной, который был отправлен И. С. Шмелеву в письме от 28 декабря 1941 г. (№ 76 в настоящем томе).

156 ... *«В ударном порядке»* — рассказ И. С. Шмелева. Впервые опубликован: Перезвоны. 1926. № 9—11. В сб.: Про одну старуху. Новые рассказы о России. Париж, 1927.

69

Ед. хр. 10. Л.25. Почтовая открытка, рук.

157 ...*моей поездке в лагеря.* — об этом см. примечание 368 к письму № 80 (Т. 1).

70

Ед. хр. 10. Л. 28. Почтовая открытка, рук.

71

Ед. хр. 10. Л. 37.

158 ...*твоим письмом 7.XII*... — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 95).

72

Ед. хр. 4. Л. 28. Почтовая открытка, рук.

159 ...*на могилке и на даче*...— указанные фотографии опубликованы в Т. 1. Оригиналы хранятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 116. Л. 3, 5).

160 *Ты пишешь про Helene!* — домработница И. С. Шмелева. О ней О. А. Бредиус-Субботина писала в письме от 9 декабря 1941 г. (Т. 1. № 96).

73

Ед. хр. 64. Л. 37. Письмо, рук. К письму приложена записка (Л. 38).

74

Ед. хр. 10. Л. 46. Почтовая открытка, рук.

75

Ед. хр. 64. Л. 43, 44. Письмо, рук.

161 ...*«Дева днесь»!* — рождественский кондак.

76

Ед. хр. 64. Л. 50, 51. Письмо, рук.

162 *«Пускай погибну я, но прежде...»* — слова из арии Татьяны (опера «Евгений Онегин» П. И. Чайковского).

77

Ед. хр. 65. Л. 12, 13. Письмо, рук.

163 ...*22-го ты столько писем мне писал*... — 22 декабря И. С. Шмелевым было написано 4 письма. Два из них опубликованы в настоящем томе (№ 71, 72), другие два см.: Т. 1. № 103, 104.

78

Ед. хр. 11. Л. 14. Почтовая открытка, рук.

79

Ед. хр. 11. Л. 18. Почтовая открытка, рук.

164 *Да еще российских... 8 томов*... — речь идет о собрании сочинений И. С. Шмелева, выходившем в издательстве товарищества «Знание» с 1910 по 1917 г.

165 *...12—15 тт. для юношества (школ).* — вероятно, И.С.Шмелев имеет в виду свои произведения для детей, выходившие до революции отдельными изданиями. См. библиографию в кн.: Сорокина О.Н. Московиана. М., 2000. С. 355—363.

80

Ед. хр. 11. Л. 20. Письмо, рук.

166 *Вот моя Оля...* — речь идет о фотографии О.А.Шмелевой (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 119. Л. 1).

167 *...я в рабочей блузе писателя.* — вероятно, речь идет о фотографии, хранящейся в Российском Фонде Культуры (Фонд И.С.Шмелева, Свидетельство о дарении № 1053), опубликованной в сб.: Венок Шмелеву. М., 2001. С. 339.

168 *«Распад», «В норе»* — повести И.С.Шмелева: «Распад. Из воспоминаний приятеля» (Русская мысль. 1907. № 8—9; в сб.: Рассказы. Т 1. СПб., 1910), «В норе» (Русская мысль. 1909. № 6; в сб.: Рассказы. Т. 2. СПб., 1912).

169 *...с отрывком «Лик скрытый»...* — рассказ в переводе Р.Кандрейи был опубликован: Europaische Revue. 1934. № 10.

81

Ед. хр. 11. Л. 23. Записка, приложенная к фотографии, рук.

82

Ед. хр. 11. Л. 34, 35. Письмо, машинопись.

83

Ед. хр. 11. Л. 46. Почтовая открытка, рук.

170 *Твоя «тетка» у свекра...* — об этом см. письмо О.А.Бредиус-Субботиной от 29 декабря 1941 г. (Т. 1. № 115).

171 *...открытку 31.XII?* — указанная открытка опубликована в Т. 1 (№ 123).

84

Ед. хр. 12. Л. 6. Почтовая открытка, машинопись.

172 *...сейчас письмо 7—8, Рождество.* — имеется в виду письмо О.А.Бредиус-Субботиной от 7 января 1942 г. (Т. 1. № 122).

85

Ед. хр. 65. Л. 46, 47. Письмо, рук.

174 *...за эти «факты».* — письмо О.А.Бредиус-Субботиной является ответом на два письма И.С.Шмелева от 2 января 1942 г. (Т. 1. № 124—125) и письмо от 10 января 1942 г. (Т. 1. № 126), в которых передано впечатление от ее мемуарного очерка «Повесть жизни».

175 *...кажется в одном от 30.X...* — речь идет о письме О.А.Бредиус-Субботиной от 29 октября 1941 г. (Т. 1. № 68).

176 *Батюшка наш...* — о нем см. примечание 485 к письму № 109 (Т. 1).

177 *С Георгием...* — Джордж Фрост Кеннан (см. примечание 406 к письму № 86, Т. 1).

178 *Его дядя был публицист.* — о Джордже Кеннане (старшем) см. примечание 500 к письму № 113 (Т. 1).

86

Ед. хр. 12. Л. 8. Почтовая открытка, машинопись.

87

Ед. хр. 66. Л. 1, 2. Письмо, рук.

179 *...твои письма чудесные от 12/13. I...* — письма И. С. Шмелева от 12 и 13 января 1942 г. (Т. 1. № 127, 128).

180 *...мои письма от 1-го?* — 1 января 1942 г. О. А. Бредиус-Субботина написала два письма. Одно из них опубликовано в настоящем томе (№ 77), другое см.: Т. 1. № 117.

181 *...от 31-го XII и 2.I.* — указанные письма опубликованы в Т. 1 (№ 124, 125).

88

Ед. хр. 12. Л. 27. Почтовая открытка, машинопись.

182 *...заказное тебе...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 21 января 1940 г. (Т. 1. № 137).

183 *...твое письмо от 17 и другое от 17-же.* — указанные письма опубликованы в Т. 1 (№ 134) и в настоящем издании (№ 85).

89

Ед. хр. 66. Л. 7. Почтовая открытка, рук.

90

Ед. хр. 66. Л. 9, 10, 13, 14. Письмо, рук.

184 *...2 письма от 16-го.* — вероятно, О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду письма И. С. Шмелева от 15 и 16 января 1942 г. (Т. 1. № 129, 130).

185 *Его друг...* — сведений о нем нет.

186 *...остановилась на «гарри-жорже»?* — О. А. Бредиус-Субботина использует выражение из письма И. С. Шмелева от 2 января 1942 г. (Т. 1. № 125): «Этих “гарри-жоржей”, — так называли их наши казаки-певцы, — повидал я в Биарице».

187 *...Николай Васильевич Яковлев.* — сведений о нем нет.

188 *...некоего Володи.* — личность не установлена.

189 *...потраченные государством суммы на его учение.* — Джордж Фрост Кеннан закончил Военную академию (Saint John's Military Academy) и Принстонский университет (Princeton University). В 1928 г. Министерство иностранных дел США предложило своим сотрудникам, которые хотели бы специализироваться по арабскому, русскому,

китайскому или японскому языкам, пройти трехлетний университетский курс. Джордж Кеннан выбрал специализацию по русскому языку. В 1928—1929 гг. Джордж Кеннан работал вице-консулом в Таллинне, где брал частные уроки русского языка, в 1929—1931 гг. он изучал русский язык и историю в Берлинском университете.

190 *...будущей жены его.* — Джордж Фрост Кеннан женился на Аннелизе Соренсен (Annelise Sorensen) 11 сентября 1931 г.

191 *...«Блаженны чистые сердцем».* — Мф. 5, 8.

192 *...как Дари дышала ландышами.* — эпизод из главы XX «Диавольское поспешение» первой части романа «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 162).

193 *...в «Возрождении» — «Радуница»...* — глава романа «Лето Господне» была опубликована в газете «Возрождение» (1939. 7 июля. № 4191); *«Куликово поле» только отрывком.* — рассказ был опубликован в трех номерах газеты «Возрождение» за 27 января, 17 февраля, 3 марта 1939 г. (№ 4168, 4171, 4173).

91

Ед. хр. 12. Л. 29—31. Письмо, машинопись.

194 *...послал тебе письмо...* — вероятно, речь идет о письме И. С. Шмелева от 22 января 1942 г. (Т. 1. № 138).

195 *...на «Лейпцигскую Ярмарку».* — с 1895 г. в Лейпциге регулярно проводятся промышленные ярмарки, имеющие европейское значение.

196 *...д-ра Артура Федоровича Лютера...* — см. примечание 714 к письму № 183 (Т. 1).

197 *...«Ди Зоннэ дер Тотен».* — в библиографиях произведений И. С. Шмелева, составленных О. Н. Сорокиной и Д. М. Шаховским, сведений об этом издании нет.

92

Ед. хр. 12. Л. 49—51. Письмо, машинопись.

198 *...Дари... искушалась.* — эпизод из главы XXVI «Последнее испытание» I части романа «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 210).

199 *...на лик прекрасный юноши...* — эпизод из главы XII повести «Неупиваемая чаша» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 1. С. 417).

200 *...болтовня гулящих...* — эпизод из главы XIV повести «Неупиваемая чаша»: «Останавливали Илью гулящие девки в ярких сарафанах, с платочками, запавшими на затылок, — смеялись: “Илюша-милюша... румяный мальчик, пойдем в сарайчик!”...» (Шмелев И. С. Избранные сочинения: В 2-х тт. Т. 1. М., 1999. С. 431).

93

Ед. хр. 66. Л. 17. Почтовая открытка, рук.

94

Ед. хр. 66. Л. 19. Письмо, рук.

95

Ед. хр. 13. Л. 7, 8. Письмо, машинопись.

201 ...*«ревновать о Господе»?...* — Деян. 22, 3.

202 *«Господи, Твою красоту видел!»* — слова Ильи Шаронова из повести «Неупиваемая чаша» (Шмелев И. С. Избранные сочинения. С. 422).

96

Ед. хр. 66. Л. 24. Письмо, рук.

97

Ед. хр. 13. Л. 11. Почтовая открытка, машинопись.

98

Ед. хр. 13. Л. 14, 15. Письмо, машинопись.

99

Ед. хр. 13. Л. 23, 24. Письмо, машинопись.

203 ...*первые листочки клейкие... в «Карамазовых»?* — см. примечание 649 к письму № 159 (Т. 1).

100

Ед. хр. 66. Л. 32. Почтовая открытка, рук.

101

Ед. хр. 66. Л. 39, 40. Письмо, рук.

204 *Пишу второе.* — первое письмо от 5 февраля 1942 г. опубликовано в Т. 1 (№ 145).

205 ...*маленькие фото...* — фотографии О. А. Шмелевой приложены к письмам И. С. Шмелева от 5 января 1942 г. (№ 80 и 81 в настоящем издании). См. примечание 166 к письму № 80.

206 ...*скорбного тебя...* — фотография И. С. Шмелева на могиле жены, опубликована в Т. 1. Оригинал хранится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 116. Л. 5).

207 ...*«Покаяния отверзи ми»* — воскресная стихира Великого поста.

208 ...*о... лыжной прогулке.* — имеется в виду фрагмент письма И. С. Шмелева от 16 января 1941 г. (Т. 1. № 130).

209 ...*карту Д. М....* — открытка была возвращена О. А. Бредиус-Субботиной с письмом И. С. Шмелева от 16 февраля 1942 г. (№ 148. Т. 1). См. текстуальное примечание к указанному письму.

102

Ед. хр. 13. Л. 44, 45. Письмо, машинопись.

210 ...*до чего эта Оля — ты!* — упоминается Оля Среднева, главная героиня рассказа «Куликово поле».

103

Ед. хр. 13. Л.49, 50. Письмо, машинопись.

104

Ед. хр. 66. Л.44. Письмо, карандаш. Отправлено в одном конверте с письмом от 9 февраля 1942 г. (Т. 1. № 146).

105

Ед. хр. 13. Л.56. Письмо, машинопись.

211 *...капитан Лукин...* — о нем см. примечание 608 к письму № 144 (Т. 1).

106

Ед. хр. 14. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

212 *От 19.I...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 135).

213 *...поперек страницы приписала.* — имеется в виду второе письмо от 1 января 1942 г., опубликованное в настоящем томе (№ 77).

214 *...слушал стихи одного отчаянного поэта...* — лицо не установлено.

215 *...«Слово плоть бысть».* — Ин 1, 14.

216 *...десять лет моего «воздержания»...* — перерыв в публикации произведений И. С. Шмелева наступил после издания «На скалах Валаама» (1897) и длился до 1905 г. Об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 38—40.

217 *...фото — «москвич».* — фотография опубликована в Т. 1. Оригинал хранится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 116. Л. 8).

107

Ед. хр. 14. Л.6, 7. Письмо, машинопись.

218 *Ключевский ...женился на своей кухарке...* — И. С. Шмелев не точен: В. О. Ключевский был женат на Анисье Михайловне Бородиной (1837—1909), происходившей из обедневшей купеческой семьи; *... какой это был брак!* — биограф В. О. Ключевского М. В. Нечкина указывает: «Он прожил с женой более 40 лет. Всю его жизнь, ежедневный быт, домашний уют, распорядок дня, условия для домашней работы — все создавалось и поддерживалось ее незаметным и неустанным трудом и вниманием» (Нечкина М. В. В. О. Ключевский — история жизни и творчества. М., 1974. С. 527).

219 *...жил в его доме.* — В. О. Ключевский с 1869 по 1911 г. жил по адресу: ул. Житная, дом 14 (в доме Смирнова). В 1907 г. И. С. Шмелев с семьей вернулся в Москву из Владимира и поселился на Полянке. По сведениям О. Н. Сорокиной писатель жил по адресу: Денежный переулок, 25 (Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 45).

220 *...«Наль и Дамаянти».* — поэтическое переложение В. А. Жуковским отрывка из древнеиндийского эпоса «Махабхарата», написано в 1837—1841 гг., опубликовано в 1844 г.

108

Ед. хр. 14. Л. 11, 12. Письмо, машинопись.

221 *...письмо 24.I...* — 24 января 1942 г. И. С. Шмелев написал два письма (Т. 1. № 139, 140).

222 *...первая любовь его...* — Мария Андреевна Протасова (в замужестве Мойер, 1793—1823). И. С. Шмелев не точен: В. А. Жуковский (1783—1852) был старше М. А. Протасовой не на 25, а на 10 лет; *...помешала «религиозная» мать ее...* — Екатерина Афанасьевна Протасова (урожд. Бунина; 1770—1848), сводная сестра поэта, воспротивилась браку дочери с В. А. Жуковским из-за близкого родства.

223 *...дочка художника Рейтерна.* — Елизавета фон Рейтерн (1821—1856), в 1841 г. вышла замуж за В. А. Жуковского.

224 *...ее письма о чувстве к Жуковскому.* — письма Е. А. Жуковской не публиковались. Вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду воспоминания Е. А. Жуковской, записанные протоиереем И. И. Базаровым и опубликованные в журнале «Русский архив» (1869. Стб. 2023—2026).

225 *Она «бросилась ему на шею».* — указанный эпизод описан в воспоминаниях Е. А. Жуковской. См.: В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 327.

226 *Трое детей, мальчик и две девочки. Одна скончалась.* — у В. А. Жуковского было двое детей: Александра Васильевна Жуковская (в замуж. Верман; 1842—1899) и Павел Васильевич Жуковский (1845—1912). Возможно, И. С. Шмелев имеет в виду первую беременность жены Жуковского.

227 *Брак был исключительно счастливый...* — И. С. Шмелев ошибается. После рождения дочери Е. А. Жуковская заболела тяжелым нервным расстройством, которое почти не поддавалось лечению. Об этом В. А. Жуковский писал П. А. Плетневу 11 октября 1849 г.: «Моя заграничная жизнь совсем не веселая, невеселая уже и потому, что непроизвольная причина, здесь меня удерживающая, самая печальная — она портит всю жизнь, отымает настоящее, пугает за будущее: болезнь жены (а нервическая болезнь самая бедственная из всех возможных болезней), болезнь матери семейства и хозяйки дома уничтожает в корне семейное счастие» (Жуковский В. А. Сочинения. Т. 6. Проза (1835—1852) и письма (1799—1852). СПб., 1878. С. 594—595).

228 *...стихотворение Ф. И. Тютчева, на его кончину.* — речь идет о стихотворении «Памяти В. А. Жуковского» (1852).

229 *«Что Бог соединил»...* — слова из Евангелия (в оригинале «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». — Мф. 19, 6), произносятся при совершении Таинства брака.

230 *«Дух живет, где хощет».* — неточная цитата из Евангелия (в оригинале «Дух дышит, где хочет». — Ин. 3, 8).

231 *...«посмертный лик».* — об этой фотографии см. письма И. С. Шмелева от 13 ноября 1941 г. и от 11 марта 1942 г. (Т. 1. № 77, 164).

109

Ед. хр. 14. Л. 19, 20. Письмо, рук.

232 *...я чуть пополнил е е, Олю...* — в процессе переработки рассказа в повесть (1942—1947) Оля Среднева становится главной героиней.

233 *...караимочка...* — Елизавета Семеновна Геделович, о ней см. примечание 628 к письму № 150 (Т. 1).

110

Ед. хр. 67. Л. 6, 7. Письмо, рук.

234 *«...и бегут века».* — строка из цыганского романса «Проходят дни и годы и бегут века...».

111

Ед. хр. 14. Л. 48, 49. Письмо, машинопись.

235 *...письмо, от 31 I...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 136).

236 *Не рассердилась за «мышей»?* — шуточная элегия «О мышах и проч.», которую И. С. Шмелев отправил О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 16 февраля 1942 г. (Т. 1. № 148).

112

Ед. хр. 67. Л. 24, 25. Письмо, рук.

237 *...написала 15-го маленький рассказик.* — имеется в виду рассказ «Мой первый пост», одно из первых произведений О. А. Бредиус-Субботиной. Рассказ опубликован в Т. 2 (см. письма № 8—10).

113

Ед. хр. 14. Л. 58. Почтовая открытка, машинопись.

238 *...статья германского писателя Эрнста Вихерта...* — см. примечания 624 и 625 к письму № 150 (Т. 1).

239 *...«Эккарт» июль—авг. 1932 г.* — статья И. А. Ильина «Предвестник кризиса» («Prophet der Krise») была напечатана в № 7—8 журнала (Eckart, 1932).

114

Ед. хр. 67. Л. 33, 34. Письмо, рук.

240 *...усомниться в писателе и следователе?* — об этом см. письмо И. С. Шмелева от 17 января 1942 г. (Т. 1. № 131).

241 *...любит Пустошкина.* — см. примечание 362 к письму № 78 и 403 к письму № 86 (Т. 1).

242 *Посланы от 18-го.* — вероятно, О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду два письма И. С. Шмелева: от 16 февраля и письмо от 18 февраля 1942 г. (Т. 1. № 147, 149).

243 *...«в какую бурю ощущений»...* — А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» (Гл. 8, XLVIII).

115

Ед. хр. 67. Л. 38, 39. Письмо, рук.

244 *...«раздетые шелком чулок»...* — неточная цитата из рассказа И. С. Шмелева «Въезд в Париж» (1925). В оригинале: «...раздетые чулочным шелком ноги...» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 2. С. 169).

245 *Бич-Бураев...* — главный герой рассказа «Въезд в Париж».

246 *...из твоего письма к маме...* — указанное письмо не сохранилось. В архиве О. А. Бредиус-Субботиной находятся два письма И. С. Шмелева А. А. Овчинниковой: от 29 декабря 1942 г. и 11 августа 1949 г. (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 55), а также письма А. А. Овчинниковой от 18 марта 1942 г. (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 68), с 11 декабря 1941 по 28 марта 1942 г. (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 97).

247 *Прилагаю Олю в лаборатории, у микроскопа.* — фотография хранится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 120. Л. 5). На обороте надпись: «Посылаю тебе прилежную Олю. Сияли ученицы неожиданно. Я для них приготовляла [1 сл. нрзб.]. Год моего аттестата. Очень усталая». Фотография датирована февралем 1933 г.

116

Ед. хр. 15. Л. 17. Письмо, машинопись, рук.

248 *...письма от I.III.* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 159).

117

Ед. хр. 67. Л. 49. Письмо, рук.

249 *...эту «цветную триодь» твою!* — О. А. Бредиус-Субботина сравнивает «Куликово поле» с богослужебной книгой («Триодь цветная»), которая используется от праздника Пасхи до седмицы Пятидесятницы. Книга издавалась с многоцветными орнаментальными заставками.

118

Ед. хр. 15. Л. 41. Почтовая открытка, рук.

250 *...от 3.III.* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 160).

119

Ед. хр. 68. Л. 17. Письмо, рук.

251 *Несколько строчек... сама напишу...* — письмо пересылалось в одном конверте с письмом А. А. Овчинниковой. На письме приписка О. А. Бредиус-Субботиной: «Прилагаю еще и свое письмо, не надо волноваться! Я чувствую себя хорошо! О.».

120

Ед. хр. 15. Л. 49, 50. Письмо, машинопись.

252 *...«грехи свои донести до Святой Горы»...* — в опубликованных произведениях И. С. Шмелева («Богомолье», «Лето Господне», автобиографические рассказы) данного фрагмента нет.

[253] *«...нас возвышающий обман».* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830). В оригинале: «Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман».

121

Ед. хр. 16. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

[254] *...новой почитательницей.* — лицо не установлено.

122

Ед. хр. 16. Л. 8, 9. Письмо, машинопись.

123

Ед. хр. 68. Л. 23, 24. Письмо, рук. Письмо отправлено из больницы. Адрес: Vereeniging voor Ziekenverpleging, Prinsengracht 769, Amsterdam (C.), Holland.

[255] *...«крупиц для псов со стола господина».* — образ из Евангелия (Мф. 15, 27).

[256] *«Если двое соберутся во Имя Его...»* — неточная цитата из Евангелия («Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». — Мф. 18, 20).

124

Ед. хр. 68. Л. 30, 31. Письмо отправлено из больницы. Адрес: Vereeniging voor Ziekenverpleging, Prinsengracht 769, Amsterdam (C.), Holland.

[257] *Над самой крышей стрельба...* — речь идет об английских бомбардировках.

[258] *Твое от 19—20.III.* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 166).

[259] *...писал и 17-го...* — вероятно, речь идет о письме И. С. Шмелева от 16 марта 1942 г. (Т. 1. № 165).

[260] *...после от 12-го...* — вероятно, речь идет о письме И. С. Шмелева от 11 марта 1942 г. (Т. 1. № 164).

[261] *...madam Руссель...* — О. А. Бредиус-Субботина ошибочно называет так Анну Семеновну Будо, владелицу фирмы «Руссель». См. примечание 662 к письму № 166 (Т. 1).

[262] *Чехов... всю жизнь болел!* — О. А. Бредиус-Субботина не точна. Окончательный диагноз заболевания туберкулезом был поставлен А. П. Чехову в 1897 г.

[263] *...13-го, писала тебе.* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 168).

125

Ед. хр. 68. л. 47, 48. Письмо, рук. Письмо отправлено из больницы. Адрес: Vereeniging voor Ziekenverpleging, Prinsengracht 769, Amsterdam (C.), Holland.

[264] *«Признаться, то-то б одолжил!»* — строка из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (Гл. 8, XXXVIII).

[265] *...у Gillmeister'а в клинике.* — об этом см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 4 января 1942 г. (Т. 1. № 120).

126

Ед. хр. 16. Л. 27, 28. Письмо, машинопись.

[266] *...«Егда славнии ученицы...»* — тропарь Великого Четверга и Великой Пятницы.

[267] *...«Разбойника благоразумного»...* — церковное песнопение (светилен), исполняющееся на утрене Великой Пятницы.

[268] *...баритон Кайданов...* — Евгений Константинович Кайданов (1893—1951), оперный певец, бас. Выступал в Париже и в Барселоне.

[269] *...утро Тоника...* — имеется в виду эпизод романа «История любовная» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 6. С. 220).

[270] *...еще 20.III...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 166).

[271] *...22.III — с «Вербным воскресеньем», 24.III — с окончанием «Вербного воскресенья»...* — письма от 20 и 22 марта 1943 г., которые И. С. Шмелев датирует днем их отправки (см. № 121—122 в настоящем томе).

[272] *...28.III заказное...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 167).

[273] *...31.III на маму ...* — имеется в виду письмо, написанное И. С. Шмелевым вечером 30 марта 1942 г. (Т. 1. № 171).

[274] *...1.IV заказное expres...* — письмо И. С. Шмелева от 1 апреля 1942 г. в архиве О. А. Бредиус-Субботиной не сохранилось.

127

Ед. хр. 69. Л. 6, 7 . Письмо, рук. Письмо отправлено из больницы. Адрес: Vereeniging voor Ziekenverpleging, Prinsengracht 769, Amsterdam (C.), Holland.

128

Ед. хр. 69. Л. 1, 2. Письмо, рук. Письмо отправлено из больницы. Адрес: Vereeniging voor Ziekenverpleging, Prinsengracht 769, Amsterdam (C.), Holland.

[275] *...Евангелие о Воскресении, Чудесное Иоанна Богослова I гл.!* — Ин. 1, 1—17, читается во время Пасхального богослужения.

[276] *...о моем «Крестном сне».* — О. А. Бредиус-Субботина подчеркивает сходство с крестным сном Дари («Пути небесные». Т. 1. Гл. XXIX), ставшим кульминационным моментом в развитии сюжета романа.

[277] *...Покровская церковь.* — построена в 1696—1703 гг., входит в архитектурный комплекс Никольского собора.

[278] *...о. Николая Писарева...* — см. примечание 511 к письму № 119 (Т. 1).

129

Ед. хр. 69. Л. 11. Письмо, рук. Письмо отправлено из больницы. Адрес: Vereeniging voor Ziekenverpleging, Prinsengracht 769, Amsterdam (C.), Holland.

279 *...в Сен-Женевьев...* — т. е. на могиле О. А. Шмелевой, на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа, под Парижем. См. примечание 106 к письму № 34 (Т. 1).

130

Ед. хр. 69. Л. 15. Письмо, рук.

280 *...не зная примера с хананеянкой.* — см. примечание 255 к письму № 123 в настоящем издании.

281 *...письмо от Марины Квартировой...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной указанное письмо не сохранилось.

131

Ед. хр. 16. Л. 54, 55. Письмо, машинопись.

282 *...от 1 апреля...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 175).

283 *...что произвело «Богомолье» в сердце Великого Князя Владимира...* — см. примечания 602 и 603 к письму № 144 (Т. 1).

284 *...«Любования»... как... делает Иоанн Лествичник...* — имеется в виду «Лествица райская» св. Иоанна Лествичника. В гл. 36 «Лествицы» говорится, что дьявол искушает преуспевших монахов любованием чем-либо или собой.

285 *От И.А. ни строки 2 года!* — последнее письмо от И. А. Ильина датировано 25 августа 1940 г. И. С. Шмелев в период с 1941 по 1944 г. отправил И. А. Ильину телеграмму и 3 письма, которые были переданы через Вигена Нарсесяна (См.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 298—302). Переписка возобновилась в 1945 г.

286 *...с Натальей Николавной?!* — речь идет о Наталье Николаевне Вокач, жене И. А. Ильина (см. примечание 60 к письму № 22, Т. 1).

132

Ед. хр. 17. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

287 *...в американском госпитале...* — клиника, в которой в 1934 г. находился на лечении И. С. Шмелев. Об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 207.

133

Ед. хр. 69. Л. 29. Почтовая открытка, рук.

134

Ед. хр. 17. Л. 19. Почтовая открытка, рук.

288 *...заказного письма, от 14-го!* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 176).

135

Ед. хр. 69. Л. 35. Почтовая открытка, рук.

289 *...письмо от 7-го!* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 173).

136

Ед. хр. 17. Л. 27. Почтовая открытка, машинопись.

290 *...твой рисунок...* — имеется в виду набросок обложки к рассказу «Куликово поле». Оригинал хранится в Российском Фонде Культуры.

137

Ед. хр. 69. Л. 42. 43. Письмо, рук.

291 *...моей «трамбовки»...* — имеется в виду Тилли, горничная О. А. Бредиус-Субботиной.

292 *...для проф. Rost'a...* — сведений о нем нет.

293 *...состязается с Ганди?!* — в 1942—1944 гг. Мохандас Карамчанд Ганди (1869—1948) находился в заключении. Голодовки были одним из основных средств «ненасильственного сопротивления».

294 *...дойдет этот «портрет».* — имеется в виду автопортрет О. А. Бредиус-Субботиной, опубликованный в Т. 1. Оригинал хранится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 123. Л. 1).

138

Ед. хр. 17. Л. 40, 41. Письмо, машинопись.

295 *...не крыловский же я петух...* — имеется в виду басня И. А. Крылова «Петух и Жемчужное зерно» (1809).

296 *Я писал тебе в апреле...* — см. письма И. С. Шмелева от 4, 7, 20, 23 апреля 1942 г. (Т. 1. № 172, 173, 179, 181). И. С. Шмелев не точен: последнее письмо О. А. Бредиус-Субботиной было им написано не 29, а 27 апреля 1942 г. (Т. 1. № 183).

297 *Это была полоса «налетов»...* — в первой половине 1942 г. авиация Великобритании возобновила воздушные бомбардировки Парижа.

298 *...закрытое — 21...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 178).

299 *«...Он любит петь один...».* — приведена цитата из главы «Конец концов» романа И. С. Шмелева «Солнце мертвых» (Шмелев И. С. Избранные сочинения. С. 611).

139

Ед. хр. 70. Л. 1, 2. Письмо, рук.

300 *Твое письмо маме...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной это письмо не сохранилось.

301 *...муж сестры Арнольда, русский.* — Юрий Федорович Енакиев, см. примечание 503 к письму № 115 (Т. 1).

302 *...В. М. ...* — сведений о первой жене Ю. Ф. Енакиева нет.

303 *... читала Сургучева...* — Илья Дмитриевич Сургучев (1881—1956), писатель, драматург. С 1920 г. в эмиграции (в Праге, затем в Париже).

В эмигрантский период И. Д. Сургучев опубликовал две книги: «Эмигрантские рассказы» (Париж, 1927) и роман «Ротонда» (Париж, 1928).

304 *...Вал. Гор.* — имеется в виду В. И. Горянский, см. примечание 31 к письму № 4 (Т. 2).

305 *...цветную обложку для «Куликова поля»?* — цветной эскиз обложки не сохранился.

306 *...писала об оптимуме моего профессора?* — речь идет о письме И. А. Ильина к О. А. Бредиус-Субботиной по поводу будущего России. В архиве Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось. Его содержание она пересказывает в своем письме И. С. Шмелеву от 15 апреля 1942 г. (Т. 1. № 177).

140

Ед. хр. 16. Л. 35. Почтовая открытка, рук.

307 *Мой «вечер» — кажется, 7.VI...* — литературный вечер И. С. Шмелева состоялся 21 июня 1942 г., подробнее об этом см. примечание 743 к письму № 191 (Т. 1).

141

Ед. хр. 70. Л. 16, 17. Письмо, рук.

142

Ед. хр. 17. Л. 54—56. Письмо, машинопись, рук.

308 *«Честь» — российского — «тавра»!* — здесь и далее И. С. Шмелев перефразирует слова из стихотворения А. С. Пушкина (1928) «Кобылица молодая...» (в оригинале: «Честь кавказского тавра...»).

309 *...«видно, что битая посуда»...* — слова няни из романа «Няня из Москвы» о военном докторе, генерале «лет ... за шестьдесят» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 3. С. 50).

310 *...бывшая староверка-владимирка-ковровка...* — о ней идет речь в письме И. С. Шмелева от 1 марта 1942 г. (Т. 1. № 159).

311 *...из водевиля «Ворона в павлиньих перьях»?* — водевиль Н. И. Куликова (1873). Этот водевиль также упоминается в главе «Серебряный сундучок» романа «Лето Господне» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 335).

312 *...милого крымчака...* — имеется в виду Сулейман Ильич Гелелович, муж Е. С. Гелелович. См. примечание 628 к письму № 150 (Т. 1).

313 *...«вы, сударь, холод.., сударь — лед..!»* — неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». В оригинале: «Вы, сударь, камень, сударь, лед» (действие IV, явление 12).

314 *...сказочку Ушинского.* — И. С. Шмелев цитирует сказку К. Д. Ушинского (1823—1870) «Кот и петух».

315 *...картину Горбатова...* — Константин Иванович Горбатов (1876—1945), русский художник. В 1924 г. эмигрировал в Италию, с 1928 г. жил в Берлине, участвовал в выставках русского искусства в Гааге (1924), Питтсбурге (1925), Кельне (1929), Берлине (1930).

316 *...«оптимистического письма» профессора Капеллы!* — И. С. Шмелев ошибочно приписывает письмо И. А. Ильина ван Капеллену.

Об этом см. далее письмо № 146, а также примечание 306 к письму № 139 в настоящем издании.

317 *...газета десять лет избегала поминать даже имя «достойного»?* — вероятно, речь идет о газете «Последние новости».

318 *«...чем для той сухой смоковницы»!* — образ из Евангелия (Мф. 21, 19; Мк. 11, 13—14).

319 *...Пастаки...* — о братьях Пастак см. примечание 712 к письму № 183 (Т. 1).

320 *...Мозжухин...* — Александр Ильич Мозжухин (1879—1952), брат И. И. Мозжухина, оперный и камерный певец. С 1926 г. жил за границей.

321 *«По Индии» — Вальдемара Бонзельса.* — имеется в виду книга немецкого писателя Вальдемара Бонзельса (1880—1952) «Indienfahrt» (Путешествие в Индию. Франкфурт-на-Майне, 1919).

143

Ед. хр. 17. Л. 66. Почтовая открытка, рук.

322 *...оба письма, от 14-го и 15-го...* — письмо И. С. Шмелева от 14 мая 1942 г. опубликовано в настоящем томе (№ 142), письмо от 15 мая 1942 г. см. в Т. 1 (№ 186).

144

Ед. хр. 18. Л. 8. Почтовая открытка, рук.

323 *...твое письмо — 7—8.V...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 187).

145

Ед. хр. 70. Л. 39. Письмо, рук.

324 *...письмо от брата Арнольда...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось. О Корнелиусе Бредиусе ван Ретвельде см. примечание 43 к письму № 13 (Т. 1).

325 *...«Возвращение троянского героя».* — автор указанной статьи В. И. Горянский.

146

Ед. хр. 70. Л. 53, 55. Письмо, рук.

326 *...на врубелевского «Демона»...* — О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду картину М. А. Врубеля «Сидящий Демон» (1890).

327 *...просматриваю лишь в газете.* — заметки И. Д. Сургучева под общим названием «Парижский дневник» печатались в газете «Новое слово» с ноября 1940 по июнь 1942 г., затем они публиковались на страницах «Парижского вестника».

147

Ед. хр. 18. Л. 19. Почтовая открытка, рук.

328 *Я писал тебе... 22-го...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 21—22 мая 1942 г. (Т. 1. № 191).

148

Ед. хр. 18. Л. 21. Почтовая открытка, рук.

329 *...два твоих письма: от 18 и 20.* — указанные письма опубликованы в Т. 1 (№ 192 и № 193).

149

Ед. хр. 71. Л. 1. Почтовая открытка, рук.

150

Ед. хр. 18. Л. 37. Почтовая открытка, рук.

151

Ед. хр. 71. Л. 8. Письмо, рук.

330 *...рада твоему выбору вещей.* — на литературном вечере И. С. Шмелев планировал чтение отрывков из романов «Няня из Москвы», «Лето Господне», «Богомолье» и рассказов «Чертов балаган», «Небывалый обед», «Орел». См. также примечание 743 к письму № 191 (Т. 1).

331 *...всего твоего «нового "Лета Господня"».* — работа над второй частью («Радости») автобиографического романа «Лето Господне» продолжалась с 1934 по 1944 г. (первая часть романа «Праздники» была написана в 1927—1931 гг.). Третья часть («Скорби») была написана И. С. Шмелевым в 1943—1944 гг. О работе над III частью романа см. письма И. С. Шмелева от 5, 9, 15 сентября, 5 ноября 1943 г. и 11 января, 4 февраля 1944 г. (Т. 2. № 56, 58, 59, 64, 73, 77).

332 *...пишу... ему и Inge (его жене)...* — письма Е. Шахбагова и И. Шахбаговой к О. А. Бредиус-Субботиной хранятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 153). Большая часть писем написана на немецком языке.

333 *...не дошло бы до такого конца...* — Ф. И. Шаляпин умер 12 апреля 1938 г. от лейкемии. Правильный диагноз (злокачественное заболевание крови) был поставлен проф. Вейлем только в феврале 1938 г.

334 *...у интерниста...* — врач, специалист по болезням внутренних органов (*от лат. internus* — внутренний).

335 *...на панихиде по «деятелям литературы и искусств».* — панихида по деятелям русской литературы и искусства, скончавшимся в эмиграции, была проведена 31 мая 1942 г. Объединением русских писателей и артистов.

336 *...Коровина в его воспоминаниях о Шаляпине?* — речь идет о книге К. А. Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь» (Париж, 1939).

337 *...о чем я ему писал...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной не сохранились письма И. С. Шмелева к С. А. Субботину. Вероятно, здесь речь идет о деловом письме, которое И. С. Шмелев должен был использовать в качестве официального предлога для получения визы в Голландию. С. А. Субботин был представлен как «литературный агент» И. С. Шмелева. О предполагаемой поездке И. С. Шмелева в Голландию см. также примечания 4 к письму № 1 и 57 к письму № 5 (Т. 2).

[338] *...о бабе, плачущей над несуществующим мальчиком.* — об этом см. письма И. С. Шмелева от 15 мая 1942 г. (Т. 1. № 186) и от 12 июня 1942 г. (Т. 2. № 4).

[339] *...о. Варнавы.* — об о. Варнаве Гефсиманском см. примечание 212 к письму № 54 (Т. 1).

[340] *Посылаю фото...* — указанная фотография находится в Российском Фонде Культуры (Фонд И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053).

152

Ед. хр. 18. Л. 40. Почтовая открытка, рук.

153

Ед. хр. 71. Л. 13. Письмо, рук.

[341] *...Master'a...* — владелец пансиона в г. Арнеме (Arnhem), в котором жил С. А. Субботин.

[342] *Ястребок твой...* — персонаж рассказа И. С. Шмелева «Последний выстрел» (1908).

[343] *«Мой Марс»* — рассказ И. С. Шмелева. Впервые опубликован: Шмелев И. С. Они и мы. Вторая книга рассказов. М., 1910.

154

Ед. хр. 71. Л. 17, 18. Письмо, рук.

[344] *...к няне...* — Александра Андреевна Зуева («Яйюшка»). О. А. Бредиус-Субботина неоднократно описывает ее в своих автобиографических рассказах («Лик», «Мой первый пост»).

[345] *...мой дядя...* — вероятно, речь идет о Дмитрии Васильевиче Добровольском (1871—1919), муже Екатерины Александровны Субботиной (1872—1919), сестры А. А. Субботина. Окончил Ярославскую духовную семинарию, преподавал в церковно-приходской школе села Сергиевского Угличского уезда. В 1896 г. рукоположен в священника. С 1898 г. был священником 5-го Закаспийского стрелкового батальона Туркестанского военного округа, с 1901 г. в 167 пехотном Остроженском полку в г. Чернигове. Именно ему 4 августа 1905 г. А. А. Субботин подарил фотографию своей дочери (указанная фотография опубликована в Т. 2).

[346] *...Яйюшка жила с мужем.* — Василий Зуев. О нем см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 20 августа 1942 г. (Т. 2. № 14).

[347] *Анютка...* — персонаж романа «Пути небесные».

[348] *...«и я пропою через нее, Дари, гимн всему...»* — неточная цитата из письма И. С. Шмелева от 23 мая 1941 г. (Т. 1. № 25).

[349] *...твое от двадцать девятого—тридцатого.* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 194).

155

Ед. хр. 18. Л. 51, 52. Письмо, машинопись, рук.

[350] *...твое письмо 27 мая...* — указанное письмо опубликовано в Т. 1 (№ 195).

351 *...письмом... о «влияниях».* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 16 мая 1942 г. (Т. 1. № 188).

352 *...друг, ценящий искусства...* — вероятно, речь идет о Дмитрии Ивановиче Ознобишине (см. примечание 530 к письму № 126, Т. 1).

353 *Богу и мамоне...* — Мф. 6, 24.

354 *«На свете счастья нет, А есть покой и воля».* — здесь и далее цитируется стихотворение А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора!» (1834).

355 *...от «жизни мышьей беготни».* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» (1830).

356 *...«каждый день уносит частицу бытия».* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора!». В оригинале: «Летят за днями дни, и каждый час уносит / Частичку бытия...».

357 *...о моем «Богомолье».* — имеется в виду статья И. А. Ильина «Святая Русь. "Богомолье" Шмелева» (см. примечание 526 к письму № 116, Т. 2).

358 *...«фиал-гимн».* — здесь: служение божественному (фиала (*гр.*) — чаша для возлияний богам).

359 *«...душой радоваться надо».* — слова Горкина из главы «У Троицы» романа «Богомолье (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 503).

360 *...«по всей Руси великой»...* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836).

361 *...свою серафическую всенощную Рахманинов.* — «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова (1915).

362 *«...Русским художественным актом... И верим, и знаем, что воистину "исправится"»...* — в приведенном фрагменте статьи И. А. Ильина И. С. Шмелевым изменены выделение курсивом, разрядка, пунктуация. Эти изменения иллюстрируют трактовку статьи Шмелевым, поэтому сохранены в настоящем издании. Для сопоставления цитаты см.: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 6. Кн. 2. С. 137—138.

363 *...«молодка» с бусинками, янтариками...* — персонаж романа И. С. Шмелева «Богомолье».

364 *...в юной Анюте...* — здесь: персонаж романа «Богомолье».

365 *Как мой Илья...* — имеется в виду эпизод из главы XI повести И. С. Шмелев «Неупиваемая чаша» (Шмелев И. С. Избранные сочинения. С. 427).

156

Ед. хр. 71. Л. 22. Почтовая открытка, рук.

366 *...Мазини.* — Анджело Мазини (1844—1926), итальянский певец.

367 *По Коровину он в 80 лет женился...* — в своей книге «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь» К. А. Коровин приводит слова Шаляпина о Мазини: «Меня поражало — какое чувство в нем, голос! Небесный голос. И сам он был, брат, парень хороший. Восьмидеся-

ти лет женился. И какая женщина! Молодая, красавица. Я ее видал. Любила его» (Коровин К. А. Шаляпин. Встречи и совместная жизнь. М., 1993. С. 129).

368 *Пришли же копию портрета.* — имеется в виду портрет И. С. Шмелева, написанный художником Я. Я. Калиниченко (1917).

369 *Сегодня рождение Пушкина.* — О. А. Бредиус-Субботина не точна. А. С. Пушкин родился не 8, а 6 июня (25 мая ст. ст.) 1899 г.

157

Ед. хр. 71. Л. 29. Почтовая открытка, рук.

370 ...*говорил о «Путях Небесных».* — речь идет о письме И. С. Шмелева от 4 июня 1942 г. (Т. 2. № 2).

371 *На первую часть твоего письма... я не отвечаю...* — в вышеуказанном письме (от 4 июня 1942 г.) И. С. Шмелев писал о своем отношении ко Второй мировой войне (см. примечание 21 к письму № 2, Т. 2).

372 ...*Виген...* — Виген Нарсесян, см. примечание 719 к письму № 185 (Т. 1).

158

Ед. хр. 71. Л. 31, 32. Письмо, рук.

373 ...*Иван Семенович Морев...* — см. примечание 377 к письму № 81 (Т. 1).

374 *Мы же — Марфы.* — отсылка к евангельской притче о Марфе и Марии (Лк. 10, 38—42).

375 ...*золовке...* — имеется в виду Елизавета Бредиус ван Ретвельд.

376 К сноске внизу страницы:

...*родственника художника...* — о нем см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 4 февраля 1947 г. (Т. 2. № 170).

377 *Кобылица молодая?* — О. А. Бредиус-Субботина ссылается на стихотворение А. С. Пушкина «Кобылица молодая...» (1828), которое И. С. Шмелев неоднократно цитировал. По мнению писателя, указанное стихотворение отражает характер его корреспондентки.

378 ...*пела «на реках Вавилонских».* — Пс. 136.

159

Ед. хр. 71. Л. 36, 37. Письмо, рук.

379 ...*сестра Фаси.* — сведений о ней нет.

380 ...*копию своего письма по-немецки для тебя.* — речь идет о деловом письме по поводу приобретения литературных прав (см. примечание 337 к письму № 151 в настоящем томе). Из-за цензурных условий И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина были вынуждены прибегать к иносказаниям.

381 ...*знаком ли ты с «пассией» Марины?* — имеется в виду Виген Нарсесян.

382 ...*фамилия Охтерлони...* — генеалогическое древо рода Охтерлони дано в приложении к статье Е. А. Ни «Предки и родственни-

ки О. А. Шмелевой, урожденной Охтерлони». См.: Венок Шмелеву. М., 2001. С. 329—330.

383 *Получила письмо от его жены...* — см. примечание 29 к письму № 3 (Т. 2).

384 *...рассказ свой о говеньи...* — имеется в виду рассказ «Мой первый пост».

160

Ед. хр. 19. Л. 1. Почтовая открытка, рук.

161

Ед. хр. 71. Л. 40, 41. Письмо, рук.

385 *Что бы дала я за 1936 г.* — О. А. Бредиус-Субботина подразумевает несостоявшееся знакомство с И. С. Шмелевым на его литературном вечере в Берлине 6 октября 1936 г. Об этом см. примечание 4 к письму № 1 (Т. 1).

386 *...написать Плевицкой.* — Надежда Васильевна Плевицкая (1884—1941), певица. После 1920 г. в эмиграции во Франции.

387 *...исполнением народных песен, и «а девичью совесть вином залила».* — строка из песни «Ехал на ярмарку ухарь-купец». О. А. Бредиус-Субботина не точна: текст песни был написан И. С. Никитиным (1824—1861) в 1858 г.

388 *...гениальное исполнение Шаляпиным «Блохи»...* — имеется в виду «Песнь Мефистофеля в погребке Ауэрбаха» (муз. М. П. Мусоргского, сл. И.-В. Гете в переводе А. Струговщикова, 1856).

389 *...м. б. тоже «залила совесть»?* — в 1930 г. вместе со своим мужем генерал-майором Н. В. Скоблиным (1894—1937?) Н. В. Плевицкая начала сотрудничать с советской разведкой. После похищения генерала Миллера и бегства Скоблина в 1937 г. Плевицкая была арестована и приговорена к 15 годам тюремного заключения.

390 *...Павловой...* — Анна Павловна (Матвеевна) Павлова (1881—1931), балерина.

391 *...ее последний балет в Берлине.* — во время театрального сезона 1926—1927 гг. труппа А. П. Павловой выступала в берлинском Theater des Westens (Западном Театре).

392 *...«а счастье было так возможно, так близко...».* — цитата из романа «Евгений Онегин» (Гл. 8, XLVII).

162

Ед. хр. 71. Л. 49, 50. Письмо, рук.

393 *...я пошлю тебе свой «Пост»...* — рассказ был отправлен И. С. Шмелеву 13 июля 1942 г. (Т. 2. № 8—10).

394 *...твой «Пост»...* — речь идет о главе романа «Лето Господне» «Великий пост» (кн. 1 «Праздники»).

163

Ед. хр. 71. Л. 45, 46. Письмо, рук.

164

Ед. хр. 71. Л.52. Почтовая открытка, рук.

165

Ед. хр. 72. Л.1. Письмо, рук.

395 *«...важно сохранить для других».* — О. А. Бредиус-Субботина неточно цитирует письмо И. С. Шмелева от 29 мая 1942 г. (Т. 1. № 194).

396 *...По Толстому: все только эгоизм.* — вероятно, О. А. Бредиус-Субботина подразумевает рассказ Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1884—1886).

397 *...эти «живые огоньки».* — цитата из романа И. С. Шмелева «Богомолье»: «...И до сего дня помню радостные те ягодки, на солнце, — душистые огоньки, живые» (Шмелев И.С. Собр. соч. Т. 4. С. 436).

398 *Без отрубания даже пальца!* — имеется в виду эпизод из повести Л. Н. Толстого «Отец Сергий» (1890—1898, опубл. посмертно в 1911 г.).

399 *Последнее письмо ты писал двенадцатого.* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 4).

167

Ед. хр. 19. Л.17. Письмо, машинопись.

400 *...Очан...* — врач, у которого лечился И. С. Шмелев. О нем см. также письмо И. С. Шмелева от 23—25 июня 1942 г. (Т. 2. № 5).

401 *...сказал о цветах...* — в письме от 23—25 июня 1942 г. И. С. Шмелев сообщал О. А. Бредиус-Субботиной: «Розы были хороши... — но цветочники, конечно, тебя обманывают, уверен. Розы были не длинностебельные, не одного сорта, иные были похожи на махровый... шиповник!» (Т. 2. № 5).

402 *...двадцать пятого заказное...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 5).

403 *...двадцать седьмого...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 6).

168

Ед. хр. 19. Л.36, 37. Письмо, машинопись.

404 *...жили мы вместе с Буниными.* — см. примечание 88 к письму № 29 (Т. 1). О пребывании семьи Шмелевых на вилле Бунина «Mont Fleuri» см. также: Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3-х т. Франфуркт-на-Майне, 1981. Т. 2. С. 112—115; Кузнецова Г. Н. Грасский дневник. М., 1995. С. 20.

405 *...в рассказе «Дача» или другом.* — И. С. Шмелев не точен. В рассказах А. П. Чехова звукоподражания, как правило, отсутствуют. В рассказе «Дачники» (1885) упоминается только крик коростеля.

406 *...это услыхал Чехов у брата в Мещанском училище...* — в письме приведен фрагмент рассказа «Как я встречался с Чеховым» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 2. С. 316). Речь идет об Иване Павловиче Чехове (1861—1922), преподавателе Мещанского училища. О том, как

И. С. Шмелев имитировал голоса птиц, рассказывает также Ив Жантийом в книге «Мой дядя Ваня» (М., 2001. С. 28).

407 *...похоже на чеховскую «Сирену»...* — в рассказе А. П. Чехова «Сирена» (1887) секретарь мирового суда Жилин после заседания рассказывает о способах приготовления различных блюд. Присутствующие не выдерживают и, не закончив дела, отправляются обедать.

408 *...Александр Александрович...* — И. С. Шмелев перечисляет родственников О. А. Шмелевой: Александр Александрович Охтерлони (1863—1937), его братья (а не сыновья, здесь И. С. Шмелев не точен) Алексей (1873-?) и Владимир (1869—1935). У Алексея Александровича Охтерлони было две дочери (Лидия и Евгения), у Владимира Алексеевича Охтерлони четыре сына (Серафим, Григорий, Александр, Владимир). В письме упомянуты не все родственники О. А. Шмелевой. Более подробно см.: Ни Е. А. Предки и родственники О. А. Шмелевой, урожденной Охтерлони // Венок Шмелеву. С. 329—330.

409 *...в главе — «Царский золотой»?* — фрагмент первой главы романа «Богомолье» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 400—401).

410 *...мой контрагент по литературным правам...* — речь идет об С. А. Субботине. См. примечания 337 к письму № 151 и 380 к письму № 159 в настоящм издании.

169

Ед. хр. 72. Л. 7, 8. Письмо, рук.

170

Ед. хр. 19. Л. 26, 27. Письмо, машинопись.

411 *...от Ивиковых родных...* — имеется в виду семья Лекомт. О них см. письмо И. С. Шмелева от 20 октября 1941 г. (Т. 1. № 60).

412 *...в Комитете Молебствия об освобождении Крыма...* — речь идет об организации молебна после победы немецких войск в Крыму летом 1942 г. Факт участия в этом молебне послужил одним из оснований для обвинения Шмелева в коллаборационизме. См.: Бонгард-Левин Г. М. Дело И. С. Шмелева // Бонгард-Левин Г. М. Из «Русской мысли». СПб., 2002. С. 100—110; Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 294—296.

413 *...6 мес. жизни в сосновых лесах Ланд.* — с 1924 по 1927 г. Шмелевы снимали на лето дачу «L'Alouette» («Жаворонок») в окрестностях дер. Оссегор (Ланды).

414 *...«дух бодр, плоть же немощна...»* — Мф. 26, 41.

415 *...«Иконография Богоматери» Кондакова.* — Н. П. Кондаков. Иконография Богоматери. Т. 1—2. СПб., 1914; Пг. 1915.

416 *...ни слова не пиши о* н а ш е м. — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 10 июня 1942 г. (Т. 2. № 3), в котором она иносказательно рассуждала о положении в СССР.

171

Ед. хр. 72. Л. 19, 20. Письмо, рук.

417 *...на Баране праздник...* — село Никольское-Баран Костромской губернии, где служил протоиереем Александр Михайлович Груздев, дед О. А. Бредиус-Субботиной по материнской линии.

418 *Иванов день...* — рождество Иоанна Крестителя (24 июня / 7 июля), в народных поверьях — Иван Купала.

172

Ед. хр. 19. Л. 42, 43. Письмо, машинопись.

419 *...твоим волшебным письмом...* — вероятно, речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 4 июля 1942 г. См. примечание 78 к письму № 7 (Т. 2).

420 *...они светились...* — фрагмент IX главы второй части романа «Анна Каренина»: «Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама во тьме видела» (Толстой Л. Н. Анна Каренина. М., 1995. С. 157).

421 *...с фото...* — имеется в виду «девушка в ветре» (1942 г.), фотография О. А. Бредиус-Субботиной (находится в Российском Фонде Культуры, архив И. С. Шмелева, свидетельство о дарении 1053).

422 *...«и сквозь опущенных ресниц...».* — заключительные строки стихотворения Ф. И. Тютчева «Люблю глаза твои, мой друг...» (1836).

173

Ед. хр. 19. Л. 48, 49. Письмо, машинопись.

423 *...голландский роман «Человек»...* — имеется в виду голландское издание повести И. С. Шмелева «Человек из ресторана» (De Kellner. Amsterdam, s. d.).

174

Ед. хр. 72. Л. 40, 41. Письмо, рук.

424 *...паримии...* — чтения из Ветхого (реже — Нового) Завета.

175

Ед. хр. 72. Л. 45, 46. Письмо, рук.

425 *...«блаженство темное зову...».* — слова из арии Татьяны (П. И. Чайковский, опера «Евгений Онегин»). В романе А. С. Пушкина: «Блаженство темное зовешь...» (Гл. 3, XV).

426 *Бооольшой роман.* — об этом романе см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной, датированное серединой июля 1942 г. (Т. 2. № 11).

427 *...к 24-му я шлю тебе особенный привет...* — 24 июня празднуется день св. равноапостольной кн. Ольги (день памяти О. А. Шмелевой).

428 *...завтра — Сережа.* — 18 июля день св. Сергия и Вакха.

429 *...«Вербу»...* — глава «Вербное воскресенье» романа «Лето Господне» (Возрождение. 1938. 22 апреля. № 4128).

430 *...речь твоя о Пушкине...* — см. примечания 238 и 239 к письму № 59 (Т. 1).

176

Ед. хр. 19. Л. 55. Письмо, машинопись.

431 *...«моя жена ошеломлена»...* — речь идет о писательнице Анне Алек-

сандровне Евреиновой-Кашиной (1899—1981). А. А. Кашина вышла замуж за Н. Н. Евреинова в 1921 г.

432 *«...замыслил я побег».* — строка из стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора!» (1834).

177

Ед. хр. 19. Л. 65. Письмо, машинопись.

433 *...о поездке к доктору...* — речь идет о поездке О. А. Бредиус-Субботиной в Берлин к Е. Шахбагову для медицинского обследования. См. письмо от 13 июля 1942 г. (Т. 2. № 10).

178

Ед. хр. 19. Л. 56. Черновой отрывок письма О.А. Бредиус-Субботиной от 22 июля 1942 г. (№ 179) на конверте письма И.С. Шмелева от 17 июля 1942 г., рук.

179

Ед. хр. 73. Л. 1, 2. Письмо, рук.

434 *И искорит ее за них.* — О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду следующий фрагмент книги Ф. И. Шаляпина «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах» (Париж, 1932): «А после десятка поцелуев кудрявый человек с голубыми глазами уже начинает замечать, что она ведет себя не так строго, как должна вести себя девушка <...> Не дай Бог, если она ему возразит <...> — он придет в неописуемую ярость и предъявит ей категорическое требование: Отдай мне немедленно мои письма назад!..» (Цит. по изд.: Шаляпин Ф. И. Маска и душа. М., 1989. С. 258—259).

435 *...семья матушки...* — вдова и дочери протоиерея Алексия Розанова, бывшего настоятеля храма св. Марии Магдалины в Гааге.

436 *...друг нашей семьи из Берлина.* — в дальнейшем упоминается как В. В. (Виктор Викторович). О нем также см. письма О. А. Бредиус-Субботиной от 4, 19, 25 и 31 августа 1942 г. (№ 182, 188, 192, 197 в настоящем томе).

437 *Только утро любви хорошо...* — стихотворение С. Я. Надсона (1883). О. А. Бредиус-Субботина подразумевает строки: «Поцелуй — первый шаг к охлажденью: мечта / И возможной, и близкою стала».

180

Ед. хр. 73. Л. 4. Письмо, рук.

438 *...письмо о фильме «Чаша»?* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 5 июля 1942 г. (Т. 2. № 7).

181

Ед. хр. 20. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

439 *...«ты сам семерых обидишь».* — неточная цитата из пьесы А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856). В оригинале жена купца Тита Титыча Брускова произносит следующую фрвзу: «Никто,

батюшка Кит Китыч, не смеет вас обидеть. Вы сами всякого обидите!» (действие 2, явление 5).

440 *...в искусстве ни-чего лишнего!»* — подразумевается фраза из письма А. П. Чехова А. Е. Лазареву-Грузинскому от 1 ноября 1889 г.: «Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него» (Переписка А. П. Чехова: В 3 т. Т. 1. М., 1996. С. 448).

182

Ед. хр. 73. Л. 9, 10. Письмо, рук.

441 *...с «кипящим сердцем»...* — О. А. Бредиус-Субботина ссылается на эпизод из IX главы «Прозрение» романа «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 84).

442 *...письмо от Шахбагова...* — письмо Е. Шахбагова от 24 июля 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 152. Л. 2, 3).

183

Ед. хр. 73. Л. 13. Письмо, рук.

443 *...одна знакомая в Париже...* — речь идет о К. Л. Первушиной (см. примечание 537 к письму № 119, Т. 2).

184

Ед. хр. 20. Л. 16. Почтовая открытка, рук.

185

Ед. хр. 20. Л. 19, 20. Письмо, машинопись.

444 *Ты понимаешь, конечно... — «голубая коляска»?* — И. С. Шмелев имеет в виду фрагмент гл. XIV повести «Неупиваемая чаша» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 1. С. 421—422).

445 *...А. Танеевой-Вырубовой.* — А. А. Вырубова (урожд. Танеева; 1884 — после 1929), фрейлина и близкая подруга императрицы, с 1920 г. в эмиграции. Ее книга «Страницы из моей жизни» была издана в 1923 году в Берлине.

446 *...письмо проф. Карташева...* — переписка И. С. Шмелева и А. В. Карташева хранится в Бахметевском архиве (США), копии писем — в Российском Фонде Культуры.

447 *...Сеченов ...«Рефлексы головного мозга».* — речь идет о книге академика Ивана Михайловича Сеченова (1829—1905), написанной в 1866 г.

448 *...специалисту-французу...* — имеется в виду Mr. Antoine, терапевт, лечащий врач И. С. Шмелева.

186

Ед. хр. 73. Л. 17, 18. Письмо, рук.

449 *Как у Тоника ошибка Серафимы?* — фрагмент романа «История любовная» (Глава XLIII).

187

Ед. хр. 73. Л. 22. Письмо, рук.

188

Ед. хр. 73. Л. 26, 27. Письмо, рук.

189

Ед. хр. 20. Л. 35, 36. Письмо, машинопись.

450 *...боюсь возможности нашего разделения событиями.* — 19 августа 1942 г. англо-канадские войска совершили рейд на Дьепп. О. А. Бредиус-Субботина опасается, что в случае открытия второго фронта Голландия будет отрезана от других оккупированных территорий.

451 *...журналы с твоим и И. А....* — вероятно, речь идет о номерах немецкого журнала «Эккарт», в которых были опубликованаы статья И. А. Ильина «Предвестник кризиса» (Il'in I. Prophet der Krise // Eckart. 1932. № 7—8) и рассказы И. С. Шмелева «На пеньках» (An den Baumstuempfen: der Bericht eines ehemaligen Menschen // Eckart. 1932. № 7—8) и «Про одну старуху» (Die Wallfahrt nach Brot // Eckart. 1933. № 7—8).

452 *...«Mein Kampf»? Гитлера?* — имеется в виду книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» (1924).

190

Ед. хр. 20. Л. 50, 51. Письмо, машинопись.

191

Ед. хр. 20. Л. 56, 57. Письмо, машинопись.

453 *...«но есть еще очарованье...».* — И. С. Шмелев неточно цитирует стихотворение Ф. И. Тютчева «Люблю глаза твои, мой друг...» (не позднее апреля 1836 г.). В оригинале: «Но есть сильней очарованья...».

454 *...обещал сам возглавляющий.* — Юрий Сергеевич Жеребков. О нем см. примечание 466 к письму № 103 (Т. 1).

455 *Вместе учились?* — С. А. Субботин закончил Институт железнодорожного транспорта в Берлине. Вероятно, они были знакомы по работе в НТСНП, Берлинским отделением которого руководил С. А. Субботин. О работе С. А. Субботина в НТСНП см. также: Рарр Л., Оболенский В. Ранние годы (1924—1948). Материалы к истории НТС. Вып. 1. М., 2003. С. 107; Между Россией и Сталиным. Российская эмиграция и Вторая мировая война. М., 2004. С. 89—109.

456 *...генеральши Ольги Федоровны Поздеевой...* — О. Ф. Поздеева (урожд. Рыковская, 1895—1984), жена генерал-майора Константина Ростиславовича Поздеева (1887—1981), бывшего председателем Гвардейского объединения и Союза георгиевских кавалеров и хранителем полкового казачьего музея в Курбевуа.

457 *...о ее письме и моем — ей...* — в материалах архива О. А. Бредиус-Субботиной упоминаний об этих письмах нет.

458 *...переводившего «Человека»...* — см. примечание 327 к письму № 77 (Т. 1).

459 *...Козлову...* — см. примечание 720 к письму № 161 (Т. 2).

460 *...журналиста Грондейса...* — речь идет о Л. Х. Грондейсе, голланд-

ском профессоре, журналисте, авторе книги «Византийское искусство». См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 174.

461 *...дам «Чертов балаган»...* — рассказ И. С. Шмелева был опубликован в газете «Парижский вестник» (1942. 6 сентября. № 13). См. также примечание 550 к письму № 129 (Т. 1).

462 *...мою статью об инвалидах...* — статья И. С. Шмелева «Голос совести. 17-й день русского инвалида», которая была напечатана в «Парижском вестнике» (1942 г. 2 августа. № 8).

463 *...Союзу инвалидов...* — речь идет о Зарубежном Союзе Русских военных инвалидов (ЗСРВИ). С 1932 г. председателем Союза был генерал М. Н. Кальницкий (см. примечание 647 к письму № 145, Т. 2).

464 *...как я ежегодно делаю.* — с 1924 по 1940 г. И. С. Шмелев ежегодно публиковал свои статьи и рассказы в майском номере ежемесячной газеты «Русский инвалид» (органе главного правления ЗСРВИ). Этот номер был посвящен Дню русского инвалида (9/22 мая).

465 *...отца Жеребкова...* — сведений о нем нет.

466 *...там у меня переводчица отличная...* — имеется в виду Руфь Родштейн, переведшая на шведский язык повесть И. С. Шмелева «Человек из ресторана».

467 *Духа не угашайте!* — 1 Фесс. 5, 19.

192

Ед. хр. 73. Л. 36, 37. Письмо, рук.

468 *...«Die Liebe» и «Die wahre Liebe».* — гл. 56 «Истинная любовь» и гл. 59 «Любовь» книги И. А. Ильина «Я вглядываюь в жизнь. Книга раздумий» (см. примечание 37 к письму № 17 в настоящем томе).

469 *...говорит Keiserling.* — Герман Кайзерлинг (1880—1946), немецкий философ. Вероятно, речь идет о его книге «Путевой дневник философа» (1918). Впоследствии этот фрагмент был использован И. С. Шмелевым во втором томе романа «Пути Небесные». В главе XL «Из уст младенцев...» В. А. Вейденгаммер говорит Дариньке: «Один умный немец определил с в о е... один немецкий сочинитель. Представь себе два входа, рядом... на одном написано — “Рай”, на другом — “Доклад о Рае”. Если бы подошли “немцы”, ну... кто живет рассудком, все вошли бы во вторую дверь, чинно, не толкаясь. А если бы это была ты... ну, вообще, русские, — так бы и ринулись в первую дверь, где “Рай”! А какой он, и какие там “правила”... — безразлично: “Рай” — и все тут» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 401).

470 *...я под деревом снята.* — фотография находится в Российском Фонде Культуры (Архив И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053).

471 *О лике...* — упоминается рассказ О. А. Бредиус-Субботиной «Заветный образ» (см. письма № 162—163, 165, Т. 2).

193

Ед. хр. 20. Л. 66, 67. Письмо, машинопись.

472 *...«vagus-betont».* — речь идет о типе нервной системы О. А. Бредиус-Субботиной. Более подробно см. письмо № 205 в настоящем томе.

473 *...m-lles дэ Хааз...* — см. примечание 481 к письму № 107 (Т. 1). О переводах произведений И. С. Шмелева на голландский язык см.: Бонгард-Левин Г. М. «Сто мельниц мелют: "Ам-стер-дам"»: Иван Шмелев в Голландии // Бонгард-Левин Г. М. Из «Русской мысли». СПб., 2002. С. 111—120.

474 *...печатали ее в старинной газете...* — рассказ «Мери» был напечатан в газете «Nieuwe Rotterdamsche Courant» (1934. 5—10, 12—14 ноября).

194

Ед. хр. 21. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

475 *...от слова «каналы» — «кано-канар-канайи»...* — от фр. «les canards, les caneaux et... les canailles». И. С. Шмелев цитирует известное высказывание Мари Франсуа Аруэ Вольтера о Голландии как стране «уток, каналов и каналий».

476 *...творческого а к т а, сказал бы швейцарский отшельник...* — речь идет об И. А. Ильине, с 1938 г. жившем в Цолликоне (пригороде Цюриха).

477 *...хвалили крупнейшие немецкие писатели...* — Герхард Гауптман 27 января 1926 г. писал И. С. Шмелеву: «Исполненное жуткой, невыразимой боли содержание Вашей книги позволяет проникнуть в суть зыбкого социального строения и человеческой натуры вообще. С такой болью и так прекрасно и проникновенно преображается эта тема через данный Вам художественный талант» (Цит. по: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 148). Томас Манн посетил И. С. Шмелева в Париже в январе 1926 г. Заметка об их встрече была напечатана в газете «Возрождение» (Возрождение. 1926. 11 февраля). См. также: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 164.

478 *...«Туман» и «Панорама»...* — рассказы И. С. Шмелева (Возрождение. 1928 г. 3 августа. № 1036; 7 октября. № 1223). Впоследствии эти главы не были включены в роман.

479 *«...еще никто не выносил в русской литературе»...* — приведена цитата из статьи А. В. Амфитеатрова «Страшная книга» (Возрождение. 1926. 17 ноября).

480 *...в сравнении «с фейерверком гениального Карлейля»...* — здесь приведено сравнение романа-эпопеи «Солнце мертвых» с книгой английского историка и философа Т. Карлейля (1795—1881) «История Французской революции» (1837, русский перевод 1907) из рецензии «Lamentation for Russia that is fallen», опубликованной в «New York Times Book Review» 19 февраля 1928 г.

481 *...письмо, от 20...* — письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 20 августа 1942 г. (Т. 2. № 14) с рассказом о «Яйюшке».

482 *...к друзьям Сережечки...* — братья Исаак и Себастьян Пастаки.

483 *...«На западе все спокойно»...* — упоминается роман Э.-М. Ремарка (1898—1970) «На западном фронте без перемен» («Im Westen nichts Neues», 1929).

484 ...*«Протоколы сионских мудрецов»*... — речь идет о книге Сергея Александровича Нилуса (1862—1929), опубликованной в Берлине в 1922 г.

485 ...*как книге Форда*... — имеется в виду книга Генри Форда (1869—1947) «Международное еврейство» (Берлин, 1925).

486 ...*звон шиллеровского погребального колокола*... — образ из стихотворения Ф. Шиллера «Песнь о колоколе» (1799).

487 *Моих там три книги вышло.* — см. примечание 121 к письму № 39 (Т. 1).

488 ...*из письма от 17-го*... — письмо, написанное 16 —17 августа 1942 г. (Т. 2. № 13).

195

Ед. хр. 21. Л. 5. Почтовая открытка, рук.

489 ...*прочитал про Сашу*... — рассказ О. А. Бредиус-Субботиной о «Яйюшке», см. примечание 481 к предыдущему письму.

490 ...*«Живые мощи»*. — рассказ И. С. Тургенева из цикла «Записки охотника» (1847—1851).

196

Ед. хр. 73. Л. 41. Письмо, рук.

491 ...*одна армяночка с подругой*... — сведений о них нет.

197

Ед. хр. 73. Л. 44, 45. Письмо, рук.

492 ...*«На морском берегу»*... — вероятно, имеется в виду книга серии «Библиотека для юношества», изданная в Белграде в 1930 г.

493 ...*в «синей птице»!* — пьеса М. Метерлинка (1862—1949) «Синяя птица» (1908).

198

Ед. хр. 73. Л. 49. Почтовая открытка, рук.

494 *Жена его русская*... — сведений о жене Л. Х. Грондейса нет.

495 ...*заказную открытку (28-го)*... — указанная открытка опубликована в Т. 2 (№ 15).

199

Ед. хр. 21. Л. 18, 19. Письмо, машинопись.

496 ...*к отцу*... — Андре-Рене Жантийом. См. примечание 259 к письму № 62 (Т. 1).

497 *Когда повенчаются — не знаю.* — свадьба Ива Жантийома и Люсьен Леконт состоялась 2 мая 1943 г.

498 ...*отозваться на «Два письма»*... — в газете «Новое слово» (1942 г. 6 сентября. № 71) была опубликована статья «Два письма» (письма русских работниц в Германии). Согласившись сотрудничать с газе-

той, Шмелев поставил условием, что в газете будет опубликована его статья «Ответ на два письма». После того, как Шмелев послал в газету отрывки из романа-эпопеи «Солнца мертвых», он получил уведомление о том, что его статья не может быть напечатана «по некоторым причинам, о которых лучше говорить при личной встрече». (См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 304).

499 *...дам «Смешное дело».* — рассказ И. С. Шмелева «Смешное дело. Рассказ встречного человека». Впервые опубликован: Россия и славянство. 1932. 30 августа. № 179. В «Новом слове» рассказ был напечатан под названием «От обезьяны» (1942 г. 18 октября. № 465).

500 *...в 28 году, в «Русском колоколе».* — речь идет о статьях И. С. Шмелева «К родной молодежи. Русским девушкам», «Письмо к юношам» (Русский колокол. Журнал волевой идеи. 1928 г. 2 и 3 июня. № 6, 7).

501 *...я уходил на 5 лет...* — с июня 1925 г. (основание газеты) по май 1929 г. И. С. Шмелев активно печатался в «Возрождении» (67 публикаций за указанный период). В конце мая 1929 г. после конфликта с литературным отделом газеты (В. Ф. Ходасевич, С. К. Маковский) Шмелев временно прервал сотрудничество с газетой (См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 199—201). В письме к О. А. Бредиус-Субботиной Шмелев не упоминает о единственной публикации 1930—1933 гг. (Помогите русскому просвещению: Призыв русских писателей. Возрождение. 1932. 30 ноября. № 1414). В 1934 г. Шмелев возобновил работу в газете.

502 *...Рустик...* — Рустем Гелелович (р. 1923), сын Сулеймана Ильича и Елизаветы Семеновны Гелелович. В личном архиве Р. С. Гелеловича (Франция, Канны), находятся письма и фотографии И. С. Шмелева. См. также: Батовский К. С., Павленко Н. В. Иван Шмелев и крымские караимы в Париже (из писем И. С. Шмелева к Е. С. Гелелович) // Венок Шмелеву. М., 2001. С. 319—323.

503 *... на фронте, у орудий... с мандолиной, под деревом, на позициях.* — указанные фотографии хранятся в Алуштинском музее И. С. Шмелева (г. Алушта. Ул. Набережная, д. 2).

200

Ед. хр. 73. Л. 51, 52. Письмо, рук.

201

Ед. хр. 74. Л. 1. Почтовая открытка, рук.

504 *...Валя Костина.* — сведений о ней нет.

505 *...о. Андрей* — вероятно, имеется в виду о. Андрей Сергиенко. См. примечание 460 к письму № 102 (Т. 2).

202

Ед. хр. 21. Л. 25, 26. Письмо, машинопись.

506 *...княгиня Волконская... сын...* — вдова и сын князя А. Н. Волконского. О нем см. примечание 601 к письму № 144 (Т. 1), а также письмо

И. С. Шмелева к И. А. Ильину от 25 марта 1947 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 94).

507 *«Не узнавай, куда я путь склонила»...* — первая строка стихотворения В. А. Жуковского «Голос с того света» (1815), вольный перевод стихотворения Ф. Шиллера «Текла. Голос духа» (1799).

508 *...вдова Иркутского генерал-губернатора... дочь... сын...* — сведений о них нет.

509 *...«Нового слова»...* — о публикациях И. С. Шмелева в этой газете см. примечания 129 и 130 к письму № 19 (Т. 2).

510 *...«приняло на склад» «Богомолье»...* — имеются в виду следующие издания: Богомолье. Белград, 1935; Лето Господне. Праздники. Белград, 1933; Родное. Про нашу Россию. Воспоминания. Рассказы. Белград, 1931; Это было. Берлин, 1923; Как мы летали. Детские рассказы. Берлин, 1923.

511 *«Старый Валаам»* — книга была издана в типографии монастыря преподобного Иова Почаевского в 1936 г.

512 *«Страдания молодого Вертера»* — роман И.-В. Гете (1774).

513 *...умирающий молодой друг, в Риме...* — с апреля по июнь 1839 г. Н. В. Гоголь ухаживал за умирающим графом Иосифом Михайловичем Виельгорским (1817—1839).

514 *Степан Верховенский...* — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы».

515 *«Дар напрасный, дар случайный...»* — строка из стихотворения А. С. Пушкина «На день рождения» (1828).

516 *...ответил «переделкой»...* — стихотворение (1830) митрополита Московского Филарета (Дроздова, 1782—1867), в котором используются пушкинские рифмы и поэтические образы. И. С. Шмелев цитирует неточно. В оригинале четвертая строка первой строфы: «И на казнь осуждена».

517 *«Сердце чисто созижди во мне, Боже...»* — Пс. 50,12.

518 *«В часы забав и праздной скуки...»* — стихотворение А. С. Пушкина «Стансы» (1830).

519 *...барон Мейендорф... даровитый гидрограф...* — сведений о нем нет.

520 *Чуругин* — сведений о нем нет.

203

Ед. хр. 74. Л. 3, 4. Письмо, рук.

204

Ед. хр. 74. Л. 9, 10. Письмо, рук.

205

Ед. хр. 74. Л. 14, 15. Письмо, рук.

521 *...ясновидящая...* — об этом см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 24 сентября 1942 г. (№ 207 в настоящем томе).

206

Ед. хр. 21. Л. 30, 31. Письмо, машинопись.

207

Ед. хр. 74. Л. 24, 25. Письмо, рук.

522 *...драма одной молодой души...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной черновики этого незаконченного рассказа не сохранились.

523 *...намечается целая серия «этюдов»...* — замысел не был осуществлен.

524 *...вдова Коровина...* — речь идет об Анне Яковлевне Коровиной (урожд. Фидлер, 1873—1947).

208

Ед. хр. 21. Л. 35. Письмо, рук.

525 *Я должен написать ее.* — речь идет о замысле рассказа «Рождество в Москве», написанного И. С. Шмелевым в конце декабря 1942 г. См. примечание 343 к письму № 70 (Т. 2).

209

Ед. хр. 21. Л. 39, 40. Письмо, машинопись.

526 *...келейка золотой моей пчелки-Оли!* — имеется в виду описание комнаты О. А. Бредиус-Субботиной из письма от 21 сентября 1942 г. (Т. 2. № 18).

527 *...«звезды глубоко тонут в прудочке»... я это скоро повторю...* — фраза из письма О. А. Бредиус-Субботиной от 23 июля 1941 (Т. 1. № 29). И. С. Шмелев намеревался использовать ее во 2 части романа «Пути небесные» (см. письмо от 25 октября 1941 г.: Т. 1. № 64), однако замысел не был осуществлен.

528 *...выкрикнул Достоевский устами Алеши.* — И. С. Шмелев ошибочно приписывает фразу «Красота спасет мир» Алексею Карамазову. На самом деле похожую фразу произносит Аглая Епанчина: «Слушайте, раз навсегда, — не вытерпела наконец Аглая, — если вы заговорите о чем-нибудь вроде смертной казни, или об экономическом состоянии России, или о том, что "мир спасет красота", то... я, конечно, порадуюсь и посмеюсь очень, но... предупреждаю вас заранее: не кажитесь мне потом на глаза!» (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 8. Л., 1973. С. 436).

529 *...сдать 1-ю статью...* — об истории публикации статьи И. С. Шмелева см. примечание 498 к письму № 199 в настоящем издании.

210

Ед. хр. 74. Л. 28, 29. Письмо, рук.

530 *...5—6... глав «Солнца мертвых»* — в газете «Новое слово» была опубликована только одна глава романа — «Чудесное ожерелье» (1942 г. 22 ноября. № 475).

[531] *...письмо с поздравлениями...* — письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 10 сентября (№ 200 в настоящем томе).

[532] *...на такой же бумаге?* — письмо написано на более плотной бумаге с фигурным обрезом.

211

Ед. хр. 74. Л. 32, 33. Письмо, рук.

[533] *...роман Чирикова.* — Евгений Николаевич Чириков (1864—1932), прозаик, драматург, публицист; *«Мой роман»*. — произведение издано в 1922 г. в Берлине.

[534] *...Мазурову — «Земля»... Гребенщиков дал отзыв...* — Александра Николаевна Мазурова (в замуж. Джордж, 1891—?), писательница. Дочь О. А. Мазуровой, друга семьи Бекетовых. В 1918 г. уехала с мужем в США. Роман «Земля» издан в 1929 г. в Риге с предисловием Г. Д. Гребенщикова.

[535] *...один голландец.* — имеется в виду г-н Эдервеен, о нем см. также письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 27 ноября 1942 г. (№ 233 в настоящем издании).

212

Ед. хр. 21. Л. 49. Почтовая открытка, рук.

213

Ед. хр. 21. Л. 45, 46. Письмо, машинопись, рук.

[536] *«Гарсон!»* — французское название повести И. С. Шмелева «Человек из ресторана» (Garcon! Paris, 1925).

[537] *«Солей де мор»* — французское название романа-эпопеи И. С. Шмелева «Солнце мертвых» (Le soleil des morts // Le Mercure de France. 1923. 15 сентября. № 606).

[538] *Вчера — день горький...* — речь идет о дне памяти Сергея Шмелева (9 октября).

[539] *Потапенки... Вербицкие...* — перечислены писатели: Игнатий Николаевич Потапенко (1856—1929), Казимир Станиславович Баранцевич (1851—1927), Николай Иванович Тимковский (1863—1922), Анастасия Алексеевна Вербицкая (1861—1928).

214

Ед. хр. 21. Л. 55. Почтовая открытка, рук.

215

Ед. хр. 74. Л. 37, 38. Письмо, рук.

[540] *...Пантелеймона Романова...* — Пантелеймон Сергеевич Романов (1884—1938), прозаик.

[541] *«Осень»... «Человеческая душа»?* — перечислены рассказы П. С. Романова «Осень» (1914), «Зима» (1923. 1-я ред. 1915, под названи-

ем «Женщина»), «Человеческая душа» (1926), повесть «Право на жизнь, или Проблема беспартийности» (1926).

542 *«...он видел вечность»*. — неточная цитата из рассказа П. С. Романова «Зима». В оригинале: «Угасло, замолчало в нем то, что я раньше так ценил. Тишину бессмертной души, *видевшей небо и вечность*» (Романов П. С. Светлые сны: Роман, рассказы. М., 1990. С. 28); *... о монастыре...* — фрагмент рассказа «Зима» (Романов П. С. Светлые сны: Роман, рассказы. С. 30).

543 *Его «Русь» ужасна...* — роман П. С. Романова «Русь» (Москва, 1923).

544 *«Рембрандт»* — английский фильм «Rembrandt» (1936), снятый режиссером Александром Кордой (1893—1956).

545 *...Анны Васильевны...* — речь идет о домработнице И. С. Шмелева, ранее упоминавшейся как новгородка или Арина Родионовна. См. также примечание 430 к письму № 92 (Т. 1).

216

Ед. хр. 74. Л. 44. Письмо, рук.

546 *Саския...* — Саския ван Эйленбург (1612—1642), в 1634 г. вышла замуж за Рембрандта ван Рейна.

217

Ед. хр. 21. Л. 59. Письмо, рук.

218

Ед. хр. 22. Л. 6, 7. Письмо, рук.

547 *...теперь очень строго.* — в связи с деятельностью движения Сопротивления и началом боевых действий английских войск в Северной Африке осенью 1942 г. был ужесточен режим на оккупированной части Франции.

548 *...Александру Николаевичу Меркулову...* — хирург, друг И. С. Шмелева. О нем см. примечание 156 к письму № 24 (Т. 2), а также письмо И. С. Шмелева от 26 ноября 1942 г. (№ 232 в настоящем томе). Переписка О. А. Бредиус-Субботиной и А. Н. Меркулова по поводу состояния здоровья Шмелева находится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 106, 110).

549 *...Signal...* — речь идет о газете «Сигнал», которую издавал Русский национальный союз участников Войны. Газета выходила два раза в месяц с 1937 по 1940 г.

550 *...Пантелеймон Романов, кажется, умер.* — П. С. Романов умер 8 апреля 1938 г. в г. Москве; *....я не любил ничего подсоветского...* — позиция Пантелеймона Романова не совпадала с официальным направлением советской литературы. После публикации романа «Товарищ Кисляков» (1930) его произведения практически не печатались.

219

Ед. хр. 22. Л. 11. Записка, приложенная к письму О. А. Бредиус-Субботиной от 20 августа 1942 г., рук.

220

Ед. хр. 74. Л.50, 51. Письмо, рук.

551 *...письмо твое от 26-го...* — письмо И. С. Шмелева от 26 октября 1942 г. (Т. 2. № 19).

552 *...еще одно: д-р Аксенов...* — О. А. Бредиус-Субботина отвечает на письмо И. С. Шмелева от 26 октября 1942 г. См. также примечание 137 к письму № 19 (Т. 2).

553 *...«бить лежачего».* — см. примечание 135 к письму № 19 (Т. 2).

554 *...твоей «обезьяны».* — имеется в виду рассказ И. С. Шмелева, опубликованный в газете «Новое слово». См. примечание 499 к письму № 199 в настоящем томе.

221

Ед. хр. 75. Л. 1. Почтовая открытка, рук.

222

Ед. хр. 75. Л. 3. Почтовая открытка, рук.

223

Ед. хр. 22. Л.15, 16. Письмо, рук.

555 *...послать их матери, живущей в Крыму...* — сведений о матери братьев Пастак нет.

556 *...посмотреть на дачку с садом...* — дача Ю. А. Кутыриной находилась в Сен-Реми (332 Avenue Coubertin, St. Remy-les-Cheuvreuse, S.O.).

557 *...одна дама... Сегодня студент, работает в Берлине...* — сведений о них нет.

224

Ед. хр. 75. Л.5, 6. Письмо, рук.

558 *«Михайлов день»* — глава из II части романа И. С. Шмелева «Лето Господне» (Возрождение. 1935. 7 января. № 3505). В более поздних изданиях (Лето Господне. Праздники. Радости. Скорби. Париж, 1948; и последующих) эта глава посвящена О. А. Бредиус-Субботиной.

225

Ед. хр. 75. Л.10, 11. Письмо, рук.

226

Ед. хр. 22. Л.27, 28. Письмо, рук.

559 *...один известный русский доктор...* — имеется в виду доктор Очан. О нем см. также письмо И. С. Шмелева от 23 июня 1942 г. (Т. 2. № 5).

560 *...«миндалики» Тоника...* — эпизод из романа «История любовная» (Глава XLIV).

[561] *...Жюль-Верна «Вокруг Света»...* — роман Жюля Верна «Путешествие вокруг света в 80 дней» (1873).

227

Ед. хр. 22. Л. 33. Почтовая открытка, рук.

228

Ед. хр. 75. Л. 20. Записка, приложенная к письму О. А. Бредиус-Субботиной от 20 августа 1942 г., рук.

229

Ед. хр. 75. Л. 25, 26. Письмо, рук.

[562] *...моя знакомая в Париже... муж ее...* — Ксения Львовна и Николай Всеволодович Первушины. См. также примечание 537 к письму № 119 (Т. 2).

[563] *Давно не писала.* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письма К. Л. Первушиной не сохранились.

[564] *Ната...* — Наталья Николаевна Первушина, дочь К. Л. и Н. В. Первушиных. Также упоминается как Нюстрин.

230

Ед. хр. 22. Л. 37, 38. Письмо, рук.

[565] *...твое письмо, от 12-го ...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 21).

[566] *Захарьин, профессор...* — см. примечание 827 к письму № 187 (Т. 2).

[567] *Отдал и оригинал Зеелеру...* — см. примечание 741 к письму № 188 (Т. 1).

231

Ед. хр. 75. Л. 29. Письмо, рук.

[568] *...«летела в ветре, придерживая шляпку»...* — О. А. Бредиус-Субботина неточно цитирует заключительные слова первой части романа «Пути небесные». У И. С. Шмелева: «...летела в ветер, придерживая шляпку» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 268).

232

Ед. хр. 22. Л. 47. Письмо, машинопись.

[569] *...с 19 не писал тебе...* — И. С. Шмелев имеет в виду письмо от 18 ноября 1942 г. (Т. 2. № 22).

[570] *Рассказ из «Солнца»...* — речь идет о главе «Чудесное ожерелье», см. примечание 530 к письму № 210 в настоящем издании.

[571] *Буду печатать в Париже...* — из статей, перечисленных И. С. Шмелевым, в газете «Парижский вестник» была напечатана только статья о творчестве И. И. Новгород-Северского (см. примечание 176 к письму № 28, Т. 2).

572 *...заменившего старого моего, Фишера.* — речь идет об издательстве Самуэля Фишера. С 1934 г., после смерти С. Фишера, издательство перешло к его дочери Бригитте Фишер (1905—1991) и ее мужу Готтфриду Берманн-Фишеру. В 1935 г. они были вынуждены эмигрировать сначала в Швецию, а затем в США. До их возвращения в 1948 г. издательством руководил Петер Суркамп.

573 *Сын ее, немецкий солдат...* — речь идет о Николае Гербертовиче Земмеринге. О нем также см. письмо И. С. Шмелева И. А. Ильину от 3 февраля 1948 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 253).

233

Ед. хр. 75. Л. 37. Письмо, рук.

574 *...новых «собратьев» по «литературе».* — имеются в виду сотрудники берлинской газеты «Новое слово» (В. Плотников, М. Попелло-Давыдов, Л. Старицын, А. Славин, К. фон Альпен, Л. Андреевич, Л. Берг, В. Арденвальд).

575 *...твой племянник...* — речь идет о Н. Н. Любимове, см. примечание 151 к письму № 22 (Т. 2).

576 *...о твоей сестре...* — Софья Сергеевна Любимова. О ней см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 30—31, 271.

234

Ед. хр. 22. Л. 51, 52. Письмо, рук.

577 *«Яко видеста очи моя...».* — из молитвы св. Симеона Богоприимца (Лк. 2, 30).

235

Ед. хр. 22. Л. 58, 59. Письмо, машинопись.

578 *«...и в человецех благоволение...»* — из Великого славословия на Всенощном бдении.

579 *...тишайшее, давнее!* — далее следует один из вариантов указанной главы.

580 *...дописать «Именины»...* — речь идет о первой части главы «Именины» («Преддверие») из романа «Лето Господне», которая была опубликована в газете «Парижский вестник» (1942 г. 26 декабря. № 28). См. также примечание 170 к письму № 26 (Т. 2).

236

Ед. хр. 75. Л. 39. Письмо, рук.

581 *...одного профессора...* — лицо не установлено.

582 *...вся Франция оккупирована...* — 11 ноября 1942 г. немецкими войсками была оккупирована южная зона Франции, до этого сохранявшая номинальную независимость.

583 *...относишься к Жорж Санд?* — И. С. Шмелев ответил на этот вопрос в своем письме от 28 января 1943 г. (Т. 2. № 30).

237

Ед. хр. 75. Л. 42. Почтовая открытка, рук.

238

Ед. хр. 75. Л. 48. Почтовая открытка, рук.

584 *...от А. Н. Меркулова я узнала...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

239

Ед. хр. 23. Л. 1. Письмо, машинопись.

585 *Твое письмо от 25...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 23).

586 *...написать маме твоей, 12 декабря.* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось.

587 *...Андре Боман...* — см. примечание 162 к письму № 25 (Т. 2).

240

Ед. хр. 23. Л. 2. Записка, приложенная к цветам, рук.

241

Ед. хр. 75. Л. 51. Почтовая открытка, рук.

242

Ед. хр. 76. Л. 1. Письмо, рук.

243

Ед. хр. 76. Л. 5, 6. Письмо, рук.

588 *Масса домов срыта до основания...* — см. примечание 160 к письму № 24 (Т. 2).

589 *...подвальная церковушка* — см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 13 марта 1942 г. (№ 168. Т. 1).

244

Ед. хр. 23. Л. 12. Почтовая открытка, рук.

590 *Я писал тебе 21-го...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева, написанное вечером 20 декабря (№ 239 в настоящем томе).

591 *Дал «Новому слову»...* — о публикациях И. С. Шмелева в газете «Новое слово» см. примечания 129, 130 к письму № 19 (Т. 2).

592 *Письмо племянника.* — об этом см. письма И. С. Шмелева от 18 ноября и 22 декабря 1942 г. (Т. 2. № 22, 25).

245

Ед. хр. 23. Л. 20, 21. Письмо, рук.

593 *...один из 2-х братьев Pastak...* — имеется в виду Исаак Пастак.

594 *...двоюродной сестре...* — речь идет о Кларе Абрамовне Крым. О ней см. также письмо И. С. Шмелева от 8 января 1943 г. (Т. 2. № 28).

595 *...Claire «Ясную».* — И. С. Шмелев обыгрывает значение французского слова «clair» (светлый, чистый, ясный).

596 *...В. Н. Коковцовым...* — см. примечание 739 к письму № 167 (Т. 2).

246

Ед. хр. 23. Л. 25. Почтовая открытка, рук.

597 *...уже начал большое письмо...* — письмо И. С. Шмелева от 8 января 1943 г. (Т. 2. № 28).

598 *«Михайлов день»* — см. примечание 164 к письму № 25 (Т. 2).

247

Ед. хр. 76. Л. 19, 20. Письмо, рук.

599 *...от одной знакомой... Три брата...* — сведений о них нет.

600 *Откуда эти грезы?...* — О. А. Бредиус-Субботина неточно цитирует арию Лизы из оперы П. И. Чайковского «Пиковая Дама» (автор либретто М. И. Чайковский): «Откуда эти слезы / Зачем оне? / Мои девичьи грезы / Вы изменили мне...».

248

Ед. хр. 23. Л. 33. Почтовая открытка, рук.

601 *«...нужна мне для художественного воплощения..!»* — фраза из письма О. А. Бредиус-Субботиной от 23 сентября 1941 г. (Т. 1. № 47).

249

Ед. хр. 76. Л. 23, 24. Письмо, рук.

602 *...твои 2 письма...* — письма от 6 января (№ 244 в настоящем издании) и от 8 января 1943 г. (Т. 2. № 28).

603 *«Madame Bovary»* — роман Гюстава Флобера «Мадам Бовари» (1856).

604 *...безумно счастлива за «Куликово поле»...* — речь идет о посвящении рассказа О. А. Бредиус-Субботиной. См. письмо И. С. Шмелева от 10 января 1942 г. (№ 82 в настоящем томе).

605 *...подарил мне «Под горами»...* — имеется в виду передача И. С. Шмелевым О. А. Бредиус-Субботиной литературных прав на эту повесть. См. письмо И. С. Шмелева от 20 июля 1942 г. (№ 177 в настоящем томе).

250

Ед. хр. 23. Л. 36. Почтовая открытка, рук.

606 *Елена Федоровская* — речь идет о Елене Федоровне Федоровской, входившей в круг друзей И. С. Шмелева и оказывавшей поддержку О. А. Бредиус-Субботиной. В 1950 г. она переписывалась с Бредиус-Субботиной по поводу судьбы архива Шмелева и авторских прав на его произведения (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 111). Е. Ф. Федоровской адресована записка О. А. Бредиус-Субботиной, озаглавленная «Очень доверительно» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 114). О ней см. также письмо И. С. Шмелева от 21 января 1943 г. (№ 251 в настоящем томе).

251

Ед. хр. 23. Л. 48, 49. Письмо, рук.

607 *...от 31-го декабря...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 26).

608 *...от фермера — читателя моего...* — лицо не установлено.

609 *...терять сережки!* — имеется в виду эпизод, описанный в письме О. А. Бредиус-Субботиной от 6 октября 1941 г. (№ 18 в настоящем томе).

610 *Это в 50-то с малым лет!* — по воспоминаниям Ива Жантийома И. С. Шмелев катал его на велосипеде, когда они жили на даче в Капбретоне в 1924—1933 гг. (Жантийом И. Мой дядя Ваня. М., 2001. С. 28—29).

611 *...одного кинодельца...* — сведений о муже Е. Ф. Федоровской нет.

612 *...со скрытым темпераментом Флёнушки...* — И. С. Шмелев имеет в виду Фленушку, героиню дилогии П. И. Мельникова (Андрея Печерского) «В лесах» (1871—1874) и «На горах» (1875—1881).

613 *...«любви готовятся дары»...* — А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (Песнь первая).

614 *...дал знать Ивану Александровичу...* — во время войны И. С. Шмелев переписывался с И. А. Ильиным через Вигена Нарсесяна.

615 *...вспомню отца, нашу залу, цветок...* — цветок апельсина упоминается в главах «Крестопоклонная» и «Серебряный сундучок» романа «Лето Господне» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 255, 338), а также в главе «Царский золотой» романа «Богомолье» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 401).

252

Ед. хр. 23. Л. 38, 39. Письмо, машинопись.

253

Ед. хр. 23. Л. 43. Письмо, машинопись, рук.

254

Ед. хр. 23. Л. 44. Письмо, рук. В одном конверте с предыдущим.

616 *Этот рассказ расширен... может быть на 20—25%.* — см. вступительную статью к настоящему изданию.

617 *...не имел вестей с сентября!* — последнее письмо И. А. Ильина И. С. Шмелеву датировано <25.VIII.1940>.

618 *...Дерягина.* — И. С. Шмелев не точен, фамилия мужа М. А. Квартировой — Дерюгин. О нем см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 17 сентября 1943 г. (№ 301 в настоящем издании).

619 *...хочу написать «Масленицу», новую...* — более позднее название — «Масленица в Москве». И. С. Шмелев написал этот рассказ в середине февраля 1943 г.

620 *...иконописцу-читательнице...* — Светлана Рышкова-Офросимова. Об иконе Св. Троицы см. письмо И. С. Шмелева от 10 марта 1944 г. (Т. 2. № 80).

255

Ед. хр. 76. Л. 33, 34. Письмо, рук.

621 *...отца-старика спешно выселяют...* — выселение связано со строительством линии Зигфрида. См. примечание 160 к письму № 24 (Т. 2).

622 *...саврасит...* — Саврасил — в славянской мифологии — дух вихря, смерча.

623 *...родовое имение.* — имеется в виду поместье Вурден. См. примечание 154 к письму № 23 (Т. 2).

624 *...Вел. Кн. Анны Павловны...* — Великая Княжна Анна Павловна Романова (1795—1865). 21 февраля 1816 г. вышла замуж за голландского наследного принца. Ее именем названы площадь и одна из улиц в Гааге.

625 *...голландского короля Вильгельма II...* — Вильгельм Фредерик Георг Лодвийк фон Нассау (1792—1849).

626 *...письмо от Меркулова...* — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письмо не сохранилось. О переписке О. А. Бредиус-Субботиной с А. Н. Меркуловым см. примечание 548 к письму № 218 в настоящем томе.

256

Ед. хр. 24. Л. 1. Письмо, рук.

627 *Твое письмо последнее...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 17 января 1943 г. (Т. 2. № 29).

628 *...отвечу по всем пунктам.* — см. ответное письмо И. С. Шмелева от 28 января 1943 г. (Т. 2. № 30).

257

Ед. хр. 24. Л. 9, 10. Письмо, рук.

629 *О 1-й части были мне письма...* — о письмах читателей И. С. Шмелеву по поводу рассказа «Именины» см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 269.

630 *...статью о стихах...* — имеется в виду статья о творчестве И. И. Новгород-Северского. См. примечание 76 к письму № 28 (Т. 2).

631 *Во время прошлой войны они торговали налево-направо...* — во время Первой мировой войны Нидерланды заявили о своем нейтралитете и продолжили торговлю с воевавшими державами, в первую очередь, с Германией. За время войны золотой запас Нидерландского банка увеличился с 289 млн гульденов в 1915 г. до 635 млн гульденов в 1919 г.

632 *Я писал тебе 20—21—22, 28-го.* — имеются в виду письма И. С. Шмелева от 20, 21 и три письма от 22 января 1943 г. (№ 250—254 в настоящем томе), а также письмо от 28 января 1943 г. (Т. 2. № 30).

258

Ед. хр. 24. Л. 15, 16. Письмо, машинопись.

259

Ед. хр. 24. Л. 21, 22. Письмо, машинопись.

260

Ед. хр. 24. Л. 27. Письмо, машинопись, рук.

633 *Шаманы...* — в письме перепечатаны стихотворения И. И. Новгород-Северского из его первого сборника «Заполярье» (Париж, 1939),

которые И. С. Шмелев цитировал в своей статье «Певец ледяной пустыни». Впоследствии стихотворения «Шаманы» и «Голубые божки» вошли в сб. «Шаманы» (Париж, 1942), а «Олень смарагдовый» — в сб. «Чум» (Париж, 1942). И. И. Новгород-Северский посвятил И. С. Шмелеву стихотворение «Микола вешний» (Заполярье. Париж, б/г).

634 *...он был в Туркестане...* — впечатления от путешествия по Средней Азии отражены И. И. Новгород-Северским в поэтическом цикле «Пески поют».

635 *...мой портрет (1926—25 гг.)...* — см. примечание 190а к письму № 30 (Т. 2).

636 *...к французскому изданию «Человека из ресторана»?* — об этом издании см. указанное выше примечание.

261

Ед. хр. 24. Л. 32, 33. Письмо, машинопись.

637 *...с акварельного портрета...* — имеется в виду портрет И. С. Шмелева работы художника Я. Я. Калиниченко (1917).

262

Ед. хр. 76. Л. 37. Почтовая открытка, рук.

638 *...опоздал послать?* — И. С. Шмелев в письме от 31 декабря 1942 г. (Т. 2. № 26) сообщил О. А. Бредиус-Субботиной, что его рассказ «Рождество в Москве» будет напечатан в рождественском номере газеты «Новое слово». Однако религиозная, а не политическая направленность рассказа не устроила редакцию газеты, поэтому в «Новом слове» он опубликован не был. Рассказ впервые был напечатан в газете «Парижский вестник» в 1944 г. (см. примечание 343 к письму № 70, Т. 2). См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 268—269.

263

Ед. хр. 24. Л. 37, 38. Письмо, машинопись.

639 *...из Риги учительницей...* — в 1936 г. во время своей поездки в Прибалтику И. С. Шмелев выступал на литературном вечере в Риге в Ломоносовской русской гимназии (См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 228).

640 *...лавочник-читатель...* — сведений о нем нет.

641 *...ушел из газеты «Новое слово».* — сотрудничество И. С. Шмелева с берлинской газетой «Новое слово» прекратилось в начале 1943 г.; *Да, в сущности, и не был в ней.* — в 1942 г. редакция обратилась к И. С. Шмелеву с просьбой о сотрудничестве. Шмелев планировал напечатать в газете ряд статей на тему возрождения России. Однако первая статья из этого цикла была отклонена (см. примечание 498 к письму № 199 в настоящем томе) из-за несоответствия выраженных в ней идей официальной доктрине Германии. В «Новом слове» были опубликованы два рассказа И. С. Шмелева (см. примечание 129 к письму № 19. Т. 2; и указанное примечание к письму № 199

в настоящем издании). См. также: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 268—269.

264

Ед. хр. 24. Л. 42, 43. Письмо, машинопись.

642 ...*«Иже херувимы» Бортнянского!* — Дмитрий Степанович Бортнянский (1751—1825), русский композитор. Из семи «Херувимских» есть сведения лишь о двух: первая (ми-бемоль-мажорная) написана до 1784 г., седьмая «Херувимская» — в 1811 г.

265

Ед. хр. 76. Л. 39, 40. Письмо, рук.

643 ...*всякий день будут контролеры...* — имеется в виду административный контроль за сельским хозяйством на оккупированных территориях. Часть сельскохозяйственного урожая и продуктов животноводства изымалась в пользу государства. Об этом см. также письма О. А. Бредиус-Субботиной от 12 и 25 ноября 1942 г. (Т. 2. № 21, 23), 6 сентября 1945 г. (Т. 2. № 98).

644 ...*написала рассказик-шутку, и еще... по... голландски* — сведений об этих произведениях О. А. Бредиус-Субботиной нет.

645 ...*Lili Marlen.* — популярная песня времен Второй мировой войны. Текст написан Хансом Лейпом (1893—1983) в 1915 г., музыка Норбертом Шульце (1911—2002) в 1938 г.; ...*ее передает радио из Белграда в 10 ч. вечера...* — песня «Lili Marleen» была запрещена в Германии из-за своего «гибельного настроения». Первый раз в эфир ее поставил 18 августа 1941 г. директор «Радио Белград» Карл-Хайнц Рейнтген. По просьбе фельдмаршала Роммеля песня была включена в постоянную программу радиопередач. «Lili Marleen» транслировалась ежедневно в 21:55 перед прекращением вещания.

646 *Работники м. б. должны будут уйти.* — речь идет о «тотальной мобилизации», объявленной приказом Гитлера от 13 января 1943 г.

647 ...*«Песнь торжествующей любви»...* — повесть И. С. Тургенева (1881).

266

Ед. хр. 24. Л. 47. Почтовая открытка, рук.

267

Ед. хр. 76. Л. 43, 44. Письмо, рук.

268

Ед. хр. 24. Л. 51. Почтовая открытка, рук.

648 *За февраль я посылал 8...* — имеются в виду четыре письма от 1 февраля (№ 257—260 в настоящем томе), и письма от 4, 5, 9 и 12 февраля (№ 261, 263, 264, 266 в настоящем томе) 1943 г.

649 *...от тебя — 3 и 1 открытка.* — имеются в виду почтовая открытка от 4 февраля и письма от 9, 16 и 26 февраля 1943 г. (№ 262, 265, 267 в настоящем томе; Т. 2. № 31).

269

Ед. хр. 24. Л. 54. Письмо, рук.

650 *...г. Дуван...* — см. примечание 65 к письму № 5 (Т. 2).

270

Ед. хр. 76. Л. 50. Письмо, рук.

271

Ед. хр. 25. Л. 6. Письмо, рук.

651 *...«В надежде славы и добра...»* — начало стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1828).

272

Ед. хр. 25. Л. 7. Письмо, рук. В одном конверте с предыдущим.

273

Ед. хр. 25. Л. 11, 12. Письмо, рук.

274

Ед. хр. 77. Л. 1, 2. Письмо, рук.

652 *Москва будет взята у красных — русскими войсками.* — И. С. Шмелев имеет в виду Русскую освободительную армию, возможность создания которой активно обсуждалась в русских газетах в начале 1943 г.; *...на основе взаимного признания — вечного союза.* — генерал А. А. Власов в «Смоленском воззвании» (13 января 1943 г.) и в открытом письме «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом» (3 марта 1943 г.) призвал соотечественников вступить в союз с немцами для борьбы с советской властью. О генерале А. А. Власове см. примечание 687 к письму № 291 в настоящем томе.

653 *...злая ...открытка...* — почтовая открытка от 3 марта 1943 г. (№ 268 в настоящем издании).

275

Ед. хр. 25. Л. 16, 17. Письмо, рук.

654 *В письме 11-го...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 10 марта 1943 г. (Т. 2. № 32).

655 *Один знаток...* — лицо не установлено.

656 *Ufa...* — немецкая киностудия УФА («Universum Film Aktiengesellschaft») была образована в 1917 г. путем слияния трех фирм: «Мастер-фильм», «Унион» и «Нордиск». Киностудия поддерживалась военным ведомством и рядом крупнейших банков. В 1937 г. УФА стала государственным предприятием.

657 *...Ильина, что ли...* — речь идет об Ольге Александровне Зориной. См. примечания 82 и 83 к письму № 7 (Т. 2).

658 *О. Чехова* — в данном случае имеется в виду Ольга Константиновна Чехова (урожденная Книппер, 1897—1980), актриса, племянница Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. В 1914 г. стала женой М. А. Чехова, с которым рассталась через четыре года. Эмигрировала в 1921 г. в Германию. В 1920—1940-х гг. — одна из наиболее популярных актрис немецкого кинематографа. После второй мировой войны основала косметическую фирму. Автор воспоминаний «Мои часы идут иначе» (1973, опубликованы в сокращении: Искусство кино. 1993. № 10—12. 1994. № 1).

276

Ед. хр. 25. Л. 26, 27. Письмо, рук.

659 *Напишу Ивану Александровичу...* — речь идет о письме И. С. Шмелева от 23 марта 1943 г. (Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 299—301).

660 *...«я да птичка»!* — фраза из письма О. А. Бредиус-Субботиной от 14 октября 1939 г. (Т. 1. № 4).

277

Ед. хр. 77. Л. 5, 6. Письмо, рук.

661 *...завтраки у Корнилова...* — имеется в виду русский ресторан в Париже.

662 *...письмо от 23-го...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 33).

663 *...устраивал иллюминацию...* — О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду главу «Пасха» романа «Лето Господне» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 53—63).

278

Ед. хр. 77. Л. 9. Письмо, рук.

664 *...бисер перед свиньей.* — неточная евангельская цитата (Мф. 7, 6).

665 *...от 26-го.* — имеется в виду письмо от 25 марта 1943 г. (№ 276 в настоящем томе), которое О. А. Бредиус-Субботина датирует днем отправления.

279

Ед. хр. 25. Л. 38, 39. Письмо, рук.

666 *...8-го апреля...* — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 34).

667 *...Reclam(!!). Для «универсальной библиотеки».* — имеется в виду серия «универсальная библиотека» лейпцигского издательства «Филипп Реклам» (Philipp Reclam).

668 *Голландский перевод...* — речь идет о голландском переводе повести И. С. Шмелева «Человек из ресторана». См. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 8 апреля 1943 г., а также примечание 121 к письму № 39 (Т. 1).

669 *...С. Лагерлёф — и та, кажется не доросла.* — И. С. Шмелев в письме И. А. Ильину от 27 ноября 1933 г. сообщал: «Посылал книги (немецкие переводы) Сельме Лагерлеф. Писала она мне о "Солнце мертвых" — была потрясена. Благодарила за другие. О "Liebe in der Krim"

писала: “эта вещь понравилась бы читателям”. О “Чаше” — “очень лирично, но читателям была бы непонятна покорность Ильи Вашего”... (Каково? И ей, стало быть — **не внятно**?!) И у меня пропала охота ей посылать» (Переписка двух Иванов. Т. 1. С. 420). В письме И. А. Ильину от 17 декабря 1933 г. Шмелев назвал Сельму Лагерлеф человеком «маленькой души» за отзыв о характере Ильи из «Неупиваемой чаши» (Переписка двух Иванов. Т. 1. С. 430). См. также примечание 27 к письму № 8 (Т. 1).

280

Ед. хр. 25. Л. 45. Письмо, рук.

670 *...уедет на работу в Германию...* — в материалах биографии Ива Жантийома нет сведений о его работе в Германии.

281

Ед. хр. 77. Л. 28, 29. Письмо, рук.

671 *Послала тебе письмо...* — письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 3 мая 1943 г. (Т. 2. № 40).

672 *...относительно «Девушки с цветами»...* — О. А. Бредиус-Субботина иносказательно пишет о себе.

673 *...«не бывает пророков в отечестве своем»* — неточная евангельская цитата (Ин. 4, 44).

282

Ед. хр. 77. Л. 33. Почтовая открытка, рук., карандаш.

283

Ед. хр. 77. Л. 35. Почтовая открытка, рук.

674 *...должны все являться.* — имеется в виду всеобщая мобилизация. См. примечание 646 к письму № 265 в настоящем томе.

284

Ед. хр. 77. Л. 37. Почтовая открытка, рук.

285

Ед. хр. 77. Л. 45. Почтовая открытка, рук.

675 *...отнести письмо...* — речь идет о письме от 25 мая 1943 г. (Т. 2. № 42).

676 *Доктор...* — в дальнейшем упоминается как доктор Клинкенберг.

286

Ед. хр. 26. Л. 19, 20. Письмо, рук.

677 *...писала, что больно ушибла грудь?* — О. А. Бредиус-Субботина сообщала о том, что упала с велосипеда, в письме от 6 октября 1941 г. (№ 18 в настоящем томе).

678 *...в «Игроке»...* — роман Ф. М. Достоевского «Игрок» (1866).

[679] *...в главе «Почему нас не любит Европа»...* — И.С.Шмелев имеет в виду 2 главу книги Н.Я.Данилевского «Россия и Европа» — «Почему Европа враждебна России»; *Эта «разница» и эта «нелюбовь»...* — в книге Н.Я.Данилевского сказано: «Европа видит... в Руси и славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину слой, все же Европа понимает, или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро...» (Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1971. С.51).

[680] *...одна генеральша, моя читательница...* — вероятно, имеется в виду Ольга Федоровна Поздеева. О ней см. письмо И.С.Шмелева от 22 августа 1942 г. (№ 191 в настоящем томе).

287

Ед. хр. 26. Л.24, 25. Письмо, рук.

[681] *...кой-в-чем выправил...* — правка рассказа незначительна (изменена разбивка на абзацы, произведена замена слов-синонимов). Снято предложение: «Теперь начинается мое присутстствие».

288

Ед. хр. 26. Л.29, 30. Письмо, рук.

[682] *...от мамы письмо... мое письмо к ней...* — в архиве О.А.Бредиус-Субботиной указанные письма не сохранились.

289

Ед. хр. 77. Л.51. Письмо, рук., чернила, каранадаш.

[683] *...+10 лет...* — О.А.Бредиус-Субботина подразумевает свою медицинскую практику.

290

Ед. хр. 26. Л.39. Письмо, рук.

[684] *...по 24-ое — 1-ое твое письмо...* — имеется в виду письмо О.А.Бредиус-Субботиной от 19 июня (Т.2. № 44), которое И.С.Шмелев получил 24 июня 1943 г.

[685] *...чудо спасло.* — об этом см. примечание 136 к письму № 19 (Т. 2).

291

Ед. хр. 26. Л.31. Письмо, рук.

[686] *Со 2-го VII нет письма!* — речь идет о письме О.А.Бредиус-Субботиной от 26 июня 1943 г. (№ 289 в настоящем томе), которое И.С.Шмелев получил 2 июля 1943 г.

[687] *...вести о некрасовском дяде В.* — дядя Влас, персонаж поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1865—1877, гл. «Пир на весь мир»). И.С.Шмелев иносказательно пишет о генерале Андрее Андреевиче Власове (1901—1946). Генерал-лейтенант А.А.Власов был командующим 2-й Ударной армией Волховского фронта, в июле

1942 г. попал в окружение и сдался в плен. В сентябре 1943 г. начал сотрудничать с отделом пропаганды немецкого Верховного командования. До осени 1944 г. роль генерала Власова была чисто пропагандистской, так как Гитлер относился к идее создания Русской освободительной армии крайне отрицательно. Позицию немецкого командования изменили успехи советских войск. 14 ноября 1944 г. был принят «Пражский манифест» и создан Комитет освобождения народов России, в который за несколько дней поступило до 60 тыс. заявлений от добровольцев. Планировалось создать три дивизии. Однако первая дивизия была вооружена только в январе 1945 г., вторая не была вооружена, третья не была сформирована. Первая дивизия, которой командовал Сергей Буняченко, приняла участие в боевых действиях в Чехословакии. В конце войны генерал Власов был захвачен в плен и казнен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 1 августа 1946 г.

292

Ед. хр. 27. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

688 *...выправленного рассказа.* — речь идет о фрагменте повести И. С. Шмелева «Под горами», пересылавшемся О. А. Бредиус-Субботиной в письмах от 17 и 19 августа 1943 г. (№ 292 и 293 настоящего издания). Фрагмент незначительно сокращен, произведена замена слов-синонимов.

293

Ед. хр. 27. Л. 6, 7. Письмо, машинопись.

294

Ед. хр. 78. Л. 19. Почтовая открытка, рук.

689 *...письмо мое вчерашнее...* — письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 9 августа, отправленное 11 августа 1943 г. (Т. 2. № 53).

295

Ед. хр. 27. Л. 21, 22. Письмо, машинопись.

690 *...«Свет во тьме».* — рассказ был опубликован в сб. «Свет вечный» (Париж, 1968) под названием «Свет». О нем см. также письма И. С. Шмелева от 4 августа и от 18 августа 1943 г. (Т. 2. № 52, 54).

691 *«Ландыши»* — сказка О. А. Бредиус-Субботиной, которую она выслала И. С. Шмелеву в письме от 29 июля 1943 г. (Т. 2. № 51).

296

Ед. хр. 27. Л. 26, 27. Письмо, машинопись.

692 *...у Ш. нет ни одного слова ненужного...* — имеется в виду следующий фрагмент книги И. А. Ильина «О тьме и просветлении»: «Здесь нет лишних или случайных слов. Шмелев умеет использовать каждую звуковую щелочку, чтобы вложить в нее значительный оттенок, необходимый в художественном целом» (Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 1. М., 1996. С. 353). См. также примечание 557 к письму № 129 (Т. 1).

297

Ед. хр. 78. Л. 22. Почтовая открытка, рук.

298

Ед. хр. 27. Л. 36. Письмо, машинопись.

693 *...открытку, которую я получил в пятницу...* — открытка О. А. Бредиус-Субботиной от 12 августа 1943 г. (№ 294 в настоящем томе).

694 *...Флобер де-сять лет гонял Мопассана...* — см. примечание 396 к письму № 85 (Т. 1).

695 *...крестника или, как бы приемного сына...* — Ги де Мопассан был сыном Лауры де Мопассан (урожд. Лепуатвен, 1821—1903), сестры Поля-Альфреда Лепуатвена (1816—1848), близкого друга Гюстава Флобера.

696 *...принес ему «Пышку» — «По буйи»...* — французское название новеллы «Boule-de-suif» (1880). Флобер писал Мопассану в письме от 1 февраля 1880 г.: «Этот маленький рассказ останется, можете мне поверить!» (Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма, статьи. Т. 2. М., 1984. С. 256).

697 *...«легкое дыхание»...* — образ из рассказа И. А. Бунина (1916).

698 *...«Святая радость»... «Серебряный сундучок»...* — главы из романа «Лето Господне». «Серебряный сундучок» впервые опубликован в газете «Русская мысль» (1947. 6 декабря). «Святая радость» в кн.: Шмелев И. С. Лето Господне: Праздники. Радости. Скорби. Париж, 1948.

699 *...еще до «сундучка» будет рассказ...* — после «Святой радости» следуют главы «Живая вода» и «Москва».

700 *...мне тогда, это был 84 год, — было около 7 лет...* — Сергей Иванович Шмелев умер в 1880 г. О реальном возрасте И. С. Шмелева см. примечание 217 к письму № 54 (Т. 1).

701 *...уводили со двора разбившую его «Стальную»...* — эпизод из главы «Святая радость» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 309—311).

702 *... «землянику», как мазал мне щечки...* — см. главу «У Креста» из романа «Богомолье» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 456—457). В тексте, отправленном И. С. Шмелевым О. А. Бредиус-Субботиной 11 февраля 1944 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Л. 8, 9), так же, как и в окончательном варианте романа, этот эпизод не упоминается.

703 *...в день смерти Толстого, в ноябре, вечером...* — Л. Н. Толстой умер 7(20) ноября 1910 г.

704 *...очерков пять—шесть будет...* — в книге «Скорби» автобиографического романа И. С. Шмелева «Лето Господне» девять глав.

299

Ед. хр. 27. Л. 40. Почтовая открытка, рук.

300

Ед. хр. 78. Л. 28. Письмо, рук.

705 *...проф. Бенькова...* — см. примечание 670 к письму № 170 (Т. 1).

706 ...*«милей роскошных первенцев полей»*. — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Цветы последние милей...» (1825).

301

Ед. хр. 78. Л. 36, 37. Письмо, рук.

707 ...*письмо от 10.IX*... — имеется в виду письмо И. С. Шмелева, начатое 9 и законченное 10 сентября 1943 г. (Т. 2. № 58).

708 ...*его чудесное письмо*... — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письма В. А. Нарсесяна не сохранились.

709 ...*И. А. уже 2 года тому, писал*... — о переписке И. А. Ильина и О. А. Бредиус-Субботиной см. примечание 367 к письму № 80 (Т. 1).

710 *Он Сереже писал*... — в архиве О. А. Бредиус-Субботиной письма П. К. Пустошкина к С. А. Субботину не сохранились.

711 ...*ломака-Наташка*... — имеется в виду Н. Н. Пустошкина, жена П. К. Пустошкина.

302

Ед. хр. 78. Л. 41, 42. Письмо, рук.

712 *Бабушкины именины*. — день празднования памяти св. Иоакима и св. Анны. Речь в письме идет об Анне Васильевне Груздевой (1852—?), бабушке О. А. Бредиус-Субботиной со стороны матери. О ней см.: Добровольский Г. Ф. О роде Субботиных на Ярославской земле (семейная хроника). М., 2003. С. 82.

713 ...*заказное от 16-го*... — письмо И. С. Шмелева от 15(16) сентября (Т. 2. № 59).

303

Ед. хр. 28. Л. 1. Письмо, машинопись. Адрес отправителя: Au coin de la rue Digue et de l'avenue de Coubertin, St. Remy-les-Cheuvreuse, S.O.

714 ...*последнее письмо — от 9-го*... — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 57).

715 ...*безвыездно здесь*... — И. С. Шмелев жил в это время на даче у Ю. А. Кутыриной в Сен-Реми (332 Avenue Coubertin, St. Remy-les-Cheuvreuse, S.O.).

716 *«Русские ведомости»* — ежедневная газета, выходившая в Москве с 1863 по 1918 г. И. С. Шмелев печатал в этой газете свои рассказы и очерки в 1908—1917 гг.

717 ...*в «Железном деде»* ... — рассказ И. С. Шмелева. Впервые опубликован: Возрождение. 1927. 20 ноября; отд. изд.: Свет разума. Париж, 1928; *«Блаженные»* — см. примечание 358 к письму № 78 (Т. 1).

718 *письмо от 3-го X*... — указанное письмо опубликовано в Т. 2 (№ 60).

305

Ед. хр. 28. Л. 6, 7. Письмо, машинопись.

719 ...*пришлось здесь искать крова*. — Шмелевы приехали в Париж 17 января 1923 г. и остановились в квартире Ю. А. Кутыриной

(ул. Шевер, 12). В ноябре 1926 г. переехали в Севр (ул. Кутюрье, 2), в октябре 1930 г. поселились на ул. Россиньоль, 9. В конце 1933 г. семья Шмелевых переехала в Булонь (ул. Республики, 2). С 31 августа 1937 г. по январь 1938 г. И. С. Шмелев жил у Карташевых (ул. Манин, 3), пока хозяева были в Афинах. В июле и августе 1938 г. И. С. Шмелев жил в Париже на ул. Шоссе де ла Мует и у С. М. Серова на ул. Ранланг, 84. В сентябре 1938 г. он переехал в квартиру на ул. Буало, 91; *...пять месяцев «не у себя»...* — вероятно, это описка И. С. Шмелева. Воздушный налет на район Парижа, в котором жил писатель, состоялся 3 сентября 1943 г. Пока шел ремонт в его квартире, И. С. Шмелев жил на даче и в парижской квартире Ю. А. Кутыриной, к себе он вернулся 8 октября, то есть через пять недель после налета. См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 2000. С. 272—273.

720 *«...и от лица Твоего камо бежу?»* — Пс. 138, 7.

721 *...издавался и в советчине.* — повесть И. С. Шмелева «Человек из ресторана» издавалась в СССР в 1922, 1926, 1927, 1929 и 1940 гг.

722 *...«и сущим во гробех живот даровав».* — строка из пасхального тропаря.

723 *...случай с матерью и новорожденным...* — фрагмент письма И. С. Шмелева от 5 сентября 1943 г.: «Но где логика вот в этом? В 7 утра молодая женщина родила первенького... а в 10 — их не было в живых, — вот, где тут логика и смысл?!» (Т. 2. № 56).

724 *...странник рассказывает «случай»...* — в эпизоде главы «Серебряный сундучок» романа «Лето Господне» приведен рассказ о смерти младенца (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 345—346).

725 *...ландрю, — известный убийца!* — упоминается Анри-Дезире Ландрю (1869—1922), французский брачный аферист, в период с 1914 по 1919 г. убивший 11 человек. Судебный процесс над ним, широко освещавшийся французской прессой, проходил в ноябре 1921 г.

726 *...Паскаль 15 лет был почти недвижим...* — И. С. Шмелев не точен. В 1647 г. Блеза Паскаля разбил паралич, он с трудом говорил и не мог писать, однако через некоторое время поправился. Возможности двигаться Паскаль лишился в 1659 г. См. также примечание 206 к письму № 35 (Т. 2).

727 *Случай на мосту в Нейи...* — 15 ноября 1654 г. при переправе через Сену по ремонтировавшемуся мосту у деревни Нейи экипаж, в котором находился Блез Паскаль, чудом избежал падения в реку; *Паскаль пришел* к в е р *е...* — впервые Блез Паскаль обратился к вере в 1646 г. под влиянием врачей-янсенистов, лечивших его отца. Однако впоследствии религиозные вопросы в его жизни отошли на второй план. В случае на мосту в Нейи Паскаль увидел напоминание о долге перед Богом.

728 *...дал — не закончил! — «апологию Христианства»!* — Блез Паскаль задумал «Апологию христианской религии» во второй половине 1650-х гг. Первый набросок датируется осенью 1658 г. Работа не была завершена и сохранилась в виде записей на отдельных листах, которые впоследствии Вольтер назвал «Мыслями».

306

Ед. хр. 79. Л. 12, 13. Письмо, рук.

729 *...в Wickenburgh с цыплятками...* — фотография хранится в Российском Фонде Культуры (Фонд И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении № 1053).

730 *...Алексинский...* — Иван Павлович Алексинский (1871—1945), профессор, хирург. Был директором клиники Московского университета. В эмиграции работал врачом.

731 *...мама, Сережа и я с котятами на руках?* — см. примечание 312 к письму № 61 (Т. 2).

307

Ед. хр. 28. Л. 11, 12. Письмо, рук.

732 *...«главы» «Лета Господня» увидят свет...* — новые главы из романа «Лето Господне» во время войны не публиковались. Главы «Москва», «Серебряный сундучок» и «Соборование» были напечатаны в газете «Русская мысль» (1947. 21 июня. № 10; 1947. 6 декабря. № 34; 1948. 13 февраля. № 44), остальные главы впервые были изданы в отдельной книге в 1948 г.

733 *...посещение одного господина...* — лицо не установлено.

734 *«...Она — Царица Небесная»* — указанный фрагмент см.: Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 76.

735 *...листик Календаря за 3.X!* — листок календаря не сохранился.

308

Ед. хр. 79. Л. 17. Письмо, рук.

736 *...мою хорошую знакомую...* — лицо не установлено.

737 *...писала об «иконке»...* — см. письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 25 октября 1943 г. (Т. 2. № 63).

309

Ед. хр. 28. Л. 26. Письмо, машинопись.

738 *...моего заказного от 6-го!* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 5 ноября 1943 г. (Т. 2. № 64).

739 *...Требник...* — книга, содержащая последовательность молитв для частных и общецерковных служб (заупокойная служба, венчание, соборование).

740 *...накануне были его именины...* — об этом см. примечание 254 к письму № 62 (Т. 1).

741 *...и «покров» лишь остался у одного из стражи.* — отсылка к Евангелию (Мк. 14, 51—52).

742 *...Норины сородичи...* — Норя — племянник И. С. Шмелева Никанор Никанорович Любимов; здесь имеются в виду пленные советские граждане, которые согласились на сотрудничество с немецкими властями.

743 *«Верую, Господи, помоги моему неверию!»* — Мк. 9, 24.

Куликово поле

1

РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 11. Л. 34, 35. Машинопись с авт. правкой.

1 ...*«могий вместити...»* — Мф. 12, 34.

2 ...*«ленивы мы и нелюбопытны».* — цитата из путевого дневника А. С. Пушкина «Путешествие в Арзрум» (1836).

3 ...*умученного патриарха Гермогена?* — Гермоген (ок.1530–1612), патриарх в 1606–1612 гг. В декабре 1610 г. рассылал грамоты с призывом к всенародному восстанию против польской интервенции. Был заключен в Чудов монастырь, где умер с голоду. Канонизирован Русской Православной Церковью.

4 ...*в «Димитриевскую», в канун Димитрия Солунского.* — день памяти 26 окт./8 ноября.

5 ...*князь Владимир Серпуховский...* — Владимир Андреевич Храбрый (1353–1410), кн. Серпуховской, участник Куликовской битвы.

6 ... *«Мужественный князь Владимир...»* — цитируется «История государства Российского» Н. М. Карамзина. (Т. 5. Гл. 1).

7 ...*писанного его учеником и очевидцем...* — житие написано около 1418 г. учеником преп. Сергия Радонежского Епифанием.

8 ...*с мученика Автонома...* — день памяти 12/25 сент.

9 ...*мощи Преподобного... в музеи, сказывают, поставили...* — рака с мощами преп. Сергия Радонежского была публично вскрыта по указанию Наркомюста РСФСР 11 апреля 1919. В 1920 г. на базе закрытой Троице-Сергиевой Лавры был создан музей, в котором и были выставлены мощи.

10 *«... есть там нашего рода»* — слова Богородицы, сказанные о св. Серафиме Саровском.

2

РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 12. Л. 1, 2. Машинопись с авт. правкой.

11 ...*кажется, Загорск...* — Сергиев Посад был переименован в 1930 г.

3

РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр.13. Л. 39, 40. Машинопись с авт. правкой.

12 *Розанов* — В. В. Розанов жил в Сергиевом Посаде с конца августа 1917 г..; *Лев Александрович Тихомиров* (1852–1923) — жил в Сергиевом Посаде с начала 1914 г. ...*доцент Александров...* — Анатолий Александрович Александров (1861—1930), преподаватель Московской Духовной Академии, журналист, поэт, коллекционер. Ученик К. Н. Леонтьева, автор воспоминаний о нем (см.: Памяти К. Н. Леонтьева. Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915).

4

РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 44, 45. Машинопись с авт. правкой.

13 *...профессора Воздвиженского...* — возможно, прототипом профессора стал Алексадр Петрович Голубцов (1860—1922), профессор Московской Духовной Академии, друг В. О. Ключевского (о взаимоотношениях А. П. Голубцова и В. О. Ключевского см.: Голубцова М. А. Воспоминания о В. О. Ключевском // У Троицы в Академии. 1814—1914. М., 1914)

14 *...«ворота Лавры* затворились, *и лампады* погасли*»* — цитируется окончание юбилейной речи проф. В. О. Ключевского «Благодатный воспитатель русского народного духа» (1892): «Ворота лавры преподобного Сергия затворятся, и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим весь свой нравственный запас без остатка, не пополняя его». Указанный фрагмент цитирует также патриарх Тихон (Белавин) в своем протесте против закрытия Троице-Сергиевой Лавры (1920).

15 *«...что времени уже не будет...»* — Откр. 10, 6–10.

16 *«...И от лица Твоего камо бежу?»* — Пс. 138, 7.

5

РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 49, 50. Машинопись с авт. правкой.

17 *...утопленный в море, в Гельсингфорсе...* — имеются в виду сражения в Балтийском море во время I Мировой войны.

18 *«... живем ли, или умираем, всегда Господни...»* — Рим. 14, 8.

Михайлов день

1

РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 58, 59. Машинопись с авт. правкой.

19 *...сколько до Михайлова дня...* — день архангела Михаила (8/21 ноября).

20 *...Марьюшку...* — прототипом героини стала кухарка семьи Шмелевых. Об этом см. письмо И. С. Шмелева от 10 ноября 1942 г. (Т. 2. Письмо № 20).

21 *...еще до Казанской сняли...* — празднование иконы Казанской Божией Матери 8/21 июля.

22 *...Николин день...* — день памяти преп. Николая Мирликийского 6/19 дек.

23 *...«коня и всадника вверзи в море!»* — неточная цитата из книги Исход (15, 1).

24 *...у него тоже ангел есть, Григорий Богослов...* — дни памяти Григория Богослова 25 янв./7 февр. и 30 янв./12 февр. (Собор Вселен-

ских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого).

25 *За тобой Иван-Богослов...* — день памяти Иоанна Богослова 26 сент./9 окт. (именины И. С. Шмелева).

26 *«Небесных войн архистратизи...»* — из тропаря небесным силам бесплотным.

27 *...на Сергия-Вакха...* — день памяти мчч. Сергия и Вакха 7/20 окт.

2

РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 23. Л. 38, 39. Машинопись с авт. правкой.

28 *...какого-то Гарднера... или Кузнецова-старовера?* — упоминаются известные марки фарфора: гарднеровский и кузнецовский.

29 *«...на дровнях обновляет путь...»* — «Евгений Онегин» (V, 2).

30 *«Золотое слово Иоанна Златоуста»* — имеется в виду «Слово огласительное на Святую Пасху», читается на пасхальной заутрене.

3

РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 23. Л. 43. Машинопись с авт. правкой.

Именной указатель

Содержание